РОМАНОВЫ

ДИНАСТИЯ В РОМАНАХ



ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ

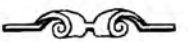


ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ

1729-1796

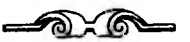
Вс. Н. Иванов

ИМПЕРАТРИЦА ФИКЕ



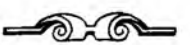
П. Н. Краснов

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ



Е. А. Салиас

ПЕТРОВСКИЕ ДНИ





Москва
АРМАДА
1995

ББК 87Р7 (2Рос=Рус)1
Е 45

Составитель
И. В. Новиков

Редакция и комментарии
А. Е. Виноградова

Оформление серии
В. И. Харламова

Е 45 **Екатерина Великая.** Книга 1: Иванов В. Н. Императрица Фике: Повесть; Краснов П. Н. Екатерина Великая: Роман; Салиас Е. А. Петровские дни: Повесть / Сост. Новиков И. В.; Коммент. Виноградова А. Е.; Оформл. Харламова В. И.— М.: АРМАДА, 1995.— 733 с.— (Романовы. Династия в романах).
ISBN 5-87994-109-4

Вошедшие в том произведения раскрывают сложную атмосферу придворных заговоров и интриг, в которой подготавливалось воцарение на русский престол Екатерины II.

Е $\frac{4702010101\text{-}83}{903(03)\text{-}95}$ Без объявл. ББК 87Р7 (2Рос=Рус)1

ISBN 5-87994-109-4

© Состав., художественное оформление, комментарии, АРМАДА, 1995
© Иванов В. Н., 1968





КАТЕРИНА II, императрица всероссийская (28 июня 1762—6 ноября 1796 г.). Ее царствование — одно из замечательнейших в русской истории; и темные и светлые стороны его имели громадное влияние на последующие события, особенно на умственное и культурное развитие страны. Супруга Петра III, урожденная принцесса Ангальт-Цербстская (род. 24 апреля 1729), от природы одарена была великим умом, сильным характером; напротив, ее муж был человек слабый, дурно воспитанный. Не разделяя его удовольствий, Екатерина отдалась чтению и скоро от романов перешла к книгам историческим и философским. Вокруг нее составился избранный кружок, в котором наибольшим доверием ее пользовались сначала Салтыков, а потом Станислав Понятовский, впоследствии король польский. Отношения ее к императрице Елизавете не отличались особенною сердечностью: когда у Екатерины родился сын, Павел, императрица взяла ребенка к себе и редко дозволяла матери видеть его. 25 декабря 1761 г. умерла Елизавета; со вступлением на престол Петра III положение Екатерины стало еще хуже. Переворот 28 июня 1762 г. возвел ее на престол. Суровая школа жизни и громадный природный ум помогли новой императрице и самой выйти из весьма затруднительного положения, и вывести из него Россию. Казна была пуста; монополия давила торговлю и промышленность; крестьяне заводские и крепостные волновались слухами о свободе, то и дело возобновлявшимися; крестьяне с западной границы бежали в Польшу. При таких обстоятельствах вступила Екатерина на престол, права на который принадлежали ее сыну. Но она понимала, что сын сделался бы на престоле игрушкой партий, как Петр II. Регентство было делом непрочным. Судьба Меншикова, Бирона, Анны Леопольдовны у всех была в памяти.

Проницательный взгляд Екатерины одинаково внимательно останавливался на явлениях жизни как дома, так и за границей. Узнав,

через два месяца по вступлении на престол, что знаменитая французская энциклопедия осуждена парижским парламентом за безбожие и продолжение ее запрещено, Екатерина предложила Вольтеру и Дидро издавать энциклопедию в Риге. Одно это предложение склонило на сторону русской императрицы лучшие умы, дававшие тогда направление общественному мнению во всей Европе.

Осенью 1762 г. Екатерина короновалась и пробыла зиму в Москве. Летом 1764 г. подпоручик Мирович задумал возвести на престол Иоанна Антоновича, сына Анны Леопольдовны и Антона-Ульриха Брауншвейгского, содержавшегося в Шлиссельбургской крепости. Замысел не удался — Иоанн Антонович во время попытки к его освобождению был застрелен одним из караульных солдат; Мирович был казнен по приговору суда.

В 1764 г. князю Вяземскому, посланному усмирять крестьян, приписанных к заводам, велено было исследовать вопрос о выгоде вольного труда перед наемным. Тот же вопрос предложен был вновь учрежденному Экономическому обществу. Прежде всего предстояло решить вопрос о монастырских крестьянах, принявший особенно острый характер еще при Елизавете. Елизавета в начале своего царствования возвратила имения монастырям и церквам, но в 1757 г. и она, с окружавшими ее сановниками, пришла к убеждению в необходимости передать управление церковными имуществами в светские руки. Петр III приказал исполнить предначертание Елизаветы и передать управление церковными имуществами коллегии экономии. Описи монастырских имуществ производились при Петре III крайне грубо. При вступлении Екатерины II на престол архиереи подали ей жалобы и просили о возвращении им управления церковными имуществами. Она, по совету Бестужева-Рюмина, удовлетворила их желание, отменила коллегию экономии, но не оставила своего намерения, а только отложила его исполнение; она тогда же распорядилась, чтобы комиссия 1757 г. возобновила свои занятия. Приказано было произвести новые описи монастырским и церковным имуществам, но и новыми описями духовенство было недовольно; против них особенно восстал ростовский митрополит Арсений Мацеевич. В донесении к Синоду он выражался резко, произвольно толкуя церковно-исторические факты, даже искажая их, и делая оскорбительные для Екатерины сравнения. Синод представил дело императрице в надежде (как думает Соловьев), что Екатерина и на этот раз выкажет свою обычную мягкость, надежда не оправдалась: донесение Арсения вызвало такое раздражение в Екатерине, какого не замечали в ней ни прежде, ни после. Она не могла простить Арсению сравнения ее с Юлианом и Иудой и желания выставить ее нарушительницей своего слова. Арсений был приговорен к ссылке в Архангельскую епархию, в Николаевский Корельский монастырь, а затем, вследствие новых обвинений — к лишению монашеского сана и пожизненному заточению в Ревеле.

Характеристичен для Екатерины следующий случай из начала ее царствования. Докладывалось дело о дозволении евреям въезжать в Россию. Новая императрица сказала, что начать царствование указом о свободном въезде евреев было бы плохим средством успокоить умы; признать въезд вредным — невозможно. Тогда сенатор князь Одоевский предложил взглянуть, что написала императрица Елизавета на полях такого же доклада. Екатерина потребовала доклад и прочла: «от врагов Христовых не желаю корыстной прибыли». Обратясь к генерал-прокурору, она сказала: «Я желаю, чтоб это дело было отложено».

Увлечение числа крепостных крестьян посредством громадных раздач фаворитам и сановникам населенных имений, утверждение крепостного права в Малороссии всецело ложатся темным пятном на память императрицы. Не следует, однако, упускать из виду, что малоразвитость русского общества сказывалась в то время на каждом шагу. Так, когда Екатерина задумала отменить пытку и предложила эту меру Сенату, сенаторы высказали опасение, что в случае отмены пытки никто, ложась спать, не будет уверен, жив ли он встанет поутру. Поэтому Екатерина, не уничтожая пытки гласно, разослала секретное предписание, чтобы в делах, где употреблялась пытка, судьи основывали свои действия на десятой главе Наказа, в которой пытка осуждена как дело жестокое и крайне глупое. В начале царствования императрицы Екатерины возобновилась попытка создать учреждение, напоминавшее Верховный тайный совет или заменивший его Кабинет, в новой форме, под именем постоянного совета императрицы. Сочинителем проекта был граф Панин. Генерал-фельдцейхмейстер Вильбоа написал императрице: «Я не знаю, кто составитель этого проекта, но мне кажется, как будто он, под видом защиты монархии, тонким образом более склоняется к аристократическому правлению». Вильбоа был прав; но Екатерина и сама понимала олигархический характер проекта. Она его подписала, но держала под сукном и он никогда не был обнародован. Таким образом, идея Панина о совете из шести постоянных членов осталась одною мечтой; частный совет императрицы всегда состоял из сменяющихся членов. Зная, как переход Петра III на сторону Пруссии раздражил общественное мнение, Екатерина приказала русским генералам соблюдать нейтралитет и этим способствовала прекращению войны.

Внутренние дела государства требовали особенного внимания: более всего поражало отсутствие правосудия. Екатерина по этому поводу выражалась энергично: «лихоимство возросло до такой степени, что едва ли есть самое малое место правительства, в котором бы суд без заражения сей язвы отправлялся; ищет ли кто место — платить; защищается ли кто от клеветы — обороняется деньгами; клевещет ли кто на кого — все хитрые происки свои подкрепляет дарами». Особенно поражена была императрица, узнав, что в пределах нынешней Новгородской губернии брали с крестьян деньгами за приведение их

к присяге на верность ей. Такое положение правосудия заставило Екатерину созвать в 1766 г. комиссию для издания Уложения. Этой комиссии императрица вручила Наказ, которым она должна была руководствоваться при составлении Уложения. Наказ был составлен на основании идей Монтескье и Беккарии. Дела польские, возникшая из них первая турецкая война и внутренние смуты приостановили законодательную деятельность Екатерины до 1775 г.

Польские дела вызвали разделы и падение Польши: по первому разделу 1773 г. Россия получила нынешние губернии Могилевскую, Витебскую, часть Минской, то есть большую часть Белоруссии. Первая турецкая война началась в 1768 г. и кончилась миром в Кучук-Кайнарджи, который был ратифицирован в 1775 г. По этому миру Порта признала независимость крымских и буджакских татар; уступила России Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн; открыла русским кораблям свободный ход из Черного моря в Средиземное; даровала прощение христианам, принявшим участие в войне; допустила ходатайство России по делам молдавским.

Во время первой турецкой войны в Москве свирепствовала чума, вызвавшая чумной бунт; на востоке России разгорелся еще более опасный бунт, известный под названием Пугачевщины. В 1770 г. чума из армии проникла в Малороссию; весною 1771 г. она появилась в Москве; главнокомандующий (по-нынешнему — генерал-губернатор) граф Салтыков оставил город на произвол судьбы. Отставной генерал Еропкин принял на себя добровольно тяжелую обязанность охранять порядок и предупредительными мерами ослабить чуму. Обыватели не исполняли его предписаний и не только не сжигали одежды и белья с умерших от чумы, но скрывали самую смерть их и хоронили на задворках. Чума усиливалась: в начале лета 1771 г. ежедневно умирало по 400 человек. Народ в ужасе толпился у Варварских ворот перед чудотворной иконой. Зараза от скучивания народа, конечно, усиливалась. Тогдашний московский архиепископ Амвросий, человек просвещенный, приказал снять икону. Немедленно распространился слух, что архиерей заодно с лекарями сговорился морить народ. Обезумевшая от страха невежественная и фанатическая толпа умертвила достойного архипастыря. Пошли слухи, что мятежники готовятся зажечь Москву, истребить лекарей и дворян. Еропкину с несколькими ротами удалось, однако, восстановить спокойствие. В последних числах сентября в Москву прибыл граф Григорий Орлов, тогда самое близкое лицо к Екатерине, но в это время чума уже ослабевала и в октябре прекратилась. От этой чумы в одной Москве погибло 130 000 человек.

Пугачевский мятеж подняли яицкие казаки, недовольные переменами в их казацком быту. В 1773 г. донской казак Емельян Пугачев принял имя Петра III и поднял знамя бунта. Екатерина поручила усмирение мятежа Бибикову, который сразу понял сущность дела; важен не Пугачев, сказал он, важно общее неудовольствие. К яицким

жавшим и к бунтовавшим крестьянам присоединились башкиры, калмыки, киргизы. Бибиков, распоряжаясь из Казани, двинул со всех сторон отряды в места более опасные; князь Голицын освободил Оренбург, Михельсон — Уфу, Мансуров — Яицкий городок. В начале 1774 г. бунт стал утихать, но Бибиков умер от изнеможения и мятеж разгорелся вновь: Пугачев овладел Казанью и перебросился на правый берег Волги. Место Бибикова занял граф П. Панин, но не заменил его. Михельсон разбил Пугачева под Арзамасом и загородил ему путь к Москве. Пугачев бросился на Юг, взял Пензу, Петровск, Саратов и везде вешал дворян. Из Саратова он двинулся к Царицыну, но был отбит и под Черным Яром снова был разбит Михельсоном. Когда к войску прибыл Суворов, самозванец чуть держался и был вскоре выдан своими сообщниками. В январе 1775 г. Пугачев был казнен в Москве.

С 1775 г. возобновилась законодательная деятельность Екатерины II, вполне, впрочем, и перед тем не прекращавшаяся. Так, в 1768 г. упразднены были коммерческий и дворянский банки и учрежден так называемый ассигнационный или разменный банк. В 1775 г. прекращено было существование Запорожской Сечи, и без того клонившейся к падению. В том же 1775 г. начато преобразование провинциального управления. Издано было учреждение для управления губерниями, которое вводилось целых двадцать лет: в 1775 г. оно началось с Тверской губернии и кончилось в 1796 г. учреждением Виленской губернии. Таким образом, реформа провинциального управления, начатая Петром Великим, выведена была Екатериной из хаотического состояния и закончена ею. В 1776 г. она повелела в прошениях слово *раб* заменить словом *верноподданный*.

К концу первой турецкой войны получил особенно важное значение Потемкин, стремившийся к великим делам. Вместе со своим сотрудником Безбородко он составил проект, известный под названием греческого. Грандиозность этого проекта — разрушив Оттоманскую Порту, восстановить Греческую империю, на престол которой возвести Константина Павловича — понравилась Екатерине. Противник влияния и планов Потемкина, граф Н. Панин, воспитатель цесаревича Павла и президент коллегии иностранных дел, чтобы отклечь императрицу от греческого проекта, поднес ей в 1780 г. проект вооруженного нейтралитета. Вооруженный нейтралитет имел целью оказать покровительство торговле нейтральных государств во время войны и направлен был против Англии, что было невыгодно для планов Потемкина. Преследуя свой широкий и бесполезный для России план, Потемкин подготовил крайне полезное и необходимое для России дело — присоединение Крыма.

В Крыму, с признания его независимости, волновались две партии — русская и турецкая. Их борьба дала повод занять Крым и Кубанскую область. Манифестом 1783 г. объявлено присоединение Крыма и Кубанской области к России. Последний хан Шагин-Гирей отправ-

лен был в Воронеж; Крым переименован в Таврическую губернию; набеги крымцев прекратились. Предполагают, что вследствие набегов крымцев Великая и Малая Россия и часть Польши с XV в. до 1783 г. лишилась от трех до четырех миллионов народонаселения: пленников обращали в рабов, пленницы наполняли гаремы или становились, как рабыни, в ряды женской прислуги. В Константинополе у мамелюков кормилицы, няньки были русские. В XVI, XVII и даже в XVIII вв. Венеция и Франция употребляли закованных в кандалы русских рабов, купленных на рынках Леванта, в качестве работников на галерах. Благочестивый Людовик XIV старался только о том, чтобы эти рабы не оставались схизматиками. Присоединение Крыма положило конец позорной торговле русскими рабами. Вслед за тем Ираклий II, царь Грузии, признал протекторат России.

1785 год ознаменован двумя важными законодательными актами: *Жалованной грамотой дворянству* и *городовым положением*. Устав о народных училищах от 15 августа 1786 г. осуществлен был только в малых размерах. Проекты об основании университетов в Пскове, Чернигове, Пензе и Екатеринославе были отложены. В 1783 г. основана была Российская академия для изучения родного языка. Основанием институтов положено было начало образованию женщин. Учреждены воспитательные дома, введено оспопрививание, снаряжена экспедиция Палласа для изучения отдаленных окраин.

Враги Потемкина толковали, не понимая важности приобретения Крыма, что Крым и Новороссия не стоят потраченных на их устройство денег. Тогда Екатерина решила сама осмотреть вновь приобретенный край. Сопровождаемая послами австрийским, английским и французским, с громадной свитой, в 1787 г. она отправилась в путешествие. Архиепископ могилевский, Георгий Конисский, в Мстиславе встретил ее речью, которая славилась современниками как образец красноречия. Весь характер речи определяется ее началом: «Оставим астрономам доказывать, что земля около солнца обращается: наше солнце вокруг нас ходит». В Каневе встретил русскую императрицу Станислав Понятовский, король польский; близ Кейдан — австрийский император Иосиф II. Он с Екатериной положил первый камень Екатеринослава, посетил Херсон и осмотрел только что созданный Потемкиным Черноморский флот. Во время путешествия Иосиф замечал театральность в обстановке, видел, как наскоро сгоняли народ в якобы строящиеся селения; но в Херсоне он увидел настоящее дело — и отдал справедливость Потемкину.

Вторая турецкая война при Екатерине II ведена была, в союзе в Иосифом II, с 1787 по 1791 г. В 1791 г., 29 декабря, заключен был мир в Яссах. За все победы Россия получила только Очаков да степь между Бугом и Днепром. В то же время шла, с переменным счастьем, война со Швецией, объявленная Густавом III в 1789 г. Она окончилась 3 августа 1790 г. Верельским миром, на основании status quo.

Во время второй турецкой войны произошел переворот в Польше: 3 мая 1791 г. обнародована была новая конституция, что повело ко второму разделу Польши в 1793 г., а затем и к третьему в 1795 г. По второму разделу Россия получила остальную часть Минской губернии, Волынь и Подолию, по третьему — Гродненское воеводство и Курляндию. В 1796 г., в последнем году царствования Екатерины, граф Валериан Зубов, назначенный главнокомандующим в походе против Персии, покорил Дербент и Баку; успехи его остановлены были смертью императрицы. Последние годы царствования Екатерины II омрачились, с 1790 г., реакционным направлением. Тогда разыгралась французская революция, и с нашей домашней реакцией вступила в союз реакция общеевропейская, иезуитско-олигархическая. Агентом и орудием ее был последний любимец Екатерины князь Платон Зубов, вместе с братом, графом Валерианом. Европейской реакции хотелось втянуть Россию в борьбу с революционной Францией — борьбу, чуждую прямым интересам России. Екатерина говорила представителям реакции любезные слова и не давала ни одного солдата. Тогда усилились подкопы под трон ее: возобновились обвинения, что она незаконно занимает престол, принадлежащий Павлу Петровичу. Есть основание предполагать, что в 1790 г. готовилась попытка возвести Павла Петровича на престол. С этой попыткой, вероятно, соединена высылка из Петербурга принца Фридриха Вюртембергского. Домашняя реакция тогда же обвиняла императрицу якобы в чрезмерном свободомыслии. Основанием обвинения служило, между прочим, дозволение переводить Вольтера и участие в переводе «Велизария», повести Мармонтеля, которую находили антирелигиозной, ибо в ней не указано различия между добродетелью христианской и языческою.

Екатерина состарилась, прежней отважности и энергии почти не было и следа — и вот, при таких обстоятельствах, в 1790 г. является книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» с проектом освобождения крестьян, как бы выписанным из выпущенных статей ее Наказа. Несчастный Радищев был наказан ссылкой в Сибирь. Может быть, эта жестокость была результатом опасения, что исключение из Наказа статей об освобождении крестьян сочтут за лицемерие со стороны Екатерины. В 1792 г. посажен в Шлиссельбург Новиков, столь много послуживший русскому просвещению. Тайным мотивом этой меры были сношения Новикова с Павлом Петровичем. В 1793 г. жестоко потерпел Княжнин за свою трагедию «Вадим». В 1795 г. даже Державин подвергся подозрению в революционном направлении за переложение восьмидесяти одного псалма, озаглавленное «Властителям и Судьям». Так кончилось поднявшее национальный дух просветительное царствование Екатерины Второй, этого *великого мужа*. Несмотря на реакцию последних лет, название просветительного останется за ним в истории. С этого царствования в России начали сознавать

значение гуманных идей, начали говорить о праве человека мыслить на благо себе подобных[1].

Литература. Труды Колотова, Сумарокова, Лефорта — панегирики. Из новых более удовлетворительно сочинение Брикнера. Очень важный труд Бильбасова не окончен; по-русски вышел всего один том, по-немецки два. С. М. Соловьев в XXIX томе своей «Истории России» остановился на мире в Кучук-Кайнарджи. Иностранные сочинения Рюльера и Кастера не могут быть обойдены только по незаслуженному к ним вниманию. Из бесчисленных мемуаров особенно важны мемуары Храповицкого (лучшее издание — Н. П. Барсукова). См. новейшее сочинение Waliszewski: «Le Roman d'une imperatrice». Чрезвычайно важны издания Императорского Исторического общества.

Энциклопедический словарь
Изд. Брокгауза и Ефрона
т. XIБ, СПб., 1894

[1] Мы почти не коснулись слабостей императрицы, припоминая слова Ренана: «серьезная история не должна придавать слишком большого значения нравам государей, если эти нравы не имели большого влияния на общий ход дел». При Екатерине вредно было влияние Зубова, но только потому, что он был орудием вредной партии.



Вс. Н. Иванов

ИМПЕРАТРИЦА ФИКЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

...Пруссия — государство, являющееся с давних времен носителем милитаризма в Германии,— фактически перестала существовать.

Закон Союзного Контрольного Совещания в Германии от 25 февраля 1947 г.

Глава первая

ФЛЕЙТА КОРОЛЯ

На лужайки парка Сан-Суси падал крупный снег, покрывал перспективные, на версальский манер, дорожки, деревья, стриженные, как шары, кубы и пирамиды, боскеты, гроты Нептуна и Дружбы, фонтаны, руины на холме, китайский дом, римские бани. Шапками снег лежал на каменных столбах, между ними — чугунные узоры решеток. Снегом были покрыты и крыши Нового замка, завитки стиля рококо над полуциркулями окон. Снег висел ровной сеткой, сквозь него чернели большие липы, на них сидели вороны.

Замок был отстроен в два этажа, широкий, с просторными залами, с круглыми ротондами, с наборными полами, в которых отражалась фигурная мебель под обивкой цветного штофа, с библиотекой, с картинной галереей.

К этому времени немцы давно перестали строить старые немецкие замки, рыцарские гнезда — с толстыми башнями и стенами. С подъемными мостами через глубокие рвы. С огромными закопченными залами, где в каминах горели когда-то целиком деревья, где можно было жарить баранов, даже быков... Еще стояли такие замки в древних славянских местах — Колобреге, в Штеттине, в Старграде, их строили

рыцари Тевтонского ордена, рыцари-крестоносцы, когда они, разбитые арабами в Палестине, кинулись сюда, на Восток, в мирные богатые славянские земли, неся с собой насилие, пожары, кровь, слезы и христианство. В этих замках жили белокурые голубоглазые разбойники, пировали тут, выезжали отсюда на охоту, железной рукой правили отсюда рабами — крестьянами. Их потомки строились и жили совсем по-другому — на французский манер.

В угловой круглой комнате на высоком пюпитре и на белом клавесине горели свечи у нот, флейта короля Фридриха переливно высвистывала мелодии Генделя. От свеч разноцветно мерцал хрусталь в подвесках на жирандолях, на столах, в бра на стенах, у люстры на потолке, и алели две розы в пудреной прическе баронессы фон Вальгоф: она аккомпанировала королю.

Ястребиный нос короля свис над оголовьем флейты из белой кости, рот растянулся над амбушюром, стал еще язвительнее, четырехугольный носок правого ботфорта крепко отбивал такт, а серые глаза смотрели в окно на падающий снег.

И тогда, четырнадцать лет тому назад, вот так же шел такой же крупный снег, крыл экзерцир плац перед старым Потсдамским замком, пухло ложился на треугольные шляпы, на голубые мундиры огромных померанских гренадер, что, циркулем расставив ноги, стыли во фрунте.

В зале замка, перед невысоким окном, тоже широко расставив ноги, стоял его отец, король Фридрих Вильгельм — большой, сутулый, широкоплечий, с двойным пивным затылком, в голубом мундире. Справа и слева молчала свита — синие, зеленые, малиновые, голубые кафтаны, а дамы в широких робронах испуганно жались друг к другу.

Он сам, наследный тогда принц Фридрих, стоял за отцом чуть слева, слышал, как от отца пахнет пивом, табаком, суконной пылью. В окне чернел эшафот, на нем плаха, и мейстер Тимм, палач из Нюрнберга, пальцем у уха пробовал звон стального топора.

Дамские платья зашелестели в движении:

— Ведут!

Бурей грохотали барабаны. По фрунту гренадер, между трех рослых великанов солдат, субтильный, маленький, прошел лейтенант Катте, твердо взошел на эшафот. Господин тайный советник Шурц, худой и высокий, снял с головы черную шляпу, поднял правую руку в кружевной манжете. Барабаны смолкли, сквозь стекла донесся гнусаво голос советника:

«...сей Катте... смуту в королевстве... Измена. Подбивал к побегу из родительского дома его высочество наследного принца Фридриха... Соблазн юной души...»

Принц за отцом стоял вытянувшись, как и отец, хотя и был лишен права носить военную форму. От черного бархата кафтана молодое его лицо было бледно, от переживаний ястребиный нос еще больше заострился, серые глаза округлились. Не лейтенанта Катте казнили! — это казнили его самого, наследного принца Фридриха,— вот так, как в детстве за его, принцевы, шалости секли его сверстников — детей.

Палач портновскими ножницами срезал ворот у кафтана лейтенанта, пудреный тупей[1] над тонкой шеей, нагнул лейтенанта сильной рукой своей на плаху. Принц Фридрих не выдержал. Он бросился к окну, мимо отца-короля, стуча в стекла обеими руками, кричал:

— Прости! Прости!

Катте выпрямился и преданно взглянул в окно.

— Вы не виноваты! — слабо донеслось оттуда.

— Принц, назад! — загремел бас короля.— На ваше место. Драхенфельс, возьмите его!

Шатаясь, Фридрих отошел назад. Катте снова нагнулся, жалостно взглядывая в последний раз на окна, мейстер Тимм взмахнул топором. Голова отскочила, белый снег задымился кровью. Принц мягким мешком упал в обморок на руки синего кафтана.

Очнулся он оттого, что к его носу поднесли нюхательную соль. Над ним стоял грузный Фридрих Вильгельм.

Король и отец!

— Принц! — говорил он гулким басом, оловянными глазами упершись в лицо сына.— Принц! Вот пример для вас! Так король и закон карают изменника, которому вы попустительствовали. Несчастный молодой человек — вы своенравная дурная голова! Вы не любите ничего, что делаю я, ваш отец! В вас нет ничего человеческого... Вы стыдитесь ездить верхом! Стрелять! Я прямо говорю — мне не надобно такого бабня! Вы не умеете разговаривать с людьми. Вы не популярны... И я предупреждаю вас: если вы не оставите ваших вредных мыслей — вы будете лишены права наследования! Вас постигнет такая же участь...

Круглые глаза принца неожиданно твердо посмотрели в глаза короля.

— Принц, вы немедленно отправитесь в распоряжение нашего советника Тугендюнга. Под его руководством извольте изучать сельское хозяйство и военное дело...

«А мальчишка неплохо держится!» — отметил король про себя и закончил:

[1] Коса парика.

— Мой сын! Все дальнейшее зависит только от вас, от вашего поведения, от вашего благоразумия! Требую успехов!

...Иволгой свистела флейта, квадратный носок ботфорта рубил такт.

— Его величество и Генделя играет так, словно командует разводом! — шепнул первый министр граф Подевильс, высокий, длинный, наклоняясь к соседу в синем с серебром кафтане.— Фриц сегодня не в духе...

— О месье,— задрал тот вверх досиня выбритый подбородок.— Сегодня — его день траура! В этот день его величество излечился от увлечения Францией... Как раз сегодня Катте отрубили голову. Остались, правда, разве еще французские философы, но это уже не опасно... Хе-хе!

Флейта оборвалась, король язвительно смотрел круглыми глазами на белый парик баронессы, на его розаны, та прекратила музыку на полутакте.

— Мадам! Если вы так же плохо держите такт и в любви, то не поздравляю вас! Играем сначала...

Снова засвистела флейта. И снова понеслись облаками обрывки мыслей в голове короля.

«Какая глупость был этот побег! Дерзкие были мы мальчишки! Отец был прав... Какой урок задал он мне тогда!»

Прусский король снова увидал своего покойного отца-короля за некрашеным деревянным столом, на который извергала пену только что поданная гренадером глиняная кружка с пивом. Синий дым валил из его длинной трубки, красное лицо в пудреном парике смотрело сурово, словно отец-король сейчас схватит палку, опять начнет драться...

— Поймите, мой сын! — говорил король-отец.— Кто я таков сейчас? Я нищий. Я тень! Захудалый мелкий князек... А могущество московитов несомненно. Пусть они азиаты, варвары, но Петр разбил же Карла Двенадцатого! Самого Карла! Он гонял этого воина по всей Европе. Петр мог бы, как скиф, захватить всю Европу. Его солдаты стояли в Голштинии, в Мекленбурге, в Силезии. В Померании. В Дании. Европа дрожала перед Петром, пусть и ненавидела его. Но для меня Петр Великий был и наставником, и другом. Я первый признал его императором,— хорошо, пусть он будет император! А я кто? По-прежнему князек «циппель-цербстский», один из сотен таких же нищих германских князьков.. Этому состоянию нужно было положить конец, и для этого я все десятки лет моего правления копил силу. Потихоньку. Не воевал. Пусть все дерутся кругом — но мы, пруссаки, мы не воевали! Все кругом теряли силы, и потому мы становились сильнее. Да, я «фельдфебель» — так меня зовут., Но я сколотил мое войско, пусть и палкой. Я смело говорю.

что солдат должен бояться палки своего капрала больше, чем пули неприятеля — это самое главное! Я учил мою армию по шведскому образцу. У меня сто тысяч солдат... И каких солдат! Великанов! Их все боятся. Зато у меня построено тридцать крепостей... У меня полные цейхгаузы всякого добра... Снаряжения. Вооружения. Все это для вас, принц! Вам будет с чего начать ваше царствование...

Тут король-отец пригнулся к самой столешнице и толстым пальцем снял нагар с сальной свечки.

— И помните, сын мой, одно: держитесь за Москву! Держитесь за Москву, как репейник держится за хвост собаки... Москва — сила, Москва вывезет Пруссию. Только одна Москва в состоянии помешать нашим планам. Вся наша сила, все будущее в доверии Москвы: Россия велика, богата, могуча Что такое Европа? Это разодранное наследие Карла Великого... Лоскутное одеяло — из княжеств, герцогств, королевств... Ее нужно объединить, но ее объединит только тот, кому позволит это новая Россия, наследие Петра Великого... Все мы — пигмеи, а Петр был великан. Но у нас другая дорога. Когда будете королем, сын мой, ведите себя терпеливо, прикровенно. Не унижайтесь, о нет! Но и не задирайте носа. Выжидайте от случая к случаю, но и вместе с тем подталкивайте судьбу плечом, когда это можно. Прежде всего следите за Россией — другие времена теперь. Теперь мы не можем идти на Восток открыто, громыхая латами и щитами, как шли на Восток наши предки — тевтонские рыцари... Нужно действовать по-иному. Умом, а не только силой. Мы должны обогнать австрийского короля, который думает, что он действительно император Священной Римской империи, император Германии. Его апостолическое величество! Ха-ха-ха! Какая чепуха!

Король хлебнул из кружки, обсосал пену с губ.

— Нам, нашей Пруссии, нужна прежде всего своя земля. Свои люди! И много земли, и много людей... Это все есть на Востоке! Все это у нас забрала Польша. Немцы должны разделить Польшу, отобрать у нее все, что она отобрала у нас. Это — главное. Это нам завещал ваш дед! Ощипать ее, как капусту, листок за листком. Мы окрепнем на этих землях за Одером! Мы будем хорошими хозяевами на польских землях... И тогда — Германия наша!

Этих отцовских слов никогда не забывал он, король Фридрих II, и теперь они звучали в аккомпанемент клавесина в низких нотах в левой руке, которые сопровождали извивную мелодию флейты короля.

Король-отец вскоре же — в мае 1740 года — умер, и от его постели медленно отошел его сын.

Король Фридрих II.

«Все прочь! Я больше не поэт! Я больше не философ! Я только служу Пруссии! Прочь стихи, прочь концерты!» — так записал он в своем дневнике в ту ночь.

И в первый день своего правления, в первом же указе он приказал увеличить прусскую армию на шестнадцать батальонов и пять эскадронов.

Через год молодой король Фридрих II без объявления войны врывается и захватывает Силезию у Австрии. Протесты прокатились по Европе: какие основания? по какому праву? Основания? Это пустяк! Прусский король Фридрих II говорил, что «если вам нравится чужая провинция — и вы имеете достаточно сил — занимайте ее немедленно. Как только вы это сделаете — вы всегда найдете юристов, которые докажут, что вы имели право на занятую территорию».

Европа была в замешательстве: ей никак не нужна была сильная Пруссия. Но Фридрих II рассчитал правильно: сильных армий у этих многочисленных крохотных разрозненных государств не было, и чтобы собрать союзные силы — требовалось много времени: улаживать разноречивые интересы — трудное дело! Главная противница короля Прусского — Австрия — в этот момент оказалась в одиночестве, без России: как раз 25 ноября этого года Елизавета Петровна удачным заговором сбросила с престола сторонницу Австрии «правительницу» Анну Леопольдовну, которая правила Россией за своего сына-«младенца» — императора Иоанна Антоновича.

Все вышло очень удачно для короля Прусского и было немедленно учтено и использовано им. Позднее обнаружились еще обстоятельства, которые тоже благоприятствовали его планам. Король Прусский, во-первых, был уверен, что Елизавета Петровна не справится с новой своей ролью. «По своим сибаритским наклонностям,— писал Фридрих II,— новая императрица скоро потеряет из виду и Петербург, и саму Европу!» Во-вторых, Елизавета немедленно выписала из Голштинии в качестве наследника русского престола своего племянника Петра Ульриха, принца Голштинского, который приходился внуком Петру Первому по его дочери Анне Петровне.

А в-третьих, теперь королю удается план — экстренно командировать в невесты этому немецкому принцу, ставшему русским великим князем и наследником, Софию, принцессу Ангальт-Цербстскую, что еще больше подкрепит немецкое влияние в Петербурге. И сегодня король ждет визита к нему ее матери герцогини Иоганны Елизаветы — он обещал ее принять, ему наконец просто необходимо ее принять. Она может оказать Пруссии существенные услуги в Петербурге!

— Его величество выглядит сегодня очень озабоченным! — прошептал придворный в зеленом кафтане вверх, в высокое ухо министра Подевильса.

Тот в ответ неопределенно качнул головой. «Еще бы,— подумал министр,— эти семейные дела поважней любой войны».

И продолжал внимательно слушать музыку.

Камер-лакей, скользнув в угловую залу, остановился у белой с золотом двери. Король взглянул вопросительно в его сторону, опустил флейту. Аккомпанемент смолк.

— Ваше величество, графиня Рейнбек! — доложил камер-лакей.

— Рейнбек? Рейнбек? — громко спрашивая король.— Не помню. Что за дама? Почему? А?

И посмотрел на первого министра.

— Ваше величество,— прошептал тот, согнувшись вперегиб,— вы же изволили приказать немедленно принять ее сиятельство.

— А! Теперь понимаю. Помню! — Король повернулся на одной ноге.— О! Это другое дело! Значит, эта старая карга таки пожаловала к нам! Отлично!

Он подошел к окну, искоса заглянул в направлении подъезда. Там, занесенная снегом, стояла высокая старая коляска.

— Ха! Это ее возок? В таких еще наши предки тевтоны кочевали со своими детьми и имуществом. Хха-ха-ха! Во всяком же случае — и графиня кочует на новые места. Ха-ха!

Кто-то почтительно хихикнул.

Король обернулся на смельчака.

— Что значит этот смех? Кто смеется? Кто смеет смеяться? Тевтоны идут на завоевание мира. Ми-и-ра, милостивый государь мой! Мы завоевываем его не только солдатами... То, что делает король Прусский, не должно вызывать ничьего смеха!

И, высоко подняв голову, он бросил лакею:

— Я приму графиню в кабинете!

Полный, низенький, шустрый король вышел из залы, гордо осматривая спины склоненных в поклоне придворных и громко стуча каблуками.

Глава вторая

ЭСТАФЕТА КОРОЛЯ

В узкой гавани города Штеттина, провонявшей селедкой да треской, волны трясут рыбачьи посудины. На горе, над стенами — колокольня, и оттуда то и дело падает уныло

чугунный звон — бамм! бамм! Тесные улицы города в этот день Нового года заваливает снег. По улице Домштрассе под номером 761 — высокий дом темного камня, в доме — квартиры командира 8-го Ангальт-Цербстского полка прусской службы генерал-майора герцога Христиана Августа Ангальт-Цербстского.

Да разве такой жизни ждала себе его супруга Иоганна Елизавета? Кто же не знает, что ее брат герцог Карл Август был когда-то женихом Елизаветы Петровны, императрицы Российской, да умер от оспы... А не умри он — сидел бы теперь, может быть, в Петербурге императором, а с ним жила бы там и Иоганна Елизавета, его сестра... Вот горе какое!

Бамм! Бамм! — гремит колокол, с моря встает метель, гонит рыбачьи лодки в гавань... Бамм!

В темной низкой зале после новогодней обедни собрался весь «двор» герцога. Герцогиня Иоганна Елизавета — черная, худищая — нахохленной птицей сидит в кресле с высокой спинкой, под ногами — шитая подушка, золотые кисти отсвечивают... На скамеечке у ее ног старшая четырнадцатилетняя дочь София — Фике, черноволосая, розовощекая девочка с блестящими глазками. Герцогиня вяжет крючком длинный кошелек — она его вышьет бисером и подарит кому-нибудь из многочисленных родичей. Дешево и мило...

Кругом толпятся французы — мадам Кардель — старая воспитательница Фике, проповедник Пэрар, учитель чистописания Лоран, танцмейстер Пеко. Французы улыбаются, жестикулируют, немцы, напротив, очень серьезны. Потирая зябко руки, вошел пастор Дове — бледный, взволнованный сказанной им проповедью. Его большие глаза еще до сих пор полны пафосом и улыбаются дружеской слабой улыбкой профессору Вагнеру.

— Господин пастор, ваша проповедь сегодня превосходна,— говорит в ответ на улыбку профессор Вагнер.— Да, да...

Учитель музыки Рэлиг из Цербста наготове и стоит у клавесина — может быть, придется играть...

Сам герцог, командир прусского полка, в голубом мундире, в высоких ботфортах, сидит за круглым столом и уж конечно тянет пиво с тремя своими офицерами...

— Хха-ха-ха! — громко хохочет он.— Хха-ха-ха!

Фике вытягивает тоненькую шейку в сторону веселой компании, но герцогиня опускает на дочь свои темные, обведенные синевой глаза:

— Фике! Ах, Фике! Сиди же прилично! Ты совсем стала мальчишкой! Ты носишься по улицам! И все эта бедность! Ах, бедность! Ну, какая же ты принцесса!

— Мадам,— густым голосом говорит мадам Кардель,— Фике достаточно видит свет. Когда она бывала с вами во дворце в Берлине, то вела себя отменно.

И Фике теперь сидит совсем, совсем смирно. Обоими кулачками она подперла свое симпатичное личико и смотрит, как в люстре горит в хрустале розовый огонек... Почему-то ей кажется, что ее ждет тоже что-то такое же красивое, что-то розовое, как этот огонек... О, она смелая девочка, у нее темные волосы и чудная розовая кожа блондинки. Ей смешны эти постоянные слезы и ахи матери...

— Хха-ха-ха! — снова хохочет герцог. Толстый, рослый, румяный — он развалился в кресле: он хохочет своей же остроте. Сегодня Новый год... Надо веселиться. За ним хохочут и его офицеры...

Иоганна Елизавета выдвигает вперед полную нижнюю губку:

— Как они грубы! О, эти мужчины! Кружка пива, водка — и они счастливы. Солдаты! Только солдаты! Но что же теперь делается в Петербурге?.. Брюммер обещался писать и молчит...

— Мамочка, да чего же вы ждете от этого лощеного господина?

— Фике, ты не понимаешь! Ведь это письмо будет из Петербурга! Мой бедный брат, правда, умер, его брак расстроился! Но ведь наш Петр Ульрих — наследник русского престола... Внук Петра Великого. Твой двоюродный братец... Твой кузен! Императрица Елизавета благосклонно относится к тебе, она очень любит европейцев. Образованных. Воспитанных. Ах, какая это великолепная страна — Россия! Какая богатая! А что мы с мужем? Бедняки... Нам приходится таскаться с места на место. По полям сражений... То в Голландии, то в Испании. То на острове Рюгене... Ужасно! Жить в трактирах. Любезно говорить с пьяными офицерами. Невыносимо! Я же не герцогиня. Нет, нет, я просто мать-командирша!

Герцогиня прижала к носу скомканный платочек, скорбно смотрела из-за него на дочку и вдруг всплеснула руками.

— Ведь императрица России Елизавета — это же наша тетка Эльза! Моя невестка! Царствует в России. Веселая. Добрая! У нее, говорят, трон золотой!.. Ах, ах! У нее бриллианты на башмаках! Ах, ах! Ее двор в Петербурге роскошнее Версаля. А какие войска у тетки Эльзы... Такими солдатами можно завоевать весь мир! А вельможи! Красавец к красавцу... Они получают в подарок от государыни по тысяче рабов... По сто тысяч червонцами. Собольи шубы. Ордена с бриллиантами. Золотые табакерки. В Петербурге живет кузен Петер... Там живут сотни немцев. Там дядя Люд-

виг! Там Брюммер... Барон Корф... Это все же наши люди. Там граф Шембелен-Бирндорф... И ты, кузина наследника, могла бы быть тоже там. Это положительно необходимо!

Фриц, старый лакей, вошел неслышно в залу, натягивая нитяные перчатки, доложил в восковое ухо герцогини:

— Эстафета! Экстренно!

— Ваша светлость! — вскочила с места герцогиня, обращаясь у мужу.— Ваша светлость! Благоволите пройти в кабинет...

«Неужели! — думала она.— Неужели!»

В кабинете герцога на полированном столе отразились канделябры с грифонами. Герцог едва успел опуститься в кресло и принять величественный вид, как в дверь шагнул румяный молодой офицер. Он только что сбросил плащ, и снег оставил еще мокрые пятна на его плечах и груди:

— От его величества короля!

Герцог встал, щелкнул каблуками, вытянулся, принял синий пакет за пятью печатями. Жена встала за его плечом.

— Какова дорога? — нарочито бодрым голосом спросил герцог.

— Собачья, ваша светлость! Не пришлось спать! Гнали, как на крыльях!

— Благодарю! — сказал герцог и протянул мясистую руку с перстнем.— Добрая кружка вина доброму офицеру будет как раз впору. Хха-ха!

Отсалютовав, офицер вышел.

— К чему эта фамильярность с подчиненным? — шипела герцогиня, выхватывая пакет у мужа.— Удивительно!

— Я должен думать о том, чтобы мои подчиненные любили меня! — говорил герцог, следя, как жена ловко вскрывала плотную бумагу.

— Боже мой! — воскликнула герцогиня.— Это же из Петербурга! Я взволнована.

— Сомневаюсь, чтобы там было что-нибудь путное, из Петербурга,— ворчал герцог.— Этот пьяница Брюммер...

— Вот именно — Брюммер! Да, это он! — воскликнула герцогиня, потрясая синеватыми листками, выхваченными из конверта.— Именно он! Вы ничего не понимаете, ваша светлость, и очень жаль, что я имею такого мужа. О-о! Слушайте!

И, сунув письмо под самый канделябр, герцогиня читала в лорнет:

— «Государыня моя! — писал Брюммер[1].— Надеюсь, что ваша светлость совершенно уверены, что с тех пор, как я нахожусь в этой стране...»

[1] Приводится дословно, как равно и последующее. *(Авт.)*

— В России! — выразительно отнеслась она к супругу.— Вы понимаете?

Тот кивнул белокурой головой.

— «...в этой стране, я не перестаю трудиться для отечества и величия пресветлейшего герцогского дома. Питая издавна почтение к особе вашей светлости и стараясь убедить вашу светлость не пустыми словами, а и действительными делами в этом, я дни и ночи размышлял — нельзя ли сделать что-либо блистательное для пользы вашей светлости...

Чтобы не терять времени на предисловия, да позволит мне ваша светлость иметь честь с полным удовольствием сообщить вам, в чем дело...

По именному повелению ее императорского величества я должен передать вашей светлости, что августейшая императрица пожелала, чтобы ваша светлость в сопровождении вашей дочери прибыли бы возможно скорее в Россию, в тот город, где будет находиться императорский двор. Ваша светлость слишком просвещенны, чтобы не понять истинного смысла этого нетерпения, с которым ее величество желает скорей увидеть вас здесь, как равно и принцессу, вашу дочь, о которой молва уже сообщила ей много хорошего».

— Боже мой! — воскликнула герцогиня, обернувшись к распятию, что чернело на белой стене над столом.— Боже мой! Благодарю тебя! Какой чудесный Новый год послал ты нашей бедной семье!

— Нам предстоит интересное путешествие! — сказал герцог.

— «В то же время несравненная монархиня наша указала именно предварить вашу светлость, чтобы герцог, супруг ваш, не приезжал вместе с вами...»

Герцог даже приподнялся в кресле:

— Это почему же?

— «Ее императорское величество имеет весьма уважительные причины не желать этого! — выразительно подчеркнула голосом герцогиня слова письма обергофмаршала Брюммера.— Полагаю, ваша светлость, что достаточно одного слова, чтобы воля нашей божественной монархини была выполнена».

Герцогиня дочитала до точки и перевела теперь лорнет на мужа.

— Очевидно, в Петербурге отлично знают, что вы — только бедный солдат, и ничего больше! — с состраданием произнесла она и читала дальше:

«Чтобы ваша светлость не были в затруднении, чтобы вы могли сделать несколько платьев для вас и для вашей дочери и могли не теряя времени предпринять это путеше-

ствие, честь имею приложить к настоящему письму вексель, по которому ваша светлость получит деньги по предъявлении. Правда, сумма скромна, но надобно сказать, ваша светлость, что это сделано с умыслом, чтобы выдача слишком большой суммы не бросилась в глаза тем, кто следит за нашими действиями...

Сообщив вашей светлости, что мне было поручено, позволю себе прибавить, что для удовлетворения излишнего чужого любопытства ваша светлость может объявить, что долг и вежливость требуют от вас поездки в Россию, как для того, чтобы поблагодарить ее императорское величество за неизменную благосклонность, оказываемую ею герцогскому дому, так и для того, чтобы видеть священнейшую из государынь, милостям которой вы хотите поручить себя...

Чтобы ваша светлость знали все обстоятельства, имею честь сообщить вашей светлости, что король Прусский посвящен в этот секрет, и потому ваша светлость может говорить с ним об этом или же не говорить, как найдете более уместным. Что касается меня, то я почтительнейше посоветовал бы вашей светлости поговорить об этом с его величеством королем. Мне затем остается только лишь прибавить, что я с полным почтением и преданностью имею честь быть

Брюммер.

Санкт-Петербург, 17 декабря 1743 году».

Примечание: «Если ваша светлость найдет это удобным, вы можете ехать под именем графини Рейнбек с дочерью до самой Риги, где найдете эскорту, которая вам назначена».

— Боже мой! Боже мой! — шептала герцогиня, сжав седеющую голову обеими руками и раскачиваясь всем телом.— Какое счастье! Силы небесные покровительствуют нам! Неужели же исполнится все, о чем я мечтала в длинные ночи в этом проклятом Штеттине?

— Все это прекрасно,— вымолвил герцог, набивая табаком длинную трубку с бисерным чубуком.— Но почему все-таки никто не хочет спросить по этому поводу моего мнения — мнения отца и мужа?

— Удивительный вопрос! Или вы не понимаете, что пока это дело не вышло из женских рук, оно почти ничего не значит в политическом смысле и, значит, не может вызвать нежелательных осложнений? А потом, что вы понимаете в России? Это мой брат, который был...

— Покойный ваш брат, который был женихом императрицы Елизаветы? Я слышал эту историю уже много раз. Много! Я только очень удивлен, что вы опять начинаете какую-то длинную интригу, из которой ничего не выйдет, как ничего до сих пор не выходило из ваших интриг...

— Согласна с вами! И вполне! Действительно, что вышло из длинной интриги, закончившейся нашим браком? Ничего! Маленький князек в крохотной стране... Захолустный владыка! Несчастная жена!

Герцогиня на момент было заплакала, герцог осторожно молчал. А через полминуты, вытерев глаза, она уже энергично рубила ладонью воздух:

— Чтобы раз навсегда положить конец вашим сомнениям в этой «интриге», я должна сказать вам, что ее ведет не кто иной, как...

— ...?!

— ...его величество король. Да, наш король Фридрих! Вы скоро убедитесь в этом! Но бедная Фике! Найдется ли в ее хрупком теле достаточно сил, чтобы пройти через такие испытания...

— Ручаюсь за нее! — сказал герцог.— Это моя дочь! Дочь прусского солдата.

В дверь постучали.

— Войдите! — крикнул герцог. Снова на пороге стал верный Фриц в старой своей штопаной ливрее.

— Эстафета из Берлина! Экстренно! — объявил он.

Герцогиня всплеснула руками:

— Неужели от-ту-да?

Снова румяный озябший юный офицер с пятнами от талого снега на мундире стал на пороге и, отсалютовав, вручил герцогу пакет с пятью печатями.

— От его величества!

— Ну, какова дорога? — радушно спросил герцог.

— Гнусная, ваша светлость!

— Хха-ха, добрая кружка вина сейчас не повредит,— сказал герцог и хотел было захохотать, но спохватился под ненавидящим взглядом жены.— Вы свободны!

Не успела захлопнуться тяжелая дверь, как пакет очутился в руках Иоганны Елизаветы.

— «Государыня моя кузина! — громко прочла она и уничтожающе посмотрела на супруга.— Не сомневаюсь, что вы уже знаете из писем из Санкт-Петербурга, до какой степени ее императорское величество императрица всероссийская желает, чтобы вы с принцессой, вашей дочерью, приехали к ней, и какие меры приняты императрицей для пополнения расходов, связанных с этим путешествием.

Совершенное почтение, питаемое мною к вам и ко всему, касающемуся вас, обязывает меня сказать вам, какова собственно цель этого путешествия, а доверенность моя к прекрасным качествам вашим позволяет мне надеяться, что вы осторожно отнесетесь к моему сообщению по делу, успех которого вполне зависит от непроницаемости его тайны.

В этой уверенности я не хочу далее скрывать от вас, что вследствие уважения моего к вам и к принцессе, вашей дочери, у меня явилась мысль о браке ее с кузеном, русским наследником...»

— Надеюсь, вы видите теперь, к т о ведет эту «интригу»? — надменно спросила герцогиня у мужа.

И читала дальше:

— «Я приказал хлопотать об этом в глубочайшем секрете, в надежде, что вам это не будет неприятно, хотя при этом встретились некоторые затруднения, особенно же по близкому родству между принцессой и великим князем. Тем не менее найдены уже нами способы устранить эти препятствия, и до последнего времени успех этого предприятия был таков, что я имею все основания надеяться на счастливый исход, если вам будет угодно дать свое согласие пуститься в путь, предлагаемый вам ее императорским величеством. Но так как только немногим известна сия тайна и так как крайне необходимо ее сохранить, то я полагаю, что ее императорское величество желает, чтобы вы таили эту тайну в Германии и чтобы вы особенно позаботились о том, чтобы ее не узнал граф Чернышев, русский посланник в Берлине. Сверх того, меня извещают, что ее императорское величество приказала вручить вам через одну прусскую контору 10 000 дукатов на экипаж и на путевые расходы и что по прибытии в Санкт-Петербург вы получите еще 1000 дукатов на путешествие в Москву. В то же время ее императорское величество желает, чтобы по приезде в Москву вы говорили бы всем, что предприняли это путешествие единственно для принесения ее императорскому величеству личной благодарности за ее милости к вашему покойному брату и вообще ко всей вашей семье.

Вот все, что я могу сообщить вам в настоящее время, и так как я уверен, что вы воспользуетесь этим со всевозможной осторожностью, то был бы бесконечно польщен, если бы вам было угодно согласиться со всем, что я вам сообщил, и парою слов известить меня о вашем взгляде на это дело.

Впрочем, прошу вас верить, что и впредь я не перестану стараться в вашу пользу в этом деле и что остаюсь благосклонным к вам

Фридрих-Rex[1].

Берлин, 30 декабря 1743 году».

Как добрые немецкие супруги, герцогская чета всегда спала вместе на широкой постели под старым штофным одеялом, под траченным молью балдахином, еще вывезенным из Цербста, где наверху парил в облезлой позолоте амур в кольце розового венка, поддерживающий тяжелые, виды видавшие складки. Три последующие длинные январские ночи превратились теперь для дебелого герцога в постоянную пытку, так как супруга-герцогиня не давала ему спать, требуя от него всестороннего обсуждения своих лихорадочных планов.

Тусклое пламя сальной свечки колебалось от дыхания пурги с моря, тени прыгали по углам, худое лицо Иоганны-Елизаветы от возбуждения казалось еще страшнее.

Главным камнем преткновения для герцога было, как себя будет держать Фике в отношении веры их отцов? Герцогская семья была крепкими лютеранами, и поэтому герцог не мог допустить, чтобы его дочь переменила веру так же легко, как она могла менять платье или перчатки. И во всяком случае — к а к она бы смогла принять веру этих русских? Он видел их в Померании — это были казаки, они были страшны, были гадки. У них у каждого в руках нагайка — страшное оружие, которым они истязали людей, одним ударом вырывая из тела куски мяса. А калмыки? Так те еще хуже казаков! У них и глазки маленькие, как у кошек. А когда они бьются пиками, они щерят зубы, как собаки. Они едят детей — да, да, кто же не знает этого? И как наша нежная Фике может принять веру таких людей? Немыслимо!

И тучный герцог, досадуя, ворочался на постели и то и дело попадал либо рукой, либо ногой в прорехи старого одеяла.

— Как, ваша светлость, до сих пор не приказали подать новое одеяло? — сердился он на жену.

— Да, но для того, чтобы иметь одеяла, надо иметь средства!

— Нет, нет! Все-таки я не могу допустить, чтобы моя дочь приняла веру этих варваров,— торопился герцог замять неприятный оборот разговора.— А впрочем, знаете что...

[1] Король *(лат.)*.

Герцог даже сел на постели, поправил вязаный колпак, прикрывавший от блох его уши...

— Если бы вышло так, то, пожалуй, я мог бы получить от императрицы русской тысяч пятнадцать или двадцать таких казаков, чтобы воевать с австрийцами... Хха-ха-ха! Это было бы недурно! Мы с нашим королем Фрицем наломали бы тогда бока «римскому императору»!

Герцогиню волновали другие вопросы. В конце концов дело выгорает, и Фике должна будет вести себя так, чтобы выйти замуж за своего кузена... За наследника русского престола. Но ведь ей только четырнадцать лет! Как ей объяснить, как такую интригу следует вести? Правда, она девочка способная, но все-таки...

— Сколько, сколько ей? — переспросил герцог.

— Пятнадцатый! И вы, отец, не знаете?

— Пятнадцатый? Черт возьми, это не пять лет! Хх-ха! Я, знаете, в пятнадцать лет уже знал кое-что!

— О, эти мужчины! Но все-таки должна ли я говорить об этом с Фике или нет?

— Я думаю, да! — отвечал герцог, валясь в кровать и натягивая на себя одеяло.— Фу, черт, опять дыра! Это священная обязанность матери. И знаете, это лучше сделать в дороге, чтобы она сама не стала здесь болтать... Я потушу свечу, а?

И он улыбнулся в наступившей темноте:

— Кто это там сказал, что Париж стоит обедни? А? А Москва побольше Парижа. Во всяком случае, вы должны хорошо посоветоваться в Берлине с его величеством королем...

И захрапел.

После второй ночи таких разговоров герцогиня приказала мадам Кардель позвать к ней Фике. Девочка явилась и у самого порога высокой двери присела в глубоком реверансе. Герцогиня смотрела на нее в лорнет, оценивая дочь с точки зрения задуманного предприятия:

«Девочка отлично сложена. Да. Благородная осанка. Она выглядит старше своих лет... Лицо не так красиво, но очень, очень приятно. Любезная улыбка очень красит ее облик. Нужно только отучить ее от гордости... Да, да...»

— Принцесса София! — торжественно обратилась герцогиня к дочери.— Вы знаете, что ни его светлость герцог — ваш отец, ни я ничего не жалели для вашего воспитания... Для вашего образования. И мы надеемся, что вы теперь полностью отблагодарите нас за потраченные нами труды.

Фике стояла неподвижно, широко раскрыв голубые глаза, обе сложенные руки держа под девичьей грудью. На правой, на безымянном пальце блестело кольцо с сердечком.

— Я должна объявить вам большую радость! Ее императорское величество императрица России Елизавета, наша добрейшая тетка Эльза, приглашает нас — меня и вас — посетить ее в Петербурге... Да, как добра всегда наша тетя Эльза!

И герцогиня подняла глаза к потолку.

— Фикхен, вы воспитаны очень скромно,— продолжала она,— мы бедны, а между тем вы там увидите самый богатый двор в Европе... Дочь моя, вы понимаете, какая ответственность ложится на вас? Вы понимаете, к а к вы должны держать себя, чтобы полностью использовать этот случай и получить все, что можно получить? Считаете ли вы себя достаточно серьезной для этого или... нам лучше отказаться от путешествия?.. Чтобы не осрамиться!

— Матушка! — рванулась к ней Фикхен, но остановилась в полете.— Обещаю вам, что я буду благоразумна! Я не доставлю вам огорчений!

— Принцесса, я довольна вами... Прежде всего вы должны помнить, что мы едем, чтобы благодарить нашу благодетельницу. Вы, конечно, знаете, что мой покойный брат...

— Был женихом русской императрицы, мама? Знаю, знаю...— И она улыбнулась ясной, доверчивой улыбкой. Ни тени смущения не было в ее хорошеньком, старательно вымытом личике.

«Она похожа на солдата, встречающего опасность лицом к лицу!» — подумала мать, а вслух произнесла:

— Готовьтесь же к отъезду, дорогая Фике!

Сборы не были сложными. Были вытащены из каретников и осмотрены две старые кареты — снегу еще было мало. Фике взяла с собой всего четыре платья, дюжину рубашек, чулки и другое белье. Они, эти дамы, захватили даже простыни. Обеих герцогинь должны были сопровождать только девица Шенк, горничная, да офицер Латторф, чтобы помогать на станциях в пути.

Утро отъезда было хмурое, холодное. Герцог стоял на крыльце, и снежинки блестели в его седеющих волосах. Он был в полной парадной форме, в голубом мундире, заботливо отглаженном Фрицем. Так он навсегда и запомнился дочери — толстый, рослый, большой, без шляпы. Дочь в беличьей шубке бросилась перед ним на крыльце на колени, он ее благословил:

— Всегда помни, что ты немка! — сказал он, обнимая ее, и от него крепко пахло пивом и табаком.

Герцогиня по ступенькам поднялась в карету с висячими рессорами, Латторф забросил ступеньки наверх, закричал «пошел!», и старые колымаги тронулись в путь, скрипя и позванивая при каждом толчке.

11 января 1744 года они уже въезжали в Потсдам, чтобы сделать визит королю Фридриху Прусскому и получить его дальнейшие инструкции.

Глава третья

ИНСТРУКЦИЯ КОРОЛЯ

Герцогиня Иоганна Елизавета перешагнула порог синего кабинета, присела, склоненная в глубоком реверансе, вытянув обе руки по пышной своей робе.

Из-за рабочего, красного дерева бюро с бронзой поднялся и шел к ней его величество Фридрих II. Прусский король.

За герцогиней в почтительном поклоне замер первый министр короля — граф Подевильс.

— Кузина! — воскликнул король.— Рад видеть вас! — И он протянул ей руку, которую она попыталась поцеловать. Хотя рука короля и была вытянута как раз для этого, тем не менее он сам взял руку герцогини и коснулся ее холодными сухими губами.— Я очень рад, государыня моя кузина, что вы решились на такое путешествие! Конечно — одна? Без супруга?

— Таково желание вашего величества.

— Так и следует... От нас, мужчин, слишком крепко пахнет немцем, а в Петербурге бестия Бестужев не любит нас, избранный Богом народ. Женщина же тоньше... Ха-ха!

— Вы льстите дамам, ваше величество!

— Не думаю... Ну хорошо, идем сядем. Вы знаете, в чем дело?

— В основном, ваше величество... Однако иногда ведь детали важнее основного...

Король провел герцогиню к канапе, обитому синим шелком.

— Вы правы. Все в деталях. Но важно и основное — вы лично должны очаровать императрицу, а ваша дочь — Карла Петра Ульриха, наследника русского престола... Они должны быть всецело наши. Очень важно!

— Но принц-наследник — и так добрый немец, ваше величество. Ведь его русская мать умерла через месяц после его рождения.

— Кузина, в нем кровь Петра. Ваша дочь должна сделать так, чтобы великий князь забыл про это... Достаточно ли она хорошая немка для этого?

Граф Подевильс поднял правую руку с отставленным изящно мизинцем в отводящем жесте:

— Но, ваше величество... Едва ли можно сомневаться, что дочь герцога Ангальтского...

— Ну, я пошутил, пошутил... Нам из-за этого брака пришлось вести при русском дворе большую борьбу. О, этот Бестужев! Он ведь стоял за Анну Марию, дочь польского короля. Все это саксонские штучки, вернее — саксонское золото... А чем был бы этот польский брак для Пруссии? Ужасно! Польша давно наш величайший барьер на Востоке. Вот почему я предложил в невесты его высочеству наследнику Петру принцессу из древнего прусского рода. Вашу дочь...

— Но, ваше величество, сами вы имеете прекрасных сестер!

— Государыня моя кузина достаточно проницательна, чтобы понять, что если бы невестой наследника русского престола была сестра прусского короля, на это было бы обращено гораздо больше внимания, чем нужно. А вашей дочери предстоит сделать то же, что сделали бы мои сестры, но она привлечет гораздо меньше внимания... Как я слышу со всех сторон, ваша дочь обладает сильным характером, большими талантами. Мне отлично известно, как относится императрица России к вашей семье, как она до сих пор любит вашего покойного брата... Надеюсь, что вам будет не трудно прирасти к сердцу этой русской боярыни, сентиментальной и простоватой... А главное, я надеюсь, что вы сами тоже останетесь в Петербурге и будете руководить действиями вашей дочери, пока она не станет достаточно взрослой... Граф Подевильс сейчас проинструктирует вас, какую позицию вы займете в Петербурге...

Голова Иоганны Елизаветы сладко кружилась... Какая высокая роль! Какое доверие!

Граф Подевильс начал говорить медленно и веско, посматривая с улыбкой на короля, который слушал, насупившись:

— Ваша светлость должны оказать решающее влияние на ходы русской политики...

Герцогиня взглянула на короля большими черными глазами, полными глубокой преданности.

— Не скрою,— продолжал министр,— ваша задача трудна: многие испытанные политики борются между собою при русском дворе. Англичане не жалеют денег, они щедро платят Бестужеву. Дело в том, что... э-э...

— Э,— махнул рукой Фридрих.— К чему министр, если налицо сам король? Я скажу все сам. Просто мы бедны. Мы очень бедны. Но мы богаты возможностями. Хозяйство Пруссии теперь в образцовом порядке... У нас прекрасные солдаты! Но у нас мало земли! Нам нужна земля! Если бы у нас были такие же возможности, какие имеют эти славянские рабы на Востоке, чего бы мы не могли достичь при немецком трудолюбии? И вы, кузина, должны внушить дочери, что ее немецкой, ее аннибаловой клятвой должно

быть разрушение бестужевской системы европейских сил, обращенной против Пруссии. Россия должна стать для нас тем же, чем для наших отцов была Франция. Я и сам раньше верил во Францию, но тяжелый опыт заставил меня пересмотреть мою точку зрения.

Король вздохнул — голова бедного Катте мелькнула снова перед его глазами.

— Судьба Пруссии на Востоке! Мы отлично можем управиться с этими грязными славянами и перенять на себя тяжелую задачу с плеч западных держав. Россия всегда больше опасна для нас — и вот именно поэтому мы должны быть с ней друзьями. Не дразнить медведя в его берлоге!.. Осторожность! Пятьсот лет тому назад на Восток шли железные полки тевтонских рыцарей... Времена переменились, и сейчас мы — ха-ха! — отправляем туда только двух дам: мы ум предпочитаем силе. И вы, кузина, обязательно должны уметь держать себя так, чтобы никто не подозревал ничего... Россия должна быть с нами, должна делать то, что нам нужно,— и тогда то — да, то, что находится между Россией и Пруссией,— крахнет, как орех во рту Щелкунчика...

— Я догадываюсь, о чем говорит ваше величество! — проницательно прищурив глаза, сказала герцогиня.

— О, никогда не делал из этого секрета,— отозвался король — его глаза загорелись и округлились.— Уже основной политикой моего деда был раздел Польши. Польшу следует ощипать листок за листком, как кочан капусты. Когда-то такой раздел был предложен царю Петру, а тот ответил, что это будто бы противно Богу, совести, чести! Какая ошибка! Ах, как бы пригодились эти польские земли нам, Пруссии!.. О!

Мраморные бюсты великих людей смотрели со шкафов широко открытыми пустыми глазами на короля, который возбужденно бегал по кабинету.

— Конечно, вы не должны думать, что я именно вам поручаю это, ваша светлость... Нет, но я требую того, чтобы вы внушили принцессе — вашей дочери то, что она бы могла шептать своему мужу, русскому императору, на их ложе под золотым балдахином. Вы сами, ваша светлость, верно, тоже ночами шепчетесь с вашим супругом, моим лихим командиром полка, а? Ну, не краснейте! Все женщины одинаковы. Не все же сладость объятий, нужно и дело! — рубил король.— А пока же — и это при всех обстоятельствах — извольте помнить, что я должен быть отлично осведомлен о том, что делается в Петербурге... У меня много информаторов, но умная женщина-информатор — это брильянт! — такая видит даже то, что происходит в душах!

Герцогиня поклонилась с достоинством, показывая, что она вполне рассчитывает оправдать такое высокое доверие.

— Дальше. Вы, конечно, будете много беседовать с русской императрицей. Ваша основная задача — убедить ее, что политика ее канцлера Бестужева — политика ошибочная. Вредная! Опасная! Бестужев должен быть убран — он ставленник Англии. Передайте ее величеству, что я предпочитаю всему Союз Трех Держав — России, Пруссии, Швеции... Мы привлечем сюда и Францию. И первая ваша задача — свалить Бестужева — это облегчит все дальнейшее. Главное — добейтесь самых лучших отношений с императрицей, и, конечно, в память вашего покойного брата.... Не сомневаюсь, она расплачется при виде вас, а ее слезы — отличная смазка для колес нашей политики. Ха-ха!

Аудиенция затянулась, и, когда герцогиня выходила из кабинета, впереди два лакея несли зажженные канделябры. Король шел рядом с нею, поддерживал ее под локоток. Остановившись на площадке широкой мраморной лестницы, король говорил:

— Итак, вы едете, государыня моя кузина. Требую успеха! У моих представителей в России вы всегда встретите помощь и совет. Посланник Мардефельд — старая собака,— он там еще со времен Петра... Ее величество императрица всероссийская любит пышность. Требую, чтобы ваша дочь была вполне импозантна для русской придворной челяди, для двора Северной Семирамиды. Пополните ее гардероб уже здесь, в Берлине,— я слышал, что ваша дочь везет с собой всего четыре платья... Ха-ха!

И он поклонился:

— Счастливый путь, графиня фон Рейнбек!

Было совсем темно, когда герцогиня садилась в свою карету. Узкий новый месяц стоял высоко, и в его бледном свете белела статуя богини Помоны с грудой плодов в охапке. У подножия богини застыл на часах рослый померанский гренадер в высоком медном кивере.

Глава четвертая

ЭКСПЕДИЦИЯ К ВОЛШЕБНОЙ ГОРЕ СЕЗАМ

У Бранденбургских ворот Берлина взвился вверх полосатый шлагбаум, караул выстроился во фрунт, и мимо него проехали две кареты, за ними тянулись подвязанные на случай глубокого снега сани. Герцогиня с дочерью ехали во

второй, время от времени посматривая то в окно, то на распятие на передней стенке кареты.

На ночь остановились на почтовой станции в большом селе. Трудная была ночь! Комнаты для проезжающих не были протоплены, пришлось ночевать вместе с семьей станционного смотрителя в небольшом покое, душном и вонючем, где спали и люди, и куры, и собаки... Стены кишели прусаками. Особенно было много детей, они лежали и пищали везде — на лавках, в люльках, на печке...

— Мама,— сказала Фикхен,— как смешно! Эти ребята разбросаны, словно репа или капуста в амбаре!

И она звонко захохотала.

— Фике,— по-французски отпарировала мать,— вы роняете ваше высокое достоинство! Что за выражения!

Чтобы избавиться от клопов и тараканов, герцогиня приказала составить посреди халупы скамьи и стелить постели на них. Зажгли пару свеч в шандалах... На ужин повар герцогини, толстый и хромой, принес блюдо разогретого мяса с лапшой, и обитатели халупы дивились такому пиршеству.

Улеглись, наступила тишина, лишь за окнами, в трубе на разные голоса завывал ветер, стучал в стены, возился на крыше... По углам кричали, плакали то тут, то там ребята, в стенах шуршали тараканы...

Герцогиня не могла уснуть.

— Фике? Ты спишь?

Нет, она не спала. Она тоже думала.

— Фикхен! Ты догадываешься, зачем мы едем в Россию?

— О, я хорошо помню великого князя наследника! — не смутясь, немедленно ответила Фике.— Я видела его тогда в Эйтине, у дяди Адольфа Фридриха... Четыре года тому назад... Он понравился мне...

И Фике лукавой искоркой взглянула на мать.

— О, ты умная девочка! Ты, значит, понимаешь, чего от тебя хотят. Слушай же, что приказывает твой отец.

Герцогиня держала в руке несколько листков, исписанных острым мужским почерком.

— «Прежде всего,— читала вполголоса герцогиня,— вы должны попытаться устроиться в отношении религии,— нельзя ли будет тебе, по примеру Шарлотты, супруги царевича Алексея Петровича, из Брауншвейгского дома, не принимать веры русских? Вот главное и основное...»

— Ну, это мы посмотрим на месте! — заметила мать.

— «Дочь моя, тебе придется жить и действовать в России,— читала дальше герцогиня,— в совершенно чужой

стране, где правят цари... У тебя не будет никого близкого, верного человека. Тебе будет очень трудно... Поэтому прежде всего молись Богу. Затем ты, не боясь унижения, оказывай высочайшее после Господа Бога почтение к особе ее императорского величества... Ты должна делать для нее все, служить ей вплоть до того, чтобы пожертвовать своей жизнью, если уж так придется, если так сложатся обстоятельства.

После ее императорского величества более всего почитай великого князя наследника как твоего повелителя, господина, отца и при всяком случае добивайся его доверия, его любви. Этого государя, всякое его желание, всякую его волю ты должна предпочитать всем удовольствиям, ставить выше всего на свете. Никогда не делай того, что ему неугодно!

Ты не должна ни в коем случае говорить с кем-либо наедине.

Ты не должна никогда ни за кого ни о чем просить: ведь тот, кто просит, не получив желаемого, станет твоим врагом. А если просящий просимое даже и получит, то твоим врагом станет другая сторона, против которой ты помогла своим ходатайством добиться просимого.

Ни под каким видом не мешайся в государственные дела, дабы не раздражать правительства.

Наконец, никому не оказывай своей дружбы, своего расположения. Ты должна помнить, что твое дело — есть прежде всего твое дело...»

— Вот чему учит тебя отец, дочь моя... Это — сама мудрость! Принимаешь ли ты эти заповеди?

Фике скользнула на колени прямо — мимо коврика — на земляной пол.

— Дорогие родители! — шептала она.— Умоляю вас, будьте уверены — все ваши наставления, все ваши заветы хранятся в моем сердце... Я никогда не оставлю нашей святой веры!

— Встань, подымись, я обниму тебя, моя Фикхен! Со следующей остановки напиши обо всем нашему дорогому фатеру[1]. О, нас только двое, мы женщины, а какая трудная задача лежит на нас!

Мать и дочь сидели, растроганно обнявшись, прижавшись друг к другу. Вдруг на печке захлопали крылья, и неистовый голос петуха загремел оглушительно.

— Вот и полночь! — сказала герцогиня.— Уснем! Надо отдохнуть... Завтра — в дорогу..

[1] Отец (*нем.*).

Следующую ночь ночевали в городке Кеслин в жарко натопленном доме богатого купца, где очень беспокоили мыши, забиравшиеся даже на постель. Фике решила пока не писать отцу — она должна была хорошенько обдумать свой ответ.

Дальше бесснежной тряской дорогой тянулись по унылым равнинам Поморья — Померании — под неистовым ветром с моря. Реку Вислу переехали по льду у города Мариенвердера. Ночевки были ужасны. Дальше — снова по льду переехав морской залив Фришгоф, въехали в Кёнигсберг.

Только тут, в комфортабельном доме магистра, в теплой комнате Фикхен писала до полуночи и наконец запечатала гербовой печатью следующее послание отцу:

«Государь! С совершенным почтением и невыразимой радостью получила я здесь с курьером вашу записку, в которой ваша светлость почтили меня сообщением, что вы здоровы, вспоминаете обо мне, что вы по-прежнему милостивы ко мне. Умоляю вас быть уверенным в том, что все ваши наставления, увещания, все ваши советы навсегда останутся в моем сердце, как в моей душе — навсегда корни нашей святой лютеранской религии.

Я предаю себя Богу и прошу Его дать мне утешение стать достойной ваших милостей, а также всегда иметь хорошие вести от моего дорогого фатера. Остаюсь всю мою жизнь с неизменным почтением к вам, государь, вашей светлости всенижайшая и верная дочь

принцесса София

Кёнигсберг, 27 января 1744 году».

После двухдневного отдыха в Кёнигсберге выехали в направлении на Мемель, затем на Ригу. Утро было туманное, серое. Дорога снова лежала по льду залива Куришгафа. Впереди поезда графини Рейнбек ехали на лошадях местные бородатые рыбаки — разведывали путь, нет ли где опасных полыней. Снегу теперь было много, кареты поставили на полозья, путешественницы надели на лица шерстяные маски с отверстиями для глаз — было очень холодно.

Уже в нескольких верстах от Риги поезд графини Рейнбек встретили русские кавалеристы, скакали рядом с санями, указывая дорогу. Когда переезжали русскую границу — реку Двину,— загрохотал пушечный залп. Въехали под звуки литавр и труб в крепостные ворота, подскакали прямо к дому губернатора. Тут выйти из саней обеим дамам помогал уже ловкий дипломат Семен Кириллович Нарышкин, долго жив-

ший в Лондоне в качестве русского посланника. Его сюда специально командировали из Петербурга — встретить и сопровождать путешественниц. Сам губернатор князь Долгоруков, во главе множества военных и гражданских лиц и представителей населения Риги, в ратуше устроил для высоких гостей торжественный прием.

При появлении матери и дочери в зале приема мужчины склонились перед ними в глубоком поклоне, дамы присели в низких реверансах.

— Ваша светлость! — обратился к Фике губернатор, разгибая спину после глубокого поклона.— Ее императорское величество государыня императрица изволит просить вас принять от нее этот маленький подарок!

Вперед выступили два лакея и на серебряном подносе поднесли князю парчовую шубу на великолепных соболях. Князь Долгоруков принял шубу на обе руки, с поклоном поднес ее Фике, накинул сверху ее немецкого беличьего салопчика.

Девочка в восхищении захлопала было в ладоши, но сдержалась и только прошептала:

— Даже у бабушки в Гамбурге я не видела такого меха! Это просто как сон!

Для герцогини и ее дочери были уже приготовлены покои в доме губернатора, где у крыльца были выставлены почетные часовые. Отъезд матери и дочери из ратуши был отмечен звуками труб и грохотом литавр. Среди первых же явившихся к герцогине с визитом в губернаторский дом ожидал уже приема генерал-аншеф граф Салтыков, командующий армией.

Кругом шла уже не жизнь, а какой-то волшебный сон! Герцогиня и ее дочь неслись теперь в Петербург в длинных красных санях, обитых внутри соболями, лежа на шелковых матрасах. В сани запряжена была восьмерка лошадей. Парча, золотые галуны, позолота ослепительно сияли на зимнем солнце.

В голове огромного кортежа скакал эскадрон кирасир полка его императорского высочества наследника великого князя. За ним неслись сани высоких особ — матери и дочери. На передке саней кроме кучера тряслись на ухабах камергер Нарышкин, шталмейстер Болховитинов, дежурный офицер Измайловского полка, и немец Латторф. На запятках стояли два преображенских офицера и два камер-лакея.

За императорскими санями следовал отряд Лифляндского полка, затем комендант кортежа на коне, сани с девицей Шенк и с туалетами, сани камергера Нарышкина, ряд саней со свитой, сани с продуктами, а затем сани представителей

местного дворянства, магистратов, депутатов... Десятки офицеров скакали по обочинам дороги... Вся дорога была обсажена зелеными елками, ночами полыхали вдоль нее бочки со смолой.

Ехали очень быстро, и 3 февраля въехали в Петербург. С Адмиралтейской пристани загремел пушечный залп. Ровно в полдень весь поезд остановился у крыльца Зимнего дворца. На подъезде герцогиню и ее дочь встретил петербургский губернатор князь Репнин, в санях — четыре статс-дамы, приставленные по повелению императрицы к ее светлости с поручением — немедленно препроводить обеих в Москву.

Императрица Елизавета Петровна жила в это время в любимой своей Москве.

Глава пятая

МОСКВА — ЗОЛОТЫЕ МАКОВКИ

Парикмахер закончил убор императрицы, удалился, и Елизавета Петровна, еще не сняв пудерманта, рассматривала себя при свете свеч в зеркале одного из ее золотых чеканных туалетов. Она по-прежнему была румяна, еще сияли темно-серые глаза из-под соболиных бровей, каштановые волосы отливали золотом.

Царица волновалась. Из поезда Иоганны Елизаветы только что прискакал верховой — герцогиня будет в Москве через час. Через час! Сколько воспоминаний! Перед Елизаветой Петровной так и стоял покойный ее жених, брат герцогини епископ Эйтинский.

Императрица из ящичка туалета достала большое кольцо, алмаз под свечами сверкнул разноцветно: это вот самое кольцо она когда-то хотела надеть на руку своего жениха. Судьба судила иначе!

И слезы выступили у ней на глазах...

Она на русском престоле, она властвует великим народом от Балтийского моря до Тихого океана. А счастья нет... Веселая, простая, больше всего любящая Москву и свое родное село Коломенское, она долго непротивленно, скромно жила при дворах императриц Екатерины и Анны, ничего не домогаясь, ни на что не предъявляя прав. Даже тогда, когда скончалась Анна Ивановна и на престол посадили трехмесячного младенца Ивана Антоновича, она по-прежнему оставалась в добрых отношениях с его матерью, правительницей Анной Леопольдовной из Брауншвейгского дома.

У забытой было русской царевны, однако, нашлись доброжелатели. Придворный врач Лесток, изящный, самоуве-

ренный француз, оставшись как-то с ней наедине в ее покоях, настойчиво убеждал ее, что ее права на престол — несомненны. Что она должна подумать о своих русских. Ведь уступая Анне Леопольдовне, она дает возможность немцам окончательно обсесть всю Россию, как мухи обседают кусок сахара. Он сообщил ей, что такого же мнения держится и французский посланник в Петербурге Шетарди, который просит царевну принять его тоже наедине, строго конфиденциально.

И перед Елизаветой Петровной предстал высокий брюнет — маркиз де ла Шетарди. Розовый кафтан с брюссельскими кружевами сидел на нем превосходно, тупей пудреного парика был перехвачен пышным розовым бантом. Играя фигурным эфесом шпаги, то и дело изящно переступая лаковыми туфлями, маркиз развил перед скромной дочерью Петра такие планы, развернул такие перспективы, что у той дух захватило. В конце концов Шетарди предложил даже средства, чтобы оплатить необходимые расходы по захвату престола.

В ночь на 25 ноября 1741 года, в два часа, Елизавета Петровна, надев сверх своего платья кирасу, подъехала в санях к деревянным казармам Преображенского полка. В санях с ней сидел Лесток, на запятках стояли Воронцов и братья Шуваловы. В других санях ехали — ее любовник Алексей Разумовский, Салтыков. На запятках стояли три гренадера Преображенского полка.

У казармы барабанщик ударил было тревогу, но Лесток кинжалом мгновенно прорезал кожу на барабане, тот умолк. Проснувшимся солдатам Елизавета крикнула:

— Знаете ли вы, чья я дочь? Так вот меня, дочь Петра Великого, немцы хотят заточить в монастырь... Идете ли вы за мной?

— Матушка, мы готовы! Прикажи, матушка, всех перебьем! — кричали солдаты, которым до смерти опостылели немцы.— Матушка, веди нас на супостатов...

Рота преображенцев, подхватив на руки Елизавету Петровну, бегом бросилась во дворец. Правительницу Анну Леопольдовну взяли из постели, посадили под караул, равно как и ее супруга принца Антона Ульриха. Младенца Ивана Антоновича забрала в свой дворец Елизавета. «Брауншвейгское семейство» было ликвидировано, сослано позднее на север, в Холмогоры. Иван Антонович жизнь кончил в Шлиссельбургской крепости.

Красавица, дочь Петра, Елизавета оказалась в одну ночь на русском троне. Вена, столица тогдашней Римской империи, выпустила из своих когтей богатую добычу· Россия оказалась в русских руках.

Жизнь в стране стала проще, спокойнее. Кончилась бироновщина.

Чтобы положить конец интригам и борьбе партий, Елизавета Петровна вызвала из Пруссии и объявила наследником русского престола своего племянника, сына ее родной покойной сестры Анны Петровны, герцогини Голштин-Готторпской.

«...Наследника ее, внука Петра Великого, благоверного государя и великого князя Петра Федоровича!» — было приказано всем дьяконам басить на ектеньях во время церковных служб.

И дьяконы басили усердно: они-то не знали, что великая княгиня Анна Петровна давным-давно отказалась от всяких прав на престол и за себя, и за свое потомство...

И вот теперь в Москву едет Иоганна Елизавета, родная сестра ее первой любви, ее красавца жениха... С дочерью... С Фике... Какое смешное имя — Фике! Но говорят — девочка очень умна, способна... Портрет ее давно уже здесь — хороша собой. Она будет хорошей парой для великого князя Петра Федоровича... Прекрасно! Будет вокруг нее, царицы, любящая семья... Ведь он, наследник, племянник ей, да и Фике тоже племянница...

По синей вечерней дороге к Тверской заставе в это время во весь опор летели красные сани, и впереди и позади них ныряли другие сани, рысили конные отряды, по обочинам дороги скакали офицеры, в голове верховые сыпали искры из смоляных факелов. Камер-юнкер граф Сиверс встретил поезд в селе Всехсвятском и, сбросив шубу, стоя в глубоком снегу в чулках и туфлях, приветствовал герцогиню, а потом скромно пристроился на передок ее саней. Улицы Москвы были запружены народом, звонили колокола в церквах, и скоро у Головинского деревянного дворца в Лефортове, где жила императрица, загремел пушечный салют. Сани вскакали на двор, подкатили к подъезду, в сенях толпились придворные, генералы, офицеры, духовенство. К ручке герцогини подошли ее давний корреспондент, длинноносый, большеглазый обер-гофмаршал Брюммер и граф Лесток. Фике в своих покоях еще не успела сбросить своей новой собольей шубы, как настежь распахнулись двери и между канделябров в руках камер-лакеев, сияя молодостью, вступил длинный, угловатый подросток, громко топоча ногами в высоких прусских ботфортах,— великий князь — наследник Петр Федорович.

— Кузина! — пронзительным голосом кричал Петр Федорович по-немецки.— Кузина! Мы с вами давно знакомы... Вы помните меня? Но как долго вы ехали! Мы готовы были лететь вам навстречу!

И Петр подошел к ручке обеих дам. Разговор шел на немецком, на французском языках, сыпались восклицания, шутки, взрывы смеха следовали один за другим. Это сборище иностранцев было упоено богатой, сытой, счастливой, легкой, бездельной жизнью в чужой им стране. Сияли люстры, бра, хрустали на подвесках, жирандолях, золотые багеты на шелковых обоях.

На пороге позолоченных дверей вырос камер-лакей в красном кафтане с позументами, в белых чулках:

— Ее императорское величество, государыня императрица просит к себе дорогих гостей...

— Что такое? Что такое? — засуетилась Иоганна Елизавета — она не поняла ни слова на этом чужом языке.

Фон Брюммер перевел ей слова камер-лакея на немецкий.

— Фике! Дочь моя. Идем, идем сейчас же... Фикхен... Следуй за мной...

Императрица ждала гостей в покоях рядом со своей опочивальней, стояла посреди большой комнаты, высокая, стройная, в желтом атласном платье, зорко смотрела на входивших.

Герцогиню она признала сразу же по ее необыкновенному сходству с покойным братом и сама пошла к ней навстречу. Иоганна Елизавета и Фике присели в глубоком реверансе, поцеловали руку государыни, и герцогиня заговорила по-французски:

— Государыня! Я приехала только лишь затем, чтобы повергнуть к стопам вашего императорского величества чувства живейшей признательности. Вы излили на мою семью и на меня саму столько благодеяний! Все новые и новые знаки вашего благоволения сопровождали меня, каждый шаг мой во владениях вашего величества. У меня нет других заслуг перед вами, кроме одной — я так живо чувствую эти благодеяния! И я решаюсь снова просить ваших благодеяний для меня, для моей семьи, для моей дочери, которую ваше величество удостоили дозволения сопровождать меня в этой поездке...

Императрица обняла герцогиню, усадила в кресло против себя и долго всматривалась в черты ее лица, волнуясь, глубоко дыша:

— Все, что сделала я,— ничто в сравнении с тем, что я хотела бы сделать для всей вашей семьи. Знайте, что моя собственная кровь мне не дороже вашей. И я хочу, чтобы так продолжалось всегда. Чтобы скрепить эти чувства, примите от меня на память этот перстень, который должен был быть на руке вашего брата в день моего с ним обручения.

Императрица встала, передала кольцо и быстро вышла в опочивальню: она волновалась, душили слезы, она хотела

их скрыть. Все замолкли, потрясенные минутой. Фике не отрываясь смотрела на мать, а та чувствовала, что у нее словно растут крылья: любовь этой владычицы огромных земель, миллионов людей окутывала ее как светлым облаком.

Императрица скоро вернулась успокоенная, подозвала к себе Фике, поцеловала ее.

— Вы очаровательны, принцесса! — сказала она.— О как я счастлива собрать вокруг себя моих милых, дорогих родных здесь, в моей родной Москве. Смотрите!

Императрица встала и, подойдя к окну, приподняла тяжелую гардину. Круглая луна сияла над снежной улицей, под ней повисло светлое облачко с серебряным краем. Далеко, над низкими темными грудами домов, блестели под лунным светом башни и соборы Кремля.

— Смотрите, Фике! Вот она, наша Москва! — сказала она.— Полюбите ее так, как я люблю ее!

Завязался опять разговор быстрый, легкий с виду, но настороженный внутри, пока наконец императрица не сказала, блеснув в улыбке жемчугом зубов:

— Но мы забыли за радостью встречи, что наши гости устали, что им надо отдохнуть с дороги... Завтра уже мы поговорим обо всем...

Герцогиня, удалившись к себе, долго сидела в шлафроке в кресле у постели, уронив руки на колени, пока девица Шенк тараторила без умолку, раскладывая вещи в гардероб.

— Какие люди! А как грубы! Как смешны! Все на улице в овечьем меху. В шерстяных сапогах! И лица у мужчин тоже все в шерсти. Хи-хи! Здесь славно бы поработали немецкие цирюльники. Женщины накрашены, как ситцы. Все время крестятся... И знаете, ваша светлость, они смотрят на нас, чужестранцев, как на ангелов с неба. Или как на колдунов?..

Иоганна Елизавета болтовни не слушала. В ее душе все еще музыкой звенели слова: «Моя собственная кровь для меня не дороже вашей...» Так, так она сказала. Она, наша милая тетушка Эльза! О, эти русские! Они готовы на какие угодно жертвы ради семьи. Это значит, что и задача, возложенная на нее его величеством, королем Прусским, будет выполнена без труда. Я попрошу просто тетку Эльзу сбросить этого, как его.. Бестужева... Выгнать... Пруссия тогда будет иметь такие отношения с Россией, какие ей нужны.

— Да, русские особенные люди! — отозвалась наконец герцогиня на болтовню своей камеристки.— Посмотрите, дорогая, спит ли Фике? Пододвиньте кресло к столику и дайте бумагу и перья...

Девица Шенк, неслышно скользя по паркету, заглянула в соседний покой. Там было темно, лунные пятна лежали на паркете. Фике не отозвалась.

— Принцесса почивает! — прошептала девица Шенк, ставя на столик золотую чернильницу, кладя лебединое очиненное перо и бумагу.— Барышня умаялась с дороги... А правду ли говорят, ваша светлость, что ее светлость принцесса приехала, чтобы выйти замуж за принца-наследника? О, какое счастье!

— Фрейлейн! — строго прикрикнула герцогиня.— Предупреждаю, если вы будете повторять такие глупости, я отправлю вас обратно в Штеттин.

— Ах, нет! Ах, нет! — воскликнула та, молниеносно хватая с кресел и убирая разбросанные принадлежности туалета герцогини.

А когда она уходила и оглянулась на госпожу, брови на ее носатом лице играли лукаво.

Перо герцогини быстро бежало по бумаге, описывая супругу грандиозную встречу и прием в Москве:

«...Мне говорили, что когда мы с принцессой, вашей дочерью, подъехали к подъезду дворца и проходили сенями, то императрица вышла инкогнито нам навстречу, набросив на себя шубу и кружевную шаль на голову, и, смешавшись с толпой придворных, сквозь кружева рассматривала нас... О, мы будем жить теперь, как королевы...»

Фикхен же не спала. Она свернулась клубочком под шелком и пухом, в душе ее росла уверенность, что она должна выиграть так счастливо начатую игру. Игра наверняка. Она могла только выиграть... Что ей было терять? Дом в Штеттине, на Домштрассе, № 761? Бедное детство? А она могла бы стать... Ух, подумать страшно! Стать супругой такого могущественного царя, как Петр Федорович!

Когда Фике наконец уснула, сон ее не был спокоен. Ей снилось бурное море, серое, зеленое, тревожное, над ним звенел унылый колокол... Его звон потом разросся до неистового трезвона, который она слышала в России. Бурное море сменилось снежными бесконечными полями, над которыми свистела, выла снежная метель. Метель эта наваливалась ближе, ближе, кружилась, плясала вокруг постели, и было уже видно, что это не буран, не снег, а люди, бесконечные люди, мужчины с бородами, женщины в платках... Потом из метели вынырнуло бородатое лицо мужика, которого она встретила в последнем яме[1] перед Москвой под

[1] Ям — почтовая станция. Отсюда — ямщик *(монг.)*.

странным названием Черная Грязь. Мужик смотрел на нее грозными, огненными очами...

Фике проснулась оттого, что и впрямь гудели, трезвонили московские колокола и девица Шенк стояла перед ней, повторяя:

— Ваша светлость! Извольте же проснуться!

Фикхен потягивалась, терла кулачками глаза, выгибала свой девичий торс. А девица Шенк тараторила:

— Вам надо одеться и идти к обедне... Вам и вашей матушке сегодня будет пожалован самый большой орден в России для дам — Святой Екатерины.— И округлив глаза: — Весь в бриллиантах.

Тоненькая Фике скоро стояла перед высоким зеркалом, окруженная толпой дебелых русских девушек и дам... Две камер-дамы помогали девице Шенк.

— Как это называется по-русски? — вдруг спросила Фике, оборачиваясь к камер-даме Нарышкиной и указывая на платье.

Тучная дама присела в реверансе:

— П л а т ь е, ваша светлость!

— П а л я т ь е! — повторила Фикхен и всплеснула руками, отчего ее худые лопатки прыгнули и задвигались.— Хи-хи! П а л я т ь е! Я буду учить русский язык! — заключила она решительно.

Камер-дама, баронесса фон Менгден, говорила важно и осанисто:

— Вы будете учить все, ваша светлость! И русский язык. И в особенности русскую веру... Православие! К вам уже назначен учитель — архимандрит Симон.

— Но как же мне учиться, если я еще не знаю ни слова по-русски?

— Ваша светлость, архимандрит Симон окончил богословский факультет в Галле!

— П а л я т ь е! — твердила Фике, надевая через голову облако голубой материи.— О, как смешно! П а л я т ь е! Хи-хи!

Обедня в придворной церкви прошла громово, блистательно. Фике смирно стояла за крупной императрицей, смотрела, как та усердно крестилась, била поклоны... Вот она стала на колени... Это было, конечно, смешно, но все сделали так же, и Фике тоже легко, пушинкой, опустилась за императрицей на колени. Все окружающие были приятно поражены и сочувственно затрясли головами. Только наследник, стоявший чуть сбоку, вдруг сделал ей смешной жест рукой, Фике увидала, что он удерживал смех.

— Чему вы смеялись? — спросила она юношу уже во дворце, когда он подошел к ней после службы.

— Но ведь все это так глупо! — сказал он.— Я бы, знаете, остриг всех этих долгогривых попов, заставил бы и их носить немецкое платье. Все в России должны быть похожи на немцев...

— Но разве нужно нарушать обычай?

— Реформация — это и есть нарушение обычаев! — ответил тот и посмотрел важно вверх, где на плафоне плавали белотелые нимфы.— Я — лютеранин...

Фике позавидовала. Вот что значит наследник. Великий князь. Он может делать все, что хочет. А ей, бедной принцессе, нужно приглядываться к обстановке, чтобы не навлечь гнева тетки Эльзы.

Впрочем, церемония с пожалованием ордена прошла прекрасно.

На церемонию пожаловал канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Ему было уже под шестьдесят, но высокий, стройный, с энергичным подбородком, в темно-синем кафтане, с одной только алмазной звездой, в пудреном парике, он высоко нес свою седую голову среди расступившихся придворных. Когда он стал позади императрицы, на него быстро искоса глянул маркиз де ла Шетарди в апельсиновом кафтане, повернулся и обменялся взглядом с графом Лестоком, высокие белые волны парика которого падали по обеим щекам пухлого носатого лица.

Бестужев стоял поперек горла этим французам. Маркиз де ла Шетарди вместе с Лестоком оказал Елизавете Петровне, правда, большую службу — помог захватить ей родительский престол. После переворота 25 ноября — богато пожалованный — маркиз де ла Шетарди отъехал во Францию, а теперь снова появился при дворе в качестве частного лица, продолжая свою какую-то интригу.

— О, Шетарди при русском дворе — это конфетка для нас! — отозвался о нем Фридрих, король Прусский, когда получил донесение о возвращении его в Петербург от старого прусского представителя в Петербурге барона Мардефельда.

Помогая Елизавете Петровне захватить престол, Шетарди имел свои скрытые цели. В своих тогдашних донесениях к статс-секретарю Амело, французскому министру иностранных дел, Шетарди писал секретно:

«Если Елизавете Петровне помочь пройти к трону, то можно быть уверенным, что то, что ей пришлось претерпеть от немцев, и ее страстная любовь к русским заставят ее удалить от себя всех иноземцев и всецело положиться на русских. По своей неудержимой склонности она из Петербурга переедет жить в Москву, откажется от морского фло-

та, от сильного войска, и, таким образом, Россия будет возвращена к той старине, которую неудачно старались восстановить Долгорукие во времена царствования Петра Второго. Не сомневаюсь, что миролюбивая Елизавета вернет Швеции все русские завоевания — Ливонию, Эстляндию, Ингрию и даже выстроенный Петром Петербург».

Когда же заговор удался, Шетарди снова доносил во Францию:

«Совершившийся переворот — конец петровской России. Дальше ей идти некуда! Новая императрица не будет назначать иностранцев на высокие посты, и Россия, предоставленная себе, обратится в ничтожество...»

Ободренный такими вестями, прусский король и аннексировал немедленно Силезию у Австрии.

Однако Алексей Петрович Бестужев был против этой политики.

— Оставляя все, касающееся лично меня, в стороне,— заявил он,— отказываясь от всякого прихлёбства, от дружбы, от ненависти или партикулярной вражды, от всего, что может быть названо страстью, мы должны положить предел Пруссии. Прусский король слишком захватничает!

Бестужев держался старого плана русской политики в Европе, который был еще принят при Петре.

— России,— говорил он,— не следует входить в союз Пруссии, Швеции и затем Франции, как это предлагал Фридрих.

Бестужев стоял за союз России с Англией и Голландией как морскими державами и с Австрией и Саксонией. Такой союз сам охватывал кольцом Францию, Пруссию, Швецию.

Появление герцогини Ангальт-Цербстской и ее дочери Фике в Петербурге прошло без ведома Бестужева и не могло быть ему приятно. Он догадывался, конечно, о том, кто провел это дело. Однако умный дипломат не выразил открыто своего неудовольствия и теперь в церкви с благосклонной улыбкой любовался свежестью юной Фикхен.

— Очень мила, очень,— сказал он своему соседу, потянувшись всем телом к его уху, но при этом так, что шепот был слышен и другим. И этот шепот дошел до ушей Елизаветы Петровны, проник в ее сердце, она расцвела доброй улыбкой.

После богослужения Бестужев, целуя руку царицы, сказал, что нужно бы учить принцессу русскому языку.

— А как же, батюшка Алексей Петрович! Как же! Чать, знаем. Ададуров Василий Петрович пусть ее и учит... И архимандрит Симон закону православному...

...Московская весна все больше и больше вступала в права, таяли сугробы, сверкали серебром ручьи, с фигурных

крыш дворца дворники сбрасывали снег, а Фике сидела за бесконечными уроками.

— Буки-аз — ба...— твердила она, жмурясь в окно от блеска снега.— Веди-он — во... Иже-мыслете — им... Покойность — пе... Импе... Рцы-аз — ра... Импера... Твердо-рцы-иже — ри. Императри...ц-а — ца... Императрица! Фуй, как трудно...

Закон Божий, тот, пожалуй, еще труднее. Архимандрит Симон учил ее Символу веры. Фике должна была выучить по-русски наизусть все двенадцать членов Символа и объяснить их, что доказало бы, что она уже созрела для перехода в православие.

Это было трудно, однако совершенно необходимо. Императрица, сидя в своей опочивальне в широких креслах, уже сказала ее матери:

— Вы понимаете, зачем я пригласила вас сюда в Москву? Правда? По-русски говорится так — «у вас товар, у нас купец». Дорогая сестра, мы с вами будем счастливы, когда наши дети поженятся. Не правда ли?

— О да! Это будет само счастье!

Обе дамы сидели, крепко схватившись за руки, сквозь слезы радости смотря друг другу в лицо.

— Ваше величество позволит сказать об этом моей маленькой Фикхен? Да? Она должна будет просить разрешения на брак у нашего доброго фатера!

— Конечно, можете! Фике! Фике! София! Ее имя нужно будет изменить... Пусть она носит имя моей дорогой матери. Пусть будет Екатериной... Не правда ли, сестрица?

— О, ваше величество. Такая честь для девочки носить имя вашей матушки...

И взволнованная герцогиня прижала платочек к губам.

— Поскорей же обручим наших дорогих детей! Это такая радость — быть женихом и невестой...— говорила императрица, и воспоминания снова туманили ее глаза.— Однако до обручения принцесса должна стать православной...

— Ваше величество,— замялась герцогиня,— мой супруг, его светлость, поручил мне просить ваше величество, чтобы сделать так, как это было сделано при браке вашего брата, великого князя Алексея Петровича, с принцессой Шарлоттой... Принцессе тогда ваш отец великий Петр разрешил сохранить ее веру!

— Ну и что же хорошего вышло? Оба и померли! — вдруг без церемоний оборвала эти осторожные возражения Елизавета Петровна.— Ну? Оставим бесполезный разговор! К тому же жених, великий князь Петр, стал православным вполне по убеждению... Никаких иных решений этого вопроса быть не может, и я, право, удивлена, сестрица, что вы подняли его!

Сжав губы, императрица повернула лицо в сторону. Действительно; как это можно осмеливаться сомневаться в православии?

Иоганна Елизавета, досадуя на себя за свою неловкость, соскочила с кресла и присела с извинением в глубоком реверансе. Для чего было заикаться об этом? Это портило ведь отношения с «сестрицей». Это герцог толкнул ее своей запиской. Как глупо!

И скоро герцогу Христиану Августу было отправлено письмо, в котором жена писала ему так:

«Я выслушала, что мне говорил архимандрит Симон, и, клянусь Богом, не вижу в православной вере ничего нечестивого. И в катехизисе Лютера и Символе веры русских — совершенно одинаковые учения. И дочь наша клянется мне, что в этой русской вере нет ничего, что бы отталкивало ее».

Фикхен тоже написала отцу, что никакого существенного различия между православием и лютеранством она не видит и поэтому могла бы переменить религию...

Но как же труден этот русский язык! Фике зубрила его до беспамятства. Всматриваясь в толстые, румяные губы Ададурова, шевелящиеся червяками в его густой бороде, она старалась овладеть русским выговором. Она должна говорить, как русская! А церковнославянский язык! Это просто ужас... И, закрыв руками уши, упершись локтями в наборный столик, Фикхен повторяла часами Символ веры:

— «Распятого же за ны, страдавша и погребенна и воскресшего в третий день по писанию...»

Она вскакивала ночью, вылезала из-под балдахина и шлепала босыми ногами по гладкому паркету, твердя все одно и то же, ломая язык:

— «Иже со отцем и сыном споклоняема и славима, глаголившего пророки...»

Во время таких ночных занятий Фикхен простудилась и серьезно заболела. Металась в жару, бредила, бормотала в беспамятстве эти странные славянские слова, а девица Шенк ломала руки, сверкала глазками и рассказывала всем причину заболевания принцессы:

— Ее светлость слишком усиленно занималась религией... Слишком много училась... Это и убило ее...

Когда Елизавета Петровна узнала это, слезы умиления выступили у нее на глазах.. Она упала на колени перед целым иконостасом, занимавшим угол в ее опочивальне, и усердно молилась о выздоровлении этой героической девушки. Какая радость! Как будет счастлив ее муж, внук Петра!

Фикхен лечили лучшие врачи, и сам Лесток не отходил от ее постели. Болезнь прогрессировала, опасались рокового

хода. Фридрих-король в Берлине получал все время бюллетени о здоровье: он боялся, что она умрет... Все тогда рухнет! А что будет, если она умрет без покаяния? Это очень тревожило императрицу. Ведь так умер ее жених! И однажды, наклонившись над больной девушкой, гладя ее тонкие черные волосы над бледным горячим лбом, императрица спросила тихонько:

— Фике! Фикхен! Хочешь, мы позовем к тебе священника? Тебе будет легче...

Фике не отвечала.

— Мы позвали к тебе лютеранского пастора... Он ждет... Поговори с ним.

Бледные губы больной зашевелились.

— Не надо пастора! — с трудом прошептала она.— Позовите ко мне отца Симона!

— Ах ты милая! Ах ты умница! — по-русски запричитала императрица.— Да как это правильно...

Услышав про это, весь двор качал головами и повторял:

— Как умна эта девочка!

По общему признанию, Фикхен была спасена доктором Лестоком, который потребовал энергичного кровопускания. Близкий человек к императрице, он пользовался непререкаемым авторитетом. Мать больной воспротивилась было предложению Лестока, больная слишком малокровна... Она может не выдержать обильной потери крови... Потребовалось вмешательство самой императрицы, которая приказала пустить кровь и осталась очень недовольна Иоганной Елизаветой...

Вообще герцогиня вела себя не очень ловко. Неосмотрительно. Нетактично. Занятая политическими разговорами и обширной перепиской с заграничными корреспондентами своими, она мало бывала у постели больной... Она увлекалась нарядами. Графине Румянцевой было приказано заменить мать у постели больной. И особенно зорко следил за действиями Иоганны Елизаветы Бестужев.

Крепкая натура Фике выдержала способы лечения Лестока, она стала поправляться. Слабая, худая, с поредевшими волосами, она была так бледна, что государыня прислала ей баночку румян и приказала румяниться при появлении в обществе.

Каждый свой приезд в Москву императрица отмечала по обещанию хождением пешком на богомолье в Троице-Сергиеву обитель, в 60 верстах от Москвы. Этими богомольями государыня благодарила Господа Бога за удачный переворт, а также и за то, что когда-то Троице-Сергиев монастырь приютил ее отца, Петра Алексеевича, когда ему пришлось спасаться туда в глухую ночь от стрелецкого заговора. И

в этом году государыня двинулась из Москвы на богомолье 1 июня, на Троицу.

Весна уже отошла, деревья были в свежей, душистой зелени, поля покрылись дружными всходами... Погода стояла ведренная, солнце грело, воздух был легок и приятен, по временам потягивало из оврагов сыростью, ландышами, запоздалой черемухой. По старой Ярославской дороге двигалось многолюдное шествие. К шествию присоединялись крестные ходы из попутных сельских церквей, и крупные золотые искры сверкали на окладах икон, на хоругвях, на высоких медных фонарях. Под навесом красных сукон, опираясь на посох, шла среди этой живой гудящей толпы императрица, покрытая черным платком в роспуск. Синий дым ладана пах сладко, раздавалось волнами церковное пение, мольбы нищих и убогих о милостыне, истошные кликания кликуш, завывание юродивых, окрики на лошадей, брань. В небе таяли облака, над полями еще звенели жаворонки...

За царским богомольем тянулся огромный придворный обоз, ехало также и много торговых людей с палатками, со сбитнем, с калачами, с евтой разного рода, с медведями, балаганами.

Елизавета Петровна любила эти старинные богомолья, торжественные, пышные обряды. Она отдыхала в них от придворной сутолоки, от интриг. Она хорошо знала, что такие богомолья крепко поддерживают ее популярность в народе. Народ любил «Петровну», которая, как простая крестьянка, запросто шагала десятки верст по жаре и пыли, веселая, простая, доступная к просьбам. Иностранные наблюдатели со злорадным любопытством видели здесь, как Петербург уступал свое место старому московскому покою.

Фикхен, конечно, идти пешком в монастырь после болезни не могла, нечего было и думать.

— Идти тебе будет трудно, милая,— сказала ей императрица, зайдя к ней проститься перед выходом. Елизавета Петровна была в черном платье и в нем казалась еще статней, стройней.— Ты поедешь в карете через три дня и нагонишь нас в Клементьевой слободе... Посмотришь, как мы будем входить в монастырь со всем народом...

— А великий князь? — спросила Фикхен.

— Он пойдет со мной!

Карета на висячих рессорах покачивалась, шестерик серых в яблоках коней бежал дружно, Фикхен, сидя рядом с матерью, смотрела в раскрытое окно. Мимо бежали, кружились леса, поля, бескрайние шири, зубчатый от елок горизонт, невысокие пологие холмы, темные, бурые избы де-

ревень со слепыми окнами, которые не веселили даже пестрые наличники.

— Мама, как все это не похоже на нашу Пруссию! — сказала Фикхен.— Как здесь просторно!

Белостенная лавра с ее золотыми куполами, в зеленых цветущих садах захлебнулась народом... Неумолчно трезвонили лаврские колокола... Подходили к монастырю, и колокола звонили все громче, громче, река народа текла в Святые ворота[1].

Фике двигалась в толпе за императрицей, ее поддерживали под руки камер-фрау, она смотрела с изумлением, как ворота эти внутри были расписаны страшными картинами мучений. Грешников кололи вилами, поджаривали на огне, топили в кипятке черные, красные, зеленые черти. Нищая братия — хромые, слепые, калеки, убогие со страшными язвами на теле,— толпясь, сидя у ворот, заунывно пели, прославляя щедроты нищелюбивых владык, намекая им очень прозрачно на непрочность этого земного мира. Крестьяне — мужики и бабы, в смурых кафтанах, в цветной пестряди, в красных платках — по пути всего шествия стояли поосторонь дороги в два ряда, все время крестились, высоко взмахивая руками, били земные поклоны, и их серые, черные, голубые глаза на широких лицах, то белых, то бородатых, горели страстно и самозабвенно.

Императрица шла плавно, ровно свечка. Она тоже молилась... Кивнула Фике и великому князю, чтобы те держались поближе к ней, и теперь вела их к тому месту в старом соборе, где справа от алтаря под разноцветными лампадами стоит серебряная рака с мощами святителя Сергия. Императрица опустилась на колени, и вместе стали на колени прусские принц и принцесса. Гремели певчие, архиепископ Новгородский в золотой шапке благословлял народ, глаза у него горели как угли.

Императрица прикладывалась к мощам, за нею — Петр Федорович, за ним Фикхен первой. Даже великий князь и то выглядел притихшим, а у Фикхен от волнения сохло во рту, тряслись ноги.

Прикладываясь к серебряной раке, великий князь не мог не сошкольничать: он дрыгнул очень смешно ногой в лакированном ботфорте!

Фике осторожно осмотрела окружающие ее лица — заметил кто-нибудь выходку князя? Нет, лица все непроницаемо спокойны так же, как и раньше! Не заметили ничего — а может, просто и подумать не могут о таком кощунстве — так просты эти люди.

[1] Главные ворота.

И все же Фике подумала про князя — это может когда-нибудь плохо кончиться. Как он не боится?

Прошло два дня, и отдохнувшая, уже окрепшая Фике сидела на широком подоконнике монастырского окна и смотрела сквозь качающиеся плети зеленой березы на залитый солнцем монастырь. Фике была в легком барежевом платье, с ниткой жемчуга на тоненькой шейке. Герцогиня Иоганна Елизавета сидела в кресле и спокойно читала только что полученное из Штеттина письмо.

Приотворилась дверь, сперва заглянула камер-фрау княгиня Гагарина, затем дверь распахнулась во всю ширину, и как всегда шумно вошел великий князь. Он был в зеленом мундире с красными отворотами, при голубой ленте и звезде, в белых лосинах и ботфортах. Поцеловал руку у герцогини и, сияя, как само июньское утро, подошел к Фике, уселся рядом на подоконник.

— Доброе утро! — сказал он.— Вы хорошо спали, Фике? Я спал превосходно! Как медведь в лесу!

— Медведь?

— Ну да! А вы не знаете, что русские медведи спят всю зиму? Не просыпаясь! Да и сами русские похожи на медведей. Вам не кажется?

— Вам не следовало бы говорить так, ваше высочество! — сказала Фике, оглядываясь на другую дверь, из-за которой доносился громкий голос государыни...

— Вот еще! Ну что ж! Я буду медвежьим царем, только и всего. Ха-ха! Но как вы в этом платье похожи на ангела... Хочется вас поцеловать, как русские целуют иконы...

— Ваше высочество! Вы опять!

— Почему же нет? Разве мы не жених и невеста! Разве вам не хочется быть и разговаривать со мною?

Фике опустила глаза, она была смущена. Оглянувшись на ушедшую в чтение герцогиню, великий князь тихо сказал:

— Знаете что, Фике? Я вас научу одной русской фразе — повторяйте ее за мной!

И он стал говорить раздельно, с немецким акцентом:

— Дай Бох, штоп скорей било то, чего мы так оба шелаем... Вы понимаете, что это значит, Фикхен? Мы оба хотим, чтобы нас поскорей обвенчали: это будет так — ха-ха-ха — интересно...

Дверь в покои, где была императрица, отворилась, показался доктор граф Лесток, как всегда — в черном кафтане, огляделся и, кусая бритую верхнюю губу, поклонился герцогине Иоганне Елизавете, сказал очень значительно:

— Ваша светлость, ее величество просит вас к себе...

Герцогиня подняла было вопросительно брови, ответный взгляд был очень серьезен. Она быстро встала, свернула письмо, спрятала его за корсаж и, оправив пышные фижмы платья, двинулась в незакрытую Лестоком дверь. Лесток прошел за нею.

— Что такое? — спросила Фике у великого князя.

— А, наверное, опять какой-нибудь разговор! — махнул тот в ответ рукой.— Слушайте, Фике, скажите: вы целовались когда-нибудь?

Фике продолжала весело болтать, однако чувствовала, что дело за дверями не так-то просто, как кажется оно великому князю. Отвечая на его то вольные, то нелепые вопросы, смеясь его неловким шуткам, она внутренне словно прислушивалась к тому, что происходило за дверью, откуда доносился временами голос Елизаветы.

Дверь внезапно раскрылась, оттуда спиной вперед уходил Лесток. Остановившись на пороге, он отвесил глубокий поклон в комнату, откуда выходил, закрыл аккуратно дверь, повернулся, посмотрел на юную пару.

— Смеетесь? — спросил он шепотом.— Ну, скоро вашей радости конец!

— Что, что такое? — спросил великий князь.

Лесток обратился к Фике:

— Вам, пожалуй, придется скоро уехать отсюда! — сказал он.— Вы поедете домой...

Фике заплакала:

— Почему?

— Узнаете скоро! — ответил Лесток и ушел.

— О,— шепотом сказал великий князь.— Пожалуй, я знаю, в чем дело.... Но это не касается вас, кузина! Виновата ваша матушка, а не вы...

А за дверью императрица быстро ходила из угла в угол, ломая руки. Ее полное выразительное лицо было в красных пятнах, глаза горели. На круглом столе лежали ворохом бумаги, шевелились, когда государыня быстро проходила мимо них. Иоганна Елизавета стояла у окна, опустив голову, и только движения ее рук показывали, что она хочет что-то сказать, как-то ворваться в речь царицы. Но не смеет.

— Ваша светлость! — разгневанно говорила Елизавета.— Что все это значит? Я отогрела на груди моей змею... Не сестру, как я называла вас в моем ослеплении, а змею. Именно змею!

— Ваше величество,— бормотала герцогиня,— ваше величество,— и жалостно моргала.

— Замолчите, низкая женщина... Эти письма говорят все. О, я поняла теперь, почему вы все так против Бестужева:

вы хотите его сбросить, чтобы потом король Прусский взял меня голыми руками. Бестужев правильно сделал, что вскрыл эти письма господина Шетарди... Он... вот где предатель! Негодяй! Да разве он сам, этот Шетарди, не настаивал на том, чтобы я заняла этот трон по праву рождения? А что он пишет в этих письмах? Что я ничем не занимаюсь. Что я ленива... Что подписываю бумаги, не читая их. Что к дёлам выказываю «совершенное омерзение»... Что «всем естеством предана увеселениям». Боже мой! — всплеснула она руками.— Боже мой! И еще — «она по четыре раза на день меняет платья»... И это пишет Шетарди!

— Ваше величество... Но ведь это же не мои заявления!

— Неправда! Ты с ними! Ты постоянно прихлёбствуешь перед Шетарди. Ты в переписке с королем Прусским! Вот они, твои письма! Ты пишешь ему, будто бы имеешь на меня сильное влияние, что я тебя зову сестрой и что ты свалишь Бестужева... Мне известно, что ты в своих кувертах пересылаешь за своей печатью секретные донесения королю Прусскому... Шлешь их во Францию. Ты в переписке со шведским королем. С нашим врагом. Ты в заговоре с Мардефельдом... Ты передаешь ему все наши сердечные разговоры. Мардефельд пишет королю, что ты работаешь против Бестужева. Кругом меня шпионы... Шетарди платит деньги даже моим горничным... О, вот вы все таковы, эти нищие немецкие князья, которые едут в Россию, чтобы влезть в наше доверие... Нет, этого больше не будет!

Сев за стол, императрица быстро перебрала бумаги и, схватив гусиное перо, одну из них подписала так, что перо затрещало и брызнуло: «Елисавет».

— Вот,— сказала она.— Я подписала указ о высылке Шетарди... Его привез сегодня Бестужев. И Мардефельд тоже зажился здесь... Двадцать лет! Больше. Я потребую, чтобы король тоже убрал его...

Она помолчала, посмотрела на герцогиню:

— А к тебе, прости, я не могу теперь относиться так же, как относилась до сих пор...

Гремя тяжелым шелком платья, императрица быстро вышла из комнаты и задержалась: Фике с женихом сидели рядышком на фоне зелени на залитом солнцем окне. Фике, вытягивая губки, старательно твердила по-русски:

— Дай Бох, чтобы скорей било то, чего мы так оба шелаем!

Увидав расстроенную императрицу, она спрыгнула с подоконника, за ней обрушился на пол и великий князь.

Императрица грустно улыбнулась, подошла к ним, поцеловала обоих.

— Милые дети! — сказала она.— Вы-то ни в чем не виноваты! Не беспокойтесь! Майор Веселкин уже отправлен с письмом к твоему отцу, Фике. Скоро он вернется, и тогда «будет то, чего вы так оба желаете»...

Императрица двинулась дальше, но приостановилась:

— Но прежде всего, Фике, ты должна стать православной! Вы сами видите здесь, в монастыре, какая это сила в народе...

Не взглянув на показавшуюся в дверях герцогиню, императрица ушла.

20 июня императрица вернулась с богомолья в Москву, и в тот же день майор Веселкин привез из Штеттина согласие фатера герцога Христиана Августа на брак его дочери. Увидев это письмо, великий князь от радости потерял голову. Он целовал бумагу, он, засунув за обшлаг рукава, таскал ее всюду с собой, показывал всем, читал всем, начиная со своих лакеев...

Христиан Август тактично писал, что он «усматривает в этом избрании Фике руку Божью», благословляет дочь на брак и только хочет, чтобы в брачном договоре было точно оговорено, что Фике «будет обеспечена содержанием и владениями в Голштинии и Лифляндии на случай ее вдовства».

На 28 июня было назначено указом исповедание веры принцессой Ангальт-Цербстской и присоединение к православию, а на 29 июня, как раз в Петров день, ее обручение с великим князем-наследником.

Канун дня перемены веры Фике провела в одиночестве в своих покоях. Постилась, но ночь проспала очень крепко, а утром, в среду, к 10 часам явилась к обедне в дворцовую церковь. Она была прелестна во всем цвете красоты и молодости.

В церкви собрались двор, сенат, генералитет, дипломаты. Посреди церкви поставили помост, крытый красным сукном, принцесса смело поднялась на него.

Фикхен по-русски очень выразительно, чисто прочла Символ веры от слова до слова и толково ответила на вопросы архиепископа Амвросия Новгородского.

Да разве можно было сравнивать, как она читала «Верую» и как читал его раньше великий князь-наследник! Тогда к двери дворцовой церкви в Петербурге пришлось приставить караул, чтобы случаем не зашел кто-нибудь из посторонних. Великий князь не хотел учить русский язык, а на настояния его учителя Исаака Веселовского истерически орал подчас:

— Русский язык! Брюммер же ведь мне говорил, что этот подлый язык годится только для рабов и для собак!

А здесь — такой чистый русский выговор... Почти без акцента!

Все были очень тронуты, многие даже плакали. Диакон впервые мощно проревел на ектении прошение за «благоверную княгиню Екатерину Алексеевну».

Исчезла милая и смелая девочка Фикхен, эта Золушка из унылого Штеттина, и на отличившуюся героиню опять пролился сверкающий дождь подарков. От императрицы она получила великолепный бриллиантовый браслет с портретами жениха и невесты.

После веселого ужина все общество переехало из Головинского дворца в Кремлевский, а утром тысячепудовые колокола Ивана Великого звали народ к обедне...

Императрица, двор, сенат и вся знать стояли в Успенском соборе среди его круглых колонн, под старыми фресками, помнящими еще Софью — Зою Палеолог, византийскую царевну. С амвона был зачитан высочайший указ о том, что «наследник наш, сын нашей возлюбленной сестры Анны Петровны, обручается с принцессой Ангальт-Цербстской».

Императрица сама надела кольца на руки жениха и невесты... Какая светлая радость!

Вскоре обрученные Петр и Екатерина с доброй теткой Эльзой поехали опять на богомолье, теперь уже в Киев.

Свадьба Петра Третьего и Екатерины Второй состоялась в Петербурге в августе следующего, 1745 года, по церемониалу, выработанному по версальскому образцу. На утренней заре Петербург был пробужден пятью ударами пушек. К 6 часам утра уже начался съезд персон в Зимний дворец. В 11 — в Казанский собор двинулась торжественная процессия... Для народа было выставлено угощение — жареные быки, бочки с вином, целые горы хлеба. Вечером на Неве был зажжен великолепный фейерверк!.

Торжества шли не только в России, но и в Германии.

В Штеттине гимназисты пели торжественную оду фатеру великой княгини, восхваляя успехи его дочери. Была затем разыграна опера «Соединение любви в браке».

В Киле, родном городе Петра Федоровича, в Голштинской академии студенты тоже пели торжественную кантату:

Как только ты в Москву вступила,
Так все сердца заворожила!

Штеттинская Золушка добилась того, чего она так хотела... Рядом с ней на широкой постели спал жестоко пьяный ее муж — наследник русского престола.

Пил он с десяти лет...

Глава шестая

ПОБЕДА ПРИ ГРОСС-ЕГЕРСДОРФЕ

— Фридрих-король — захватчик! Он — землекрад! Так о нем разуметь должно!

Проговорив это, императрица Елизавета хлопнула рукой по столу, зазвенел бокал. Была она в большом возбуждении, лицо все в красных пятнах, то и дело хваталась она за сердце, задыхалась. Однако речь ее была тверда.

— Ежели он теперь мир получит — что сие значит? Значит, он, король Прусский, в Силезии утвердился! Тогда он и дале пойдет, земли забирать будет... Сейчас он в Саксонию рвется, саксонцев в свои войска набирает... А коли он Терезию-королеву тоже к рукам приберет, то у него столько силы будет, что сможет делать все, что захочет. И Англия теперь с ним заодно... Он, господин Вильямс, английский посланник, мягко стелет, а спать нам будет жестко. Раньше, при батюшке, Россия в Европе первой силой была, а нам теперь из чужих рук смотреть, что ли? Срам!

Государыня так задохнулась, что присутствующие сострадательно опустили глаза. Канцлер Бестужев полез было в карман камзола за своими «Бестужевскими каплями», но императрица отстранила его руку.

— А как нам отступать перед Фридрихом? — продолжала она.— Да разве он настоящий государь? Нет! Бога он не боится, он не верит, кощунствует над верой, над святыми издевается, в церковь не ходит, с женой не живет... Ни обещаний своих, ни договоров не держит... Что он сегодня обещал, в чем обнадеживал — завтра же забудет... Перед всем миром лжецом себя показать не боится, ежели только своей выгоды достичь думает.

Такой острый разговор шел в интимном кругу в Петергофском дворце. Ужин был окончен, но, несмотря на теплый вечер, окна закрыты. Свечи в бра на голубых с золотом стенах, в канделябрах на столе оплывали воском. Во главе стола сидел граф Разумовский с своей постоянной добродушной улыбкой, молчал, как всегда,— этот супруг Елизаветы был в стеганом штофном халате, с фуляром на шее — чувствовал себя нездоровым. Кроме него и Бестужева вок-

руг стола в красных креслах сидели князь Трубецкой да графы Иван и Александр Шуваловы. Но сегодня в этом тесном кругу был еще один приглашенный — Степан Федорович Апраксин.

Громадного роста, брюхатый, в оранжевом, шитом серебром кафтане, в пышных буклях, при пудреном тупее, этот вельможа внимательно слушал речь императрицы. Здесь были все самые близкие, самые доверенные ее люди, здесь все говорилось откровенно. Сюда не допускались даже слуги — стол по звонку опускался под пол и подымался снова с переменными блюдами.

Апраксин смотрел на государыню жалостливо, думал: «А и сдала же ты, лебедь белая... Ай-ай, ну и сдала».

В ту пору здоровье императрицы тревожило многих: умрет «Петровна» — станет императором великий князь Петр с супругой Екатериной... Немцы! Дело-то совсем по-иному пойдет! Поэтому и приходилось быть осторожным и не очень торопиться...

— А зачем же нам, матушка-государыня, с прусским-то королем воевать? — спросил Апраксин.— Мы и так ради Австрии сколько с турком-то народу положили... Ежели король у Австрии Силезию отхватил — не наше это дело...

— Степан Федорович,— укорила императрица.— Как тебе, старому, не грех? Да ежели у соседа пожар, так огонь-то и нас захватить может! Ежели у Фридриха-короля губу разъест — так он и на нас войной пойдет... Да что я тебе говорю. Вот тебе Алексей Петрович лучше объяснит.

А в соседнем полутемном покое, где горела лишь пара свеч, тихо двигались три тени. Великий князь, наследник Петр крался на цыпочках вперед, за ним его супруга, в хвосте — секретарь наследника Волков Димитрий Васильевич. Подойдя к стене того покоя, за которой ужинали, великий князь Петр вытащил затычку в одном из завитков золотого багета: у него там была уже заранее просверлена дырка, у которой они оба с супругой стали подслушивать. Волков почтительно стоял поодаль.

Говорил Бестужев, и речь его, как всегда, была очень уклончива:

— Конечно, его величество король Прусский любит забирать себе, что плохо лежит, и посему могут воспоследовать для нас опасности. Войско собрать, чтобы против него идти, нам нужно, но как же собрать войско? Нужны деньги! А денег нету. Нет! Ваше величество слишком добры, слишком много кругом жалуете денег... А кроме того, нужно еще посмотреть, как король Прусский действовать будет...

— Алексей Петрович! — вскричала императрица.— Да что ты! Ты же прежде всегда говаривал, что королю Прусскому ходу давать никак нельзя. А ежели денег нет, то я на войну и свои отдам, платья продам, бриллианты... На паперти с рукой стану — пусть народ помогает... И мне помогут...

— Ваше величество! Мы раньше всего Англии руку держали, как батюшка ваш, светлой памяти Петр-император, нам указал. А нынче Англия — с прусским королем в союзе. Нам посему нужно осторожными быть — Англия-то против них воевать не пойдет...

— Воевать надобно, хоть ты умри,— сказала гневно императрица.— Граф Степан Федорович! Тебе, как старому батюшкину сотруднику, поручаю — командуй армией... Начинай готовиться — людей соберем тысяч сто — нам больше всех надо силы иметь. Ну и австрийцы тоже помогут... король Французский тоже наступать на пруссаков обещался... Ты королю Прусскому диверсии делай — так, чтобы он про то заранее не прознал.. Секретно... Иди, как тебе Господь на душу положит,— или на Пруссию прямо, либо влево прими — через Польшу, через Силезию... Подойди-ка ты сюда!

Тряся плечами, животом, Степан Федорович подошел к креслу императрицы, тяжело опустился на одно колено. Та поцеловала его в лоб, поднялась и ушла.

Через полчаса после того великий князь, наследник престола Петр быстро ходил по своему кабинету, по временам задерживаясь перед столом, чтобы хлебнуть из кружки рому. Полы его кафтана так и раздувались во все стороны...

— Диктуйте! — говорил он по-немецки.— Диктуйте, Фике! Пусть его величество король Прусский знает, как здесь злоумышляют против него. Ага! «Диверсию»! Ага! О, ничего, мы-то будем знать, как пойдет Апраксин с армией... Вот они русские! Никакой верности к великим людям!.. Диктуйте, Фике! Отправить все это через английского посланника Вильямса вместе с голштинскими бумагами...

Фике тихо диктовала:

— «Императрица сказала в ответ на уклончивый отказ Бестужева, что она готова продать свои платья и бриллианты, чтобы только вести войну противу вашего величества».

Под ее диктовку усердно скрипел пером круглоголовый толстый немец Штембке, главный правитель по голштинским делам при великом князе Петре Федоровиче. Ему было жарко, он даже скинул парик... Весь дворец спал, и работа шла безо всякой помехи.

— О, эти русские! — бормотал пьяный наследник.— Азиаты! Варвары! Его величество король Прусский недавно пи-

шет мне: «Не доверяйте русским! Не доверяйте!» О, я не доверяю. Самой тетке Эльзе и то не могу я доверять... Императрица не доверяет внуку Петра Великого! Недурно было бы просто кончить эту канитель с теткой... Пятьсот голштинцев входят во дворец ночью. Прямо в спальню... Я — впереди, шпага наголо — рраз! И готово... Я — император русских... Это было бы, пожалуй, не хуже того, что делает сейчас король Прусский... Хха-ха-ха!

Великий князь снова хватил рому, встал, пошатываясь, и закурил трубку от свечки.

— Ловко я придумал дырку в стене! — хвастался он.— А! Колоссаль! Теперь я буду знать все, что думают эти старые мешки с трухой. Скоро я буду на престоле... Я должен знать, кто и что из них думает, заранее... О, тогда они подожмут хвосты, прикусят языки. А этот тюфяк Апраксин! Неужели же мы его не задержим? Вы написали об этом его величеству? Король все должен знать! Все! Никаких секретов.

— У вас, ваше высочество, любой секрет громче пушечного выстрела,— улыбаясь, сказала Екатерина, отрываясь от диктовки.

И продолжала:

— «И назначила главнокомандующим графа Апраксина...»

Когда донесение прусскому королю было закончено, Екатерина поднялась, присела в реверансе:

— Ваше высочество! Разрешите мне удалиться. Голштинские дела кончены.

Только это теперь и объединяло еще мужа и жену, Петра и Екатерину — немецкие дела, и Фикхен отлично помогала в них своему мужу, герцогу Голштинскому. Жили же они врозь.

Великая княгиня Екатерина шла теперь по глухому коридору. Горели редкие кенкеты, статуями цепенели часовые. Стены, скульптуры, картины проносились мимо, словно ее мысли. Это были минуты, когда Фике оставалась наедине с собой.

«Сколько же это будет еще тянуться? Положительно невыносимо видеть все время перед собой пьяного дурака в качестве мужа. Великий князь — глуп! Бахвал! Пьяница! Его голштинцы для русских, словно вода на раскаленные камни. Свалялся с Лизкой Воронцовой, а та глупа, и он еще больше глупеет. Но пойти прямо против — нельзя! Или п о к а нельзя? Но разве нельзя уже сейчас думать о другом? Бестужев уже советовал императрице Елизавете отослать великого князя в его Голштинию... А наследником кого? Ну, сынок мой, Павел Петрович... Однако это не удается — тетка Эльза любит вот своего дурака племянника, любит как свою кро-

вушку, любит, как простая русская баба. Сынка своей сестры Анюты. Надрывно. Жалостливо любит... Чем он хуже — тем больше жалости... А между тем...»

Ведь высокий, в душистых сединах, еще красивый — при прощальной своей аудиенции говорил ей наедине прусский посланник Мардефельд:

— Ваше высочество! Я вынужден покинуть Петербург, где я прожил четверть века. Я работал здесь при великом Петре... О, я знаю русских, и я уверен, что вы будете царствовать... Знаю, ее величество Елизавета Петровна рвет с Пруссией, но вы исправите это положение.

Екатерина Алексеевна уже подходила к своим покоям, взялась за ручку двери, задержалась.

И решила:

«Надо снова поговорить с Бестужевым. Он так любезно помог мне вернуть отозванного в Польшу графа Понятовского».

Отворив дверь, она оказалась лицом к лицу с приставленной к ней Владиславлевой... Шпионкой... Та вскочила, присела в реверансе. Екатерина, заложив руки за голову, упала в мягкое кресло.

— Устали, ваше высочество? Много же у вас этих голштинских дел!

— Это как с ребенком,— отвечала Фике.— Чем меньше страна, тем больше с нею хлопот. Немец Штембке туп, как только могут быть тупы немцы... А как ваш муж?

Екатерина Алексеевна болтала еще полчаса с этой русской камер-фрау, расспрашивала ее о муже, о ребенке. О родственниках. Все в мельчайших подробностях.

Это не было простым любопытством — это был метод. Екатерина Алексеевна всегда много говорила с придворными дамами. На всех праздниках, куртагах, обедах, вечерах, балах она всегда подходила к ним, особенно к старушкам. Расспрашивала об их здоровье, о здоровье их семейных, в случае болезней советовала разные лекарства, слушала их рассказы о том, как раньше хорошо было жить и почему именно хорошо, о том, как теперь стало скучно. Как теперь испорчена молодежь... Великая княгиня расспрашивала, как зовут их мосек, болонок, попугаев, дур, шутов... Она помнила все именины этих дам и посылала им в такой день с придворным лакеем поздравления, цветы, фрукты из придворных оранжерей. И немного времени понадобилось для того, чтобы эти добрые и недалекие женские сердца и острые языки разнесли славу об Екатерине Алексеевне по всей огромной стране, по всем провинциальным и уездным городам, по самым захолустным помещичьим усадьбам —

какая это добрая, хорошая женщина... Ну, совсем, совсем как русская!

Бестужев пожаловал в покои великой княгини Екатерины завтра же, в солнечный полдень. Отвесил низкий поклон, подошел к ручке.

На малиновом пуфе Бестужев сидел очень картинно, в своем нарочито скромном кафтане, в Андреевской синей ленте, скользя разговором по последним новостям. Наконец Фике, оглядевшись, заговорила другим, твердым голосом:

— Надеюсь, Алексей Петрович, нам теперь с вами по дороге? Мы с вами — друзья, не правда ли?

— Или, ваше высочество, мы когда-нибудь ссорились? Умные люди не ссорятся! Просто долго не могли договориться!

— Ну, а теперь можем! Аглицкий посол Вильямс мне хвалился, что он вам, Алексею Петровичу, с королем Прусским полный аккорд установил. Англия в союзе с Пруссией... Прусский король — друг английского короля, а кто друг английского короля — тот и ваш друг. Не правда ли? Прошлое забыто, да?

— Кто прошлое помянет — тому глаз вон! — шутил Бестужев.— Рад служить вашему высочеству! Главное, это все держать в крепком секрете. И еще — прошу подтвердить его величеству, королю Прусскому, что мне требуется, сверх полученных, еще десять тысяч дукатов, чтобы через других персон политику вернее делать...

— Каким образом полагаете?

— Много мы пока сделать не сможем. Следует только как можно дольше Апраксина задерживать, чтобы король Прусский тем временем мог сначала с австрийцами рассчитаться. Я так считаю, что раньше, чем через год, Апраксин армии не соберет, а за год много воды утечет, много разных событий может совершиться... Вы, ваше высочество, так Апраксина околдуйте, чтобы он в спящую красавицу обратился... Хе-хе... В промедлении теперь вся наша сила!..

— А как же думает сам Апраксин?

— Был он конем, да уездился! Императрица его за то выбрала, что он под ее родителем служил... Верно! Да ему и воевать-то почти не пришлось. Он на войнах только толстел! Генерал-фельдмаршал он — по придворной службе: сам толст, а нюх у него очень тонкий. Чует, что дело при дворе хитро, теперь скоро пойдет по-новому. Он шкуру свою беречь еще за службу в Персии выучился. Он со мной хорош, и я ему, конечно, посоветую — не торопись-де, Степан Федорович, все в одночасье измениться может!

— А как здоровье ее величества?

— Все мы, ваше высочество, под Богом ходим, а государыня и того больше.

Он вздохнул:

— Ежечасно конфузии ждать возможно... М-да!

Оба собеседника молчали, зорко глядя друг на друга.

— Все же императрица приказала собирать армию?

— Так точно, ваше высочество! Такое право у нее осталось! Ну, дворяне закряхтят, а все будут давать рекрутов на разверстке...

— А если бы дворяне отказались давать солдат?

Бестужев развел руками, поднял плечи.

— Невозможно, ваше высочество! Немыслимо! Русский дворянин — не то, что дворянин немецкий, французский. Польский даже, наконец. Там дворяне свободны, а у нас они рабы. Они должны служить всю свою жизнь. Императрица прикажет, люди будут набраны. Будут! Но главное — денег-то у нас нет... Так и доложите его величеству королю. Нету! Не знаю, что из этого сбору выйдет!

И из Петербурга в Берлин градом посыпались сообщения о военных приготовлениях. Первым информатором короля был английский посланник Вильямс. Петербург порвал прямые дипломатические отношения с Пруссией еще в 1750 году, но Англия вступила в союз с Пруссией, не порывая с Россией, и Вильямс, связанный с Бестужевым, держал короля Прусского в полном курсе петербургских дел. Теперь же Бестужев сошелся и с «молодым двором», то есть со двором наследника Петра Федоровича и его супруги, креатуры прусского короля, и теперь в Берлине точно загодя знали, какие шаги предпринимает русское правительство еще до распубликования указов.

Часто теперь бывало, что английский дипломатический курьер из Петербурга ехал только до Берлина — дальше материалы везли уже пруссаки. Король Прусский ведь давно «отправил в Петербург осла, груженного золотом», как сам он однажды картинно выразился.

Все эти стекавшиеся к нему вести о русских военных приготовлениях король Прусский встречал чрезвычайно заносчиво.

— Наплевать мне на них! — кричал он, бегая взад и вперед по кабинету.— Ничего другого не желаю, только того, чтобы русские вступили в Пруссию! Тогда я буду подбрасывать их в воздух, как борзая — лису!

Покамест король так фанфарил, события в России набирали свой ход.

В августе 1756 года священники во всех церквах прочитали царский манифест «О несправедливых действиях

прусского короля противу союзных России держав — Австрии и Польши», и губернские и уездные власти начали набор.

Манифест этот объявлял войну прусскому королю:

«Не только целость верных наших союзников, святость нашего слова и сопряженные с этим честь и достоинство, но и безопасность собственной нашей империи требует — не отлагать нашу действительную против сего нападения помощь».

Народ слушал, а газета «Петербургские ведомости» от 11 октября того же 1756 года сообщала:

«Приготовления к отправлению многочисленной русской армии на помощь союзникам Австрии и Польше с необыкновенной ревностью продолжаются. В Риге уже находится знатная часть артиллерии, да отправлено туда из здешнего арсенала еще на мореходных судах великое число орудий. В то же время с крайним поспешением на расставленных нарочито на дороге подводах везут из Москвы 30 полевых гаубиц.

Главный командир армии, его превосходительство генерал-фельдмаршал и кавалер Степан Федорович Апраксин к отъезду своему в Ригу находится совсем в готовности, куда отправленный наперед его полевой экипаж уже прибыл. Также и прочему генералитету и офицерам уже крепко подтверждено — немедленно при своих местах быть...»

Главнокомандующий двинулся в Ригу — огромным поездом, а ему вдогонку императрица Елизавета отправила подарки — соболий мех большой да легкий, чтобы от холодов в шатре укрываться, да еще столовый серебряный сервиз — в восемьдесят пудов весом: Апраксин любил пышно поесть и угостить.

Только по началу нового, 1757 года набранные полки со всей России двинулись в поход. В городах на площадях служили молебны, солдаты стояли в рядах, в зеленых мундирах, треуголках да в серых плащах, духовенство голосисто пело «о победе и одолении». Колонны выступали за полосатые городские заставы с распяленными двуглавыми орлами на столбах, шли на запад — на Москву, Петербург, Ригу. Звонили колокола, играла полковая музыка, кругом бежал, плакал, голосил народ, и рота за ротой уходили за распущенным полковым знаменем. Пехота месила ногами сперва снег, потом грязь, потом пыль, щепетко рысили кавалерийские полки, казаки с пиками, калмыки в красных азямах на низеньких лошадках. Дыбом была поднята служилая, крепостная Русь.

Солдаты были большей частью из крестьян, из «подлого» — из черного сословия, офицеры — из дворян. В бесконечных обозах ехали бесчисленные палатки для солдат, у каждого офицера шли в обозе и заводные лошади да многие подводы с вещами, со слугами, с запасами деревенского продовольствия, с палаткой, с парадной и теплой одеждой. Седые командиры ехали верхом впереди, офицеры поостороньк дороги, то и дело жалостно озираясь на последние взгляды провожавших жен и любимых из-под шляпок коробочками, из куньих, собольих воротников.

Дороги и снежные дали их всех уводили на запад. Яркие февральские утренние и вечерние морозные зори сменялись легкими заморозками марта, свежим дыханием апреля, а они шли и шли, ночуя в городах, в деревнях, а то прямо на снегу, в палатках, стягиваясь со всех сторон звездой к Риге.

Куда же они шли? Зачем?

О, это они знали твердо — они шли воевать против немца. Утопая в снегу, в грязи, подымая первую пыль, они все думали простую свою обиженную думу про одного из всех немцев немца, про курляндского герцога Бирона, что родом был из конюхов. Думали про тех, других бесчисленных немцев, что под разными именами и титулами, чинами и званием правили и командовали народом из Санкт-Петербурга вот уже четверть столетия. Они шли против тех самых немцев, которые сидели уже на провинциях губернаторами, генералами. Против немцев, которые им до смерти надоели, которые или жирели, или сохли в качестве управителей именьями занятых в столице на государственной службе дворян, немцев, которые не давали народу дышать... Солдаты отлично знали, что немцы — народ старательный, грамотный, но знали и то, что они стараются только для себя и что надо поэтому на них иметь управу. Они знали, что немцев позвал в Россию Петр Великий, чтобы от них учиться, но сам-то он им ходу не давал, выдвигал вперед своих. И крестьяне в зеленых солдатских мундирах, в треуголках, в серых плащах знали это пусть неясно, неотчетливо, но зато так доходчиво просто и твердо, как знали они былое счастье и грозы своей страны по песням, по народным стихам, по старинным былинам.

В рядах этих полков шагали старые служаки, ходившие еще с Петром Первым в Европу, бывавшие там и в Силезии, и в Мекленбурге, и в Дании, и в Померании — в тех местах, в которые и теперь идти приходилось. Они рассказывали молодым, как ходили они по Европе, как Карла XII били и гоняли, первого европейского воина. Этот Карл, похоже, вот так же, как и король Прусский, тоже нахрапом действовал.

Знали они, что с Россией худо было бы, ежели б того Карлу под Полтавой не укоротили! Быть бы теперь России под шведом! Этого самого и король Прусский хочет, ишь сколько он своих к нам наслал! А прусского короля русский солдат, однако, разобьет...

И от таких мыслей и слов горели солдатские сердца и головы. Они любили свою землю, любили и свою жизнь, и свою землю они любили больше, чем жизнь,— земля ведь давала им жизнь.

Офицеры — ну те знали больше, они ведь из дворян, они из полков езживали в отпуска и за амуницией, и за оружием в Москву, в Петербург, слыхивали там, что люди говорят. Офицеры знали хорошо, как однажды гренадерская рота Преображенского полка на руках внесла Елизавету, дочь Петра, в Зимний дворец, посадили ее там на трон, а главное — как выволокли из дворца всех забравшихся туда немцев, целое «Брауншвейгское семейство» с Анной Леопольдовной во главе, правившей Россией за своего сына — трехмесячного малютку императора Ивана Антоновича. Они знали, как тогда сослали из Петербурга Миниха, Остермана, Левенвольде... И они тоже знали, что многое множество немцев тем не менее застряли по провинциям, по уездам, в Сенате, в армии, в канцеляриях, в Академии наук... Они слыхивали веселые рассказы, как славный академик Михайло Ломоносов в великом гневе бивал этих немцев... А пуще всего они знали, что в Пруссии теперь появился уже немец из немцев, король Прусский, который на все законы Божеские и человеческие плюет и только себе да своим немцам выгоды ищет, чужие земли под себя забирает, захватывает. Они и шепоты слыхали, что-де и в Петербурге есть у прусского короля обожатель, живет он племянником при императрице Елизавете как государь-наследник Петр Федорович, во всем волю прусского короля творит, русских не любит, над ними смеется, против русского народа идет. Однако чем больше знали офицеры, тем больше они молчали: у них кроме жизни было еще кое-что, чего они терять не хотели,— их поместья.

Хорошо тоже знали про это горожане, мещане, купцы в городах и в столицах. Мурчали даже помаленьку, что-де армия что-то уж очень медленно собирается да тихо идет... Ин, должно быть, пруссаков-то бить неудобно? В «Ведомостях» и то уже писано было, что-де «русская армия пошла было в поход, да и пропала», а тому-де, кто ее найдет, «награда великая будет»... Смеялись так с досады — Россию надо было от биронов освобождать!

В апреле месяце, словно речки в половодные озера, стали наконец стекаться под Ригу русские полки. Зеленые поля да луга перед рижскими островерхими домами с красными черепичными кровлями среди зелени садов, перед ее башнями с золочеными флюгарками, перед ее замками да стенами покрылись, что снегом, белыми солдатскими палатками. Много людей сюда сошлось — людно, конно, оружно... Тут было пехоты 31 полк — 28 мушкетерских да 3 гренадерских полка, да кавалерии регулярной 19 полков — 5 кирасирских, 3 драгунских, 5 гусарских, 6 конногренадерских... Да еще прибавь к этому казаков 14 тысяч, да казанских татар, да калмыков до 3 тысяч... Да артиллерия... Да особо под охраной стоявшие новые секретные шуваловские гаубицы, прикрытые медными сковородами, опечатанными печатями, при них еще команды особые офицерские, которые только стрелять из них и могли, дабы неприятель раньше времени их секрета не проведал... А всего народу тут было собрано до полутораста тысяч!

— Шапками пруссака замечем! — говорили солдаты.— Ишь ты какая сила собралась... Чего деется! — Солдаты так и толкутся, как комарики на заре. То бегут пешие с приказаниями, то конные ординарцы скачут... Обозов одних видимо-невидимо понаставлено — у одного главнокомандующего пятьсот своих собственных подвод было!

29 апреля вышел приказ: чинно, благопристойно пройти через Ригу-город по наведенному мосту — выйти за Двину-реку, где в трех верстах от Риги стать лагерем. Через город шли полки церемониально, в мундирах первого срока, у всех в треуголках зеленые веточки воткнуты, цветки. Публика нарядная все окна, все балконы, крыши, валы усеяла, стоят, смотрят во все глаза — кака сила на Пруссию идет...

А за городом — у моста — два шатра белых, с золотыми яблоками наверху. Около них — сам главнокомандующий, его высокопревосходительство генерал-фельдмаршал, граф Апраксин. Большой боярин, весь в орденах да в звездах, кругом генералы, свита, дамы нарядные, музыка играет... И прошла тут парадом перед фельдмаршалом Апраксиным вся его армия, на три дивизии разделенная.

Первой дивизией сам граф Апраксин и командовал.

Второй — генерал-аншеф Лопухин Василий Абрамович.

Третьей — генерал-аншеф граф Фермор Вилим Вилимович.

3 мая дальше пошли. Главнокомандующий вперед проехал, армия во фрунте стояла, знамена ему преклоняла — Апраксин ехал медведь медведем, на гнедом жеребце с алым чепраком. Всех объехал Апраксин, поздравил с походом...

— Ур-р-ра! — кричали полки.— Ур-р-ра!

Пушки ударили, белым дымом стрельнули, эхо так и каталось между Двиной и дубовой рощей. Забили барабаны, заиграла музыка, войско пошло в поход...

Две дивизии пошли на Курляндию, а там через Польшу, Жмудию — в Пруссию. Третья же дивизия приняла вправо, пошла на Мемель, куда вошел уже русский флот из Кронштадта.

Медленно шла русская сила. Страдала от дороги, от духоты, от пыли, от мух. Шли строго — из строя никто не отлучался. Даже когда помирали — солдат ли, офицер ли — все равно,— песком забросают, да так и ладно. Дневок не было. Да и куда тут из армии отлучишься, когда кругом чужие земли. Офицерам легче, те на конях ездят — кто в седле шатается, дремлет, кто книгу читает... Шли медленно — на день не более 15 верст. Ночью становились биваком, разбивали палатки, а то спали и в поле при кострах. Погода была хорошая, раз только ночью ударила гроза, повалило, посрывало все палатки, деревья кругом падали. И в этом походе узнали солдаты всю хитрую солдатскую науку — как биваки разбивать, как хлеб в земле в печурках печь, наперед круто замесивши тесто в ямах, рогожами выстланных.

17 июня перед армией река. Неман! Его перешли, а накануне Петрова дня, 28 июня, приказал Апраксин:

— Смотр в ордер-баталии! В боевом порядке!

Развернулись на широком зеленом лугу, стали в две линии. Сзади опять на солнце ставка Апраксина-графа золотыми яблоками блещет. Опять свита, генералы, ордена, звезды, иностранцы-офицеры... Объехал Апраксин фрунт, поблагодарил пушечным голосом-залпом...

Стали тут на отдых. Пришла великая весть, что 26 июня захватил генерал Фермор крепость Мемель... Привезли Апраксину захваченные там неприятельские знамена. У русских убито было всего трое, да семнадцать только и есть раненых... И 1 июля опять парад, молебен, пушечные да ружейные залпы всей армией...

Только к 15 июля, когда уже немцы свой хлеб поубирали, дошла армия до Вержболова и в Пруссию вступила 22-го. Идти стало легче — хорошие дороги, деревни аккуратные... Тут впервой увидали солдаты, что немцы вместо хлеба едят картофель! Диковина! Много этому дивились, а потом обыкли, стали печь картошку в кострах — хорошо! Только вот население встречало русских плохо — стреляли в них в деревнях из окон. Да и неприятель был уже недалеко, почему на ночь на бивак наши становились уже с охра-

нением — лагерь обрасывали рогатками, засеками, при пушках и гаубицах выставляли бекеты.

Пруссия — земля немалая, и где в ней противник бродит — точно неизвестно. Известно было только, что против русских послал прусский король двадцатисемилетнего боевого генерала Левальда с 40 тысячами пруссаков. Изволь-ка их разыскать да заставь-ка вступить в бой! Король Прусский больше привык брать противника на затяжку, на измор и говаривал, что бой — «как рвотное при болезни, лишь на крайний случай».

Вперед стали высылать крупные поисковые партии. Первым пошел майор де ла Руа, из французов, с ним — 300 кавалеристов да 300 казаков. Стала партия на ночлег в деревне Кумелен, офицеры, как водится, перепились, и тут на них ночью напали черные и желтые гусары лихого пруссака полковника Малоховского. Партия ускакала с трудом, много народу потеряли... Враг был явно совсем где-то близко...

Дальше двигались еще медленнее. В Сталлупене имели дневку, миновали Гумбинен. Опять выслали партию, уже покрепче — 300 гусар, 300 чугуевских казаков, 500 донцов. Тут имели уже удачное дело с тем же Малоховским, его поколотили. Шли на город Инстербург.

В Инстербурге стоял было генерал Левальд, но оттуда смотался. Русские заняли городок, три дня стояли, отдыхали... Подошел из Мемеля со своей дивизией граф Фермор... Вновь пошли, выдвинув вперед уже авангардный корпус графа Ливена — пять полков пехоты, три гусарских да четыре драгунских... С неприятелем теперь стычки имели каждый день... Разведали — Левальд стоял впереди укрепленным лагерем, надо было вытягивать его на бой.

В жаркий августовский день дошла русская армия до речки Прегель. Речка тихая, синяя, камыши, ракиты растут, утки так и носятся... Стали искать, где перейти можно. Оказалось, противоположный берег укреплен противником, накопаны шанцы, выставлена артиллерия. Решили идти вдоль по речке, чтобы Левальда из его укрепленного лагеря выманить...

14 августа, в канун Успеньева дня, остановились, стали через речку Прегель наводить мосты, всего пять, из них два на понтонах. 15 августа — авангардный корпус перешел Прегель, за ним переправились другие части. Главные обозы остановили за Прегелем, составили все возы в каре[1], связали заднее колесо одного с передним другого, оглобли наружу. Вышла крепость — не подойдешь, одно слово — «вагенбург».

[1] Квадратом для обороны.

А за Прегелем-речкой, прямо перед русскими полками, развернулась низина, ровная, болотистая, версты на две глубиной. За ней — гора. По горе — опять ровное поле тянется в глубину версты на полторы, за полем — частый лес непроходимый, во всю ширину поля наискосок. Справа лес упирается в дугу Прегеля, слева — в речку малую Ауксин, что в Прегель тут же впала. Ауксин течет буераком глубоким. А через лес на поле — всего два прохода, слева да справа, на четверть версты. Левым проходом дорога ведет на Алленбург-город.

Успенье — праздник большой, отпели обедню. Вернулись разъезды, доложили — дальше за лесом поле большое, версты на четыре в глубину. И на том поле деревня Гросс-Егерсдорф. За полем — снова лес, а за лесом и стоит бивак тот прусский генерал Левальд.

Собрался у Апраксина военный совет, генералы да полковники, решили дать бой на Гросс-Егерсдорфском поле. 16 августа там построилась наша армия в боевой порядок, в ордер-баталии, да весь день противника прождали: не пришел пруссак. Вечером вернулись на бивак, переночевали, и с утра слушали солдаты, что будут барабаны бить. Ежели зорю, значит, стоять на месте день, а генерал-марш— значит, идти вперед.

Барабаны пробили зорю, бивак зажил мирной жизнью. Моются, купаются, рубахи стирают. А ровно в полдень ударили три пушки у Апраксинской ставки.

— Тревога!

— Ахти, в самый обед пришлось!

Все котлы с варевом побросали, бегут, снаряжение надевают, строятся...

Только построились — отбой! Разойтись! Разошлись по палаткам, а в четыре часа — опять три пушки. И потянулись полки по обоим проходам — снова строиться в ордер-баталии на Гросс-Егерсдорфском поле...

Погода хорошая, ласковая, хоть и осенняя. Солнце клонилось к западу, весь в потоках света впереди лес уже в осеннем уборе... Поля давно убраны, по желтой стерне — зеленые межи с последними васильками да с полынью седой... Паутинки летают.

Русская армия встала в две линии вдоль всего поля. Между линиями — словно большая дорога, вестовые скачут, связные бегают. Вон, избочась на гнедом своем донце, нагайка наотлет, протрусил резво лихой ординарец генерала Денисова — донской казак Емельян Пугачев. Чернявый, с бородой, глаза быстрые, белые зубы светятся в ровном ос-

кале. А солнце-то так и играет на высоких медных гренадерских шапках, на киверах, на начищенной амуниции, на орденах, медалях. Чуть веют в легком ветерке распущенные знамена. Слева, сзади у выхода из дефиле — холм небольшой, на нем медные пушки и гаубицы горят как жар. Команды звенят, кони ржут.

Медленно идет время. Стоят солдаты во фронте, ждут врага. Нет пруссака! После заката встал туман такой, что и в пяти шагах ничего не увидишь. Тревожно, но стоит фронт, даже разговоров не слыхать... Ждут солдаты — вот-вот нагрянет враг, закипит великий бой за изгнание немцев с русской земли.

А когда барабаны и трубы проиграли зорю и вся армия пропела могучим голосом «Отче наш», то в наступившей тишине еле донеслись издали тоже барабаны да голоса, пели что-то чужое: то прусские солдаты тоже пели свою молитву в лагере. Ночь выпала ясная, лунная, а к утру опять навалило туману, и сквозь него гудел могучий храп десятков тысяч наших солдат... Спали солдаты кто как, по способности прикорнули в боевом фронте с ружьями в руках. По приказанию «береги порох» — не отсырел бы от росы — полки ружей завязали солдаты тряпицами... Наконец-то над лесом показалось солнце, длинные тени от воинов легли поперек поля, стали укорачиваться. Тут и согрелись и обсушились, позавтракали сухариками... Известно — солнышко.

Нет неприятеля. Не хочет биться пруссак, да и только!

Дивизии потянулись обратно на бивак. На военном совете было решено сражение отставить и с утра двигаться на Алленбург, для чего каждому солдату взять с собой провианту на три дни... С утра 19 августа барабаны пробили генерал-марш, и снова в тумане авангардный корпус уже походным порядком стал вытягиваться на Гросс-Егерсдорфское поле.

К восьми часам туман разошелся, засияло погожее осеннее утро. Первым выходил на поле Московский полк.

И как же это вышло так, что никто долго не замечал пруссаков, которые уже стояли в полной ордер-баталии на этом поле! На выходящие из лесу походным порядком полки двинулись две голубые линии прусских полков, развевались знамена, гудела земля от мерного шага пехоты, от дробной рыси кавалерии... Вся сила пруссаков была брошена на выходящих из дефиле: генерал Левальд знал, что делал...

Что тут началось!

— Пруссаки! Немцы! — кричат.— Пушки, пушки тащи сюда! Туда! Бегом! Бегом! Стройся! Прозевали!

Пехота перемешалась с кавалерией, пушки с пехотой, с легкими обозами, обозы скатывались в буерак, к речке —

крик, ругань. Солдаты, согнувшись от тяжелого снаряжения, от трехдневного запаса, споро семеня ногами, выбегали, согнувшись, из леса и попадали прямо под прусский ружейный и пушечный огонь.

Московский полк почти целиком полег там, при Гросс-Егерсдорфе. Перехитрил генерал Левальд лентяя Апраксина, захватил русскую армию на походе врасплох.

Русские солдаты тут увидали пруссаков лицом к лицу. Вот они! Вот враги! В синих мундирах, с красными, синими, зелеными, белыми отворотами, в высоких медных шапках, в треуголках, без бород, с большими усами, рослые, собранные со всех краев света проходимцы, которых король навербовал в свою армию. Вот они идут стеной на русских, чтобы прусское иго навек закрепить! А что сделаешь? Не побежишь! Побежал — пропал, как швед под Полтавой! Сзади, справа, слева лес великий, частый, овраг глубокий, низина, болото... И остается одно — драться за свободу своей земли, драться честно, как деды дрались на Куликовом поле, как Петр дрался под Полтавой.

Русские солдаты из леса выбегали — ружье на руку — заряжать-то уже было некогда. И дрались поодиночке штыками. Дрались до последней капли крови. До последнего вздоха. И не было на свете славнее той храбрости, которую показали русские солдаты в бою под Гросс-Егерсдорфом-деревней.

Вот дерется рядовой солдат Иван Пахомов, Костромского уезда, из села Молвитина. Правая рука у Пахомова отрублена, кровь хлещет, рубит тесаком левой...

А вот — крепостной крестьянин князей Куракиных, Федор Белов, раненный в ноги, покрытый кровью, отбивается прикладом от наседающих пруссаков.

Унтер-офицер Феофан Куроптев, туляк, как лев скачет и вертится, прорубая себе дорогу среди окруживших его пруссаков; кровь хлыщет у него из головы, заливает глаза... Четвертый, московский мастеровой Осип Пасынков, выхватил ружье у тех, кто уже его в полон тащил, колет одного, другого, третьего... Пятый, из нижегородских дворян, поручик Павел Отрыганьев, выбегает из кустарника и с солдатским ружьем бросается в штыки на врагов, не разбирая их числа. Звенит сталь, хрипят люди, стонут раненые, плачут умирающие, гремят выстрелы, с визгом летят и падают на землю ядра, рвутся, грохочут пушки, пороховой дым, пыль застилают солнце, ржут кони, гремит конский топот — кавалерия прусская пошла в атаку, русские, пруссаки схватываются в обнимку, катаются по земле, душат, режут друг друга, грызут зубами. А солнце идет все выше, все знойней и знойней...

За лесом, где еще курятся кострища бивака, стоят русские полки в строю, ждут своей очереди пройти через узкие проходы, слушают, как гремит бой, где гибнут их товарищи... К начальникам приступают — помогать надо! Сам погибай, а товарища выручай! А офицеры стоят, ждут, что начальство скажет: известно — «стой смирно да приказа жди». А пока до него, до Апраксина-то, доберешься... Молчит дворянское начальство. Не хочет оно драться.

Но ничего не посмело сказать начальство, когда молодой да горячий генерал Румянцев глазом солдатам моргнул, и Нарвский полк, что стоял на самой опушке леса, бросился вперед, стал продираться через лес, валежник, сухостой, чапыгу, бурелом... Мундиры трещали, летели в клочья, солдаты тесаками прорубали дорогу, и наконец, когда пруссаки уже прижали было наших вышедших к самому лесу, с криком «ура» вырвались нарвцы из лесу, ударили врагу во фланг. За Нарвским полком из лесу вырвался 2-й Гренадерский, за ним другие, и закипел бой уже по-иному. Лес словно ожил, слал из себя все новых и новых воинов, отдельных бойцов, сотни, тысячи, те бурей бросались на врага, сминали отчетливые голубые шеренги, заставляли драться до изнеможения...

И — дрогнула линия пруссаков, отступила. На шаг! На пять!.. Русские солдаты жмут все крепче, все отчаянней, все доблестней — идут, казалось, на самую смерть, а смерть бежит от них. Смерть они побеждают! И — о, славный миг! Пруссаки уже повернулись спиной, идут сперва тихо, потом утораплывают шаг и, наконец, бегут! Побежали!

— Ур-ра! Ур-ра! — гремит над полем.— Ур-ра! — Солдаты наши прыгают на месте от радости, плещут в ладоши.— Ур-ра! — кроет теперь шум боя. А из леса выбегают все новые и новые полки, бросаются в угон.

Прусская кавалерия отчаянно прорвала было на левом фланге русский строй, но оказалась окружена со всех сторон и перебита. Без жалости. Без пощады.

Высоко стояло солнце над полем битвы, над той немецкой деревней Гросс-Егерсдорф. Над ее черепичными красными крышами. Пруссаки уносили ноги на Алленбург. На поле, усеянном павшими, ранеными, медленно, окруженный штабом, показался фельдмаршал Апраксин.

Вельможа ехал, опустив поводья своего гнедого тяжелого коня, весь в звездах и орденах. Серебряный шарф едва удерживал уемистое брюхо, колыхавшееся в шаг коня. Генерал-фельдмаршал не был весел этой солдатской победе. Нет! Она пришла нежданно. Что же он теперь донесет в Петербург? Государыня-то Елизавета Петровна, конечно, будет рада... А что скажет великий князь-наследник? Его супруга?

Не ровен час — умрет государыня, жить-то ведь придется с ними, с молодыми! И придется отвечать за то, что не разошелся с пруссаками, а вон сколько наши набили их... Самого короля Прусского побили. Ха!

— Ваше высокопревосходительство! — подскакал, наклонился к нему с седла молодой, горячий граф Румянцев, тот самый, что бросил полки через непроходимый лес.— Смею думать теперь, как генерал Левальд в ретираде[1] находится, кавалерию да казаков бы за ним бросить... Чтобы вконец врага истребить да подальше угнать. Теперь и Кёнигсберг будет легко захватить...

Обрюзглое, бульдожье лицо Апраксина обратилось неприветливо к смельчаку.

— То полагаю, милостивый государь мой,— отчеканил он раздельно,— то полагаю, что армия наша в сей жар так уставши, что о преследовании речи быть не может... Стать биваком на старое место... Да хлебы пекчи...

На рассвете с бивака поскакал в Петербург с донесением генерал-майор Петр Иванович Панин. 28 августа рано утром его тележка скакала через весь Петербург, поштильоны трубили в трубы. В полдень загремел салют из Петропавловской крепости в 101 выстрел. Государыня, плача, читала цветистое донесение Апраксина.

«Пруссаки напали сперва на левое, а потом на правое наше крыло с такою фуриею, что и описать невозможно,— доносил он.— Русская армия захватила знамены, пушки, пленных более 600 человек, да перебежало на русскую сторону 300 дезертиров».

А в вечер боя, когда встала луна, снова потянулись сырые туманы из логов да с реки и слышались еще похоронные запоздалые напевы попов — хоронили павших. Загорелись красные огни костров, солдаты сидели вокруг и весело гуторили о победе над пруссаками.

— Черт-то оказался не так страшен, как его малевали. Пруссака побили! Теперь, сказывали ребята из штаба, пойдем на Кёнигсберг — забирать его у прусского короля... Пойдем!

И пошли. Местами шли веселые. Угоры, перелески. Белые палатки покрывали с вечера прусские поля, наутре завтракали жидкой кашицей с хлебом. Раздавалась команда «на воза!», палатки складывали на подводы, шли дальше плотной, бодрой колонной... С песнями.

Победа!

Третий бивак на этом походе разбили уже на реке Ааль. Солдаты у бивачных костров пекли картошку и уже говори-

[1] В отступлении.

ли, как о решенном деле, что зимние квартиры будут для них в Кёнигсберге. Чего лучше! И город большой, разместиться всем есть где.

У самой речки Ааль на холме стояла ставка Апраксина. Под луной блестели золоченые яблоки обоих шатров. Первый шатер поболе — в нем стоял большой стол, кресла вокруг. Второй — помене: столовая фельдмаршала. А за ними — большая калмыцкая кибитка с поднятыми на решетки войлоками, устланная персидскими коврами,— спальная фельдмаршала.

Большой шатер светился изнутри — там горели свечи в серебряных шандалах. У входа — парные часовые. За большим столом сидел весь генералитет и сам граф Апраксин, огромный, толстенный, брюхо словно положил на стол, на листы белой бумаги.

От главнокомандующего по правую руку — князь Ливен, его главный советник. Дальше — граф Фермор, сухой и жилистый немец. По левую — граф Румянцев, что был назначен командовать дивизией вместо павшего в бою генерал-аншефа Лопухина. Дальше сидел граф Сибильский с длинными польскими усами, горячий и боевой, потом генерал Вильбоа. Еще дальше — командиры полков.

— Прошу прощения, ваше высокопревосходительство,— говорил Сибильский — он путал ударения, ставя их по-польски.— Никак не соответствует действительности, что у нас нет провианта... В моей части фуражу и провианту достаточно. А зимние квартиры в Кёнигсберге удобны. Население большое, обеспечит нас сполна...

Апраксин избычился и, положив руку на лицо, из-под пальцев тускло смотрел на говорившего.

— Не сомневаюсь, что и великая государыня нашим отходом после победы под Гросс-Егерсдорфом весьма удивлена будет! — заканчивал Сибильский.

Белоглазый Ливен смотрел в упор на разгорячившегося генерала.

— Прошу одно короткое замечание,— начал Ливен с немецким акцентом.— Не сомневаюсь, что мнение генерала Сибильского — мнение польского патриота... Он, натурально, предпочитает, чтобы русская армия стояла не в польской, а в прусской земле. Понятно! Но доводы его высокопревосходительства генерал-фельдмаршала настолько вески, что говорят сами за себя... Я — за уход на зимние квартиры в Курляндию или в Польшу... У нас нет ни фуражу, ни провианту.

Наступило молчание. Главнокомандующий отнял руку от лица, обвел всех тяжелым дерзким взглядом:

— То-то и есть! Кто еще из господ командиров желает высказаться? Нет никого? Приказываю отходить на зимние квартиры в Курляндию... Отдохнем до лета, а там что Бог даст... Увидим!

Апраксин поднялся, блеснул орденами, звездами и как радушный хозяин пригласил с облегчением:

— А теперь прошу ко мне! Отужинаем, чем Бог послал! Тут прислали мне два пастета версальских — из ветчины да из рябчиков. Отменные... Отведаем!

Наутро барабаны били генерал-марш.

Поход!

Но не поход.

Отступление. Из Пруссии на зимние квартиры. В Курляндию...

— Что же это, братцы? — шумели солдаты и офицеры.— Только мы пруссака разбили, еще не добили да уходить? Со стыдом свой тыл показывать? Что ж такое? Говорили — идем на Кёнигсберг, на зимние-де квартиры?

И у них «на лицах была досада, с гневом и со стыдом смешанная», как записал очевидец тех далеких дней. Сколько крови пролили, а плоды победы — упустили. В чем же дело?

Дело было в том, что накануне военного совета, когда бивак спал в белеющих под луной палатках, на взмыленных конях прискакали из Петербурга с эстафетой два курьера. Их задержали караулы.

— К главнокомандующему! — проговорил один из них, полковник Гудович.— Срочно... По высочайшему повелению.

Караул пропустил спешившихся всадников, дежурный офицер повел их к ставке... Прошли прямо в калмыцкую кибитку...

Вельможа помещался там вместе со своим лекарем. Тощий немец спал неслышно на походной кровати, фельдмаршал же, огромный, в ночном колпаке, в стеганом шлафроке, возлежал на пуховом ложе. Ему не спалось. В кибитке крепко пахло душистым куреньем. На столике у изголовья горела свеча.

На ковре перед кроватью усатый гренадер рассказывал сказку.

— И вот и говорит старуха царю: и потому, говорит, твоя дочка Несмеяна-царевна никагды не смеетца, потому што у нее того телосложение не позволяет... нет-де у нее того самого места, от которого у девок завсегда на сердце радость играет...

Боярин сосредоточенно сосал трубку с длинным чубуком, дым валил у него между щек, рот растягивался скверной улыбкой.

— Х-ха... Вон оно что... — смеялся он.— Эй, кто там? Эстафета из Петербурга? Допустить!

Оба офицера разом шагнули к ложу вельможи.

— В собственные вашего высокопревосходительства руки! — отрапортовал Гудович, вручая пакет.

— Ну, спасибо... И ступайте прочь! — пробасил Апраксин, разом спуская на ковер волосатые ноги с искореженными пальцами.— Эй, свеч! Очки подайте!

Долго разбирал старик спешно писанные строки. Дочитав, снял очки, потер глаза и перекрестился на свечу, пламя которой колыхал легкий сквознячок:

— Слава те Господи! Вот это дружок так дружок. Спасибо, упредил. Спасибо.

Письмо было от великого канцлера, от Бестужева. Он сообщал, что государыня Елизавета Петровна, в последнее время пребывая в Царском Селе, изволила слушать обедню в церкви. Почувствовав себя плохо, из церкви вышла, приказав, чтобы за ней не ходили. А выйдя одна — упала без памяти прямо под алтарным окном на осеннюю мураву — припадок крепкий был. Народ в смятении толпился кругом, смотрел на царицу, лежащую на земле, подступиться боялся:

— Тронь-ка царицу, чего за это будет!

Наконец дали знать придворным, послали за врачами. Первым прибежал француз Фусадье, пустил кровь. В креслах бегом принесли любимого врача государыни больного грека Кондиоди. Примчался француз Пуассонье... Принесли ширму, кушетку, уложили на нее больную. Два часа бились, стараясь привести в чувство, а когда привели, то оказалось, что она так прикусила язык, что не могла говорить, и уже все думали, что государыню хватил паралич. И теперь еще она изволит говорить невнятно. Все, все так и думают, что ее конец недалек...

Главнокомандующий тряс седой головой. Как же теперь ему из этой заварухи выбираться? Своей викторией под Гросс-Егерсдорфом солдаты всю песню ему испортили... И нужно было им так драться! И все Румянцев! Расхлебывай вот теперь ту кашу, чтобы гнев их высочеств с себя снять. Ин придется из Пруссии на зимние квартиры враз уходить... В Курляндию, что ли...

Главнокомандующий снова лег на подушки, обдумывая положение. Долго лежал, заснуть не мог. Тревога грызла его душу, томили сомнения. Ну, хорошо, отойдем... А ежели государыня не скоро помрет, тогда что? За эти-то квартиры придется мне же отвечать... И дернуло же меня сто тысяч

талеров от Фридриха тогда, через великую княгиню Екатерину, принять! И деньги-то пустяшные, ей-бо...»

Вздохнул:

«Ну, авось дружок Алексей Петрович выручит. Голова. Да и Екатерина Алексеевна, великая княгиня, поможет... Гадко!»

И крикнул дежурному офицеру:

— Эй, там! Послать ко мне сказочника... Устинова, что ли... Гренадера. Пусть доскажет. Не спится...

Отступали из Пруссии быстро, не то что наступали. А как опять Инстербургом полки шли, все жители в окошки выглядывали да ухмылялись. 15 сентября перешли Неман, а в Курляндии уж известно какая погода — полная осень... Дожди, желтый лист с деревьев, вороны на мокром жнивье перелетывают. Каркают к дождю...

Солдаты, отступая, бесперечь ворчали:

— Сказывают, оттого отступаем, быдто провианту нету. А и фуражу и провианту полно... Навалом... Генералы грызутся, а у нас чубы болят. Да мы теперь всю Пруссию взяли бы да пруссаков выгнали, местное население и не пошевелили! Пусть живет! А то теперь встречным на дороге стыдобушка в глаза смотреть...

И снова нахлестывая своего костистого донца, кляня грязь и слякоть, встречу отступающей армии, поосторонь дороги иноходью ехал денисовский ординарец казак Емельян Пугачев. Мохнатая шапка с красным верхом от дождя огрузла, сползла на глаза, пика осклизла в посиневшей руке. Он спешил в 3-й Донской полк с приказанием — подтянуться вперед, а то фуражу не будет... А куда тут — не то что подтянешься, а просто не проедешь, когда рыдван главнокомандующего восьмериком цугом почитай всю дорогу загородил...

— Казак! — загремел пьяный бас из конвоя Апраксина.— Казак, мать твою туды! Куда тебя черт несет встречь пути! Нагайки захотел? Не видишь, кто едет?

Пугачев скосил на орущего офицера черные с желтоватыми белками глаза, ощерился под черной бородой, но смолчал, снял шапку. «Известно куда. Куда все! Ноги уносим! И все из-за вас, черти, ваше благородие...» — думал он.

Из тройного хрустального стекла кареты желтело обрюзгшее лицо графа Апраксина. Вельможа по-бульдожьи посмотрел на Пугачева, пожевал губами. Форейторы, стоя на стременах, кнутами тиранили по грудь залепленных глиной коней, кони дымились. Пехота, пропуская главнокомандующего, по колена в грязи угрюмо стояла в раскисших полях.

Пугачев дернул повод. Донец кошкой прыгнул с дороги в сторону, за ров, кошкой вскарабкался на холмик и пошел

плынять дальше. И сколько ни глядели глаза Пугачева — видел только льющий из брюхатых туч дождь, черно-желтые деревья да серую бесконечную ленту бредущей армии.

Конишка вдруг закинулся, скакнул в сторону, Пугачев припал к луке, справился.

На его пути, половиной тулова и затылком утонув в грязь, важно лежал на спине труп русского солдата. Глаза были широко открыты, дождь дочиста промыл его зеленовато-серое лицо, один ус торчал кверху, другой плыл в дожде. Тут же утопились в грязи ружье, тяжелая лядунка.

«Эх, браток! — скорбно подумал Пугачев.— Отвоевал. Из-за чего? Пруссаков бил, а сам на отступлении преставился... Апраксин-то вон не преставился..»

— Пошел! Пошел! — уже издали доносились крики генеральских форейторов, удары их кнутов.— Пошел!..

«Ну, чего же это нужно было тут в Пруссии нашим дворянам? — думал Пугачев.— Вертят бояре народом как хотят, народ не жалеют, да все зря... Или у нас всего мало, что ли? У нас на Дону какая благодать! Реки, рыба, луга, пашни... Пусть бы народ всем овладел — и рекой с вершины и до устьев, и землею, и полями, и травами, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом, и великой народной вольностью... А так-то что... Погибай на пути, и больше никто про тебя не вспомнит. Нет, этак нельзя!»

И снова черная шапка Пугачева все плыла встречу солдатской реке с приказанием, пробираясь куда надобно, в 3-й полк, а под шапкой жили первые думы, что вырастают из нужды. Эти же думы вспыхивали под киверами, под треуголками, ранили, терзали души, искали себе слов, и все чаще и чаще на биваках, у костров, на дороге, под дождем, ночью в разбитых под первым снегом палатках шепотом шелестело страшное, найденное первое слово:

— И з м е н а кругом! Продали нас пруссаку дворяне!

Глава седьмая

ПОРАЖЕНИЕ БЕСТУЖЕВА

В Петербурге ретирада Апраксина большое смятение произвела. Союзники — французский посланник маркиз Лопиталь да австрийский граф Эстергази — к канцлеру бросились, к Бестужеву:

— Как так? Почему это Апраксин из Пруссии назад повернул? Почему он допускает, что король Прусский теперь наши союзные войска теснит? Почему он на походе обозы

бросает, пушки заклепывает? Почему ее императорское величество обещание верности союзникам не держит? Или сто тысяч флоринов, которые австрийская императрица Мария Терезия великому князю-наследнику Петру Федоровичу за поддержку дала, зря пропали?

Алексей Петрович сразу же понял, что тучный боярин промашку дал, по-медвежьи действовал... «Вот дурак, прости Господи! Всех нас погубит того гляди...»

Бестужев немедленно приказал подать карету и поскакал к великой княгине Екатерине Алексеевне.

— Брюхан наш эдак все дело погубит,— сказал он.— Ваше высочество немедля ему написать должны, сколько о нем недобрых слухов уже по Петербургу гуляет... Нужно ему войска вперед двинуть, чтобы те слухи пресечь... Слухи эти всем нам опасны могут быть!

Фике впилась в его темные, все еще блестящие глаза, ее голова озабоченно кивала в такт речи канцлера.

— Так, так, месье Бестужефф, непременно напишу Сегодня же... Я уж у себя обед в честь победителей при Гросс-Егерсдорфе учредила... Все напились вполне...

— Это, конечно, хорошо, но письмо ваше необходимо. А ну как императрица доискиваться станет, кто в этом деле причина? Вы же одна все прекратить можете. Письмо я сам отправлю, за ним приеду... А то беда... Беда!

На следующий день высокая карета Бестужева четверней гремела по Невскому проспекту, ревел на прохожих кучер, подскакивали на запятках ливрейные гайдуки. Прижавшись в уголке кареты, завернувшись в теплый плащ, держа треугольную шляпу на коленях, вельможа думал напряженно. Письмо Апраксину Екатерина написала. Вот оно. В его руках. Оно будет направлено в армию, свое действие произведет. Тот несумнительно войска вперед двинет или же в крайности их отступление остановит. Но ведь союзники-то в Петербурге в один голос кричат, что-де это он, Бестужев, апраксинский дружок, такую хитрую интригу подвел, Фридрихом будучи подкуплен. Следственно, надо ее императорское величество государыню-императрицу в известность поставить, к т о же это виновник всей интриги, чтобы со своих плеч обвинение на случай снять да на другие взвалить...

События развертывались стремительно. Когда карета Бестужева подлетела к его великому дому, тому самому, на постройку которого он у английского посланника 50 тысяч занимал, и вельможа, подхваченный соскочившими гайдуками под локотки, стал уже на ступеньки крыльца, к нему подскакала другая карета. Высокий генерал в австрийской

форме, в шляпе с высоким плюмажем, господин фон Букков, бурно шагнул из кареты и, вытянувшись, отсалютовал Алексею Петровичу.

— Ваше превосходительство! — радостно отнесся Бестужев.— Ко мне? Очень приятно, очень-с!

— К вам, граф! — сказал господин фон Букков глубоким басом.

— Прошу подняться в приемную... Прошу-с! Я к вашим услугам!

Двадцать минут генерал нервно шагал взад и вперед по приемной, пока не распахнулись высокие палисандровые двери кабинета и канцлер не стал на пороге:

— Прошу-с!

Оба сели напротив друг друга на широкие кресла.

— Чем могу служить?

— Ваше сиятельство,— заговорил генерал фон Букков, оправляя синюю ленту через плечо.— Имею именное повеление от ее величества императрицы, королевы Марии Терезии — обратить внимание русского правительства на то обстоятельство, что командующим русской армией в Пруссии графом Апраксиным союзные обязательства не соблюдаются. В то время как австрийская, французская и саксонская армии, свои силы напрягая, бьются и в Богемии и на Рейне, русская армия, разбив пруссаков под Гросс-Егерсдорфом, неожиданно ретираду обратно учинила, якобы на зимние квартиры... Союзные командования тем обеспокоены, поелику они в том к себе недоброжелание видеть могут.

Бестужев с приятной улыбкой поднял вверх руку.

— Простите, мой генерал! — сказал он.— Простите! Все такие оплошности фельдмаршала Апраксина уже исправлены, и не сомневаюсь, что оный генерал в скорости сильную оффензиву[1] начнет...

— Но это только дипломатия вашего сиятельства! Какие же сему доказательства быть могут?

— Вот они!

Из бисерного портфельчика Бестужев вынул письмо Фике.

— Прошу вас пробежать это письмо!

Удар Бестужева был нанесен верно. Не прошло и десяти минут, как австрийский генерал бросился из бестужевского дома прямиком в резиденцию австрийского посланника графа Эстергази. Граф Эстергази широко раскрыл глаза:

— А-а-а! Вот оно что! Так, значит, это ее высочество великая княгиня Екатерина задерживала армию Апраксина! О-о!

[1] Наступление *(фр.)*.

В чью же пользу она действовала? В пользу Пруссии? О-о-о! А какова же позиция в этом деле ее супруга, наследника?

— Он всегда был пруссаком! — пожал плечами фон Буккoв.— Всем очень хорошо известно...

За розовым с золотом письменным столом в стиле рококо через пару дней уже строчил донесение в Париж посланник Франции маркиз Лопиталь

«В Петербурге — неслыханный скандал. Великая княгиня Екатерина Алексеевна имела неосторожность, вернее — безрассудство написать письмо фельдмаршалу Апраксину, в котором она освобождает генерала от клятвы, данной ей Апраксиным, что он будет задерживать свою армию. В этом письме она приказывает главнокомандующему открыть военные действия снова. Это письмо в подлиннике Бестужев показал фон Буккову, тот сообщил Эстергази, а Эстергази на приеме у императрицы потребовал объяснений... Супруга государя-наследника, таким образом, уличена в поддержке короля Прусского...»

Очередное заседание Верховной Военной Конференции происходило под председательством самой императрицы. Невысокое октябрьское солнце светило в высокие окна, окна светились на лаковом полу. Вокруг стола, накрытого красным сукном, под золотыми канделябрами, сидели вельможи Бестужев, Бутурлин, Трубецкой, Воронцов да оба Шуваловы.

Полубольная императрица волновалась и все время держала себя за сердце.

— Господа! — говорила она.— Какой срам! Позор! Наша армия, пруссака разбивши под Гросс-Егерсдорфом, столько своих положивши, плодами победы не воспользовавшись, ноги уносит. Как мне теперь в глаза союзникам смотреть? Австрийцы под Прагой бьются, французы на Рейне, король Прусский Вену брать хочет, а мы из Пруссии бежим, ему руки развязываем. Выходит, что мы ко всему делу непричастны!

Петровна теперь почти уж кричала в голос:

— Это все потому, что главнокомандующий осмелился приказ наш нарушить, ретировался самовольно. Значит, он на то какие-то причины имел. Разберем потом точно. А сейчас надлежит Конференции решить, как с Апраксиным поступить за такое ослушание. И поэтому пусть каждый из господ конферентов свое мнение выскажет и подаст в собственноручной записке в запечатанном конверте...

Императрица сама конверты вскрывала, мнения читала.

Все мнения в конвертах были одинаковы.

За отход армии отвечает он, Апраксин, для чего его следует от командования сейчас же отрешить и вызвать сюда для суда над ним...

— Быть по сему! — указала императрица.— Алексей Петрович, изготовь, батюшка, указ о том, чтобы мне подписать. Командовать армией графу Фермору.. Он и ближайший, и действовал доблестно в Мемеле. Опричь того — надо разобрать, кто же это на такие великие дела того старого лентяя подвигнул?

И она в упор посмотрела на Бестужева.

18 октября указ об отрешении Апраксина был уже получен в армии. В это время армия все еще тащилась походом. Дожди лили не переставая, окрестности, рыжая щетка лесов курились серо-желтым туманом. Через два дня Апраксина под конвоем везли уже на восток. Особого сожаления солдаты по Апраксине не высказывали, хотя и говорили:

— Апраксин-то хоть свой, русский, а от нечестивых немцев какого добра ждать? Ведь и Фермор с ними единоверец. Ворон ворону глаза не выклюет..

Апраксин, однако, в Петербург не проехал. Приказом Верховной Конференции он был задержан в Нарве «до особого распоряжения».

То, что Апраксин не попал в Петербург, было делом Бестужева: допустить Апраксина в Петербург значило создать возможность, чтоб его допрашивала сама императрица. Недалекий старик, ничего не знавший кроме еды, карт, вина, мог наболтать лишнее.

Апраксин, ожидая решения своей участи, жил в Нарве, сидел у окна, смотрел, как улицы тонули в невылазной грязи, коротал время за кружкой вина. Не прошло и двух недель, как к нему в секретном порядке явился капрал лейб-компанской роты Суворов с письмом.

Императрица писала к нему как сотруднику еще ее отца, обещала всяческие милости за раскрытие дела и требовала решительной выдачи писем великой княгини Екатерины.

Апраксин письма выдал. Письма подтвердили все, что говорили союзные посланники — Лопиталь и Эстергази и генерал фон Букков «Молодой двор» наследника императрицы Елизаветы, сына ее дорогой сестрицы Анны Петровны, был явной агентурой прусского короля.

Как же выйти из тупика? Что делать? Рушились все замыслы императрицы. Бестужев давно указывал государыне, что великий князь Петр Федорович для правления страной не годится, да и сама она не могла уже говорить о нем без раздражения. Бестужев предлагал — выслать Петра

Федоровича в Голштинию, а наследником престола объявить Павла Петровича — малолетнего сына Екатерины, родившегося от тайного отца, причем правительницей до его совершеннолетия должна была быть Екатерина. Но это значило — повторить то же самое, что было при Анне Леопольдовне, сын которой, «император» Иван Антонович, сидел в Шлиссельбургской крепости в пожизненном заключении. Выходило, что немцы так и лезли на русский престол со всех сторон и, несомненно, организовал эту секретную атаку он же, король Прусский... У Елизаветы Петровны оказывались связанными руки против него и на войне, и в самом Петербурге.

Разорвать такие интриги могла бы энергия и решимость Петра Великого: он даже своего Алешу не пощадил! А Елизавета Петровна — слабая женщина. Вокруг нее никого и не было — Разумовский старился, московские царевны доживали свой век в монастырях да в деревянных дворцах, полных тараканов да блох. Ей оставалось только упорно и бессильно гневаться на племянника, на его жену, на неверных своих вельмож...

Австрийский дипломат граф Эстергази отлично учел эту запутанную ситуацию. Улыбаясь и играя эфесом шпаги, на одном из куртагов он любезно беседовал с великим князем-наследником.

— Вы выглядите так, словно встревожены чем-то, ваше высочество? — говорит он.— Я понимаю — все эти слухи, слухи... Но ведь так легко их рассеять... Смотрите, как кругом все веселы, как беззаботно щебечут красивые женщины... Не стоит так огорчаться...

— Эстергази! — вскричал великий князь вполголоса и схватил посланника за рукав шитого кафтана — роговая музыка ревела глухо и позволяла им разговаривать секретно.— Я ваш друг, самый верный, самый надежный... Вы будете мой доверенный... если... если вы поможете, посоветуете мне, как выйти из немилости у тетки...

— Слова вашего высочества — дороже золота! Очень просто! Слушайте... Вы мужчина и должны знать женское сердце. Императрица вас обожает — атакуйте ее сердце! Попросите у ее величества аудиенцию, упадите к ногам, признайтесь, что вы действительно симпатизировали его величеству королю Прусскому... Но вы невиновны. Нет... Обещайте ей самым серьезным образом исправиться. Вы ведь были сбиты с толку вашими дурными советниками...

— Кем же? Кем?

— Самым близким к вам человеком, которому вы верили...

Облитая мягким светом восковых свеч, обмахиваясь веером из страусовых перьев, весело и беззаботно разговаривая

со своим любовником-красавцем, польским дипломатом графом Станиславом Понятовским, проходила мимо в этот момент Фике.

Граф Эстергази склонился в глубоком поклоне перед великой княгиней, показал в улыбке длинные зубы Понятовскому, потом опять весело смотрел на великого князя.

— Кого вы имеете в виду? Понятовского? — шептал тот.— Это же наш друг! Да, да — и какой еще друг... Недавно я вошел к жене и вижу, что она его целует... Я и не знал, что подумать, но она схватила меня за руку, кричит: целуй, целуй его и ты! Он открыл заговор против нас! Он нас спас!

— И вы тоже целовали Понятовского, ваше высочество?

— Ну конечно...

— Значит, вы действовали так, как подсказала вам великая княгиня? Не правда ли? Ну, вот она и является вашим первым советником... вы обсуждали с нею все ваши дела? Советовались с нею?

— Нет, эта женщина глупа для этого... Она только передавала мне то, что ей говорил Бестужев.

— Вот мы и добрались до того человека, который подтачивал цветущее дерево вашего благополучия. Итак, ваше высочество, упадите на колени перед ее величеством, признайтесь ей в том, что ей и так известно и чего нельзя уже отрицать, и скажите ей, что вы были сбиты с толку Бестужевым, который действовал на вас через вашу супругу. Главное — через супругу. О, я уверен, что императрица будет рада услыхать это.

— А! — сказал великий князь.— Действительно! Бестужев слишком уже много о себе думает, пора его унять... Бестужев... Это все Бестужев и великая княгиня... Вот бестия! Эта мысль мне нравится.

На следующий день императрица приняла племянника и наследника вечером в своей опочивальне, сидя как всегда в большом кресле у постели. Передний угол сиял весь богатыми окладами икон и лампадами, цветные отсветы переливались на свободном платье императрицы.

Петр Федорович вошел, широко шагая, и с маху опустился на пол, неловко задел скамеечку, на которой стояли ноги императрицы, прильнул к ее коленям. Елизавета Петровна молчала, сидела скорбно. И в эту минуту этот полупьяный молодой человек словно почувствовал в ней свою мать, ласк которой он никогда не знавал, почувствовал, как он извелся от вечного пьянства, от гульбы, от грубого общества своей немецкой дворни. Любящая женская душа окружала, заполняла его своей добротой, и несчастный этот полурусский, полунемецкий парень понял, как по-человече-

ски он несчастен в своих домогательствах против этой доброй женщины.

— Тетя Эльза,— сказал он по-французски,— простите меня... Я так виноват перед вами... Простите...

Елизавета Петровна гладила его по волосам своей широкой, мягкой рукой.

«Как хорошо! Эдак-то бы всегда!» — думала она, часто и коротко дыша — мучила ее одышка. Разве не об этом она мечтала, когда среди всех интриг создавала вокруг себя свою семью?

— Петенька, мой мальчик! Ну, кайся мне, твоей тетке, сестре твоей матери...

— Тетя Эльза!.. Действительно правда, я некоторое время уважал короля Прусского... Он казался мне образцом... мужчины. Образцом человека. Я хорошо его помню — я видел его еще там... дома... В Пруссии. Я хотел бы тоже править страной так, как он правит, иметь у себя такое же хорошее войско.

— Что ж тут плохого, Петенька? Это хорошо. Твой дед, Петр Алексеевич, тоже правил страной хорошо, да и войско у него было получше, чем у Фридриха. Да и до сей поры нигде нет солдат лучше русских!

Петра Федоровича тут передернуло. Да разве может быть войско на свете сильнее, чем померанские гренадеры? Лучше его голштинских молодцов? В его ушах загремел их пьяный хохот в караульне, что он устроил в Ораниенбаумском крепостном городке, Петерштадте, где была специальная зала на манер старых немецких таверн... Чтобы пьянствовать... Однако спорить об этом со старой теткой никак не приходилось, и это он понимал очень хорошо...

— Я знаю это, тетя. Как русские дрались под Гросс-Егерсдорфом! Жаль только, что Апраксин так задержал движение войск... Наша армия разбила бы Фридриха окончательно. И мне теперь очень стыдно, что это мы задерживали движение Апраксина, чтобы он не торопился.

— Кто это мы?

— Мы с женой!

— Зачем же вы делали это?

— Нам советовал так Бестужев... Да, да... Он говорил, что для счастья России нам выгодно быть в дружбе с прусским королем. У короля Прусского крепкое войско, у Англии — сильный флот, и мы трое — Пруссия, Россия и Англия — могли бы распоряжаться Европой. Он говорил, что если русская армия побьет прусского короля, то это будет большой ошибкой — Россия тогда останется в одино-

честве. Ведь рано или поздно немцы Австрии и Пруссии объединятся, и тогда они вместе нападут на Россию.

— Петенька, глупый ты мальчик! Да когда же это будет? Но мы загодя должны отсечь руки у прусского короля, а то они у него слишком загрёбисты... «Россия должна рассчитывать только на самое себя да на свою правду!» — говорил твой дед. Ну и что же еще советовал Бестужев?

— Он говорил, что ежели мы задержим армию, то король Прусский тогда побьет Австрию и нам не придется воевать совсем... А с ним, с королем, надо бы было заключить мир!

— И ты писал об этом Апраксину?

— Я? Нет! Жена писала... Фике... Она вообще постоянно советовала мне вмешиваться в государственные дела... Потому что...

— Ну, говори, говори! Почему же?

— Она говорила, что вы поступаете неправильно, что воюете... Она говорила, что знает дело лучше вас. И она взяла с Апраксина клятву...

— Клятву?

— Да, клятву, что он не будет идти вперед, пока она ему не разрешит. Простите, простите, тетя!

Елизавета Петровна не сымала руки с головы своего буйного племянника. Петя-то все равно что сынок... Аннушки, родной сестры, сын. Господи! Он не будет же больше делать так.

А Петр Федорович бормотал и бормотал:

— Простите же, тетя... Меня обманули. Я не люблю великой княгини... Я ей не верю. Она — змея, которая только о том и думает, чтобы поссорить меня с вами, чтобы втереться между нами. Так советует ей Бестужев... А вы мне как мать...

Он всхлипнул.

«Господи! Неужели Петя исправится? Вот нечаянная-то радость, царица небесная...— думала государыня.— А как приятно прощать блудных сынов, когда они приходят каяться...»

— Ну, успокойся, успокойся... Так ты говоришь, твоя жена с Бестужевым в мое дело лезут?

Тот затряс утвердительно головой.

— Да! Они в заговоре против вас...

— Встань, великий князь! — сказала Елизавета Петровна и приподняла его голову, поцеловала в заплаканное лицо.— Иди! Спасибо тебе за правду... Если тебе что нужно — приходи теперь прямо ко мне.

«Так вот оно что! — думала императрица, постукивая правым кулачком о левую ладошку.— Ясно! Ин, Алексей

Петрович, тебе мало того, что ты вертишь делами всего царства. Так с Фридрихом снюхался, кобель! То-то вас с Вильямсом да с Кейтом водой не разлить... Все шуры-муры...»

Великая княгиня и Бестужев вскоре же почувствовали нависшую над ними грозу: великий князь становился все грубее с женой, императрица перестала замечать ее. Придворные стали отдаляться от великой княгини, от Бестужева, вокруг обоих образовалась пустота... Фике не выходила из своих покоев, усердно читая «Историю путешествий», Бестужев же держался так, словно ничего не произошло. Была тишина, в ней зрела буря.

В конце этого тревожного года король Прусский, у которого были развязаны руки, снова отбил у австрийцев Бреславль. Союзники усилили свои тревожные обращения к Елизавете Петровне, и граф Фермор, по приказу Верховной Военной Конференции, в декабре поворотил свою армию в Пруссию, где по просьбе депутации граждан занял сложившую добровольно оружие прусскую крепость Кёнигсберг. Это было ловким маневром самого Фридриха: успех русской армии как будто бы обозначился, Фермор был оправдан им в глазах императрицы, но русским все равно приходилось зиму до весны стоять неподвижно на зимних квартирах, не воевать. Фридрих же тем временем в срочном порядке занял ряд крепостей — Пилау, Тильзит, Мариенвердер, Диршау и Торн.

Следствие над Апраксиным продолжалось. В Нарву к нему приехал сам всемогущий начальник Тайной канцелярии Александр Иванович Шувалов. Допрос, очевидно, дал дальнейшие определенные факты, потому что утром 15 февраля Фике получила от своего любовника, графа Понятовского, записку:

«Вчера арестован Бестужев, с ним ваши друзья — ювелир Бернарди, Елагин — адъютант Разумовского и ваш учитель — Ададуров»,— писал польский посланник.

Великого канцлера Бестужева императрица вызвала на заседание Верховной Военной Конференции, и, когда он приехал и выходил из кареты на подъезд дворца, у него отобрали шпагу, арестовали, отвезли домой, приставили крепкий караул.

Через неделю после ареста вышел громовой указ Елизаветы Петровны Сенату по поводу дела Бестужева. Он гласил:

«Извещаем всех и каждого, что наш досюльный канцлер Бестужев-Рюмин лишается всех почестей и званий по справедливости Божией — за свои вины. Что мы многократно питали долготерпение и умеренность к названному Бестужеву, какие только разрешал закон. Что мы во всех потребных

случаях простирали на него покровительство и защиту. Но нам не пришлось вкусить от плодов милости нашей к этому человеку. Напротив, преступления его выросли в таких размерах, что нам не остается ничего иного, как действовать так, как мы действуем сейчас...»

В дальнейшем указ в вину Бестужеву ставил его «гордость» и «жадность», неисполнение им императорских указов и, наконец, что он «неправо докладывал великому князю и наследнику и его супруге» и «старался злостнейшими клеветами отвращать их от любви и почтения к ее императорскому величеству». Главных причин, конечно, указать было неудобно.

Для Екатерины создалось положение, при котором, по ее же выражению, «не было никакой возможности остаться не запутанной в это дело». Однако и тут выручил он же, Бестужев.

Даже такая гроза, разразившаяся над ним, не испугала этого ловкого, прожженного царедворца, смелого и выдержанного. Через одного из своих музыкантов и графа Понятовского он передал Фике записку, в которой ей советовал «держаться смело и бодро», потому что «одними подозрениями ничего доказать нельзя», между тем как «доказательства все сожжены». Было даже условлено, что их переписка будет продолжаться, для чего музыкант Бестужева будет прятать записки своего господина в кирпич, сложенный для постройки нового здания рядом с домом Бестужева... Записка, однако, была перехвачена, передана императрице, и та увидела, что Фике в своих письмах писала не имена, а условленные клички, то есть определенно конспирировала.

Картина была ясна — в петербургском правительстве хозяйничали длинные руки Фридриха II, прусского короля. Снятого Бестужева заменил граф Михаил Ларионович Воронцов, вполне находившийся под влиянием наследника, к тому же еще жившего с племянницей Воронцова. Да и главнокомандующий армией, действующей в Пруссии, Фермор уже написал этому же Воронцову письмо, в котором ищет его покровительства:

«Понеже главнокомандующий требует ассистенции[1] милостивых патронов[2],— писал генерал-аншеф Фермор на своем полурусском языке,— того ради беру смелость вашего сиятельства просить — меня и врученную мне армию в милостивой протекции содержать и недостатки мои мудрыми вашими наставлениями награждать...»

[1] Помощи.
[2] Покровителей.

Многоголовая гидра измены, предательства, королевского прусского шпионажа и интриг плелась, росла, пухла, окружила Елизавету со всех сторон, и не Елизавете Петровне было совладать с нею, тем более что комедия раскаяния великого князя обезоружила ее совершенно

Все это время Фике ходит «с кинжалом в сердце». Великий князь, после тринадцатилетнего супружества, не смеет приходить к ней в комнату, если там она одна. Он не смеет говорить с ней без свидетелей. Она появляется иногда при дворе, но опасается говорить с нужными ей людьми, так как может навлечь на них гонения. Она тщательно следит за своими бумагами, и все, что опасно,— и письма и счета,— все давно сожжено. Она ждет ареста и следствия.

Однако время идет, острота положения постепенно сглаживается. Только тогда, не раньше, Екатерина Алексеевна начинает предпринимать свои ответные ходы... Она и раньше была умненькой девочкой, а полтора десятка лет при русском дворе научили ее многому. И Фике наконец пишет письмо государыне. Пишет по-русски...

«Я имела несчастье навлечь на себя ненависть великого князя»,— пишет она, и поэтому просит у императрицы разрешения уехать домой, в Штеттин. К родным

«Я проведу остаток моих дней у родных, моля Бога за ваше величество, за великого князя, за всех, кто желал мне добра или зла — безразлично. Я убита горем... Я только хочу спасти свою жизнь...»

Но даже такое трогательное письмо не произвело нужного действия: ответа не было, и нужно было нажать сильнее. Великий князь удачно нажал на родственные чувства, а Фике затрагивает теперь другую слабую струнку императрицы — ее религиозность. Отец Федор, общий духовник и императрицы и Фике,— «силен, как лев и мудр, аки змий». Этот служитель алтаря после ночи, проведенной в беседе с Фике, на следующее утро явился к императрице. Нет никакого сомнения, что он получил за это значительную мзду

Отец Федор убедил государыню, что она должна принять свою невестку.

На страстной неделе императрица всегда говела. В Великий понедельник она послала сказать своей невестке, что примет ее вечером.

С вечера Фике оделась в темное платье, долго ждала, прилегла, заснула. Только в половине второго ночи к ней в спальню явился Александр Иванович Шувалов, начальник Тайной канцелярии. От своих сложных дел этот человек

страдал тиком — все лицо у него передергивалось, и при малейшем волнении он страшно таращил глаза.

— Ваше высочество! — тронул он Фике за плечо.— Проснитесь! Ее величество императрица желает вас видеть!

С бьющимся сердцем великая княгиня шла за жестоким разведчиком по слабо освещенным галереям дворца — нигде ни души. Вдруг навстречу загремели ботфорты — к императрице тоже шел великий князь Петр Федорович, супруг Фике.

Императрица ждала Фике в своем кабинете, в длинной комнате в три окна. В двух простенках — золотые туалеты императрицы. На туалетах — свечи. Фикхен сразу же заметила, что на одном из туалетов лежат письма. Ее письма!

В кабинете кроме нее были великий князь-наследник, граф Шувалов. Императрица сидит в обычном своем большом кресле. Перед ней ширмы, за ширмами — кушетка, на кушетке — Петр Шувалов. Еще один свидетель того, что будет говорить Фике.

Великий князь шагает по комнате, Александр Шувалов стоит неподвижно.

Фикхен смотрит на императрицу и видит, что та не гневна. Нет, она только печальна. И Фикхен бросается к ногам государыни, целует ей руки...

— Встань! — приказывает Елизавета Петровна.

Фикхен не подымается.

— Ваше величество! Отпустите меня. Уехать... Домой! К родным! — рыдает она.

Императрица достает платочек. Тоже плачет.

— Ну, как же я отпущу тебя? — говорит она.— У тебя же дети!

— Мои дети в ваших руках, и никогда ничего лучшего они не смогут иметь...

— А что я скажу обществу о твоем отъезде?

— Ваше величество, можете объявить те причины, по которым меня ненавидит мой муж... Если... Если это только будет прилично...

— Но, Фике, чем же ты там будешь жить?

— Буду жить, как жила до приезда сюда...

— Твоя мать в бегах. Она в Париже! Она оставила Пруссию.

— Да, я знаю...— всхлипывая, говорила Фике.— Мама! Мама так предана России... Король Прусский и преследует ее за это.

— Встань же... Приказываю тебе.

Фике поднялась с колен и стояла под тихой речью Елизаветы Петровны, скорбно опустив голову:

— Один Бог свидетель, сколько я плакала, когда ты была больна вскоре же после твоего приезда... Помнишь? Я так любила тебя. Да разве я бы оставила тебя здесь, если бы не любила!

«О, императрица оправдывается в том, что я не в милости у ней! — отмечает про себя Фике.— Значит, смелей...»

И говорит:

— Величайшее мое горе — это немилость вашего величества.

— Но послушай,— продолжала государыня.— Ты — гордячка. Помнишь, я раз даже спросила тебя, не болит ли у тебя шея — ты не поклонилась мне...

— Боже мой! — всплеснула руками Фике.— Да я никогда до сей поры и не подумала, что в этом была тогда причина вашего вопроса, ваше величество.

— Ты воображаешь, что ты умнее всех!

— Ваше величество! Если бы это было так, я поняла бы еще тогда, столько лет назад, почему вы задали мне такой вопрос. Но я не поняла! Я так еще тогда мало понимала!

Великий князь прервал свое расхаживание по кабинету, остановился около Шувалова. Донеслись слова:

— Она ужасно упряма.

Фике подхватила эту реплику. Как опытный фехтовальщик, она обернулась к мужу, напала на него.

— Ваше высочество, если вы говорите обо мне, то здесь, в присутствии ее величества, я должна сказать, что я лишь зла на тех, кто подбивает вас на несправедливые поступки. Да, я стала упряма, потому что та моя угодливость, которую я соблюдала по отношению к вам все время, вызывала в вас лишь одну неприязнь...

Наступило молчание. Императрица сидела, прикрыв глаза рукой от ярких свеч. Великий князь и Шувалов говорили теперь про связь Бестужева со Штембке... Так как это не касалось Фике, то она стояла молча, перебирая на груди черные кружева. Наконец императрица подняла на нее глаза:

— Как же ты смела отдавать приказания Апраксину? Останавливать армию в наступлении?

— Я? Приказания? Никогда в жизни... Мне и в голову никогда не приходило делать это...

— Вон на туалете твои письма. А тебе было запрещено писать ему...

— Вот это правда. За это простите меня, ваше величество. Но в письмах моих приказов нет. Я писала только, что в Петербурге говорят о нем.

— Зачем ты это делала?

— Я любила старика. Принимала в нем участие. Это было одно письмо. А в двух других я поздравляла его с рождением дочери да с Новым годом. Вот и все!

— Бестужев говорит, что были еще письма...

— Он бессовестно лжет. Он обманывает вас, ваше величество!

— Тогда я прикажу пытать его..

— Ваша воля, ваше величество. Но было только три моих письма...

Разговор продолжался больше полутора часов. Стал говорить великий князь. Он нападал на жену, но говорил глупо, ненаходчиво. И каждое его слово Фике парировала спокойно, с выдержкой, с достоинством.

Утомленная царица в конце концов зевнула. Увидя, что великий князь и Шувалов разговаривают между собой, она, взглянув с доброй улыбкой на Фике, сказала:

— Нам надо поговорить с тобой... Не так!

И сделала движение головой в сторону свидетелей.

— Наедине! — прошептала она.

Прием кончился.

Они будут разговаривать наедине!.. Радость, гордость удачи заливали душу Фике, когда она возвращалась к себе опять по темным анфиладам дворца. С наслаждением разделась, сбросила с себя жесткое платье, легла. Раскрылась дверь, явился опять Александр Шувалов и, став у постели, вытаращил на нее глаза:

— Императрица шлет свой привет вашему высочеству. Она будет разговаривать с вами наедине...

Фике рассыпалась в благодарностях, в комплиментах государыне. А через несколько дней ей передали и выводы, которые царица сделала после их беседы:

— Великая княгиня очень умна, а великий князь — дурак!

И у Фике, впервые за много времени, появилась на губах улыбка, твердо сжались губы:

«Это — победа!»

Пусть после этого свидания были еще арестованы у Фике две ее камер-фрау, пусть граф Брокдорф продолжал дуть великому князю в уши, что «змею нужно раздавить», пусть сам великий князь только того и ждал, что вот-вот Екатерину вышлют домой, в Германию, а он женится на Лизке Воронцовой,— положение Фике, несомненно, укреплялось: сам канцлер Воронцов уговаривает ее не уезжать из России.

Фаворит императрицы Шувалов шепчет ей:

— Все будет так, как вы желаете!

И в письме к арестованному Елагину, которому она посылает 300 червонцев, Фике пишет:

«Я еще в горести, но надежду уже имею».

Следствие над Бестужевым было окончено только в 1759 году. В приговоре он был назван «обманщиком», «изменником», «злодеем» и приговорен к смертной казни. Но Алексея Петровича не казнили, а лишь сослали в его подмосковное имение Горетово, где он и выжидал дальнейших событий. Выслали тоже и ювелира Бернарди и Елагина — в Казань, Ададурова — в Оренбург, Штембке — в Германию.

Из всей компании этой уцелела только одна Фике — ее мир с императрицей Елизаветой был уже заключен. При втором свидании наедине великой княгине оставалось только поклясться на иконе, что она послала Апраксину всего лишь три письма, что для нее не составило никакого затруднения. Следствие над Апраксиным все тянулось и тянулось, пока наконец, испуганный предстоящей пыткой, он уже под осень не умер от паралича сердца. Фельдмаршала похоронили, как преступника, безо всяких воинских почестей.

А война продолжалась. На карте стояло само существование Пруссии, а следовательно, ее будущая история. Король Прусский счастливо бил французов, австрийцев, саксонцев, но хваленая армия Фридриха никак не могла рассчитывать на победу при столкновении с русскими.

— Русского мало пробить пулей,— говорил сам Фридрих.— Его надо еще свалить!

«С русскими ничего я не могу поделать! — пишет он своему посланнику в Лондон.— Только одно меня убеждает: меня информировали, что императрица Елизавета опасно больна. О, если бы она умерла! Это могло бы повести к полной перемене политики... Кроме такой случайности — мне рассчитывать не на что...»

Но смерти императрицы все еще нет, и Вилим Вилимович граф Фермор, несмотря на все затяжки, отдает снова приказ — идти в Пруссию, делать летнюю кампанию 1759 года.

Глава восьмая

БЕРЛИН ВЗЯТ!

Жаркое июльское солнце палит нещадно с бледно-синего неба. Ни облачка. На полях шапками сидят закопненные хлеба. Золотая пожня, дубовые леса. Над ними от жары струится стеклянно-слоистое марево. Красная черепица ча-

стых деревень, торчат острые колокольни... Бурым, черным облаком нависла пыль над дорогой, в пыли, словно молнии в туче, блещут штыки, амуниция, пряжки, давит выкладка в ранце, тяжело кремневое ружье. Трудно дышать от пыли, от поту, от запахов тела, кожи, прелых портянок. Башмаки набивают ноги. Рубленый шаг пехоты. Дробный топот кавалерии. Грохот пушек. На версты растянулась походная колонна. Зеленые мундиры, треугольные шляпы, медные кивера.

Русская армия идет в Пруссию.

На реку Одер..

На Франкфурт-на-Одере.

На Берлин...

То там, то тут всплывает над колонной солдатская песня и, поплавав в знойном воздухе, никнет от жары. Надо врага найти, а где его поймаешь? Пруссия-то велика.

Стали подходить к реке Одер. Посвежело, люди, кони повеселели. Блеснула стальная гладь, кое-где подернутая синей рябью. Камыш гнется к воде. Стрекозы летают, кувшинки цветут, ивы качаются, а за рекой напротив опять колокольни, дома, крыши — там прусская крепость Кюстрин.

Унтер-офицер Архангелогородского полка Куроптев Феофан идет бодро, молодцевато, как храброму, расторопному и доброму солдату надлежит. Служака! При Гросс-Егерсдорфе отличился. Как с пруссаком на штыках дрался, сколько их побил... И от ран выжил.

— Братцы! — говорит он взводу.— Вся она, крепость-то, эвонна какая! Надо думать, будем под той крепостью сидеть!

Скоро русские пушки стали бить по крепости, дымными белыми дугами понеслись туда ядра да брандскугели, в городе, в крепости загорелись дома, видать — огонь желтый, черный дым выворачивает клубами, все закрывает — и огонь, и колокольни...

Феофан Куроптев смотрит на крепость, улыбается, усы крутит. Вот-де так, и Берлин заберем, короля ихнего оттуда выгоним... Замирение будет правильное... В Россию вобрат пойдем и оттуда пруссака выгоним... Хорошо будет дома-то... Только вот как с хозяйством — на помещика придется работать...

Словно в бубен бьют пушки, грохот их слышен за Одером. И к Одеру, на медные пушечные голоса, широким шагом спешат к Кюстрину голубые колонны пруссаков с самим Фридрихом-королем... Он на коне, в треуголке, с бантом в косе, нос длинный, глаз острый. И тоже над прусскими колоннами висит пыль, тоже пахнет пылью, табаком, сукном. Скрипят обозы, гремит артиллерия... Московитов нужно отогнать...

Русские разъезды скоро донесли — немцы, однако, переправляются на правый берег Одера, чтобы, зайдя с юга, окружить русскую осадную армию с тылу. И Фермор отдал приказ по армии:

— Отходить!

Теперь пошли вобрат. На восток. Ночью, на биваке, у огня Феофан Куроптев, покуривая трубочку да почесываясь под мышками — одолели, проклятые! — говорил своим молодым:

— Одно помни — иди, куда прикажут, а делай, как совесть своя велит. Вчерась мы у Кюстрина-крепости стояли, а нынче — вона где... У деревни — как ее... Цорндорф, што ли...

На небе звезды, на земле солдатских костров не меньше: кругом-то сушняк! К картошке тоже солдаты уж приспособились: напекут в золе — у, хороша! Поле большое, посредине деревня Цорндорф. С правой руки — овраг, за ним лес. С тылу — тоже лес, да речка небольшая, светлая, Митцель зовется. Солдаты там до ночи, почитай, слышно, купаются. С левой руки — опять лес. На юг — открытое поле широкое.

На поле этом Миниховским порядком — кареем — железным четырехугольником стали полки, обозы внутри да конница там же. Ночь переночевали, а на заре по трем пушкам стали строиться в ордер-баталии. В две линии.

Поднялось солнце высоко уж над деревней — наступают пруссаки. Тоже в две линии. И первый удар навел король Прусский на правый наш фланг... Да пошли тут у пруссаков молодые полки, недавно навербованные Фридрихом. Как ударили по ним шестьдесят русских пушек да пошли крошить — не выдержали пруссаки, бросились назад, русские за ними. «Ура!» гремит. Выскочила русская конница. Но как только русская пехота из ордер-баталии двинулась вперед, справа ударила во фланг через овраг конница прусского генерала Зейдлица, марш-маршем. Восемнадцать эскадронов гусар да пять кирасир... Сбили пруссаки русскую кавалерию, бросились за нею, и три эскадрона прусской гвардии короля да пять эскадронов жандармов врубились в русскую пехоту...

Пехота не сдала. Не дрогнула. И архангелогородцы геройски дрались опять с немцами, а между ними — Феофан Куроптев, туляк, господ Левашовых. Бились здесь русские солдаты-пехотинцы с кавалерией, как прадеды их новгородцы дрались с крестоносцами на Чудском озере. Стала наша пехота как стена, удержала кавалерию грудь с грудью. Люди и кони в одно свивались, штык дрался против сабли. Кони взвивались на дыбы, рушились навзничь, давили своих всадников. Удары сабель отсекали русским руки со штыками, вдоль которых текла кровь, а штыки сбрасывали немец-

их всадников с седел, как вилы сбрасывают с воза снопы. Каменной стеной стали здесь русские, дралась здесь сила их оскорбленной ненависти к старым хитрым поработителям. И только когда на карьере с громом, в облаках пыли, врубились в русские линии двадцать пять эскадронов Мориса, герцога Ангальтского,— только тогда сдали русские полки... Кто уцелел от прусской сабли, от конских копыт — по приказу стали отходить, отбиваясь, на мост через речку ту самую — Митцель... Да за той речкой набежали отступавшие солдаты наши на свои обозы, на бочки с водкой, разбили их, перепились в доску под жарким августовским солнцем. И скоро лежали они между бочек такие же неподвижные, как и те их товарищи, что навсегда пали у деревни Цорндорф.

Под Цорндорфом лежал в смятых, пыльных, кровавых кустах и Феофан Куроптев, туляк, крепостной господ Левашовых. Он первым бросился навстречу прусской коннице, его сшиб конь самого генерала Зейдлица, копытом раздробил ему бедро, умчался вперед... Лежал, раскинув врозь руки, солнце пылало ему в глаза красным сквозь закрытые веки, грудь дышала тяжело, огненно болела правая нога... «Что-то теперь в Левашовке?» — тоскливо думал Куроптев.

Было уже за полдень, а дрались с утра, и сражение не было еще решено. Еще стояли в ордер-баталии стройная середина и левый фланг русских полков.

В три часа дня начал король Прусский «вторую битву за Цорндорф». Правый фланг пруссаков пошел на левый фланг русских войск, и здесь русская конница ударом во фланг смяла атакующие прусские полки. И опять на русскую пехоту бросился в конную атаку генерал Зейдлиц уже с шестьюдесятью одним эскадроном, в двенадцати местах прорвал русские линии. Но и тут не сдала «царица полей» — русская пехота, и снова русский пехотинец и русский штык дрались грудь с грудью против прусского всадника, коня и сабли.

Только к вечеру пруссакам удалось несколько попятить русских к оврагу, но уже десять часов прошло подряд, как кипел рукопашный бой, уже противники так устали, что само собой вышло перемирие. И русские и пруссаки уснули тут же, на поле сражения, среди трупов, человеческих и конских, вздувшихся от нестерпимого зноя, среди криков, стонов раненых, среди молчания мертвецов.

Двадцать тысяч человек потерял в этом бою Фермор, и наутро, подобрав раненых, отошел с поля, поставил вагенбург у Клена, отдохнул три дня и стал отходить на зимние квартиры в Польшу, пусть и приказано было идти в Бранденбургию.

Фермор хитро обошел затруднение, на котором срезался Апраксин: под Цорндорфом он ни проиграл, ни выиграл сражения! Но то, что он ушел в Польшу, опять вызвало нарекания в Петербурге:

— Король Прусский снова имел свободные руки и взялся за союзников!

Пришла зима, январские снега завалили Петербург по пояс, белыми пологами застлали ледяную Неву, соборы, дворцы, Петропавловскую крепость. На полозьях с визгом неслась по Невскому карета главнокомандующего графа Фермора. Фермор лично примчался в Петербург от армии разведать, чем пахнет, чтобы не ошибиться, не прозевать бы игры... Побывал он и у великого канцлера Воронцова, и у Шуваловых, и у Разумовского, всюду справляясь, как здоровье императрицы.

Новости были. Новый английский посланник Кейт уже нащупывал почву для переговоров о мире...

Однако Фермор получил тогда следующий указ императрицы, где сказано было ясно:

«Никаких предложений главнокомандующему от короля Прусского не принимать, наперед об них не донеся в Петербург. Военных действий никак не прекращать. Не в опасных негоциациях, а только лишь в сраженьях прочный и честный мир добывается».

Фермор вернулся к армии, но в мае его сняли и главнокомандующим стал генерал-аншеф граф Салтыков Петр Семенович, маленький тихий старичок в скромном кафтане, большой любитель псовой охоты.

Тихий старичок, однако, не боялся воевать и имел на все свои собственные мнения. Вступив на летнюю кампанию в Пруссию, русские войска, как и приказано было в директиве, пошли на соединение с силами австрийского главнокомандующего графа Дауна. Тот, однако, опоздал на условленное место. Тогда Салтыков взял направление прямо на запад, и 20 июля генерал Вильбоа с авангардом занял Франкфурт-на-Одере. Туда к нему поспешил австрийский генерал Лаудон, а затем подошел и сам Салтыков.

Русский главнокомандующий теперь поставил объединенной армии прямую задачу: овладеть главной берлогой врага — Берлином.

Командовать этой операцией приказано молодому герою боя при Гросс-Егерсдорфе — графу Румянцеву.

Однако у короля Прусского всюду были шпионы, он прознал про этот план и бросился навстречу русским, к Берлину: надо было спасать столицу.

Русские, оставив Франкфурт, снова отошли за Одер, заняли позиции при деревне Кунерсдорф. Позиция, выбранная Салтыковым, тянулась по невысокому хребту холмов — длиной около пяти верст, шириной около одной. Хребет лег с запада на восток. Одним концом он уперся в реку Одер, другим — в деревню Кунерсдорф. В хребте этом было три вершины повыше — горы Юденберг, Шпицберг да Мюльберг, промеж них — овраги. Горы русские солдаты укрепили шанцами, на горах поставили батареи — пушки и шуваловские гаубицы.

Король Прусский с долгого форсированного перехода сосредоточил свои части в лесу, к северу от хребта, и оттуда немедленно на гору Мюльберг двинул восемь батальонов гренадер. Пруссаки шли как на параде, с развернутыми знаменами, с музыкой, печатая шаг. Пять русских батарей с горы Мюльберг открыли по ним огонь, однако пруссаки быстро достигли мертвого пространства. Только когда батальоны были уже в ста шагах от окопов — по ним брызнула русская картечь... Прусские гренадеры прорвались сквозь чугунный дождь, бросились в штыки, выбили русских защитников из окопов и в десять минут захватили до семнадцати пушек.

Король бросил было вперед кавалерию, чтобы преследовать отходящих русских, но кавалерия застряла в лесу: там оказалось множество прудов и речек, чего заранее не разведали. Мало оказалось у пруссаков и пушек. А русская артиллерия со Шпицберга взяла теперь Мюльберг под прицельный огонь.

Король приказал тогда взять и Шпицберг. Гренадерам для этого пришлось преодолевать глубокий овраг между Мюльбергом и Шпицбергом, а он тоже был не разведан. И по атакующей прусской пехоте, лезущей почти по отвесным стенкам, била русская картечь, и каждая ружейная пуля находила тут свою цель: овраг этот был всего в 60 шагов ширины.

Колонна принца Вюртембергского пыталась было обойти овраг, чтобы ударить во фланг русским защитникам Шпицберга, русская артиллерия разгромила колонну, отбила все атаки. Напрасно генерал Путткаммер бросился на гору в конную атаку с гусарами — атака захлебнулась, генерал был убит. В безуспешной конной атаке был ранен и генерал Зейдлиц.

Напротив того, конная атака союзного австрийского генерала Лаудона была успешна: направленная в тыл наступавшим пруссакам, она опрокинула их, паника охватила прусские ряды. Пруссаки обезумели. Все бежало... На узком

мосту через речку на пути прусского бегства столпилась пехота, ее давили кавалерия, артиллерия. Русские теперь уже не в десять минут, а в одно мгновение забрали 165 пушек... Никогда еще за время своего существования прусская армия не знавала такого разгрома.

Король Фридрих Великий был потрясен. Смят. Подавлен... После того как гренадеры захватили гору Мюльберг, он был уверен, что выиграл бой. Он уже отправил в Берлин хвастливые пышные реляции. Он сам бросался в самые опасные места, но спасти положения не мог. Два коня были убиты под ним, его мундир и плащ пробиты пулями, от тяжелого ранения в бедро его спас только золотой пенал с пером и чернильницей, который был у него в кармане,— пуля отскочила от него...

— Все пропало! Все пропало! — истерически кричал король Фридрих, когда его окружала уже русская кавалерия.— Притвиц, Притвиц, спасай короля! Я погибаю! Почему для меня не нашлось ядра?

И следующую «самую тяжелую в его жизни» ночь король провел в маленькой деревенской гостинице. За пивным дубовым столом при свете огарка он в отчаянии лихорадочно строчил в Берлин своему министру графу Финкенштейну:

«Все гибнет. Из сорока восьми тысяч солдат, которые я имел сегодня утром, у меня едва ли наберется три тысячи... Все бежит... Все мои возможности исчерпаны до дна. Больше у меня ничего нет... Не выдержали солдаты — они были на ногах подряд третий день, пошли в бой прямо после девятичасового марша. Русские возьмут теперь Берлин. Нет, я не переживу этого. Я покончу с собой... Прощай, прощай навсегда!»

Петербург пышно праздновал эту победу, торжествовала вся Россия. Гремели пушечные салюты, звонили колокола, пели молебны. Армии было выдано полугодовое жалованье не в зачет.

Больная, уже не покидавшая почти своих покоев Елизавета Петровна горько плакала — жалела своих солдат, которых под Кунерсдорфом было убито 2614 да ранено 10 864...

Русская армия после этой победы стала на зимние квартиры уже в Пруссии на берегах реки Одера.

Но тихий старичок Салтыков оказался очень неуживчив с союзными австрийцами.

— Они хотят нашими руками жар загребать! — говорил он.— Они прячутся за нашей спиной! Австрийцы нас сюды и позвали, чтобы губить... Русские-де пусть дерутся, а они за нашей спиной будут делать диверсии. Нет, эдак не будет!

И кампания лета 1760 года снова затянулась, снова пошли слухи, что и Салтыков опять получает приказания от наследника Петра Федоровича и его жены. Лишь только осенью того года Фермор двинулся на Берлин, и 27 сентября генералы Чернышев и Тотлебен приняли Берлин по капитуляции. На Берлин была наложена контрибуция в полтора миллиона талеров.

Королевская казна оказалась пуста — там нашлось всего 60 тысяч талеров. В королевском цейхгаузе взято — 143 пушки, 18 тысяч ружей, разрушены были прусские оружейные заводы, взорван пороховой завод. Освобождено 4500 пленных.

Ключи от города Берлина отосланы в Петербург.

Но тут же среди всех этих успехов и торжеств выяснилось, что генерал Тотлебен, перед которым капитулировал Берлин, тоже был в связи с королем Прусским и все время информировал его. Тотлебена отрешили от командования, отослали для суда. Берлин был вскоре оставлен. Недостаточно энергичные действия фельдмаршала Салтыкова опять вызвали неудовольствие императрицы. В октябре Салтыков сдал командование фельдмаршалу Бутурлину, когда-то бывшему денщиком у царя Петра. Какие у Бутурлина были боевые качества — неизвестно,— известно было лишь одно — он был неуч, невежда, горький пьяница и любитель солдатских песен.

Но и этот Бутурлин в очередной кампании 1761 года одержал ряд побед над пруссаками, нанеся удары на Познань, на Померанию, на крепости Кольберг, на Швейдниц. Очевидно, что пруссаки просто не в состоянии были противостоять русскому оружию.

Положение прусского короля становилось все более и более безнадежным. Он был уже убежден, что если русская армия возьмет Штеттин и затем овладеет вторично Берлином, то он потеряет все свое королевство. Да уже, по существу, он был русскими отрезан от Польши, откуда имел хлеб для своей армии: его запасов в хлебных магазинах не хватило бы ему и на одно лето Правда, у короля Прусского и порох и снаряды были в достаточном количестве, но было трудно с дорогами и с транспортом, а больше всего ему недоставало живой силы в его армии — рекрутов становилось все меньше и меньше, хотя Фридрих разослал своих агентов собирать наемников по всей Европе; не хватало и конского состава. Деньги, правда, были, но они мало чему помогали при таких жестких обстоятельствах. Король все время находился в глубокой меланхолии. Флейта короля замолкла.

Вот почему английский посланник Кейт в Петербурге стал пробовать почву для переговоров о мире Пруссии с Россией. Елизавета Петровна ответила на это очень твердо:

— Я хорошо знаю, как тяжела нам эта Семилетняя война. Как она дорого нам стоит. Я сама хочу мира. Прочного мира. Хочу всем сердцем. Но я должна позаботиться о том, чтобы мои союзники были удовлетворены. В сепаратные переговоры о мире вступить не могу...

Канцлер Воронцов уже набросал предварительные условия союзного мирного договора.

Фридрих должен был вернуть Силезию — Австрии.

Вернуть Франции — часть Фландрии.

России он должен был уступить Восточную Пруссию от Немана до Вислы, причем Россия, однако, не аннексировала этой территории, а брала ее себе только для того, чтобы вернуть ее Польше. Взамен ее от Польши она должна была получить Правобережную Украину. .

В декабре 1761 года Румянцев берет крепость Кольберг, этот старинный славянский город — Колобрегу, и отсылает ключи в Петербург.

Но Елизавета Петровна уже не получила их.

Она заболела и внезапно скончалась в самый день Рождества 25 декабря, при очень странных симптомах — при кровавой рвоте, поносе, при ослабевшем сердце.

Ходили крепкие слухи, что Петровна была кем-то отравлена.

Глава девятая

ИМПЕРАТОР ПЕТР ТРЕТИЙ

Вставало хмурое рождественское утро В высокие мерзлые окна деревянного временного дворца, в котором жила Елизавета, в то время как на месте старого Зимнего дворца Растрелли строил новый, лился поздний рассвет... В приемной зале, в ожидании событий, тревожно собрались сенат, синод, генералитет, все высокие персоны государства. Черные клобуки и рясы духовенства, лиловые мантии князей церкви — архиереев, черные парчовые кафтаны гражданских вельмож, мундиры генералов, рота гвардии со знаменем заполняли обширную залу. Говорили шепотом, все стояли. Сидели только двое стариков — Иван Иванович Неплюев, еще сотрудник Петра Первого, да князь Шаховской.. Умирала Петровна.

Заканчивалось одно царствование, начиналось другое. «Молодой двор» брал теперь власть несомненно. Безотложно. Вместе с этим выносился приговор всем тем, которые

не сумели вовремя унюхать, куда дует ветер. Приговор этот грозил быть нещадным. Приходил новый хозяин... В зале тянуло близкой смертью, холодком близкого неизвестного.

После полудня — первый вскрик отчаяния, потом женские рыдания, потом глухой мужской плач, вздохи, замелькали крестящиеся руки. Толпа тревожно шевельнулась, когда, шаркая ревматическими ногами в бархатных сапогах по перламутровым инкрустациям паркета, вышел на середину залы фельдмаршал Никита Юрьевич Трубецкой, старший из сенаторов. За ним шли придворные доктора — Круз и Монсий.

Старость уже согнула широкий стан Трубецкого, седая голова тряслась от волнения, рот ввалился, но глаза еще блестели. После стука булавы церемониймейстера Трубецкой старческим голосом объявил, что ее императорское величество самодержица всероссийская Елизавета Петровна «почила в Бозе» и на престол вступил его императорское величество государь император Петр Федорович Третий.

Толпа задвигалась, ожила, разбилась на кучки, в кучках стали шептаться между собою. А больше говорили все без слов — глазами, движениями голов, блеском глаз, то радостных, то встревоженных. Ждали теперь выхода нового императора и присяги.

Стемнело, внесли зажженные свечи, когда раздался снова стук булавы церемониймейстера и из белой с золотом высокой двери попарно стали выходить придворные чины. За ними, стуча каблуками ботфортов, быстрой походкой, не скрывая торжествующей улыбки, еще больше бледный от черного бархата кафтана, вышел, поднялся на ступени трона он — новый царь.

Петр остановился у трона. Подбоченясь левой рукой, правой он сделал широкий приветственный жест, обращенный ко всем собравшимся. Длинные ноги, маленькое тельце, пудреная белая головка этого «величества», ожесточенные и в то же время смеющиеся глаза, одновременно яростные и слабые, встали как привидение над согнутыми в глубоком поклоне спинами.

К нижней ступени трона подошел Волков, развернул лист первого манифеста. Все слушали внимательно, вытянув шеи, приложив к ушам ладони, дабы не проронить ни одного слова.

Петр Третий объявил в манифесте всем его «верноподданным»:

— «Да будет всякому известно, что по власти всемогущего Бога любезная наша тетка, государыня императрица самодержица всероссийская через несносную болезнь от временного сего в вечное блаженство отошла...»

Снова плач. Еще бы! Плакавшие ведь всем сердцем хотели бы, чтобы это указанное «временное блаженство» продолжалось без конца. Чтобы вечно вот так и жить — легко, сыто, пьяно, жирно, чванно, на чужом труде, наслаждаясь вечно праздностью, купаясь в сиянии престола, как голуби в лучах солнца, плодя в своих селах, деревнях, поместьях, усадьбах такие же дворы, только поменьше, победнее, но и там являясь чванным барином, владыкой перед своими «верноподданными» мужиками, крепостными, над их женами и дочерьми... Чтобы вечно так же раболепно, униженно всем им толкаться у подножия этого трона, ненавидя друг друга, думая, чтобы только превзойти, осилить, переплюнуть друг друга в рвачестве богатых и обильных и при этом совершенно не заслуженных милостей... А манифест барабанил про этого не совсем трезвого с утра молодого человека, объясняя, как он попал на трон:

— «...Всероссийский императорский престол нам яко сущему наследнику по правам, преимуществам и закону принадлежащий...»

По какому «закону» теперь будет править он, прусский шпион, получивший всемогущество? Он ведь теперь может пожаловать каждому, кому захочет, тысячи рабов. Он может сделать из каждого маленького владыку. Он может каждого казнить, сослать в Сибирь.

И все смотрели со страхом на сделанного ими же самими идола, на монарха «Божией милостью», за которым стояла сама церковь, все бесчисленные святые, изображенные на иконах, за которого вступались в своих громовых проповедях, угрожали всеми молниями неба, всеми муками ада люди в черных длинных одеждах, стоявшие здесь в первых рядах и белыми пальцами придерживающие драгоценные, алмазами и жемчугами усыпанные панагии на тугих и впалых животах.

В глубоком трауре, накрытая черным вуалем с ног до головы, в плерезах[1], слушала эти слова манифеста императрица Фике. Слушала и бледнела от негодования. Все время шла речь о том, что он, Петр Третий, и есть истинный наследник, что он по праву занимает «прародительский престол»... Ну, а она? А ее сын, Павел Петрович? Что же ей делать? Или ей придется подражать Елизавете Петровне, чтобы «правильным образом» вернуть себе «похищенный престол»? С «помощью» верных сынов российских?

Из-под вуаля она незаметно обвела взором ряды насупленных лиц. Вон стоит он, надежный «верный сын

[1] Траурные отделки на платье (*фр.*).

российский», молодой, двадцатисемилетний красавец, герой самых рискованных в Петербурге шумных любовных похождений, трижды раненный под Цорндорфом — Григорий Орлов — очередной любовник императрицы Фике. Орлов стоял, высоко подняв свою красивую белокурую голову на мощной шее, и с высоты своего роста смело оглядывал это мрачное собрание.

А Волков читал и читал про этого молодого человека, который с улыбкой, лихо вывернув ноги в ботфортах, смотрел с высоты престола на своих подданных, читал про мужа императрицы Фике.

Этот молодой человек обещал все, себе требуя взамен одного: чтобы она клялась, что будет ему всегда и во всем покорна.

Торжество распирало впалую грудь Петра Федоровича. О, он теперь больше не попадет под опеку разных Бестужевых... Брюммеров... Нет! А сколько он может сделать теперь для своего идола, для своего обожаемого монарха — для прусского короля Фридриха II... О, он пошлет русских солдат драться за свои голштинские владения. Он заберет Шлезвиг у Дании. Он омочит свою шпагу в датской крови... Какое счастье!

Наконец Волков *закончил чтение, поставив жирную точку* словом-подписью: *Петр.*

— Виват! — *грохотало* собрание.— Виват! Виват!

Но многие думали:

«С какой же достойной скорбью стоит императрица Екатерина у подножия нового трона! Как величественно она несет свой траур... Свое горе... Не то что этот неумный, полупьяный молодой человек... Что-то думает она, матушка Екатерина Алексеевна?»

Началась присяга, строго по чинам, и Екатерина Алексеевна первой на кресте и евангелии поклялась в неизбывной верности своему супругу, императору, повелителю...

Тело Елизаветы Петровны было положено в черный бархатный гроб, поставленный на высокий катафалк, тоже обитый черным бархатом. Черный бархат затянул и стены, покрыл все окна большой дворцовой аванзалы. Золотой парчовый с серебряным шитьем покров покрыл гроб... В черных подсвечниках пылали вокруг гроба ослопные свечи. У гроба поочередно дежурили четыре дамы, и волны их глубокого траура лежали на полу. Тут же четыре гвардейских офицера каменели в почетном карауле. У изголовья гроба, на алом бархате, лежали четыре короны: шапки Казанская, Астра-

ханская, Сибирская и отдельно — усыпанная бриллиантами — корона Всероссийская.

В зале горело 6 тысяч свеч. Бесконечные толпы народа — крестьяне, солдаты, мужчины с бородами, женщины в платках, кто в овчинном тулупе, кто в серой сермяге — подходили боязливо к гробу, валились на пол, крестились, целовали холодную руку дочери Петра Великого, слушая, как звенящими голосами очередные архимандриты все вновь и вновь перечитывали отчаянные, истошные вопли псалмов царя Давида, примостясь на освещенном свечкой аналое.

И тут же, почти сплошь все время, на глазах бесконечной очереди проходящего народа, скорбно склонив голову, вся с головы до ног в черном крепе, у гроба стояла императрица...

— Ишь как убивается, матушка! — шептали в ползущей очереди.— Ишь ты, душа-то какая...

Петр Третий первым простился с покойницей, поцеловал ей руку и, топоча ботфортами, удалился. Уехал в Сенат. Дела! И в тот же вечер он уже сидел во главе стола за веселым ужином.

Весело пировать, когда сам хозяин! Золотые канделябры наводили блеск на камчатные скатерти, сверкали в золоте тарелок, в хрустале... Рядом с царем сидела его подруга — толстая, дурная лицом Елизавета Воронцова. В дверях на часах стояли свои голштинцы, прислуга в гербовых ливреях мелькала кругом.

Среди гостей — русских было немного — Воронцовы, Шуваловы, Трубецкие. И, конечно, Волков. Было несколько итальянских актрис и актеров, два переводчика. Густой выпившей толпой обсели стол пруссаки — советники царя по его голштинским делам: тайный советник Пфениг, советники фон Левенбах, фон Бромбзен, Цейс, генерал Брокдорф, полковник Катцау, Ферстер. Грубые, напористые голоса звучали упоенно — пивом и успехом,— теперь-то все их дела в России пойдут блестяще. Пруссаки ревели, похлопывали друг друга по спинам.

Пьяный бледный император, покрывая все голоса, кричал попугайным своим, резким голосом:

— Нет, его величество король меня не забудет! не оставит своей милостью! Пусть тетка меня не допускала на заседания Военной Конференции — я ведь все равно знал все, помогал королю, чем только мог! Король — гений! Лучше быть командиром полка в прусской армии, чем царем в России. Да, если бы я был в прусской армии, я бы показал, на что я способен! А тут приходится жить с этими русскими... Говорить на их варварском языке... Меня воспитывал Брюммер! О, это прохвост, Брюммер! Попадись он

мне — я его посажу на кол — ха-ха-ха, на кол, как сажал своих врагов мой дед... Я Петр, и мой дед тоже Петр! Это кое-что значит! Брюммер заставлял меня стоять в углу на коленях... Он вешал на шею мне осла! А вот его величество король Прусский мной доволен. Я сильно помог ему... Волков! Волков! Ты слышишь?

Волков, взметнув бровями, свесив букли, спрятался окаменевшим лицом в большой бокал.

— А, ты не слышишь? Да ты не бойся! Волков! Старухи-то больше нет! Тебя не сошлют в Сибирь. Теперь я царствую. Я! Помнишь, как мы работали? Как провертели дырку в стене? Как пересылали распоряжения Военной Конференции его величеству королю? Ха-ха-ха! Да ты не смущайся. Брось! Тут все свои люди! Тебя никто не тронет! А как мы с тобой смеялись над приказами в армию... Ха-ха-ха! Они «секретные», а уже давно в Берлине. У его величества... Хха-ха-ха!

Царь хохотал пронзительно, то наклоняясь к столу, то откидываясь на спинку кресла. Как же он был доволен, как счастлив!

— Ха-ха-ха! — густыми голосами смеялись пруссаки.— Да здравствует наш Питер... Парень славный! Наш человек... Хох, хох, ур-ра-а!..

...Бледная луна скользила за тучами, мутно озаряя снег, в воздухе сверкали ледяные иголки, звенели колокольцы, тройка летела как птица, мелькали полосатые верстовые столбы. Еще не остыло тело императрицы Елизаветы, как бригадир и камергер, наперсник нового царя полковник Андрей Гудович скакал в легкой кошевке из Петербурга в Ригу и дальше, в Пруссию, с важнейшим поручением. Он вез радостное извещение герцогу Ангальт-Цербстскому Христиану Августу, что императрица Елизавета Петровна скончалась, что его дочка Фике и его зять вступили на русский престол. Он вез указ нового императора, которым его тестю жаловалось звание фельдмаршала русской армии...

Огромный Гудович подскакивал на ухабах, мерз на морозе, но благословлял свою удачу. Теперь-то будет все — и золото, и чины, и поместья, и крепостные... Послание к фатеру императрицы было что — лишь предлог, прикрытие для его командировки... Главное же поручение было — секретное письмо к королю Прусскому. Озабочивала, правда, мысль, как проскочить через фронт русской армии, и с таким деликатным поручением, как письмо вражескому королю. А потом — где же он найдет короля?

Много пришлось Гудовичу метаться по Пруссии, пока наконец он глубокой ночью не достиг города Магдебурга.

Луна уже заущербилась, глядела оранжево и дымно, замок высоко на горе среди равнины чернел своими башнями, шпицами, колокольнями... Почтовая карета пронесла Гудовича гулкими воротами на замковый двор. Узкие стрельчатые окна в кабинете короля были освещены.

Оттирая намороженные уши, обгоняя чиновников, прыгая через ступеньку, Гудович вбежал в приемную. Чиновники бросились с докладом, и сейчас же в приемную выскочил маленький встревоженный человек в скромном темно-коричневом кафтане, при звезде.

Это был первый министр короля — граф Финкенштейн — самого короля в замке не было, но министр знал, где его найти.

— Я привез его величеству пакет от императора всероссийского! — сказал Гудович.— В собственные руки... Где я найду его величество?

— Что такое вы говорите? — ахнул Финкенштейн.— Что-о? От императора? Почему от императора? А императрица?

Сердце под коричневым кафтаном забилось, затрепетало.

— Ее величество императрица Елизавета скончалась двадцать пятого декабря! — докладывал Гудович.— Но где же король? Моя эстафета величайшей важности!

У графа Финкенштейна от радости подкосились ноги, он опустился в ближайшее кресло...

— О! — сказал он.— Величайшая новость! Его величество в Силезии. В Бреславле. Скачем туда немедленно... О-о! Какую же новость привезли вы, молодой человек!

Только лишь спустя две недели после своего выезда из Петербурга Гудович наконец добрался до короля. Он нашел его в деревне, под Бреславлем, в гостинице «Под Белым Лебедем»... Зимнее солнце серебряным кругом снова светило сквозь серые тучи, деревья были белы от инея. Над входом в гостиницу, под черепичной крышей болтался, покачивался ржавый железный лебедь... Кругом по унавоженному снегу суетились адъютанты, ординарцы в плащах, в треуголках. Привязанные у коновязей лошади хрустели овсом в торбах, дергали головами... Издалека доносились удары пушек. У входа рослые гусары играли, хохоча, в орлянку. У дверей охрана — широко расставив ноги, стояла пара гренадер. Когда из кареты выскочил русский офицер, всё кругом всполошилось, бросилось было к нему, но остановилось, увидя, как за ним из кареты лез граф Финкенштейн.

— К его величеству! — важно бросил министр.— По самонужнейшему делу!

...Король сидел в большой общей кухне, около очага, вытянув на решетку ноги, и платком заботливо чистил свой

крупный нос. Вытянувшись почти под самые балки потолка, Гудович отсалютовал, вручил королю пакет:

— От его величества, императора всероссийского!

Король сверкнул взглядом на Гудовича, сломал орлёные печати на пакете, вскрыл его. Выпуклые глаза короля скользили по готическим строчкам, лицо становилось все радостнее. Все радостнее становилось и лицо Финкенштейна, следившего за королем.

В собственноручном письме император Петр сообщал королю, что его тетка скончалась.

«...Не хотели мы промедлить — настоящим письмом ваше величество о том уведомить, в совершенной надежде пребывая, что вы, по имевшейся вашей с нашим престолом дружбе, при новом положении возобновите старую дружбу. Вы изволите быть одних намерений и мыслей с нами, а мы все старания к этому приложим, так как мы очень высокого мнения о вашем величестве...»

Так писал Петр Третий Фридриху II.

Гудовичу тут пришлось нагнуться, потому что низенький и толстый король проворно подскочил и восхищенно клюнул его носом в щеку.

— Спасибо, спасибо! — кричал он, сверкая глазами.— Благодарение Богу! Ты — голубь, принесший мне в клюве первую ветку мира... Первую! Наш тыл теперь свободен... Ты очень устал, да? Голоден? Эй, друзья! Адъютанты! Накормите этого русского медведя! Этот медведь, верно, ест по целому барану зараз, а? Да вина, вина ему! Хха-ха!

Грохоча сапогами, гремя саблями, Гудовича окружили прусские офицеры, увели с собой.

Король же сразу поблек, взглянул на Финкенштейна, сделал ему знак присесть к столу и вновь стал перечитывать письмо.

— Ничего нового! — сказал он разочарованно.— Ничего!

О кончине Елизаветы Петровны, своего непреклонного противника, король знал уже давно: еще 7 января он получил уже об этом донесение от английского посла Кейта.

Естественно, что запоздалое послание Гудовича не могло повысить настроение короля. Напротив — оно встревожило. Петр в нем не сообщал ничего, кроме своих чувств, но ведь это были лишь его личные чувства! А Петр не один в Петербурге. У Петра были еще и союзники. А как они отнесутся к его чувствам? Король боялся быть оптимистом...

— Поймите, граф,— тихо говорил он Финкенштейну.— Я просто не знаю, как же дело пойдет дальше? Ведь дворы Вены и Версаля гарантировали уже императрице Елизавете владение Пруссией. Да фактически русские уже ею владе-

ют... Как же теперь царь откажется от таких завоеваний? Ради чего? Для кого? Ведь это бы значило просто капитулировать! Надо разведать положение в Петербурге! Надо немедленно послать туда своего человека! Кого? А?

Гудовича широко принимали, чествовали, он в Бреславле прожил до февраля месяца. А тем временем подошли и более существенные вести: графу Чернышеву с его воинскими частями из Петербурга приказано было отделиться от австрийской армии и уходить к Висле, прекращая, таким образом, военные действия против Пруссии.

Князь Волконский, командующий русскими войсками, занимавшими Померанию, донес императору Петру Третьему, что получил от вновь назначенного штеттинского губернатора, герцога Бевернского предложение — заключить перемирие между русскими и прусскими войсками, и просил соответствующих распоряжений. На это получил от Петра резолюцию: «Дурак! Заключить немедленно!» Перемирие было заключено, и русские ушли на зимние стоянки в Померании и в Неймарке, с границей по реке Одеру.

Пленные с обеих сторон были освобождены.

И когда в начале февраля Гудович сломя голову снова скакал уже в обратном направлении, пробираясь через зимние стоянки русской армии,— рядом с ним сидел посланник короля Прусского, барон Вильгельм Бернгард Гольц.

Это был длинный двадцатишестилетний адъютант короля Прусского, безусый, с водянистыми синими глазами, большой пьяница и жуир, человек ни перед чем не останавливавшийся. Настоящих дипломатов в Петербург послать не удалось: как ехать старому и со стажем дипломату в страну, с которой находились еще в состоянии войны, с которой целые двенадцать лет были прерваны и не возобновлены дипломатические отношения? Этот Гольц был по чину всего лишь капитаном, которого ради такой оказии произвели прямо в полковники. И теперь он, укутанный в серый плащ до самого длинного носа, в треуголке, повязанной шарфом по ушам, торчал коломенской верстой в русской кошевке, подскакивая на ухабах.

Их путь лежал по Померании, прочно оккупированной русскими войсками, на Мемель, на Ригу. Приходилось избегать встреч только с австрийцами. Тянулись скучные, заваленные снегом места, из которых подымали свои ветви черные ветлы, перепутанные морскими ветрами. Снег ослеплял под весенним, начинающим пригревать солнцем, дорога портилась уже кое-где. Гудович косился на своего молчаливого спутника и все время перебирал в голове: что ему просить у императора за точное выполнение столь важного поруче-

ния? «Надо будет просить деревни на Украине, поближе к родным местам! — думал он.— Подальше от Петербурга...»

А Гольц обдумывал наказ, который дал ему накануне отъезда король Прусский. В комнатах замка в Бреславле, где жил король, было жарко, солнце светило прямо в окно, а король, выставив свое брюшко и рубя указательным пальцем воздух, наставлял своего посла:

— Помни — главное — это немедленное прекращение войны с Россией... В этом все наше спасение! Прежде всего нужно оторвать русских от их союзников. От французов и от австрийцев...

Далее. Мой брат, император Петр, дает мне много надежд, однако обольщаться ими я не имею права. Нет! Тому, что мне доносят о Петре, я просто верить не могу!.. Невероятно! Нет таких государей на земле! Это немыслимо... Такие благородные, такие высокие чувства, какие он изливает в письме ко мне, по человечеству невозможны! Ты больше всего, внимательнее всего следи за царем, за ним самим, за его близкими и обо всем доноси подробно... Важнее всего знать — хозяин ли он своих слов либо нет? И при переговорах с ним имей в виду: если он непременно хочет воевать с Данией из-за Шлезвига,— я не поддержу датчан. Пусть он попробует, как воевать... Я думаю,— тут король проницательно прищурил глаза,— я думаю, что он хочет подражать мне. Воевать! Хе-хе!.. Трудное ремесло... Я-то во всяком случае хочу теперь мира...

Если русские захотят вывести свои войска из Померании, чтобы поставить их в Пруссии,— сразу же соглашайся: из Пруссии их выжить потом будет легче... Но даже если русские захотят остаться в Пруссии навсегда,— то и тогда соглашайся, но с условием, чтобы они нас компенсировали чем-нибудь за счет союзников,— это поссорит их с союзниками! Главное — ты должен сеять в царе недоверие к союзникам — к Австрии, к Саксонии. Ссорь их, выдумывая все, что хочешь, но так, чтобы было похоже на правду.

Еще одно... Это я не пишу даже в инструкции. Следи, следи, насколько прочно царь сидит на троне... Его жена, прусская принцесса Ангальт-Цербстская, очень умна... Куда умней его! Следи, какие у них отношения. Доноси сейчас же об этом... Очень важно... Передашь два письма — это его величеству императору.— Король взял со стола и протянул Гольцу пакет.— А это — ее величеству... Императрице. О втором пакете не говори никому, вручишь наедине. Добейся с нею во всяком случае самых лучших отношений.

И король стал снимать со своего кафтана большой черный орден с оранжевой лентой, передал его Гольцу:

— При первой же аудиенции вручи императору этот орден Черного Орла да скажи ему, что я снял его с моей груди...

И помни: первый визит в Петербурге немедленно же — англичанину Кейту... Это наш человек. Он на месте даст тебе инструкции... Прощай! Ну все! Требую успеха...

А Феофан Куроптев, теперь уже как инвалид с переломом бедра, стоял на посту у въездного шлагбаума прусского города Мариенвердера. Опираясь на палку, Феофан думал свою неясную, но крепкую думу. Скоро вот выйдет ему чистая, побредет он, Куроптев, домой. А что дома? Вернется в родную Левашовку, к господам Левашовым, что его под красную шапку забрили... «Живы ли отец, мать, жена? Семь лет ничего о них не слыхивал.. Крестьянством-то теперь не позанимаешься — как есть калека. Ну, коров буду пасти, в дудочку играть... Тур-туру... О Господи...»

И ясно увидел Куроптев розовое утро, зеленый луг у речки, над речкой, над камышами да ракитами, белый парок тянется. Свирель где-то играет. И от удовольствия Куроптев и рассмеялся, и прослезился... Хорошо там, где немца нет!.. Ну как они ему тут досадили... Вот чего с ногой сделали...

Житье ему стало вовсе плохое — в животе бурчит: ну, какая еда — позеленелые сухари да вода. Аж знобит! Снег тает, разбитая обутка полна водой. Плащ он прожег еще на ночевке у костра, и спину продувало холодком весенним. Кругом все неладно, все измена... Генералы да офицеры из дворян — те все за немца... Только солдаты вот немца бьют, как в бубен, ото всей души, ну а встречается-то он им редко... Генералы солдат отводят, черти...

«Из-за чего война-то? — продолжал думать Куроптев.— Королю Прусскому крылья надо подрезать! Правильно! Надо! Ну, так ты и действуй... Режь ему крылья, да людей зря не губи, не томи... Сколько русских костей в этой Пруссии положили. И все потому, что господам нет дела до мужика. Они кормиться хотят, богатства да почестей ждут, а ты, Куроптев, погибай...»

Со звонками скачет издали тройка к заставе... Ближе, ближе... Остановилась.

Куроптев заковылял к кошевке:

— Стой! Кто едет? По какому виду?

— По высочайшему повелению! — крикнул из кошевки гигант, выкатив глаза, выдвинув вперед челюсть.— Подымай шлагбаум, ррастакой...

Куроптев смотрел во все глаза. Этот, что орет,— русский. Должно — хохол. А рядом — кто это с ним, в плаще прусском, в прусской шляпе? Кто таков? Не иначе пруссак!

— Стой! А куды пруссака-то везешь?

Куроптев на войне воевал, знает, как присягу исполнять, врага задерживать... Гигант заматерился, выскочил из кошевки, сшиб Куроптева кулаком, заорал на немца-инвалида:

— Баум ауф!

Лошади рванули, поскакали с места, колокольцы залились... Куроптев трудно поднялся и, держась за правую скулу, кротко подумал:

«Опять измена! Не иначе! Взять бы их, чертей, под ноготь...»

21 февраля Гудович и Гольц благополучно пригнали уже в Петербург, и скоро Гудович стоял перед императором. Было за полдень. Петр только что приехал из Сената, выпил всего одну бутылку английского пива и выглядел совершенно довольным.

— Как съездил? — спросил он срыву.— Как его величество король?

— Извольте, ваше величество, письмо его величества короля.

Петр весь изменился в лице, схватил синий пакет с печатями, разорвал, читал громко, обводя по временам глазами кабинет:

— «Особенно радуюсь я тому, что ваше императорское величество получили корону, которая вам явно принадлежала не столько по наследству, сколько по вашим добродетелям. Эти добродетели придадут короне вашей новый блеск...

Я чувствую, как я обязан вам! Мне доложили, что вы приказали корпусу графа Чернышева оставить австрийцев. Надо быть бесчувственным, чтобы не сохранить вечной признательности за это к вашему величеству... Вы спасли меня, ваше величество...»

Император Петр Третий остановил чтение и крепко-крепко поцеловал письмо.

— Вот это радость! — визжал он.— Спасибо... Это счастье... Гудович, обними, братец, меня! Спасибо, Гудович, ты верный слуга. Жалую тебе три деревни... Где хочешь иметь?

— Прошу в Черниговском полку! На Украине! — отрапортовал Гудович.

— Да, ты ведь хохол... Ну, бери, бери!

— Ваше величество! Разрешите доложить, что со мною прибыл в Петербург посланник его величества короля, полковник барон Гольц!

— Ура! — вскричал император.— Ура! Ура! Да здравствует мир! Где же он? Давай его сюда! Я сейчас же приму его! Бери себе еще три слободы, где хочешь!

— Ваше величество! Прошу в Стародубском полку!

— Бери в Стародубском... Забирай себе мужичье! Еще много его свободно гуляет! Но где же посол?

— Ваше величество, он явится во дворец, как только приведет себя в порядок!

— Где он остановился? Вези его ко мне во дворец!

— Ваше величество, он остановился у английского посланника... Отдыхает...

Но Гольц не отдыхал. Согласно инструкции короля, он уже беседовал с английским своим союзником в его доме на Английской набережной.

На Неве рубили лед... За рекой чернел шпиц Петропавловской крепости, Васильевский остров тянулся приземисто, и только дворец князя Меншикова блестел желтой краской.

Посланник Кейт, англичанин с розовым лицом, с серебряными волосами, рассевшись в широком комфортабельном кресле, хохотал так, что его брюхо под малиновым камзолом прыгало вверх и вниз.

— Какие отношения между его величеством императором и союзниками? — переспросил он.— Да такие, что они того гляди глотку друг другу перегрызут. В Петербург прибыл его высочество принц Голштинский Жорж, дядя царя... За ним царь послал сразу же после смерти тетки Елизаветы. Дядя Жорж теперь главнокомандующий русскими силами. Царь дал ему титул «императорского высочества»... У дяди голова кругом идет, и его величество требует, чтобы все союзные представители первыми нанесли визит дяде Жоржу, а те отказываются. Скандал! Тогда император отвечает посланникам тем, что сам не принимает их... Скандал еще больше. Отношения, таким образом, прерваны. Вот вам вся картина!

— В чем же дело?

— Дело в том, что...

Сэр Джон встал, медленно подошел к желтой, карельской березы, двери кабинета, открыл ее, выглянул...

— Дело в том, что...— продолжал он, вернувшись, понизив голос,— что государь безнадежный дурак... Все в этом...

— На что же рассчитывает его величество?

— Трудно сказать... Русские все хватаются за голову, бегут ко мне... Жалуются мне на своего царя — русские вообще страшно любят жаловаться иностранцам! Будто мы можем разобрать их путаные дела, в которых они и сами-то не разбираются. Хха-ха-ха! Они все против государя...

— А кто же за него?

— Голштинцы.... Ну, и дядя Жорж. Еще бы — ведь он получает сорок восемь тысяч рублей жалованья в год... Бедняк и рад. За него и те, которых император вернул из

ссылки... Бирон уже приехал из ссылки из Ярославля, рассчитывает вернуться герцогом в Курляндию. Миних с сыном... Бароны Менгдены. Лилиенфельд. Миниху государь пожаловал дом Лестока. Говорят, будто возвращается до двадцати тысяч сосланных при Елизавете. Конечно, все они — за императора. Да еще Шуваловы, Петр и Александр, произведены в фельдмаршалы... Эти двое фельдмаршалов — тоже за императора, хотя трудно сказать...

— Ну, а другие?

— Против... Мои информаторы передают, что Иван Шувалов, любовник покойной Елизаветы, дышит негодованием, злобой... Бешенством. Информатор утверждает, что у негодяя что-то страшное на уме...

— Заговор?

Лорд пожал плечами.

— Возможно... И мой предшественник Вильямс, и я неоднократно сообщали его величеству, прусскому королю, что едва ли этот император долго усидит на престоле. Он опирается только на голштинцев... Окружен заговорщиками.

— А императрица, его супруга?

Сэр Джон проницательно взглянул на барона.

— Вы, наверное, привезли ее величеству императрице письмо от вашего короля? Не так ли?

Гольц утвердительно кивнул головой.

— Совершенно правильно! Императрица настолько же умна и хитра, насколько император глуп. Правда, сейчас она не у дел. Носит траур... Читает... В этом сплошном барабанном бое она молчит. Никого не принимает... И вот это именно и подозрительно. Поэтому мой совет вам — используйте императора, насколько можно, но не оставляйте без внимания императрицу... Ни в коем случае... Как изумительно она держится! Какая выдержка! Царицу Елизавету не хоронили целых шесть недель, она разлагалась, а ее величество целые дни выстаивала у гроба.

Он развел руками.

— Она не снимает черного платья... Скорбит! Очень умно! Совершенный контраст с тем, как ведет себя его величество — царь. Ну хорошо... А как себя чувствует его величество король? Полагаю,— он испытующе взглянул на Гольца,— что королевское самое первое ваше поручение здесь — заключить мир. Не правда ли?

Барон наклонил напудренную голову:

— Вот именно! Его величество король готов пойти на многое ради мира!

— Не торопитесь, полковник! Не уступайте ничего! Император Петр Третий очарован королем Фридрихом Вторым!

Влюблен в него, как женщина... Готов на все... Вы можете запрашивать как угодно...

Сэр Джон вскочил с кресел, бросился к окну:

— Обратите внимание, барон. Идет деташмент[1] русских солдат. Они уже в прусских мундирах... Х-ха-ха! С брандербурами... Они уже стали пруссаками? Как их император? Убежден, этот человек натворит необыкновенных вещей... На аудиенции у него держитесь твердо, но льстите, льстите ему, говорите, что король Прусский без ума от него..

На следующий день император Петр Третий в своей карете мчался по набережной из Сената во дворец, торопясь принять Гольца. В Сенате был сегодня большой день — был зачитан «Указ о Вольности Дворянской...». До этого февральского, ростепельного дня 1762 года каждый российский дворянин был обязан государству пожизненной службой «двором», то есть предоставленной ему землей, и людьми — «поместьем», службой по гроб его жизни. Обязательность каждого такого «дворянина» заключалась в управлении этим своим двором-поместьем, в управлении «прикрепленными» к земле крестьянами, в доставлении в случае нужды государству солдат, продовольствия, конского состава, вооружения даже... Дворянин был обязан безоговорочно ехать в какие потребуются командировки — поручения от правительства... Он был готов каждую минуту скакать на север, в Сибирь, на Амур, чтобы управлять городами, налаживать пути сообщения... Дворянин до этого дня не был свободен, он никогда не мог распоряжаться собой, он всегда был занят государевой службой... Только под старость, в болезнях он доживал года, наконец, в своем поместье...

И месяц тому назад император объявил в Сенате, что он жалует дворянству «вольность», то есть освобожденье от обязательных служб.

«Дворянам службу продолжать только по своей воле,— объявлял тогда император.— Служит каждый столько, сколько пожелает... На службу все являться должны лишь в военное время, на таком основании, как это в Лифляндии с дворянами поступается».

Одним таким словом императора освобождалось, становилось независимым от государства целое сословие. Свободные дворяне делались теперь как бы собственниками, хозяевами «своих» земель, «своих» крестьян. Дворяне теперь оказались «без крепости», свободны, а крестьяне — горше закрепощены. Служилый по старому московскому образцу на всю свою жизнь боярин обращался теперь в бездельного «барина»...

[1] Отряд.

Восторженными криками встретили сенаторы это заявление царя. Еще бы! Вместо всеобщего московского государственного поравнения с «подлым» народом в общей службе государству они становились «благородными», «свободными» по западному, феодальному образцу!

На ближайшем же докладе царю статс-секретарь Волков доложил его величеству, что восхищенные дворяне готовы в благодарность за свою свободу воздвигнуть ему статую в Сенате, отлитую из золота!

Петр Третий от такой чести отказался, но целый месяц его Указ оставался лишь словесным, что уже вызывало в дворянах тревогу... В день приезда Гудовича император собирался снова пировать со своими немцами, и чтобы отделаться от любовницы своей Воронцовой, он сказал ей, что всю ночь будет занят делами в своем кабинете, с Волковым. Волкова и заперли в кабинет, и император приказал ему написать этот Указ...

К утру Указ был готов. У императора с похмелья кружилась голова, все плыло, скользило перед глазами; желтый, мутный, он едва слушал дробь языка Волкова, читавшего артикул за артикулом.

По Указу выходило, что Петр Первый, посылая дворян учиться за границу, вынуждал их к этому. Так же самодержавно обращались с дворянами и другие цари и царицы. В особенности — Елизавета. Но так как «науки теперь умножились», читал Волков, «и истребили грубость и нерадивость к пользе общей, невежество переменилось в единый рассудок, полезное знание и прилежание к службе умножили в военной службе искусство храбрых генералов, а в гражданских делах оказалось теперь много людей, сведущих и годных к делу», то — гласил Указ — «не находим мы больше той необходимости принуждения к службе, которая до сего времени потребна была».

На выбритом до блеска, на всем в длинных складках лице канцлера Воронцова во время чтения было написано самое напряженное и в то же время потрясенное внимание — он еще не был предварительно ознакомлен с этим текстом. Шувалов тоже таращил глаза до чрезвычайности — ему как начальнику Тайной канцелярии было хорошо понятно, что нес с собой такой Указ... Уже и так после словесного его оглашения дождем сыпались от дворян прошения об увольнении их в отставку со службы... К чему подвергать себя всяческим превратностям служебной карьеры, когда теперь можно жить бездельно и спокойно у себя в деревне, за счет своих рабов — крепостных, читая иностранные журналы и книги, играя в дурака с соседями, собирая

гаремы из крепостных девушек либо выпивая крепкие настойки?

— «Мы надеемся,— читал Волков свое произведение, уже подписанное императором,— что все благородное российское дворянство по своей к нам верноподданной верности и усердию не будет ни удаляться, ни тем более укрываться от службы, но с ревностью и охотой в таковую вступать и честным, незазорным образом оную до крайней своей возможности продолжать...

Всех же тех, кои никакой и нигде службы не имеют и свое время проводят в лености, в праздности,— тех мы, как не радеющих о добре общем, повелеваем всем верноподданным и истинным сынам отечества презирать и уничтожать...»

По мере чтения лица государственных первых персон каменели все более и более. Выслушав его, сенат — старики с ввалившимися ртами, пожилые здоровяки с красными щеками, багровыми носами, в расшитых мундирах, в седых пудреных париках, что придавало им вид существ необыкновенных,— поднялся за вставшим с кресел императором и склонился в поклоне, когда он уходил широкими косыми шагами. Потом осторожно смотрели друг на друга, подымали вопросительно плечи, разводили руками.

— Или мы Лифляндия? — говорили они.— Эдак-то чего же с нее пример брать? Мы, чать, посильнее!

— Что же это будет, когда Указ будет в действие приведен полностью?

И у всех была одна, самая страшная, самая далеко запрятанная мысль:

«А чего же нам, дворянам, ждать, ежели и наши мужики себе свободы потребуют? Что тогда?»

А император мчался во дворец — сколько ведь лет не бывало прусского посланника в Петербурге... Теперь он прибыл, теперь между Россией и Пруссией можно установить прямую общность интересов...

Прусский посланник, барон Гольц, вступил в аудиенц-залу, приблизился, отчеканивая шаг, к трону, на котором сидел Петр Третий, отсалютовал и преклонил одно колено.

— Ваше императорское величество! — сказал он звонким голосом.— Мой повелитель, его королевское величество король Пруссии, просит ваше императорское величество принять, возложить на себя и носить эти знаки ордена Черного Орла.

За ним на одном колене стояли два голштинских генерала, держали на алой подушке большую звезду с оранжевой лентой.

Когда император, весь сияя удовольствием, торопливо бросился с трона и, схватив пакет и орден, стал надевать его, барон Гольц спокойно и ловко ему помогал.

После приема состоялся обед, на котором барон Гольц сидел за императорским столом рядом с императором. Пили много, и особенно много — за здоровье короля Прусского. Против кресла царя, как всегда, висел на стене портрет Фридриха II в мундире, в треугольной шляпе. Подымая бокал, царь показал Гольцу, что и в его перстне был тоже портрет короля Прусского.

— Если вы говорите, что его величество беспокоится, сдержу ли я свои обещания, которые дал ему, то вы сами увидите, сами увидите, что я честный пруссак! — шептал он прямо в ухо Гольцу.

Пили много. Допьяна. Император все время разговаривал с Гольцем, удивлял его своей осведомленностью в прусских делах, знанием всех полков прусской армии, знанием их истории, всех их прошлых и настоящих шефов.

А когда перепившаяся застольщина наконец поднялась из-за столов, то стали играть в любимую игру Петра Третьего: прыгая на одной ножке, старались коленкой под зад друг друга сбить, заставить стать на обе ноги... Кто не удерживался, обязан был выпить штрафной бокал вина... Хохотали до слез. Барону Гольцу удалось сделать так, что император сбивал его два раза и хохотал уже совершенно счастливо...

«Дело идет на лад! — думал барон Гольц, скача на одной ноге.— Хорошо! Хорошо!»

Императрица Екатерина приняла Гольца в своем кабинете, где со шкафов смотрели мраморные бюсты великих людей, где на полках стояли толстые книги в тисненных золотом переплетах. Фике была вся в черном, и это очень шло к ней. Ее глаза подпухли от слез, складка над переносицей сдвинулась резко, она была бледна.

Они были наедине.

После целования руки она просто указала барону на стул около себя.

— Садитесь, барон! Как здоровье его величества короля?

— Отменно теперь! — с улыбкой ответил барон.— Имею поручение передать вашему величеству это письмо... Совершенно доверительно!

Он вынул из-за большого обшлага письмо, встал и с поклоном передал его императрице.

«Мадам моя сестра! — писал Фридрих.— Поздравляю вас от всего сердца, ваше императорское величество, с вашим восшествием на престол. Вы можете быть убеждены, мадам,

что я в этом чрезвычайно заинтересован. Я не могу удержать себя от того, чтобы не смотреть на вас и на императора как на самых одинаково мне близких людей. Я не могу в настоящее время объясниться с вами более откровенно, но льщу себя надеждой, что мои чувства и намерения вполне совпадают с вашими.

В надежде на многое последующее, я остаюсь, мадам моя сестра, вашего императорского величества верный и добрый брат

Фридрих-Рех».

Императрица вздохнула, опустила руку с письмом и посмотрела в водянистые глаза Гольца.

— Что же я должна ответить его величеству? Я напишу ему сама... Но и вас прошу передать, что я чрезвычайно благодарна ему еще раз за то его участие, которое помогло мне стать тем, что я теперь... Этого я никогда не забуду... Считаю, что и его величество король должен вполне полагаться на мою с ним дружбу и на расположение к нему. Но мне очень тяжело... Простите меня за этот короткий разговор, но я так убита кончиной ее величества императрицы, что пока вам ничего сказать не могу. Я ведь никого не принимаю...

Когда после приема у Екатерины барон Гольц вернулся к лорду Кейту, тот еще более улыбался и похохатывал, расхаживая после завтрака по лаковому полу своего кабинета.

— Не понимаю, что творится! — говорил он.— Не понимаю! Император на днях только что освободил от работы всех своих дворян... Это породит недовольство среди крестьян. Те захотят тоже освобождения от крепостного состояния... Будут бунты... Будут бунты... А сегодня — еще новость... Государь — хе-хе-хе — уничтожил Тайную канцелярию, которая правила железным порядком в стране...

— Каким образом?

— Указ его, прочитанный сегодня в Сенате, говорит, что Петр Первый учредил эту канцелярию по «тогдашнего времени обстоятельствам», из-за «неистребимых в народе нравов».

— А теперь?

— Теперь, очевидно, царь думает, что нравы изменились... Я так не думаю... Всеми делами Тайной канцелярии приказано ведать Сенату... Теперь эти старики будут разбирать «слово и дело»! Барон, у меня такое впечатление, что государь сам рубит сук, на котором он сидит.

— Как же он усидит?

— А может быть, мой друг, он и не хочет сидеть? А если он все это делает для того, чтобы сдать царство в чужие сильные руки?

И, засунув руки глубоко в карманы кафтана, сэр Джон выпятил нижнюю губу и стал смотреть в глаза барону Гольцу.

Тот отошел к окну.

— О, лед-то на реке почернел! — сказал Гольц.

Глава десятая

ХЛОПОТЫ КОРОЛЯ

Весна в 1762 году в Силезии пришла дружная, в марте месяце уже сошли снега. Из окон высокого замка в Бреславле королю Прусскому видно, как на полях пашут крестьяне, как они медленно идут за тяжелыми плугами, как перелетают за ними черные грачи.

Мир!

Удача!

Теперь-то он, прусский король, наверное удержит за собой Силезию: перемирие с русскими заключено, русские понемногу отходят. Гольц в Петербурге ведет переговоры о мире.

Король стоит у окна, смотрит, как на привязанное к крыше колесо, в свое гнездо тяжело садится аист... Прилетели! В природе все идет очень быстро... Своим порядком... *Правильно. Без потери времени...*

А в политике бывают, к сожалению, задержки.

Впрочем, Петр Третий в Петербурге делает все ради интересов Пруссии. Он уже обещал освободить все занятые его войсками прусские земли... Отлично!

Король подошел к столу, схватил, перелистывает проект мирного договора... Вот. Будет заключен союз, по которому Россия обязуется помогать Пруссии, если на нее нападет другое государство: это значит, что Австрия уже никогда не нападет больше на Пруссию... Теперь Польша. Август Саксонский, поставленный когда-то польской шляхтой, *слишком долго сидит польским королем.* Теперь он очень стар, скоро умрет. А кто будет королем в Польше? Согласно мирному договору, *польским королем* будет снова ставленник России, и тогда с Польшей можно делать все что угодно... Россия охватывает ее с востока, Пруссия — с запада, и в таких тисках Польша расколется, как орех... По этому договору Пруссия поддержит русского императора в защите православных, живущих в Польше, которых притесняют католические попы. Россия же поддержит взаимно его — прусского короля, который тоже вступится за своих лютеран в Польше. Будет как раз так, как было уже с Силезией двадцать лет тому назад... Католики помогли тогда королю при-

брать к рукам Силезию, чтобы освободить лютеран из-под католического ига... Ха-ха! Теперь очередь за Польшей.

Какая удача этот договор. Пруссия благодаря ему освобождается из проигранной войны, в которой она до полного изнеможения боролась семь лет. И выходит, не только ничего не потеряв, а с расширенными перспективами. Какая удача! Пруссия явно теперь на пути великой державы.

Нехорошо одно лишь, что Гольц все время доносит, что Петр Третий непременно хочет идти воевать в Европу... против Дании! Кому и зачем нужны русские войска в Европе? Чтобы повторять грозные времена Петра Первого? Нет, это Европе больше не нужно! Впрочем, возможно, что такой войны не будет,— донесения из Петербурга говорят, что против императора Петра — вся его страна... Однако Фридриху II удалось использовать эту ситуацию в интересах Пруссии: за признание своих будущих завоеваний в Европе в войне против Дании Петр Третий уже заранее согласен по этому договору признать права короля Прусского на завоеванные им Силезию и Глац. Даже и впредь — на все будущие прусские завоевания!

Однако Гольц доносит, что в России все время вспыхивают крестьянские бунты... Если Петр Третий действительно бросится на Данию — о, в России могут быть события! Петр Третий так торопится с этой войной, что даже откладывает свою коронацию! Как неумно! Или царь не понимает, что эта шумная, блестящая церемония смирит, оглушит народ, усмирит, заставит его повиноваться? Коронация — дело попов, именно попы поддерживают царей в народе! Следует его предупредить — это действительно опасно! Надо написать все ему, императору Петру!

Король взялся за письмо Гольца и снова раздумчиво прочел его еще раз:

«Только вы, ваше величество, только ваше письмо может удержать царя от того, чтобы не натворить непоправимых ошибок».

И, сев за стол, король начал письмо императору Петру Третьему.

«Вам самим ехать в Данию на эту войну ни в коем случае не следует! — писал он.— Подыщите способного генерала. Вы не можете всюду сами совать свой нос! Я серьезно настаиваю на том, чтобы ваше величество поскорей короновались,— такие церемонии очень импонируют народу. Я уже ведь писал вам — я не верю русским! Всякая другая нация благодарила бы Бога, пославшего им такого государя, с такими исключительными качествами... Разве русские понимают свое счастье? Как вы не боитесь выехать

из вашей страны, оставить ее? Разве не может случиться, что чье-нибудь задетое оскорбленное самолюбие соберет кучку недовольных, а там возникнет и серьезный заговор? В чью же пользу? — спросите вы. Это ясно! Конечно, только в пользу брауншвейгского принца Ивана, который сидит в Шлиссельбурге... Да вы представьте себе только, ваше величество, что во время вашего отсутствия из России какая-нибудь горячая, но пустая голова составит заговор — найдутся на это и чужие деньги — и вытащит Иоанна Антоновича из тюрьмы! Разве вашему величеству тогда не придется прерывать самые удачные, самые важные военные операции, чтобы броситься домой тушить пожар? О, меня просто охватывает дрожь от этой мысли! Я бы всю жизнь упрекал сам себя, если бы не написал так откровенно всего этого вашему величеству...

Поймите меня правильно, почему я пишу так! — продолжал Фридрих.— Я ведь душой и телом заинтересован в сохранении вашей жизни... Да как же мне и не посылать тысячи благодарностей тому, кто один во всей Европе протянул мне руку помощи в моем несчастье в то время, как союзники мне изменили, тому, кто заключает со мной такой благородный и великодушный мир...»

Фридрих бородкой пера почесал клювастый нос. Посмотрел в окно. Весна! И какая счастливая весна! Сегодня можно будет немного помузицировать — где же моя флейта? Давненько я не играл! О, не до музыки было...

И перед королем пронесся снова невыносимо жаркий августовский день. Куненсдорф. Топот кавалерии Зейдлица, идущей в атаку... Вот она вся с маху валится в овраг. Русские гаубицы громят прусские ряды в кровавое месиво, в кашу из мяса, костей, внутренностей, среди которых еще блестит чей-то медный кивер... Стальная стена русских. И он сам, прусский король, подпрыгивающий от страха на месте, истошно вопящий:

— Притвиц! Ротмистр Притвиц! Спасай, спасай твоего короля!

«Нет,— думал король.— Больше производить таких рискованных опытов нельзя! Пруссия теперь — это человек, израненный, ослабленный от потери крови, всего более нуждающийся в лечении... В бережливой заботе. Такой человек отдохнет и снова станет сильным. Пруссии нужен бальзам мира... Политика должна быть мирной. Никаких войн! Тем более что ты теперь свободен, и с русским царем можно делать что угодно... Но, допустим даже, если этого дурака и сбросят с трона, кто же его заменит? Только юродивый Иванушка из Шлиссельбурга, в своей тюрьме не видевший

за всю жизнь человеческого лица... Или... Она? О, какая бы то была удача!

Фике — на троне! Вот это мог бы быть мастерский ход моей политики! Моей прозорливости! Гениально? О, она — она имеет шансы... Она умна! Она ведет себя, словно кружево вяжет... Ха, недаром везде говорят, что Фике моя дочь... О молодость, молодость, где ты? Стихи!.. Луна! Любовь! Ну и все, что было когда-то... Иоганна была тоже молода. Все это в прошлом. Или в будущем? А теперь прежде всего надо полностью использовать царя Петра...»

И 24 апреля граф Воронцов и прусский посланник кавалер барон Гольц подписали договор о мире между Пруссией и Россией.

«Для того, чтобы доказать всему свету явное и несокрушимое доказательство бескорыстия своего, равно доказать и то, что его действия проистекают из полного его миролюбия, император всероссийский сим обещается и обязывается формально и торжественно — возвратить его королевскому величеству все области, города, места, крепости, земли, его королевскому величеству принадлежащие, кои в течение сей войны российским оружием были заняты. И выполнить это в срок два месяца, причем император всероссийский признает все возвращенное справедливо и законно прусскому королю принадлежащим...»

Мир!

В честь этого акта, как водилось тогда, была выбита медаль с изображением богини мудрости — Минервы, с надписью:

«МИНЕРВЕ — МИРОТВОРИТЕЛЬНИЦЕ»

Ретирада русских войск из завоеванной почти Пруссии теперь разворачивалась в размерах и в темпах куда более значительных, чем даже при покойном фельдмаршале Апраксине.

Побежденный Фридрих торжествовал победу!

Об измене отечеству своего царя-самодержца заговорили теперь не только солдаты — заговорила вся Россия.

— Пруссаки уже в Опочке! — говорил Петербург.— Царь пустил пруссаков в Россию!

— Петр продал пруссакам русских солдат!

Академик Михайло Васильевич Ломоносов кипел негодованием:

О стыд, о странный поворот!
Видал ли кто из в свет рожденных,
Чтоб победителей народ
Отдался в руки побежденных?

И вставал по всей стране гнев, гнев глубокий, народный, до времени тайно таимый, затяжной, словно низовой лесной пожар.

Петр Третий сам не понимал, что творил. И на хитрые упреждения короля Прусского о возможном восстании он отвечал так:

«Что же касается русских и того, что русские будто бы меня не любят, то я скажу, что они давно бы навредили мне, если бы это было так. Ведь меня охраняет только Господь Бог, я всегда хожу один по улицам — это вам подтвердит ваш Гольц. О, кто знает, как обращаться с русскими, кто знает, как подойти к ним, тот от них всегда безопасен!»

В мае, при большом стечении народа, с Адмиралтейской верфи были торжественно спущены два новых 74-пушечных корабля русского военного флота:

«Король Фридрих» и

«Принц Жорж».

Зимний дворец в апреле еще не был окончательно отделан, хотя работы шли день и ночь, почему празднование заключения мира пришлось отложить до мая, когда наконец был готов ряд огромных зал с видом на Неву.

Празднование мира началось 10 мая... Утром в Казанском соборе отслужили обедню, потом молебен. Был парад войскам на Марсовом поле, грохотали пушки с верхов Петропавловской крепости, на зеркально-синей Неве стояли корабли, галеры, яхты, трепетали разноцветные флаги... На площади против дворца народу было выставлено угощение — бочки с пивом и вином, жареные быки... Народ толпился, однако особого веселья не обнаруживал... Крестьяне в армяках, в валяных шляпах, горожане в немецком платье смотрели в цельные стекла нового Зимнего дворца, где на раскрытых балконах мелькали цветные кафтаны, платья, откуда неслась музыка... А когда с крыши дворца на ту сторону Невы в Петропавловскую крепость сигналили флагом, крепость отвечала громовым дымным салютом на каждый тост за царским столом...

Всех веселей, всех пьяней был сам император Петр Третий. Бледный, в синем прусском мундире, с блуждающим взором, он вдруг во полупиру поднялся, вытянулся во фрунт и, обратясь к портрету короля Прусского, висевшему как всегда напротив его кресла, поднял хрустальный бокал и возгласил здравицу:

— Королю Прусскому, моему повелителю, гению и надежде человечества — ура!

— Ура! — подхватила пышная пьяная застольщина.— Виват! Ура!

Люди кричали, пряча взгляды, не глядя друг на друга, никто протестовать не смел. Крепостные пушки из-за реки били так, что все стекла дрожали.

Барон Гольц с надменной улыбкой осмотрел залу и вдруг увидел: сидевшая в отдалении от супруга императрица Екатерина при тосте одна не встала с места. Она опустила глаза на скатерть, мяла в руке розовый цветок. Не подняла бокала.

Перегнувшись через спинку высокого кресла, Гудович зашептал в ухо царю:

— Она, она-то не пьет!

Петр пошарил вокруг бешеными глазами, увидал жену. В скромном, полутраурном платье Фике сидела недвижно, словно мраморная статуя.

В зале наступило молчание... Все пышные персоны, все дамы, вся придворная челядь обратили свои взоры на этот разыгрывающийся между мужем и женой молчаливый, тихий, но смертельный бой: бой за трон.

— Почему же вы не пьете здоровье его величества? — по-французски завизжал Петр, не выдержав первый молчания.— Как вы смеете не пить?

Екатерина не отвечала. Опустив голову, скорбная, подавленная, она казалась печальной матерью, тоскующей о потерянных детях... Перед пьяной застольщиной встал образ покойной царицы Елизаветы Петровны.

Ответа не было.

— Дура! — закричал тогда император по-русски и так, что его истошный визг зазвенел под розовым плафоном потолка.— Дура! Я вам покажу, что значит быть верным!

Пьяно покачиваясь и спотыкаясь, император сбежал с возвышения, на котором стояло его кресло, обежал кругом длинный стол и прямо перед портретом прусского короля рухнул на колени. Воздев вверх обе руки, он вопил:

— Государь мой! Ты видишь — я верен тебе... Клянусь, со мной верна тебе и вся моя Россия!

От неловкости никто не поднимал головы, не смел взглянуть на пьяного высочайшего шута, однако все осторожно следили за императрицей.

Она по-прежнему молчала, опустив голову, уронив руки на колени, и крупные слезы блестели на полузакрытых глазах...

Пир продолжался. Наступил вечер. В окна дворца с Невы уже лился закатный свет, мешался со светом свеч в бесчисленных хрустальных люстрах и бра, на судах сияла иллюминация, играла на лодках роговая музыка, пели песенники... На площади продолжала стоять молчаливая толпа, не отрываясь смотрела в освещенные окна, откуда неслась музыка, где мелькали тени танцующих.

Было еще не вполне темно, как над Невой вспыхнул фейерверк. Стучали, гремели бураки и шутихи, крутились на плотах золотые колеса, пылали разноцветные фонтаны огня, ракеты, римские свечи, бесчисленные как звезды, летели в вечернее небо. Все это, отражаясь, двоилось в зеркале Невы. Только средина огромного огненного фронта оставалась темной... Но вот вспыхнула и она: две огромные, сияющие величественные женщины — Россия и Пруссия — протянули друг другу объятия, от них в темно-серой Неве бежали цветные огненные змеи. Толпа стояла потрясенная искусством хитрых немцев.

В зале все были так прикованы к окнам волшебным фейерверком, что никто не заметил, как императрица Екатерина удалилась из залы. Она уехала в свой старый дворец, сидела в своей уборной, ждала, ждала...

Верный ее камер-лакей Шкурин как всегда вошел без стука.

— Он пришел?

— Так точно, ваше величество! Изволили прибыть!

Фике казалось, что она никого никогда так еще не любила, как этого человека. Спеша к себе в кабинет по темным пустым покоям, коридорам дворца, задыхаясь от волнения, она чувствовала всем своим существом, что ни граф Салтыков, «прекрасный, как день», отец ее сына, наследника престола Павла Петровича, ни граф Станислав Понятовский, ослепительно красивый, молодой, блестящий и элегантный поляк, отец ее дочери Анны Петровны, не были так близки, так желанны ей, как этот могучий человек. А главное — не были так нужны ей.

Фике из уборной вбежала в угловой свой кабинет, там горели две свечи. Никого! Но вот замяукала кошка, Екатерина ответила тем же, послышался шорох, скрытая в шпалерах дверь распахнулась, и вошел он — Григорий Орлов.

Веселый, статный, могучий, он опустился на колено, поцеловал руку императрицы. А она схватила его голову и целовала, целовала без конца, словно хотела излить в него всю свою наболевшую душу...

— Гришенька! Родной,— шептала она.— Желанный мой! Как же я измучилась... Долго ли еще нам терпеть этого монстра?

Орлов вскочил, подхватил ее на руки. Она небольшая, но тяжелая. А такая уж дорогая, что и сказать нельзя. Положил бережно на канапе.

— Катенька! Лапушка! Сердце! Ангел! Все скоро готово. Как только поедет монстр в Данию воевать — все сделаем.

Через несколько минут Орлов уже успокоенным голосом, такой красивый в малиновом кафтане, с золотой шпагой, сияя смелым решительным взглядом, докладывал:

— Гвардия вся кипит. «Он» не зовет нас иначе, как янычарами. Потому — боится! Опасные люди — гвардейское дворянство... Хочет распустить полки Преображенский, Измайловский, Семеновский... Вчерась мы славно понтировали у Бековича, играли до свету. Кто играет, а кто шепчется. Сказывали, что тебя, матушку, он хочет в монастырь упрятать... Это тебя-то, родная,— и в монастырь!.. Ха-ха! Нет, говорят, скорей мы его упрячем туда, куда ворон костей не занашивал! Да все еще толкуют, почему-де о тебе, матушка, да о наследнике в манифесте ни слова не сказано.

Фике смотрит на Григория, прищурив длинные ресницы. Улыбается. Ах ты, русская силушка! Горячка какая! Орел! Недаром этот ее любовник да первый заговорщик — внук стрельца Григория Орла, казненного Петром.

— Отойди, государь, от плахи,— сказал царю стрелец,— кафтан бы тебе кровью не обрызнуть!

Пожаловал тогда его Петр: взял заботу о его детях — Орловых — на себя.

И внук Орлов тоже герой. Три раза под Цорндорфом ранен, а устоял. Строя не покинул. И он тоже свою думу думает, а про себя держит. Их три брата — он, Григорий, Алексей — могучий такой, что медведя в одиночку берет, да Федор — гвардию подымают. За кого? За нее, за нее — свет Катеринушку, которая ну как есть матушка Елизавета Петровна, как две капли воды. Недаром так она по старой царице и убивалась. Недаром доселе траура снять не хочет.. Немка, она ну как есть еще лучше, чем всякая русская, ей-Богу!

Любовь любовью, а кроме того со всех сторон вести идут — народ бунтует. Между Тверью и Москвой мужики крепко встали против пруссаков... Все солдат с фронта поджидают. Команду из Москвы посылали — так мужики ту команду разбили, смяли... Послали полк с генералом Виттеном — насилу их одолел. Укротил. И в Астрахани бунтуются. В Галицком уезде... Белевском... Волоколамском, Епифанском, Каширском, Тверском... Мужики себе свободы тоже требуют, как дворяне получили. Ну, тут дело опасно — страшно мужичье-то море... Тут надо действовать осторожно, чтобы, народ против немцев поднявши, тем народом все царство не повалить, дворян не разогнать.

Задумался Григорий. Императрица спрашивает:

— Деньги-то все роздал или еще осталось?

— Раздаю, раздаю — все от тебя, матушка, раздаю... Благодарят солдатушки тебя за твое жалованье.

— Гриша, сядь-ка сюда!

И, навивая на белые свои пальцы его золотые, пшеничные кудри, шепчет Фике:

— Только ты смотри, Гриша, осторожней. Сила ты моя неуёмная!

— Так, мы сила... И мы — твоя сила, Катя. Ты нами и правь... Веди! Куда прикажешь, туды и пойдем!

— Куда уж мне указывать... Это пусть Панин Никита Иваныч показывает. Мое дело — вас миловать!

— Катя! — задыхается Григорий.— Катя! Э-э-эхх! Расшибем кого хошь. Прикажи! Стеной встанем. И все так. Все. Намедни гетман-то, Кирилл Разумовский, что отколол... И он тоже за тебя, Катя. Царь ему говорит: «Тебя-де я поставлю главнокомандующим, чтобы идти на Данию. Чтобы первого злодея моего, датского короля, взять да на остров Малабар послать. Самую-то Данию мы Пруссии отдадим, а мне только Шлезвиг бы достался! Веди ты, говорит, армию...» А Разумовский ему режет: «Ваше величество! Мне две армии надобны будут: одна вперед на Данию пойдет, а другая за ней, смотреть, стеречь, чтобы первая-то не разбежалась...» Ха-ха-ха...

Хохот Григория потряс стены тихого кабинета. Катя зажала ему рот рукой.

— Что ты, Господь с тобой! Ишь горластый. Услышат!

— А намедни ко мне еще офицеры Ингерманландского полка пришли. Осмелели. Жалуются, что у них в Ораниенбауме делается — беда. Наши солдаты к голштинцам как денщики приставлены — ухаживают за ними, сапоги чистят, кашу носят... Ей-бо! Ну, и я говорю — чистите, чистите, авось когда-нибудь и надоест...

Катя смеется вместе с ним, а точный ум ее отмечает: стало быть, в Ораниенбауме уже есть наши...

— А лейб-кампанцы что? — спрашивает она.

— Что? Лютуют, лапушка! Пальцы грызут за то, что «он» их упразднил... Львы! Тигры! Медведи голодные...

Фике вспомнилось — только что приехала она впервой в Петербург, так побывала в Преображенских казармах, смотрела, откуда Елизавета Петровна повела на переворот своих преображенских солдат. Низкие деревянные здания, будка, полосатые столбы. Гауптвахта. Колокол, под колоколом часовой в тулупе ходит... Да, тогда было дело малое, теперь куда шире... Дурак муж такого натворил, что даже король Прусский его топорной работе не рад... Нет, тут уж надо действовать аккуратней. Парень хороший Гриша-то, да уж больно прост...

— Милый ты мой Гришенька! Ну, иди, иди. Я устала.

— Ох, и не говори! Как ты давеча на обеде-то плакала, инда все наши сердца изболели... Родная... Ну-ка, подь-ка сюда!

И маленькая Фике потонула снова в его могучих объятиях.

Глава одиннадцатая

АРХАНГЕЛОГОРОДСКОГО ПОЛКУ УНТЕР-ОФИЦЕР КУРОПТЕВ ФЕОФАН

Теплым майским вечером дорога не пылит, веселыми тульскими местами идет по дороге к родной деревне Левашовке Архангелогородского полку унтер-офицер Феофан Куроптев.

Идет — ровно пляшет. Уволен вчистую — ему ведь конь самого генерала прусского Зейдлица бедро сломал, копытом наступивши.

Идет Куроптев бойко, однако на палку опирается. Как положено — кафтан зеленый, плащ серый, у костров сзади опять прожженный, за плечами мешок. В мешке — гостинец родной Левашовке: десяток картофелин отборных из прусской земли. Ежели посадить — вырастут важнеющие... у насто этого еще мужики не знают — темнота!

Вот уж видать — господский дом левашовский встал на горке, за парком. Сквозь липы да березы от вечернего солнца горят его окна... Маковки берез тоже горят и крест на колокольне церковной. На войне — пушки, гром, крики... А тут тишина. Поля всходят зеленями, березки гнутся, ветками длинными качают, словно здороваются.

Спустился Куроптев с горки, под горкой деревня — тут же темно, сыро... От стада пыль еще стоит. Идет Куроптев деревней, ровно пляшет, ребятишки по сторонкам бегут, дивуются: что за человек?

Постучал Куроптев в окошко родной избы, отодвинулось оно. Старушка смотрит оттуда в повойнике, беззубым ртом шевелит, жует:

— Чего тебе, служивый?

— Мамушка, родная!

Вытянулся Куроптев во фрунт, шляпу снял, одна нога только у него ровно у петуха — подшиблена.

Стоит бодро.

— Унтер-офицер Куроптев Феофан представляется матери родной по случаю прибытия домой со славной войны. Честь имею явиться с царской службы. Вот он я!

— Фимушка, чадушко рожёное... Болезный мой! Да что ж это у тебя ножка-то? Об одной ноге ты, что ли? Ай-ай-ай!

Спешит старая из избы, ноги подкашиваются, слезы льются, сынка обымает, целует... Ах ты несчастный какой... Господи-батюшко!

— Никак нет, счастливый я, матушка,— голову-то домой принес... А сколько там нашего брата полегло... Не счесть. А батюшка где?

Сказал, да примолк.

Втихую облилась слезами старая, рукой глаза прикрыла, на церкву машет.

— Там, давно там, родимый... Отмучился... На погосте лежит. А вон брат Зиновей с поля идет... Да и Ульянушка, твоя женка-то, с барщины с бабами бежит...

Чего и было! Жена с радости о землю грянулась, заголосила. Соседи сбежались — руками машут, дивятся... Староста пришел *Селиверст Семенович. Сидели в избе, и за* полночь рассказывал Куроптев про свои походы. И как под Гросс-Егерсдорфом свое геройство доказывал, и как под Цорндорфом пострадал...

Рассказывает Куроптев, рукой поводит, а в темной избе уж на полу убитые товарищи лежат, всем чудится, кровушка их течет, раненые стонут и поперек всей избы идет на гнедом жеребце фельдмаршал Апраксин толстющий, весь в регалиях, брылья распустил. И вот теперь после таких-то побед, после Кунерсдорфа пришлось солдатушкам идти в ретираду... А все измена! Да, измена! Дворяне солдатскую кровь пруссакам продали за свое веселое житье.

Слушал народ Куроптева невесело, а брат Зиновей, тот поднял голову, глазами сверкнул:

— Да и у нас в деревне почитай все то же! Не лучше... И нас баре немцам продали...

И стал втихую, шепотом рассказывать... Царь-то новый дворян от службы освободил, свободу им дал. Ну, они и рады — мы-де свободны. А вы, мужики, нету! Вы-де нас кормить должны. Старый-то наш барин, Василий Акинфиевич, дай ему Господи царство небесное, с год уж, как померши. Молодой барин со службы сразу после Указу в деревню вернулся, стал жить да поживать. Говорит — тут как все налажу, в Москву перееду... В Москву он, барин, жить поедет, а вы-де, мужики, меня кормить будете... В Мо-оскву! Барин-то молодой, Акинфий Васильевич, старосту нашего Селиверста Семеныча уволил, да, уволил...

— Уволил он меня,— сказал и Селиверст Семенович и кашлянул.— Это точно. Правильно...

И почесал в бороде.

— А теперь у нас новый приказчик... Господин Хаузен... Пленный из пруссаков. Не ты ли, братец, его на нашу голову

и в плен-то забрал? Был у нас рыжий кобель, на цепи что сидел,— помнишь? Так пруссак этот куда лютее. За один месяц все недоимки за три года с мужиков собрал. У мужиков все чуланы, все чердаки, все погреба обыскал... Душу вытряс... У мужиков, говорит, после царского Указа ничего своего нету. Все барское. И сами вы, мужики, тоже барские... Рабы, одно слово... Ну, баре и рады... Продали нас бояре пруссакам...

Низко свесил Зиновей свою голову, сидит, замолчал. А Феофан свесил еще ниже. Ин сколько он ни воевал, сколько своей крови ни лил — вон оно как дело-то обернулось. Пруссака он перед собой штыком колол, а он вон на-поди — сзаду заскочил да его самого в Левашовке встречает. Измена на фронте, измена в деревне... Нету тут тишины... Так чего делать?

Глянули — а уж в окошке светает... С зарей подыматься на барщину. А пока что пошел он с Ульяной спать на сеновал...

Наутро, почистив пуговицы на кафтане, подтянув пояс, заковылял Куроптев на барский двор. Утро свежее, легкое. Дом стоит барский широкий, низкий, перед домом цветки цветут. Долго ждал Куроптев, уходил, ворочался... Наконец пришел — уж на балконе сидит барин — в пестром халате, в малиновой ермолке. С трубкой. Чай он кушает. Барыня за самоваром, в чепчике белом, кругом ребят насыпано... Учитель с ними молодой.

Дворовый доложил, привели Куроптева под балкон. Барин с балкона перегнулся боком, смотрит.

— Ты кто таков, герой? — спрашивает барин, а сам кусок пирога в рот запихивает...— А? Ммм... А! Куроптев Феофан! Помню, помню что-то... В каком полку служил? В Архангелогородском? Так, так... Ну что ж... Теперь войны нету, так ты работать должен. Человек без работы — злодей... Отчаянной жизни человек... Эй, там! Дуняшка, поднеси герою рюмку водки! Заслужил, заслужил! Герой! А мне, Лизонька, отрежь еще пирожка... Хорош! Хвалю!

— Покорнейше благодарю! — отвечает Куроптев, усы поправляет.— Только вот на одной-то ноге мне стоять неспособно... Ежели как я в порядке дисциплины работать должен, так на какую ты меня, батюшка-барин, поставишь?

— Ну, уж этого — про работу — я и не знаю... Теперь у нас Густав Адамыч все ведает... Мы-то сами в Москву скоро уедем. Там скоро состоится,— барин поднял вверх глаза, указательный палец в небо и многозначительно вздохнул,— священное коронование их императорских величеств... Так-то, брат... Так ты уж к управляющему обращайся... Вон он идет... Густав Адамыч... Херр Хаузен! Битте!

Шагает немец в черном кафтане, словно аршин проглотил, в буклях пудреных, в руке трость держит... Ну точь-в-точь таких Куроптев в полон десятками брал... «Эх, мать честная!» — думает Куроптев.

— Шесть имей явиться! — сказал господин Хаузен.

А сам на Куроптева, на его треуголку медведем смотрит.

— Так вот, Густав Адамыч! — говорит хозяин, а сам опять к Лизоньке нагнулся, пирожка еще просит — уж больно хорош... В Москве таких уж не поешь, в деревне все свое...

— И в Москву мужики все одно будут нам из деревни припас доставлять,— говорит Лизонька и пухлым кулачком подперла алую щечку.— Чего уж!

— Разве что... мм... Вот, Густав Адамыч, пришел с войны наш мужик...— говорит барин и салфеткой трет красные губы луковкой, все в масле.— Был мужик, а теперь герой... Ногу только потерял. Ну, что с ним делать?

— Под Цорндорфом-деревней,— пояснил Куроптев как военный военному.

— Ну, я не зналь! — сказал Густав Адамыч.— Меня, слав бог, Гросс-Егерсдорф плен всяли. Я капраль. Я командую в деревне... У русски мужик я начальник... Ха-ха!

И барин тоже засмеялся:

— Ха-ха-ха! Вот действительно случай... Ты его, Куроптев, бил, а он тобой начальствовать будет... Ха-ха! Превратность Фортуны... Лизонька, дай-кась...

— Да ты что, Господь с тобой! Чать, седьмой кусочек скушал...

— Ну ладно, ладно. Я-то думал — всего шесть. Уж не надо. Так вот, Густав Адамыч, куда ж его ты определишь на работу?

И Куроптев был поставлен сторожем на барские огороды. Ночью в шалаше караулить... День-деньской в работе помогать, что сможет... По способности. Работает Куроптев и видит и слышит, как Густав Адамыч людей обижает...

— Эй, русски свинья! Пофорачифайся жифей! Лениф работник! Шорт такой! Жифей!

Барину что — сел в коляску, да и укатил с барыней, с ребятами в Москву... Только и делов. Отступился от своих мужиков барин, делай приказчик с ними хоть што хошь... Ну, тот и лютует, старается, работает и на барина, и на себя, чтобы деньгу сколотить да домой уехать...

Стал Феофан думу думать, на огороде сидючи. А как падет ночь, слышен шорох... Не воры то, а Зиновей-брат к нему идет. И другие мужики приходят... Говорят. И сколько ни слушай — все одно везде. Всюду немцы орудуют... В Туле го-

родничий из пруссаков поставлен. В Москве, в Петербурге — полицмейстер... А в Питере-то и сам царь такой, что из пруссаков пруссак. Дворян освободил, мужиков им в рабы отдал... У монастырей на себя все земли отбирает... Попов заставляет бороды брить да в немецком платье, поповском ходить... По городам немцы уж полками командуют... А что делать? Феофан-то правильно говорит, что взять бы их в топоры, и боле ничего...

Прошел праздник Ивана Купалы, отгорели огни купальные, ночи июньские темней стали, остатные соловьи досвистывают по рощам... А как приказчик девку Анютку на гумне испортил да после ее же и высечь приказал, чтоб не плакала,— поднялись мужики. Босиком, как тени, неслышно собрались они в Левашовке, толпой стали подыматься в горку, к барскому дому... У каждого за поясом топор...

Барский дом темный стоит, никого не видно... У церкви остановились...

— Стой, товарищи! — шепчет Феофан.— Ежели отвечать придется — целуй крест, что все виноваты... Запираться никто не будет... Хотели-де свободно жить... Как люди!

Каждый из-за ворота рубахи вытащил крест, поцеловали. На церкву перекрестились.

— Пошли, товарищи!

— Пошли! Пошли! Пошли!

И до самого своего смертного часа не услышал бы Густав Адамыч, как подошли мужики, кабы не его пес — Нера. Учуял из будки пес, что потиху идет много людей, поднял морду вверх, взвыл под окном, взлаял. Белое в окне флигеля мелькнуло — Густав Адамыч в рубахе длинной, собаку кличет, в окно прислушивается:

— Нера, Нера, вас ист дас?

А Нера тут на мужиков бросилась. И Михаил Любцов, мужик кудрявый да молчаливый, на которого скакнул приказчиков пес, разрубил псу голову.

Густав Адамыч в окне скрылся, ставни изнутри закрыл, думает — отсидится. Отстреляется. Нет, не отсиделся. Только вот одно прозевали мужики.

Жил у правителя в холуях дворовый парнишка Микешка. Густав Адамыч ключ ему от задней калитки сунул, вывел Микешка из конюшни правителева коня да как махнет мимо мужиков прямо в Тулу. Только его и видели..

Гром пошел кругом, как стали мужики топорами рубить окна управителева флигеля, в щепы разлетелись дубовые тесаные доски дверей... Лютуют мужики, что Микешку в город упустили, а Густав Адамыч ну из ружья палить... Из пистолета. Пугает. Ну, Куроптев впереди, пуля для него

дело привычное... Ворвались мужики в дом, ищут пруссака, нет того... Уж во дворе, на сеновале сыскали...

На коленях стоял управитель перед мужиками. Клялся, божился по-своему, крестился навыворот, что будет по чести работать, не будет никого обижать...

И вышел тут Феофан. Стоит в треуголке, в кафтане, только нога подогнута — ну, с войны пришел.

— Мужики,— говорит,— не будет нам жизни, если мы с ним не кончим... Я их знаю. Да, покамест мы от бар, что нас продали, не освободимся. Я с войны пришел, в том бою бился, где управителя забрали... А что ж вышло? Он же нами и правит! Все наши труды в пот да в слезы оборачивает... Бей его, ребята!

Первым ударил Куроптев управителя... Всю его домашность в топоры взяли, все изрубили, все вино выпили... Крики, брань, пляс...

И то проглядели мужики, что солнце уже высоко, что по дороге пыль завилась. Идут из Тулы солдаты, такие же самые, как Куроптев, только на войне еще не бывали, ноги все целы.

В треуголках, в зеленых кафтанах, амуниция мелом набелена, медь горит. А впереди на коне командир едет — майор Михельсон.

— Ребята! — закричал Мишка Любцов.— Солдаты идут!

Высыпали мужики на улицу — смотрят.

А чего смотреть! Вон они тут, мерный шаг бьют, идут в порядке. Остановились, построились в две шеренги, задняя к передней полшага вправо приступила. Рожок сыграл, барабаны пробили.

Майор Михельсон командует:

— По бунтовщикам .. Пальба ротой... Рота-а-а...

Перед ротой, перед ружьями стоят левашовские мужики гурьбой, плечом к плечу, руками обнялись. Как стена. Как полки на Гросс-Егерсдорфском поле стояли, смерти не боялись. Впереди всех он, Куроптев Феофан. В руках топор, а что топором тут сделаешь? Эх, ружей бы... Мы бы показали...

Смотрит на него майор Михельсон, усы поправляет. Куроптев вобрат смотрит:

— У, падло!

И опять командует Михельсон:

— По солдату-бунтовщику пальба ротою. Рота-а! Пли!

Ровно град разорвался залп. Попадали мужики. А первее всех — Куроптев Феофан, Архангелогородского полку солдат российский в зеленом кафтане; треуголка, пулями простреленная, отлетела в сторону.

А остальные мужики, кто уцелел, руки подняли, на колени пали.

Не взяли Куроптева ни пули, ни ядра в честном бою, а пал он от русской пули, что направлена была рукою майора Михельсона.

И после залпа настала в Левашовке тишина. Только ветер по нивам летит, нивы зреют, березки ветвями качают, ровно рукава опустили, лес зеленый шумит.

А потом и ночь настала.

А барин Левашов в Москве, за самоваром да ватрушками сидючи, головой качал:

— Ай, ай, ай... Лизонька, что же это? Из деревни пишет старый староста Селиверст, что мужики нашего Густава Адамыча порешили, что бунт был, да, спасибо, солдат пригнали из Тулы... А кто всех взбунтовал? Да солдат, что с войны пришел, Куроптев. Помнишь? Как теперь в деревню ехать? Густав Адамыч — вот управитель был зверь! Надо будет нового немца из пленных поискать... Лизонька, налей-ка мне еще чашечку... Ах, ватрушки хороши...

Глава двенадцатая

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ

И та же самая ночь, что пролетела тогда над Левашовкой с зарей да с остатними соловьями, проплывала и над Петергофом, только тут была она белей. Белым зеркалом лежал залив — и в нем плыло отраженное розовое облачко да большая лайба...

Петергоф, известно,— увеселительный императорский дом для пребывания царей в летнее время,— царям веселье очень было надобно...

В Петергофе рощи большие насажены, в рощах — гроты для отдыха уединенного, парки стриженые, в парках — статуи мраморные, фонтаны разные бронзовые, водометы, каскады и многие другие к увеселению служащие мероприятия.

А в шесть утра 28 июня солнце плыло над зелеными газонами Нижнего сада, где в павильоне «Монплезир»[1] почивала спокойно императрица Екатерина Алексеевна.

Ранним утром не было в Петергофе на улицах да на дорогах ни полиции, ни охраны. По дороге из Петербурга четверкой лошадей не спеша катилась большая карета. Карета подъехала к «Монплезиру», из нее вылез Алексей Григорьевич Орлов, брат Григория, любовника Фике. Рослый,

[1] «Мое удовольствие» (*фр.*).

широкоплечий, он с удовольствием потянулся — ноги затекли, тащились всю ночь — тридцать верст не шутка! За ним вылез Бибиков.

— Ну, иди, что ли! — сказал он.

Орлов быстро встряхнулся, пошел в пристройку голландского дома, что строил еще Петр Великий. В маленьких комнатах было сонно, душно, пусто. Орлов разбудил камер-фрау Шаргородскую и с нею безо всяких церемоний шагнул в спальню Фике.

Фике спала, свернувшись кошечкой под голубым с гербами атласным одеялом. У туалета было уже приготовлено к утру розовое пышное платье.

Сегодня был канун именин императора Петра Федоровича, царь обещал приехать обедать в Петергофский дворец из Ораниенбаума, из своего Петерштадта, чтобы потом переночевать и завтра праздновать на открытом легком воздухе именины. Обед был заказан на сто двенадцать персон.

Орлов покосился на платье, хмыкнул и тронул государыню за белое плечо.

— Ваше величество! — сказал он совершенно спокойным голосом.— Пора вставать!

Фике, открыв глаза, села, придерживая на груди рубашку.

— Все готово в Петербурге!

— Но что это значит? — воскликнула императрица вполголоса.— В чем дело? Почему?

Было ведь условлено, что заговорщики начнут действовать, когда император Петр уедет из России воевать с Данией.

— Капитан Пассек арестован! — многозначительно сказал Орлов.

— Уходите, я оденусь!

Через пять минут императрица в обычном своем черном платье выходила из дворца.

— Прошу, ваше величество! — сказал Орлов, распахивая дверцу кареты.

Фике села в карету, с нею Шаргородская. Алексей Орлов вскочил на козлы, рядом с кучером, Бибиков и камер-лакей Екатерины Шкурин стали на запятках.

— Гони вовсю! — бросил Орлов кучеру.

Лошади поскакали.

Алексей Орлов, нагнувшись с козел, передавал в переднее окошко происшествия вчерашнего дня.

— Еще позавчера,— рассказывал он,— капрал Преображенского полка Фомин подошел на плацу к майору Измайлову да спрашивает:

«Когда же наконец уберут этого черта императора?»

Майор заорал на капрала, арестовал его, доложил командиру роты, тот — командиру полка, полковнику Ушакову. Дело было к вечеру, а утром Фомина представили на допрос. Фомин рассказал, что он уже спрашивал о том же самом у капитана Пассека, тот тоже накричал на него, но никому ничего об этом не донес. Доложили императору в Ораниенбауме, тот приказал арестовать Пассека. Приказ был получен в Петербурге в 12 часов дня, но арест состоялся только вечером — затянули свои люди. Так как Пассек был в заговоре, остальным заговорщикам приходилось торопиться, чтобы дело не провалить. Сам Григорий Орлов бросился к княгине Дашковой, которая тоже знала, что «что-то затеяно», но что — не знала. Орлов рассказал ей про арест Пассека и уверил ее, что это никаких последствий иметь не будет. Дашкова успокоилась и ничего не предпринимала.

Федор Орлов поскакал в дом гетмана Кирилла Разумовского... На его доклад вельможа ухом не повел, промолчал, однако по уходе же Орлова приказал, чтобы все готово было в секретной типографии, чтобы печатать манифест.

Алексей Орлов сел в карету и поехал с Бибиковым в Петергоф за императрицей. Чтобы сберечь лошадей, они ехали медленно, всю ночь.

Через полтора часа обратной скачки карета была уже в пяти верстах от Петербурга. На дороге ожидала коляска. Карета остановилась, подбежал Григорий Орлов.

Он посмотрел нежным взглядом в глаза своей любовницы, поцеловал руку:

— Прошу пересесть в мою коляску, ваше величество... Лошади свежие... Я здесь с князем Барятинским...

Екатерина пересела в коляску. Барятинский сел на козлы, Григорий Орлов стал на подножку, и лошади опять скакали по направлению к деревне Калинкиной. Справа и слева неслись огороды, пригороды Петербурга, плетни, заборы, бедные домики.

Лошадей гнали во весь опор, но Фике все казалось, что коляска стоит, плетется шагом. Неужели же удача изменит в эти последние, решительные минуты? Неужели глупый случай сорвет весь план?

— Ваше величество, не беспокойся! Тебя, дорогую, там уж ждет десять тысяч человек...— говорил Орлов.

А Екатерина не слушала, думала.

Шестнадцать лет жила она с Петром. Шестнадцать лет тревог, интриг, подозрений... Шестнадцать лет осторожного, хитрого, выдержанного обмана! Скорей! Скорей!

Показались длинные деревянные дома. Один, другой — казармы Измайловского полка.

Григорий Орлов выскочил из коляски, сказал кучеру:

— Поезжай шагом! Я побегу, упрежу!

И бросился вперед, подобрав шпагу, гремя ботфортами по булыжникам.

Коляска медленно тянулась к кордегардии... Вдруг загрохотали барабаны, и измайловцы, кто в рубашке, кто в кафтане, все растущей толпой бросились навстречу императрице. Впереди всех, подхваченный двумя гвардейцами под руки, бежал старик, поп Измайловского полка отец Алексей. Золотая епитрахиль и крест так и блестели.

— Ура! — кричали солдаты.— Ура! Матушка наша! Веди нас куда прикажешь! Урр-а-а!

Подбегая к коляске, солдаты падали на колени, крестились, целовали Фике руки, за ними набегали другие. Императрица поднялась в остановившемся экипаже, отец Алексей благословил ее крестом.

Орлов скомандовал:

— Полку построиться... Для принесения присяги!

— Ур-ра! — кричали измайловцы.— Ур-ра!

Раздался конский топот, и во двор казарм на сером коне прискакал полковник Измайловского полка гетман Разумовский. Спешившись, бросив солдату поводья, он подбежал к коляске, опустился на колено и церемонно поцеловал руку Екатерины. Полк быстро привели к присяге, отца Алексея водрузили на козлы, Григорий Орлов с взволнованным счастливым лицом стал на подножку, и коляска тронулась вдоль по Фонтанке. Гетман Разумовский ехал верхом на коне рядом. Отец Алексей осенял всех крестом направо и налево, толпа все росла. Через Обуховский, через Семеновский мост бежали солдаты Семеновского полка и тоже присоединились к шествию.

Дошли до Гетманского сада, у дома Разумовского, что стоял на углу Невского и Садовой. Сюда бежали солдаты Преображенского полка. Сюда по тревоге с третьей ротой бежал и рядовой Гаврила Державин.

— Матушка! — кричали они.— Прости Христа ради! Опоздали мы! Да офицеры задержали... Арестовали мы их. Веди нас, матушка!

В конном строю подошли конногвардейцы. Прибежали, кое-как одеты, упраздненные лейб-кампанцы — или возвращаются уже времена царицы Елизаветы?

На Петропавловской крепости пробило десять. Шествие достигло Казанского собора. Отслужили накоротке молебен. Сюда подошло еще четыре полка пехоты да артиллерия с пушками. Из собора вышел крестный ход. Народ валил со всех сторон,

двигался по Невскому к Зимнему дворцу, к Неве... Фике ехала в коляске, теперь ее сопровождали верхами гетман Разумовский, генерал-аншеф Вильбоа, Григорий Орлов и граф Брюс.

В Зимний дворец Екатерину толпа внесла на руках, усадила на трон. Площадь перед дворцом была полна народом... Ненавистный пруссак, который предавал Россию королю Прусскому, свергнут. На троне снова женщина! Снова правление будет *милостивым и мягким*!

Взволнованный, запыхавшийся Никита Иванович Панин, с трудом пробившись через народ, заполнивший весь двор, поднес Екатерине для подписи наскоро составленный манифест. Она быстро пробежала его и, приняв перо, подписала. В зале смолк шум толпы, зазвучал голос самой императрицы, читавшей манифест так же ясно, четко и толково, как когда-то она читала Символ веры:

— «Божией милостью Мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица всероссийская и прочая, и прочая, и прочая...

...Слава российская, возведенная на высокую степень русским победоносным оружием, через заключение нового мира с самим ее з л о д е е м была отдана уже в совершенное порабощение. А между тем внутренние порядки, составляющие основу целости всего нашего Отечества, совсем ниспровержены.

Того ради, убеждены будучи в опасности для всех наших верноподданных, принуждены мы были, приняв Бога и его правду себе в помощь и особливо видя к этому желание всех наших верноподданных явное и нелицемерное, вступить на престол наш самодержавный, в чем все наши верноподданные присягу нам учинили.

Екатерина.

28 июня 1762 году».

День несся как в тумане. Арестованы были все немцы-офицеры. Сел за решетку дядя Жорж Голштинский. Сел и генерал-полицмейстер Петербурга и Москвы барон Корф. Солдаты и народ переполняли залы Зимнего дворца, все были беспрепятственно допускаемы к руке императрицы. Купцы на радостях выкатили на углы улиц бочки с вином, с пивом, угощали народ.

Но так как опасались, что из Кронштадта может явиться флот во главе с царем, то Екатерина переехала из Зимнего в старый дворец Елизаветы Петровны на Мойку. Это еще больше прибавило энтузиазму в толпе. Войска плотной своей массой окружили дворец — ротные каптенармусы по

своему почину привезли старое обмундирование, и солдаты с радостью сбрасывали с себя ненавистную прусскую форму и тут же переодевались в старые елизаветинские кафтаны.

В Кронштадт на галере был немедленно командирован адмирал Талызин, который получил с собой следующий собственноручный указ Екатерины:

«Господин адмирал Талызин от нас уполномочен действовать в Кронштадте, и что он прикажет, то и исполнять.

Екатерина».

Наконец стало известно, что в это время происходило в Петергофе.

Перед троном Екатерины предстали пыльные от тридцативерстной скачки трое высоких вельмож — великий канцлер граф Воронцов, граф Александр Шувалов, князь Никита Трубецкой.

Все они еще вчера были в Ораниенбауме с императором Петром Третьим, присутствовали на шумном пиру. Император упился и поздно лег спать со своей подружкой Воронцовой. Около полудня он со свитой отправился в Петергоф к императрице Екатерине Алексеевне, чтобы на другой день отпраздновать там свои именины.

На многих экипажах по прекрасной дороге в Петергоф катила веселая, нарядная бездельная свита гуляк. Тут были прусский посланник Гольц, любовница царя Лизка Воронцова, два фельдмаршала, Трубецкой и Миних, принц Голштейн-Бекский, великий канцлер Воронцов, граф Шувалов, генерал-адъютанты Гудович и барон Унгерн, граф Девиер и много дам...

В два часа все общество подкатило к павильону «Монплезир» в Нижнем саду, выходили из экипажей, смеялись, шутя разговаривая... Погода стояла отличная.

Не прошло и десяти минут, как все изменилось: оказалось, что императрицы в Петергофе нет. Отбыла в Петербург с придворной дамой и с кавалерами! Экстренно!

Император сам бросился в ее спальню. Розовое пышное платье у туалета, казалось, смеялось и подмигивало ему.

— Что это значит? — спрашивал растерянно император направо и налево.— От нее всего можно ожидать!

Но он не получал ответа. Никто ничего не знал.

К пристани Петергофа причалил тем временем баркас из Петербурга, на котором поручик Преображенской бомбардирской роты Бернгард привез фейерверк для завтрашних именин. Отплыл он из Петербурга в девять утра. Рассказал, что много солдат бежало по городу, кричали: «Да здравствует императрица Екатерина!»

Среди придворных начались вскрики, рыданья, дамы забились в истерике. Шувалов в сторонке, выпучив глаза, совещался с канцлером Воронцовым да с князем Трубецким. У Воронцова длинные морщины ходили по всему лицу, коротенький князь Трубецкой, выставив вперед руки, разводил ими недоуменно. Шувалов, конечно, отлично догадывался, в чем дело.

Пошептавшись, трое первых, самых доверенных вельмож, выступили перед царем:

— Ваше величество! — сказал граф Воронцов.— Долг наш, как ваших верноподданных, немедленно же ехать в Петербург, разузнать там, в чем дело, дабы это несносное состояние скорее прекратить. Ежели что подобное там и есть, то клянусь вам, что уговорю обезумевшую императрицу отказаться от всяких незаконных действий.

— Гут! — вскричал обрадованный император.— Зер гут! В самом деле, поезжайте! Возьмите моих лошадей! Скачите!

Вот эта-то тройка вельмож, представ перед Екатериной, немедленно принесла ей присягу и осветила положение.

С прибытием канцлера состоялось совещание — что же делать дальше?

Было решено: Екатерина во главе присягнувших ей войск сегодня же выступает в Петергоф и в Ораниенбаум, чтобы там на месте кончить дело.

Уже смеркалось, когда Екатерина в форме полковника Преображенского полка вышла из своей уборной. Заботливо придерживая синюю ленту, она подписала указ Сенату.

«Господа сенаторы!

Я теперь выступаю с войсками, дабы утвердить престол. Оставляю вам яко верховному моему правительству и с полной доверенностью — под охрану — Отечество, народ и моего сына.

Екатерина».

Пока полки вытягивались на Садовую, пробило десять часов вечера. Пошли на Калинкину деревню. Екатерина ехала впереди верхом в сопровождении княгини Дашковой, тоже в военной форме.

Солдаты, утомленные событиями, шли медленно. Около одного придорожного места отдохновения и кутежей под названием «Красный кабачок» войска стали биваком. Разложили костры, стали варить кашу.

В треугольной шляпе, в мужском платье, которое так любила носить Елизавета Петровна, императрица с крыльца смотрела на грандиозное зрелище. Она играла роль Елизаве-

ты... Ее упорство, выдержка, хитрость, обаяние, актерские дарования наконец принесли богатые плоды. Вот перед ней горят бесчисленные огни верных ей войск. Она с помощью гвардейских солдат овладела великой страной от Балтийского моря до Тихого океана. Она, маленькая Фикхен из Штеттина, скучного, провонявшего треской и селедкой...

— Ваше величество! — сказала наконец Дашкова.— Вы *устали! Отдохните!*

Императрица и Екатерина Романовна Дашкова, родная сестра любовницы императора Елизаветы Романовны Воронцовой, поднялись в светелку, где стояла одна бедная кровать служанки кабачка. Они легли вместе. Девятнадцатилетняя Дашкова сразу же уснула, а императрица долго не могла остановить потока своих мыслей.

Теперь она — царь... Царь-баба! — подумала она и усмехнулась. За нее вся гвардия, а гвардия в основном состоит из молодого дворянства. Значит, дворянство за нее. Дворянство, теперь освобожденное от государственной служебной повинности, ставшее «благородным» — «вольгеборене»,— надежный оплот для захватчиков престола против масс простого, «подлого» народа... Дурак Петр, однако, сделал очень ловкий шаг, разорвав единую массу старой Московской Руси. Дворянство будет рад жить за счет народа, будет управлять им. Нужно только увеличить дворянство, нужно раздать ему в крепостные рабы и свободных еще крестьян России. Нужно покончить с несносной вольностью Украины. Дворянство нужно организовать, дать ему предводителей... Чем оно будет богаче, тем прочнее будет ее престол...

Снизу донеслась было тихая, протяжная солдатская песня, но сейчас же загремел голос Григория Орлова:

— Эй, там, в Преображенском! Отставить песни! Государыня почивает!

«Государыня! Милый! — подумала Екатерина...— А какая силища! Это не граф Станислав Понятовский... Тут и простые дворяне — гиганты... Но как же теперь порвать с Понятовским? Он будет стремиться в Петербург...»

Тело отдыхало, и мысли становились легче, в углу блеснула фольгой бедная икона. Фике думала и думала:

«И с королем Прусским будет теперь легче. В манифесте, правда, пришлось обозвать его «злодеем»... Политика! Нельзя иначе. Он умный, он поймет! Надо учесть настроение русских. Но все остается так, как было в договоре у Воронцова и Гольца... Правда, *лихие русские генералы* хотят воевать,— можно будет их послать на Турцию... Король Прусский умница... Надо его слушать. Возьмемся теперь

вместе за Польшу... Как помрет старый Август Третий — посажу своего графа Стася польским королем... Вот ему награда за любовь... Придется с ним развязаться — Гриша ревнив, как демон. Станислав Понятовский — круль Польский... Стась! Ах, Стась!»

Светелка, налитая белесым полумраком, исчезла, остались только синие глаза да белые зубы в улыбке Стася Понятовского.

И снова укол мысли: «А что же делать с «ним»? С «монстром»? Не вздумал бы он сопротивляться сдуру со своими голштинцами. Мои гиганты изрубят его в капусту... Что с ним делать?»

Свинцовая гладь сурового Ладожского озера. Низкие облака. Приземистая, черная крепость. Шлиссельбург. Там уже безвыходно, пожизненно сидит один «царственный узник»... «Император» Иван Антонович. Но от него одно беспокойство... Король Прусский писал, что он может быть опасен. Посадить туда и Петра Федоровича? Один — Брауншвейгский, другой — Голштинский. А она — Ангальт-Цербстская — на престоле... Но тогда будет еще больше опасностей и интриг... Постоянный нарыв... Он, как сказывают из Ораниенбаума перелеты, уж за границу с Лизкой просится. Но и оттуда будет он опасен. Что делать?

Впрочем, сидючи за время гнева Елизаветы Петровны в одиночестве, разве Фике не читала историй просвещенных стран? Или Елизавета Английская не расправилась с Марией Стюарт? И найдутся и теперь «верные сыны» России, сделают что угодно — за ее ласку. За улыбку. За милость. За пожалование крепостными. Только прикажи...— Или — приказать?

Полная такими государственными мыслями, задремала императрица. Пробудилась, когда ее трясла за плечо княгиня Дашкова.

— Государыня,— улыбалась она,— уже утро. Вставайте! Выступаем!

Впрочем, все было кончено. Уже в шестом часу утра Алексей Орлов с конной гвардией был в Петергофе. Подскакали они — видят — на плацу голштинцы занимаются прусской шагистикой, ходят гусиным шагом, носок тянут. Их человек до тысячи похватали, избили, оружие поломали, самих заперли под охрану в сарай.

К полудню подошли и полки. Полковник Преображенского полка Фике у «Монплезира» ловко спешилась. Побежала в свою спальню... Камер-лакеи да камер-дамы испуганно кланяются, а розовое платье как лежало, так и лежит у туалета. Ждет хозяйку. А хозяйке — некогда...

Бивак задымился теперь среди подстриженных на версальский манер деревьев, среди боскетов и беседок, солдаты ведрами таскали воду из бронзовых фонтанов, варили щи да кашу.

В «Монплезире» собрался почти весь двор. И из Ораниенбаума от Петра Федоровича пришло письмо карандашом на синей бумаге. Привез его генерал Измайлов.

Пишет император, что готов отказаться от престола, что готов уехать в свою Голштинию. Просит его не убивать. Просит сумму денег, приличную «его положению». Просит отпустить с ним Лизку Воронцову да Гудовича.

Прочтя, Екатерина Алексеевна пожала плечами, передала бумагу через плечо назад Панину, стоявшему за ее креслом.

— Что делать, Никита Иваныч?

Никита Иваныч стал читать, поправляя очки.

— Ваше величество! — сказал генерал Измайлов. Он стоял тут же.— Дозвольте вас спросить — честный я человек или нет? Верите вы мне?

Как могла Фике ему верить, когда она никому, кроме как самой себе да королю Прусскому, не верила! Но ответить «не верю» нельзя: это значило бы отрезать у человека какую-то надежду, а он, видно, на что-то надеется. Ишь лисья выбритая дворянская мордочка так и юлит, смотрит завистливо на вельмож, которые уже успели перевернуться. И ему тоже хочется.

— Верю, генерал! — ответила Фике проникновенно.

— Ваше величество! — говорит, волнуясь, Измайлов.— Я — я обещаю, что привезу вам императора после формального его отречения. Я — я человек честный!

Честный человек знал, что говорил: он видел, что творилось в Ораниенбауме после того, как адмирал Талызин не позволил императору высадиться с корабля в Кронштадте. Петра теперь голыми руками взять можно.

Честного человека и командировали в Ораниенбаум. И не прошло двух часов, как в большой карете с гербами на дверцах, с занавешенными окошками, окруженной конными гвардейцами, генерал Измайлов привез в Петергоф императора Петра Третьего. Впереди скакал Алексей Орлов, а в его конвое выделялся молодостью, ловкостью, красотой молодой капрал Потемкин.

— Никита Иваныч! — приказала Панину императрица, вынув из кармана преображенского мундира кружевной платочек и приложив его к глазам.— Видеть его не могу! Не могу! Примите вы его! И непременно — формальное отречение.

Она удалилась в свою спальню. Так же за окнами немолчно плескали фонтаны. Так же кричали резким голосом

павлины. Так же утробно ворковали сытые дворцовые голуби... Но сколько событий!

Медленно тянется время. Целый час. Дверь наконец распахнулась, и вошел Панин, скромный, тихий, учтивый, в очках. Учитель ее сына — Павла Петровича.

Императрица сидела у постели.

«Словно покойная Елизавета Петровна!» — отметил Панин. Поклонился и подал бумагу:

— Ваше величество! Отречение императора!

Схватила Фике бумагу, прочитала. Наконец-то! Наконец-то она единственная хозяйка великой страны. Тридцатипятимиллионного народа. Первая помещица-дворянка. Поднявши одну бровь, надменно спросила:

— А что он для себя просит?

— Просится жить в Ропше... В своем имении. Ему там нравится...

— В Ропше? Хорошо! Пусть живет... Пока... А охранять его мы прикажем...

Прищурив глаза, она смотрела в окно. Среди зеленой лужайки плескался, бил, струился, сверкал водой и бронзой фонтан в виде короны.

— ...Алексею Григорьевичу Орлову... Он человек спокойный.

Алексей Григорьевич в это время как раз освежал себя в буфете кружкой пива после волнующей своей поездки.

Григорий Григорьевич стоял тут же.

— Ну и умора,— смеялся Алексей,— одно слово... Петька-то плачет, трясется. За Лизавету все просит. В Ропшу ему надо...

— Брат,— сказал, понизив голос, Григорий,— Катя мне давеча сказывала, как ты поехал... Тебе его охранять придется. Так ты его так охрани, чтоб мне на Кате жениться можно было... Понятно?

— Понимаю! Тогда, значит, все мы, Орловы-братья, в великие князья выйдем? Так, что ли? А ты?

— Посмотрим,— самодовольно улыбнувшись, ответил Григорий.

Скоро большая карета с византийским орлом на двери, с опущенными шторками повезла Петра Федоровича на мызу Ропша, за 25 верст от Петергофа. Возле кареты скакали Алексей Орлов, князь Барятинский, капитан Пассек, полковник Баскаков, капрал Григорий Потемкин да еще конногренадеры.

А императрица Фике вернулась в Петербург. Дел было много.

Перебралась теперь в Зимний дворец, заняла там покои в восточном крыле, выходящие окнами на Неву. Восстановила порядок во дворце — нельзя же было пускать туда подлый на-

род, как это было в первый день переворота! Надо было приниматься за дела. И Екатерина целые дни проводила в кабинете за небольшим письменным столом красного дерева с бронзой.

И в этом кабинете, а не в соседней аудиенц-зале Фике приняла на второй же день после восшествия своего прусского посланника барона Гольца: обстановка должна была располагать к интимности.

Барон Гольц подошел к ее руке, остановился в поклоне и посмотрел в лицо императрице. Она сидела, светло, ясно улыбаясь, повернувшись к нему из кресла, играя лебединым пером. «Государыня все время работает!» — так и говорила эта поза.

«Тут уж не придется скакать на одной ножке и толкать друг друга под зад коленкой!» — подумал Гольц.

Он поздравил императрицу со счастливым событием, и та ответила ему кивком головы и теплым, веселым взглядом.

— Где же теперь государь? — спросил Гольц.— Его величеству моему королю будет угодно знать это!

— О, здесь нет секрета! Государь, как мне сегодня доложили, немного занемог, но в общем чувствует себя хорошо. Он в Ропше, на своей мызе... Все зависит от него самого... Как жаль, что он не сумел установить добрых отношений со своим народом!

— Но как же ваше величество смотрит на будущие отношения с Пруссией и с его величеством прусским королем?

— Барон, я буду совершенно откровенна с вами! Нам нельзя иметь недоговоренностей. Я со своей стороны сделаю все, чтобы сохранить прежнюю нашу старую дружбу с его величеством... Все условия заключенного мира остаются в полной силе. Пусть его величество будет совершенно спокоен: королю не придется ссориться со мной... Я уже указала графу Чернышеву в Париже заявить об этом его величеству. Больше того. Мне было донесено, что в последнее время фельдмаршал Салтыков стал всюду в Пруссии снимать прусское управление и заменять его русским. Да, сие с условиями мира совершенно не согласно. И мною уже подписан указ Салтыкову: всю Пруссию немедленно от нашего ее занятия освободить... Мирный договор — это генеральный план наших будущих отношений! А потом, Богу помогающу, умрет Август Саксонский, король Польский, и мы с королем Прусским Польшу умиротворим...

— Каким образом, ваше величество?

— Хм! — улыбнулась Екатерина Алексеевна.— Умиротворить Польшу — это значит разделить ее.. Дать ее шляхте не одного, а нескольких королей. И отсюда вы, барон, мо-

жете видеть, как мы твердо наше слово держим. Сообщите о сем его величеству королю...

Барон Гольц возвращался из дворца совершенно восхищенным, очарованным. «Великая женщина! — думал он.— Она мудрая. С ней куда легче иметь дело, чем с ее супругом... Как будет доволен его величество. И правда, его величество всегда ожидал, что такой переворот может случиться. Он же предупреждал самого императора Петра — но как умно, как тактично предупреждал! Предупреждал так, что эти предупреждения не повредили его супруге... Какая мудрость! И так для Пруссии будет спокойнее. Никаких походов в Данию, никаких скандалов в Европе...»

После того как Гольц откланялся, императрица схватила листок бумаги и тут же написала фельдмаршалу Салтыкову.

«Граф Петр Семенович! Получите указ об освобождении Пруссии нашими войсками, извольте во внимание принять, что такова политика и что его нужно исполнять без особого внимания.

Екатерина».

Она позвонила:

— Кофе!

Фике любила черный кофе и такой, что из одного фунта мокко, положенного в кофейник, выходило всего две чашки. Кофе в саксонском фарфоре пах крепко, пряно, возбуждал нервы. И она снова обмакнула белое перо в золотую чернильницу в виде раковины.

Надо было писать графу Станиславу Понятовскому, чтобы он не ездил сюда, в Петербург. «Гриша не велит! — улыбнулась она собственной мысли.— Два медведя не уживутся вместе...» «Я сделаю вас польским королем! — писала она.— Работайте со шляхтой, подготовляйте сейм. А деньги и солдаты теперь будут в нужном количестве...»

Дописала. Запечатала. Положила перо. И снова в сознании всплыла все та же мысль, которую все время отгоняла от себя... С которой засыпала... С которой просыпалась... О которой ни у кого ничего нельзя было спросить: «А что же в Ропше?»

Несколько дней длилась эта молчаливая пытка мыслями и ожиданием... И вот наконец быстро вошедший, утомленный, забрызганный грязью офицер, шагнув в кабинет, подал ей письмо. Большой лист серой бумаги, исписанный неграмотной пьяной мужской рукой.

«Матушка, милостивая государыня,— читала Фике с ужасом и радостью.— Как мне изъяснить, описать, что случилося? Не поверишь своему рабу, как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю,

как эта беда случилась! Погибли мы, когда ты не помилуешь! Матушка, нет его на свете. Но никто сего не думал, да и как нам было подумать — поднять руку на своего государя! Государыня, совершилась беда: он заспорил за столом с князем Барятинским — не успели мы их разнять — а его уж и не стало. Не помним, что и делали, но мы все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата! Повинную тебе принес, и допрашивать нечего. Прости или прикажи скорей окончить... Свет не мил! Прославили тебя и погубили себя навек. Орлов Алексей».

Екатерина уронила письмо на стол, подошла к окну... День сегодня был серый, ветреный. Низко тянулись облака, на фоне жирных туч острой иглой торчал шпиль колокольни крепости, да под ветром ангел стоял, держась рукой за крест.

В кабинете государыни, над золотыми разводами двери в десюдепорте[1] был изображен Храм Славы: круглая, толстоватая мраморная беседка с несколькими колоннами белела среди зеленых деревьев. На нее из золотого солнца сыпались прямые лучи. Перед беседкой курился жертвенник, на жертвенник женщина в белом возлагала цветы.

Чтобы овладеть собой, императрица прошлась несколько раз по кабинету, выпила стакан воды, засучила рукава, снова опустила их... Потом, остановившись перед дверью и подняв глаза к небу, перекрестилась...

— Слава Богу!

И ей метнулся в глаза этот Храм Славы, кисти славного Валериани.

«Скорей, скорей короноваться! — подумала она.— Надо указать — в сентябре... Уже назначен главный распорядитель — князь Никита Трубецкой...»

Теперь ему было еще дополнительно указано — заготовить сто двадцать бочек дубовых с железными обручами, чтобы в каждую входило по пять тысяч рублей разменной монетой — народу разбрасывать... Да указано в этот день генералу фельдцейхмейстеру[2] Вильбоа — готовить фейерверк отменный... да еще угощение народу...

Это и был Храм Славы.

В десять часов утра 22 сентября 1762 года над Кремлем раздались звуки литавр, труб, загремели пушки. Из Кремлевского дворца двинулось коронационное шествие в Успенский собор... Толпы народа заполнили Кремль, Красную площадь. Гвардия стояла от Успенского собора вдоль Ивановской площади.

---

[1] Живопись на дворцовых дверях.

[2] Начальник артиллерии.

В шествии шли митрополит Новгородский Дмитрий; с ним 20 архиереев, 35 архимандритов, драгоценные митры их горели как жар. Хоругви. Кресты. Фонари. Иконы. Шесть камергеров несли шлейф Фике. Перед Фике несли регалии ее власти — корону, скипетр, державу. Вступив в древний собор, Фике села на императорский трон...

Хоры гремели: «Осанна!» — Пятиярусный иконостас сверкал золотом свеч. По четырем круглым колоннам все так же, как и при Иване Третьем, подымались, уходили вверх лики святых и ангелов И выходило так, что вся эта древняя сила охраняла теперь маленькую ловкую немочку Фикхен из Штеттина.

Перед императрицей стали на колени граф Разумовский да князь Голицын — поднесли на золотой подушке корону.

Императрица взяла ее и сама возложила себе на голову. Началась обедня — она стояла ее всю со скипетром и державой в руках. Сама прошла потом в царские врата, сама помазала себя миром...

Митрополит Дмитрий заливался соловьем, произнося приличную сему торжеству проповедь.

— Господь возложил на главу твою венец! — со слезами в голосе говорил он.— Знал Он, как избавить тебя, благочестивую, от напасти! Знал Он сердце твое, сам читал его перед собою. Знал, что во всевыносимом терпении твоем ты ниоткуда не ждала помощи, только уповала на Него одного — на Бога. Знаем и все мы единодушно и скажем, что ни голова твоя не хотела царского венца, ни рука твоя не искала славы, не искала приобретения сокровищ временных. Тобой в твоих действиях руководила только материнская любовь о твоем отечестве, твоя вера в Бога да ревность к благочестию. Тобою руководила жалость к страданиям народа, к порабощению сынов русских. Только это и заставило тебя принять сие великое Богу служение. И чудо сие,— восклицал красноречивый проповедник,— опишут в книгах историки. Ученые будут читать с охотою, а неграмотные рады будут послушать эту удивительную повесть...

После коронования императрица Екатерина Алексеевна обошла все соборы и в аудиенц-зале под балдахином раздавала награды отличившимся в перевороте персонам.

Главнокомандующим, что на прусского короля не слишком напирали,— Салтыкову да Бутурлину — пожалованы были бриллиантовые шпаги — «за доблесть».

Всем пяти братьям Орловым — Алексею, Григорию, Федору, Ивану да Владимиру — графское достоинство. Григорий назначен генерал-адъютантом. Кроме того, Алексею и Григорию по 50 тысяч рублей деньгами да по 1000 душ крестьян.

Камер-лакею Шкурину 1000 душ крестьян и дворянское благородное звание. Всего было в этот день обращено в крепостных рабов до 15 тысяч человек, пожалованных разным лицам.

Княгине Дашковой — 25 тысяч рублей и орден святой Екатерины. Адмиралу Талызину — высший орден — Андрея Первозванного.

Дяде Жоржу на выезд из России пожаловано было 100 тысяч рублей.

Императрица затем изволила обедать одна, под балдахином, а вся знать — духовенство, вельможи, генералитет — стояла вокруг трона. Потом, по ее распоряжению, гости уселись за столы... В народ бросали деньги... Три часа били фонтаны из красного, белого вина и из водки, на площадях Ивановской и Красной стояли жареные быки, бараны, дичь... Пирамиды из хлеба.

А когда императрица Фике показалась на Красном крыльце, загремели пушки, зазвонили колокола, но, отмечают современники, «народ молчал».

Москвичи вообще расходились, когда она появлялась на улице, и в то же время народ всегда валил толпой за ее сыном-мальчиком, наследником Павлом. Мало того, что народ молчал, народ и говорил втихомолку, а потом все громче да громче, все вольнее и вольнее.

Императрица после коронации долго жила в Москве — очевидно не желая возвращаться в Петербург, слишком близкий по воспоминаниям...

Она сходила на богомолье к Троице-Сергию, пешком ходила в Ростов на открытие мощей святого Димитрия Ростовского.

Но это мало помогало.

Слухи в народе росли и разрослись настолько, что 4 июня 1763 года в разных концах Москвы на улицах забили барабаны, заиграли трубы и сбежавшийся народ слушал от конных герольдов следующий манифест:

— «Желание наше и воля есть,— возвещала Фике народу московскому,— чтобы все и каждый из наших верноподданных занимался единственно своим делом, своей службой, чтобы побольше воздерживался от дерзких и непристойных рассуждений. Но против нашего чаяния, к нашему прискорбию мы слышим, что появляются такие развращенных нравов и мыслей люди, которые думают не об общем добре, не об общем покое, но, зараженные рассуждать о делах, совершенно к ним не относящихся, о том, о чем они ничего не знают, до того безрассудно распускаются, что в своих речах касаются дерзко не только гражданских законов и правительственных действий, но даже и божественных узаконений...

Такие зловредные истолкователи по всей правде заслуживают достойной казни как вредящие нашему и всеобщему покою, но мы все же всех таковых зараженных неспокойными мыслями матерински увещеваем — оставить всякие вредные рассуждения и сообразно своему званию проводить время не в праздности, или в невежестве, или в буйстве, но заниматься своим полезным делом на пользу свою и общую...

А если сие наше материнское увещевание не подействует на развращенные сердца, не обратит их на путь истинного блаженства, то пусть знают такие невежды, что тогда поступим по всей строгости законов, и такой преступник неминуемо восчувствует всю тяжесть нашего гнева как нарушитель тишины и презритель нашей воли.

Екатерина».

Манифест этот был прочитан в церквах по всем городам России.



П. Н. Краснов

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ

РОМАН

От автора

Екатерина Великая!.. Подлинно была она великая во всех своих замыслах, работах и творческом размахе на всем протяжении своей сравнительно долгой жизни, из коей половину — тридцать четыре года — она просидела на престоле Всероссийском. Она продолжала дело Петра Великого, она использовала тихую, мирную, благостную, малозаметную, но какую большую культурную работу Императрицы Елизаветы Петровны и блестяще закончила для России ее XVIII век. Петр прорубил окно в Европу — Екатерина на месте окна устроила широко раскрытые двери, в которые входило в Россию все передовое, разумное, мудрое, что было в Западной Европе. Она завоевала теплый, благодатный Юг и из единоплеменного, Северного Русского, Московского Царства сделала Государство Российское, равно владеющее дарами Севера и Юга с сотней племен и наречий, шагнула за пределы океанов Ледовитого и Великого, и Северная Азия преклонилась перед нею.

Административный и политический ум и опыт, ясная прозорливость полководца, широкие — кажущиеся современникам фантастическими — планы, которые она проводит в жизнь, литературный и публицистический таланты, отточенная мысль в письмах и рескриптах, обаятельный характер, красота телесная — все соединилось в ней, чтобы блистать на протяжении полувека. Следы ее творчества рассеяны по двум материкам Старого Света, и нет уголка Российской земли, где не было бы «построенного при Екатерине»... Какие люди ее окружали, или, вернее, какими людьми она себя окружала!.. Каждое имя — эпоха, каждое — талант, гений!.. Суворов, Румянцев, Спиридонов, Потемкин, Бецкий, Державин, Крылов, Фонвизин и т.д. и т.д.

Она стояла на такой высоте, что казалась недосягаемой, а была так легко доступна. Ее превозносили, ее славосло-

вили и воспевали... Ей завидовали, на нее клеветали, и сплетня старалась закидать ее грязью. У нее было много друзей, еще больше врагов.

Чтобы изобразить Екатерину Великую так, как она есть,— дать литературный ее портрет, мне понадобилось бы по меньшей мере восемь таких книг, как эта. С какою радостью написал бы я их, но...

Мы живем в тяжелое время. Издать и продать восемь томов о Екатерине в нашем жутком изгнаннической плену невозможно. И как это ни тяжело и ни обидно — писателю приходится теперь считаться с условиями книжного рынка.

Я даю только одну сторону жизни Екатерины Великой —

Ее роман.

Роман, где героем — **Екатерина Алексеевна,** а героиней — **Россия...** Та Россия, которую она полюбила со всею страстностью своей не женской, но мужской натуры, обладания которой добивалась и всех соперников своих устраняла с холодною жестокостью.

Потому я и считаю, что наиболее точное определение моему двухлетнему труду будет — роман.

П.Н.Краснов

Дер. Сантени
19 февраля 1935 года

I

К 1795 году Иван Васильевич Камынин достиг большого благополучия. Он был действительным статским советником. Он не попал в вельможи — об этом, впрочем, он никогда и не мечтал,—у него не было, как у Разумовских или Строгановых, великолепных усадеб и дворцов, но он был прекрасно устроен на полном покое в одном из домиков китайской деревни в Царскосельском парке.

Снаружи — китайский дом — разлатая крыша с драконами вместо коньков по краям, крытая черепицей с глазурью, фарфоровый мостик, фуксии в пестрых глиняных горшках, своеобразные двери и окна — внутри весь дворцовый комфорт того времени. Паркетные полы, красивые, в китайском стиле, обои, высокие изразцовые печи, выложенные кафельными плитками с китайским узором. Они солидно гудели в зимнюю стужу заслонками и дверцами, пели сладкую песню тепла и несли это тепло до самого потолка.

Придворные вышколенные лакеи, в неслышных башмаках и белых чулках, в кафтанах с орленым позументом, обслуживали Камынина; из дворцовой кухни ему носили фрыштыки, обеды и вечерние кушанья, в каморке подле лакейской на особой печурке всегда был готов ему кипяток для чая или сбитня, из петергофской кондитерской раз в неделю ему привозили берестяные короба с конфетами, а с садов, огородов, парников и оранжерей поставляли цветы, фрукты, ягоды и овощи.

И часто в благодушные минуты Камынин говорил про себя словами Потемкина из оды Державина «Фелица»:

А я, проспавши до полудня,
Курю табак и кофе пью;
Преображая в праздник будни,
Кружу в химерах мысль мою...

...Или в пиру я пребогатом,
Где праздник для меня дают,
Где блещет стол сребром и златом,
Где тысячи различных блюд,
Там славный окорок вестфальской,
Там звенья рыбы астраханской,
Там плов и пироги стоят,
Шампанским вафли запиваю.
И все на свете забываю
Средь вин, сластей и аромат...

От такой жизни очень округлилось лицо у Ивана Васильевича, глаза заплыли прозрачным слоем жира, и было в них необычайное благодушие и кротость. После бурной жизни, проведенной в боях и путешествиях, в политической игре и подслуживании вельможам, он обрел желанный покой. У него отросло порядочное брюшко, и по утрам, когда Государыни не было в Царском Селе, он и точно спал до полудня, а дни проводил в халате, то за письменным столом, за бумагами и книгами, то в глубоком и мягком кресле в дремотном созерцании мира.

Он подтягивался лишь в дни пребывания Ее Величества в Царском Селе, потому что в эти дни могло быть, что ранним утром вдруг заскулит у входной двери государынина левретка, тонкая лапка заскребет ногтями, пытаясь открыть дверь, и только распахнет ее на обе половинки Камынин — с утра в кафтане, в камзоле и в свежем парике, чисто бритый,—смелою поступью к нему войдет сама Государыня.

Она в просторном утреннем платье, в чепце, свежая от ходьбы, оживленная и бодрая.

—Здравствуй, Иван Васильевич,—ласково скажет она и сядет в глубокое кресло, услужливою рукой пододвинутое ей.—Ну, как дела? Продвигается твоя работа? Что еще надумал? С чем пытать меня будешь? Что еще тебе во мне непонятно?

Государыня пьет у Камынина утренний кофе и перебирает с ним бумаги и старые письма.

Дело в том, что с высочайшего на то разрешения Иван Васильевич Камынин пишет книгу «Дух Екатерины Великой»...

II

Иван Васильевич ждет к себе гостя. Этот гость лет на тридцать моложе Камынина. Август Карлович Ланбахер — немец по рождению, русский душою — по поручению Орлова лет десять тому назад был отвезен Камыниным за границу и вот вернулся теперь бодрый, энергичный, напитанный свободомыслящим заграничным духом, пытливым, ищущим, критикующим, желающим все познать до дна и найти непременно истину. Он вошел в Новиковский кружок вольных каменщиков, а теперь жаждал о многом и главное — о Государыне, хорошенько поговорить с Камыниным, которого еще с совместной поездки за границу называл «учителем».

И вот в это прекрасное осеннее утро, когда воздух, казалось, был напоен терпким винным духом, так ароматно пахла увядающая листва, дворцовая, дорожная, разъездная карета проскрипела железными шинами по мокрому песку дороги, Камынин послал навстречу гостю лакея, и сам Август Карлович, веселый, оживленный, чистенький, точно полакированный заграничным лаком, влетел в прихожую, оглядеся быстренько перед большим зеркалом в ясеневой желтой раме и очутился в пухлых объятиях Камынина.

—Садись, да садись же, братец, экий ты неугомонный. Устал, поди, с дороги.

—Постойте, учитель, дайте осмотреться. Как все прекрасно тут, как оригинально!.. Ки-тай-ская деревня! Под Петербургом! И сколько уюта, тепла и прелести в ней. И вы!.. Вы все тот же добрый, спокойный, тот уже уютный, милостивый, радушный учитель... Вот кому от природы дано франкмасоном быть. В вас все такое... братское! И вы среди искусства... Это... Фрагонар?.. А это?.. Наш Левицкий!.. Какая прелесть!.. Что же, это все она вам устроила?.. Милостивая царица, перед которой все здесь благоговеют... Мне говорили даже, что вы пишете. Пишете... О н е й.

—Да, Август. Пишу. Долгом жизни моей почел написать эту книгу.

Камынин подошел к столу и раскрыл толстый брульон[1], переплетенный в пестрый с золотыми блестками шелк. Он открыл первую страницу. Там была в красивых косых и круглых завитках, как в раме, каллиграфски изображена надпись, вся в хитрых загогулинах. Пониже мелким прямым почерком было написано стихотворение.

—Вот видишь... «Дух Екатерины Великой». Я долго колебался, как лучше назвать — «Дух великой Екатерины» или

[1] Тетрадь-черновик.

«Дух Екатерины Великой»? Последнее мне как-то больше понравилось. А эпиграфом — стихи Вольтера, ей посвященные, в русском переводе. Фернейский философ послал эти стихи Государыне в 1765 году в ответ на ее приглашение в Петербург, на карусель, где девизом Государыни была «пчела» с надписью — «польза». Вот видишь:

Пчела, как в свете ты полезна...
Ты и страшна, ты и любезна,
Для блага смертных ты живешь:
Ты пищу им, ты свет даешь.
Но, коль и нравиться ты знаешь...
Мне тем достоинств прибавляешь...

—Та-ак,—протянул Ланбахер.—Так, так, так...—В его голосе не отразился тот восторг, который как бы излучался от всего Камынина.—И что же, учитель? Вся книга ваша в этом же духе тонкой лести?.. Как у старого льстеца Вольтера?.. И все совершенно искренно? Неужели? Быть того не может!

—Ты что же, Август?.. Ты думал — продался учитель?. На старости лет стал в череду придворных льстецов, за теплый угол и сытый покой отдал правду? Поет небожительницу?

Ланбахер задумался. Он сел в глубокое кресло против Камынина и сказал тихим голосом.

—Учитель, позвольте задать вам несколько вопросов. Это то, что меня волновало за границей, когда мне приходилось говорить там о русских делах и о... Государыне... Я много слышал... Приехал сюда и задумался. Вчера в Эрмитаже... Потом объехал весь Петербург... Какой блеск, какая красота! Смольный, Потемкинский дворец с его садами, прудами и озерами — вся эта сказочная роскошь Петербурга — это не пыль в глаза, чтобы глаза не видели, чего не надо? Блестящий, изумительный, великолепный занавес, произведение тончайшего искусства,—а за ним грязный сарай, полный мертвечины, гниющих костей и всяческой мерзости. Гроб повапленный... так казалось мне. Так думаю и теперь Вы позволите все сказать, что слышал и что сам продумал?

—Говори, если начал. Говори, договаривай. Молодо — зелено... И мы когда-то так думали, колебались и сомневались. Только знание побеждает сомнение

—Так вот... Какое прекрасное начало царствования... «Наказ». Каждое слово дышит «L'esprit des lois» Монтескье...[1]

—Верно, верно, Август. Государыня эту книгу называет молитвенником своим. Не расстается с нею.

[1] «Дух законов».

—В «Наказе» мысли из «Essai sur les moeurs et l'esprit des nations» Вольтера[1] и из «Анналов» Тацита... Все это такое передовое, такое — я бы сказал — европейское!.. И мы ждали... Освобождения крестьян! Воли рабам! Она же говорила, что «отвращение к деспотизму верным изображением практики деспотических правлений» внушено ей чтением Тацита. Мы ждали отказа от самодержавия, создания представительного народного правления, будь то по старорусскому укладу вече, или там Земский собор, или по образцу английскому — парламент И мы ждали от нее великого света с востока. и вместо того...

—А, Боже мой, Август... Одно, как говорит она, «испанские замки» мечтаний, другое — труд, правление. Да народ-то русский созрел для таких реформ?.. Не делала она опытов, не пыталась и дальше идти по намеченному пути? Она показала свой «Наказ» ряду лучших передовых людей. «Наказ» испугал их. В нем видели такое резкое уклонение от старых порядков, такую ломку, какой и Петр Великий не делал. Никто не соглашался на освобождение крестьян. Отмена пытки казалась невозможной. Пришлось сократить и переделать «Наказ» Государыня, однако, не остановилась перед препятствиями. Ты знаешь, слыхал, конечно, о созыве в 1767 году Комиссии о сочинении нового уложения... Были собраны представители от дворян, горожан, государственных крестьян, депутаты от правительственных учреждений, казаки, пахотные солдаты, инородцы... Пятьсот семьдесят четыре человека собралось в Москве. Какого тебе Земского собора еще надо! Собрался подлинный российский парламент И что же? О России они думали? Нет! О России она одна думала. Там думали только о себе, свои интересы отстаивали, свои выгоды защищали. Дворянство требовало, чтобы только оно одно могло владеть крепостными людьми, требовало своего суда, своих опекунов, свою полицию, права на выкурку вина, на оптовую заграничную торговлю Оно соглашалось на отмену пытки, но только для себя... Купцы тянули к себе Крестьянство...

—Ну что же крестьянство?.. Что же оно? В этом-то весь смысл.

—Что говорить о нем! Чай, и сам знаешь... За границей очень много об этом писали Крестьянство ответило — Пугачевым.. Пугачев освободил крестьян, и они показали, на что способен народ без образования, но с волей. Пугачев подарил народу — иначе он не мог поступить, как должна была бы поступить и Государыня, если бы сейчас вздумала

[1] «Опыт о нраве и духе народов»

бы освобождать крестьян,—подарил земли, воды, леса и луга безданно и беспошлинно. Он призывал уничтожить все ненавистные заводы и истреблять дворян. «Руби столбы — заборы повалятся»,—писал он. Столбы рушились на совесть. Тысячи дворян, помещиков были повешены. Пугачев приказывал: «Кои дворяне в своих поместьях и вотчинах находятся, оных ловить, казнить и вешать, а по истреблении оных злодеев-дворян всякий может восчувствовать тишину и спокойную жизнь, кои до века продолжаться будут...» Вот что такое народная воля без просвещения! И Государыня как еще это поняла! На пугачевский бунт она ответила — Комиссией о народных училищах, главными народными училищами, специальными школами и прочая, и прочая. Ты посмотри-ка теперь, сколько стало образованных и просвещенных людей в России, и теперь уже нет надобности, как тебя, посылать учиться за границу — свое имеем, и очень даже неплохое... Вот с чего начала она — волю крестьянам!..

—Да... Может быть... Если только это правда...

—Как — правда?.. Ужели ты думаешь, я лгу?..

—Нет, учитель, я того не думаю... Но везде, где Государыня,—много шума, треска, разговора, а много ли дела?.. Прости — даже есть ложь, ей для заграницы и для большого народа нужная. Возьмем ее манифесты. В своих манифестах о вступлении на престол Государыня пишет, что она отняла престол от мужа «по единодушному желанию подданных» Да где же это единодушное желание подданных? В чем оно выразилось? Она постоянно играет словом «народ». «Намерения, с которыми мы воцарились, не снискание высокого имени освободительницы российской, не приобретение сокровищ... не властолюбие, не иная какая корысть, но истинная любовь к отечеству и всего народа, как мы видели, желание нас побудило принять сие бремя правительства...» И все в таком же роде... Что же это такое?.. Обман? Желание укрыться за народ?

—Странные вы люди, российские недоучки, профессорами думающие быть... Если Государыня пишет от себя, от своего имени... О!.. Как вы недовольны!.. Какие громы и молнии мечете!.. Самодержавие!.. Ежели напишет она от имени народа... Как можно?.. А кто ее уполномочил на это?.. А где же этот народ?.. Видал ты в России народ?.. Знаешь ты народное мнение?.. Народное мнение — это Пугачев!.. Она материнским своим сердцем, своим знанием России и своею любовью к России угадала, что и как нужно написать.

—Учитель, я думаю иначе... Она писала это для иностранцев...

—Для иностранцев?.. Бога ты побойся, Август... На что ей сдались эти иностранцы?

—А, нет!.. Она любила-таки писать Вольтеру и Дидероту, лицом себя им показывала.. Она и писатель, и драматург Зачем же это-то?

—Боже мой!.. Боже мой!.. Благодаря ей быть писателем, быть актером в России стало не зазорно... Сама Государыня пишет!

—Да она, говорят, неграмотна.

—Говорят!.. Говорят! Говорят, что кур доят и что коровы яйца несут Ее статьи во «Всякой всячине», ее пьесы полны ума и тонкого блеска. Неграмотна? Да так ли мы все-то грамотны?.. Еще недавно она так мило сказала своему секретарю Грибовскому, подавая для исполнения собственноручно написанную записку: «Ты не смейся над моей русской орфографией. Я тебе скажу, почему я не успела ее хорошенько узнать. По приезде моем в Россию я с большим прилежанием начала учиться русскому языку. Тетка Елизавета Петровна, узнав об этом, сказала моей гофмейстерине: «Полно ее учить, она и без того умна». Таким образом могла я учиться русскому языку только из книг без учителя, и это самое причиною, что я плохо знаю правописание...»

—Да, все это так... все может быть, но у меня есть и еще один вопрос, и очень деликатный. Вопрос, который особенно страстно обсуждается, и в нем у нас там разномыслия нет

—Постой, Август Ежели вопрос тот серьезный, о нем — потом. В столовой звенят посудой. И как аппетитно оттуда пахнет. Позавтракаем, погуляем и тогда и на твой деликатный вопрос ответим со всей искренностью и правдою.

Камынин обнял за талию Ланбахера и повел его в столовую, декламируя нараспев:

Там славный окорок вестфальской,
Там звенья рыбы астраханской,
Там плов и пироги стоят...

В столовой придворный лакей поднимал крышку с овального супника, и мягкий аромат налимьей с ершами ухи тонко щекотал обоняние хозяина и гостя.

III

Вечером камердинер спустил шторы, по указанию Камынина зажег две свечи под зеленым шелковым абажуром, подбросил в печку березовых дров и подал поднос с боль-

шими китайскими чашками и серебряными в выпуклых орлах дворцовыми чайниками. В кабинете стало тепло и уютно. Кругом была тишина осеннего вечера в большом Царскосельском парке.

Камынин, усаживаясь глубоко в кресло, сказал, продолжая разговор, который они вели во время прогулки по парку:

—Любовники... Все это, прости меня, Август — тень-брень... Чепуха. Заграничные выдумки любителей под кровать лазать да там амуров искать и в щелочки спален высочайших особ подглядывать.

—Что вы говорите, учитель! От правды не укроетесь. Начнем перечень. Он будет длинен... Салтыков?

—Гм... Да... Салтыков... Знаю, что об этом больше всего принято болтать. Так вот, знай, никогда граф Сергей Васильевич Салтыков любовником Великой Княгини Екатерины Алексеевны не был. Екатерина Алексеевна была дома матерью, а более того — отцом, старым суровым лютеранином, солдатом, человеком долга, очень строго воспитана. На нее влиял солдатский ригоризм Фридриха, короля прусского. Она не думала о любовниках. Но ее муж развивался медленно, и она долго не имела детей. Да, правда, Императрица Елизавета Петровна, очень этим обстоятельством обеспокоенная, толкала ее в объятия Салтыкова, а Бестужев и Чоглокова просто-таки сводили ее с ним, но.. В это-то как раз время под влиянием ревности к Салтыкову, а так же благодаря смелой любовной науке фрейлины Елизаветы Романовны Воронцовой Великий Князь Петр Федорович проснулся и научился науке страстной, и России пожеланный наследник родился вполне естественным и законным путем... Далее, многие говорят о Понятовском... Этот красивый и умный поляк был просто без ума влюблен в Государыню. Он из-за нее и «ойчизну» позабыл. Но она-то, умница, вела с ним тонкую политическую игру, но никак не игру любовную. Она истомила его, рабом своим сделала, но господином ее он не был. Умница!.. Но вот ей нужны люди, способные для нее на все. Ведь только тогда и явился тот, кто одиннадцать лет владел ею как муж,— Григорий Орлов. Она готова была видеть в нем своего Алексея Разумовского, да когда вполне поняла грубую натуру Григория, стала отдаляться от него. И она и посейчас была бы все-таки с ним, если бы он ей не изменил... Потом были и другие... Долго был Потемкин. Она крепко любила его за все — и за верность его, и за большой ум, и талантливость прежде всего... Потемкин умер. На смену пришли другие. Не так уж и много. Ты знаешь, к какому заключению я пришел, пиша свою книгу. У нее мужской характер и ор-

ганизм мужской. И как мужчина может творить только тогда, когда его мужское начало получит удовлетворение, так и она. Ей нужен был мужчина, чтобы творить ее великое дело. Она вдова... Ей угрожала истерия... Вот и брала она таких себе временных мужей, которые не мешали бы ей царствовать. Но говорить о мужском гареме, как то болтают за границей, о двадцати одном фаворите, прости меня, это же просто — низость! Старые послы иностранных государств, сластолюбцы, восхищенные Государыней, сами ни на что не способные, искали пятен на нашем ясном солнышке. Прибавь — петербургские сплетни. Если Императрица улыбнулась кому-нибудь ласковее, одарила не по заслугам, а она таки любит делать подарки — вот и создан новый фаворит... Как многие сами намекали или умышленным умолчанием давали понять, что и они приобщились к царственному ложу. Тщеславие и подлость — родные сестры. Вот откуда пошла молва о десятках фаворитов. Из мудрой нашей Государыни римскую Мессалину сделали. Заплевать хотели наше солнышко. А как ненавидят ее иностранцы, особенно поляки, как завидуют, клевещут...

—Так, понятно. Сами знаете, учитель, полякам любить Государыню не за что. Надо понимать национальное их чувство.

—Верно, Август, но прежде всего нужна справедливость. И в самой нелюбви не должно допускать клеветы. А то, подумай — Пугачевым готовы были заменить мудрую нашу Государыню, Великую Екатерину!.. А то еще, что мне хорошо очень известно,—безродную, не помнящую себя, развратную девчонку готовы были проводить на Российский престол. А представь — удалось бы, расчленили бы, поразбавили бы Россию по кусочкам кому угодно. О, подлецы!.. Самоплюи!.. Ну вот, не будем об этом долго говорить. Ты, конечно, слыхал про героя нашего народного, богатыря русского, Александра Васильевича Суворова. Непобедимый наш герой! Весь свет его знает. Солдаты его обожают. Он совесть наша народная. В нем мудрость, любовь к отечеству и справедливость. Так вот он — совесть народная, чистая солдатская душа, которую нельзя ни в чем упрекнуть, весь устремление к Богу и правде,—когда входит в покои Государыни, сейчас же отвешивает перед божницею три земных поклона, отобьет их, повернется к Государыне и ей такой же, в землю лбом... Государыня бросается к нему. «Помилуй, Александр Васильевич!. Что ты делаешь?.. Разве можно так?..» Суворов встает с колен, почтительно целует ручку Государыни и говорит: «Матушка!.. После Бога — ты одна моя здесь надежда!..» Ты думаешь, Суворов не знал ее, не

понимал насквозь, не слышал всего того, что о ней болтают, а вот понял ее, не осудил, не подсмотрел в ее глазу сучка, но увидал только ее громадную, все покрывающую, все преодолевающую любовь к России. А преодолеть ей пришлось многое. О победах, о завоеваниях, о реформах ее говорить не стану — все это на виду у всех, а вот узнай хорошенько ту борьбу за власть, за право вести Россию по тому пути, по которому она вела, немногие это знают, ибо многое до времени скрыто от людей. Узнай ее всю, от раннего детства, узнай ее несчастливое замужество, послушай, как много ей пришлось перенести даже и унизительного, узнай ее твердость в решительные минуты, когда и мужчина растерялся бы, и я уверен, если ты все это выслушаешь, не станешь больше повторять легкомысленные сплетни и злобную клевету на величайшую в мире монархиню. Если хочешь, послушай, а я тебе все расскажу, как жила она, как формировалась из нее стальная, твердая, настоящая монархиня, Государыня Божией милостью.

—Ну как же не хотеть! Я за этим и в Россию приехал, я за этим к вам пришел, чтобы услышать правду

—Так вот, садись удобней, мой рассказ будет долог, не один осенний вечер займет он.

Камынин со вкусом выпил большую дворцовую чашку чая, съел пирожное, тщательно утер рот, глубже уселся в большое кресло, откинулся на спинку, закрыл на мгновение глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и начал спокойным, сытым, барским голосом...

Часть первая

ПРИНЦЕССА СОФИЯ-ФРЕДЕРИКА

I



Медлен, тягуч, но и в лютеранской печали своей торжествен звон колоколов кирки Святой Марии на главной штеттинской улице. Он отдается о каменные стены двух- или трехэтажных, скучных однообразных домов, летит к синему апрельскому небу и отражается о голубую гладь широкого Одера

Жители Штеттина выходят на улицу Они столпились возле лавки, где торгуют канатами, корабельными блоками, снастями, круглыми фонарями и тяжелыми медными компасами. Городок маленький, в нем живут тихо, мирно, дружно, патриархально, и все каждому известно. И торжественный гулкий звон колокола говорит о том, что совершилось то, что со дня на день ожидалось.

—Ну что?.. Слава Богу?.. Все благополучно?..

—Да, жалко... Не мальчик.

—И сынка Бог даст... Люди еще молодые... А и девица, кто знает, может и какое счастье принесет!

К большому каменному дому президента Штеттинской торговой палаты фон Ашерслебена, где стоял командир Ангальт-Цербстского восьмого пехотного полка генерал-майор князь Цербст-Дорнбургский Христиан Август, потянулись тяжелые кареты, запряженные парами и четвериками цугом. Городская знать съезжалась поздравить князя. Городской советник прошел пешком и пронес громадный букет бледно-

розовых тюльпанов. В доме внизу, в подвальном этаже, на кухне дружно стучали ножами. Двери второго этажа были раскрыты настежь, князь в высоком, волнистом парике на пороге принимал гостей и приглашал их в зал. Дам пропускали в наскоро убранную спальню княгини Иоганны, откуда еще не была вынесена родильная кровать и где пахло куреньем и лавандовой водой. В кресле с золотой спинкой, на подушке с кружевами лежала спеленутая девочка с розовым свежим лицом и косила маленькими узкими глазками на входящих дам.

Счастливая роженица в длинном шлафроке лежала на свежепостланной кровати и, улыбаясь, принимала поздравления.

Горничная с сердитым усталым лицом устанавливала в вазах принесенные цветы. Сладкий запах ландышей вытеснял запах лаванды, мыла и курений, лекарственный запах события.

Ребенок сморщил маленькое лицо и чихнул. Все умилились.

—Смотрите!.. Чихает!..

—Ach, lieber Gott!..[1]

В открытые окна солнце золотые лучи лило, с ними несся медленный, плавный звон с колокольни кирки Св. Марии.

—Бомм!.. Бомм!.. Бомм!.

Двадцать первого апреля (2 мая) 1729 года родилась будущая Императрица всероссийская Екатерина Великая — принцесса Цербстская София-Августа-Фредерика.

Из скромной квартиры президента торговой палаты родители Софии вскоре переехали в казенную квартиру в Штеттинском замке на берегу Одера. С этим замком и были связаны первые, ранние, детские воспоминания маленькой Софии.

В большие многостекольные, в частом свинцовом переплете окна, на старые доски полов, изъеденные временем и жучком, с черными точками и линиями щелей, на каменные беленные известкой стены яркий падал свет. В комнатах тяжелая, грубая деревянная мебель, кресла, стулья, которые не сдвинуть маленькой Софии, длинные лавки и рундуки, окованные железом с тяжелыми замками. Двери из комнат выходили в длинный коридор. По нему было приятно бегать, испытывая с каждым днем крепнущую упругость маленьких ног, и, отбившись от няни, добежать до страшной, таинственной двери, за которой начиналась неизвестность, куда запрещено было ходить. Там была лестница на башню

[1] Ах, Боже мой!.. *(нем.)*

Вдоль коридора — большие окна, за ними — узкая полоса берега, за ней сад, за садом Одер· лодки, баржи, галиоты, шхуны и шнявы — чужой и чуждый мир, куда ребенку так хотелось проникнуть.

В зале, с дубовым навощенным паркетным полом, по стенам висели портреты в темных тяжелых рамах.

Когда мать была свободна, София водила ее за руку от портрета к портрету.

На темном фоне резко выделялся белый парик, гладкий, с буклями у висков, бледное лицо, серо-синие глаза навыкате, темно-зеленый мундир с алым отворотом.

—Это, мама, кто?..

—Король прусский Фридрих... Папин начальник... Наш благодетель.

—А это?..

В черной сутане красивый молодой человек с печальным лицом смотрел из рамы.

Мать Софии вздыхала.

—Это братец... Его нет больше. Он у Бога... Епископ Любский.

София, присмирев, тихо переходила к следующему портрету Прелестная женщина с золотистыми волосами, с громадными голубыми глазами, с румянцем во всю щеку, с ямочками у углов изящного рта точно улыбалась навстречу ребенку София знала, кто это, и сама говорила

—Это — тетя..

—Да... Это твоя тетя, русская Великая Княжна Елизавета Петровна. Она была невестой моего брата .. И вот.. Не судил Бог...

—А кто ее папа?

—Император Петр Великий.. Его войска стояли здесь в 1713 году...

—Ты его помнишь?

—Ну, что ты!.. Да я тогда и не здесь жила. Я была тогда такая маленькая, как ты теперь. Мне рассказывали про него. Он был очень красив, громадного роста, он много путешествовал и был так силен, что мог руками разогнуть подкову. Он стал Императором.

«Стал Императором»... Это было загадкой для маленькой Софии. И годами потом она обдумывала и вникала в смысл этого слова. Когда ближе познакомилась с историей, когда отец, держа ее на коленях, вычитывал ей и объяснял историю римлян Корнелия Непота, как часто она спрашивала про дедушку Петра, как он стал Императором.

Победами. Славою, умом, силою, красотою подвига. Вот как.. Народ, Сенат.. провозгласили его императором всероссийским...

И во всем этом точно какая-то сказка. Это сказка манила. Она заставляла ребенка думать о России, о русских. Она их уже видела. Она слышала их говор, слушала их песни...

Весною, когда стает снег и Одер освободится ото льда, когда дни станут длинными и теплыми, в коридоре настежь открывали окна.

Из сада нежно, по-весеннему, пахло сырою землею, дерном, а днем, когда пригреет солнце,—фиалками Тогда в саду работали русские пленные. Они ровняли дорожки, посыпали их желтым речным песком, окапывали гряды и на длинных, деревянных носилках носили цветочную рассаду из парников. Немец садовник распоряжался ими.

София принесет из спальни подушку, положит ее на подоконник, обопрется на нее грудью и смотрит на Одер, в сад, на вечереющее небо, по которому золотыми полосами протянулись тучи, потом снова на Одер. В тихих водах отразились тучи, через них плывет лодка, переходит через них, и они колеблются в круглых белесых волнах.

В саду кончили работать. Под старым дубом русские собрались. Они смотрят на восток, где золотые тучи стали уже лиловыми, а небо зеленым. Запели..

София не музыкальна, у нее нет слуха, но это пение она готова слушать часами. Голоса сливаются в мощный звук и гудят, как орган в кирке В пении что-то молитвенно-строгое, спокойное и. гордое В нем — бескрайняя тоска и смелый, дерзновенный вызов.

Освещенные закатным солнцем лица поющих София хорошо видны Девочка видит черные, русые и седые бороды и волосы, остриженные в кружок. Русские в длинных рубахах навыпуск, подпоясанных тесемками, ноги у них босые, запачканные черною землею, в белых, холщовых портах Они и в неметчине остались русскими

Из сада, где сильнее и душистее становился запах земли, а в зеленеющих ветвях звонко перекликались птицы, неслись чужие, непонятные слова песни.

Ах туманы, вы мои туманушки,
Вы туманы мои непроглядные...
Не подняться вам, туманушки,
Со синя моря долой...

—Fike, иди домой, komm nach Hause!..—звонко кричит из столовой в окно принцесса Иоганна. Она думает, что София в саду.

София берет подушку и бежит по коридору к матери, а вдогонку ей в окна вместе с запахом весны грозно несется хоровая песня:

Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Над горою взойди, над высокою!..

II

В классной комнате, на шкафу, лежит большой географический атлас. С трудом поддается тяжелая кожаная крышка усилиям маленьких детских рук. Толстые, шершавые листы отворачиваются мягко и плавно.

«Russland!»[1]

Какая громадная!.. Черные реки толстыми зигзагами ползут вниз к Черному и Каспийскому морям и вверх к Ледовитому океану. Волга. Двина.. Обь... Лена... Енисей... Какие они?.. Верно, больше, чем Одер? Вон он какой маленький, и что такое вся Пруссия перед громадной Россией? Это как одна их комната перед всем Штеттином. Герцогство Цербстское и совсем не заметить на этой карте. Где-то тут, в Москве или Петербурге, живет прелестная тетя Елизавета Петровна.

Гувернантка, мадемуазель Кардель, принесла и обточила гусиные перья. Она насыпала из каменной банки пестрого песку с золотыми блестками в песочницу с крышкой с маленькими дырочками. Сейчас придет учитель чистописания мосье Лоран. София будет писать французские прописи. Она наклоняет набок голову, косит глазами. Белое перо сонно скрипит по бумаге. Вот-вот от усердия высунется кончик розового язычка, и София услышит ядовитое замечание мадемуазель Кардель. София справляется с собою, выпрямляется и сыплет из песочницы белые, розовые, лиловые, желтые и золотые крапинки на свежие чернила. Написанное становится совсем необыкновенным, красивым, выпуклым и играет, как радуга.

Учителя чистописания сменяет придворный проповедник Перар.

—Bonjour[2], Перар!

Мадемуазель Кардель шипит сзади:

—Нужно сказать. мосье Перар! От этого челюсти не развалятся.

—Ach, so. Bonjour, monsieur Перар![3]

---

[1] Россия! *(нем.)*
[2] Здравствуйте *(фр.)*
[3] Ах, вот как *(нем.)* Здравствуйте, сударь Перар! *(фр.)*

Скучнее всего казались Софии уроки немецкого языка. Старый Herr Вагнер долго сморкался с таким усердием, что косица парика тряслась сзади на проволоке и пудра сыпалась на плечи. Он доставал тетради, и начинались скучнейшие Prufungen[1].

—Опять, Hoheit, все те же ошибки... der, des, dem, den... und die, der, der, die...

София смотрела испуганными глазами на Вагнера и виновато улыбалась.

После скромного завтрака Софию вели в зал, куда собирались дети служащих в замке и офицеров полка ее отца. Француз — учитель танцев ее ожидал. В углу красноносый скрипач настраивал скрипку, флейтист наигрывал трели.

—Eh bien, commencons[2]

Скрипка и флейта жалобно и печально играли менуэт, и резко звучал счет француза.

—Un, deux, trois... et avancez · un, deux, trois[3]..

После танцев София шла в классную и раскладывала ноты. Нелюбимый Софией урок. Струны мелодично звенят, маленькие пальцы стараются ударять по клавишам, куда надо, но ухо не улавливает мелодии. Надоедливо звучит голос учителя Рэллига. София сбивается с такта, начинает снова и снова.

День тянется длинный и заботный. Когда уроки окончены, тетради и книги уложены в ящик, мадемуазель Кардель уводит Софию в угловую гостиную, сажает маленькую принцессу в кресло, дает ей ручную работу и читает Расина, Корнеля и Мольера, каждого понемногу. Она читает нараспев, с завываниями, как того требует французская школа, и заставляет Софию «декламировать», подражая ей.

В раскрытое окно слышен плеск воды на реке, где-то гребут на вельботе, из города доносятся голоса людей и стук колес, и вдруг из сада несется стройный хор грубых голосов, поющих на непонятном языке:

Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Над горою взойди, над высокою.
Обогрей ты нас, людей бедных-их,
Добрых молодцев, людей белых.

София перебивает декламацию мадемуазель Кардель.

—Мадемуазель, русская тетя на двадцать лет старше меня. Она, значит, совсем молодая — русская тетя?..

Лицо Кардель краснеет от злости. Она с треском захлопывает окно и с сердцем говорит:

[1] Проверки *(нем.)*
[2] Итак, начнем *(фр.)*
[3] Раз, два, три... пошли вперед... раз, два, три... *(фр.)*

—Вы слушаете не то, что надо. Вам надо слушать Корнеля, вы слушаете мужицкие песни!

Декламация продолжается, но мысли Софии далеки от Корнеля. Русская песня несет их куда-то в далекие холодные просторы громадной России.

III

Княжеский двор был беден. По вечерам, к ужину, подавали только рыбу с картофелем, но тон двора старательно поддерживали. По воскресеньям, перед тем как идти в кирку, устраивался «выход». В зале собирались все служащие в замке с женами и детьми, офицеры Ангальт-Цербстского пехотного полка и выстраивались вдоль стен. Старый домоправитель распахивал двери, и из них выходили принц Август с принцессой Иоганной и Софией. Служащие попарно следовали за ними процессией. После короткой службы тем же порядком возвращались обратно. Князь обходил гостей и некоторых удостаивал приглашением к завтраку

Нужны были деньги, нужны были связи. Об этом больше всего заботилась герцогиня Иоганна-Елизавета. Герцог был равнодушен ко всему что не касалось его полка, и благоговел перед прусским королем.

Когда девочка стала подрастать, мать начала возить ее на поклоны к родственникам. Они ездили в Цербст, Гамбург и Брауншвейг. В тяжелой карете, а зимою в санях возком они тащились по грубым каменным мостовым, вязли в грязи осенней распутицы, ночевали в дымных крестьянских избах или останавливались в холодных покоях помещичьих замков.

София привыкала видеть людей, и люди ее интересовали. Она была не по летам развита. Она быстро подмечала что-нибудь в людях и потом поражала мадемуазель Кардель своими острыми замечаниями.

— Oh, Ihre Hoheit[1],— говорила госпожа Кардель герцогине Иоганне.— *Фике слушает одно, а разумеет другое. Она* — «esprit gauche»... Себе на уме.

Софии было одиннадцать лет, когда епископ Любекский, онекун Голштинского принца Петра-Ульриха, пригласил к себе всех членов Голштинской фамилии, чтобы представить им своего воспитанника.

Герцогиня Иоганна поехала в Любек с Софией. Дорогой она рассказала дочери, что принц Ульрих — родной племян-

[1] О, Ваше Высочество (*нем.*).

ник тети Елизаветы Петровны, сын ее старшей сестры Анны Петровны, дочери Петра Великого, и законный наследник русского престола.

Было много народа, и был парадный, чинный, скучный и длинный обед с официальными тостами и криками «виват».

Софию представили двенадцатилетнему мальчику в белом офицерском кафтане при шпаге, очень тонкому, с узкими плечами и широким тазом. У него были продолговатые, сонные глаза, полуприкрытые веками. Он равнодушно посмотрел на красивую девочку. Он держался с вычурно-солдатской выправкой и почти все время молчал.

В гостиной, где София сидела с матерью и любекскими дамами, она наслушалась отзывов об этом мальчике.

«Урод»... «Чертенок»... «Совсем еще мальчишка, а напивается с лакеями»... «Упрям и вспыльчив»... «Живого нрава»... «Болезненного сложения и слабого здоровья»...

Софии было жаль его. Из всего большого общества, которое София видела в первый раз, только он один остался в ее памяти со странным взглядом загадочных глаз, с подергиванием узкими плечами и деревянной походкой маршрирующего гренадера.

Над этим мальчиком висела российская корона.

Софии было тринадцать лет, когда она была с матерью в Брауншвейге у вдовствующей герцогини. На большом обеде был епископ Корвенский с канониками. После обеда, когда все собрались в гостиной, зашел разговор о хиромантии. Один из каноников — Менгден — славился как человек, умеющий угадывать судьбу по линиям руки.

Бевернская принцесса Марианна просила ей погадать. Каноник смотрел на ее руку и, шутя, говорил всякий вздор о счастливом браке, о том, что у нее будет много детей, о шаловливом ее характере, о любви к танцам.

— Погадайте мне, — сказала София, когда каноник закончил.

— И правда, Менгден, посмотрите-ка, что ожидает мою дочь,— сказала герцогиня Иоганна.

София протянула канонику маленькую длинную руку, тот взял ее, посмотрел, стал внимательнее вглядываться, стал серьезен, начал сличать линии рук правой и левой и задумался. Он бросил Софиины руки и подошел к герцогине Иоганне.

— На голове вашей дочери,— в упор глядя в глаза принцессе, сказал он,— я вижу короны. По крайней мере три!..

— Шутите,— дрогнувшим голосом прошептала Иоганна.

— Не сомневайтесь, Ваше Высочество.

Этою же зимою, как и всегда, отец Софии поехал в Берлин с докладом королю Фридриху. На семейном совете было решено взять и девочку, чтобы показать ее королю.

София помнит хмурый, печальный день. Свинцово-серые тучи низко нависли над городом. На каменных мостовых лежал рыхлый, тающий снег, и тяжело тащилась по нему высокая придворная карета. В три часа было так темно, что по улицам бегали фонарщики и зажигали высокие круглые фонари. В их тусклом свете тяжелыми и мрачными казались громады темных дворцов.

Отец ввел Софию в большой, холодный и мрачный кабинет. Свечи, горевшие на столе, не могли разогнать сумрака. В глубоком кресле сидел худощавый человек в белом гладком парике, с такими знакомыми по портрету острыми, большими, слегка навыкате серыми глазами. Он приподнялся и хриплым голосом сказал

— А ну!.. Покажи!.. Покажи!.

София так много слышала дома о короле Фридрихе, так привыкла благоговеть перед ним, что теперь была взволнована и, трепещущая, с дрожащими коленями медленно подошла к королю и подала ему обе руки. Король обнял ее и притянул к себе. София ощутила крепкий запах табака и опустила глаза перед молодым острым взглядом прусского короля.

— Хороша!.. Очень хороша!.. Куколка... Глазки умные и смелые... В мать... Ростом маловата... Ну, ничего...

Король освободил Софию из своих объятий, отодвинул от себя и взялся за трубку. Красный огонек вспыхнул возле Софии, трубка засипела, и лицо короля окуталось сизым табачным дымом.

Король повернул голову в сторону родителей Софии и говорил сам с собою

— Вот оно где, решение вопроса... Надо сломить Бестужева... Все вздор!.. Теперь, когда на престоле «царь-девица» Елизавета... Да вот оно, по-моему... Молодец девка!.. По-солдатски!.. По-петровски!.. Пришла и взяла... Петра-Ульриха на саксонской?.. Вздор!.. Какая чепуха!.. К чертям! Мардефельд мне пишет из Петербурга... Планы... Что он понимает? Не такая она. Она кровь свою бережет... Что ей саксонская? Ну, спасибо, что привел... О делах — завтра... Славная девочка, твоя Фике... Ну, будь умницей!

Король встал, давая понять, что аудиенция окончена, и, прощаясь с герцогом, говорил, ни к кому не обращаясь:

— Саксонцы... Французы... Предадут... Мне вечный мир нужен. Подлинная дружба... Родственные связи... Он-то, конечно, дурак, да она, видать, умница.

Высокие двери закрылись за Софией и ее родителями. Камердинер взял со стола тяжелый канделябр и повел гостей по темным залам дворца к выходу.

IV

Принцесса София знала, что девушки не выходят замуж, но родители их замуж выдают. Она знала, что принцессами распоряжаются уже и не родители, но политика. И — «себе на уме», «esprit gauche» — она прекрасно поняла намеки короля. Вспомнила и гадание каноника Менгдена. Три короны на голове!

Сладко кружилась голова. Россия! О России она толком ничего не знала. На карте — Россия — огромная страна с черными толстыми зигзагами рек и очень редкими кружками и точками городов. По рассказам... Очень противоречивы, впрочем, были рассказы. Кто говорил, что Россия — дикая страна, вечно под снегом, покрытая болотами и лесами, с грубыми и дикими жителями монгольского происхождения, что в России можно «делать дела», но жить там нельзя, кто, напротив, восхищался Россией, чудеса рассказывал о Санкт Петербурге Город весь в садах, на прекрасной широкой реке, с великолепными зданиями, строится и сейчас, в нем белое Адмиралтейство с золотым шпилем, это едва ли не самый красивый город севера Европы. Общество петербургское — образованные и очень гостеприимные люди, а при дворе молодой Императрицы — блеск, затмевающий Версаль!

Ни мадемуазель Кардель, ни мосье Перар, ни старый Вагнер ничего о России не знали, и оставалась Россия для Софии далекой, чуждой, незнаемой и манящей.

С Россией неразрывно было связано воспоминание о длинном мальчике с узкими плечами и широким тазом, с прикрытыми верхними веками загадочными глазами... Урод.. Чертенок.. Пьяница... Упрямый и вспыльчивый... Болезненный и слабый.

Невесело!

Герцогиня Иоганна приехала в Штеттин в большом возбуждении. Как это так, она не заметила, не поспела, не подумала Надо было приветствовать Императрицу Елизавету Петровну, поздравить ее с восшествием на престол, пожелать долгого и благополучного государствования. Письмо составлялось всею семьею, и каждое слово в нем обсуждалось и взвешивалось. Софии оно показалось витиеватым, заискивающим и унизительным. Как-то примет такое письмо тетя Императрица, не сделает ли оно только хуже?

Письмо было послано, и неожиданно скорый и очень благоприятный ответ был получен. Императрица писала собственноручно и по-русски. В Штеттинском замке никто не понимал по-русски, и послали к русскому резиденту за переводчиком. В комнате герцога происходило чтение письма Вся семья слушала его стоя. Переводчик читал каждую строку торжественным голосом и переводил ее сейчас же на немецкий язык.

— «Светлейшая княгиня, дружелюбно-любезная племянница,— писала Государыня.— Вашей любви писание от двадцать седьмого минувшего декабря и содержанные в оном доброжелательные поздравления мне не инако, как приятны быть могут

Понеже ваша любовь портрет моей в Бозе усопшей Государыни сестры герцогини Голштейнской, которой портрет бывший здесь в прежние времена королевский прусский министр барон Мардефельд писал, у себя имеете, того ради особливая угодность показана будет, ежели ваша любовь мне оной, яко иного хорошаго такого портрета здесь не находится, уступит и ко мне прислать изволит; я сию угодность во всяких случаях взаимствовать сходна буду Вашей любви дружелюбно охотная Елисавет »

— Ее Величество хочет иметь портрет герцогини Анны,— воскликнула принцесса Иоганна.— Ну, конечно! Какие тут могут быть разговоры!. Сейчас же с нарочным будет послан!

Портрет сняли со стены, и, когда переводчик ушел, сама герцогиня с мадемуазель Кардель мылом мыли щеткой холст и краски

Недолго пришлось ждать и ответа на посылку портрета В сентябре 1743 года Императрица «взаимствовала» герцогине Иоганне посылкой великолепной миниатюры Государыни Елизаветы Петровны в чеканной золотой раме, осыпанной бриллиантами Миниатюра была доставлена секретарем русского посольства в Берлине Шривером.

В герцогском замке поняли, что такая ценная вещь и такое исключительное внимание герцогской семье были оказаны неспроста

Утром шли обычные уроки Чтение Корнеля, Расина и Мольера становились длиннее, и Софию заставляли заучивать наизусть большие куски, днем за клавесином мучилась София, сбиваясь с такта, не находя нужную клавишу и в прохладном зале журчала и переливалась печальная мелодия упражнений По вечерам семья сбивалась в маленькой гостиной, герцогиня и София сидели за круглым столом, на котором горел канделябр о пяти свечах, герцог читал полученные газеты, кто-нибудь из придворных дремал в углу

Герцог откинул тетрадку пухлой газетной бумаги и, приподняв очки на лоб, сказал:

— Ого!.. Вот оно каким холодом пошло! В ноябре Голштинский герцог Петр-Ульрих объявлен наследником русского престола, вызван в Петербург, обучается русскому языку и принимает православие. Я думаю, он раньше немного знал русский язык?.. Вот это так!.. Ты помнишь, Фике, герцога?..

София ничего не ответила отцу Она мучительно, как краснеют девочки, до самой шеи покраснела и ниже нагнулась над работой.

Старый каноник Перар, сидевший с четками в углу комнаты, сказал из темноты

— Как же это так? Слыхал я — принцесса Анна, выходя замуж, подписку давала, что ни она сама, ни десценденты ее претензий на престол российский иметь не будут

— То было тогда... В те времена. Ныне совсем другое. Императрица, говорят, кровь свою бережет.. Везде ищет память Петра Великого. А ведь чего же ближе? Мать его ей родная сестра. Петр-Ульрих — внук Петра Великого

— Конечно... На все ее державная воля. На то она и самодержица,— сказал каноник и стал перебирать четки.

В гостиной наступила тишина. Принцесса Иоганна показала дочери глазами на свечи. София встала, взяла железные ножницы с коробочкой для нагара и стала подрезать фитили. На мгновение в гостиной стало темнее, и герцогиня отложила работу, а герцог газету

— Принц Август скоро едет в Россию, вот и случай доставить ее портрет, как того хотела Императрица,— сказал герцог

— Надо ехать в Берлин,— сказала Иоганна — Я думала снега дождаться.

— Надо ехать сейчас.

София знала, что королевский придворный живописец Антуан должен был в Берлине писать ее портрет Соединив в уме прочтенное известие о Петре-Ульрихе с высказанной отцом торопливостью, она все поняла. Когда в дом, где есть холостой принц, требуется портрет принцессы — это значит...

Дальше София не хотела, боялась думать... Три короны на голове...

V

В императорских, герцогских, княжеских домах жизнь не проста. Она связана сложным этикетом и полна строгой тайны и секретов. В них не принято говорить о том, что

в данную минуту заботит, волнует и тревожит То мешает прислуга, то придворные, при ком нельзя говорить, то точно боятся спугнуть надвигающуюся судьбу

Это состояние секрета в доме София особенно мучительно чувствовала на четырнадцатом году своей жизни, потому что она не только догадывалась, но знала, что секрет касался ее самой Таинственные нити судьбы связывали ее с бледным мальчиком, шагавшим по-солдатски прямо, о котором так дурно говорили И было страшно Но ни спросить, ни поговорить об этом было нельзя Это был строжайший секрет потому — что, если это не состоится?.. Никто не должен был даже подозревать об этом, хотя все об этом знали

В 1744 году, в самое новолетие, пришла специальная эстафета от фон Брюммера, обер-гофмаршала Великого Князя Петра Федоровича, так был наименован теперь Петр-Ульрих

Письмо было написано по-французски и адресовано не герцогу, но герцогине Иоганне

«По именному повелению Ее Императорского Величества,— писал обер-гофмаршал,— я должен, Государыня, передать вам, что эта августейшая Императрица желает чтобы ваша светлость, в сопровождении принцессы, вашей старшей дочери, прибыли возможно скорее и не теряя времени в Россию, в тот город, где будет находиться Императорский двор Ваша светлость слишком просвещены, чтобы не понять истинного смысла того нетерпения, с которым Ее Императорское Величество желает скорее увидеть вас здесь, равно как и принцессу, вашу дочь, о которой молва сообщила нам так много хорошего Бывают случаи, когда глас народа есть именно глас Божий »

Фон Брюммер указывал дальше, что намерения и цель поездки должны быть скрыты до времени от людей Герцогине с дочерью предлагалось ехать до России под именем графини Рейнбек. Свиту она должна была взять самую маленькую Все счета по поездке по приказанию Императрицы будут оплачены купцом Иоганном Лудольфом Дом в Петербурге

С красными от волнения щеками, запершись в кабинете герцога, читала герцогиня Иоганна письмо своему мужу

— Сказать Фике? — спросила она

— Погоди .. Дай подумать .. Все это так неожиданно Ведь это?.. Православие?.. Россия?

— Императрица Всероссийская, вот что это,— задыхаясь от восторга, сказала принцесса Иоганна

— Все-таки пока ничего не говори Фике Я должен очень подумать

VI

Десятого января София с матерью под именем графини Рейнбек, в сопровождении управляющего двором полковника Латорфа, придворной фрейлины Каин, горничной Софии — девицы Шенк и нескольких человек прислуги в четырех телегах по ужасной распутице выехали из Цербстского замка.

Россия представлялась Софии именно такой, какой она ее себе воображала: зимней, снежной, морозной, пустынной и в то же время дивно прекрасной. Арабскими сказками Шахразады повеяло от первой встречи на границе Российской империи.

После утомительного, двухнедельного путешествия по жесткой колоти мерзлых по утрам, распускавшихся днем в непролазную грязь дорог, грохота железных шин тяжелых колес по неуклюжей, разбитой мостовой, ночлегов в дымных, вонючих избах прусских крестьян, раскладок и укладок каждый вечер и каждое утро, забот о том, чтобы было мягко сидеть, чтобы не продуло в пути, стали приближаться к Двине, к границе Российского государства.

Был сильный мороз и резкий ветер с моря. Графини Рейнбек ехали, закутав головы теплыми, вязаными, шерстяными капорами. От Мемеля через Митаву ехали санями.

И вот.. Было раннее утро, солнце всходило за снеговым простором, и слепили глаза снежные сверкания. От дыхания иней налипал на Софиины ресницы и радужными огнями играл перед глазами. Опираясь о грядки саней руками в теплых перчатках, София напряженно смотрела вперед.

Сейчас будет Россия.

Бело и тихо кругом. Вдали за замерзшею рекою показались стены города, крыши домов, шпили колоколен и белые, курчавые дымы, столбами шедшие к голубому холодному небу. Впереди опушка соснового леса, и на ней золотое сверкание чего-то большого, что не могла разобрать София, и темная толпа людей.

Верховой солдат встретил их и поскакал назад к толпе. Там произошло движение. Но тут лес заслонил от Софии то, что там происходило. Сани медленно ползли наизволок между сосен. От усталых лошадей голубоватый пар поднимался.

Дорога повернула, и вдруг в совсем необычной красоте предстало перед Софией то, что она наблюдала издали. София не была новичком придворной жизни. Она бывала в Берлине у короля Фридриха. Она видала роскошь Потсдама и красоту Шарлоттенбургских дворцов Она знала, что такое встречи. Там всегда бывала тяжелая, крепкая, серая и во всем своем великолепии как бы скромная и бедная роскошь. Здесь сказочные краски играли.

Золотая карета с хрустальными окнами, запряженная шестью прекрасными лошадьми, их ожидала. Эскадрон кирасир в черных плащах на рыжих лошадях выстраивался по одну сторону кареты. По другую вся опушка леса была заставлена парными и троечными санями. Гул голосов и позванивание колокольцев и бубенцов неслись оттуда.

Несколько вельмож, несмотря на мороз, в одних расшитых золотом кафтанах, направились навстречу к саням. И кто-то сказал, что это встречает их по повелению Императрицы — рижский вице-губернатор князь Долгорукий.

Крестьянские простые сани, в которых ехали Иоганна с Софией, остановились. Князь Долгорукий подошел к ним. Герцогиня и София, как были в простых шубах и безобразных шерстяных платках, вылезли из саней.

Князь Долгорукий на французском языке приветствовал герцогинь и предложил им садиться в карету.

Произошло некоторое замешательство и остановка. Девицы Каин и Шенк носили корзины и баулы, картонки и узлы с самыми необходимыми вещами. Трубачи кирасир трубили, застоявшиеся на морозе лошади фыркали и разравнивали ряды, князь Долгорукий что-то спрашивал у принцессы Иоганны, та невпопад отвечала ему София было мучительно стыдно, что так вышло. Мороз хватал ее за нос и щипал за уши, с которых она кое-как сбила платок, у нее сладко кружилась голова. Сопровождавшие князя люди рассаживались по саням. Наконец последняя картонка была внесена в золотую карету, князь пригласил герцогинь садиться. София прошла за матерью, девица Каин пролезла между вещами на переднее место Князь закрыл дверь с хрустальным окном.

Лошади рванули сани. Девица Каин упала на колени Софии, та откинулась к мягкой спинке и сейчас же прильнула к окну У самой кареты, то закрывая вид из окна, то отставая, скакал на рыжей лошади кирасир. София видела перед собою густую, зимнюю, бархатистую шерсть лошади в серебряном бисере инея. Черный тяжелый ботфорт с большою шпорой мотался перед окном, блистало стальное стремя. Комья снега часто летели от скачущих лошадей и звучно ударяли в бока кареты. Сзади колокольцы и бубенцы скачущих троек стоном заливались, гудели и ворковали. Сани вздрагивали на ухабах, полозья визжали, попадая на освободившуюся из-под снега полоску песка

Город с белобашенными стенами и красными колокольнями лютеранских церквей наплывал навстречу Вдруг белыми, широкими и точно радостными, приветливыми клубами порохового дыма стены окутались и сейчас же —

«бах... бах... бах...»— загремел, отдаваясь о стены кареты, дребезжа ее стеклами, встречный салют.

И уже никаких сомнений не было ни у принцессы Иоганны, ни у Софии, к о г о так встречают?.

На тесных улицах толпами стоял народ. Люди махали шапками и кричали. Улицы были гулки от перезвона церквей, пушечного грохота и криков толпы У Софии от быстрой езды, от салюта, от звона колоколов, от волнения встречи пересыхало во рту, сердце быстро и беспокойно билось и болела голова. Она брала у девицы Каин флакон с солью и нюхала его. Герцогиня Иоганна сидела прямая, молчаливая, торжествующая и гордая.

Сани резко остановились. Лакей, в белом парике и красном кафтане, расшитом золотым позументом, подбежал к дверце кареты и раскрыл ее. Перед Софией было высокое крыльцо с каменной лестницей, устланной красным ковром.

Сановный старик в парике и кафтане, генерал-аншеф Салтыков, медленно и важно спускался с лестницы навстречу

В высоких сенях было душное тепло, угарно и по-восточному пахло амброй и ладанным кореньем. У Софии от мороза горело лицо, она торопилась освободиться от неуклюжего шерстяного капора.

Два рослых измайловца, на посту у высокой белой двери, картинно «по-ефрейторски» откинули ружья «на караул», Салтыков открыл двери и, пропуская Софию вперед, сказал:

— Ваши покои, Ваша Светлость!

Комната, куда вошла София, была в ярком зимнем солнечном свете. Светло-голубые обои, окна, за которыми голубым казался воздух и в нем в серебряном кружеве инея ветви деревьев,— все было радостно, весело и приветливо. Трубные звуки и барабанный грохот остались позади, в комнате было тихо.

Высокая полная женщина в парадной «робе» с широкими фижмами, окруженная девушками, стояла посередине комнаты. У нее в руках — драгоценная соболья шуба, крытая голубовато-золотою парчою. Едва София переступила порог комнаты, женщина двинулась ей навстречу, подавая шубу, и по-французски сказала:

— Подарок Ее Императорского Величества Вашей Светлости.

София совсем растерялась. Девицы в пестрых робах, пышные юбки которых висели, как лепестки опрокинутых вверх стебельками роз, обступили Софию и все разом заговорили по-французски, по-немецки и по-русски. Они накинули шубу на плечи Софии и обдергивали на ней складки.

— Как Государыня верно угадала!.. В самый раз!.

— Какой прелестный мех. Ваша Светлость, правда, как оный вас нежит и греет!..

— Настоящий сибирский соболь...

— Такого соболя в неметчине не достанете...

— Ваша Светлость, пожалуйте оправиться и переодеться.

Капор сбился с головы Софии и висел за плечами. Лицо пылало от тепла после мороза, от смущения, от волнения Маленькие ноги в высоких котах ступали с трудом. От милых девиц сладко пахло духами и пудрой. Они усадили Софию в кресло и со смехом стаскивали с нее теплые калоши. Они стащили капор и снимали простенькую шубку герцогини Цербстской.

— Ваша Светлость, пожалуйте помыться.

На плечи Софии опять накинули наопашь соболью шубу София робко взглянула на зеркало. Какой, должно быть, ужас ее лицо и прическа!.. В зеркале отразилась будто совсем незнакомая девушка, с прелестным лицом, со счастьем горящими глазами, с завитками темных волос надо лбом, обрамленным темным, нежным, пушистым собольим мехом. Это лицо улыбалось кому-то несказанно милой улыбкой.

Птичьим весенним щебетом сыпались кругом русские, французские и немецкие слова быстрой болтовни словоохотливых барышень.

Так — сказочно богато, христиански ласково и по-русски гостеприимно — встретила в Риге Россия принцессу Софию-Фредерику.

VII

Принцессы Цербстские два дня отдыхали в Риге Двадцать девятого января в одиннадцать часов утра в особых санях, обшитых внутри соболями, с шелковыми матрацами,— в них можно было лежать и спать в дороге,— принцессы отбыли дальше... Тридцатого они проехали Дерпт, первого февраля поздним вечером въехали в Нарву. София помнила — плошки с салом, дымно и чадно горевшие вдоль тротуаров, гирлянды цветных фонарей, расцветивших фасады домов, и окна, освещенные стоявшими за стеклами свечами. В Нарве в императорских комнатах почтовой станции ночевали и, выехав второго февраля в полдень, ехали весь день и всю ночь, меняя лошадей, и рано утром третьего февраля, как то было указано в присланном им особом «церемониале», подъезжали к Санкт-Петербургу

С верков Адмиралтейской крепости палили пушки, на высоком подъезде Зимнего дворца их ожидали санкт-петербургский вице-губернатор князь Репнин, придворные, военные и гражданские чины

Императрица Елизавета Петровна находилась в Москве, куда и приглашала принцесс прибыть без всякого промедления.

Герцогиня Иоганна очень устала от путешествия, длившегося три недели, от утомительных встреч и решила остаться на один день в Петербурге. София совсем не устала. Окруженная приставленной к ней молодежью, она в тот же день ездила в открытых санях по городу и с волнением слушала рассказы очевидцев и участников о том, «как о н о е случилось».

По историческому пути, от Преображенских светлиц к Зимнему дворцу поехали шагом. Лошади звучно фыркали. Тихо шелестел снег, раздвигаемый полозьями.

Каждое слово, каждый описанный случай, подробность запоминались Софией навеки.

Так вот как оно было!.. Была холодная и, должно быть, жуткая ноябрьская ночь. Цесаревна решила в с е на себя взять. Иначе было нельзя. По городу уже об этом говорили. Цесаревну ожидали изгнание, насильственный постриг в монахини, быть может, смерть... Не было выхода... Она решилась...

— Вот здесь... Вот в эту самую избу она вошла. Мы все спали, но спали, как все эти дни, после ареста Бирона Минихом, чутким, тревожным сном Едва стукнула дверь, мы вскочили. Мы не сразу узнали в темноте нашу цесаревну.. Когда мы выбежали во двор, цесаревна стояла у парных саней. С нею был только Воронцов. Цесаревна села в сани и поехала, мы побежали за ней ..

Глаза Софии блестели . Вот она какая, ее тетя! . Истинно дочь того Петра Великого, который подковы гнул и был страшно высокого роста. . Сколько мужества и самообладания нужно было для этого иметь!.. Герои Корнеля, Расина, история римлян Корнелия Непота вспоминались ей. Цесаревна пошла, как Немезида, чтобы покарать виновных и спасти Россию...

— Мы вошли на это крыльцо. Цесаревну несли на руках... Часовые нас пропускали, они знали и любили цесаревну... Преображенский гренадер нес за нами высокий бронзовый канделябр о многих свечах, и наши тени бежали впереди нас. Было страшно тихо в ночном дворце.

— Было страшно?..

— Тогда мы ни о чем не думали. Нас несла какая-то сила. С нами была наша Елизавета Петровна, дочь Петра Великого!

Лейб-кампанец, он сам был участником всего этого, показывал Софии те залы, по которым они шли в ту ночь.

— Вот здесь была их спальня.. Тут стояла ее постель Цесаревна взяла ребенка — Императора Иоанна VI — на руки. Он тихо лежал у нее на руках и улыбался...

— Где он теперь?..

— Сие от всех скрывают... Оное есть тайна. Говорят... В Митаве.

— Нет, увезли в Раненбург,— перебила лейб-кампанца девушка.

Этот рассказ был первым впечатлением Софии в Петербурге. И каким сильным! Точно и сама она шла по глубокому снегу, и, когда не могла поспевать за гренадерами, ее подхватили на руки солдаты.

Но?.. Как легко!.. Как скоро и просто все это свершилось. Нужна была решимость, вера — и подвиг спасения родины был совершен.

VIII

Четвертого февраля утром выехали из Петербурга и помчались в бешеной скачке в Москву. Все показывало Софии, что это главный тракт, основная артерия Русского государства. Широкая дорога прекрасно была разделана. Она шла то дремучими, густыми лесами, то вырывалась в простор, в поля и тянулась красивою аллею высоких в инее берез. Села с большими, крытыми тесом избами, с маленькими, слюдяными и стеклянными окнами были часты, белые дымы вились из труб, сладко пахло навозом, скотиной и печеным хлебом. Прекрасны были каменные «станки», где их ожидали повара с «фрыштыками», обедами и «вечерним кушаньем» На станциях комнаты были жарко натоплены, угарно дымком пахло, перины на кожаных диванах высоко были взбиты, и такая тишина, такая истомная нега охватывала на этих ночлегах Софию, что чувствовала себя она разнеженной и размягченной.

В четверг девятого февраля, в восьмом часу вечера после долгой скачки по кривым и тесным улицам скудно освещенной Москвы они подъехали к загородному Головинскому дворцу

Все окна высокого двухэтажного дома были освещены Лакеи с горящими факелами выбежали на крыльцо. Обергофмаршал фон Брюммер и доктор Лесток в ярко освещенных многими свечами сенях ожидали герцогинь.

София была поражена обилием слуг, помогавших, а более того мешавших ей раздеваться. Их повели наверх, в приготовленные им покои

София только что подошла к зеркалу и взялась за поданные ей щипцы, чтобы привести в порядок совершенно растрепанные волосы, как высокая дверь, без всякого предупреждения, настежь раскрылась и в комнату вбежал Великий Князь.

То, о чем все догадывались, более того — все знали, все-таки было тайной. Великий Князь Петр Федорович и принцесса София-Фредерика не были объявлены женихом и невестой Петру Федоровичу было шестнадцать лет, Софии — пятнадцать. Пять лет они не видели друг друга, да и тогда, когда они первый раз встретились, они не сказали ни слова, но точно за эти последние годы невидимо для них произошло нечто, что сблизило их. Великий Князь не шагал, как тогда, медленно и по-солдатски прямо, но был порывист, оживлен и развязан Он вырос, но был так же худощав и бледен.

Комната наполнялась людьми Великий Князь показал Софии на высокого человека в пудреном парике, лет сорока и сказал

— Принц Людвиг-Иоганн-Вильгельм Гессен-Гомбургский,— и радостно рассмеялся, точно радуясь длинному имени принца, которого он представлял принцессам.

Принц подошел к руке принцессы Иоганны, потом поцеловал руку Софии Девица Шенк второй раз демонстративно пронесла гору нежных, пестрых материй на камышовых каркасах фижм. От платьев веяло духами. Великий Князь не хотел заметить, что принцессам надо было переодеться с дороги Загадочными, прикрытыми веками и точно сонными глазами он бесцеремонно разглядывал принцессу Софию и, не умолкая, говорил по-немецки

— Мы давно ждали вас, княгиня Как долго тянулось время Я хотел скакать вам навстречу, но тетя не пустила меня

— Скакать в такой мороз,— сказала герцогиня Иоганна

Она сделала движение, чтобы задержать девицу Шенк, в третий раз показавшуюся в дверях с платьями.

— Не переодевайтесь, это только нас задержит Тетя ожидает вас с таким же нетерпением, как и я Ей уже доложили о вашем приезде

В открытой в коридор двери появился рослый скороход в кафтане брусничного цвета, расшитого позументом, и торжественно объявил

— Ваша Светлость Ее Императорское Величество изволят ожидать вас с ее Светлостью вашею дочерью

Герцогиня Иоганна сделала гримасу отчаяния, показывая на свое скромное платье В дорожных темных «адриенах» со смятыми фижмами герцогини Цербстские, предшествуемые скороходом и сопровождаемые Великим Князем, герцогом Гессен-Гомбургским и какими-то придворными дамами, пошли к покоям Государыни

В комнату Государыни вошли только принцессы Цербстские

Елизавета Петровна сидела в небольшой антикамере подле своей опочивальни. Она была одна. Золоченая мебель, крытая зеленым шелком с золотыми «травами», стояла вокруг овального стола, заставленного драгоценными миниатюрами, коробками для мушек и пудры и табакерками. Большая люстра и два высоких канделябра по-праздничному ярко освещали комнату От множества свечей в ней было душно. Императрица поднялась с дивана и пошла навстречу гостям. Герцогиня Иоганна склонилась в глубочайшем придворном реверансе, поцеловала протянутую ей руку и, чуть запинаясь, стала говорить приготовленную ею по-французски речь.

— Ваше Величество! Я приехала повергнуть к стопам Вашего Величества чувство живейшей признательности за благодеяния, которые вы изливаете на мою семью и новые знаки которых сопровождали каждый шаг, сделанный мною во владениях Вашего Величества. У меня нет других заслуг, кроме того, что я так живо чувствую эти благодеяния, чтобы осмелиться просить вашего покровительства себе, остальному моему семейству и той из моих дочерей, которой Ваше Величество удостоили дозволить сопровождать меня в поездке к вашему двору

Герцогиня торопилась все сказать. Она боялась, что Императрица прервет ее на полуслове, но Елизавета Петровна, привыкшая к церемониалу, терпеливо слушала ее, не спуская с круглого приветливого своего лица милой и благостной усмешки, немного будто и смущенной, от которой прелестными казались ямочки подле крошечных пухлых губ

Как только герцогиня кончила, ямочки улыбки сбежали со щек Государыни и стало серьезным ее лицо На чистом французском языке, приятно грассируя, Императрица сказала.

— Все, что я сделала,— ничто в сравнении с тем, что я желала бы сделать для своей семьи. Моя кровь мне не дороже, чем ваша. Намерения мои всегда останутся теми же, и моя дружба должна цениться по моим действиям в пользу вас всех.

Государыня подошла к Софии, обняла ее и крепко расцеловала в обе щеки.

Официальная часть приема была кончена. Императрица пригласила пройти в ее опочивальню.

Широкая постель была скрыта под высоким шелковым пологом. У окон, затянутых занавесями, стояли бронзовые вазоны с гиацинтами и ландышами, выгнанными в оранжереях. Свежий и точно прохладный запах цветов смешивался с запахом амбры и ладанного куренья. В углу комнаты на столе, накрытом скатертью, был приготовлен чайный прибор и стояли золотые блюдца с печеньем и вазочки с вареньем

Государыня внимательно вглядывалась в герцогиню Иоганну

— Боже мой,— взволнованно сказала она.— Как вы, княгиня, напоминаете мне вашего покойного брата, моего жениха.

Синие глаза затуманились слезами Императрица прижала к ним платок и отошла в угол комнаты, где у образов теплились лампадки. Она сейчас же справилась с собою

— Сядемте,— сказала она, поворачиваясь к гостям. Села сама и стала разливать по чашкам чай из большого тяжелого серебряного чайника с чеканным двуглавым петровским орлом. .— Мне надо поговорить с вами Я хочу познакомиться с вашею милою дочерью, которую я уже заочно успела полюбить

IX

После этих сказочных, колдовских, как девичьи сны, дней приезда для Софии настали скучные будни Она снова обратилась в прилежную ученицу, взялась за перья, брульоны, тетради, учебники и книги

Раннее утро В окно учебной комнаты Софии глядится Москва под снегом. Сады окутаны серебряной дымкой инея Все бело кругом, и утреннее небо совсем белое В открытую форточку клубами врывается морозный воздух. Медная дверка у жарко растопленной кафельной печи звенит и гудит София подходит к окну и закрывает форточку Как холодно на улице! Она ежится под накинутою на плечи дорогою персидскою шалью и садится за стол

Первый утренний урок русского языка — Ададурова

Русский алфавит София, знавшая при своем немецком еще и латинский, осилила легко, но как было трудно учиться складам и ударениям слов Как казалось дико, что — есть, како, аз, твердо, есть, рцы, иже, ныне, аз, такое длинное и нелепое слово означало — Екатерина!

София училась прилежно и требовала от русской прислуги, чтобы та говорила с нею по русски

Ададурова сменял архимандрит Симон Тодорский

Во всем радостном, волнующем вихре путешествия и ожидания своего нового положения было одно темное пятно — необходимость, в случае если то, для чего они ехали, осуществится,— принять православие Мать, принцесса Иоганна, смотрела на это спокойно С эгоизмом матери, нашедшей выгодного жениха для дочери, она рассуждала просто что нужно, то — нужно. В общем она мало видела разницы между религиями «Не в этом счастье»,— думала она Но София знала, как болезненно принимал этот вопрос

ее отец. Когда он прощался с Софией, он заклинал ее хранить свято заветы лютеранской веры и написал ей по-немецки длинное наставление о том, как должна вести себя София, если ей все-таки придется принять православие.

Из Штеттина, Брауншвейга и Берлина — от лютеранских пасторов, каноников и епископов — София вынесла некоторое пренебрежение к православию. Православные священники казались ей необразованными и грубыми, и самая вера — темной и дикой. Она с трепетом ожидала первого урока закона Божия. На каком языке ей будут преподавать его?.. Как объяснят ей все тонкости обряда, всю запутанную сложность православного богослужения?..

Когда в классную комнату вошел монах в длинной черной рясе с золотым крестом на груди, София смотрела на него со страхом. Она поклонилась и жестом предложила сесть.

На чистом немецком языке, какому позавидовал бы сам пастор Рэллиг, на каком говорят профессора и академики, спокойно и просто монах начал объяснять Софии смысл, силу и преемственность от апостолов православной веры Первый урок прошел незаметно в простой и тихой беседе Монах показал глубокое знание самой философии лютеранства Когда урок был окончен, София робко спросила монаха, где изучал ее учитель немецкий язык и лютеранскую веру?

— По окончании Московской духовной академии,— с приятной скромностью ответил Тодорский,— я, не принимая еще пострижения, отправился за границу и в городе Галле четыре года слушал лекции в университете. В эти годы у знаменитого математика Христиана Вольфа — быть может, и Ваша Светлость о нем слыхали — я научился историко-критическому взгляду на богословие.

Эти уроки стали для Софии истинным наслаждением. Симеон Тодорский «прилежал к лютеранскому исповеданию», он умело доказал, что в православии нет той ереси, которой так боялся отец Софии. Вера в Бога и его три ипостаси та же самая, и разница только в обрядах.

С чувством большого облегчения София написала обо всем этом отцу

Постепенно, быть может, несколько холодно, разумом больше, чем сердцем, София приобщалась к православию

В эти первые месяцы своего пребывания в Москве София опасно заболела. Длинные тяжелые дни и ночи кошмаров, бреда сменялись проблесками сознания, когда София лежала, оборотясь лицом к стене, и с трогательным вниманием, сама не зная чему, умилялась, рассматривая обои

своей спальни. В эти дни мысль работала особенно утонченно. София вскрывала то, чего раньше не понимала. Она с радостным чувством успокоения убеждалась в том, как сильно полюбила ее тетя, не отходившая от ее постели, ее до горькой обиды огорчало отношение к ней матери, и постепенно точно прозревала она, угадывая, что для всех этих людей, которые окружали ее в эти дни, она была не просто больная, страдающая девочка, но объект сложной политической игры. Из намеков придворных, из озлобленных слов матери София узнала, что в дни опасности для жизни были люди, которые ждали ее смерти с радостным удовлетворением, что Бестужев в эти дни готовил Петру Федоровичу в невесты саксонскую принцессу Марию-Анну. Она узнавала в эти дни, что она — девочка София — это только имя, что за нею борются две партии: англо-саксонская — Бестужева и франко-прусская — Мардефельда, Лестока и Брюммера. Жизнь показывала свое новое лицо, и на нем была отвратительная гримаса политики. Она понимала в эти дни, как хрупки ее жизнь и ее счастье, для которого она приехала в Россию.

В эти дни выздоровления тихие беседы, откровенные признания Тодорскому стали для Софии истинной отрадой.

С совершенно особым чувством София, полулежа в кресле у открытого в сад окна, прислушивалась к звону множества колоколов Москвы, и, когда вдруг по залам Головинского дворца раздалось ликующее пение «Христос Воскресе» и крестный ход прошел по залам дворца мимо комнаты Софии, точно новое, никогда еще ею не испытанное чувство охватило ее. В эти часы она поняла, что в православии есть нечто светлое, примиренное, такое, где самая смерть побеждена, чего нет ни в какой другой религии.

В ней начался душевный перелом, но окончательно завершился он лишь летом, когда она с Елизаветой Петровной совершила паломничество в Троице-Сергиеву лавру.

X

Государыня Елизавета Петровна при вступлении на престол дала обет — всякий раз, как она будет в Москве, пешком посещать Троице-Сергиеву обитель.

Первого июня, прохладным, светлым вечером, Императрица в сопровождении Великого Князя и небольшой свиты «выступила в поход». София из-за болезни оставалась в Москве — ее должны были на лошадях доставить к окончанию похода.

Каждый день от Императрицы приезжали конные гонцы, и София знала все подробности шествия.

Второго июня Государыня ночевала в Больших Мытищах, где были поставлены для этого шатры. Третьего июня Государыня обедала в селе Брестовщине и ночью вернулась лошадьми в Москву, в Анненгофский дворец, где ночевала. Рано утром, четвертого, Государыня поехала в экипаже на то самое место, до которого она дошла пешком накануне, и продолжала путь до Кащева, где ночевала в шатрах. Через Рахманово, Воздвиженское, Рязанцево Государыня дошла до Клементьевой слободы и отсюда прислала офицера лейб-гвардии с приглашением принцессам Цербстским прибыть в экипаже в Клементьевское.

Принцесса Иоганна без большой охоты — ей было жаль расстаться с карточным столом и политическими сплетнями и пересудами,— София в восторженном, приподнятом настроении на рассвете выехали из Москвы. В Клементьевской слободе им была приготовлена изба, где они должны были переодеться и завтракать.

Прекрасный, тихий июньский вечер незаметно надвигался. Скороход пришел пригласить принцесс занять место в шествии, которое должно было сейчас начаться.

Широкая дорога-аллея между четырьмя рядами старых громадных берез была заполнена празднично одетым народом. Конные драгуны прочищали путь через толпу.

— Пади!.. Пади!.. Посторонись! — раздавалось впереди.

Передние раздвигались, но сейчас же толпа смыкалась и вплотную подступала к медленно шедшей, опиравшейся на посох Государыне. Женщины подносили ей маленьких детей, старухи нищие протягивали костлявые черные руки. Государыня брала деньги из мешка, который несли за нею, и наделяла убогих. Мужики становились на колени и кланялись в землю. Вдруг вспыхнет многоголосое «ура», прогремит весенним громом, понесется по полям и стихнет так же неожиданно, как и началось. И снова слышен плач, и крики детей, и бормотание множества голосов.

— Матушка Царица, дай ребенку поглядеть в твои глазоньки.

— Матушка Государыня, не оставь милостынькой Христа ради убогонькой.

— Пожертвуй, матушка, на построение храма погоревшего.

Вдруг заглушат это бормотание грозные крики впереди шествия:

— Пади!.. Пади!.. Посторонись, православные!..

София шла за Государыней. Она была потрясена до глубины души. Она видела то, чего никогда и нигде еще не

видела, она чувствовала прикосновение народа, она душевно сливалась с ним и начинала смутно понимать страшную силу народных масс.

Впереди были невысокие холмы, и на них белые каменные зубчатые стены и множество золотых куполов

Драгуны отогнали народ. Перед лаврой стояли войска. Богато одетые лейб-кампанцы взяли «на караул», дробно ударили барабаны, трубы затрубили, и в ответ им заколыхались на небе, понеслись в бесконечность плавные торжественные перезвоны колоколов.

В высоких монастырских воротах черным полукругом стояли монахи. Они держали в руках зажженные свечи, и так был тих вечер, что пламя свечей не колыхалось. С «Красной горы» бабахнули пушки, и белый пороховой дым поплыл, расстилаясь над полями. Громкое «ура» ответило пушечному грому

В лиловой, расшитой золотом длинной мантии, высокий тощий архимандрит Арсений Могилянский с крестом в руке вышел из сонма монахов и подошел к Государыне. Та преклонила колени, поцеловала крест и руку благословлявшего ее монаха. Могилянский стал говорить короткую «предику» Когда он кончил, монахи повернули к воротам, стройно и торжественно запели и медленно стали входить в ограду За ними пошла Императрица и богомольцы.

В соборе чинно и строго, монастырским уставом, служили всенощную. Когда пели «Хвалите», голоса монахов трепетали в ликующих переливах, отражались от пола и радостно звучало единственно понятое Софией — «аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа...».

Все уроки Тодорского в эти долгие часы всенощной точно принимали ясность и твердость, и София чувствовала, как лютеранство отпадало от нее и в душу ее торжественно и медленно входило это радостное и светлое православие с его ликующим «аллилуиа»...

Угрызения совести из-за перемены веры отцов уходили от Софии и сменялись радостью приобщиться к этой новой вере, вере ее будущего народа.

Вернувшись в Москву, София сказала Симону Тодорскому, что она совершенно готова воспринять православие.

XI

В Москве София постилась и проводила время в своих покоях в беседах с Тодорским. На двадцать восьмое июня было назначено торжественное «принятие исповедания пра-

вославного греческого закона», на двадцать девятое, на день Петра и Павла,— обручение.

Ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое София, утомленная молитвами и постом, спала как убитая. Душа ее отдыхала от пережитых волнений и готовилась к новым, еще большим.

В среду, двадцать восьмого июня, к десяти часам в дворцовую церковь собрался в полном составе святейший Синод, в зале подле церкви поместились менаторы, первые чины двора, сановники и генералы Офицеры лейб-кампании несли дежурство. Государыня проследовала в церковь раньше Софии. Она была в тяжелой, с громадными фижмами, усеянной многочисленными драгоценными камнями «робе» Когда она заняла свое место, Софии было предложено следовать в церковь.

Одна, очаровательная в смущении, юная и прелестная, она с опущенными глазами проходила толпы сановников и подошла к ожидавшему ее на амвоне в полном облачении Новгородскому архиепископу Амвросию Юшкевичу

Опираясь на посох, внимательно и остро глядя ободряющими глазами на Софию, Юшкевич сказал не громким, но четко слышным в наступившей тишине голосом:

— Да благословит тебя, чадо Екатерина, Господь Бог.

Архиепископ сказал короткое слово. София слушала с полным благоговением и ожидала того страшного, как ей казалось, момента, когда ей перед Богом и церковью, перед тетей и всем народом, ее окружавшим, придется громко исповедовать веру Она чувствовала, как с каждым словом Юшкевича какие-то силы вливались в ее душу Она приподняла глаза От Царских врат Спаситель смотрел на нее с образа, и впервые она почувствовала силу иконы. Она посмотрела на образ, еще и еще, и вдруг ощутила, что настало время ей говорить. Неожиданно для самой себя громко, смело и уверенно она произнесла:

— Верую...

Как сквозь какую-то пленку, сосредоточенная в том, что ей надо сказать, София слышала, как с облегчением вздохнула Государыня и как, чуть шелестя платьями и шаркая ногами, придвинулись ближе к ней придворные.

Страх прошел. Ясно, твердо, без малейшей запинки, без всякого акцента она продолжала:

— Во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым...

Ее голос звенел в тишине небольшой дворцовой церкви.

— И в Духа Святаго Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки...

Дух святой помогал ей. Как трудно давалось ей это — «сславима»!.. Ни разу не могла она произнести его правильно, сейчас произнесла не споткнувшись.

На все вопросы архиепископа она отвечала твердо и уверенно. Она помнила уроки детства и не боялась «развалить челюсти», к каждому ответу добавляла «владыко».

— Да, владыко!..

— Да... Нет, владыко!..

Когда София окончила и отошла в сторону, Государыня горячо обняла ее и всхлипнула, оросив горячими слезами лицо Софии. Разумовский подле Государыни вытирал глаза платком. Какой-то старый генерал качал головою и плакал...

Началась литургия. Диакон рокочущим басом, поднимая руку с орарем, возглашал:

— И о благоверной Великой Княжне Екатерине Алексеевне Господу помолимся.

София истово крестилась. Она еще не понимала, не сознавала, что это и есть она, София, отныне княжна Екатерина Алексеевна... Завтра нареченная невеста Великого Князя Петра Федоровича, которого поминали сейчас же после Государыни.

И точно лаврские колокола звенели в ее сердце, точно трепетало под куполами трепещущее переливами «аллилуиа», что поразило ее в монастырском соборе, точно отдавался грохот пушечной пальбы и точно слышала она народные клики. Она стояла теперь с высоко поднятой головой, сосредоточенная, внимательная, не все еще понимающая, но чувствующая важность и красоту службы.

Все ею любовались...

В «Санкт-Петербургских ведомостях» так описывали ее в эти часы: «...*невозможно описать, коликое с благочинием* соединенное усердие сия достойнейшая принцесса при помянутом торжественном действии оказывала, так что Ее Императорское Величество сама и большая часть бывших при этом знатных особ от радости не могли слез удержать...»

XII

Жизнь перевернула страницу. Уроки Симона Тодорского и Ададурова продолжались по утрам, но приняли иной характер. Учителя стали как бы помощниками и советниками российской Великой Княжны.

Пятнадцатого июля, в день празднования мира со Швецией, после церковной службы, Бестужев-Рюмин пригласил Великую Княжну в большой дворцовый зал. Там их ожидали

несколько молодых людей и барышень в парадных кафтанах и богатых, нарядных «робах». Они встретили Екатерину Алексеевну низкими поклонами и глубокими реверансами.

— Ее Императорскому Величеству,— торжественно сказал Бестужев, подводя Екатерину Алексеевну к придворным,— благоугодно было назначить состоять при Вашем Императорском Высочестве — камергеру Нарышкину.

Нарышкин низко поклонился Великой Княжне и поцеловал ее руку

— Графу Андрею Симоновичу Гендрикову... Графу Ефимовскому Камер-юнкеру графу Захару Чернышеву, камер-юнкеру графу Петру Бестужеву-Рюмину, камер-юнкеру князю Александру Голицыну .

Бестужев повернулся к дамам.

— Гофмейстериной при Вашем Императорском Высочестве повелено быть графине Румянцевой и камер-фрейлинам княжнам Голицыным и девице Кошелевой.

Представление двора Великой Княжне было окончено. Екатерина Алексеевна растерянно стояла среди окружившей ее русской молодежи. Что ей делать с этими людьми?.. Всю жизнь при ней была одна девица Шенк. Екатерина Алексеевна была с детства приучена делать все сама. Русский двор ее окружил, и Великая Княжна поняла желание Государыни, как можно скорее сделать ее совсем русскою. Гофмейстерина графиня Румянцева сказала, что при Ее Высочестве всегда будет находиться «дежурство» и что все, что Великая Княжна прикажет, будет исполнено.

Что же приказывать? До сих пор Екатерина Алексеевна только повиновалась — сначала матери, потом тете, учителям и воспитателям. Она сказал, что подумает, и распустила свой двор.

В этот вечер она писала отцу длинное восторженное письмо. Она описывала, какой у нее теперь двор, гораздо больший, чем у ее матери, как ее все балуют, и окончила свое письмо привычной подписью: «Остаюсь во всю жизнь с глубочайшим почтением, вашей светлости всенижайшая и всепокорнейшая дочь и слуга София А.Ф. принцесса Ангальт-Цербстская»...

Принцесса Иоганна, которой Екатерина Алексеевна показала свое письмо, пришла в негодование.

— Ну вот!.. И когда ты научишься!.. Ну, какая ты теперь София?.. Ты должна подписывать: «Екатерина С. А. Ф. Великая Княжна...» У тебя уже свой двор есть. А ты!.. Все пересаливаешь... Как и твой отец слишком уж стал почтителен к тебе... Он тебя иначе как «Ваше Императорское Высочество» и не именует. Точно ты для него перестала быть прежней девочкой Фике!..

Лицо принцессы Иоганны раскраснелось, непривычные злые искры горели в ее глазах.

«Что это? — подумала София.— Неужели зависть?.. Ревность?.. Мама меня ревнует?.. Завидует мне?.. Как это все странно!..»

Но двор Екатерине Алексеевне пригодился. Какое удивительное лето стояло в Москве, какие были долгие дни, и точно не хотело солнце расставаться с землею, все млело по небу алым закатом, волновало загадочными пестрыми облаками, висевшими над дворцовыми садами! Государыня уехала, уроки прекратились, и полная праздность была вокруг Екатерины Алексеевны, эта праздность была бы утомительна и скучна, если бы двор не придумывал непрерывные забавы. То играли в жмурки по залам опустевшего дворца, то выйдут на садовую лужайку, принесут серсо и станут швыряться плавно и красиво летящими тонкими кольцами или станут по краям, возле кустов, и начнется бесконечная игра в мяч, где каждый показывает гибкость и легкость движений, меткость глаза и проворство рук. А когда вдруг набегут, неся прохладу, тучи и пахнет летним дождем, все общество убежит в залы, раздвинут ломберные столы, Нарышкин с треском распечатает колоду карт и начнется бесконечная игра в берлан, а иногда и в фараон. Играли на деньги, и, к ужасу Екатерины Алексеевны, у нее появились карточные долги своим придворным.

Иногда вечером сидят в маленьком зале, свечей не зажигают, в комнате от садовых кустов стоят зеленые сумерки, младшая княжна Голицына сядет за клавикорды, и прообраз русского романса — песня на ломоносовские слова — зазвучит по залу Поет бархатистым баритоном «Большой Петр» — Бестужев.

Сокрылись те часы, как ты меня искала,
И вся моя тобой утеха отнята:
Я вижу, что ты мне не верна ныне стала,
Против меня совсем ты стала уж не та...

Кто-нибудь из фрейлин, девица Кошелева чаще всего, вздохнет тяжело. Струны звенят, льется тихая, полная грусти мелодия, Большой Петр продолжает со страстью и упреком:

Мой стон и грусти люты
Вообрази себе
И вспомни те минуты,
Как был я мил тебе...

Вдруг распахнутся на обе половинки двери, и шумный, крикливый ворвется в залу Великий Князь со своими лаке-

ями, собаками и начнет нестерпимо хвастать. Великий Князь не красив, но сколько в нем породы! У него маленькая голова и узкие плечи, и говорят, что выражением глаз он напоминает царевича Алексея, который был... казнен Петром Великим. Он все еще ребенок, Великая Княжна, напротив, не по годам становится серьезной.

Музыка и пение кончены, меланхоличное, мечтательное настроение сорвано, Великий Князь бегает, крутится по залу, щелкает бичом, гоняет собак, те неистово лают, наконец он садится с размаху в кресло и самодовольно оглядывает Великую Княжну и ее двор. Он начинает рассказывать, говорит по-русски, с сильным акцентом, но Великая Княжна его понимает лучше, чем своих фрейлин и камер-юнкеров.

— Здесь на Москве — ошень спокойно. Ганц штиль. У нас в Голштинии бывали большие опасности. Однажды, я ошень карашо сие помню, подле самого Киля бродили цыгане. Они нападали на граждан и похищали детей. Мой отец послал отряд гвардии, чтобы ловить их. И меня назначили им командовать. Это било ошень опасно. Цыган ошень даже много, у меня ошень маленький отряд. Но знаете — прекрасные голштинские солдаты! Таких нигде нет... Мы шли лесами, переплывали реки и наконец окружили цыган. Они нас увидали... Ужасный огонь из мушкетов... Паф... паф... Трр... Мы стреляем, они стреляют Я обнажил шпагу и бросился на них. Тогда они стали на колени и стали умолять о пощаде. Я им дал пардон и повел к отцу в Киль.

— Ваше Высочество,— тихо говорит Екатерина Алексеевна,— когда же это было?

— Это было... это было... ошень, однако, давно.

— Ваш отец скончался... За сколько же лет до своей смерти он посылал вас в такую опасную экспедицию?..

— Н-ну, года за три... Vielleicht[1], за четыре... Я точно не помню.

— Знаете!.. Каким же молодым вы стали совершать такие подвиги... Вам было тогда — шесть... семь лет... Когда ваш отец умер и вы остались под опекою моего дяди, наследного принца шведского, вам было одиннадцать лет. Как же мог ваш отец послать вас, единственного своего сына, слабого здоровьем, шестилетнего ребенка воевать с разбойниками?

Великий Князь покраснел и надулся.

— Ваше Высочество,— высокомерно говорит он,— вы хотите сказать, что я лжец!.. Вы хотите уронить меня во мнении света!.. Благодарю вас за ваше обличение!

[1] Может быть *(нем.)*.

— Ваше Высочество, это не я, но календарь вас изобличает.

Великий Князь свистнул собак и вышел из залы.

Долгое неловкое молчание стояло в ней. Тихо играла менуэт младшая Голицына.

XIII

В середине июля Императрица Елизавета Петровна предприняла поездку в Киев на поклонение пещерным угодникам Печерского монастыря. Дочь Петра Великого, осиянная при самом рождении своем блеском и славою Полтавской победы, первый раз ехала в Малороссию, где Разумовский готовил ей восторженную встречу. Отъезжая, Государыня повелела, чтобы двадцать шестого июля отдельным поездом многочисленных подвод, карет, рыдванов и экипажей Великий Князь, Екатерина Алексеевна и принцесса Иоганна поехали нагонять ее.

Была макушка лета. На нивах кончали уборку, сено было сметано в стога, стояла ровная, в меру жаркая погода, когда на двухстах подводах тронулся поезд Великого Князя.

Это было в полном смысле слова — кочевье. С ночлега выступили поздно, после сытного завтрака. Надо было отправить вперед подводы с шатрами, поварами, провизией и всем необходимым для ночи.

Из Москвы выехали по чинам. В передней карете принцесса Иоганна, Великая Княжна, графиня Румянцева и статс-дама герцогини старая немка. Во второй карете Великий Князь, гофмаршал Брюммер, Берхгольц и Деккен, за ними в длинном рыдване везли матрацы и подушки, а дальше в открытых возках ехала молодежь, камер-юнкера и фрейлины.

Такой порядок продолжался два дня. Он показался скучным молодежи. Со смехом и шутками на третьем дне пути, несмотря на протесты принцессы Иоганны, молодежь опростала длинный рыдван, установила в нем скамейки, разложила подушки, и Великий Князь, Екатерина Алексеевна, Александр Михайлович Голицын, граф Захар Григорьевич Чернышев, Большой Петр, две княжны Голицыны и девица Кошелева набились в него. Было тесно и весело.

Смех, шутки, пение не прекращались всю дорогу. Рыдван то медленно тащился шагом по песку, спускаясь к броду или на паром, то катил рысью по ровной, хорошо убитой дороге. Пыль клубилась за ним. Тарахтели колеса, шлепали копыта некованых лошадей, и в тон этому шуму, под этот

своеобразный аккомпанемент, во все горло орал песни Большой Петр:

В роще девки гуляли
И весну прославляли.
Девку горесть морила,
Девка тут говорила:
— Я лишалася друга,
Вянь трава чиста луга...

«Тпрунды, тпрунды, тпрунды» — тарахтели колеса, «та-па-па, та-па-па» — топтали лошади. Большой Петр размахивал рукой, отбивая такт

— И не весна ныне, а лето, нечего врать-то,— сказал Чернышев.

— Э, Захар Григорьевич, ну к чему ученые замечания...

Когда нагнали поезд Императрицы, стало еще веселее. Подводы на целые версты растягивались. На ночлегах стояли длинные коновязи с сотнями лошадей от повозок и от вершников, сопровождавших поезд. За вечерним кушаньем, ночью, при свете костров, деревенские парни и девки водили хороводы и плясали «метелицу», играла роговая музыка, и горластые песельники пели песни.

В этот августовский день на ночлег приехали позднею ночью. Последние версты ехали в полном мраке, окруженные верховыми с факелами. От пламени факелов ночь казалась черной.

После вечернего кушанья, при свете костров, Екатерина Алексеевна, в сопровождении камер-юнкера Чернышева, прошла к своей палатке. Была глубокая ночь, легкий ветер поддувал с юга. Когда относило запах дыма, коновязей, кухонь, ощущала Екатерина Алексеевна в этом ветре какой-то совсем особенный, никогда ею раньше не слыханный терпкий и вместе с тем несказанно нежный запах. Он не шел от чего-то, но им был наполнен самый воздух, как — знала Екатерина Алексеевна — бывает напоен запахами соли и водорослей воздух моря. То же было и тут, только запах был другой. Точно растворилась в нем ладанная амбра, к ней примешался запах вина и пьянил этот воздух, как лучшая брага. И когда стихали шумы становища, Екатерина Алексеевна слышала некий шорох, точно шуршание множества сухих трав, точно тихий шелест волн засыпающего моря.

— Что это? — спросила она Чернышева.

— Это — степь.

— Степь...— Екатерина Алексеевна не знала этого слова.— А что такое степь?..

Но Чернышев не мог ей объяснить.

Странно завороженная этим воздухом и тихим шелестом, Екатерина Алексеевна попрощалась с Чернышевым и вошла в палатку.

Эту ночь она не спала. Все сильнее ощущала она странный запах. Он кружил ей голову, навевал сонные думы и вместе с тем гнал сон. Она все прислушивалась, точно ждала, что степь скажет ей нечто, откроет свою тайну. Постепенно лагерь затихал. Прекратились голоса в столовой палатке, где лакеи убирали посуду. Долго на краю бивака теленок жалобно мычал, потом и он затих. По ту сторону шляха, где был мужской стан, возились и лаяли собаки Великого Князя, и Брюммер окликал их. Еще слышно было, как жевали сено и вздыхали лошади на коновязях, как они укладывались. Наконец все затихло. Тогда шепот степи стал яснее и таинственнее. То раздастся там тихий посвист, то писк, точно пробежит там кто-то маленький и невидимый. Екатерина Алексеевна закрыла глаза и, как ей казалось, сейчас же их и открыла.

Потолок палатки посветлел, утренним холодом тянуло снизу. Герцогиня Иоганна и гофмейстерина Нарышкина крепко спали предутренним сном, закутавшись по брови в пуховые одеяла. Екатерина Алексеевна неслышно встала, накинула соболью шубу, обула туфли и вышла на волю.

Морем расстилалась перед нею бескрайняя равнина, покрытая густыми, желтыми, сухими, переплетавшимися между собой травами. Они шуршали чуть слышно, колеблемые утренним ветром. Над ними мягкой дымкой белесый туман колебался. Нигде не было видно человеческого жилья, нигде не было ни дерева, ни куста. Все было ровно, бескрайно и бесконечно, как море, и как море имеет свой запах, так и от этих просторов шел сладкий, кружащий голову аромат. Точно подошла Екатерина Алексеевна к краю земли и манило ее узнать, что за этими просторами, как их преодолеть, долго ли по ним ехать?..

Большой атлас в штеттинской библиотеке ей вспомнился и карты на бухлой шероховатой бумаге. Там было на этом месте написано: «татары»... Еще вспомнила песни тех русских пленных... Точно стали те сильные и грустные песни ей вдруг понятными.

Туман золотился. Шире раздвигались дали. Солнце всходило. Вдруг тут, совсем близко, там вдали, в небе, на земле запели жаворонки. Туман, гонимый теплым утренним ветром, разрывался и таял на глазах Екатерины Алексеевны.

Громче и дружнее пели жаворонки, им стали отвечать из травяной гущизны перепела. Серебряным зигзагом, над самым солнцем, белыми крылами чибис прочеркнул и скрылся в золотом блеске восхода. Черный степной орел высоко над головою Екатерины Алексеевны застыл в синеве небесной.

— Степь,— прошептала пораженная и восхищенная Великая Княжна.— Вот она — степь!.. Вот она какая Россия!!

Она вытянула маленькую руку с длинными и тонкими пальцами и сжала в кулачок. Сжала, потом разжала. Вот так взять, захватить весь этот простор, овладеть всеми теми, кто здесь живет... Кто?.. Татары?..

Екатерина Алексеевна медленно вошла в палатку, и в тот же миг, где-то сзади, где стояла лейб-кампания биваком, барабанщик и горнист забили и заиграли утреннюю тапту.

Громадный стан просыпался для нового походного дня.

Кто же живет в этой степи? — подумала Екатерина Алексеевна, зябко кутаясь на матраце в теплое пуховое одеяло.

XIV

У Есмани малороссийские казаки были собраны в лагерь. При приближении поезда Государыни они построились бесконечным фронтом полков, каждый по тысяче человек.

Императрица приказала остановить экипаж, вышла из него и пригласила Великого Князя и Великую Княжну следовать к строю пешком.

День к вечеру склонялся, дневной жар стал мягче. На погорелой, пыльной, вытоптанной конскими ногами степи до самых хат Есмани, ее скирд и садов тянулся ровный строй казаков.

Белой молнией над черными мерлушковыми шапками блеснули выхваченные из ножен сабли. Трубы торжественно и протяжно затрубили.

Генеральный обозный Яков Лизогуб в алом, золотом расшитом кафтане, в высокой черной смушковой шапке с длинным шлыком, на широкогрудом, темно-сером турецком жеребце полным карьером подскакал к Императрице и, круто осадив жеребца, отрапортовал:

— Ваше Императорское Величество... Десять полков реестровых казаков, два полка кампанейских и отряд надворной гетманской хоругви, генеральные старшины и бунчуковые товарищи имеют высокое счастие встретить матушку Государыню на рубеже Украины.

Екатерина Алексеевна стояла позади Государыни и оглядывалась с восторженным изумлением. Подлинная арабская

сказка была перед нею. На каком волшебном корабле, на каком ковре-самолете прилетела она сюда? Что за роскошь, что за красота были кругом!.. Русые усы генерального обозного, пробитые сединою, спускались вниз, из-под шапки блистал край голого, гладко бритого загорелого черепа. Светлые глаза горели голубым огнем. У жеребца грива и челка были оплетены в сетку красным с золотом шнурком, высокие луки седла были обделаны золотом и украшены самоцветными камнями. Генеральные старшины и бунчуковые товарищи плотным строем окружали Лизогуба. Седые старики и прекрасные юноши в драгоценных парчовых кафтанах на легких прекрасных лошадях закрыли собою строй полков

Государыня помахала им рукою и сказала что-то приветливое, ласково улыбнулась очаровательной улыбкой Старшины и бунчуковые товарищи ловко заехали и стали позади Государыни и ее свиты. Полковой строй открылся перед Екатериной Алексеевной. Показались бесконечные ряды казаков в синих черкесках «с вылетами» и откидными рукавами. Сквозь «вылеты» были видны белые бешметы, на головах были черносмушковые шапки с белыми тумаками.

Императрица пошла к строю. Лизогуб ехал сбоку Государыни. Трубы пронзительно трубили, глухо рокотали литавры. Лизогуб докладывал Государыне:

— Лубенский реестровый полк...

— Здравствуйте, молодцы,— приветливо сказала Елизавета Петровна,— счастлива видеть вас в добром здравии!

Тысяча голосов гулко ответила Государыне, и крики «виват» понеслись по полю

За Лубенским полком показался полк на серых конях, с казаками в синих черкесках с голубыми бешметами и отделкой золотым галуном.

— Нежинский реестровый полк!

Лубенский полк вложил сабли в ножны, повернулся по четыре направо и, загнув левым плечом, рысью пошел позади фронта нежинцев, чтобы стать на левом фланге парада.

— Черниговский реестровый полк!

Из вылетов черных черкесок огнем горели пунцовые бешметы.

Легкие вороные лошади с Черноморья, с длинными тонкими шеями грызли удила.

Полки шли за полками.

— Миргородский... Гадяцкий... Переяславский... Прилуцкий... Стародубовский... Киевский... Полтавский...

Добрых пять верст пешком шла Государыня вдоль фронта казацких полков. Она раскраснелась, запыхалась, но каждому находила сказать ласковое слово привета; одного пол-

ковника похвалила за бравый вид казаков, другому нахвалила исправную одежду, третьему полюбовалась лихими конями и подробно расспросила, откуда их достали казаки. «Не из туретчины ли?..»

Когда дошло до левого фланга, там начался тот же порядок: лубенцы, нежинцы, черниговцы и нижегородцы уже выстроили свой длинный строй.

— Ну, оных я, батюшка, уже видала,— сказала Императрица, платочком утирая лицо.— Не могу больше... Уморилась... Экая силища у тебя войска-то!..

Она сказала, чтобы подали экипажи. Старшины и бунчуковые товарищи расступились, давая место государыниной коляске. Императрица села в нее и пригласила Екатерину Алексеевну сесть рядом с нею, а против них сели Великий Князь и старшина Михаил Скоропадский.

— Ты, батюшка,— сказала Государыня Скоропадскому,— будешь мне показывать и рассказывать, какие еще дальше у вас полки стоят

Коляска шагом поехала к городу Глухову, оставляя Есмань в стороне.

За коляской Государыни ехал Лизогуб, по сторонам гарцевали генеральные старшины и бунчуковые товарищи. За Лизогубом шел Полтавский полк с песельниками впереди.

Маститый старик литаврщик с седыми длинными усами сидел на широкой серой лошади. По сторонам седла были привязаны гулкие, в форме полушарий, медные барабаны, обшитые синим и желтым бархатом с серебром — полковые литавры. Бравый черноусый красавец с запыленным темною пылью лицом, на котором сверкали белые зубы смелой, задорной улыбки, глядя прямо в глаза Екатерине Алексеевне, завел песню·

Казав мини батько,
Щоб я оженывся...
По досвитках не ходив,
Та-й не волочився...

Ленивый и будто сонный голос казака странным образом владел Екатериной Алексеевной, брал за душу, и непонятная песня казалась понятной. В вечернем тихом воздухе пряно пахло полынью и черноземною пылью. Мерно топотали казачьи кони, и тихо покряхтывала, качаясь на ремнях рессор, тяжелая коляска. Литавры ударили и зарокотали, и хор дружно и плавно ответил на запевок:

По досвитках не ходив,
Та-й не волочився...

Замер в красивой гармонии, точно мощный орган проиграл в степи.

И опять сонный, медленный, хватающий за сердце голос казака.

А я козак добрый
Та-й не волочуся,
Де дивчину чую —
Там ночку ночую,
А де молодички,
Там я и дви нички...

Широкое лицо Императрицы расплылось в лукавую улыбку, в больших голубых глазах заблистал искрами-огнями веселый смех.

— Ваше Величество, что он такое поет? О чем он?

— Глупости, Катиша. Мужские глупости, тебе рано это знать,— по-французски ответила Государыня и стала слушать хор

Хор пел.

Покиль не женився,
Потиль не журився...

В Гадяче, в громадных шатрах, ярко освещенных свечами в походных ставцах, вечернее кушанье кушали Стол был установлен подковой. Императрица и ее свита сидели на лавках, покрытых коврами и шелковыми подушками В изгибе подковы поместились песельники и музыканты Старшинские жены танцевали с молодыми хорунжими казацкие танцы

Из Гадяча проехали в Киев, где были торжественно встречены лаврским духовенством и ряженными семинаристами.

В Киеве Екатерину Алексеевну водили по пещерам святых угодников, показывали подземные храмы, кельи, где монахи годами жили, не видя Божьего света, как в могиле Екатерина Алексеевна видела гробы, простые деревянные налои с тяжелыми книгами в кожаных переплетах, закопченные свечами стены и ощущала томительную тишину подземелья, запах ладана и тления. Странница, женщина лет сорока, вся в черном, провожала Великую Княжну и рассказывала, как она неделями жила в пещерах:

— Пойду, матушка, Ваше сиятельное Высочество, помолюсь у одного Божия угодника, лампадку затеплю, Евангелие почитаю, просвирку пожую, перейду к другому, и там опять так же... И так-то мне дивно все, так хорошо, будто и я с ними в могилке.

Сентябрь прожили в Козельце, у Разумовского, в его новом доме. По большой государыниной свите дом оказался

очень тесным. Екатерине Алексеевне пришлось спать в одной комнате с матерью, а их статс-дамы и фрейлины спали рядом в прихожей вповалку на полу, где им на ночь стелили походные матрацы.

Государыня выезжала верхом в отъезжее поле на несколько дней с Разумовским и казаками на охоту с борзыми собаками. Екатерина Алексеевна со своим двором приезжала на указанное место в телегах и смотрела лихую скачку тети. Она слышала крики доезжачих, игру рогов и, увлекаясь, становилась на дно телеги и с волнением следила за травлей.

Охоты перемежались торжественными обедами и балами в поместьях генеральных старшин. За вечерним кушаньем Екатерина Алексеевна сидела рядом с Великим Князем и во время тостов, когда из старинных серебряных кубков пили густое, темное, душистое венгерское вино, она говорила жениху по-русски с милою неправильностью языка:

— Дай Бог, чтобы скорее сделалось то, чего ми желяем.

В октябре вернулись в Москву

Если после паломничества в Троице-Сергиеву лавру лютеранка София-Фредерика почувствовала себя православной, то теперь, после трех месяцев кочевья среди южнорусской природы, среди казаков и помещиков, в непрерывном общении с простыми русскими людьми Екатерина Алексеевна почувствовала себя окончательно и бесповоротно русской. Она стала хорошо говорить по-русски, вставляя не всегда, правда, кстати поговорки, слышанные ею от фрейлин, горничных, от кучеров, ямщиков и лакеев.

Еще сильнее, чем прежде, она полюбила Россию.

Она настолько стала русскою, что потом досужие историки, любители шарить по альковам, пытались доказать, что она не только духом, но и по крови была русскою. Ползли легенды о молодом дипломате Иване Ивановиче Бецком, который, за год до рождения принцессы Софии-Фредерики, проездом через Штеттин увлек своею красотою принцессу Иоганну, поехал с нею в Париж, и он-то будто и был настоящим отцом Екатерины Алексеевны. И будто бы сама Екатерина Алексеевна знала об этом и потому всегда так тепло, с таким искренним уважением относилась к Бецкому

Надо знать характер принцессы Иоганны, весь склад жизни цербстского двора, чтобы опровергнуть эту легенду. Самое время поездки Бецкого, по последним исследованиям, не совпадает со временем беременности принцессы Иоганны, да и встреча их за границей не подтверждается никакими документами.

Ивана же Ивановича Бецкого Императрица Екатерина ценила как мудрого и полезного для России человека.

Все это вздор, трень-брень, ученые пустяки любителей царственной «клубнички».

Ароматные южные степи, которые не могли не поразить воображения девочки, Екатерины Алексеевны, кипящая весельем жизнь малороссийских казаков, их песни, танцы, военный строй, совершенно непонятные западному человеку просторы российские перевернули душу немецкой девочки и навсегда привязали ее к России.

Как докучала она в эти дни своими детскими вопросами шестнадцатилетней ученицы камер-юнкеру Захару Григорьевичу Чернышеву.

— Захар Григорьевич, а что там за этой степью, кто там живет?..

— Донские казаки.

— Какие они?.. Похожи на здешних?.. Зачем они там живут?.. А что за ними?.. Что там дальше?..

— Азовское море.

— Ну, знаю, а за морем?..

— Крым.

— Каков оный Крым?.. Кто там живет?.. Подвластные турецкому султану татары?..

Все ее интересовало. С нею случилось то, что бывает с людьми, когда они из комнат, из тесноты городских улиц попадают на берег моря, в степь или в горы. Развертывающаяся перед ними даль их тянет, зовет и манит узнать ее тайны. Какой-то голос точно звенит в этой дали, и невозможно не поддаться призывному звуку этого голоса. Что за этим горным хребтом, а что за тем?.. А дальше что?.. Горы?.. Какие там страны, с какими людьми?..

Мир звал ее, и этот мир была — Россия.

В эти дни странствий она поняла, что для того, чтобы ей исполнить то, к чему она призвана, ей остается немного — полюбить искренно, всем сердцем и всею душою своего жениха. Она старалась забыть, что жених ее — урод, что развитие его точно остановилось, что он все еще мальчик, которого игрушки и собаки интересуют больше, чем ее переживания, что он совершенно равнодушен и к степи, и к казакам, и ко всей России, развернувшейся перед ними во всей своей шири и великолепии.

Она смотрела на Великого Князя с искреннею любовью и уже правильно и без всякого акцента, а главное, от чистого сердца, говорила ему, чокаясь с ним серебряною чаркою:

— Дай Бог, чтобы скорее сделалось то, чего мы желаем!..

XV

Пятнадцатого декабря двор переезжал из Москвы в Петербург. Княгиня Цербстская, Великий Князь, Екатерина Алексеевна и Брюммер двумя санями выезжали раньше Императрицы.

Был сильный мороз. Государыня в легкой «адриене» и в драгоценном горностаевом до пояса палантине вышла проводить племянницу. Ямщик с трудом сдерживал застоявшихся на морозе лошадей.

Государыня заглянула в возок Великой Княжны.

— Легко, милая... Больно легко ты оделась, не по нашим декабрьским морозам... Ишь, хватает как... И за ушки и за нос... Эти платочки да шарфики — немецкие затеи ни к чему.

— У меня, Ваше Величество, ваша шуба...

— Шуба шубой, а плечи особо обогревать надо. Простудишься, золото.

Государыня перекрестила и крепко поцеловала Екатерину Алексеевну. Порывистым, прекрасным движением она скинула с себя душистую горностаевую накидку и закутала ею Великую Княжну, подняв воротник к самым ушам.

— Вот так-то лучше будет... Пошел, ямщик!..

Сани заскрипели по снегу, возок покачнулся и помчался по проспекту Головинского дворца. Екатерина Алексеевна высунулась из окна и долго видела, до самого поворота, как стояла Государыня в короне золотых волос, в легкой «адриене» на ледяном ветру и улыбалась милым, веселым, разрумянившимся на холоду лицом. Мягкий горностаевый мех нежно щекотал и грел щеки Екатерины Алексеевны, и она, в восторженном обожании своей необыкновенной тетки, не замечала, как крупные слезы умиления и любви текли по ее юному, прелестному лицу.

В четырехстах верстах от Москвы, в Хотиловском Яму, у Великого Князя сделался жар, и на теле появились красные оспенные пятна. Верховые поскакали с докладом к Императрице, которая обогнала великокняжеский поезд и уже была под Петербургом. Государыня повернула обратно. Под Новгородом сани Государыни встретились с возком принцессы Цербстской и Великой Княжны. Государыня вышла из саней, Екатерина Алексеевна вне себя от тревоги за жениха, все позабыв, выскочила из возка, бросилась Императрице на шею и разрыдалась.

— Ваше Величество... Что же это?.. Разрешите мне вернуться к Великому Князю и остаться при нем сиделкой,— говорила Великая Княжна.

— Ну, милая моя, оного только и недоставало,— ворчливо-ласково сказала Государыня, прижимая к себе племян-

ницу.— Племянник мой урод, черт его возьми совсем, хуже от оспы он не станет, а тебе девичье личико зря портить ни к чему.

— Я хочу умереть с ним.

— Бог не без милости... От сей болезни в его годы не умирают Я сама за ним присмотрю и отпишу тебе, как ему полегчает.

В середине января Екатерина Алексеевна получила собственноручно Государыней написанное по-русски письмо.

«Ваше Высочество, дражайшая моя племянница,— писала Государыня,— я весьма Вашему Высочеству благодарствую за приятные ваши мне писания. На оное ответом до днесь для того умедлила, что не столько подлинно о состоянии здравия Его Высочества Великого Князя вам известие подать могла. А ныне могу вас обнадежить, что он, к радости нашей, слава Богу, совершенно на нашей стороне. При сем, пожелая Вашему Высочеству доброго здравия, с искреннею любовью есмь Вашего Высочества благосклоннейшая тетка — Елизавета...»

В конце января Государыня с Великим Князем прибыла в Царское Село, а в первых числах февраля должна была переехать в Зимний дворец.

Давно жданный Великой Княжной и так желанный день возвращения жениха наступил. Второй день стояла оттепель. Рыхлый и бурый снег сугробами лежал по улицам. С домов ледяные сосульки свешивались, деревянные панели блистали, покрытые водою со льдом.

В Зимний дворец для встречи Государыни съехались чины свиты. Караул лейб-кампании выставил часовых. Екатерина Алексеевна с матерью ожидала Государыню в малой антикамере. Был день, свечей не зажигали, но от серой, туманной, бессолнечной, промозглой погоды было сумрачно и темно в дворцовых покоях. Печалью веяло в залах дворца.

Екатерина Алексеевна, волнуясь, прислушивалась к тому, что делалось внизу. Караул отдал честь Государыне. Глухо трещали барабаны. Рядом в зале раздались голоса. Государыня проследовала к сановникам.

Вдруг застучали быстрые шаги, двери распахнулись, и в малой антикамере появился Великий Князь, сопровождаемый Брюммером.

Он был в кирасирском колете, подколетнике и рейтузах — весь белый. Лосиный кафтан с отложным воротником, обшлагами и загнутыми треугольником полами висел на нем как на вешалке. Великий Князь вытянулся и исхудал за время болезни. На его длинном теле, узком и непропорциональном, точно была насажена громадная, распухшая после

оспы красная голова со следами темных пятен. Он был в старомодном большом волнистом парике, делавшем его голову еще больше. Прикрытые верхними веками глаза были как темные щели. Екатерина Алексеевна сделала порывистое движение навстречу Великому Князю и остановилась.

«Монстр»,— мелькнула в ее голове мысль, и холодными и слабыми стали ноги, точно она и в самом деле увидала чудовищное привидение.

— Не узнаете меня, Ваше Высочество?..

Кривая и злобная усмешка исказила безобразное лицо Великого Князя.

Екатерина Алексеевна справилась с собою. Она быстро пошла навстречу Великому Князю, протягивая ему обе руки и сказала, как могла спокойнее:

— Помилуйте, Ваше Высочество! Слава Богу что вы совсем поправились!

Этот миг первой встречи после болезни никогда потом не был ни тем, ни другою позабыт. Белый «монстр», появившийся в полумраке прохладной антикамеры, остался в памяти Екатерины Алексеевны навсегда, и Великий Князь не мог позабыть той мгновенной гримасы страха и отвращения, которая вдруг появилась на радостно-возбужденном лице его невесты.

Но в антикамеру вошла, окруженная придворными, Государыня. Екатерина Алексеевна низко нагнулась в поклоне и, целуя руку Государыне, лила на нее горячие, искренние девичьи слезы. Чутким женским сердцем Елизавета Петровна поняла все, что было на сердце племянницы. Она подняла за подбородок голову Екатерины и, поцелуями осушая слезы, прошептала.

— Стерпится — слюбится. Так-то, милая.— Она обняла Великую Княжну и увела ее во внутренние покои.

XVI

Екатерине Алексеевне едва минуло шестнадцать лет, но она была девушкой своего века и воспитана, как принцесса. Она знала, что после принятия ею православия и обручения с Великим Князем, наследником Русского престола, ей не было отступления и отказаться от брака, какие бы причины для того ни были, она не могла. Свадьба с Великим Князем надвигалась на нее с неизбежностью рока.

При петербургском дворе тоже были свои тайны и секреты, как были они при всех высочайших дворах, и в эти тайны и секреты постепенно посвящали и Екатерину Алек-

сеевну, и она знала, что ко всему прочему ее брак имел еще особенное значение — он крепил государствование Елизаветы Петровны. Прусский король Фридрих писал принцессе Иоганне: «Опасен престол... Жив император Иоанн Антонович, мало ли что будет?.. На престоле царь-девица, упорно отказывающая в руке претендентам. Надо, чтобы весь мир и особенно вся Россия знали и запомнили, что у этой царь-девицы есть законный наследник, внук Петра Великого, Великий Князь Петр Федорович, что он женится на православной Великой Княжне, прелестной Екатерине Алексеевне, что от этого брака должны быть дети — наследники Елизаветы Петровны...»

Свадьба надвигалась, и не могла не думать о ней, о своем будущем юная Великая Княжна. Она примирилась с православием, холодно, рассудком, но не сердцем восприняла его, она всею душою полюбила Россию, увидела в ней арену для каких-то громадных действий — каких? — она еще сама не осознала, оставалось примириться и с Великим Князем и... полюбить его.

И без советов и писем Фридриха Елизавета Петровна знала, «сколь опасен» ее престол и как его надо укрепить.

Свадьба готовилась небывалая по роскоши. Ее должна была запомнить вся Россия, весь мир должен был о ней говорить.

XVII

Двадцать первого августа, в день, на который «Ее Императорское Величество всемилостивейше соизволила назначить и определить время, в которое брачное сочетание Их Императорских Высочеств имеет быть совершено и торжествовано быть», Екатерина Алексеевна вошла в голубую гостиную. Пронизанная лучами комната казалась яркой и веселой. В ней, точно птички на дереве, ее фрейлины весело щебетали. Две княжны Голицыны, две княжны Гагарины и девица Кошелева пестрым цветником сидели в ней, ожидая невесту.

Окна на Неву были настежь раскрыты. Свежий осенний воздух бодрил и радовал. Нева под голубым небом казалась синей. Золотыми искрами перекидывались и играли маленькие волны.

У раскрытых на обе половинки дворцовых дверей стояли рейт-кнехты, державшие в поводу лошадей.

Камер-юнкера с волосами, убранными «по гишпанскому манеру без кошельков и кос», садились и отъезжали от дворца. На монументальном коне проехал шталмейстер Ее

Величества, и сейчас же за ним показались пешие арапы в красных, расшитых золотым позументом кафтанах. Они вели под уздцы прекрасных «изабелловых», серебристо-белых, с розовыми губами и веками лошадей, в золотой сбруе Восьмерик попарно цугом подкатил большую хрустальную карету У ее подножки появился Великий Князь Петр Федорович в преображенском мундире

— Ваше Императорское Высочество, пожалуйте! — Гофмейстерина подала руку Екатерине Алексеевне

Опустив голову и стараясь ни на кого не глядеть, Екатерина Алексеевна спустилась на крыльцо и стала садиться к Государыне Они заняли задние места, перед ними сели Великий Князь и Разумовский

Карета тронулась, но сейчас же остановилась Весь кортеж стоял Должно быть, у собора выходили те, кто уже достиг его Золотые постромки натянулись, карета качнулась и проехала несколько шагов.

Шествие очень медленно продвигалось к собору

Оглушительно барабаны били, флейты свистали, гобои и валторны играли «встречу» Неподвижный лес ружей скрывал лица солдат

Великий Князь паясничал, высовываясь из окна, порывисто оборачивался к невесте и называл стоявшие «в шпалерах» полки.

— Преображенцы .. Семеновцы .. Ваше Величество,— оборачивался он вдруг к Государыне,— у майора Измайловского полка не по форме сделаны букли и шарф небрежно завязан.. Ваше Величество, умоляю взыскать!

— Поди ты! О том ли ныне думать!

— Ваше Величество, в напольном Архангелогородском полку знамя поздно уклонили. То же и в Ладожском пехотном.

По набережной, вдоль адмиралтейских, крепостных верков, по Луговой и по Невской перспективе до самого Казанского собора стояли шпалеры полков.

Кирасиры Его Высочества длинной белой лентой тянулись от Мойки.

— Ваше Высочество, извольте взглянуть — это мои кирасиры. Каков порядок!..

Литавры глухо и будто дремотно били, резво трубили трубачи, а по верху плыл, несся, гудел, колыхался торжественный церковный перезвон. В пестрой народной толпе, стоящей за шпалерами войск, то и дело вспыхивало «ура!». По другую сторону, где не было шпалер, конные драгуны

сдерживали толпу у панелей вдоль бульвара Оттуда доносились восторженные восклицания

— Невеста-то краля какая! А сказывали, что немка. А нисколько не похожа даже на то

— Корона на ней блестит, что звезда в небе.

— А жених!.. Ну и урод!..

— Жалко милую.

— Дети... Совсем дети .. Куда им!.. Поди, и несмышлены в оном.

— Наука-то небольшая!

— А все уменья требовает.

— Наша-то, петровская... Ай, хороша!.. Ура!..

Пошло, покатилось притихшее было «ура»

Жители Петербурга, Сарского, Петергофа, Ораниенбаума, всех окрестных сел и поместий были в этот день на улицах Петербурга, все, как одна семья, разделяли радость своей Государыни.

У церкви конные камер-юнкеры спешивались и торопливо снимали на паперти белые штиблеты Гофинтендант и придворный обер-архитектор Растрелли с наряженными в их распоряжение обер-офицерами следили, чтобы к трону Государыни, Их Высочеств, светлейшей принцессы Цербстской и ее брата, принца Августа, был свободный проход, они «упреждали конфузию и тесноту» и пропускали в церковь только по особым билетам, розданным от «Церемониальных дел»

Путь, который пешком можно было сделать в пятнадцать минут, ехали «в шествии» почти два часа. Лишь в первом часу дня Екатерина Алексеевна вошла под высокие своды храма, смутно напоминавшего ей лютеранскую кирку. Дивное, рвущееся к небу, отраженное в высоком куполе, звенящее дискантами, гудящее басами, торжественное пение ее встретило, приподняло и точно понесло к священному таинству. Она позабыла усталость, томление медленной езды с постоянными остановками и серьезная, сосредоточенная, углубленная в саму себя пошла с Императрицей к ожидавшему ее Симону Тодорскому, бывшему теперь епископом Псковским.

Принц Август Голштинский, шафер жениха, и обер-егермейстер Алексей Григорьевич Разумовский, шафер Великой Княжны, приняли поданные им на блюдах золотые венцы. Симон Тодорский поднял крест и, глядя блестящими глазами в глаза Екатерины Алексеевны, громко, воодушевленно сказал:

— Вижу перст провидения в рождении сих двух отраслей домов Ангальтинского и Голштинского и ныне воедино сочетавшихся...

Он говорил о политическом значении брака, о великих узах, связующих для вечного и долгого мира иностранные дома с домом Петра Великого. Он воздавал хвалу Государыне премудрой, невесте, в ее рвении к православию и любви к России, в которой он сам мог убедиться.

И опять пел хор, потом рокочущими нотами лилась ектения, и Екатерина Алексеевна слышала, как поминали ее, как Великую Княжну, и трепетно, тая под куполом, расплываясь и захватывая сердце, неслось непрерывное: «Господи, помилуй, Господи, помилуй... милуй»,— замирало вверху, в голубом своде купола, где клубились облака ладанных курений.

У Екатерины Алексеевны кружилась голова, и она напрягала все усилия, чтобы устоять, чтобы не лишиться сознания. Она казалась себе легкой, невесомой и совсем другой, чем была еще так недавно. Их повели к распростертому перед ними золотому расшитому ковру, и она, сама того не замечая, первая вступила на ковер. Рослый красавец Разумовский высоко над нею держал венец, и она стояла под ним, неподвижная и застывшая в молитвенном углублении. Рядом с нею неспокойно стоял Великий Князь, он то оправлял руками шарф, то нагрудный знак, то пояс.

Вот оно... Когда?.. Как?.. В какой именно момент совершилось это?

Дьякон вышел на амвон, и, вторя его глубокому, точно ворчащему басу, серебряными колокольчиками зазвенели дисканты и альты певчих: «Господи, помилуй, Господи, помилуй...»

— И о супруге его благоверной Великой Княгине Государыне Екатерине Алексеевне Господу помолимся...

Только в четвертом часу кончился длинный обряд венчания. Екатерина Алексеевна сидела подле Государыни и Великого Князя на тронных креслах под золотым навесом с горностаевым подбоем. Ей было видно, как карета за каретой вытягивались в «шествие». Тем же порядком медленно и чинно ехали назад. Когда проезжали мимо полков, троекратный беглый огонь вверх опоясывал белым кудреватым дымом солдатские ряды. С корабля двадцати четырех галер, двух транспортов и двух яхт началась пушечная пальба. По вантам и реям были выброшены пестрые флаги и бабочками заиграли на засвежевшем западном ветру

Во дворце караулы били в барабаны и играли на трубах, когда Императрица, сопровождаемая высоконовобрачными и свитой, проходила по залам к своей опочивальне. В дверях ее она остановилась. Петр Федорович, за ним Екатерина Алексеевна, принцесса Цербстская и принц Август, «припа-

дая к стопам Ее Императорского Величества, воздали высочайшее благодарение»

От дверей государыниной опочивальни проследовали в большую антикамеру, и там послы, чужестранные министры, придворные дамы и кавалеры и первые особы из генералитета и министерств ожидали Государыню и молодых.

До шести часов длилось принесение поздравлений, и только потом, не чуя ног под собою, Екатерина Алексеевна прошла в свои покои, где могла наконец переодеться, снять страшно тяжелую парадную «робу», корону, переодеться в легкую парадную «адриену», и уже надо было идти к обеду

В конце стеклянной галереи был накрыт «покоем» особый стол В верхнем, смыкающем его конце было поставлено большое золоченое кресло, крытое малиновым шелком, расшитым золотыми травами. По правую и левую стороны этого кресла были золоченые стулья, крытые зеленым шелком с травами. Над ними был парчовый балдахин с горностаевым подбоем. Далее стояли золоченые стулья пониже, крытые розовым шелком. Стол был накрыт на шесть приборов золотой посуды По всей галерее стояли столы для гостей

По троекратному призыву трубами началось шествие в антикамеру. В ней Государыню ожидал гофмаршал, торжественно возвестивший ей

— Ваше Императорское Величество, кушанье на стол поставлено!

Государыня села в кресло, по правую ее руку сел Великий Князь, по левую — Екатерина Алексеевна, рядом с Великим Князем сели принцесса Иоганна и принцесса Гессен-Гомбургская, против граф Алексей Григорьевич Разумовский.

Томительный парадный обряд начался

— Прекрасное слово сказал владыка,— сказала Государыня по-русски, обращаясь к Разумовскому.— Как тонко отметил он значение брачных союзов для мира народов. Когда все между собою породнились бы, то, чаю, для чего и войнам быть?..

— Ваше Величество,— сказал Разумовский.— Между родственниками ссоры бывают, однако, еще лютее, чем между посторонними.

— Пожалуй,— снисходительно ответила Государыня.

Разговор не шел. Княгиня Цербстская и принцесса Гессен-Гомбургская не говорили по-русски, Разумовский не знал ни французского, ни немецкого языков. Екатерина Алексеевна изнемогала от усталости, Великий Князь, стара-

ясь быть серьезным, очень много пил и ел Принцесса Иоганна, только что узнавшая, что все ее и Мардефельда письма вскрывались и прочитывались Бестужевым, и поняв-шая, почему Государыня ее так нелюбезно выпроваживала из Петербурга, сидела красная, надутая и важная. Вокруг стола стояли «во услугах» обер-гофмейстер барон фон Мини-их, граф Лесток, форшнейдером при Государыне господин Шепелев, за стулом Великого Князя камергер Балк, форш-нейдером — камергер Мартын Скавронский, за Великой Кня-гиней камергер граф Петр Шереметев и форшнейдером при ней камергер граф Андрей Гендриков За столом суетились люди Пажи приносили кушанья, метрдотель Фукс принимал их и передавал тем, кто были «во услугах» Все это чрез-вычайно стесняло и смущало Екатерину Алексеевну, она сидела строгая и почти ни к чему не притрагивалась.

Кругом на тридцати трех «штуках» сидело сто тридцать две «персоны». Шел непрерывный гул голосов, слышался звон посуды и шаги подававших лакеев.

Как только подано было жаркое — седло дикой козы — и форшнейдеры золотыми ножами нарезали его и положили куски, состоявшие у вин разлили по кубкам шампанское. Итальянская музыка, игравшая на хорах, смолкла. Великий Князь поднялся, все гости в стеклянной галерее и в зале встали. Детским, ломающимся голосом Великий Князь воз-гласил, поднимая кубок.

— Про здравие Ее Императорского Величества!.

— Виват!.. Виват!.. Виват! — закричали гости.

Трубачи и литаврщики заиграли. Пушки полевых батарей, поставленные вдоль набережной, начали салют — шестьде-сят один выстрел.

Когда наконец все это смолкло, и звон стоял в ушах от пальбы и резких звуков труб, и странной казалась вдруг наступившая тишина, Государыня встала с кресла и подняла перед собою плоский петровский кубок

— Про здравие Их Императорских Высочеств,— сказала она сочным, сильным голосом.

И опять загрохотали выстрелы.

Третий и последний тост возгласил Великий Князь:

— О благополучном государствовании Ее Императорско-го Величества.

Сто один выстрел салюта продолжался до самого конца обеда.

В половине девятого обед окончился, и гости перешли в большой зал. Музыканты заиграли менуэт, принц Август подошел к Государыне, и они открыли бал За Государыней шли высоконовобрачные.

В шестнадцать лет для какой девушки музыка и танцы не имеют магической силы? Поддалась этой силе и Екатерина Алексеевна Все было позабыто — усталость, волнение, страх, кровь забила ключом в жилах, и, чувствуя себя центром внимания, ощущая на себе ласковый и внимательный взгляд Елизаветы Петровны, сидевшей у дверей Арабской комнаты, Екатерина Алексеевна отдалась магии танцев. Менуэт сменила бесконечная и замысловатая кадрилия, за ней последовал только что появившийся англез.

Как девочка-ребенок, Екатерина Алексеевна все позабыла под звуки музыки, под ритмичный шорох башмаков танцующих пар. Она чувствовала себя снова сильной, молодой и прекрасной.

XVIII

Во втором часу ночи Екатерина Алексеевна сняла все драгоценности, заплела по-ночному волосы, освободилась от корсета, фижм и платья и в рубашке и горностаем подбитом шлафроке, со свечою в руке прошла в супружескую спальню.

Из медоточивых наставлений принцессы Иоганны, из шаловливой беседы «царь-девицы» и от гофмейстерины Нарышкиной Екатерина Алексеевна знала, что ее там должно ожидать. Архимандрит Тодорский в беседе о таинстве брака осторожно коснулся и житейской его стороны и объяснил ей всю политическую важность для нее, как супруги наследника Российского престола, иметь детей.

Усталая, оглушенная музыкой и пушечной пальбой, с натянутыми до последней степени нервами, трепещущей рукой она открыла дверь.

На передзеркальном столе горел канделябр. Девушка и камердинер Великого Князя торопливо вытирали что-то на ковре. При виде Великой Княгини они испуганно выскочили в боковую дверь. В спальне терпко и противно пахло спиртным запахом вина.

Медленно, точно ноги у нее стали пудовыми, Екатерина Алексеевна подошла к тяжелому балдахину постели и открыла занавес. С края низкой и широкой постели, на боку, зарывши голову в подушку, лежал ее муж. Он подогнул неловко ноги и спал крепким, тяжелым сном.

Екатерина Алексеевна обошла кровать, задула свечу и при свете ночника, осторожно, не снимая шлафрока, прилегла с края постели.

И долго стыд, краской заливший ее прелестное лицо, слезы, страх за будущее мешали ей заснуть, несмотря на то, что ноги и все тело ломило от усталости. Она неподд-

вижно лежала на постели и сквозь щели занавеси смотрела на окно Осенним холодом веяло от него

«Дай Бог, чтобы скорее сделалось то, чего мы желаем!»

Сколько раз говорил он ей это за последние месяцы, и как охотно она за ним повторяла эти слова при каждом тосте. Вот это и случилось... Случилось то, о чем она мечтала с любовью и нежностью, все прощая своему жениху Теперь?.. В эти холодные ночные часы одиночества, подле крепко спящего мужа Екатерина Алексеевна начала понимать, что кроме любви на свете бывает... и ненависть!

Усталость после двадцати часов, проведенных на ногах и на людях, овладела ею. Натянутые, почти до разрыва, нервы как-то вдруг, как струны на ослабевших колках, опустились, еще несколько мгновений было сознание, когда она видела, как начало светлеть за опущенной шторой, и еще свежее стало в комнате, потом она вздохнула, закрыла глаза и заснула крепчайшим сном молодости и горя.

Горничная Шенк ее разбудила.

Шел девятый час, а в десять был назначен прием поздравлений. Надо было торопиться. Великого Князя давно не было в спальне.

Екатерина Алексеевна еще не была вполне готова и сидела в уборной, предоставив свои руки и волосы горничным, когда, как ни в чем не бывало, мальчишкой-шалуном, ворвался к ней Великий Князь.

Он нежно и почтительно поцеловал ей руку и передал ей свой свадебный подарок — полный убор из сапфиров и бриллиантов — брошь, серьги, ожерелье и подвески.

Он непременно хотел, чтобы она сейчас же и надела на себя эти украшения.

«Бес полунощный» оставил ее, она не могла сердиться на мужа.

XIX

Все послесвадебные дни и ночи были расписаны церемониалом по часам.

Двадцать третьего и двадцать четвертого августа были балы и народное гулянье, двадцать пятого августа в Оперном доме смотрели итальянскую оперу «Сципион», двадцать шестого августа был бал с маскарадными кадрилиями, с лотереей, иллюминацией и фейерверком.

Великий Князь с интересом ребенка отдавался всем развлечениям, все смотрел, всем интересовался, но слабого здоровья его хватало только до ужина. За ужином он выпивал лишнее и торопился добраться до постели, чтобы заснуть крепчайшим сном, совсем забывая о жене.

Балы и обеды, маскарады и спектакли сменялись утомительными церемониями и службами

Тридцатого августа, в день ордена Святого Александра Невского, было торжественное шествие с крестным ходом в Александро-Невскую лавру Государыня с новобрачными прибыла в каретах к Аничкову мосту, где они ожидали крестный ход, вышедший из церкви Казанской Божией Матери.

Екатерина Алексеевна с мужем пешком шла за Государыней через весь бесконечный Невский Преосвященный Платон, архиепископ Сарский и Подонский с сонмом черного духовенства и монахов ожидал крестный ход у лаврских ворот У драгоценной раки святого Александра Невского была бесконечная монастырская служба Преосвященный Платон говорил проповедь и, поминая заслуги святого князя Александра, победителя шведов и тевтонов, сравнивал его победы с победами Петра Великого, «чью дочь мы имеем счастье видеть счастливой водительницей народа российского»

Свежая августовская ночь надвигалась на Петербург когда на галере «Жар» высочайший двор возвратился из лавры На судах, стоявших против Зимнего дворца, по мачтам, реям и вантам, по бортам и пушечным амбразурам горели огни иллюминации Петербургская крепость расцветилась огнями по фасам.

И только переоделись в бальные «робы», начался бал

После бала Великая Княгиня с мужем, княгиней Цербстской и принцем Августом переехали на жительство в новый Летний дом

Свадебные празднества были кончены

XX

В Летнем доме обстановка была проще, комнаты меньше. От окон с Фонтанки тянуло сыростью. По другую сторону печально, по-осеннему, роняя листья, шумел Летний сад.

Серые будни наступали. Уже два раза после интимных завтраков в своей семье Императрица отводила в сторону Екатерину Алексеевну и намеками спрашивала невестку, все ли обстоит благополучно в браке и скоро ли утешит ее Великая Княгиня надеждою, что так нужный России наследник престола должен будет родиться.

Что могла ответить на это Великая Княгиня?

Она краснела, молчала и чувствовала себя бесконечно униженной в глазах тети.

Все такие же были ночи и такие же пробуждения.

Екатерина Алексеевна встала, по обыкновению, рано Быстро одевшись без помощи горничных, она прошла в свой рабочий кабинет Она раздернула оконные занавеси. Серое, тихое, мутное петербургское утро гляделось в окно. Густой туман стоял над городом. Под самым окном черными и неподвижными казались воды Фонтанки. Золотые и бурые листья медленно плыли по реке. У стен дома они собрались кучей и стояли неподвижно. Чуть намечались низкие, длинные дома голландского типа на противоположном берегу Нигде никого не было видно. На глазах Екатерины Алексеевны туман становился все гуще, съедал контуры домов, и скоро ей стало казаться, что она стоит перед беспредельностью.

Она отошла от окна. Мраморные с бронзой часы, стоявшие на камине, показывали девятый час, но в комнате было темно Екатерина Алексеевна сама выбила огонь, разожгла трут и фитилем засветила две свечи на своем бюро Она достала шкатулку, маленьким ключиком, висевшим на шейной цепочке, открыла ее и взяла там большой бронзовый ключ и, открыв им ящик бюро, вынула тетрадь своего дневника. Она сняла золотую крышечку с фарфоровой чернильницы, взяла из высокого стакана гусиное перо, попробовала его ногтем, умокнула в чернила, и быстрые строки неровного тонкого письма побежали по плотной, слегка шероховатой бумаге.

Давно она не писала дневника. Давно не поверяла своих мыслей заветной тетради. Она описала свадьбу, праздники, следовавшие за нею. Чуть дрогнуло перо... Она приостановилась, потом продолжала писать решительно и смело:

«...Мой дорогой супруг нисколько не занимался мною... Я зевала, скучала, мне не с кем было перемолвить слово...»

Екатерина Алексеевна взяла песочницу и присыпала написанное. Она закрыла и бросила в ящик дневник. Задула свечи. Снова выявилось окно, туман и беспредельность. Такая будет жизнь!.. Великая Княгиня вздохнула, откинулась на спинку кресла, прищурила глаза, точно хотела сквозь туман разглядеть свое будущее.

Так прошло некоторое время. Точно что-то уловила она в своей душе. Она встала, заломила руки, хрустнула пальцами и прошептала:

— Если я здесь буду царствовать... Я буду царствовать одна!..

Часть вторая

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

I

Ранней весною Великий Князь Петр Федорович с супругою Великой Княгиней Екатериной Алексеевной и малым двором переехали в Ораниенбаум.

В Петербурге они стесняли Государыню. Шум, крики, кукольный театр, пиликанье на скрипке, подглядывание в щелки за Государыней, возня с собаками, их постоянный лай и визги, щелканье бича раздражали Елизавету Петровну и докучали ей Собак она любила, но не в комнатах, а на псарне Дома любила тишину и сладкий отдых, она не терпела пьяных Племянника надо было убрать подальше — в Ораниенбаум.

С удивлением смотрела Екатерина Алексеевна в окно, как приехали ломовые подводы, во дворец вошли силачи — мужики-носильщики — и стали таскать мебель для отправки в Ораниенбаумский дворец. Она не могла понять, как совмещались не виданная ею раньше роскошь — золото рам и багетов, шелк обоев, зеркала, мрамор, вазы из малахита и ляпис-лазури, колонны из орлеца и яшмы — и недостаток мебели для загородных дворцов. Шкафы, кровати и столы тащили на подводы, ломали ножки, выбивали бронзовые накладки и вставки и везли за тридцать верст в Ораниенбаум.

Ораниенбаум показался Екатерине Алексеевне концом света. Большие дороги, мощенные громадными гранитными

глыбами, циклопической постройки — дедушка Петр их строил,— за Красным кабачком сворачивали на Ямбург и Нарву, от Петергофа шли на Ропшу и кончались тупиком в Ораниенбауме. Точно дальше уже ничего и не было. Дальше узкий песчаный проселок углублялся в лес и прихотливо вился по нему вдоль морского берега. Дорога рыбаков и лесопилов. Говорят, при дедушке Петре по ней шла конница Ласси покорять Ингерманландию.

Море ласкалось к низкому берегу, поросшему камышами. Оно не походило на море. В эти дни ранней весны было оно серо-графитового цвета вдали и буро-желтое у берега. Ледяным холодом веяло от него, и в те апрельские дни, когда приехали в Ораниенбаум, белые льдинки плыли по заливу: проходил последний ладожский лед. Совсем — так казалось — близко, против Ораниенбаума, над водою чернели прямые и низкие верки Кронштадтской крепости

Вдоль берега и в глубь материка без конца и края тянулись сосновые леса Мелкая сероватая сосна кое-где перемежалась елью и осинником, переходила в высокий мачтовый лес. По вечерам в закатном небе в красную бронзу ударяли прямые, голые стволы. По лесу было мягко и скользко ходить по старой серой хвое, усыпанной растопыренными черными сосновыми шишками. Грибные все были места и прекрасная охота.

В большом дворце было холодно. Зимою в нем не жили, высокие кафельные печи дымили и медленно разгоняли стылую сырость. От окон дуло, и перед рассветом бывало слышно, как истомно токовали в лесу тетерева и глухари.

Спальней Екатерины Алексеевны была громадная глубокая комната с большим окном в парк. Она была скудно меблирована. Стены были обшиты желтым шелком с вышитыми по нему сценами из китайской жизни. Альковная переборка с тяжелыми штофными занавесями разделяла спальню на две неравные части. В меньшей, задней, полутемной, под балдахином стояла низкая и широкая большая кровать и подле нее с одной стороны — ночной столик, с другой — низкое широкое кресло. Маленькая дверь вела в уборную. В большей, светлой части была антикамера, с зеркалами в золотых рамах стиля рококо, с камином, с часами на нем, с диваном с круглыми вальками и с креслами в холщовых белых чехлах.. Тут, боком к окну, стояло бюро Великой Княгини Высокая дверь вела из антикамеры в спальню Великого Князя.

Дни тянулись длинные, ничем не занятые, и тишина лесов томила. Вечером — свечей не зажигали — белые стояли северные томные ночи — в спальню к Великой Княгине входил Великий Князь. Он был в камзоле и в туфлях, с воло-

сами, убранными на ночь. Он широко, по-солдатски, шагал взад и вперед по антикамере и то задергивал, то отдергивал занавески. Екатерина Алексеевна в тонкой рубашке, пленительная молодостью и красотой, лежала с книгой в руке на постели. На ночном столике подле нее горела одинокая свеча.

— Ваше Высочество, когда я стану Государем, я буду строить замки... Как в Голштинии... Везде, по горам... вдоль реки... На живописных местах, где природа располагает к уединению и размышлению, я оные построю замки и установлю в них строжайший порядок... Вставать по барабану... Все делать по сигналам... Я населю оные замки... Я населю их?.. А?.. Да!.. Капуцинами!

— Кем, Ваше Высочество?.. Я не ослышалась?.. Монахами?..

— Да, Ваше Высочество, капуцинами!.. И я буду между ними самый главный... А?.. Что?.. Забавно?..

Он остановился против жены. Несказанно прелестная, с волнистыми каштановыми волосами, переброшенными на грудь, с горячим румянцем на щеках, Екатерина Алексеевна была перед ним на белых подушках. Великий Князь стоял над нею, заложив руки в карманы шелковых панталон, и смотрел куда-то в пространство. Безумие было в его узких серо-стальных глазах.

— Прусская дисциплина и муштра... Drill[1] — вот основа жизни моих капуцинов... Ваше Высочество, вы, однако, не слушаете меня...

— Я слушаю вас, Ваше Высочество.

— Ваше Высочество, мне кажется... Я думаю... Вас тоже надо муштровать...

— Но почему?.. Я не солдат... И не капуцин ваших замков.

— Вы невыносимо горды...

— В чем, Ваше Высочество, усматриваете мою гордость?..

— Вы слишком прямо ходите.

— Разве для того, чтобы быть угодною Вашему Высочеству, я должна ходить, согнув спину, как рабы Великого Могола?..

Великий Князь подошел вплотную к постели и нагнулся к лицу Екатерины Алексеевны.

— Вы очень злы!..— прошептал он. Отошел на другую сторону, сел в кресло, разделся и лег под одеяло.

Оба лежали неподвижно. В спальне было томительно тихо. Звучно тикали часы на камине в антикамере. Они пробили одиннадцать.

— Покойной ночи, Ваше Высочество!

---

[1] Муштровка *(нем.)*.

Великий Князь ничего не ответил. Екатерина Алексеевна приподнялась, опираясь на подушки, и заглянула в лицо мужа. Тот спал крепким сном. Великая Княгиня вздохнула и бронзовым колпачком погасила свечу.

Этим летом Великая Княгиня очень много читала. Сначала это были романы. Захар Григорьевич Чернышев таскал ей книги из Академии наук, прусский посол Мардефельд выписывал их для нее из-за границы. Она прочла «Tyran le blanc» Лакальпренеда, «Astree» Дурфе[1]. Она читала, как пастушок Селадон из-за несчастной любви к пастушке бросился в воду и как его оттуда извлекли прелестные нимфы. Подробно и неприлично описывались красоты обнаженных нимф и непонятная к ним холодность пастушка. Екатерина Алексеевна отрывалась от книги и смотрела в окно. Море было тихо. Чухонские лайбы по нему шли. Серые паруса, распертые косою райной, полоскались на легком ветру... Она читала роман госпожи Скюдери «Ibrahim ou l'illustre Bassa»[2], романы Гомбервилля «Polexandre» и «Alcidiane»[3], Шапелена «Pucelle»[4] и, наконец, «Lettres de Madame de Sevigne»[5]. Аккуратные маленькие томики в переплетах желтой кожи легко лежали в руке. Кругом была тихая природа и красота Ораниенбаумского парка. На катальных деревянных горах с гулким грохотом неслись тележки — ее фрейлины там катались... Оттуда доносился веселый смех, лай собак и резкий голос Великого Князя. С фрейлинами и, еще того больше, с горничными он умел быть весел и развязен. Жена его стесняла.

Романы скоро надоели Великой Княгине. Мардефельд привез ей «Историю Германии» отца Барра, записки Брантома и «Историю Генриха Великого» епископа Перефикса.

Великий Князь играл в кукольный театр, возился с собаками, бегал с фрейлинами и по вечерам неумеренно пил вино. Великая Княгиня все более зачитывалась историей Франции Генриха и задумывалась о прочтенном.

Оба строили воздушные замки. Великий князь для капуцинов, Екатерина Алексеевна — для блага России.

Вдруг поднимет она голову от книги. Упрямый подбородок смыкает красивый овал лица. Глаза устремлены куда-то вдаль. Она ничего не видит, что перед нею, она унес-

[1] «Белый властитель», «Астрея» *(фр.)*.
[2] «Ибрагим, или Знаменитый Басса» *(фр.)*.
[3] «Поликсандр» и «Алкидиана» *(фр.)*.
[4] «Девственница» *(фр.)*.
[5] «Письма мадам де Савинье» *(фр.)*.

лась далеко, и яркие, свежие губы шепчут, точно затверживая урок на всю жизнь:

— Желаю и хочу только блага стране, в которую привел меня Господь!.. Слава страны — моя слава!

Заложив пальцем поразившее ее место в книге, Великая Княгиня ходит взад и вперед по комнате. Осень... Через открытое настежь окно сладко пахнет опавшими листьями. Снизу из галереи несется тяжелый топот, грохот барабана и резкие выкрики Великого Князя.

— Я хочу, чтобы мои подданные и моя страна были богаты.

«Там, там, там-та-там» — бьет барабан. Фрейлина Голицына звонко смеется внизу.

— Свобода — душа всего на свете,— шепчет, остановившись у окна, Екатерина Алексеевна. Она морщится от барабанного боя и резкого смеха девушек...

— Без свободы все мертво. Повиновение законам... Вот смысл государствования... Не хочу рабов...

— Палками!.. Палками забью скотину! — кричал, задыхаясь, Великий Князь.— Левая нога — правая рука!

— Общая цель — сделать счастливыми... И тут — не своенравие... не чудачество... отнюдь не жестокость... Все сие несовместимо со свободой...

За парком море в графит ударяет, парчою переливается. Белые валы по нему сверкают. Туго надув паруса, с попутным западным ветром идут в Петербург последние корабли.

— Власть без доверия народа — ничто,— сама себе говорит Екатерина Алексеевна.— Легко достигнуть любви и славы тому, кто сего сам желает. Примите в основу ваших действий, ваших постановлений благо народа и справедливость... Справедливость прежде всего... никогда неразлучных — и получите желаемое. Если ваша душа благородна — ваши поступки не могут быть подлыми. Стать благородной — вот жизненная цель...

Екатерина Алексеевна отошла от бюро. Там у нее лежит заветная тетрадь, куда она заносит все поразившие ее мысли. Она достала ее и взялась за перо.

«Там, там, там-та-там» — бил внизу барабан, дико и грубо ругался Великий Князь.

— Запорю, русская скотина!.. Свинья!..

В комнате Великой Княгини была торжественная и будто печальная тишина.

«У меня были хорошие учителя,— писала Екатерина Алексеевна по-французски,— несчастие с уединением...»

II

Государыня Елизавета Петровна приезжала к молодым редко, но, имея петровский глаз, все видела и женским сердцем чутко понимала, что неблагополучно в молодом хозяйстве.

— Много читаешь, мой маленький философ,— сказала она однажды, прощаясь с Великой Княгиней. Она стояла на высоком крыльце Ораниенбаумского дворца и, взяв Екатерину Алексеевну за подбородок, приподняла ее голову, и в самую душу заглянули прекрасные синие государынины глаза. Государыня покачала головой и тяжело вздохнула.

— А России пожеланный наследник скоро ли будет?..— спросила она.

Великая Княгиня смутилась и ничего не ответила.

— Идите, что ль,— сказала Государыня свите, а сама осталась с Великой Княгиней на крыльце. Она, казалось, любовалась широким видом на парк и на море, расстилавшимся перед нею. Внизу свита садилась на коней, соловый жеребец Государыни играл в руках у конюха, взвиваясь на дыбки, и заливисто ржал. Великий Князь смеялся внизу.

— А по ночам он что делает? — моргая глазом на Великого Князя, спросила Государыня.

— Спит, Ваше Величество,— тихо сказала Екатерина Алексеевна и, точно оправдываясь, добавила шепотом: — Ваше Величество, не подумайте чего-нибудь. Я проверила себя — я наклонна и привычна к исполнению своих женских обязанностей.

— И что же?.. Он спит?..

— Спит, Ваше Величество.

Государыня пожевала губами, сложила их сердечком и быстро спустилась к лошади. Великая Княгиня провожала ее. Государыня, сев в седло, гибко нагнулась, поцеловала племянницу и сказала.

— Ну, милая, все сие переменить придется... Я полагала, весна, лето... Небось как соловьи-то пели! Ораниенбаум — красота несказанная... Воздух какой!.. Где же еще любовью-то заниматься?.. Выходит по-иному. Учить и сему придется. Прощай, Катиша, и не огорчайся. Все придет в свое время.

Колыхаясь полным станом, Государыня поскакала галопом по широкой аллее.

И только приехала в Петербург, сейчас же вызвала к себе Бестужева. Взволнованная, раскрасневшаяся, возбужденная долгой ездой, в запыленном мужском кафтане, с хлыстом в руке, она встретила канцлера с решительным видом.

— Послушай, Алексей Петрович, и запиши, что буду говорить. Ну, милый мой... Была я у наших молодых. Не то ожидала найти... Ерунда одна, и так дальше продолжаться никак не может... Все игры... Шутки, совсем Великого Князя недостойные... Так вот что: немедля прикажи — пьяниц лакеев убрать — не для Великого Князя общество хамов. А им обоим пиши... Как бишь назвать бы поаккуратнее... Пиши — инструкцию.

Бестужев знал хорошо государынин нрав. У нее потехе отдавалось время, а делу — час, да зато — какой это был час!.. Земля горела под ее ногами. Она то садилась, то вставала и ходила по комнате, мысль неслась, и по-петровски сочен и чеканен был язык ее приказов и записок. Но и он удивился. Им инструкцию?.. Какую им инструкцию?.. Им никакого дела другого не было дано, как приготовить «России пожеланного наследника»... А для этого какая могла быть инструкция?.. Выдумает Ее Величество! Он взял лист бумаги, обмакнул в чернильницу перо и приготовился писать.

— Его Высочеству надлежит ежечасно помнить,— ходя по комнате, диктовала Императрица,— кто он... Не являть ничего смешного, ниже притворного и тем паче подлого в словах и минах...

Императрица остановилась посередине комнаты и хлопнула себя по бедрам.

— Господи!.. В кого он таков уродился?.. Сестрица Анна была образец благонравия... Разве что Голштинский?.. Золото!.. Пиши дальше: удерживаться от шалостей над служащими, от неистовых издевок над бедными лакеями, от всякой с ними фамильярности... Постой!.. Забота!.. Нашел с кем играться?.. В галерее при мне горничную за мягкие мяса щипал... Возможно ли?.. Мальчишка!.. Пиши: не позволять ему, притаскивание в комнаты всяких непристойных вещей — палок, ружей, барабанов... Дворцовые покои не лагерь солдатский и не кордегардия... Я, милый мой, сам, поди, знаешь, как солдат обожаю, но того не позволю, чтобы барабаны по постелям валялись. Пиши дальше: наблюдать, чтобы Их Высочества показывали истинное усердие к православной греческой вере не токмо для вида, но и наиглавнейше внутренно и действительно... Он в церкви стоять не умеет, все вертится да оглядывается. Она стоит хорошо, а что внутренно, в душу ее не заглянешь?.. Теперь главное, что меня так заботит. Ох, сумею ли выразить... Ты, ежели что найдешь нужным, поправь, но не смягчай... Так вот, пиши: понеже Ее Императорское Высочество достойною супругою дражайшего нашего племянника избрана и оная в нынешнее достоинство Императорского Высочества не в

каком ином виде и надеянии возвышена, как токмо дабы своим благоразумием, разумом и добродетелями Его Императорское Высочество к искренней любви побуждать...

Государыня перестала диктовать и, подойдя к Бестужеву, смотрела через его плечо, что он написал.

— Добродетелями?.. То-то закавыка!.. Какие там добродетели!. Его к тому добродетелями не побудишь... Ему — горничные, щипки да смешки, вот какие добродетели у него на уме. А как иначе выскажешь? Нет, уж пиши. Пусть сама догадается!.. Добродетелями сердце его привлещи и тем Империи пожеланный наследник и отрасль нашего всевысочайшего Императорского Дома получена быть могла. А сего без основания взаимной, истинной любви и брачной откровенности, а именно: без совершенного нраву его угождения, ожидать нельзя... Вот, Алексей Петрович, казалось, какие пустяки, а выходит и совсем трудное дело. Я Ее Высочество спрашиваю, ну что же ночью?.. «Спит»,— говорит... Спит!! Надо нраву его угождение показать!.. А у него, чертушки, нрав — от неистовой!

— Кому же, Ваше Величество, оную инструкцию передать повелите?..

— Двоюродной сестре моей, Марии Симоновне Чоглоковой, рожденной Гендриковой... Кому же больше?

— Молода, Ваше Величество.

— Точно, что молода. Всего на четыре года старше Ее Высочества, семнадцати лет, как и Ее Высочество, замуж выдана, а уже сколько детей! Вот это позавидовать можно. Почти каждый год ребеночек... И сама красива из себя, строга в поведении, образец добродетели... Он, конечно, шалопай, волокита, так и то в его положение войти нужно, когда жена его постоянно в таком положении. Так вот, пусть Чоглокова всегда за Великою Княгинею следует, устраняет возбуждающую фамильярность с придворными кавалерами, пажами и лакеями.

— Лакеями, Ваше Величество?.. Нужно ли оное писать?..

— Приходится, Алексей Петрович, не скажу, чтобы что-нибудь было, а только Ее Высочество слишком добра к простонародью. Помнишь, в Петербурге был у нее лакей, Андрей Чернышев, в Летнем доме? Великие Князь и Княгиня его все «сынком» называли. Граф Петр Антонович Девьер доносил мне, что он подглядел, как оный Андрей не так чтобы с должным почитанием с Великой Княгиней говорил, и она-де ему улыбалась.

— Как же, Ваше Величество. Всех трех братьев Чернышевых тогда «с пристрастием» допрашивали в Рыбачьей слободе, однако ничего не дознали. Симон Тодорский Ее Вы-

сочество на исповеди спрашивал и тоже нашел чистой и безвинной.

— Да знаю, все знаю, а все-таки пусть Мария Симоновна наблюдает и не допускает смелости кого бы то ни было Ее Высочеству на ухо шептать, письма, цедульки или книги тайно отдавать... Слишком много читает она. Женское ли дело? Инструкцию сию прикажи перебелить и за своей подписью передай Марии Симоновне с моим рескриптом о назначении ее гофмейстериной к Ее Высочеству.

Государыня вздохнула и тяжело опустилась в кресло.

— Старею я, Алексей Петрович... Вот и полнеть что-то не в меру начала... Как сестрица Анна... Не к добру все сие. И тяготит меня, как папеньку, забота...— Она помолчала и с печалью договорила: — Не чертушке же Россиею править!..

III

Весною 1749 года Екатерина Алексеевна с Великим Князем ездила в Перово к Алексею Григорьевичу Разумовскому. Там были долгие и утомительные охоты на току и на тяге. Великая Княгиня, нигде и ни в чем не желавшая отставать от Государыни, на току, подкрадываясь по болоту к тетеревам, промокла, простудилась, занемогла, скрыла болезнь, больная ходила в сырой вечер на тягу вальдшнепов и окончательно слегла.

Государыня трогательно за нею ухаживала, Мария Симоновна не отходила от постели больной, здесь, во время болезни, Великая Княгиня забыла менторский тон своей гофмейстерины, ее подглядывания и подслушивания, ее колкие замечания, простила ей все, и между ними началась тихая и нежная женская дружба и любовь. Они поняли друг друга.

Как только Екатерина Алексеевна поправилась, заболела Государыня. У нее начались мучительные припадки спазм. Государыню на руках перенесли из Перова в Москву, и она дала обет, когда поправится, совершить богомолье в Троице-Сергиеву лавру.

Молодой двор в богомолье не участвовал. Их Высочества переехали на Троицкую дорогу в имение Чоглоковых — Раево, близ Тайнинского.

Раевский дом — не дворец и не помещичья усадьба. Это была простая дача, низко, почти без фундамента, стоявшая на земле. Всего три ступеньки отделяли широкую веранду от сада. Веранда была заплетена турецкими бобами, повителью и хмелем и в солнечные дни золотой, в пасмурные

дни зеленый сумрак в ней стоял. Простой деревянный пол был покрыт коврами, стояли вдоль стен растения в кадках и легкая дачная мебель. С веранды дверь вела в зал, где и совсем было сумрачно. Там была низкая мягкая мебель, широкие кресла резного дуба по парижским рисункам, крытые зеленым крепким штофом, круглые столы, на которых всегда валялось чье-нибудь рукоделье, ломберные столы, по углам на подставках были высокие бронзовые канделябры со свечами и в углу — новинка — орехового дерева клавикорды. Пять дверей вели из залы по комнатам и в коридор. Комнаты были маленькие, низенькие, тесно заставленные пузатыми приземистыми комодами с выдвижными ящиками, туалетными столами с наклонным выдвижным зеркалом, кроватями с высокими душными пуховиками. В комнатах было темновато, и в них всегда прохладная сырость стояла: ветви кустов сада прямо в окна лезли. У мужчин пахло в комнатах собаками и табаком, у дам — парижскими духами и ладанной монашкой. Было тесно. На даче разместились Великая Княгиня с мужем, девица Кошелева, княжны Голицыны, княжны Гагарины, Мария Симоновна Чоглокова с мужем и детьми, с мамками и няньками, Лев Нарышкин, Петр Иванович Репнин и Бестужев-Рюмин. Да почти каждый день наезжал из своего имения Петровского, бывшего по ту сторону Москвы, Кирилл Григорьевич Разумовский, недавно женившийся на Екатерине Ивановне Нарышкиной.

На даче, в тесноте маленького, уютного помещения, в красоте московского лета воцарилось веселое безделье. После ораниенбаумского уединения Екатерина Алексеевна оказалась всегда на людях, в шумной беседе, на веселых общих прогулках, когда много было смеха, шуток, остроумных замечаний и песен. Кругом была только молодежь. Старшим — Чоглоковым едва минуло по тридцати лет. Обилие красивых молодых женщин, всегда прекрасно одетых, с неуловимым кокетством игравших в жмурки, в серсо или мяч, сытая, праздная жизнь среди красивой природы создали на раевской даче атмосферу влюбленности, и скоро Екатерина Алексеевна почувствовала, что центром этой влюбленности была она сама. И это ей было приятно и развлекало ее. Самый некрасивый, но и самый влюбчивый и опытный в делах Амура Петр Чоглоков столь недвусмысленно стал ухаживать за Великой Княгиней, что той пришлось поставить на место мужа своей гофмейстерины и пригрозить ему жалобой его жене. Он скоро утешился со скромной, робкой и застенчивой фрейлиной, девицей Кошелевой.

Кирилл Разумовский являлся каждый день, то с громадным букетом роз, то с корзиной невиданных фруктов, то

с коробкой конфет. В богатом кафтане, в пудреном парике, румяный, круглолицый, он застенчиво подносил подарок Великой Княгине и уже до самого вечера не отходил от нее. Он получил воспитание за границей, никто бы не признал в нем простого казацкого сына. Он млел перед Великой Княгиней, не смея открыть ей свои чувства, боясь ее острого слова, боясь больше того ее равнодушия.

Кругом страстными шепотами любовь шепталась. По вечерам, в глубине сада, в беседке вздохов, таинственные зажигались огни, и молодая компания затевала перекличку, чтобы узнать, какая пара там уединилась.

Строгая матрона Мария Симоновна не устояла в этом вихре любви и таяла под влюбленными взглядами Петра Ивановича Репнина. Она забыла тон строгой менторши и свою безупречную репутацию и избрала своей конфидентской Великую Княгиню.

Казалось бы, в этой атмосфере вздохов, пойманных поцелуев, шаловливых намеков должна была б родиться настоящая любовь и между Великим Князем и его женой, и государынина «инструкция» могла бы быть в полной мере выполнена так, чтобы «России пожеланный наследник» мог появиться на свет.

Но в этом раевском любовном огне холодным оставались только они. Великий Князь по-прежнему шалуном-мальчишкой бегал, суетился, ухаживал за всеми фрейлинами, щипал горничных, строил гримасы Чоглоковой, подглядывал за любовными парочками, смеялся над ними, одно время даже вздумал ревновать жену к Чоглокову, но сам к жене по-прежнему был холоден, язвителен, строг и недоброжелателен

IV

Амур, казалось, свил себе прочное гнездо при Молодом дворе, но преопасные стрелы его не ранили Великую Княгиню. Из Раева перекочевали в Москву, а на зиму вернулись в Петербург, и все было то же: игра словами, французские стишки, остроумные буриме, «почта влюбленных», когда пажи разносили от одного к другому девизы — красивые бонбоньерки, то в виде сердца, то в виде апельсина, и в них были вложены нежные записочки с объяснениями в любви.

Теперь это называется флиртом, тогда этого слова не знали, но сущность была та же самая — любовь, нежное ухаживание, украденные поцелуи.

Екатерина Алексеевна оставила ученье, чтение философов и историков — у нее тоже на уме были шалости и

шутки. И так в праздности и безделье прошло два года. Великой Княгине шел двадцать третий год. Она была в полном расцвете ее особенной, не блестящей, но несказанно милой красоты. Чоглоков был без ума от нее, и ухаживания его уже не на шутку раздражали Великую Княгиню. Кирилл Разумовский был постоянен в своем молчаливом преклонении перед нею, и только Великий Князь точно ничего не замечал. У него было увлечение — ветреная и глупая девчонка, новая фрейлина Екатерины Алексеевны — Елизавета Романовна Воронцова.

Стрелы Амура по всем направлениям носились и все не попадали в Екатерину Алексеевну, все не ранили ее невинное молодое сердце. Мария Симоновна была в отчаянии. Она знала, что Государыня серьезно гневалась, что заботливо ею составленная инструкция была пренебрежена и не выполнена.

В эту зиму ко двору Великой Княгини был назначен новый камергер, молодой еще человек — Сергей Васильевич Салтыков.

На представлении его Великой Княгине Екатерина Алексеевна задержала свой взгляд на свежем, гладко выбритом лице молодого человека. За ним стояла сияющая, праздничная какая-то Мария Симоновна. Весь вид ее говорил: «Ну что, ужели не угодила?.. Посмотрите, какой херувимчик и какой вместе с тем смелый, отчаянный человек...»

— Как поживает ваша жена?..— спросила Великая Княгиня.— Я давно не вижу при дворе Матрену Павловну.

— Благодарю вас, Ваше Высочество, моя жена чувствует *себя совсем хорошо*.

И оба замолчали. Точно легло между ними что-то новое, не испытанное еще Великой Княгиней. Екатерина Алексеевна вдруг вспыхнула, протянула руку Салтыкову и неожиданно кончила аудиенцию.

Едва Салтыков вышел из зала, Мария Симоновна подошла к Великой Княгине и вкрадчиво спросила:

— Ваше Высочество, как понравился вам наш новый камергер?..

— Очень... Он прекрасен, как день. Мне кажется, что лучше, умнее и красивее его нет никого не только при нашем, но и при Большом дворе.

— О!.. Ваше Высочество!.. Не только это... Он знатнее всех. Вы знаете, Салтыковы в свойстве с Императорским Домом. Мать Императрицы Анны Иоанновны из рода Салтыковых.

— Oh, c'est formidable!..[1] А какая красавица его молодая жена.

[1] Ах, это поразительно!.. *(фр.)*

— Вы помните ее? Брак по любви... И кто бы подумал...

— А что?

— О, пустяки! По городу эхи бродят. Не ладно живут молодые Салтыковы.

— Oh, c'est epouvantable!..[1] Как любят у нас такие сплетни...

— Ваше Высочество, мир на сем стоит. Делать нечего, вот и перемываем друг другу косточки.

С этого дня Салтыков стал ежедневным посетителем салона Великой Княгини и участником всех игр ее Молодого двора. Он не скрывал своих чувств к Великой Княгине, и однажды при игре в почту маленький паж подал Великой Княгине девиз — картонный апельсин, очень искусно сделанный. В нем было настоящее объяснение в любви. Это не понравилось Великой Княгине, показалось ей дерзким и неуместным. Великая Княгиня отозвала Салтыкова в угол гостиной. Ее лицо пылало от гнева и смущения, она начала по-французски выговаривать дерзновенному. Салтыков слушал Екатерину Алексеевну, не спуская с нее смелых красивых глаз:

— Простите, Ваше Высочество... Я не думаю отказываться от того, что вам писал. Все — правда. Я вас люблю.

— Люблю!.. Люблю!.. Это слово повторяется при мне постоянно. Но что из этого?.. На что вы рассчитываете?..

— На взаимность... Ваше Высочество!

— Опомнитесь, граф... Вы знаете, кто я...

— Ваше Высочество, я не посмел бы ничего сказать... ни позволить себе, если бы не верил в силу любви... Она всемогуща... Ваше Высочество, живешь один раз... Подумайте, надев мужской костюм, накинув плащ... Кто вас узнает?.. Никем не замеченная... Вы чувствуете, сколь многи и разнообразны наслаждения любви, сопряженные с опасностью...

— Молчите... Стыдитесь, граф... Мне ли вы говорите сие... Подумали ли вы о вашей прелестной жене, на которой, говорят, вы женились по страсти?.. И она так любит вас и так вам преданна... Что сказала бы она, если бы услышала ваши слова?..

— Ваше Высочество, ни вы, да и никто не знает правды в наших семейных делах... Мы умеем скрывать то, что у нас происходит.

— Как?! Вы станете утверждать, что вы не любите вашей жены? Полно, граф, непозволительная страсть ослепляет вас.

— Не все то золото, что блестит, Ваше Высочество. За минуту ослепления я дорого заплатил.

— C'est formidable!.. Стыдно так говорить.

[1] Ах, это ужасно!.. *(фр.)*

— Ваше Высочество, когда узнаешь подлинную любовь всякая другая меркнет, гаснет, исчезает и остается пустое и страшное место. Я как путник в пустыне, я жаждал и вдруг увидел прекрасный родник. Я хочу прильнуть к нему жадными устами и пить хрустальную живую влагу красоты и ума...

— Вы слишком дерзновенны, граф.

— Пускай!.. Я люблю вас — оным все сказано и все оправдано.

— Скольким красавицам вы говорите так.

— Одной вам, Ваше Высочество, ибо краше вас не знаю.

— Оставьте, граф. Вас не переспоришь. Наш разговор слишком долог. Великий Князь смотрит на нас...

Великая Княгиня в негодовании встала и пошла в другой угол гостиной, где играли в лото. Великий Князь поднял от фишек глаза на нее. Странен и тяжел был его взгляд, Великая Княгиня прочитала в нем ревность, и первый раз она опустила глаза перед мужем.

Наступил сентябрь — время полеванья — охотничьих утех. Чоглоков устроил на Крестовском острове охоту на зайцев. Из Летнего дворца Великая Княгиня и приглашенные охотники отправились на остров на шлюпках.

В золотой оправе осенних берез стоял крестовский лес. Запах сухого листа, мха, грибов и свежесть широкого взморья опьяняли. День на редкость был красив. Издали повизгивания собак и ржанье лошадей были слышны. Великая Княгиня задержалась с посадкой на лошадь, и только паж оправил ее амазонку, как затрубили рога, подала голос гончая, к ней примкнула другая с подвыванием, и охота, увлекая за собою неопытного пажа, понеслась, погнала по лисице. Екатерина Алексеевна осталась одна и, не желая скакать, шагом поехала по тонкой зеленой просеке. Сзади нее кто-то нагонял ее карьером. Думая, что это кто-нибудь из доезжачих, Великая Княгиня не оглядывалась. Лошадь нагнала ее и круто была осажена.

— Ваше Высочество!..

На широком нарядном турецком караковом жеребце рядом с нею оказался Салтыков в шелковом дымном кафтане.

Рога далеко звучали, и слышно было, как неслись за лесом охотники. Вокруг Великой Княгини было как в запертом храме. Тишина и безлюдье. Неслышно по мокрому мху ступали лошади. В глубине просеки ложился туман. Голова кружилась от свежего, напоенного лесным ароматом воздуха. Не думая ни о чем, Великая Княгиня ехала рядом с Салтыковым.

— Ваше Высочество, не будьте слишком жестоки. Верю в вашу милость. Вот вам моя голова... Никто никогда не

узнает о том счастье, которое вы мне подарите. Верьте — я умею хранить тайну.

Великая Княгиня молчала. Молодой густой лес непроницаемой стеной отделял их от охоты. Острее и сильнее был запах потревоженного конскими ногами мха и гриба.

— Ваше Высочество, не губите меня. Успокойте мою страсть.

Великая Княгиня низко опустила голову

— Ваше Высочество, дайте хотя уверенность, что вы не совсем равнодушны ко мне... Я чувствую, что это так...

Великая Княгиня подняла голову. Ее глаза сияли. В них была любовь, которую уже не могла она скрыть. Но она владела собою. Холодно, спокойно и строго она сказала:

— Граф, подумайте только о том, что вы себе позволяете говорить... И кому?.. Я не стану мешать вам строить ваши воздушные замки... Вы можете наслаждаться вашими фантазиями, сколько вам угодно, но меня я попрошу вас оставить в покое.

— Ваше Высочество, вы любите другого...

— Я — жена Великого Князя... И довольно.

— А нет... Нет... Это не то... Не то... Вы любите другого.

— Оставьте меня.

— Неужели я хуже Чоглокова?

— Полноте, граф. Вы сами знаете, сколь вы милы и дороги моему сердцу.

— Кирилл Григорьевич?..

— Ценю в нем его прямоту, честность и верность мне... Он к тому же не чета вам — примерный муж и семьянин. Берите с него пример.

— Лев Нарышкин?

— Мне нравятся его милые шутки. С ним весело, и он не мучит неуместными и непозволительными объяснениями в любви.

— Неужели толстый Большой Петр?

— Он хорошо поет.

— Да... у каждого таланты!.. Но... скажите все-таки?.. Захара Чернышева вы любите больше, чем меня?..

— Вы несносны. Настойчивость ваша меня изводит. Ну, хорошо, я скажу вам: вы нравитесь мне больше других. Что из этого?.. Я прошу вас оставить меня. Что могут подумать обо мне?.. Наше отсутствие вдвоем может быть замечено и дурно истолковано. Вы знаете, как люди злы.

— Марии Симоновны здесь нет и некому доносить и сплетничать.

— Вы забываете, что у меня есть муж, что он здесь и что вы — соперники. Он влюблен в меня больше вашего.

— Н-ну!.. Скажите мне... Одно...
— Ничего не скажу — уезжайте...
— Я не уеду от вас до тех пор, пока не услышу от вас самих, что вы неравнодушны ко мне.
— Да... да... Только убирайтесь...
Екатерина Алексеевна звонко и весело смеялась.
— Хорошо, запомните — слово дано...
Салтыков дал шпоры и помчался к опушке.
— Нет!.. Нет...— крикнула ему вслед Великая Княгиня.
— Да!.. Да!..— донеслось до нее с опушки.

V

Государыня потребовала к себе Чоглокову. Мария Симоновна догадалась — ее ожидал разнос. Если разнос будет по-французски — это ничего, но если по-русски — она сильно провинилась перед Государыней,— тогда хоть и не оправдывайся.

Разговор начался по-русски. Мария Симоновна опустила глаза и сделала самое смиренное лицо.

— Что сие, матушка,— гремела ворчливым голосом Государыня.— Великий Князь мне жаловаться изволил, что Великая Княгиня с Салтыковым обманывает его и смеется над ним... Твой муж колпак и кругом тебя сопляки, которые вовсе ничего не смотрят.

Когда пошли такие выражения — возражать и оправдываться было бесполезно. Мария Симоновна ниже опустила голову и сложила на груди прекрасные белые руки.

— Ты смотри у меня... Я не для того тебя в гофмейстерины поставила, чтобы Великого Князя в обиду соплякам давала. Не дура, слава Богу, сама детей имеешь, понимать должна, что можно и чего нельзя. Шестой год идет, что Великая Княгиня замужем, а где он, России пожеланный наследник? Ты меня поняла, надеюсь?..

— Поняла, Ваше Величество.

— Ну, ступай. Да приструнь всех сопляков. Пора делами заниматься, а не амурной болтовней.

Из государынина кабинета Чоглокова прошла к покоям Великой Княгини и, неслышно отворив дверь, вошла в комнату.

Великая Княгиня сидела с книгой в кресле... Она посмотрела на гофмейстерину, заложила пальцем страницу и прикрыла книгу. В ее глазах был вопрос.

— Ваше Высочество, простите, без доклада... Я к вам от Ее Величества. Я имела сейчас пренеприятный разговор с Ее Величеством. Разговор был о вас.

— В самом деле?.. C'est interessant!..[1] Чем я провинилась?

— Великий Князь на вас жаловался.

— Да?..

— Он говорил, что Ваше Величество часто бывает в обществе графа Салтыкова.

Великая Княгиня пожала плечами.

— Что тут удивительного — он мой камергер... Всегда притом же на людях. Я никому не жалуюсь, что Великий Князь откровенно строит куры Воронцовой.

— Ваше Высочество,— вкрадчиво и таинственно зашептала Мария Симоновна,— вы меня знаете не первый год. Вы можете мне доверять. Я — мать... У меня большая семья. Вы понимаете, что я могу быть вам полезной. Для взаимной любви и облегчения супружеских уз нужно уметь прощать друг другу случайные увлечения. Они неизбежны. Положение ваше, как Великой Княгини, не из легких. Когда мы, простые смертные, не имеем в супружестве детей — это грустно и тяжко, но это простительно. Вы — супруга наследника Российского престола, и Ваше Высочество поймете меня, когда я вам скажу, что первейшая обязанность ваша есть — иметь сына...

— Мария Симоновна, я тоже всегда была до конца откровенна с вами. Оное не от меня зависит. Супружеские узы священны.

— Ваше Высочество, бывают положения, которые обязывают... Любовь к отечеству должна быть превыше всего. Она должна превозмочь все и обойти все препятствия. Король французский, говорят, не мог иметь детей, но у него были дети... Я надеюсь, что вы меня понимаете?

— Я не хочу вас понимать, Мария Симоновна, и я хотела бы не слышать того, что вы мне сейчас сказали. Оставим сей разговор.

Великая Княгиня отошла к окну и стала спиною к своей гофмейстерине. Она, видимо, была сильно взволнована и смущена.

— Ваше Высочество,— настойчиво продолжала Мария Симоновна,— верьте... Ничего худого... Дело такое простое. Прямо сказать — житейское дело... Сколько кругом вас нашей блестящей и прекрасной молодежи и все молодец к молодцу... Ужели, Ваше Высочество, никто вам не понравился?..

— Они мне все дороги, и я их всех равно люблю и жалую.

— Ах нет!.. Не то, не то!.. Равно всех любить нельзя. Всегда есть кто-то, кто любезен нашему сердцу больше других. И

[1] Это интересно!.. *(фр.)*

мать детей как будто равно любит, а все есть один... любимчик.

— У меня такого нет.

— Ваше Высочество, я предоставляю вам выбор между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Скажите мне только одно слово, и, верьте, с моей стороны затруднений не станет.

Великая Княгиня быстро повернулась к Марии Симоновне. Был прям, долог и пронзителен ее взгляд. Чоглокова выдержала его, не смутившись.

— Если я не ошибаюсь, ваш избранник Нарышкин?

— Нет... Вовсе нет... Оставьте меня, Мария Симоновна.

— Ну, если не Нарышкин, то, конечно, Салтыков.

Мария Симоновна с высоко поднятой головой вышла из комнаты Великой Княгини. В дворцовом коридоре ее ожидал Бестужев.

Он взял ее за руку и притянул к себе.

— Ну что?..— прошептал он нетерпеливо.

— Салтыков, конечно,— сказала Чоглокова холодно и бесстрастно.

— Так вы скажите комнатной горничной Владиславовой,— шептал прерывистым шепотом Бестужев,— чтобы она... Понимаете... Кротка, как агнец, и готова... на все услуги... За мною, скажите, не станет... Оное надо же как-нибудь кончать. Государыня не на шутку гневается. Могут быть от того большие перемены... Вы меня понимаете?..

Лицо Бестужева было необычно красно. С пухлых губ срывалась слюна.

— Я вас отлично понимаю, Алексей Петрович... Стараться буду... А за успех?.. Ручаться не могу... Сами понимаете, какое деликатное дело.

— Будет... Будет и успех,— кивая головою и освобождая руки Марии Симоновны, громко сказал Бестужев и неслышными шагами заскользил по дворцовому коридору.

VI

«...Ужели в мужском костюме и с маскою на лице, прикрывшись епанчою, искать любовных утех с графом Сергеем Васильевичем?.. Позор!.. И... Унижение!..»

Все ее штеттинское воспитание, строгая школа отца, человека высоконравственного, солдата в жизни, человека долга, суровая выучка Фридриха, короля прусского, были против этого. Беседы о браке с Симоном Тодорским вставали в памяти и возмущались против такого простого решения вопроса. Лицо пылало, и вдруг вспомнились читан-

ные в ораниенбаумском уединении французские романы, легкая игривость любви и те эхи, что, возмущаясь и восхищаясь, передавали ее фрейлины о всех знакомых и даже о самой Императрице. И сердце билось и трепетало любовью к милому, настойчивому и смелому Салтыкову.

Кругом — сотни глаз и ушей... Тысячи уст шептунов, сплетников и клеветников. Иностранные посланники через наемных шпионов и лично следили, подглядывали и подслушивали все, что делалось при дворе, чтобы донести своим правительствам, падким особенно на альковные тайны. Все то, что могло как-то унизить русский двор, выискивалось, выслеживалось и покупалось за большие деньги. И уже кто-то видел Великую Княгиню в мужском платье, в плаще, ночью у крыльца салтыковского дома, и кто-то шептал, что доподлинно знает, что горничная Владиславова впускала графа в опочивальню Великой Княгини.

Эти слухи, эти сплетни, эта клевета, от которой никак не отряхнешься, доходили до Великого Князя, распаляли его ревность, и вдруг после стольких лет равнодушия к жене он воспылал к ней страстью и, прошедший школу любви у Воронцовой, уже не был холоден к прелестям взволнованной Екатерины Алексеевны.

На радость Государыни, на утешение шептунов и сплетников, готовых строить всяческие предположения, Великая Княгиня вдруг оказалась «в интересном положении». Она сама была этим смущена, не обращала на это должного внимания, продолжала выезжать, вести светский образ жизни, много танцевала, ездила верхом, скакала на охотах и на третьем месяце выкинула... Прошло немного времени, она опять стала беременна и снова выкинула..

На святках 1753 года Великая Княгиня призналась тетке, что она опять ожидает ребенка. Та взволновалась и окружила Великую Княгиню полным покоем. Однако как ни старалась Государыня оберечь племянницу от всякого волнения, ей это не удалось. Болезнь Великой Княгини протекала в заботах и огорчениях. Любимая ее фрейлина, тихая, исполнительная и застенчивая княжна Гагарина — казалось, она так преданна Великой Княгине, что готова навсегда остаться старой девой, только чтобы быть поближе к своей госпоже,— в апреле неожиданно вышла замуж за Матюшкина. Еще не отдохнули от танцев и плясов на свадьбе, как надо было ходить на панихиды. Внезапно тяжело занемог и умер гофмаршал Чоглоков. К беременной Великой Княгине гофмаршалом был назначен Александр Иванович Шувалов.

«Кто это сделал?.. Кто?.. Кто?..» — думала, плача, Екатерина Алексеевна Она не терпела Шувалова. Тот долгое вре-

мя был начальником Тайной канцелярии, в городе его боялись. Курносый, уродливый, краснолицый, обрюзгший от страшных кровавых ночей в застенке, страдающий нервным тиком в правой стороне лица, он был противен Великой Княгине. Когда он волновался, а волновался он всякий раз, как говорил с Великой Княгиней, отвратительная гримаса искажала его лицо, и Великой Княгине все казалось, что этот курносый нос, коверкающая лицо судорога передадутся ребенку, которого она ожидает.

До июня 1754 года Большой и Малый дворы жили вместе в Москве, в июне переехали в Петергоф, а в конце августа, когда наступила дождливая погода, западные ветры взбугрили Финский залив и сыро и холодно стало в дворцовых покоях, Государыня вернулась в Петербург, в Летний дворец. По воле Государыни Великую Княгиню перевели с половины Великого Князя на половину Императрицы. Здесь, в конце дворца, ей приготовили две угловые комнаты.

Это были скучные, скудно меблированные и неуютные горницы. Окнами они выходили на двор и на Фонтанку Стены были обиты пунцовою камкою, удобств никаких не было. Старые печи дымили, с Фонтанки несло сыростью и гнилью. Курительные монашки, пахнущие ладаном, лавандовая французская вода, восточная амбра — все это, любимое Императрицей Елизаветой Петровной, придававшее ее великолепному и величественному образу восточный аромат арабских сказок, доводило Великую Княгиню до тошноты и головокружения. Обстановка казалась Екатерине Алексеевне больничной и тоскливой, напоминала ей непрестанно о ее положении и наводила на тяжелые, мрачные мысли Посетителям ходить к ней надо было через половину Государыни, и многих это стесняло.

Опять настало одиночество, от которого она за последнее время стала отвыкать. Снова был достан дневник и забытые книги Вольтера, французских философов и энциклопедистов. В темные, жуткие, одинокие вечера, тянувшиеся без конца, Великая Княгиня много думала о будущем. Она родит... Теперь, с каждым прожитым днем, она чувствовала, что на этот раз роды пройдут благополучно, она родит все равно кого — сына или дочь. Этими родами она сама закрывала путь себе, ее мечты — «здесь царствовать одной» — были напрасными. По смерти Государыни царствовать будет Петр Федорович, кого она считала недостойным престола, о ком думала, что он не может дать счастия России, кого временами не только презирала, но начинала и ненавидеть. Потом будет царствовать ее ребенок... А она? Она уже не любила того, кого носила под своим сердцем.

Хмурая, темная, дождливая петербургская осень, с воем ветра в печных трубах, с ожиданием невского наводнения, пришла, и с нею появились первые боли, предвестники таинственного момента.

В Летний дворец привезли повивальную бабку Адриану Карловну фон Дершарт и поселили ее рядом с покоями Великой Княгини.

Ночью на понедельник, девятнадцатого сентября, Великая Княгиня проснулась от жестоких болей. Она лежала одна в полутемной комнате. Открыв глаза, с бесконечною печалью окинула она ими свою комнату. С утра принесенная и поставленная у наружной стены особая родильная кровать чернела у окон и казалась мрачным эшафотом. В углу у образов тихо теплилась лампадка. Свеча на ночном столике нагорела, черный фитиль согнулся кольцом, красное пламя низко мигало, вонючий дым шел от него. И такая тишина стояла кругом, что было слышно, как кашлял часовой, стоявший наруже за углом у сада. Екатерина Алексеевна хотела поправить свечу, взяла щипцы с колпачком, но руки не слушались ее, щипцы навалились на фитиль, погасили свечу и со стуком упали на пол. Стало темно и страшно. Несколько мгновений Великая Княгиня лежала, тяжело дыша, на спине и чувствовала нестерпимую боль в пояснице. Она застонала — никто не отозвался на ее жалобный стон. Она хотела крикнуть и не могла. С трудом дотянулась она до шнура, висевшего над постелью, и потянула его. Резко в ночной тишине звякнул колокольчик. Шмыгая туфлями, из соседней комнаты появилась Владиславова.

— Зажги свечу,— простонала Великая Княгиня.— Попроси сюда Адриану Карловну. Мне кажется... Начинается...

Горничная зажгла высокий канделябр, засветила под образами венчальные свечи и пошла будить бабушку.

Фон Дершарт явилась в длинной тяжелой шали. Она сейчас же, несмотря на протесты Великой Княгини, вместе с Владиславовой перетащила роженицу на родильную кровать. На ней было холодно, жестко и неудобно лежать.Фон Дершарт поставила ширмы и послала на кухню за горячей водой.

— Скажи Ее Величеству,— сказал она Владиславовой,— Великая Княгиня скоро родит.

Екатерина Алексеевна слышала, как оживал и просыпался дворец. По коридору, за стеной, раздавались шаги, шепот, торопливо и точно испуганно сказанные слова, кто-то пробежал по лестнице.

Снаружи тихо шествовала холодная, осенняя петербургская ночь.

Великий Князь с заспанным, сердитым и недовольным лицом в небрежно накинутом кафтане пришел первым. Фон Дершарт замахала на него руками и зашипела по-немецки:

— Ваше Высочество, вам нельзя сюда, никак нельзя, нехорошо это.

Следом за Великим Князем появился страшный Шувалов, и они зашептались за ширмами. Великая Княгиня видела их сквозь щели ширм со своей родильной кровати. Они казались ей страшными фантомами. Высокий канделябр бросал от них трепетные тени на стену. По лицу Шувалова пробегала ужасная судорога. У Великого Князя глаза со сна были как щели, лицо мертвенно бледно, и Великую Княгиню не покидала мысль: «Ребенок будет похож на них...»

У кровати возилась фон Дершарт, она мыла руки, таскала с Владиславовой простыни, за ширмами пахло лавандой. Боли у Великой Княгини становились нестерпимыми.

Вдруг настежь распахнулись двери опочивальни. Высокая, полная — но и грациозная! — вошла в двери Государыня. В домашнем платье без фижм, причесанная и завитая без краски на лице, она казалась старше и серьезнее. Щеки были мягкие и дряблые, маленький, красивого рисунка рот был как увядающий цветок, и только синие, глубокие, громадные, сияющие, молодые глаза лучистым блеском горели. Горничная несла за Государыней канделябр. Государыня быстрым взглядом окинула собравшихся в комнате Великой Княгини людей и грубовато-ласково сказала:

— Ну, вы тут зачем?.. Вам тут совсем делать нечего... Коли так волнуешься, ступай в комнату Владиславовой и там и ожидай. Нагрешил, батюшка, теперь кайся.

Маленькой ручкой она толкнула в спину Великого Князя и выпроводила его из спальни.

— Смотри, ежели не наследник! Лучше тогда и на глаза не показывайся. Плохо будет!..

Государыня зашла за ширмы.

— Ну как, Адриана Карловна?..

— Все идет правильно... Как следует.. Ее Высочество молодцом.

Прохладной, свежей, надушенной рукой Государыня коснулась щеки Екатерины Алексеевны и точно сняла с нее ее боли и заботы. Великая Княгиня поцеловала руку Государыни.

— Мужайся, милая .. Не ты первая, не ты последняя страдаешь. Господом за первородный грех так установлено. Твой долг... Нам всем — великая радость... Господь милосерд...

Государыня подошла к божнице и опустилась на колени.

— Свечей,— прошептала она.

Владиславова подала Государыне пук восковых свечей, и та начала возжигать их и ставить, отбивая земные поклоны. Большая тень Государыни металась по стене и пугала Великую Княгиню.

— Схватки начались,— прошептала фон Дершарт.— Теперь скоро конец.

Государыня села в кресло подле племянницы.

— Молись Богу, Катиша,— сказала она.— Легче станет. А уже не в силах будет терпеть — кричи... Люди говорят — помогает.

И стало томительно тихо. Слышно было, как плескали волны Фонтанки. Казалось, что вот тут, совсем подле будет и вода. Елизавета Петровна сидела, опустив голову на грудь, и думала: «Отец дворец-то строил... Батюшка воду любил. Голландию вспоминал... Каналы... И кто сейчас рождается?.. Правнук его!.. Правнук!.. Анны Петровны сына сынок... Поди, батюшкина-то душа радуется... А вдруг да девочка?..»

Она пожевала губами, печально покачала головою.

«Как все сие сложно!.. Как трудно... Ужели за Иваном Антоновичем тогда посылать?.. Малюткой его взяла я тогда из дворца... а любила его... Маленький такой, тепленький... А ныне писали мне — совсем дурной стал, несмышленый... Будто ничего как человек и не соображает...»

Государыня вздохнула.

«Конечно, оная жизнь какое может развитие дать?.. Ссылка... Тюрьма. И родители... Господи, прости... Что-то Господь сейчас подаст... Милосерд Господь... Да ведь у чертушки что на уме было!..»

Ночь шла медленная, долгая и таинственная. В Петербургской крепости на соборной колокольне куранты играли. К утру тише стал плеск волн, должно быть, на море стихала буря.

Великая Княгиня тяжело и прерывисто дышала. Фон Дершарт возилась подле нее. Владиславова плескалась с водой. Государыня тихо задремала...

— Majeste... Ich gratuliere... Ihnen... Ein Knabe...[1]

«Knabe... Knabe...» Точно Государыня не сразу поняла, что говорит фон Дершарт. Она встала с кресла и осмотрелась. Фон Дершарт на белых пеленках держала крошечного ребенка. Потом его положили в кресло. Три женщины —

[1] Ваше Величество... Я поздравляю вас... Мальчик... *(нем.)*

Императрица, бабушка и Владиславова — нагнулись к нему. Государыня торопливым шепотом отдавала приказания:

— Отца Федора сюда... Скажи Алексею Петровичу — на лодке бы спосылали человека в крепость коменданту с цедулькой. Сто один выстрел отдать — России, мол, пожеланный наследник на свет родился.

Они ушли за ширмы и унесли ребенка. Екатерина Алексеевна одна осталась на кровати. Она лежала в радостном полузабытьи. Она слышала, как пришли Великий Князь, граф и графиня Шуваловы, как они вполголоса говорили подле ребенка и Государыня весело смеялась. Запах ладана и розового масла проник за ширмы, священник в шелковой рясе и епитрахили с крестом в руке прошел к Великой Княгине и остановился над нею. Он показался ей грозным и необычным. Так все, что только что произошло с нею, было страшно, и она была точно не в здешнем мире. Священник протянул ей крест для поцелуя. Она охотно прикоснулась к холодному металлу и стала слушать, что читал над нею священник.

— Владыко Господи Вседержителю,— вдохновенно вполголоса говорил священник,— исцеляй всякий недуг и всякую азю, Сам и сию днесь родившую рабу твою Великую Княгиню Екатерину Алексеевну исцели и возстави ю от одра, на нем же лежит...

За ширмами разговоры стихли. Священник кончил молитву, дал еще раз поцеловать крест Великой Княгине и прошел к Государыне. Они зашептались. Государыня говорила еле слышно, священник шептал громко:

— Обычно, в осьмый день, Ваше Величество...

— Только молитву во еже назнаменати отрока,— быстро проговорила Государыня.

— Как повелите Имя как?

Государыня говорила так тихо, что Екатерина Алексеевна не слышала ее ответа. Она удивилась, что ее не спросили ни о чем, ее ребенком распоряжались помимо нее, как хотели. За ширмами засуетились, передвигая кресла, потом стало слышно, как священник читал молитву:

— «Господи Боже наш, Тебе молимся и Тебе просим, да знаменуется свет Лица Твоего на рабе Твоем Павле и да знаменуется Крест Единороднаго Сына Твоего в сердце и в помышлениях его во еже бегати суеты мира, и от всякого навета вражия...»

Екатерина Алексеевна с трудом соображала, что происходит. Значит, у нее сын Павел... Павел, наследник престола после его отца Петра Федоровича — Павел Петрович... А она?. Она теперь — ничто. Никто ее ни о чем не спрашивает, ей

даже не показали сына. Она приподнялась на подушках и заглянула за ширмы. Государыня приняла от бабушки уже спеленутого младенца и торжественно понесла его из спальни, за ней пошли священник, Великий Князь, Шуваловы, фон Дершарт, Владиславова побежала угодливо открывать двери. Великой Княгине стало страшно и горько, она подняла глаза к потолку. Как все это случилось, что все, о чем она столько мечтала и думала, оказалось разбитым, где же ее тетя, которая, казалось, ее так любила?.. Где ее муж, где ее сын?.. Сын?.. Не может быть!.. Что же случилось?..

Вдруг гулко и громко, так, что задребезжали стекла в окнах и зазвенели подвески на свечах, раздался густой пушечный выстрел.

Так вот оно что случилось: «России пожеланный наследник» родился. Это она, Великая Княгиня Екатерина Алексеевна, его родила. Где он, где же он?.. Я хочу его видеть!.. Великая Княгиня крикнула, но никто не отозвался на ее зов. Она лежала одна в душной комнате, где пахло ладаном и лавандой.

Мерно и долго били пушки, и каждый их удар страшною болью отзывался в голове и в самой душе Великой Княгини.

Наконец пришла Владиславова. Великая Княгиня попросила ее помочь ей сесть в кресло и перевести ее в постель.

— Мне здесь неудобно,— жалобно и капризно говорила Великая Княгиня.— От окна дует. Мне холодно. Сыро. Жестко...

От Владиславовой пахло вином.

— Не могу, Ваше Высочество... Не смею-с... Бабушка не приказывали трогать вас...

— Где Адриана Карловна?.. Позовите сюда Адриану Карловну...

— Они-с при ребенке.

— Покажите мне ребенка... Дайте мне пить. Я так хочу пить...

— Без бабушки никак сие невозможно-с.

Великая Княгиня не настаивала. Она знала упрямство своей горничной. Она лежала на спине. Затылок неловко упирался в жесткие подушки. Пальба продолжалась. Каждый выстрел был новым мучением, и конца, казалось, им не будет. Штора на окне бледнела — новый день наступал. Холодом тянуло от окна. Нога от бедра до щиколотки ныла от ревматизма и мешала уснуть. За дворцом по улицам и по двору гремели кареты. По Фонтанке лодки шли, и мелодичен был ритмичный всплеск весел. Петербург съезжался ко дворцу принести поздравления с радостным событием. Ве-

ликая Княгиня одна оставалась вне этого события. Ею никто не интересовался. И так прошло три часа. Стал день. Через поднятую Владиславовой штору было видно серое небо и деревья сада с редкими желтыми листьями на черных сучьях.

Гофмейстерина Шувалова в парадной, красной шумящей робе, с громадными фижмами, счастливая, расфуфыренная и, Екатерине Алексеевне показалось, хмельная, пожаловала в горницу к роженице. Екатерина Алексеевна пожаловалась ей на все свои неудобства.

— Боже мой,— воскликнула Шувалова,— да вас так могут совсем уморить.

Но и она не решилась что-нибудь предпринять без бабушки. Шурша платьем и задевая фижмами за кровать, она пошла за фон Дершарт. И еще прошло полчаса. Бабушка, разодетая, нарядная, шумящая фалболами и пьяная, явилась к Великой Княгине. Она сейчас же стала оправдываться:

— Ах, Ваше Высочество,— по-немецки говорила она.— Ach lieber Gott!.. Я никак не могла раньше прийти к вам. Ее Величество были при ребенке. Я не могла их покинуть. Ganz unmoglich[1]. Великий Князь маленькую пирушку устроил... Помилуйте — такая радость.

И никто, никто не подумал, кто же виновник всей этой радости, никто не побеспокоился устроить виновницу такого торжества поудобнее! Ее забыли.

— Великий Князь придет ко мне?.. — спросила Великая Княгиня, устраиваясь в постели и принимая из рук Владиславовой кружку с питьем.

— Ach lieber Gott... Ну, натурально, я побегу сказать ему, что теперь это можно.

И опять долгие часы Великая Княгиня была в одиночестве. Только шумы дворцового пира доносились до нее. Когда уже стало темнеть и надо было зажигать свечи, прибежал Великий Князь. Он был ребячески счастлив, оживлен и сильно пьян. Да, он был очень рад, безумно счастлив и доволен... Тетя исполнила его заветное желание. У него будут в Ораниенбауме наконец свои солдаты. Свое собственное войско — голштинцы!.. Он сам будет ими командовать, устраивать им парады и маневры.

— Ваше Высочество, это не лакеи!.. Не деревянные солдаты... Вы это понимаете?.. Настоящие солдаты! И я буду их муштровать по-своему... И барабан бьет там-там-там-та-там... Тррр...

Он хотел принести в спальню барабан и показать, как он будет бить в него перед голштинцами.

[1] Совершенно невозможно *(нем.)*.

— Это, Ваше Высочество, не русские какие-нибудь, это голштинцы... Дисциплина и выправка!..

Он, казалось, совсем позабыл, что у его жены только что родился сын, что это его сын и что его милая, прелестная жена, только что оправившаяся от мучений родов, лежит перед ним. Он об этом не думал...

VII

И потянулись дни выздоровления, полные оскорблений и унижений. Великая Княгиня так и не видела сына. Государыня как завладела ребенком, как унесла его в свои покои, так и не приносила его к матери. И уже дошли, через милых фрейлин, конечно, петербургские «эхи», распространяемые в посланнической среде иностранцев, падких на всякую скверную для России выдумку, что будто бы подменили ребенка, что родила не Великая Княгиня, но сама Государыня от Разумовского... Потому-то Государыня теперь и держит ребенка у себя, не отдавая его Великой Княгине...

Было скучно в эти осенние дни. Великая Княгиня хотела видеть друзей, и прежде всего Салтыкова,— их к ней не пускали. Наконец пришел граф Захар Григорьевич Чернышев и по секрету сказал, что по высочайшему повелению Салтыкова отправляют в Швецию с известием о рождении Великого Князя Павла Петровича и что ему невозможно прийти к Великой Княгине.

«Но этим только усугубляют неосновательность сплетни и подозрения»,— подумала Великая Княгиня, но ничего не сказала Чернышеву. Она улыбнулась ему, и много тихой грусти было в ее улыбке. Кирилл Григорьевич Разумовский, как только его допустили, явился с большой игрушкой — девизом — мохнатым зайчиком над барабаном, и Великая Княгиня невольно подумала, уж не намек ли то на ее супруга?

Двадцать пятого сентября были торжественные крестины ребенка. Восприемницею от купели была означена австровенгерская императрица и королева Мария-Терезия. Но самым мучительным днем для Великой Княгини было первое ноября, когда было назначено принесение поздравлений иностранных послов. Если и были какие-нибудь раньше надежды — ну, хотя бы просто на чудо, на то, что Великая Княгиня когда-нибудь будет царствовать одна,— в этот день в каждой речи, в каждом поздравительном слове эти надежды разбивались, рассеивались и уничтожались.

Все было, как всегда, когда принимали иностранцев, очень парадно и торжественно. В этот день Великая Княгиня нако-

нец увидала своего сына, виновника того, что рушились ее воздушные замки. Ребенка поместили подле нее в золоченой колыбели, в кружевах и лентах. Он был прелестен. Великая Княгиня искренно восхищалась им, но восхищение ее было не материнское, материнского чувства она к нему не испытала.

В парадном алом шлафроке из атласа, выложенном белыми брабантскими кружевами, в широком собольем палантине, причесанная и завитая, с длинными локонами, спускающимися мимо ушей, надушенная, необыкновенно похорошевшая после родов, с бриллиантовой малой короной в волосах, Великая Княгиня поместилась несколько позади колыбели в широком золоченом кресле. За нею стали ее камер-юнкеры Нарышкин и Дараган. Они должны были отвечать за Великую Княгиню на приносимые поздравления.

В первом часу в покои шествием в сопровождении чинов двора проследовала Государыня и села в кресло рядом с Великой Княгиней. Церемониймейстер пошел приглашать послов и посланников «чинить» поздравления.

Первым от имени крестной матери, Ее Императорского и Королевского Величества на немецком языке говорил речь римско-императорский камергер и директориальный надворный советник граф Цинцендорф.

— Милостивейшая Государыня,— напыщенно и красно говорил он.— Рождением России принца исполнили вы желания подданных ее народов и августейшей их самодержице подали причину к несказанной радости. Ваше Императорское Высочество взошли ныне на верх благополучия своего, в котором союзные державы одна перед другою с большим усердием соучастною себя показать стараются. Но между всеми, кои о славе и благосостоянии сей империи усердствуют, никто столь искренно и по обязательствам только сходного взаимной пользе союза, вам, Милостивейшая Государыня, не предан, как их Величества Римский Император и Императрица-королева!

Он говорил о том, что «их Величества усерднейше желают, дабы Всевышний сохранил сей первый общего благополучия залог, и притом уповают, что вы, Милостивейшая Государыня, умножите оное произведением на свет еще и других августейшему сея державы престолу подпор...».

Великая Княгиня слушала все это, с трудом удерживая на своем лице официальную благосклонную улыбку. Ее сердце разрывалось от всех этих слов и пожеланий на части. Ей казалось, что она обманута. Не на то она училась, не на то она так страстно полюбила эту громадную Россию, чтобы производить все новые и новые подпоры престолу, который сама она хотела занять.

Дараган смело и уверенно говорил сзади нее по-немецки:

— Государыня Великая Княгиня с крайнею благодарностью уведомилась о благосклонных Их Величеств Императора и Императрицы римских сентиментах по случаю рождения Великого Князя Павла Петровича. Ее Императорское Величество не может сомневаться, чтобы сей принц, когда придет в совершенный возраст, не вступил в степени предков своих и паче всего, исполняя намерения и повеления Императрицы, своей самодержицы, не употребил всевозможное старание к всегдашнему утверждению счастливого обеих империй союза...

Граф Цинцендорф говорил приветственное слово Государыне, и на него за Государыню отвечал Бестужев-Рюмин. Потом говорилась речь Великому Князю, на эту речь отвечал Нарышкин.

Косые, осенние, золотые солнечные лучи низали комнату и казались Великой Княгине печальными. Рядом с залой звенели посудой. И когда уже на французском языке прозвучала — и все на ту же тему, что Великая Княгиня исполнила свой главный и единственный долг перед Россией и родила сына,— последняя речь, в залу вошли вереницей придворные лакеи и стали обносить гостей шампанским в хрустальных бокалах и устанавливать на серебряных подносах чашки китайского порцелина с чаем.

Стоя пили шампанское. Из соседней комнаты доносилась сладкая и нежная музыка — играл итальянский квартет.

Недавно прибывший к русскому двору английский резидент Вильямс, маленький, толстый, с красным носом-пуговкой, в алом, шитом золотом кафтане, в белых панталонах и чулках, бесцеремонно громко, так, что Великая Княгиня могла слышать, на грубом французском языке говорил французскому послу:

— Elle est superbe!..[1] З-зам-мечательна!.. Какая тонкая красота! Какие очаровательные манеры! Она сделает честь любому трону. Совсем европейское воспитание. Мне говорили, она со дня своего приезда в Россию старалась заслужить любовь народа...

— Теперь ей это более не нужно. Она сыграла свою роль.

— Н-ну!.. Кто знает Мне говорили, что она старательно применялась ко всем странным и грубым обычаям страны и изучала русский язык. Мне даже сказали, что она на нем говорит

— О да!.. В совершенстве.

— Положительно у нее талант царствовать.

[1] Она восхитительна!.. *(фр.)*

— Теперь — кончено... В наследниках Государыне недостатка нет.

— Вы думаете?..

— Какой очаровательный малютка...

— О, yes!..[1]

VIII

По утрам Екатерина Алексеевна оставалась одна. Это были часы раздумья, планов, писем, чтения. Переписка у нее была большая — с Гриммом, Вольтером, Дидро.

Из Франции ей писали о свободе... Она должна освободить крестьян. Она читала эти письма и задумывалась. Картины недавнего прошлого вставали в ее памяти. Десять полков малороссийских казаков на поле у Есмани. Голос точно сонный, чуть в нос, поющий что-то, чего она не понимает и чему весело и заразительно смеется Государыня. Золотое облако высокой пыли над бесконечными колоннами конных казаков. Кочевья, шатры, степь и бездна услуг какого-то «простого» народа, без которых не проживешь и дня в этих прекрасных и жутких степях. Вольтеры и Дидро этого не знают. Если тех освободить, на кого обопрется она?.. Жалость... Ни жалости, ни чувства. Жалость и чувства не нужны Государю. Нужно быть — как герои древности.

Она перелистывала «Всеобщую историю» Вольтера, она изучала, делая выписки, «Дух законов» Монтескье, хваталась за «Летопись» Тацита во французском переводе... Она проникалась духом истории.

Им дать свободу? Государыня Елизавета Петровна могла это сделать — ей никого не было нужно, кроме солдат. Она сама была цесаревна, дочь Петра Великого, русская до мозга костей, обожаемая всеми простыми людьми... Великой Княгине нельзя этого. Народ ее не знает.

Для народа она — немка. Она чужая ему. Она опирается совсем на других людей, и для этих других людей она должна пожертвовать свободой простого народа. Надо уметь различать главное от неглавного, надо найти таких людей, кто поймет ее и, поняв, вознесет.

Надеяться на Государыню было нельзя. Не та Государыня стала. Она по-прежнему не любит своего племянника, «чертушка», «урод» — не сходит у ней с языка, но наследник Павел Петрович — Пуничка — все для нее. Он затмил, вытеснил из сердца Государыни Великую Княгиню-мать. Екатерина Алексеевна вспоминала то, что было, когда она толь-

[1] О да!.. *(англ.)*

ко что приехала в Россию, как со смехом и шутками русские девушки, по повелению Государыни, в Риге закутали ее в драгоценную соболью шубу, как, когда она уезжала из Москвы, сама Государыня накинула ей на плечи дорогой горностаевый палантин, сняв его со своего плеча. Екатерине Алексеевне никогда не забыть той доброй и милой усмешки, какая была тогда на лице разрумянившейся от мороза Императрицы. А какие подарки она получила в день своей свадьбы! Ей совестно было получить все эти драгоценности — она их тогда не заслужила... Теперь, когда она исполнила все то, чего желала от нее Государыня, она получила такое колье, какое ей стыдно было бы подарить своей горничной. Государыня разлучила ее с сыном, точно недостойной считает мать растить наследника Российского престола. Когда встречается Государыня с Великой Княгиней, голубой огонь любви и ласки не горит больше в ее прекрасных глазах. Смотрит Государыня хмуро, подозрительно, точно говорит со свойственной откровенной грубоватостью: «Теперь ты нам больше не нужна... Зачем ты еще здесь?..» А в серо-синих глазах Великой Княгини, после родов ставших особенно прекрасными, так и горит задорный пламень: «Нет... Здесь я буду царствовать одна... Одна!.. Одна!..» И точно читает Государыня самые сокровенные мысли своей племянницы, хмурит соболиные брови, сердито молчит, и сквозь молчание это Великая Княгиня слышит упрямый и гневный голос Государыни: «Не будешь!.. Не будешь!.. Не будешь!.. Кто ты?.. Ты — немка, а он — правнук Петра Великого — Павел Петрович! Не будешь... Народ тебя не допустит...»

Бестужева и Алексея Разумовского нет больше при Государыне, при ней другие люди — Шуваловы и Панины, они не друзья Великой Княгини, и им нельзя довериться.

Надо снова искать людей и опираться на тех, кто недоволен. Нет, при таких временах разве можно думать об освобождении рабов... Рабы нужны господам, а господа нужны ей... Ей не на кого больше опереться, как на тех людей, кого она сама себе сделает друзьями...

День проходит в придворной сутолоке. Каждый день что-нибудь да есть: куртаги, карусели, приемы посланников, балы и обеды, хочешь не хочешь, а появляться на них надо, это ее долг, долг Великой Княгини. Но вечера с тех пор, как стала прихварывать Государыня, у Великой Княгини свободны На половине Молодого дворца собираются «свои» люди

В маленькой голубой гостиной на ломберном столе горят две свечи по углам. В гостиной полумрак. На столе мелки,

щеточки с перламутровой выкладкой и карты. Голоса тихи и точно ленивы.

— Ваше Высочество, вам сдавать.

Приятно скользки и холодны свежие карты. Синий и розовый крап веерами ложится на зеленом сукне.

— Так-то, Ваше Высочество.

— Да, так, Алексей Петрович...

Кто там вздыхает в темном углу?.. Чьи темные маслянистые глаза не сводят упорного взгляда с оранжево-освещенного свечою прелестного лица Великой Княгини?..

— Что это, Кирилл Григорьевич?.. Вы там, что ли?..

— Я, Ваше Высочество. Простите, вошел без доклада. Увидал, вы сели за карты, не хотел вас беспокоить.

Они каждый день. Они не выдадут. Они думают то же, что и она. Вот среди кого ей надо искать тех, кто поможет ей осуществить намечающиеся планы. Этим людям нужны рабы. Без рабов они ничто. Как же освободить рабов? Вольтер, быть может, и очень умный человек, во всяком случае никто так не умеет льстить, как он. По-французски тонко. Но он, как француз, ничего не понимает и понять не может в русских делах.

— Я — пас, Алексей Григорьевич...

Ясновельможный малороссийский гетман и президент Академии наук Кирилл Григорьевич Разумовский должен сопровождать Великую Княгиню на научное заседание.

В нарядной «адриене», темной, изящной, прекрасно сидящей на ней, прелестная, очаровательная, сопровождаемая академиками в париках, Великая Княгиня проходит в первый ряд и садится посередине между Разумовским и великобританским послом.

Когда кончилась конференция, Великая Княгиня подошла к академику Миллеру и сказала ему по-русски:

— Премного благодарствую вам, сударь, за великое ума наслаждение, мною ныне испытанное.

Академики окружили Великую Княгиню. По обычаю, в этот день Разумовский «трактовал» в академии знатных персон и всех членов и профессоров академии.

Через музейные залы посланник Вильямс повел под руку Великую Княгиню.

— Ваше Высочество,— по-французски за обедом говорил Вильямс,— в такой необычной обстановке я имел случай видеть вас сегодня. Ныне я понял слова канцлера о вас: ни у кого нет столько твердости и решимости, как у вас, Princesse.

Великая Княгиня внимательно и строго посмотрела в глаза посланника. Намек?.. Испытание?.. Выпытывание?.. У по-

сланника бесцветные глаза, точно оловянные пуговицы, и нос покраснел от темной и густой испанской малаги.

— Экселенц, я вас не понимаю.

— О вашем уме и воле, Princesse, говорят везде. Даже ваш августейший супруг мне совсем недавно говорил: «Я не понимаю дел голштинских, моя жена отлично во всем разбирается». Сейчас я любовался вами на этом ученейшем заседании.

— Это мой долг.

— Ваше Высочество, я давно наблюдаю вас. Мне так понятно все то, что вы должны переживать теперь. Печаль — украшение жертв.

— Но я совсем не печальна.— Великая Княгиня подняла брови и насторожилась.— Никто меня не назовет грустной.

— Вы умеете владеть собою. Но, Ваше Высочество, позвольте мне сказать вам, как вашему другу и как другу вашей прекрасной страны: тайные интриги и затаенное огорчение не достойны ни вашего положения, ни светлого вашего ума. Кругом вас, к сожалению, слабые люди. На их фоне характеры решительные всегда внушают уважение. Princesse, вам ли стесняться?.. Громко назовите тех, кому вы оказываете расположение и доверие, покажите всем, что вы почтете за личное оскорбление, если что-нибудь предпримут против вас,— и вы увидите, как все покорится вам и пойдет за вами.

— Эксцеленц, я вас не понимаю. Говорите яснее.

— Извольте, Princesse. Государыня больна... Она очень больна и только из женского тщеславия не хочет этого видеть... При таких обстоятельствах зачем вы отталкиваете графа Станислава Понятовского?.. Он без меры предан вам. Он может быть вам полезен.

— Оставьте, пожалуйста...— Екатерина Алексеевна вспыхнула, и голос ее дрожал.— Не забывайте, что я жена моего мужа. Граф Понятовский иногда позволяет себе забывать об этом.

Великая Княгиня отвернулась от английского посла и заговорила по-немецки с академиком Миллером. За бойкою беседою на философскую тему она не могла прогнать досадной мысли: «Ужели эти люди не только ищут альковных сплетен, но умеют заглядывать и в тайники ее души, читают ее сокровенные мысли?»

Граф Кирилл Григорьевич ловким маневром отправил гофмейстерину Великой Княгини на вельботе английского посла, саму же Великую Княгиню усадил на голубые подушки своего атаманского катера.

— Уф, Ваше Высочество!.. Ну и испытание!.. Томительное заседание... И как было душно!.. Все латынь!.. Ни слова по-русски — русская академия!

— Везде так, Кирилл Григорьевич,— с кротостью сказала Великая Княгиня,— латынь — язык ученых. А вот нехорошо, что вы спать изволили во время заседания.

— Да разве, Ваше Высочество, то было приметно? Я со стыда сгораю. Это я речь свою обдумывал, и как-то было трудно.

— Но почему?

— Позвольте изъяснить вам это последним стишком нашего досточтимого Михаила Васильевича Ломоносова.

— Каким еще стишком? На вас не похоже стихами изъясняться.

— Стишком — «Разговор с Анакреоном».

— Eh bien[1].

— Вы разрешите?

Мне петь было о Трое,
О Кадме мне бы петь,
Да гусли мне в покое
Любовь велят звенеть.
Я гусли со струнами
Вчера переменил
И славными делами
Алкида возносил;
Да гусли поневоле
Любовь мне петь велят,
О вас, герои, боле,
Прощайте, не хотят...

В голосе Кирилла Григорьевича звучали неподдельная любовь и тоска.

— Вы меня поняли, Ваше Высочество? Не легко мне было говорить льстивые и лестные слова немцам академикам, когда Ваше Высочество персонально здесь быть изволили.

Да гусли мне в покое
Любовь велят звенеть.

— И все-таки вы будете по своему обыкновению молчать.

— Да, Ваше Высочество, буду молчать, ибо как смею я сказать то, что так хороню в самой глубине своего сердца?

Катер мягко взлетел на невские волны. Шипит под носом волна, гнутся длинные распашные весла в руках у сильных гребцов. За кормою шелестит по ветру великокняжеский

[1] Ну (*фр.*).

штандарт и полощет концом по крутящей, будто кипящей воде.

Великая Княгиня молчит. Да, он любит... давно и крепко любит и потому молчит, что очень сильно любит... А любовь разве не сила, не то орудие, которое поможет в любую минуту?..

— Послушайте, Кирилл Григорьевич, скажите мне... Что за охота была вам... помните, в то сумасшедшее лето, когда мы все жили в Раеве, у Чоглоковых, под Москвою, приезжать к нам из своего Петровского каждый день? Это было вам, должно быть, очень утомительно... И у нас была такая скука. Все те же люди и те же разговоры и шутки, мы так надоели друг другу. У вас же, в Петровском, я слышала, каждый день бывали новые люди, множество гостей, и все самого лучшего московского общества.

Гребцы навалились, давая последний разгон лодке перед причаливанием. Загребной откинулся далеко назад.

— Да гусли поневоле любовь мне петь велят,— чуть слышно сказал Разумовский.— Я был тогда влюблен.

— Что вы?.. Да в кого же могли вы быть влюблены у нас?.

С деревянным стуком гребцы выбрали весла из уключин. Матрос стал с крюком на носу Сейчас и пристань.

— В кого?.. В вас!

Екатерина Алексеевна рассмеялась.

— Вот... Не подозревала. Ведь вы тогда уже несколько лет как были женаты и, сколько я слышала, хорошо жили с женою Вы хорошо умеете скрывать свои чувства.

— Мои чувства, Ваше Высочество, были особого порядка... И они остались неизменными.

Разумовский протянул руку Великой Княгине, чтобы помочь ей выйти из катера. Маленькая ножка коснулась бархата подушки, чуть нагнулась лодка. Екатерина Алексеевна оперлась на руку Разумовского и ощутила: тверда рука и не дрожит.

Да — этот пойдет для нее на все...

IX

В эти дни при Екатерине Алексеевне появилась новая фрейлина — сестра Елизаветы Романовны Воронцовой, Екатерина Романовна Дашкова. Ей было семнадцать лет. Она воспитывалась за границей, говорила по-французски лучше, чем по-русски, и вся была пропитана идеями Вольтера и духом Монтескье и Дидро. Великой Княгине было интересно

говорить с нею и вспоминать любимых философов. Екатерина Романовна только что вышла замуж за Дашкова, и замужество давало ей известную свободу. Наружно — «бержерка» саксонского фарфора, миниатюрная куколка с тонкими нежными чертами миловидного лица, с фарфоровою матовостью щек, с большими серо-голубыми наивными глазами, с высоко взбитыми в модной прическе пепельными пушистыми волосами — она была несказанно привлекательна и нравилась всем, и женщинам и мужчинам. Ее родственник Никита Иванович Панин, назначенный Императрицей наблюдать за воспитанием наследника Павла Петровича, был влюблен в нее. Задорная, смешливая, с галлицизмами в русском языке, мило картавящая, пропитанная духом вольности, вывезенной из Франции и Швейцарии, она была постоянно окружена гвардейскою молодежью.

Она, и как-то вдруг, воспылала совсем необычайною, нежною и страстною, на все готовою любовью к Великой Княгине и не отходила от нее. И то, чего себе не могла позволить Великая Княгиня,— громко и смело говорить о политике, то могла делать с наивною прелестью куколка Екатерина Романовна. По своему положению — родной сестры фаворитки Великого Князя, родственницы Никиты Ивановича Панина — она знала все, что делалось при Великом Князе, что говорилось у Императрицы в связи с помыслами о юном ребенке-наследнике. Она могла передавать, и как бы от себя, не впутывая Великую Княгиню, то, что ей искусно подсказывала Екатерина Алексеевна, и Дашковой казалось, что она становится во главе какого-то заговора.

Так незаметно и как будто и помимо воли Великой Княгини и точно создавался заговор против Петра Федоровича. Екатерина Алексеевна стремилась в этом заговоре устранить и своего сына Павла Петровича, чтобы быть не регентшей, но полновластной Императрицей. Она не изменяла своей формуле, как-то давно вылившейся у нее в слова: «Здесь я буду царствовать одна!..»

Помеха была в сыне и в том, что самые преданные ей люди — Бестужев и Панин, на которого влияла Дашкова, никак не могли понять, как и куда мог деваться Павел Петрович? И Екатерина Алексеевна искала еще и таких людей, которые настолько были бы преданны, что и сын ее не стал бы им помехой.

Алексеем Петровичем Бестужевым был заготовлен манифест, которым, по смерти Елизаветы Петровны, Императором провозглашался малолетний Павел Петрович, а регентшей его мать, Великая Княгиня Екатерина Алексеевна. Это было в духе Петра Великого, и потому была надежда, что

в нужную минуту Императрица согласится подписать этот манифест. Но Государыне донесли раньше времени о существовании какого-то заговора. Бестужев успел сжечь манифест, но было приказано произвести расследование. В начале 1759 года Бестужева сослали в его имение Горетово, графу Понятовскому, не сумевшему скрыть своих чувств к Великой Княгине предложили отъехать от Императорского двора за границу, а ближайших советников и сотрудников Екатерины Алексеевны Елагина и Ададурова сослали — первого в Казанскую губернию, второго — в Оренбург.

Государыня отказывалась видеть племянницу, она подозревала ее в заговоре. Больная, сердитая, она, не стесняясь придворными, ругала племянника. Немцы ее раздражали, а вот выгнать их с половины Великого Князя не могла или не хотела. Назревал нарыв, и не могла быть спокойна Великая Княгиня. Она знала государынин нрав: «Я еду, еду — не свищу, а наеду — не спущу». По городу ходили «эхи» — Дашкова их ловила и докладывала Великой Княгине, сидя у ее ног. «Обоих вон из России, и мужа, и жену. Окружить Павла Петровича, милого Пуничку, русскими людьми и готовить его царствовать...» Никита Иванович Панин играл едва ли не первую роль при Государыне.

Великая Княгиня поручила Дашковой спросить Никиту Ивановича, может ли быть что-нибудь подобное, угрожает ли ей высылка?

Очарованный племянницей, завороженный ею, Панин пустился на откровенности. Он задумался над вопросом Екатерины Романовны и наконец, после некоторого молчания, сказал:

— Того переменить не можно, что двадцать лет всеми клятвами утверждено. Однако думаю, что ежели Государыне Императрице такой план на благовоззрение представить, чтобы отца выслать на родину, а мать с сыном оставить, то большая в том вероятность, что она на то склониться может.— Он помолчал, глядя в синие, прекрасные, наивные, совсем детские глаза Дашковой, и продолжал: — О сем говорено было с Шуваловым после обеденного кушанья у него в доме, когда много всяких питий пито было и о здравии и за упокой... Известно, у пьяного на языке, что у трезвого на уме. Полагали такое действие возможным. Затем очень уж его Высочество наружу выставлять изволит свою любовь и преклонение перед немцами, и сие для Государыни нож острый...

И опять замолчал Панин, с любовной грустью глядя куда-то мимо прелестных глаз Екатерины Романовны.

— Только вряд ли Ее Величество по теперешней ее слабости на то решится,— совсем тихим голосом добавил он.

Рассказ этот до некоторой степени успокоил Екатерину Алексеевну — высылка ей не угрожала, но сын стоял между нею и российским престолом. И Шуваловы и Панины, оберегая планы, мысли и намерения Государыни, никогда не согласятся на провозглашение ее Императрицей.

Надо было искать других людей, менее искушенных в придворной политике, менее серьезных, но решительных и влюбленных в Великую Княгиню все забывающею любовью.

X

Жизнь Великой Княгини шла наружно все так же, как будто бы и пусто, между играми и разговорами с фрейлинами и кавалерами днем и картежной игрою с верными людьми вечером. Прибавились только сплетни-доклады Дашковой по утрам. Дашкова ходила по городу, по офицерским квартирам, по казармам гвардейских полков, бывала на гуляньях в Летнем саду и Екатерингофе, она вращалась в тех кругах, куда сама Великая Княгиня попасть не могла. Она рассказывала, что говорят люди, подобные тем, которые некогда посадили на престол российский ее тетку Императрицу Елизавету Петровну.

Дворянство насторожилось и опасалось нового Государя. Мягко стелет, да не пришлось бы жестко спать. Немцами окружен. В нем кровь Петра Великого и как бы не оказалось его же решительности. Он говорит много о вольности дворянства, как в Пруссии, да как бы после не пришла и вольность крестьянам — тогда дворянству конец. Из деревень и отцовских вотчин шли тревожные слухи. Простой народ волновался, шли разговоры о том, что скоро делить будут землю, людей на волю отпускать, а дворян уничтожать... Шли толки и о таинственном и непонятном «черном переделе»...

По солдатским кружалам, по царевым кабакам говорят, что будущий Государь, мол, совсем немец, в прусском мундире ходит, орден лютого короля Черного Орла носит и похваляется-де, что всю армию под немецкую палку поставит. Дай Бог здоровья матушке Царице, да что-то давненько она к нам, своим солдатушкам, не жаловала, так ежели что случится, нам своего дурно не отдавать и постоять за Государыню Великую Княгиню, она, сказывают, к русскому люду дюже ласкова...

— Это уже Орловы стараются,— говорила Дашкова,— вот вам преданные и притом же отчаянные люди.

И следом за серьезным рассказывала петербургские глупости Орловых.

— Ваше Высочество, намедни... над этаким домом, где беспутные девки живут, в Фонарном переулке, и вдруг вывешена вывеска «Институт для благородных девиц»!.. Оное Орловы братья ночью учинили. А у гробовщика, что на Мойке, вывеска: «Свадебные обеды и трактование знатных персон»... Все будочники с ног сбились, развешивая все по местам...

— Ты думаешь?.. Они способны?..

— Они на все способны, Ваше Высочество, и вот уж вам преданны!

Днем Великая Княгиня в открытых санях с прелестным малюткою сыном ездила по Невской перспективе и набережной, и гвардейская молодежь бежала за санями, и гремели восторженные «виваты» и громовое радостное «ура».

Великая Княгиня согласилась, чтобы братья Орловы были допущены к ее двору и приходили на ее дневные приемы, где бывали самые близкие люди.

Кто они были?.. Про них говорили, что они из немецких колонистов и настоящая их фамилия — Адлеры. Они были без рода, без племени. Что до того? Они были нужные теперь люди. Они все трое — Григорий, состоявший при пленном немецком генерале Шверине и через это близкий к Великому Князю человек, Алексей — силач и красавец, прозванный Алеханом, и младший, совсем еще юноша,— Федор, прапорщик Измайловского полка — отличались чисто русскою красотою, молодечеством, удалью, безудержною храбростью, Григорием явленною в сражениях с пруссаками, полною свободой от всякого этикета и способностью держать себя во дворце так, как будто бы они всю жизнь прожили среди высочайших особ.

XI

Во дворце была та тишина, какая бывает в доме, где есть тяжело, безнадежно больной. Государыня почти не выходила из опочивальни. Она была бесконечно печальна и скучна, и только музыка еще немного ее развлекала. В эти дни она снова сблизилась с Великой Княгиней и по-прежнему стала ласкова, добра, откровенна и сердечна с нею.

Куртаги, балы, спектакли, маскарады и фейерверки были отменены, и скучны были длинные, зимние петербургские вечера. Великий Князь проводил их в обществе Елизаветы Романовны и голштинцев. Великая Княгиня то дежурила у постели больной Императрицы, то в кругу нескольких самых близких людей играла в карты в комнатах, соседних с опочивальней Государыни, готовая каждую минуту встать и идти к больной.

В Китайской комнате поставлены два ломберных стола, свечи в художественной бронзы подсвечниках горят ровно и неярко освещают зеленое сукно и разбросанные по нему карты. Наверху на люстре зажжено несколько свечей. За одним столом Великий Князь, Воронцова, генерал Шверин и Цейс играют в фараон. Мужчины курят трубки, разговор идет по-немецки. Елизавета Романовна строит капризную гримаску и тоненькой ручкой отмахивает от лица сизые струи табачного дыма. Она хохочет, обнажая ряд мелких белых зубов. За другим столом, отделенным от них китайской ширмой, играют в ломбер Великая Княгиня, граф Кирилл Разумовский, Алексей Орлов и Строганов. Они говорят намеками, и каждое слово понимается по особому смыслу. Они уже несколько дней как спелись между собою и заговор ведут открыто, уверенные, что никто не поймет их замыслов.

Карты сброшены на стол. Костяные пестрые фишки лежат грудою посередине стола. Выиграла Великая Княгиня. Она, согнув ладонь, подтягивает к себе от Строганова кучку золотых. Строганов вскакивает, возбужденный и недовольный, опрокидывает стул и в волнении подходит к окну.

— С вами, Ваше Высочество,— сердито говорит он,— нельзя играть... Вам легко проигрывать, а каково мне?..

— Тш!.. Тише!.. Поосторожней, милый... Ишь ты, какой бешеный,— тасуя полными руками карты, говорит Разумовский.

— Не пугайся, Кирилл Григорьевич, сие всегдашняя у нас с ним история. Я уже привыкать начинаю,— улыбаясь, говорит Великая Княгиня и раскладывает выигранные деньги столбиками.

Карты снова розданы. Великая Княгиня подглядывает свои, приподнимая их.

— У-у!.. Жестокий,— говорит она Разумовскому.— Ему помирволил. Пожалел его, меня не пожалел...

— Вам начинать.

— Извольте.

За ширмами у Великого Князя жарок становится разговор, все встали из-за стола. Великий Князь свистнул собаку, лежавшую на диване, и с Елизаветой Романовной пошел в соседний зал. Немцы горячо и громко говорили по-немецки.

— Ведь деньги для того нужны, Кирилл Григорьевич,— тихо говорила Великая Княгиня.— Без денег, как их подымешь?

— Будут деньги,— так же тихо и уверенно говорит Разумовский.— Только начать — деньги сами собою явятся.

— Да ведь начать-то как-нибудь надо?

— Если, Ваше Высочество, назначить его брата Григория,— кивает на Алексея Орлова Разумовский,— цальмейстером артиллерийского штата?..

— Петр Иванович на оное никогда не согласится. Как ни мало он ревнив, он Григорию Елены Степановны не простит,— говорит Орлов.

За спиною Великой Княгини на маленьком кресле, свернувшись комочком, сидела Дашкова. Она слушает разговор с раздувшимися от волнения ноздрями. Она все понимает с полуслова. Она ждет времени, чтобы сказать свое слово, чтобы показать и свое участие в том, о чем говорится.

— Петр Иванович очень плох,— чуть слышным шепотом говорит она.— Дядюшка говорил мне — навряд ли выживет На его место прочат Вильбоа, а Вильбоа ваш камер-юнкер, он из вашей воли не выйдет — свой человек.

Великая Княгиня будто не слышит, что говорит Дашкова. Она снова вся в картах, в игре.

— Кладу девятку... У вас?..

— Дама... Валет...

— Бррр!..

Разумовский кончил игру и встал, будто чтобы промяться, прошел за ширмы, где Великий Князь. Великая Княгиня вопросительно на него посмотрела.

— Нет. В зале с собакой и Елизаветой.

— Боюсь Никиты Ивановича. Он может все испортить. Уперся на Пуничке. Не может понять, что Пуничка ребенок, и значит... Нет, сие не годится.

Орлов взял со стола серебряный рубль и давит его своими крепкими сильными пальцами.

— Ваше Высочество... И Измайловский полк?.. Как думаете?..

— Ничего я еще о сем не думала, Алексей Григорьевич.

Орлов сжал рубль, согнул его и плоским колпачком бросил перед Великой Княгиней.

— Сила, Ваше Высочество, солому ломит. В Измайловском — подполковник граф Кирилл Григорьевич.

Великая Княгиня смотрит на Разумовского, тот отворачивается и мурлычет что-то про себя.

Орлов смотрит то на него, то на Великую Княгиню и говорит:

— Много людей не надо. Все одни сделаем. Дайте срок.

Лицо Великой Княгини покрывается румянцем волнения, и оно становится особенно милым. В темных глазах горит, не угасая, пламя. Она вся холодеет и чувствует, как под платьем дрожат ноги. Она видит, с какою страстною, все сокрушающей любовью смотрят на нее мужчины. Может быть?.. Любовь?.. Она все побеждает. Но она сейчас же овладевает собою.

— Сдавайте, сударь, карты. Будем продолжать.

Карты пестрым рисунком ложатся по столу. Великая Княгиня их почти не видит. Она, как сквозь сон, слышит, как сказал Строганов:

— Молчание золото, добрая речь серебро.

Эту «пулю» Великая Княгиня проигрывает.

XII

В день Рождества Христова 1761 года, во вторник, в третьем часу пополудни, Государыня Императрица Елизавета Петровна преставилась. По-христиански кротко, с глубочайшею верою, она готовилась к смерти, она все продумала, обо всем, даже до порядка своих похорон, распорядилась, и ни у кого не могло быть сомнения: престол российский по ее кончине должен был принять ее племянник Петр Федорович.

Великая Княгиня точно закостенела. Она, не отходившая все последние дни жизни от больной, сейчас же по смерти Государыни со старыми дамами графиней Марией Андреевной Румянцевой, графиней Анной Карловной Воронцовой и фельдмаршальшей Аграфеной Леонтьевной Апраксиной убрала тело покойной и окружила его цветами. Забегали, засуетились по дворцу скороходы, понесли повестки по дворцовым службам, поскакали фурьеры по городским квартирам: на вечер был объявлен в дворцовой церкви молебен о благополучии государствования Государя Петра Федоровича, а после него парадный обед в куртажной галерее. Дамам было повелено быть в цветных робах. Смерть прошла мимо, жизнь вступала в свои права, и делала она это резко и крикливо, без соблюдения уважения к непогребенному и неотпетому еще телу в Бозе почившей.

Переодевшись в бальное платье, Великая Княгиня, прежде чем идти в церковь, по внутренним коридорам дворца, полутемным и пустым, направилась к покоям усопшей Государыни. Стоявший у дверей опочивальни Государыни громадный гренадер лейб-кампании с треском откинул ружье по-ефрейторски «на караул». Екатерина Алексеевна вздрогнула от неожиданности и спросила:

— По чем ты меня, братец, узнал в темноте?..

— Кто тебя, матушка, не узнает,— смело ответил гренадер.— Ты в темноте освещаешь места, которыми проходишь.

— Как тебя звать?..

— Наэрин, Ваше Императорское Величество.

В антикамере, перед спальней Государыни, Екатерина Алексеевна остановилась и вызвала к себе караульного офицера.

— Вот золотой,— сказала она,— передай его гренадеру Наэрину, когда он сменится с поста. Скажи — за бравый вид и смелый ответ.

Опустив голову, прелестная контрастом цветного, парадного платья и печалью голоса и глаз, она кивком головы отпустила офицера и тихо пошла к покойнице.

Кто знает, кто может угадать, что в эти страшные часы у тела Государыни Елизаветы Петровны думала и переживала Екатерина Алексеевна? От нее до нас дошли подробнейшие ее дневники, но дневники эти описывают то, что было много дней спустя, в них Екатерина Алексеевна ищет, как оправдаться перед потомством и смягчить резкость своих поступков, в эти же печальные и страшные дни ей некогда было писать, и можно только догадываться, как почти бессознательно она продолжала то, что давно задумала, о чем она мечтала еще тогда, когда была девушкой, когда только что приехала в Россию и поразилась ее величиной, красотой, силой и... контрастами.

В эти жуткие часы, когда еще не остывшая покойница лежала на одре болезни, окруженная цветами, когда только еще начинали читать по ней и в покоях стояла та печальная тихая суета, какая бывает при теле умершего человека,— эти контрасты особенно били ей по нервам и крепили ее мужество и решимость.

В темной и холодной опочивальне, где были открыты форточки, мерцали гробовые свечи. Дежурство только что заняло свои места. Священник тихо, точно для одной покойницы читал Евангелие. Напряженно спокойно было лицо Государыни Елизаветы Петровны, и страдания исчезли с него. Народ еще не пускали. Неподвижно стояли часовые лейб-кампании. Екатерина Алексеевна преклонила колени перед телом умершей и долго стояла в сосредоточенной молитве. Потом она поднялась, поцеловала холодный лоб умершей и пошла через залы к церкви.

Гул голосов, шум, крики, брань поразили Екатерину Алексеевну после тишины у тела Государыни. Придворные и голштинцы спорили и обсуждали новые назначения и реформы, которые носились в воздухе.

Вдруг все смолкло, застучали тростями церемониймейстеры, толпа расступилась, Император в расстегнутом у ворота преображенском мундире, сопровождаемый Елизаветой Романовной Воронцовой, арапом и придворными, торопливым шагом пошел в церковь. Он не поклонился своей жене. В церкви он стоял беспокойно, беспрестанно оглядывался,

подмигивал кому-то, улыбался. Он показался Екатерине Алексеевне смешным арлекином.

Служил Новгородский митрополит Сеченов, и будто и не было смерти, только что похитившей всеми любимую Государыню, о ней и не говорили, ее не поминали. Все было о новом Государе, все было для Государя Петра Федоровича.

Из церкви шествием направились в «куртажную» галерею. Гофмаршальская часть не успела распорядиться, повесток было послано больше, чем приготовлено мест для приглашенных, и часть гостей стояла в проходах. Вчерашнему фавориту Ивану Ивановичу Шувалову не оказалось места, и Мельгунов упрашивал его сесть на свой стул. Екатерина Алексеевна с ужасом и отвращением смотрела на лицо Ивана Ивановича все в кровавых царапинах и потеках крови — он при известии о смерти Государыни в порыве искреннего или театрального отчаяния ногтями разодрал себе лицо. Он стоял, тяжело дыша от негодования и горя, за стулом Государя. Екатерине Алексеевне он показался сильно пьяным. Ей стало страшно во дворце среди этих шумливых и нетрезвых людей. И страшнее всех казался Император. Вдруг в этот вечер, полный таких сильных и разнородных впечатлений, почувствовала она в своем супруге бурную и неуемную кровь Петра Великого и поняла, что схватка с ним будет решительная и смертельная.

Император точно не замечал своей жены. Он шутил с Елизаветой Романовной, сидевшей против него, на другом конце стола, он говорил, точно издеваясь, Никите Ивановичу Панину загадочные и страшные речи:

— Ну, братец, теперь только держись, нынче я расправлюсь с датчанами по-свойски!.. Как ты, братец, о сем полагаешь?..

Панин был смущен — кругом были уши, недалеко сидели иностранные представители, и как могли они истолковать слова самого Государя? Он растерялся и, думая прийти на помощь Государю и замять неосторожно и необдуманно сказанные слова, ответил:

— Я недослышал, Ваше Величество, о чем говорить изволите. Очень тут шумно.

— Недослышал?.. А, недослышал!.. Тогда недослышал, нынче опять недослышал. Я тебе ототкну-ка уши да научу лучше слушать, что говорит Государь. Вот и пожалую я тебя в генералы от инфантерии да пошлю тебя противу датчан.

— Благодарю за честь, Ваше Величество, но затрудняюсь принять назначение, к коему моя прежняя служба меня не приготовила.

— Вот как!.. А мне про тебя сказывали, что ты умный человек. А я, братец, такому твоему ответу удивляюсь.

В душном, жарком воздухе, насыщенном людским дыханием, запахом кушаний и копотью свечей, точно неведомая, страшная гроза нависала. Каждый, кто был еще трезв, кто соображал, о чем говорилось, понимал, что сегодня это государевы шутки, а завтра эти шутки могут обернуться в великую и напрасную кровь. И настороженнее всех в эти часы была Екатерина Алексеевна.

Она удалялась шумных пиров и веселых куртагов, которые шли непрерывною чередою на половине молодого Государя. Она проводила дни подле тела Государыни Елизаветы Петровны, отстаивая частые панихиды, усердно молясь на народе и стоя у изголовья Государыни в долгие часы, когда народ пускали поклониться покойнице.

И петербургский народ неизменно видел у гроба Государыни невысокого роста прекрасную женщину в черном, «кручинном» платье, в высокой наколке с белым «шнипом» на темных волосах, видел скорбное лицо и слышал рассказы о неумеренных кутежах Государя и о войнах, им замышляемых.

Будто в эти дни, когда непогребенное тело Государыни стояло во дворце, они оба сеяли какие-то семена, и семена эти должны были — одни скоро, другие позже — дать всходы.

Государыня дала гренадеру лейб-кампании золотой, а по полковым избам пошли разговоры, что Государыня озолотить обещала гвардию, а Государь-де готовит продать ее королю Фридриху и отправить в поход против датчан.

На пятой неделе по смерти Государыни от тела ее пошел сильный запах, и надо было закрыть гроб. Часовых сменяли через час, придворные старались становиться подальше и часто выходили из залы, где стояло тело Государыни. Императрица Екатерина Алексеевна с печальным, бесстрастным лицом, с восковою, затепленною свечою в руке, неподвижная, как изваяние, стояла на своем всегдашнем месте у изголовья покойницы, являя собой истинный пример высокого исполнения долга.

Она отстояла последнюю панихиду, повернулась к Воронцову и, передав ему свечу, приняла от него нарочно для сего случая сделанную корону. На короне была выбита надпись: «Благочестивейшая, Самодержавнейшая, Великая Государыня Императрица Елизавета Петровна. Родилась 18-го декабря 1709-го года. Воцарилась 25-го ноября 1741-го года. Скончалась 25-го декабря 1761-го года».

Екатерина Алексеевна медленно поднялась по ступенькам катафалка, нагнулась над телом, поцеловала Государыню в губы и надела корону на голову покойницы. Потом спусти-

лась с катафалка и с глазами, полными слез, спокойно и грустно приказала закрыть гроб. В зале были трепет и смятение. Бывшие в зале офицеры и солдаты были преисполнены глубочайшего уважения перед таким высоким пониманием долга Государыней.

Двадцать пятого января 1762 года было торжественное погребение тела Государыни Елизаветы Петровны. Этот печальный день особенно запомнился Екатерине Алексеевне, и не ей одной, в этот день многое стало ясно. Екатерина Алексеевна увидела, что самым злым врагом самого себя был Император Петр Федорович, и это он больше всех способствовал тому, чтобы ее заговор стал возможным.

День был морозный, туманный. Набережная и самая Нева с положенными мостками к Петербургской крепости были покрыты растоптанным снегом. Вдоль всего пути стояли в «шпалерах» войска. Солдаты держали ружья «на погребение», опущенными стволами книзу, заунывно трубили трубы и флейты, и тревожно и раскатисто били дробь барабаны. Казалось, самый воздух был напитан печалью. Народ, потрясенный смертью Государыни, сплошною толпою стоял на пути процессии. Само шествие, медленное, торжественное, сопровождаемое чинным и протяжным пением певчих, с черными попонами на лошадях погребальной колесницы, с траурными платьями дам, с черными епанчами кавалеров, с рыцарями в черных латах, с черными штандартами — говорило о чем-то страшном и безнадежно печальном.

В этот день точно что-то случилось с Государем. Вдруг напала на него былая детская резвость и шаловливость, точно он опять стал тем мальчишкой, каким был в Ораниенбауме, точно был он и подлинно «чертушкой», непереносимым в большом обществе. В длинной черной мантии, подбитой горностаевым мехом, несомой сзади него несколькими пажами и камергерами, он шел за гробом. Он шел все медленнее и медленнее, далеко отставал от колесницы, потом, точно опамятовавшись, кидался бежать с прыжками и смехом, камергеры и пажи выпускали концы мантии, и она развевалась за ним, точно черный хвост. Растерянные камергеры бежали следом.

— Чистый дьявол,— говорили в народе.

Должна была бы бежать за ним и Императрица, но она послала конного пажа остановить шествие на Неве и медленно нагнала шествие.

— Да-а!.. Государыня!.. Точно что Государыня!.. Дай ей Господь, матушке Екатерине Алексеевне!

Так из тайников дворца заговор переходил в толпы петербургского народа...

XIII

Но не одни шутки и неуместный смех были в Государе Петре Федоровиче. Было в нем и нечто подлинно петровское — смелый размах быстрых реформ и преобразований. Шутки, прыжки, ужимки — это было по вечерам на его мрачно-шумных пирах и банкетах, по утрам же Государь занимался делами, и с волнением и ужасом Государыня Екатерина Алексеевна видела, что это были не «замки для капуцинов», построенные на красивых местах, но серьезное преобразование всего государственного строя. Это было, по ее выражению, «перековеркивание всех дел и прежних порядков».

И кому-то оно могло понравиться и снискать любовь к новому Государю.

Двадцать пятого января тело Государыни Елизаветы Петровны при пушечной пальбе было предано земле, а двадцать девятого правительствующему Сенату был прислан для распубликования государев указ: разрешение раскольникам, бежавшим за границу, вернуться в Россию с правом свободного исповедания своего учения и обрядов.

И прошло с этого дня много еще дней, пока указ этот дошел до раскольничьих гнезд, но когда дошел — поднял простые и сильные души. «Настоящий Государь на Руси появился... Пожалел верующих, понял истинных православных... Государь тот с черной бородой, сам как раскольник... Петра Великого внук, его вины искупает, за деда молитвенник... Он и больше дал бы, да Императрица-немка мешает...»

Далеко и на даль были брошены семена новой и страшной смуты.

Шестнадцатого февраля — новый указ: от православных церквей и монастырей были отобраны земельные имущества и монастыри лишены права владеть крепостными... Ни Иван Грозный, ни царь Алексей Михайлович, ни сам Петр Великий не посмели сделать этого — Петр Федорович росчерком пера с этим покончил.

Взволновалось черное и белое духовенство. Пошли по домам, весям и градам страшные слухи. Похвалялся-де Государь, что выкинет из православных церквей все иконы, кроме ликов Спасителя и Божией Матери, острижет и обреет духовенство и оденет его по лютеранскому образцу в длинные сюртуки. Дед остриг и обрил бояр и обрядил их в немецкое платье, внук примется за духовных особ. И пошло, покатилось большое недовольство, поднялась тревога по церквам и монастырям, по приходам, среди церковных людей.

Такая быстрота и непоследовательность реформ смутила и встревожила короля Фридриха, который зорко следил за всеми

поступками своего друга. Немецкий посланник барон Гольц и генерал Шверин явились к Государю и говорили ему, что престол его в опасности, надо раньше удалить всех тех, кто злоумышляет против Государя, а тогда приняться за реформы.

— Теперь некогда заниматься заговорами,— резко возразил Государь.— Дело надо делать!

Фридрих написал ему сам. Он советовал Петру Федоровичу поспешить с коронованием, освятить свою власть священным миропомазанием, чтобы иметь в глазах народа больше прав.

— Нельзя!.. Венцы не готовы!..

Государь продолжал неутомимо заниматься делами.

Восемнадцатого февраля он подписал «указ о вольности дворянства». По существу указ не был нужен. Дворянство уже давно, и особенно в царствование Елизаветы Петровны, могло подавать в любой момент в отставку и не служить, но торжественный манифест как бы уничтожал и самое дворянство, ибо дворянство, которое не служит, не могло рассчитывать и на дальнейшее владение крестьянами. Раз дворянин не должен был являться по приказу государеву «людным, конным и оружным» и становиться на защиту престола и отечества, так для чего ему было владеть и крестьянами? И поползли слухи о том, что за вольностью дворянства последует, как логическое последствие, и воля крестьянам... Чем дальше от Петербурга, чем глуше было место, тем фантастичнее были слухи о новом Государе. Мужицким царем являлся он в воображении обитателей далеких хуторов, и мешали ему дворяне и Государыня... Фитиль подносился к пороховому погребу, и Екатерина Алексеевна со страхом ожидала, когда догорит он до конца и когда все полетит на воздух и она со всеми...

Двадцать первого февраля была уничтожена Тайная канцелярия...

По утрам государственная работа с немцами в кабинете, указы Сенату, приказы Военной коллегии или муштровка гвардии на голштинский манер на дворцовом плацу, по вечерам шумные пиры, где струились табачные дымы, сизой пеленой затягивая потолок, где резко раздавалась немецкая речь и заливисто и звонко смеялась «будущая императрица» Елизавета Романовна Воронцова.

Екатерина Алексеевна, сколько могла, удалялась от этих пиров. В печальном уединении, в глубоком раздумье о судьбах — своей, российской и своего сына,— в чтении, в разговорах с людьми, имевшими мужество остаться ей верными, в дальних комнатах большого дворца проводила она эти дни, когда тихо наступала петербургская темная и точно

ленивая весна. А про нее жестокая молва уже пяела нелепые слухи и, желая подслужиться Государю и помочь ему освободиться от законной жены, рассказывала, что причиной ее уединения — ее внезапная беременность не то от Орлова, не то от Понятовского. Это принималось Государем благосклонно, и, не скрывая, говорили о скором заточении Государыни в монастырь. Наследник Павел Петрович в манифесте не был объявлен наследником престола, и шептали, шептали, что это-де потому, что Павел Петрович не сын Екатерины Алексеевны, но неизвестно чей сын, быть может, самой Императрицы Елизаветы Петровны... Воронцова расчищала путь к престолу не только себе, но и будущему своему потомству. Тошно было все это слушать, скучно прислушиваться и ждать, когда же неумолимая судьба окончательно захлестнет петлю на шее Екатерины Алексеевны.

Странен и непонятен был Император. Он избегал Екатерины Алексеевны, она ему как будто была совсем не нужна, но это было до тех пор, пока что-нибудь сильно не задевало его и не потрясало. Тогда, как ребенок к маме или няньке, он шел к жене и делился с нею своим горем, своим возмущением, своими чувствами; он привык к ней, привык смотреть на нее, как на старшую, как на единственную, кто не из лести, но из какого-то чувства, которое, ему так казалось, должно было в ней сохраниться, мог дать ему верный и честный совет.

Ладожский лед прошел в середине апреля, и наступили те очаровательные солнечные апрельские дни, преддверие майских холодов и дождей. Император стал чаще выезжать из дворца, то на смотры, то на маневры. Готовился переезд его в Ораниенбаум, где большим лагерем стояли голштинские войска.

Император пропадал целый день неизвестно где. Он вернулся поздним вечером с зазябшим, покрасневшим лицом и прямо, не заходя на свою половину, прошел к Екатерине Алексеевне. Он был чем-то расстроен и потрясен. Государыня сидела в кресле у бюро. Она вопросительно посмотрела на мужа. Что ему надо от нее?

— Ваше Величество, знаете вы, куда я ездил сегодня?

Екатерина Алексеевна промолчала.

— Ужасно!.. Я хочу с вами поговорить. Ибо сие касается нас обоих и Павла Петровича...

— Я вас слушаю, Ваше Величество.

— Я был... В Шлиссельбурге... У Ивана... У Императора Иоанна VI. Ужасное зрелище!.. Вы знаете, он возмужал... Да ведь и то, ему — двадцать первый год кончается.

— Как вы его нашли?..

— Высокого роста... Очень худой... Длинное, белое лицо, продолговатый подбородок, синеватые глаза и в них... Да, что-то романовское... Но... Жуткий... Точно призрак... Не от мира сего. Я отослал свиту, остался с ним вдвоем. Мы заговорили. Странна и беспорядочна была его речь. Он слабоумен. И то — двадцать лет в заточении и никого не видеть, кроме своих тюремщиков. Я его спросил: кто ты?..Он отвечал... Сильно заикается... «Вы не знаете, кто я?..- Я не то лицо, за которое меня считают. Тот принц давно взят на небо. Но я готов отстаивать все права того лица, чье имя я ношу». Тогда я сказал: чье же имя ты носишь?.. Он усмехнулся... Как страшна была его усмешка! У меня мурашки побежали по спине от нее. Печально и сурово он ответил: «Арестант номер первый...» Больше мы не говорили.

— Что же вы думаете делать с ним?..

— Я не знаю... Я еще не решил... Мне жаль его... Он мой... двоюродный брат... Он... Император!

— Ваше Величество, вы не думаете, что в оном опасность для вас самих и для вашего сына?

— Я не знаю.. Но мне его жаль. Нужно быть милосердным и справедливым. Я враг несправедливости.

Государь долго молча ходил по комнате взад и вперед. Екатерина Алексеевна сидела у своего бюро и по странной рассеянности перебирала бумаги на нем. Она не подумала об этом. Вот еще какая опасность, какое неожиданное препятствие возникало на ее пути. Было что-то жуткое в тишине весенней ночи, в белом ее призрачном свете и длинной и худой фигуре Императора, задумчиво и молчаливо шагавшего по мягкому ковру.

XIV

Государь приказал гвардии снять красивые и свободные петровско-елизаветинские кафтаны и обряжал полки в узкие, немецкого покроя мундиры. В строевой устав вносились изменения, и Государь лично проверял командиров в знании нового устава. От полевых полков отобрали их имена, прославленные в петровских и елизаветинских походах, и повелели им впредь именоваться по фамилиям полковых командиров, все немцев. На ученьях гвардии Государь постоянно был недоволен и кричал, что он уничтожит гвардейские полки и заменит их голштинцами. В то же время он деятельно готовился к войне с Данией. В полках шло глухое брожение.

Было серое и туманное майское утро. К одиннадцати часам утра на дворцовой площадке выстроился развод от

лейб-гвардии Измайловского полка. Разводом было повелено командовать подполковнику гетману Кириллу Григорьевичу Разумовскому.

Полнеющий, застенчивый, никогда не знавший солдатской муштры, человек совершенно штатский, граф Кирилл Григорьевич неловко салютовал эспантоном и не знал, куда ему идти и где стать. Государь стоял на крыльце.

— Подполковник Разумовский,— резко крикнул он.— Пожалуй-ка, братец, сюда.

Разумовский подошел к Государю. Его полное лицо складывалось в неловкую смущенную улыбку.

— Ты что же это, братец?.. А?.. Все путаешь у меня?

— Никак осилить не могу, Ваше Величество.

— Пустое... Научишься. Прусский устав — точный устав... Сие тебе не немецкая философия. А посмотри-ка, братец, как я его усвоил!.. Ты знаешь, братец?.. А!.. Поздравь меня!.. Король Фридрих произвел меня в генерал-майоры прусской службы... А? Гордиться можно!..

— Ваше Величество, осмелюсь доложить...

— Ну, докладывай, братец, докладывай...

— Вы можете с лихвой отплатить королю.

— Да что ты говоришь такое, братец.. Я и в толк не возьму... Пожалуй, поясни.

— Произведите короля в русские фельдмаршалы.

— Шутишь, братец... Все шутишь, я оных шуток не поклонник. Ну ступай... Сегодня у твоего брата встретимся. Там мои шутки услышишь. Только понравятся ли они тебе, мои-то шутки?

Обед у Алексея Григорьевича был торжественный, пышный, богатый, как по-елизаветински умел трактовать знатных гостей старый вельможа. Два оркестра музыки играли на хорах, и выступали итальянские кастраты. Вся петербургская знать была на нем и все иностранные послы и посланники. По желанию Государя против него сидел датский посланник граф Гакстгаузен. Император был в каком-то приподнятом настроении духа. В конце обеда он внимательно посмотрел на датского посланника, точно только что узнал его, и, отвернувшись от него в сторону, ни к кому не обращаясь, сказал по-немецки:

— Довольно долго Дания пользуется моей Голштинией... Ныне желание имею и я попользоваться ею.

Граф Гакстгаузен покраснел, но не нашелся что сказать. Стали вставать из-за стола, и Государь подошел к гетману.

— Помнишь мои утренние уроки? Ты датчанина видал?.. Слыхал, что я ему сказал? Я на ветер слов не бросаю. Я тебе, братец, дам тридцать полков, и ты поведешь их в

Данию. Я выбрал тебя, братец, чтобы ты сопутствовал мне на походе и командовал моею армией.

— Вы так, Ваше Величество, то разрешите мне дать Вашему Величеству совет.

— Какой совет?.. Ну, я слушаю, что еще придумал?

— Повелите, Ваше Величество, выступать двумя армиями, дабы за армиею, находящеюся под моим командованием, постоянно следовала другая, чтобы заставить моих солдат идти вперед, иначе я не вижу, каким образом предприятие Вашего Величества может осуществиться.

— Все шутишь, братец... Я утром еще тебе сказал, что я оных шуток не жалую.

Граф Гакстгаузен едва дождался отъезда Государя с обеда и той же ночью отправил своего секретаря Шумахера с известием о готовящейся против Дании войне.

Датский двор принял меры к обороне, собрал армию и начальство над нею поручил генералу графу де Сен-Жермени.

Петр Федорович приехал в Ораниенбаум к голштинским войскам и стал стягивать полевые полки к Риге.

В воздухе запахло порохом.

XV

Сложным и запутанным становилось положение Императрицы Екатерины Алексеевны. В громадном Ораниенбаумском дворце одну половину дворца занял Государь с фрейлиной Воронцовой и своим двором, на другой, отдаленной части дворца, были отведены покои для Екатерины Алексеевны. Точно она и не была Императрицей и венчанной женою Государя. Великому князю Павлу Петровичу было повелено оставаться в Петербурге под присмотром Никиты Ивановича Панина.

В большом Петергофском дворце шел ремонт. Рядом с комнатами Государя готовились помещения для Воронцовой. Государыне же отвели маленький, старый, неудобный и сырой дворец в Монплезире.

Екатерину Алексеевну еще не убирали в монастырь, не ссылали за границу, но всем показывали ее ненужность, ее ничтожность и удаленность от Государя и государевых дел. И в то же время от нее требовали постоянного присутствия на обедах и куртагах, на празднествах, которые по разным поводам давались то в Ораниенбауме, то в Петергофе, то в Петербурге, в Зимнем дворце. Ее присутствие было нужно Государю, чтобы на глазах у людей унизить ее, показать, кто теперь играет главную роль при Государе, чтобы по-

смеяться над нею и поглумиться. Положение Екатерины Алексеевны делалось нестерпимым.

Двадцать четвертого мая состоялся обмен ратификацией между Россией и Пруссией. Семь лет длившаяся война прекратилась фактически со смертью Императрицы Елизаветы Петровны, когда были отозваны из Пруссии русские войска — теперь окончательно развязывались руки у Петра Федоровича, и тот, в угоду королю и для него, готовился к войне с Данией.

Этот мир был торжество для Государя. От гофмаршальской части и от петербургского полицмейстера на девятое, десятое и одиннадцатое июня были объявлены всенародные празднества, и дни эти повелено было считать «табельными». Петербург был убран флагами и, несмотря на белые летние ночи, был иллюминирован бумажными фонарями и сальными плошками. На площадях играли и пели полковые музыканты и песельники. Шли гулянья в Летнем саду и Екатерингофе.

В воскресенье, девятого июня, в пятом часу дня в залах Зимнего дворца и куртажной галерее начался парадный обед на четыреста персон. В голове стола сел Государь, имея при себе дежурство — генерал-адъютанта Андрея Васильевича Гудовича, посередине стола села Императрица, сзади нее стал дежурный при ней граф Сергей Александрович Строганов. Подле Государя был прусский министр барон Гольц, сегодняшний почетный гость и виновник торжества, по другую сторону — принц Голштинский Георг, дядя Императора и Екатерины Алексеевны.

Все шло чинно, и, как было установлено для подобных обедов, играла полковая и итальянская музыка, били литавры. Император был утомлен утренним разводом и был раздражителен. Его резкий голос то и дело возвышался над нестройным гулом голосов гостей.

Форшнейдеры нарезали жаркое и на золотых блюдах разносили его по гостям, наступило время тостов и виватов. Виночерпии разлили по кубкам пенное, французское вино, голоса стихли, музыка перестала играть. Согласно с установленным на этот день церемониалом, Государыня должна была «зачинать тост про здравие императорской семьи». Все встали, осталась сидеть только Екатерина Алексеевна. Она красивым жестом, сидя, приподняла кубок над головой и сказала ровным, спокойным голосом:

— Про здоровье императорской фамилии!..

Комендант, стоявший у окна, махнул платком. С Петербургской крепости резво и весело бабахнула пушка. Народ, толпившийся на набережной, нестройно закричал «ура». В дворцовых залах заиграли трубачи и забили литаврщики.

Император резко обернулся к Гудовичу и сказал·

— Ступай, братец, и спроси Ее Величество, почему она не встала, когда пили за здоровье императорской фамилии?..

Гудович подошел к Императрице.

— Доложи Его Величеству,— сказала Екатерина Алексеевна,— понеже императорская фамилия не из кого другого состоит, как из Его Величества, его сына и меня, то я не полагала, чтобы мне для сего здравия надо было вставать.

В зале ожидались другие тосты, и в нем стояла тишина. Гости продолжали стоять и, чувствуя, что произошло нечто, церемониалом не предусмотренное, прислушивались к тому, что говорилось подле Государя. И только пушки, разносясь по городу веселым эхом, продолжали бить через равные промежутки.

— Ну?..— поднимая брови, хриплым резким голосом сказал Государь.— Так в чем же дело, больна она, что ли? Ноги отвалились?..

Гудович сказал ответ Государыни.

— Ну так ступай еще раз и скажи Ее Величеству, что она — дура и должна знать, что к императорской фамилии причисляются два наших дяди голштинские принцы.

Гудович, смягчая слова Государя, доложил Государыне о голштинских принцах. Государь сел в кресло и прислушивался, приложив ладонь к уху. Лицо его исказилось гневом, он резко покраснел и крикнул на весь зал, брызжа слюнами:

— Дура!..

Все притихли и точно съежились, стали меньше. Одна Государыня оставалась спокойной. Она обернулась со своей очаровательной улыбкой к графу Строганову.

— Сергей Александрович,— сказала она.— Развлеки нас какою-нибудь шуткой. Его Величество скучать изволит.

Граф Строганов, смело глядя в глаза Государю, начал по-французски:

— Ваше Величество, разрешите рассказать одну историю, над которою теперь много смеются в Париже,— и, не дожидаясь ответа Государя, продолжал: — L'eveque de Versailles parle longuement chez le marechal d'Eshees... longuement et filandreusement. Le duc de Macurepois qui etait present s'endort et comme on propose de le reveiller, Monseigneur intervient avec bonhomie: «laissez le dormir, ne parlons plus». Le duc ouvre un oeil et dit: «si vous ne parlez plus — je ne dormirais plus»[1].

[1] Версальский епископ в гостях у маршала д'Эше говорит медленно и монотонно. Герцог Макюрепуа, который был при этом, засыпает. Предлагают разбудить его. Владыка вмешивается добродушно: «Оставьте его спать... Мы помолчим...» Герцог открывает глаза и говорит: «Если вы будете молчать, я больше не буду спать...» *(фр.)*

— Очаровательно,— сказала Государыня, теплым, ласковым взглядом обдавая Строганова.

— Ты, братец, смотри у меня,— строго сказал сильно разгневанный Государь,— как бы я тебя заместо твоего дюка разбудить не велел как следует!

Он встал и провозгласил очередной тост:

— Про здравие Его Величества короля Пруссии!..

Заиграли трубы, загремели литавры, с верков крепости понеслась салютационная пальба. Парадный обед продолжался в великой и строгой напряженности. Разговоры поминутно прерывались, и в зале то и дело стояла тишина.

Император был вне себя от бешенства. Едва кончился обед и гости направились в большую залу, Государь вызвал к себе князя Барятинского и пошел с ним в малую, малахитовую залу. Все боязливо перед ним расступались, принц Голштинский Георг-Людвиг пошел за Государем.

— Оного шутника,— задыхаясь от злобы, сказал Государь, обращаясь к Барятинскому,— за его глупые и неуместные шутки и анекдоты, за французские гиштории немедля выслать в его загородный дом.

Голштинский принц взял Петра Федоровича под руку.

— Я всю оную компанию разгоню,— продолжал Государь.— Я сошлю всех куда Макар телят не гонял!.. Чер-р-рт! Ее!.. Ее Величество, разумею я,— аре-стовать!

— Кого, Ваше Величество?..

— Что?.. Оглох, братец!.. Не понял?.. Пойми: Ее Величество — ар-ресто-вать!..

— Ну, полноте, Ваше Величество,— воркующим баском сказал Голштинский принц по-немецки.— Слыханное ли дело, чтобы Государыню Государь арестовывал?.. И за что? Ваше Величество оскорбили ее, Ваше Величество виноваты перед нею!

Он повел Государя в глубь аванзалы и все крепче и дружественнее, по-родственному сжимал его локоть, воркуя по-немецки.

— Я отходчив, Ваше Высочество... Я добр... Я справедлив, но я Государь... Вы мой гость...— говорил Петр Федорович.

— Тем более, Ваше Величество.

Барятинский в ожидании, чем все это кончится, следовал за Государем.

— Барятинский,— обернулся Петр Федорович к генерал-адъютанту.— С арестом Ее Величества повременить!.. Успеется!..

XVI

По окончании празднеств, двенадцатого июня, Император с двором вернулся в Ораниенбаум. Екатерина Алексеевна с сыном и несколькими придворными до понедельника семнадцатого июня оставалась в Петербурге, семнадцатого с несколькими фрейлинами переехала в маленький, старый Монплезирский дворец в Петергофе

После публичного оскорбления, нанесенного ей во время парадного обеда, буря кипела в ее душе. Жажда мести была в ней и страх, что не успеет она ничего сделать. Она была хорошо осведомлена о том, что уже был раз отдан приказ об ее аресте. Он отложен, но не отменен. Она могла его ожидать каждый день. Почему медлил Государь?.. Потому, что большой Петергофский дворец был не отделан? Не были закончены так, как того хотела Елизавета Романовна, комнаты Воронцовой, будущей Императрицы?.. Как не хотел он венчаться на царство, потому что венцы не были готовы. Или хотел раньше отбыть под Ригу, к армии? Нависал над нею удар, и приходил конец всем ее мечтаниям. Знала она, что теперь это она должна упредить его и решиться на какой-то шаг. На какой?.. Этого она не знала. Перед нею был пример ее тетки. Та сама, самолично, явилась во дворец и арестовала правительницу и малолетнего Императора. Сама все сделала и была приветствована солдатами. Но ее тетку солдаты знали, и ее тетка знала солдат и умела с ними говорить. Екатерина Алексеевна не рисковала одна явиться к полкам. Что скажет она и как?.. Ей нужны были помощники. У нее были эти помощники, но они почему-то медлили, и Императрица жила в Монплезире, постоянно выезжая на празднества в Ораниенбаум, и каждую ночь ожидала ареста, высылки, пострижения, быть может, смерти!

Белые летние ночи были без сна. То мечтала она, как все это выйдет и как тогда она за все отомстит. Длинный свиток огорчений, измен, оскорблений, обид замыкался резким словом, кинутым ей при всех, и заставлял ее крепко сжимать губы и думать о кровавой мести. «Если бы я была мужчиной?! Я сумела бы отомстить!..»

Под тонким, шелком крытым одеялом она ворочалась до утра, не в силах прогнать думы, не в силах подавить слезы бессилия.

«Что же они?.. Что же они-то думают?.. Орловы? Разумовские?.. Ужели не понимают, что дни мои сочтены, что, может быть, уже сегодня...»

Она вставала с постели, отдергивала занавес. Над парчовою простынею моря висит золотое солнце, и кажется,

что оно и не сходило с неба. За узким домом-дворцом скрипит по гравию железными шинами бочка. Водовоз привез воду. Шумит по деревянным бадьям водяная, широкая струя, и заспанные голоса раздаются там. Все такое мирное, повседневное, обыденное. Неслышными шагами проходит в антикамеру камер-фрау Шаргородская, и сейчас же пахнет свежими левкоями и резедой. Шаргородская расставила букеты по вазам. В зале, за тонкою стеною, бронзовые часы пробили шесть. Длинный день начинается.

Из Петербурга в почтовой бричке приедет от Панина курьер, привезет письмо, как вел себя Пуничка, как учился, о чем с ним говорили. В коляске примчится загорелая, запыленная, полная слухов, «эхов» и новостей Екатерина Романовна Дашкова, кинется к ногам Государыни, схватит ее маленькие ручки и целует, целует без конца, целует горячими устами то ладони, то верх руки. И вперемежку с поцелуями говорит отрывисто по-русски и по-французски, беспорядочно, сбивчиво:

— По городу, Ваше Величество, ходят люди, особливо гвардейцы. Въявь Государя ругают... Слышать просто страшно... Михаил Ларионович вчера за вечерним купаньем во дворце сказал, что Император от народа ненавидим, что безрассудство, упрямство и бестолковое поведение Государя общее недовольство вызывают.

— Что в Ораниенбауме?..

— Ужасно!.. Император собирается расторгнуть браки всех придворных дам и выдать их замуж уже по своему усмотрению. Его Величество собирается жениться на моей сестре.

— Давно о сем говорят. Да что-то не выходит. Дальше, кого на ком венчать собираются?

— Прусский посланник Гольц должен жениться на графине Строгановой...

— То-то, поди, доволен, старый немец.. Капуцинские замки!

— Марье Павловне Нарышкиной, графине Брюс и Марье Осиповне Нарышкиной повелено выбрать мужей, каких они сами пожелают.

— Кого же выбрали?

— При своих хотят остаться.

— Нарцисс и моська.

— По-прежнему — утеха Государева. По вечерам только и разговора что о войне с датчанами. Шлезвиг уже делят.

— Не убивши медведя, со шкурой расправляются.

— Вчера, двадцать пятого июня, освящали в Ораниенбауме лютеранскую кирку для голштинцев. Император сам был при освящении и раздавал солдатам молитвенники... В

народе болтали, что Император приобщался по лютеранскому обряду.

— Все «эхи»!.. Пустые «эхи»!.. Знают ли о том в казармах петербургских полков?.. Ты Орловым скажи.

— Капитана Ямбургского драгунского полка Зейферта, который за измену фельдмаршалом Фермором был арестован, Государь помиловал.

— В казармах скажи: помиловали-де немца, а своим скоро житья не станет. Замолчат.

Большое, красное солнце стоит и стоит над Кронштадтом, над синеющими лесами шведского берега. От солнца красно-бирюзовая дорога легла по морю до самого берега и блестит так сильно, что больно глазам. Вечерний ветерок колышет камыши, и они тихо шуршат, навевая мирную дрему. Волны с шепотом подкатывают к песчаному, низкому берегу, к самому полу монплезирского крыльца, на котором сидят Императрица и Дашкова, и расстилаются прозрачною влагой. От воды пахнет илом и рыбой, от берега острый запах жасмина несется. Дрозды в высоких елях и лиственницах парка посвистывают. У дворца Марли сторож в колокол звонит, сзывая ученых карпов на кормежку, еще петровская затея. Императрица Екатерина I любила смотреть, как играли рыбы под водою, выворачиваясь то темными спинами, то золотистыми брюхами. Над морем белые чайки чертят в светлом небе перламутровый узор и резко кричат. В вечерней тишине слышнее дремотный шепот фонтанов в большом нижнем парке Оттуда пахнет сеном — сегодня девушки с песнями метали его в стога по всем ремизам петергофских садов.

Нет... Все мирно, тихо... Ничего не случилось, да ведь само-то собою ничего и не случается!

Кто-то спорою рысью проехал по парковой дороге, слышно, как остановился у Монплезира, спрыгнул с седла. Тяжело вздохнула лошадь.

Курьер!

И вот бессознательная тревога вдруг охватила Екатерину Алексеевну. Курьер!.. Что в нем могло быть особенного? Каждый день приезжали курьеры, то с приглашением на обед к Разумовскому в Гостилицы, то с извещением о куртаге в Ораниенбауме, то с запиской от Гофмаршальской части, но почему-то сейчас, в этот тихий и уже ночной час, при этом бледном небе этот курьер показался каким-то особенным, сулящим что-то. С трудом сдерживая волнение, Екатерина Алексеевна повернулась к Дашковой и сказала наружно спокойным голосом:

— Пойди узнай, что там такое?..

Сама подошла к окну и смотрела, как утихало, смиряясь, точно на ночь укладывалось, море, и вот уже загорелись едва видными звездочками огни на мачте стоящей на море брандвахты. И казалось, что так много прошло времени с тех пор, как Дашкова побежала на двор. Едва услышала знакомые, торопливые, поспешные шаги, повернулась к двери и спросила негромким голосом:

— Ну?

— Пассека арестовали.

Несколько минут обе стояли одна против другой, не говоря ни слова. Мучительны были их думы. Пассек был офицер Преображенского полка, один из немногих через Дашкову посвященных в тайну Императрицы — «царствовать одной».

— Пассек не выдаст,— тихо сказала Дашкова.

Императрица знала, что Пассек не выдаст. Не в этом дело, но Пассек — первое кольцо той недлинной цепи, последним кольцом которой была Екатерина Алексеевна. Все это неслось ураганом несвязных, путаных мыслей в голове Императрицы. Она не знала, что предпринять и можно ли и нужно ли что-нибудь предпринимать?

— Пойди... Нет... Постой!.. Погоди!.. Да, вот что... Скачи сейчас... К Алехану... Ему скажи, что... Пассека арестовали...

— Он, я думаю, уже знает,— робко сказала Дашкова.

— Да, может быть... Нужно, чтоб он знал, что я сие знаю...

— Так я поеду...

— Скачи, милая... Поспешай...

Императрица осталась одна. Она прошла в опочивальню, вызвала Шаргородскую, разделась и легла спать. Но сон долго не приходил к ней. *Пассека арестовали... Добираются до всего...* А тут Шаргородская только что спросила, какое платье приготовить на завтра... Завтра — folle journee[1] — пикник в петергофских садах, катанье на лодках по каналам, обед в большом дворце и фейерверк на море. Император приедет с Елизаветой Романовной и будет ломаться с ней на всем народе... Вчера... Вчера в Японской зале Ораниенбаумского дворца был большой обед и после него маскарад в театре. За обедом Император был необычайно мрачен, молчалив и зол. Во время маскарада незнакомая маска подошла к Екатерине Алексеевне и сказала по-немецки: «Полковник барон Будберг сегодня докладывал Государю, что против него обнаружен заговор и что будто его самого, Будберга то есть, к этому заговору склонили... Остерегай-

[1] Сумасшедший день (*фр.*).

тесь...» Маска исчезла в толпе домино. Сегодня арестовали Пассека... Все это было как-то в связи одно с другим, все это было очень тревожно и прогоняло сон усталой, измученной волнениями Государыни. И только под утро она стала забываться крепким и спокойным сном.

XVII

Те, кому нужно было знать в Петербурге, что Пассека арестовали, те узнали об этом и помимо Дашковой. Пассека арестовали по приказу от Императора из Ораниенбаума и по самому пустому делу.

Утром, когда гренадерская рота Преображенского полка, которою командовал капитан Пассек, строилась на ученье, на галерею полковой избы вышел солдат и начал громко говорить, что когда полк выйдет в Ямскую, в поход против Дании, то гренадерам надо будет спросить: «Зачем и куда нас ведут, оставляя возлюбленную матушку Государыню, которой мы завсегда готовы служить?»

Об этом доложили поручику Измайлову и капитану Пассеку. Пассек прогнал доносчиков и повел роту на ученье.

Тем временем обо всем происшествии доложили полковому командиру, полковнику Ушакову, и добавили, что в этом подозрительно то, что капитан Пассек неоднократно говорил непочтительно об Императоре. Ушаков нашел нужным донести обо всем непосредственно Императору и погнал гонца в Ораниенбаум. Гонец вернулся после полудня с приказом Государя: «Пассека арестовать при полковом дворе...»

Гренадерская рота, узнав об аресте своего командира, *вышла на полковой двор в полном вооружении, но, когда* офицеры не пришли к ней, гренадеры постояли на дворе и разошлись. Неспокойное и тревожное время наступило в Преображенском полку. Солдаты не доверяли офицерам, офицеры боялись своих солдат. И каждому было ясно, что зашли в какой-то тупик и что нужно искать из него выхода.

Об аресте Пассека сейчас же стало известно всем тем, кто был с ним в связи. Григорий Орлов послал гонца к Императрице, сам поехал в дом к Дашковой, а младшего брата, Измайловца, уже вечером послал к Кириллу Разумовскому.

Кирилл Григорьевич этот вечер проводил один в своем большом доме на Мойке. Графиня Екатерина Ивановна с дочерьми Натальей Кирилловной Загряжской и Елизаветой Кирилловной с утра уехала к Алексею Григорьевичу в Го-

стилицы. В доме были тишина и летняя отрадная прохлада больших и чистых покоев. Кирилл Григорьевич сидел у раскрытого окна, выходившего в большой, молодой еще сад на берегу Мойки, и прислушивался, как постепенно замирал и затихал город.

Камердинер постучал за дверью и осторожно нажал бронзовую ручку.

— Войди...

Неслышными шагами хорошо вышколенный слуга подошел к Кириллу Григорьевичу и сказал:

— К вашему сиятельству офицер Измайловского полка по срочному делу.

— Проси.

Разумовский выслушал доклад о том, что капитана Пассека арестовали по приказу из Ораниенбаума.

— Добре. Дальше что?.. Кто тебя послал ко мне?..

— Брат Григорий. Он поехал к графине Екатерине Романовне, Алехан собирается ехать в Петергоф, чтобы привезти Государыню прямо к нам... в Измайловский полк.

Ни один мускул не дрогнул на лице Разумовского.

Он внимательно посмотрел на молодого взволнованного офицера, молча подошел к нему, крепко охватил его за локти и выпроводил, не говоря ни слова, из своего кабинета. Потом он плотно запер двери и подошел к окну. Лицо его было спокойно и полно решимости.

«Ну вот, настал и мой час показать всю силу преданности той, кого одну любил, люблю и буду вечно любить... Да-а... Ну что же, любишь кататься — люби и саночки возить... Кто же другой?.. Из глухой деревни — малороссийский гетман, президент императорской Академии наук... Сколько почета, богатства!.. Какие хоромы... И все, если нужно, сменить на плаху...»

— Долг перед Родиной и перед Государыней превыше всего,— прошептал он, подошел к столу и позвонил в бронзовый колокольчик. В ожидании слуги он достал бумагу и стал писать. Широким, размашистым почерком он писал:

«Божиею милостью мы, Екатерина Вторая, Императрица и Самодержица Всероссийская и пр., и пр., и пр. Всем прямым сынам Отечества Российскаго явно оказалось, какая опасность всему Российскому государству начиналась самым делом...»

— Адъюнкта Тауберта, содержателя академической типографии, сейчас ко мне... Да живо... Конным послать...— не оборачиваясь от написанного, сказал Кирилл Григорьевич вошедшему слуге.

Он перечитал бумагу.

«Российскаго... Российскому... неладно... тавтология... Разве за Тепловым послать? Ему поручить.. Потом... Сейчас не годится!»

Разумовский переменил перо и продолжал писать с титлами наверху и завитками внизу:

«А именно, закон наш православной греческой перво всего возчувствовал свое потрясение и истребление своих преданий церковных, так что церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменою древняго в России православия и принятием иноверная закона...»

Он остановился и задумался. «Эхи такие об сем по городу ходят». Потом продолжал писать.

«Второе: слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, через многое свое кровопролитие заключением новаго мира с самым ея злодеем отдана уже действительно в совершенное порабощение; а между тем внутренние порядки, составляющие целость всего нашего отечества, совсем испровержены. Того ради убеждены будучи всех наших верноподданных таковою опасностью, принуждены были, приняв Бога и Его правосудие себе в помощь, а особливо видев к тому желание всех наших верноподданных ясное и нелицемерное, вступили на Престол наш всероссийской, самодержавной, в чем и все наши верноподданные присягу нам торжественную учинили.

Екатерина...»

Разумовский прочел и перечел написанное и присыпал пестрым с золотом песком. О многом в этом манифесте было умолчано, многое было неясно. А что же с Императором, куда он девался?.. А что же с Великим Князем Павлом Петровичем, будет он теперь наследником или нет?.. Но разве я знаю ее планы?.. Я знаю, как все сие случится? Она сама никогда нам о сем не говорила. Важно в оную решительную минуту сказать — вот свершилось — я Императрица и Самодержица, а там уж она сама всем распорядится... Сама своим смелым и ясным государским умом все и всех рассудит и по местам посадит, кому и где сидеть. Потом Теплов нам настоящий манифест соорудит. Сейчас — и этот сойдет.

Неслышными шагами шагая по ковру, Кирилл Григорьевич подошел к двери и окликнул камердинера:

— Тауберт здесь?

— Зараз сюда пожаловали

— Проводи ко мне.

Старый немец в синем академическом кафтане, в седом парике с низкими поклонами прошел в кабинет и остановился против Разумовского.

— Прочти сие... Все ли понял и разобрал?.. Сейчас в подземелье академического дома посадишь наборщика и печатника с их снарядами для печатания ночью сего манифеста. Сам будешь при них неотлучно и будешь править корректуру. Понял?

Тауберт повалился в ноги Разумовскому.

— Ваше сиятельство... Пощадите... Жена... Дети... Умоляю ваше сиятельство от подобного поручения меня избавить.

— Ты прочел бумагу... Знаешь все... Понимай, что знаешь... Или голова твоя с плеч слетит, или к рассвету листы будут готовы для расклейки по городу. — Разумовский высунулся в коридор и крикнул: — С гусаром проводить господина адъюнкта до самой академии.

Разумовский прошел в спальню, отпустил слугу и вместо того, чтобы ложиться, надел на себя мундир Измайловского полка и сел в нем у окна.

Теплая, душистая, летняя ночь тихо шествовала над Петербургом. Город спал. Прогремит где-то далеко по булыжной мостовой извозчичья двуколка, съедет на деревянный настил, и затихнет ее шум. Чуть шуршит потревоженная набежавшим ночным ветром листва густых лип и дубов в саду, да за Мойкой раздадутся на Адмиралтейской крепости крики часовых: «Слушай!.. Слушай!.. Слушай!..» — и замрут в отдалении, точно растают в хрустальном воздухе прозрачной, томной, северной ночи. И долго стоит полная, торжественная тишина. Небо зеленеет над адмиралтейской иглой, и ужо горит ярким блеском золотой ее кораблик. Слышно, как плеснула рыба в Мойке, и опять полетело, понеслось над городом. «Слушай!.. Слушай!.. Слушай!..»

XVIII

Екатерина Алексеевна проснулась точно от внезапного толчка. В антикамере за занавесями кто-то был. Горничная Шаргородская сердито сказала шепотом:

— Да что вы в самом деле. С ума, что ли, сошли? Нельзя вам сюда. Сказывают вам — Государыня почивать изволят.

Екатерина Алексеевна открыла глаза. Занавеси наполовину раздернуты. В антикамере мутный, предутренний летний, зеленоватый свет, и кто-то большой стоит там у самой занавеси.

— Кто там? — спросила Екатерина Алексеевна. Она уже догадалась, кто мог быть у нее в такой ранний час, и шибко забилось ее сердце.

— Ваше Величество, здесь я, Алексей Григорьевич, по неотложному делу. Пора вставать, Ваше Величество, все готово, чтобы провозгласить вас.

Государыня ничего не спросила. Она поняла, что — вот оно! И пришла ее судьба, и уже нет иного выхода, как довериться вполне этому человеку, и если не это — то завтра с нею покончит Император и его голштинцы.

— Хорошо. Обожди. Сейчас я оденусь...

Она быстро и тщательно оделась. Черное простое платье, на голове маленькая черная же шляпа, легкая накидка от пыли. Она вышла в антикамеру. Щеки горели от свежего умыванья, и под юбками дрожали ноги от волнения и утреннего холода.

И как всегда, когда говорила по-русски, на «ты» обратилась к Орлову:

— Ты один?..

— Со мною Василий Ильич Бибиков. Он остался при карете.

Шаргородская в шали вышла за Екатериной Алексеевной и приказала лакею Шкурину проводить Императрицу.

Они пошли пешком по парку, поднимаясь по песчаной дороге к Петербургскому тракту. Утренний воздух бодрил. Свежим сеном, липовым цветом, резедою и левкоями пахло. Неугомонно щебетали и пели птицы. Пыль была прибита росой, и легко было идти по пологому подъему. Нигде не было людей. Петергоф спал утренним крепким сном.

У настежь раскрытых ворот с кирпичными столбами стояла запыленная карета, запряженная шестеркой. Бибиков отошел от нее и, сняв шляпу, поцеловал руку Императрице. Екатерина Алексеевна и Шаргородская сели внутрь, Бибиков и Шкурин стали на запятках, Орлов полез на козлы к кучеру.

— Пош-шел,— наигранно весело крикнул он, хотя — вот он, кучер — сидел рядом с ним.

Карета покатилась вдоль парковой ограды. Никого не было в эти часы на Петербургской дороге.

Миновали железные ворота и покатили вдоль знаменских лесов. Восходящее солнце сквозь стекла кареты слепило глаза Государыни. С каменной дороги карета съехала на мягкую обочину, кучер пустил лошадей вскачь, и карета неслась в облаках пыли.

У Вологодско-Ямской слободы остановились. Было как во сне. Впереди, как на декорации, тянулись избы, крытые тесом. В открытое окно кареты Екатерина Алексеевна видела, как тяжело водили боками запаренные лошади и голубой пар поднимался над их мокрыми спинами. Против кареты стояла парная извозчичья коляска, в ней сидели Григорий Орлов и князь Федор Сергеевич Барятинский. Они сейчас же выскочили из коляски и подбежали к Государыне.

— Что в городе? — спросила, выходя из кареты, Екатерина Алексеевна.

— Все тихо.

— Что же думаешь делать?..

— Полагаю, что надо ехать в Измайловский полк. Ваше Величество, садитесь со мной в коляску. Те лошади устали, они следом за нами будут, нам же нельзя терять ни минуты.

И все так же покорно, бездумно, без всякого плана, отдаваясь подхватившему ее року и этим людям, которым она верила вполне, Екатерина Алексеевна оперлась на руку Григория Орлова и села в коляску, и они поскакали вдвоем к зеленевшему впереди березовыми рощами городу.

У деревни Калинкиной, где по светлицам стоял Измайловский полк, Орлов на ходу спрыгнул с пролетки и побежал по пешеходной тропинке через березовую рощу к полковой избе. Екатерина Алексеевна одна с извозчиком поехала шагом к воротам полкового штаба.

Душистыми вениками пахли березы в утреннем солнечном пригреве, и кругом стояла дремотная, ленивая тишина. Столица империи Российской спала крепчайшим сном. И только коляска въехала в ворота, как, разрушая колдовство тихого, безмятежного утра, дерзко и тревожно пробил дробь барабан и сейчас же забил тревогу

Под звуки тревоги Екатерина Алексеевна медленно ехала по полковому проспекту в аллее высоких берез.

На полковом дворе к ней подбежали человек восемь солдат. Они окружили коляску, остановившуюся посередине песчаного двора.

По избам кругом двора был слышен шум, невнятный говор и крики.

Тут, там появились люди. На бегу вздевая тесные немецкие мундиры в рукава, кто с ружьем и в ранце, кто без ничего, они бежали по ротным проспектам на полковой сборный двор. Шапки были надеты кое-как, плохо напудренные мукою косы торчали в разные стороны. Упал оброненный барабан и с глухим рокотом покатился по земле. Сержант двинул по затылку зазевавшегося мальчика-барабанщика. Люди сбегались к одиноко стоявшей коляске с маленькой женщиной в запыленном черном платье и окружали ее. Кто-то крикнул «ура», и молодой несмелый голос закричал:

— Да здравствует наша матушка Екатерина!..

И вдруг сразу мощно, громко, раскатисто, отдаваясь эхом об избы, полетело, далеко разносясь по городу, лихое, восторженное «ура»! В толпе, окружавшей Государыню, возрастало возбуждение. Одни солдаты подбегали к Екатерине Алексеевне, преклоняли колени и целовали подол ее платья, другие утирали полами мундира крупные солдатские слезы.

Толпа густела, двигалась, шевелилась и напирала на стоявшую подле коляски Государыню.

— Полегче, ребятки!.. Матушку затолкаете!

Екатерина Алексеевна стояла в солдатском, заливавшем ее море и молчала. Она понимала, что всякие слова теперь лишние, что она все равно не знает, что сказать, и не сумеет сказать то, что нужно и как нужно. И так в этой толкотне подле нее прошло несколько минут, показавшихся Государыне бесконечно долгими. Но вот от офицерских светлиц и из города показались офицеры. Одни бежали пешком, одни ехали верхом, совершенно готовые, в полной походной форме. И кто-то из них уверенно крикнул в пространство:

— За батюшкой-то послали?

И из аллеи берез кто-то радостно и возбужденно ответил:

— Зараз и шествуют.

В солдатской тесной толпе зашевелились, одни, ложась спинами на других, осаживали, другие закачались в стороны, и широкая улица образовалась в людской толпе. Старый священник, отец Алексей Михайлов,— он восемнадцать лет состоял полковым священником Измайловского полка,— в облачении, с крестом и Евангелием бодрою, торопливою походкой шел к Государыне. Причетник-солдат, согнувшись, неловко тащил за ним налой, накрытый парчовым покровом. В солдатской толпе вдруг полная тишина установилась. Екатерина Алексеевна преклонила колени и приложилась к кресту и раскрытому на аналое Евангелию, потом отошла и стала за священником. Тот поднял высоко над головою крест и несколько мгновений стоял так, ничего не говоря. Ослепительно горел золотой крест в его руке. Одна за другою обнажались солдатские головы. Те, у кого были ружья, брали их «на молитву», в толпе образовался некоторый порядок, какое-то подобие шеренг становилось вокруг Императрицы. Офицеры вышли вперед и сняли шапки. И стало так тихо, что было слышно, как дремотно шептали березы, как чирикали воробьи и гулькали голуби. Слышно было частое дыхание взволнованных солдат.

Священник выше поднял руку с крестом и сказал негромко, но в этой тишине слова его донеслись до самых углов полкового двора:

— Поднимите, братцы, правую руку, сложив персты, как для крестного знамения, и повторяйте за мною слова воинской вашей присяги. Присягнем служить матушке Государыне Екатерине Алексеевне.

Лес загорелых, темно-бронзовых рук стал над головами. Показались рукава мундиров над белыми париками.

— Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом перед святым Его Евангелием в том, что хощу,— торжественно провозгласил священник, явственно выговаривая каждое слово.

— Клянусь... Богом... Евангелием... хощу... хощу...— шепчущим рокотом пронеслось над толпою.

— И должен Ея Императорскому Величеству, Самодержице Всероссийской...

У солдат загорались глаза. Сознательно или бессознательно, но все громче и властнее раздавался рокот:

— Ея... Величеству... Самодержице... Всероссийской...

Было нечто величественное, таинственное и страшное в самых звуках малопонятных слов.

Измайловский полк присягнул Императрице Екатерине Алексеевне.

Раздвигая солдатскую толпу грудью лошади, к Императрице подъехал подполковник Кирилл Григорьевич Разумовский и, салютуя шпагой, спросил:

— Ваше Величество, куда повелите вести полк?..

Григорий Орлов ответил за Государыню:

— К семеновцам.

Строя все еще не было, но офицеры стали по ротам. Священник в облачении, с крестом в руке стал во главе полка, за ним поехала коляска, в которую села Екатерина Алексеевна, рядом с коляской ехали Разумовский и те офицеры, которые были верхом. За ними толпою, заливая всю ширину улицы от домов до домов, кто с мушкетом на плече, кто безоружный, шли измайловцы.

Петербург проснулся. В окнах были видны встревоженные, испуганные лица, к ворстам люди выбегали и спрашивали у солдат, что случилось. Им отвечали: «Матушка Государыня Екатерина Алексеевна взошла на Российский престол, и ей была солдатская присяга, а теперь идут, сами не знают куда...» Обыватели крестились истово и присоединялись к толпе солдат.

Когда подходили к Фонтанке, сквозь гул и гоготание толпы было слышно, как над рекою в Семеновском полку били барабаны тревогу. По Сарскому и Новому мостам навстречу измайловцам толпами бежали семеновцы. Они махали шапками и кричали «ура»...

И стали слышны все более и более настойчивые крики:

— В Зимний... В Зимний дворец... Ступай все к Зимнему... Там общий сбор будет...

И опять кто-то распорядился — послал рейтара к преображенцам, чтобы поспешали к Зимнему дворцу, присягать Императрице.

Толпа, минуя Семеновские светлицы, свернула на Садовую улицу. Впереди дружно ударили барабаны, люди подтянулись, взяли ногу, шаг стал шире и тверже, шеренги начали выравниваться. В солдатском потоке двух переме-

шавшихся полков совсем потонула коляска с маленькой женщиной в сером от пыли платье.

У Невской перспективы остановились. С Фонтанки от Аничкова моста бежали гиганты преображенцы, и никто не знал, с чем они бежали, но все знали, что это самый любимый и самый надежный полк был у Императора. Преображенцы быстро выстраивались поперек Садовой улицы, преграждая путь измайловцам и семеновцам.

Екатерина Алексеевна вышла из коляски и пешком направилась к преображенским гренадерам. Она совсем потерялась перед великанами солдатами. Гул приветствий и радостных голосов раздался ей навстречу.

— Виват, матушка Екатерина Алексеевна!..

Солдаты выходили из шеренг и окружали Императрицу, спеша ей рассказать про себя и все объяснить, как и что вышло.

— Прости, милостивица, что припоздали маненько...

— Нам бы первыми быть подле тебя должно.

— Да вишь ты, офицера нас не пускали... Все ожидали какого-то приказа.

— Такое дело!.. Каждый сам за себя понимает, что нужно, им, вишь ты, приказа нужно!

— Присягу, мол, нарушаем!

— Присяга!.. Матушке Государыне присягнем!..

— Майор Воейков, шпагу обнажа, на коне солдат рубить зачал.

— Такой озорной!.. Мы яво в штыки... На Фонтанном спуске в реку от нас кинулся.

— Ей-Богу. Перепужался страсть как!

— Солдатский штык не игрушка. Испужаешься... По пузо лошади в воде стоит... Монамент!..

— Капитан Измайлов да поручик Воронцов пускать нас не восхотели. Ворота кинулись запирать. Тут уже и офицера поняли, что не так надоть. Премьер-майор Меньшиков как гаркнут: «Ура,. Императрица наша Самодержица!..» А тех офицеров арестовали. На габвахт повели...

Улыбающийся, сияющий успехом Меньшиков проталкивался через толпу. Другие офицеры следуют за ним. Восторженно, блестящими глазами смотрит на Императрицу Державин и преклоняет колени перед прекрасной Государыней.

— Следуйте за нами... Приведете ваших молодцов к присяге мне,— говорит Екатерина Алексеевна и идет к своей скромной коляске.

По Садовой улице, запружая ее крупными ганноверскими конями, в белых колетах, со шпагами у плеча рысью несется Конная гвардия. Гомон толпы, отдельные восклицания сол-

дат, крики частных людей, неожиданные «виваты», исторгнутые из чьей-нибудь переполненной восторгом груди, все заглушилось цоканьем копыт по деревянной мостовой и протяженными кавалерийскими командами.

— Эс-с-кадрон!.. Сто-о-ой, ра-равняйсь!..

На прекрасных лошадях, в синь отливающих на солнце, к Екатерине Алексеевне скачут курц-галопом генерал-поручик Вильбоа, князь Волконский, граф Брюс, ротмистры Баранов, Александр Новосильцев, штабс-ротмистры Илья Дараган, барон фон дер Пален, все те, кого столько раз видала во дворце и на разводах Великая Княгиня, кого чаровала своею улыбкой, своим приветливым разговором. Молча машет Императрица рукой, дает поцеловать ее склоняющимся с седел к ней офицерам, садится в коляску и сопровождаемая офицерами Конной гвардии, как почетным эскортом, едет по Невскому. Сзади нее глухо гудят конно-гвардейские литавры и играют трубачи.

Пока присягал Измайловский полк и Екатерина Алексеевна шествовала к Петербургу, окруженная все нарастающею толпою, десятки академических служителей разбежались по всем площадям Петербурга и на церковных оградах и на стенах присутственных мест расклеили сырые еще листы манифеста Государыни, о котором та еще и не подозревала. Алексей Орлов и Кирилл Разумовский шествовали с Государыней, а Григорий Орлов и княгиня Дашкова, через посылаемых конных дворовых людей осведомляемые о каждом шаге Государыни, рассылали записки духовенству, в Сенат и Синод. Стоустая молва опережала гонцов.

Какой прекрасный это был день! Небо без облака, и солнце струит и струит золотые лучи по Петербургу, красит его зеленые сады и сверкает на куполах церквей. А с тех уже поплыл, понесся плавный торжественный перезвон сотен колоколов и говорит о чем-то праздничном, необыкновенном, что случилось вот сейчас в столице Российской империи. Девять часов утра, площадь у Казанского собора совсем запружена народом, и высланы от Конного полка дозоры, чтобы расчистить в толпе дорогу войскам. У паперти стоит высокая митрополичья карета, запряженная шестериком серых лошадей под белыми суконными попонами. Преосвященный Вениамин, архиепископ Санкт-Петербургский, в полном облачении, окруженный сонмом духовенства, ожидает Императрицу.

Пока шло молебствие, офицеры на площади привели полки в порядок, установили расчет, построили поротно, и,

когда Императрица вышла из церкви, шествие пошло уже «парадом» с музыкой и барабанным боем.

Государыня вошла в прохладные залы дворца.

Ее глаза в покрасневших от бессонной ночи, длинной дороги и пыли припухших веках горели, как небесные звезды. Сама она себе и окружающим в эти чудесные часы, когда все свершалось, как в какой-то арабской сказке, казалась высокого роста. Ног под собою она не чувствовала, как не чувствовала ни голода, ни утомления. Все веления тела смолкли, и была только одна огромная душа, которая всем распоряжалась, все предвидела и все понимала.

До сих пор она ничего не приказывала и, кроме слов привета и благодарности, ничего не говорила. Теперь вошла в зал, и вдруг — тишина кругом нее и против нее толпа офицеров, ждущих ее распоряжений. Она осмотрела их. Какая это все была молодежь!.. Все ее однолетки!.. Да ведь таким-то — будущее! И какое во всех них восторженное выражение, какой блеск в глазах, и в этих глазах — она уже не сомневалась — п о б е д а!..

— Пошлите за Государем Наследником...

Одним этим наименованием она уже установила будущее. До сих пор Павел Петрович не был наследником — он был просто Великим Князем. Она не назвала его императором, этим самым устраняя саму возможность своего регентства,— нет, она — Императрица, Самодержица, она здесь будет «царствовать одна», как всегда о том мечтала. И вот мечты ее осуществились.

Она подошла к окну

— Установите в полках порядок... Всех привести к присяге. Напольные полки пришли?

Она ни к кому особенно не обращается, знает, что ей кто-то должен ответить.

— Ямбурцы, копорцы, невцы и петербургцы подходят. Генерал Мельгунов пытался задержать ингерманландцев и астраханцев, но солдаты его арестовали. Полки ведет майор Василий Кретов... Полки подходят к плашкоутному мосту.

В наемной карете, придворную долго было запрягать, ко дворцу примчался Никита Иванович Панин. Он привез взятого прямо из постели Великого Князя Павла Петровича. Мальчик был в белом ночном платье.

Екатерина Алексеевна взяла сына на руки и вышла с ним на верхнее крыльцо.

Загремело, покатилось, все усиливаясь, все вырастая, в восторге солдатское и народное «ура»... Императрица молча улыбалась народу, и так прекрасна она была с мальчиком в белом на руках, что «ура» все росло и раскатывалось, захлестывая соседние улицы...

Императрица еще раз приподняла взволнованного мальчика над толпою, поклонилась народу и ушла в зал.

Ее ожидали распоряжения.

XIX

Она подписала манифест, наскоро составленный Тепловым, отдавала приказания сенаторам и выслушивала неизбежные в таких случаях докучливые и ненужные речи, а на площади вокруг дворца совсем особенная кипела работа. Из полковых цейхгаузов на ротных подводах привезли упраздненные Петром Федоровичем елизаветинские кафтаны и шапки-гренадерки с медными налобниками, и солдаты снимали с себя немецкие мундиры и одевались в старую форму.

В первом часу дня Екатерина Алексеевна вышла из дворца и пошла пешком в старый Зимний дворец у Полицейского моста. Полки стояли «в параде». Темно-синие и темно-зеленые кафтаны совсем изменили их вид. Везде был порядок. Музыканты заиграли «встречу», знамена уклонились, полки взяли мушкеты «на караул». Новое — и старое вместе с тем — елизаветинское — войско стояло перед нею и самым видом своим говорило о том, что победа совершилась, что Императора Петра Федоровича нет, что он бывший Император и вот она — Императрица Екатерина Алексеевна!.. Самодержица Всероссийская!

И, отвечая ее мыслям, вдруг грянуло «ура», раздались крики:

— Да здравствует Императрица Екатерина Алексеевна!.. Виват!.. Виват!.. Виват, матушка Государыня Екатерина Алексеевна!..

В пустом дворце пахло сыростью и плесенью и был приятен холодок нежилых покоев. Мебели во дворце не было — она была увезена в Ораниенбаум и Петергоф. Служители и взятые от полков солдаты побежали к графу Строганову за столами, стульями и посудой. В угловой комнате наскоро устроили Екатерине Алексеевне кабинет и приготовили все для письма. Она принимала здесь донесения. Ее волновал вопрос, что же Император? Его как бы не было, о нем точно забыли.

Конно-гвардейский сержант в белом, пылью покрытом колете и лосинах, рослый молодец, с трудом скрывая улыбку, докладывал Государыне, что их эскадрон только что имел столкновение со всем Кирасирским государевым полком.

— Ихний командир скомандовал, чтобы они, значит, ударили на нас, они не послушали своего командира, арестовали его и всех немцев офицеров и идут сюда, вам, Государыня, чтобы присягать.

— Кто командир Кирасирского Его Величества полка?

— Подполковник Фермилен,— ответили из толпы офицеров, что стояла против ее стола в ожидании распоряжений и приказаний.

Екатерина Алексеевна отпустила сержанта и долго смотрела в толпу офицеров. Ей казалось, что она играет в шахматы... Вот против нее выстроились в серых мундирах фигуры противника Петра Федоровича. А перед нею стоят — вот они! — эти самые офицеры и генералы. И надо поставить — мат!.. Уже нет у противника коня... И пешек почти совсем нет, король стоит, плохо защищенный, нет у него королевы-советницы, и если двинуть на него ладью, припереть ловкими прыжками коней, потом, закрыть путь отступления турой... Да, раньше всего — ладью!..

Взгляд Государыни останавливается на белом с голубыми отворотами адмиральском кафтане.

— Адмирал Талызин, пожалуй-ка сюда. Кто у нас сейчас в Кронштадте?..

— Генерал Нуммерс.

— Ну так вот... Взяв вельбот, пойдешь на веслах в Кронштадт. Скажешь оному Нуммерсу: никого от бывшего Императора не принимать... Самого бывшего Императора в Кронштадт не допускать, а, буде, пожалует — арестовать. На запад, мористее, сторожевые суда поставить с войсками, дабы никто с моря от Риги и Ревеля сюда не мог прийти. Еще пошли сказать контр-адмиралу Милославскому отправиться на яхты и галеры, что супротив Петергофа оякорены,— команды тех яхт и галер к присяге мне привесть и, приведя, следовать с оными судами ближе к Петербургу Буде на тех судах окажется кто присланный из Петергофа, хотя и сам бывший Император,— оных людей арестовать и привести сюда за крепким караулом, наблюдая за ними, чтобы по арестовании никакого вреда сами себе учинить не могли. Понял?..

— Ваше Величество...

Екатерина Алексеевна смотрит на Талызина и, кажется, сами мысли его без слов читает. Она берет перо и крупным, ясным почерком пишет на обрывке плотной сероватой бумаги:

«Господин адмирал Талызин от нас уполномочен в Кронштадт, и что он прикажет, то исполнять. Июня 28-го дня 1762-го года.

Екатерина»...

— Теперь понял?

Талызин молча берет бумагу, низко кланяется и уходит. Императрице кажется: по диагоналям шашек шахматной доски неслышно заскользила ладья, сейчас послышится вкрадчивый шепот: «Шах королю...»

— Попросите ко мне донского атамана Степана Даниловича Ефремова.

По залам закричали: донского атамана к Государыне... Генерала Ефремова к Ее Величеству...

В длинном кафтане, с кривой саблей на боку, через расступившихся офицеров к Государыне подходит Ефремов. Он молод, красив и статен. На его бледном, круглом, полном лице резко очерчены молодые мягкие усы. Он наклоняется к руке Императрицы и целует руку. Государыню непривычно щекочут усы атамана, и она поднимает голову и пронзительно смотрит в большие, слегка навыкате глаза донского атамана.

— Степан Данилович,— тихо говорит она,— как повелел казакам?..

— Быть с тобою, Всемилостивейшая Государыня. Навеки и нерушимо.

— Где оставил полки?

— Три тысячи станичников стоят по Нарвскому тракту. Вчера, согласно приказу, выступили в датский поход... Как прослышал о тебе — остановил под пулковскою горою.

— К присяге привел?..

— Им незачем присягать. Смута одна... Как повелю — так и будет.

— Повели, атаман, сушею наблюдать, дабы никто не мог подойти к Петербургу. Легкие партии пошли к Ораниенбауму для розыска о бывшем Императоре. Сам со старшинами будешь при мне, стремя к стремени.

— Слушаю, Государыня.

Атаман целует руку Государыни.

— С Богом, атаман!

— Спаси Христос, Государыня... В час добрый!..

Вот и конь поскакал косыми скачками по шахматной доске, еще — шах королю!.. Когда же мат?.. Надо ей самой — королеве — двинуться и сразу припереть его и по диагонали и по прямой... Тогда будет — шах и мат... Выиграна партия.

Она встает — отдать последние распоряжения о своем движении, но из Ораниенбаума, от бывшего Императора — гонцы...

XX

Канцлер Михаил Илларионович Воронцов, князь Трубецкой и граф Шувалов прибыли от Государя. Екатерине Алексеевне шепчут, что Трубецкому и Шувалову приказано удержать гвардию в повиновении и в случае нужды — убить Государыню...

С грустной улыбкой Императрица выслушивает доклад. Очень все это похоже на ее супруга и особенно на Елизавету Романовну, но .. поздно!

Она приказывает пригласить к себе Воронцова. Друг и советник покойной Императрицы — он всегда был и искренним другом Екатерины Алексеевны. Не мог он измениться. Он входит усталый от быстрой езды, запыленный и очень взволнованный. Он едва владеет собою. Чувство долга борется в нем с каким-то другим чувством, определить которое он еще не может

— Ваше Величество,— он задыхается и не сразу может продолжать. Государыня с милостивой улыбкой ждет, когда он оправится. Воронцов весь еще в ораниенбаумско-петергофских впечатлениях легкомыслия и самонадеянности. Он не понимает, что произошло за этот день, он не догадывается, что все уже кончено. Так все это кажется ему невероятным и чудовищным. Эта маленькая милая женщина не могла замыслить и исполнить то, что некогда замыслила и так прекрасно выполнила его кумир Елизавета Петровна.— Ваше Величество, вы никогда сего не совершите. Вы обязаны верностью Государю Императору, как его супруга, как Императрица... как мать Великого Князя!.. Ваше Величество, вы присягали!.. Вы, вероятно, не отдаете себе отчета в том, что вы делаете?.. Оные поступки — преступление...

— Молчите,— с силою говорит Екатерина Алексеевна.— Преступление так говорить со своею Государыней!

Она берет за руку Воронцова и ведет его к окну.

— Смотри, Михаил Илларионович, и запомни... Не я!.. Не я!.. Не в чем упрекать меня!.. Я только повинуюсь воле народа!

У ног Воронцова на Невской перспективе бесконечный фронт войск. Мушкеты составлены в козлы. За мушкетами сидят, стоят, лежат солдаты. Они все в елизаветинской форме. Точно призраки восстали из гробов, точно снова он видит, что видел на рассвете холодного зимнего дня, когда вот так же быстро и неожиданно совершился переворот. Тогда к счастью и благоденствию России... Теперь?...

Несколько мгновений Воронцов тупо смотрит на войска. В Петергофе все были иллюзии, мечты, болтовня, пересмешки, шутки, «капуцинские замки» — здесь была упорная воля и чья-то систематическая работа.

Воронцов преклонил колени и поцеловал милостиво протянутую ему руку Государыни.

— Ступай!.. Скажи князю Трубецкому и графу Шувалову — я знаю их намерения. Расскажи им о том, что сейчас видел. Присягайте мне и ведайте... Не для себя!.. Нет!.. Нет!.. Не для себя!.. Но ради России!

Она наклонила голову в ответ на его низкий до земли поклон и проводила его долгим взглядом. Потом подошла к столу, села за него, взяла перо, задумалась и быстрым смелым почерком стала писать.

«Господа сенаторы,— писала она.— Я теперь выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, яко верховному моему правительству, с полною доверенностью, под стражу: отечество, народ и сына моего.

Екатерина».

Она передала записку Панину и подошла к группе генералов. Она сама распорядится о марше против бывшего Императора. Она обратилась к Алексею Орлову:

— Алексей Григорьевич, с легкоконными полками ступай на Петергоф... Князь Мещерский с артиллерией и пехотными напольными полками пойдет за тобою... Гвардию я поведу сама.

Она все еще в скромном темном платье, в котором приехала из Монплезира. Она поведет гвардию в гвардейском офицерском мундире.

— Екатерина Романовна, распорядись, милая, чтобы Шаргородская мне приготовила переодеться. Из Конской школы подать мне и тебе верховых лошадей.

Дашкова побежала к Шаргородской.

— Да что вы, матушка, Екатерина Романовна, что сие Государыня забыть нешто изволила? И ейный, и ваш гардероб, еще когда!.. В Ораниенбаум отправили! Здесь во дворцах по шкапам поискать ничего такого и не найти.

Дашкова сказала Разумовскому, тот Государыне.

— Разве, Ваше Величество, у кого из здешних офицеров взять?.. Под ваш рост и фигуру?

— Ну, конечно. Мне все равно, делайте только скорее, чтобы нам не задерживать наступление. Полки истомились от бездействия целый день и пить уже начинают

Разумовский бросился в толпу офицеров, стоявшую у крыльца. Через несколько минут он вернулся с молодым поручиком Семеновского полка Талызиным. Розовощекий, светловолосый, с голубыми глазами, тот походил на девушку. Весь — смущение, он предстал перед Государыней.

— Вот, Ваше Величество, как будто бы и рост и фигура совсем ваши. И мундир новенький.

Императрица быстрым взглядом окинула растерявшегося молодого офицера, улыбнулась ему материнско ласково и, толкая в плечо, сказала:

— Ступай-ка в соседнюю комнату, раздевайся и присылай мундир и все, что полагается, своей Государыне... Сам обойдешься как-нибудь.

Пока Государыня переодевалась, Дашковой доставили таким же образом мундир Преображенского полка. Шаргородская из нового Зимнего дворца раздобыла для Государыни Андреевскую ленту

Было десять часов вечера. Екатерина Алексеевна вышла на дворцовое крыльцо; прекрасная голштинская лошадь, серая в мелких гнедых пежинах, поседланная офицерским седлом, накрытым богато расшитым золотом бархатным вальтрапом, с пистолетными ольстредями, была ей подведена. Фельдмаршалы князь Трубецкой и граф Бутурлин, гетман Разумовский, генерал-аншеф князь Волконский, генерал фельдцейхмейстер Вильбоа, донской атаман Степан Ефремов, граф Шувалов и с ними целый эскадрон адъютантов, ординарцев, вестовых и казаков, все на конях, ожидали Государыню.

Государыня села на лошадь. В прекрасно сидевшем на ней кафтане Семеновского полка, в треугольной шляпе, свежая и неутомимая; весь этот день распоряжений, тревог, успехов и ожиданий нисколько на ней не отразился, неземная, в ком дух владычествовал над телом, с блестящими глазами Императрица поскакала галопом, сопровождаемая свитой и эскадроном Конной гвардии по Невскому вдоль построенных полков гвардии, готовых к походу. Громовое «ура» ее сопровождало.

У Чернышева переулка Государыня перевела лошадь на шаг. Здесь стояла голова колонны — Преображенский полк.

— Друзья, вперед! — воодушевленно сказала Государыня.

«Ступай»,— раздалась команда. Глухо ударили барабаны. Хрусткий, мерный, тяжелый шаг раздался в тишине летней ночи. Легкая пыль взвилась над колонной. В Семеновском полку красиво заиграла полковая музыка. Гвардия тронулась по Садовой улице к Калинкину мосту.

XXI

Шли медленно, с частыми остановками и привалами. Хвост колонны князя Мещерского мешал широкому шагу преображенцев. Утомление целого дня, проведенного на улицах, выпитое вино и пиво сказывались. Солдат разморило и клонило ко сну.

За Красным кабачком, на двенадцатой версте от Петербурга полки стали на ночлег. Кругом, на лугах и по опушкам рощ, дымили костры, стояли козлы ружей и за ними лежали солдаты. Глухо гомонили, укладываясь спать, биваки. Светлая пелена тумана пологом прикрывала полки. От посланных вперед казачьих партий не было никаких донесений.

Окна двухэтажного деревянного здания Красного кабачка светились желтыми огнями. Там были в обычное время бильярды, карточные столы, ресторация для приезжающих, там пели и танцевали жрицы любви. Во втором этаже были отделаны уютные кабинеты и номера. Он весь теперь был переполнен офицерами, расположившимися на ночлег. Разумовский распорядился очистить в нем комнату для Государыни. Дашкова побежала приготовить все для ночлега Императрицы.

По скрипучей лестнице Государыня поднялась во второй этаж и осторожно, боясь разбудить Дашкову, отворила дверь. Маленькая горница была освещена одинокою свечою, горевшей в низком медном шандале с ручкой колечком, стоявшей на табурете подле широкой двуспальной кровати. На полу лежал пестрый, пыльный, потертый ковер. Красные, кумачевые, грубого рисунка занавеси скрывали постель.

Государыня сняла шляпу, расстегнула кафтан и тихонько, на носках пошла к кровати. Дашкова лежала на ней, завернувшись в офицерский плащ, и, казалось, крепко спала. Государыня распустила волосы и осторожно легла на постель рядом с Дашковой.

Она лежала тихо, стараясь заснуть. Сердце бурно колотилось в груди. И то, что было, и то, что надо подготовить на завтра, что надо продумать, и сладкое волнение от того, что все так хорошо, просто и гладко вышло, и сознание громадного долга, взятого ею на себя, мешало ей уснуть. Государыня открыла глаза. В комнате было по-утреннему светло. Сквозь занавеси лился печальный солнечный свет. В пол-аршине от Государыни блестели, улыбались, сверкали счастием широко раскрытые, серые, громадные глаза Дашковой. Свет утра играл, отражаясь в них.

Обе женщины рассмеялись.

— Ты не спишь?.. Я-то думала... Берегла твой сон, старалась не шуметь.

— Ваше Величество, где же спать? Разве можно?.. Как в сказке!.. Как по-писаному все!.. И вы — Императрица!..

Гибким движением Дашкова вылезла из-под епанчи. Ее руки в рукавах с красными обшлагами крепко охватили Екатерину Алексеевну, и вся она стройным юным телом прижалась к Государыне. Она в каком-то экстазе целовала руки Государыни, ее шею, руки, волосы, она смеялась коротким счастливым смехом и повторяла, смеясь:

— Императрица!.. Императрица!.. Моя Императрица!.. Моя, вся моя!.. Господи, какое счастье!.. Моя Императрица!.. Мы все с вами, навсегда!

Так, смеясь и лаская друг друга, они и забылись в крепком коротком сне на полчаса, пока не разбудили их звуки труб и барабанов.

Полки строились в поход.

XXII

На двадцать восьмое июня в Петергофском дворце и в садах был назначен folle journee. С утра во дворце, внизу, на кухнях стучали ножами, из дворцовой кондитерской сладко пахло земляникой и ванилью, повара в белых колпаках и фартуках мелькали в окнах.

Во втором часу дня длинная вереница колясок, карет, колымаг и линеек, гремя колесами, подъезжала к дворцовым воротам и останавливалась у широких стеклянных дверей, ведших в сквозные галереи, выходившие к Фонтанному каналу. В них был сырой, теплый, душистый оранжерейный воздух. Мраморный пол блестел, в нем отражались статуи, стоявшие вдоль галереи, окруженные цветами. В туфовых бассейнах, оплетенных ползучими нежными растениями, журчала вода, золотые рыбки в ней играли. В пролет галереи были видны синее небо, беспредельность голубого моря, зеленая стена парка и высокая серебряная струя фонтана Самсон, бившая к небу. Шум фонтанных струй наполнял своды галереи и отражался от них. Красота сказки тысячи и одной ночи была в этой галерее.

Государь Петр Федорович весело спрыгнул с коляски, за ним выскочил его пудель, и жеманно вылезла, опираясь на тонкий зонтик, фрейлина Воронцова. Из подъезжавших следом экипажей вылезали гости. Девочка-принцесса Екатерина Петровна Голштинская и с нею Барятинский и Гудович, старый фельдмаршал Миних в потертом елизаветинском кафтане, молодые офицеры голштинского отряда, фрейлины, канцлер Воронцов, фельдмаршал князь Трубецкой, прусский посланник Гольц пестрой толпой стояли у дверей, ожидая, когда Государь войдет в галерею. Но государь медлил. Он ждал, чтобы его, как то быть должно, встретила Императрица Екатерина Алексеевна. Сквозь раскрытые двери галереи Петр Федорович видел придворных лакеев, чинно выстроившихся в ряд. Пудель вбежал в галерею и побежал к парку. Наконец Государь вошел во дворец и обратился к старому камердинеру:

— Ее Величество?..

— Ее Величество еще не жаловали из Монплезирского дворца.

— Странно!.. Шутки шутит!..

На мгновение заботная мысль набежала на лицо Государя и остановилась на нем. Да, были какие-то «эхи»... Третьего дня на маскараде что-то говорили о заговоре против него, в котором была замешана Императрица. Но сейчас же детское легкомыслие взяло вверх над заботами и тревогами. Как человек самонадеянный и самовлюбленный, Петр Федорович считал себя гораздо умнее своей жены. Он смотрел на нее, как на девочку-«философа», неспособную на заговор. «Дура» с ее книжками, дневниками, перепиской с французскими писателями!.. Она живет чужим умом и все играет с ним, как, бывало, играла в жмурки и серсо. Вот и опять что-нибудь надумала, чтобы подурачиться над ним. Ну, да посмотрим.

— Сударь... Ее Величество не изволила нас встретить... Идемте к ней сами, захватим ее врасплох. Накажем неаккуратность ее.

Он не видел тревоги и забот на лицах придворных, весело помахивая тросточкой, он пошел впереди всех через галерею. Внизу в большом бассейне между золоченых статуй и медных зеленых лягушек звенели и шумели многочисленные фонтаны. Водяная пыль радугами играла. Аллея молодых елок манила к морю. Все улыбалось, все было приветливо и радостно в этот июньский, солнечный день. По мраморной лестнице вдоль фонтанов спустились в нижний сад. По широкому деревянному мосту перешли канал и направились по длинной тенистой аллее к Монплезиру. Государь то и дело останавливался; прислушивался к тому, что говорили сзади него, и шутил с придворными. Казалось, он совсем забыл об Императрице.

Барятинский, нагибаясь к юной Голштинской принцессе, «ферлакурничал» с нею.

— Si vous etiez un morceau de musique, que seriez vous[1]?

Государь остановился, его лицо покрылось сетью мелких морщин.

— А?.. Что?.. — Он поднял за подбородок принцессино смущенное лицо. Та покраснела до слез и молчала... Лев Нарышкин пришел ей на помощь.

— La sonate: «au clair de lune»[2],— подсказал он.

Гудович добавил:

— «L'apres midi d'un faune»[3].

— Что, милая,— сказал Государь,— забили, затуркали тебя. Ты их не слушай.

Молодой Барятинский не унимался:

---

[1] Если бы вы были музыкой, чем были бы вы? *(фр.)*
[2] Сонатой «При свете луны» *(фр.)*
[3] После полудня фавна *(фр.)*.

— Et si vous etiez une fleur? Quelle fleur seriez vous?[1]

— Une fleur,— робко переспросила принцесса.— Une fleur?[2]

— Un chardon[3],— выпалил Государь, визгливо рассмеялся и пошел дальше.

У стеклянных в мелком старинном петровском переплете дверей Монплезирского дворца совсем «не в параде» толпилась дворцовая прислуга: лакеи, повар, горничные, кучера.

— Очень все сие странно,— сказал Государь и почти бегом пошел к ним. Свита едва поспевала за ним.

— Где Ее Величество?..

Прислуга попятилась назад, и старый повар, шамкая беззубым ртом, ответил за всех:

— Ее Величество ранним утром изволили уехать.

— Что ты, братец, мелешь... Как?.. Куда уехать?..

— Больше некуда, как в Питербурх.

Люди стояли без шапок, растерянные, смущенные, и Государь строго посмотрел на них, но он все еще был далек от мысли, что его жена могла быть способна на что-нибудь серьезное, все еще казалось ему, что это шутки, игра, забавное приключение, которое готовится ему, чтобы все потом разрешилось смехом и дурачеством.

— Вздор!.. Все вздор!.. Арабские сказки какие-то!..

Государь распахнул зазвеневшую стеклами дверь и пошел по маленьким и низким залам и комнатам дворца. За ним, в отдалении, робко и смущенно шла его свита. В ней уже шептались, в ней уже подозревали недоброе и боялись и взвешивали, что делать и как поступить, если?.. Точно нежилой был дворец. В столовой стол не был накрыт скатертью и казался печальным. В антикамере спальни Государыни на кресле горбом лежала приготовленная парадная серебристо-серая пышная «роба». На туалетном столике у выдвижного зеркала были разбросаны коробки с пудрою и мушками, флаконы с духами и шпильки. Сладко пахло духами, и запах этот вызывал больше всего воспоминаний о ней. Занавеси на окнах были спущены, в спальне стоял утренний полумрак, неприбранная постель, казалось, хранило тепло ее тела.

— Мис-стификация какая-то!..

Государь заглянул под низкую кровать, точно может там прятаться от него Государыня! Открыл двери уборной. Нигде, никого.

— Где Шаргородская?..

---

[1] А если бы вы были цветком, каким цветком были бы вы? *(фр.)*

[2] Цветком?.. Цветком?.. *(фр.)*

[3] Чертополохом *(фр.)*.

Никто не ответил. Свита столпилась у дверей спальни, не смея туда войти. Старый Миних стоял впереди всех. Его лицо было серьезно и угрюмо. Он-то знал, как исполняются заговоры. Князь Трубецкой, стараясь быть спокойным, сказал:

— Ваше Величество, возможно... Павел Петрович внезапно захворать изволил?

— Вздор... Вздор,— фыркнул Государь — Не такая она мать!.. Меня... слышишь — меня раньше ее уведомили бы... Панин знает.

Среди придворных шорохом пронесся шепот. Воронцов предложил:

— Ваше Величество, прикажите князю Трубецкому, графу Шувалову и мне скакать в Петербург. Мы доподлинно узнаем, что там такое случилось.

— Ты, братец, думаешь?.. Что ты, братец, говоришь такое, в толк не возьму.

— Вам ведомо, Государь, как Государыня меня слушает... Быть может?.. Безумные какие мысли?.. Разные «эхи» последнее время были. Государыня была задумчива... Я усовещу ее... Верну к повиновению... Привезу сюда.

Блуждающим, безумным взглядом Государь посмотрел на Воронцова и, ничего не отвечая на его предложение, пошел по дворцу. Он раскрывал шкафы, стучал тростью по диванам, поднимал перины на постелях горничных.

— Ш-шутки... ш-ш-шутить!.. Не позволю-с!. Надо мною шутить! Глупо, сударыня...— Нижняя челюсть его прыгала от волнения. В зале он наткнулся на хохочущую фрейлину Елизавету Романовну. Той все это казалось забавным и немного неприличным приключением.

— Чему смеешься?! — закричал Государь.— Вот все мне не верила. Говорила, что она на сие не способна. На шалости да на глупости все вы способны. Ш-шутки ш-ш-шутить!.. Бежала... Ужели и точно бежала?.. А?.. Да...— Он обернулся к Воронцову: — Что же, скачите, пожалуй... Вези ее проворнее сюда... Посмеемся вместе.

Когда вышли в парк, кто-то сказал, что тут есть француз-лакей, только что приехавший из Петербурга. Государь потребовал его к допросу Это был молодой человек, мало что понимавший в том, что он видел.

— Sire[1],— сказал он, тараща большие черные глаза на Государя.— Ее Величество действительно в Петербурге. Так говорят. В Петербурге большой праздник... le jour de votre fete...[2] Все войска стоят на улице под ружьем.

[1] Государь (*фр.*).
[2] День вашего ангела (*фр.*).

Государь отвернулся от лакея и торопливыми неровными шагами пошел обратно к фонтанному каналу

— Как-кой бол-лван!.. Войска под ружьем!.. Вы слышали!.. А?.. Она способна на оное... Ну что же?.. Коли так — я принимаю вызов. Война — так война! Гудович, скачи-ка, братец, в Ораниенбаум... Тревога всему лагерю... Именем моим... Пароль объявишь... Гусарский полк галопом ко мне... Посмотрим!

Государь шел так быстро, что свита отстала от него. Государь услышал, что кто-то бежит за ним, тяжело дыша.

— А?.. Миних?.. Что скажешь, старина?..— По-немецки обратился Государь к нагнавшему его фельдмаршалу.

— Ваше Величество, что полагаете вы предпринять?

— Ты меня спрашиваешь?.. Ты, фельдмаршал!.. Я полагал, старина, ты лучше моего знаешь, что надо делать, когда объявлена нам война. Приказ... Я отдам приказ... Нет!.. Манифест!.. Всем верным моим солдатам... Схватить интриганку... Воевать... Ты понял меня?.. Воевать... А?.. Что?.. Я буду воевать!

— Ваше Величество... Мне семьдесят девять лет... У меня опыт Позвольте доложить. У Императрицы сейчас верных двадцать тысяч войска под ружьем. У нее вся артиллерия. Через несколько часов она будет здесь.

— Однако?.. Что ты говоришь такое, старина?.. Я в толк не возьму. А мои голштинцы?..

— Ваше Величество, в Ораниенбауме нет зарядов к пушкам. За зарядами надо посылать в Петербург. Ваше Величество, сие место не годно для обороны. Я слишком хорошо знаю русского солдата. Когда он увидит, как вы слабы и как сильна она, он убьет вас и женщин и предастся Императрице... Вам надо поразить солдат, снова привлечь их на свою сторону, а не воевать.

Старый Миних задыхался от волнения.

— Что ты говоришь, братец?.. Поразить солдат?.. А дисциплина?.. Я им прикажу... вот и все!.. Прикажу!..

— Ваше Величество, поздно приказывать, когда, может быть, она тоже уже приказала. Памятуя вашего славного деда, возьмите ваших гусар и во главе их скачите в Петербург Смело явитесь перед полками гвардии. Укажите им долг, к которому призывает их присяга... Скажите им, кто вы, чья кровь течет в ваших жилах, спросите, чем они недовольны, и обещайте удовлетворить все их желания. Так поступил бы ваш дед. Поступите и вы так...

— Что?.. Просить?.. Торговаться?.. Уговаривать?.. Мне?.. Государю?..

— Ваше Величество, я не сомневаюсь в успехе. Личное появление вашего деда не раз предотвращало и большие

опасности. Вспомяните стрелецкий бунт... Сколь подобно нынешнее положение тому... Там сестра Государева, царевна София... Непокорных казните.

— А, что?.. Рубить самому головы?.. Казнить?..

— Ваше Величество, долг Государей не только миловать и жаловать, но более того, когда нужно — казнить. Притом за вами их присяга, они вам целовали крест.

— Вздор, старина, вздор... Как легко они изменяют присяге.

Генерал Мельгунов вмешался в разговор.

— Ваше сиятельство,— сказал он,— вы не находите, что Его Величество не может рисковать своею жизнью в столь ответственную минуту...

— У кого из солдат поднимется рука на священную особу Государя?

— О-о-о! Ваше сиятельство!..

— Оставьте, судари... Все то, что говорил фельдмаршал, все сие есть прекрасно... Но я... Я не доверяю Императрице. Она может меня оскорбить.

Кругом стояли все придворные и гости, и каждый теперь считал себя вправе подавать советы Государю. Прусский посол Гольц говорил, что надо скакать в Нарву к войскам, там собранным для похода в Данию, и идти с ними на Петербург.

— Только не сидеть здесь, в ловушке, Ваше Величество.

Этот совет понравился Государю. Тут же на парапете набережной фонтанного канала он написал главноприсутствующему в Ямской канцелярии генерал-поручику Овцыну приказ о немедленной доставке к Петергофу пятидесяти ямских лошадей и подготовке Нарвского тракта для императорского проезда. Но все это вдруг утомило Государя. Он вспомнил, что он еще ничего с утра не ел. На лужайке у фонтанного канала были постланы скатерти-самобранки и был приготовлен завтрак im grunem[1].

Государь сразу стал весел и беспечен. Там что-то замышляла Государыня! Пустяки! Здесь было нечто существенное.

— Елизавета Романовна!.. Нарцисс!.. Сударь, прошу без мест. Places aux dames...[2]

Тарталеточки, таящие во рту, котлеты де-воляй, венгерское и французское вина — все это располагало к веселью, а не к войне. Фрейлины смеялись и тоже, казалось, забыли свои страхи. А когда со стороны Ораниенбаума вдруг раздался по главной дороге мерный и дробный стук подков рысью идущей конницы, когда из-за деревьев появился зна-

[1] Среди природы *(нем.)*.
[2] Место дамам... *(фр.)*

комый бравый гусарский полковник с трубачом, поскакавший к Государю за приказаниями,— бодрость и жажда боя и победы охватили Государя. Он поднялся с ковра, на котором сидел подле Елизаветы Романовны, порывисто подошел к полковнику и озабоченно стал отдавать распоряжения для боя. Он мнил себя в эти мгновения полководцем и мысленно любовался собою. Как бы оценил его Фридрих!..

— Моим гусарам занять Зверинец... Разведочные партии послать к Петербургу. Флигель-адъютанту Рейзеру, взяв шесть гусар, скакать немедля к Красному Селу, где у Горелого кабачка перехватить Воронежский пехотный полк, марширующий на Нарву, и повернуть его на Петербург. Голштинскому отряду, как только подойдут, копать шанцы вдоль Зверинца.

Теперь, когда между Императрицей и Петергофом стали голштинские гусары, все стало казаться Императору просто забавным маневром.

На лужайке у спуска к каналу, на пестрых коврах, над белыми скатертями громадными цветами лежали дамы. Они щебетали, как птицы, не подозревая об опасности. Елизавета Романовна наполнила золотой кубок шипящим вином и поднесла его Государю.

— Бедненький, все с заботами... Ни поесть, ни попить не дадут. Коварная Императрица!.. Ныне, Ваше Величество, изволили убедиться, что я вам говорила правду.

Пудель, играя, прыгал на грудь Государя, арап Нарцисс отгонял его.

— Горько!..— пьяным голосом крикнул Мельгунов. Елизавета Романовна погрозила ему пальцем.

Ничего не было слышно про Императрицу и ее войска, все было тихо и мирно, все было так беззаботно в этот прекрасный июньский день.

XXIII

Жара спадала. Западный ветер стих и сменился легким, прохладным бризом. Море успокаивалось, молодые петровские дубы и липы невнятно щептали над головами пирующих гостей. И все кругом было тихо.

Так было странно поэтому, когда кто-то высказал предположение, что если бы Императрица и точно самодержавно воцарилась, то с крепости стреляли бы из пушек, и это было бы здесь слышно. Император вспылил:

— Пффф!.. Оного недоставало! Сказал тоже: воцарилась!.. Да там мои войска, моя гвардия и мои преображенцы!.. Им я во как верю!.. Самодержавно!.. Моя жена — са-

модержавно!.. Скажешь тоже, братец, самодержавно, чего не разумеешь.

Государь прошел вдоль канала.

— Миних,— сказал он по-немецки,— когда я послал Трубецкого, Шувалова и Воронцова?.. А?.. Что?.. Как полагаешь, они могли бы уже вернуться?.. Не так это далеко... Они, чаю, скакали во весь опор.

— Ваше Величество, есть «эхи» — они присягнули Императрице.

— Вздор!.. Они?.. Как-кое без-зумие!.. А что Воронежский полк?.. Он давно должен быть здесь...

— Ваше Величество, тут был крестьянин из Горелого кабачка, он был самовидцем того, что там случилось. К Воронежскому полку приехал кто-то из Петербурга и сказал, что все войска присягнули Императрице.

— Шутишь, братец. Там должен был быть Рейзер с моим приказом.

— Говорят, воронежцы схватили Рейзера и гусар и с криками «ура» пошли на Петербург

Это говорит молодой паж, которого никто об этом не спрашивает. Император смотрит с удивлением на него. Почему никто его не остановит?.. Разве можно пажу так говорить с Государем?..

Государь поворачивает спину пажу и смотрит на Миниха. «Что же это такое? Императрица еще так далеко, о ее войсках ничего не слышно, она еще в Петербурге, а уже кругом измена, подлость, предательство, забвение дисциплины и присяги».

— Миних, я приказал фон Шильдту батальным огнем встретить ее янычар. А?.. Что скажешь?..

— Ваше Величество, при существующем неравенстве сил такое предприятие может ужаснейшие последствия произвести.

— Что же, старина, прикажешь делать?..

— Князь Барятинский на шлюпке ходил в Кронштадт Он говорил, что граф Девьер Вашему Величеству верен. Можно укрыться в Кронштадте и там выжидать событий.

— А, что?.. Да, может быть.. Пошлите сказать фон Шильдту, пусть ведет моих гусар к Ораниенбауму и там ожидает меня. Петергоф?.. Если она сюда пожалует? Пусть в Петергофе будет Императрица, я буду в своем Ораниенбауме, как то было вчера. Я, судари, устал... И мне надо где-нибудь отдохнуть. Идемте, судари... В Кронштадт так в Кронштадт.

Император спокойно наблюдал, как придворные и свита с вещами грузились на галеру и на яхту Ночное море было как расплавленное масло. Мертвая зыбь широкими тихими

волнами катилась по нему От оранжевого с лиловыми облаками неба опаловые огни горели по морю. Император сел на галеру. Ему казалось, что гребцы гребут лениво и невпопад, но было страшно и лень сделать замечание, прикрикнуть на них, потребовать, чтобы гребли, как надо грести на императорской галере. Император лежал внизу в маленькой тесной каюте. Воронцова, принцесса Голштинская и другие фрейлины сбились на полу у его ног В маленький иллюминатор было видно, как переваливалась на большой волне зыби широкобортная яхта. Парус на ней то надувался ветром, то спадал, прилипая к мачте. Бесшумно, как некий призрак, неслась подле яхта.

Император устал и чувствовал себя бесконечно одиноким, и не с кем поделиться ему своими мыслями. В такие минуты упадка сил, когда жизнь казалась ему слишком непосильным бременем, он привык и любил идти к Екатерине Алексеевне и говорить ей все, что было у него на душе. Он думал: «Нет гаже, глупее, подлее и страшнее положения, как положение генерала, которому не повинуются солдаты, как положение Государя, которому изменили его генералы... Все мне изменили... Миних? Он стар... Как и когда это вышло?.. Как скоро?.. Да ведь ее еще нет Это все только говорят про нее. Может быть, ничего еще и нет».

Император закрыл глаза. Кто-то осторожно прикоснулся к его локтю. Над ним был Миних. Он держал в руке преображенский мундир, откуда-то достанный.

— Ваше Величество, снимите прусский мундир и ленту Черного Орла. Наденьте вот сие И ленту голубую Андреевскую. Так лучше будет

Император покорно переоделся и снова закрыл глаза. Сквозь набегавшую на него дремоту он вдруг услышал, как стих плеск весел. На яхте рядом слышна грубая ругань, там бросили якорь. Хлопает отданный к ветру парус.

Император вышел на палубу

Был тихий и прекрасный летний рассвет Море блистало, как серебро. Пахло смолою, водорослями и рыбой. В тридцати шагах от галеры были каменные ряжи и деревянные эстакады пристани. На пристани солдаты и матросы и с ними мичман в белом расстегнутом кафтане И первая мысль у Императора была: «Почему они не спят? Ведь так еще рано» К пристани нельзя подойти, гавань перегорожена цепью — боном. У бона, зацепившись крюком за мокрое, точно золотое в утренних лучах бревно, стояла шлюпка с яхты.

— Эй, слушай на бастионе,— кричали со шлюпки так, как будто бы бастион был невесть как далеко. В утренней тишине по воде голос гулко летел и раздавался в воздухе.

— Есть на бастионе,— так же громко отвечали с пристани.

— Отдай боны, пропусти галеру и яхту.

— Проваливай, покудова цел... Есть приказ — никого в Кронштадт не пропускать.

Император подошел к носу, стал у полощущегося императорского штандарта, весь ясно видный, с голубою лентою через плечо.

— Мой приказ,— кричит он хриплым, срывающимся на визг голосом.— Я, Император Петр Третий, оный приказ отдал, я оный приказ и отменяю. Повелеваю сейчас же пропустить меня.

На пристани произошло движение. Солдаты каких-то напольных полков в кафтанах на опашь бежали к самой воде. Шомполами забивали пули в мушкеты. Мичман по камням спустился на ряж, вошел в воду по колено. Он совсем близко от Государя. Государю видно его бледное, пухлое лицо, его злые глаза. Он кричит на Государя, и в его глазах горит какой-то страшный дерзновенный восторг.

— Императора Петра Третьего над нами нет... Есть Самодержица Екатерина Вторая... Вот!.. Ее приказ, слышали, ее приказ гавань запереть... Никого не пускать!.. А кто высадится, хотя сам бывший император, того, арестовав, доставить в Санкт-Петербург.

Нос галеры плавно качается вверх и вниз, и Государю кажется, что почва уходит у него из под ног, и он не знает, что делать. Сзади него истерично хохочет и плачет Елизавета Романовна.

С пристани солдаты машут ружьями и грубо кричат:

— Галеры прочь!.. Галеры прочь!..

Их крик, как удары по лицу, как свист хлыста, в них несмываемое оскорбление... Слышно, как в Кронштадте барабаны бьют тревогу.

Шлюпка, причаленная у бонов, возвращается к яхте. На той берут парус к ветру и выбирают якорь. На галере табанят веслами, отходя от бонов. Кажется, что пристань уплывает от галеры. Жесткий, дерзновенный, грубый крик преследует Императора:

— Галеры прочь!..

Император приказывает взять курс на Ораниенбаум и сам кричит на яхту, где за старшего был обер-егермейстер Нарышкин, чтобы и яхта следовала за галерой, но там или не слышали, или не хотели слышать. Яхта легла на бейдевинд и пошла прямо в Петергоф... К Императрице.

Государь спустился в каюту. Там, как-то нелепо при дневном свете, тускло и коптя, горит масляный корабельный фонарь. Воронцова лежит на полу на ковре и плачет

навзрыд. Графиня Брюс подошла к Государю, взяла его под руку и довела до дивана. Император опустился на него и закрыл глаза.

Ему все было — все равно. Все пропало, и страшная последняя усталость охватила его. Голова не работала, и он тупо ждал, что будет дальше.

Так пролежал в состоянии полного безразличия Государь около часа, потом поднялся, осмотрелся, как бы не понимая, что же происходит и почему он находится в тесной каюте галеры, провел рукою по парику, поправил его и приказал всем бывшим на палубе спуститься к нему. В каюте стало тесно и душно. Ближе всех к Государю был Миних.

— Фельдмаршал,— слабым голосом и как всегда по-немецки сказал Государь,— вы были правы. Мне надо было сразу последовать вашему совету.

Он замолчал. В каюте было слышно, как вяло и неохотно гребли галерные гребцы.

— Миних, вы видели на своем веку много опасностей. Ужели все пропало?.. Скажите, что придумаете вы?..

— Ваше Величество... Как все пропало?.. Ничего не пропало. В Пруссии стоит ваша победоносная армия. Король прусский, несомненно, поддержит вас... Вы столько раз являли к нему знаки самой искренней дружбы.

— Дружбы?.. Разве оная ценится?.. Я полагаю, он ее поддержит?..

— Ваше Величество, направьте путь на Ревель... Возьмите там военный корабль и идите на нем к армии. У вас там восемьдесят тысяч войска, закаленного в боях. Что вам может сделать Императрица с двадцатью тысячами изнеженных гвардейцев?.. Менее чем в полтора месяца я приведу вам государство в полное повиновение. На юге казаки и раскольники станут на вашу сторону... Дерзайте!..

— Скитаться с казаками?.. Воевать?..

— Война есть долг Государей. Вы клялись защищать отечество ваше. Вы обязаны уничтожить крамольные замыслы. За вами — право и закон... Прикажите взять курс на Ревель...

— Фельдмаршал,— тихим голосом сказала сзади Миниха Воронцова.— Кто будет грести?.. Матросы устали... Они ненадежны... Они никогда не доберутся до Ревеля.

— Елизавета Романовна, посмотрите, сколько нас!.. Молодых и сильных!.. Мы все возьмемся за весла, чтобы спасти Императора и Россию. Мы устроим себе смены!.. Мы догребем! Мы спасем!.. Сие есть наш прямой долг!

— Нам грести?! О!.. О!.. О!..

— Да мы и не умеем!

— Да что он, в самом деле... Фрейлинам грести?..

— Слуга покорный!.. Вмиг без привычки мозоли натрешь!..

С опущенною головою сидел Государь и ничего не говорил. Как бесконечно он был одинок среди тех людей, кого он больше всех ласкал и жаловал. Он поднял голову и печальными глазами обвел всю возмущенную толпу придворных.

— Оставьте меня, судари... Оставьте меня... Мне от вас ничего не надо.

Миних остался один с Государем. Он строго и сурово смотрел на поникнувшего головою Императора. Он стоял выпрямившись, и голова в большом парике упиралась в потолок каюты.

— Ваше Величество, я напоминаю вам о долге... О вашем долге, как Государя.

— Ты видел, Миних.. Что есть долг?.. Да, есть долг Государя, но есть долг и перед Государем!.. Когда его не выполняют, значит, нет более и Государя... Ныне у меня остается долг только перед самим собою... Я устал... Боже! Как я устал!.. Как спать хочется, как хочется покоя. Вот и Ораниенбаум... Дайте мне отдохнуть и во всем разобраться.

Чужим и чуждым показался Ораниенбаум, еще вчера такой родной, где так весело, уютно и беспечно жилось. Точно покои стали не те. Везде растворены двери, и от этого сквозняк гуляет по залам. Свежий утренний ветер гуляет по дворцу. И точно слуг стало меньше, отчего никто не прикроет окна, никто не встретит его. Сегодня день Петра и Павла, день его ангела и какой вообще в Петербурге и Петергофе торжественный день! Но Государь совсем забыл все это. Он идет бесцельно по залам дворца и не узнает их. Старый камердинер следует за ним, говорит что-то, предлагает подать закусить и чаю. Да, чаю, это очень хорошо, чаю. И еще что-то говорит, в чем трудно отдать себе отчет.

— Ваше Величество, в пять часов утра Алексей Орлов с легкоконными войсками занял Петергоф .

Почему он так говорит... непочтительно... Алексей Орлов... У него ведь есть и чин... Да... Он теперь неприятель... Алексей Орлов с легкоконными полками идет против него, против Государя. Все это не вмещается в голове Петра Федоровича. И он так устал. Ему так нужен покой. Все обдумать, все взвесить. Алексей Орлов. Он когда-то ревно-

вал свою жену к этому самому Орлову, а больше того к его брату

— Что же, дети мои... Значит, так надо. Мы ничего более не значим...— И сквозняк во дворце как будто подтверждает, что случилось нечто такое, когда Государь ничего не значит.— Нам надо покориться, — слабым голосом договаривает Государь.— Смириться перед Богом, своею судьбою и Государыней...

Придворные только идут за ним. Отчего они не оставят его в покое. Ему спать надо... Он останавливается в малом зале у своих комнат. Все стоят против него, и он чувствует, что они ждут от него чего-то, что они его не оставят, они пойдут за ним и в спальню. Надо делать тайное. Государь подзывает к себе Нарцисса и шепчет ему на ухо, чтобы тот бежал на конюшню и приказал поседлать лошадей для него, Воронцовой и Нарцисса. Он смотрит на розовое помятое легкое платье Воронцовой и говорит вслух:

— Нет, никуда не убежишь?.. Догонят...

Он садится к угольному мраморному столику в зале и приказывает камердинеру подать ему карандаш и бумагу.

Миних подходит к нему. Старый фельдмаршал тоже устал. Его лицо налилось кровью, и затылок стал тугим, тяжелым и толстым.

— Кому вы хотите писать, Ваше Величество?..

— Кому?.. Как кому?.. Ей.

— Ваше Величество...Ужели при сих обстоятельствах, когда все равно вам пощады не будет, вы не умеете умереть, как должен умирать Император перед своим войском... Man mub!..[1] Если вы боитесь взять саблю в руки, возьмите распятие. Вас не посмеют с ним тронуть, а я поведу ваши войска, чтобы...

Он смолкает под страшным взглядом Государя.

— Вы думаете, распятие их остановит?.. Вы не знаете их?.. Они уже целовали ей крест. Что им?..

Он никогда не любил русских солдат, он всегда их немного презирал, теперь он их ненавидит. Ненавидит и боится.

— Да... Я напишу ей. Мы можем помириться... Почему нет?.. Пусть отпустит меня в мою Голштинию... С Воронцовой... Гудовичем... Арапом Нарциссом... Со скрипкой... Еще можно жить... Тихо... Мирно...

Старый камердинер, он служит при Государе с того дня, как тот приехал в Россию, стоит с серебряным подносом с чайником сзади.

[1] Должно *(нем.)*.

— Батюшка наш,— взволнованно говорит он — Да нешто она-то позволит... Она прикажет умертвить тебя...

Воронцова кричит истерично:

— Что вы пугаете Государя... Ничего она не сделает... Я скажу сестре Кате... Государыня только рада будет... Пишите, Ваше Величество...

На серебряном подносе стынет чай. Кругом толпятся люди, берут с подноса бутерброды и едят стоя, подле Государя. Точно они все на почтовой станции ожидают лошадей, и он вовсе не Государь, а простой совсем человек. То и дело выходят в парк, на Петергофскую дорогу, возвращаются и громко говорят, что там слышали от прохожих, сторонних людей.

— Императрица во главе войска вступила в Петергоф.

— Орлов с гусарами и казаками занял все выходы из Ораниенбаума.

«Шах королю... Шах королю...»

— Генерал Измайлов с запиской Государыне еще не вернулся?

— Никак нет, Ваше Величество.

— Подождем, посмотрим.

Медленно тянулось время. Надо было завтракать, но никто, что ли, не распорядился, никто не накрывал, никто не звал Государя в столовую торжественным докладом, что «фрыштыкать подано» Государь, точно забыв про время, прихлебывал из большой чашки холодный чай и безучастно смотрел в окно Там все так же радостно сиял красотами лета парк, там летали бабочки, чирикали птицы, и за купами деревьев синело под голубым небом море.

Стуча железными шинами по булыжной мостовой, к дворцу подъехала большая четырехместная карета, запряженная восьмеркой лошадей и окруженная конногвардейцами и конными преображенцами.. За нею верхом ехали генерал Измайлов, Григорий Орлов и князь Голицын.

Неизвестность кончалась, приходило какое-то решение. Государь остался сидеть за угольным столиком и безучастно смотрел на входившего в зал Измайлова. Его душевное состояние было полно отчаяния и безразличия.

Измайлов твердыми, решительными шагами подходил к Государю. И Государь видел, что это уже не тот Измайлов, что, почтительно сгибаясь, выслушивал его приказания еще сегодня утром. Нет, переменили Измайлова в Петергофе. приехал Измайлов, который не только не слушает своего Государя, но сам считает вправе что-то указывать и при-

казывать Государю, и это было странно, и дико, и немного забавно.

— Ваше Величество, Государыня не изволила на отпуск ваш в Голштинию свое согласие дать. Ее Величество препоручить изволила передать вам текст вашего отречения от престола, дабы вы его, своеручно переписав, своим же подписом утвердить изволили.

— Покажи.

Государь медленно читал по листку, переданному ему Измайловым. По мере того как он читал, румянец покрывал его бледное, утомленное бессонной ночью лицо. Глаза загорались. Он порывисто протянул Измайлову бумагу и сказал свистящим ненавидящим голосом:

— Ш-шутки ш-шут-тит. Рехнулась... Я не согласен.

— Votre Majeste vous etes maitre de ma vie, mais en attendant, je vous arrete de la part de'l Imperatrice[1].

Государь вскочил. Он поднял голову и быстрым взглядом осмотрел всех тех, кто был в зале. Вот они все... Его верные слуги... Они слышали все, что сказал Измайлов... Миних!.. Миних!.. Что же ты, мудрый советчик... Что же не вынешь шпаги из ножон... Гудович... Нарышкин... Друзья молодости, собутыльники ночных пирушек, клявшиеся в верности, ему присягавшие до гроба служить... Что же они не схватят и не казнят тут же того, кто сказал такие страшные «сакраментальные» слова? Они молчат. Они бледны... Они переглядываются, посматривают на двери, куда удобнее улизнуть, чтобы бежать к н е й, победительнице... Нет страшнее, глупее, гаже и гнуснее положения, как положение Государя, которому изменили его генералы...

«Шах... и мат... Нет на шахматной доске фигур, которыми можно было бы заслониться...»

Паж принес на подносе чернильницу с песочницей, перья и большой лист пергаментной бумаги Тесно было на маленьком угловом мраморном столике Тишина стала мертвая в зале. В открытое окно было слышно, как топотали, переступая и играя, лошади на булыжном дворе.

— Но, балуй!.. Язви те мухи с комарами! — точно выругался кто-то под самым окном.

— Ты полегче, Сибиряков, сам понимать должон, при каком деле состоишь,— остановил его солидный, должно быть, унтер-офицерский басок.

Там, внизу, под окном были солдаты... Его солдаты.. Крикнуть им, и они схватят всех этих неповинующихся ге-

[1] Ваше Величество — моя жизнь в ваших руках, но пока что — я арестую вас по приказу Императрицы *(фр)*

нералов. И вдруг вспомнил сегодняшнее раннее утро, и как качалась галера подле деревянного мокрого бона, и как солдаты кричали на него, Императора: «Галеры прочь!.. Галеры прочь!..» Нет, что уж!.. Он не Император!.. Кто он?.. Холодок пробежал по спине. Как в сонном видении промелькнул образ худого длинного молодого, истощенного человека с синими романовскими глазами и точно услышал далекий грустный голос: «Арестант номер первый!..»

— Ваше Величество, я буду вам для скорости диктовать,— сказал Измайлов, и Государь послушно взял в руку перо и приготовился писать.

В тишину залы тяжело и мерно падали медленно произносимые слова:

— «В краткое время правительства моего самодержавного Российским государством, самым делом узнал я тягость и бремя силам моим несогласное...»

Последовало молчание. Государь, нагнувшись над столом в неудобной позе, писал, и слышно было, как скрипело гусиное перо на бумаге.

— Несогласное.— Измайлов через плечо Государя заглянул, что тот написал, и продолжал: — «Чтоб мне не токмо самодержавно, но и с каким бы то ни было образом правительства, владеть Российским государством. Почему и возчувствовал я внутреннюю онаго перемену, наклоняющуюся к падению его целости и к приобретению себе вечнаго чрез то безславия».

Последняя смертельная мука входила во дворец с этими мерно и скучно произносимыми словами. Казалось, небо меркло, и птицы умолкали, и море становилось серым и неприветливым. Точно обрывалось, рушилось и падало все то, что составляло самый смысл жизни, и ничего не оставалось больше. Не было завтрашнего дня, но вечно будет тянуться это скучное сегодня, полное трепетных шепотов и жалостных и ненавидящих взглядов. Государь поднял голову. Показалось ему или и точно так было — меньше стало людей в зале. В пустоту раздавались тяжкие, оскорбительные слова отречения. Он знал, кто его составил, в них он почувствовал все ее женское презрение к нему, ее женскую месть и злобную ненависть, какую он чувствовал уже давно, с самого рождения сына, все те чувства, которые заставили его бежать от нее и искать услады у Елизаветы Романовны.

В полупустом зале звонко раздавались негромким голосом диктуемые слова:

— «Того ради, помыслив я сам в себе, беспристрастно и непринужденно чрез сие объявляю не токмо всему Рос-

сийскому государству, но и целому свету торжественно, что я от правительства Российским государством на весь мой век отрицаюся, не желая ни самодержавным, ниже иным каким-либо образом правительства, во всю жизнь мою в Российском государстве владеть, ниже онаго когда-либо или через какую-либо помощь себе искать, в чем клятву мою чистосердечную перед Богом и всецелым светом приношу нелицемерно, все сие отрицание написав и подписав моею собственною рукою. Июня 29-го дня, 1762 года».

Государь раздельными буквами тщательно вывел подпись: «П е т р».

— Вашему Величеству повелено изготовить достойные комнаты в Шлиссельбургской крепости.

Государь встал. Лицо его стало мертвенно бледно, тревожные искры безумного страха заиграли в его глазах.

— Ш-шутишь, братец!.. Того не может быть, чтобы она на сие пошла. В Шлиссельбургской?.. Говоришь...

— Так точно, Ваше Величество,— равнодушно и оскорбительно спокойно ответил Измайлов — В Шлиссельбургской крепости. А как на сие потребуется время, то и повелела Государыня спросить у вас, в каком загородном дворце Ваше Величество пожелали бы пока находиться?

— Но?.. Позволь, братец... Ш-шутки ш-шутить?! Да в чем *же я провинился?.. Да разве я преступник какой?.. Я* — Государь!.. Ты понимаешь, братец, я — Государь Император!

Измайлов молчал и продолжал спокойно, без всякого страха или сожаления смотреть на Петра Федоровича.

И в этом холодном и равнодушном взгляде вдруг Государь понял нечто ужасное. «И тот тоже Государь — арестант номер первый!.. О, как страшно, тяжело и опасно быть Государем!..»

— Везите меня, что ли, в Ропшу...— увядшим тихим голосом сказал Петр Федорович.— Со мною пусть поедут Елизавета Романовна . Гудович . Нарцисс, конечно, и кого я назначу...

— Это как угодно будет повелеть относительно лиц свиты Государыне Императрице .. Мне повелено доставить вас в *Петергоф.*

— Как?.. К ней?.

— Пожалуйте, Ваше Величество.

Государь пошел через танцевальную залу к выходу. В зале еще много было народа, адъютантов, пажей, фрейлин. Никто не подошел к нему, никто ничего не сказал, никто не простился с ним, не пожелал ему счастливого пути... Все уже изменили ему. Государь был совершенно одинок. Только в углу старый камердинер плакал и утирал глаза большим

красным платком, но и он не посмел подойти к своему Государю.

В карету сели вместе с Государем фрейлина Воронцова и Гудович. Карета помчалась, сопровождаемая конногвардейцами с обнаженными палашами.

Государь смотрел в окно. Это первый раз, что он видел войска не на параде, не на разводе, не на блестящем маневре в высочайшем присутствии, но как бы на войне. Уже сейчас же за Ораниенбаумом он увидел казачью партию. Она проехала навстречу, и офицер спросил что-то на ходу у генерала Измайлова. У Мартышкина кабака на широком поле биваком стоял напольный полк. Солдаты ходили по полю, от леса несли большие ноши хвороста для кухонных костров. За длинными рядами составленных в козлы ружей, на жердях были распялены мундиры, просушиваемые от пота, на кольях были повешены парики, солдаты в одних рубахах, белых, синих и красных, сидели за ружьями, на раскинутых плащах и не обращали никакого внимания на скакавшую мимо карету с их Императором.

Чем ближе к Петергофу, тем больше было войск. Пушки стояли на ярко-зеленых лафетах, обитых черными полосами железа, и подле дымили пальники. На лугах были протянуты коновязи, и казачьи кони натоптали грязные полосы на зелени ровных петергофских ремизов. Гомон людей, ржание лошадей, крики, грохот проезжавших полковых телег, груженных соломой и сеном, стоял над Петергофом. Вдоль шоссе солдаты гнали зайца и бежали, как мальчишки, с криками, визгом и уханьем.

— Ух!.. Ай!.. Уйдет, братцы, ой, смерть моя, уйдет!..— неслось вслед за каретой.

— Ничего не уйдет, оттеда ладожцы забегают...

И у самой кареты остановился потный, краснорожий молодой солдат без парика и крикнул куда-то вдаль:

— Пымали, што ль?..

Так все это казалось странным, необычным, почти что и неприличным Петру Федоровичу.

В стеклянной галерее Петергофского дворца, где вчера была такая очаровательная оранжерейная свежесть, где пахло цветами и духами фрейлин, которые как живые розы проходили по ней, теперь были пыль и грязь. Галерея была полна солдатами караула. Барабаны, ружья, ранцы лежали и стояли вдоль нее. Преображенцы толпились в ней. Никто не крикнул «в ружье», не скомандовал «слушай» при входе Государя, но красавец преображенский офицер с усталым, но свежевыбритым и вымытым лицом подошел к Государю и сказал строгим и безразличным служебным голосом:

— Ваше Величество, пожалуйте вашу шпагу.

Государь внимательно посмотрел в знакомое лицо преображенца, тот не сломил своего холодного взгляда и продолжал стоять перед Государем с протянутой рукой. Петр Федорович молча вытащил из пасика шпагу и передал ее офицеру.

— Следуйте за мною.

Государь шел по галерее, солдаты с любопытством и без всякого уважения смотрели на него. В галерее пахло солдатом, черным хлебом, дегтярной смазкой башмаков, мукой париков и мелом амуниции.

Петра Федоровича провели в его кабинет, где был приготовлен стол, накрытый на один «куверт».

— Сейчас вам подадут обедать,— сказал Измайлов, сделал знак офицеру караула, и тот и все солдаты, сопровождавшие Государя, вышли из кабинета, и сейчас же раскрылась дверь, и в кабинет вошли Никита Иванович Панин и камердинер с черным простым кафтаном в руках.

— Ваше Величество,— медовым голосом сказал Панин,— Ее Величеству угодно, чтобы вы сняли преображенский мундир.

— Что же, братец, снимай... Снимай!.. Ее Величеству, может быть, угодно и голову с меня снять...

Панин, казалось, не слышал сарказма слов Государя, он все тем же сладким, почтительным голосом опытного царедворца продолжал:

— Быть может, Ваше Величество, имеете что передать Ее Величеству?.. Его Высочеству?..

Петр Федорович в простом, штатском, черном кафтане казался ниже ростом, менее значительным и жалким. Он долго, точно не узнавая, всматривался в лицо Панина, как бы что-то соображая, и наконец ответил тихим голосом, в котором дрожали слезы:

— Передать?.. Да, у меня есть желания... Очень скромные желания... Я хочу... Я очень прошу не разлучать меня с Елизаветой Романовной...

— Это как повелит Ее Величество... Что еще передать прикажете?..

— Арапа Нарцисса... Мою моську... Еще скрипку со мною отправить... Там... в крепости, с тюремщиками... очень будет скучно... Арестантом...

— Я передам все ваши желания Ее Величеству, а сейчас позвольте пожелать вам доброго аппетита.

Панин поклонился и вышел из кабинета, и сейчас же в него вошли солдаты караула, и камердинер на подносе принес простой обед.

В пятом часу в кабинет прошел Алексей Орлов. Он был строг, неприступен, важен и величественен. Он жестом при-

гласил Государя следовать за ним. За Государем пошли солдаты караула; так окруженный ими Государь за Орловым вышел на боковое крыльцо, у которого их ожидала большая тяжелая почтовая карета. В нее посадили Петра Федоровича, за ним сели в карету Алексей Орлов, капитан Пассек, князь Федор Барятинский и поручик Баскаков. Гренадеры стали на подножки и на запятки. Взвод Конной гвардии окружил карету Колеса заскрипели по песку дворцового двора, карета проехала через верхний парк, выбралась из Петергофа и загремела по камням мостовой большой Ропшинской дороги.

XXIV

В тот же день, вечером, Императрица Екатерина Алексеевна в карете, сопровождаемая гвардией, выехала из Петергофа. Она ночевала под Петербургом, недалеко от Лигова, на даче Куракина.

После долгих бессонных ночей в Монплезире, после таких тревожных дней и ночей ее похода, первый раз она крепко заснула, успокоилась и привела себя в порядок. Теперь все было для нее приготовлено, как она задумала, как считала это нужным. С вечера Шаргородская с Дашковой приготовили ей ее преображенский мундир, привезенный из Ораниенбаума, и штаб-офицерские отличия и знаки. Вчера она пожаловала сама себя за благополучное окончание похода в полковники Преображенского полка.

Она встала рано утром и тщательно оделась в полковничий мундир. Подойдя к окну и отдернув занавеси, она увидала, что площадь перед дачей и проспект, идущий на Петербургский тракт, уже заняты войсками. Она увидала, что и войска так же, как и она, в эту ночь отдохнули и привели себя в порядок. Ярко блистали шапки гренадер, лошади Конной гвардии были вычищены, и у всех генералов, офицеров и солдат на шапках были вдеты дубовые ветки. Это было очень нарядно, красиво и величественно.

Едва Государыня вышла из опочивальни, к ней подошел Григорий Орлов, он подал ей преображенскую шапку со вдетою в нее дубовой веткой. Разумовский, дожидавшийся Государыни с Орловым и другими генералами, сказал:

— Ваше Величество, символ прочности и крепости есть дуб. Да будет же вовеки прочно и крепко вчера вами завоеванное и совершенное.

Императрица наклонила голову и, тронутая до слез, сказала глубоким голосом:

— Да будет!

Красив, торжественен, праздничен и параден, незабвенен был въезд Государыни Екатерины Алексеевны в столицу империи, Санкт-Петербург. Он как бы отделял одну прожитую эпоху от другой, которая начиналась этим ярким солнечным ликующим днем тридцатого июня. Перед нею в яркой летней зелени берез и лип была Калинкина слобода. Было воскресенье. Со всех церквей шел праздничный трезвон колоколов. В голубом небе золотые облака застыли.

Сзади Государыни призрачно стучали подковы множества коней, били барабаны, гремела полковая музыка, и, когда смолкла она, полковые песельники пели свои героические песни.

Вдруг смолкли барабаны, отчетлив шаг мерно идущего Преображенского полка, и запевала сильным, из глубоких недр души идущим, красивым голосом запел:

Но чтоб орлов сдержать полет,
Таких препон на свете, нет,
Им воды, лес, бугры, стремнины,
Глухие степи — равен путь.
Где только ветры могут дуть,
Проступят там полки орлины!..

Какая сила, какое вдохновение были в этом мощном голосе запевалы! С какой страстною верою говорил он звучные ломоносовские слова и как дружно, тяжко, сознательно, уверенно и ладно подхватила вся гренадерская рота Преображенского полка припев:

Где только ветры могут дуть,
Проступят там полки ор-р-рлин-н-ны!..

XXV

Как только слезла с лошади Государыня и вошла в прохладу освеженных комнат Зимнего дворца, где все было для нее приготовлено так, как она любила для работы, принялась за дела. И первым подписала указ о возвращении из ссылки графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина.

Людей!.. Она искала людей.. Старых, опытных, р у с с к и х людей искала она, с кем работать, с кем осуществить то, о чем мечтала всегда,— царствовать одной, но опираясь на авторитет знающих, умеющих работать людей. Она знала, какое громадное значение будет иметь то, что она вчера совершила и что далеко еще не было закончено, и ей нужно было вчерашнее представить иностранным дворам в надлежащем свете. Она знала, что уже сегодня скрипят перья дипломатов и посланников и изображают переворот так, как

им это угодно, и кто же лучше всего ей в этом поможет, как не испытанный друг — Алексей Петрович.

Какой запутанный клубок был перед нею, и если не распутать, то разрубить его нужно было, не медля ни часа. Часть армии еще стояла в Пруссии, не то как вчерашний враг, не то как сегодняшний союзник в новой войне... Часть была сосредоточена у Риги. Война с Данией нависла и могла начаться помимо даже ее воли. Все это надо было сейчас же устранить, никого не обижая...

Духовенство находилось в брожении... На юге начинались восстания крестьян.

Листая доклады и донесения о всем этом, Государыня вдруг останавливалась, смотрела мимо сидевшего против нее за особым столом докладчика, и тревожная, заботная мысль туманила ее глаза. На мгновение она как бы отсутствовала, из кабинета уносилась к другим большим, более значительным делам и заботам.

«Что в Ропше?»

— Ваше Величество, изволите что-нибудь возразить?

— Нет, Никита Иванович, продолжай твой доклад, я слушаю...

В Ропше был тот, кто мог в мгновение ока разрушить всю ее работу... Уничтожить ее самое... Не он сам — о нем она имела ежедневные «цидули». Она знала из них, что он мало думал об утраченной Российской короне и о самой России... Он снова впал в то свое как бы детское состояние, какое было так хорошо известно Государыне. Как мальчик, освободившийся от скучного урока, он думал о своих игрушках. Он скучал без Воронцовой...Он был глубоко оскорблен, что его не выпускают из его комнаты и что в той же комнате всегда находятся чины его караула. Это его стесняло. Он в то же время не гнушался играть в карты с этими самыми караульными офицерами и просил прислать ему денег на эту игру. Он просил, чтобы ему привезли из Ораниенбаума его мягкую постель и прислали арапа Нарцисса, моську и скрипку. Он много ел, пил, шумел, кричал и спорил с караульными. Казалось, он совсем не понимал своего положения. Сам он, конечно, теперь не был ей опасен, но, пока был жив, самое имя его было страшно для Государыни. Он был з а к о н н ы й Государь!.. Пускай отрекшийся — все равно в глазах народа он оставался Государем. Никакая ссылка, никакая тюрьма не могли освободить Императрицу от угрозы его именем...Только смерть его освобождала навсегда для нее Российский престол.

Каждый день Петр Федорович посылал с нарочными свои бесхитростные и малограмотные письма Государыне. В них он просил то одно, то другое. По утрам, во время

доклада, Императрица принимала эти письма от Никиты Ивановича Панина, читала их сама, иногда давала читать и Панину. Грустная улыбка стыла на ее прекрасном озабоченном лице...Все это было теперь таким ненужным, лишним, казалось детским и смешным.

«Je prie Vostre Majeste destre assure surement de moy et davoir la bonte dordonner quon ote les bostres de la seconde chambre parce que la chambre ou je suis est si petite qua peine ji peut my remuer et comme ell sait que je me promene toujours dans la chambre ca me fera enfler les jambes,— писал Петр Федорович со своим своеобразным правописанием,— encore je Vous prie de dordonner point que les officier restent dans la meme chambre comme jai des besoins c'est impossible pour moy au reste je prie Vostres Majeste de me traiter du moins comme le plus grand malfaiteur ne sachant pas de lavoir offense jamais en me recommandant a sa pense magnanime je la prie de me laisser au plutot avec les personnes nomees en Alemagne. Dieux le lui repayera surement et suis Vostre tret humble valet Pierre.

P.S. Vostre Majeste peut estre sur de moy que jene penserai rien ni ferai rien qui puisse estre contre sa personne ou contre son regne»[1].

— Ваше Величество, что прикажете отвечать?..

— Ничего... Ответа не будет.

Это письмо пришло в первый ее и такой заботный день первого июля, а через день, третьего июля, новый гонец принес письмо, полное лютой тоски по Елизавете Романовне, вообще по какой-нибудь живой душе, которая посочувствовала ему, пожалела его, поняла его и перед которой Петр Федорович мог бы излить все то, что накопилось в его измученной грубостью тюремщиков душе. Он в нем писал:

«Vostre Majeste,

Si vous ne voulez point absolument faire mourir un homme qui est deja assez malheureux ayez dont pitie de moy et

[1] Сударыня, я прошу Ваше Величество быть уверенной во мне и не отказать снять караулы от второй комнаты, так как комната, в которой я нахожусь, так мала, что я едва могу в ней двигаться. И так как вам известно, что я всегда хожу по комнате и что без этого распухнут у меня ноги. Еще я вас прошу не приказывать, чтобы офицеры находились в одной комнате со мной, когда я имею естественные надобности — это невозможно для меня; в остальном я прошу Ваше Величество поступать со мной по меньшей мере, как с большим злодеем, не думая никогда его этим оскорбить. Отдаваясь Вашему великодушию, я прошу отпустить меня в скором времени с известными лицами в Германию. Бог вам заплатит непременно. Ваш нижайший слуга Петр.

P.S. Ваше Величество можете быть уверенными, во мне, что я не помыслю ничего, что могло бы быть против Вашей особы и Вашего правления *(фр.)*.— *Орфография подлинника.*

laisser moy ma seule consolation qu'il est Elisabeth Romanovna. Vous ferez par ca un de plus grand oeuvre de charite de Vostre regne au reste si Vostre Majeste voudrait me voir pour un instant je serais au comble de mes voeux. Vostre tres humble valet Pierre»[1].

Перед Государыней в этих нескладных письмах металась человеческая душа, когда-то так близкая ей и так ею любимая. Но это все — «дай Бог, чтобы это случилось скорее» — было так давно, и после этого так много стало тяжелого и мрачного между ними... «Дура»!.. Рождение сына и нелепые подозрения ревности его, и шутки, и выходки с Елизаветой Романовной. Она возмущалась, как женщина, воспитанная совсем в других взглядах, как жена, как мать и как Императрица, более всего, как самодержавная Императрица!.. Свидеться с ним, допустить его снова в этот дворец, который она только-только прибрала от всей его грязи, и терять время на разговоры с ним, на выслушивание его жалоб, на мечты о будущем, его «капуцинские замки»!.. О! Нет, не время и не место теперь видеться с ним на соблазн народа и ближних людей. Да и так ли он прост? Вот Алексей Орлов, представляя это письмо, пишет:

«Мы теперь по отпуск сего письма и со всею командою благополучны, только урод наш занемог и схватила ево нечасная колика, и я опасен, штоб он севоднишную ночь не умер, а больше опасаюсь, штоб не ожил. Первая опасность для того што он все здор говорит и нам ето несколько весело, а другая опасность, што он действительно для нас всех опасен для тово што он иногда так отзывается хотя впрежнем состоянии быть...»

Да, конечно, он опасен. Он хитер и жесток. У него могут быть сторонники. В ком она может быть сейчас уверена, всего третий день самодержавная Императрица? Вот хотя бы этот? Императрица протягивает письмо Петра Федоровича Панину и тщательно прячет в секретное отделение бюро письма Орлова.

— Ваше Величество, может быть, вы по высокому милосердию вашему найдете возможным?..

Государыня не дает Панину договорить. Она перебивает его, вспыхивая и быстро говоря:

---

[1] Ваше Величество, если вы совершенно не желаете смерти человеку, который достаточно уже несчастен, имейте жалость ко мне и оставьте мне мое единственное утешение Елизавету Романовну. Вы этим сделаете наибольшее милосердие вашего царствования: если же Ваше Величество пожелали бы меня видеть, то я был бы совершенно счастлив. Ваш нижайший слуга Петр (*фр.*).— Орфография подлинника.

— Зачем?.. Никита Иванович, зачем?.. Надо знать Петра Федоровича так, как я его знаю... Он все равно царствовать не может.

— Кто говорит о том, Ваше Величество. Речь идет лишь о том, чтобы отпустить его с людьми, которых он любит, в Германию.

— И сделать его орудием международных интриг?.. Нет, довольно, Никита Иванович!.. Быть человеком одно, но быть Государем — иное. У Государей есть долг перед страною, которою они управляют, и поверьте мне, долг очень тяжелый. Что делать?.. Взялся за гуж, не говори, что не дюж... Может быть, мне все сие особенно тяжело. Я связана с ним дружбой детства и узами брачными... Но... Государство и его нужды, его польза для меня впереди всего. Чего бы ни потребовалось от меня для России, я все ей отдам... Вы меня понимаете... Оставьте сие письмо без ответа.

На другой день, четвертого июля, у докладчика опять письмо в большом сером конверте с сургучной печатью Императора.

— Ваше Величество, вам пишут...

— Опять... Давайте...

Письмо по-русски. В нем стон измученной души, предсмертный хрип, последняя тоска и мольба о пощаде.

«Ваше Величество, я еще прошу меня, который ваше воле исполнил во всем, отпустить меня в чужие краи с теми, которые Я Ваше Величество прежде просил и надеюсь на ваше великодушие, что вы меня не оставите без пропитания. Верный слуга Петр...»[1]

Лицо Государыни спокойно. Она не дает читать этого письма Панину, но кладет его в шкатулку к прежним письмам и говорит Никите Ивановичу ледяным, спокойным голосом:

— Все о том же... Отпусти да отпусти... А как его отпустить? Ведь он Император... Напиши, Никита Иванович, Алексею Григорьевичу и всей его команде, что я отменно ими довольна... и благодарствую за их верную и полезную службу...

Императрица встает от своего бюро и ходит взад и вперед по комнате, пока Панин пишет письмо Орлову. В ее душе, но далеко внутри, не видная никому, но какая сильная бушует буря... Это ее первый смертный приговор... Она знает, что Алехан поймет ее с полуслова.

Весь день она провела в трудах и заботах управления. Вечером, отдыхая за картами, она была рассеянна и задумчива. Она ждала ответа на это письмо, она знала, какой будет этот ответ, и боялась его, и радовалась ему. Знала,

[1] Правописание подлинника.

что иначе нельзя, иначе она никогда не будет царствовать одна, иначе как же повести Россию по пути славы и благоденствия?

На другой день, в субботу, утром не было письма из Ропши. Но вечером, когда Государыня уже собиралась идти ко всенощной, запыленный рейтар прискакал во дворец и из кожаной сумки передал письмо, заклеенное сургучной печатью, к которой были прикреплены три голубиных пера. Пакет сейчас же понесли к Государыне. Та приняла пакет, стоя в Малахитовом зале, где была одна Дашкова.

Письмо писал Орлов.

«Матушка, милосердная Государыня... Как мне изъяснить, описать, что случилось; не поверишь верному своему рабу; но как перед Богом скажу истину. Матушка!.. Готов идти на смерть; но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка — его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя... Но, Государыня, совершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором[1]: не успели мы разнять, а его уже не стало. Сами не помним, что делали; но все до единаго виноваты, достойны казни. Помилуй меня, хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил; прогневали тебя и погубили души на век. По смерть ваш верный раб Алексей Орлов».

Императрица прочла стоя это послание, потом села на небольшой диванчик и перечла его снова, как будто не сразу понимая весь страшный смысл письма. Дашкова подошла к ней и опустилась на колени подле Государыни. Та подняла прекрасные скорбные глаза на фрейлину и тихо сказала:

— Il est mort[2].

Дашкова молча перекрестилась.

— Que je suis affectee, meme terassee par cette mort.— Государыня посмотрела в глаза Дашковой и продолжала: — Il faut marcher droit. Je ne dois pas etre suspectee...[3]

Ее голос был суров, лицо преисполнено решимости.

— Пошли ко мне Никиту Ивановича.

Через час в рабочей своей комнате она диктовала Панину манифест о случившемся. Ее голос был деловит, спокоен, выражения точны, она исполняла свой долг с мужеством Императрицы.

---

[1] Барятинским.

[2] Он умер *(фр.)*.

[3] Как я взволнованна и потрясена даже этою смертью... Нужно идти прямо... Я не могу быть в подозрении... *(фр.)*

— Бывший Император,— говорила она, ходя по комнате,— Петр Третий, обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидальным, впал в прежестокую колику... Чего ради не презирая долгу нашего христианскаго и заповеди святой, которою мы одолжены к соблюдению жизни ближняго своего, тотчас повелели отправить к нему все, что потребно было к предупреждению следств, из того приключения опасных в здравии его, и к скорому вспоможению врачеванием...

Она остановилась.

— Надо послать сделать вскрытие,— как бы про себя сказала она.— Пойдут сплетни, слухи, «эхи» об отравлении... Да, еще... Сегодня же отдать через Гофмаршальскую часть распоряжение о достойных похоронах в Александро-Невской лавре... Хоронить в среду, десятого, в мундире голштинских драгун... Могилу учинить рядом с могилой Анны Леопольдовны...

Панин смотрел на нее. Государыня была очень, сверхъестественно спокойна. Она распоряжалась так, как если бы это касалось похорон постороннего ей, заслуженного генерала.

— Ваше Величество, вы сами изволите быть на погребении?

Их глаза устремлены друг на друга, и это Панин, который принужден их опустить.

— Mais, certainement[1]. И с сыном... Нужно быть твердым в своих решениях — только слабоумные нерешительны.

Панин проникся глубочайшим уважением к Екатерине Алексеевне. Он понял, что с ним говорит, его удостаивает доверия настоящая Императрица... Он собрал бумаги и, поднимаясь от бюро, почтительно сказал:

— Разрешите собрать Сенат для опубликования манифеста?

Величественным наклонением головы Императрица молча отпустила Панина и осталась одна в своем рабочем кабинете.

[1] Ну, разумеется *(фр.)*.

Часть третья
ПРИЗРАКИ ИЗ МОГИЛ ВСТАЮТ

1. КНЯЖНЫ ТАРАКАНОВЫ

I

Тело Императора Петра Федоровича перевезли в ночь с воскресенья седьмого июля на понедельник восьмого из Ропши в Александро-Невскую лавру и поставили в тех самых покоях, где лежало перед погребением тело трехлетней дочери Екатерины Алексеевны, Великой Княжны Анны Петровны, родившейся после Павла Петровича и в младенческих годах скончавшейся.

Петр Федорович был одет в светло-голубой мундир с широкими белыми отворотами голштинских драгун, руки его были скрещены на груди, на них белые перчатки с большими крагами времен Карла XII. Тело покоилось в красном бархатном гробу с широким серебряным галуном, поверх был накинут парчовый покров, спускающийся до пола. Гроб стоял на невысоком катафалке в две ступени. Вокруг в высоких свещниках горели гробовые свечи. Ни орденов, ни регалий не было подле тела. Небольшая, низкая комната была сплошь — и стены, и потолок, и пол — обита черным сукном, вся мебель из нее была вынесена. Двери были открыты настежь, и летний сквозной ветер шевелил на голове покойника редкие волосы. Страшен был мертвец. Темное лицо, шея обмотана черным шарфом. У гроба голштинские часовые. Дежурные офицеры гвардии торопили пришедший по-

клониться народ. В тишине покоя, где колебалось пламя вздуваемых ветром свечей, был слышен стук сапог проходящих людей и строгие окрики:

— Проходите, судари, не задерживайтесь!..

— Проходите не останавливаясь!..

Во всем торопливость, опасение чего-то и страх. В лаврском саду под высокими березами толпился народ. В народе шли разговоры.

На чужой роток не накинешь платок...

— Известное дело — убили... Сам видел — шрам на шее. Душили, стало быть. С того и шарфом закутан. Разве так полагается, чтобы особ императорской фамилии...

— А страшный какой!..

— Чистый монстр!

— Волосья на морбусе шевелятся... Жуть!..

— Стало быть, сама и распорядилась.

— То-то и не придет, не пожалует полюбоваться на свое злодейство.

За такие слова людей не брали под караул. Не прочен был еще престол. Сомнение не рассеялось в Петербурге.

Об этих толках доложили Никите Ивановичу Панину, и тот счел долгом предупредить Государыню.

Он просил ее отменить намерение и не идти на похороны бывшего Императора. Екатерина Алексеевна была непреклонна. Напротив, она считала, именно ввиду таких разговоров ей и надо быть на погребении, показать свое примирение с усопшим и отклонить зловредные слухи.

— Ваше Величество, вас о том будет просить Сенат.

— Зачем, Никита Иванович?.. Мой долг быть на похоронах моего супруга, и я свой долг исполню до конца.

Сенат согласился с доводами Панина и в полном составе явился к Государыне в ее покои просить, чтобы «Ее Величество шествие свое в Невский монастырь к телу бывшего Императора Петра Третьего отложить изволила».

Императрица выслушала сенаторов, но отказалась исполнить их просьбу. После долгих убеждений и уговариваний она согласилась лишь, чтобы через обер-прокурора князя Козловского было объявлено святейшему Синоду, что погребение отправлено будет без высочайшего Ее Императорского Величества при том присутствия, и о том было через Академию наук напечатано в газетах. Но сама Государыня на похоронах будет присутствовать. Своим официальным отказом она устраняла сложный церемониал погребения и упрощала его до похорон частного лица.

В среду, десятого июля, состоялось погребение. В Невский монастырь явились особы первых пяти классов, при-

глашенные на церемонию повестками, приехали старик фельдмаршал Миних, генерал-полицмейстер Корф и голштинские офицеры. Кладбищенская роща между покоями монастыря и церковью была полна народом, падким до зрелищ.

Перед выносом гроба к монастырскому зданию подъехала траурная императорская карета, запряженная шестью лошадьми попарно цугом. Из нее вышла Государыня в сопровождении одной фрейлины. В черном платье с длинным треном, в наколке с вуалью, откинутой назад, строгая, спокойная, величественная и печальная, с высоко поднятой головой, она прошла в покои и поклонилась телу своего мужа

Восемь асессоров взяли гроб и понесли его в Благовещенскую церковь. Императрица следовала за гробом. Она отстояла заупокойную литургию и присутствовала при погребении. Когда она вышла на паперть — народ обнажил головы. Глубокая тишина стояла в толпе.

Не опуская головы, сосредоточенная в себе и суровая, Государыня прошла к карете, фрейлина усадила ее, убрала шлейф ее платья, села рядом, и карета покатила по березовой аллее через народную толпу.

Народ молчал... Но в сознание его вошло: «Да... Это Императрица!..»

II

Государыня восшествием своим на престол была обязана небольшому числу лиц, и прежде всего братьям Орловым. Не приезжай в то ясное утро за нею в Монплезирский дворец Алексей Орлов, не повези ее к измайловцам, не встреть у измайловцев ее решительный, на все готовый Григорий — кто знает, как еще повернулись бы дела? Государыня сверх меры и возможностей наградила всех, ей помогавших, и Орловых больше всего.

В первые же дни царствования Екатерина Алексеевна убедилась в благородстве, высокой порядочности, душевной красоте и преданности Разумовских и в разнузданности Григория Орлова. Григорий держал себя во дворце как в казарме. Государыня стеснялась с ним и распускала его более и более. Во время похода на Петергоф он ссадил себе ногу и теперь позволял себе в присутствии Государыни лежать с забинтованной ногой на диванах дворца. Он требовал от Государыни, чтобы она его ласкала в приступы боли. Это породило особые «эхи», неприятные для Государыни.

Видя уступчивость Государыни, Орлов пошел дальше, он сначала намекал, потом стал прямо говорить Государыне, что она должна венчаться с ним. Он хотел сам быть Им-

ператором... Григорий Орлов — Император!.. При всем своем увлечении Григорием, при полной, искренней и горячей благодарности ему, Государыня не могла этого допустить. Это касалось уже не только ее, но России. Она пришла в ужас, когда ей донесли, что о предполагаемом «марьяже» говорят в полках гвардии. Секунд-ротмистр Конной гвардии камер-юнкер Федор Александрович Хитрово в разговоре с измайловским капитаном-поручиком Михаилом Ефимовичем Ласунским сказал: «Я думаю, что нам больше делать нечего, как собраться всем офицерам гвардии и идти просить Ее Величество, чтобы она изволила сие отменить, рассказав резоны, какие нам можно будет...»

Государыня вызвала Орлова на объяснение.

— Правда это, сударь, ваше сиятельство, что такие «эхи» ходят, что ты и впрямь венчаться на мне хочешь?..

Орлов беспечно улыбнулся.

— Ты хочешь быть Императором?..

— Ваше Величество... Государыня Елизавета Петровна венчалась с Алексеем Григорьевичем Разумовским, почему тебе не венчаться со мною?..

Громадный, красивый, сильный, наглый, он смотрел на Государыню ясными, большими, немигающими глазами. Подлинно орел глядел на солнце!.. Он думал покорить Екатерину Алексеевну нежною томностью взгляда, но на этот раз Государыня не поддалась его обаянию. Не нравились ей разговоры в гвардейских полках. Знала она, к чему эти разговоры привести могли.

— Сомневаюсь я,— строго сказала она,— чтобы иностранные известия о браке Алексея Разумовского с покойною Императрицею были справедливы. По крайней мере, я не знаю никаких письменных тому доказательств. Да что же?.. Разумовский здравствовать изволит. Я пошлю к нему графа Михаила Илларионовича осведомиться от него самого, точно ли он был венчан с Государыней?..

Она нетерпеливо ожидала возвращения Воронцова, посланного с таким тонким поручением.

Разумовский сказал, что все это слухи — неправда. Разговор сильно взволновал старика. Во время него он достал из особой шкатулки свиток бумаги, перевязанный голубою, выцветшею от времени шелковою лентою, и бросил его в пылающий камин, потом, не оборачиваясь к Воронцову и помешивая кочергою тлеющий бумажный пепел, сурово добавил: «Я был ничем более, как верным рабом Ее Величества».

Государыня с глубоким вниманием выслушала доклад Воронцова. Она быстро обернулась к Орлову и сказала ему с силою:

— Вот, сударь, тебе пример!.. Сие надлежит тебе на ус намотать и крепким узлом завязать, дабы сумасбродные мысли, дерзновенные и не подобающие моему положению, ты выбросил навсегда из головы.

— Слушаюсь, Ваше Императорское Величество... Э-эх!..

Но Григорий Орлов не выбросил сумасбродных своих мечтаний. Он сделался ревнив, подозрителен и мстителен. Императрице было не до него. Готовилась ее коронация в Москве.

Перед отъездом в Москву у Государыни был небольшой обед в кругу своих, преданных ей людей. Были, между прочим, оба брата Орловы и гетман Разумовский.

За обедом, уверенный в поддержке присутствующих, Григорий Григорьевич вспомнил свои заслуги во время июньского переворота, ахал, вздыхал, бахвалился, говорил, что главной-то награды, на которую он рассчитывал, он так и не получил, жадными ревнивыми глазами смотрел на Императрицу и говорил, говорил без конца.

— Ваше Величество, верьте моему слову... Вся гвардия в моих руках. В гвардии что Орлов скажет, так тому и быть. Вы знаете, Ваше Величество, если бы я захотел?.. То есть я, Григорий Орлов!.. Вы понимаете, Ваше Величество, я захочу, и через какой-нибудь месяц-другой и вас можно свергнуть с престола...

Гетман Разумовский покосился на Орлова и медленно, со своей малороссийской флегмой сказал ясно и твердо:

— Ну, это ты, братец мой, брехать изволишь.

— То есть как это?.. Бре-еха-ать?.. Не ослышался ли я?..

— А вот так,— внушительно продолжал Разумовский,— потому вот мы,— он показал на брата Григория, Алехана,— вот именно мы, не дожидаясь того месяца, тебя через две же недели повесили бы... Так вот и выходит — глупая только брехня одна. И недостойная тебя и невместная в присутствии Ее Величества.

Григорий посмотрел на брата. Сурово были сдвинуты красивые брови молодца Алехана, мрачный огонь загорелся в прекрасных голубых глазах его. Григорий хорошо знал брата. Он сжался, опустил голову и тихо пробормотал:

— Сие, конечно... Шутки.

— А помнишь покойного Государя...«Ш-шутки ш-шутить»... Ныне всякие шутки оставить пора. Не время!..

Опасен был престол. Екатерина Алексеевна чувствовала — качается, как утлая ладья на бурном море, и не только чужие, враги, но свои, самые, казалось бы, преданные, самые заласканные, награжденные сверх меры люди готовы его опрокинуть.

III

Для Государыни Екатерины Алексеевны царствовать значило — работать. Со времен Петра Великого не было Государя на российском престоле, кто так много, так совершенно, последовательно и вдумчиво работал для блага и величия России. Но Петр работал сам. Он сам учился строить суда, сам строил города, не гнушаясь ни топором, ни лопатой, сам водил в бой полки, им же созданные и обученные, сам, когда то было нужно, брался за секиру и рубил головы непокорным. Екатерина Алексеевна понимала, что, будучи женщиной, она не может и не должна всего сама делать,— она искала для этого людей, она их находила, учила, наставляла, увлекала своим ясным всеобъемлющим умом и очаровывала женскою своею обаятельностью. Вялые уходили от нее подбодренными, несмелые — храбрецами, глупые — поумневшими, слепые — прозревшими, и все заражались от нее необычайной любовью к родине.

Она царствовала одна. За долгое время ожидания исполнения своих мечтаний — семнадцать лет томилась она — и сколько «испанских замков» построила она за эти годы в своей голове, сколько передумала она, сколько проектов составила — теперь настало время осуществлять мечты, из крови и железа, из камня и славных побед строить эти воздушные когда-то замки.

Она работала для России. Не для народа русского. Не для вельмож и не для крестьян. Первых она слишком хорошо знала и знала им цену, вторых, напротив, она совсем не знала,— она работала для России в ее целом, как для какого-то особого, для нее живого существа, в ней олицетворенного. С народом она не считалась. Общественное мнение, народные молвы, «эхи», слухи и сплетни трогали ее не больше, чем восторженная лесть царедворцев и славословящие ее оды стихотворцев.

До нее доходили слухи — ее обвиняли в убийстве Петра Федоровича. Не пугало и не волновало это ее. В дорогой шкатулке с бронзовым замком лежало у нее неграмотное письмо Алексея Орлова, обеляющее ее, снимающее с нее всякую тень подозрения. Она не тронет его и никому не покажет. Тридцать четыре года, до самой ее смерти, пролежит это письмо, никому не известное, и найдут его только тогда, когда она предстанет перед судом Господним и ей уже не нужно будет людского оправдания.

Она приветлива и ласкова со всеми. Она весела и часто смеется, в ней тонкий ум, и сквозит в нем прозрачная ирония — ее обвиняют в легкомыслии и бессердечии в такие

страшные, трагические минуты. Ей это все равно. Она знает людей. Недаром она изучала творения Вольтера и переписывалась со старым философом.

Вот просыпается она в скромной своей вдовьей спальне. Голова полна мыслей и забот. Ей надо все обделать, чтобы другим легко было исполнить...

Выйдя из уборной, Государыня сама растапливает печку в рабочей комнате. Не любит она беспокоить прислугу для себя. С детства приучена сама о себе заботиться и создать кругом себя женский уют. В полумраке зимнего утра красный отблеск играет на полу, в комнате пахнет смолистым дымом, весело потрескивают сухие дрова. Екатерина Алексеевна от воскового фитиля зажигает две свечи и садится к столу. Перед нею кипа бумаг и ее любимые географические карты. Глядя на них, лучше всего строить «испанские замки». Шероховатые большие листы тихо в ее руках шуршат. Юг России — то, что начал и не кончил дедушка Петр. Не удалось ему!.. Петр корабли строил в Воронеже и по Дону спускал их в Азовское море. Долгое и трудное предприятие. Эти дни Государыня много говорила со своими адмиралами, совещалась с Алеханом Орловым, пытала его ум и силы, переливала в него свои знания и желания. Тогда Петр не мог сего исполнить. Ныне, когда Балтийское море стало русским морем, почему и не выполнить? Да... Адмиралы боятся... Маленький пальчик спускается по карте к Черному морю. Вот где подлинное Русское море. Константинополь — город Константина Великого... Афон... Греция, нам единоверная... Какие народы живут вдоль Адриатики? Какую веру они исповедуют?

Что у них на уме и можно ли поднять их и повести на турок с юга, когда ее войска ударят с севера, с полей Молдавии?..

Людям это кажется воздушными замками, ставшими действительностью...

На прошлой неделе Алехан просился за границу, в теплые края, лечить больную грудь... Вот пусть и поедет... В Ливорно... А там будет видно...

Государыня взяла серебряный литой колокольчик и позвонила. Резкий звонок разбудил тишину утра. Камердинер появился у дверей.

— Ваше Величество?..

— Подними шторы и отдерни занавеси. Поди, утро уже...— Медным колпачком Императрица погасила свечи.

Оранжевый свет играл на морозном узоре окна. Длинные причудливые листья нездешних деревьев и россыпи сверкающих больших и малых звезд серебром отчеканены на стеклах.

— Мороз?..

— Дюже холодно, Ваше Величество, и снега нападало гораздо.

— Да, тихо на улице.

— Только сгребать зачали.

— Граф Алексей Григорьевич здесь?..

— Уже прибыть изволили.

— Попроси ко мне сюда графа Орлова да Храповицкого.

У Алехана лицо от мороза горит и кончики ушей под буклями парика побелели.

— Санями ехал?..

— Саньми, матушка. Шибкий мороз и ветер с моря.

— Садись к огоньку, погрейся. На меня не смотри, ходить буду, ноги зазябли.

Государыня в мягких котах ходит по длинной, глубокой комнате, постоит у квадратного окна, полюбуется на морозные узоры и снова ходит. Она долго молчит. Орлов терпеливо ожидает, когда она начнет разговор, для которого она его вызвала.

— Ехать хочешь? В теплые края?

— В грудях тяжесть, матушка... Там, сказывают дохтура, воздух легкий.

— Что же, поезжай... Я кое-что надумала. Помнишь, нонешним летом была я в Кронштадте? Маневры кораблей смотрела и стрельбу пушечную. У нас, Алексей Григорьевич, в излишестве кораблей и людей, но нет ни флота, ни моряков. Все выставленное на смотр из рук вон плохо... Как Государыня Елизавета Петровна того недоглядела!.. Корабли, которые я смотрела, показались мне похожими на флот, выходящий каждый год из Голландии для ловли сельдей, а не на военный флот. Нам не сельди ловить... Я так расщекотала наших моряков, что они огневыми стали... Учить, везде учить, граф, надо... Вот и надумала я весною двадцать человек молодых дворян из Морского кадетского корпуса отправить в Англию для службы на судах английского флота. Сенату и Петербургской Адмиралтейской коллегии приказала снестись с английским правительством. Прошу оных кадет назначить на суда дальнего вояжа в Восточную Индию и Америку... Повелела для того ради готовить фрегаты «Африку» и «Надежду благополучия» да пинк «Соломбал». За границу идут, так надо, чтобы начистоту. Андреевский флаг никак не уронить... Кадет посылаю на «Надежде благополучия», а ты ступай на «Африке» в Ливорно.

— Как повелишь, Государыня, так оно и будет.

— Ты не токмо лечиться едешь, ты мне там очень даже нужен будешь... Гибралтар нашим кажется концом света, а ты покажи им, что лежит и далее Гибралтара... Понял?..

— Понимаю.

Государыня перестала ходить, уселась в кресло у письменного стола и, перебирая бумаги, сказала с милою, оживленною, лукавою усмешкою:

— Туркам и французам, кажется, хочется разбудить кота, который спит. Я — сей кот!.. И я обещаю себя дать знать, дабы память обо мне не скоро исчезла.

Лицо Государыни вдруг стало серьезно, злые, волевые огни заиграли в прекрасных глазах.

— Надобно тысячи задабриваний, сделок, пустых глупостей, чтобы не давать туркам кричать... Довольно!.. Пусть знают, что у России средства не маленькие и Екатерина Вторая строит всякого рода испанские замки. Ничто ее не стесняет...

И снова лукавая улыбка осветила ставшее было серьезным лицо, и веселые огоньки заиграли в глазах.

— Вот вы и разбудили спавшего кота, и вот он бросится за мышами... и вот вы кой-что увидите... и вот об нас будут говорить... и вот зададим звону, какого не ожидают... Ты-то меня понял, Алексей Григорьевич? Не малого подвига требую я от тебя, может быть, и еще чего большего потребую... Тебе я верю, как самой себе. Знаю, как ты любишь свою Государыню и Россию... Румянцев и Суворов у меня на суше — будь моим Румянцевым на море. Садись ко мне ближе, смотри сюда на карту и слушай... Способен ты на подвиг?..

— Ваше Величество!

IV

Раннею весною 1764 года фрегаты «Африка» и «Надежда благополучия» и пинк «Соломбал» уходили из Кронштадта в заграничное плавание.

Накануне отплытия у Алексея Григорьевича Разумовского в его Аничковом доме был назначен отвальный ужин графу Алексею Орлову. Были приглашены «свои», тесная компания старых участников еще елизаветинского переворота и молодые сподвижники Екатерины Алексеевны, участники петергофского похода. Михаил Воронцов, два брата Чернышевы, Григорий и Алексей Орловы, Кирилл Разумовский, адъютант Орлова Камынин, ехавший с ним за границу, были на этом ужине.

Против обычая пито и едено было мало. Не было настроения. Какая-то печальная думка владела всеми. Море — не суша и дальний морской «вояж» — не прогулка в Петергоф. Алехан был грустен и задумчив. Его настроение

передавалось другим. После ужина перешли в просторную и уютную комнату, на мягкие турецкие диваны, задымили трубки, подали в золотой вазе пунш, и разговор с шуток постепенно перешел на серьезное.

— Боюсь я за тебя, Алехан,— сказал Алексей Разумовский.— Уж очень ты до сударок охоч. Тебе только подавай. Никого не пропустишь. Чухонка так чухонка, эстонка, шведка — гони в хвост и в гриву. Дуй в мою голову. Эх, не сломить бы тебе на сем головы. Там ведь испанки, итальянки, кареоки, чернобривы, огонь, а не девки.

— За себя постою.

— То-то... А тут Государынино дело.

— Подвиг,— сказал Кирилл Разумовский.

И вдруг ленивый, прерывистый разговор вспыхнул и разгорелся. Алехан вскочил с дивана и запальчиво сказал:

— А что такое подвиг? Вот он, братец мой, думает, что когда в рядах полка он сражался под Цорндорфом с пруссаками, и трижды был ранен, и, раненный, скитался по полю, рискуя попасть в плен, что то и был подвиг

— А то нет? — лениво, щуря прекрасные глаза, отозвался с кресла Григорий.

— Подвиг — это риск... Риск жизнью,— сказал Иван Григорьевич Чернышев.— Вот тебе пример. При Петре Великом это было. Перед замирением со шведами наш галерный флот ходил к шведским берегам, и случилось ему проходить в шхерах мимо одного острова, весьма опасным местом. К Государю Петру Великому привели тутошнего крестьянина, о котором сказывали, что он многократно в тех местах хаживал. Государь спрашивает его, знает ли он места и может ли провести флот его?.. Мужик говорит, что хаживать он хаживал и места те знает, а точно взять на себя этого не может. Государь сказал ему· «Так поди же и проведи меня. Ежели проведешь, я награжу тебя, и ты благополучен будешь. Если же с флотом моим сделается какое несчастье, то не гневайся — велю тебя повесить». Мужик провел флот благополучно. Государь пожаловал ему весь этот остров, мимо которого они проходили, в вечное и потомственное владение, и ныне наследники сего крестьянина на том острове господствуют. Что же, сие не подвиг?..

— Нет. Никак не подвиг

— Так ведь, Алехан!.. Не зря же его Государь наградил? Мужик тот жизнью рисковал.

— Жизнью?.. Государь наградил?.. Нет, совсем не подвиг

— Вот упрямый,— сказал Воронцов.— А ты знаешь, почему Васильевский остров назван Васильевским?

— Ну?..

— Когда шведский флот стоял в невских устьях, морской офицер Василий Корчмин добровольно сам-друг на лодке обошел мимо сего острова и привез Государю известие о положении шведского флота. С того его именем и назвали оный остров Васильевским. Ты понимаешь, Алехан, если там мужик по принуждению, из страха смерти подвиг совершил, то тут Корчмин д о б р о в о л ь н о на жизненный риск пошел, и оное уже и ты признать должен подвигом.

— Нет, не подвиг.

— Вот ведь какой упрямый,— сказал Алексей Разумовский.— Ось подивиться!.. В огороде бузина — в Киеве дядька. Что же, по-твоему-то, подвиг?

— Подвиг, когда для Государыни, для родины не токмо жизнью, но и большим, чем жизнь, рискует и отдает...

— Что же есть больше, чем жизнь? — сказал Алексей Разумовский.

— Что жизнь?.. Игрушка! Не мы ее взяли себе, и не нами она отдается. Она в руках Господних. Какой где риск, когда сказано: «Ни один волос не падет с головы вашей без воли Божией»?.. Но есть иное... большее, чем жизнь, и что нами, лично нами, может быть, отцами нашими, целыми поколениями честных предков, целыми веками приобреталось... И вот это-то!.. Честь!..

Алехан оборвал свою речь и, порывисто схватив золотой бокал, выпил его до дна. Кругом молчали. У каждого в мыслях было: Ропша и страшное шестое июля 1762 года. Алексей Разумовский смотрел в землю и казался смущенным. Григорий Орлов глядел мимо братнего лица в окно, за которым весеннее утро заканчивало короткую ночь.

— Ф-фа!.. Сладость какая!.. Нет ли чего у тебя, Алексей Григорьевич, покрепче? Вот это-то... Когда честь... Свое честное имя... и потом про тебя праздные люди... Фарисеи будут говорить... Твое имя трепать станут, пересуживать... Поносить... История постановит над тобой суровый и неправый свой приговор... А ты вот на все сие пошел... Для ради нее, Государыни... Родины... России...— вот сие и есть подвиг... Преданность. Бес-пре-дельная преданность,— повышая голос, говорил Алехан.— То есть которой уже нет ни в чем предела. Скажем... женщину... ребенка... обмануть... загубить... если то ей... государству нужно... Даже, скажем, люди скажут — подлость... А на деле — подвиг!

— Того не может быть,— хмуро глядя в сторону, сказал Кирилл Разумовский.— Как может быть такое, чтобы ей подлость понадобилась?

— Я знаю,— значительно и с силою сказал Алехан, обращаясь к Разумовскому,— ты ее любишь... По-настоящему,

как я... Как брат твой, Алексей Григорьевич... Он, Григорий?.. Нет... Он много подвигов совершал, но он себя помнит... Себя при том забыть не может. А я говорю, чтобы себя забыть... Навсегда... и после смерти на тебе от того тень... А между прочим, это и был твой подвиг.

Вот как я понимаю подвиг... Все... Все... Честь... Имя... Я червь, ничто... все ей!.. все!.. Все!! Все!!!

Алехан как-то вдруг, быстро застегнул кафтан и стал прощаться:

— Сударь... Пора... Я чаю, вельбот давно меня ожидает. Пора в море.

— Постой, чудак человек, как же так?.. Посидеть надо... Отвальную распить... Гей, люди!.. Вина!..

Алексей Разумовский с полным кубком пенного вина подошел к Алехану.

— Ты... сие... Ты сие хорошо сказал. Верно... Именно все... Ото всего для нее отказаться... и от того, что было... и что есть и что будет... Но только, друг мой, и сие не подвиг, ось подивиться!..

— Как сие не подвиг?..

— Да, не подвиг... Сие есть наш долг... Верноподданных... и дай, милый Алехан, почеломкаемся. Славный, хороший ты человек.

Вся компания поехала провожать Орлова до вельбота. На пристани Алексей Григорьевич Разумовский отвел Алехана в сторону и, пожимая ему руку, сказал:

— Так помнишь, о чем намедни просил тебя? Не забудь! Я повторю.

— Заметано.

— Заметано, сие точно, а я все-таки напомню. Как будешь ты в Митаве, а может быть, они уже в Киле, так и в Киле навести ты моих племянниц — Дараган. Запомнишь?

— Ну как можно забыть!.. С конногвардейцем Дараганом давнишние приятели, и камер-юнкера хорошо знаю. Говорю — заметано.

— А воспитательницей с ними старая девушка Ранцева, Маргарита Сергеевна, моих примерно лет,— продолжал настоятельно говорить Разумовский.

— Ну вот, я про Ранцева сколько раз слыхал — доблестнейший офицер, убит в Цорндорфском сражении.

— Так вот, серденько, не поленись, отыщи их и отпиши мне цидулю, что они и как?.. Маргарита Сергеевна что-то давненько мне ничего не пишет. А раньше частенько попысывала. А сестрица моя о них беспокоиться начинает, известно — мать.

— Всенепременным делом почту исполнить твое желание. И навещу, и посмотрю, что за племянницы растут там у тебя, от всякого постороннего глаза укрытые. Поди, уже невесты... А?.. Что?.. Может быть, еще и породнимся с тобою Не все порхать амуром и рвать цветы наслаждения. Быть может, пора и узы Гименея надевать... Годы идут и идут... А?.. Не увидишь, как молодость тю-тю...

— Старшей, Августе, двадцатый год пошел. Пишут про нее — ужасно какая серьезная, совсем монахиня.

— Не про меня такой товар.

— Молодшая, Елизавета, ну той и всего-то тринадцать лет должно быть... Девчонка совсем еще. Коза, шалунья... Ну, так вот, исполни. Навести!

— Не беспокойся, такого вельможи да племянниц не навестить за границей! Ну, прощай

— Не прощай, а до свидания До скорого, почетного и славного возвращения и до свидания здесь, в нашем милом Петербурге.

Старый Разумовский горячо обнял и поцеловал Орлова. Тот легко и бодро сбежал на плот пристани и прыгнул в вельбот. Матросы в нем отвесно весла держали. Старшина крюком оттолкнулся. «На воду!..» — скомандовал мичман. Белыми крыльями взмахнули длинные весла и мягко, без плеска опустились в Неву

V

В Митаве, где корабли брали воду и грузились солониной в бочках и копчеными ветчинными окороками, Орлов с Камыниным объездил все три гостиницы и справлялся у русского резидента о девицах Дараган. Точно — на своей квартире совсем еще недавно жила старая девица Ранцева с двумя барышнями-«княжнами», но неделю тому назад уехала в Киль. Орлов улыбнулся на наименование Дараган «княжнами». Он уже знал, что за границей все богатые русские — князья.

Ветер был попутный, и в Киле не предполагали задерживаться. Стали на рейде, и Орлов с боковым свежим ветром на лихо нагнувшейся яхте пошел с Камыниным на берег Среди темных, однообразных домов на набережной небольшого канала он быстро увидел вывеску, золотого льва в обруче,— то была гостиница «Золотой лев», лучшая в городе. Трактирщик выбежал к знатным персонам.

— Таракан? — вопросом повторил он на вопрос Орлова — Таракан?.. Aber nein...[1] Не было таких девиц.

[1] Но нет...*(нем.)*

Он будто смутился, и это не ускользнуло от Камынина.

— А не врет ли сей мин херц,— сказал Камынин,— уж больно плутовская рожа. Видать, большая протобестия.

— Старая барышня была с ними... И две девочки... А? Что? Не слыхал таких? — строго переспросил Орлов.

— Нет... Нет,— решительно мотая головою, заговорил трактирщик.— Ничего про таких не слыхали. Таракан?.. Таракан, нет не было таких. Вообще у меня русских не было это время.

— Ручаюсь, ваше сиятельство, что эта протобестия врет

— Да какой ему интерес нам врать-то,— сказал, поглядывая на море, Орлов. На «Соломбале» поднимали паруса. На «Надежде благополучия» матросы и кадеты были посланы по вантам и реям и шевелились там, как воробьи на ветках. Готовились к отплытию. Ждали только его, Орлова.

Для очистки совести прошли еще в две гостиницы, но это были такие грязные матросские притоны, что и спрашивать там было нечего,— Ранцева там не могла стоять. Пошли назад на яхту и быстро заскользили по рейду к убравшейся парусами «Африке».

Протобестия-трактирщик и точно был смущен. Еще три дня тому назад на черной доске у него в гостинице торжественно было начертано готическими немецкими буквами: «Prinzessinen Tarakanow». Старая дева, высокая, стройная, серьезная и красивая, с такими серебристыми белыми волосами, что ей и парика не надо было надевать, жила у него с двумя русскими девицами, и, конечно, это про них спрашивал знатный русский вельможа. Но молчать про них было необходимо. Три дня тому назад все три неожиданно исчезли. За их вещами и прислугой полькой зашел поляк и тоже — как в воду канул. За это можно было и ответить, и потому трактирщик счел за лучшее отречься от них, тем более что в вопросе русского не было уверенности, что княжны Таракановы должны были стоять в «Золотом льве».

Трактирщик постоял около получаса, уже с крыльца посмотрел, как в белые точки корабли обратились, и, кряхтя, стал подниматься по крутой каменной лестнице в гостиницу. Пронесло!..

VI

Маргарита Сергеевна Ранцева с племянницами Разумовского Августой и Елизаветой Ефимовнами Дараган выехала из России незадолго до смерти Императрицы Елизаветы Петровны. Их путь лежал на Ригу, Митаву, Киль — через Данию во Францию, а потом в Италию.

Но тогда еще шла война с пруссаками. Русские войска стояли в Риге, и Маргарите Сергеевне пришлось задержаться. Она не горевала об этом. Рига жила веселою тыловою жизнью, доверенные ей девочки могли здесь отлично учиться немецкому языку, и Маргарита Сергеевна надолго застряла в Риге.

Здесь узнала она о смерти Государыни Елизаветы Петровны, о вступлении на престол Государя Петра III и о том, что Великий Князь Павел Петрович в манифесте не был наименован наместником престола.

Любопытство старой политической деятельницы было затронуто. Маргарита Сергеевна почуяла, что назревают совсем особые события, быть может, похожие на те, участницей которых она была сама двадцать лет тому назад. Она живо вспомнила, как последний раз видела на балу Великую Княгиню Екатерину Алексеевну, ставшую теперь Императрицей, и какое сильное впечатление та произвела на нее. Маргарита Сергеевна всею душою стремилась в Петербург, девушки связывали ее. После смерти Государыни Елизаветы Петровны военные действия прекратились, войска потянулись из Пруссии к Риге, проезд на запад стал возможным, и Маргарита Сергеевна переехала в Митаву. Здесь нашла она полное удовлетворение своим наклонностям политической разведчицы. В Митаве сходились пути на Берлин, Варшаву и Москву. В Митаве Ранцева виделась со Станиславом Понятовским и слушала его горькую исповедь неразделенной, страстной любви к Императрице российской, в Митаве она познакомилась с французскими эмиссарами, показывала им своих воспитанниц и всем говорила, кем и почему они были ей поручены.

— Сама покойная Императрица была озабочена их судьбою!.. Как же — они племянницы когда-то всесильного вельможи Разумовского!

В Митаве же узнала она о перевороте двадцать девятого июня 1762 года и, слушая рассказы о нем, вся трепетала. Если бы она была там!.. Если бы все было, как т о г д а!.. Она могла бы стать на место Дашковой!..

Она сразу почувствовала сложную политическую игру, которая шла теперь в Петербурге. Пользуясь свободой, она бывала всюду, где можно было видеть интересных людей. Она говорила с поляками, французами, англичанами и немцами. Она тотчас почувствовала, как с приходом к власти молодой Императрицы все насторожились и испугались той русской политики, которой, по-видимому, будет держаться Екатерина Алексеевна. Возраст Маргариты Сергеевны, седые волосы и положение воспитательницы позволяли ей нанять

маленькую квартиру и устроить у себя политический салон, как это было принято за границей. Это было же так модно!.. Она прекрасно говорила по-французски и по-немецки и свободно при девицах обсуждала политическое положение. Оно казалось ей много сложнее и запутаннее, чем то было при Императрице Елизавете Петровне. Тогда было неоспоримое и всем понятное: дочь Петра Великого! Этими словами было все сказано. В них — и право, и правда, и закон, и сила. С Елизаветой Петровной шла ее необычайная красота, обаятельность и то, что она была совсем русская. Иоанн Антонович — младенец. Мало кто про него и слышал и, уж конечно, никто им не интересовался. И потому тогда не было ни сожаления, ни злобы, ни упреков, ни зависти.

Теперь совсем другое было. Иностранцы в Митаве не стеснялись, и то, что в Петербурге шептали, потаясь, громко обсуждали в «салоне» Маргариты Сергеевны.

«Она», то есть Императрица Екатерина Алексеевна, никакого права на престол не имела. На каком основании она устранила своего мужа?.. Он публично назвал ее «дурой»... Он не любил ее, он, весьма вероятно, изменял ей с Воронцовой... А она не изменяла ему с Салтыковым и, говорят, теперь открыто живет с Григорием Орловым?.. Петр Федорович хотел войны с Данией? Так ли это плохо — расширять на запад границы государства Российского? Не продолжал ли он этим дела своего великого деда и не следовал ли заветам своей тетки?.. Та хотела Пруссии, он крепил голштинское наследство... Его первые реформы — вопросы свободы веры, лютеранизация русского духовенства, узда, накинутая на монастыри, первый шаг к освобождению крестьян, грамота о вольности дворянства — все это за границей нравилось. Уничтожение Тайной канцелярии — это было то, что по вкусу приходилось заграничным людям.

И такого Императора назвать «монстром»!.. Такого человека, говорят, по ее приказу задушили в Ропше Барятинский с Алексеем Орловым!.. Мужеубийца!..

Почему обойден наследник престола Павел Петрович?.. Екатерина Алексеевна в лучшем случае могла быть регентшей, но никогда не самодержавной Императрицей!

Государеубийца, узурпаторша прав сына — вот в каком свете являлась здесь Ранцевой та прелестная молодая женщина, которою тогда так любовалась Маргарита Сергеевна на придворном балу незадолго до своего отъезда за границу.

Какова нынешняя политика Государыни?.. Ее мужа упрекали в том, что он был послушным слугою короля Фридриха и чувствовал себя лучше генерал-майором прусской

армии, чем Императором Всероссийским... А она?.. Не следовала она советам короля?.. Каковы ее замыслы относительно Польши?.. Как сурово она отшила такого преданного ей человека, как Станислав Понятовский!.. Каким тоном говорит с Турцией?.. Говорят... Она хочет... Но тут умолкали...

Опытная в политике Маргарита Сергеевна сквозь прозрачную пелену намеков, через рассказы о том, что говорили Хитрово и Ласунский, что было предметом обсуждения в гвардейских светлицах, чувствовала, что вот едва вступила на престол Екатерина Алексеевна, как уже явились политические интриганы и просто честолюбцы и ищут, ищут новое лицо, претендента на престол, чтобы устроить новый переворот и повернуть так, как это будет удобнее и выгоднее Польше, Франции и Турции, как это возвеличит новых людей и создаст новых вельмож, пособников переворота.

Маргариту Сергеевну расспрашивали об Иоанне Антоновиче. Где он?.. Какой он?.. Способен ли он царствовать и чьи права на престол больше, его или Императора Петра III?.. Ей шептали, что в Ропше был убит, а потом похоронен в Александро-Невской лавре вовсе не Государь Петр Федорович, но похожий на него голштинский солдат.

— С того и лицо у него, сказывают, было черное, кисеей плотно-плотно закутанное... Да и ростом он меньше, гроб был совсем небольшой. Да и так бы разве хоронили Императора?.. Нечистое тут дело. А Петра Федоровича верные люди увезли на юг, к казакам-раскольникам.

Творилась легенда, мертвецы вставали из гробов, готовы были появиться самозванцы и начать разрушительную работу уничтожения России. Кому-то было это нужно.

Как тогда, перед переворотом Елизаветы Петровны,— «привидения казались».

VII

В Митаве весна на месяц раньше, чем в Петербурге. На невских островах еще голые березы и тополя стояли, ладожский лед еще не прошел по Неве, а в Митаве каштаны цвели и сирень пышно белыми и лиловыми гроздьями убралась.

По вечерам ветер был тепл, и море голубело под легкой дымкой тумана. На Пасху много всякого народа наехало на праздники в Митаву. Приехали кадеты шляхетного корпуса из Петербурга на побывку к родным, и у Маргариты Сергеевны всегда по вечерам кто-нибудь засиживался у княжон Тараканових, как стали называть и среди русских девиц Дараган. Русской молодежи Маргарита Сергеевна бывала

рада — Елизавета стала забывать русский язык, делалась большою фантазеркой, и ей было полезно бывать в обществе простой молодежи.

В маленькой квартире стоят лиловые сумерки. В окна комнат рвутся прохладные ветки сирени. В покое у девиц звенит арфа, это Августа играет на ней, и сквозь взрывы восторженного смеха молодежи слышно, как молодой прапорщик Гротенгольм поет нежным неуверенным голосом:

Внезапно постучался
У двери Купидон,
Приятный перервался
В начале самом сон...

И, будто восполняя то, что пелось у девушек, в дверь Маргариты Сергеевны постучала горничная Каролина и доложила, что какой-то человек желает видеть пани.

— Кто?.. Чужой?.. Немец? .

— Ни... Москаль... Видать — з москалей...

Вечерний визит Маргариту Сергеевну не удивил и не испугал. Маргарита Сергеевна приказала просить и внимательно вглядывалась во входившего к ней человека, стараясь определить, кто это был и зачем к ней пришел.

— Простите, сударыня,— начал незнакомец,— что в неурочное время и никем заранее не аттестованный вторгаюсь в вашу мирную девическую обитель, но у меня к вам дело чрезвычайной важности и спешности.

Незнакомец говорил по-русски мягким московским говором и, несмотря на немецкую одежду, показался Маргарите Сергеевне русским купцом, путешествующим за заграничными товарами. Такие люди всегда много знают и интересуются политическими делами.

— Пожалуйте,— тихо сказала Маргарита Сергеевна,— прошу садиться.

Из-за притворенной двери звенела арфа и голос сладко пел:

— Кто так стучится смело?..—
Со гневом я вскричал.
— Скорей!.. Обмерзло тело,—
Сквозь дверь он отвечал...

— Дело касается воспитанниц ваших, княжон Тараканових...

Маргарита Сергеевна перебила гостя:

— Полноте, сударь... Тут просто какое-то недоразумение. Какие они княжны Тараканови? Это еще в Риге началось. Тамошние немцы не могли усвоить имени Дараган. Я им—

Дараган, они мне — Тараканов... Русского имени без окончания на «ов» представить себе не могут, вот и стали мои девочки Таракановыми, да еще и принцессами. А мне сие совестно и досадно, точно мы и впрямь самозванки какие. А они такие же княжны, как я графиня

— Возможно, что найдутся люди, которые и вас сделают графиней...

Маргарита Сергеевна в упор посмотрела на незнакомца. В ее глазах были удивление и вопрос.

Из-за двери неслось:

Чего ты устрашился?.
Я, мальчик, чуть дышу,
Я ночью заблудился,
Обмок и весь дрожу...

— Хе-хе-с!.. Песня-то какая игривая... И в лад моему рассказу... На вашу честь полагаюсь, меня не выдадите и зря болтать не станете. Владимирский-на-Клязьме я купец Макар Хрисанфович Разживин, и по торговым делам бываю я по всей матушке-России. В Персию за фисташками и лимонами езжу, сколько раз покойной матушке Государыне лимоны самолично доставлял, очень покойница любила лимонады. За рахат-лукумом и халвой в Турции бываю, попадаю в Киев и в Варшаву, сейчас здесь по рыбно-бакалейному делу... Так по станкам-то почтовым, по трактирам кого-кого не повидаю, каких только речей не услышу. И вот вчера в гостинице, где я стою, примечательнейший разговор имел я относительно ваших барышень, вот о чем и предупредить вас пришел. А что девицы ваши Дараган, так мне доподлинно известно, потому что я всю Черниговщину изъездил, можно сказать, вдоль и поперек, и потому я с оным своим собеседником вчера даже и в лютый спор вступил, и он меня просто-таки сразил.

— Даже интересно.

— Еще и как, сударыня... Изволите видеть: точно были реестровые казаки Драганы, как были, вам сие доподлинно известно, и казаки Розумы. Когда Розумы стали Разумовскими — то и Ефим Драга, женатый на сестре Алексея Григорьевича — Вере Григорьевне, стал Драганом и был пожалован в бунчуковые товарищи.

— Все это верно. Откуда вы знаете все так подробно?

— Как не знать мне всего сего, сударыня, когда я у оных Драганов не раз и не два сало и овечью шерсть покупал. Так вот-с, вчера разговорились мы с одним поляком, а он мне и скажи: «Вы знаете княжон Таракановых, что в Митаве стоят?..» Точно, девиц ваших я в церкви видел

и даже интересовался, кто такие... А потом в гостинице, когда ташен-шпилер фокусы-покусы показывал, я за вами сидел, и тогда мне сказали, что девицы не Таракановы, а Дараган.

— Кто же вам это сказал?

— А вот и не упомню кто.. Кто-то из господ офицеров Так вот, я тому поляку и сказал, девицы те не Таракановы а Дараган. Я все их семейство преотлично знаю. А поляк мне говорит: «То неправда есть. У Веры Григорьевны Дараган было всего четверо детей: единственная дочь, София Ефимовна, пожалованная фрейлиной, в прошлом году вышла замуж за князя Петра Васильевича Хованского, сыновей было три: камер-юнкер Василий, и Иван, и Григорий — все трое недавно, по воцарении Екатерины Алексеевны, произведены в секунд-ротмистры лейб-гвардии Конного полка. Отец их Ефим Дараган скончался в позапрошлом году. А больше детей, как видите, и не было».

— Странная осведомленность... У поляка?.. При чем тут поляк?.. Да кто он такой?

— Того не ведаю... Он мне себя не назвал, но то, что он мне потом рассказал, меня очень встревожило.

— Но, позвольте... Откровенность на откровенность.. Об Августе и Елизавете меня лично просил сам Алексей Григорьевич Разумовский, не мог же он кого-нибудь другого ко мне прислать...

— Не знаю, не ведаю-с... О вашей молодшей, извольте только послушать, что тот поляк мне сказывал. Чисто арабские какие сказки!.. Будто лет десять или поболее того назад некая Авдотья Никонова, крепостная господ Бачмановых. содержавшаяся в Тихвинском Введенском женском монастыре в монастырских трудах до конца живота, сказала за собою государево слово и дело. В Тайной канцелярии оная Никонова сказала, что она может поведать свое слово только Государыне или графу Александру Ивановичу Шувалову... Ну, пытали ее, и сообщила она тогда, что в оном Тихвинском монастыре содержалась персидская девка Лукерья Михайлова и будто оная Лукерья говорила Никоновой, что она дочь персидского царя и венчанная жена графа Алексея Григорьевича Разумовского. Будто Государыня насильно выдала ее за Разумовского, потому что на той персидской девке хотел жениться Великий Князь Петр Федорович. И будто у той персидской девки были письма Великого Князя, где тот называл ее «другом сердечным Ольгой Макарьевной»...

— Господи!.. Какая все это ерунда!.. Какой вздор!.. Стыдно и смешно слушать...

— Не страшно ли, сударыня?.. Оную Никонову нещадно били плетьми и сослали в строжайшее заключение в дальний монастырь.

— И за дело... Ври, да знай меру.

— А Лукерью, заметьте, Лукерью, так ту даже ничуть не тронули. И вот сказал мне поляк: он подозревает, что девица, которую вы воспитываете, Елизавета то есть, и будет дочерью Разумовского и той персидской девки...

— Вздор... вздор... Смешно даже слушать... Елизавета — внучка персидского царя!.. Смешно и странно слушать все это, Макар Хрисанфович...

— Страшно, сударыня... Предупредить почел я долгом вас. В опасное время мы живем, и вы сами понимать изволите, колико страшны такие толки для вас и для ваших девиц.

Разживин понизил голос до самого тихого шепота.

— Я знаю, сударыня, что есть ныне такие безумные поляки, которые ищут сменить матушку Государыню Екатерину Алексеевну.

— Дочерью персидской девки?...

— Дочерью Разумовского — княжною Таракановой. Подумайте, сударыня, сколь в сем вы опасны!.. Ведь персидская девка может быть только для отвода глаз... А что, если она да... Ведь Государыня-то с Разумовским были, сказывают, венчанные муж и жена?

Ничего не ответила Маргарита Сергеевна. Она в глубокой задумчивости сидела у окна. В комнате было очень тихо, а из соседней горницы слышались мелодичные перезвоны арфы, и юный девичий голос громко запел из оперы «Le marechal ferrant»:[1]

Quand pour le grand voyage
Margot plia bagage,
Des cloches du village
J'entendis la lecon —
Dindi, din-don...
Dindi, din-don...»[2]

— Что же? Это она поет?

— Она, — чуть слышно, вздохом ответила Маргарита Сергеевна.

---

[1] «Железный маршал» *(фр.)*.

[2] Когда для дальнего пути
Марго увязывала пожитки,
Деревенские колокола
Твердили ей урок —
Динди, дин-дон...*(фр.)*

— Господи, царица небесная, сколь вы опасны!..

Разживин низко поклонился Ранцевой и бесшумно вышел из комнаты.

За вечерним кушаньем Маргарита Сергеевна много смеялась, называла Елизавету «персидской девкой», говорила, что она дочь персидского шаха, «сына солнца, друга луны, шелудивой овцы небесного стада». Елизавета с интересом слушала воспитательницу и по-французски расспрашивала ее о Персии.

— А как туда ехать, мадемуазель?

— Я думаю, проще всего через земли донских казаков, на Азов или Каспийским морем, с Волги. Трудное путешествие... Через Азов придется мимо крымского хана плыть, через турецкие земли ехать. Там разбойников полно.

— Азов!.. Азов, — повторяла Елизавета. — А как красиво, мадемуазель,— princesse d'Asov!.. А какие там имена? У персов, как у турок, или другие?

— Мало ли какие... Али, наверное, есть... Вот еще я слыхала — Риза-хан...

— Princesse Ali-Risa-khan d'Asov... Mais c'est epatant![1]

Два кадета — белобрысый, с круглой детской головой с париком, с черным бантом на косице, Мусин и, чернобровый, с выпученными глазами, барон Гротенгольм, двоюродный племянник Маргариты Сергеевны, смеялись рассказам и тому, что Елизавета Ефимовна их будто всерьез принимала...

Высокая, стройная, смуглая, с чуть косящими миндалевидными глазами, гибкая и ловкая, она казалась старше своих тринадцати лет, и точно, что-то восточное в ней таилось, *казалась она турецкой гурией, персидскою княжною, как* видали их кадеты на гравюрах в книжках с путешествиями. *Елизавета не смеялась. Лицо ее было мечтательно и серь*езно, она смотрела мимо своей воспитательницы в окно и точно видела там за горизонтом то, о чем они говорили,— Персию и загадочные страны: Азов, Турцию, Черное и Каспийское моря... У нее была способность — грезить наяву и видеть четкие, надолго запоминающиеся сны во сне.

— Princesse Ali d'Asov,— повторила она.— Мадемуазель, знаете, и правда... Я ведь помню — апельсиновые рощи... Золотые плоды висят на низких круглых деревьях, и розовые горы тонут в густой небесной синеве. Epatant!..

— Ну что ты вздор болтаешь. Как можешь ты помнить то, чего никогда не было? Видала картинки в книжках и

[1] Княжна Али-Риза-хан из Азова... Но это восхитительно! *(фр.)*

представляешь... Сны какие-то! И когда только ты поумнеешь?..

— Нет, правда, мадемуазель. Я что-то вроде этого видала... Я дочь персидского царя!.. Царская дочь!

— Ну, будет!.. Спать пора, судари... Весенняя ночь приходит незаметно, а поздно уже... Ваши родители сердиться будут, что я вас так задержала.

VIII

Вечером в городском саду играла русская полковая музыка. Маргарита Сергеевна сидела со своими воспитанницами на скамейке. Вдруг точно что-то ударило ее по затылку, она тревожно обернулась. Сзади и наискосок от нее, под дубом, на лужайке два человека стояло. Ничего особенного в них не было, но она не могла уже не смотреть на них. Один был немец из Митавы, другой — высокий, нарядный, красивый молодой шляхтич в длинном кафтане с вычурно оттопыренными полами, как носят в Варшаве. Он был при шпаге и в большом волнистом парике, накрытом шляпой с широкими полями, немного старая мода, но всегда красивая. Они были близко от Маргариты Сергеевны, и она могла слышать, что они говорили.

— Prinzessinen Tarakanov? — спросил по-немецки шляхтич и показал глазами на Елизавету.

Немец ответил утвердительно, и оба пошли с лужайки в широкую аллею, к выходу из сада.

Ничего больше и не было: разговор с купцом Разживиным и эта встреча,— а вот так растревожило это Маргариту Сергеевну, что она спешно собралась и переехала в Киль.

В Киле Маргарита Сергеевна устроилась в лучшей гостинице «Золотой лев». Она взяла две смежные комнаты в верхнем этаже. Двери гостиничных покоев выходили в большой зал, мутно освещенный одним широким окном в его глубине. По другую сторону была лестница, ведшая в трактир и столовую для гостей, там же были и «билары» для игры.

Разложившись, Маргарита Сергеевна достала свежие немецкие газеты. В них прочитала она, что в Киле ожидается в скором времени русская эскадра, которая уже вышла из Кронштадта и с попутным ветром идет в Голштинию. С этой эскадрой идет граф Алексей Орлов.

И опять забилось волнением сердце. Идет тот, кто сажал на престол российский Екатерину Алексеевну, про кого говорят, что он прямой виновник смерти Императора. Увидеть

Орлова было интересно, и ему она может рассказать о своих страхах и, если нужно, просить у него защиты.

В столовой, куда спустилась Маргарита Сергеевна к «фрыштыку», было накрыто три стола. За одним уже сидели какой-то старик со старухой, не обратившие никакого внимания на вошедших барышень. За другой, в глубине столовой, у лестницы, сели Маргарита Сергеевна с воспитанницами, третий был пока не занят. В середине завтрака Маргарита Сергеевна, сидевшая спиной к залу, заметила, как покраснела и стала косить глазами Елизавета, точно увидала кого-нибудь знакомого, и, по своему дурному обыкновению, от которого никак не могла ее отучить Маргарита Сергеевна, стала «делать глазки». Маргарита Сергеевна оглянулась. Разговор прервался на полуслове. За стол садился тот самый поляк, который справлялся о княжне Таракановой в Митаве. С ним был другой поляк, маленький, кругленький, толстый и краснорожий. Третий обедавший был турок, со смуглым красивым лицом, он был в чалме, и эта-то чалма привлекла внимание Елизаветы и так взволновала ее.

— Смотрите, мадемуазель,— вне себя от восторга говорила Елизавета,— вот он, персидский принц д'Азов!

— Молчи,— сердито сказала Маргарита Сергеевна,— молчи и не смей на посторонних кавалеров глаза пялить.

— Что вы все шпыняете меня, мадемуазель? — сказала обиженно Елизавета.

Вошедшие пристально и, Маргарите Сергеевне показалось, слишком внимательно присматривались к девушкам и Ранцевой и сейчас же заговорили по-польски. И еще показалось Маргарите Сергеевне, что высокий и красивый поляк был обрадован тому, что нашел их.

Вот и все. И что было странного или тем более страшного, что поляк, которого она несколько дней тому назад видела в Митаве, приехал в Киль? Митава — Киль, это была обычная дорога едущих по северу Европы. Но покой, было установившийся в душе Маргариты Сергеевны, пропал.

Днем она встречала, или ей казалось только, что она встречает, то того, то другого из их компании.

Выйдет из «Золотого льва» — на узком канале, где толпятся рыбацкие лодки, у толстого деревянного парапета с железными причальными кольцами стоит маленький толстый поляк и даже не смотрит на Маргариту Сергеевну, он весь углубился в рассматривание, как внизу у воды с удочками бродят мальчишки. И ей уже страшно.

Пойдет днем с воспитанницами на прогулку и все оглядывается, не идет ли кто-нибудь сзади. У дома русского резидента похаживает турок в чалме, и Маргарита Сергеевна

крепче схватывает руку Елизаветы и строго по-французски требует, чтобы та молчала.

Вечером, когда станут звонить Angelus, Маргарита Сергеевна идет к костелу. У высокого крыльца ей уступает дорогу красивый поляк.

Маргарита Сергеевна говорила сама себе, что тут нет ничего странного или чрезвычайного — город маленький, и что особенного, что, может быть, живя в одной гостинице, они так часто встречаются. Зерно страха, брошенное вечерним разговором с купцом Разживиным, вырастало громадным деревом.

И в Киле пошли тревожные бессонные ночи. Маргарита Сергеевна укладывала у дверей спальни, в зале на полу, на тонком соломенном матраце служанку, польку Каролину, но та так крепко спала, что рассчитывать на нее не приходилось. Снова чудились ночные шорохи, постукивания, шаги, снова казалось, что кто-то стоит на улице против ее окон и дожидается чего-то или кого-то...

Маргарита Сергеевна готова была бежать куда угодно, сесть на первый идущий из Киля корабль и уехать, но мысль, что на этом самом корабле, на узком пространстве его палубы, она может встретиться со всеми этими таинственными людьми и они там, на корабле, овладеют ею, не давала ей покоя. Лучше все-таки дождаться русской эскадры и искать спасение на ней. Пойти к Орлову и просить, умолять его взять их всех с собой. Там, на русском военном корабле, никто не посмеет тронуть их.

Едва светало, Маргарита Сергеевна подходила к окну и раскрывала его. Она надеялась — вдруг увидит родные черные корабли с белыми полосами деков, с несравненным ни с кем, на диво выровненным, с математической точностью провешенным такелажем и стройным изящным рангоутом. Вдруг услышит пальбу салюта, и розовато-белые круглые клубы дыма полетят навстречу солнцу... Громадные белые с голубым крестом кормовые флаги тихо реют за кормою и навевают смутные, прекрасные мечты о родине.

Но рейд Киля пуст. На розовеющем море, как и вчера, как и позавчера, как все эти дни, толпятся черным стадом неуклюжие рыбачьи баркасы, и их черные мачты без парусов частоколом поднимаются к небу. На море прежний штиль, ничем не колеблется серебристая парча моря, и на ней застрявший из-за безветрия английский пакетбот и печальная брандвахта.

Она ждала днем, высматривала вечером, не придут ли желанные корабли, гонимые вечерним легким бризом.

Море темнело на ее глазах на востоке, золотая звездочка загоралась в небесном изумруде. На рейде не было перемен.

И сегодня, и завтра проходили в напрасном ожидании кораблей, во все усиливающемся беспокойстве, и непонятная тоска начала охватывать душу Маргариты Сергеевны и томить ее.

Русская эскадра не приходила.

IX

В таком страхе ожидания пускай мнимой, вымышленной, воображением созданной опасности прошло пять долгих дней. Они показались Маргарите Сергеевне вечностью.

Вечером Маргарита Сергеевна с тоскою подошла к окну Нет, не было перемен. Два одиноких гафельных огня загорелись на бледнеющем небе· на брандвахте и на пакетботе Темнело. Рыбачьи лодки слились в мутное пятно, над которым темною вуалью казался лес · мачт Томительная тишина стояла над городом, и, усиливая ее и навевая какие-то смутные грустные мысли, дома за два из открытого окна неслись меланхолические звуки цитры. В этой тишине ночи, казалось, самое время остановилось.

Маргарита Сергеевна закрыла окно, заложила ставни, зажгла свечу и достала книгу. Это была довольно старая книга, изданная еще при Елизавете Петровне незадолго до начала войны с Пруссией,— «Патриот без ласкательств», перевод с английского.

Сочинитель книги был врагом войн. Он стремился доказать, что войны ведутся только ради наживы. Раньше вооруженные бароны спускались из своих замков, чтобы грабить мирных поселян, теперь за тем же государства идут войною одно на другое. Война нужна для выправления порушенного бюджета.

«Восемьдесят миллионов фунтов стерлингов,— читала Маргарита Сергеевна,— которые требуются на расходы нынешнего года, нашим прибыльщикам кажутся безделицею. Их проекты основательны, и доказательства их бесспорны. Французы богаты, и их богатствами наградим мы свои убытки. Мы употребим на то всю нашу силу. Ежели намерение наше нам не удастся, то война принесет нам другую пользу Возбудятся в нас добродетели Катоновы. Военные экзерции, ободряя наш дух, научат нас притом терпению. Когда обнищаем, то примем нищету за дар. Нищета есть мать и питательница добродетели. Целомудрие, которое столь твердо соединено с чистотою, будет тогда господствовать между нами, чрез усердие и старание тех, на которых упадет умножение податей или которые почувствуют упадок коммер-

ции, дабы оставить сластолюбие и распутное житие, любить впредь воздержание и тем утвердить силу известной пословицы: sine Cerere et Baccho friget Venus — то есть без хлеба и вина не возбуждаются похоти...»

Маргарита Сергеевна отодвинула книгу и задумалась.

«Какой пересмешник, и злой притом пересмешник...»

Война! Всегда найдутся причины для войны... И как интересуются иностранцы Россией?!! Маргарита Сергеевна вспомнила, как шведы предлагали начать войну, чтобы посадить на престол Елизавету Петровну, поляки предложат войну, чтобы устранить Екатерину Алексеевну и посадить... Все равно кого, да хотя бы — княжну Тараканову, внучку персидского царя?.. Разве им не все равно, кто будет на российском престоле, лишь бы не властная завоевательница Екатерина Алексеевна. Не сажали они разве на престол Московский Григория Отрепьева — царя Димитрия?.. Посадят Елизавету Дараган, а не пустит ее Маргарита Сергеевна, найдут другую, дуру какую-нибудь отпетую, авантюристку!

Недаром приходил к ней купец Макар Хрисанфович. *«Опасна» она с девицами Дараган!..*

Маргарита Сергеевна своими размышлениями будила «беса полунощного», тревожила духов тьмы, и вот уже нарушилась мертвая тишина в гостинице, и кто-то прошел мерными, ровными, спокойными, уверенными шагами внизу, поднялся по лестнице и идет к ее дверям. Уже слышен шепот у двери. Кто-то будит Каролину, раздается шипящий разговор на польском языке, и стучат в дверь комнаты.

Маргарита Сергеевна откроет двери. Она знает. Это он — тот поляк, который смутил ее и нарушил ее покой. Что же, чем скорее, тем лучше!.. Все это в конце-то концов любопытно... А что опасно... Она сумеет за себя постоять.

Маргарита Сергеевна засветила другую свечку, быстрым взглядом окинула комнату, все ли в ней в порядке, плотнее затворила дверь в комнату воспитанниц и со свечою в руке пошла отворять дверь.

У двери и точно стоял поляк, который ее взволновал. Маргарита Сергеевна попятилась назад, и поляк вошел за нею в горницу. Он был высок, красив и строен. В его взгляде была смелость, а красота и смелость всегда внушают доверие и подкупают женское сердце. Он вошел, притом как человек, имеющий право войти так просто ночью, как облеченный некою властью, и как человек, хотящий что-то дать. Он скинул свою широкополую шляпу и приветствовал Маргариту Сергеевну низким поклоном, взмахнув как-то уж слишком вычурно шляпой.

Маргарита Сергеевна отошла к столу, поставила свечу и, опершись концами пальцев о стол, внимательно всматривалась в лицо незнакомца. Босая, простоволосая, в одной рубашке, Каролина заперла дверь, незнакомец сделал два широких шага в комнату и еще раз низко поклонился королевским поклоном.

— Нех пани выбачит, что я так поздно и несподеване прихожу,— сказал он негромким голосом, четко выговаривая слова и мешая русскую речь с польской.— Надзвычайне важныя околичности, здумеваенцэ документа, которые нашел я здесь в Килю, в архивум ксенжя голштынского, змусили мне прийти и ставиться до пани для тайных и бардзо важных разговоров.

Если бы Маргарита Сергеевна была только дочерью полковника Ранцева, строго воспитанною отцом и матерью, дочерью безродного петровского дворянина, солдата Петра Великого,— она указала бы на дверь поляку и сказала бы, что никакие документы, как бы потрясающи они ни были, ее не касаются, но Маргарита Сергеевна была той Ритой, которая искусной политической игрой в дни своей юности способствовала воцарению Императрицы Елизаветы Петровны, и теперь не могла отказаться от некоего знания, от проникновения в какую-то тайну. Любопытство и желание быть полезной молодой Императрице, которой она была беспредельно, по-солдатски преданна, заставили ее сделать пригласительный жест и показать на кресло у стола. Поздний приход поляка ее не смущал. Явился же к ней однажды ночью маркиз Шетарди, чтобы уговорить ее поехать в Гостилицы за цесаревной Елизаветой Петровной, а была она тогда совсем юной девушкой. Поляк не замедлил воспользоваться приглашением Маргариты Сергеевны. Он дождался, когда та села в свое кресло, и сел сам. Он достал из-за пазухи большой сафьяновый портфель и положил его перед собою.

— Я имею правдивые документы и доводы, что одна из воспитываемых паньо паненок есть дочь Императрицы Российской Елизаветы Петровны, и поэтому она есть истинная, настоящая и правовитая наследница российского трона,— начал поляк, похлопывая ладонью по портфелю.

— Простите,— серьезно и тихо отвечала Маргарита Сергеевна.— Вы ошибаетесь. Обе мои воспитанницы мне прекрасно известны, и я доподлинно знаю, что они никак не могут быть дочерьми покойной Государыни, которая, к слову сказать, как мне о том прекрасно известно, детей вовсе не имела. Елизавете Петровне наследовал ее племянник, сын родной ее сестры Анны,— Петр III Федорович, и когда он

от внезапной болезни, после своего отречения волею Божьей, преставился, то натурально на престол российский вступила его супруга, Императрица Екатерина Алексеевна.

— О!.. Так.. То мне известно... Мне досконале известно и еще... Много ж больше того, что пани знает. Извольте мне выслушать.

— Я вас слушаю.

— Когда старшая дочь Петра ксенжичка Анна вышла замонж за ксеньжя Карла Фредерика Голштынского, она подписала, что отрекается от русского престола за себя и за все свое потомство, и через это, смею твердить, пани, что Пиотр Федорович никаким способом не мог быть сукцессором своей тетки. Тем бардзей Императрица Екатерина Алексеевна не может быть считаема за правовитую цесаржову.

— Вы ошибаетесь, сударь,— сказала Маргарита Сергеевна. Она очень волновалась. Какие документы могли быть у этого поляка? Как раздобыть все нужное и полезное для Государыни и сообщить об опасности, ей угрожающей? — Вы ошибаетесь... Император Петр Великий за три года до своей смерти издал закон, предоставляющий царствующему Государю право по своему усмотрению назначать себе достойного преемника.

— Но Император Пиотр не выповедял своей остатней воли.

— Совершенно верно. Язык ему уже не повиновался. Он потребовал себе доску и на ней успел начертать только два слова «отдайте все...» — и умер. От этого на двадцать лет в России не было точности в престолонаследии.

Поляк нетерпеливо Маргариту Сергеевну слушал. Его глаза заблестели, он раскрыл портфель, вынул из него бумагу и, развертывая ее, торжественно сказал:

— Проше бардзо... Что укрыто пред пани, известно мне. Это значит — тестамент Цесаржа Пиотра I.

Маргарита Сергеевна быстро взглянула на лист пергамента. На нем было крупно написано: «Derniere volonte de Pierre le Grand, Empereur de toute la Russie»[1].

— Позвольте спросить вас, кто вы такой, что можете обладать бумагами толикой важности?..

— Нех пани мне позволит не говорить ей моего имени до времени. Когда пани упэвнится, что я ей говорю правду, укрытую злоумысльне перед народом, то я ей скажу, кто я есть, и мы станем вместе делать во имя этой правды.

Поляк отложил бумагу в сторону и на ее место положил другую.

[1] Последняя воля Петра Великого, Императора всея России *(фр.)*.

— Это значит — тестамент Цесаржовы Екатерины I. В нем написано: «Великий Князь Петр Алексеевич, внук Императора, моего супруга, наследует мне и правит с тою же самодержавностью и мощью, с какою и я управляла Россией, ему наследуют его законные дети, если же он умрет, не оставив детей, то наследует ему моя старшая дочь Анна Петровна, а после нее ее дети, если же она умрет, не оставив потомства,— российский престол должен принадлежать моей дочери Елизавете Петровне и ее наследникам...»

— Но сами же вы, сударь, изволили мне сказать, что Великая Герцогиня Анна Петровна отказалась от престола за себя и за сына.

— Досконале... Она и не царила... Но совсем не нужно займовали трон Российский Анна Иоанновна и Анна Леопольдовна, и уж вовсе были збытечны Иоанн VI, когда российский трон повинен был одрезу перейти до Цесаржувны Елизаветы Пиотровны.

Маргарита Сергеевна промолчала, она сама всегда была того же мнения.

— Но то, что самое наиважнейшее,— повышая голос, вообще очень тихий, потому что говорили они о вещах, о которых и думать-то можно было только с опаской,— самое наиважнейшее-то — тестамент Императрицы Елизаветы Пиотровны.

— Такого не было и быть не могло,— почти крикнула Маргарита Сергеевна и ближе нагнулась к бумаге, которую особенно торжественно развертывал перед нею поляк.

— Очень прошу смотреть и следить за мною,— сказал спокойно и уверенно поляк и, не отрывая руки от длинных листов пергамента, исписанных по-французски четкою писарскою рукою, он стал читать, указывая пальцем то один, то другой пункт завещания.— «Elisabeth Petrowna, ma fille, me sucedera et gouvernera avec le meme pouvoir absolu, que j'ai gouverne la Russie, et a Elle succederont ses enfants, si elle meurt sans laisser d'enfants, les descendants de Pierre. Duc de Holstein, lui succederont.

... Pendant la minorite de ma fille, Elisabeth, le Duc Pierre de Holstein, gouvernera la Russie avec le meme pouvour...»[1]

— Сей тестамент подложный,— с гневом сказала Маргарита Сергеевна и отодвинулась от стола.

---

[1] Елизавета Петровна, моя дочь, наследует мне и управляет с тою же полною властью, с которою и я управляю Россией, ей наследуют ее дети, если она умрет, не оставив детей, наследуют потомки Петра, герцога Голштинского. До совершеннолетия моей дочери Елизаветы герцог Петр Голштинский будет править Россией с тою же властью... (*фр.*)

— Очень хотел бы знать, на чем пани опирает свое твердзонье, что этот документ фальшивый есть...

— У Государыни Елизаветы Петровны не было никакой дочери!.. У нее вообще никаких детей не было! Об этом она неоднократно высказывала сожаление.

— Это пани ведомо?.. На пэвно ведомо?..

— Да, совершенно точно,— сухо и нетерпеливо сказала Маргарита Сергеевна.

— Прошу ласкаве читать дак... Видит пани: «Princesse Elisabeth... Grand Duchesse de Russui... Elisabeth, ma fill... Elisabeth Seconde... Flisabeth, ma fille unique»,— водя пальцем по бумаге и отыскивая соответствующие места, где была прямо названа наследница престола, говорил поляк.

— Все это неправда!.. Неправда!.. Выдумка злонамеренных людей. Боже мой!.. Если бы у Государыни Елизаветы Петровны были дети, да разве таила бы она их?.. При ее-то свободе, при широте взглядов, а более того, при ее страстной и нежной любви к детям, разве не держала бы она тех детей при себе, не нянчилась бы с ними, ни тетюшкалась бы с ними, не носилась, как носилась с внуком своим Великим Князем Павлом Петровичем?.. Да и от кого у нее могли быть дети?.. Где же эта наследница престола Елизавета Петровна?.. Вторая Елизавета? Я слыхала, точно Алексей Петрович Бестужев, в бытность свою в Киле, подлинно открыл в архиве Голштинского герцога «тестамент Императрицы Екатерины I»... В бытность мою в Петербурге мне Воронцов о том тестаменте говорил неоднократно. Там в восьмом артикуле сказано было... Память у меня точная, да и важность артикула огромадная, так я его дословно и посейчас помню. Там писано по-русски, как и вообще русские тестаменты пишутся: «Ежели великий князь,— то есть Петр II,— без наследников преставится, то имеет по нем Цесаревна Анна со своими десендентами, по ней Цесаревна Елизавета и ея десенденты, а потом Великая Княжна, то есть Наталия Алексеевна, и ея десенденты наследовать, однако ж мужеска полу наследники перед женским предпочтены быть имеют. Однако ж никто никогда российским престолом владеть не может, который не греческого закона или кто уже другую корону имеет...» Как изволите видеть, все так, да не так, как в странных ваших документах написано.

— Видела, пани, как ясно, пэвне и докладне пишет в своем тестаменте Императрица Елизавета Петровна... «Княжна Елизавета... Великая Княжна... Елизавета, моя дочь... Елизавета Вторая... Елизавета, моя единственная дочь... Елизавета Петровна...»

— Кто же это такая, позвольте спросить?.. — воскликнула совсем уж громко Маргарита Сергеевна и встала из-за стола.

Поляк тщательно сложил бумаги, уложил их в портфель и, вставая против Ранцевой и низко ей кланяясь, сказал с силою:

— Чи ж бы пани не знала?.. Чи ж бы не домыслилась?.. Одна из ей выхованэк есть ксенжничка Елизавета Петровна Тараканова, дось храбьего Разумовского и Цесажовей Елизаветы Пиотровны,— о то, о ким есть мова в тестаменте.

Кровь ударила в утомленное, бледное лицо Маргариты Сергеевны.

— Ах!.. Вот оно что!.. Не первый раз слышу... Но почему она тогда в тестаменте названа Елизаветой Петровной?.. Разумовского звали Алексеем... Алексеем Григорьевичем... И он был православный. Его дочери, буде таковая у него была бы, надлежало бы быть Елизаветой Алексеевной...— Маргарите Сергеевне показалось, что поляк как будто смутился, но он сейчас же нашелся:

— То могла быть помылка... Ошибка переписчика... То не есть важно.

— Нет, сударь,— с громадным достоинством и силою сказала Маргарита Сергеевна.— Мало вы меня знали, что так прямо и явились ко мне со своими льстивыми словами и лживыми документами. Это что же?... Заговор?... Заговор против Государыни Императрицы?.. Тут есть резидент российский, и я завтра же пойду к нему и скажу ему все... Все!.. Я буду искать защиты от злостных происков иностранной державы против нашей Государыни... И я найду защиту и правду там, а не у вас, в ваших фальшивых документах...

— Как пани себе желает,— низко кланяясь, сказал поляк.

— Да, я так желаю... Мне так угодно... Я знаю... Вы думали, что можно купить меня... Воспитательница Императрицы Всероссийской!.. Конечно — ей первое место... Сударь — как вы жестоко ошиблись... Я — Ранцева!.. Я дочь солдата и сестра солдата... Купить меня нельзя... В 1741 году какое могло быть и мое и моего брата положение?.. А я уехала... Совершила все, что считала нужным, и уехала от почестей и почета... Оставьте меня со своими документами в покое, да лучше будет, если и сами вы исчезнете подальше... Я не могу вас сейчас тут же на месте арестовать, но вот скоро, завтра, послезавтра, придет сюда эскадра российская, и с нею граф Орлов. Он не задумается поступить с вами так, как это нужно... Не гневайтесь на меня, но долг свой я знаю и исполню его до конца, ничего и никого не боясь...

— Как вельможна пани себе желает,— быстро проговорил поляк, пятясь к дверям от грозно и гневно наступающей на него Маргариты Сергеевны.

Он открыл дверь и, шагнув через спящую крепким сном Каролину, проворно сбежал с лестницы.

Маргарита Сергеевна не преследовала его. Она подошла к столу, бессильно опустилась в кресло, оперлась на ладони головою и глубоко задумалась...

Открыть окно!.. На весь город закричать «караул»!.. Сказать государево «слово и дело»...

Чужой был город, и не было в нем хожалых, кого могла бы вызвать она своим безумным криком.

Свечи нагорели, и воняло сальным чадом. Тускло светилось синеватое пламя с кривых и длинных черно-красных фитилей.

Маргарита Сергеевна вспоминала тот страшный ноябрьский вечер 1741 года, когда в мороз пришла она с разведки из казармы в низкую горницу Цесаревны в ее Летнем доме. Она рассказывала, что в предвидении чего-то страшного тогда по городу «привидения казались»... Рейтары Конного полка отказывались стоять у гробницы Анны Иоанновны — призрак Государыни ходил по собору...

Казалось, что сейчас в тишине кильской ночи в ее комнате таинственные и страшные шепоты раздавались по углам. Потревоженные тени Петра Великого, Екатерины I и Елизаветы Петровны пришли сюда свидетельствовать о чем-то страшном, говорить о залитом многою кровью алтаре отечества Российского...

Прав был Владимирский-на-Клязьме купец Макар Хрисанфович Разживин — опасен был ее путь... В мерцании свечей стол был в полутьме, и ей казалось, что не ушли, не унесены поляком лукавые тестаменты, но лежат на столе и сами ворочаются, как живые, шелестят, рассказывают о какой-то неведомой страшной воле великих покойников.

Вот она вся перед нею — иностранная политика... Фальшивые документы, чьею-то неискусною рукою сфабрикованные, а за ними многая и большая кровь невинных людей... быть может — ее кровь.

И только достигает Россия покоя и благополучия, только становится на свою широкую дорогу, как тянутся какие-то таинственные иностранные руки, чтобы схватить ее за горло и душить какими угодно заговорами. Ищут самозванцев, берут слепые орудия своей ужасной, жадной, хищнической политики. Прав «патриот без ласкательств», чьи пересмехивания она только что читала... Война — и или Катоновы добродетели, или добыча...

До завтра... Завтра задует морской ветер, придут корабли с моря, и она все расскажет вернейшему и лучшему другу и соратнику Императрицы Екатерины Алексеевны.

Маргарита Сергеевна не ложилась до самого утра. Давно погасли свечи, сквозь тонкие щели ставень сочился мутный свет утра, когда Маргарита Сергеевна с надеждою распахнула окно.

Все было серо в раннем весеннем утре. Небо низко опустилось, туман покрыл город, и за ним не было видно моря. Неприметный, мелкий, весенний дождь неслышно падал на землю, и о нем можно было только догадываться по тому, что блестели водою камни булыжной мостовой. Кисло, серо, уныло и печально было в природе. Погода вполне отвечала настроению Маргариты Сергеевны.

X

Утром, пока воспитанницы Маргариты Сергеевны пили кофе и завтракали, Маргарита Сергеевна в своей комнате углубилась в чтение Фенелона — ее ежедневное душеспасительное занятие. Она с тоскою читала:

«Vous devez faire chaque matin une petit meditation; d'abord vous mettre en la presence de Dieu, l'adorer comme present, vous offrir tout entier a Lui, puis invoquer son Saint-Esprit pour la grande action que vous allez faire...»[1]

Ночная тревога покидала ее. Как ни печален и безрадостен был серый день — днем все казалось проще. Попытка использовать ее воспитанницу для переворота казалась ей безнадежно глупой. Только иностранцы, ничего не понимающие в русских делах, могли покуситься на такой грубый обман... Ей думалось, что и в Киле она может добиться если и не ареста этих людей, то во всяком случае наблюдения за ними. Да и недолго ждать. Придет Орлов, и все станет ясно и просто. Ему она все скажет и попросит у него защиты. Но к резиденту она все-таки на всякий случай пойдет и покажет ему обеих девиц. Она продолжала читать:

«Mais vous ne sauriez le faire trop simplement. N'allez point chercher avec Dieu de belles pensees ni des attendrissements extraordinaires; parlez Lui simplement, ouvertement, sans grande reflexion, et de la plenitude du coeur, comme a un bon ami..»[2]

---

[1] Каждое утро вы должны отдаться молитвенному размышлению, стать благоговейно, представляя себя перед всевидящим Богом, и обожать его так, как бы Он был действительно перед вами, отдать себя всего Ему, просить Его о ниспослании вам Святого Духа на то великое дело, которое вы собираетесь делать... *(фр.)*

[2] Вы не сумели сделать это просто Не думайте о том, как обращаться к Богу, ни прекрасных мыслей, ни необычайных умилений — говорите Ему просто, откровенно, без больших размышлений, от полноты своего сердца, как доброму другу...*(фр.)*

Точно слышала она тихий шелест шелковой рясы католического аббата подле себя и вкрадчивый шепот молитвенных слов на французском языке. Если бы можно было и точно беседовать с Богом открыто и просто, без утайки, как с добрым другом! А вот не могла. Все стеснялась, боялась, не знала, о чем и как просить, не могла доверить всего, не могла найти подходящих слов для выражения своих желаний. Земные мысли, тревоги и заботы снова овладели ею.

Успокоенная лишь до некоторой степени, но усталая после бессонной ночи, не продумав до конца, что же будет она говорить резиденту и как на кого жаловаться, от кого неизвестного просить защиты, она в конце одиннадцатого часа вышла со своими воспитанницами. Все так же все было серо кругом, и тот же туман густым покровом покрывал море. С медного изображения льва, висевшего над крыльцом на железном кронштейне, тяжелые капли падали. Воздух был тепел и сыр. Пахло морем и рыбой. Вода в узком канале, где стояли лодки, казалась совсем черной.

Маргарита Сергеевна свернула с набережной в узкую улицу, как и все улицы города, без тротуаров, мощенную булыжником. Длинный ряд пестрых двухэтажных домов с крутыми черепичными крышами тонул в тумане. Печально и протяжно часы на башне били одиннадцать. Пустынна была улица. Только с правой ее стороны, занимая почти всю ее ширину, стояла большая дорожная карета. На мгновение Маргарите Сергеевне показалось страшным проходить между лошадьми и домами. Подозрительной показалась карета, но, разглядев подле нее голштинского драгуна в лосинах и в голубом мундире, державшего в поводу трех лошадей, и двух других солдат подле кареты, она успокоилась. Какое-нибудь местное начальство собиралось в «вояж».

Осторожно, прикрывая собою девиц, Маргарита Сергеевна пошла мимо лошадей и вошла в тесный проход между домами и каретой. Внезапно между нею и драгунами раскрылась дверь кареты, чьи-то сильные руки схватили ее за плечи, драгун подоспел к ней и, охватив поперек, помог втащить Маргариту Сергеевну в карету. Другой драгун втолкнул за нею Августу и Елизавету.

В полутьме кареты Маргарита Сергеевна успела разглядеть людей в черных масках, увидала бледное перепуганное лицо Августы и услышала истеричный картавый крик Елизаветы:

— Ah! Mon Dieu!.. Quelle aventure!.. Mais c'est epouvantable!.. Mademoiselle, n'est ce pas?.. On nous a enlevees[1]?

[1] Ах, Боже мой!.. Какое приключение!.. Это ужасно!.. Мадемуазель, не правда ли?.. Это нас — похитили?

И сейчас же ей накинули на голову черный шерстяной платок и туго стянули голову, глаза и рот. Руки завязали крепкими ремнями, кто-то грубо надавил ей коленом на грудь, чтобы она не сопротивлялась. Как сквозь кошмарный сон Маргарита Сергеевна услышала, как загрохотали колеса по мостовой, защелкали подковы быстро скачущих лошадей. Вскоре и это стихло, карета мягко покачивалась и вздрагивала на выбоинах. Они ехали по грунтовой дороге, были уже где-то за городом.

Больше никто никогда не видал и ничего не слыхал про Маргариту Сергеевну Ранцеву.

2. ИМПЕРАТОР ИОАНН VI АНТОНОВИЧ

XI

Дело с «марьяжем» Государыни Екатерины Алексеевны, так неудачно начатое Григорием Орловым и решительно пресеченное Кириллом Разумовским и Алеханом, не заглохло. Переменился только жених. В близких к Императрице придворных кругах, где сильнее чувствовалась шаткость престола и где все, от высших чинов до придворных лакеев, боялись перемен и всяческой смуты, родилась мысль вызвать к жизни «арестанта номер один» из Шлиссельбургской крепости — Иоанна Антоновича, провозгласить его Императором и обвенчать с Императрицей Екатериной Алексеевной. Мысль дерзновенно смелая, но именно потому показавшаяся интересной. Столько лет заточения, тюрьмы, такой ужасный был отзыв об узнике Императора Петра Федоровича,— и этого человека, полусумасшедшего, венчать с прелестной красавицей Государыней, бывшей в расцвете своего лета, во всей славе победы и успеха...

Осторожно довели эту мысль до сведения Государыни, и она задумалась.

Конечно, она хотела, стремилась и, казалось, достигла: «царствовать одной». Иным престол российский она себе не представляла. Она знала и понимала, что нет такого человека, с кем могла бы она разделить этот престол и вести Россию к славе и благоденствию. И все-таки сочла своим долгом серьезно отнестись к этому своеобразному плану закрепить престол за нею. Чутким умом своим, своею душою, ставшей совершенно русскою, она понимала — как это было в русском духе! В народе, среди которого кое-где помнили малютку Иоанна Антоновича, говорили о нем всегда с жалостью и досадой на Императрицу Елизавету Пет-

ровну. Такая несправедливость!.. Государыня знала, что этот узник был пятном на совести Государыни Елизаветы Петровны, и вот освободить его, дать ему хорошую жизнь, вернуть его на принадлежащий ему престол — какая это была бы красивая жертва с ее стороны. Какой подвиг!.. Как укрепило бы ее влияние на народ!

Она решила сама, своими глазами убедиться в том, есть ли какая-нибудь возможность вернуть к настоящей жизни Иоанна Антоновича, и вот она отдает наисекретнейший приказ Никите Ивановичу Панину доставить узника с великою тайною в имение Мурзинку, подле Петербурга.

Два испытанных и верных офицера Ингерманландского пехотного полка, капитан Власьев и поручик Чекин, уже несколько лет состоящие при арестанте, должны привести с великим бережением в Мурзинку «безымянного колодника Григория».

Арестанта повезли сначала в лодке по Ладожскому озеру, устроив на ялике закрытую конуру, чтобы никто из гребцов не мог его видеть, а потом в наглухо закрытой кибитке *тесными лесными проселочными дорогами*, по пескам и вересковым, избегая больших сел, повезли в Мурзинку.

Хмурым осенним днем — дождь то и дело косыми струями бил в окна — в простой наемной карете парою лошадей Государыня вдвоем с Никитой Ивановичем Паниным поехала в Мурзинку. По плашкоутному мосту, где хлюпали доски и качались плоты на взволнованной Неве, перебрались на шведский берег и широким прибрежным трактом поскакали через сосновый лес.

Государыню провели на пустую дачу. Капитан Ингерманландского полка встретил ее рапортом и провел в большую в два окна комнату. Диван и кресла, круглый стол под скатертью, на столе ваза с увядающими пухлыми георгинами — вот и вся обстановка залы. За окнами сад, где мокрые ржавые рябины и береза в золотых листьях роняли печальные капли дождя. В комнате было сумрачно, сыро, и казалась она нежилой, наскоро меблированной и устроенной только для этого свидания.

— Введите ко мне арестанта и оставьте меня одну с ним,— сказала тихим ровным голосом Государыня.

Панин вышел в прихожую, Государыня села в кресла спиною к свету, у окна. Капитан открыл дверь в глубине зала и строго сказал:

— Иди сюда!.. Да держи себя хорошо... Вишь, Государыня смотреть на тебя хочет.

И сейчас же из глубины дачи послышались несмелые, неровные, шаркающие шаги, в дверях показалась высокая,

тонкая, нескладная фигура в длинном сером кафтане, суконных панталонах, чулках и башмаках. Вошел человек лет двадцати, с худым, бескровным, бледным арестантскою бледностью лицом, с синяками под глазами и с покорно печальным, неосмысленным выражением узких серо-голубых глаз в красных опухших веках.

Он сделал несколько робких шагов и, не кланяясь, остановился против Государыни, расставив ноги. Он внимательно и строго смотрел на милое, красивое лицо, тонко оттененное сероватым цветом ненастного дня, он не то видел его, не то нет. В глазах его то загорался, то потухал желтый огонь. Понимал он, кто сидела против него, сознавал всю прелесть и красоту молодого, прекрасного лица?.. Две долгих минуты прошло в тишине и молчании. Шумел ветер деревьями в саду, со звоном бросал блестящие дождевые капли в стекла окон. Императрица внимательно всматривалась в лицо арестанта. Ее первый супруг был весьма нескладен и после оспы показался ей «монстром», в этом было нечто худше уродства — он был противен и жалок своим бледным лицом и растерянным видом.

Государыня прервала наконец молчание и спросила твердым и суровым голосом:

— Кто ты?.. За кого ты себя почитаешь?..

Арестант затрясся мелкою дрожью. Нижняя челюсть запрыгала, издавая невнятное мычание. Сильно заикаясь, арестант ответил:

— Я не т-то лицо, за к-ко-т-тор-рое меня п-поч-чит-тают. Т-тот п-принц д-давно во мне ум-мер... Есть д-два л-лица...

Он замолчал. Он дошел до того места своих дум, представлений о себе, созданных долгими тюремными, одинокими ночами, где он сам терялся и не мог себе самому объяснить, как это выходило, что у него было два существования — одно живое, печальное, жуткое, арестантское, с грубыми людьми, которые его не понимают и не могут понять, и другое, давно умершее, пришедшее к нему отголосками каких-то смутных воспоминаний, рассказов, теплоты душевной, холи телесной, что-то совсем особое, будто и бывшее и в то же время такое, какого не могло быть в этой жизни. Все это продумывал он по ночам и никогда до конца не мог продумать, сообразить, тем труднее было ему это изъяснить словами, которых и вообще-то он мало знал. Он замолчал, и Государыня поняла, что он уже ничего ей не скажет, хотя бы целый день так простоял против нее.

Она холодно посмотрела на него. То, что хотела она узнать, она узнала. Никакого Императора Иоанна VI Антоновича не было — был просто жалкий колодник, и все стало

просто и понятно для нее. Она встала с кресла, взглянула милостивым оком, так, как посмотрела бы на всякого другого колодника, и сказала:

— Чего бы ты хотел?.. Проси...

— Я б-бы хот-тел.. Хот-тел... В-в-в м-м-монастырь.

Глаза Императрицы потемнели и стали холодными, строгими, беспощадными.

— Посмотрим,— сказала она и, повышая голос, добавила в комнату с запертой дверью: — Караульный офицер!.. Можешь отправлять арестанта!..

Дорогой, в карете, Государыня объясняла Никите Ивановичу, какую инструкцию он должен теперь же составить для содержания арестанта и с надежным человеком отправить немедленно «секретной комиссии» из капитана Васильева и поручика Чекина в Шлиссельбург.

— Вы видели,— говорила Государыня по-французски,— c'est formidable![1] Это просто невозможно. Вина сего не на мне... Но... венчаться?.. Сажать на престол такого человека? Он совершенно больной, и больной неизлечимо. C'est epouventable!..[2] Так напишите, и за своим подписом сегодня же отправьте в Шлиссельбург... Надо во всем идти до конца, а не блуждать в мечтах и пустяками и не отвлекаться от главного.

В секретной инструкции для содержания арестанта был такой пункт: «...ежели, паче чаяния, случится, чтобы кто пришел с командою или один, хотя б то был и комендант или иной какой офицер, без именного, за собственноручным Ее Императорского Величества подписанием повеления или без письменнаго от меня приказа, и захотел арестанта у вас взять, то онаго никому не отдавать и почитать все то за подлог или неприятельскую руку. Буде ж так оная сильна будет рука, что опастись не можно, то арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать. В случае же возможности, из насильствующих стараться ежели не всех, то хотя некоторых захватить и держать под крепким караулом и о том рапортовать ко мне немедленно через курьера скоропостижнаго...»

XII

В тот же вечер арестанта, закутав ему совершенно голову, чтобы никто и никак не мог разглядеть его лица, посадили в крытую кибитку и повезли лесами к Ладожскому озеру.

---

[1] Это чудовищно! *(фр.)*

[2] Это невероятно!.. *(фр.)*

Шлюпка с темной конурой вошла в узкий крепостной канал, миновала крепостную башню, часовые окликнули и дали пропуск, и шлюпка причалила у каменных ступеней старинной шведской постройки. Арестанта высадили, сняли с головы платок, и узник увидел Божий свет. Бледный, осенний день, светло-голубое небо с длинными узкими облаками, каменный двор, невысокая серая каменная казарма. Шатающейся походкой человека, усталого долгим, неудобным сидением в кибитке и в лодке с протянутыми ногами, арестант прошел по мокрым камням через двор и подошел к высокой двери с аркой. Поручик Чекин открыл дверь, несколько крутых ступеней поднимались к узкому короткому темному проходу, в конце которого была дверь с окошечком и вправо другая дверь в помещение караула.

Чекин засветил от фитиля в караулке сальную свечу в оловянном шандале и поставил ее на большой грубый стол, сколоченный из неровных толстых досок. Желтое пламя свечи тускло и бедно осветило большую комнату с каменным плитным полом, с широкою белою печью, с постелью у стены и высокими ширмами, за которыми стояли кровати дежурных при арестанте офицеров. Единственное окно было замазано известкой и тускло светилось в глубине покоя. Сырой смрад остававшейся долгое время пустою и непроветренной комнаты встретил арестанта.

— Ну вот ты и опять дома,— сказал Чекин.— Садись... Отдыхай... Когда только ты нас совсем развяжешь?..

Гарнизонный солдат принес корзину с вещами Власьева и Чекина и поставил ее за ширмы. Было слышно, как у наружной двери разводящий ставил часового на пост.

Обед был хороший и обильный, из пяти блюд. К обеду подали бутылку вина, три бутылки полпива и квас. Такое довольствие было установлено для «безымянного колодника» еще Императрицей Елизаветой Петровной. С арестантом за один стол сели Власьев и Чекин. Они мало обращали внимания на арестанта, молчали и иногда перекидывались пустыми, ничего не значащими словами.

— Солона что-то сегодня солонина,— скажет Власьев.

— Пей больше пива,— ответит Чекин.

— Да, Лука Матвеевич, вот и мы с тобой, ровно как арестанты, который год и безо всякой с нашей стороны вины.

— А на нем, Данила Петрович, нешто есть вина?..

— Про то никому ничего не известно,— вздохнул Власьев и молча стал цедить из глиняного кувшина в оловянную кружку холодное пенное пиво.

От замазанного окна так мало света, что и днем в высоком шандале горит свеча. Пахнет обедом, луком, приго-

релым салом. На углу стола лежат одна на другой принятые для обеда в сторону книги в тяжелых желтых телячьей кожи переплетах: Евангелие, Апостол, Минея, Пролог, Маргарита и толстая, растрепанная, пожелтевшая пухлая Библия. Арестант косит глазом на книги и молчит. Он ждет ночи, когда уйдут за ширмы его стражи и он останется один со своими странными, ему одному понятными и никогда до конца не додуманными мыслями.

В семь часов вечера подавали такое же обильное вечернее кушанье, к девяти часам прибрали посуду, стали собираться на ночь. Сквозь окно чуть слышно было, как барабанщик на «габвахте» у караула бил вечернюю «тапту». Потом мертвая тишина наступила в крепости. Еще возились некоторое время, укладываясь за ширмами, офицеры. Чекин скреб ногтями волосатую грудь, и слышно было, как звенели медный крест и иконы на гайтане. Власьев сурово и наставительно прошептал:

— Нельзя так, Лука Матвеич, никак сего не можно. Присягу ведь принимали... По присяжной нашей должности молчать мы должны, вида ничему не показывать.

Чекин ничего не ответил, только глубоко и тяжело вздохнул.

Могильная, жуткая тишина сомкнулась над арестантом. В тазу с водой низкое пламя ночника металось, и от него на темном сводчатом потолке желтый круг ходил.

Арестант лежал на спине и с широко раскрытыми и ничего не видящими глазами слушал тишину В эти ночные часы шла в нем какая-то неизъяснимо дивная работа мысли, и он вдруг становился действительно принцем. В углу поскреблась мышь и затихла, притаилась. Торопливою, деловитою побежкой прошмыгнула по полу крыса и скрылась в норе. Арестант вспомнил то, что видел так недавно и что было, несомненно, из его волшебного, преображенного существования. Только было это или опять только приснилось, чтобы навсегда исчезнуть, без возврата?.. Он куда-то ездил — это *было несомненно. Он точно и сейчас ощущал мягкое* колыхание лодки и точно прохладный шелест раздвигаемой веслами воды. Он слышал топот конских ног и покряхтывание телеги, и у него и посейчас не перестали ныть ноги и руки и болеть спина от напряженного неудобного положения в темной конурке. Он помнит смолистый лесной дух и ночлеги в тесных вонючих избах, где люто ели его клопы. Это было. Но была ли точно эта прекрасная женщина, которая сидела у окна спиною к свету и говорила так, как Императрица?.. И властный голос ее в то же время звучал ему как удивительная, полная колдовских чар музыка. Сколько лет — да вот как пришел в возраст — никогда ни

одной женщины не видал, и снились они ему только в удивительных, несказанно прекрасных снах под утро. Снились такими, какими читал о них в Библии, смуглыми, темными, прекрасными и страшными. Та женщина, которую он видел, будто боялась его и хотела от него выпытать тайну его раздвоения, и ему так хотелось все ей сказать, и он почему-то не посмел.

«Нас два...— думал он теперь, и все так ясно казалось ему в могильной тишине тюрьмы.— Я — принц... Большой принц... Такой большой и страшный, что она его боится... Он вовсе не умер, тот принц, это я нарочно только сказал, пожалев ее. Тот принц жуткий — его нельзя трогать. Я сказал ей, что я только Григорий... Я хочу в монастырь... Там все-таки люди и там можно — власть!.. Митрополитом быть... А это власть!»

От мыслей перешел к шепоту и тихо сказал: «Власть...» Точно вдруг увидел то, что видел раз, давно, на крайнем севере и что навсегда поразило его. Старика в лиловой мантии в золоте и с жезлом. Шептал, восхищенно, вспоминая и путая слова: «Виждь, Господи, виноград сей... Благослови... И утверди... Его же насади десница Твоя... Десница!..» И в душе невидимый прекрасный хор стройно пропел: «Исполла ети деспота!» Так это было хорошо! Сильно заворочался и громко сказал со страстью — «власть!..».

— Чего ты? — проворчал за ширмами Власьев, засветил свечу и вышел к арестанту.

Арестант закрыл глаза и притворился спящим.

— Духота какая,— сказал Власьев, поставил свечу на стол и прошел в коридор, настежь раскрыв двери на двор. Сырой, осенний воздух, пахнущий водою и прелым листом, потянул со двора. И там была все та же томительная тишина. Точно время остановилось — такой покой был кругом. Вдруг и так неожиданно, что сердце у арестанта мучительно забилось и мурашки побежали по телу, часы на колокольне пробили три удара, и сейчас же раздались тяжелые мерные шаги. Звякнуло точно совсем подле ружье, и кто-то осипшим голосом спросил:

— Что пришел?..

Другой голос ответил как-то успокоительно:

— Тебя с часов сменить.

— Что приказ?..

— Не спать, не дремать, господам офицерам честь отдавать.

— Что под сдачей?..

— Тулуп, да кеньги, да еще колодник безымянный.

— Какова обязанность?..

— Колодника никуда не выпускать и к нему никого не допускать, ниже не показывать его никому сквозь окончину или иным образом.

Голоса людей, которых арестант никогда не видел и видеть не мог, казались не людскими, не здешними, страшными и роковыми.

Брякнули, зазвенев кольцами медных антабок, мушкеты. *Чей-то страшный голос скомандовал:*

— Смена, ступай!

«Тах, тах»,— застучали тяжелые шаги по камням, задвоились эхом и замолкли, умерли, ушли в то же небытие, откуда пришли. Хлопнула дверь, другая, Власьев вошел в камеру и, позабыв о свече, прошел за ширмы. Деревянная кровать под ним заскрипела, и опять — тишина...

Время замерло...

Арестант медленно и осторожно поднимается с постели, ловкими кошачьими, неслышными, крадущимися движениями достает Библию и сейчас же отыскивает в ней то место, что так сладостно мучает его по ночам.

«*О как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая*»...

Сегодня слова эти полны особого смысла. Он видел ту, про кого так написано. Про нее сказали — Государыня!.. Именно, точно: «дщерь именитая»... Он видел ее, теперь он наверное знает, что видел, что говорил с нею... Зачем стеснялся?.. Ей бы надо было сказать все то, что тут написано и что давно он выучил наизусть.

«Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями, два сосца твои, как два козленка, двойни серны, шея твоя, как столп слоновой кости, глаза твои озерки Есевонския»...

Он тихо гасит свечу и ложится в постель. Сладостный ток бежит по телу, кружится голова, смыкаются глаза, и видения окружают его. То, другое «я» просыпается теперь, и уже нет больше жалкого, забитого колодника Григория.

— Чего ты там ерзаешь и пыхтишь, как на чертовке словно ездишь, опять за прежние шалости принимаешься!..

Грубый голос из-за перегородки будит арестанта.

Мутный свет утра через белое окно пробивается. На потолке все так же однообразно и уныло ползает отсвет пламени ночника. Из-за ширмы выходит Чекин, кафтан на-

кинут на опашь на плечи, в зубах трубка сипит и вспыхивает красным огнем. Он потягивается, подтягивает рукою штаны и выходит в коридор.

Арестант поднимается с постели. Он вдевает худые ноги в туфли и встает, опираясь на стол. Маленькая голова на очень тонкой шее гордо поднята, широкий лоб низко спускается к словно детскому лицу, смыкаемому острым подбородком с клочьями давно не бритой рыжеватой бороды. В серых глазах горит злобный огонь. Он вовсе не арестант — он принц, тот принц, про которого говорят, что он умер, но который никогда в нем не умирал. Он резко и сердито кричит:

— Данила Петрович!.. Данила!.. Данила!..

Из-за ширмы появляется заспанная фигура в халате капитана Власьева, и в то же время в коридор с зажженной свечой возвращается Чекин.

— Ну чего ты орешь, скажи на милость? — грубо говорит Власьев.

— Ч-то это?! Ч-то э-э-это? — со слезами негодования на глазах, сильно заикаясь, говорит арестант. — Э-э-эт-тот человек на меня к-к-крич-чал.. К-к-как он с-смее-т!..

— Он услышал, что ты не спишь, когда все добрые люди спят... Сколько раз я тебе сказывал, тебе надо быть кротким... Смириться тебе надобно... Гляди — ночь еще, а ты шебаршишь тут... Всех переполошил... Ложись спать.

— Еретик,— сердито рычит арестант и смотрит в упор на Чекина. Потом обращается опять к Власьеву, в его глазах горит огонь, в голосе власть:— Ты знаешь!.. Ты того... Уйми ты мне его... Чтобы он меня вовсе оставил... А то!.. Ты з-з-знаешь!.. Я ведь и могу...

Чекин подступает к арестанту:

— Ну что я тебе сделал?.. Ну скажи толком, в чем я перед тобою виноват оказался? Зря жалуешься, сам не знаешь на что.

— Он меня портит.

— Э, пошел!.. Опять за свою дурость. Ну, скажи, пожалуй, чем я тебя портить могу?..

— Данила Петрович, как зачну засыпать, а он тотчас зашепчет, зашепчет... Станет дуть на меня... Изо рта огонь и дым... Смрад идет... Н-не м-могу я...

— Э, дурной!.. Это, Данила Петрович, он на меня серчает через то, что я иной раз табаком при нем балуюсь.

— Ты его, Данила Петрович, у-уйми... А то хуже чего не было бы.. Уйми ты его мне... А т-то я е-его б-бить как зачну...

— Ну это мы посмотрим... Какая персона!.. Подумаешь... Арестант.

— Не смеешь ты, с-свинья, так г-говорить.

— Сам видишь, Данила Петрович... Нешто я что делаю. Сам заводит.

— Ну, оставь его... Охота ночью шум поднимать.

— Да кто он у нас такой?.. Арестант... Плюнуть, так и слюней жалко.

— А, так!.. Ты так с-смеешь говорить!.. Я кто?! Я здешней империи п-п-принц... Я г-г-государь ваш.

— Ну что ты вздор городишь,— строго сказал Власьев,— откуда ты такое слыхал?..

— О-о-от р-родителей.

Лютой, неистовой злобой горят глаза арестанта, он сжимает кулаки, выскакивает в одном нижнем белье из-за кровати и бросается на Чекина. Тот спокойно отводит поднятые на него руки и так кидает арестанта, что тот падает на постель.

— Господи,— захлебываясь слезами, кричит арестант,— Господи, да что же это такое делается?.. А будь ты проклят!.. Проклят!.. Последний офицеришка меня толкает!.. Господи... В монахи!.. В монастырь меня скорее... В монастырь!..

— В монасты-ырь,— насмешливо тянет Чекин.— В монастырь?.. Кем ты там, дурной, будешь?..

— Ангельский чин приму... Мит-троп-политом стану.

— Ты?.. Митрополитом?.. Загнул, братец!.. Смеху подобно... Ты имени-то своего подписать не можешь, понеже и имени своего не знаешь... Туда же — митрополитом!..

— Нет, я знаю... Я все знаю...

— Ты?..

— Да, з-знаю. Я поболее твоего знаю... В миру — Гавриил... В монастыре буду — Гервасий... Но сие все не так... И сие неправда. Да где тебе!.. Т-теб-бе не понять!

— То-то ты хорошо понял.

— Я... Я знаю... Вот смотри,— арестант показал на свои ноги и руки, на грудь,— сие тело... Тело... Да, может статься, и точно арестантово тело, понеже вы его караулите... А сие,— с хитрой и довольной улыбкой арестант показал на голову,— с-сие — п-п-принц Иоанн, назначенный Император российский!..

Серые глаза синеют, яснеют, угрюмое, печальное лицо освещается улыбкой и на мгновение становится почти красивым. Власьев пристально смотрит прямо в глаза арестанта и говорит ему мягко и настойчиво:

— Ничего в твоих коловратных словах понять, ниже уразуметь нельзя. Ну что ты болтаешь?.. Бред один... Ложись и спи... Пойдем, Лука, что нам с ним о глупостях говорить.

Офицеры ушли за ширму Арестант как стоял у стола, так и остался стоять.

Каждый день одно и то же — и так годы назад и сколько еще страшных, томительных, скучных, беспросветных лет впереди. Сказывали — до самой смерти... Арестант думал о солнце, которого так давно не видел, что забыл, какое оно... Кажется, желтое... Горит, греет, светит, жжет... Солнце... И травы есть, деревья, луга... Он слышал, читал в Библии... Когда-то видал... Когда — он позабыл сам об этом... Когда был маленьким... Когда вчера Власьев выходил и открыл дверь в коридор, ветер принес желтый, сухой листок, значит, осень уже... Было, значит, лето и прошло. Он не видал его. Ест, пьет, а толку что... Только резь в животе.

Опять стали путаться и мешаться мысли. Ночная ясность в них стала пропадать... Свеча нагорала фитилем. Раскрытая Библия напоминала о чем-то... О невиданной женщине... О женщине воображаемой, дивно прекрасной... Зачем воображаемой?.. Он же недавно видал прекрасные глаза. Озерки Есевонские...

Арестант закрыл Библию, тяжело опустился на постель, руки положил на стол, голову склонил на руки и забылся в странном оцепенении.

XIII

Петербург начал застраиваться в государствование Елизаветы Петровны. Но при ней, в начале ее царствования строили больше себе хоромы вельможи. Алексей Разумовский выбухал целый маленький город — Аничкову усадьбу, занявшую громадную площадь от Фонтанки до Садовой улицы, с воздушными, висячими, Семирамидиными садами, со стеклянными оранжереями, с манежами, казармами и флигелями для многочисленной челяди. Его брат, гетман, Кирилл Разумовский на Мойке выстроил громадный многоэтажный дворец, на Невской перспективе стали хоромы Строгановых, Воронцовых и других близких к Государыне людей.

Стройная, грациозная в своей пропорциональности итальянская архитектура, введенная Растрелли и его учениками, потребовала искусных мастеров, каменщиков, кровельщиков, маляров и стекольщиков. Эти хоромы строились уже не солдатами петербургского гарнизона, как то делалось раньше, но выписными из поместий крепостными людьми, обученными итальянцами и немцами. По окончании построек эти люди часто оставались в Петербурге, одни получали волю и становились самостоятельными строительными подрядчиками, другие отбывали барщину по своему ремеслу, устраивали артели и строили дома частным людям.

Жилищная нужда становилась все сильнее. Сенатские писцы, асессоры и секретари коллегий, академики и профессора, художники и скульпторы, адмиралтейские чиновники, офицеры напольных полков уже не помещались в обширных флигелях Сената, Адмиралтейства, Академии наук и коллегиальных зданиях. Им нужны были частные жилища. Торговля и промыслы развивались в Петербурге, и этот новый торговый люд искал помещений.

Разбогатевшие купцы и подрядчики, вдовы сенатских и иных служащих стали ставить свои дома, образуя на месте садов и пустырей прямые длинные улицы. Так стали застраиваться Литейная, Садовая, Гороховая, в Коломне образовался лабиринт улиц, на Васильевском острове все дальше и дальше к взморью потянулись «линии». Эти дома не были, как раньше, деревянные одноэтажные особняки с мезонинами, с садами и огородами, окруженными высоким просмоленным забором, но фасадом на улицу высились прямые трех- и четырехэтажные дома, простой архитектуры, с рядами четырех- и шестистекольных окон. Большие, глубокие ворота вели во двор, образованный флигелями и хозяйственными постройками — конюшнями, экипажными сараями, помойными ямами, навозными ларями, ледниками, дровяными сараями или просто высокими, черными из осмоленных досок заборами. Двор был немощеный, заваленный кирпичным ломом, с деревянною дорожкою панели к главному флигелю и к неуклюжей постройке примитивной общественной уборной. В углу, у флигеля, каменное крылечко вело на лестницу — узкую, с прямыми маршами, с широкими пролетами — места не жалели,— сложенную из серовато-белых плит пудожского камня. На лестнице большие площадки из квадратных каменных плит и деревянные, а где и железные перила. Две двери ведут в квартиры, одна посередине, из грубых толстых досок, покрашенных коричневатой охрой, с ромбовидным отверстием наверху, с простой железной ручкой, дужкой снаружи и толстым крюком изнутри, вела в уборную для жильцов. От этих дверей несло сыростью и смрадною вонью, и вся лестница была продушена этими уборными. Кучи отбросов у дверей, в корзинах, ведрах и ящиках, собаки и кошки, бродящие по этажам, составляли непременную принадлежность таких домов. Освещения не полагалось, поднимались в темноту, цепляясь руками за скользкие мокрые перила, спускались сопровождаемые слугою или кем-нибудь еще из домашних со свечою в низком оловянном шандале.

В этих домах отдавались квартиры внаймы и комнаты от «жильцов». Кто побогаче и имел своих крепостных слуг,

тот устраивался прочно, обзаводился мебелью, беднота ютилась в комнатах, омеблированных хозяевами.

В новом доме, с открытыми осенью настежь окнами, пахло известкой, замазкой, масляной краской от густо покрашенных желтою охрою полов. Жилец привозил немудреный свой скарб, рухлядишку, кровать, а чаще дощатый топчан, какой-нибудь рыночный шкаф, стол да табуретки, купленные на барке на Фонтанке, и устраивал свое жилье. Водовоз с Невы, Фонтанки, Мойки или канала по утрам привозил воду и разносил ее, расплескивая по лестнице, по квартирам, наливая в деревянные бадьи, накрытые рядном. Зимою оттого лестницы были скользки и покрыты ледяными сосульками. Дворники таскали охапки дров, хозяйки уговаривались с жильцом, как будет он жить — «со столом» или «без стола», и петербургская жизнь начиналась.

Она была полна контрастов.

Дома — вонь на лестнице и пущая вонь на дворе, нельзя открыть форточки, сырость и мрак серых петербургских дней, дымящая печка, мышиная беготня людей в густонаселенном доме, на улице — широкие красивые проспекты, дворцы вельмож, красавица Нева.

Зимою по улицам мчатся сани, запряженные прекрасными лошадьми, скачут верховые, все в золоте, драгоценных мехах, зеркальные окна карет слепят на солнце глаза, у раззолоченных подъездов толкутся без дела ливрейные лакеи, расшитые позументом, на приезжающих гостях драгоценные кафтаны с пуговицами из алмазов, нарядные платья дам, запах духов — словом, Семирамида северная!.. Зимою по ночам полыхают, гремят пушечной пальбой фейерверки на Неве, летом богатые праздники в Летнем саду и в Екатерингофе. Если двор двадцать девятого июня был в Петергофе, все население Петербурга тащилось туда пешком, в извозчичьих двуколках или верхом, глазело на иллюминацию в парке, на потешные огни, слушало музыку и песельников, ело даровое от высочайшего двора угощение, а потом ночью пьяными толпами брело к себе домой.

Бегов еще не было, но вдруг зимою на набережной какой-то шорох пронесется среди гуляющих, хожалые будочники с алебардами побегут, прося посторониться и дать место, в серовато-сизой мгле за Адмиралтейским мостом покажутся выравниваемые в ряд лошади, запряженные в маленькие санки, и вдруг тронутся разом и — «чья добра?..» — понесутся в снежном дыму лихие саночки.

— Пади!.. Пади!..— кричат наездники — сами господа. Нагибаются, чтобы видеть побежку любимца коня, молодец

поддужный в сукном крытом меховом полушубке скачет сбоку, сгибается к оглоблям, сверкает на солнце серебряным стременем.

Народ жмется к домам, к парапету набережной, у Фонтанки, где конец бега, кричит восторженно:

— Орлов!.. Орлов!..

— Ваше сиятельство, наддай маленько!..

— Не сдавай, Воронцов!..

— Гляди — Барятинского берет...

— Э... Заскакала, засбивала, родимая... Не управился его, знать, сиятельство.

Ни злобы, ни зависти, смирен был и покорен петербургский разночинец, чужим счастьем жил, чужим богатством любовался.

Паром дымят широкие, мокрые спины датских, ганноверских — заграничных и своих русских — тульских и тамбовских лошадей, голые руки наездников зачугунели на морозе, лица красны, в глазах звезды инея. Красота, удаль, богатство, ловкость... И какая радость, когда вырвется вперед свой русский рысак, опередит «немцев» и гордо подойдет к подъему на мост через Фонтанку.

Свадьба знатной персоны, похороны — все возбуждает любопытство толпы, везде свои кумиры, местные вельможи, предпочитаемые всем другим,— кумиры толпы. И над всеми кумирами царила, волновала восхищением прелестная, доступная, милостивая, милосердная матушка Царица, Государыня свет Екатерина Алексеевна!

По утрам со двора неслись распевные крики разносчиков. Сбитенщик принес горячий сбитень, рыбаки, зеленщики, цветочники, крендельщики, селедочницы, молочные торговки — каждый своим распевом предлагал товар.

Иногда придут бродячие музыканты, кто-нибудь поет что-то жалобное на грязном дворе, и летят из окон завернутые в бумажки алтыны, копейки, полушки и четверти копейки — «Христа ради»!..

По вечерам в «мелочной и овощенной торговле» приветно горит в подвале масляная лампа, и кого только тут нет! Читают «Петербургские ведомости», обсуждают за кружкою полпива дела политические. Тут и подпоручик напольного полка в синей епанче, и старый асессор из коллегии, и крепостная девка с ядреными красными щеками, в алом платочке и с такими «поди сюда» в серых задорных глазах, что стыдно становится молодому поручику. Лущат семечки, пьют квас и пиво, сосут черные, крепкие, как камень, заморские сладкие рожки. Довольны своею малою судьбою, забыли вонь дворов и лестниц, темноту глубоких низких комнат. О малом мечтают... Счастливы по-своему.

В этот простой и тихий, незатейливый мир разночинцев петербургских, в маленькую комнату над сенями, в доме «партикулярной верфи», в Литейной части, на квартиру к старой просвирне, в 1764 году попал на тихое «мещанское» житие подпоручик Смоленского пехотного полка Мирович. Еще недавно фортуна улыбалась ему — он был адъютантом при генерале Петре Ивановиче Панине, но за вздорный характер и за картежную игру был отставлен от этой должности.

Карточные долги его разорили. Доходила бедность до того, что целыми неделями питался он пустым сбитнем да старыми просфорами, которые из жалости давала ему хозяйка.

Среднего роста, худощавый, бледный с плоским рыбьим лицом, не в меру и не по чину раздражительный и обидчивый, он, когда не был занят службою в караулах, целыми днями валялся на жесткой постели на деревянных досках грубого топчана или ходил взад и вперед по маленькой комнатушке и обдумывал различные комбинации, как поймать фортуну, как разбогатеть и стать знатной персоною Но как только смеркалось, чтобы не жечь свечи, спускался он, закутавшись в епанчу, на улицу и шел в соседний дом в мелочную лавочку

Куда-нибудь подальше от темноты, сырости и мыслей.

У прилавка знакомый, жилец того же дома, придворный лакей Тихон Касаткин. Хозяин хмуро поздоровался с Мировичем. Тот потребовал себе пива.

— Что скажешь, Тихон, нового?..

— Нонешним летом, сказывали у нас, Государыня в поход собираются. Лифляндские земли смотреть будет В «Ведомостях» о том тоже писали.

— Так.

— Лошадей по тракту, слышно, приказано заготовлять, на Ямбург, Нарву, Ревель и Ригу. Лакеев отбирали, камердинов, кому ехать, кому здесь оставаться.

— Что денег опять пойдет!..

— При нонешней Государыне жаловаться не приходится, во всем сокращают где вдвое, где и больше против прежнего. Даже господа роптали, что очень скромны стали вечерние кушанья во дворце и бедны потешные огни.

— Да... Так... Был я на прошлой неделе во дворце, и после приема все приглашенные были званы в Эрмитажный театр, пошел и я. А меня не пустили... Мол, от напольных полков только штаб-офицерам в Эрмитажный театр доступ имеется. Как ты полагаешь, правильно это?

— Эрмитажный театр, сами, чай, знаете, маленький, где же туда многих-то смотрителей пустить? Такое правило. Вот дослужитесь, Бог даст, до штаб-офицерского чина, и вас туда пригласят.

— Может быть, твое слово и верное, Тихон, да надо знать, кто я... Я — Василий Яковлевич Мирович... Мой дед Федор Мирович был генеральным есаулом при Орлике, мой прадед был переяславским полковником... Понял ты это?..

— Надо вам самому того заслужить.

— Ну... А... Разумовский?.. Орлов?.. Где, какие их заслуги?.. Какое происхождение?..

— Каждому, ваше благородие, своя фортуна положена. Они попали в случай. Вы — нет.

— Когда Мазепа и Орлик, а с ними мой дед, бежали с Украины за границу, Петр Великий написал гетману Ивану Скоропадскому, чтобы «изменничьих» детей прислать в Москву... Изменничьих!.. Каково!.. Моих отца и деда!..

— Могло, ваше благородие, и хуже быть. Петр Великий шутить не любил.

— Наше имение конфисковали... Теперь мои сестры умирают с голода в Москве, а мне и послать им нечего.

— В карты много, ваше благородие, играете.

— Нет... Что карты?.. Вздор!.. Каково, Тихон!.. Мировичи?.. С голода?.. Мировичи!.. Где искать мне правды?.. Где найти милосердие и уважение?..

— Вы пошли бы, ваше благородие, к гетману графу Кириллу Разумовскому, все ему и изъяснили бы, как и что и в чем ваша обида. Он, сказывают, душевный человек, и до вас, малороссов, вельможа очень даже доступный.

— Да... Может быть, и так... Но, Тихон, не думаешь ты, что все могло бы иначе для нас сложиться?.. И мы сами могли стать, как Разумовские, Орловы, Воронцовы, больше их, знатнее... Почему?.. А что?.. Только переменить и новую начать жизнь...

— Надоели нам, ваше благородие, эти частые перемены. Конечно, все ныне беднее стало, как при покойной Императрице, но только и порядка больше, и обращение к нам такое деликатное, грех пожаловаться, в каждом простом, можно сказать, служителе не скота, но человека видят.

Мирович молча пил пиво. Он больше ничего не сказал. Он заметил, как вдруг сжались у Касаткина скулы, побледнели щеки и в глазах упорство воли.

«Нет... Не свернешь,— подумал он,— за свое маленькое счастье цепляются, большого не видят... Мелюзга!..»

— Хозяин,— крикнул он.— Запиши за мной до жалованья... Прощай, Тихон. Спасибо за совет. И точно, попробую к гетману.

Дверь на тяжелом блоке с привязанными кирпичами с трудом поддалась. Пахнуло сырым воздухом и навозом, ледяная капля упала с крыши Мировичу на нос. Мирович завернулся в епанчу и побрел через улицу домой.

XIV

Гетман Кирилл Григорьевич принял Мировича без промедления. У него, как и у брата его Алексея, была слабость к малороссам. Он посадил молодого офицера и дал ему вполне высказаться.

— Ось, подывиться!..— сказал он, когда Мирович сказал все, чем он обижен.— Претензий, претензий-то сколько!.. И все неосновательные. Что денег нет — велика беда... Проси, сколько хочешь,— дам.

— Я милостыни, ваше сиятельство, не прошу. Я ищу справедливости и уважения к моей персоне.

— Усердною службою и верностью матушке Государыне дослужись до штаб-офицерского чина — вот и уважение получишь. А справедливость, так тебе грех на несправедливость жаловаться... Могло быть и много хуже.

— Иногда, ваше сиятельство, хуже бывает лучше.

— Вот ты какой!..

— Ваше сиятельство — Мазепа и Орлик... Удайся им... Мой прадед, переяславский полковник, а мои сестры... В Москве с голода... С голода!..

— Что же, братец... Мазепа и Орлик? Хорошего мало в них вижу... За них-то ты и платишься... Отец, дед?.. Мертвого из гроба не ворочают... Ты — молодой человек, сам себе прокладывай дорогу. Старайся подражать другим, старайся схватить фортуну за чуб — вот и будешь таким, как я и как другие.

Разумовский подался с кресла, давая понять, что аудиенция окончена. Мирович встал и откланялся ясновельможному гетману.

Смеркалось. На Невском мокрый снег, разбитый конскими ногами, смешался с навозом и коричневой холодной кашей лежал на деревянной мостовой. Желтый туман клубился над городом. Из непрозрачного сумрака синими тенями появлялись пары, четверики цугом с нарядными форейторами и тройки, скрипели по доскам полозья многочисленный саней.

— Пади!.. Пади!.. Поберегись, милой! — раздавалось в мглистом тумане. Фонарщик с длинной легкой лестницей на плече и с бутылкой с горящим фитилем в руке проворно бежал среди прохожих. Масляные фонари желтыми кругами светились в сумраке и провешивали путь. «Присутствия» кончились, и петербургский обыватель-разночинец спешил к домашнему очагу.

Мирович ничего этого не видел. Глубоко запали ему в душу слова гетмана: «...старайся подражать другим...» Кому же?.. Братьям Орловым, ему — самому Разумовскому?.. У него на расшитом кафтане пуговицы из бриллиантов чистой воды... «Старайся схватить фортуну за чуб...» Как они схватили?.. Но они-то схватили ее за чуб переворотом!..

И вспомнил, как в бытность в карауле в Шлиссельбургской крепости ему говорили о безымянном колоднике и о том, что тот колодник не кто иной, как Император Иоанн VI Антонович.

На Литейной фонарей вовсе не было, и Мирович, попав в густой туманный мрак, должен был замедлить шаги. Кое-где в домах светились окна. Мирович шел тихо и думал о несчастном узнике. Печатной истории этого близкого времени не было, но кое-что писалось в «Ведомостях», да из уст в уста передавалось предание-рассказ о страшных ноябрьских днях 1741 года. Народное око точно следило за злоключениями ребенка-Императора, и в народе убежденно говорили о том, что таинственный шлиссельбургский узник, которого никому не показывают, который никогда не выходит из своей тюрьмы и кому стол отпускается, как принцу крови, есть не кто другой, как несправедливо лишенный престола Император. Говорили об этом ладожские рыбаки, торговки на каналах, мелкие купцы и ремесленники.

В глубоком раздумье о несправедливости человеческой судьбы Мирович вошел в ворота своего дома. На дворе как никогда отвратительно нудно пахло помойными ямами, на темной лестнице было скользко, перила были покрыты какою-то неприятною слизью. Мирович с отвращением поднимался к себе. Какой это был резкий контраст с тем, что он только что видел у Разумовского! Там широкий коридор и нарядная лестница были надушены амброй и ароматным курением. Еще не смеркалось, как уже были зажжены многосвечные люстры и канделябры с хрустальными подвесками, и стало светло, как днем. Вот что значит уметь схватить фортуну за чуб и проложить себе дорогу!

В каморке Мировича был свет. На кухне, через которую проходил Мирович, кисло пахло просвирным тестом.

— Кто это у меня? — спросил Мирович у просвирни.

— А тот... Как его, бишь, звать-то, все запамятую... Здоровый такой, мордастый. Афицер...

— Аполлон, что ли?

— Ну во, во, он самый. Полон...

В убогой комнате горела свеча, вставленная в бутылку. Приятель Мировича, Великолуцкого пехотного полка поручик Аполлон Ушаков, дожидался хозяина.

— Ну что?.. Был?..— спросил он.

— Да, был же!.. Слушай... Замечательно выходит, чисто как напророчил он мне. Садись и слушай. Прости, угостить тебя ничем не могу.

Ушаков был старше Мировича. Крепкий малый с простым, круглым, румяным, загорелым лицом, с черными бровями, резко очерченными под белым низким париком, он восхищенными глазами глядел на Мировича. Так уж повелось с самых первых дней их знакомства. Хилый и слабый фантазер Мирович покорил себе крепыша Ушакова, и тот проникся благоговейным уважением к товарищу. Что сказал Мирович — то и правда. Мирович писал вирши... Мирович был адъютантом у Панина, Мирович беспечно проигрывал свое жалованье, изобретал какие-то системы выигрыша, Мирович смело и резко критиковал нынешние порядки и бранил самое Императрицу... Простоватому Ушакову казался он высшей, непонятной натурой. И тот готов был часами слушать Мировича, и Мирович знал, что Ушаков умеет молчать, что Ушаков готов исполнить все то, что он ему прикажет.

— Послушай, Аполлон.. Как много значит беседа с большим человеком, который сам сделал свою фортуну... Видал я сейчас жизнь. Не моей чета... Хоромы, полк поместить можно — один человек живет... Каково!.. Слуги!.. В щиблетах, ходят неслышно, говорят вполголоса... И все через народ... Надо и нам поднять народ... Народ все может. Покажи ему только правду, и он пойдет за тобою.

— Какая? Где правда?..

— Правда в том, что безвинно страдает Император Иоанн... Слыхал о безымянном колоднике в Шлиссельбургской крепости? Вот кого освободить, кого вывести к народу и показать солдатам! Ведь пойдут!.. А, как думаешь, пойдут за ним, пойдут сажать его на престол?.. Что... как?..

Мирович замолчал, ожидая каких-то возражений от Ушакова, но так как тот молчал, он продолжал, понизив голос до таинственного шепота:

— Внимай, Аполлон, внимай!.. Вот придет моя очередь занять караул в Шлиссельбургской крепости...

И сразу вдруг все ясно стало, как и что надо сделать, так ясно, точно видел все, как это выйдет.

— Ты приплывешь ко мне на лодке из Петербурга с письмом от Императрицы. И в том письме приказ арестовать коменданта крепости полковника Бередникова и выдать нам с тобою безымянного арестанта.

— Откуда же будет письмо?..

— Чудак человек, я его напишу и подпишу под Государынину руку. Мы составим с тобою манифест и принудим Императора Иоанна Антоновича оный манифест подписать.

— А дальше?..

— Дальше?.. Наденем красный плащ на плечи государевы и на лодке повезем его в Петербург, на Выборгский остров, где в артиллерийском лагере предъявим его солдатам. Я выйду к ним и скажу: «Братцы!.. Вот ваш Император!.. Он двадцать три года безвинно страдал, и ныне настало время нам присягнуть ему». Потом прочту манифест. Ударят барабаны. Народ сбежится, и как тогда она шла с солдатами и народом, с Разумовским и Орловыми, так с нами пойдет сей Император. Мы пойдем прямо на Петербургский остров и займем крепость. Сейчас же ударим из пушек по Адмиралтейской крепости, нагоним страху на народ, арестуем узурпаторшу прав Государя... Слушай, как полагаешь?.. Должно выйти?.. Выйдет?.. Ведь — безвинно... Без-вин-но... С народом... Нар-р-род... Он поймет... Душою, сердцем, Христом праведным поймет и пойдет с нами.

— Василий Яковлевич, а ты с кем-нибудь из народа говорил о сем?.. Как там, в народе-то, жаждут ли перемены?.. Есть ли недовольные, готовые на все?..

Точно завял Мирович. Он опустил голову Его блестящие глаза потухли, голос стал нерешителен и скучен:

— Да... Говорил... Разумеется — иносказательно... Так, в лавочке пытал я вчера придворного лакея Тихона Касаткина, знаешь, что в этом же доме живет, надо мною. Ну он не в счет... Кто он?.. Холоп... Придворный блюдолиз. Говорит: «Надоели нам эти перемены...» Что он понимает? Нам надо настоящий народ пощупать. Солдатство склонить на свою сторону. Манифест хорошо обмозговать и составить так, чтобы за сердце хватало, в дрожь бросало и слезу вышибало.

— Да, это конечно,— вяло сказал Ушаков,— манифест — это первое дело...

В этот вечер они больше не говорили о «деле».

XV

Манифест они составляли вместе. Мирович читал, перечитывал, Ушаков ахал, восхищался, качал головою.

— «Недолго владел престолом Петр Третий,— писал Мирович от имени Иоанна VI,— и тот от пронырства и от руки жены своей опоен смертным ядом »

— Василий Яковлевич, такие «эхи» были — Орлов будто задушил Государя.

— Э, брат!.. Мало ли какие «эхи» были. Народу так страшнее и непонятнее... «...опоен ядом. По нем же не иным чем как силою обладала наследным моим престолом само-

любная расточительница Екатерина, которая по день нашего вознесения из отечества нашего выслала на кораблях к родному брату своему, к римскому генерал-фельдмаршалу князю Фридриху-Августу всего на двадцать на пять миллионов золота и серебра в деле и не в деле...»

— Василий Яковлевич, откуда ты сие взял?.. Сие же неправда. Такие слухи — больно бережлива к народной копейке молодая Государыня.

Мирович ответил самоуверенно и веско:

— Ничем иным так не возбудишь, взволнуешь и взбаламутишь народ, как возбудив в нем жадность, ревность к его народным деньгам и зависть... Сии двадцать пять миллионов ему такого жара придадут, что только держись. Я знаю, чем взять народ. Слушай дальше: «И сверх того она через свои природные слабости хотела взять в мужья подданного своего Григория Орлова...»

— Сказывают, Василий Яковлевич, в аккурат наоборот. Он-то будто и хотел того, да она не пожелала.

— Пускай и так, нам-то что до этого?.. Нам надо растравить ненавистью народ, а для этого пустить все, что годится. Итак: «...Григория Орлова... с тем, чтобы уже из злонамеренного и вредного отечеству похода и невозвращатся, за что она пред его страшным судом неоправдаетца...» Чуешь?.. Как только Государыня уйдет в Лифляндскую землю, мы и приступим к свершению задуманного.. Тогда мы можем с войском и не пустить ее обратно. Я и указ составил от государынина имени офицеру, находящемуся в карауле в Шлиссельбургской крепости, чтобы взять под арест коменданта Бередникова и привесть его вместе с Императором Иоанном Антоновичем в правительствующий Сенат... Видишь — все у меня обмозговано и продумано. Только исполнить.

— Ты же говорил, что в красном плаще и в Выборгский артиллерийский лагерь?

— Да, точно... Можно и в красном плаще.Там будет видно, куда его везти. Как все дело обернется... В успехе я не сомневаюсь. Вот еще письмо от нас двоих Иоанну Антоновичу... Подписывай. Я и вирши, подходящие к случаю, составил... Ломоносову не уступит.

— Да... Ума палата... Я в тебя верю, Василий Яковлевич... Не верил бы — никогда на такое дело не покусился бы...

— Верь, милый мой... Выйдет... Как солома загорится и полыхать пойдет... Я в народ верю... Орловых и Паниных казним на потеху народу. Народ это любит. Нам, только нам двоим Император всем будет обязан. Фортуна, братец... Фортуну за чуб ухватим.

— Солдатство, солдатство надо к сему склонить.

— Допрежь времени не нужно. Разговора лишнего не вышло бы. Пока мы двое, ты да я... Все подготовим, а солдатам скажем тогда, когда все будет готово. Скажем: вот ваш Император, ему повинуйтесь...

— В красном плаще!.. Непременно в красном плаще!..

— Да, пожалуй... В красном плаще .. Народ дурак, а дурак, люди сказывают, красному рад...

Долго еще сидели они при одинокой свече в теплую апрельскую ночь, отделывая манифест и перебеляя его на лист плотной, шероховатой голубой бумаги.

XVI

В мае поручик Ушаков был послан в Смоленск для отвоза денег князю Михаилу Волконскому и в реке Шелони волею Божией утонул. Мирович остался один. От своего плана он не отступил. Он переписал письмо на одно свое имя, еще раз перебелил манифест и нетерпеливо ожидал очереди в караул Шлиссельбургской крепости. По «Ведомостям» он следил за Императрицей.

Двадцатого июня Государыня с небольшой свитой отправилась в «вояж» в Лифляндию. Если действовать, то надо было действовать сейчас же, пока Государыни не было в Петербурге. Мирович побывал в полковом штабе и напросился на караул.

В субботу, третьего июля, Мирович с ротою Смоленского полка вступил в караулы Шлиссельбургской крепости. Очередные караулы от полков становились на несколько дней. Они занимали посты у Проломных ворот, у пристани с лодками, у артиллерийский складов и порохового погреба, у квартиры коменданта, у церкви, во внутреннем же дворе, где помещался таинственный арестант, караул держала своя особая гарнизонная команда, бывшая в полном ведении капитана Власьева.

В воскресенье в крепостной церкви была обедня, на которой был и Мирович. Комендант после службы пригласил Мировича к себе на обед. К обеду были и посторонние гости. Из-за реки, с форштадта, приехал капитан Загряжский, да из Петербурга подпоручик, грузинский князьЧефаридзе, регистратор Бессонов и купец Шелудяков.

Летний день, парной и душный, был прекрасен, клонило к лени и спокойным мирным разговорам. Хозяин был радушен. Он угощал гостей пирогом с вязигой и сигом, и разговор пошел о рыбной ловле.

Мирович как на иголках сидел. Ему казалось, что здесь не могло быть иных разговоров, как о безымянном колоднике, который вот он — всего в нескольких шагах от них сколько уже лет томится без вины в тюрьме. С крыльца дома коменданта была видна казарма, где помещался колодник. Мирович твердо решился в это дежурство привести в исполнение свой дерзновенный план и для этого привез с собой манифест и другие заготовленные бумаги. Он ни о чем другом не мог думать, ему казалось, что и другие так или иначе должны заговорить о колоднике и вот тогда он и попробует склонить их на свою сторону и сделать их своими сообщниками. Мирович бледнел, скрипел зубами, мучительно сжимал скулы и все ожидал удобного случая, чтобы заговорить о том, что так его мучило.

Все говорили о рыбах.

Полный, краснощекий комендант, в кафтане нараспашку, без парика, шлепая пухлыми, по-воскресному чисто выбритыми губами, рассказывал со вкусом, какие лососи раньше лавливались в Ладожском озере.

— Мой отец говорил, будто при Петре однова поймали лосося немного разве поменьше, как поручик будет.

— Вот это так лосось!.. Корова, не лосось,— сказал Шелудяков,— поди, не всякая сеть и выдержит.

— Ныне таких что-то не видно. В аршин, редко в полтора

— Хорошая рыба... Вкусная . И ловить ее интересно.

— Сиг тоже, раньше бывало, как пойдет, ну, чисто стадами. А корюшка — сеть вынуть — серебро да и только. Красота...

— Ежели жареную, в сухарях, с лучком . Ар-р-ромат..

Чай пить пошли на вольный воздух. Солнце перевалило за полдень, длинные тени потянулись от домов и крепостных стен. Стол и скамьи вынесли на галерею, откуда виден был маленький двор и в нем узкая дверь и крутые каменные ступени. Около двери стоял часовой гарнизонной команды. Там и был безымянный колодник. Уселись за длинный стол, гарнизонный солдат в белом камзоле принес шипящий самовар, подал баранки и клубничное варенье. Комендант, прищурив пухлые, в красных веках глаза, смотрел на таинственную дверь. У Мировича сердце прыгало от волнения, вот-вот он скажет что-нибудь о колоднике, и начнется волнующий разговор, и будут сказаны слова участия, сожаления, желания помочь, восстановить правду на земле.

Комендант пошлепал беззвучно губами, сам заварил чай и заговорил сытым, приятным, медлительным голосом:

— В бытность мою на службе на Волге очень пристрастился я чаи распивать. По мне, лучше всякого меда или

сбитня... Вот, сударь, покушайте клубничного вареньица, мне попадья наварила. Я тут на эскарпах солдатишкам на забаву огороды насадил, так клубничка у меня в нонешнем году такая хорошая уродилась, ни у кого такой нет.

— У вас, чаю, по лесам и гриба много,— сказал Бессонов.

— Гри-и-иба?.. И, братец... Мало сказать — много — уйма!.. Вот, пожалуй, недельки через две — в сосняках гарькушки, сыроежки пойдут — кустами... А в августе в осинник поведу, там подосинники — шляпки, как кирпич, ножка крепенькая, в черных волосах...

— Ежели в сметане... Ар-р-ромат,— сладостно прошептал Шелудяков.

Все смотрели на двери с часовым и точно нарочно не видели их. Один Мирович их видел, бесился и молчал.

После чая пошли промяться, погулять, взять хорошенько воздуха. Комендант хотел показать свои огороды.

— Мирович,— благодушно сказал он,— прикажи, братец, Проломные ворота отпереть, мы маленько по крепости пройдемся.

Мирович пошел вперед. Комендант с Шелудяковым, Бессонов с Загряжским, за ними Чефаридзе шли по узкой деревянной галерее и спускались по лестнице к крепостным воротам. Все были в расстегнутых кафтанах, шли вразвалку, останавливались, размахивали руками. В душном воздухе мягко звучали их голоса. Мирович пропускал их в ворота.

— Боровик,— говорил басом комендант,— боровик по лесам низкий, широкий, шляпка в морщинках, как во мху или в траве укроется — его и не приметишь... Под сухим-то листом шляпка в морщинках — чистая тебе старинная бронза...

— Ар-р-ромат,— вздохнул Шелудяков.— В Питер на Сенной торг, поди, много отсюда гриба везут.

— Коробами, на лодках... по каналам тоже... Мохом укроют и везут... Из Новгородской округи тоже... Там гри-иба-а!

— Государыня, сказывают, до грибов охоча.

— Нонешняя не так, покойница, та точно понимала прелесть...

— Ар-р-ромат!..

Мирович пошел рядом с Чефаридзе.

— Эка у вас, душа мой, какой благодать, — сказал Чефаридзе.— Жарко, а совсем не душно. Озеро — скажи пожалуйста — чистое море... А голубизна!.. Воздух!.. Це-це!

— В казематах дышать нечем,— строго сказал Мирович.

— А что, скажи пожалуйста, разве много узников у вас?..

— Чай, сам знаешь, — сказал Мирович и придал своему лицу мрачное и таинственное выражение.

Но Чефаридзе, бывший под обаянием прекрасного летнего дня, вкусного сытного обеда, чая с ромом, ничего не заметил. Он просто, беспечно и равнодушно сказал:

— А правда, скажи, душа мой, здесь содержится Иван Антонович?.. В бытность мою сенатским юнкером я о нем от сенатских подьячих разные сведал обстоятельства.

— Я-то давно знаю,— сурово сказал Мирович.— Безвинный страдалец.

— Да-а... А сенатские говорили — между прочим — полноправный Император российский. Це-це!

Мирович весь подобрался. В виски ударила кровь. Он крепко сжал скулы, чтобы не выдать себя дрожанием голоса.

— А где именно, скажи пожалуйста, содержится Иван Антонович? — все так же безразлично спросил Чефаридзе.

— Примечай, как я тебе на которую сторону головой кивну, то на ту сторону и смотри, где увидишь переход через канал — тут окно известкой замазано, вот он там и содержится.

Они далеко отстали от других. Чефаридзе глубоко вздохнул и сказал:

— Совсем, скажи пожалуйста, безвинный мальчик. От самых ребяческих лет — тюрьма и тюрьма... Есть ли у него по крайней мере в покоях свет?..

— Свету Божьего нету. Днем и ночью при свече сидит. Кушанья и напитков ему довольно идет, для чего при нем придворный повар находится.

— Разговаривает он с кем?..

— Случается, что разговаривает с караульными офицерами, которые неотлучно при нем обретаются.

— Скажи пожалуйста, как строго... Забавляется ли чем?..

— Как обучен он грамоте, то читает священные книги — вот и вся его забава. А по случаю когда ему комендант и газеты посылает.

— Це-це!.. Видать, и точно — арестант тот не кто иной, как Иван Антонович... Как считаешь, душа мой, его ведь можно и «ваше высочество» назвать?..

— Бесспорно, можно и должно.

Они проходили мимо кордегардии. Мирович потянул Чефаридзе за рукав:

— Зайдем ко мне... Потолкуем...

Беспечно улыбающийся Чефаридзе прошел через вонючие сени в маленькую, темноватую, унылую комнату караульного офицера. Мирович плотно затворил дверь.

— Садись,— указал он Чефаридзе на табурет, сам стал спиною к решетчатому окну.— Видишь, как фортуна может

к нам лицом повернуться... Такому узнику вернуть свободу и положение... Жаль, что у нас солдатство несогласно и загонено. Потому ежели бы были бравы, то я бы Ивана Антоновича оттуда выхватил и, посадя в шлюпку, прямо прибыл в Петербург и к артиллерийскому лагерю предоставил.

Чефаридзе тупо смотрел на Мировича. Он ничего не понимал.

— А что бы сие значило?.. Скажи, пожалуйста.

— Значило?.. Да как бы привез туда, то окружили бы его с радостью... Сам говоришь, что сенатские о том говорили...

— Я ничего, душа мой, не говорил,— сказал растерянно Чефаридзе, встал и быстро вышел из кордегардии.

Гости уезжали из крепости на лодке. Мирович пошел проводить их и дать разрещение на пропуск лодок из канала.

Чефаридзе, он на прощание у коменданта порядочно «нагрузился» и размяк, протянул руку Мировичу и сказал добродушно со слезою в голосе:

— Прощай, душа мой. Спасибо за компанию... Только смотри, брат...

— Я-то давно смотрю,— сказал Мирович, — об одном сожалею, что времени нет поговорить с тобою, да к тому же у нас солдатство несогласно и не скоро к тому приведешь.

Чефаридзе молча пожал плечами.

— Князь, пожалуй, едем,— кричал из лодки Бессонов.

— Це-це, это же правда,— сказал князь, пожимая руку Мировичу. — Я про то слыхал.

Он побежал по трапу на пристань.

Мирович смотрел, как отваливала шлюпка и как медленно пошла по каналу к Неве. Прекрасный теплый вечер спускался на землю. Полная тишина была кругом. Нева точно застыла в своем течении, недвижно висели листья берез на валах крепости по ту сторону канала. Мирович медленно шел к себе и все думал о своем: «Рано... Нельзя теперь... Солдатство несогласно... Сегодня не придется — надо отложить. Солдатство привести к себе... Навербовать таких, как этот милый князь, склонить сенатских, чтобы встреча в Сенате была готовая...»

Он прошел через Проломные ворота, приказал караульному унтер-офицеру запереть их и прошел на крепостной двор, где была дверь в помещение безымянного колодника. У двери стоял капитан Власьев и курил трубку. Мирович откозырял ему и подошел.

— Проветриться вышли, Данила Петрович?

— Д-да... осточертела нам эта служба. Сам как арестантом стал. Который год!.. Безо всякой смены, живых людей, почитай, что и не видим. Каторга!.. Два раза с Чекиным челобитную подавали, чтобы освободили нас... Отказ... Руки у нас такой нет... Приказано еще потерпеть недолгое время.

— Ожидается разве что?..

— А черт их знает. Наше дело маленькое.

— Вот то-то и оно-то. Что у них там ожидается?.. Ничего у них не ожидается. Надо самим... Допустите одно... Представьте — кто-нибудь, движимый чувством справедливости и любви к отечеству, явился освободить страдающего арестанта... Императора Всероссийского... Освобождая его — он и вас освободил бы... И разве вы погубили бы того человека прежде предприятия его?.. Напротив, не помогли бы вы ему? В его предприятии была бы прямая ваша выгода...

Власьев резко оборвал Мировича:

— Бросьте! Сами не понимаете, что говорите. Если о таком, хотя и по-пустому, говорить хотите — я не токмо внимать вам, а и слышать того не хочу.

— Да что вы, Данила Петрович.. Вы, ради Бога, чего зря не помыслите. Зайдите ко мне в кордегардию, и я вам все изъясню. Вы поймете меня.

— Нам никогда и ни к кому ходить заказано, поручик... Вздор сей оставьте...— Власьев выбил пепел из трубки и стал подниматься по лестнице к таинственной двери.

Мирович вялой, шатающейся походкой пошел в кордегардию.

XVII

В девять часов вечера пробили при карауле вечернюю зорю. Разводящие повели по постам очередные смены.

Северная бледная ночь спускалась над крепостью. От реки и озера густой туман поднимался. В маленькой комнате караульного офицера засветили свечу. Углы помещения тонули во мраке. На черном столе стояла чугунная чернильница и подле лежала постовая ведомость. Мирович сел на просиженный жесткий кожаный диван, облокотился на стол и углубился в свои думы. Потом оторвал разгоряченное лицо от ладоней и с тоской прошептал:

— Нет... нет... Нельзя... Рано, рано.. Надо солдатство склонить на свою сторону..

Он тяжело вздохнул и опять упал лицом на ладони и стал думать, как повести работу среди солдат. Мирович людей не знал. Дитя города, он вырос среди учителей, среди

узких интересов разорившейся мелкошляхетской семьи и в полку служил недолго, потом был адъютантом у Панина и как-то раньше никогда не задумывался о солдатах. Да и видал-то он их только в карауле. Он думал о солдатстве, а солдатство между тем само шло к нему. Дверь тихо растворилась, в ней появилась приземистая, коренастая фигура мушкетера «на вестях» Якова Писклова. Правой рукой Писклов локтем отодвигал дверь с тяжелым блоком, в левой под пропотелой в камзоле мышкой держал кусок хлебного пирога, а обеими ладонями крепко обжимал дымящую паром глиняную кружку со сбитнем.

Он бережно поставил кружку и сказал Мировичу:

— Пожалуй, ваше благородие, вот в команде сбитенька заварили горяченького. Откушай на здоровье.

Писклов рукавом смахнул пыль со стола и положил хлеб, Мирович внимательно посмотрел на Писклова. «Ну что же, поговорим,— подумал он,— узнаем, как настроено солдатство».

— Спасибо, Писклов, спасибо,— сказал Мирович и, заметив, что Писклов хочет уходить, добавил: — Постой, братец, я хотел с тобою поговорить.

Солдат стал, расставив ноги, и тупо смотрел на бледное, возбужденное лицо офицера.

— Чего изволите, ваше благородие? — тихо и недоуменно спросил Писклов.

— Вот что, Писклов...— Слова не шли на ум. Сказать надо было очень много, а вот как сказать — Мирович не знал.— Да, так вот что... Слыхал ты когда-нибудь про Государя Иоанна Антоновича?..

Солдат тяжело вздохнул и ничего не ответил.

— Ведомо ли тебе и солдатству, что здесь, в крепости, в нескольких шагах от нас, безвинно содержится как простой арестант Государь Иоанн Антонович?.. Знаешь ты, что такое Божия правда?..

Солдат тупо смотрел на офицера.

— Увольте, ваше благородие,— тихо сказал он.

— Наш долг, Писклов, того Государя от лютой тюрьмы освободить. Бог и Государь вознаградят нас за то... Я со многими капралами говорил о том, и они со мною во всем согласны. Ты как о сем полагаешь?..

Желтовато-бледное лицо Писклова, под белым париком казавшееся темнее, покрылось мелким бисером пота. Писклов смотрел на Мировича, как смотрит собака на хозяина, который собирается ее побить. Мирович ждал ответа.

— Ну, что же ты скажешь?..

— Ваше благородие... Дык как же... Ежели... с капралами... Ежели солдатство о том согласно, так что же я?.. Я

никогда не отстану от камрадов... Как они, так и я... Всем, значит, полком. А только... Увольте...

— Чего там увольнять... Ты запомни, что я тебе про Государя и про правду сказал... Ступай и кого знаешь за верного человека, того склоняй к сему... Говори: нам надо Государя своего освободить.

Писклов, тяжело и сокрушенно вздыхая, точно он был в чем-то уже виноват, вышел из офицерской комнаты, а Мирович не притронулся ни к хлебу, ни к сбитню, но, сняв кафтан, лег на диван.

Нет... Рано... Ничего не выйдет с такими людьми. Команду исполнят, а сами помыслить не могут...

Мирович ощупал под подушкой завернутый в кожаный портфель — у него такой от адъютантства остался — манифест и другие бумаги и глубже засунул их под подушку. Вдруг ясно ему стало, что все то, что он так тщательно продумал, вовсе не готово и что думать нечего в это свое дежурство что-нибудь делать. Надо и с солдатами до конца договориться, и таких людей, как Чефаридзе — сенатских,— на свою сторону склонить. И как только подумал это, стало тихо и спокойно на душе, ровно стало биться сердце, и сразу ощутил всю усталость дня, проведенного в волнующих мыслях и разговорах.

— Это все бросить надо... Пока...

Стал забываться в крепком сне. Свеча, нагорая, притухала, и полыхалось ее красно-сизое пламя. Отчетливее стало видно белесое окно, за ним теплая летняя ночь шествовала. Часы на церковной колокольне отбивали время. Мирович их не слышал, он тихо спал. На мгновение проснулся. Часы пробили один раз. Смены часовых пошли с разводящими, и грузно и тяжело стучали мушкеты. Люди со смен вернулись в кордегардию, и было слышно, как отхаркивались они и тяжело, по-ночному, хрипло кашляли. Потом все стихло, и Мирович стал снова засыпать.

На платформе как-то сонно, негромко ударил колокол. Часовой вызвал караульного унтер-офицера. Мирович прислушался.

Фурьер Лебедев заглянул к нему.

— Ваше благородие, от коменданта прислали, не беспокоя вас, пропустить из крепости гребцов.

— Пропусти... Пошли разводящего...

Стал засыпать.

Опять ударил колокол и прервал начавшийся было сон.

— Ваше благородие, комендант приказали пропустить в крепость канцеляриста и гребцов.

— Прикажи часовому пропустить.

Прошло несколько минут сладкого забытья, и снова пришел Лебедев.

— Комендант приказали пропустить обратно гребцов.

— Пропусти...

Мирович лежал спокойно на диване. И вдруг отдохнувшая мысль стала работать с необычайною силою и четкостью, и все стало ясно. Зачем коменданту ночью понадобились канцелярист и гребцы?.. Да вот оно что!.. Чефаридзе или Власьев, а может быть, оба сказали коменданту о том, что им днем говорил Мирович, и комендант написал рапорт об этом. Он посылал в форштадт за канцеляристом, за печатью, чтобы внести в исходящий журнал рапортов, а потом послал с гребцами рапорт в Петербург... Его дело, не начавшись, кончено... В его распоряжении день, может быть, только сегодняшняя ночь... А там — арест, дыба, пытки и казнь... Как картежный игрок Мирович тотчас понял, что, если он не будет сейчас — все равно, готово или не готово,— действовать, он погиб. Тут нет никакого шанса выиграть. На него донесли, и он — конченый человек, но если начать сейчас все то, что так, казалось, хорошо продумано, и теперь же привести в исполнение, у него есть шансы выиграть. И, как бывало в картежной игре, когда, решивший играть ва-банк, он начинал лихорадочно понтировать, так и теперь, точно в забытьи, точно в лихорадочном кошмаре, он вскочил с дивана, схватил кафтан, епанчу, шапку и шпагу и вбежал в кордегардию.

Очередная смена лежала на деревянных нарах, пришедшая с постов понуро сидела. Люди клевали носами. Тяжелый солдатский, караульный дух спер дыхание Мировичу.

— Караул к ружью,— крикнул задыхающимся голосом Мирович.

Сонные солдаты начали вскакивать. Капралы побежали по соседним избам будить и собирать людей.

Мирович выбежал на платформу. Густой туман стоял над крепостью. Тесные казарменные постройки в нем едва намечались, казались расплывчатыми и призрачными. Часовой точно прозрачный стоял неподвижно у колокола. Смоленцы выбегали из изб и строились на платформе. Все молчали, слышалось только тяжелое со сна дыхание людей.

— Слушай! — скомандовал Мирович.

Шеренги дрогнули, легкий шорох пробежал вдоль фронта, стукнули приклады устанавливаемых у ноги ружей, и все стихло. Стало напряженно, страшно и весело. Мирович ощутил всю громадную силу караула и вдруг поверил, что все сбудется так, как он придумал. Он смело стал командовать:

— К заря-ду!.. Открой полки!.. Вынь патрон!.. Скуси патрон!.. Сыпь порох на полки!.. Закрой полки!.. Перенеси ружье!.. Заряжай с пулею!..

Четко и резко отстукивали и бряцали приемы. Шомпола звенели о пули. Караул изготовился к бою.

— Капрал Кренев с одним мушкетером к воротам, к калитке, никого не впускать, никого не выпускать!

Тах, тах — четко отбили приемы Кренев и назначенный им солдат, отделились от фронта и исчезли, точно растаяли в тумане. Солдаты во фронте были бледны, скулы были напряженно сжаты, и была в них та упрямая решимость, какая бывает у солдат, когда они, ничего не понимая, что делается, отдают свою волю офицеру, командующему ими.

Еще веселее стало на душе у Мировича, он ощутил то хорошо знакомое ему чувство, когда в карточной игре повалит к нему хорошая карта.

Вдруг из тумана, со стороны комендантского дома, сверху, с балкона, раздался сердитый, хриплый, начальнический голос:

— Эй, что там такое?.. Для чего так, без моего приказу, во фронт становятся и ружья заряжают?..

Мирович выхватил из рук солдата ружье и бросился на крыльцо комендантского дома. Мирович прикладом ударил коменданта по голове и, когда тот упал, крикнул солдатам исступленным, срывающимся на визг голосом:

— Взять его!.. Под караул его!.. Преступник!.. Невинного Государя в тюрьме держит!.. И не сметь мне с ним разговоры разговаривать!.. Не слушать его речей!.. Не сметь!..

Сейчас же вернулся к караулу. Мирович понимал теперь, что уже нет ему ни остановки, ни размышления, надо действовать до конца.

— Караул на-пра-во!.. Ступай!

Подбежал к правому флангу и повел караул к той страшной, таинственной двери, за которою была камера безымянного колодника.

Из густого молочного тумана тревожный окрик раздался:

— Кто идет?..

Мирович громко и возбужденно крикнул:

— Я, Мирович, иду к моему Государю!

В тумане желтой точкой вспыхнуло пламя выстрела. Както глухо и печально раздался выстрел, и пуля прошуршала над головою Мировича. И прежде чем Мирович успел подойти к казарме, там раздался быстрый топот многих ног, и стена гарнизонного караула заслонила узкую дверь. Караул Мировича без команды остановился.

В гарнизонном карауле кто-то решительно крикнул: «Пали!..»

Гулко, эхом отдаваясь о крепостные постройки, раздался залп, пули пронеслись в воздухе, посыпались ветки с деревьев на валах, и затрещали доски на крышах караульных изб.

Смоленцы шарахнулись в сторону, отбежали и укрылись за каменным пожарным сараем. В молчание ворвались тревожные возмущенные голоса:

— Царица небесная!.. Да что же такое случилось?.. По своим, как по неприятелю!..

— Брат супротив брата!.

— Звездануло-то как!.. Ну, думаю, пресвятая Богородица... крышка... В самый лоб угодит...

— Ваше благородие, да почему же оно так прилучилось, вы нам ничего такого не говорили? Куда вы нас ведете?..

— Что замышляете?..

— На смерть ить ведете .. Да за что?..

— Вид-то какой на то имеете?..

— Я имею верный вид,— сказал Мирович.— У меня на то манифест самого Императора.

— А ну, покажи оный манифест.

Белая туманная ночь, точно молочное море, залила крепость. Ни времени, ни пространства не было в ней. Весь мир, вся жизнь вдруг сосредоточились на тесном крепостном дворе между дверью арестанта и гауптвахтой. Тут конец, там — начало. Мирович побежал в кордегардию и притащил свой портфель. Буквы прыгали у него перед глазами, в призрачном свете ночи трудно было разбирать написанное. Мирович знал все наизусть. Торжественным, слегка дрожащим голосом вычитывал он солдатам:

— «Божией милостью, мы, Император и Самодержец Всероссийский...»

Солдаты сгрудились вокруг него и стояли, опираясь на ружья. И уже не было у Мировича послушного команде караула, но была толпа, которую надо было уговаривать, увлекать за собою.

— Братцы,— крикнул Мирович, дочитав манифест. Слезы дрожали в его голосе.— Вот вам крест!..— Он перекрестился.— Правое наше дело!.. Наш святой долг присяжный!.. Идем!.. Скажем им... Объявим всю правду... Поймут нас православные... Не будут стрелять.

Не строем, но толпою вышли из-за сарая и подошли на сто шагов к гарнизонному карауле.

— Братцы!.. Православные!.. — крикнул Мирович.— Не стреляйте!.. Выслушайте, по какому делу идем... Святое, правое наше дело...

— Палить бу-удем,— проревел бас из команды.

— Ваше благородие, а ваше благородие,— раздался негромкий голос сзади Мировича. Тот оглянулся. Капрал с растерянным лицом нагнулся к нему.— Что, ежели устрашить его допрежь пушкою?.. Ить он от пушки должон напугаться.

Мирович послал за пушкою. Он уже потерял свою волю, он плыл по течению, ждал, что само выйдет. Побежали в кордегардию, за ключами, потом в пороховой погреб за зарядами и ядрами. В туманной ночи белыми призраками метались люди, раздавались крики, каждый подавал советы, кто-то угрожал, кто-то истерично плакал. С бастиона людьми катили старую чугунную пушку. Ее установили впереди караула и неумело заряжали ядром.

Кругом толпились солдаты, они толкали Мировича и подавали ему советы.

— Ваше благородие, ежели теперя ишшо послать к ним. Увидавши пушку, может, и надумают сдаваться...

И побежали к гарнизонному караулу.

— Эй, вы там,— кричали издали,— гарниза пузатая, что таперя, будете палить аль нет?.. А коли палить зачнете, так мы вас всех враз из пушки положим.

Мрачный голос от лестницы ответил с какою-то особой печалью и досадой:

— Теперь палить не будем...

Мирович с мушкетом в руке, сопровождаемый нерешительно продвигавшимися за ним смоленцами, быстро пошел ко входу в тюрьму.

XVIII

Как только раздался выстрел часового у двери каземата с безымянным колодником и затопала ногами выбежавшая на выстрел гарнизонная команда, Чекин, спавший с Власьевым за ширмами, вскочил с постели.

Стены каземата были очень толстые, и выстрел и топот ног были едва слышны в нем. Но долголетняя и однообразная служба при арестанте обострили нервы приставленных к нему офицеров, и сон их обычно был чуток и напряжен.

— Данило?.. А Данило?.. Слыхал?..

Но Власьев уже встал с постели. Оба вышли за ширмы. Арестант спал крепким и спокойным сном. Его дыхание было ровное и тихое. Свеча на столе нагорела, пламя ее колебалось, и странные тени прыгали по белой стене над головою арестанта.

— Посмотри, что там такое?..— сказал Власьев.

В это время горохом прокатился залп. Арестант вздохнул во сне, но не проснулся.

Чекин на носках подбежал к двери и отодвинул засов.

— Данила,— сказал он, задыхаясь от волнения,— с большой командою сюда идут... Кричат, чтобы наши не палили.

Из темного каземата в приоткрытую дверь были видны волны белого тумана на дворе. Неясные звуки доходили оттуда. Все казалось нелепым сном. Крики команд и говор солдат там не умолкали. Слышно было, как сурово ответили гарнизонные солдаты: «Палить будем...»

— Вот и свобода к нам пришла,— прошептал Власьев.

— Ты что, Данила?

— Я ничего.— Власьев кивнул на арестанта и вынул из ножен тонкую офицерскую шпагу.

Чекин выхватил свою. Он понял сразу Власьева. Арестант продолжал крепко спать.

— Присяжную должность исполним,— прошептал Чекин.

— Погоди маленько,— сказал Власьев.— Посмотри, что там делается?..

— Побежали за пушкой,— торопливо, стоя у дверей, передавал хриплым голосом Чекин.— С бастиона скатывают пушку... Заряжают.

— Тогда...— чуть слышно прошептал Власьев,— тогда... действуй!

Он бросился с поднятой шпагой к постели арестанта.

Тот проснулся. Неровным желтым светом освещено его бледное, одутловатое лицо. Глаза были вытаращены, он простер руки с растопыренными пальцами навстречу Власьеву и захрипел, заикаясь, желая что-то крикнуть. Страшные тени побежали по лицу. Пламя свечи заколебалось. В тот же миг Власьев с силою ткнул его шпагой в шею. Кровь брызнула из раны и оросила белую рубашку арестанта.

— Злодеи,— крикнул арестант и выскочил из постели.— Кого!.. На кого покушаетесь?!

Власьев тонкой, гнущейся шпагой нанес удар в бок. Арестант пошатнулся и привалился к столу. Кровь заливала его. Власьев и Чекин, обезумев от вида крови, стали наносить уколы куда попало. Арестант упал и, хрипя, стал дергать ногами.

— Теперь готово,— сказал Чекин, рукавом стирая пот с лица.

— Дверь отложи,— прохрипел Власьев.

Чекин пошел по узкому коридору к наружной двери и только открыл, как в проход вскочил Мирович с мушкетом в руке.

— Где Государь? — задыхаясь, крикнул он.

— У нас Государыня, а не Государь,— сурово сказал Чекин.

Мирович левой рукой толкнул Чекина в затылок и крикнул:

— Поди укажи Государя... Отпирай двери.

— Дверь отперта и так.

Налетевший от хлопанья дверьми ветер задул свечу, и в каземате был густой мрак.

— Принеси, братцы, кто огня,— приказал Мирович. Он левой рукой держал Чекина за ворот, в правой у него был мушкет.

— Другой бы тебя, каналья, давно заколол,— прохрипел он.

— Колоть меня не за что,— хмуро сказал Чекин.

Из кордегардии прибежали с фонарем солдаты. Мирович вскочил в каземат и остановился, мушкет выпал из его рук и с грохотом упал на каменный пол. У стола, в луже черной крови, лежал бледный молодой человек в окровавленном белье. Над ним, спокойно скрестив руки, стоял капитан Власьев.

— Ах, вы... Да что же это вы такое сделали? — хватаясь за голову, закричал Мирович.— Совести в вас совсем нет... Как могли вы невинную кровь т а к о г о человека пролить?..

— Какой он человек,— глухим голосом сказал Власьев,— того нам не объявляли... Для нас он только арестант... И поступили мы с ним по нашей о том присяге.

Мирович медленным театральным движением опустился на колени, перекрестился и поцеловал руку и ногу арестанта... Вошедшие за ним солдаты снимали шапки и крестились. Благоговейная тишина смерти вошла в полутемный, едва освещенный фонарем каземат. Унтер-офицер Лебедев распорядился, чтобы тело убитого положили на кровать.

— Несите его за мною,— приказал Мирович.

— Ваше благородие, а с ними как поступить прикажете? — спросил капрал.

— Оставьте их,— с глухим рыданием в голосе ответил Мирович,— они и так никуда не уйдут.

Он пошел за телом убитого арестанта. Земля колебалась под его ногами. Всего ожидал он, все, казалось, продумал и предусмотрел, но только не это. Все было сорвано. Карта опять была бита. Он все проиграл. А ставкою была — жизнь... Платить придется... Мертвое тело вынесли из каземата, пронесли через канал и поставили на площади против кордегардии.

— Построиться во фронт,— приказал Мирович.

Молча становились люди караула в четыре шеренги, барабанщик стал на правом фланге. Солдаты были потрясены

они смотрели на офицера, все надежды возлагая на него. В туманном утре была томительная тишина.

Писклов подал Мировичу шапку и епанчу, оставленные в каземате. Мирович надел шапку и вынул шпагу из ножен. Епанчою накрыл по грудь покойника. Красной епанчи он не припас, и Государь лежал под простой офицерской голубой епанчой. Потом Мирович вышел перед середину фронта караула и сказал с печальною торжественностью в голосе:

— Теперь отдам последний долг своего офицерства. Барабанщик, бей утренний побудок...

Глухо и коротко прозвучала барабанная дробь.

— Караул,— командовал Мирович,— на пле-е-чо!.. Шай на кра-ул!.. Барабанщик, бей полный поход!..

Барабанный бой, отдаваясь эхом о стены крепости, раздавался в тумане. Мирович отсалютовал шпагой и прошел на правый фланг караула. Когда барабанщик перестал бить, Мирович вложил шпагу в ножны, подошел к убитому арестанту, снял шляпу, перекрестился и, став на колени, поцеловал руку покойника. Глубокая, давящая тишина стояла на дворе. Мирович встал и скомандовал на плечо и к ноге. Он медленно подошел к караулу. Безумными, широко раскрытыми глазами обвел растерянные лица солдат. «Вот все и кончено,— думал он.— Остался еще мой офицерский долг... Смерть так смерть... Казнь так казнь... Они не виновны... Не везло мне в картах — не повезло и в жизни...»

Чувствовал в торжественной тишине неподвижно стоящего фронта нечто зловещее. Видел, как в тупых лицах солдат точно сознание начало проявляться, будто от тяжелого сна они просыпались. На фланге плутонга сержант пошевелился. Мушкетер перебрал пальцами по погонному ремню. Сейчас все будет кончено.

— Вот, братцы,— протягивая руку к постели с арестантом, тихо сказал Мирович,— наш Государь Иоанн Антонович. Ему ничего больше не надобно. Не нужно ему и государства.

Мирович перевел дыхание. Солдаты шевелились во фронте. Мирович понимал — конец его наступал.

— Ныне мы не столь счастливы,— продолжал Мирович,— как бессчастны... А всех больше за то перетерплю я. Вы не виноваты. Вы не ведали, что помыслил я сделать. Я уже за всех вас ответствовал и все мучения на себе сносить должен... Простите меня, братцы.

Глухое молчание было в карауле. Сняв шапку, Мирович подошел к правофланговому мушкетеру и троекратно поцеловал его Целуя так каждого солдата, Мирович обходил

шеренгу за шеренгой весь фронт. Послышались тихие всхлипывания, солдаты плакали. Мирович подходил к четвертой шеренге. Строя уже не было. Люди смешались в толпу. От этой толпы отделился капрал Миронов — самый преданный человек был он Мировичу — и, зайдя сзади офицера, схватил его шпагу.

— Нет... Нет, Миронов, что ты?..— растерянно сказал Мирович.— Шпагу я сам... Коменданту... Как же так?.. Солдат?.. Ты солдат?.. Я сам... Сам...

Миронов его не слушал. Он отцепил шпагу и понес ее к комендантскому дому.

Как только в комендантском доме узнали, что безымянный колодник убит,— часовые, приставленные Мировичем к полковнику Бередникову, освободили его, тот привел себя в порядок, надел кафтан и послал в форштадт к командиру Смоленского полка, полковнику Римскому-Корсакову за сикурсом[1].

Было раннее летнее утро. С голубого неба солнце золотые лучи на землю посылало. Туман, клубясь кверху, поднимался, и становилось светло и радостно. В этом утреннем свете серокаменные и кирпичные постройки крепости казались не такими безотрадными. На ветках в березовой аллее бриллиантами загорались мокрые листья деревьев. Там весело и радостно пели и гомонили птицы.

Через канал на лодках подходил сикурс. Римский-Корсаков с секунд-майором Кудрявым, поручиком Васильевым и прапорщиком Жегловым с двадцатью тремя рядовыми смоленцами спешили к комендантскому дому.

Они пошли с Бередниковым на крепостной двор. Последние остатки ночного тумана съедались солнцем. Косые золотые лучи ласково скользили по кровати, на которой лежал на спине окровавленный покойник, накрытый синей офицерской епанчой. Сзади кровати толпою стояли, понурив головы, вооруженные люди смоленского караула. От этой толпы отделился невысокий офицер без шпаги с бледным лицом и пошел нетвердым шагом к командиру полка. Остановившись в четырех шагах от него, как для рапорта, он резким движением сорвал с головы шапку и сказал ломающимся хриплым голосом:

— Быть может, вы не видели живого Императора, нашего Иоанна Антоновича,— смотрите ныне на мертвого... Он уже не телом, но духом всем кланяется.

[1] Помощью.

Бередников, с кровавым шрамом на голове, злой и раздраженный, бросился на Мировича, сорвал с него офицерский знак и крикнул караулу:

— Под стражу его!.. В караул!..

Солдаты безмолвно сомкнулись вокруг офицера и повели его в кордегардию.

Началось следствие.

XIX

Императрица Екатерина Алексеевна вторую неделю путешествовала по Лифляндии. Как не походило это путешествие на те кочевья, которые совершала она с покойной Императрицей Елизаветой Петровной по югу России и Малороссии. Там были гомон и шум больших становищ, спанье в шатрах на матрацах, положенных на землю, свежий воздух утра, пение птиц, долгие сборы, неудобные телеги с теми же матрацами и подушками, множество людей кругом, дымы костров, шумные обеды на зеленой мураве, песни песельников, ржанье лошадей и природа кругом.

По Лифляндии Императрица ехала в удобной венской карете, на висячих рессорах, от именья к именью, от замка к замку. Иным постройкам было более двухсот лет. Каменные дома хранили уют целых поколений. Раскрывались тяжелые ворота, и за ними были прекрасные парки с тенистыми аллеями столетних лип и дубов, богатые цветники пестрым ковром расстилались подле входа. Императрицу после торжественной встречи вели в ароматную прохладу комнат, где все было приготовлено для ее отдыха и работы. На мызе Большой штроп Фитингофа, где был ростах, Императрице показывали образцовое молочное хозяйство и сыроваренный завод. В громадном мызном стодоле Государыня любовалась тремястами красно-бурыми — все, как одна,— коровами ливонской породы, стоявшими на свежей соломе. В Риге, девятого июля, Государыню ожидала торжественная встреча... Генерал-губернатор Броун, епископ Псковской и Рижский Иннокентий, местное рыцарство и генералитет выстроились на крыльце отведенного Государыне дома. Она прибыла в Ригу в девять часов утра и, милостиво побеседовав с встречавшими ее людьми, прошла во внутренние покои. Там на столе была положена только что прибывшая с курьером из Петербурга почта. Сверх всего, поверх свежих номеров «Ведомостей» лежал небольшой пакет, припечатанный пятью сургучными печатями, на средней три голубиных пера. Императрица кинжалом с рукояткой из ноги оленя вскрыла пакет и углубилась в чтение. Ничто не выдало ее

волнения, и подававший ей пакеты, состоявший при ней в качестве секретаря во время поездки генерал Петр Иванович Панин ничего не мог заметить на ее лице. Похлопывая ножом по пакету, Государыня повернулась к Панину и сказала:

— Сядь, Петр Иванович... В ногах, люди сказывают, правды нет. Скажи мне...— Она помолчала, как бы затрудняясь, как начать, и продолжала: — Скажи мне... Что, это у тебя был адъютантом поручик Мирович?..

— Как же, Ваше Величество, недолгое время был такой. Я был принужден его прогнать.

— Что же — он нехороший был человек?..

— Он — лжец, Ваше Величество.

— Лжец?..

— Отчаянный лжец... Бесстыжий человек и великий трус. Сумасброден не в меру и не по чину обидчив.

— Вот как! Что же ты такого взял?.. Ты не знал его раньше?..

— *Пожалел его. Страдал и разорен был за измену деда...* Дед был при Орлике, а Орлик был при Мазепе.

— Ах, вот что...

— Чем, Ваше Величество, маленький Мирович заслужил внимание Вашего Величества, что вы его вдруг вспомнили?..

— Я не вспомнила о нем, ибо никогда про него не слыхала раньше и самого его тем паче не видала. Ты знаешь меня — я слух свой закрываю от всех партикулярных ссор, ушинадувателей не держу, переносчиков не люблю и сплетнейскладчиков, кои людей вестьми же часто выдуманными приводят в несогласие, терпеть не могу... Но... Тут уже не сплетни... Тут тяжкое преступление и потрясение основ государства и благополучия российского. На мне лежит долг Государыни... Пока ничего больше... Я хотела только тебя спросить самого, как ты, оказывается, того Мировича знавал... Можешь пока идти, остальную почту после разберем, я должна ехать с Броуном осматривать гидравлические работы на Двине.

Письмо, расстроившее Государыню и побудившее ее говорить о Мировиче, было первое поспешное донесение Никиты Ивановича Панина о том, что офицеры Мирович и Ушаков составили заговор и хотели, освободив из Шлиссельбургской крепости безымянного колодника, возводить его на престол как Императора Иоанна Антоновича. В донесении было еще сказано, что Мирович с командою при пушке напал на караул при безымянном колоднике и что Власьев и Чекин в силу данной им инструкции закололи колодника. Донесение было краткое, составленное по словесному докладу, и было прописано, что вслед едет полковник Кашкин и везет подробные данные о происшествии.

Внимательно, удивив всех своими познаниями в гидрографии, Императрица осматривала дамбы, задавала вопросы инженерам, потом поехала на банкет лифляндского дворянства. Она была ласкова ко всем, много расспрашивала о приближенной фрейлине правительницы Анны Леопольдовны, Юлии Менгден, которая была заточена недалеко от Риги и умерла в заточении, она прерывала рассказ восклицаниями сожаления и негодования:

— C'est formidable!.. Cela fait fremir!..[1]

Она осталась в Риге. На другой день, когда полковник Кашкин привез ей подробное, но все еще неверное донесение, она закрыла двери своего кабинета и писала то по-русски, то по-французски письмо Никите Ивановичу Панину, которое тот же Кашкин должен был немедленно везти в Петербург.

«Никита Иванович,— писала Императрица.— Не могу я довольно вас благодарить за разумныя и усердныя ко мне и отечеству меры, которые вы взяли по Шлюссельбургской гистории».

Она продолжала по-французски:

«La Providence m'a donne un signe bien evident de sa grace en tournant cette enterprise de la facon dont elle est finie...

Le jour de mon depart de Petersbourg une pauvre femme avait trouve dans la rue une lettre de main contrefaite ou il en etait parle; cette lettre fut remise au Prince Wesemski et elle est chez lui. Il faudra questionner ces officiers, si ce sont eux, qui l'ont ecrit et repandue. Je crains que le mal n'aye d'autre suite encore, car l'on dit cet Ушаков lie avec nombre de petits gens de la Cour. Enfin il faut s'en remettre au soin du bon Dieu, qui voudra bien decouvrir, je n'ose en douter, toute cette horrible attentat...[2]

Вспомните так же врания того офицера, что Соловьев привел, да с Великаго поста более двенадцати подобных было и все о той же материи. Велите, пожалуй, разсмотреть не оны ли тому притчины были...

---

[1] Это ужасно!.. Это бросает в дрожь!.. *(фр.)*

[2] Провидение мне дало знак своей явной милости, повернув это предприятие так, как оно закончилось... В день моего отъезда какая-то бедная женщина нашла на улице письмо, написанное подделанным почерком, где об этом говорилось. Это письмо было передано князю Вяземскому, и оно у него находится. Надо допросить этих офицеров, не они ли написали и распространили это письмо... Я боюсь, чтобы зло не имело продолжений, так как говорят, что этот Ушаков имел связи с мелкими придворными. Но надо отдать себя Богу, который — я в этом не смею сомневаться — раскроет скоро все это ужасное покушение... *(фр.)*

Хотя в сем письме я к вам с крайнею откровенностью все то пишу, что в голову пришло, но не думайте, чтобы я страху предалась. Я сие дело не более уважаю, как оно в самом существе есть, сиречь дешператной и безразсудный coup[1], однакожь надобно до фундамента знать, сколь далеко дурачество распространилось, дабы, есть-ли возможно, разом присечь и тем избавить от нещастия невинных простяков.

Радуюсь, что сын мой здоров, желаю и вам здравствовать.

Екатерина.

Из Риги 10 ч. июля 1764.

Стерегите, чтоб Мирович и Ушаков себе не умертвили».

Императрица сама вложила письмо в конверт и опечатала его своею печатью. Потом взяла еще лист и написала на нем размашистым почерком:

«Указ генерал-поручику Веймарну. По получению сего немедленно ехать вам в город Слюсельбург и тамо произвесть следствие над некоторыми бунтовщиками, о которых дано будет вам известие от нашего тайнаго действительнаго советника Панина, у котораго оное дело, и потому он как вам все наставления дать, так и вы всего что касаться будет от него требовать можете.

Екатерина».

Императрица сократила свое пребывание в Риге и пятнадцатого июля поехала в Петербург, «дабы сие дело скорее окончить и тем дальных дурацких разглашений пресечь...»

Семнадцатого августа особым манифестом был объявлен над Мировичем верховный суд. В этот суд было назначено пять духовных и сорок три военных и гражданских высших сановника. Суду этому было повелено:

«Что лежит до Нашего собственного оскорбления в том Мы сего судимаго всемилостивейше прощаем, в касающихся же делах до целости государственной, общаго благополучия и тишины, в силу поднесеннаго Нам доклада, на сего дела случай отдаем в полную власть сему Нашему верноподданному собранию...»

Мирович на суде держался стойко, решительно — по-офицерски.

Он с твердостью отверг, что имел сообщников.

Духовные лица настаивали на том, чтобы к Мировичу были применены пытки. Обер-прокурор князь Вяземский, видя искренность подсудимого и веря его офицерскому слову,

[1] Удар (*фр.*).

протестовал против этого. Много раз спрашивали Мировича, и он всегда одинаково отвечал: «Я считаю себя уже не существующим в этом мире, мне ничего другого нельзя ждать, как только позорной казни. Я готов ее с мужеством перенести и тем искупить совершенное преступление. Сообщников я не имел и полагаю, что никто не захочет, чтобы я невинных обвинил. Я оплакиваю горе солдат и унтер-офицеров, которых вовлек своим безумством в кратковременное заблуждение...»

Третьего сентября на Мировича наложили оковы. Он заплакал. Девятого состоялся приговор — было постановлено: «отсечь Мировичу голову и, оставя тело его народу на позорище до вечера, сжечь оное потом купно с эшафотом, на котором та смертная казнь учинена будет...»

Жестоко были наказаны и все унтер-офицеры, и солдаты смоленского караула, пошедшие с Мировичем. Князь Чефаридзе был лишен всех чинов, посажен в тюрьму на шесть месяцев и «написан в отдаленные полки в солдаты...».

Капитан Власьев и поручик Чекин с повышением в чинах были отправлены в азиатские гарнизоны, и их жизнь прошла неприметно и бледно. Тень убитого ими «по присяжной должности» Императора точно всегда витала над ними.

Пятнадцатого сентября на Петербургском острове, в Обжорном рынке, казнили Мировича.

XX

Странные были отношения между Императрицею Екатериною Алексеевною и ее сыном Великим Князем Павлом Петровичем. Точно не мать была сыну Екатерина Алексеевна, но отец. Материнской ласки, женской нежности у нее не было. Мальчик побаивался своей неласковой, маловнимательной к нему матери. Бывали периоды, когда занятая делами государственными Императрица целыми днями не видела Великого Князя. Он жил со своим воспитателем — в этот год Семеном Андреевичем Порошиным — на своей половине дворца, имел своих гостей и редко ходил на половину Государыни-матери. Лишь на балы, спектакли в Эрмитажном театре, на французские комедии и балеты приводили мальчика, и он томился на них, нетерпеливо дожидаясь, когда отпустят его спать. Фрейлины Государыни обожали милого «Пуничку», прелестного, умного, развитого ребенка, танцевали с ним, ухаживали за ним, дарили ему конфеты, писали ему французские стихи. Мать издали снисходительно наблюдала за ним. Иногда она подзывала сына к себе, задавала ему два-три вопроса, но вопросы ее были

отцовские, мужские — не материнские, женские Мальчик стеснялся матери.

На половине Великого Князя сменялись учителя, шли уроки и забавы по установленному Императрицей расписанию. По желанию Императрицы у Великого Князя к обеду всегда бывали гости — кто-нибудь из вельмож, приезжие в Петербург сухопутные и морские офицеры, иностранные посланники. Императрица хотела, чтобы ее сын с малых лет приучился к серьезным разговорам. Разговор часто, к великому смущению воспитателя Порошина, шел слишком «взрослый». Гостям казалось, что Павел Петрович не слушает, не понимает того, что говорится, что он занят своими игрушками, расцвечивает флажками большую модель фрегата, стоящую рядом со столовой, или просто «попрыгивает» подле клетки с птицами, но вдумчивый Семен Андреевич не раз отмечал в своем дневнике, как отражались эти разговоры на чуткой и восприимчивой душе Великого Князя и как он их запоминал.

В этот раз к обеду были — вице-канцлер Воронцов, граф Никита Иванович Панин, граф Захарий Григорьевич Чернышев, граф Александр Сергеевич Строганов и Петр Иванович Панин.

В эти дни в Петербурге так много говорили о казни Мировича. Двадцать два года в России не было смертных казней, и эта первая казнь взволновала умы. Как ни старался Порошин отвести разговоры на темы, более подходящие для его воспитанника, Великого Князя, разговор все возвращался к различным случаям казни людей.

Никита Иванович, большой гурман, приказал поставить к своему прибору «канфор» и варил в кастрюлечке «устерсы» с английским пивом. Великий Князь поставил у своего стула приступочку, встал на нее, внимательно следил за варкой и крошил хлеб к этому вареву.

Строганов, присутствовавший на казни Мировича, рассказывал мерным, спокойным голосом:

— Я никогда раньше не видал казней... Как ни относиться к этому безрассудному офицеру, должен признать — и на суде, и на эшафоте он себя молодцом держал. Никого не выдал, никого не оговорил. Что говорить — замысел был смелый!.. Все сделал один... На казни... Громадная толпа народа... Крыши домов и весь мост на Неве — черны от людей. В оной толпе и ужас и любопытство. Казни у нас забыли, ныне увидели ее во всем ее устрашающем безобразии. Мирович взошел на эшафот с благоговением. Так к причастию Святых Тайн подходят. Его бледное, спокойное лицо было красиво. Он сам склонил колени и положил го-

лову на плаху. Взмахнул топор... Народ ахнул страшным ахом, точно то был один гигантский человек. Палач схватил отрубленную голову за волосы и, высоко подняв, показал народу — толпа содрогнулась, и от сего содрогания тяжелые перила обвалились и мост поколебался... Бревна перил поплыли по Неве.

— Ужасно...— сказал Петр Иванович Панин.— И этого человека я хорошо знал... Нет... Нет... Довольно казней... Смертная казнь невозможна, не нужна... Она никого не устрашает... Она граничит с варварством. Разве в других странах, где семена гуманизма принесли свои плоды, ну, скажем, во Франции, возможно что-нибудь подобное?..

— Ну-у... Еще и как!.. Славны бубны за горами,— сказал Воронцов.— Во Франции и народ, и правители много жестокочее, чем у нас, понеже много среди них безбожников. У нас казнили Мировича... Так надо знать: за что его казнили?..

— И этого человека я знал,— вздохнул Петр Иванович.

— Он покушался потрясти основы государства Российского... Он сам собирался казнить и, поверь мне, нас с вами не пощадил бы... Простого убийцу, разбойника у нас не казнят... Во Франции недавно, в Валансьене, казнили некоего Мандрина. Так кто такой был сей Мандрин... Ну просто контрабандист. Он наносил убыток королевским доходам. Его казнили, и притом с издевательством, с ненужною жестокостью и мучением. Мандрина — я читал в «Ведомостях» — привели на площадь в одной рубахе, босого, с веревкою на шее, с доскою на груди, с надписью: «Атаман промышляющих заповедным торгом, оскорбитель величества, разбойник, убийца и нарушитель общего покоя». Не слишком ли много тут экзажерации!.. В руках у Мандрина была зажженная двухфунтовая свеча. На площади — море народа. Патер Гаспари не провожал разбойника. Мандрин вошел на амвон с такою же неустрашимостью, с какою препроводил всю свою жизнь, и сказал смотрителям сильную речь. Он всенародно молился Богу и просил у короля прощения за пролитую им кровь. Ему переломали на плахе руки и ноги, и палач хотел его еще живым тащить с амвона на колесо, но господин Левест по прошению епископа и многих знатных персон приказал удавить разбойника. Народ смотрел все сие спокойно и шутками и свистом встретил муки казнимого.

Семен Андреевич Порошин страдал от этих разговоров. Он краснел, бледнел и неспокойно сидел.

«Им надо бы наперед подумать самим с собою, а тогда говорить»,— думал он. Но его страданий никто не замечал. Никита Иванович со вкусом рассказывал, как в Париже казнили какого-то аббата:

— И вот, значит, палач взвел его на виселицу, накладывает петлю на шею, толкает его с лестницы, а аббат наш ухитрился зацепиться за лестницу ногою и не хочет повиснуть.

— Кому охота,— засмеялся Чернышев.

— Тогда палач с силою толкает его и говорит: «Descendez donc, ne faites pas l'enfant, monsieur l'abbe»[1].

Все засмеялись, и Великий Князь со всеми. Петр Иванович Панин наконец заметил недовольное лицо Порошина, понял его умоляющие знаки и переменил разговор. Он стал рассказывать о «положенном на будущий год под Петербургом лагере».

— Где же тот лагерь будет? — с живостью спросил Великий Князь.

— Под Красным Селом. Я там, Ваше Высочество, со своими гусарами ваш кирасирский полк атакую и вас самого в полон заберу.

Великий Князь внимательно посмотрел на Панина

— Если пойдет дело на драку,— серьезно сказал он,— так мы и обороняться умеем.

Никита Иванович съел свои «устерсы», варенные в пиве. Лакей обносил блюдо с котлетами. Воронцов отказывался взять, Никита Иванович уговаривал его.

— Право, не могу больше. По горло сыт.

— Prenez donc, mon prince,— неожиданно сказал Великий Князь,— ne faites pas l'enfant[2].

Порошин густо покраснел.

Ночью в глубокой комнате Зимнего дворца, опочивальне Великого Князя, у окна, на письменном столе тихо горят две свечи за зеленым тафтяным абажуром. Порошин, в камзоле, со снятым париком, сидит за столом и в большую тетрадь своего дневника записывает наблюдения за Великим Князем за истекший день. В Петербурге стоит тихая осенняя ночь. Слышно, как плещут волны Невы о гранитную набережную. За ширмами на узкой кровати мечется, ворочается и стонет в неспокойном сне мальчик, Великий Князь Павел Петрович.

Скрипит гусиное перо по шероховатой бумаге, рыжеватые чернила длинною вязью строк ложатся в тетрадь.

«...Всякое незапное или чрезвычайное происшествие весьма трогает Его Высочество,— пишет Порошин.— В таком случае живое воображение и ночью не дает ему покою. Когда о совершившейся пятнадцатого числа сего месяца над

[1] Слезайте, господин аббат, довольно ребячества (*фр.*).
[2] Берите, князь, довольно ребячества (*фр.*).

бунтовщиком Мировичем казни изволили Его Высочество услышать, опочивал ночью весьма худо...»

Страшные видения снятся Великому Князю. Обрывки фраз, слухи, сплетни, неосторожно сказанные слова, непродуманные рассказы вдруг вспоминаются в полусне-полуяви. Он вспоминает маленькую комнату в Александро-Невской лавре, обитую сплошь черным сукном, красный бархатный гроб с позументом, и в нем, с темным лицом, со шрамом на шее,— его отец, Император Петр III... Почему он там?.. Почему все так кругом таинственно, почему его не допускают туда и только из рассказов он видит эту страшную комнату и страшного и близкого покойника?.. Убит он или умер?.. И если убит, то по чьему приказу?.. Мирович с бледным лицом поднимается на эшафот, преклоняет колени и кладет голову на плаху... Он никого не убивал... Он хотел посадить на престол Императора Иоанна Антоновича, который имеет все права на престол... И кто опять, по чьему приказу убил Иоанна Антоновича?.. Думы сменяются снами, становятся расплывчатыми, неопределенными. Но жуть остается в них. Аббат ухватился ногою за лестницу... Какое страшное у него лицо! Голос палача звучит во сне грубой палаческой насмешкой: «Descendez donc, ne faites pas l'enfant, monsieur l'abbe». Двадцать два года при бабушке в России не было смертных казней. Встает перед ним бабушка, тяжелая, большая, полная. Сладко пахнет от нее восточной амброй, мягкая рука ласкает Пуничку и смотрят, смотрят на него синие глаза с несказанной любовью... Добрая, милая бабушка!.. При ней не было казней. Теперь — казнят... Он точно чувствует холодную, маленькую, твердую руку, как касается она его горячего лба. Он слышит равнодушный голос матери: «Нет никакого жара... Его Высочество просто объелся...» Как холодно от этих слов!..

Пройдут года... Много лет... И некогда вдруг все эти видения раннего детства встанут со страшной силой, все тогда в этот жуткий миг вспомнится, все, что крепло и ожесточалось в детском сердце, и тогда в необъяснимом безумном порыве вернет он из могилы тело отца и поставит его в богатом гробу на высоком катафалке, в большом зале Зимнего дворца, рядом с телом только что умершей матери. Соединит — разорванное... Примирить хочет или устыдить и присрамить перед народом за все совершенное: за Ропшу и за Шлиссельбург?!

И тогда подлинно «привидения станут казаться» потрясенной петербургской толпе.

3. СКВОЗЬ БЛЕСК ПОБЕДЫ И СЛАВЫ ЖУТКИЕ ТЕНИ ЗАВИСТИ

XXI

Восемнадцатого июля 1769 года Императрица Екатерина Алексеевна смотрела эскадру адмирала Спиридова, отправлявшуюся на войну с Турцией.

После смотра Государыня прошла в адмиральскую каюту и осталась одна с адмиралом. Она села на круглый кожаный стул у письменного стола Адмирал стал против нее. Императрица долго и внимательно смотрела в темные глаза адмирала, на его простоватое, обветренное, загорелое лицо. Она достала из ридикюля бумаги и небольшой образ Иоанна Воина и, подавая образ, сказала: «Да хранит тебя, Григорий Андреевич, Господь в этом дальнем походе Надень и носи. Владыка Платон освятил его».

Спиридов перекрестился и надел на шею образ. Императрица развернула письмо и сказала:

— Граф Алексей Григорьевич Орлов пишет мне: «Эскадра наша от осьми до десяти линейных кораблей, и на которой несколько войск наших посажено будет, великий страх причинит туркам, если достигнет до наших мест: чем скорее, тем лучше. Слыша о неисправности морской турецкой силы, о слабости их с сей стороны, надежно донести могу, что оная, не токмо великие помехи причинит им в военных приуготовлениях, поделает великое разорение, понанесет ужас всем магометанам, в кураж и ободрение православным и более страшна им быть может, нежели все сухопутное войско..» Вот, Григорий Андреевич, моя мысль и что я пишу графу Алексею Григорьевичу: «Главная всему нашему плану цель — поднять на турок подвластные им народы...» Твоя экспедиция должна сему содействовать. Граф Алексей Григорьевич поведет с юга сухопутные операции против турок. Ты должен провезти ему сухопутные войска и парк артиллерии. При помощи их граф создаст из христиан, живущих в Адриатике, целый корпус к учинению Турции диверсии в чувствительнейшем месте. Твоя задача помогать и славянам и грекам против Турции, не позволять иным державам доставлять Турции военные припасы... Как это говорится,— с милой улыбкой добавила Императрица,— я хочу чужими руками жар загребать.

На Спиридове новенький — сегодня первый раз надел — гладкий белый парик с тремя круглыми буклями над ушами и черною лентою в косе. Большие глаза под густыми бровями, не мигая, смотрят на Государыню. В каюте тишина,

а подле, за переборкой, на верхней палубе, слышны крики команд, свистки боцманских флейт и топот босых ног. Корабль готовится к маневру.

— Ты меня понял, Григорий Андреевич?

— Я так понимаю, матушка Государыня... Надо турецкий флот уничтожить... Совсем уничтожить., Чтобы — и названия его не было.

Рукою Спиридов как бы отрубает турецкий флот, показывает, как его вовсе не должно быть.

— Как знаешь... Тебе сие дело виднее. У меня ныне в отменном попечении флот, и я истинно так хочу его употребить, если Бог велит, как он еще раньше употреблен не был.

— Понимаю, Ваше Величество. Никто не поверит, Государыня, что русские корабли могут добраться морем из Кронштадта в Турцию. Турецкий султан будет изумлен...

На лице Государыни расплывается горделивая улыбка. Несказанно прекрасным становится молодое царственное лицо. В тесной каюте слышнее запах французских духов Государыни. Маленькая рука тонкими пальцами укладывает в ридикюль бумаги. Сияющие глаза смотрят прямо в глаза Спиридову.

— Изумить, Григорий Андреевич, это — победить!

— Знаю, Ваше Величество,— с тихим вздохом говорит Спиридов.

Государыня встает. Спиридов распахивает двери каюты.

На корабле нет ослепительного солнечного света, и пестрые флажки не играют по ветру. Громадные паруса откинули густую синюю тень на половину корабля и полощут по ветру. Матросы стоят по снастям. У якорного шпиля собраны люди. Все готово к маневру.

— Что же,— усмехаясь говорит Государыня,— покажи, Григорий Андреевич, колико искусен стал мой флот.

На мачте взвилась пестрая лента флажков — сигнал. Застучали у шпиля ногами матросы. Раздалась затейливая длинная морская команда.

Корабли «все вдруг» взяли ветра, повернулись и понеслись ровным строем, взбивая белые буруны пены. Андреевские флаги играли над морем.

Красота!..

XXII

На острове Паросе эскадра Спиридова брала воду. К ней на корабле «Три иерарха» прибыл граф Алексей Григорьевич Орлов.

Точно ярче стало летнее средиземноморское солнце, синее небо и прозрачнее голубые воды проливов, когда по-

явился на шканцах Орлов в полной конногвардейской форме. Высокий, казавшийся еще выше от большого золотого шлема, украшенного перьями, в блистающей кирасире, в орденской мантии — он появился подобный древнегреческим героям Саламина, прекрасный, несокрушимый и прямой. Над «Тремя иерархами» был поднят золотой императорский штандарт — кейзер-флаг. Орлов объявлял этим адмиралам, офицерам и командам, что он требует себе повиновения, как самой Государыне. На мачтах — иерусалимские флаги, чтобы Морея и весь Пелопоннес знали, что русский флот пришел не завоевывать и покорять, но освобождать порабощенных магометанами христиан и стоять за Христову веру.

Все подтянулось с прибытием Орлова... Знали, каким влиянием тот пользуется у Государыни и какая власть ему дана. Его трепетали, но и любили его за прекрасный характер, за доброту, простоту в обращении и приветливость. Его красота влекла к себе. Богатый наряд среди простых морских кафтанов был к месту — он поднимал Орлова над всеми, сближал с Государыней.

Адмирал Грейг с подзорной трубой под мышкой поднялся вслед за Орловым.

— Ваше сиятельство, так рано?..

Орлов, не оглядываясь, протянул руку адмиралу.

— От греков, адмирал, имею сведения, что турецкий флот вчера, двадцать третьего июня, ушел от Пароса к северу.

— Ветер слаб, ваше сиятельство, турецкие корабли не могли уйти далеко.

— Пойдем и мы... К Хиосу, я думаю... А?.. Что?.. Если там не найдем турок,— к Тенедосу... Отрежем им путь к Дарданеллам. Это что за корабль там впереди, под парусами?..

— Наш передовой дозор — «Ростислав».— Адмирал Грейг поднял к глазам трубу.— Ваше сиятельство, с «Ростислава» сигналят.

— А?.. Ну, что?..

— «Вижу неприятельские корабли»...

— А, тем лучше .. Их флот, оказывается, у Хиоса... Прикажи поднять сигнал: «Гнать за неприятелем!..»

Утренняя истомная тишина на корабле, неподвижно стоящем на тихом рейде, где мягко бежали голубые волны и куда с берега наносило пряным запахом ладана, олеандров, еще каких-то цветов и соломенной гари, была нарушена.

Вахтенный барабанщик пробил боевую тревогу. И едва смолкла последняя дробь, как со всех концов палубы стали подниматься белые фигуры матросов. Раздались свистки

боцманских дудок, где-то звонко щелкнул линек по спине зазевавшегося матроса, офицеры разбежались по плутонгам. Тяжелые реи зашевелились, как живые, и с шорохом, наполняя палубу пленительною голубою тенью, стали спускаться паруса.

Очередные офицеры бросились на шлюпки — развозить по кораблям «ордр-де-баталии».

В авангарде должен был идти адмирал Спиридов на «Евстафии» с кораблями «Европа» и «Три святителя». В корде-баталии граф Орлов на «Трех иерархах» с «Януарием» и «Ростиславом», в арьергарде — контр-адмирал Эльфингстон с кораблями «Не тронь меня» и «Святославом». Фрегаты «Надежда благополучия», «Африка» и «Святой Николай», бомбардирский корабль «Гром», пакетбот «Почтальон» и транспорты «Орлов» и «Панин» оставались в общем резерве.

Разослав приказания, Орлов сел в шлюпку и пошел на ней к адмиралу Спиридову для совета.

Когда Орлов с адъютантом Камыниным подходили к «Евстафию», на корабле была мирная тишина. Шестерка Орлова обогнала ординарческую двойку, и главнокомандующий прибыл на корабль раньше «ордр-де-баталии».

Адмирал Спиридов, на ходу застегивая белый парадный кафтан, шел навстречу блистательному Орлову.

«Что твой Агамемнон явился снова в морях Эгейских,— подумал он, подходя с рапортом к Орлову.— Нельзя того отнять — красив, как бог, и обаятелен... Вели-ко-лепен...»

— Пойдем к тебе, Григорий Андреевич,— сказал Орлов, ласково сжимая локоть адмирала.— Потолкуем, Иван Васильевич,— обернулся он к Камынину,— обожди нас, друг. Ординарца с «ордр-де-баталии» задержи, пока я его не кликну.

Они скрылись за низкою в золотых украшениях дверью адмиральской каюты.

Камынин прошел по палубе и, облокотившись на пушку, скрытый ею, наблюдал солдат-кексгольмцев и матросов, сбившихся в тени, на баке. В пестрых камзолах и рубахах нараспашку они лежали и сидели на канатах возле якорных клюзов и около шпиля и слушали, что бойко говорил сидевший на борту фурьер Кексгольмского полка. Это был старый, видимо, бывалый солдат. На плохо бритых щеках пробивала седина. В руках у него была итальянская гармоника. Камынин, стараясь не обратить на себя внимания, подошел ближе и слушал.

— А что я говорю, братишки, не одно, татарин ли крымской или здешний лобанец...

— Ну что болтаешь... Татарин он мухамеданской веры, а лобанец все одно что грек — нашенской.

— Нашенской... Нашенской, поди, сказал тоже — нашенской! Черта его поймешь — какой он нашенской! И на мужика совсем не похож, так, наподобие бабы. В юбку одет.

— Я тоже, братишки, с Махровым в согласии,— сказал пожилой матрос.— Коли он нашенской был бы веры — говори по-русскому или как подходяшше, потому наша вера есть русская — православная, а иное, что — кисляки: «шире-дире — вит ракомодире»... И не поймешь, чего лопочет.

— Попы их... Опять же церквы сходственны с нашими.

— Так... Может и то быть,— вдруг согласился Махров и ладно и красиво заиграл на гармонике.

От утреннего солнца голубые тени ложились от бортов на лица солдат. Кругом было светло и по-южному ярко. Нестерпимо горела медь. По розовому от солнца парусиновому тенту бегали в веселой игре солнечные отражения волн. Крепко пахло морскою водой и канатом. Тихая радость была в природе, и ей так отвечал несколько грустный мотив, напеваемый гармонией.

— Это он нам опять про крымский поход спевать хотит,— сказал молодой кексгольмец.— Невеселая то песня.

— Погоди, узнаешь веселье, тогда поймешь, какие бывают веселые песни,— сказал Махров и негромко и ладно, по-церковному запел:

Женою Адам был на грех прельщен,
За что он был адом поглощен,
По что ж велел нам быть женам послушным
И против их быть слабым и малодушным;
По желаньям их во всем им угождать,
И для них, странствуя в трудах, нам умирать.

— Завсегда с Адама начинает,— сказал молодой кексгольмец.

— Не мешай, брателько, ладно он это начинает.

— И где он такую гармонь достал?..

— Ладная гармонь... Ровно как бы орган немецкий.

— Сказывали — в Неаполе, что ли, за два червонных купил.

Адам в паденье сам трудно работал,
По что же свои лопатки он нам отдал...
По смерти своей во ад хоть и попался сам,
А Каинову злость и зависть оставил нам,
До воскресенья ж и сам рая не получил,
А суете мирской он народ весь научил.

— Ну, замурил свое,— недовольно сказал, вставая и вскидывая на плечи кафтан, плотный и крепкий боцман.— Не такие песни правильному гренадеру играть. Почто ребят мутишь! Глупая вовсе твоя песня.

— Народ сложил,— коротко бросил Махров.

— Нар-род... Солдатня, что палками, знать, мало учили... Кутейники. Оставить енту песню надоть...

— Зачем, Богданыч, мешаете?.. Кому она не ладна, пускай не слухает.

— А табе ндравится?..

— Что ж, ладная песня. Быдто церковная.

— Це-ерковная... много ты сокровенного не видишь. За тот смысл линьками надоть отодрать.

Ныне же Адам и с Евою живет в раю,
А нас оставил в проклятом Крымском краю,
Показав, как дрова рубить косами
И собирать в поле навоз нашими руками;
День и ночь кизяки на плечах носим
И в том Тебя, Господи, и праотца просим...

Махров хотел продолжать, но на шканцах раздался взволнованно-веселый крик:

— Свистать всех наверх!..

Барабанщик ударил боевую тревогу. Тихий, дремавший в море корабль наполнился трелями боцманских дудок, криками команд, топотом босых матросских ног, шелестом тяжелых парусов, скрипом рей и канатов.

«Евстафий» снимался с якоря.

XXIII

Послав по кораблям «ордр-де-баталии», Орлов усумнился в правильности отданного. В сущности, он ничего не знал о турецком флоте Рассказы греков не в счет. Он ночью прибыл к эскадре и, увидав сигнал: «вижу турецкие корабли»,— приказал в душевном порыве «гнать за неприятелем». Он приехал спросить Спиридова, как смотрит тот на такой приказ.

— Ты не знаешь, кто против нас?..— спросил Орлов, садясь на табурет у стола, на котором была разостлана морская карта Эгейского моря, испещренная малопонятными ему значками.

— Весь турецкий флот, ваше сиятельство.

— Вот как!.. Весь, говоришь, его флот?

Орлов почувствовал, как непроизвольно задрожала у него левая нога и на мгновение потемнело в глазах.

— Весь, ваше сиятельство,— кротко повторил Спиридов.— Против нас капудан-паша Джейзармо-Хасан-бей, и с ним шестнадцать линейных кораблей, шесть фрегатов, а мелочи не счесть.

— В два раза сильнее нас!

— Почитай, что в три.
— Мне греки говорили иное.
— Того не могу знать, ваше сиятельство.
— Но... все-таки?.. Я приказал — гнать за неприятелем?
— Так точно, ваше сиятельство.
— Что же делать?..
— Атаковать, ваше сиятельство.
— Подумавши, Григорий Андреевич!

Несколько времени в каюте стояла тишина. Слышен был прозрачный звук плеска волны о борта корабля, и издалека, с бака, доносилась игра на гармонике и чей-то голос, певший мерную, печальную, точно церковную песню. Слов нельзя было разобрать.

— Думать много не приходится,— наконец сказал Спиридов.— Они оякорены — мы на ходу. Они в бухте — мы в море. Они не могут все сразу выйти из бухты. Будем атаковать их, начиная с ближайших кораблей, отделяя на каждый неприятельский корабль один наш, а как ближайшие будут разбиты, всеми силами ударим на остальных.

— И?..

— И... уничтожим турецкий флот во славу России и Государыни.

На переборке, над столом с картою, висел небольшой овальный портрет Екатерины. Из золотой рамы, из-под напудренных волос остро и умно смотрели прекрасные глаза. Маленький властный подбородок смыкал чистый овал прелестного лица. Орлов встал и пронзительно смотрел на портрет. Точно молился на него.

— Что же, Григорий Андреевич, ординарец с «ордр-дебаталии» тебя ожидает. Тебе в авангард... Прикажи пробить боевую тревогу. С Богом! Порадеем о славе нашей Государыни!.. Порадуем ее.

Спиридов молча поклонился.

Когда Орлов возвращался на «Три иерарха» — все суда авангарда набирали ветра, белый бурун играл по синему морю под высокими носами, и раззолоченные, в лепных украшениях, блистающие стеклами кают корабельные кормы мягко покачивались на невысокой волне, оставляя за собою прозрачный зеленый след с играющими белыми пузырьками.

Турецкий флот увидал русскую эскадру и с полным ветром выходил из-за острова Хиоса.

Впереди русского авангарда на «Европе» шел капитан Клокачев. За ним «Евстафий» с адмиралом Спиридовым.

Спиридов, в черной шляпе с золотым галуном, в парадной форме, при звезде и ленте, с образом Иоанна Воина,

благословением Государыни, на груди, стоял на шканцах. Он видел, как «Европа» сближалась с турецким флотом и красивым маневром загибала бортом вдоль неприятеля, готовая открыть огонь со всех деков.

— Так... так,— говорил Спиридов, не сводя глаз с «Европы»,— правильно... А!..— вдруг болезненно вскрикнул он и схватился за рупор.— Что такое?... Да что он?.. С ума спятил?..

Капитан Клокачев, так же, как и Спиридов, в парадной форме стоял на шканцах позади рулевого колеса, имея подле себя лоцмана-грека. Лоцман рукою показывал, куда править. Вдруг, и уже тогда, когда корабль подходил на пушечный выстрел, лоцман показал матросам взять мористее — в сторону от первого турецкого корабля.

— Что ты делаешь, несчастный? — крикнул Клокачев.

— Нельзя там, капитан...— растерянно бормотал лоцман.— Скала подводный... Разобьешь корабль... Я знай. Сворачивай корабль...

Капитан Клокачев скомандовал поворот «Европа» описала дугу и повернула кормою к неприятелю, в то же мгновение на ее место вошел «Евстафий». Он шел с туго надутыми парусами, в чинном порядке, как и полагается на адмиральском корабле. Их кормы проходили так близко одна от другой, что Клокачев видел красное сердитое лицо своего адмирала.

— Капитан Клокачев!.. Капитан Клокачев!..— кричал в рупор Спиридов.

— Есть капитан Клокачев,— вытягиваясь и снимая шляпу, ответил с «Европы» Клокачев.

— Поздравляю вас... ма-тро-сом!..

И в тот же миг все три дека «Евстафия» окутались пороховым дымом и страшный гром оглушил Клокачева. Весь турецкий флот ответил на залп «Евстафия». Каленые ядра полетели на палубу адмиральского корабля, ломая реи, разрывая в клочья паруса.

Спиридов вынул из ножен шпагу и спустился на палубу

Он шел по палубе, точно не замечая ни убитых, ни раненых, ни того беспорядка, который был на корабле.

— Музыкантов наверх,— крикнул он.— Капитан Круз, почему нет музыки?..

— Я сейчас, Григорий Андреевич...

— Сейчас... Сейчас... Надо было сразу... Нацельте ваш корабль на «Реал-Мустафу»... На нем флаг Джейзармо-Хасан-бея... Дарю вам его.

— Есть, Григорий Андреевич.

Спиридов дошел до бака.

Среди обломков рей, обрывков парусов, в лужах крови лежали убитые и раненые матросы и артиллеристы. Бледные

музыканты со своим старостой выстраивались вдоль шканцев. Адмирал направился к ним.

— Играй!.. Играй, черт возьми! — крикнул он.

Ядро свалило валторниста.

— Играй до последнего!

Спиридов повернул назад. Вслед ему раздались звуки труб и треск барабанов. Музыка странно сливалась с грохотом пушек, свистом ядер, треском лопающихся брандкугелей и стонами и криками раненых. Она входила в эти звуки и была чуть слышна.

— Тесно... Душно... Да, жарко,— бормотал про себя Спиридов, оглядывая корабельную палубу и мачты. — Хорошо полезли... Черти, право, черти... Нет, таких матросов, как наши, нигде не сыщешь!.. Как они там копаются!.. Не могут навязать грота! На кливер, черт возьми, на кливер подойди!.. Близко вовсе. Марселя порвало!.. Жарко!.. Душно-то как!

Опять пошел к шканцам. Музыканты сомкнулись между убитыми и что-то трубили. Увидав адмирала, перестали играть. Старшина их был убит. Они думали, что адмирал их отпустит.

— До последнего!.. Сказал — до последнего!.. Играй!..

Солнце нестерпимо пекло. Шел первый час дня. Совсем близки — казалось, вот они, рукой подать — были турецкие «топчи» и «арабаджи» в расстегнутых синих куртках и красных фесках.

Страшный треск раздался сзади адмирала. Тяжелая рея грот-мачты была перебита ядром и, увлекая парус, обрушилась за борт. Бизань-мачта, как косою скошенная, рухнула в море, накреняя корабль.

— Григорий Андреевич!..

— А, кто там?..

Капитан Круз салютует со шканцев шпагой.

— Григорий Андреевич, управление потеряно. Мы падаем под ветер.

— Отлично, милый... Ветер несет нас на «Мустафу». Приготовьтесь к абордажу!

Густой пороховой дым белыми облаками по палубе ходит. С одного конца не видно, что делается на другом. Люди — как тени. Мало что-то людей... Першит от дыма в горле и ест глаза. Пушки — в упор бьют. Огненный жар обжигает тела. Неба за дымом не видно. Внизу море кипит и кажется совсем черным. Тяжело переваливаясь, на одних кливерах «Евстафий» надвигается на турецкий корабль. Пронзительны крики турок. Протяжные звуки чужих сигнальных рожков раздаются без перерыва. Глухо бьют барабаны: «Там, там, там-та-там». На «Евстафии» музыка подхватила наступной марш.

Высокий бушприт с ослабевшими вантами надвинулся на «Реал-Мустафу». Разрывая снасти, как паутину, он заклинился между грот- и бизань-мачтами.

Офицеры кричат:

— На абордаж!.. На абордаж!..

Громче и быстрей наступной марш. Офицеры выхватывают шпаги и впереди матросов и солдат прыгают на турецкий корабль. Горохом прокатился мушкетный залп.

Спиридов стоит на борту подле самого турецкого корабля. Он видит все... Вот матрос, извиваясь, как кошка, проскользнул к корме. Он ухватился за красный флаг с белым полумесяцем и тянет его, чтобы сорвать. Турок ножом ударил матроса по руке. Тот отпустил руку, но схватился сейчас же другой и уже наполовину оторвал флаг, но тут подбежал ашкер и отрубил саблей руку матросу. Тот ухватил надорванный флаг зубами и упал с флагом, заколотый турком. Дым покрыл их всех.

— Ай, молодца!.. Ай, славно!.. Как учили,— говорит восторженно Спиридов и идет ближе к носу.

На турецком корабле неистовы крики ярости и вой ашкеров, но все громче, властнее и решительнее русское «ура». Оно говорит о полной победе.

Громадный грот «Реал-Мустафы», полоскавшийся на знойном ветру, вспыхнул, как пороховая нитка. Красные огненные змейки побежали по просмоленным канатам вант и зажгли мачту. Под шканцами занялся пожар. Русские матросы, презирая пламя, вскочили на шканцы и бросились на Хасан-бея. Тот, размахивая саблей, проложил себе дорогу к борту и прыгнул в море.

— По-нашему!.. Молодец, Хасан,— сказал Спиридов.

— Чего изволите? — спросил стоявший за ним его ординарец граф Федор Орлов.

— Молодец, говорю, даром что турок. Приятно с такими и драться. А где капитан Круз?

— На своем посту, на шканцах.

Мачта турецкого корабля в огневых языках рухнула на «Евстафия», проломила борта и упала на крюйт-камеру. Сейчас взорвет корабль.

— Свое дело мы сделали,— сказал Спиридов и крикнул по пустынной палубе: — Спасайся, кто может. Капитан Круз! Кончено!

Капитан Круз отсалютовал шпагой.

— Я останусь, Григорий Андреевич... Согласно статуту.

— Дело ваше!.. Ваше дело-с! Вы — капитан!.. Только сейчас и взорвет-с!..

— Есть, Григорий Андреевич.

Спиридов, Орлов и остатки команды прыгнули в теплые волны, отражающие пламя пылающих кораблей. Посланные с других кораблей эскадры шлюпки спешили к ним. Капитан Круз кричал со шканцев, чтобы отбуксировали «Евстафия» от турецкого корабля. Кто-то кинул конец. Но корабли плотно сцепились, и не было возможности оттащить «Евстафия» от пылающего «Реал-Мустафы». На лодках оставили эти попытки и стали подбирать плавающих людей. Вдруг столбы пламени и дым взлетели к небу, море разверзлось, протяжный грохот взрывов оглушил, корабли исчезли в дыме. В море сыпались балки, реи, обрывки веревок и парусов. Пушечная пальба смолкла, и стало томительно тихо.

Взъерошенная и поднятая взрывами волна успокаивалась. Море было бутылочного, зеленого цвета. Обломки кораблей плавали по нему. Люди цеплялись за них, и между, плавно колышась, ходили русские лодки, подбирая живых, вылавливая мертвых. Так забрали раненого Хасан-бея, подобрали плавающих в воде адмирала Спиридова и графа Федора Орлова, оглушенного взрывом и выброшенного с корабля в море капитана Круза, девять офицеров и пятьдесят одного матроса. Это все, что осталось от громадного экипажа «Евстафия». Двадцать два офицера и пятьсот девять человек команды и солдат-кексгольмцев погибли в бою, во время взятия на абордаж турецкого корабля и при взрыве обоих кораблей.

Музыканты играли до последнего.

XXIV

Главные силы, под командой графа Орлова шедшие сзади, были свидетелями славного боя и гибели «Евстафия». За дымом не было видно, куда же девался остальной, такой многочисленный и сильный турецкий флот.

Корабль «Три иерарха» медленно наплывал в полосу дыма. С правого его борта вдруг показалась высокая — не наша — корма корабля. Красный флаг с белым полумесяцем на ней развевался. По ней дали залп из пушек. За пушечным дымом корма скрылась, и, когда дым рассеялся, ничего не было видно, то ли потопили корабль, то ли ушел он в сторону.

Грохот орудий, крики, барабанный бой, временами казалось, что и музыка там, где шел бой авангарда, продолжались почти два часа, потом вдруг раздалось два, один за другим, страшных взрыва, и все стихло. Еще раньше Орлов приказал послать шлюпки со всех кораблей к месту боя.

Дым ложился на воду и относился к берегу. Медленно открывались дали. Под самым горизонтом белели паруса турецкого флота. Его корабли, огибая остров Хиос, шли к азиатскому берегу, к Чесменской бухте.

В шестом часу вечера, когда ветер стал стихать и паруса полоскали, а под кормой не играл бурун, но корабли медленно, едва заметно приближались к берегу, показалась Чесменская бухта. Русский флот стал против нее на якоре. Капитан Грейг на бомбардирском корабле «Гром» под веслами пошел на разведку «состояния и расположения турецкого флота».

Мокрый адмирал Спиридов в капитанской каюте «Трех иерархов» переодевался и спокойно докладывал сидевшему против него на табурете Орлову о ходе боя, о победе, о гибели «Евстафия» и «Реал-Мустафы». Внизу пленнику Хасан-бею доктора делали перевязки.

Камынин, помогавший Спиридову одеваться в чужое платье, вышел на палубу. Какие-то струны дрожали в его теле; лихорадочная дрожь била его.

«Адмирал Спиридов... Мокрый, в парадном, прилипшем к нему мундире, с орденской лентой, к которой пристали медузы... сотни раненых и убитых, которых все носят и носят со шлюпок на корабли... Корабль наш погиб, и погиб один, один только турецкий корабль!.. Их вдвое, втрое больше!.. Что же дальше?.. Дальше-то что?.. Ведь это — уходить надо!.. Ну, хорошо, сегодня одним кораблем ограничилось... Могло быть и хуже... Взрывы... Пожар... Обугленные люди плавают в воде... В дыму, словно призрак, надвинулась корма турецкого корабля... Дали залп... Матросы, солдаты видели весь этот несказанный ужас. Море никого не щадит... Адмирал Спиридов, кому Императрица пожаловала икону *Иоанна Воина, бледный, изнеможенный, он более часа* плавал в воде, переодевался в каюте и рассказывал... И у него, как у простого матроса, была одна участь... Сколько офицеров погибло. Тишка, крепостной слуга Спиридова, стягивал со своего барина приставший к белью камзол и плакал горькими слезами... Ужасно... Кто теперь из матросов, видавших все это, пойдет в такой страшный, неравный бой?»

Чесменский залив между двумя мысами, северным, далеко уходившим в море, и южным отдельными скалами, точно клешнями краба, отделявшими горловину бухты, глубоко вдавался в материк. На сером плоскогорье под низкими редкими маслинами белели низкие постройки и тонкие минареты мечетей. Закатное небо покрывало их розовой краской. Нестерпимо блистали окна домов, и ярко было золото куполов. На северном мысу были ряды круглых турецких палаток. Легкий вечерний ветер от берега потянул и принес волнующий «чу-

жой» запах ладана, чеснока, пригорелого бараньего жира и еще чего-то сладкого, пахнущего ванилью. С берега доносился далекий рокот барабанов и звуки рожков. Что-то протяжно там люди кричали. В бухте тесно сбились суда. Мачты и реи, ванты и снасти будто черною сетью накрыли бухту.

Мирный, красивый вид азиатского берега казался ужасным. В нем была «последняя печаль».

Медленно уходит солнце за море. Темные, таинственные берега. Тут, там зажглися огни. Все тише и тише у турок. Луна поднимается из-за берега.

«Что решили они?.. Неугомонный, веселый, чему-то обрадованный Орлов — его брат едва не утонул — и этот спокойный, все посмеивающийся, такой жалкий, без парика, с неровными черными отросшими волосами Спиридов... Неужели они не видят, как громаден турецкий флот?.. Как велики наши потери?.. Кто же останется?.. Господи, всех погубит, зачем?.. Неужели адмирал Спиридов будет настаивать на своем? Неужели он не потрясен?.. Я вчуже за него не могу прийти в себя. О чем они там советуются?.. Вызвали артиллерийского генерала Ганнибала... Вон побежал вестовой, кличут капитан-лейтенанта Дугдаля, лейтенантов Ильина и Мекензи и мичмана князя Гагарина... Мальчишки! Говорят, вызвались охотниками на какое-то отчаянное предприятие... Гагарин-то зачем?.. Жених прелестной девушки, брат Государыниной фрейлины, любимец петербургских дам и барышень... Господи, что они, с ума посошли все?.. Мое мнение... меня о нем, впрочем, совсем и не спрашивают,— уходить, пока целы, живы и здоровы... По-моему, и матросы так же смотрят... Вчера пели... Да, пели, нехорошо пели про государынь... намеки... Кто-то из них понимал это все... Опасная игра. Да не пойдут матросы, не пойдут солдаты... Довольно... Домой... Хочу домой...»

Лунная июньская ночь колдует, ласкает, нежит, навевает сладкие сны, поет о жизни, о любви. Из иллюминаторов капитанской каюты струится по воде золотой, пламенный поток. С «Европы» доносится тоскующее, но и какое отрадное, панихидное пение. Там идет отпевание тех, чьи тела выловили из воды.

«Вечная память». Ужасно! Как можно все это снова перенести?»

Камынин прошел в свою каюту, разделся, лег на койку и забылся в тревожном, полном кошмаров сне.

Камынин проснулся. Заботная мысль, страх не покидали его. Бой казался невозможным. Он прислушался.

Было утро. В открытый иллюминатор шли свежесть и запах моря. По крашенному белой краской потолку причудливым золотым узором играли отражения волн. Звонко плескала вода о борт. Было ясно, должно быть, солнце только что взошло, было отрадно, свежо и радостно. Звериное чувство бытия охватило Камынина. Безумно захотелось домой. Подумал о матросах, как им, должно быть, хочется тоже домой!..

Совсем близко, под самым иллюминатором, стучит топор, и звук этот, отражаясь о воду, точно двоится. Мягкий, приятный тенор негромко поет:

Как на ма-а-тушке, на Не-еве-реке,
На Ва-аси-ильевском...

Пение прервалось, и тот же мягкий тенор, который пел, сказал под иллюминатором:

— Ипат... а Ипат... Как полагаш, грекам за лодки заплотят?..

— Надо полагать, что заплотят... А табе-то что?..

— Что?.. А ничего...

Пение продолжалось.

На Ва-а-асильевском... было острове...
Мол-а-о-дой ма-атрос корабли снастил...

— Им, чай, тоже судов-то во как жалко... Погорят, говорю, суда-то... Лодки... Говорю... Пропадут почем зря.

— Ну и что... Вон люди и те как обгорели... Видал, Махрова, гармониста вчера похоронили... Не узнать, что и человек был. Черный весь, и нога обуглена... А человек был. А то лодка. Это что.

— Да я говорю — ничего

Ко-а-орабли снастил,
О две-о-надцати белых парусов..

— Им непременно лодок-то во как жалко. А отказать не посмели.

— Как отказать?. Им — откажи они только — граф им показал бы, какой отказ-то бывает... Видал, как на ноках вешают?..

— Не прилучалось...

«О две-о-надцати белых парусов...»

Камынин подошел к иллюминатору У корабля на «выстрелах» причалены большие греческие парусные лодки На них матросы что-то приспосабливают

— Вы что, ребята, тут делаете?..— спросил Камынин.

И тот, кто пел, белокурый, без парика, голубоглазый матрос, певучим тенором ответил:

— Брандеры, ваше благородие, приспособляем... Приказ такой от генерала Ганнибала.

Ночные тревоги и страх вдруг с новою силою овладели Камыниным. Он быстро встал и пошел к флагманскому офицеру узнавать, в чем дело.

Турецкий флот в составе пятнадцати кораблей, шести фрегатов, шести шебек, восьми галер и тридцати двух галиотов укрылся в Чесменской бухте. Там же стоит много купеческих кораблей. В бухте теснота и беспорядок. Одни стоят носами к NW, другие к NO[1] — уткнулись в берег, повернулись к нам бортами. Командующий турецким флотом Джейзармо-Хасан-бей лежит израненный в нашем судовом лазарете. Турецкий флот без головы. На вчерашнем совете Орлов и Спиридов решили уничтожить неприятельский флот Сегодня ночью наша эскадра с ночным бризом должна подойти вплотную к туркам, так, чтобы не только батареи нижнего дека, но и верхние малодальнобойные пушки могли бы действовать. Когда разгорится бой — четыре парусные лодки, управляемые офицерами-охотниками, должны кинуться на турецкие линейные корабли, воткнуть в их борта гарпуны с минами, поджечь эти мины и взорвать корабли...

Так рассказывал — и со смаком! — флагманский офицер Камынину.

— А сами? — спросил Камынин.

— Ну, сами, если успеют, уйдут на веслах на шлюпках.

— А если нет?

— Взорвутся.

— Да-а-а...

— Капитан Грейг с кораблями «Европа», «Ростислав», «Не тронь меня», «Саратов», и с фрегатами «Надежда» и «Африка», и бомбардирским кораблем «Гром», и четырьмя брандерами будут атаковать турок, как только на корабле, на котором будет главнокомандующий, поднимут три фонаря на мачте — сигнал для атаки.

У Камынина отлегло от сердца. Флагманский офицер ничего не сказал о «Трех иерархах». Он смотрел веселыми глазами на Камынина

— Адмирал не сомневается в победе. Граф тоже. Он будет держать свой кайзер-флаг на «Ростиславе».

Совсем подавленный Камынин ушел от флагманского офицера.

«Черт связал меня с этим самым графом»,— думал он.

---

[1] К северо-западу и северо-востоку.

XXV

Под вечер граф Орлов с Камыниным перешли на шлюпке с «Трех иерархов» на «Ростислава». Орлов прошел в капитанскую каюту к Грейгу, Камынин остался на палубе. Он был совершенно подавлен и боялся, что граф заметит его настроение.

Солнце спустилось в море, из-за азиатского берега румяная, точно заспавшаяся луна выплыла на темнеющее небо. Все стало таинственным и призрачным в ее свете. Дали плавились и исчезали. Голубая, прозрачная и вместе с тем непроницаемая стена становилась между флотом и берегом. На кораблях спускали на ночь флаги. Играли горнисты, и били барабанщики. Команды, вызванные наверх, пели «Отче наш». Слова молитвы перекрещивались, переносясь с корабля на корабль, и точно тонули в ночной тишине. Команды разошлись по декам, но коек не навешивали. Напряженная тишина установилась по кораблям...

Камынин видел, как шли таинственные, молчаливые приготовления. Большие греческие парусники на веслах медленно и неслышно пошли к «Ростиславу» и стали на причалах у борта. Капитан-лейтенант Дугдаль, лейтенанты Ильин и Мекензи и мичман князь Гагарин в парадных свежих париках и новых кафтанах поднялись на борт «Ростислава», и Камынину было видно, как сели они у борта недалеко от шканцев. В мутном лунном свете были видны их белые фигуры. Они о чем-то дружно переговаривались, и было видно, как ярко блистали в улыбке ровные белые зубы князя Гагарина. Они знали, на что шли. Они знали, что они или взорвутся вместе с турецким кораблем, или их еще раньше убьют турки и потопят из пушек или из мушкетов. Что у них?.. Есть ли хотя один шанс на победу?.. Смеются, шутят, толкают друг друга... Или Камынин один такой — трус!.. Другие как-то просто, иначе смотрят на все, во всем ищут не плохое, но хорошее, верят в победу и никогда не теряют офицерской бодрости.

Спокойная, полная отрадной свежести ночь стояла над миром. На турецком берегу погасли последние огни. Камынин все сидел у борта на пушечном лафете. Орудийная прислуга лежала подле на палубе. Никто не спал. Артиллеристы молчали, и только слышно было, как тихонько, чтобы не потревожить тишину и торжественное молчание ночи, переговаривались редкими фразами, должно быть, подшучивали друг над другом молодые офицеры-охотники с брандеров.

От лунного света побежали по морю таинственные мерцающие дороги, по кораблю легли голубые нежные тени.

Камынину казалось, что тишина ночи стала зловещей. По шканцам взад и вперед ходил вахтенный офицер, и звук шагов его далеко разносился по воде. Пробили склянки на «Ростиславе», им ответили на «Европе», потом донеслось с «Не тронь меня»... Замерли где-то далеко в море...

Камынин надавил золотой английский брегет. Чуть слышно, мелодично пробило одиннадцать и еще один удар. С моря задул свежий ветер. Волна набежала на борт и плеснула, за ней другая. Чуть заметно, плавно покачнулась палуба. На серебряных лунных путях пошла несказанно красивая игра волн. Ночной ветер стал посвистывать в вантах над головою Камынина, запел свою однообразную песню. После знойного дня приятна была морская свежесть. Так хотелось, чтобы так вот все и было и ничего больше не случилось.

От капитанской каюты босиком пробежал по палубе матрос и поднялся на шканцы. В ночной тишине был громок его таинственный шепот доклада вахтенному начальнику.

Вдруг большой красный фонарь засветился желтым огнем на шканцах, за ним другой и третий. Какою-то невидимою снастью фонари эти приподнялись над шканцами и медленно и непрерывно поползли к клотику грот-мачты. Было в их движении нечто страшное, непреодолимое, как рок.

Сигнал атаки.

Ни команды, ни свистка. Все знали, что делать, все были предупреждены заранее и только ждали этого сигнала. Без крика, без обычной лихой боцманской ругани по палубам, по вантам и реям разбежались матросы. Паруса стали спускаться и покрывать мачты. Зашевелились корабли.

Первым должен был атаковать фрегат «Надежда», но на нем что-то не ладилось с парусами. Тяжелый грот вырвало из рук матросов, и он хлопал по ветру. Подле «Ростислава» брала к ветру «Европа».

«Старается Клокачев,— подумал Камынин,— хочет сгладить свою неудачу третьего дня. Матросом-то не хочется быть. Сильно рассердился тогда Григорий Андреевич... Горячий человек!..»

Сбоку медленно проходил корабль «Три иерарха». Луна заливала светом его палубу. Камынин увидал на шканцах весь штаб адмирала и самого Григория Андреевича впереди, в полном параде.

Адмирал взял в руки серебряный в лунных лучах рупор и через «Ростислава» кричал на «Европу»:

— Ка-пи-тан Клокачев!.. Никого не ждите!.. Идите на неприятеля!..

Все реи на «Европе» вдруг повернулись, крепко надулись паруса, «Европа» дрогнула и, раздвигая серебром заиграв-

шие под нею волны, стала быстро уходить по направлению к берегу.

Незаметно прошло в тишине ночи еще полчаса. Весь русский флот блистающими призраками наплывал к Чесменской бухте.

«Европа» первая открыла огонь со всех бортов по бухте, и ей громом ответили турецкие корабли. Яркое пламя пушечных выстрелов вспыхивало молниями и сразу погасало, пушечные выстрелы, эхом отдаваясь о берег, сливались в непрерывный гром.

У Камынина гудело в ушах и першило в горле. Пороховые дымы в ночи создали непроницаемую завесу. Ничего не было видно. Вдруг налетело ядро и прорвало снасти над головою Камынина. Он вскочил и, отбежав от борта, прижался за мачтой. Пушечная прислуга стала у пушек. Заряжали орудия. «Ростислав» поворачивался, готовясь ударить со всех деков. За «Ростиславом» в дымах и лунном мареве показался высокий в лепных украшениях нос «Не тронь меня» с длинным бушпритом, занавешенным парусами, под флагом Эльфингстона... Белый бурун играл под ним. В лунной зыби чуть виднелись другие корабли.

Гул пушечного залпа оглушил Камынина. Стреляли со всех трех деков. Пламя залпа на мгновение ослепило Камынина, и в тот же миг густое облако едкого дыма поглотило корабль.

Камынин ничего не мог разобрать. Кто стреляет?.. Разве могут видеть, куда бить?.. Зачем вдруг побежали эти люди с горящим каркасом на веревке?

Он стал следить за ними. С ужасом, заледенившим его тело, увидал прямо перед собою и несколько ниже паруса турецкого корабля и услышал точно подле себя неистовый вой ашкеров.

— Кидай!.. Кидай, тебе говорят, болячка тебя задави!.. Выше кидай! — Дальше шла виртуозная боцманская ругань.— Не зевай, кид-да-ай!..

Ярко вспыхнул красным пламенем огневой каркас и полетел на турецкий корабль. Он описал в воздухе крутую дугу и попал на рубашку грот-марселя. Тот вспыхнул, как бумага. Огонь побежал по турецкому кораблю. Загоревшаяся грот-стеньга рухнула на палубу, и в вихрях пламени и дыма корабль исчез так же неожиданно, как и появился. Уже, казалось, совсем далеко было оранжевое пятно его пожара.

Камынин услыхал, что кто-то кличет его со шканцев. Потрясенный только что виденным турецким кораблем, шатаясь, хватаясь руками за снасти, он пошел к корме. На шканцах капитан Грейг вызывал кого-то.

— Капитан-лейтенант Дугдаль,— кричал он вниз в море, где сплошной дым клубился. Оттуда приглушенно хриплый раздался голос:

— Есть капитан Дугдаль.

— Видите что?..

— *Нет видимости.*

Орловский бархатный голос приказал сверху:

— Все одно... Валяйте... Пора!..

Камынин нагнулся за борт. В облаках порохового дыма от «Ростислава» отвалил парусный баркас и, набирая ветра, пошел в неизвестность. Скрылся в дыму.

— Лейтенант Мекензи!.. Лейтенант Ильин!..

— Есть лейтенант Ильин.

Орлов, должно быть, увидал внизу у борта Камынина.

— Иван Васильевич,— весело закричал он.— Вот ты где, братец, а я тебя послал искать... Надо и тебе, брат, отличиться... Ступай-ка на брандер с Ильиным.

Камынин вздрогнул. Привычка повиноваться заглушила страх. Камынин стал говорить не то, что думал, стал делать не то, что хотел.

— Слушаю, ваше сиятельство,— через силу крикнул он.

— Ильин, возьмешь полковника!

— Есть — взять полковника!

Дрожащими ногами по веревочному трапу Камынин стал спускаться в лодку Крепкие, сильные матросские руки его подхватили, и он, сам не понимая как, очутился в неудобной сидячей позе на дне большого баркаса. Кругом него, притаившись за бортами, сидели матросы. Молодой Ильин стоял на самом носу и, отводя рукою полощущий кливер, давал знаки рулевому Лодка нагнулась под порывом ветра, выйдя за «Ростислава», повернула и, зарывшись в волне, понеслась в неведомую даль.

Грохот совсем близкой пушечной пальбы оглушал Камынина. Луна призраком стояла над дымными клубами. То и дело со свистом проносились в воздухе туда, назад ядра, свои, турецкие, они шлепали то тут, то там по воде, вздымая блестящие фонтаны.

Все так же на носу в напряженной позе стоял Ильин. Сзади него гигант, здоровеннейший детина, боцман, в одном камзоле, без парика, с сивыми волосами, держал что-то большое, черное, оканчивавшееся острогой с крюком. На лодке было так тихо, что сквозь грохот пальбы было слышно, как вполголоса говорил Ильин рулевому:

— Право руля!.. Так держать!.. Еще право руля!..

Видал Ильин что-нибудь? Во всяком случае, он куда-то направлял лодку Перед лодкой была сплошная стена дыма.

У носа причаленная к баркасу пустая шлюпка с уложенными в ней веслами рыскала по волнам. Вода журчала под нею.

Вдруг в дымной полосе прорежутся красные огни пушечного залпа, и на мгновение призраком покажется нечто громадное, черное. Ильин торопливо зашепчет:

— Лево руля!.. Еще лево руля!.. Так держать!

Баркас несется прямо на огни. Но там уже ничего не видно. Дым, серебряный лунный сумрак, грохот пальбы и будто крики и вопли людей.

Вдруг сразу и тогда, когда Камынин меньше всего этого ожидал, над самою его головою разверзлось красное небо и рявкнул неистовый грохот ужасного залпа. Горячим, обжигающим дуновением охватило лицо. В нескольких футах от баркаса показались высокие корабельные борта. Дикие крики на непонятном языке раздались совсем подле.

И спокойный голос Ильина:

— Готово, Петрович?..

— Есть, запаливай, барин!..

— На руле!.. Держи на крюйт-камеру!

Баркас стукнулся носом о борт корабля. Матрос подал дымящий пальник Ильину, боцман Петрович с размаху всадил бранд-кугель в черный борт, и мелкими искрами быстро побежал огонь по запальному фитилю.

Все кинулись в лодку. Растерявшегося Камынина кто-то бросил на самое ее дно, и он не помнил, кто и как его посадил на задней банке рядом с Ильиным.

Матросы гребли короткими сильными гребками.

— Петрович, не видишь, горит?..

Взволнованный Ильин оборачивается назад.

— Где ж увидать... Ничего как есть не видно,— отвечает сидящий загребным боцман.

Лодка прыгала по волнам.

Вдруг громадное пламя метнулось и охватило полнеба. В нем наметились корабли, снасти, порванные паруса, хаос и беспорядок... И «ба-ба-а-ах» — пронесся страшный взрыв и отдался многочисленным эхом о берег.

Кругом падали обломки корабля.

— Хорошо взяло... Навряд ли кто живой на нем остался,— сказал Петрович и, перестав грести, медленно перекрестился.— Хоть и поганые, а все люди,— проговорил он и снова взялся за весла.— Ну, навались, ребятки!..

Как только раздался взрыв, все корабли русской эскадры открыли беглый пушечный огонь. Орлов приказал для усугубления паники и задним кораблям, которые не могли

стрелять из опасения попасть в своих, стрелять холостыми зарядами.

На тесном пространстве Чесменской бухты был огненный хаос. Ветер дул с моря. Он наносил горящие обломки на турецкие корабли. Выходить из бухты надо было на гребных буксирах, лавировать в тесноте было невозможно. Иные поставили паруса и пытались выйти, другие спустили шлюпки. Зажигательные ядра воспламеняли паруса. Пожар широкою волною разливался по судам. Купеческие суда загромождали берег. За первым взорвавшимся кораблем воспламенился другой. Пожар охватывал судно за судном. Обезумевшие люди не слушались команд и кидались в море. Неуправляемые корабли сталкивались один с другим и распространяли пожар.

По всему этому аду непрерывно били ядра, разрушая корабли, поражая людей и увеличивая смятение.

В четыре часа утра на русских судах протрубили «отбой».

Ветер погнал пороховые дымы на берег. Красное зарево заливало полнеба. Турецкий флот сгорал. От него отделился стоявший впереди и с края и потому не тронутый пожаром корабль «Родос», он отошел от бухты, убрал паруса, бросил якорь в кабельтове от русского флота.

Белый флаг сдачи был поднят на нем. От него шли шлюпки к русским кораблям.

Турецкий флот был совершенно уничтожен. Весь архипелаг был во власти эскадры Орлова.

XXVI

С известием о чесменской победе и уничтожении турецкого флота к Императрице были посланы лейтенант Ильин и полковник Камынин.

Но гул победы докатился до Зимнего дворца еще до их приезда. Государыня узнала о победе от курьеров Задунайской армии и из притворно льстивых поздравлений иностранных послов и посланников.

Радостно взволнованная, писала она ранним утром графу Алексею Григорьевичу и все поглядывала в раскрытое окно на серые волны Невы и думала: «Такие ли там волны или, как пишут, как на картинах она видала, темно-синего небесного цвета? » Думала о своем флоте в Эгейском море, да уж не в самом ли деле они у стен Константинополя?

Легко бежало перо по плотной бумаге. Слова сами низались в красивые фразы.

«Блистая в свете не мнимым блеском, флот наш, под разумным и смелым водительством вашим, нанес сей час

чувствительнейший удар Оттоманской гордости. Весь свет отдает вам справедливость, что сия победа приобрела вам отменную славу и честь. Лаврами покрыты вы, лаврами покрыта и вся находящаяся при вас эскадра...»

Государыня вздохнула и задумалась. В окно доносился шум просыпающегося города. На Неве, на корабле, матросы тянули снасть и дружно в лад пели. Нельзя было разобрать слов той песни. И все это напомнило ей вдруг ее детство, Штеттин и песни пленных русских в саду. Милые, счастливые воспоминания. Как далеко все это и как далека, бесконечно далека та маленькая девочка Фике от этой великой и властной Императрицы, чей флот, быть может, уже подходит к самым стенам цареградским.

А сколько зависти, сколько злобы возбудит эта неслыханная победа в целом свете!.. Зависти, злобы и... ненависти и клеветы!..

Пятнадцатого сентября в высочайшем Ее Императорского Величества присутствии, в одиннадцать часов утра, в *Соборной церкви Петербургской крепости*, после Божественной литургии служили благодарственное молебствие по случаю чесменской победы.

Задолго до службы съезжались генералы, дамы, придворные, офицеры и сенаторы. В церкви был сдержанный шум голосов. Камынин был центром внимания. Он стоял окруженный вельможами, и сотый раз рассказывал, как в пороховом дыму, в вихрях пушечного пламени, осыпаемый ядрами, он мчался на шлюпке, чтобы вонзить пылающий брандер в борт стопушечного турецкого корабля. Он скромно потуплял глаза, когда его спрашивали: «Как, вы сами и вонзили?» — и многозначительно молчал. Он понимал, что рассказывать правдиво не имело смысла. Он должен был быть героем, не таким, какими бывают на войне герои, не таким даже, каким был лейтенант Ильин, но таким, каким нарисовала себе в своем воображении героя толпа. Нужен был непременно красочный подвиг, много пламени, крика и шума, чтобы поддерживать то ликующее настроение, которое было кругом него.

Служители с фитилями на длинных палках ходили в толпе и возжигали лампады перед образами. Пахло маслом и воском. Не смолкал оживленный разговор. Передавали слухи, рассказывали, кто чем награжден.

— Графу Орлову орден Святого Георгия Первой степени и титул Чесменского.

— Заслужил Алехан... Граф Орлов-Чесменский! Знатно звучит!

Чужое, турецкое, далекое слово «Чесма» точно вдруг приблизилось, стало своим, родным, русским — Чесменский Орлов!..

— Спиридову Андрея Первозванного!.. Голубая кавалерия! То-то Григорий Андреевич доволен! Заслужил!.. И то... зна-а-то-ок!.. Бывало, на шлюпке заедет посмотреть, как рангоут ровняют... Боже сохрани, кривизна где какая или что там провиснет... В струнку!.. Ногами затопает... Линьками грозит... Ему все одно — матрос ли, офицер... Всякая вина виновата... Капитана Клокачева — ма-атро-о-сом пожаловал!.. Камынин вот рассказывал... Ей-Богу!.. Ну и отходчив... Ему пойдет голубая лента... Скромница — чистая девушка...

— Капитану Грейгу — Георгия Второй степени... Клокачеву и Хметевскому Георгия Третьей степени...

— Новые белые крестики... Умеет матушка жаловать.

— Всему флоту объявляется благоволение, выдается не в зачет годовое жалованье и деньги за взятые и сожженные корабли.

— В Э-ге-йеском море флот наш русской!.. Слыхали?. Мо-о-лодцы, что и говорить!.. За-слу-ужи-или!

Императрица, сопровождаемая сыном, пятнадцатилетним Великим Князем Павлом Петровичем, прошла на свое место. Служба началась.

Великий Князь в белом с голубыми отворотами адмиральском мундире был очарователен.

Служил митрополит Платон с сонмом духовенства. Медленно, истово и торжественно шла обедня. Прекрасный придворный хор ангельскими голосами по-новому пел. В высокие окна гляделась золотая осень. Литургия приходила к концу.

В лиловой мантии, в белом клобуке, вышел на амвон митрополит, опираясь на посох.

Будет говорить предику

Под куполом еще звенело: «Исполла ети деспота...»

Митрополит быстрыми шагами спустился с амвона и, раздвигая перед собою толпу молящихся, прошел к мраморному саркофагу над могилой Императора Петра Великого. Глубоко запавшие глаза владыки сверкали неугасимым огнем веры. Рука сжимала пастырский посох. Митрополит вперил глаза в гробницу и воскликнул с воодушевлением, так уверенно и громко, что дрожь пробежала по спинам молящихся:

— Возстань!.. Возстань ныне, великий монарх!.. Возстань, отечества нашего отец!..

Кое-кто из придворных, те, кто ближе были к Государыне, поднесли платки к глазам. Митрополит примолк, точно ожидал ответа из гроба. В наставшей тишине внятно раздался шепот графа Кирилла Григорьевича Разумовского:

— Чего вин его кличе?.. Як встане, всем нам достанется.

Государыня оглянулась и строго посмотрела на Разумовского.

Митрополит Платон продолжал с новою силою и несказанным вдохновением:

— Возстань и насладися плодами трудов твоих. Флот, тобою устроенный, уже не на море Балтийском, не на море Каспийском, не на море Черном, не на океане Северском, но где?! Он на море Медитерранском, в странах восточных, в архипелаге, близ стен константинопольских, в тех то есть местах, куда ты нередко око свое обращал и гордую намеревался смирить Порту... О!.. Как бы твое, Великий Петр, сердце возрадовалось, если бы...

Митрополит постучал по саркофагу:

— Но слыши!.. Слыши!.. Мы тебе как живому вещаем, слыши!.. Флот твой в архипелаге, близ берегов азийских. Оттоманский флот до конца истребил!..

4. САМОЗВАНКА

XXVII

Чесменское сражение, ночное плавание на парусном брандере с лейтенантом Ильиным неизгладимый оставили след в душе Ивана Васильевича Камынина. От природы он не был храбр. Он был исполнителен, услужлив, ревностен к службе, как и должно быть — в прошлом — фельдфебелю Шляхетного корпуса. Брат опального Лукьяна, разжалованного в солдаты, раненного под Цорндорфом и теперь трубившего «армеютом» в далекой и глухой окраине,— Камынин должен был стараться, чтобы заслужить милости вельмож.

Алексей Орлов взял его адъютантом по самодурству Брат бывшего солдата, ссыльного?.. Плевать!.. Иван Камынин из себя молодец, остер с девушками на язык, прекрасно образован. В молодости жил с полькой и хорошо говорит по-польски. По-французски и по-немецки говорит и пишет свободно — такой человек полуграмотному Орлову был находка. Пока жили в Ливорно, пока дело касалось собирания сведений, бесед с тосканцами, греками и албанцами, писания донесений в Военную коллегию и писем Румянцеву да легких шаловливых амуров с томными, черноокими итальянками — все шло отлично. Камынин ничего лучшего не желал.

Но когда повидал палубы, залитые кровью и усеянные мертвыми телами, услышал непрерывный рев сотен пушек и грохот взрывов кораблей, увидал, как в морской пучине тонут люди,— затосковал. Приехав в Петербург понял, что не может вернуться к военной карьере, что и адъютантом при вельможе не всегда бывает безопасно, и решил переменить «карьер».

Алехан дал ему связи. Камынин стал вхож в дома вельмож. Брат Алехана — Григорий — был «в случае» — любимец Государыни, Кирилл Разумовский и Никита Панин запросто принимали орловского адъютанта, героя Чесмы, и Камынин через них устроился для определения к штатским делам.

Турецкая война приходила к концу. Защита христианам была дана. Но православных угнетали не одни турки, им не сладко жилось в католической Польше, перед Государыней вставал новый вопрос, завязывался крепкий узел, разрубить который она могла только мечом. Понадобился человек для тонкой и осторожной разведки о «положении и состоянии Польской конфедерации» во Франции, где, по сведениям, находился предводитель конфедерации, литовский гетман Огинский. Камынину было предложено с паспортом польского шляхтича Станислава Вацлавского поехать в Париж и там войти в дома, где собираются польские конфедераты.

Осенним вечером 1772 года Камынин в почтовой карете через узкие ворота Святого Мартына въехал в Париж.

Серое небо низко нависло над городом. Надвигались сумерки. По городу только начинали зажигать огни.

Карета остановилась в тесной улице. Носильщики и извозчики окружили ее.

— До свидания, Стась...— Молодой поляк, севший за две станции до Парижа, протянул руку Камынину.— Рад был встретить соотечественника и услужить ему чем и как могу.

Он был светловолос под париком, в высокой круглой шляпе, с тростью, без вещей. Он жил в Париже. В голубых глазах его хрусталем застыла затаенная печаль неразделенной любви. Эта печаль и побудила заговорить Камынина с поляком, выспросить его и познакомиться с ним, и как-то сразу между ними легло доверие. Они поняли друг друга.

— Вы первый раз в Париже?..

— Да... Первый.

— Тут теперь много поляков... Вся надежда на Францию... Хотите, я вас кое с кем познакомлю, вам помогут в ваших торговых делах. Вы из самой Варшавы?

— Да... Из Варшавы.

— Меня зовут Михаил Доманский. Я тут не очень давно.

И как-то сразу, вероятно, приветливость и русская душа, сквозившая в Камынине сквозь польский паспорт, внушили доверие Доманскому, он стал рассказывать, что он знаком здесь с одной особой.

— Блистательная, знаете, особа... И общество... Я вас туда введу. Вы сами увидите... Там все, что есть лучшего в Париже... Князья, прелаты... Удивительно... И вы скажете

мне... Впрочем, когда увидите... ее надо спасти... Она же больная при том...

Карета остановилась...

— A demain!..

— A demain... В Fauburg St-Germain[1] у бакалейщика Прево. Его там все знают. Там мы с вами и сговоримся, когда и как. Так завтра, в пять... Я займу столик и буду вас ожидать.

Доманский крепко пожал руку Камынину и сел в извозчичий фиакр.

Мелкий дождь стал накрапывать. Камынин вручил свою ивовую корзину казанского изделия, укрученную веревками, красноносому носильщику из отеля д'Артуа и пошел за ним.

— Monsieur, russe?

— Non... Polonais.

— Ah...bon... Russes, polonais, bon[2].

Громыхая колесами, ехали кареты, верховые продирались через толпу пешеходов. В уличке было темно и грязно. Высокие серые и коричневые дома с крутыми крышами стеснили кривую, мощенную крупным булыжником улицу. Остро и едко несло вонью из дворов. Пронзительно торговцы кричали.

Улица раздвинулась. Было тут нечто вроде маленькой площади. Стояло большое стеклянное колесо лотереи, сзади него пестрой горою были разложены выигрыши. Человек в высокой шляпе надоедливо звонил в колокольчик, рядом с ним стояла девочка с завязанными глазами. Кругом сгрудилась толпа. Через толпу шли носильщики, несшие каретку с дамой в бальном платье.

Таким представился Камынину Париж.

За площадью, на рю Монмартр, был отель д'Артуа. По темной деревянной лестнице, вившейся крутыми изгибами, Камынин поднялся за слугою в четвертый этаж и вошел в отведенный ему номер. Маленькая каморка с громадной постелью ожидала его. Сухая вонь стояла в ней. Камынин подошел к окну и раскрыл его. Окно было низкое, до самого пола. Железные перила были внизу. Камынин пододвинул к ним кресло и сел.

Под ним кипела и волновалась улица. Дождь перестал. Молодая луна мутным пятном проблескивала сквозь тучи, она казалась ненужной: оранжевыми пятнами вились по улице фонари. Кто-то жалобным пропитым голосом пел под

---

[1] До завтра... До завтра. В Сен-Жерменском предместье *(фр.)*.

[2] Господин русский?.. Нет, поляк... А, хорошо. Русские, поляки — хорошо *(фр.)*.

скрипку. Под самым окном мрачного вида господин говорил скороговоркой:

— Citrons, limonades, douceurs,
Arlequins, sauteurs, et danseurs,
Outre un geant dont la structure
Est prodige de la nature;
Outre les animaux sauvages,
Outre cent et cent batelages,
Les Fagotins et les guenons,
Les mignonnes et les mignons...[1]

Хлопали хлопушки, был слышен смех. У кабачка с ярко освещенными окнами, на отблескивающей мокрой мостовой, две пары плавно танцевали павану. Там то и дело срывались аплодисменты.

Служанка пришла стелить постель.

— Что это у вас за гулянье сегодня? — спросил Камынин.— Вероятно, большой праздник?..

Служанка бросила одеяло, снисходительно улыбнулась вопросу постояльца, повела бровью и сказала:

— Праздник?.. Но почему мосье так думает?..

— Шумно так?.. Весело?.. Люди танцуют...

— В Париже?.. В Париже, мосье, всегда так!

XXVIII

Дама, с которой обещал познакомить Камынина Доманский, носила странное имя — Ali-Emete, princesse Wolodimir, dame d'Asov[2].

Что-то русское, как будто русское было в этом имени. Камынин насторожился, но ничего не сказал Доманскому

Али-Эмете занимала особняк на ile St-Louis[3], у самой набережной Сены.

В гостиной, куда Доманский провел Камынина, было человек шесть мужчин и одна дама — хозяйка дома. Камынину, не привыкшему еще к парижской обстановке, показалось, что он вошел в громадный зал, где было много народа. Обманы-

---

[1] Лимоны, лимонад, сласти,
Арлекины, прыгуны, разные радости,
Великан — чудо природы...
Хищные звери,
Сотни и сотни фигляров,
Шуты и обезьяны,
Красотки и милашки... (фр.)

[2] Али-Эмете, княжна Владимирская, госпожа из Азова (*фр.*).

[3] Остров Св. Людовика (*фр.*).

вали зеркала, бывшие по обеим стенам комнаты, в общем совсем уж не большой, и много раз отражавшие общество.

Хозяйка лежала в капризной позе на низкой кушетке. Золотая арфа стояла подле. Чуть зазвенели струны, когда хозяйка встала навстречу входившим.

— Charmee de vous voir[1],— сказала она, точно повторила заученный урок, и протянула Камынину маленькую, красивую, надушенную руку.— Спасибо, мосье Доманский, что привели дорогого гостя.

Она была в нарядной «адриене» с открытой грудью и плечами. Платье было модное, почти без фижм. Среднего роста, худощавая, стройная, с гибкими и вместе с тем ленивыми, какими-то кошачьими движениями, она была бы очень красива, если бы ее не портили узкие, миндалевидные, косившие глаза. В них не проходило, не погасало некое беспокойство, которое Камынин про себя определил двумя словами: «Дай денег...»

— Господа, позвольте познакомить вас — мосье Вацлавский, из Варшавы.

Она протягивала полуобнаженную руку со спадающими кружевными широкими рукавами и называла Камынину своих гостей:

— Барон Шенк... Мосье Понсе... Мосье Макке... Граф де Марин-Рошфор-Валькур, гофмаршал князя Лимбургского.

Названный старик, с лицом, изрытым морщинами, с беззубым узким ртом, осклабился в приторной любезной улыбке.

— Михаил Огинский, гетман литовский.

Камынин долгим и пристальным взглядом посмотрел на Огинского и низко ему поклонился.

— Все мои милые, верные, дорогие друзья,— сказала Али-Эмете, усаживаясь на кушетку.

Камынин сел против нее и осмотрелся. Обстановка была богатая, но Камынин, привыкший к хорошей обстановке в домах русских вельмож, сейчас же заметил, что все было в ней случайное, рыночное, наспех купленное, временное, наемное. Казалось — принцесса Володимирская не была здесь у себя дома. Золото зеркальных рам слепило глаза, зеркала удваивали размер залы, но комната была совсем небольшая, и в ней было тесно. Общество было пестрое, и, хотя разговор сейчас же завязался и бойко пошел, было заметно, что все эти люди чужие друг другу и чужие и самой хозяйке, что они лишь случайно собрались здесь и что «свой» здесь только маленький, услужливый Доманский.

[1] Счастлива видеть вас *(фр.)*

Он уселся у ног хозяйки на низенькую качалку и не спускал с принцессы нежного, влюбленного взгляда.

Макке стал рассказывать, как он был на прошлой неделе в Версале на «levee du roi»[1], а потом на королевском выходе к мессе.

— Плох король?..— спросил, сжимая морщины, граф Рошфор.

— Не то что плох, а видно, что не жилец на этом свете. И нелегко ему.

— Ну вот... Везде герцог Шуазель... Ему только соглашаться.

— Так-то так... но вот... Не то, не то и не то... Это уже не король... Божества нет. Нет торжественности, трепета, все стало бедно, скромно, мескинно... Levee du roi — утренний прием у короля. Король вышел совершенно одетый, готовый к мессе, обошел представляющихся, расспрашивал о делах... Какое же это «Levee du roi»!.. Когда-то, при Людовике XIV, да ведь это было подлинно пробуждение некоего божества, вставание с постели со всеми интимнейшими подробностями человеческого туалета... Доктор, дворянское окружение... Стул...

— Оставьте, Макке,— капризно прервала рассказчика принцесса Володимирская.— Удивительная у вас страсть рассказывать всякие гадости, от которых тошнит, и покупать неприличные картинки с толстыми раздетыми дамами на постели. А когда дело коснется высочайших особ — тут вам и удержу нет... Такая страсть под кроватями ползать.

— Princesse, я хотел только сказать, что раньше дворянству показывалось, что король тоже человек и, как говорят римляне,— nihil humanum...[2]

— Есть вещи и дела, Макке, о которых не говорят в салоне молодой женщины.

— Зачем же их публично делали во дворце?

— Мало ли что делается публично по всем дворам Парижа, но слышать разговоры об этом у себя в доме я не желаю... Меня просто тошнит от этого. Судари, кто из вас видал трагедию «Танкред»?..

Камынин чуть было не отозвался, но вовремя спохватился, потому что видал-то он трагедию в петербургском Эрмитажном театре, а приехал он... из Варшавы.

— Я смотрел еще в прошлом году,— сказал барон Шенк.— Мне не очень понравилось. Вот маленькая штучка

[1] Утреннее вставание короля *(фр.)*
[2] Ничто человеческое *(лат.)*.

«La nouvelle epreuve»[1] прелесть... Хохотал просто до упаду... И как играли!

Из соседней комнаты в гостиную прошел прелат в черной сутане. Он кивнул головою тому, другому и сел в углу у корзины с искусственными цветами. Ливрейный лакей принес поднос с маленькими чашечками с черным кофе и стал обносить гостей. Камынин, живший на востоке, понял — пора уходить. Разговор разбился. Граф Рошфор тяжело поднялся с кресла и подошел к принцессе Володимирской.

— Простите, Princesse, от кофе откажусь.

— Все приливы? — сочувственно, протягивая тонкую бледную руку, спросила принцесса.

— Да... вообще нерасположение... До свидания.

— До свидания, граф. Надеюсь — до очень скорого.

За графом поднялся и гетман Огинский Гости допивали кофе и расходились — сербский обычай, видимо, соблюдался в доме принцессы в Париже. Камынин уходил последним.

— До свиданья, мосье Станислав. Я рада была с вами познакомиться, надеюсь, что мы с вами будем теперь часто видеться.

И опять, как при приветствии, Камынин заметил в косых глазах принцессы то же беспокойное выражение. «Дай денег »

Доманский остался вдвоем с принцессой Володимирской

— Доманский,— сказала принцесса, опускаясь на кушетку и рассеянно перебирая струны арфы — Ну, посоветуйте что-нибудь Придумайте что-нибудь Ведь положение ужасное Этот? Как его? Мосье Станислав? Что он? Богатый?

— Не знаю Но, кажется очень хороший, добрый, сердечный человек

— Не то Не то, Доманский. Хороший, добрый, сердечный.. Все они такие Все строят мне куры, ни один не догадается построить мне замок. Доманский, мне денег — ух! — как надо Я недолговечна, а прожить мою короткую жизнь хочется хорошо У Вантурса долги, он не может больше оплачивать мои счета Барон Шенк и Понсе уговорили его дать мне немного последний раз Гроши, Доманский Капля в море Мне надо содержать мой двор лошадей Один этот палац сколько мне стоит

— Princesse!

Молодая женщина долгим внимательным взглядом смотрела на бледное печальное лицо Доманского Она играла на арфе какую-то восточную певучую мелодию потом

[1] «Новое испытание» *(фр.)*

бросила играть и, порывисто схватив Доманского за руку, притянула к себе.

— Знаю, Доманский. Верю, милый мальчик. Не могу... Не могу.. Не могу... Не мучайте ни себя, ни меня.

Она опять заиграла на арфе и под музыку говорила с каким-то глубоким надрывом:

— Не могу, не могу, не могу .. Не для того я рождена и не так воспитана Я не могу жить в каком-то фольварке с курами, гусями и свиньями. Мне достаточно и одного человеческого свинства .. Моя жизнь.. — она широким жестом показала на зеркала, отражавшие многократно ее хрупкую фигуру,— должна иметь раму... Я знаю всех этих Макке, Понсе, Рошфоров — ничтожные люди!.. Но мне рама нужна .. Золотое обрамление... Я люблю — не судите меня,— я люблю роскошь... Драгоценные камни. Люди чтобы были кругом... Мне замок нужен, а не фольварк..

Она закашлялась тяжелым сухим кашлем, слезы показались в ее глазах, и сквозь них она сказала.

— Поймите меня. Брак с князем Лимбургским мне кажется единственным исходом. Тут все: и титул и богатство. Филипп-Фердинанд, владеющий князь Лимбургский и Стирумский, совладелец графства Оберштейн... Звучит-то как!

— Старик...

— Ему всего сорок два года Он очень образован.

— Но глуп.

— Умной жене — глупый муж не помеха. Он потомок графов Шауенбургских и притязает на герцогства Шлезвиг и Голштейн... Он близок русскому двору У него, подумайте, Доманский, свое войско... Свое войско!.. Оранжевый прибор с серебром!.. Красиво!.. Он раздает ордена... Помогите мне, Доманский. Вы знаете, что я вас люблю и любить не перестану

— Чем, чем могу я вам помочь в этом деле?

— Все готово .. Все оговорено Граф Рошфор мне сказал, что князь согласен венчаться на мне, но он требует бумаги. Свидетельство о моем рождении Он хочет по ним точно знать, кто я.

— За чем же дело стало?

— У меня нет никаких бумаг И понимаете, что хуже всего,— я сама не знаю, кто я?

— Я вас не понимаю, princesse

Тихо звенела арфа, она рассказывала какую-то восточную сказку Невнятен был этот рассказ. Молящие, растерянные, косящие глаза смотрели мимо Доманского, в темнеющий угол гостиной

— Вы . персидская княжна .

— Я этого не знаю

— Но... Вы носите такой красивый и сложный титул.

— Я сама его придумала. Надо же было мне как-нибудь называться? И собака кличку имеет.

Опять лились аккорды. Звенела арфа. Лакей пришел зажечь свечи. Принцесса Володимирская махнула ему, чтобы он уходил.

Густели сумерки осеннего вечера, в глубокую прозрачную синеву окно погрузилось.

— Что я о себе знаю?.. Да почти ничего. Вся жизнь моя — как какая-то легенда, сказка, да, может быть, и то, что я о себе знаю, я сама и придумала и ничего из того, что я о себе думаю, никогда и не было. Моя память начинается с Киля. Знаю точно — крещена по греко-восточному обряду — по крайней мере, я и теперь, когда хожу в костел и крещусь — крещусь по-гречески. Меня воспитывала какая-то госпожа... Госпожа Пере... Никто никогда не говорил мне, кто я, кто мои родители. Потом вдруг меня увезли из Киля.. Может быть, похитили... Черные маски.. Я очень тогда была этому довольна. У меня болела голова, и было все, как в горячке, в бреду Как будто — Петербург.. Смутное воспоминание. Широкая река, много воды. Москва. Как будто мы скрывались от кого-то Помню еще Волгу Каспийское море Говорили про Азов. Что лучше было ку да-то свернуть и ехать в Азов. Слово мне очень запомнилось. А затем был удивительный, как рай, Восток.

Принцесса Володимирская стала играть восточный, все повторяющийся оригинальный, певучий напев.

— Вот это очень запомнилось Точно сейчас слышу Плоская крыша, лунная ночь и женщина с закрытым лицом играет на инструменте вроде арфы. При мне старуха, которая меня учила по-французски. Она мне сказала, что мы из Персии и что нас туда послали по повелению русского Императора Петра III... И вдруг мы опять бежим. Теперь уже я помню — мы жили в Багдаде. Нам помогал персиянин Гамет У нас — совсем как сказка Шахразады — Аладдинов дворец. Зеркала, мрамор, розы. Ужасно как много роз Крупные розовые, красные, оранжевые, желтые, белые... И фонтан! И вот — бежать. Мы поехали в Испаган. При мне учитель-француз — Жан Фурнье, и я совсем взрослая барышня. Я учу Корнеля, Расина, Мольера, я читаю Вольтера Я — une demoiselle![1] Вероятно, все-таки я хорошего рода Обо мне так заботились. В 1769 году в Персии были беспорядки, и молодой перс Гали — он очень меня любил, совсем как вы, Доманский, друг Гамета,— увез меня из Пер-

[1] Я барышня! *(фр.)*

сии в Астрахань. Скверный город. Жара, пыль, пахнет рыбой и гнилью. Там почему-то Гали назвался Крымовым, выдавал меня за свою дочь. Мы купили русских слуг и поехали в Петербург. Что там случилось, я не знаю, но в Петербурге мы провели только одну ночь и уехали в Кенигсберг. Русские слуги были оставлены и заменены немцами. Мы больше года прожили в Берлине, потом в Лондоне. Гали должен был вернуться в Персию. Он оставил мне много денег, и я стала по его имени называться Али. Я одна, совсем молодая, в Лондоне. Много денег, и я живу вовсю. Наряды, лошади, безумие... Деньги скоро вышли, вот тогда и появился банкир Вантурс.. Он очень увлекся мною, но как ни молода я была, я уже имела жизненный опыт, и я поняла, что называться Али слишком скромно и бедно, вот я сама и придумала себе этот пышный титул. Али-Эмете, принцесса Володимирская, дама из Азова! Очень мне все это казалось красиво. Вот и все. Дальше — вы знаете. Но никаких документов, никаких бумаг — словом, ничего у меня нет, я, как собака, не имеющая хозяина, я даже имени своего настоящего не знаю и должна откликаться на каждую кличку. И вот все то, что я вам рассказала сегодня, завтра я вам совсем по-иному расскажу, потому что я совсем не уверена, что это так и было... Но все-таки?. Кто-то учил меня и по-французски, и по-немецки, и по-итальянски, кто-то научил меня играть на арфе, да, наконец, ведь жила же я все эти с лишком двадцать лет!.. Какой мой родной язык?.. Не знаю... Если я крещена по-русски, вероятно — русский, но я на нем не знаю и пары слов. Как же мне с таким бредом в голове выходить замуж за князя Лимбургского, который хочет совершенно точно знать, кто я, и видеть мои документы о рождении, а я не знаю, ни где я родилась, ни где я крещена? Помогите мне, Доманский. Надо не только придумать рассказ о своей жизни, но создать для этой жизни и бумаги.

Когда принцесса Володимирская рассказывала все это, она сопровождала рассказ игрою на арфе. Теперь арфа смолкла. В зале — тихо. Было уже темно. В окно были видны редкие огни фонарей на противоположном берегу Сены.

Доманский встал, неслышно шагая по ковру, отыскал огниво, высек огня и зажег канделябр. Медленно уплыли, точно растаяли, огни парижских фонарей.

— Princesse, вам надо ехать к князю, в Стирум, в его замок.

— Князь сейчас в Кобленце... Зачем я к нему поеду?

— Поезжайте в Кобленц. Держите князя под своим влиянием и обаянием. Я думаю, что хорошо было бы, если бы

вы приняли католичество... Попробуем заинтересовать в вашей судьбе иезуитов и папу...

— Папу?.. Вы думаете?.

— Кроме того, я поговорю с гетманом Огинским и княгиней Радзивилл. Если у вас нет бумаг — их надо вам создать. В связи с политической обстановкой нужно будет что-нибудь придумать.

— Боюсь, Доманский. Я ничего не хочу, только красиво и хорошо жить... Для этого — денег... Я устала, милый мальчик... Опять ехать... Так хочется покоя.

— В княжестве Стирум вы отдохнете.

— Когда-то, когда князь Лимбургский верил каждому моему слову, он обещал дать мне в пожизненное пользование Оберштейнское графство. Я сознаю — вы правы. Надо опять куда-то ехать... Прислуге три месяца не плочено. Я завалена счетами... Мне надо денег... денег... денег!..

Принцесса Володимирская тяжело закашлялась, легла на кушетку и зарылась лицом в подушки. Она казалась Доманскому жалкой и обреченной на несчастия.

XXIX

Камынин был счастлив своей удаче. Чуть не первый день в Париже, и он уже видел гетмана литовского. Камынин строил планы, как ему войти в доверие к княжне Володимирской, как возможно чаще бывать там и проникнуть к самому Огинскому Но человек предполагает — Бог располагает Так часто было в его судьбе — его мотали по всей Европе с поручениями, не давали сделать одно, как поручали другое.

Кирилл Григорьевич Разумовский, бывший в это время в Париже, вызвал его к себе. Камынин должен был ехать в Данию покупать жеребцов соловой масти для Троицкого конного завода Разумовского. Камынин только заикнулся о том, что он имеет из Петербурга поручение отыскать гетмана литовского и следить за ним и что он уже нашел его, как Разумовский сердито перебил его

— Ось подывиться!.. С князем Иваном Сергеевичем, посланником нашим, и конфедератами уладим. Конфедераты подождут. В Петербурге о том мало подумали, что князю-то, может быть, обидно, что по этому делу тебя из Петербурга прислали, точно ему не доверяют Это к твоей же пользе, что я тебя за жеребцами посылаю. Да не торопись оттуда. Купишь жеребцов, наладишь их отправку, присмотри мне там в датской земле порцелин японский либо китайский

Сказывали мне, что по причине датского торгу с Ост-Индией в немалом количестве туда оный фарфор вывозят и продают недорогой ценой.

Камынин знал — с такими вельможами, как Разумовский, не спорят: «скачи враже, як пан каже»... Поехал он в Данию и только окончил все поручение и по лошадиной и по фарфоровой части, как получил приказание ехать в Швецию за поваренной железной посудой.

Камынин вздохнул, почесал под париком в затылке и поехал в Швецию. Так по делам казенным и частным пропутешествовал он более года и только летом 1774 года вернулся в Париж.

Побывав в посольстве, Камынин пошел на остров Святого Людовика искать принцессу Володимирскую с поляками. Он нашел особняк пустым. Серые ставни закрыли большие окна и красноречивая надпись « a'louer»[1] говорила об отсутствии хозяйки. «Да, так оно и быть должно»,— подумал Камынин и вспомнил странное выражение косых глаз принцессы — «денег дай...».

Зашел Камынин в кондитерскую Прево, думал, может быть, случайно встретит там милого Доманского, но там о поляке ничего не помнили. Где же упомнить всех посетителей?.. Точно все то блестящее пестрое общество, удвоенное зеркалами гостиной принцессы Володимирской, показалось Камынину в сонном видении — оно исчезло бесследно... Осенью русский посол во Франции князь Барятинский передал Камынину приказание графа Чесменского спешно выехать в Рим, где отыскать графского адъютанта поручика Христинека и исполнить то, что Христинек доверительно передаст

Поручение порадовало. Рим давно манил Камынина. В Риме происходили интереснейшие события. В сентябре умер папа Климент XIV, и теперь в закрытом здании заседал конклав для выбора нового папы. Рим был полон съехавшимися со всего света иезуитами и правоверными католиками, и там можно было многое узнать о делах Польской конфедерации и об отношениях их к планам Государыни Екатерины Алексеевны. Камынин снова окрылился мечтами рассеять польские козни и поработать для матушки Царицы Он с радостью помчался в Рим.

На улицах Рима Камынин застал большое оживление Было много экипажей, дорожных и городских раззолоченных карет и колясок, носилок, несомых смуглыми левантинцами или черными неграми. Камынин не сразу отыскал ука-

[1] Отдается внаймы *(фр.)*

занный ему глухой квартал, где в старом доме, на самом чердаке, в какой-то словно таинственной квартире проживал поручик Христинек. Камынин его давно знал.

Смуглый хорват с блестящими черными глазами под тонким размахом красивых бровей, человек горячий, верный, преданный графу Чесменскому, встретил Камынина радостными восклицаниями:

— Наконец-то вы!.. Я к каждому дилижансу выходил... Все вас ожидал... Такое дело... Такое страшное дело...

— Да что случилось?

— Видите... Только вам и мне граф такое дело и доверяет... Тут появилась одна особа... И эта особа говорит... выдает себя за дочь покойной Государыни Елизаветы Петровны и Разумовского.

— Постойте... Постойте, Христинек... Не ослышался ли я?.. Как вы сказали?.. Дочь Государыни?.. Но, сколько я знаю, у Государыни детей не было.

— Да... Да, конечно... но вот явилась такая, которая это говорит, и, как всегда, подле нее целая орава иностранной сволочи.

— Кто же это такая?.. Даже интересно... Вы меня сразили... Так вдруг... Ведь это?..

— Страшное дело, Иван Васильевич... Страшное!..

— Если не просто глупое...

— Да, если бы только глупое... Это — графиня Пиннеберг...

— Ничего не слыхал. При чем же графиня Пиннеберг и покойная Государыня, царство ей небесное?..

— Пиннеберг, говорят, графство в Голштинии.

— Допустим... Но отсюда до дочери Государыни... Какое же это отношение? Откуда граф узнал о ней?..

— Она сама писала Чесменскому, писала и Никите Ивановичу Панину... Она склоняла их к измене Государыне в ее пользу как законной наследницы русского престола.

— Нашла кого склонять!.. Что же мы с вами должны делать?

— Граф поручил получить от нее ответное, уличающее ее письмо и еще какие-то документы и привезти ее к нему в Пизу Там в Пизе нам все это дело казалось пустяками, вздором, казалось, что меня одного будет для этого достаточно,— на деле оказалось иное. Она окружена двором, и скромному поручику, хотя бы и адъютанту Орлова, не удалось к ней пробраться. Притом, вы знаете, я европейскими языками не слишком владею.

— Но если она дочь... выдает себя за дочь Государыни Елизаветы Петровны, она должна говорить по-русски?

— Представьте, ни слова...

— Все это какая-то ерунда... Сон какой-то, сказка?..

— Да, если бы так... Она с турками ведет какую-то канитель. При ней два капитана из Варварийских владений Порты — Гасан и Мехемед

— Поздно уже... Мирные переговоры в полном ходу

— Не знаю. Но тут хлопочут и англичане. Я знаю, что ежедневным гостем у нее некий Монтегю, человек с большим влиянием здесь... Ну, и, конечно, поляки. Граф Пржездецкий, староста Пинский, Ян Чарномский, один из деятельнейших агентов Генеральной конфедерации и ее главы графа Потоцкого... Итальянский банкир Мартинелли, кажется, финансирует ее. Аббат Роккатани сватает ее кардиналу Альбани, и она только и ждет окончания конклава, чтобы заявиться у папы как законная претендентка на русский престол. Как видите, птичка не такая простая. Граф писал мне, что у вас есть польский паспорт, вы старше меня, вам легче попасть туда, в эту компанию, и все узнать.

— Все-таки мне кажется все это пустяками.. Графиня Пиннеберг Почему графиня Пиннеберг — дочь Государыни Елизаветы Петровны?. Надо ее посмотреть Вы ее видали? Что же, она похожа, по крайней мере, на покойную Государыню?

— Какое!.. Ничего похожего! Маленькая, щупленькая, едва ли не больная. Чернявая. Вернее всего — полька.

— Покажите мне ее, хотя на улице, а там подумаем, как мне к ней попасть.

— В воскресенье она непременно поедет в костел Мы станем у ее дома, и вы ее увидите

XXX

Дул зимний, ледяной ветер. От мраморной виллы, подле которой ходили в ожидании выхода графини Пиннеберг Камынин и Христинек, тянуло холодом. Подле крыльца, затянутого тяжелым темно-зеленым суконным пологом, стояла карета, запряженная четвериком плохих, разбитых рыжих лошадей. На потертой сбруе и на карете были написаны бронзовые вензеля «Е» под императорской короной.

Плотная занавесь вдруг отдернулась Камынин стал в стороне, но так, чтобы ему все видеть. За занавесью была глубокая мраморная передняя. Два красавца турка, в раззолоченных куртках синего сукна и широких малиновых шароварах, при саблях, выскочили на улицу и стали по бокам кареты. Приятный женский голос со слегка манящей хрипотцой раздался в глубине передней

— A bientot, cheri![1]

На улицу вышла стройная тонкая женщина, одетая в шубу, отороченную мехом, в платье с фижмами. На высоко взбитых темных волосах едва держалась маленькая кружевная шляпка. В руке был ридикюль и молитвенник в красном переплете. Женщина повернула голову к турку и ласково улыбнулась ему. Турок бросился к карете и помог женщине сесть в нее.

Карета загремела по плитняку колесами и скрылась в тесной улице

— Видали?.

— Я знаю эту женщину,— сказал Камынин.

— Да?.. Ну!.. Где же?.. Кто же она?..

— Два года тому назад она была в Париже, окруженная поляками. Она называлась тогда принцессой Володимирской. Ничего подозрительного тогда в ней не было. На мой взгляд — лоретка .. Продажная женщина, вот и все.

— И метит на всероссийский престол!. Ужасно!

— Итак, приступим к исполнению порученности графа Орлова.

«Гора с горою не сходится, а человек с человеком?. Надо же было ему узнать ее тогда в ее парижской жизни, когда в глазах ее была только одна мысль — « дай денег».. Кто же она? Почему именно ее избрали орудием русской смуты все эти иностранцы, которым любо одно: позор, унижение и разрушение России? О!. Как ненавидят они все нашу Государыню за ее православие, за ее борьбу за своих подданных, за то, что она стоит крепко за Россию и приумножает ее владения.. Но все-таки — принцесса Володимирская, да что в ней общего с покойной Государыней?. И молодец Алехан!. Всюду у него глаз, все он знает, за всем следит и бережет государынино имя»

И вспомнил давнишний разговор у Алексея Разумовского с Алеханом о подвиге Тогда Алехан отправился в первое свое путешествие за границу и тогда он сказал.. как сказал-то!... Для подвига нет ничего священного!. Честь!. Да и честь надо отдать для Государыни Он свято, особенно сильно понимал, что такое беспредельная преданность Государыне.

— Что же,— обернулся Камынин к Христинеку,— узнаем все и поступим так, как указал граф Чесменский Я думаю — вопрос только в деньгах, а судя по ее выезду, хотя и с императорскими коронами, даже и не таких больших деньгах..

И больше до самого дома Камынин не сказал ни слова.

[1] До скорого, милый! (*фр*)

XXXI

Превращение Али-Эмете, princesse Wolodimir, dame d'Asow, в графиню Пиннеберг случилось совсем недавно, весною 1774 года в Вюрцбурге. Графиня была там вдвоем с Доманским, в скверной гостинице. Она скрывалась от кредиторов. После года покойной и сытой жизни у князя Лимбургского ей пришлось спешно уехать из Стирума. Кто-то донес князю, что Али-Эмете водит его за нос, что она злостная авантюристка, которая и сама не знает, кто она такая, вернее всего, что она дочь трактирщика в Киле. Князь охладел к своей любовнице, отказался платить по ее счетам, его управляющий граф Рошфор выгнал Али-Эмете из замка, и она в отчаянии переехала в Вюрцбург, впереди были нищета, суд за долги и или тюрьма, или новое бегство, на этот раз к верному Доманскому в фольварк, то есть то, чего Али-Эмете боялась больше смерти. Жизнь ее таяла под ударами судьбы. Она знала, что у нее чахотка, что она сгорает, но тем сильнее было желание если сгореть, так уж сгореть ярким пламенем.

Доманский разрывался на части в поисках денег, в придумывании богатых и надежных покровителей

Он поехал с Михаилом Огинским в Париж к княгине Сангушко и князю Радзивиллу

Польские патриоты были очень озабочены политикой Екатерины, Императрицы Всероссийской. Они искали путей противодействия этой политике и в этих поисках ухватились за Али-Эмете. Безродная, не помнящая своего детства, не знающая, кто ее родители, но, несомненно хорошо воспитанная, образованная, оригинально красивая, смелая женщина, которой нечего было терять, ничем не гнушающаяся, показалась полякам интересной. Были достаны откуда-то документы — духовное завещание Петра Великого о престолонаследии, такие же завещания Екатерины I и Елизаветы Петровны — все на французском языке, все заведомо фальшивое, и Али-Эмете была вызвана к действию По мнению Огинского, Радзивилла и Сангушки, документы эти вместе с самозванкой могли усугубить смуту, поднятую в России Пугачевым, поколебать престиж и авторитет Императрицы, отвлечь ее от ее широких планов на Польшу а при удаче и свалить ее с престола

Но десятого мая король Людовик умер Рассчитывать на помощь Франции больше не приходилось, но у принцессы Володимирской уже было то, чего ей недоставало Наконец появились у нее документы, те несчастные бумаги, без которых она ничего не могла сделать с князем Лимбургским

Она, оказывается, была много выше того, за кого себя считала. Она начинала сама верить в то, что она — Елизавета, дочь русской Императрицы Елизаветы Петровны и Разумовского. С этими документами она могла выйти замуж за князя и начать спокойную и привольную жизнь. О большем она не думала. Она написала обо всем князю. Тот прислал ей двести червонцев и обещал дальнейшую поддержку, но не торопился вступать в брак. Теперь именоваться Али-Эмете не имело смысла, принцесса Володимирская, под именем графини Пиннеберг, переехала в Дубровник и стала давать понять кому находила нужным, что она много выше, чем графиня.

Князь Радзивилл прислал несколько польских офицеров для совета. В ее свиту добыли двух нарядных турецких офицеров... По совету поляков графиня написала письма графу Орлову и Никите Ивановичу Панину, склоняя их к измене Императрице ради нее, законной наследницы Елизаветы Петровны.

Так, помимо ее воли, без того, чтобы она вполне сознавала то, что она делает, началось ее самозванство. Ее убедили, *что для полного успеха ей нужно заручиться содействием* папы и иезуитов и для того принять католичество.

Опять появились деньги, лошади, двор, хорошая квартира и шумное общество малознакомых людей. Голова кружилась, по ночам одолевали страхи от того, что делается кругом нее и помимо ее воли, но «le vin est tire — il faut le boire»[1] — графиня, скрепя сердце, поехала в Рим. Деньги летели, сгорали точно в огне, их никогда не хватало, и было нужно где-то у кого-то их выпрашивать. Время проходило в приемах, шумных завтраках и обедах, в поездках к знатным лицам, вокруг были прелаты и священники, банкиры и дельцы, дипломаты и купцы, они присматривались к ней, как игрок присматривается к идущей карте или к бегу шарика по тарелке рулетки. Что она?.. Выйдет дело — ей дадут денег, не выйдет — отойдут в сторону и забудут ее, холодно уйдут, не простившись.

В эти римские дни вся надежда графини была на Орлова — графиня ожидала ответа на свое письмо.

XXXII

Камынин, явившийся к графине под именем Вацлавского, был сейчас же принят Графиня Пиннеберг спускалась по мраморной лестнице в холодную, сквозную с колоннами

[1] Вино откупорено — остается его выпить *(фр.)*.

прихожую. Она куда-то уезжала. С нею шел итальянский аббат в черной сутане. Графиня любезно улыбнулась Камынину.

— Вы узнаете меня, comptesse?..[1] Я был у вас в Париже.

— Ну как же... Я очень, очень рада видеть вас снова у себя. Мосье Станислав, n'est ce pas?[2] Я сейчас должна ехать с аббатом Роккатани,— графиня показала на ставшего в стороне священника,— к монсеньору Альбани. Но... приходите сегодня вечером... В семь... Хорошо?..

Она новым у нее, милостивым, точно королевским жестом протянула Камынину руку для поцелуя и прошла к раздернутой занавеси, сопровождаемая аббатом. На улице ее ожидали носилки. Садясь в низкое купе, графиня помахала Камынину рукою.

Было что-то невыразимо грустное в ее улыбке. Была в ней, как это было и в Париже, просьба «дай денег», но вместе с тем было и нечто обреченное, жалобное, точно говорили эти косые, ставшие печальными глаза: «Что вы все со мною делаете?.. Зачем?.. Зачем?..»

Вечером, в нарядном атласном кафтане и свежем парике, Камынин поднимался по холодной, мраморной лестнице в салон графини Пиннеберг. И, как в Париже, сверху доносился звон арфы. Графиня играла гостям. Потом Камынин услышал, как вдруг она тяжело закашлялась сухим надрывным кашлем. Звон струн прервался. Камынин вошел в холодный, просторный зал.

С пестрого, расписного потолка спускалась драгоценная венецианская люстра. Зеленые листики и розовые цветы, вылитые из хрусталя, обвивали вычурные изгибы граненого стекла. Пятьдесят свечей красного воска горели в люстре и отражались в зеркалах... Графиня Пиннеберг поднялась с небольшого табурета с боковыми ручками, нарядный турок в расшитой золотом куртке и длинных голубых шальварах отставил в сторону золотую арфу.

— Mercì, мой дорогой Гасан.

Графиня очень похудела, скулы выдавались на остром лице, яркий нездоровый румянец горел на щеках. Она пошла навстречу Камынину, но толстый англичанин, сидевший в низком кресле с поджатыми ногами, с круглыми икрами в белых чулках, встал к ней и, протягивая красные большие руки, заставил остановиться.

---

[1] Графиня *(фр.)*.
[2] Не правда ли? *(фр.)*

— Прекрасно... Удивительно...— сказал он по-английски и продолжал по-французски: — Votre Altesse[1], с такими ручками только и играть на арфе. Подобных ручек и в Турции не видал, а там ручки и ножки нечто пленительное.

— Полноте, Монтегю... Эти руки я унаследовала от моей матери, Императрицы Елизаветы Петровны.

— Как же... Слыхал... Ваша матушка была писаная красавица.

Монтегю поймал пухлыми руками руку графини Пиннеберг и жадно поцеловал ее.

Освободившись от англичанина, графиня подошла к Камынину. Она взяла его под руку и подошла к камину, где тлело большое бревно.

— Как холодно,— сказала она, пожимая голыми плечами.— Никак не могу привыкнуть к римской зиме. Гасан, дайте мне накидку.

Турок почтительно накинул на плечи графини душистый куний мех.

— Вы давно из Парижа? — садясь перед камином и указывая Камынину кресло против нее, сказала Пиннеберг.

— Совсем недавно... Я приехал нарочно, чтобы повидать вас.— И, понижая голос почти до шепота, Камынин добавил: — Я имею поручение к вам от графа Орлова.

— Вы знаете его?.. Вы — поляк?.. Как же это так?.. Мне казалось, при нем нет и не может быть поляков...

— Теперь — есть,— многозначительно подчеркивая слово «теперь», сказал Камынин.

— Вы состоите при нем?.. Вы от него?.. Как же?.. Из Парижа?..

Растерянность и обреченность стали сильнее сквозить сквозь оживление, вдруг охватившее графиню.

— Граф прислал за вами своего адъютанта, поручика Христинека. Граф считает, что то, о чем вы ему писали, требует личных переговоров. Он просит вас приехать к нему в Пизу или в Ливорно. Он будет там ожидать вас с эскадрою верных ему матросов, готовых на все.

Глаза графини заблестели оживлением. На мгновение страх, жалобная мольба «дай денег» исчезли из них, но тем сильнее сквозила в них обреченность.

— Постойте,— перебила Камынина графиня.— Постойте, я должна это сказать. Мартинелли,— обернулась она к сидевшему в углу толстому итальянцу в богатом кафтане и с драгоценными перстнями на пальцах белых бескровных

[1] Ваше Высочество *(фр.)*.

рук.— Вы слышите?.. Вот мосье Станислав ко мне от графа Орлова... Граф просит меня приехать в Пизу... Он ждет меня там с эскадрою верных матросов.

— Отлично, отлично, графиня,— проворчал итальянец.— Я очень за вас рад.

— Вы должны сделать из этого выводы и понять наконец, что вы должны делать в этом случае.

— Я все понимаю, графиня. Но позвольте мне выжидать дальнейших результатов.

— Вам надо выжидать? Вы мне, мне не верите!!

— Графиня... Смею ли я?.. Но я так мало знаю о вас, а вы так много от меня хотите... Позвольте мне подождать, по крайней мере, развязки всей этой истории... Банковское дело не допускает никакой опрометчивости, и оно не может повиноваться фантазии.

— Voila un homme!..[1] — Графиня быстро повернулась спиною к камину, лицом к гостям.— Мосье аббе... Граф... Монтегю, прошу вас, выслушайте всю мою историю... Теперь я вижу — все сбывается как по писаному... Мартинелли, вам надо понять, что вас тут никто не обманывает и перед вами верное и чистое дело. Гасан, не гремите там своею саблею и оставьте в покое мою арфу.

Графиня, видимо, была очень взволнована, в ней был какой-то надрыв, и казалось, что все это вот-вот окончится истерикой... Она уселась удобнее в кресло, протянула ноги по ковру и начала, сбиваясь, возвращаясь к рассказанному и повторяясь:

— Вы все, мои друзья... Вы все должны знать все, все обо мне. Люди так злы, и они так много говорят того, чего нет. Мое прошлое — это такая грустная и тяжелая история, что мне так часто плакать хочется, когда я думаю о себе и все это вспоминаю... Трудно многому поверить.

Красивые косые глаза беспокойно обводили гостей. Те подошли поближе к камину и сели полукругом. Камынин мог теперь всех их разглядеть — как и в Париже, так и тут, все были мужчины, ни одной дамы не было при графине. Она была — как серна среди волков. Она опять тяжело закашлялась и поежилась под длинным меховым палантином.

— Совсем сибирский холод. Я так хорошо помню Сибирь...

Так начала она, как будто что-то вспоминая, может быть, импровизируя, подыскивая слова, поднимая глаза к потолку.

— Я родилась в Петербурге, в Зимнем дворце. Моя мать — русская Государыня Елизавета Петровна, мой отец — ее вен-

[1] Вот еще человек!.. *(фр.)*

чанный муж — Разумовский. До девяти лет я жила при матери во дворце. Какие игрушки у меня были, какая восточная роскошь меня окружала! Белые медведи играли со мною в залах дворца и грели меня своим чудным мехом...

— Вы, значит, говорите по-русски? — быстро спросил Камынин.

— Я?.. Нет... О!.. Нет!.. Я как-то совсем забыла этот язык... Вы не поверите, что я пережила потом. Государыня умерла, и так как я была ее наследницей, я не могла оставаться в Петербурге. Меня повезли в Сибирь. Я прожила там год и чуть не умерла от холода. Разумовский, который очень беспокоился обо мне, разыскал меня и привез в Петербург. Но... Вы понимаете... Из огня да в полымя... Меня хотели отравить... Государыня Екатерина незаконно захватила власть. Это ужасная женщина, которая ни перед чем не остановится. Я была девочка и, конечно, ничего не понимала во всех этих интригах. Но мой отец непрерывно думал, как меня спасти. Он послал меня к своему родственнику — шаху персидскому. Я там жила, не подозревая тайны своего рождения. Я даже считала себя персиянкой... Когда мне минуло семнадцать лет, персидский шах открыл мне, кто я... Он предложил мне свою руку... Но тогда мне пришлось бы отречься от своей веры и вместе с тем от престола, на который у меня были все права. Я не могла так поступить. Вы поймете меня. Я все честно и прямо сказала шаху. Он был благороден. Он щедро одарил меня и отпустил меня ехать, куда я хочу. Я переоделась в мужское платье и с другом шаха — Гали, никем не узнанная, проехала всю Россию. Я узнала во время этого путешествия, как ненавидит народ свою Государыню и как он жаждет видеть на престоле законную наследницу, дочь Императрицы Елизаветы Петровны. В Петербурге я побывала у некоторых знатных особ, друзей моего отца. Они мне обещали помочь, когда настанет подходящее время. Я поехала в Берлин. Я была у короля Фридриха. Король сейчас же признал во мне дочь покойной Государыни. Он протянул мне обе руки и назвал меня «prïncesse». «Тише, тише, дорогой король,— сказала я ему,— я окружена врагами...» Из Берлина я поехала в Лондон, а потом в Париж. Когда Гали умер, я купила себе в Германии графство Оберштейн. Я могла бы жить в нем в полном довольстве, но меня беспокоили судьбы моего бедного народа. И вот тут я узнаю, что мой брат — Пугачев начал войну из-за меня с Императрицей Екатериной... Я решила помогать ему и для того войти в сношения с Турцией и прусским королем. Я готова дать Пруссии расширить ее владения на востоке, а Турции можно

будет дать что-нибудь на юге. Россия так богата землями. Важны не земельные приобретения — важны правда и справедливость и счастье моего народа. Я написала обо всем этом графу Орлову... И вот ответ.— Графиня Пиннеберг встала с кресла и, протягивая руку в сторону Камынина, сказала, повышая голос: — Граф просит меня к себе. Он ждет меня с целою эскадрою верных мне матросов!.. Мартинелли, я вам еще раз говорю — вы должны мне, должны помочь. Русская императрица сторицею вам заплатит за эту помощь ей!

— Я позволю себе, графиня, подождать того момента, когда вы и точно станете Императрицей. Я предпочитаю немного выждать событий.

— Какой ужасный человек!..

— Нет, графиня, просто — банкир.

Мартинелли подошел к столу, на котором лежали карты, и, взяв колоду, подошел к графине.

— Не гневайтесь на меня, графиня. Les affaires sont les affaires...[1] Я был бы плохим банкиром, если бы давал закладные под воздушные замки...

— Вы сегодня невозможны, Мартинелли...

— Увы, как всегда. Вы не возьмете карту?..

— Нет, я не в состоянии сейчас играть. Я слишком потрясена воспоминаниями.

Играли на двух столах. Графиня отозвала к себе Камынина и села с ним в стороне от гостей, у камина.

— Послушайте, мосье Станислав, вы слышали все... Всю мою трагическую историю. Вы, как поляк, знаете лучше них русские дела. Неужели и у вас есть какое-нибудь сомнение?

— Графиня, я не сомневаюсь, что вы все это искренне рассказываете. Но... другой раз... мой искренний, дружеский вам совет... Не называйте Пугачева своим братом. Он простой казак... И, сколько я знаю, он уже выдан Императрице и едва ли не казнен.

Графиня сильно покраснела. Она смутилась, но смущение ее длилось недолго, она сейчас же и нашлась.

— Я немного спутала. Когда говоришь людям, которые ничего не понимают в русских делах, невольно говоришь не так, как надо. Это правда — Пугачев никогда не был моим братом, но, когда я была совсем маленькой девочкой и жила у матери, однажды Разумовский привел ко мне казацкого мальчика, вот его-то и звали Пугачевым. Мы с ним

[1] Прежде всего дела (*фр.*).

играли, и он мне стал как брат Императрица, видя его смышленость, послала его в Берлин, чтобы он там мог получить основательное военное образование... Он очень ко мне привязался и вот и теперь пошел за меня сражаться... Вы говорите — пойман, выдан, казнен? Это было бы ужасно... Не может этого быть! Откуда вы все это знаете?..

— Графиня... Что, если бы вы?.. Впрочем... Я не имею права ничего вам ни говорить, ни советовать... Так что прикажете передать орловскому адъютанту?..

— Скажите господину Христинеку, чтобы он послезавтра пришел с доверенностью к моему секретарю Флотирону. Тот передаст ему мой ответ графу Орлову.

— Слушаюсь, графиня, ваше желание будет исполнено.

Глаза Камынина встретились с косыми глазами графини. Такие обреченность, растерянность, страх и подавленность были в глазах графини, что Камынину вдруг стало необычайно жаль эту женщину

— Графиня,— начал он и не мог продолжать. Вдруг вспомнил то, что так резко запечатлелось в его памяти: разговор с Орловым о том, что такое беспредельная преданность Государыне. И понял, что подошел к этому пределу, и уже не мог удержаться. Не было, значит, у него орловской твердости.

— Что скажете?..

— Графиня... Я думал, что иногда бывает лучше, чтобы то, что надвигается,— отошло...

— Я вас не понимаю, о чем вы говорите?

— Я сознаюсь — неясно я говорю... Знаете?.., Вдруг исчезнуть... Сделать бывшее, сказанное, написанное — не бывшим, отречься от писаного, обратить в шутку сказанное... Словом, уйти, исчезнуть с той сцены, куда взошли. Отказаться от роли...

— Исчезнуть?.. Да... Может быть... Я сама знаю, мне врачи намекали — я недолговечна... Но если сгореть?.. Так сгореть блестящим огнем!..

Она встала и выпрямилась и, гордо протягивая руку Камынину, сказала важно:

— Мой долг, мосье Станислав... Вы исполните ваш — пришлете сюда господина Христинека.

Камынин низко поклонился и, поцеловав протянутую ему руку, пошел из залы.

Он шел пешком домой, на ту сторону Тибра, и думал:

«Какой, однако, вздор вся человеческая жизнь. Глупая женщина, так мало знающая Россию, совсем ее не любящая, орудие международной политики, сама не понимает, на что она идет... Никто из предающих ее ей не верит, ни на грош, все отлично понимают, на что ее толкают, и все-таки тащат

ее куда-то, взвинчивают и ведут... на плаху... Во имя чего?.. Чтобы только хотя немного помешать торжественному шествию к величайшей славе Екатерины... Международная политика — глупый заговор... А впрочем, глупы только те заговоры, которые не удаются, а удайся?! Такая женщина на престоле российском!.. Готовая все и сама себя продать... Нет, прав Орлов... Тысячу раз прав... Пусть гибнет... Ей остается только надеяться на милость милосерднейшей матери нашей всемилостивейшей Государыни Екатерины Алексеевны».

Но отделаться от едкого чувства чего-то досадного и нехорошего, во что он попал, Камынин долго не мог.

XXXIII

«La demarche gue la Princesse Elisabeth de toutes les Russies fait, n'est gue pour vous prevenir, Monsieur le Comte, gu'il s'agit actuellement de se decider sur le parti, gue vous avez a prendre dans le affaires du temps,— писала Орлову графиня Пиннеберг.— Le Testament, gue feu Elisabeth l'Imperatrice fit en faveur de sa fill, est tres bien conserve et entre bonnes mains; et le prince de Razoumovsky, gui commande une partie de notre Nation sous le nom de Puhaczew, etant en avantage par l'attachement, gue toute la Nation Russe a pour les heritiers legitimes de feu l'Imperartrice, de glorieuse memoire, fait, gue nous armes de courage pour chercher les moyens de briser nos fers»[1].

Она описала свою ссылку в Сибирь и бегство оттуда в Западную Европу... «Elle est soutenue et appuyee de plusieurs souverains; elle ne vous ecrit tout cela, gue pour vous avertir, gue l'honneur, la glorite, tout vous dicte de seconder une Pricesse, gui reclame des droits legitimes»[2]. Она указывала, что ввиду войны, которая ведется, необходимо и выгодно изменить отношение к туркам. Она сообщила, что находится в союзе с Портой и что ничто ей не может угрожать, так

---

[1] *Попытка, которую княжна Елизавета всея России делает, имеет целью только предупредить вас, граф, что от вас требуется решить, примете ли вы участие в теперешних делах. Завещание, сделанное покойной Императрицей Елизаветой в пользу своей дочери, сохранно и находится в верных руках, и князь Разумовский, командующий частью нашего народа под именем Пугачева, имея все преимущества вследствие преданности, какую имеет вся Россия к законным наследникам покойной Императрицы и ее славной памяти,— вооружает нас мужеством искать средства порвать наши оковы (фр.).*

[2] Она поддержана и опирается на многих верноподданных, она пишет вам только для того, чтобы осведомить вас, что честь, слава — все повелевает вам помочь княжне, объявившей свои законные права *(фр.)*.

как она находится на турецкой земле и под охраной большого конвоя. У нее огромное количество приверженцев в народе, уже давно страдающем под тяжким игом честолюбивой женщины, славолюбие которой не знает пределов. Она указывала Орлову на его обязанность поддержать ее, законную наследницу русского престола. Она заранее уверена в успехе своих притязаний... «Le grand ouvrage etant fait, il ne s'agit donc plus, gue de nous montrer. Nous avons cherche les moyens pour nous rendre a Livourne, mais on nous en aempeche, guoigue nous fussions bien assure de votre probite»[1]. Она сообщала, что готова приехать в Ливорно, и просила Орлова ввиду тайны дать ответ через посланного на имя господина Флотирона. В конце письма она опять возвращалась к завещанию Императрицы Елизаветы I, которое хранится у нее в надежном месте, она писала, что в этом завещании упомянута она одна, что ее брат в нем даже не назван. «Время коротко и драгоценно,— писала она,— нужно двинуть дело, иначе все государство погибнет...» Она борется не из-за короны, а потому, что ее чувствительное и нежное сердце не может выносить стольких страданий русского народа. Она предоставляла графу Орлову сократить или расширить составленный ею манифест, но просила сделать это продуманно. Заканчивала она письмо словами: «De la reconnaissance il n'est pas necessaire, gue nous vous en parlions, elle est si douce aux ames sencibles, gu'elle ne laisse point d'espace entre la sensibilite et la susceptibilite; sentiments gue nous vous prions de croire a toujous sinceres»[2].

К этому длинному письму были приложены данные для составления воззвания к флоту. Они начинались выдержкой из завещания Елизаветы, Императрицы всероссийской, сделанного в пользу ее дочери Елизаветы Петровны. На основании этого завещания она, наследница престола, ныне совершает шаг во имя блага ее народа, который стонет и несчастия которого дошли до предела, во имя мира с соседними народами, которые должны стать навеки нашими союзниками, во имя счастья нашей родины и всеобщего спокойствия.

«Nous, Elisabeth Seconde, par la grace de Dieu, Princesse de toutes les Russies, avertissons toute notre nation, gu'elle

[1] «Громадная работа уже закончена — нам остается только появиться. Мы искали возможности приехать в Ливорно, но нам помешали, хотя мы не сомневаемся в вашей честности» *(фр.)*.

[2] «Нет надобности говорить о моей благодарности — у душ чувствительных она так нежна, что тут нет уже грани между чувствительностью и обидчивостью. Мы просим вас верить, что наши чувства к вам будут всегда нежными» *(фр)*.

n'a d'autre parti a prendre, gu'a se decider ou pour, on contre elle, nous avons l'avantage sur ceux, gui nous ont usurpe notre Empire, nous publierons dans peu de temps le Testament de feu Elisabeth Imperatrice, tous ceux, gui s'opposeront a nous preter serment, seront punis par les lois sacrees, etablies par la Nation meme, renouvelees par Pierre Premier, Empereur de toutes les Russies». Манифест этот был помечен: «de Foms de Turguie le 18 courant»[1].

Это письмо и проект воззвания к матросам были переданы Христинеку. Тот остался в Риме для наблюдения за графиней Пиннеберг, а Камынин сухим путем поехал в Ливорно к графу Орлову.

Орлов его принял в красивой вилле, где он жил с молодой итальянкой. Он внимательно прочел и перечел письмо графини, потом дал его прочитать Камынину.

— Чушь... Ерунда какая-то... Каша у ней в голове порядочная... Ты ее видел?.. Что ты думаешь о ней?

— Несчастная авантюристка, жадная до денег и мишурного блеска... Продажная женщина.

— Красивая, по крайней мере?

— Если хотите... Есть в ней что-то... Ловкая, умная бестия и окружена проходимцами, международными мошенниками.

— Умная?.. Не вижу ума в этих писаниях. И никто ее не просветил...

Орлов сжал руками голову. В его глазах знакомый Камынину стальной огонь.

— Не люблю, когда с бабами. Не на то они созданы... Ты народ наш не меньше моего знаешь. Живому, светлому, радостному, умному не верит. А вот такому вздору поверит, как верил в Пугачева. Узнаю в ее писании пугачевский штиль... Народ, Иван Васильевич, на солнце плевать готов и в потемках будет счастья искать... Надо сие в корне пресечь... Здесь же... Без шума, без скандала... Мы свое дело по чести и по совести исполнить должны. Я пошлю все это при письме от себя матушке Государыне, а ты отправляйся обратно в Рим и живую или мертвую, честью или обманом доставь ко мне эту... самозванку. Свой долг Орлов исполнит. Понял?..

В тот же день Камынин поехал обратно в Рим.

---

[1] «Мы, Божию милостию Елизавета Вторая, княжна всея Руси, объявляем всему народу нашему, что он должен решить, быть за меня или против меня, мы имеем все права против тех, кто отнял у нас нашу империю. Через короткое время мы объявим завещание покойной Императрицы Елизаветы, и все, кто посмеет не присягнуть нам, будут наказаны по священным законам, утвержденным самим народом и возобновленным Петром Великим, Императором всея Руси. Фомс. Турция. 18 сего месяца» (*фр.*).

5. «МАРКИЗ» ПУГАЧЕВ

XXXIV

У Государыни — как гора с плеч. Донские казаки выдали Емельку Пугачева генералу Александру Васильевичу Суворову, и тот везет его закованного и прикованного к клетке в Москву

Сама Государыня Пугачева не боялась, но из Москвы были панические «эхи»... Готовы были вывозить казну и дела из Москвы. Черный народ стал заносчив. Мятеж сам по себе многого не стоил, но долгое время не было войск, чтобы усмирять его. Войска были в Молдавии. Было тревожно читать, как пламенем пожаров, кровью помещиков и дворовых людей катился этот мятеж по обширному Приволжскому краю, как сдавались города и крепости и как озверевший народ расправлялся с пленными и безоружными жителями.

Тот народ, о котором так хорошо было писать в сентиментальных тонах Гримму и Вольтеру, о котором, читая Монтескье и Дидро, так приятно было думать, как его облагодетельствовать, показал свое дикое, звериное лицо.

Все эти ночи Государыня плохо спала. Стало ясно, что, прежде чем освободить народ, надо просветить его, научить его и заставить уважать законы и повиноваться им... Ей это не достанется. Не ей сладость снять цепи с рабов. Внуку, может быть, даже правнуку — ей же надо созидать такие законы, которые смирили бы зверя, каленым железом застращали его. Она еще раньше писала в своем «Наказе»: «Лучше, чтобы Государь ободрял, а законы угрожали. Лучшая слава и украшение Монарха — есть хорошее мнение о его правосудии...»

Проснувшись, Государыня долго не вставала и все думала о своем долге перед народом. Думала и о том, чем покорял Пугачев народ... Почему-нибудь шли за ним на бой, на смертные муки и саму казнь?.. «Надо служить народу.. Он не служил, он потворствовал низким инстинктам. Народу надо уметь служить. Многое при настоящем служении не понравится ласкателям, которые во вся дни всем земным обладателям говорят, что народы для них сотворены, однако ж я думаю и за славу себе вменяю сказать, что я сотворена для моего народа. Нелегко работать для народа. Нелегко оберегать его от всяких случайностей. Но не надо бояться этого. Монарх обязан говорить о вещах так, как они быть должны... Про меня пишут в английских газетах: «Россия порабощена прихотям и произволу самовластительства...» Пустобрехи!.. Слава Богу, что Россия предана моему про-

изволу, а не произволу Емельяна Ивановича, маркиза Пугачева!. Смешно!.. Знают они, как трудно управлять русским народом?..»

В шестом часу на придворном театре была комедия, играли французские актеры: «Le chevalier a la mode» Потом был балет Толата, в котором танцевали с подделанными под башмаки деревяшками, отчего на сцене был красивый, ритмичный, согласованный с музыкой веселящий стук. После еще была маленькая пьеса «L'impromptu de campagne»[1].

Государыня много смеялась и аплодировала актерам Нейвиль и Дельпи.

После спектакля в малом зале был ужин для приглашенных. После ужина Государыня села играть в ломбер с графами Захаром Григорьевичем Чернышевым, Воронцовым и Паниным. Она шутя выиграла «пулю»

Чернышев взял колоду, чтобы сдавать карты для следующего роббера. Государыня рукою остановила его:

— Погоди, Захар Григорьевич... Расскажи мне хорошенько о Пугачеве. Почему же повиновались ему, несли ему деньги и продовольствие, на смертный бой шли за него?

— Шли, Ваше Величество, не за него и несли деньги не ему, а императору Петру Федоровичу... Это император Петр Федорович явился к народу, окруженный вельможами и генералами, о которых народ слыхал. Это император казнил и миловал, дарил землю и волю. Потворствовал самым низким народным страстям — жадности и зависти.

— Захар Григорьевич, ведь ты и раньше как будто знавал Пугачева?...

— Знавать не знавал, а слышать про него приходилось. В Семилетнюю войну был в моем отряде Донской казачий полк полковника Денисова. Был тот Денисов большой любитель до коней. При лошадях у него был вестовым молодой разбитной казачишка Емельян Пугачев. Бывало, пойдешь по казачьему лагерю, Денисов лошадьми своими станет похваляться. «Емельян,— кричит,— выведи того жеребчика, знаешь, что у татар отбили...» И бежит Емельян с оброткой угодить своему полковнику... Во время ночного нападения пруссаков Емельян возьми и упусти одну из любимых лошадей Денисова. Тот — крутой человек, да еще и под горячую руку, наказал Емельяна розгами... Не добрым глазом посмотрел на своего полковника Емельян. Слыхал я потом, что в турецкую войну Пугачев отличался храбростью, рас-

[1] «Модный кавалер»; «Деревенская неожиданность» *(фр.)*

торопностью, наездничанием, прекрасным владением копьем. Денисовская выучка даром не пропала, и произведен он будто в хорунжие. На войне заболел он чирьями и был отправлен на поправку на Дон. Дома он помог своему тестю уйти на Терек. Это же строго запрещено, ему грозил суд и жестокая расправа. Он бежал в степи — вот тут, какой бес его толкнул, кто его надоумил, кто знает, но только тут и началась вся его необыкновенная история. И раньше в степях были самозванцы и все ходили слухи, что Император Петр Федорович у раскольников скрывается.

Государыня забыла про карты. Она с интересом слушала Чернышева. Тот Пугачев, о котором она столько читала это время донесений губернаторов и военных начальников, столько читала россказней в иностранных газетах, точно оживал перед нею и являлся совсем в новом свете.

— И вот, представьте себе, Ваше Величество,— темная, грязная, скользкая банька из самана, на окраине казачьего хутора. В ней парятся два казака. Хозяин — яицкий казак и его случайный гость, принятый им Христа ради. Мутный свет сквозь бумажное прожированное оконце, раскаленный докрасна полок и банный неистовый пар. В этом пару темное, крепкое тело, и на груди у этого человека белые пятна, образующие крест,— следы чирьев. Казак-хозяин заинтересовался, что это за знаки на теле его гостя?.. Гость ничего не ответил. И вот нарастает любопытство, и кажется, что есть что-то таинственное в этих знаках, что не случайны они. Выходят из бани. День к вечеру, степь, тишина, горький запах полыни и просторы бескрайние. Все притаилось в природе, и должно быть чуду, чему-то неестественному Гость останавливается и говорит глухим голосом: «Ты про знаки на теле?.. Не знаешь?.. Будто не понимаешь?..» Яицкий казак ответил: «Не разумею, о чем говоришь».— «Не разумеешь?.. Ну так разумей... Тебе сказали, что я Пугачев... Какой я Пугачев... Я не Пугачев, а Император Петр III...»

— Действительно, сказал,— проговорил Никита Иванович. — Господи, вот ведь взбредет в голову человеку, и с чего!..

— C'est incroyable![1] — сказала, вздыхая, Государыня. — Все им привидения кажутся. Который это Петр III в народе объявляется? Чуть ли не двенадцатый? Я понимаю, ну сказал... Мало ли что можно пошутить? Но ведь он серьезно. Как пошел!.. Чем околдовал он народ?.. Валом пошли к нему... И казаки, и крестьяне... И даже кое-кто из господ... Пошли за кем?..

[1] Это невероятно! *(фр.)*

XXXV

Тихо сказал Никита Иванович:

— Генерал Бибиков писал Фонвизину: «Пугачев не что иное, как чучело, которым играли воры — яицкие казаки...» Не Пугачев, Ваше Величество, важен — важно общее недовольство и негодование.

Оживленное и веселое лицо Государыни омрачилось. Маленькая ручка стала прямыми пальцами похлопывать по столу — признак недовольства и волнения. Панин тронул по больному месту. Знала Государыня это народное недовольство, рабскую злобу, зависть, бедность и нищету крепостных людей. Вперед глядела на много лет. Сознавала, расходятся поступки ее с тем, что писала она в своем «Наказе» и о чем много раз советовалась и говорила с Паниным. Чего они хотят?.. Пугачевский мятеж принес разорения больше, чем турецкая война. Из-за безродного казака остановились так удачно начатые польские дела. Сотни сел и деревень выжжены, поместья уничтожены, многие тысячи людей побиты насмерть... Вся заграница с интересом и злорадством следила за движением казака Пугачева. Государыня видала изображения Пугачева в заграничных газетах. О нем писали с сочувствием — он нес свободу!. О ней — с негодованием. За границей алкали уничтожить, унизить и посрамить, все равно чьими руками, Россию!.

Государыня грустно усмехнулась.

— Знаю,— тихо сказала она.— Не первый раз о том слышу. Верь мне, Никита Иванович, наше первое желание — видеть народ российский столь счастливым и довольным, сколь далеко человеческое счастие и довольство может на сей земле простираться. Собирала я для того сведущих людей. Что же вышло?.. Не мною порядок сей установлен, и, видно, не мне его переменить. Всю Россию в одночасье не перестроишь. Дать волю народу, сам видишь теперь,— погубить Россию, а, погубляя Россию, не погублю ли я и самый народ?..

— Ваше Величество, Заволжский край далекий и глухой. Земля для обработки тяжелая — степь... Летом зной и засуха, зимою жестокая стужа и вьюги.

— Воля крестьянам, Никита Иванович, климата не изменит.

— Точно, Ваше Величество. Но — помещичьи угодья огромные, надо много труда положить, чтобы сносно существовать. Перетянули дугу, она и сломалась.

— Помещики виноваты,— с грустной иронией сказала Государыня.

В ее красивых глазах разлилась печаль. Как часто думала она и писала: «О!.. Россия!.. Любезное мое отечество!.. Ты

вверила мне скипетр!.. Я оправдаю твое избрание, все минуты жизни моей употреблю на соделание тебя счастливой!.» Она думала всегда о целом — о России, они думали всегда о частях: о крестьянах — им нужно волю дать, о помещиках — не давай воли народу, о духовенстве — не отнимай крестьян у монастырей. Как тяжело, что и такие умные люди, как Никита Иванович, ее не понимают.

Панин, заметив, что Государыня недовольна, замолчал. Государыня продолжала:

— Ну ладно!.. Помещики!.. Пусть и точно — звери... Знаю, есть и такие, что крепостного и за человека не считают... Но зачем же все-таки Емельку-то слушали?.. Что он, хорошему, что ли, учил?.. Грабежам да поджогам.. Воровской казак...

— Они, Ваше Величество, не Емельку слушали, а императора Петра Федоровича, которого считали вами обиженным.

— Хорош император — бородою оброс!

— Ваше Величество, край старообрядческий, борода-то там и очень кстати пришлась... И на теле крест... Знак Божий. Эта-то вот мистика и влекла к себе простой народ.

— Крест — следы чирьев, грязи!.. Ф-фу!..

— Ваше Величество, наш народ, и особенно народ тамошний, где много инородцев, татар, темный. По песням, по сказкам, по былинам он составил себе свое понятие о Государе. Ему такой нужен Государь, чтобы водку с ним хлестал и пьян не бывал, чтобы сквернымми мужицкими словами ругался, землю и волю дарил, непокорных, и особенно господ, тут же казнил своею царскою ручкою... Лихой наездник, топором над человеческими головами владеть умеет, голос громкий, властный, силища непомерная — вот царь в представлении народном. Ему наши придворные финтифлюшки непонятны, они просто чужды ему Вот вам Захар Григорьевич расскажет, каков из себя был Пугачев.

— Ну что же, расскажи, Захар Григорьевич, каков должен быть Государь, а я Вольтеру и Монтескье отпишу, чтобы знали.

— Ваше Величество, Никита Иванович правильно вам докладывает. Там за Волгой жизнь другая, понятия иные, нравы грубые и жестокие, все там аляповато, но как картинно умел в этой аляповатости появляться Емелька. Умел он себя народу показать.

— Ну, расскажи, поучи меня...

— Сакмарский городок... Это селение, утонувшее в беспредельной степи. Только у церкви, небольшая березовая роща. Темные низкие избы вытянулись широкими улицами, всюду густая серая пыль, у домов подсолнухи стоят, как

часовые, все широко, просторно, места не жалко, как только это и бывает в степи. Ждут Пугачева..

— Нет, Ваше Величество,— перебил Чернышева Панин. — Не Пугачева ждут, в том и дело, что вовсе не Пугачева, а Императора Петра Федоровича, который едет к своему народу объявить ему волю и казнить помещиков и непокорных.

— У станичной избы пестрые ковры по земле постланы, вынесен стол, накрытый белым, расшитым по краям убрусом, на нем большой каравай белого пшеничного хлеба на резном деревянном блюде и такая же солонка с крупною солью — все свое, здешнее, русское. Священник в полном облачении с крестом в руке ожидает у церкви. Крестный ход окружил паперть, иконы, хоругви вынесены на площадь. Старики с костылями стоят впереди, по краям у плетней пестрые, а более — белые платки женщин. На мужиках парадные кафтаны, которые надевают раз в год, в светлый праздник. И вот — показался вдали.. Прискакал в пылевых клубах махальный, крикнул задыхающимся, испуганным голосом. «Едет!.. Царь-батюшка жалует к нам!..» Зашевелились, затоптались на месте, завздыхали. Много часов на солнечном припеке ожидали. Разморились... Пугачев в богатом кафтане, соболья шапка с малиновым бархатным верхом на брови надвинута, сабля в золоте, на боку болтается. Под ним жеребец соловой, священной, по понятиям татар — царской, масти — хвост на отлете, грудь широченная, как у льва, седло калмыцкое с широкими луками, в самоцветных камнях — сердоликах и халкидонах, в изумрудах и яшмах, в золотой резьбе. Вся сбруя конская в золоте. Жеребец катит широким проездом. Пугачев сидит, молодцевато откинувшись, хмурит густые темные брови.

— Ка-артина,— со вздохом говорит Государыня.

— Сзади свита. Человек пятьдесят казаков. Отчаянный народ. Пугачев слезает с лошади, вестовые казаки подхватывают его под руки, ведут к церкви, как архиерея... Колокольный звон... Шапки скинуты с голов, люди становятся на колени. Со вздохами, опираясь на руки, отвешивают земные поклоны. Слышен покорный шепот: «Царь-батюшка, помилуй...» Пугачев свою роль знает Умеет «фасон» держать. Он не станет с колен поднимать. Он — Государь — земной Бог Медленно подвигается он к кресту, истово по-старообрядчески крестится, целует крест Ему подносят хлеб-соль, он целует хлеб — благословение Божие. Теперь уже станичные старики принимают его под локти и ведут к приготовленному ему стулу с подушкой.

— Хорошо рассказываешь, Захар Григорьевич,— тихо говорит Государыня. — Тебя заслушаться можно. У тебя и Пу-

гачев красавцем выходит в народном духе... Башкирский маркиз... Маркиз Пугачев.

Она задумывается, вспоминает раннюю свою юность и как первый раз у Есмани увидала она казаков, их коней и услышала дремотные их песни в степи.

— Да, дела,— говорит она и вздыхает. — Одно непонятно моему женскому уму, Захар Григорьевич, назначила я тогда генерал-аншефа Александра Ильича Бибикова командовать войсками противу Пугачева, и тот Бибиков прогнал злодея из-под Казани, освободил Оренбург и двадцать четвертого марта разбил Пугачева наголову под Сакмарой. Злодей потерял все взятые им по разным городкам пушки, четыреста человек — писали мне — было убито у него, да три с чем-то тысячи в плен взято. Пугачевский Воронцов тогда в плен нам попался. Сам Пугачев — мне тогда Бибиков доносил — с четырьмя заводскими мужиками бежал к Пречистенской, а оттоле на Уральские заводы. Конец Пугачеву! Михельсон, генерал, разбил тебя, пугачевского графа Чернышева, у Зубовки, двадцать пять пушек взяли от тебя, освободили Уфу. Мансуров занял Илецкий и Яицкий городки. Полнейший разгром! И вдруг... Пугачев как ни в чем не бывало оказывается на Белорецких заводах. Пугачев у Магнитной, у Челябинска — везде Пугачев... C'est epouvantable!.. Михельсон, Фрейман, Декалонг с ног сбиваются, гоняя злодея по степям... Пугачев у самой Казани!.. C'est miraculeux[1]! Что он?.. Феникс?..

— Это, Ваше Величество, не Пугачев делал,— мягко говорит Панин. Он смотрит вниз и пухлыми белыми пальцами тасует карты. — Народ сам поднимался по всему громадному Заволжскому краю за землю и волю, которые им обещал император Петр Федорович. Ваше Величество, покойный супруг ваш, оказав милости раскольникам и даровав вольности дворянам, посеял семена этого мятежа — вам досталось пожинать жатву.

— Земля и воля!.. Где же давал злодей эту землю и волю? Весь край был объят пожарами и залит кровью. Расскажи, Захар Григорьевич, что творилось в Бердах. Пусть Никита Иванович послушает, на что способен народ под таким управлением, какое было у Пугачева.

Государыня смотрит на Панина и на старого Воронцова, и ей кажется, что не столько возмущены они Пугачевым, как напуганы и восхищены. Ай, молодец! Их точно страшит и чарует человеческая кровь. И что, если бы вот сейчас в этот зал вошел бы Пугачев в бобровой шапке и при сабле?.. Сам пьяный и с ним пьяная ватага мужиков... Что они?..

[1] Это ужасно!.. Чудеса!.. *(фр.)*

Не поклонились бы ему?.. Не оставили бы ее для него?.. Какие страшные мысли!.. Не будь у нее этого славного маленького Суворова, не будь Михельсона, Бибикова, Петра Ивановича Панина с их лихими драгунами, кто знает, не сидел бы Пугачев в державном Петербурге и не кланялись бы ему земно все эти вельможи, ею обласканные?.. Может быть, и в Петербурге стало бы как в Бердах, казацком пугачевском стане! Господи, как все ненадежно в этом мире!..

— Расскажи нам про Берды,— повторяет Государыня и смотрит в угол скудно освещенной гостиной.

XXXVI

— В Бердах Пугачев собрал толпы казаков и крестьян в пятисотенные полки, назначил десятников и сотников. Все устроил, как было в денисовском полку, где он служил. За побег назначил смертную казнь бежавшему, когда его поймают, и десятнику, как только побег обнаружится, за то, что недосмотрел. Кругом по степи поставил караулы, послал разъезды и сам днем и ночью поверял бдительность службы.

Государыня вздохнула.

— Да,— сказала она. — Это не плац-парады на гауптвахтной площадке у Зимнего дворца. Видно, маркиз Пугачев понимал военное дело.

— Каждый день в полках шли ученья. Не доверкашься — бьют и перевернешься — бьют. В церкви служили обедни и поминали Государя Петра Федоровича и супругу его Государыню Екатерину Алексеевну. Пугачев ездил верхом по базару и по бердским улицам и бросал в народ медные деньги. Тут же награбил — тут же и роздал. Нравилось это народу. На крыльцо избы, где он стоял, выносили кресло, и Пугачев садился на него чинить суд и расправу. По сторонам становились казаки — один с булавою, другой с серебряным топором.

— Точно... Как в сказке!..

— Да так и было... И эта-то сказка и нравилась народу. К Пугачеву приводили захваченных офицеров, помещиков, помещичьих жен и дочерей. Женщин Пугачев отдавал на поругание разбойникам.

— Нравилось, конечно...

— Овраги около Бердов были завалены трупами расстрелянных, удавленных и четвертованных помещиков. Их не хоронили. Собаки и вороны препирались о них. Смертным духом несло по улицам Бердов.

— От нас, Государей Божией милостью, требуют отмены смертной казни, но как восхищены, когда найдется, кто каз-

нит народ массами... За границей портреты Пугачева печатаются. Народный герой!..

Маленькая ручка Государыни стала опять похлопывать по карточному столу.

— Крестьяне казненных помещиков получали волю. Им некому стало служить, не на кого работать. И так, как в Бердах, было везде, куда приходил Пугачев.

— И что же?.. Все так ему и покорялись?..

— Нет, Ваше Величество. Офицеры Вашего Величества присягу помнили. В ноябре прошлого года злодей взял Ильинскую крепость. К нему привели солдат и с ними капитана Камешкова и прапорщика Воронова. Солдат поставили против пушки. Когда Пугачев к ним подъехал, их заставили стать на колени.

— Какой позор!..

— Пугачев осадил коня и сказал: «Прощает вас Бог и я, ваш Государь Петр III, Император. Вставайте!..» Пушки обернули в степь и выпалили из них ядром. От солдат Пугачев направился к офицерам. Те стояли связанные, избитые, голодные, с зелеными от пережитых страданий, лишений и оскорблений лицами. Они смело, по-офицерски смотрели прямо в глаза Пугачеву, и во взгляде их был вызов. И Пугачев затрепетал перед ними, связанными и бессильными. Стараясь быть угодливым, он говорит им: «Зачем вы шли на меня, Вашего Государя?» — «Ты нам не Государь, — ответил капитан Камешков, — у нас в России — Государыня Императрица Екатерина Алексеевна и Государь цесаревич Павел Петрович, а ты — вор и самозванец!..»

— Скажи мне, Никита Иванович, почему вот таких вот героев портреты нигде не напечатаны по заграничным газетам, об них книги не пишут, а о Пугачеве пишут и портреты его распространяют?.. Их, конечно, казнил маркиз Пугачев?

— Тут же повесил.

— И народ?..

— Народу нравилось... Власть!..

— Ваше Величество,— сказал Панин,— мой брат мне недавно писал. Привезли Пугачева в клетке на тот двор, где мой брат стоял со своим штабом. Петр Иванович вышел посмотреть на злодея. Тот сидит — как медведь в клетке. Волосы колтуном, борода нечесаная, в разодранной рубахе и нагольном тулупе. Мой брат спросил его: «Кто ты таков?..» Пугачев смело посмотрел в глаза брату и ответил. «Сам, чаю, лучше моего знаешь — Емельян Иванович Пугачев».— «Как же ты смел, вор, называться Государем?» Пугачев мрачно посмотрел на брата и сказал точно про себя: «Я не ворон, я вороненок, а ворон-то еще летает. Гляди,

еще и тебе глаза выклюет». Есть в Пугачеве, Ваше Величество, особая сила духа, и сила-то эта подкупает народ.

— Мне доносили о том, что Пугачев, когда почуял, что казаки поняли его и готовы выдать, пустил слух, что он и точно донской казак Пугачев, но что между его казаками скрывается подлинный Император Петр III Федорович, да имени своего до времени не объявляет... Вот я и еще жду самозванца. Привыкать, кажется, к этому начинаю. Ты помнишь, Никита Иванович, о том письме, что тебе писала тоже какая-то из Рима... Невероятно!..

XXXVII

Орлов писал Государыне, что в Неаполе, а потом в Риме появилась «дочь Императрицы Елизаветы Петровны»...

«Есть ли эдакая на свете или нет, я не знаю,— писал Орлов,— а буде есть и хочет не принадлежащего себе, то б я навязал камень ей на шею — да в воду. Сие же ея письмо при сем прилагаю, из которого ясно увидеть изволите желание. Да мне помнится, что и от Пугачева несколько сходствовали в слоге сему его обнародования; а может быть, и то, что и меня хотели пробовать, до чего моя верность простирается к особе Вашего Величества; я же на оное ничего не отвечал, чтоб чрез то не утверждать более, что есть таковой человек на свете и не подать о себе подозрение... От меня ж послан нарочно верный офицер, и ему приказано с оною женщиною переговорить, и буде найдет что-нибудь сомнительное, в таком случае обещал бы на словах мою услугу, а из того звал бы для точнаго переговора сюда, в Ливорно. И мое мнение, буде найдется таковая сумасшедшая, тогда, заманя ее на корабли, отослать прямо в Кронштадт; и на оное буду ожидать повеления: каким образом повелите мне в оном случае поступить, то все наиусерднейше исполнять буду...»

Государыня бросила письмо на стол.

— Графа Никиту Ивановича ко мне,— сказала она статс-секретарю Попову и, отодвигая стул, встала из-за стола. В ожидании Панина она ходила по антикамере взад и вперед по мягкому ковру.

«Все... все... Все они такие. Может быть, только Румянцев и Суворов способны сами что делать, не дожидаясь приказа. Но даже верному Алехану всегда приходится подсказать, утвердить, направить... Взять все на себя... Хотя бы как тогда... в Ропше... Намекнуть. Ну и точно, навязал бы камень на шею, и концы в воду... Так нет!.. «Каким образом повелите

мне поступить?..» А сам, голубчик, не знаешь, что делают с самозванками?.. Не знаешь?.. Не знаешь?.. Не знаешь?...»

Она села за стол и принялась писать тонкими крупными буквами. Когда вошел Панин, она, не отрываясь от письма, протянула ему левой рукой письма Орлова и самозванки и сказала:

— Читай... Вчера только говорили о Пугачеве, а вот и сестра его объявилась. Опять подкоп под всероссийский престол, задуманный врагами нашими. Надо полагать — все та же, что и тебе тогда писала.

Пока Панин читал, Государыня заканчивала свое письмо.

«Письмо, писанное к вам от мошенницы,— писала Орлову Государыня,— я читала и нашла оное сходство с таковым же письмом, от нея писанным к графу Никите Ивановичу Панину. Известно здесь, что она с князем Радзивиллом была в июле в Рагузе, и я вам советую туда послать кого и разведывать о ея пребывании и куда девалась и, если возможно, приманите ее в таком месте, где бы вам ловко было бы ее посадить на наш корабль и отправить ее за караулом сюда; буде же она в Рагузе гнездит, то я вас уполномачиваю чрез сие послать туда корабль, или несколько, с требованием о выдаче сей твари, столь дерзко на себя всклепавшей имя и природу, вовсе не сбыточныя, и, в случае непослушанья, дозволяю вам употребить угрозы, а буде и наказание нужно, то бомб несколько в город метать можно;. а буде без шума достать способ есть, то я и на сие соглашаюсь...»

Она сама положила письмо в конверт и запечатала сургучом.

6. КОНЕЦ САМОЗВАНКИ. КНЯЖНА ТАРАКАНОВА

XXXVIII

Десятого января 1775 года Пугачев был казнен в Москве, на «Болоте». Ему была назначена такая же казнь, как для волжского разбойника Степана Разина. Его должны были колесовать, отрубая ему по очереди крестообразно сначала одну руку, потом ногу, потом опять руку и снова ногу и после всего голову. Но в Москве давно не было казней и не было опытного палача.

Пугачев искренне каялся и перед народом просил простить его, в «чем согрубил он». Палач, сам не отдавая себе отчета в том, что он делает, отрубил разбойнику голову, а потом над обезглавленным трупом произвел колесование.

Известие о казни, изображение ее появились в заграничных газетах — и за границей все знали об этом, одна графиня Пиннеберг ничего об этом не слышала и продолжала наивно называть Пугачева то своим родным братом, то другом детства и верным своим сообщником, борющимся с Императрицей Екатериной Алексеевной за нее.

Пятнадцатого февраля графиня Пиннеберг, сопровождаемая Камыниным и Христинеком, с Доманским и Чарномским приехала в Пизу для переговоров с Орловым.

Она сразу была восхищена, очарована, поражена тем вниманием, лаской, щедростью и красотою всего, что для нее было приготовлено Орловым.

Жить по чужим домам и на чужой счет она привыкла — она иначе и не жила никогда. У нее всегда были покровители — персиянин Гали, английский банкир Вантурс, князь Лимбургский, кто только не помогал ей, не дарил ей за ласки и любовь деньги и драгоценности. Были у нее времена богатые, бывали и бедные, почти голодные, когда приходилось бегать от кредиторов и когда при ней оставался только верный ей маленький Доманский. Но никогда не бывало так, как этою весною в Пизе.

Графиня Пиннеберг приехала в Пизу под именем графини Силинской. Для нее Орловым была нанята прекрасная вилла. В саду цвели камелии и мимозы. Белые и красные цветы камелий резко выделялись на темной зелени, припорошенной вдруг нападавшим и быстро тающим снегом. Раскидистые пинии шатром прикрывали небольшую красивую, как игрушка, дачу. Внутри все было последнее слово моды, изящества, искусства и красоты.

Только что графиня Силинская разобралась и устроилась на вилле — к ней приехал Орлов. Она много слыхала эти дни про Орлова, но она не могла и вообразить себе такого сочетания мощи, громадного роста, красоты, силы и изящества. Прекрасные глубокие глаза его смотрели ей прямо в душу. Ни у кого из прежних ее любовников не было такого взгляда, ласкового и сильного в одно и то же время. Графиня поняла, что она ни в чем не сможет противоречить этому северному медведю. Его голос шел прямо в сердце. Орлов почтительно склонился к руке графини, наговорил ей с места множество ласковых слов, и, когда она пожелала иметь его портрет, чтобы всегда видеть его перед собой, Орлов на третий день их знакомства прислал ей свой прекрасный портрет в драгоценной раме.

Силинской передали, что Орлов для нее разошелся с прекрасной итальянкой, с которой жил до сего времени и которую любил. Женщине всегда приятна победа над со-

перницей, даже и такой, которую не видала она, а для такой женщины, как графиня Силинская, это было и ново, и особенно приятно, и дорого

Орлов не отходил от графини. Он не стеснялся в подарках. Стоило Силинской чего-нибудь пожелать, как это появлялось у нее, как в сказке. Появились коляска и дорогие лошади, по одному намеку все ее римские долги были уплачены.

Камынин рассказывал Силинской о том, что Императрица Елизавета Петровна была венчана с Разумовским, что Орловы играли большую роль при воцарении Императрицы Екатерины Алексеевны, что, говорят, брат Алексея Орлова Григорий — невенчанный муж Императрицы

— Правда ли, мосье Станислав, я слышала, будто граф Алексей удален Государыней, что он в опале и ненавидит ее?

Камынин смутился: Как ни был он искушен в дипломатической лжи, прямая ложь не находила выражений.

— Откуда мне это так точно знать? Я поляк. Поляк из Варшавы, и я знаю только то, что говорят у нас в Варшаве Ведь я здесь оказался чисто случайно.

Силинская этому не удивлялась. Столько при ней с раннего детства бывало случайных людей, столько сама она сочиняла, что ей не было странно, что с одной стороны пан Станислав как будто бы и очень хорошо знал тайны русского двора, с другой — вдруг заявлял, что он ничего не знает, потому что он — «из Варшавы»...

Орлов, великолепный, ласковый, нарядный — он каждый день являлся к графине в новом кафтане, один драгоценнее другого, с пуговицами из алмазов и рубинов,— напудренный, надушенный, громадный, величественный, настоящий вельможа, сильный — он ей на потеху свивал в узлы железные кочерги, ломал итальянские лиры,— любовался восхищением им Силинской. Та влюбилась в Орлова, как никогда еще не была влюблена. Любовь украсила ее, болезнь горела в ней, но в самой болезни явилась красота. Что-то неземное было во взгляде ее, больше было обреченности, но эта обреченность нравилась Орлову И так часто вдруг загорались ее глаза страстью, в них появлялся совсем детский восторг наивности и невинности. На щеках пылал огневой румянец, зубы белели из-за пунцовых губ, и вся она, худенькая, стройная, гибкая, дышала таким зноем страсти, что и опытному Орлову становилось не по себе

Она все забывала. Забыла и роль будущей Императрицы Российской, она жила только сегодняшним днем, не думая о страшном и ответственном «завтра» Она совершенно доверилась этому рыцарю-великану из сказки, в железных руках которого ей было как в бархатных перчатках.

Орлов, казалось, был без ума от нее Он предлагал ей венчаться, как ей будет угодно, с католическим ксендзом или с греческим попом — все равно, но чтобы она была его, совсем его.

Косые глаза блистали счастьем.

— Милый, да разве я не твоя?. Не вся твоя и навеки?.

Голубо-серые глаза Орлова смеялись. Он целовал Силинскую в щеки, в затылок, в завитки нежных волос, в «душку», а у графини, как у птички, схваченной охотником, быстро билось сердце, и она все забывала.

— Ну что же, будем венчаться?. Сейчас сегодня, завтра?..

Он раскатисто хохотал

— Граф... Я, право, не знаю.. Я очень тронута вашим предложением. Но... теперь?.. Не рано ли?. Когда я с вашею помощью достигну всего, мне принадлежащего, тогда... Как мой отец, Разумовский!. Не правда ли?..

У нее не было секретов от него. Драгоценные бумаги, фальшивые «тестаменты» были переданы Орлову на хранение, и Орлову оставалось только захватить ее саму.

Как женщина нравов легких, она не могла противиться мужскому обаянию Орлова и его умению овладевать женщинами Отдаваясь его ласкам, с последним вздохом вдруг подумает она «У Орлова любовниц столько, сколько звезд на небе Кто я? Одной больше»..

Все равно — так сладки, так страстны его ласки! Из-под жгучих долгих поцелуев срываются задушенные слова «Еще.. Еще.. »

Они лежали вместе на постели. Широкая дверь была открыта в мраморную лоджию, уставленную цветами. За нею — синее итальянское небо, большие, яркие звезды и теплый, нежный, весенний воздух.

Размягченная, распаленная страстью, но все еще боящаяся проговориться, продешевить, отпугнуть, прервать эту колдовскую игру в любовь, она горела на медленном огне. Он, холодный, пресыщенный, уже не любящий да и не любивший, торопящийся закончить свою тяжелую роль, безжалостный, пользовался этими минутами ее размягченности, чтобы больше о ней узнать и решить, насколько она опасна для той, кому он ни на одну секунду не изменял и кого никогда не забывал.

— Лиза... Неземная моя радость... Нежная ласточка... Ну, расскажи мне, как попали к тебе все эти документы?.. Расскажи мне всю, всю твою жизнь... Тогда мне легче станет работать для тебя...

Опять!.. Ее прошлое, которого она сама не знала... Все, все ее этим мучили... Князь Лимбургский приставал с бумагами, этому тоже надо все знать. Инстинкт продажной женщины говорил ей, что тут надо как можно выше себя изобразить

— Ты же знаешь! В моем письме я все открыла. У меня нет от тебя ничего тайного. Король прусский мой друг, он сразу же признал, кто я... Курфюрст Трирский, герцог Гольштейнский... Все это, мой милый, люди с положением... В Париже, где я говорила со многими министрами, мне обещана поддержка. Только венский кабинет мне кажется подозрительным. Но я ведь могу совершенно положиться на Пруссию и... на Швецию. Польская конфедерация вся за меня. Теперь я хочу с твоей помощью проехать в Константинополь. Да, наконец, мой брат Пугачев, он, как мне говорили, уже многое отвоевал у Екатерины. А он всецело за меня.

Орлов медленно поднимается с постели. Он надевает шлафрок. Прищуренными глазами он смотрит на лежащую перед ним женщину. Ему все ясно. Она — орудие врагов России и больше ничего.

— Графиня,— говорит он холодно и серьезно.— Вы мне показывали документы... Я их прочел.

— И что же? Ты мне не веришь?..

— По документам тем вы дочь Императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского... Но почему же вы всюду названы Елизаветой Петровной?..

Графиня Силинская молчит. Она не понимает вопроса. Она ложится ничком. Ее раскрасневшееся лицо уткнулось в подушку. Она тихо плачет.

Орлов выходит в лоджию. Он садится там в кресло, высекает огонь и закуривает трубку. Он долго и напряженно думает. Он совсем позабыл плачущую больную женщину. Он все узнал, его приговор постановлен. Он думает лишь о том, как спокойнее, без малейшего риска впутать в это дело Государыню, изъять эту женщину из возможности работать. «Бросить в воду проще всего...» У него нет ни жалости, ни раскаяния, ни любви.

XXXIX

Графиня Силинская долго не соглашалась поехать с Орловым в Ливорно. Какой-то инстинкт подсказывал ей, что этого не надо делать. Так хорошо и уютно было на их вилле в Пизе, так хорошо любилось в ней, что не хотелось думать о чем-то страшном, что надо делать в Ливорно. Но наконец согласилась. Она поедет всего на один день —

смотреть свой флот и показаться верным ей матросам. Она выедет рано утром с Христинеком в венской карете и поедет к английскому консулу сэру Джону Дику, там она будет обедать и после обеда с Орловым, леди Дик и адмиральшей Грейг на вельботе проедет на корабль, откуда будет смотреть маневры флота. К ночи она будет дома. С ней будут Чарномский и Доманский.

Двадцать третьего февраля она поехала в Ливорно.

У дома английского консула графиню Силинскую ожидала толпа итальянцев в пестрых, нарядных костюмах. Толпа стеснила Силинскую при выходе из кареты, и какой-то человек в низко надвинутой на брови шляпе, закрывший лицо темным плащом, протиснулся к ней и сунул ей в руку записку. Силинская спрятала ее в складках корсажа... В уборной она прочла записку. На дурном французском языке ей сообщали: «Не ездите на адмиральский русский корабль. Вам там приготовлена ловушка. Вас увезут в Москву и казнят там, как казнили Пугачева. Ваш доброжелатель».

Она еще ничего не слышала о казни Пугачева, и это известие ее ошеломило. У нее подкашивались ноги. Она рассеянно отвечала на вопросы горничной и машинально, привычными движениями поправляла высокую прическу и клала на лицо пудру. Голова ее непривычно для нее работала. До сих пор никогда ничего сама не решала. Всегда кто-то руководил ею и за нее решал, что надо делать. Она испугалась и решила не ехать на корабль, а если что-нибудь будет ей угрожать, искать помощи у так трогательно, ласково встретившего ее народа.

В просторной прихожей, уставленной цветами, с мраморными статуями, Силинскую ожидал Орлов. Он представил графиню, не называя ее имени, леди Дик и жене адмирала Грейга.

Сэр Джон Дик всмотрелся в характерное красивое лицо Силинской с косящими глазами и сказал:

— Мы, кажется, с вами встречались. Говорите вы по-английски?..

— О! Очень мало... Возможно, что мы и встречались, когда я была в Лондоне.

Общество было небольшое. Силинскую смущали дамы, она не привыкла к женскому обществу. Но она подобралась и старалась быть интересной и любезной. Обед был накрыт в глубокой лоджии наверху, во втором этаже. Между мраморных столбов, увитых зеленью, был виден голубой простор несказанно красивого Средиземного моря. Внизу расположился беломраморными домами и зелеными садами прелестный город. На море длинной линией в кильватерной колонне вытянулся русский флот. Широкие, большие белые

флаги с голубыми крестами по диагонали реяли на свежем ветру Было нечто манящее в черных силуэтах кораблей с белыми поясами деков и черною паутиною не покрытого парусами такелажа.

Силинскую посадили по правую руку хозяйки, против нее сидела адмиральша Грейг, рядом Орлов, дальше сэр Дик, Чарномский, Доманский и Христинек. После первых стопок вина стало весело и уютно.. Записка, поданная при входе в виллу, как-то позабылась. Не могло быть тут, где такие милые и любезные дамы, никакой опасности.

Адмиральша Грейг рассказывала, как эту самую эскадру в Кронштадте провожала в далекий поход сама Императрица Екатерина Алексеевна и как навесила она на шею адмирала Спиридова образ Иоанна Воина. Силинская повернулась к Орлову

— Скажите, граф, это те самые корабли, на которых вы разбили под Чесмой моего друга турецкого султана?

— Да, тут есть корабли из той самой эскадры.

— Надеюсь, мы теперь все это переменим. Нам нужны мир и согласие. Турецкий султан мой большой друг

Она не заметила, что после ее слов наступило неловкое молчание. Леди Дик стала говорить, что к вечеру ветер, наверно, усилится и на кораблях будет качать.

— На кораблях всегда качает,— меланхолично сказал сэр Джон Дик. — Но к этому привыкаешь.

— Мне стыдно сознаться, я жена адмирала и не выношу качки. Для меня поездка в Кронштадт — подвиг,— сказала адмиральша Грейг

После обеда спустились в сад и пошли на пристань. Леди Дик и адмиральша Грейг отказались садиться в лодку. Отлично будет все видно и с берега, из лоджии. Так было удобно теперь отказаться ехать и графине Силинской. Но перед нею у пристани колыхался великолепный адмиральский вельбот. Его корма была убрана букетами крупных фиолетовых фиалок. Между них лежала белая шелковая подушка с кружевами. Лихие матросы сидели по банкам с веслами, поднятыми отвесно вверх. Все это было для нее — Императрицы!.. Она не могла отказаться.

— В а ш флот вас ожидает,— шепнул ей Орлов.

От выпитого за обедом вина, от ряби волн, набегавших к берегу, и их затейливой красивой игры у графини Силинской кружилась голова, несвязные мысли неслись в ней. Воля ее уснула.

Орлов спустился к лодке и протянул руку графине. Легкими прыжками, грациозной, шаловливой козочкой Силинская сбежала к вельботу Сильные руки подняли ее и посадили на подушку среди фиалок.

Точно поплыл, удаляясь от нее, берег с виллою, где наверху в лоджии слуги прибирали со стола. Адмиральша Грейг смотрела на Силинскую с какою-то странною, грустною улыбкою. Никто не помахал отплывающим платком.

Едва Силинская ступила на адмиральский корабль, эскадра окуталась пороховым дымом, и гром салюта оглушил графиню.

На палубе офицеры и матросы в парадных кафтанах, музыка, игравшая что-то торжественное, треск барабанов — все это смутило Силинскую и вскружило ей голову.

Графиня шла под руку с Орловым. Перед нею — не корабль, а сказка. Углубление на полуюте у входа в адмиральскую каюту было обращено в цветочный грот. В нем бил фонтан. Мягкие диваны стояли вдоль стен каюты. Подле них были столики. Орлов усадил Силинскую в глубине грота. Арапы в красных, расшитых золотом куртках несли подносы с хрустальными графинами рубинового кьянти, с блюдечками с рахат-лукумом, халвою, орехами в патоке, финиками, начиненными фисташковым кремом, грецкими орехами — восточный «достархан» был подан Силинской. Венгерские цыгане и цыганки полукругом обступили гостью, зазвенела гитара, и пронзительный, какой-то точно тревожный голос молодой цыганки запел на непонятном гортанном языке что-то дикое и печальное.

Чарномский, Доманский и Христинек сидели за одним столиком с Силинской. Орлов стоял с адмиралом Грейгом напротив и тихим голосом отдавал приказания для маневра.

Цыганка, изгибаясь тонкою талиею и размахивая пестрою шалью, танцевала на палубе. Потом цыгане исчезли куда-то. Орлов подошел к Силинской и сказал:

— Пойдемте смотреть маневры флота.

Они стояли у борта. Адмиральский корабль был на якоре. Мимо него, шумя бурунами, проходили корабли русской эскадры. Паруса были ровно надуты, ни один не играл на ветру, черные пушки зловеще смотрели из портиков.

Победители турецкого флота шли мимо маленькой безродной женщины!

Когда последний корабль, колыхаясь по волнам, пронесся мимо них, Орлов пошел отдать приказания, Силинская вернулась в беседку Ее и ее спутников сейчас же окружили матросы-песельники. Что делалось за ними, Силинской не было видно. Матросы пели что-то бурно-веселое. Заложив руки за спину, двое из них лихо танцевали матросский танец. Ерзгал с гулом бубен, звенел треугольник, и хору вторила высокая флейта. Матросы пропели несколько песен и ушли.

Пустота на палубе поразила Силинскую. Нигде не было видно Орлова. Часовые стояли у пушек. И над головою Силинской по полуюту, стуча башмаками, ходил вахтенный офицер. Никого больше из офицеров не было на палубе.

Наступал вечер, и время было думать об обратной поездке.

Русского флота не было видно. Море было пустынно. Стало холоднее.

Силинская допила свой бокал.

— А где граф и все остальные?.. — спросила она Христинека.

Тот не понял ее. Он показался ей растерянным и смущенным.

Тревога охватила Силинскую. Она вспомнила записку. Она вскочила и резко крикнула, ни к кому не обращаясь:

— Позовите графа!.. Я хочу видеть моего графа!..

Стоявший у пушки часовой шмыгнул носом, качнул в ее сторону головой и засмеялся. С нижней палубы, вырастая, точно появляясь из-под земли, показалась рослая фигура пехотного офицера в черном кафтане с желтым камзолом, за ним появились солдаты с ружьями с примкнутыми штыками. Они вылезли на палубу, подравнялись, твердым шагом направились к цветочному гроту и окружили его. Офицер подошел к Силинской. Ее спутники встали.

— Ваши шпаги, господа,— сказал по-французски офицер.

Христинек первый подал шпагу, за ним протянули свои и Чарномский с Доманским.

Силинская бросилась к офицеру.

— Что это значит?— истерически закричала она. — Что вы делаете, господин офицер?.. Где граф Орлов?.. Сейчас же позовите его ко мне сюда. Мне пора ехать.

— Мне приказано объявить вас под стражей,— холодно и строго ответил офицер.

— Но, господин офицер, позвольте!.. Это ошибка!.. Печальная ошибка. Я приглашена сюда графом. Эти господа тоже... Позовите скорее графа. Он вам все объяснит, и он прикажет доставить нас на берег.

— Мадам, я не знаю, где граф. Возможно, что и самого графа постигла та же участь, что и вас. Прошу вас, мадам, следовать за мною в отведенную вам каюту.

Силинская молча последовала за офицером.

Тот открыл двери в адмиральское помещение. За узким коридором была просторная каюта. Под зажженным морским фонарем — койка, постланная свежим бельем. Горничная Силинской Франциска Мешеде и камердинеры Маркезини и Кальтфингер оканчивали уборку каюты и раскладывали привезенные из Пизы вещи Силинской.

— Откуда вы взялись?.. Зачем вы все это привезли сюда? Я же сказала, что вернусь на ночь домой.

Франциска стояла с ночным платьем в руках.

— Что я могу знать, мадам. Только вы уехали, пришел тот поляк, что бывает у вас, пан Станислав, и сказал, что вы приказали забрать все, что нужно для долгого путешествия, и везти в Ливорно. Он сам с нами и поехал.

— Для долгого путешествия?.. О!.. О!.. Для долгого путешествия!.. В Москву!.. В Москву!!

— Простите, мадам, я ничего не знаю.

Силинская в слезах рухнула на койку. Сквозь рыдания она вскрикивала:

— В Москву!.. Как Пугачева!.. В Москву!..

XL

Она сейчас же оправилась. Не первый раз жестоко шутила с ней жизнь. Она верила в судьбу. Она научилась изворотливости. В каюте был стол, и на нем письменный прибор. Силинская написала по-французски письмо адмиралу Грейгу. Она просила объяснить, почему допущено такое насилие, она ведь ни в чем не виновата. Она же явилась на корабль только по настойчивому приглашению графа Орлова.

Она послала с письмом Кальтфингера. Тот сейчас же вернулся с словесным ответом адмирала.

— Их превосходительство приказали передать вам, что вы обязаны повиноваться высшей власти.

— Хорошо... Ступайте... Нет... Постойте. Будьте готовы отнести еще одно письмо его превосходительству.

В каюте и на корабле было тихо. Чуть слышно плескали волны о борта, да мерно поскрипывали цепи в якорных клюзах... Круглый корабельный фонарь бросал на стол уродливую, ползающую черную тень. Было неудобно писать.

Силинская писала Орлову. Ее письмо дышало негодованием. Как могло быть, чтобы он, кого она считала благородным рыцарем, неспособным на предательство, покровителем высокой идеи правды и справедливости, преданным сыном своей родины, позволил поступить с нею так жестоко!.. Почему он покинул ее, когда ее готовились взять под стражу?.. Она требует, чтобы он пришел к ней и утешил ее в ее одиночестве. Что сделала она преступного, когда по его приглашению явилась на корабль? В чем виновата она, бедная, слабая, больная женщина? Она просила верить в неизменность ее чувств даже и тогда, когда она потеряла свободу...

Она отправила письмо Около часа дожидалась ответа, сидя в кресле. Потом усталость тревожно проведенного дня, хмель выпитого вина одолели ее. Она позвала горничную и легла в постель.

— Как только будет ответ от графа, вы разбудите меня, когда бы это ни было.

Ответ пришел только утром. На ужасном немецком языке с невероятною орфографиею граф писал:

«Ach wo seind wier geraten unglick. Bei disen alem mus man geduldich sein; Gott allmechtiger wiert uns nicht verlassen. Ich bien ezunder in dieselben unglicklichen umsstand, wie sie siend, hofe aber durch freidschaft meinen ofizirs meine Freiheit bekomen und will ich eine kleine beschreibung machen der admiral Greick, aus seiner freindschaft zu mier das ich so geschwinde wie moglich insz Land gern sollte...»[1]

Он писал, что адмирал Грейг предупреждал его об опасности и советовал бежать, но что около пристани его окружили лодки и забрали с собою. Он просил своего обожаемого друга успокоиться и беречь свое здоровье — все выяснится, и, как только он освободится, он найдет ее где бы то ни было и сумеет ее спасти...

Вместе с письмом он посылал ей «занимательные» книги из библиотеки сэра Джона Дика.

Силинская задумалась. Быть может, все это так и надо. Она шла занимать русский престол, свергать Императрицу Екатерину Алексеевну, узурпировавшую его. Разве знала она, как это делается?.. За нее на Волге старался Пугачев. Поляки и иезуиты, окружавшие ее и вдохновлявшие ее, никогда не говорили, как это надо сделать. Она надеялась на матросов... Но матросы еще не знали ее. Орлов пишет, что у него есть верные офицеры. Может быть, этот арест — неизбежное начало того, что она замыслила? Она не могла пожаловаться — с нею обращались хорошо, как с высокопоставленной особой. С нею, значит, считались. При ней были ее слуги. Она знала, что Чарномский и Доманский были тут же, на корабле.

Надо ждать. Она вспомнила всю свою прежнюю, действительную и воображаемую жизнь. Она была полна приключений. Сколько раз она бегала от воображаемых или

---

[1] Ах, какое несчастье... Надо быть терпеливыми. Всемогущий Бог нас не оставит. Я в отчаянии от вашего несчастного положения, однако надеюсь, что дружественные мне мои офицеры меня освободят, я напишу адмиралу Грейгу, чтобы он, по дружбе ко мне, дал бы мне возможность бежать, и я, как только можно быстро, отправлюсь... *(нем.)*.

действительных врагов, от долгов, от кредиторов Видно, и опять придется как-то бежать...

Она рассеянно перелистывала присланные книги. Мысли бежали своим чередом. Она не слышала, как наверху, на палубе, раздавались командные крики, свистали боцманские дудки, топотали босыми ногами матросы, скрипели, точно стонали, тяжелые реи. Вдруг нагнулась каюта, и, как это бывает при начале плавного корабельного движения, у Силинской закружилась голова. Она встала с койки и подошла к иллюминатору. Вода была близко. Синие волны в искрящихся точках яркого южного солнца быстро бежали мимо, и особенный шелестящий звук раздвигаемой кораблем волны баюкал ее. От буруна, сбивая морские волны, простирался по морю косой след. Слегка нагнувшись, корабль несся в неведомую даль.

XLI

Время шло в каких-то несвязных грезах, думах, как идет оно на корабле, идущем с несильным ветром по спокойному морю. Не слышно было про избавление. Потом, должно быть, стих ветер. Знойное солнце слепило, играя в спокойной глади моря. Корабль едва шел, отражаясь розовыми парусами в глубинах тихого моря. В каюте стало нестерпимо душно Силинская тяжело, надрывно кашляла. Появилась горлом кровь. Кальтфингер доложил о состоянии графини адмиралу Грейгу, и тот разрешил пленнице выходить на палубу

Силинская лежала теперь с утра и до вечера на длинном соломенном кресле, на подушках, усталая, больная, ко всему безразличная. Она читала книги, пустые романы, присланные Орловым, а чаще смотрела в синь бескрайнего моря. Над нею тент бросал на золотую от солнечных лучей палубу густую синюю тень. Вверху тихо полоскали на слабом ветре большие паруса. В стороне от нее матросы караулили ее. На баке, взобравшись наверх к тяжелому бушприту, лежали люди в белых рубахах и тихо и сонно пели. Никто не подходил к Силинской, она была вне корабельной жизни.

Дремота, мечты, полусознание, сон... От горничной она знала, какие места они проходили. На каждой остановке Силинская ожидала письма от Орлова. Когда корабль приближался к берегу, Силинскую запирали в каюте.

Из иллюминатора Силинская наблюдала жизнь в порту Корабль стоял в Кадиксе. Брали воду и провизию. В окно иллюминатора видна была глубокая изумрудная вода в розовых потеках солнечной игры. Перламутровые медузы колыхались в ней, как какие-то таинственные цветы Подхо-

дили тяжело груженные быками, баранами и зеленью лодки, стукались о корабельный борт С криками и песнями шла погрузка. Силинская видела полуобнаженные бронзовые тела, жгучие южные глаза, слышала гортанные крики грузчиков.

Лодки отошли, на корабле подняли все паруса. Вдруг показался ярко, празднично освещенный берег. Белые дома, зеленые сады поплыли, удаляясь от Силинской.

В Бискайском заливе сильно качало, и Силинская не выходила из каюты. Она ждала письма в Англии. Там могли быть ее друзья, друзья Орлова, тот мог дать знать о ней, и ее могли там освободить.

Около суток стояли в Плимуте. На корабле шла починка. Силинская ни на минуту не покидала иллюминатора. Она увидала, как от корабля отвалила шлюпка и в ней — она не могла ошибиться — сидел Христинек без стражи с большим портфелем. Значит, его уже освободили. С трепетом сердечным она отсчитывала минуты Ждала известий от Орлова, ждала самого Орлова.

По городу зажглись огни, в море стало сумрачно и страшно. Корабль снялся с якоря.

Они были в Немецком море, зеленовато-серые волны били в корабельные борта, когда Франциска принесла Силинской известие: «Корабль идет в Кронштадт...»

— В Кронштадт?.. Что же это такое?.. Из Кронштадта в Москву, по следам Пугачева?! Пошлите сейчас Кальтфингера к адмиралу, скажите ему, что я прошу адмирала немедленно прийти ко мне.

В каюту пришел молодой офицер.

— Мадам, адмирал прислал меня спросить, что вам угодно?

— Вы?.. Вы?.. Кто вы такой?.. Мне вас не угодно,— истерически крикнула Силинская. — Я просила адмирала... Мне нужно не вас, а ад-ми-ра-ла...

— Его превосходительство поручил мне узнать ваши желания.

— Мои желания?.. Смешно говорить о моих желаниях... Почему меня держат под арестом?.. Что я сделала?.. Какой проступок я совершила? Я никогда никому ничего худого не желала... Меня не смеют держать, как пленницу... Я требую, чтобы меня освободили и пустили во Францию.

Она забилась в истерике. Горничная, позванная офицером, уложила ее в постель. Силинская была в глубоком обмороке. Послали за судовым доктором, и тот распорядился, чтобы больную вынесли на палубу.

Силинская лежала в своем кресле с закрытыми глазами, потом приоткрыла глаза, осторожно огляделась, быстро встала, перебежала палубу и вскочила на борт. Матрос схва-

тил ее тогда, когда она уже кидалась в море. Силинская царапалась, кусалась и визжала:

— Оставьте меня!.. Оставьте!.. Вы не смеете мешать мне!.. Пустите меня!

Ее заперли в каюту и до самого Кронштадта не выпускали на палубу.

Одиннадцатого мая, после двух с половиною месячного плавания, корабль бросил якорь на кронштадтском рейде. Адмирал сейчас же послал Императрице донесение о благополучном прибытии с пленницей. Государыня была в селе Коломенском под Москвою.

Двадцать четвертого мая вечером к адмиральскому кораблю подошла парусная яхта лейб-гвардии Преображенского полка. Капитан Александр Толстой поднялся на палубу и подал адмиралу Грейгу письмо от Государыни.

«Господин контр-адмирал Грейг, с благополучным вашим прибытием с эскадрою в наши порты, о чем я сего числа уведомилась, поздравляю, и весьма вестию сею обрадовалась,— писала Государыня. — Что же касается до известной женщины и до ее свиты, то об них повеления от меня посланы г-ну фельдмаршалу князю Голицыну в С.-Петербург, и он сих вояжиров у вас с рук снимет. Впрочем, будьте уверены, что службы ваши во всегдашней моей памяти и не оставлю вам дать знаки моего к вам доброжелательства. Екатерина. Маия 16-го числа 1775 г. Из села Коломенского, в семи верстах от Москвы».

— Могу получить арестантов?.. — спросил Толстой.

Адмирал проверил поданные ему Толстым бумаги, провел рукою по высокому лбу, поправил парик и сказал:

— Берите... берите... Только будьте с нею осторожны... Никогда не исполнял я более тяжелого поручения. Наши бои под Чесмой кажутся мне теперь пустяками. Я должен был оставить английский берег ранее, чем предполагал, потому что приезжавшие на корабль англичане, как я мог заметить, уже пронюхали об арестантке.

— Да, положение... С меня и моих людей взято клятвенное обещание навеки молчать о пленнице. Никто здесь ничего не знает.

— Здесь, никто... Сомневаюсь... За границей всем известно. Граф Чесменский писал мне в Плимут. В Ливорно было большое смятение. Кошачьи концерты графу устраивали. Едва удалось ночью ускользнуть незаметно в Пизу. Тосканский двор весьма и весьма раздражен, что так обманом с их земель оную женщину выкрали. В Пизе пустили слух, что ее умертвили на корабле. Иезуиты шептали всякую небылицу... Кто она — один Господь ведает... Но шум из-за

нее большой вышел. Граф опасался, что его отравить могут приверженцы иезуитов... Предупреждаю вас обо всем этом. В Немецком море покушалась выброситься за борт. Как бы на яхте чего не выкинула. Крепче держите.

Арестантку, закутав ей шалью голову, на руках снесли в яхту и посадили в маленькой каюте между двух рослых гренадеров. Офицер поместился у входа в каюту.

— Куда теперь меня везут?— спросила пленница по-французски. — В Москву?..

Никто ей ничего не ответил. Она повторила вопрос по-немецки. Молчание было ей ответом.

По качке и по тому, как шуршала за бортом вода, Силинская могла догадаться, что яхта отвалила от корабля.

В два часа утра двадцать шестого мая главный комендант Петропавловской крепости принял от капитана Толстого арестантов. В призрачном свете белой ночи Силинскую, Чарномского и Доманского с их слугами, окружив солдатами, повели по песчаной дорожке между молодых берез, мимо громадного белого собора и длинных низких казарменных зданий в Алексеевский равелин.

Впереди шла графиня. После долгого плавания, качки на яхте земля колебалась под ее ногами. Светлая ночь была холодна и казалась страшной и призрачной. Силинская два раза на коротком пути останавливалась: не могла идти, жестокий кашель ее душил.

В узком проходе медленно открывались тяжелые ворота. По каменной лестнице небольшого дома графиню провели во второй этаж.

— Вот ваше помещение,— сказал сопровождающий Силинскую офицер.

Через высокие окна с железными решетками был виден небольшой дворик. Помещение состояло из трех комнат с коридором перед ними. Две предназначались для слуг, в третьей Франциска стала устраивать свою госпожу. Слуги внесли баулы с вещами. Силинская села в простое кресло подле окна. Свет белой ночи ее раздражал. В крепости вдруг заиграли куранты. Дрожащие звуки плыли в воздухе и несли безотрадную печаль. Ни мыслей, ни надежд, ни ожиданий. Одна беспредельная, надрывная тоска.

Настал день — Силинская не сомкнула ни на мгновение глаз, не переменила позы. Франциска ей сказала, что Чарномского, Доманского и Кальтфингера с утра потребовали на допрос, что и ее спросят на допрос. Силинская точно ничего не слыхала. Она не повернула головы и не моргнула глазом.

Около полудня дверь комнаты Силинской распахнулась, и к ней вошел князь Голицын.

XLII

Шесть месяцев почти, изо дня в день тянулись допросы. Князь Голицын был вежлив, внимателен к графине Силинской, но и он начинал терять терпение, выходить из себя, видя упорство графини.

Ему было приказано точно выяснить, кто же такая эта пленница?..

Странный вопрос!.. Она сама не знала, кто она. Допрашивавшие ее не могли и не хотели этому верить.

Оставаясь одна, измученная вопросами, она ложилась в постель, закрывала глаза и старалась припомнить свое детство. Ее память обрывалась. Скитания, сказочной красоты сады, фонтаны, розы — да что же это было — правда или все это она сама придумала когда-то?.. Она сознавала только одно: у нее никогда не было ни отца, ни матери. Она их совершенно не знала и не могла сказать, кто они были.

Кто написал ей и подкинул все эти страшные бумаги, за которые ее преследовали? Нужны были бумаги, чтобы выйти замуж за князя Лимбургского, и ей принесли эти бумаги. Ей сказали, что это верные бумаги, и она этому поверила. Дочь Императрицы Елизаветы Петровны и Разумовского?.. В ее детстве было так много необычайных приключений, что почему ей было не поверить, что все это было потому, что ее рождение было совсем необычайным? Когда она объявила все это и писала письма, она совсем не думала о последствиях своего шага.

Видя ее упорство, ее брали измором. Тогда она путалась в показаниях. Сегодня рассказывала одну историю своего детства — назавтра все отрицала и говорила новую выдумку. Это считали притворством, умышленною ложью — она не лгала. Всякий раз она сама была уверена, что говорит правду. Что же было ей делать, когда в ее детстве никто никогда не сказал ей, кто она, и не рассказал ей про ее родителей?.. Ей самой приходилось направлять острый луч воспоминаний в потемки прошлого. Он освещал какие-то углы, но освещал всякий раз по-новому. Князь Голицын изводился и терял самообладание.

— Если вы не знаете, кто вы такая, я вам сам подскажу, вы дочь еврея, пражского трактирщика...

Силинская нехорошо себя чувствовала, она давала показания лежа в постели. Она резко поднялась и села. Худые руки хватились за грудь, косые глаза наполнились слезами, кирпично-красный румянец залил впалые щеки.

— Боже!.. Бо-же мой!.. Чего только про меня не выдумают люди! Никогда, князь, слышите, никогда я не была в Праге! Я готова выцарапать глаза тому, кто осмелился при-

писать мне такое происхождение... Уверяю вас, князь, я высокого рода... Я это-то точно знаю...

Что Силинская дочь пражского трактирщика, Голицыну сказал английский резидент. В Англии были очень заинтересованы самозванкой и производили о ней самостоятельное расследование.

Силинская хорошо говорила по-французски и по-немецки, недурно объяснялась по-английски и по-итальянски. Голицыну сказали, что Силинская говорит по-французски с польским акцентом,— Голицын этого не заметил. Поляки же, бывшие при Силинской, сказали Голицыну, что та знает по-польски только несколько слов. Кто же была она?.. Какой национальности?.. Раньше она называла себя Али-Эмете... У нее были узкие косящие глаза. Ей намекнули на то, что она может быть родом с Востока. Она, сейчас же ухватилась за эту мысль и стала уверять, что она в совершенстве знает персидский и арабский языки.

— Я и писать умею на этих языках,— сказала она.

Ее попросили написать на обоих языках. Она вскочила с постели, вдела ноги в туфли и села к столу. Нахмурив тонкие брови, она покрыла какими-то точками и запятыми два листка бумаги. Голицын сразу увидел, что написанное мало походит на турецкие и арабские письмена, но для верности приказал отправить листки в Академию наук для обследования через знающих эти языки людей. Он получил из Академии ответ: «По предъявлении оной записки сведущим лицам, те нашли, что нарисованные знаки ничего общего не имеют ни с арабскими, ни с персидскими письменами».

Голицын передал это Силинской. Та, по обыкновению, лежала в постели. Она капризно пожала плечами и, кутая узкие тонкие плечи в шаль, сказала:

— Спрошенные вами люди ничего не смыслят в обоих языках.

Повернулась лицом к стене, спиною к Голицыну. В этот день она ничего не отвечала на вопросы князя.

Все это время она писала Императрице, домогаясь личного свидания с Государыней и объяснения с нею.

Через неделю пребывания в крепости, второго июня, она писала Императрице:

«Votre Majeste Imperiale, je croie qu'il est a propos que je previenne Votre Majeste Imperial touchant les histoires qu'on a ecrit ici dans la forteresse. Elles ne sont pas suffisantes pour eclaircire Votre Majeste touchant les faux soupcons qu'on a sur mon compte. C'est pourquoi que je prends la resolution

de supplier Votre Majeste Imperiale de m'entendre elle-meme, je suis dans le cas de faire et procurer de grands avantages a votre Empire.

Mes demarches le prouvent. Il suffit que je suis en etat d'annule toutes les histoires qu'on a tramees contre moi et a mon insue.

J'attends avec impatience les ordres de Votre Majeste Imperiale et je me repose sur sa clemence.

J'ai l'honneur d'etre avec un profond respect de Votre Majeste Imperiale.

La tres-obeissante et soumise servante.

Elisabeth»[1].

Это письмо возмутило Императрицу. Она сейчас же написала князю Голицыну записку:

«Prince! Faites dire a la femme connue que si elle desire alleger son sort, qu'elle cesse la comedie continuee dans les deux lettres a vous adressees et qu'elle a l'audace de signer du nom d'Elisabeth. Ordonnez de lui communiquer, que personne ne doute un instant qu'elle est une aventuriere et que vous lui conseillez de modifier son ton et d'avouer franchement qui lui a conseille de jouer ce role, ou elle est nee et depuis quand elle pratiquait ses filouteries. Voyez-la et dites lui serieusement de finir la comedie. Voila une fieffee canaille. L'insolence de sa lettre a moi adressee depasse tout et je commence a croire qu'elle n'a pas toute sa raison...»[2]

---

[1] Ваше Императорское Величество, я думаю, что нужно, чтобы я предупредила вас о тех историях, которые пишутся здесь в крепости. Они недостаточны, чтобы объяснить Вашему Величеству лживые подозрения на меня. Вот почему я умоляю Ваше Величество выслушать меня лично, я имею случай доставить выгоды вашей империи.

Это доказывают мои попытки. Достаточно, чтобы я была в состоянии опровергнуть все истории, которые без моего ведома про меня выдумали.

Я с нетерпением ожидаю приказаний Вашего Императорского Величества и я разсчитываю на ваше милосердие.

Имею честь быть с глубоким уважением Вашего Императорского Величества.

Всепокорная и преданная слуга Елизавета *(фр.)*.

(Орфография подлинника.)

[2] Князь! Скажите известной вам женщине, что, если она хочет облегчить свою участь, пусть она оставит играть комедию, которую изображают в двух письмах, вам адресованных, которыя она имеет смелость подписывать именем Елизавета. Прикажите сообщить ей, что никто не сомневается в том, что она авантюристка и что вы советуете ей умерить ея тон и откровенно сознаться, кто посоветовал ей играть эту роль, где она родилась и с какого времени она занимается своими плутнями. Повидайте ее и серьезно скажите ей кончить комедию. Вот отпетая каналья. Нахальство ея письма, адресованного мне, превосходит все и я начинаю думать, что она не в своем уме... *(фр.)* (Орфография подлинника.)

То знойное, душное, то свежее с холодными дождями петербургское лето тяжело отзывалось на хрупком здоровье пленницы. Она сильнее кашляла и больше выделяла крови с мокротой. Она уже целыми сутками лежала, не вставая с постели, кутаясь в одеяла и шали. Иногда вдруг вскакивала, начинала быстро ходить по комнате, потом садилась к столу и писала письма, рвала их, писала снова и опять рвала. Она сама не знала, что писать и как оправдываться.

Князь Голицын сказал ей, что, если она скажет наконец всю правду о своем происхождении, он выпросит у Императрицы, чтобы ее отпустили к князю Лимбургскому. Она пожала плечами.

— Что я могу прибавить еще к тому, что я сказала вам,— печально проговорила она. — Я прошу вас... Не мучайте меня расспросами. Я ничего больше не знаю.

Ее считали фальшивой, лживой, злой и бессовестной. Чтобы сделать ее сговорчивее, караул, помещавшийся вне ее квартиры, поставили к ней в комнаты. Теперь она всегда находилась под наблюдением офицера и солдат. Всегда, днем и ночью, кто-нибудь был в ее комнате. Это ее стесняло и мучило. Как испуганный зверек, она лежала, лицом к стене, закутавшись с головою в одеяло.

Позднею осенью в холодный ненастный день, когда днем у нее на столе горела свеча, дрожащею рукою писала она Императрице:

«Votre Mageste Imperial! Enfin a lagonie, je m'arache les bras de la mort, pour exposer mon deplorable sort aux pieds de Votre Majeste Imperiale. Bien loing qu'elle me perdra, ce seras votre sacre Majeste qui fera ceser mes peines. Elle veras mon innocence. J'ai rassemblet le pent de forces qui me reste pour faire des notes que j'ai remis au Prince Galitzine, on me dit que cest Votre Majeste que j'ai eu le malheure d'offencer, vu qu'on croy telle chose je suplie a genoux votre sacre Majeste d'entendre elle meme toutes choses, elle seras vanges de ses ennemis et elle sera mon juge.

Ce n'est pas visavis de Votre Majeste Imperiale que je me veux justifier. Je connais mon devoir et sa profonde penetration est trop connue pour que j'aye besoin de lui detailler les diminutifs.

Mon etat fait fremire la nature. Je conjure Votre Majeste Imperiale au nom d'elle meme quelle veuille mentendre et m'accorder sa gracem Dieu a pitie de nous. Ce n'est pas a moi seule que Votre sacre Majeste refusera sa clemence: que Dieu touche son coeur magnanime a mon egard et le reste de ma vie je la consacrerais a son auguste prosperite et service. Je suis de Votre Majeste Imperiale.

La tres-humble et obeissante et soumise devouee servante...»[1]

Она на этот раз не подписала письма.

В холодное, ноябрьское, темное утро, когда на фигурном столе Государыни горели свечи, а бледный сероватый свет шел в окна, князь Голицын докладывал это письмо Императрице.

Государыня задумалась.

— Как полагаешь, если отпустить ее теперь к князю Лимбургскому?..

Голицын молчал.

— Или... Ты мне как-то докладывал об этом влюбленном в нее поляке... Доманском?.. Что он?.. Все верен своей страсти?..

— Он еще совсем недавно говорил мне, что за величайшее счастье почтет, если бы разрешили ему жениться на ней и увезти ее к нему в деревню.

— Ну вот... Так в чем же дело?..

— Поздно, Ваше Величество... Дни ее сочтены.

— У нее были доктора?..

— Были. Болезнь ее неизлечима. Ей нужен уже не доктор, а духовник.

— Что же, пошли ей такового.

— Я не знаю, какого она исповедания.

— Странно... В полном смысле неизвестная... Что же она-то не скажет? Спроси ее.

— Боюсь, что и она сама того не знает.

— Прекрасно... Этого только и недоставало... Попытай ее, может быть, перед смертью вспомнит, какой она веры.

Когда спросили Силинскую, та сначала пожелала иметь православного священника, потом сказала, что она должна

---

[1] Ваше Императорское Величество, уже в агонии, я отрываю от смерти мои руки, чтобы изложить к ногам Вашего Величества мою отчаянную участь. Вы не погубите меня; Ваше священное Величество, прекратите мои муки. Вы увидите мою невинность. Я собираю остатки моих сил, чтобы отвечать князю Голицыну; мне сказали, что я имела несчастье оскорбить Ваше Величество, так как верят в это — я умоляю Ваше священное Величество лично все выслушать. Вы отомстите своим врагам и вы будете моим судьею.

Я не хочу оправдываться перед Вашим Императорским Величеством. Я сознаю мой долг, а ваша глубокая проницательность слишком известна, чтобы нужно было вам смягчать описания.

Мое положение ужасно. Я умоляю Ваше Императорское Величество во имя вас самих выслушать меня и помиловать; Бог милосерд к нам. Не одной же мне Ваше священное Величество отказываете в милосердии: пусть Господь тронет ваше великодушное сердце ко мне, и я посвящу остатки моей жизни Вашему августейшему благоденствию и службе вам. Вашего Императорского величества всенижайшая и послушная и покорная и преданная слуга... *(фр.)*. (Орфография подлинника.)

держаться римско-католической веры, так как обещала это князю Лимбургскому, но что она никогда не причащалась по этому обряду. Князь Голицын допросил Франциску Мешеде, и та сказала, что ее госпожа ходила в католическую церковь, но сколько она ее видала там, она никогда не причащалась.

— Слушайте, мадам,— сказал Силинской Голицын. — Ваши капризы мне надоели. Подумайте о страшном вашем положении. Если вы не скажете мне наконец, какой вы веры,— я вовсе никакого священника к вам не пришлю.

— И не надо,— сказала арестантка и отвернулась от князя.

Тридцатого ноября ей стало очень плохо, и она через доктора просила князя Голицына, чтобы к ней прислали православного священника. К ней был послан священник Казанского собора Петр Андреев, хорошо говоривший по-немецки. Ему было поручено довести арестантку до полного раскаяния и признания своей вины.

Она внимательно выслушала увещание священника и тихим прерывающимся голосом начала свою исповедь:

— Я скажу все, что о себе знаю... Я крещена по обрядам греческой церкви... Так говорили мне в Киле те, кто тогда воспитывал меня и где я жила до девятилетнего возраста... Потом... Это долго и трудно все рассказывать... Я жила в разных странах... В Англии и Франции... В Германии я получила во владение графство Оберштейн. Была в Дубровнике, в Пизе... В Ливорно граф Орлов пригласил меня на корабль, и меня привезли в Петербург... Где я родилась, кто мои родители, говорю вам по чистой совести — я ничего не знаю... У исповеди и причастия никогда не была, ибо нигде не находила православного священника. О христианском учении знаю из Библии и французских духовных книг, которые иногда читала. Я верю в Бога и святую Троицу, не сомневаюсь в истине символа веры. Я ничего не злоумышляла против Государыни и не знаю, кто и когда мне дал те бумаги, которые мне столько причинили зла и несчастий. Я слаба, святой отец, я ничего больше не знаю. Зачем мне лгать или скрывать что-нибудь на краю могилы... Молитесь за меня. У меня один грех — и в нем я глубоко раскаиваюсь,— с ранней юности жила я в нечистоте телесной и грешна делами, противными заповедям Господним. Я раскаиваюсь от всего сердца, что огорчала Создателя, и умоляю простить мои многие и тяжкие грехи.

По мере того как она говорила, ее голос слабел, все чаще и чаще прерывали ее припадки удушья и кашля. Она с трудом закончила свое покаянное слово.

Весь следующий день, третьего декабря, она пролежала неподвижно в постели и была в полусознании. Жизнь покидала ее.

Четвертого декабря 1775 года в семь часов вечера арестантка умерла, а утром, пятого, солдаты, державшие при ней караул, зарыли ее тело во дворе Алексеевского равелина.

Тринадцатого января 1776 года в тайной экспедиции князем Голицыным и генерал-прокурором Вяземским был поставлен приговор над поляками и прислугой, бывшими с самозванкой. Всех их отпускали на родину с выдачею каждому вспомоществования и со взятием подписки о вечном молчании о преступнице и своем заключении. Если кто из них возвратится в Россию, то без дальнейшего суда подвергнется смертной казни.

Приговор этот был утвержден Императрицей, и в январе Франциска, Кальтфингер и слуги-итальянцы были через Ригу отправлены в Италию, а в марте за ними последовали в Польшу Чарномский и Доманский со своими слугами.

XLIII

Прошло десять лет. Императрица Екатерина II была в полной славе. Только что был присоединен к России Крымский полуостров, и в Севастополе — как порадовался бы Петр Великий! — Григорий Потемкин строил Черноморский флот.

Императрица прочно сидела на престоле. Призраки прошлого не могли уже больше колебать ее власти. Тени Ивана Антоновича и Петра Федоровича растаяли, исчезли. Императрица не боялась и сына своего Павла Петровича. Тот был женат вторым браком, имел детей, казалось бы, кому, как не ему, сидеть на троне российском? Он был только тенью матери. Как месяц при солнце, светил он лишь отраженными лучами екатерининской славы. Он жил с семьею то в Павловске, то в Гатчине. Как он жил, чем занимался — это мало интересовало его мать. Его воспитатель и первый советник по иностранным делам граф Никита Иванович Панин умер — у Великого Князя не было никого близкого при дворе, кто старался бы для него. Великий Князь прозябал в удалении от двора, и когда Императрица думала о будущем, она думала через голову сына о внуке Александре Павловиче, которому была отдана вся любовь бабушки.

Павел Петрович с супругой совершили путешествие по Западной Европе. Россию, чего раньше никогда не бывало,

посетили коронованные особы. Австрийский Император Иосиф II, а потом наследный принц Прусский были в России и восторгались Императрицей. И был летний прекрасный вечер, когда после парадного обеда Государыня вышла на верхний балкон Петергофского дворца с Императором Иосифом и остановилась у перил. Они были одни. И тогда был долгий и откровенный разговор о восточной политике России.

— Если бы я завладела Константинополем,— сказала Государыня, мечтательно глядя на ряд фонтанов, уходящих к морю,— я не оставила бы этого города за собою, но иначе распорядилась бы им.

И она позвала к себе няню со своим вторым внуком Константином.

Она ничего больше не сказала. В ее душе было, когда родился этот мальчик,— восстановить Византийскую империю и дать наследника Константину Великому.

Что и кто мог помешать ей? Она царствовала одна, она была самодержица, все великие возможности России были в ее распоряжении, и она употребляла их во славу и для благоденствия России. Великие люди, готовые на все для нее, ее окружали. Теперь какие бы призраки ни витали — они не были страшны.

XLIV

Зимою 1785 года статс-секретарь, уже складывая в портфель подписанные Государыней бумаги, сказал несколько смущаясь:

— Ваше Величество, осмелюсь доложить о маленьком беспокойстве.

— Докладывай... докладывай... что еще там случилось, чего и обер-полицеймейстер не знает и о чем утром мне не доложил,— добродушно улыбаясь, сказала Императрица.

— Одна женщина очень добивается вас видеть. Просит быть вам представленной и доложить вам об одном секретном деле...

— Сколько таинственного!.. Одна женщина .. Секретное дело... Да кто такая?

— Княжна Тараканова.

— Княжна Тараканова?.. Я никогда не слыхала в России князей Таракановых.

— Так точно, Ваше Величество. Я брал в герольдии справку, и мне ответили — князей Таракановых нет.

— Опять какая-нибудь самозванка?

— Нет, не похожа на такую. Очень скромная и отлично воспитанная, немолодая уже женщина. Я никогда не осмелился бы вас беспокоить с ее настойчивою просьбой, если бы меня о том не просил граф Кирилл Григорьевич Разумовский...

— Графу Кириллу Григорьевичу отказать не могу. Он так редко меня о чем-нибудь просит. Хорошо. Я приму эту княжну Тараканову в Арабской комнате за полчаса до бала. Это самое свободное у меня время сегодня.

Когда Государыня, в тяжелой парадной «робе», прошла из своих покоев в Арабскую комнату, там, в стороне от ожидавших ее фрейлин, стояла высокая, чернявая женщина, с бледным, «постным» лицом, одетая в простое черное платье. Ее ненапудренные волосы были густо пробиты сединою, прямой тонкий нос делил ее лицо, глубоко сидящие глаза были полны скорби. Женщина эта низко поклонилась Государыне и поцеловала ей руку

— Садись,— сказала Государыня, указывая кресло против себя.— Из каких же княжон Таракановых ты будешь? И по какому такому делу ты меня так настойчиво пыталась видеть?

— Ваше Величество... Я хотела вам сказать... Вам одной сказать, что, может быть, я могу пролить свет на ту неизвестную, что десять лет тому назад умерла в петербургской крепости и что имела наглость всклепать на себя чужое царственное имя... но только вам одной.

— Ах вот оно что!.. Мне и самой всегда было интересно дознать, кто же была оная самозванка?.. Оставьте нас, милые мои, одних с княжною,— сказала Государыня статс-дамам и фрейлинам.

Они остались одни в Арабской комнате. За запертыми высокими тяжелыми, в бронзе дверями был слышен сдержанный гул голосов собравшихся гостей, пиликали скрипки, певучую руладу пропела флейта, хрипел фагот — музыканты настраивали инструменты.

— Ваше Величество, я потому так долго не могла вам об оном деле доложить, что я все это время жила в Польше, в деревенской глуши, и только несколько дней тому назад совершенно случайно узнала все подробности о самозванке, и вот тогда я подумала, не есть ли эта несчастная — моя родная сестра, пропавшая много лет тому назад в Киле?

— Прежде всего, милая моя, кто ты сама-то?

— Меня зовут Августа, княжна Тараканова. Я была девочкой и жила с младшей моей сестрой Елизаветой и воспитательницей mademoiselle Marguerite в Киле. На дощечке

нашей квартиры и на общей доске постояльцев гостиницы, где мы жили, против нашего номера всегда стояла надпись: «Княжны Тараканова»... Я как-то спросила свою воспитательницу: «Разве мы княжны?» Я хорошо знала, что мы из простых малороссийских казачек. Моя воспитательница засмеялась и ответила мне: «За границей все русские — князья»,— и больше мы никогда не возвращались к этому вопросу. И вот что я помню... В Киле однажды ночью к нашей воспитательнице пришел поляк. К ней часто ходили разные люди Было уже поздно. Я не спала. Дверь в нашу спальню была приоткрыта, и я слышала, как говорила моя воспитательница с поляком. Сначала тихо, потом между ними разгорелся спор, и я уже могла слышать каждое слово. Они говорили о каких-то тестаментах Государя Петра Великого и Государыни Елизаветы Петровны... Поляк будто доказывал, что моя сестра Елизавета — дочь Государыни Елизаветы Петровны. Мадемуазель Маргерит резко это опровергала. Они как будто поссорились, и поляк ушел. На другой день мадемуазель Маргерит повела меня и мою сестру к русскому резиденту. Помню, был сильный туман. В узкой улице нас окружили люди в масках, посадили в карету и увезли. Куда отправили мою сестру и мадемуазель Маргерит, я не знаю. С первого нашего ночлега, где-то в лесу, нас разлучили. Меня одну отвезли к полякам-шляхтичам в бедное глухое именье, где я и выросла и где прожила все это время, много долгих лет, и лишь всего месяц тому назад я попала в Варшаву и там услышала всю историю про самозванку. Тогда я сочла священным долгом своим рассказать все Вашему Императорскому Величеству, с глазу на глаз, и сказать вам...

Княжна замолчала, слезы потекли из ее глаз. Она не могла продолжать своего рассказа.

— Все, что ты мне сказала, моя милая, все это весьма интересно... Но что же ты думаешь дальше делать?.. Ты понимаешь, что и точно сего никто, кроме тебя и меня, не может знать...

— Ваше Величество, я это отлично понимаю... И хотя все это так неверно... Точно просто во сне мне приснилось, но если я и точно сестра той... Несчастной... Я совсем ни в чем не виновата, но я должна куда-то уйти... Чтобы люди никак не прознали, чтобы люди, особенно поляки или иезуиты — вот еще опасные люди! — не задумали чего... Вдруг пожелают зла Вашему Императорскому Величеству... Так вот я хочу... Я хочу...

Княжна Тараканова стала рыдать.

— Чего же ты, моя милая, хочешь?..

— Не знаю, Ваше Величество, где же мне знать?.. Я так мало видала, так мало жила, хотя уже состарилась. Я хотела спросить вас, что хотели бы вы, чтобы я сделала. Я все то с радостью исполню.

Государыня с участием смотрела на плачущую перед нею женщину.

— Ваше Величество, мне кажется, я должна уйти, просто совсем, навсегда уйти, чтобы ничем, ниже самим воспоминанием о той несчастной, вам никак не помешать...

— Куда же ты уйдешь?..

— Не знаю, Ваше Величество... Куда вы скажете.

Государыня задумалась. Сильнее становился шум в зале. Инструменты оркестра то стихали, то с новым усердием начинали свою пеструю игру.

— Я тебя понимаю, моя милая... Может быть, ты и права. Лучше, чтобы никто и никогда тебя не видал... Чтобы ты могла молчать... Но ты ни в чем не виновата... Ты еще молода... Куда же ты уйдешь?..

— Не знаю, Ваше Величество... Я думала, если Вашему Величеству будет угодно... В монастырь...

За стеною церемониймейстер постучал три раза тростью о пол. Гул голосов и игра инструментов стихли. Государыня встала с кресла.

— Хорошо, моя милая,— сказала она, протягивая руку княжне.— Я тронута благородством и прямотою твоей души. Поезжай в Москву к владыке Платону. Я завтра же напишу ему о тебе.

— Благодарю вас, Ваше Величество.

— Да... Еще одно.... Как и почему ты обратилась к графу Кириллу Григорьевичу?..

— Но, Ваше Величество... Мне всегда говорили, что я его племянница.

— Ах, вот как!.. Хорошо!.. Мне многое теперь понятно, но я не думаю, что та... была твоя сестра... Да, от Разумовских я могла и могу ожидать только высшего благородства... Как и ты поступаешь!.. Так... В Москву... Владыка Платон устроит тебя в женский монастырь. Ему ты все скажешь, как сказала мне.

Государыня протянула руку для поцелуя, потом хлопнула в ладоши и сказала появившимся статс-дамам и фрейлинам:

— Прикажите скороходу проводить княжну боковой галереей к выходу.

В тот же миг высокие двери распахнулись. Яркий свет тысяч свечей, музыка, многоголосый прекрасный хор ошеломили княжну Тараканову. Она опустила голову и торопливыми шагами пошла за скороходом.

Тою же ночью, в четыре часа, княжна Тараканова села в ямские сани и на перекладных поехала в Москву, к митрополиту Платону, за решением своей судьбы[1].

XLV

Нежная и тихая любовь маленькой цербстской принцессы Софии-Августы-Фредерики к еще незнаемой ею России по приезде ее в прекрасную елизаветинскую империю вспыхнула ярким огнем. Так бывает только в мужской страсти — образ любимой влился в саму Екатерину Алексеевну и с ней сочетался. И стали они — «двое — плоть едина». Но сколько препятствий, борьбы, сколько жгучих, полных драматизма положений ей пришлось пережить, прежде чем вполне овладеть предметом своей страстной любви! Она боролась со всеми, кто мешал ей — «царствовать одной», нераздельно владеть любимой. Она устранила мужа, подавила материнскую любовь и сына удалила от престола, на который тот имел все права.

На ее пути к обладанию Россией вставали страшные, тайные силы, точно привидения поднимались из могил. Тень Иоанна Антоновича, призраки Петра III Федоровича, таинственные самозванки, никогда не бывшие на свете дочери Императрицы Елизаветы Петровны, тянулись бледными руками, стремясь сорвать с ее головы корону. Она всех победила, и эта победа была труднее, нужнее и славнее побед ее доблестных армии и флота — екатерининских ее орлов — на полях Польши, Турции, Швеции и Крыма, в морях Балтийском и Эгейском, ибо эта победа давала внутреннее спокойствие, уверенность ее подданных в завтрашнем дне.

---

[1] В 1810 году в Ивановском женском монастыре происходило отпевание тела скончавшейся там инокини затворницы Досифеи. Отпевание совершал епископ Дмитровский Августин, на погребении присутствовало много знатных особ. Главнокомандующий Москвы граф Гудович и вельможи екатерининского времени были в церкви. Видно было, что хоронили не простую монахиню. Инокиню Досифею погребли в Ново-Спасском монастыре направо от колокольни, у стены. Эти похороны возбудили тогда в Москве много толков, разговоров, пересуд и догадок о том, кто именно в миру была таинственная инокиня Досифея... На могилу ее был положен дикий камень с высеченною на нем надписью: «Под сим камнем положено тело усопшия о Господе монахини Досифеи, обители Ивановского монастыря, подвизавшейся о Христе Иисусе в обители 25 лет и скончавшейся февраля 4-го 1810 года. Всего ея жития было 64 года. Боже, всели ее в вечных Твоих обителях...» В Ново-Спасском монастыре имелся портрет инокини Досифеи. На обороте была надпись чернилом: «Досифея, в мире принцесса Августа Тараканова»...

Под нею, как трава под солнцем, процветали науки, искусства и торговля, народ оправлялся и крепнул, готовясь к свободному существованию.

И вот — последняя тень прошлого, последний призрак, вставший из гроба, пронесся мимо в образе этой несчастной, благородной женщины, обрекшей себя на уединение и молчание. Тихо, осторожно, но решительно Государыня и ее устранила и наконец осталась одна с л ю б и м о й!..

Императрица Екатерина Алексеевна вошла в дупное тепло ярко освещенной громадной залы. В серебристо-сером, парчовом тяжелом платье, в уложенных буклями седых волосах, в тесном, как кираса, длинном и узком корсаже, перетянутом наискось широкой орденской лентой со звездой, в тяжелой и блестящей арматуре драгоценных камней Государыня казалась выше ростом. Ей шел пятьдесят шестой год — а она была красивее, чем в молодости. Глаза ее блистали счастьем обладания и победы, довольная улыбка витала подле прелестных губ.

Оркестр и хор придворных певчих гремел навстречу. Пели кантату сочинения Гавриила Романовича Державина, ставшую ее гимном — гимном Ее России:

Гром победы, раздавайся!
Веселися, храбрый Росс,
Звучной славой украшайся:
Магомета ты потрес...

Еще далек и недостижим был Константинополь, но память о молдавских победах, сознание обладания прекрасным Крымом поднимало сердца гордостью.

Государыня шла через расступающихся перед нею и образующих широкий людской проход гостей, а с хор неслось:

В тридцатых годах XIX столетия в петербургской Петропавловской крепости, в Алексеевском равелине сидел замешанный в декабрьском бунте Д.И.Завалишин. Он отметил в своих записках, что внутри равелина был небольшой дворик, обращенный в сад с чахлыми кустами. Одна дорожка шла вдоль стен крепостных построек, другая пересекала дворик от дверей тюремной казармы. По правой стороне этой дорожки была как бы длинная грядка — зеленый бугор. Тюремный сторож, сопровождавший Завалишина, сказал ему, что это могила «княжны Таракановой».

Графиня Пиннеберг, она же Силинская, княжна Али-Эмете унесла с собою тайну своего рождения, да, возможно, что она сама не знала, кто она. Инокиня Досифея, в миру принцесса Таракановa, этой тайны не открыла, но людская молва подхватила сделанное ею когда-то перед Императрицей Екатериной II признание и много лет спустя после смерти самозванки приписала той новое имя — «княжны Таракановой». С этим именем самозванка вошла в историю и литературу. Была ли монахиня Досифея подлинно Дараган — утверждать нельзя, но можно об этом догадываться и подозревать, что иначе не могло быть..

Славься сим, Екатерина,
Славься, нежная к нам мать;
В лаврах мы теперь ликуем,
Исторженных от врагов...

Лавровые деревья, подстриженные шариками, стояли в зеленых кадках вдоль громадного зала. Душистым воздухом веяло в нем, и, как степной ковыль под напором летнего ветра, склонялись пудреные головы перед Государыней.

Скрипки нежно пели, и детские голоса — альты и дисканты — говорили трогательные слова:

Вам, россиянки, даруем
Храбрых наших плод боев,
Разделяйте с нами славу,
Честь утехи и забаву,
За один ваш взгляд любви
Лить мы рады ток крови...

Улыбаясь, кланяясь на обе стороны, медленно шла Государыня, сопровождаемая своим двором через толпы гостей, и чувствовала, что наконец она победила и навсегда завоевала — Россию.

...Камынин закрыл тяжелую тетрадь-брульон, вздохнул и сказал своему гостю:

— Теперь ты понимаешь, кто такая Екатерина Великая и почему мы все ее так любим?.. Она любила Россию и все делала для блага России... А когда хорошо России, хорошо и нам — народу русскому...



Е. А. Салиас

ПЕТРОВСКИЕ ДНИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Часть первая

I

Были первые дни сентября 1762 года...

Москва ликовала и шумела и вся была на ногах. Пришли такие дни, что она могла сказать: «На нашей улице праздник!»

Государыня императрица Екатерина Алексеевна прибыла из Петербурга и остановилась в селе Петровском, имении гетмана графа Разумовского, в двенадцати верстах от Москвы. И первопрестольная ожидала дней въезда новой императрицы и коронования.

Много ходило темных и лживых слухов о том, как встретит Москва царицу.

— Москва — не Петербург!.. Сердце России не солжет, не покривит душой. Низверженье с престола законного государя Петра Феодоровича, внука Великого первого императора российского, она, первопрестольная, судит по-своему. Ей черного белым не сделаешь, кривду правдой не нарядишь, злоумышления в благодеяние не обернешь. Питер Москве не указ. Он младший брат. Братишка! Ему шестьдесят лет — смешно сказать. А Москве-то сколько? Поди-ка сочти.

Но эдак рассуждали в дворянских семьях, а москвич-простолюдин знал или же просто почуял, что царица хотя и немецкая принцесса, но давно стала душой и сердцем истинной россиянкой. В первом же своем деянии, июньском перевороте и вступлении на престол, она спасла отечество от немецких порядков, предотвратила новую бироновщину и гонения не только всего русского, но и самой православной веры.

Но время было все-таки трудное. Дни шли смутные. Государственный мир и общественный покой были нарушены. Все всколыхнулось, заволновалось. По старой пословице «мирская молва — морская волна», море житейское зашумело и погнало волны на берега и устои политические и гражданские.

И не являлось никого, кто бы проявился утешителем волнения... Царица, окруженная сонмом вельмож и правительственных сановников, стояла в ожидании надвигающейся бури — одна-одинешенька.

Новая императрица с минуты вступления на престол думала только об одном, трепетно и нетерпеливо ждала только одного, чаяла спасенья себя и отечества и умиротворения всех и всего только в одном священном короновании в Московском Кремле.

А до этого великого мгновения она могла только по праву повторять французскую поговорку: «Dieu me garde de mes amis, des ennemis je me garderai moi-meme».

— Да. Спаси Бог от друзей, а от врагов я сама уберегусь,— думала и говорила умная, смелая, но смущенная женщина-монарх.

Пребывание теперь в селе Петровском пред торжественным въездом в первопрестольную было будто тяжелым испытанием ее сил пред началом великого тридцатипятилетнего подвига: приведения Руси от мглистых времен елизаветинских к лучезарным дням александровским.

II

Старуха-крестьянка стояла среди гряд огорода на опушке леса и смотрела, как закатывалось золотое солнце за край земли

С опушки этого небольшого леса, не густого, не запущенного, а, напротив, со следами заботливого ухода, видно было ровное пустое поле, расходившееся во все стороны. Только вправо и далеко на самом горизонте темнелась полоса, узкая и длинная... Там снова начинался лес, но уже настоящий, с непролазной гущиной, с вековыми деревьями, где водилось всякое зверье — и заяц, и лисица, и волк. А старожилы ближайшего села Петровского уверяли, что в юности своей видали в нем и медведя.

Совсем влево за полем, тоже на самом горизонте, виднелись несколько домиков и церковь. Это был самый край Москвы, которая отсюда была невидима, укрытая чащей деревьев и кустов. На этой опушке, где начиналось поле, был небольшой огород. Десятки длинных гряд шли рядами одна за другой, будто волна за волной зеленого моря.

Среди этих гряд бродила крестьянка, изредка нагибаясь, шаря рукой в зелени и собирая в фартук всякую огородную всячину... И только изредка отрывалась она от дела — передохнуть и поглядеть, как солнышко уходит с неба на покой «до завтрева».

В те минуты, когда крестьянка, наполнив фартук, снова остановилась и стояла, чтобы отдышаться от труда, непосильного в ее года, на опушке показалась женская фигура, продвигавшаяся медленными, усталыми шагами... Это была среднего роста, полная и красивая женщина, по виду и по одежде городская барыня... Постояв и поглядев на поле, на огород, где работали крестьянки, она хотела уже снова удалиться, когда вдруг заметила небольшую скамью. Простая доска была прибита концами к пню и к столбику. Дама будто обрадовалась этой случайной, нежданной находке и, двинувшись бодрее, с видимым удовольствием села на скамейку.

Снова начала она озираться кругом на все, что было видно отсюда, и взор ее красивых светлых глаз остановился на колокольне церкви, окруженной несколькими домиками.

«Какое это село? — подумалось ей, и затем она тотчас спохватилась и мысленно охнула: — Да это Москва! Да, это она... Край, конец ее, врезавшийся в поле... Там, вероятно, застава. Но не Тверская, а другая. Да. Вот она.. Вот «ты», от которой все зависит. Все! Ты, Москва, от которой надо ждать решения участи новой императрицы. Что ты скажешь ей, то же повторит и вся Россия!.. А что ты скажешь? Что?»

И дама глубоко задумалась, поникнув головой и забыв окружающее.

— Что невесела — голову повесила? — вдруг раздался странный по своему звуку голос, глухой, хрипловатый, шамкающий...

Дама, будто разбуженная им от своей думы, невольно вздрогнула... Голос был за ее спиной... Она обернулась и увидала совсем старую старуху. Ей невольно стало жутко. Она, казалось ей, только слыхивала или читала в сказках про таких старушенций... В таком образе являются колдуньи, коварные и злые, приносящие людям несчастье. Но в таком же виде в сказках являются, однако, и добрые феи, принимая умышленно отвратительный образ крайней дряхлости.

— Что тебе, старушка? — вымолвила дама, отчасти робко от какого-то суеверного чувства, вдруг возникшего в ней.

— Сказываю тебе: что невесела, голову повесила? — повторила старуха, шамкая беззубым и совсем провалившимся ртом.

— Ничего... Я так... задумалась!..— смелее ответила дама, сразу заметив во взгляде старухи нечто противоречившее всей ее фигуре. Глаза ее, большие и круглые, были совсем светлые, чуть не белые, выцветшие от старости, но добрые,

ласковые... За хрипотой с едва внятными словами слышалась та же простодушная ласковость.

Однако фигурой своей старуха была действительно диковиной, странным существом, нечасто встречающимся.

Очень высокая ростом, она была несоразмерно тоща и худа... Ее спина изогнулась дугой, голова с длинной шеи поникла вперед и от многих годов, и от необходимости за всю долгую жизнь смотреть на людей с высоты своего долговязого тела... Седые волосы с сильной желтизной, наполовину белые и наполовину золотые, выбивались из-под повязанного и сбившегося черного платка... Лицо, маленькое, все изрытое морщинами, казалось еще мельче от большого длинного носа крючком, который, выпятившись и вися, чуть не упирался в острый и длинный подбородок. Казалось, что именно нос и подбородок, сойдясь вместе, мешали шевелиться глубоко ввалившимся губам. И все это старое существо будто не походило уже на человека. Сгорбленная спина, пригнутая голова над совсем впалой грудью, изогнувшийся вниз длинный нос, все вместе удивительно уподобляло ее какому-то диковинному двигающемуся крючку

III

Постояв молча и разглядев как следует сидящую, она вдруг протянула длинную руку, положила ее на голову дамы и костлявыми пальцами погладила ее по волосам.

Но, видно, белые глаза этого существа сказали что-нибудь в эту минуту, потому что дама не оробела, даже не удивилась, а, весело улыбнувшись, вымолвила:

— Сколько тебе лет, старушка?

— Много, сударка.... У-ух, много. Тебе не посчитать.

— Семьдесят, восемьдесят?..

— Вона...— усмехнулась старуха, и ее нос, казалось, ткнулся в подбородок.— Поболе сотни... Годов-то...

— Ну? Уж это ты прибавила, старушка.

— Зачем... Я бы рада отбавить.

— Все-таки поменьше ста лет.

— Но сущей по правде, сударка, сама не знаю. А люди вот сказывают, умные люди. Считают и сказывают, что сотню годов отжила и вторую начала...

— Да как же они считают, моя милая?

— Как? А вот как! Была я девка-невеста, когда цари-то жили еще в Москве, а не у моря, на краю света, где нехристь одна селится. Был царь Федор московский царь. Да. А теперича пошли императрицы, потому что императоров боле нету. А почему все такое — знаю я, родимая моя. Был

вон один и всего полгодика процарствовал, и теперь опять императрица. А потому царей-то больше нет, что они Москву нашу матушку бросили, не хотят в ней жить. А вот что... Я с тобой присяду... Ноги у меня чтой-то слабеть стали.

— Садись! Садись! — живо выговорила дама, как бы спохватясь.

— Тебя-то стыд не возьмет? С бабой да мужичкой сидеть.

— Полно... Садись... Скажи, как тебя зовут.

— Параскевой.

— Прасковьей?

— Нет. Зачем Прасковьей... Параскева я. Параскева Пятница. Муж, когда серчал, завсегда просто Пятницей звал. Ей-Богу. Кричит, бывало: дура ты, Пятница.

— И ты будто царя Феодора помнишь?

— Помню. Видала его, голубчика, будучи в девках еще.

— Ты царя Петра Алексеевича, верно, помнишь, а не Феодора.

— Зачем? То Петр. А то Хфедор. Я не дура какая, сударка моя. Он вот помер, а меня замуж выдали. Бунты тогда на Москве каки были. Страсть! Бунтовали стрельцы и Матвеева боярина, знатного и доброго боярина, умертвили, окаянные... Мимо меня протащили тело его искрошенное.

— Как мимо тебя?

— Да. Я на площади с мужем была... Затесалась с глупых бабьих глаз. И вот, гляди... В тот самый день угораздило мне... Вишь, проруха.

Она нагнулась и показала на щеке большой рубец.

— Стрелец копьем задел... Пьян был, как и все они... Я выть, а он говорит: «Ничего, девка! До свадьбы заживет!» А муж мой ему: «Кака она девка. Она моя жена!» Ну, стало, вот и не зажило. И дети были, и внуки были, и правнуки есть... А дыра-то все видна.

И старуха заболтала о правнуках и о своих делах. Дама слушала сначала, но вскоре задумалась под ее однообразный говор и незаметно для себя самой понурилась, сидя на скамье.

Старая Параскева, смолкнув, поглядела на нее и снова положила ей руку на голову.

— Эй, касатушка. Опять нос повесила. Эй, скажи, чего невесела?

Дама вздрогнула, пришла в себя, вздохнула и вдруг выговорила:

— Ах, старушка... Есть отчего...

— Горе какое?

— Горе не горе. А заботы... Большие.

— Да что? Говори. Я тебе твое дело, мне чужое, руками разведу. Недаром сто лет живу...

Дама улыбнулась.

— К своему я делу вот ума не приложу! — вздохнула старуха.— А твое — пустяковое. Верь мне. Говорю тебе... Плюну, дуну... И все на ветер улетит. Говори. Вороги, что ли, у тебя... Обижают?

— Да.

— А заступы нет.

Дама не поняла.

— Заступиться некому?

— Некому.

— Совсем некому. Другов нет?

— Нет.

— Одна ты, стало, как перст? Вона! Замужняя, чай? Муж заболел? Бьет?

— Нет. Я вдова.

— Вдовая! Ну, так! Вдова от всех терпи. Я тоже натерпелась. А ты поясни, какое дело-то, за что тебя обижают.

— Не обижают. А уж очень все... Всякий-то свое...

Дама будто колебалась мгновенье и вдруг вымолвила:

— Много народу... И всякий-то свое просит. Всякому угодить надо...

— Заедают?

— Да. Уж именно так, как ты говоришь

— А ты удовольствовать их не можешь?

— Нельзя, старушка. Нельзя. Много хотят.

— Та-ак! Это завсегда. Вдовье дело. Ну и злобствуют, грозятся.

— Да.

Старуха подумала и выговорила таинственно, как бы нечто крайне важное:

— Обещай, матушка.

— Что?

— Обещай, говорю

— Я не понимаю тебя, старушка.

— Обещай каждому, всем. Обещай и откладывай. Вот и перестанут злиться и грозиться. Говори: изволь, мол Все что прикажете... А когда? Скоро! А как скоро? Да вот как только можно будет. Смекнула?

И старуха, говоря, прищурила один глаз, будто подмигивая.

Дама долго смотрела ей в лицо, как бы соображая, и начала вдруг добродушно смеяться.

— Чему, молода-зелена? Не веришь?

— Нет, верю, старушка.. Верю. Мне смешно не то. Так обещать, по-твоему? Обещать и обещать!. А когда? Вот скоро. Когда можно будет

— Во! Во!..— таинственно шепнула Параскева.

Дама снова начала смеяться.

Между тем солнце давно исчезло за горизонтом и начало темнеть... Звезды зажигались на ясном небе.

— Мне пора домой,— сказала вдруг дама.

— А тебе далече домой-то? Приехала небось из города погулять к нам.

— Нет. Я здесь живу.

— Здесь? Где ж это здесь?

— Здесь.

— Слышу, касатка. Да говорю тебе, где же здесь жить? У нас тут домов барских нет.

— А вот этот,— показала дама на лес.

— Там же палаты графские.

— Я в них и живу.

— В палатах?!

— Да.

— Вона как! Как же ты туда попала? Там теперь царица. Приехала на коронованье.

— Да. Я... У царицы есть такие... Ну, при ней дамы придворные... И я...

— При царице? — произнесла, как бы ахнула Параскева.

— Нет! — быстро ответила дама — Я не при царице. Я приятельница дамы придворной, которая меня с собой привезла из Петербурга. Я при ней и живу теперь.

— Царицу-то видаешь все-таки?

— Видаю.

— Видаешь? — многозначительно, но робко переспросила старуха, как бы смутясь.

— Видаю. Редко.

— Редко? — как бы с облегчением повторила Параскева — Но все-таки ин видаешь... Вона как! А я с тобой болты болтала. Думала, ты барынька из города. У нас бывают такие-то. Приезжают погулять по полю, по лесу... Сказывают, в городе скучно. Да. Вона что! А ты царицу видаешь. Ну, не осуди, золотая моя. Я ведь не знала.

— Что же такое, старушка, не беда. Я рада была с тобой поговорить. Ты умная... Ты мне совет хороший дала,— рассмеялась дама и прибавила, вставая: — Ну, прощай.

— Прости, золотая моя,— кланяясь, ответила Параскева.— Я ведь не знала.

— В другой раз приду сюда. Опять встретимся и опять поговорим,— ласково улыбнулась дама.

— Как изволишь. Я что же... Рада служить.

Дама встала, улыбаясь, кивнула головой и тихо двинулась. Вскоре она исчезла за стволами деревьев.

Параскева долго глядела ей вслед и, наконец потеряв из виду, пробурчала себе под нос:

— Вона что! На каку наскочила!

Дама вышла из леса и, пройдя лужайку, вошла в большой двор, в глубине которого высился красивый дом. Солдаты, стоявшие у крыльца на часах, при ее появлении вытянулись и взяли на караул, отдавая честь.

IV

В то же время Параскева тихой, но твердой походкой вернулась домой в свою избу на самом краю села Петровского, вдалеке от ряда крестьянских изб.

Молодой малый, лет двадцати пяти, сидевший на крылечке, завидя ее, быстро поднялся и юркнул в избу. Старуха тотчас смекнула, что это значило.

— Ах, разбойник,— проворчала она добродушно.— Робята! Думают перехитрить. А где же человеку коему на свете двадцать минуло годов, перехитрить того, кому сто лет

Старуха вошла в избу Среди первой горницы стоял, как бы в ожидании, тот же молодец, а рядом красивая девушка, лет восемнадцати. Это были правнуки старухи.

— Ну что, разбойники? Сказывайтесь.

Молоденькая Аленка стояла, виновато потупившись, но улыбаясь. А ее брат Тит смотрел в глаза прабабушке и отозвался смело:

— Чего тебе, бабуся?

— Чего? Говорю, сказывайтесь, разбойники.

— Нечего нам сказываться.

— Ну, ты, Аленушка,— обернулась старуха к правнучке.— Ты у меня прямая душа. Не чета братишке-греховоднику Ты скажешься.

— Да что, бабуся? — отозвалась Аленка, стараясь показаться удивленной вопросом.

— Что! Вестимо, что. Что такое у вас тут приключилось? Вижу я, что вас спугнула. Вижу, что дело нечисто Ну и кайтесь, головорезы.

Наступило молчание. Аленка все стояла, потупившись, но на лице ее не было страха.

Тит отошел к окошку, повернулся к старухе спиной и начал что-то мурлыкать.

— Вы что же это в самом деле?! — повысила голос Параскева.— Вы так-то со мной, старой? А если я вас выгоню от себя и никогда на глаза не пущу боле? Ну? Что тогда?

— Полно, бабуся,— обернулся Тит — И как тебе не надоест всякий-то день, почитай, одни и те же слова говорить. Выгоню да выгоню. Ведь, кажись, лет десять ты это ска-

зываешь. Никогда ты нас не выгонишь, да и не можешь. Во-первых, этого и закон не велит, чтобы выгнать внуков на все четыре стороны. Я не пропаду, а вот Аленке бедствовать или милостыню просить — не след. Да и ты, не видая нас, сейчас помрешь. Тебе без нас не жить. Трех ден ты не проживешь без Аленки. Соскучишься и ноги протянешь.

— Не ври, деревянная голова,— отозвалась старуха, стараясь сделать свой голос гневным.— Вы меня изводите .. Я от вас помру. Верно! А без вас проживу — нельзя лучше.

— Нет, не проживешь! — усмехнулся Тит.

— Ан тебе говорю, проживу. Ну, ты умница,— приступила старуха к правнучке.— Говори. Сказывайся, что у вас тут?

— Да ничего же, бабуся.

— Побожись.

Аленка молчала и затрясла головой.

— То-то... Не можешь божбу на душу взять.

— Зачем ей зря по сту разов в день божиться! — вступился Тит за сестру

— Ах, отчаянные. Чисто дерева! Ведь вижу я . Ну, ладно же, погодите, озорники. Будет вам! Я знаю, что сделаю.

Старуха, разгневавшись не на шутку, села на скамью и старалась догадаться, в чем, собственно, дело, так как она видела ясно, что застала правнуков врасплох.

— Ты бы, бабуся, пошла поглядеть на избу сотского. Посмотрела бы, что там у него приключилось. Такое, что ахти! — заговорил молодой малый.

— А что такое? — удивилась Параскева.

— Да вот поди. Увидишь, так и запрыгаешь. Хоть и не маленькая, а запрыгаешь.

— Да что такое, оголтелый?

— Поди, говорю, и увидишь.

Старуха привстала, хотела выйти из избы, но вдруг сообразила, что молодец хитрит.

— Нет, я уж лучше после пойду,— вымолвила она, лукаво ухмыляясь.

Брат с сестрой переглянулись, улыбнулись и, наконец, начали смеяться весело и добродушно.

— Ничего с бабусей не поделаешь,— выговорил Тит — Видно, нужно каяться. А то просидит она тут до вечера, и в город опоздаем Эй, Матюшка! Вылезай. Делать нечего! — крикнул он.

И в ту же минуту из угла, где было на гвоздях навешано платье, вынырнула взлохмаченная черная и кудрявая голова. И затем молодой малый, ровесник Тита, вылез из своей засады.

— Прости, Параскева Васильевна. Не гневайся,— выговорил он, кланяясь.

— Ах, разбойники! — закачала головой старуха.— Недаром я чуяла! Как пришла, смекнула, что дело нечисто. Ну что же мне теперь с вами делать? К самому графу Кириллу Григорьевичу пойду и буду жаловаться.

— Будь милостива, Параскева Васильевна. Не могу я твоего приказания уважить, не могу не бывать у вас. Что хочешь, то и делай. Хошь голову сними, а я все-таки сюда ходить буду! — покорно проговорил молодой малый.

— Ах, разбойники, мучители мои! — закачала головой старуха.

— Послушай, бабуся! — вступился Тит.— На сей раз Матюшку прости. Он пришел за мной. Мне место важнеющее открывается. В конюха. Да еще не к простому барину, а к князю.

— Ой ли? — оживилась вдруг Параскева.

— Ей-Богу,— ответил Матюшка.— Место — прямо диво дивное. Один всего конь. И господ — один князь. А при нем дядька, хороший, добрый. У нас в доме спрашивали, нет ли молодца. Я вот про Тита сказал, поручился, как за родного. Ну вот и велели его к тому князю привести.

— Ну что же... На этот раз Бог с тобой. Спасибо,— сказала старуха — Но ходить к нам все-таки не ходи. Вольная крепостному...

— Ну, ну... Слышали уж сто разов,— махнул рукой Тит.

— Слышали и еще услышите... Да. Не пара. Покуда я жива да Аленушка при мне...

— Тоже слышали, бабуся,— снова прервал старуху правнук.— Ты про дело скажи. Если этот самый князь меня возьмет, я назад не приду. Наведаюсь когда после. Когда отпустит. Пускай Аленка меня проведать придет.

— Как бы не так,— отозвалась Параскева.— Она к тебе, а ты с ней к Матюшке. Хитры больно.

— Что же тут худого, Параскева Васильевна,— заявил молодой парень.— Уж так ли, сяк ли, а быть Аленушке моей женой. Верю я в это во как. Зато она у нас на дворе повидала бы, чего ни в жисть не увидит.

— Чего это такого? — спросила старуха небрежно.

— Всех питерских вельможных господ. Все-то в золоте... Нашего Григория Григорьевича увидела бы в его кафтане царицынском. Ноне в Москве токмо и говору, что про господ Орловых. Они у меня первыми стали...

— Тем хуже, Матюшка. Тем хуже, дурак! — воскликнула Параскева.

— Это точно...— уныло отозвался парень, вздохнув.

V

Старушка Прасковья Васильевна Беляева называла себя Параскева — так, как ее звали все всю жизнь. Когда у нее спрашивали, почему у нее такое имя, она отвечала просто:

— А Бог его знает! Всю жисть так прозывалась.

Говоря, что ей за сто лет, она, конечно, преувеличивала, но то обстоятельство, что она была уже замужней во дни стрелецкого бунта и сама видела умерщвление боярина Матвеева, доказывало, что за девяносто лет старухе, конечно, уже было, хотя на вид ей казалось менее.

Параскева была очень умная и очень добрая старуха. Родившись в глуши Приволжской губернии, в маленькой глухой деревушке, она попала в дворню и в услужение в барский дом и до двенадцати лет была сенной девчонкой-«побегушкой», а очутившись в Москве, вышла замуж за лакея важного сановника.

Благодаря уму и известной доле хитрости она добилась того, что вместе с мужем была отпущена господами на оброк. Через десять лет, сумев скопить деньги, она вместе с тремя детьми вышла на волю. Еще через десять лет она овдовела, но имела уже маленький домик в одном из глухих переулков Москвы и получала порядочный доход, не от дома, конечно, а от того ремесла, за которое взялась.

Ремесло это сделало ее известной всей дворянской Москве. По целым дням бывали у нее посетители, приносившие ей по пяти и десяти и более копеек. Мужчин бывало меньше, женщин — больше, причем особенно много барских барынь, ключниц и нянюшек.

Раза три-четыре в неделю Параскеву звали в дома ради того же ремесла, очень выгодного с одной стороны и опасного с другой. Денег оно давало больше, чем какая-либо торговля. Зато многие косились на Параскеву и побаивались ее, так как дело ее было — гадать на картах, на кофейной гуще, на зернах и просто на воде.

Женщина согласилась сделаться ворожеей ради детей и больших средств к жизни, но в душе ее вместе с тем явился разлад. Сама она, женщина от природы правдивая и прямодушная, а равно и богомольная, знала, что она живет как бы обманом людей, да кроме того, гадая и толкуя людям об их будущей судьбе, она, пожалуй, и грешит.

«Нешто можно провидеть о том, что Господь судил? Толковать об этом, пожалуй, грех большой»,— думалось ей

Вследствие этого нравственного разлада произошло то странное явление, что Параскева, считаемая чуть ли не колдуньей, не пропускала ни одной службы в своем приходском

храме, говела по четыре раза в год, а на свечи к местным образам тратила большие деньги. И ежедневно, просыпаясь и ложась спать, она, читая молитвы, прибавляла со вздохом:

— Авось Господь простит, разживусь совсем, брошу это греховодничество.

Гадая разным господам, дворянам и их прислуге, Параскеве случалось, конечно, изредка предсказывать так верно, что все бывали поражены, и молва разносила по Москве ее имя. При этом, разумеется, умная и тонкая старуха пользовалась тем, что была крайне наблюдательна и сообразительна.

Прежде чем явиться гадать в каком-либо важном доме, Параскева собирала о семье всякие сведения. В этом деле ей помогали десятка полтора всяких мещанок и бедных дворянок, которые сновали из дома в дом и знали близко все дела, всю подноготную каждой дворянской семьи.

Поэтому, придя гадать в какой-нибудь дом, Параскева не только знала хорошо наличный состав всей семьи, но по большей части знала и все дела их, и все главные заботы насущные. Кроме того, благодаря своим картам женщине случалось равно устраивать и расстраивать важные дела: не только покупку или продажу имущества или имения, но и свадьбы. А за это ее одаривали те, кому бывала прямая выгода.

Так прошло много лет, и однажды женщина, имея большой достаток, разделила его между сыном и дочерью, оставив себе немного. У них завелись собственные семьи. Она осталась жить одна на гроши и, тотчас же бросив свое выгодное ремесло, чувствовала себя счастливой, что перестала лукавить, обманывать людей и грешить пред Богом.

Дети ее не разжились, а прожились, и кончилось тем, что когда Параскеве минуло почти восемьдесят лет и сын ее и дочь умерли, внучка замужняя тоже умерла, но оставив на свете двух круглых сирот, старуха взяла поневоле правнучат к себе, и пришлось снова подумывать о заработке. Но снова взяться за гаданье в свои годы Параскева не решилась, конечно.

— Скоро умирать придется! — решила она.— Надо свою душу спасать. Еще неведомо, замолила ли я свой старый грех, так где же тут опять начать грешить?..

И, как женщина крайне сообразительная, Параскева придумала иное средство иметь достаток. Будучи случайно знакома с одним из любимых слуг гетмана графа Разумовского, она через этого приятеля устроилась на особый лад. Она добилась, хотя и с трудом, что в подмосковном имении Петровском получила целую десятину земли внаем, на которой завела огород.

На небольшие деньги, оставшиеся у правнуков от их матери, она выстроила просторную избу — целый домик

близ самой десятины и принялась за дело, которое не было таким грешным, как прежнее. И дело пошло на лад. Многие дворяне в Москве, конечно, из небогатых, стали ее покупателями. И время живо промелькнуло.

Когда-то Параскева поселилась промеж села и леса с двумя маленькими детьми; теперь со старухой жили здоровый, рослый молодец Тит и хорошенькая Аленка. Но только теперь явилась у Параскевы новая забота, преследовавшая ее от зари до зари.

Аленку полюбил славный малый из дворни господина Орлова. Аленка тоже влюбилась в него до потери разума. А между тем согласиться на брак старуха не решалась, так как опытом жизни пришла к убеждению, что крепостное состояние самое жалкое. Добрый же и честный Матюшка, которого старуха тоже полюбила, был крепостным господина Орлова. Выдать свою внучку — вольную птицу и имеющую еще за собой и приданое, за крепостного человека, чтобы закабалить с воли в крепость, старуха не могла.

Целую зиму толковали вместе об этом деле старушка, правнуки и Матюшка. Молодежь уверяла, что быть крепостным никакой беды нет, если господа добрые, но старуха стояла на своем и считала этот случай в ее жизни наказанием за ее прежние грехи. Мало ли молодцев в Москве свободных, нужно же было внучке полюбить крепостного холопа.

И энергичная старуха упрямо стояла на своем, что не выдаст внучку за Матюшку до тех пор, пока он не получит отпускной. Тогда молодой малый через управителя своего барина Ивана Григорьевича Орлова начал переговоры, и барин соглашался отпустить на волю дворового, но не иначе как за пятьдесят рублей, что было деньгами, по выражению Параскевы, «агроматными», то есть громадными.

Ценил так барин своего молодца, потому что теперь завелись новые самовары, одни большущие, другие крошечные, которые надо было уметь ставить, а Матюшка, будучи в доме «самоварником», был на это дело мастер.

Деньги эти старуха начала, однако, откладывать втихомолку, но вдруг за это лето случилось удивительное приключение, которое, поразив всю Москву, поразило особенно старуху, хотя совершенно на особый лад. Барин Орлов, будучи братом двух петербургских гвардейцев, долженствовал, по слухам, ходившим после воцарения новой императрицы, вдруг сделаться именитым барином и стать вдвое богаче.

Параскева была поражена, правнуки ее тоже; Матюшка окончательно нос повесил. Разбогатевший барин мог теперь совсем не отпустить дворового на волю или же запросить гораздо больше. Старуха сочла и это обстоятельство как бы наказанием за прежний свой грех ворожбы и гадания.

«Нужно же было именно Матюшкину барину попасть в вельможи и в богачи»,— думалось старухе от зари до зари.

Эта нежданная беда не выходила из головы Параскевы, и об этой беде именно она и хотела сказать той барыньке, которую встретила сегодня. Она сказала:

— Твое, чужое мне, дело руками разведу, а вот к своему горю ума не приложу!

И действительно, все, что барынька ей рассказала, казалось Параскеве самым простым и пустяковым делом сравнительно с делом Матюшки.

Теперь, вернувшись от барыньки и найдя снова Матюшку у себя в домике, Параскева должна была поневоле простить правнуков ради того, что орловский «самоварник» принес добрую весть.

Вот уже три месяца прошло, как Тит, всегда имевший в Москве место, теперь сидел на харчах у своей прабабки без дела и без жалованья. А оно было большим подспорьем. Рассчитанный за что-то бывшими господами, он никак не мог найти новой должности, так как у всех дворян были свои крепостные в услужении и во всех домах их была куча. И наемные редко кому были нужны.

Весть, принесенная Матюшкой, что петербургский офицер ищет конюха на большое жалованье в шесть рублей в год, а офицер этот вдобавок еще и князь, обезоружило старуху.

— Ну, Бог тебя прости, отчаянный,— сказала она.— А все-таки больше не ходи к нам, покуда не откупишься.

Затем старуха, не любившая откладывать дело в долгий ящик, несмотря на позднее время, тотчас спровадила правнука в Москву попытать счастья.

VI

Поздно вечером Тит и его приятель были уже в Москве на Никитской и ужинали в людской. Молодой парень Матюшка привел Тита ночевать к себе, то есть в дом своих господ, с тем чтобы наутро рано свести его и рекомендовать на место к князю, которого называл то Козлов, то Козюлькин, то Косляевский.

Дом господ, которым принадлежал Матюшка, был в эти дни одним из первых домов столицы. Имя Орловых почти гремело, и не только в обеих столицах, но и в глухих окраинах империи.

Все россияне знали, какое участие приняли два дворянина-офицера Григорий и Алексей Орловы в происшедшем на берегах Невы «действе» и воцарении новой императрицы Екатерины Второй.

Весь вечер, что просидел Тит в людской после ужина, он видел, как съезжались вереницей экипажи во двор и как большой дом наполнялся гостями.

— Что же? День ангела чей? — спросил он.

— Какой ангел,— отвечали холопы.— У нас эдак теперь завсегда. Все теперь к господам полезли, все ласкаются. И день-деньской, и ночью отбою нет.

Наутро рано приятели собрались по своему делу, но оказалось, что Матюшке отлучиться нельзя. Пришлось ставить самовары. И Тит только ахал, помогая приятелю. Самоваров двадцать поставили они да самоваров восемь долили и разогрели.

— Да кто же это у вас так наливается? — спросил он.

— Кто? Все! Мало ли народу! — объяснил Матюшка.— У нашего барина Ивана Григорьевича на хлебах много народа. Да молодые господа из Питера с собой навезли всяких приятелев. Да гости с зарей уже лезут. Бывает, я и тридцать пять самоваров поставлю. Большим барином стал наш Иван Григорьевич из-за своих питерских братьев. Да и шутка ли, когда оба при царице, а Григорий-то Григорьевич и совсем при ней первым. Датютюнтом, что ли?

— Как? Чем? — удивился Тит.

— Не знаю. Мудреное прозвище его. Ну эдак, к примеру сказать, он при царице в денщиках состоит. А прозывается генерал датютун аль датютан.

И Тит, продолжая ставить самовары, продолжал дивиться, глядя в окно на двор и на вереницы въезжающих и уезжающих экипажей и всадников.

Двор дома Орловых на Никитской у церкви Егорья-на-Всполье бывал действительно переполнен экипажами с утра до вечера. Вся Москва сновала ежедневно у господ Орловых, рассуждая, что их вскоре придется звать «сиятельствами», а титул второго брата, Григория Григорьевича, будет, пожалуй, и еще повыше. И по таким причинам, о которых и говорить опасно..

Всего месяца три-четыре назад, когда в родовом доме, доставшемся от покойного отца, жил один старший, Иван Григорьевич Орлов, не бывало никого, кроме полудюжины самых близких приятелей. А некоторые сановные люди Москвы даже и не знали, есть ли такой дворянин Орлов.

Первый вельможа первопрестольной фельдмаршал граф Разумовский был и первый обыватель Москвы, который уже с полгода назад вдруг полюбопытствовал узнать: «Кто и что дворянин Орлов и не родня ли он одного петербургского офицера, цалмейстера Орлова?»

А пожелал это узнать фельдмаршал, любимец и ближайшее лицо к покойной императрице Елизавете Петровне, по причине некоторых слухов, уже дошедших к нему с берегов Невы

И граф узнал, что у дворянина Орлова еще четыре брата и все они в Петербурге, трое офицеры, а один еще кадет. А известны братья только тем, что первые охотники на медведей. Народ лихой, но и кутилы из первых.

Через три месяца после расспросов Разумовского Москва вспомнила, поняла, почему вельможа любопытствовал разузнать кой-что об этих людях. Совершился переворот в пользу супруги императора Петра Феодоровича, и она из принцесс Ангальт-Цербстских была провозглашена императрицей-самодержицей. А вожаками всего переворота, совершенного двумя гвардейскими полками, были братья Орловы. И тотчас после этого Григорий Орлов был назначен генерал-адъютантом к государыне.

— Пожалуй, будет он при новой царице тем же, чем и я был при покойной,— объяснял граф Разумовский близким друзьям.

— Как можно! Бог с вами! — отзывались они в один голос.— Такие редкие случаи не повторяются. Что же Орлов? Офицерик из захудалых дворян.

— А я-то и вовсе из пастухов хохлацких! — шутил граф, всегда помнивший и говоривший прямо, кротко и скромно о своем простом происхождении.

Несмотря на особенно большой съезд гостей в этот день, Матюшка и Тит около полудня все-таки убрались совсем и отправились по своему делу.

Князь, к которому Матюшка повел приятеля поступать на место, жил недалеко, на Арбате, на церковном дворе, в небольшом домике, который нанимал.

Молодцы явились с заднего крыльца, нашли пожилую женщину и объяснились. Женщина велела им обождать в сенях и сказала:

— Пойду Ивану Кузьмичу скажу. Да только ему не время. Он с князьком бранится. Только сейчас начал. Стало быть, вам долго придется ждать-то.

— Как же так? — спросил Матюшка.

— Как. Просто. Схватились. А когда Кузьмич с князем зачнут пыряться, конца нет. Бывает, цельный день щиплются. Хуже вот петухов бьются.

— Дерутся! — ахнул Тит.

— Вот дурак! Нешто крепостной человек может с бариным своим драться... Щиплются. Словами друг дружку шпыняют. Обождите часок. Замолчат коли на минуточку, я, пожалуй, войду и доложу. А во время битвы лезть — от обоих достанется.

Молодцы уселись на ступеньках заднего крыльца, и благодаря тишине на улице, на дворе церковном, да и во всем

квартале гул голосов двух спорящих в квартире ясно доносился до них. Только слов нельзя было разобрать. Через несколько минут, когда гул замолк, женщина прошла в комнаты и не затворила за собой дверей. Молодцы явственно расслышали старческий голос, который восклицал:

— В гроб вгонишь меня. В гроб вгонишь. Увидишь в гробу — помянешь... Поплачешь, пожалеешь. Да поздно будет. Мертвый не встанет, как ни проси.

— Не я тебя... Нет. Не я тебя... А ты вот меня, Кузьмич, на тот свет спровадишь своей канителью! — отвечал молодой голос с оттенком досады.

— Богу ответ отдашь, хоша и дите...

— Хорошо дите выискал. У тебя я и в сорок лет, прижив с женой ребят, все дитей буду.

— Вот женись, и не буду дитей звать.

— Отвяжись, ради Создателя.

— Не отвяжусь.

Женщина вернулась, не доложив о пришедших, и захлопнула двери. И снова доносился только один гул голосов.

И только через час вышел старик, дядька князя, и, увидав молодцев, спросил. Тит ему показался пригодным, и он тотчас доложил барчуку.

VII

Князь Александр Никитич Козельский был молодой двадцатидвухлетний офицер Измайловского полка, только что произведенный в чин из сержантов. Москвич по рождению и сирота, воспитанный теткой, которая его боготворила, он поступил в полк и, очутившись один в Петербурге, много пережил невзгод.

Жизнь с солдатами в казарме, за неимением средств, требования службы, отсутствие женского ухода и всякого баловства угнетали молодого человека. Он считал Петербург своего рода Сибирью, а свою службу каторгой. Командир роты, в которую он был зачислен, дал ему прозвище сначала «маменькин сынок», потом «Александра Никитишна», потом «сахарная барышня» и, наконец, уже «пуганая канарейка».

Действительно, молодой малый, явившийся на службу в виде доброго, скромного юноши, воспитанного, как девочка, а не как мальчик, казался запуганным. Запугали его порядки полковые и казарменная жизнь.

На вид казалось князю не двадцать два года, а лет семнадцать. Среднего роста, сильно полный, кругленький, белый и румяный, еще не бреющийся за неимением даже и пушка над губами — он был «пышка». Кроме того, с добрыми свет-

ло-серыми глазами, с милой полудетской улыбкой на пухлых пунцовых губах, с тихим девичьим голосом и мягкими, не мужскими движениями офицер походил на переодетую в мундир молодую девушку. Ни дать ни взять — девица-пышка.

И в полку все товарищи облюбовали больше всего второе прозвище, данное князю ротным командиром, так как оно отлично шло к нему. Заглазно он был для всех «княжна Александра Никитишна». Но вместе с тем все любили доброго и скромного молодого человека и старались смягчить его положение «запуганного» службой после домашнего житья под крылышком или под юбками обожавшей его тетушки и боготворившей его дворни. Воспитательница его, старая девица Осоргина, хотя была и небогата, но держала при себе кучу дворовых Сделавшись из боготворимого барчука солдатом, он усердно, но тщетно старался быть воином-офицером, избегать взысканий и огорчений, но ничего не выходило, и командир окрестил его прозвищем «пуганая канарейка». Он прозвал бы юношу и вороной пуганой, но изящная внешность князя этого не допускала.

Когда прошел слух, что коронация новой императрицы совершится безотлагательно в сентябре месяце, а два полка гвардии выступят гораздо ранее, князь Козедьский обрадовался. Не было сомнения, что измайловцы пойдут на коронацию, и юный офицер надеялся повидаться с своей теткой, которую с детства очень любил.

Однако князю пришлось выехать в Москву еще в конце июля, и не для свидания со своей воспитательницей, а на ее похороны. Старая Осоргина внезапно скончалась, а ее воспитанник был вызван дядей, родным братом отца.

Приглашение явиться в Москву от этого дяди было для молодого человека двойной неожиданностью. Он плакал искренно и говорил о потере доброй старухи, заменившей ему родную мать, но вместе с тем и дивился несказанно, что его вызывает дядя, князь Александр Алексеевич Козельский

Он этого дяди совсем не знал, даже никогда не видал, с семилетнего возраста, когда дядя явился на похороны своего брата, а его отца Никиты Алексеевича

Юный князь знал только со слов воспитательницы-тетки, что старик лет шестидесяти был «чудодей», был когда-то женат на страшной полужидовке-богачке, давно овдовел, жил в вотчине около Калуги, тратил громадные деньги на разные «чудеса» и нравом был таков, каких — весь свет пройди — второго не сыщешь!

Но в чем дядя был чудодей и какие чудеса творил, старая девица никогда ни единым словом не обмолвилась, объясняя питомцу, что юношам эдакое знать не приличествует.

— В свое время, когда станешь мужчиной, то и многое узнаешь, что будет еще хуже дядюшкиных чудес,— вздыхая, говорила тетка — А пока не надо тебе о таковых мирских обстоятельствах понятие и суждение иметь.

И тот дядя представлялся воображению князя Александра то каким-то сказочным царем Берендеем, то Кощеем Бессмертным. Во всяком случае, представлялся ему уродливым, злым и страшным. Этому представлению немало помогало и то обстоятельство, что дядя и крестный отец, в честь которого он носил имя Александра, заявлял старой девице два-три раза, что видеть своего крестника и племянника не желает, так как вообще мальчишек не любит, ибо они всегда без исключения «сущая пакость».

Старуха частенько охала и тужила, что у сироты-питомца нет никакого состояния, кроме двадцати пяти душ крестьян в глухой степной орловской вотчине, где даже и барский дом не существует, давно сгорел. Сама она после своей смерти могла оставить племяннику маленькое полуразоренное имение тоже в Орловской губернии, около полусотни душ Жить на доходы и оброк можно будет питомцу благопристойно, по-дворянски, но очень не широко. А между тем у родного дяди такое состояние, что деньгам и счету нет. В одной Калужской губернии до тысячи душ в трех больших имениях. Да кроме того, богатые вотчины еще в трех губерниях.

И беседы Осоргиной с питомцем несколько лет подряд о будущности и судьбе ее «Сашунчика» сводились всегда к одному:

— Что бы богачу дяде подарить племяннику хоть полтысячи душ. Что бы ему и совсем сделать крестника своим наследником.. Что бы ему вдруг, прости Господи, сразу преставиться и без завещания в пользу какой-нибудь посторонней «ублажательницы». Тогда Александр стал бы богачом, а потом стал бы генерал-аншефом.

Когда юноша собрался в полк, дядя, несмотря на письма и просьбы старой девицы помочь ей «обшить и справить» племянника, не дал ни гроша и даже ответил коротко и грубо. Затем, явившись в отпуск к тетке после производства в капралы и трехлетнего пребывания в полку, князь Александр узнал от Осоргиной, что дядя Александр Алексеевич в свои шестьдесят лет с хвостиком собрался жениться вторично и, может быть, уже и повенчался с молдашкой лет пятнадцати.

Слух о появлении и существовании молдашки, то есть молдаванки, при особе князя Александра Алексеевича подтвердился за время пребывания князя-капрала у тетки. Но

слух о женитьбе, однако, не подтвердился. Дальний родственник обоих князей, приехавший из Калуги, заявил только, что видел молдашку собственными глазами.

— Маленькая, черненькая, лохматая и востроносая... — объяснил он.— Визжит, царапается и кусается...

— Ох, Господи! — обомлела старуха.— Да почему же эдак-то?

— Молдашка, сударыня. Вот почему,— объяснил родственник, коротко и ясно.

Князь Александр никогда особенно не мечтал и не надеялся получить в наследство огромное состояние дяди, но все-таки изредка поневоле подумывал, под влиянием мечтаний Осоргиной: «Почем знать, чего не знаешь!»

Молдашка смутила и старуху, а он, вернувшись из отпуска в полк, тоже перестал окончательно думать о дяде и наследстве. Он теперь уже знал и понял, в чем заключались «чудеса» дяди-вдовца, а равно знал, чего ждать от разных молдашек и им подобных прелестниц.

VIII

На похороны воспитательницы-тетки Сашок, конечно, не поспел, ибо покойница давно уже была похоронена, так как со дня ее смерти прошло около двух недель. Но на квартире покойной он нашел письмо дяди на его имя, в котором тот советовал племяннику привести все дела в порядок, то есть вступить во владение наследством, но и уплатить «по чести» все долги покойницы, а в том числе и пятьсот рублей, давным-давно одолженных ей им, князем Александром Алексеевичем. При этом князь объяснял:

«Лет уже десять с лишком были мною тоспоже Осоргиной даны двести пятьдесят карбованцев. Прибылей никаких я не видал с них, ни алтына. А понеже всякий капитал, хотя бы то был и алтын, за десять годов удвояется, то ты и почти своим долгом чести оный долг в пятьсот рублей мне уплатить по введении себя во владение движимым и недвижимым имуществом покойницы, твоей благодетельницы».

Молодой князь подивился немало. Богач дядя просил об уплате пустой для него суммы, на которую, к тому же, не могло быть никакого документа.

«Уж лучше бы было,— думал он,— достойнее и благопристойнее не поминать об этих двухстах пятидесяти рублях, да еще жидовствовать и требовать вдвое. А тетушка еще грезила, что он сделает меня, своего единственного родственника, наследником своих богатств».

Объехав в Москве старых знакомых, Сашок, конечно, не молчал о требовании дяди.

— Весь он тут — живой! — говорили все.

— Узнаешь князя Александра Алексеевича!

— И деньги не нужны, конечно. И не желательны даже. Это ради форсу. Он не скряга, а скорее расточитель.

— Чудодействует. Больше ничего.

И затем все хором добавляли:

— Да, родной мой, дядюшка у вас — всю Россию пройти — второго не сыщется. Первого разбора на чудесничество.

Но один из знакомых посоветовал:

— Сказывают, Александр Алексеевич приедет, а может, уж и приехал ради коронования. Вы его повидайте и попросите этих денег не требовать.

— Ни за что! Бог с ним! — решил Сашок.— Пошлю их ему...

Справив все формальности, чтобы войти во владение маленьким наследством, и повидав кой-каких прежних знакомых, он посетил в том числе самого главного, дальнего родственника или, вернее, свойственника покойной Осоргиной.

Это был человек лет шестидесяти, служащий в Верхнем земском суде, уроженец Москвы, никогда ее не покидавший за всю жизнь. Далее Горохового поля, Донского и Симонова монастырей и Воробьевых гор он от столицы никогда не уезжал. Старика знала вся Москва дворянская и очень уважала. Именовался он особенно, а не просто. Как дед его, боярин еще времен царя Алексея Михайловича, как отец его, дворянин времен первого императора, так и он сам — все трое звались Романами, а фамилия их была та же, что у царствующего дома.

Роман Романович Романов, столь же суровый на вид, сколько добрый человек, обрадовался появлению «Сашки» Козельского, обласкал его, пригласил навещать почаще, а затем тотчас стал покровительствовать ему.

Вскоре, узнав от молодого князя, что он должен немедленно возвращаться на службу, несмотря на то что скоро весь полк выступит в Москву на коронацию царицы, он решил по-своему.

— Зачем же? — сказал он.— Что же шататься зря? Это мы устроим.

И через недели две Сашок получил разрешение оставаться и ждать полк. Но когда пришло это разрешение, уже другая, вторая просьба Романова за молодого князя тоже была исполнена.

Старик убедил юного офицера оставаться на службе в Москве, в качестве адъютанта, у кого-либо из видных военных... Через недели три после первой беседы с Романовым

князь был уже определен состоять при особе военного московского генерал-аншефа князя Трубецкого в качестве домашнего адъютанта для «ординарных» услуг.

Все совершилось быстро и просто, но только один князь да его дядька Кузьмич удивлялись. Москвичи же не дивились ничему по отношению к Роману Романовичу Романову, ибо все давно знали, что у старика сильная «рука» в Питере, то есть большие связи. При этом удивительно было лишь одно обстоятельство. Старик был одинаково всемогущ и при царице Анне, и при царице Елизавете.

Теперь же, при вступлении на престол новой императрицы, Романов тоже разными мелочами доказал, что он стал еще сильнее, да к тому же, давно будучи на службе, вдруг стал начальником Верхнего суда.

Всем являвшимся с просьбами ходатайствовать за них он говорил, однако, скромно:

— В чем важном — не взыщите, коли с арбузами останемся. А вот в пустом каком деле я помочь готов и помогу, чем могу.

Однако эти «пустые» дела бывали для иных москвичей очень важными, как, например, определение на службу, испрошение наград, избавление от ябеды, выигрыш тяжбы и т. д.

Кто был в Петербурге «рукой» Романова, он никогда не обмолвился, но предполагали, что при императрице Анне это был кабинет-министр Волынский, а затем позднее и до настоящего дня оба графа Разумовские. Во всяком случае, Романов теперь бывал постоянно у графа Алексея Григорьевича на Покровке, где тот поселился со дня смерти Елизаветы Петровны.

Главный и любимый партнер именитого фельдмаршала в играх в шашки и в бирюльки был «Романыч».

Когда пришлось устроить племянника тюкойной приятельницы, Романов, вероятно, быстро сладил дело из-за покровительства Разумовского.

Устроившись окончательно в Москве, юный Сашок вдруг ощутил нечто, чего до той поры почти не знавал. Недоумевая, что с ним приключается, или боясь признаться искренно самому себе, в чем, собственно, дело, он решил, что хворает. Впрочем, Сашок если не знал, то чуял причину всего, но молчал. Дядька же его наивно думал, что его питомца просто-напросто вдруг обуяла страшнейшая скука. И случилось это, по его мнению, просто. В Петербурге его князинька жил в казармах, постоянно видался с товарищами и вместе с ними коротал день на службе, а вечер где-либо в гостях. В Москве же очутился один, на квартире в глухом переулке Арбата и без единого товарища. Были дворянские семьи, которые его звали и обедать, и вечером, но Сашок

был скромен до конфузливости, дичился чужих людей, чувствовал себя в обществе связанным и убеждался, что он недостаточно благовоспитан.

— Нет во мне никакой светскости! — вздыхая, жаловался он дядьке.

Между тем причина внезапной тоски юного офицера, похожей на хворь, была особая, хотя тоже простая... На церковном дворе жила и часто по церковному садику гуляла молодая женщина, очень красивая. И такая, каких Сашок еще никогда не видывал. Так, по крайней мере, он находил, все больше думая о ней. А хитрый Кузьмич это происшествие проморгал, а поэтому и решил, что все тоска одиночества наделала.

Впрочем, дядька был доволен, что его питомец не «рыскает» по городу и сидит больше дома. А от этой тоски, вдруг напавшей на «дите», старик ретиво уже искал лекарство. И то же самое, что бессознательно искал сам Сашок.

IX

Кузьмич был крепостным молодого князя, но он был его дядькой и потому не считался лакеем. Всякий дядька, как и всякая нянюшка, выходившие своих питомцев, пользовались во всякой семье дворянской совершенно особым положением. То *обстоятельство*, что Сашок был сиротой и не имел никакой родни, за исключением воспитательницы-тетки и дяди, которого он никогда не видел, дало Кузьмичу еще большее значение. Тетка Сашка любила Кузьмича, считала его очень умным человеком, обращалась с ним как с равным и *даже*, что *было большой редкостью*, позволяла Кузьмичу садиться при себе.

Когда Сашок отправился в Петербург на службу, женщина поручила ему племянника, говоря, что рассчитывает на него, как если бы он был отцом Сашка. Наказывая беречь молодого человека как зеницу ока и ограждать от всего худого, она объяснила Кузьмичу, что город Петербург не таков, как город Москва. Там живут всякие безбожники, потому что куча немцев всех россиян там перепортила.

— Никакому добру от немца не научишься! — сказала она.— Береги Сашка, ты за него ответствуешь не только предо мною, грешной, но и пред самим Господом Богом!

Сашку женщина наказала, чтобы он слушался Кузьмича кротчайше и сугубо во всем. Таким образом, будучи в Петербурге сначала нижним чином, а потом офицером, молодой человек хотя и тяготился опекой дядьки, но повиновался ему, боясь ответа перед теткой.

Теперь, после смерти старухи Осоргиной, поселившись в Москве, Сашок постепенно, почти незаметно для самого себя, стал все менее обращать внимания на советы Кузьмича. Еще в Петербурге товарищи смеялись над ним, что он боится своего дядьки. Теперь Сашок сам верил, что пора выйти из-под опеки доброго старика, считающего его ребенком.

— Я, слава Богу, не маленький! — повторял постоянно Сашок.

Но Кузьмича эти слова сердили, раздражали, а главное, обижали.

— Никто тебе не говорит, что ты махонький! — воскликал он.— Но когда ты глупое затеял, то моя должность — тебе глупость твою пояснить!

И в Москве между дядькой и питомцем стали бывать уже постоянные стычки и препирательства.

Тит, явившийся наниматься, попал именно на одну из таких битв. Однако вскоре же все стихло, и Кузьмич, выйдя и увидя молодца, тотчас же занялся им, расспрашивая и соображая. Тит понравился старику, понравился и князю и был оставлен в доме в качестве конюха для ухода за верховой лошадью. Через три дня молодец был уже свой человек в доме. Одновременно с его поступлением дядька стал чаще отлучаться со двора, а питомец недоумевал.

Однажды Кузьмич, надев свое новое платье, снова исчез из дому, но, предупреждая своего барчука, что ему нужно отлучиться по важнейшему делу, дядька имел такой торжественный вид, что Сашок подивился более, чем когда-либо.

«Что у него завелось? — думал он.— Баба, что ли, какая на старости лет его околдовала?» Не зная, что делать с тоски, Сашок сел к окну, выходящему на садик при церкви. Он надеялся, что красавица соседка — как всегда это бывало в отсутствие Кузьмича — выйдет погулять и пройдет под его окном. Однако на этот раз он около получаса просидел, тщетно ожидая появления женщины, «каких, ей-Богу, вот никогда не видывал!»

С досады Сашок вышел во двор и отправился в конюшню. Тит оказался там и усердно чистил лошадь. Князь сел на скамейку, стал глядеть и выговорил:

— Ты смотри, Тит, сдуру Атласного не опои.

— Как можно,— отозвался молодец.

— Ты это знаешь. Опоенная лошадь пропала.

— Да и человеку негодно воды испить, когда он взопревши,— заметил Тит.

— Это ты умно сказываешь. Это правда...

Тит самодовольно улыбнулся и принялся еще усерднее за дело. Наступило молчание, но Тит как-то странно взглядывал на барина искоса.

— А уж все-таки извините, Лександра Микитич,— вдруг заговорил Тит.— А из себя она все-таки пригожая до страсти...

— Да. Зато и стоила полста рублей...

— Как же так? — удивился Тит, совсем оборачиваясь к князю, и, разводя руками, где были скребница и щетки, прибавил: — Нешто вы ей полста рублей дали уже... Стало, сладилось?

— За нее дал. И то по дружбе господин Романов мне продал. Ему самому она дороже обошлась.

— Да вы про что, Лександра Микитич?

— Как про что?.. Про Атласного.

Тит глупо рассмеялся и стал утирать нос щеткой.

— Чему, дурак, смеешься?

— Я не про нее, не про лошадь сказывал... Я про Катерину Ивановну

— Что-о? — изумился Сашок, хорошо знавший, кого так зовут.

— Я про супружницу нашего вот пономаря сказываю, что пригожа и все привязывается ко мне Как повстречает, то держит да расспрашивает. Отбою мне нет от нее.

— Тебе?! — еще пуще изумился Сашок и слегка вспыхнул от чувства, самому непонятного.

— Да-с. Проходу не дает. Все одно... Что князь твой? Где князь? Сколько ему годов? Что он за барин? А пуще всего пытает, нет аль есть у вас зазноба какая, а коли нет, то, может, женитьба на уме. Видать, что она в вас втюрилась во как... Да и чего мудреного. Вы князь да офицер, а ее-то муженек хворый, лядащий, безволосый, а она-то вон какая кралечка. Вы бы уж, ваше сиятельство, ее успокоили. Ведь терзается..

— Полно, дурак, околесицу нести! — вдруг вспыхнул молодой малый и, вскочив, быстро ушел в дом.

Здесь он сел у окна, выходящего на улицу, потом стал прохаживаться по комнатам, потом опять сел к другому окну и глядел на редких прохожих... Раза два за целый час он настораживался, прислушивался и высовывался из окна... До его слуха долетал топот лошадиный... Подчас проезжали мимо его домика кареты, колымаги, иногда офицер верхом, и он с особым чувством озлобления поглядывал на проезжих. Когда же наступала в переулке тишина, — Сашок принимался снова слоняться по своей квартире.

Наконец, выглянув в окно, выходившее на церковный двор, он вдруг увидал чернобровую, белолицую женщину в розовом платье и белом шелковом платочке на голове.

Сашок вспыхнул еще сильнее, чем от болтовни Тита. И на этот раз он не выдержал...

Тотчас надев кивер, он вышел и, волнуясь, начал тихо бродить между кустов садика.

Храбрости у молодого человека было настолько мало, что он не только не пошел прямо навстречу красавице пономарихе, а взял левее, тогда как она гуляла в правой стороне садика. Однако минут через пять красивая брюнетка свернула на другую дорожку и плавно зашагала в его сторону.

Сашок понял, что если он ускорит шаги, то минует ее, а если замедлит, то прямо сойдется, столкнется...

И он слегка замедлил шаг, подбадривая себя рассуждением:

«Что же? Не я. Она сюда повернула... Я в своем угле гуляю. И что ж за беда... Да и Тит говорит...» И через мгновение молодой человек и красивая пономариха встретились на узенькой дорожке. Сашок счел нужным немного посторониться.

Молодая женщина смущенно прошла мимо, но так при этом глянула на князя, что его, как он почувствовал, «и ошибло, и ожгло!»

Снова разошлись они в разные углы садика, но, следуя каждый своей дорожкой, должны были неминуемо сойтись снова, на том же месте.

«Заговорить? — спрашивал себя Сашок вслух, но шепотом.— Тут обиды нет. Мы на одном дворе живем. Соседи... А какие глазки? Вот глазки!» И он шел, робко косясь, даже издали, на красивую молодую женщину, мелькавшую за зеленью.

И он твердо решил заговорить! Непременно!.. Но снова встретились офицер и пономариха и снова разошлись, не проронив ни слова и даже с равнодушным видом.

X

Прошла неделя... Сашок по-прежнему ежедневно ездил на краткое дежурство к генералу князю Трубецкому... Дядька снова два раза отпросился со двора и пропал надолго. И Сашок был этому рад, ибо и пономариха появилась оба раза в садике. И он, конечно, вышел гулять... И конечно, они встречались. И конечно, не заговорили. Красавица держала себя еще более робко и этим наводила страх еще пущий на «княжну Александру Никитишну».

Однажды, когда Кузьмич ушел из дому в третий раз, у подъезда квартиры офицера вдруг остановилась тележка, запряженная одной лошадью. Насколько кляча была заморена, настолько же был неказист на вид и кучер в рваном кафтане

и с каким-то шлыком на голове вместо шапки. Вся сбруя была тоже перевязана кой-где веревочками.

В тележке сидел какой-то господин, далеко не щегольски, хотя чисто одетый, и спрашивал:

— Здесь ли живет измайловский офицер, князь Козельский?

Сашок высунулся в окно, еще полуодетый, в одной сорочке, и крикнул:

— Вам меня нужно?

— Не могу знать,— отозвался приезжий резко.

— Как-с? Вы сейчас вот спрашивали... Стало быть, полагаю, вам меня нужно?

— Не знаю, говорю, сударь,— снова так же резко отозвался приезжий.

— Как не знаете? Вы же спрашиваете?

— Я спрашивал, здесь ли живет князь Козельский Александр Никитич...

— Ну да.

— Что да?

Сашок удивился вопросу и не знал, что отвечать, а незнакомец продолжал насмешливо и даже дерзко усмехаться, глядя на него.

— Я князь Козельский,— произнес он наконец.

— Так бы и говорили. А вы говорите: меня ли нужно? А на лбу у вас совсем ничего не прописано, и узнать поэтому, вас ли мне нужно, нельзя.

Приезжий вылез из тележки медленно, а затем обратился к кучеру и выговорил сурово:

— Игнат, держи ухо востро. Вожжи понатяни да оглядывайся. Избави Бог, конь испугается чего, шарахнется, бить начнет... Тогда прощай. И от тележки, и от тебя самого ничего не останется. Хоть ты и первый кучер в столице, а все-таки с блажными конями опасение всякое нужно...

И незнакомец пошел на крыльцо.

Сашок глядел, однако, не на него, а на лошадь и отчасти даже рот разинул от удивления.

«Каким образом,— думалось ему,— такая заморенная кляча, которая, расставив ноги, опустив голову и повесив уши, еле держится на ногах, может бить и разбить...»

Офицер быстро надел камзол и сюртук, и когда незнакомец вошел к нему из прихожей, он уже был готов.

— Честь имею представиться,— заявил нежданный гость.— Сенатский секретарь чином и ходатай по всяким судейским делам, Вавилон Ассирьевич Покуда. Заметьте, сударь. Покуда, а не паскуда.

— Пожалуйте. Прошу садиться,— несколько удивляясь, сказал Сашок.

Гость был уже не только пожилой человек, но старик, хотя бодрый, державшийся прямо, даже несколько военно или гордо. Лицо с морщинами было удивительно белое, свежее, даже с легкими пятнышками румянца, зубы, ровные, белые, без единого изъяна, блестели, когда он ухмылялся тонкими губами. Карие глаза были какие-то особенные, маленькие, но вострые, будто и лукавые, и особо проницательные. Во всяком случае, гость произвел на Сашка впечатление человека себе на уме, с которым надо быть осторожным на словах.

— Что вам угодно, чем я одолжен вашим посещеньем? — заговорил Сашок.

— Я слов не люблю. Люблю дело,— ответил гость.— И буду я не красноречив, а краткоречив. Во-первых, прошу вас вспомнить и затвердить, как я прозываюсь.

— Как-с? Ну, это я, виноват...

— Мое имя, отчество и фамилию помните?

— Виноват-с...— несколько смутился Сашок.— Действительно... Мудрена она малость... И я забыл уже... Фамилию помню. Покуда!

— Покуда. Верно-с.

— Никогда, признаюсь, таковой не случалось слышать.

— В Малороссии не бывали?

— Как-с?

— Странно это, сударь мой. Все-то вам повторяй по два раза. Как-с да как-с. Да вот так-с. Бывали вы в Малой России, или Малороссии, или в Хохландии, где хохлы живут.

— Нет, не бывал.

— Ну вот, оттого, вишь, моя фамилия, древняя и дворянская, или казаческая запорожская, вам и кажется странной. Покуда — стариннейший род. А что кажется вам удивительной — верю. У нас в Хохландии есть древний род казаческий, и фамилия его: Убий-Собака. Заметьте: собака, а не собаку. Это — разница. А отчего вам не кажется чудна фамилия Козельский? И Козел, и Козла... Ну-с, а имя и отчество свое я вам повторяю: Вавилон Ассирьевич. Ничего сие наименование вам не напоминает?

— Как-с?

— Ну вот опять: как-с. Если вы эдак всегда сказываете, то вас могут прозвать: князь Какс Никитич Козельский... Но будет переливать нам из пустого в порожнее, или воду толочь. Сказывайте. Есть у вас дядюшка родной?

— Есть.

— Он же и ваш крестный отец?

— Да-с.

— И он же очень богатый человек. И он же вас знать не желает. Верно ли?

— Действительно,— начал было Сашок, но гость перебил его и удивил.

— И дабы вы не могли наследовать после него, как требует закон и справедливость, он сделает завещание в пользу какой-то девки-полутурчанки. А так как вотчины родовые, да кроме того, турки обоего пола не могут владеть ни родовыми поместьями, ни тем паче крепостными людьми, то дядюшка ваш все должен продать, денежки наличные скопить и из рук в руки девке-полутурчанке отдать... Известно ли вам это обстоятельство?

— По правде сказать, я этого всегда ожидал,— ответил Сашок.

— И вам на это наплевать?

— Как-с?

— Ну вот опять: как-с! Я вас спрашивал. Вас, князя Какса Никитича... Виноват... Князя Александра Никитича Козельского, неужели вам все все равно? Что нет ничего!.. Плевать! Вы палец о палец ударить не можете, чтобы спасти родовые вотчины от дурацкой продажи, не потерять огромное наследство.

— Да что же я могу!

— Все можете! Все!

— Извините. Ничего не могу-с. Я дядюшку почти никогда в жизни не видал, то есть видел еще в ребяческие года и не помню.

— Зачем же вы не едете сами к нему теперь на поклон, по вашей племяннической должности? Чего же вы хотите, чтобы он сам к вам явился с поклоном? А он теперь здесь, в Москве. Ради коронования.

— Я бы поехал,— ответил Сашок, подумав,— но он, я знаю, меня очень нехорошо примет. А то и вовсе не захочет видеть... Обидит. А то прогонит, на глаза не пустивши. А я, в качестве офицера, такового с собой обхождения допустить не могу. Нет уж, Бог с ним!

— Ну, если дело обстоит эдак, сударь князь,— заявил гость,— то, правда, делать нечего... Тогда надо инако вам взяться. И вот я — Ассирий Вавилоныч Покуда,— хочу для...

— Вы сказывались Вавилоном Ассирьевичем, если я не ослышался? — удивился князь.

— Нет. Вы ослышались. А вот теперь слушайте в оба,— весело смеясь, но резко произнося слова, ответил гость.— Я хочу в качестве ходатая по делам тяжебным, ябедным и иным предложить вам мои услуги. Желаете?

— Право, не знаю. Что же вы сделаете?

— Я-то?.. Да я все сделаю. Я все законы, какие есть в империи и какие были, все знаю, как вы знаете аз, буки,

веди... Мы начнем судиться с князем Александром Алексеевичем и заставим его вам, как племяннику, уделить хоть половину всех его родовых поместий. Ведь он, Козельский, что холостой, бездетный... Вы последний отпрыск, или единственный потомок той же княжеской линии. Стало, по закону все должно быть ваше.

— Нет-с. Я думаю и размышляю иначе,— заявил Сашок холодно.— Дядюшка до своей женитьбы имел небольшое состояние, такое же, как и мой родитель... У дедушки моего, их родителя, было всего три вотчины... А если дядюшка теперь богач, то потому, что женился на богатой особе и наследовал после ее смерти да затем сам приумножил все, что ему досталось. Стало быть, все его вотчины и капиталы не родовые, а благоприобретенные. А как таковые, он имеет право отдать или подарить все, что имеет, кому только вздумается.

— Хотя бы и девке-полутурчанке...

— Хотя бы даже самому султану турецкому, коего он никогда не видал, а не только красавице девице, которая пользуется его расположением вот уже сколько времени и, со своей стороны, вероятно, не раз доказывала ему свое к нему расположение, как близкое лицо.

Гость глядел на молодого князя, разинув рот от искреннего удивления.

— Так вы вон как рассуждаете? — выговорил он наконец.

— Да-с. По совести и по здравому уму... Будь я на его месте — я поступил бы так же...

— Скажите пожалуйста? — уже вне себя от изумления воскликнул гость.— Вы и судиться-то даже не хотите, а я, глупая голова, понадеялся... Я к вам явился, полагая, что вы мне дадите ваше согласие даже и на то, чтобы князя-дяденьку похерить каким-нибудь снадобьем... Так в рюмочку малость самую подболтать, дать хлебнуть и наследовать.

— Что-о? — вскрикнул Сашок.— Да как вы смеете мне эдакое...

— Не кричите...

— Как вы смеете мне,— еще громче закричал Сашок,— мне, дворянину и офицеру, эдакое говорить. Если вы сами мошенник, вор и убийца, так не смейте других с собой равнять.

У молодого князя, как у многих добрых и кротких людей, гнев проявлялся припадком. Взволнованный и пунцовый, он встал со стула и выкрикнул:

— Пожалуйте! Вон пожалуйте! Вон! Вон!

— Да чего вы, Какс Никитич, расходились? Вам человек добра желает, предлагает богатым стать... А вы на дыбы.

Ведь у вас гроша за душой нет. Хорош князь, в онучах. А похеривши, к примеру, каким снадобьем дяденьку, вы сразу богач... Подумайте.

— Ах ты, приказное семя! — заорал Сашок.— Да что мне тебя, зарубить, что ли? Как собаку?! Вон! Пошел вон! — орал он, наступая на гостя.

— И пойду, пойду. А коли одумаешься, горячка, то пошли за мной,— равнодушно выговорил гость — Вот тебе и мое прописанное предложение. Авось поймешь.

И, положив на стол лист бумаги, сложенный вчетверо, гость пошел из комнаты, усмехаясь. Но не только не злобно, но как-то добродушно, как если бы с ним случилось здесь что-либо приятное.

На крыльце он крикнул зычно:

— Игнат! Подавай рысака.

Возница взял за вожжи и начал передергивать, но заморенная кляча едва двинулась с места и шагом доплелась к подъезду, как бы через силу таща тележку

— Не бил? — спросил барин.

— Чего изволите? — спросил и кучер — Кого-с?

— Оголтелый! И ты тоже начнешь скоро говорить: как-с. Тебя спрашивают. конь не бил?

Кучер поглядел на барина укоризненно, и Сашок, глядевший в окно, все видевший и слышавший, заметил, как кучер головой качнул, будто негодуя на барина.

— Что, у тебя язык, идол, отнялся? Конь, говорю, смирно стоял или бил?

— Бил! — азартно произнес кучер.

— Бил? Ну вот . Мог бы и тебя, и экипаж вдребезги разнести А ему цены нет.

— Мог бы Да только сил нет, вишь, в чем только душа держится .

— Дурак! Нешто у коня есть душа? — важно произнес барин, косясь на князя, сидящего у окна.

И, сев неспешно в тележку, он выговорил:

— Держи вожжи Поосторожнее... Смерть боюсь лихих и блажных коней

Кучер начал снова передергивать вожжами, но так как несчастная кляча не брала с места, то он достал кнут и начал хлестать животное.

— До свидания, ваше сиятельство,— крикнул гость, оборачиваясь к Сашку, который, смеясь, глядел в окно.— Передумаете, то пошлите за мной. А писание-то мое, что на столе, прочтите Коли не поймете, то Кузьмичу дайте. Он шустрее вас и поймет.

Гость отъехал почти шагом, а Сашок, вспомнив о бумаге, взялся за нее.

Гнев, на него напавший от дерзости неведомого нахала-стрекулиста, быстро прошел, да и «блажной» конь его рассмешил.

Прочитав несколько слов, Сашок ничего не понял, ни единого слова, как если бы написано было по-турецки или по-китайски.

XI

А гость молодого князя, протащившись на своей кляче до первого угла и завернув за него, тотчас же вылез из тележки. Здесь ожидали его довольно приличные, хотя и не элегантные дрожки, порядочная лошадь и кучер, одетый просто, но чисто.

— Ну, ты,— обратился он к вознице на тележке,— ступай домой! Авось к вечеру доедешь. Послезавтра опять понадобишься.

Сев в дрожки, он приказал второму кучеру:

— Ступай к немцу-табачнику, а оттуда поедем в разбойное место.

Лошадь, не очень казистая на вид, взяла, однако, с места крупной рысью, и вскоре дрожки были уже на Тверской и остановились у маленького магазина. Господин, рассердивший Сашка, вошел в магазин. При его появлении молодой приказчик начал низко кланяться, а затем крикнул в соседнюю комнату:

— Карл Карлович, идите!

В магазин вышел немец небольшого роста, рыжеватый и в синих очках и, крайне любезно, почти подобострастно кланяясь, заговорил, заискивающе улыбаясь:

— Что прикажете, ваша светлость? Чем обязан такой великой чести?

— А вот чему, немец ты треклятый! Народ обманываешь, торгуешь по русской пословице: «не обманешь — не продашь»... Приехал тебя бить! Какой ты мне табачище прислал прошлый раз?

— Самый лучший, только что полученный с корабля, ваша светлость, с неделю только назад получил из Кронштадта.

— Заладил опять свою «светлость». Тысячу раз говорил я тебе, что я такая же светлость, как и ты сам...

— Это ничего... Это все одно...— улыбался немец.

— Да кроме того, ты и брешешь, потому что этот табак ни в каком Кронштадте не бывал и ни на каком корабле не плавал. Он тут у нас на живодерке нашелся. Небось, какие-нибудь казанские татары вместе с мылом продали его

тебе, а ты меня заставляешь эту пакость нюхать. Хочешь на поселение в Сибирь?

Немец, хорошо говоривший по-русски, стал клясться и божиться, что его табак действительно получен из-за границы и что, вероятно, случайно он оказался каким-нибудь другим сортом или же отсырел во время пути морем.

— Позвольте мне прислать вашей светлости послезавтра другую коробку...

— Другого табаку?

— Нет-с, не буду лгать! Табак будет все тот же, но я его известным образом просушу, и вы увидите, что вкус у него будет совсем другой.

— Ну ладно! А если опять надуешь, то так и знай: я тебя могу под суд упечь и в Сибирь сослать!

— Знаю, что можете, ваша светлость,— отвечал немец, улыбаясь.— Но этого не будет, потому что табак будет отличный.

Когда посетитель вышел из магазина, немец проводил его до самых дрожек, любезно подсадил и кланялся без конца. Вернувшись в магазин и пройдя к себе, немец уже по-своему сказал жене, сидевшей за кофе:

— Слышала разговор, meine liebchen?[1]

— Слышала!

— *Странный человек! Когда подумаешь, что этакие* люди — и кривляются и шутовствуют! Зачем? А все-таки *доволен, что я его величаю* «ваша светлость».

Между тем посетитель немца уже ехал шибкой рысью по Тверской и, переехав площадь, остановился у большого подъезда большого казенного здания. Это был суд, именуемый им «разбойным местом». Поднявшись по каменной лестнице и вступив в длинный коридор, разыскал солдата и выговорил:

— Ивана Флегонтыча можно ли видеть?

— Можно! — ответил солдат, оглядывая посетителя с головы до пят и как бы соображая, какого он звания и стоит ли беспокоить начальство из-за него.

— Так доложи, пожалуйста: Макар Гонялыч Телятев, по делу господина Баташева.

Солдат было двинулся, но затем остановился, снова обернулся к посетителю и, слегка сморщив брови, спросил:

— Как вы сказываете: Телятин?

— Макар Гонялыч Телятев! — повторил тот.

— Гонялыч...— повторил солдат.— Телятев

И он пошел по коридору.

---

[1] Моя дорогая *(нем.)*.

Вернувшись через пять минут, он вымолвил, проходя:

— Обождите! Им не время. Вот посидите!

И он ткнул пальцем в деревянную лавку. Посетитель оглянулся кругом и, увидя свободное место на одной из скамеек между толстым купцом и каким-то старичком в замасленном мундире, подошел, извинился и сел между обоими. Вавилон Ассирьевич Покуда, преобразившийся теперь в Макара Гонялыча Телятева, скромно уселся на свое место и стал озираться.

Самый разнообразный народ сидел вдоль стен, и у всех был одинаково невеселый вид. Можно было догадаться, что все здесь находящиеся приходят сюда поневоле и считают себя несчастными. Это были люди, так или иначе причастные к тем делам, которые производились в этом казенном месте.

Господин, меняющий свои имена, был прав, конечно, называя это место «разбойным». Просидев с четверть часа, оглядев всех, изучив все фигуры, он заметил в углу сидящую около офицера бедно одетую женщину лет пятидесяти, с чрезвычайно милым лицом Он сейчас же решил, что женщина — дворянка, несмотря на поношенное платье. Оглядев снова всех ожидавших очереди, и снова глянув на эту женщину, он заметил, что она поспешно утирает глаза.

— Вон как! — выговорил он вслух

— Вы чего-с? — отозвался толстый купец, думая, что он обращается к нему.

— Я-с? Ничего-с!

— Вы сейчас что-то сказали?

— Точно так-с. Только не вам..

— Простите-с!

— Простил-с!

Последнее слово было сказано так, что купец покосился на соседа, кашлянул и отвернулся, считая себя несколько обиженным. Назвавшийся же Телятевым тотчас встал, перешел комнату и, приблизившись к даме и ее соседу, офицеру, произнес насколько мог вежливее.

— Извините, пожалуйста, мне там сидеть очень мудрено. У купца такие сапоги, что я угорел от них Дозвольте сесть между вами?

Дама и офицер раздвинулись Он опустился на скамью и тотчас же заговорил со своей соседкой

— По делу, конечно, какому здесь, сударыня, находитесь?

— Да-с! — ответила женщина охотно.

— Вот и я так-то! Беда! Разбойное место! — тихонько прибавил он

И, расспрашивая подробно, через несколько минут он знал уже все горести этой женщины. Она подробно и охот-

но передала свое дело, из-за которого уже второй год является сюда и сидит часами. У нее оказалась тяжба с соседом, и вскоре, по ее грустному убеждению, ей предстояло проиграть правое дело. Сосед, у которого сильное покровительство в Москве, должен неминуемо оттягать у нее пятьдесят душ крестьян, подгородных, зажиточных, платящих большой оброк, как если бы их было двести душ.

Выслушав все, назвавшийся Телятевым предложил женщине свои услуги.

— Не подумайте,— сказал он,— что я хочу нажиться, что вы во мне найдете кляузника-ходатая, который только вытащит у вас последние гроши и ничего не сделает. Вперед вас предупреждаю, что я уплаты никакой с вас не прошу и буду ходатайствовать даром.

Попросив адрес барыни, он узнал, что ее зовут Елизавета Ивановна Калинина и что она урожденная княжна Тихменева. Вспомнив время лет за двадцать пять назад, он заявил Калининой, что у них найдутся и общие родственники. Он обещался через день или два побывать у женщины и усердно взяться за ее дело.

— Прямо-таки обещаю вам, что мы вашу тяжбу выиграем! — сказал он весело.— Не примите меня за болтуна, я на ветер ничего не говорю.

Женщина стала горячо благодарить, но в эту минуту подошел солдат и, оглядывая всех сидящих со средины комнаты, выкрикнул:

— Который тут Телятин?

— Я! — отозвался тот.

— Вас зовут! Вот прямо по коридору и вторая дверь на правую руку. Да вы, кажись, уже бывали у нас,— прибавил он, приглядываясь.

Телятев двинулся и через минуту сидел уже на маленьком стульчике, бочком, скромно съежившись и подобрав ноги под себя. Перед ним на кресле величественно восседал чиновник, один из многих заседателей суда, очень важная птица для всех просителей, но, конечно, далеко не важная по должности, им занимаемой.

Телятев заявил, что является просителем по делу секунд-майора Баташева, и начал было объяснять, в чем заключается дело. Иван Флегонтьич, по фамилии Скрябин, остановил его, сухо выговорив:

— Я лучше вас знаю это дело. Не вам мне его разъяснять! Что вам угодно?

— Узнать, когда можно ожидать его окончания?

— Окончание будет, когда дело кончится.

— Так-с! — скромно отозвался Телятев.— Но нельзя ли узнать, когда именно?

— Нельзя!

— Но можно ли надеяться, что дело окончится в пользу майора?

— Надеяться можно. Это законом не воспрещается! — отозвался Скрябин.— Но позвольте узнать, по какому праву вы являетесь вместо самого майора мне докучать вопросами?

— Он хворает, ваше высокородие! Он — мой больной приятель, и я вызвался ходатайствовать за него. Дело это правое, и поэтому...

— Правое оно или неправое — это судить нам, а не ему и не вам. А я так полагаю, что дело совершенно неправое. Ваш майор просто ябедник.

— Помилуйте! — отозвался Телятев печально.

— Нельзя мне вас и миловать! Говорю — ябедник! И дело, конечно, проиграет. Таких людей полезно даже поучить!

— Ну а позвольте узнать, ваше высокородие, нет ли возможности какой направить оное дело к благополучному разрешению? Я человек со средствами и сирота. Хотелось бы мне очень одолжить единственного приятеля. Я ему вчера предлагал в третий раз, а сегодня вам доложу. Я готов пять тысяч рублей с удовольствием пожертвовать на это дело, чтобы его разъяснить.

Скрябин пристально поглядел в лицо посетителя ястребиными глазами и как-то мигнул, а потом прибавил:

— Вон как! Что же... разъяснить все можно. Ведь и мы не святые угодники. И мы можем ошибаться. Конечно, обсудив дело зрело, можно... Как бы выразиться?.. Можно найти законные статьи, кои гласят противоположительно другим...

И он замолчал, как бы не зная, что еще сказать.

— Дозвольте, ваше высокородие,— заискивающе заговорил Телятев,— мне, маленькому человеку, обратиться к вам с всенижайшей просьбой. Направьте меня и посоветуйте какого-нибудь ходатая взять, чтобы вручить ему сии пять тысяч, дабы он занялся старательно и толково делом друга моего майора.

— Можно. Хорошо,— протянул Скрябин и быстро прибавил: — А как, скажите, вы прозываетесь? Мне солдат чудно вас как-то назвал: Макар Гонялыч...

— Эка дурень он. Макар Гонялыч, да еще Телятев. Гаврилыч я. А то будто выходит пословица: куда Макар телят не гонял!

— Правда. Правда,— рассмеялся Скрябин и, подумав, заявил: — Что же? Можно! Это можно. Насчет то есть стряпчего. У нас есть такие ходатаи. Ануфриев, к примеру.

— Так соизвольте, ваше высокородие, как бы так сказать, препоручить ему оное дело и передать ему уплату вперед. А сии самые деньги я вот с собой взял.

И Телятев достал из кармана довольно объемистую пачку ассигнаций, перевязанных тесемочкой, и положил на стол.

— Нет, это что же? — отозвался Скрябин, жадно косясь на деньги.— Ведь это и после можно. Зачем же вперед?

— Нет, уж будьте благодетелем, сделайте такое одолжение. Господом прошу. Вступитесь за правое дело Вызовите сего ходатая и от себя вручите ему.

И, поднявшись со стула, Телятев вышел из комнаты, пятясь ради вежливости и низко кланяясь.

— Ах, разбойник! Душегуб! — ворчал он без конца, сидя уже в дрожках, и, наконец, крикнул кучеру: — Нет, на сегодня будет с меня. Обозлили! Пошел домой.

Через минут десять он был на Лубянке и въезжал во двор большого барского дома. Швейцар, завидя дрожки, выбежал на подъезд. Ливрея его, вся в позументах, и золотая булава ярко сверкнули на солнце.

— Был кто? — спросил он, вылезая из дрожек.

— Были-с. Граф Разумовский.

— Фельдмаршал?

— Никак нет-с. Граф гетман. И приказали доложить. завтра, мол, буду хуже татарина к обеденному столу...

— Что-о?! Хуже татарина? К столу?

— Три раза изволили повторить. И приказали мне: точно-де доложи ты эдак, не переври, мол...

— Понял! Понял... Ну, скажи дворецкому сейчас послать гонца верхового к гетману и передать: «Завтра, мол, не могу принять, обедаю сам у канцлера Михаила Ларивоныча, у Воронцова, а послезавтра прошу пожаловать и, стало быть, уже не татарином. Не переврешь?

— Никак нет-с,— бойко и весело ответил швейцар.— Я тоже надумал. теперича, какой такой татарин...

По лицу, говору и ухваткам крепостного холопа ясно видно было, что барина любит и не боится.

XII

Если Кузьмич исчезал из дому и хлопотал, то виновником было все-таки его дите ненаглядное. Посторонний человек, обсудив отношения старика дядьки и юного офицера, однако, взял бы сторону последнего.

Сашок не мог ступить ни шагу, чтобы Кузьмич не явился со своим советом или порицанием.

Каждый вечер, оглядывая кошелек питомца, Кузьмич расспрашивал, куда Сашок истратил деньги. Когда молодой человек приезжал откуда-нибудь с обеда или вечера, Кузьмич

настоятельно и будто с тайной целью допрашивал его, кого он видел, с кем познакомился, о чем говорил.

Но главное, чем досаждал и изводил старик питомца, была одна и та же, почти ежедневно десять раз повторяемая фраза:

— Уберегайся женского пола!

Кузьмич действительно боялся как огня, что какая-нибудь лихая баба вскружит голову его дитю и погубит.

И разумеется, старик только и думал об одном: как бы поскорей женить Сашка. Когда была жива старуха Осоргина, он считал, что это не его дело. Теперь же, когда Сашок остался сиротой на его попечении, он считал своим святым долгом не только подумать об этом серьезно, но и приступить поскорей к делу.

Кузьмичу казалось, что теперь-то именно, когда они поселились в Москве, и можно всего лучше женить питомца. Невест в дворянских семьях Москвы было много. Старик решил, что нужно, не откладывая дела в долгий ящик, тотчас приняться разыскивать невесту. Не искать богатой приданницы или дочери важного вельможи, а найти добропорядочную девицу, хотя бы и с маленьким приданым, но, главное, добрую и благонравную.

Разумеется, одновременно Кузьмич постоянно повторял питомцу:

— Пора тебе бракосочетаться! Жениться. Пора.

И так как эти слова повторялись постоянно, то они уже начали тоже сердить Сашка, и он начал отвечать, что никакой охоты жениться у него нет.

— Ну, ладно! — отвечал Кузьмич, махая рукой.— Это мое дело. Найду невесту, так придет у тебя охота.

Несколько времени тому назад, увидя однажды своего питомца на церковном дворе гуляющим одновременно с пономарихой, очень красивой женщиной, Кузьмич ахнул, даже смутился, как если бы узнал и увидел что-либо чрезвычайное. На его немедленный совет — не зариться на всякую «ракалию» в юбке — Сашок отвечал резко. Произошло опять сражение, и жаркое.

Молодой человек сильно рассердился, как бывало с ним редко, и прямо заявил, что пономариха вовсе не ракалия, а красавица и скромница редкая, какая всякому может и должна нравиться.

И он был прав. Грубое определение Кузьмича совсем не шло к молодой пономарихе, жившей на церковном дворе. Она была столь же красива, сколь скромна и робка. Молодой офицер и князь, недавно поселившийся около них, ей страшно нравился. Муж ее, уже очень пожилой, был не ревнив — потому что был совсем «лядащий». А между тем, она чем более думала о князе, тем более робела...

Последствием объяснения офицера и дядьки было, однако, только то, что дядька начал еще более думать о женитьбе питомца.

Дело тут, конечно, не в пономарихе, рассудил он, но просто: пора ему, пора!

И Кузьмич вскоре окончательно убедился, что в Москве ему гораздо легче, чем в Петербурге, женить своего забуянившего молодца, который стал брыкаться.

«Здесь, в Москве, самое место бракосочетанья, настоящее, потому что питерцы обасурманились и все творят на *заморский лад*,— рассуждал старик, повторяя слова покойной Осоргиной.— А в Москве без нашего брата ни одному браку не быть. Без нас, слуг господских, не обойдется»

И старый дядька был прав. Ни одного сватовства, ни единой свадьбы не было в Москве, чтобы крепостные холопы господ дворян не вмешались в дело, устраивая или расстраивая планы своих господ. Разумеется, подобное случалось в тех семьях дворянских, которые жили на дедов и прадедов лад, а не по-новому и которые, приискивая жениха или невесту, искали не денег и сановитости, а озабочивались только будущим счастьем *своих детей*.

Прежде чем решить первостатейный вопрос всей будущей жизни сына или дочери, всякие родители тайком наводили справки, производили целый «сыск», чтобы верно узнать, что за человек навернувшийся жених, что за девица намеченная невеста.

Лучше и ближе всех да отчасти беспристрастно могли знать и сказать холопы.

У *добрых, справедливых* и человеколюбивых господ дети женились и выходили замуж скорее и легче.

— Наш барчонок золотой. Поведения, что тебе монах. К родителям почтительный, к холопам ласковый,— говорила дворня.

— Наш барчук — злыдень... Всех нас поедом ест. Отца с матерью в грош не ставит. Юбочник, каких не сыщешь Ни горничным, ни сенным проходу от него нет.

— Наша барышня — ангел. Прямо святая девица. Рукодельница. Ничего худого на теле нету, и вся-то раскрасавица. Здоровищем — *пышка медовая*.

— Наша барышня сущая ведьма. Девок булавками в кровь истыкала. На боку у нее во пятнище, черное, в том роде, как мышь с хвостом. А здоровье? Заживо тронулось и разваливается.

И вот эти заявленья крепостных рабов и всевозможные сведения, собранные с заднего крыльца, решали судьбу молодых господ.

Много девиц-дворянок оставалось в старых девках только потому, что гневно и прихотливо расправлялись собственноручно со своими горничными.

Разумеется, среди этих рабов проявлялись иногда и мстители, злыдни и клеветники. Господа это знали. Но тем не менее обычай крепко держался. Без взаимного, якобы тайного, опроса холопов никто не хотел обойтись.

Заведя много знакомых и пошатавшись, Кузьмич многое подробно сообразил и на все лады взвесил.

— Уж если я моего князиньку в Москве не женю, то где же тогда! — решил он.

Без малого с месяц назад старик, без цели болтаясь по улицам своего квартала ради новых знакомых, пока его питомец был на службе у генерала Трубецкого, случайно зашел в церковь к вечерне

В церкви было мало народу В числе прочих Кузьмич увидел молодую девицу и пожилую женщину Конечно, старик тотчас определил и не ошибся, что это нянюшка со своей питомицей, дворянской девицей. Обе сразу чрезвычайно понравились Кузьмичу.

Женщина молилась без перерыва и все клала земные поклоны. Девушка, очень юная и миловидная, держала себя очень скромно, тоже крестилась не переставая, но казалась тоскливой.

Но не столько еще понравилась Кузьмичу эта девица, сколько ее богомольная добродушная нянька. При выходе из храма старик заговорил с женщиной и, перемолвившись, узнал, что барышня по имени Татьяна, а по фамилии Квощинская, а родители ее живут поблизости в своем доме. А няньку зовут Марфой Фоминишной. Бывают же они у всех служб в своем приходе. И не далее как через три дня Кузьмич хитро затащил к обедне в эту церковь своего питомца и указал ему на молодую девушку, будто и сам видя ее в первый раз. Молодые люди за всю обедню украдкой переглядывались, но затем, по выходе из храма, Сашок на вопрос дядьки ответил:

— Она-то? Да что же? Ничего Мало ль эдаких

XIII

В приходе Спаса-на-Песках в переулке стояли в глубине двора просторный одноэтажный дом с мезонином, а правее от него небольшой флигель. Свежевыкрашенный в темно-серый цвет дом и флигель блестели на солнце, сильный запах краски достигал даже до улицы. Впрочем, не было улицы или переулка, где не было бы того же. Вся Москва

чистилась, мылась, красилась и украшалась на все лады ко дню торжества въезда новой государыни.

В доме этом родовом, уже перевидавшем в своих стенах три поколения, жила семья дворян Квощинских, состоящая из двух пожилых лиц — отца и матери, двух юных, их сына и дочери, и, наконец, брата хозяина, пожилого холостяка. Петр Максимыч Квощинский, отставной поручик, уже давным-давно жил безвыездно в Москве, если не считать поездки и отлучки в маленькое подмосковное имение около Звенигорода, где собирался он быть предводителем дворянства. Все состояние Квощинских заключалось в этом доме и в этом имении душ с сотню.

Квощинские были исконные москвичи, дворяне средней руки по положению общественному и по состоянию. Отличительная черта семьи заключалась в том, что кто с ними знакомился и видел их в первый раз в жизни, старался вспомнить, не знавал ли он их прежде или не напоминают ли они чересчур какую-либо семью, уже знакомую давно.

Происходило это потому, что Квощинские были такой семьей, каких было в Москве до полусотни. Все, что было в них самих, что было у них и кругом них, было будто не свое, а заимствованное, скопированное с других.

Как дома их были окрашены в серую краску, так же точно все было того же цвета.. И они сами, и все, что они делали и говорили, и все, что их окружало...

Но семья, конечно, никому не подражала. Она жила так, как следует жить дворянам, рассуждала, действовала, веровала, радовалась и горевала на свой лад и вместе с тем на тот же самый лад, как и все остальные дворянские семьи Москвы. А все, не только сами отцы семейств, все их чада и домочадцы походили на таковых же соседних. Даже их няньки и мамушки, их кормилицы, сенные и горничные девушки, их дворецкие, дядьки, кучера и форейторы тоже походили на форейторов, дворецких, мамушек соседней дворянской семьи. Все обедали или ложились спать в одно и то же время, у всех были одинаковые ливрейные лакеи, громоздкие рыдваны и сытые цуги смирных коней; все ели после обеда те же сласти или печенье и смоквы и затем ложились не спать, а отдыхать, но засыпали; все так же прислушивались к пересудам, сплетням, так же постились, так же молились перед киотами и божницами, так же боялись дурного глаза, так же болели на масленице от мясопуста и блинов, а на Святой от разговения после семинедельного воздержания; все так же хвастались дядюшкой, тетушкой, двоюродным братцем, которые в Питере важные птицы; все так же женились, рожали и, народив, женили и

выдавали замуж. Жизнь шла одинаково изо дня в день, мирно, тихо и благодушно, пока не случался в столице большущий пожар, не умер князь Иван Иваныч, который «вчера ведь еще жив был», пока не грянул слух, что опять война с немцем или с турком, а Петя, Вася, Миша должны идти воевать и быть подстреленными.

Вместе с тем нравственный облик семьи Квощинских, которая являлась отражением всех дворян-москвичей, внушал неотразимо, непреоборимо уважение и любовь.

Сам Петр Максимович был человек ограниченный, едва грамотный, но честнейший и добрейший. Его честность, то есть чистота понятий и убеждений, его доброта, то есть сердечность и справедливость по отношению к крепостным (во дни существования Салтычихи) делали его украшением своей среды.

Анна Ивановна, боготворившая мужа через тридцать лет супружества так же пылко, как и в первый год, была, конечно, невольно его отголоском во всем и подражательницей.

Сын Паша, добрый, тихий, ласковый, был любим всеми, а дочь Таня даже обожаема. Врагов у семьи не было и не могло быть. Петр Максимович за всю свою жизнь никого не обидел, а если прямо высказывал худым людям правду-матку, то умел это делать так мягко, сердечно, будто соболезнуя этому их худу, что и эти люди не озлоблялись, не становились его тайными врагами. Жена и дети подражали отцу в правиле: «Добрых людей уважай и им подражать старайся, худых людей не озлобляй и сторонись от них!»

Это было заповедью Петра Максимовича. Но, помимо всего этого, Квощинский иногда удивлял друзей и знакомых некоторыми своими мнениями, которых у других дворян не было, и иногда совсем необыкновенными, не худыми, а странными.

Так, он высказывал мнение, что люди все, без различия состояния, созданы по образу и подобию Божию. Что барин, что холоп — равно все человеки. А потому человек человеку принадлежать, как бы какое движимое имущество, как диван или карета, не должен. Это не Божеский закон, а измышленный. А потому и не вечный. «Не убий» — Божеский закон. «Повинуйся родителям и установленным властям» — тоже Божеский и вечный закон. Было так всегда и будет так всегда. А вот продавать и покупать живых людей и считать их своей собственностью, как бы коров или лошадей... Это всегда было... Ну, а впредь не будет! Крепостные люди, хамы и холопы или рабы в грядущих временах исчезнут. Люди людям принадлежать не должны и потому

принадлежать не будут Когда? Бог весть! Может, и через тысячу лет.

И многие друзья-дворяне на такие речи Квощинского только головами качали.

XIV

Исчезавший загадочно из дому старик дядька молодого князя бывал именно в доме Квощинских у друга, Марфы Фоминишны. Причина его посещений была в семье не тайной. Няня и дядька «стакнулись» в сугубо важном деле. В тот самый день, когда Сашок принял и выгнал от себя Вавилона Ассирьевича Покуду, дядька снова отпросился в гости к другу

Восемнадцатилетняя Таня, простодушно веселая, но скучающая, была у окошка и первая увидала Кузьмича, идущего через двор. Девушка вскочила и бросилась бегом по всем комнатам и коридору. Влетев к нянюшке, она закричала, поднимая руки над головой... Если бы не ее сияющее лицо, то старуха обомлела бы от страха и поверила в пожар.

— Фоминишна, родимая!

— Ну?!— все-таки оторопела няня.

— Кузьмич... Сама видела... Идет...

— Ах, отчаянная. Даже напужала.

— Кузьмич! Кузьмич!

— Слышу... слышу... Так уходи, егоза... Вишь ведь... Наш пострел везде поспел. Уходи скорее.

— Он еще во дворе... Только вот что, няня. Ты не притворяй дверь совсем. Я одним глазком погляжу и послушаю...

— Что ты! Что ты! С ума сошла,— испугалась Фоминишна.— Вот выдумает. И думать не моги этак безобразничать. Заметит он — что подумает?

— Няня... милая... Одним...

— Ни за какие ковриги.

— Одним глазком...

— Уходи! — сказала Фоминишна сердитым шепотом — Слышишь, Дашутка бежит с докладом. Увидит тебя да твое розовое личико — догадается... Иди, отчаянная...

И, выпроводив питомицу, старуха вышла в коридор. Девчонка лет четырнадцати уже подбежала к ее дверям и тихо вымолвила:

— Марфа Фоминишна, к вам Иван Кузьмич княжеский. Спрашивает, можно ль...

— Зови, зови. Очень рада, скажи,— усилила голос няня, завидя гостя в конце коридора и зная, что он услышит

Между тем Таня уже влетела к матери в спальню и вскрикнула:

— Матушка! Кузьмич к ней пришел..

— Ну так что же? Нешто можно так скакать девице из-за пустяков,— строго выговорила Анна Ивановна.— Ступай к себе, стрекоза.

И едва дочь вышла и поднялась по лестнице к себе в мезонин, Квощинская, прислушавшись, тотчас же вышла и быстро направилась на половину мужа.

— Петр Максимович,— выговорила она, слегка задохнувшись от ходьбы..

— Что?! — несколько опешил Квощинский, заметив в лице жены что-то особенное...

— Кузьмич у Фоминишны,— шепотом и многозначительно выговорила женщина.

«Кузьмич у Фоминишны», сношения их няни с дядькой князя имели, конечно, огромное значение в семье за последнее время.

Квощинский бывал часто задумчив и озабочен: «Выйдет ли что? Или ничего не выйдет?»

Анна Ивановна, объявив важную новость, села в кресло. Наступило молчание, так как Петр Максимович насупился и ничего не ответил, только бросил на стол книгу, которую читал.

Затем он встал и начал ходить по кабинету.

— Дай Бог,— вымолвил он наконец тихо.— Да. Все во власти Божией.. Всякий наш шаг...

— Иногда и обстоятельства непредвиденные и случайные.— робко вставила Анна Ивановна.

— Вздор. Полно, матушка... Обстоятельства?! А кто их позволяет? Случай? А кто случай посылает? Провидение! А что такое Провидение?.. Кто?

И снова наступило молчание.

— Да. Дай Бог. Молодой князь прямо изрядный человек. Его все, кого ни спроси, хвалят. Добрый, скромный, поведения истинно дворянского, благоприличного, ни карт, ни вина, ни подолов бабьих не знает. Живет, прямо сказать, как девица-невеста. Да. Этакого бы супруга нашей Танюше... Я бы просто... Да что говорить... Прямо обещание даю. В Киев пешком пойду. Да и немудрено дать, правда, такое обещание, потому что брат Павел со мной пойдет.

— А я? И я пойду.

— Ну, вот... Вместе все трое.

— Только одно вот обидно. У него немного достоянья...— вздохнула Квощинская.

— А богач да козырник,— строго спросил муж,— хорошо? Ныне прокозырял пять тысяч, завтра десять... Или бабий махальник... Что ни увидел юбку — и махнул за ней.

И супруги снова замолчали.

— Вот кабы дяденька его был другой человек!.. Ино дело! Дал бы племяннику из своих доходов хоть четверть...— заговорила, снова вздыхая, Анна Ивановна.

— Если бы не мороз, овес до неба дорос. Спасибо и за то, что навертывается жених — прекрасный человек...

— Да... Вдруг будет Татьяна Петровна княгиня Козельская, урожденная Квощинская,— тихо проговорила Анна Ивановна, улыбаясь.

— Это пустое... Для счастия не нужно...

— Ну, все ж таки...

— Пустое. Титулы и деньги — пустяковое дело. Чистая душа — вот основание для счастия. Да авось... Авось. Я мало видел этого Кузьмича, а верю, что он человек рассудительный и зря болтать и действовать не станет. А от него много зависит. И мы с тобой не сами поженились. Кабы не вмешалась старуха Агафья, твоей матушки ключница,— ничего бы, пожалуй, не было.

— Еще бы не Агафья. Я хорошо помню, а вы забыли. Вам прочили княжну Яновскую... А Агаша наша все перевернула. И лицо-то изнанкой вышло.

Между тем нянюшка, приняв дорогого гостя, княжего дядьку, приказала подать самовар.

Кузьмич, поздоровавшись, тотчас справился о здоровье господ, потом понюхал табаку из тавлинки и выговорил:

— Ну, а ты сама, сударыня моя, Марфа Фоминишна... Сама как?

— Прихварываю... Да что Бога гневить... Мне и не надо здоровья... Мне и помирать пора,— заявила нянюшка.— Вот только бы увидели мои глаза мою Танюшу при благополучии и счастии брачном... Тогда мне и жить больше не надо.

— Как можно?.. У выходенного дитя свои детки пойдут, за коими приглядеть тоже пожелается.

— Оно конечно. Что говорить. Захочется.

— То-то. То-то... Я тоже вот скажу. Женится на ком мой князинька. Я тоже махоньких князьков пожелаю на руках подержать...

Наступило молчание.

— Да,— вздохнул вдруг Кузьмич,— надо мне ему постараться найти женушку в Москве... Вот хоть бы, говорю, вроде бы твоей барышни. Прямо говорю...

— И я сказываю то же, Иван Кузьмич...— ответила Марфа Фоминишна — Коли твой, говоришь, князь — доброта самая, то уж наша-то Татьяна Петровна — сущий херувим. Этакой доброты не бывало да и не будет. Опроси всю Москву..

— Знаю, знаю... Опрашивал, золотая моя. Все хвалят до небес.

— И из себя красавица и крепыш девица... Одно вот. Не богачка. Но все ж таки после кончины родителей вот эфтот дом ейный будет. А дома в Москве все дорожают.

— Ну, это что! — отмахнулся Кузьмич.— Деньги — дело наживное. У князя свое достояньице есть. А помри, прости Господи, его чудодей-дяденька без какого срамного завещания, то все ему пойдет. А у князя-то Александра Лексеича страшнеющее состояние... Да. Так вот оно что!.. Вот и давай-ка, Марфа Фоминишна, мыслями раскидывать...

— Я всею моею душой, Иван Кузьмич...— воскликнула няня.— Я и господам моим однажды уже закидывала про все это, будто ненароком. Ну и они, конечно, про князя одно хорошее слыхали, тоже расположение в себе к нему чувствуют. Только опять, понятное дело, наказали мне строго-настрого никому об этом не разбалтывать да и девочку нашу разговором, ей непригодным, не смущать. Пока что она не должна, по девичеству своему, ничего знать о наших с тобой размышлениях.

— Еще бы? Зачем. Не ее это дело.

Более часа просидел дядька у няни, и друзья без перерыва говорили, но нового больше ничего не сказали.

Всякий раз повторялось то же теми же словами.

Нянюшка ни словом ни разу не обмолвилась Кузьмичу о волнениях господ и о своих беседах про жениха с питомицей. Старик же уверял, что его князиньке шибко приглянулась девица...

XV

Кузьмич явился домой с необычно сияющим лицом, радостно-важный, почти торжественный и собирался на этот раз уж прямо заговорить о своем посещении Квощинских. Но Сашок не дал ему рта разинуть и заявил о госте, который только что уехал, наговорив невероятных вещей.

Объяснив все, что произошло, Сашок прибавил:

— Умалишенный или мошенник. Как посудишь ты?

Дядька был озадачен новостью не менее своего питомца, так как не понимал смысла и цели такого посещения, да еще человека со странным именем.

— Как? Как вы сказываете? — спросил старик.

— Вавилон Ассирьевич Покуда...

— Паскуда! Не вернее ли?

— Вот и я то же сказал. Даже хотел и обозвать его эдак,— рассердившись, воскликнул Сашок.

— Чудно́. Очень чудно́. Понять невозможно,— заявил Кузьмич, поразмыслив.— Ну, прийти с предложеньем ябедничать — еще куда ни шло... Для них, приказных, судейское

крючкотворство, что корм для скотины. Тоже жить хотят А вот идти с советом смертоубийствовать, опаивать... И вдобавок идти эдак-то к кому еще? К вам, князю и офицеру... Это уж совсем удивительно...

— Вот и я так-то рассуждаю, Кузьмич. Просто неслыханное дело. Я офицер гвардии...

— Обида! Обида! Ох, обида!

— Что?

— Обида, что меня не было,— воскликнул старик, сжимая кулаки.— Я б его принял... Я бы его во как оттрезвонил. Он бы у меня кубарем выкатился из дому. А вы нюни распустили. Эх ты, Лексаша мой, Лексаша. Все будешь век свой младенчиком.

— Нет, Кузьмич, я его шибко изругал и выгнал.

— Никогда. Хвастаешь.

— Ей-Богу, Кузьмич. Ей-Богу. Так и крикнул на него. Подите вон...

— Побить надо было... В оба кулака принять. Отзвонить так, чтобы оглох на всю жизнь, чтобы...

Но Сашок не дал дядьке договорить и воскликнул:

— Стой, и забыл. Вот его бумага... Я читал, но не понял ни бельмеса. Всего четыре строки.

— Письмо? Кому же?

— Он оставил мне и тебе. Он сказал: если там вы не поймете, Кузьмичу прочтите. Он умный и поймет. Стало быть, он тебя знает. Ну вот, слушай. Я как есть ничего не понял, а ты, может, и поймешь что. Слушай.

И Сашок начал читать с расстановкой:

— Любрабезканый пледамянбраник. Прибраезкажай кода мнебра набра покаклон. Твойда робрадной дябрадяка. Ну вот и все,— прибавил Сашок.

— Тьфу! — азартно плюнул Кузьмич.— Чистый дьявол, прости Господи.— Заставив Сашка еще три раза перечесть написанное, он задумался.

— Баловство! — решил, наконец, старик — Мало ли какой народ шатается по свету Есть и умалишенные. А то просто лясники.

— Как то есть? — не понял Сашок.

— Такие люди. Шатаются, мотаются зря и лясы точат Совсем стало понятно.

— Да что такое?

— Лясы-то? Да так, стало быть, сказывается. Лясы-балясы. А они-то сами лясники-балясники. Мотаются по свету и врут что попало, чего и на уме нет. Язык-то у них сам по себе вертится. Дай ему прочесть это, он и сам не поймет ни одного слова.

Сашок, глядя в лицо Кузьмича и ожидая удовлетворительного объяснения, не согласился с мнением старика дядьки. Он приписывал этой чепухе какой-то смысл, и ему показалось, что Кузьмич кривит душой. Старик ничего не понял, так же, как и он сам, Сашок, но не желает в этом сознаться и сам тоже что-то неясное выдумывает вместо дельного объяснения.

— Ну да плевать нам на дурака,— заявил Кузьмич.— Ведь больше не посмеет явиться. Плевать. Вы вот послушайте, что я выкладывать буду. Мое-то все полюбопытнее и поважнее.

— А что же?

— Где я был сейчас? Догадайся вот. Ахнешь, родимый. Был я у господ Квощинских. Вот что!

Сашок был удивлен, но ловко скрыл это.

— Ну...— несколько равнодушно и, конечно, умышленно равнодушно отозвался он.

— Что «ну»? — как бы обидчиво вымолвил Кузьмич.

— Сказывай. С какой радости? Зачем был?

— Сказывай? Коли тебе, князь, ваше сиятельство, нелюбопытно, так не стоит мне и слова тратить...

И Кузьмич двинулся, как бы собираясь уходить из комнаты.

— Да ну, ну... Полно. Сейчас, старый ты хрыч, и обиделся. Что же мне, на крышу бежать, влезать да с нее во двор прыгать... Ну, был у Квощинских. Ну, видел их. Ну и рассказывай, зачем туда носило тебя.

— Коли вам все это нелюбопытно...

— Заладил ведь... Ну говори, слушаю...— мягче и ласковее произнес молодой человек.— Коли есть что любопытное, тем лучше.

— Вестимо, есть! И даже совсем диковина. Вы вот здесь у окошечка сидите день-деньской да зеваете с тоски... А Квощинская барышня ума решилась. По вас тоскует и убивается. Похудела, побелела... Хоть помирать.

— Да что же это такое? — изумился молодой человек.

— Как что же? Шибко полюбились вы ей. Позарез! Вот и все.

— Удивительно это, Кузьмич.

— Почему же?

— Как почему? Сам посуди. Виделись мы единожды в церкви, а потом повстречал я ее раз под Новинском на гулянье. Да и не знаю еще верно, она ли то была. И не знакомы. И никогда не разговаривали. Она в церкви меня и не заметила, по-моему. Я только на нее малость поглядывал. И вот вдруг она да тоскует по мне. Впрямь диковина!

— Ах ты, ваше сиятельство...— замотал головой Кузьмич и, достав тавлинку, отчаянно нюхнул два раза.— Прямо сказать — простота.

— Да как же тосковать по том, кого не знаешь! — воскликнул Сашок.

— Ты не знаешь, а она, стало быть, хорошо знает. Много ли нужно для девицы, чтобы офицер, да еще князь, да еще такой, как ты у меня, сразу девичье сердечко защемил. Ну вот, барышня видела вас два раза и память потеряла... Без памяти от тебя. Вот тебе и весь сказ!

— Диковинно,— протянул Сашок тихо, как бы сам себе.

— Ничего диковинного нету. Ну а по-вашему как? Дурновата она, худорожа, сухопара?

— Нет. Как можно...

— Красавица, прямо сказать, видная.

— Да. Пожалуй... Красавица не красавица, а только видная...

— Белая, румяная. Глаза звездами. А уж нравом прямо ангел-херувим. Нянюшка Марфа Фоминишна говорит, что таких девиц, как ее Танюша, не бывало на свете и не будет.

— Да ведь это, Кузьмич, все мамки про своих так сказывают,— заметил Сашок.

— Так. По-твоему, лжет она, стало быть?

— Нет. Я не то...

— Так я, стало, лгу и морочу тебя?

— Да нет. Зачем. Я только говорю, что все мамки про своих...

— Ну, что же вам со лгунами и обманщиками якшаться...— рассердился вдруг дядька.— Идите ищите людей праведных, а нас, криводушных, оставьте досыта врать да на ветер брехать.

— Ах ты, Господи... Вот царевна-недотрога! — воскликнул Сашок.— Слова ему не скажи. Могу же я рассуждать о делах.

— Я для вас стараюсь,— воскликнул старик,— из любви моей и преданности. Недаром я тебя выходил. Недаром и на руках носил. Недаром глаза на тебя проглядел. Могу я, стало быть, знать, где твое счастье и в чем тебе в жизни благополучие... Я, вишь, стар да глуп. Все путаю, а то и вру... Снесла курочка яичко, а оно ей и сказывает: «Не так ты, курица глупая, яйца несешь».

И Кузьмич быстро вышел из комнаты.

XVI

На другой день Сашок собрался на дежурство. Поступив адъютантом к генерал-аншефу князю Трубецкому, он сначала бывал на службе ежедневно с девяти утра и до трех часов, когда в доме князя подавали кушать, но вскоре на-

чальник, которому адъютант был совершенно ни на что не нужен, позволил молодому человеку являться только три раза в неделю, да и то не ранее полудня, так как князь Егор Иванович, играя в карты за полночь, вставал поздно.

Занятия или дела служебного у Сашка не было, собственно, никакого. Он, являясь, садился на стул в большом зале и сидел сложа руки... Изредка, когда приезжал к Трубецкому кто-либо не по знакомству, а по делам службы, Сашок докладывал посетителя и провожал через гостиные в кабинет князя.

Но вместе с тем у адъютанта бывало иногда много дела совершенно иного. Он исполнял поручения княгини Серафимы Григорьевны, и самые разнообразные. Иногда эти поручения были таковы, что Сашок хмурился и негодовал. Ему казалось, что для дворянина-офицера они были неподходящи, роняли его достоинство. К тому же и Кузьмич, вечно противоречащий ему, был в данном случае согласен с ним, что княгиня не соблюдает благоприличия, будто забывает, что адъютант — не служитель, не скороход и не «побегушка». А между тем офицер и князь Козельский, будучи адъютантом князя, был положительно скороходом у княгини. Он разъезжал по всей Москве. И по знакомым княгини, и в Гостиный двор, и в магазины, развозя и привозя всякую всячину. Ездить верхом по столице в мундире с картонками или узелками казалось Сашку совсем унизительным... А делать было нечего. Противоречить княгине Серафиме Григорьевне прямо было опасно. Ослушаться ее — значило немедленно потерять место, которое позволяло ему жить в Москве.

Молодой человек утешался тем, что сам князь Трубецкой боялся жены как огня и тоже, случалось, в полной форме, на коне заезжал по ее приказу в Охотный ряд или на Козье болото и, правя лошадью левой рукой, в правой вез домой кулечек, где дрыгал живой судак или лещ.

Иногда княгиня давала мужу совсем диковинные поручения. Когда она отправлялась куда-либо в гости, то бывала одета лучше и богаче всех. Поэтому если ее приятельницы почти все шили платья дома, имея своих крепостных портних, то княгиня давала шить своим швеям только простое платье. Выездные туалеты, не только «панье» или «роброны», или шарфы и мантильи, но и всякая мелочь выездного костюма покупались и шились на Кузнецком мосту, где не было ни единого русского купца и не было лавок. Были только магазины, а держали их почти только одни французы, за исключением двух-трех голландцев, торговавших бельем и золотыми вещами. Москвичи уже часто шутили, что

надо называть центр модников не Кузнецким, а «Французским» мостом.

Княгиня, не любя выезжать из дому, проводя день в капоте, в хожденье по дому, посылала и адъютанта, и мужа.

Однажды, пользуясь тем, что князь был одного с ней роста, княгиня послала его к портнихе примерить новую юбку, чтобы не «обузила дурофья-француженка».

И князь Егор Иваныч съездил, примерил и донес супруге, что приказал убавить юбку на вершок.

— Только, дорогая моя...— заявил он.— Стыда набрался. Эти вертушки парижские просмеяли меня.

Теперь, когда вся Москва была переполнена именитыми людьми, явился двор и все важнейшие сановники империи с семьями, Сашок еще более боялся вдруг осрамиться из-за княгини.

— Она ведь, того гляди, пошлет меня во всем параде на Москву-реку с бочкой! — говорил он Кузьмичу.

На этот раз, когда Сашок явился в дом князя, он нашел княгиню, мягко шагающую в зале, в капоте, простоволосую и в одних чулках.

Едва только завидя адъютанта мужа, княгиня выговорила тихо, а тем не менее грозно:

— Пожалуй! Пожалуй-ка сюда, воробей.

Сашок подошел и поклонился почтительно.

— Где князь Егор Иваныч?

— Не могу знать-с.

— Так я тебе, воробью, скажу. Князь в Петровском. Поехал представиться царице... А ты с ним?

Сашок молчал, не понимая.

— Твоя какая должность, воробей? А? Состоять при князе А ты что? Голубей гоняешь у себя на дому.

— У меня, княгиня, нет голубей!

— Нет? Ну так ворон считаешь. Э-эх, моя бы воля. Я бы тебя по энтому месту поучила.

И княгиня оглядела офицера, как бы ища на нем «энто место».

— Поди. Сядь. Приедет вот князь, промоет тебя с песком.

Сашок отошел в угол зала, но из вежливости не сел.

Княгиня Серафима Григорьевна снова начала ходить взад и вперед по большому залу, угрюмая, заложив руки за спину и шагая мерно, твердой поступью, в которой сказывалось что-то особенное, внушавшее кому почтение, а кому боязнь.

Этот шаг, короткий, мерный и крепкий, будто говорил всякому, что тот, кто эдак двигает ногами, знает, что делает, чего хочет, знает, где раки зимуют, учиться ни у кого не пойдет, ума-разума занимать не станет, сам всякого поучит, да еще так поучит, что не скоро забудешь.

Руки, заложенные за спину по-мужски, придавали всей фигуре маленькой и плотной женщины вид еще более решительный... Черные, с сильной сединой волосы, зачесанные, зализанные, с маленьким пучком на затылке, туго свернутым, выглядели так, будто женщина острижена под гребенку.

Большие светлые серые глаза глядели сурово, не сморгнув... Когда княгиня смотрела не только на живых людей, но хотя бы на голую стену, то в глазах этих читалось:

— Ты что! Смотри! Я тебе!

И даже стена, наверное, тоже чувствовала себя неловко.

Княгиня была теперь особенно сурова, потому что волновалась. Князь Егор Иванович уже часа два как уехал в полной парадной форме, во всех своих регалиях и, конечно, в великолепном новом рыдване в три пары коней, цугом. Уехал он в Петровское. Да не просто! Представиться государыне!..

Княгине Серафиме Григорьевне уже десять лет хотелось, чтобы муж, давно сановник крупный, получил должность по чину, а не сидел бы в Москве наседкой без почета..

«А это по всему следует! Уж если не князья Трубецкие будут первыми людьми в России, то кто же тогда?. Новые графы, что ли? И какие? Да. Какие?! Иисусе, Сыне Божий! Графы Разумовские, Бестужевы, Шуваловы... А теперь будут и Орловы!.. Завтра пойдут графы Сидоровы, графы или князья Федюхины, или там еще какие... Уж тогда просто бы дать указ всем дворянам величаться князьями и графами... Орловы — и вдруг графы?.. Орловы? Графы? Как-то вместе не вяжется. Чудно, смехотворно сказать: граф Орлов. Положительно, им самим стыдно будет, когда их начнут так величать».

И о многом подобном мысленно рассуждала княгиня, шагая по залу и мягко ступая ногами без башмаков.

В последнем княгиня подражала многим барыням, которые, как и она, страдали мозолями и предпочитали быть в чулках, так как совсем на босу ногу дворянке быть не подобало.

Прошло с полчаса... Сашок стоял все в углу зала, а княгиня продолжала маршировать мерными шагами, глядя в пол.

В отворенное окно вдруг донеслось нараспев:

— Груши-яблоки хорррроши! Яблочки крымские! Груши рязанские!

Княгиня остановилась и выговорила:

— Кликни! Ты! Тютант..

Адъютант перевесился за окно и крикнул

— Гей! Ты! Гей, яблоки!

Но разносчик, снова громогласно запевший свое, не расслышал и быстро удалился.

— Не слышит,— заявил Сашок.

— Так пошел, догони, ротозей! — воскликнула княгиня.— А еще тютант! Ах, ты...

Сашок сбежал по парадной лестнице и послал швейцара догнать и вернуть разносчика.

Затем он доложил о нем княгине.

— Вели Анфисе два десятка груш купить... Принеси сюда.

Когда Сашок, исполнив поручение, явился снова с грушами на подносе, княгиня взяла одну, закусила, выплюнула на пол и выговорила:

— Ах, мошенники! Ах, идолы!

Однако, начав снова маршировать по залу, она доела грушу и взяла другую, потом третью.

— Ты, воробей! Сбегай узнай: какое время.

Это поручение адъютант исполнял почти каждый раз, как являлся на службу. Часов в доме князя Трубецкого не было, так как он считал, что часы приносят несчастие. Княгиня в этом мужу не перечила, находя, что все приметы российские — самые мудрые.

Обыкновенно Сашок доходил до угла улицы, в дом сенатора Евреинова, и справлялся.

На этот раз, вернувшись, он заявил, что у сенатора столовые часы перестали ходить со вчерашнего дня.

— Ах, идолы! — проворчала княгиня и прибавила: — По солнцу?..

— По солнцу, Серафима Григорьевна, опасаюсь ошибиться,— ответил Сашок.— Я на это не мастер. Кажись, что второй час.

— А на какое ты дело мастер? А? — спросила княгиня.

— Не могу знать.

— На баклуши. Понял? Нет, не понял?

— Никак нет-с.

— Баклуши бить мастер ты! И уши развешивать тоже. Нюни пускать — тоже тебя взять.

XVII

Наконец у подъезда дома загромыхала и остановилась карета.

Сашок, высунувшись в окно, узнал экипаж своего начальника и тотчас побежал вниз.

Князь уже вышел из кареты и вошел в переднюю.

Сашок стал извиняться, говоря, что князь ничего ему не сказал накануне и он не мог знать, что должен сопутствовать ему в Петровское.

— Княгиня моя тебе это пояснила? — спросил князь.

— Точно так-с.

— Ну, пора привыкать. Коли я тебе ничего не сказал, стало быть, и не хотел тебя брать.

Князь Трубецкой был очень маленький и худенький старик, с крючковатым носом, с ястребиными, но вблизи добрыми, крупными, постоянно улыбающимися глазами. Не знавшие его близко считали его человеком сухим, даже злым; но знавшие близко знали, что он добрейшей души человек, которому природа по ошибке дала злые глаза. Все знали тоже, что если случалось князю сделать что-либо неприятное, то это было по приказанию его супруги, которой он ослушаться не мог, ибо боялся до смерти. Да и боялся-то он жены из-за доброты своей. Он не любил и избегал в людях гнева и старался всячески себя оградить и никого не сердить, а тем паче жену...

Княгиня встретила мужа наверху парадной лестницы, стоя в той же своей всегдашней позе, с закинутой головой, где торчал пучок волос на самой маковке, и с руками, скрещенными за спиной.

— Ну? Что? — выговорила она.

— Ничего.

— Приняла?

— Да.

— Расспрашивала?

— Нет...

— Как нет?

Князь вошел на верхнюю ступень и на площадку и потянулся к жене поцеловаться, что он делал всегда, возвращаясь домой, хотя бы после совсем краткого отсутствия.

— Погоди лизаться...— уткнулась княгиня рукой в его грудь.— Говори. О себе не говорил, стало быть?..

— Нет.

— Преотменно!!

— Нельзя было. Приняла меня государыня с тремя другими. Тут же был и Бецкой, который, к слову сказать, опять пошутил: «Ты — Трубецкой, а я — только без «тру» Бецкой; а все-таки есть Трубецкие, которые бы пожелали быть на месте без «тру» Бецкого...» А знаешь, матушка, новость?! Он всем коронованием будет управлять, потому что...

— Да ты о себе говори!.. О себе!.. Что мне твои Бецкие и всякие иные, некровные, сбоку прижитые... Он...

И княгиня выразилась очень резким словом.

— А вот пойдем к тебе, все расскажу,— ответил князь добродушно. Затем, обернувшись к своему адъютанту, князь прибавил: — Сбегай, голубчик... Ничего нету! Попроси хоть на два понюха.

Князь показал пустую табакерку.

— Слушаю-с! — воскликнул Сашок и пустился вниз по лестнице.

Он сразу понял, в чем заключалось поручение, потому что князь по крайней мере раза два в неделю посылал его к своей свояченице Настасье Григорьевне Маловой за нюхательным табаком.

Сестра княгини, красавица вдовушка, нюхала табак, и не столько из-за необходимости и привычки, сколько из-за модничанья и того, что все нюхали... Но дело в том, что Малова умела приготовлять из разных смесей такой табак, какого в продаже не было и от которого все нюхатели приходили в восторг. Уверяли даже, что сам фельдмаршал Разумовский говорил:

— Маловский табак? Ну табак! В жар и холод бросает. Нюхнешь — и душа с Богом забеседует.

Сашок добежал за два дома от подъезда, приказал доложить Маловой, зачем он явился, и тотчас был принят. Он вошел в гостиную и почтительно заявил, что князь только что вернулся из Петровского от государыни, а табаку ни порошинки в табакерке.

Молодой человек всегда старался быть особенно почтительным с Маловой, так как родная сестра княгини могла повлиять на жену его начальника и замолвить за него словечко.

С хозяйкой сидели два господина. Один пожилой, другой молодой красивый хват в артиллерийском мундире.

Настасья Григорьевна, как всегда бывало, странно поглядела на Сашка, как будто чему-то смеялись ее глаза, и подала ему голландскую тавлинку с табаком.

— Всегда-то вы за табаком,— сказала она сладко.— Возьмете и уйдете. А нет чтобы меня навестить и посидеть.

Сашок не нашелся, что ответить, глупо улыбнулся и, поклонясь, вышел.

«Чудно она на меня всегда глядит,— подумал он.— А надо сказать правду. Красива. Даже не хуже моей Катерины Ивановны. Та пономариха все-таки. А это сестра родная княгине».

Вслед за ним в переднюю вышел и пожилой человек, суровый, угрюмый, смерил его с головы до пят и, пройдя мимо, сел в свой экипаж. Сашок уже не раз видал этого гостя Маловой, но не интересовался узнать, кто он такой.

«Чего это он сегодня, будто съесть меня хотел»,— подумалось Сашку, и он на этот раз спросил у лакея, кто этот гость его барыни.

— Павел Максимович, барин Квощинский.

— Квощинский? Вот как? Не ожидал! — удивился Сашок и прибавил: — Сердитый, видно.

— Никак нет-с,— глупо ухмыльнулся лакей.— А они с капитаном сейчас повздорили. С Кострицким.

Молодому человеку было, конечно, это известие нелюбопытно, и он побежал обратно, бережно держа в руках тавлинку.

Когда Сашок вернулся в дом и стал подходить к кабинету князя, то через растворенные двери услыхал, что между супругами «баталия».

— Коли она сказала эдак-то,— кричала княгиня,— сказала сама тебе, что хорошо бы, мол. поступили, если бы спознакомились, то и ступай.

— Сама. Да все-таки...

— Ничего! Ступай. И сейчас ступай! — вскрикнула княгиня.

— Матушка, рассуди, что я...— громче, но мягко возражал князь.

— Нечего рассуждать. Ступай.

— Мне семьдесят лет, а им всем братьям...

— Хоть сто семьдесят будь. Собирайся. . Орловы стали теперь поважнее Разумовских самих.

— Но, матушка Серафима Гри...

— Собирайся. Бери этого щенка Козельского и але-марше[1].

— Нельзя, матушка... Хоть предупредить прежде,— уступчиво заговорил князь.— Спросить их, когда. Приеду, не застану дома, и опять ступай. Что же, я у них на побегушках эдак буду стоять?

— Ну, это пожалуй. Ладно. Тогда посылай сейчас к Орловым этого щенка спросить и эдакое что-нибудь вежливое сказать. Авось не переврет олух царя небесного.

А Сашок, слушая у дверей, проговорил себе:

— Это все я. И щенок, и олух...

Князь вышел наконец и, увидя адъютанта, воскликнул с упреком:

— Что же ты стоишь? А я жду и помираю. Нос онемел, не чую его... Подавай скорее.

И, выхватив из рук Сашка тавлинку, князь взял огромную щепоть табаку и наполнил, почти закупорил, обе ноздри, а затем потянул в себя.

— Ах, благодать. Прямо-таки благодать,— сладко произнес он.— Вот ведь Настасья Григорьевна, дама, прости Господи, какая уж не прыткая, а табак готовит — прямо царям или королям нюхать.

И, во второй раз начинив нос, князь заговорил деловито:

— Ты у меня умница... Слушай в оба и исполни хорошенько... чтобы не было ни сучка ни задоринки. Ступай сейчас к господам Орловым. Знаешь, где изволят жить?

[1] Ступай *(фр.)*.

— Как не знать-с. На Никитской, у Вознесения.

— Ну вот, ступай и вели доложить Ивану ли, Григорью ли, Алексею ли, Феодору ли Григорьевичам. Это все одно. Доложить, что, мол, генерал-аншеф князь Егор Иванович Трубецкой имеет честь кланяться и просить сказать, когда он может приехать познакомиться.

Сашок, как ни был наивен, но глядел выпуча глаза.

— Что, родимый? Дивишься, что старик генерал-аншеф, да еще Трубецкой, поедет эдак к капитанам-молокососам? Что делать? Времена переменчивы.

Сашок действительно был удивлен, что старик, заслуженный генерал и одно из первых лиц дворянской Москвы, первым едет к дворянам Орловым. Да еще посылает узнать, когда ему быть. Молодой человек, как и все в Москве, слыхал о внезапном возвышении простых офицеров, но заявление Трубецкого все-таки смутило его.

Кроме того, Сашок смутился и струсил за себя самого.

«Каково ехать к этим Орловым? Они похуже самой княгини отбреют. Примут гордо, высокомерно, обойдутся как с лакеем». Но рассуждать было нельзя, и Сашок, выйдя, сел на лошадь и, смущенный, шагом пустил коня.

«Там у них вся Москва, сказывает Тит, толчется от зари до зари. А у меня какая же светскость... Никакой. Как много народу, так сейчас у меня душа в пятках. Ну вот, холопа и изображу. Да Орловы своего пару еще поддадут».

XVIII

За эти дни, что императрица в ожидании официального и торжественного въезда в самый город жила в Петровском, братья Орловы не по дням, а по часам вырастали во мнении москвичей, становились все важнее и именитее. И действительно, не было ни единого человека, не только простого дворянина, но и вельможи обеих столиц, который бы не ехал на Никитскую рекомендоваться и знакомиться.

Но удивлению всех не было границ.

— Вот люди! Диковинные люди! — говорили все, побывав у господ Орловых.

Старший из братьев — Иван Григорьевич, коренной москвич, был всегда человеком добродушным и любезным, но как «маленькому» человеку, небогатому дворянину, ему так и следовало поступать. Однако теперь он стал еще ласковее ко всем.

Братья, петербуржцы, прежний простой цалмейстер, а ныне генерал-адъютант императрицы Григорий Орлов, третий Алексей и четвертый Феодор — оба преображенцы, на-

конец, пятый брат, еще молоденький кадет, обращались еще диковиннее со всеми, прямо заискивали, не только ухаживали. Дело становилось загадкой.

Зато когда братья оставались одни, то в беседе с глазу на глаз объясняли эту загадку.

— Мы и так по природе не гордецы,— говорил Алексей Орлов,— и нужно думать, ни при каких обстоятельствах и впредь гордецами не сделаемся. А теперь надо поласковее поглаживать матушку Москву. Надо всячески ее ублажать, чтобы она под нашу музыку согласно запела, когда придет время.

И иногда, обращаясь к брату Григорию, он прибавлял:

— Ну а как, Гриша, скоро ли время-то это придет?

Адъютант императрицы всегда отвечал весело одними и теми же словами:

— Жду у моря погоды! Будем надеяться, что скоро. А ты, Алехан, свое дело делай насчет этих разных Хрущевых да Гурьевых.

— Об этом не тревожься, взялся я за дело, доведу до конца. Все эти крикуны и разное пустомельство, у них происходящее,— все чепуха. Уж во всяком случае не какие-нибудь офицерики могут быть помехой в эдаком важном деле.

Действительно, у Григория Орлова, который с июньских дней и переворота стал ближайшим лицом к государыне, было дело, имевшее для него огромное значение. Но дело это было все-таки затеей честолюбца. А затея была такого рода, что ее следовало держать под спудом, всячески ограждать от огласки. Если бы про такую затею несвоевременно распустить слух по Москве, то не нашлось бы ни единого человека, сановника ли, дворянина, купца или простого мещанина, который бы не ахнул.

Затея Григория Орлова была делом почти неслыханным и невиданным на Руси, но именно «почти»

Если подобное уже было недавно, и если оно было тайной для всей России, то большинству дворян обеих столиц оно было известно. Однако известно не как доказанный, очевидный факт, а как нечто предполагаемое.

Если бы известного рода слухи за последние десять лет не ходили в обеих столицах, то, разумеется, и Григорий Орлов никогда не решился бы на свою теперешнюю затею.

Слух или догадка заключались в том, что императрица Елизавета Петровна была тайно обвенчана с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским. Покойная императрица и сам фельдмаршал не отрицали ничего и только отмалчивались. Доказательств существования тайного брака не было.

Императорская золотая корона, вместо креста красовавшаяся на храме Рождества, на Покровке, близ самого дворца

Разумовского, давно удивляла москвичей и заставляла раздумывать, соображать и верить слуху, что в этой именно церкви, увенчанной императорской короной, произошло тайное венчание императрицы с ее любимцем.

И любимец новой императрицы, главный деятель в перевороте в ее пользу, не удовольствовался тем, что сделался генерал-адъютантом. Как всякий честолюбец, которому во всем сказочная удача, он захотел большего, высшего, высочайшего, захотел всего возможного на свете и почти невозможного.

И вскоре же после восшествия на престол он стал убеждать императрицу последовать примеру своей тетки и выйти за него замуж, но уже не соблюдая тайны, как сделала Елизавета Петровна. Государыня долго противоречила любимцу, но здесь, в Москве, вдруг согласилась, и только не желала спешить и во всяком случае не думать об этом до коронации.

После обещания императрицы Григорий Орлов и его братья, разумеется, перестали тщательно скрывать свое счастье от близких людей и сообщили все своим друзьям. Но у этих друзей были свои друзья. И теперь многие москвичи передавали, как величайшую тайну, что граф Григорий Григорьевич должен сделаться супругом императрицы. Этот слух, пробежавший теперь, взволновал московское дворянство, а равно и петербургских именитых гостей. Все отступило пред ними на задний план. Сначала в городе только говорили о будущих коронационных милостях и наградах, и более всего толков было, конечно, о том, что московские дворяне Орловы станут графами Российской империи. Но вдруг пробежал слух, уподобившийся грому небесному. И если это неправда, клевета на царицу, то она, конечно, умышленно пущена врагами нового правительства и «фрондерами», как называли их. Молва прибавляла, что граф Григорий станет еще выше братьев и получит титул князя Римской империи или герцога, и уже после этого возвышения должен совершиться не тайный, а явный брак монархини с ее генерал-адъютантом. Подспудный слух разделил Москву на два лагеря. Некоторые люди, здравомыслящие, не верили, но большинство начинало вполне верить в возможность подобного поступка новой императрицы. Тем более что сами графы Орловы не отрицали, а отшучивались.

Близкие ко двору люди, как Панин, Воронцов, княгиня Дашкова, Бецкой и другие, не допускали мысли, чтобы царица, только что вступившая на престол вследствие переворота и чуждая России как немецкая принцесса, решилась сейчас же сделать такой неуместный и опасный для себя шаг. Позднее? Может быть...

«Все ее права на русский престол,— смело заявлял решительный Никита Иванович Панин, воспитатель цесаревича,— освящены не одним восшествием, а сугубо теми обстоятельствами, что она родная мать моего питомца и истинного законного наследника российского престола. Она чужая нам, да Павел Петрович не чужой, ибо родной правнук Великого Петра. Выйдя замуж за простого русского дворянина, она как бы отдалит от себя своего единственного сына. А он — живая связь между ней и русским престолом, на который она временно вступила».

И слово «временно», хотя тихо и осторожно, все-таки злостно произносилось в среде «фрондеров». Когда, однако, вступит на престол Павел Петрович — при совершеннолетии, то есть лет через десять, или только после смерти матери? Это было и оставалось, разумеется, вопросом. А вопрос этот был темный, неразрешенный и во всяком случае крайне щекотливый и обоюдоострый.

Так или иначе, но подспудный, ошеломляющий слух поднял теперь Орловых на высочайшую ступень общественного положения.

И к таким-то важным людям приходилось отправляться с поручением молодому офицеру, князю Козельскому. Понятно, что Сашок, слыша давно имя Орловых, произносимое подобострастно, то с каким-то страхом, то как-то таинственно, теперь окончательно струхнул.

«Ехать, представляться и объясняться именно с ними,— думалось Сашку.— Для того лезть, чтобы тебя обидели гордецы; кажется, лучше бы на войну с немцами пошел. Там убьют. Но двум смертям не бывать».

И каким образом, именно «как» произошел визит?.. Неизвестно. Как молодой человек въехал во двор, где была масса экипажей, как вошел он в дом и в толпу гостей, важных и сановитых, как объяснил он свое дело Ивану Григорьевичу, как подошли к нему двое других Орловых, оба преображенцы, как затем попал он нежданно в маленькую горницу и сидел с глазу на глаз с самим генерал-адъютантом, как этот значительный человек угощал его кофеем, финиками, какой-то турецкой сладкой жижицей, а сам повторял, что рад чести познакомиться с князем Александром Никитичем Козельским, как потом этот генерал-адъютант, все смеясь и смеясь, его обнял и расцеловал и как, наконец, Сашок, ошалелый, угорелый, весь в поту от волненья, не просто вышел, а, вернее, выкатился из дому и очутился на подъезде, на воздухе... Неизвестно!..

Сашок ровнехонько ничего не помнил, не понимал и не сознавал. В голове был чад, в глазах звезды, а кругом всеобщий дьявольский танец. Прямо наваждение...

Танцевали люди, дома, кареты, лошади, и, наконец, и солнце на небе вдруг взяло да и подпрыгнуло.

Однако судьба все-таки не сжалилась над бедным малым, который достаточно угорел от визита, от толпы гостей, а главное — от особой невероятной любезности самого царицына адъютанта, ласкового, милого, сердечного, душевного человека. Вернее сказать,— просто колдуна-очарователя...

Едва Сашок отдышался на подъезде, пришел совсем в себя и только радовался тому, как Орловы, важнейшие люди, его, простого офицера, приняли, вдруг свершилось на его глазах нечто, громом грянувшее и хватившее по нем... Он едва устоял на ногах, а рот разинул и глаза вытаращил так, что, казалось, и губам, и векам больно стало.

Мимо него вышел из швейцарской на подъезд, уезжая от Орловых, сановник, которому подали великолепную карету с дивным цугом коней. Сановник, подсаженный двумя своими лакеями, сел в карету и, заметив Сашка, вдруг расхохотался и крикнул:

— А? Какс Никитич! И вы здесь. Мое почтение, плебрамянканидачекбра!

Цуг красиво, будто змеей, завернул по двору, экипаж с ливрейными лакеями на запятках отъехал, а Сашок опять стоял угорелый.

— Господин Покуда!! У Орловых? В карете? В мундире?

Между тем съезжавший со двора Орловых вельможа, господин Покуда, и господин Макар Гонялыч Телятев, и господин иных и многих имен и фамилий, часто меняемых, любивший говорить на модном языке «абракадабрском», долго смеялся, вспоминая пораженное изумлением лицо юного офицера.

— Не понял, сердечный, моего писанья,— сказал он вслух.— Надо будет отрядить к нему Романа Романовича...

XIX

Дядя Сашка, князь Александр Алексеевич Козельский, заслуживший прозвище «чудодея», был пятидесятивосьмилетний вдовец, богач и добряк. Чудеса, которыми он славился в обеих столицах и подмосковных губерниях, были результатом того, что он был добрый, умный и скучающий человек, да кроме того, бесспорно даровитый. Он не был из числа тех чудаков, которые выдумывают всякие штуки только для того, чтобы заставить о себе ахать и трубить. Его штуки делали часто чудеса — несчастных счастливыми. Разные фантазии и прихоти Козельского приводились им в

исполнение только ради того, чтобы развлечься — убить время. Но убить его так, чтобы горемычным была польза. Вредного, злого или безобразного он, собственно, никогда ничего не сделал. Некоторым знакомым, в особенности прихлебателям и блюдолизам, правда, иногда приходилось от него плохо. Но страдало в них не тело, не душа, а лишь мелочное самолюбие.

Сам князь сознавал, что у него нет ни цели, ни смысла в жизни и нет ни единого близкого человека, которого бы он мог искренно любить и от которого мог бы ожидать того же. Он видел, что все кругом него, и женщины, и мужчины, только льстят ему, ухаживают за ним из-за личных вожделений, а за глаза, конечно, поносят или поднимают на смех.

Скука, одолевавшая князя, заставляла его менять местопребывание. Он сам шутил над собой по этому поводу и любил напевать малороссийскую песенку: «Мне моркотно молоденьке, нигде места не найденько».

В молодости князь имел такие же маленькие средства, как и отец Сашка, но, будучи двадцати пяти лет от роду, он познакомился в Петербурге с банкиром Кордаро, у которого была единственная дочь, уже вдова, лет за сорок

Кордаро появился в Петербурге, вызванный герцогом Бироном, и, поселившись на берегах Невы, пользовался таким большим покровительством всемогущего временщика, что часто к нему обращались по самым серьезным делам, конечно, с ходатайствами. И банкир много делал добра, так как был одним из главных заступников перед грозным герцогом.

Какой национальности был старик банкир, было положительно неизвестно. Одни считали его итальянцем, другие — греком, третьи — поляком, наконец, многие подозревали в нем просто еврея. По религии он был лютеранином Было известно, что у банкира очень большие средства, что в его кассе черпает огромные суммы сам герцог, иначе говоря, правительство, но в точности никто не знал, какое состояние у сомнительного по происхождению иностранца

Молодой князь Козельский, красивый, элегантный, веселый и остроумный, затейник на все руки, чтобы забавлять дам и девиц, нравящийся постоянно женщинам, разумеется, понравился и пожилой вдове. К чести князя Александра Алексеевича, он, начав часто бывать у Кордаро, бывал там без всякой задней мысли Его привлекали вкусные обеды, ужины и веселые вечера в очень богатом доме Наконец, он знал, что Кордаро — любимец всемогущего герцога А это действовало против воли на всякого, даже не нуждающегося в протекции. За вдовой, которая звалась на польский лад

Эльжбеттой Яковлевной, князь, собственно, не стал ухаживать, был с ней столько же любезен, сколько со всеми другими. И он сам первый был крайне озадачен, даже изумлен, когда заметил, что вдова относится к нему как-то особенно. Нежно и сдержанно вместе, как бы боясь, что ее чувство вызовет со стороны князя только лишь презрение и насмешку.

Эльжбетта Яковлевна, характерного южного типа, была, собственно, ни хороша собой, ни дурна, но для своих лет неплохо сохранилась. Ей можно было легко дать и тридцать пять лет. Единственное, что ее несколько портило и отчасти старило, была полнота при маленьком росте. Познакомившись с ней, Козельский тотчас назвал ее «бочкой», но затем нашел в ней много достоинств, которые вместе делали женщину приятной и симпатичной.

Прошла зима. Князь бывал у Кордаро все больше, все чаще и стал совершенно своим человеком. И старик-банкир Яков Вольфгангович, как его звали по русскому обычаю, а равно и его дочь уже относились к нему как бы к родному. Но двадцатипятилетний молодой человек все-таки не понимал, чем, собственно, он заслужил такую любовь старика и вдовы, потому, собственно, что ему и на ум не приходило то, что было у них давно на уме.

Дочь вскоре после знакомства с князем уже откровенно созналась отцу, что князь ей нравится. Отец давно уговаривал дочь выйти замуж вторично, но она всегда отказывалась. Она была настолько несчастлива со своим покойным мужем — человеком крутым и грубым, что почти дала себе слово не пробовать снова семейной жизни.

Пробыв вдовой более десяти лет, Эльжбетта Яковлевна ни в Германии, ни в Польше, где она жила с отцом, ни в России, куда они явились по приглашению Бирона, не находила ни одного человека, за которого бы решилась выйти вторично замуж. Когда она призналась отцу, что князь Козельский ей нравится, Яков Вольфгангович пришел в восторг.

Многие его прежние мечты стали действительностью. И прежде, до приезда в Россию, и теперь при покровительстве Бирона. Но одна мечта все оставалась неосуществленной: вторичное замужество дочери. И эта незадача вдобавок происходила от нее самой, так как претендентов на ее руку, несмотря на ее годы, было немало: и немцев, и поляков, и русских. Поэтому заявление дочери привело старика в полный восторг. Ему ни на минуту не пришло в голову, что чувство дочери к молодому русскому князю, на двадцать лет моложе ее, не имеет, собственно, никакого решающего значения.

Сама Эльжбетта Яковлевна должна была тотчас же прибавить и объяснить отцу, что ему нечего заранее радоваться

и даже восторгаться. Быть может, единственный человек, которого она избрала, за которого тотчас пошла бы замуж, никогда и не согласится на ней жениться. Старик, умный, дальновидный, тонкий, знающий людей, поразмыслив, тоже смутился и приуныл.

Зная молодого князя Козельского, он мог встревожиться. Князь мало походил на такого молодого человека, который из-за денег способен на все и даже продавать себя.

Однако умный и осторожный Кордаро, по уму и характеру скорее дипломат, нежели финансист, решил тотчас, что нужно во что бы то ни стало достигнуть цели. Он не мог себе представить, чтобы единственный человек, который понравился дочери и который нравится и ему, оказался именно таким, которого ни за что в зятья не приобретешь.

— Надо упорствовать и добиваться!— сказал он дочери.— Я на все пойду!

И после долгих размышлений Кордаро остановился на одном... В его голове созрел такой план, что если бы он его поверил дочери, то привел бы ее в ужас. В уме покровительствуемого всемогущим Бироном человека мелькнула мысль, что именно герцог может помочь в таком важном деле, но, конечно, помочь лишь в случае упорства князя Козельского. Герцог вызовет его к себе и посоветует ему жениться на дочери Кордаро, а если этого окажется недостаточно, то прикажет князю жениться. Если же, наконец, молодой человек осмелится не исполнить приказания первого сановника Русской империи, то тогда у временщика окажется много средств заставить его повиноваться.

И Яков Кордаро, размышляя, говорил про себя, усмехаясь:

«Да если какому ни на есть упрямому молодому человеку предложить Эльжбетту Яковлевну или Шлиссельбургскую крепость, или ту, или другую, на всю жизнь, то, пожалуй, не найдется ни одного человека, который бы стал долго размышлять и колебаться...»

Но, разумеется, старик ни слова не сказал дочери о своем плане. Дело до этого и не дошло.

Кордаро прежде всего объяснился с князем. Умно, красноречиво, добродушно передал он ему, что его дочь любит его, но между ними, конечно, очень велика разница в возрасте. Однако для здравомыслящего молодого человека это не может быть помехой для брака. И наконец, Кордаро прибавил, что у его дочери будет чистоганом около полумиллиона русских рублей, а он сам перед бракосочетанием подарит князю столько, сколько тот пожелает. Сто, полтораста, двести тысяч. И с тою целью, чтобы он, став мужем Эльжбетты, имел свое собственное состояние и не зависел от жены в мелочах.

— На женины средства жить стыдно,— сказал старик,— и мне хочется, чтобы вы, идя в церковь, были тоже богатым человеком.

Кордаро знал, что делал.

Последняя подробность подействовала на князя. В первую минуту, когда банкир с ним заговорил, он внутренне удивился дерзости старика, удивился тоже, каким образом сорокалетняя вдова вообразила себе, что он, двадцатипятилетний человек, способен продаться. Но после часу беседы со стариком князь Александр Алексеевич уже чувствовал в себе возможность примириться со всем тем, что ему сначала показалось совсем немыслимым.

Брак состоялся. Княгиня Эльжбетта Яковлевна Козельская не только любила, но обожала своего молодого супруга. Понемногу и сам князь Александр Алексеевич привязался к жене. Иначе и быть не могло. Женщина была так нежна с ним, предупреждала его малейшее желание и, как говорится на Руси, на него молилась.

Вдобавок одно обстоятельство, которого князь боялся, оказалось его напрасным измышлением. Он думал, что дочь банкира неведомого происхождения не сумеет поставить себя в петербургском обществе на известную ногу, не сумеет заставить себя уважать. Он не хотел жить в Петербурге на тот лад, на который жил банкир.

Дом Кордаро был, собственно, каким-то трактиром, или, как называли, «гербергом», и в этом герберге была главная управительница, к которой все относились любезно, но както свысока, называя ее лишь в глаза Эльжбеттой Яковлевной, а за глаза всегда коротко «Эльжбетка» с прибавкой «толсторожая».

Князь ошибся. Дом, в котором хозяйкой была княгиня Елизавета, а уже не Эльжбетта Яковлевна, стал одним из первых домов в Петербурге. Сама женщина как-то вдруг переменилась и без всяких усилий, без всяких прорух стала важной петербургской барыней. И Козельский оказался счастливым и довольным человеком.

Так прошло почти десять лет

Однажды всемогущий герцог, грубо арестованный солдатами, как простой мещанин, оказался в ссылке. Падение регента отозвалось на его любимце-банкире, и Бирон еще не успел выехать в Березов, как Яков Кордаро был этой опалой регента разорен в пух и прах. Немедленно кинулся он молить правительницу Анну Леопольдовну... И самый в эти дни всесильный сановник принял к сердцу его положение и обещал наверное помочь и спасти если не все деньги иностранца-банкира, то хоть половину. Но вскоре же после

того этот могущественный сановник сам отправился в ссылку. Это был граф Миних. И состояние банкира рухнуло...

Разорение так повлияло на старика, что он заболел. Когда вступившая на престол императрица Елизавета Петровна передала обещание банкиру сделать для него все возможное, старик неожиданно скончался скоропостижно от удара.

Через год после его смерти дочери его, княгине Козельской, казна уплатила сто пятьдесят тысяч рублей, что было смехотворной каплей сравнительно с теми суммами, которые бесследно и бездоказательно погибли при падении Бирона.

Разумеется, если бы когда-то старик не отделил дела дочери от своих, то и князь с княгиней оказались бы разоренными. Затем, года через два после смерти отца совершенно неожиданно княгиня Эльжбетта Яковлевна умерла точно так же, как и ее отец,— вдруг, в одночасье, тоже от удара.

У иностранцев Кордаро не оказалось никакой родни, но все, что было у жены, получил князь. Явились, правда, впоследствии какие-то сомнительные дальние родственники ее, родом из Силезии, которые хотели оспаривать наследство, но в эти дни у князя Козельского был уже друг, могущественный человек — Шувалов, и, конечно, претендентов на состояние покойной княгини Козельской попросили подобру-поздорову покинуть пределы Российского государства.

Князь, женившийся неожиданно, чуть не против воли на женщине, много его старше, искренно жалел жену и довольно долго — года два или три...

Но затем он сознался себе самому, что ему удивительная удача. Нужно же было встретить пожилую вдову и жениться затем, чтобы, прожив с ней менее десяти лет, овдоветь и получить снова свободу, но уже при огромном состоянии. И вдовец покинул Петербург и начал странствовать сначала по России, а затем и за границей.

XX

Князь, вдруг решив покинуть Петербург, где жил на широкую ногу, с обедами и вечерами, на которых бывал весь родовитый и знатный люд столицы, не только не порвал связей, но тщательно поддерживал их за время своих скитаний. Приехав в Москву на коронацию, князь тотчас же решил устроить «пир горой» в своем доме. В переполненной теперь Москве у него сразу нашлось много старых знакомых и приятелей. Разница была та — к удовольствию князя — что многие из близких лиц, бывшие тогда на верном пути к почестям, теперь достигли тех степеней и тех ступеней

иерархической лестницы, о которых, быть может, и не мечтали. Таковы были Панины, оба брата. Другие были тогда только молодыми дворянами с честолюбием, а теперь стали уже сановниками... Таковы были Теплов, Измайлов, Елагин, Бецкой. Зато третьи, бывшие в зените общественного положения, теперь спустились, если не в смысле знаменитости и блеска положения, то в смысле силы и власти. Таковы были братья графы Разумовские и Шуваловы.

Некоторые могущественные вельможи того времени побывали уже в опале и даже в ссылке, но теперь снова вернулись, призванные «на совет» хитроумной, дальновидной и даже отчасти лукавой монархиней. Таков был бывший канцлер граф Бестужев-Рюмин, фельдмаршал Миних, князь Шаховской и другие.

Были и новые сильные люди, которых князь Козельский знавал еще детьми. Такова была княгиня Дашкова, урожденная графиня Воронцова.

За последнее время уже в Москве, и даже за последние дни, князь Александр Алексеевич завел много новых знакомых. Одни сами приехали к нему на поклон, к другим он поехал. Таковы были и братья Орловы, о которых он, конечно, никогда за всю жизнь даже не слыхал и которые теперь сразу поднялись на высшие ступени иерархии и чуть не на ступени трона.

Однако прожив довольно долго вдали от двора и высшего общества, князь попал в положение совершенно особенное, о чем, при всем своем уме, он наивно не подозревал. Видя пред собой или кругом себя совершающуюся политическую комедию, он ясно отдавал себе отчет в значении и смысле совершающегося. Но он не мог уже знать ничего о том, что творилось за кулисами этого лицедейства.

Когда-то, в начале царствования Елизаветы Петровны, он знал не только обе стороны медали всего, что происходило, но бывал через друзей посвящен в такие тайны, которые становились известны лишь десятку близких к монархине лиц.

В эти дни, явясь в Москву, князь Александр Алексеевич наивно и добродушно думал, что он в том же положении.

Собравшись теперь устроить пир, пригласить к пышному столу и угостить на славу прежних и новых знакомых и приятелей, князь убедился, что отстал от «происхождения всех дел» и почти чужд круговороту при дворе и высшем обществе.

Как умный человек, он, однако, уже вскоре начал догадываться, что «времена переменчивы» и что происходит какая-то «неразбериха».

Впрочем, в эти дни, с приезда государыни в Петровское и до коронации, действительно была полная неразбериха.

Наступала буря на житейском придворно-административном море, которая раскачивала, кренила и колыхала государственный корабль, едва слушавшийся кормила и единодержавной руки.

Не было человека, который бы не был смущен, не видел бы надвигающейся бури и не ждал бы грозы от собирающихся туч. И никто не знал, что новичок кормчий ведет корабль не только твердой рукой, не только искусной, но даже опытной, как будто век свой делал это. Этот кормчий вчера был юной германской принцессой крошечного государства, а завтра будет одним из вершителей истории человечества.

Умные, знающие, искушенные в делах государственные мужи ждали на море политики шторма и крушения родного корабля. Кормчий боялся тоже, и верил, и не верил в свои силы и в свое искусство, часто падал духом, но, воспрянув, снова брался за кормило верной и властной рукой и снова правил, направляя все и всех

Через года два... может, и гораздо раньше, решили умные, просвещенные головы,— будет перемена. Снова будет сверженный император Иоанн или же малолетний император Павел с новым регентом, но не немцем, конечно, а русским.

А прозорливец, если б нашелся, мог бы ответить:

— Будет таковое только тогда, когда теперешние младенцы будут пожилыми людьми.

Князь Козельский, собравшись дать пир, позвал много народу, и по-московски: широко, не горделиво, то есть без разбора. Старинный, родовитый, но небогатый дворянин без «знаков отличия» от прочих был приглашен сесть вместе и чуть не рядом с сановником уже нового образца, вновь и надолго народившегося на гнилой почве берегов Невы.

Этот сановник, вчерашний пришелец-чужеземец или свой земец-подьячий, приказный, не мог поступиться своим краденым величием, не мог не брезгливо и не чванно сесть рядом с захудалым Рюриковичем. И нового рода местничество родил Петербург с той поры, что первыми людьми империи являлись безвестные выходцы, и свои, и заморские. Но не они сами, иногда крупные звезды ума и таланта, возродили это новое местничество, а их сателлиты... Помазанники слепой богини Фортуны, Меншиковы и Лефорты, Минихи и Остерманы, конюхи Бироны, лекари Лестоки, чумаки Разумовские были по мере сил своих рачителями пользы и добра. Но их приспешники были только язвой.

Второй ошибкой Козельского оказалось неведение этого нового местничества, не московского, а петербургского, новой борьбы между древней родовитостью и схваченным вчера чином или крестом.

Затем князь не принял во внимание, что между правлениями двух цариц, всесветно знаменитой Елизаветы и еще неведомой, отважной, но, пожалуй, кто знает, возомнившей чересчур о себе Екатерины, было шестимесячное правление такого императора, как Петр Феодорович. Монарх, диковинно быстро и почти мастерски успевший все и всех перепутать. и дела, и людей, и события, и отношения... Монарх, доведший отечество до положения, что «своя своих не познаша». Монарх, заваривший кашу, которую расхлебывать, и захлестнувший узел, который развязывать нужна была длань богатыря, царя-плотника, а не слабая рука молодой женщины.

И это было третьей и главной ошибкой князя Поэтому теперь многое удивило его и заставило задуматься. Так, князь пригласил к себе канцлера графа Михаила Илларионовича Воронцова, старого знакомого, которого он, как и все, уважал за ум, за прямоту, за гордость мыслей и чувств и за полное отсутствие той спеси, которая удел лишь выскочек.

Но прямодушный Воронцов, узнав от князя, что к столу приглашен и явившийся из ссылки граф Бестужев, елизаветинский канцлер, поморщился, говоря:

— Мне-то все равно... Но Алексею Петровичу будет со мной невмоготу. Я его место занимаю. Он ждет не дождется, когда его снова займет Что, по всей вероятности, скоро и случится.

Однако канцлер все-таки обещался быть. Но узнав, что будет за столом и его родная племянница княгиня Дашкова, уже отказался наотрез.

— Мужа ее я уважаю, и пока я канцлер, он будет за Россию стоять в чужих краях. Я его хоть к самому Фридриху не побоюсь послать за Россию постоять. А с этой шумихой и мельницей встречаться не хочу

Сама княгиня обещалась быть у «дяденьки» Козельского, как она в шутку звала князя с детства, но прибавила:

— Не кликай клич к столу-то, дяденька А то ведь придется мне, кавалерственной даме, и со стрекулистами, и с просвирнями у тебя кушать.

Граф Бестужев, узнав, что будет за столом со скороспелым сановником «из истопников» Тепловым, нахмурился:

— Что ж делать, князь. Буду И с Иудой-предателем за стол сяду. Он ведь меня доносом в ссылку-то угнал. На меня и великую княгиню, теперешнюю царицу, подло донес. Но если она, матушка, его терпит, да еще отличает, то и молчи.

Наконец, князь дошел до такой наивности, что, недавно познакомившись с новыми «сильными людьми» Орловыми, и их всех позвал. Братья, народ добродушный, веселый да не без меры «простаки себе на уме», узнав, с кем вместе они будут гостями Козельского, все посмеивались, прибавляя:

— Будем, будем... Эдакой оказии, князь, не пропустим. В другой раз жди еще, когда придется пообедать с Никитой Ехидой или с княгиней Мухой... Токмо вот что. Предупредите и Панина, и Дашкову, что и мы званы. И если они прибудут да мы перецарапаемся, то не взыщите. Никита Иваныч всегда был мастер-шпын, а Муха, кажись, стала ныне от разных обстоятельств — осой.

Из двадцати сенаторов, прибывших в Москву на коронацию, князь пригласил графов Александра Шувалова, Петра Шереметева и Петра Скавронского, князей Шаховского и Волконского, генералов Сумарокова, Брылкина и Суворова. И из них только Шувалов отказался быть, чтобы не встретить Разумовских.

— Это не придворствовать, где всяк на своем месте,— сказал граф,— а гостить и тесниться. Пословица неправду сказывает, что в тесноте люди живут. В ней люди друг дружке на ноги наступают.

Распорядитель всей коронации князь Никита Юрьевич Трубецкой и «приготовитель» короны венчания Бецкой были почетными и редкими гостями, так как за эти дни были страшно заняты и осаждаемы всеми, ехавшими к ним с просьбой не обидеть, не обойти в церемониале ожидаемых великих дней.

Кроме того, в числе гостей был позван московский губернатор Жеребцов, обер-президент магистрата Квашнин-Самарин, гофмейстерина Нарышкина и три фрейлины государыни, графини Гендрикова, Вейделова и Чоглокова.

Так как у бобыля-князя не было жены или сестры, не было даже близкой родственницы, то звание хозяек для приема гостей взяли на себя по его просьбе жена гетмана графиня Разумовская и состоящая при особе государыни графиня Матюшкина.

Никогда, конечно, московский дом князя Александра Алексеевича еще не изображал такого зрелища, какое явлено теперь было обывателям. Двор и соседние улицы наполнились рыдванами, колымагами, каретами и берлинами, все, конечно, цугом чудных коней. Дом был гостями переполнен совершенно. И все сверкало ослепительно... И убранство комнат. И зал с огромным обеденным столом на двести кувертов. И сами гости в мундирах и орденах.

Князь долго стоял на подъезде, встречая гостей, и по всей большой лестнице, парадно устланной персидским ковром, вереницей двигались гости между шпалерами стоящих лакеев, гайдуков, скороходов и казачков, причудливо и почти фантастично разодетых в богатые ливреи и кафтаны.

Большинство гостей держало себя тихо, чопорно и почтительно, так как слишком много было теперь в стенах

этого дома важных лиц. В малой третьей гостиной было не более двадцати человек, так как не всякий решался в нее войти, завидя с порога особ слишком высокого положения и значения. Старик, елизаветинский канцлер, войдя сюда, покосился, поморщился и, подсев к графине Разумовской, своей старой приятельнице, ворчал:

— Долго ж я был, видно, не в милости, когда даже вот эдакие в сановники успели выйти. — И он указал на Бецкого и на Орлова.

Но всеобщее главное внимание обращала здесь на себя княгиня Дашкова. И своей екатерининской лентой через плечо, и своей суровой важностью взгляда и речи Если она была суетливой и докучливой «мухой» в июньские дни, то теперь была именно степенной, но ядовитой «осой» Орловы, давшие ей обе клички, были правы.

— Горделивее самой царицы! — заметил кто-то.

Когда все званые собрались, грянула музыка на хорах зала и гости чинно, парами двинулись за стол. Только в сумерки начался разъезд.

Все толковали весело о трех «смехотворных приключительствах. генерал-адъютант Орлов оставил хозяину на память кучу изорванных в мелкие кусочки ложек и вилок.

Бецкой заявил за столом громко, что корона российская «уподобительна» в его руках: «Что хочу, то с ней и сделаю» И только немногие удивились Было известно, что у этого неглупого человека были странные вспышки самомнения и чванства.

Граф Бестужев, по старой привычке, усугубленной ссылкой, так сильно подвыпил, что не мог встать из-за стола, а был вынесен и донесен в карету

XXI

Сашок целый день в себя не мог прийти от изумления и, подробно рассказав о диве дивном своему дядьке, и старика привел в недоумение.

Встретить такого стрекулиста, как этот Вавилон Ассирьевич Покуда, на парадной лестнице у господ Орловых было, конечно, диво А все лакеи, которые не обратили на него, офицера, никакого внимания и все кланялись Покуде,— второе диво. А карета цугом, с малиновым чехлом на козлах и золотыми гербами, в которую сел Покуда, подсаживаемый своими лакеями,— третье дивное диво. Теперь он вспомнил, что на чехле и на ливреях был его герб! Его — Сашка — герб! Князей Козельских герб!! Звезда, полумесяц и меч. Это —

четвертое уже и наибольшее чудо. Даже не диво, а прямо наваждение, колдовство, волшебство или мошенничество.

Это даже крайне важное дело, которое так оставить нельзя. Помимо Сашка, нет князей Козельских. Один только его старый дядя, которого в Москве теперь нет. Как же смеет хам Покуда этот герб себе заводить? А если не Покуда, то тот, чья карета. Вероятное дело, что карета и лакеи — не Покудины. Его довезли и отвезли опять к тому, кто герб князей Козельских самовольно взял да еще франтит эдак по Москве, когда в белокаменной сама царица, весь Петербург и чуть не все важнейшее дворянство со всей России ради коронования.

Целый день Сашок с Кузьмичом рассуждали: «Как быть?»

На другой день, побывав на службе у Трубецкого, Сашок вернулся домой, обдумав и решив, что делать с Покудой. На его вопрос о дядьке Тит заявил, что старик ушел.

«Опять к Квощинским, наверное,— подумал Сашок.— Может, ради меня и этой хорошенькой Тани. А может быть, и для себя. Эта нянюшка для него, старика, не стара. А лицом чистая, пригожая. Лет сорок ей. Ну, вдруг мой старый Иван Кузьмич сердечко свое защемил».

Сашок засмеялся этой мысли, но тотчас прибавил, ворча вслух:

— Да... Меня вот охраняет от погубления, а сам небось.. Знай только злится на Катерину Ивановну, что она гуляет близко от окошек.

И Сашок, войдя к себе в квартиру, невольно задумался об этой красивой женщине, которая так странно взглядывала всегда на него всякий раз, что он ее встречал в садике на церковном дворе, и всякий раз, что она проходила мимо его окон.

И сколько раз он выходил и тоже гулял. И сколько раз они эдак встречались, и он мысленно горел от желания и нетерпенья разговориться с ней... И не мог... И сколько раз он даже почти молился, восклицая мысленно: «Господи! Кабы она сама заговорила! Господи. Подай».

Но красавица только взглядывала на него и молча проходила. И взглядывала с каждым разом все как-то чуднее, удивительнее... Ее красивые глаза будто говорили...

А говорили они такое:

«Ты милый, хороший... Ты мне люб... Чего же ты молчишь? Когда же ты заговоришь?»

Все это Сашок отлично читал в глазах женщины и всегда мысленно отвечал:

«Отчего ты сама не заговариваешь... Я сейчас отвечу...»

И теперь он иногда начинал мечтать, сидя дома: «Вот она идет и вдруг упала... «Ах!» Я бегу, подбегаю и говорю: «Вы ушиблись?» А она: «Нет! Ничего...» Вот бы и заговорили!»

Затем он мечтал: «Кричат, бегают... Сумятица!.. Пожар! Горим! Где пожар? У князя?.. Нет, у пономаря Ефимонова пожар... Катерина Ивановна не выскочила. В огне. Помогите. Я кидаюсь в двери... Нет, уж лучше я в окно влез. Схватил ее на руки и несу... А она меня обхватила и говорит: «Спасибо. Я бы без вас сгорела!»

И Сашок, вдруг очнувшись от дум и мечтаний, вскакивал со стула и со злостью восклицал:

— Тьфу! Дурак! Малолеток! Нюня! Зачем тебе, дураку, пожар, когда она и без пожара к тебе льнет... Нюня, как говорит княгиня. Правда это истинная.

На этот раз Сашок тоже замечтался, но его вдруг разбудил голос:

— Князинька! Лександр Микитич! А, князинька?

Пред ним стоял и приставал Тит.

— Чего тебе...

— Князинька! Мне от Катерины Ивановны отбою нет. Вот сейчас опять была. Я обтирал коня, а она в конюшню заглянула, спросила, где вы, да что... А там говорит: ты прости меня... Я обещался и вот пришел к вам...

— Что? Что обещался? Кому?— Ей пообещался и вот пришел сказать вам, что она вышла со двора к Арбату.

— Ну так мне-то что же? — вдруг выговорил Сашок важно и делая удивленное лицо.

— Говорит: скажи... может, и князь выйдет к Арбату же...

— Что-о? — невольно ахнул молодой человек и прибавил: — Она тебе это сказала?

— Точно так. Поди, говорит, Титушка, голубчик. Постарайся, чтобы князь вышел за мною. На церковном дворе и батюшка, и мой муж могут завидеть, а на улице ничего. Постарайся, я тебе, говорит, платок подарю. Ей-Богу, платок посулила. Ну вот...

Тит скромно улыбался и даже смущался.

Сашок сидел, пораженный всем слышанным. Он своим ушам не верил. И вдруг он порывисто встал, надел кивер, который только что снял с себя, глянул в зеркало и быстро вышел из комнаты.

Он чувствовал то же, что чувствует человек, кидающийся в самое пекло пожара.

— Да. Вот и пожар! — вымолвил он.

Уже спускаясь по ступенькам заднего крыльца, выходившего на церковный двор, он вдруг обернулся к конюху:

— Смотри, Тит. Не вздумай говорить Кузьмичу. Он тебя за эдакое съест...

— Как можно. Помилуйте... Я знаю... Да я бы и не пошел к вам. Да из жалости. Уж очень она молила, чуть не плакала... Поди да поди, князя на меня выстави...

Но Сашок, румяный от волнения, даже не слыхал последних слов. Он шагнул и зашагал по двору, затем по своему переулку, а затем по широкой улице Арбата.

— Ну, а потом? Ну, а потом? Ну, а потом? — повторял он выразительно и отвечал: — Ни за что сам не заговорю. Не могу! Вот и весь сказ. Уж лучше прямо обнять ее и целовать. Пускай плюху даст за озорничество... А заговорить — не могу.

И рассуждая так, Сашок не шел, а бежал, озираясь по сторонам.

И вдруг сердце захолонуло: красавица пономариха тихим шагом, опустив голову и глядя в землю, двигалась ему навстречу

«Вот сойдемся! — кричал ему кто-то в ухо.— Вот!.. Вот! . Ну! Ну! Да ну же. Скорее! Скажи: «Здравствуйте!» Скорее! Поздно будет Вот уже и поздно».

Сашок и пономариха сошлись... и разошлись. Она подняла глаза и глядела на него, прося глазами то же самое: «Заговори!»

Но Сашок сам опустил глаза и прошел... А пройдя, начал себя отчаянно честить самыми бранными словами. А затем, уйдя далеко, потеряв из виду женщину, завернувшую за угол, он стал и стоял как вкопанный. А затем закачал головой:

— Ах, нюня! Ах, сопляк! Ах, щенок! Вот уж именно княжна Александра Никитишна, как звали в полку

И он пошел бродить по кварталу без цели и смысла, понурив голову и с лицом, на котором теперь была написана неподдельная печаль.

— Конец! Конец! — повторял он вслух.— Уж если и теперь не заговорил, то, конечно, никогда не заговорю.

Когда через час, уже в полусумраке, он, понурясь, задумчиво и не глядя ни на кого и ни на что, входил на церковный двор, вслед за ним, чуть не за его спиной, тоже входил кто-то Он обернулся. Это была Катерина Ивановна!!

— Неужто же она эдак за мной уж давно? Вплотную? Давно!

И Сашок, обомлев, ускорил шаг

XXII

Сашок вернулся домой, обозленный на самого себя.

Кузьмича не было в комнатах, но Тит объяснил, что дядька давно вернулся, спрашивал о барине и вышел опять на улицу, но без шапки, должно быть, недалеко...

Действительно, Кузьмич побывал недалеко, но по чутью.

Едва успел молодой человек раздеться, снять мундир и, зажегши свечку, сел на диван, как явился дядька и заговорил странным голосом:

— Вот что, князинька. Я тебе доложу, что я этого оправдать не могу.

— Чего? — удивился Сашок, не понимая.

— А вот этого самого.

— Чего — этого самого? Сказывай.

— Ты знаешь. Нечего вилять-то.

— Что ты, ума решился? Какие-то загадки загадываешь, а я распутывай.

— Никаких загадок тут нет,— волнуясь, заговорил старик.— А я прямо, по моей любви к вам, сказываю, что на эдакое я не могу глядеть и молчать. Я пред твоими покойными родителями и пред самим Господом Богом за тебя ответствую... Выходив тебя, с самой колыбельки приняв на руки...

— Ах, Кузьмич, опять начал с колыбельки. Сказывай прямо, что тебе нужно.

— Ничего мне не нужно,— сурово и будто обидясь, огрызнулся Кузьмич.— А не могу я видеть у себя под носом беспутничанья и всякого...

— Чего? Чего?

— Души и тела погубления...

— Слава Создателю! Сказал наконец! — догадался Сашок, хотя отчасти смутился.

— Понял? Ну вот и мотай на ус, что я по моей любви к вам и ответственности пред родителями покойными и кольми паче...

— ...Пред Господом Богом,— продолжал Сашок.

— Ну да... Пред Господом. Нечего тебе насмешничать.

— Ты про пономариху?

— А то бишь про белого бычка. Понятно, про эту каналью-бабу.

— Чем она каналья?

— А тем,— закричал Кузьмич,— что не смей она, распутная баба, закидывать буркалы свои на отрока, чтобы опакостить его!

— Пустое все это, Кузьмич... Какой я отрок? Эдак ты, говорю, до тридцати лет все будешь меня величать.

— Вам след,— помолчав, заговорил Кузьмич спокойнее,— добропорядочно и богоугодно повенчаться законным браком с благородной и честной девицей, коли время пристало, а не срамиться и не пакостить себя. Вот что-с Познакомься, найди девицу в Москве, бракосочетайся и будешь счастлив, обзаведешься достойной супругой, княгиней. А возжаться тебе со всякой поганой бабой я не дам. И коли эта разгуляха пономариха еще будет тут шататься око-

ло дома, я ее исколочу до полусмерти... Батюшке пожалуюсь... В консисторию прошение на нее подам.

Сашок поднялся с места и заходил по комнате, засунув руки в панталоны и посвистывая, что означало досаду и гнев. А «пылить» при его скромности и кротости — ему случалось.

— Нечего свистать-то. Дело говорю,— заявил Кузьмич сердито.— Прямо в консисторию прошение подам. Она хоть и каналья, да спасибо, духовная... По мужу.. И ей из консистории прикажут не развратничать с офицерами. А ничего не сделают ни пономарь, ни духовная консистория, то я ее исколочу собственными руками. И Титку заставлю бить.

— Ну что же? Ты с Титкой. А я с ней. Кто кого одолеет,— проворчал Сашок.

— Что? Как ты с ней?

Сашок молчал и ходил, посвистывая.

— Да полно ты, свистун. Эдак ведь ты и душу свою, и тело свое, еще покуда не грешные,— просвищешь... Отвечай лучше.

— Что отвечать? Я ответил. Ты хочешь драться. Молодую женщину бить. Ну я за нее вступлюсь.

— Вступишься? Стало, меня бить учнешь?

Сашок молчал.

— Так, стало быть, что же? Порешил ты пропадать, душу губить. Говори, отчаянный!

— Да чего ты знаешь? — вдруг вскрикнул молодой человек, наступая на старика.— Чего ты знаешь? Может, я уже и давно душу-то с телом, как ты сказываешь, погубил.

— Что-о? — протянул Кузьмич, разинув рот и как-то присев, будто от удара по голове.

— Да. Чего ты знаешь? Вишь, пагуба мне от пономарихи твоей, когда я уже давно...

— Что-о?! Что-о? — заговорил Кузьмич и вдруг прибавил: — И все-то врешь. А я сдуру поверил.

— Ан не вру!

— Ан врешь.

— Ан нет. В Петербурге зимой знаком был с Альмой.

— Какой Сальмой?

— Альма, а не Сальма! Шведка.

— Шведка?

— Ну да. Шведка. Красавица. И я... Я у нее был... Десять раз был. Товарищи познакомили... Да. А ты тут все про душу, да про тело, да про пагубу. Потеха, ей-Богу. Немало в Питере надо мной смеялись товарищи. Ну вот я тогда и порешил...

Кузьмич ухватился за голову и стоял как пораженный громом.

— Скажи, что все наболтал? Скажи, что морочишь? — произнес он глухо.

— Ничего не морочу.

— Со шведкой Сальмой? Загубился?

— Какое же загубление? Все так-то. Я один на весь полк сидел как какой монашек из-за тебя да твоих выдумок.

— Князинька! Александр Никитич! Если же это правда, что ты сказал,— едва слышно проговорил старик,— то я сейчас побегу в Москву-реку. Говори.

Сашок снова заходил по комнате и молчал.

— Говори. Скореючи! Прямо топиться, коли не углядел я, старый пес.

— Больше мне сказывать нечего! — резко отозвался Сашок.— Мне надоело... Я к тому говорю, что если Катерина Ивановна мне нравится и я ей нравлюсь, а у нее муж, пономарь, дикобраз, то... То, стало быть, это наше дело и до тебя не касается. А это твое погубление — все глазам отвод. Морочанье. Прежде я с тобой соглашался, а потом по-своему все рассудил. И вот в Петербурге я и... отважился... на это самое.

— Не верю,— замотал головой Кузьмич.

— Не верь, коли не хочешь.

Наступило молчание. Сашок ходил из угла в угол, а дядька стоял истуканом, слегка наклонясь вперед, как пришибленный.

— Чудно, право! На что же и женщины на свете, коли не для мужчин. Все эдак-то. Не все рано женятся. Успею и я в брак вступить.

— Слушай,— выговорил старик хрипло — Ответствуй правду. Побожись вот на образ.

— Что? В чем еще?

— Побожись про шведку, что соврал, чтобы только меня ошарашить.

— Да и не одна. Мало ли их в Питере было. Я только сказывать не хотел.

— Одна ли, сто ли — это едино! А ты побожися, что загубился. Побожися.

— Не хочу.

— Не хочешь. Стало, врешь! — храбро и с оттенком радости воскликнул дядька.

— Вот же тебе... Вот. Ей-Богу! Побожился. На вот! Шведка Альма. Да. Стало быть, Катерина-то Ивановна уж мне не диковина... первая...

— Побожился? — глухо спросил старик.

— Побожился. И еще побожусь.

— Когда же это было? — еще глуше произнес старик.

— Зимой, сказываю тебе. На Масленой неделе познакомился и на третьей неделе...

— Поста!!

— Чего?

— Великим постом... На третьей неделе? Когда я говел, а ты все пропадал, якобы у командира.

— Ну вот.

Кузьмич тихо повернулся, двинулся и тихо пошел из комнаты. Сашок глядел вслед дядьке и не знал, как объяснить такой результат разговора.

«Неужели Кузьмич, узнав такое, рукой только махнул?»,— думалось Сашку.

Вместе с тем молодой человек был доволен собой, что наконец объяснился с дядькой как следует — молодцом. Его уже давно раздражал этот старик своим обращением с ним как с «махоньким».

— Да. Давно пора было! — бормотал он сам себе.— Невтерпеж. Из любви? Вестимо, он меня любит. Да все ж таки — нестерпимо. Дите да дите. В карты не играй. Вина не пей. С товарищами никуда не отлучайся позднее десяти часов. На женский пол и взглядывать не моги... Щурься, когда какая барыня мимо идет. Ну, карты и вино — черт с ними. Не понимаю, как другие это любят. Но вот женский пол, и особенно если какая красива... Это я не могу...

Сашок помолчал и как-то грустно выговорил:

— Вот, ей-Богу же, не могу.

Затем он сел на стул и начал думать о пономарихе. Красивая женщина ясно, живо встала пред ним в полумраке комнаты, освещенной сальной, давно нагоревшей свечкой. Огромный черный фитиль все увеличивался, коптил и дымил, а сало лилось вдоль свечки. Но Сашок не видел нагара, забыл про щипцы, лежавшие на шандале, и не поднимался снять нагар. Катерина Ивановна стояла пред ним улыбающаяся... Алые уста, яркие черные глаза. Румянец пылает на щеках... Она протягивает к нему руки. Он обнимает и крепко, крепко целует в розовые губы, а она... Она плачет, всхлипывает. Да как всхлипывает! Горько, горько... Сашок очнулся, прислушался и вздрогнул. Видение исчезло, а плач ясно слышался.

— Где? Что? Кто это? — прошептал Сашок. И вдруг он вскочил и бросился из комнаты Выбежав в коридор и вбежав в первую же дверь направо, где была каморка Кузьмича, он стал, оторопев, на пороге.

Кузьмич стоял на коленках в углу, где висели два образа, и, закрыв лицо руками, горько плакал. Все тело старика тряслось.

Сашок не выдержал, слезы навернулись у него на глаза. Он бросился к дядьке с криком:

— Кузьмич! Кузьмич! Полно. Что ты. Полно же, Кузьмич. Золотой мой!

Но при звуке голоса питомца старик отнял руки от лица и пуще зарыдал, громко и хрипло, на весь дом, так что тощее тело его вздрагивало.

— Не углядел. Не соблюл завещания. Дал людям загубить...— с трудом проговорил он.

— Кузьмич! Дорогой. Родимый.

Сашок нагнулся, потом сам опустился на колени около старика и, обняв его, закричал:

— Кузьмич! Вру я. Вру! Вру! Ей-Богу. Господь свидетель. Матерь Божья. Все наврал. Тебя позлить.

И слезы уже ручьем текли по щекам молодого человека.

— Сашенька! Сашунчик! Правда ли наврал? — всхлипнул Кузьмич.

— Обморочил. Вот тебе Христос. Матерь Божья. Позлить, позлить хотел.

— Никакой Сальмы ты...

— Ничего! Никого! Никогда! — плакал Сашок, обнимая старика.— Была шведка Альма. Товарищи... Напоили... Ее науськали... Я пьян был... Она ко мне... Целоваться...

— Ну! Ну!

— А я ее кулаком... И она, обозлясь, меня кулаком. И передрались... Товарищи разняли... Хохотали. Дураком обзывали... А я разревелся... Плакал. Вот как теперь.

— Родной! Голубчик! Сашурочка. Сашунчик.— И Кузьмич, ухватив питомца в объятия, душил его и целовал, куда попало: в волосы, в ухо, в нос...

— Слава тебе, Создатель. Многомилостив царь небесный. Сподобил соблюсти дите...— восторженно закричал Кузьмич, глядя на образа

XXIII

Прямым последствием всего, что произошло, было нечто повлиявшее на судьбу молодого человека, на всю его жизнь.

Бурные объяснения и ссоры чуть не до драки бывали, конечно, часто между молодым человеком и его дядькой, но такой стычки и горячего примирения с обоюдными слезами давным-давно не бывало.

Сашок чувствовал, что он виноват пред своим добрым стариком. Ведь Кузьмич был единственным на свете близким человеком у сироты, был будто не крепостным холопом, а близким родственником.

Но, чувствуя теперь себя виноватым пред дядькой, он сознавал тоже ясно, что он не виноват в ином отношении.

«Если Катерина Ивановна нравится мне... Даже вот позарез нравится,— думалось ему.— И сама ко мне льнет... Что же тут?.. Он говорит, погубление... А товарищи до слез хохотали

над этим. Говорили, что все дядьки и мамушки так рассуждают, но что это смехотворное рассуждение. А Кузьмич вот плачет из-за выдумки про шведку, как если бы я в смертоубийстве сознался. Вот тут и вертись и выворачивайся. Что делать?!»

И Сашок целую ночь волновался и плохо спал, да еще вдобавок, два раза задремав, видел красавицу пономариху, которая его опять обняла и поцеловала. Он проснулся и сел на постели, как если бы его ударили.

Ох, Господи! Наваждение!

Наутро Кузьмич пришел в спальню питомца позднее обыкновенного. Он сам проспал, будучи потрясен вчерашним происшествием. Едва только Сашок умылся, оделся, помолился Богу, как дядька заговорил о своем деле... О семье Квощинских и о барышне Татьяне Петровне. Дядька повторял все то же... Такой красавицы, умницы, «андела и прынцесы» — второй во всей России не сыщется.

В заключение он добился от Сашка обещания познакомиться с дядей девицы, с Павлом Максимычем Квощинским, чтобы через него войти в знакомство и со всей семьей.

Сашок обещал нехотя.

— Да. Хорошо. Вот как-нибудь. При случае...

Затем около полудня, когда его питомец отправился по службе к Трубецкому, Кузьмич вышел и чуть не бегом пустился в гости к Марфе Фоминишне.

На этот раз в комнату мамки пришла сама Таня и села, заставив Кузьмича тоже сидеть. И девушка очаровала старика ласковостью, что было и не лукавством.

Она сама действительно чувствовала, что сердечно относится к тому человеку, который «его» выходил.

Если всякие расписыванья Кузьмича о чувствах девицы к Сашку на него мало действовали — отчасти из-за пономарихи, то подобное же расписыванье Фоминишны о чувствах офицера-князя к Тане совсем свело девушку с ума.

— Ты уж не очень...— говорила нянюшке сама Анна Ивановна.— Вдруг ничего не будет А ребенок в слезы ударится да еще захворает

— Небось. Я взялась за дело, так не промахнусь,— отвечала та.

И няня, так же, как и дядька, отлично знала, что делает Разумеется, дело Кузьмича было много мудренее. Много ли надо девицу настрекать. А настрекать молодого человека, когда кругом него увиваются всякие барыньки, и вдовые, и просто веселые, было, конечно, нелегко. Однако в тот же день, вернувшись от Квощинских, Кузьмич снова заговорил с питомцем, но уже на другой лад. Дядька негодовал на своего питомца, попрекал его, дивился и руками разводил, повторяя:

— Грех! Грех!

— Как же грех, Кузьмич, когда я ни при чем! — оправдывался Сашок.

Дело было в том, что Кузьмич объяснил питомцу, что на барышню Квощинскую смотреть жалко: худеет, бледнеет, глазки красные. Она даже уксус потихоньку пьет. И ничего ни няня, ни родители не могут поделать. Она извести себя порешила. А если не помрет, то, говорит, пострижется в монастырь. И все это от любви к князю Козельскому. Сашок был смущен, но отчасти и доволен. Впервые в жизни он испытывал странное чувство: знать, что есть на свете красивое молодое существо, которое занято им, Сашком, думает неустанно и днем и ночью о нем одном.

И молодой человек, наконец, согласился с дядькой, что нельзя оставить девицу помирать от любви. Надо познакомиться, узнать ближе... Может быть, и впрямь его суженая...

«А так, судя по видимости и по личику, конечно, она мне по сердцу...» — решил Сашок.

XXIV

Павел Максимович Квощинский, которого Сашок не раз видал в гостях у госпожи Маловой, не зная, однако, его фамилии, назывался в Москве «всезнайкой».

Павел Максимович был гораздо богаче брата, потому что уже давно и совершенно неожиданно получил очень большое наследство от дальнего родственника. Он, конечно, помогал семье брата, с которой почти жил вместе, занимал на дворе их флигель. Было тоже известно и давно решено, что после его смерти все его состояние останется его племяннику Паше, который теперь был капралом в Преображенском полку в Петербурге. Впрочем, от большого наследства у Павла Максимовича оставалось ныне уже менее половины. Холостяк, которому еще не было пятидесяти лет, добродушный, веселый, беспечный, проживший, собственно, крайне заурядно и скромно, сам не знал, как и куда ухнул более половины своего состояния.

Главная слабость Павла Максимовича — женский пол — не слишком повлияла на это, ибо была, как у многих, самая обыкновенная. Он равно любил общество, любил и путешествия. Он не сидел от зари до зари около своей возлюбленной, как многие иные, а говорил: «Правило есть — всего понемножку!» Поднявшись рано, он до полудня рисовал водяными красками всякие «ландшафты», затем, приказав запрячь небольшую берлинку, выезжал в гости, возвращался ко времени обеда и снова исчезал до ужина... В один день случалось

ему побывать в пятнадцати и двадцати домах. Вечер же он проводил у «предмета», но, однако, не всякий день. Теперь уже года с четыре этим «предметом» была Настасья Григорьевна Малова, младшая сестра княгини Трубецкой лишь по отцу, женившемуся вторично. Настасья Григорьевна была женщина совсем ограниченная, простодушная, ленивая и как бы вечно сонная. Но двадцатипятилетняя вдова, вполне свободная, да еще и очень красивая, конечно, прельщала многих. Однако главные ее обожатели были почему-то только юноши и старички. Светло-белокурая, голубоглазая, белая как снег лицом, шеей и руками, даже поражавшая этой белизной на балах, она была лишь немного мала ростом, от коротеньких ножек, и немного полна, а стало быть, кругленькая как шар. Зато она была тем, что высоко ценится многими и именуется «сдобная». Сонливость и наивность, если не глупость кругленькой вдовушки были, однако, особые, если не были просто обманчивы.

Настасья Григорьевна, с трудом соображавшая или не понимавшая совсем самых простых вещей, понимала, однако отлично, что любовь, например, пожилого, несколько обрюзглого, неинтересного, но доброго и богатого Павла Максимовича надо беречь... Приберегать на всякий случай, чтобы через лет десять на худой конец выйти за него и замуж Уверяли, будто Настасья Григорьевна кажется такой «простотой», а в сущности себе на уме и даже «лиса баба». «Лапки бархатные, а зубки щучьи!» — говорил про нее Петр Максимыч, которого, конечно, смущала связь брата-холостяка со свободной вдовой.

Благодаря этим, действительным или кажущимся, свойствам молодой вдовушки у богатого, любящего свет, весело-добродушного и на вид совсем беззаботного Павла Максимовича была, однако большая забота, было нечто, чуть ли не отравлявшее его существование.

«Всезнайка» не был влюблен как мальчишка, не был предан телом и душой красивой вдовушке, с которой был в связи уже пятый год, а вместе с тем ревновал ее ко всем, так как мысль об обмане и ее неверности ложилась тяжестью на его душу. Это было вопросом самолюбия. Настасья Григорьевна, по его убеждению, была такой безмерной ограниченности разума, что с ней нельзя было быть уверенным в чем-либо. Он был уверен, что она способна на все и что можно было ее заставить все сделать. По недомыслию и крайнему простодушию она могла, по мнению Квощинского, попасть в воровки или убийцы, стоит только кому-нибудь «науськать» ее, убедив, что убить человека самое простое дело и самое хорошее.

Зная это свойство характера своей возлюбленной, Квощинский постоянно боялся измены со стороны женщины, не по ее личному почину, а под влиянием кого-либо...

Малова жила на квартире, которую нанял и оплачивал Павел Максимович, рядом с сестрой Трубецкой, и жила тихо, обыденно, скучновато, почти не выходя и никого не видя, занимаясь сплетнями и пересудами околотка. Квощинский бывал у подруги своей всякий день среди дня, иногда и вечером, но долго и тщательно скрывал от всех свою почти старческую слабость. Даже брат его и невестка только год назад узнали о его связи с госпожой Маловой.

За последнее время, за прошлую зиму и весну, Квощинский имел уже и основание тревожиться, так как стал часто встречать у своей Настеньки очень молодого капитана по фамилии Кострицкий. Женщина объясняла, что офицер — ее дальний родственник, вроде племянника, недавно прибывший в Москву на время. Сам капитан был человек необыкновенно скромный, с Квощинским был особенно вежлив и почтителен, а к Настасье Григорьевне относился при Квощинском с глубоким уважением. Вместе с тем он сказывался женихом одной девицы и почти накануне свадьбы... И вместе с тем этот племянничек и жених смущал донельзя ревнивого Павла Максимовича. Сердце его будто чуяло что-то...

Но у холостяка была другая, настоящая страсть. Богомольные путешествия Не было, казалось, в России ни единого монастыря, ни единой пустыни, где бы Павел Максимович не побывал хоть раз. У Троицы Сергия он бывал по нескольку раз в году Один только монастырь не видал он и мечтал повидать. Но это было уже грезой.. Одно заявление его о путешествии этом своим знакомым пугало всех . Это был Афонский монастырь. Впрочем, и сам Квощинский понимал, что он грезит и хвастает и за всю жизнь никогда туда не попадет

Эти постоянные путешествия к разным святым местам, а равно и вечные скитания по гостям обусловливались двумя чертами характера Павла Максимовича: крайней искренней религиозностью и крайней общительностью, страстью видать побольше народу и беседовать. Когда на него нападала какая-то особенная грусть или меланхолия, он тотчас собирался на поклонение в какую-либо пустынь... Или когда москвичи начинали ему прискучивать и мало бывало событий и новостей в первопрестольной, он вдруг сразу решал поездку в какой-либо монастырь, где у него были хорошие давнишние приятели-монахи.

— Два удовольствия тут,— говорил он.— Уехать приятно и вернуться потом домой приятно.

За последние годы у Квощинского понемногу явилось и созрело новое желание, которое прежде показалось бы ему совершенно невероятным.

Ему захотелось побывать в чужих краях Съездить хотя бы и не очень далеко, в королевство Польское или в Швецию. Но средств на это уже не было. Поэтому постепенно созрел у него план поступить на службу в коллегию иностранных дел и быть посланным на казенный счет за границу. План этот отчасти был исполним, так как Павел Максимович имел одно редкое преимущество пред другими дворянами его лет. Он хорошо читал, писал и отчасти мог разговаривать по-французски и по-немецки

Он всегда с благодарностью вспоминал, что этим был обязан своему крестному отцу, очень образованному человеку времен великого императора, Шафирову.

Теперь, в начале нового царствования и в дни, когда увидела у себя Москва новую императрицу, окруженную своими сановниками, Квощинский решил попытать счастья, проситься в коллегию иностранных дел, тем паче, что крупный сановник Теплов мог оказать покровительство

Когда Москва переполнилась гостями из Петербурга, Павел Максимович уподобился рыбе в воде или сыру в масле . Он летал по городу. . А с другой стороны, «всезнайка» в эти дни оказывался для друзей бесценным человеком. Вести и слухи, одни страннее других, бегали по всей Москве, по всем дворянским домам. Челядь крепостная не менее господ оживилась и прислушивалась ко всему, что проникало в столицу из села Петровского.

А как узнать, что выдумка ради соблазна и что правда? И, будто по единодушному приговору и решению, «всезнайка» Павел Максимович был почтен званием верховного судьи, решителем или пояснителем всех вестей.

Видая теперь часто таких лиц, как Теплов, Павел Максимович всегда мог знать, что именно праздная выдумка, злобная клевета, «соблазнительное» вранье и что истина

Слух, передаваемый с опаской, чуть не шепотом, что государыня собирается выйти замуж за графа Григория Орлова, всего сильнее взволновал москвичей

— А правда ли это?

— Не клевета ли это?

— Не злобное ли и противозаконное издевательство?

И вот многие обращались теперь насчет удивительного слуха к «всезнайке».

А Павел Максимович уже слышал об этом от Теплова, который передал ему даже мнение самого Никиты Ивановича Панина.

Вельможа по этому поводу выразился французской пословицей: «Pas de fumee sans feu!» — «Нет дыма без огня!»

И «всезнайка» в свой черед отвечал на вопросы москвичей:

— Почем знать, чего не знаешь.

Когда начались споры между политиканами-дворянами, возможно ли таковое, неслыханное и невиданное, несообразное, то «всезнайка» говорил, повторяя слова Теплова:

— В иноземных государствах таковое бывало. Супруг монархини не считается монархом и не коронуется. Ему только дают почет и уважение, как ближнему к престолу лицу, хотя и без должности.

— То иноземные государства, а то Российская империя. Басурман нам не указ! — говорили одни.

— Греховного или противозаконного ничего тут нет! — говорили другие.

— Стало быть, у простого дворянина могут быть царские дети.

— А разве прежде супруги царей не были из российского дворянства?

И вот к этому всезнайке и путешественнику-богомолу направил Кузьмич своего питомца знакомиться.

Сашок отправился и узнал, что это тот же господин Квощинский, которого он видал уже не раз у Маловой, когда бегал к ней за чудодейственным табаком.

Павел Максимович принял офицера-князя любезно, но, не зная ничего о планах брата, недоумевал, зачем Козельский явился к нему.

На его заявление брату, какой был у него гость, Петр Максимович спросил:

— Ты знаешь князя Козельского Александра Алексеевича?

— Вестимо, знаю. Он теперь здесь, в Москве. Недавно пир задавал. Он дядя родной этого молодца. А что?

— Что он за человек?

— Российский дворянин и князь.

— Я говорю что это за человек?

— Человек богатейший. Чудодей знаменитый...

— Ну .

— Что «ну»? — отозвался Павел Максимович.

— Скажи, Господи, что за человек нравом, чувствами, душой, что ли, своей.

— А? Эдак, то есть... Ну, эдак будет уже не то... Эдак будет он человек особенный.

— Чем особенный? Чем? — нетерпеливо спросил Квощинский.

— Да так... Не столько человек по образу и подобию Божию, сколько... свинья.

— Что-о? — проорал Петр Максимович.

— Да. Это человек добрый, но, собственно говоря, совсем свинья. А тебе на что?

Квощинский таинственно объяснил брату.

— Ну что же. Не он ведь женится, а племянник.

— Да. Но он мог бы дать ему душ двести-триста...

— Ну, вот этого не будет. Полагаю, не даст он ничего. Жила! На себя не пожалеет тысячи рублей на любую прихоть. А другому дать, хотя бы родному племяннику, алтына не даст. Но надо с ним уметь взяться... Это мне препоручи. Устрою

— Как же так? Ты что же тут можешь?

— Препоручи. Может быть, и сумеем его встряхнуть! — улыбнулся «всезнайка».

— Говори, братец, прямо... Дело ведь нешуточное,— сказал Петр Максимович.

— Изволь. Скажу. У князя Козельского есть дело, ему непосильное. Есть просьба, с которой он увивается около вельможи.

— Около кого?

— Около графа Панина.

— Ты это знаешь, братец?

— Верно знаю.

— Удивление. Теперь все добиваются чего-нибудь. Все хотят что ни на есть от новой монархини выклянчить,— закачал головой Петр Максимович.— Кто должность, кто орден, кто сотню, и две, и пять душ крестьян...

— Да. Ну, вот и твой князь желает звезду александровскую...

— Что же ты можешь?

— А вот надумаем меновой торг,— усмехнулся Павел Максимович.— Тебе нужно то и то... Ну, дай нам вот то и то... Удели что-нибудь племяннику... Немудрено это дело. Я Теплова попрошу, он Панина, а Никита Иваныч Козельскому поставит условием оное...

XXV

Тит уже давно собирался наведаться к бабусе и сестре, но Кузьмич не отпускал его. Наконец он добился своего и радостно пустился в путь в село Петровское. Он нашел дома только сестру, а старуха была на своем огороде. Расспросив ее о бабушке, он, разумеется, принялся рассказывать тотчас о своем житье-бытье, о князе, о Кузьмиче, даже о пономарихе

— Ну а каков князь. Драчун? — спросила Аленка.

— Где там! Мухи не тронет,— ответил Тит восторженно.— Добреющий. Ласковый такой, тихий. Я отродясь таких

не видал. И красавец. Катерина Ивановна от него прямо ума решилась.

— Вишь ты...— раздумывая, выговорила девушка.

— И на это, Аленушка, полагаю я, есть особливая причина.

— Красив да князь... Ну и влюбилась. Ничего нет особливого...

— Нет, я не про то... Я про его тихость да ласковость... Он, может, сам-то по себе и такой же, как все господа... Нет-нет и треснут чем попало... А ему, моему Лександру Микитичу, не до того... Мысли его ему мешают. Не до сыска, не до взыска, а до горести своей. Знаешь, так-то поется.

— Да что же такое?

— А то, говорят тебе... Что он очень сам-то убивается. Полюбилась ему барышня Квощинская, Татьяна Петровна. Барышня — на диво. Ну и она тоже души в нем не чает.

— Ну а родители его противничают?

— Чьи? У него их никого. Сирота. Была тетушка. А теперь и ее нет.

— Уехала?

— Как уехала? Не уехала, а померла...

— Стало, родители барышни не хотят его в зятья себе.

— И они хотят. И барин Квощинский, и барыня, и брат баринов — все хотят.

— Так что же тогда? Чего тянуть. Говори! — нетерпеливо вымолвила Аленка.

— Говори? Чего же я буду говорить, когда не знаю. И никто не знает Он, мой Лександр Микитич, от Татьяны Петровны без души. И все его полюбили. И все бы рады сейчас свадьбу сыграть. И он бы радехонек... Разума от нее решился, сказывает Кузьмич. А Катерина Ивановна, говорит, совсем князю противна.

— Ну? Что же свадьба-то?

— Ну — нет ничего. Не выгорит. Печалуются все, а поделать ничего не могут. Запрет. И неведомо от кого! Чудно́. Сам Кузьмич мне все это сказывал.

И беседа брата с сестрой снова перешла на то же близкое ей дело, о Матюшке и его господах.

— Надо же эдакую напасть, что они разбогатели,— сказал Тит.— Но все ж таки рублей за пятьдесят они дадут отпускную. Что им одним парнем больше или меньше.

— А где их взять! Пятьдесят-то рублей,— вздохнула Аленка.

— У бабуси найдутся. Верно говорю. Она таится. А у нее есть они.

Аленка помотала головой.

— Кабы были, бабуся давно бы их дала,— сказала она.— А их нету...

А пока брат с сестрой толковали о своих делах, их бабуся сидела на скамейке около своего огорода, а около нее была та же дама, живущая в палатах графа Разумовского. И это было не во второй, а уже в третий раз. После первой встречи и беседы со старухой дама снова появилась около огорода дня через три.

Параскева при виде ее струхнула и желала укрыться, но это было совершенно невозможно среди гряд и голого поля.

Дама села на скамейку, ласково окликнула ее и подозвала к себе.

В этот второй раз Параскева привыкла к своей «барыньке» и будто забыла, что она живет в одном доме с самой царицей и даже видает ее. Барынька ласково, просто и весело, притом прямо «по душе», беседовала со старухой о себе самой, о житье-бытье Параскевы, о ее правнуках... Но просидела она недолго, спешила домой, опасаясь, что важная особа, при которой она состоит, может ее хватиться, а вышла она без спросу.

Теперь в третий раз наведалась она к огороду, а Параскева, пришедшая было полоть картофель, завидя свою «касатку», поспешила к ней радостная. Уж очень долго не виделась она с новым другом.

Но подойдя и сев около дамы, Параскева удивленно пригляделась и даже ахнула:

— И чтой-то ты, касатушка... Аль худо какое приключилось?

— Ничего, старушка...— отозвалась та.

А между тем по красивому лицу дамы можно было легко догадаться, что она была не только озабочена, а прямо грустна. Печальные глаза, казалось, были с краснотой, как если бы она плакала пред тем, как прийти.

— Я сто лет на свете живу. Забыла ты это...— заговорила Параскева.— Говори, касатушка, что у тебя на сердце. Говори, не бойся... Чужое дело всегда чужому человеку легче развести.

Дама стала уверять старуху, что ей просто нездоровится, но Параскева начала ее расспрашивать, иногда отвечала сама, догадкой, и так умно, что дама постепенно многое рассказала. А все это многое за сердце схватило добрую столетнюю старуху.

Параскева заохала, закачала головой и начала утирать сухие глаза, так как уже давно плакала без слез.

— Вот оно что... И господам бывает хуже холопов. Вижу я, вижу, касатушка, рвут тебя на части. А все вдовье твое дело. Будь у тебя супруг, то заступился бы.

Дама улыбнулась, но печально.

— Горе-злосчастье ходит по свету... Куда придет, отворяй ворота, что в мужичью избу, что в палаты боярские. Ему,

говорю, не скажешь: проходи, мол, своей дорогой. Нет. А придет оно, и не знаешь, как его изжить. Ни умом, ни силком, ни моленьем. Ничто не берет его.

— Правда твоя, бабушка! — грустно отозвалась дама.

— Да-а! — протянула Параскева, вздыхая.— Инда смерть жалко тебя, мою касатушку. Ты красотка, умница, добрая. А тебя, вижу я, рвут на части. А люди, родимая, рвут хуже, чем собаки. А еще тебе скажу, верь мне, старой, не вру... Есть, бывает такое, други-приятели хуже ворогов.

Дама улыбнулась невольно и подумала про себя:

«Dieu me garde de mes amis, et de mes ennemis je me garderai moi-meme».

Параскева задумалась, приуныла, потом выговорила:

— Ну, вот что, моя золотая сударка...

И она запнулась, подумала еще и наконец, вздохнув, сказала:

— Так уж и быть... Для тебя одной. Полюбилась ты мне гораздо, так что просто удивительно мне самой. Таковое ты, болезная, мне кажется, горе мыкаешь, что из жалости к тебе согрешить готова. Поняла?

— Нет, бабушка, не поняла ничего.

— Слушай, моя горемычная. Была я помоложе, грех за мной водился. Велик не велик, а все-таки грех... И я его *много, много годов замаливала. И дала я клятву эдак-то* больше не грешить.. Ну и вот я эту самую клятву мою из-за тебя побоку... Вот, стало быть, как ты мне по сердцу пришлась. Поняла теперь?

— Нет, бабушка милая, ничего все-таки не поняла,— улыбнулась дама.

— Слушай. Была я молода, не молодешенька, а все-таки не старая. Лет тому, поди, тридцать аль сорок. Ну вот... И загребала я деньги, да чем? Чем, моя горемычная? Колдуньей была!

— Как? Чем? — удивилась дама.

— Колдуньей, говорю... Да. Ворожеей! Оно все то же...— вздохнула Параскева.— Гадала я дворянам, господам, на картах, на гуще кофейной и на мыльной воде... И бросила... И вот уж сколько лет этого греха на душу не брала. Ну а теперь из-за тебя погрешу, божбу свою преступлю и тебе погадаю.

Дама *улыбнулась ласково.*

— Я пошукаю твою судьбу... И мы будем с тобою знать, что нам делать. Как тебе твое дело и все дела повернуть в твою пользу. Понимаешь?

— Нет, бабушка. Я не понимаю... Ты погадаешь. Хорошо. Но что же из того?

— Увидим мы все, глупая ты моя! — воскликнула Параскева.— Увидим все-то и всех-то наскрозь. Ну, ты и узнаешь, как тебе извернуться, чтобы всех своих ворогов объегорить.

Дама рассмеялась.

— А ты, моя сударка, как будто и не веришь мне. Думаешь, я совсем дура и зря болтаю. Не хочешь — не надо. Я для тебя же...— обидчиво проговорила старуха.

— Как можно, бабушка. Я считаю тебя очень умной Ты мне умнейшие советы уже дала. Обещаться.

— Как знаешь. Я не навязываюсь,— бурчала Параскева, обидясь.

— Нет. Что ты. Напротив. Я очень рада погадать. Но это невозможно. Это трудно. Разве вот здесь, в лесу

— Зачем. Здесь нельзя. Гуща должна быть горячая... Приходи ко мне в избу. Вот тут, недалече. Я тебе сейчас покажу

— Вот это хорошо,— воскликнула дама.— Завтра же я к тебе приду. Только не одна, а с приятельницей.

— Ладно. И карты захвати. У меня нету. Они тоже нужны.

XXVI

Параскева вернулась домой и, задумчивая, не говоря ни слова внукам, села у окошечка... Размышляя о чем-то глубоко и угрюмо, она изредка вздыхала, а то и охала.

Внуки притихли и отчасти встревожились. Такого никогда почти не бывало.. Было, помнилось им, когда старухе не хотели возобновить условий по отдаче внаем земли под огороды. Было то же, когда бабуся их узнала вдруг, что внучка собралась замуж за крепостного Матюшку

Аленка долго приглядывалась к прабабушке и наконец не выдержала. Она подсела и, обняв старуху, выговорила тихо:

— Что ты, бабуся? Аль беда какая?

— Что? — отозвалась Параскева, будто очнувшись.

— Что ты так, оробемши будто? Аль беда стряслась?

— Тьфу! Типун тебе на язык. Какая беда? Где беда?

— Так что же ты эдакая? — вступился и Тит — Ажно напужала нас. Говори, что такое? Откуда пришла?

— Видела я опять мою барыньку,— вздохнула Параскева.— Ну вот и взяла меня тоска. Жаль мне горемычную. Помогла бы ей, да где же мне, бабе-мужичке, барыне помочь.

— Отчего жаль-то? — спросила Аленка.

— Тяжело ей. Добрая она. Сердечная. А тяжело ей, страсть. Говорила со мной, у нее даже слезки по щекам потекли. Заедают ее, бедную, лихие люди. Много их. А она-то одна, сирота, вдова. Не у кого ей и защиты искать. Некому заступиться за нее. А уж одолели-то... Одолели... Ахти! Со всех

сторон... Чисто псы. Один, вишь ты, хочет — вынь да положь, выходи она за него замуж. А она не желает. А отказать нельзя, говорит, бед не оберешься. Озлится он и набедокурит.

— Дело простое — арбуз поднести! — рассудил Тит.— Ну, не хочу, и проваливай. Просто!

— Просто? — воскликнула, качая головой, Аленка.— Ты слышал, бабуся сказывает, она сирота да вдовая... В эдаком разе кто захочет, тот на тебе и женится. Ты парень, а не девка, и бабьих дел не смыслишь...

— Верно. Верно. Золотые твои речи, Аленушка! — оживилась Параскева.— Смышленая ты у меня головушка. Останься ты вот без меня и без Тита. На тебе прохожий татарин женится.

— Да. Оно пожалуй... Если сирота круглая,— согласился Тит,— то несподручно от всех отбиваться. Одолеют, именно как собаки в переулке .. Вот надысь шел я по Арбату ночью, и вдруг это. .

— Полно. Помолчи, Титка. Дай бабусе сказывать,— вступилась Аленка.— Ну, что же барынька-то эта? Еще-то что у нее?

— Еще-то? Да много. Многое множество всяких забот и горя,— начала Параскева, подперев щеку рукой.— Один вот привязался, выходи да выходи за него замуж. Где-де тебе, вдове молодой, управиться в своих вотчинах. А она-то, моя горемычная ..

— Не хочет! — перебила Аленка.— Это мы слышали. Еще-то что?

— А еще-то... Один из ейных, должно, дворовых. Старый, да умный, да злюка, смекаю я сама-то, служил ее родителям и гордости набрался... А теперь хочет, чтобы она его в главные управители взяла...

— Ну что же? Коли старый слуга,— сказал Тит,— да умный... *И хорошее дело, если...*

— Погоди. Прыток ты... Дай досказать,— перебила Параскева — Он, этот самый, дворецкий, что ли, хочет быть в управителях ейных вотчин токмо на такой образец, чтобы она, моя золотая, ничего бы не смела делать без его ведома и без его разрешения.

— Скажи на милость! Ах, идол этакий,— воскликнул Тит.— А за это его на скотный двор! К коровам, мол, хочешь?

— То-то вот. Говорит он: «Заведем тройку управителей, я буду четвертый и набольший. И буду я все вершить. А ты, барынька, ни во что не вступайся. Кушай, гуляй да почивай на перине». А она, знамо дело, эдак-то не желает. Я, говорит, не старуха, хочу сама госпожой быть.

И Параскева вздохнула и задумалась.

— Ну, ну.. Еще-то что же? — спросили правнуки.

— Да много еще... Все лезут, всякие себе должности просят по двору. А кто на волю просится зря. Кто денег просит в награжденье за старую службу. . А она давала, и все дает, и много раздала... А все не сыты! Все лезут и еще просят, больше... А сосед один, и важный такой, боярин и князь из немцев, грозится... Отдай ему целое угодье. А не хочешь, тягаться в суде учну, и оттягаю, и разорю.

— Ах, Господи! — шепнула Аленка, не поняв слова «тягаться» и вообразив себе, что это значит душу из тела вытягивать.

— И то не все, родные мои,— продолжала Параскева — Всего и не запомню... Ну, просто, говорю, бедную касатку на части рвут. И грозятся! Этот самый дворецкий, что ли, написал эдакую бумагу и с ножом к горлу лезет, подпиши. А она-то, сердечная, боится.

— Избави Бог! — воскликнул Тит.— Это мне сказывал наш Кузьмич, князев дядька. Никакой, говорит, бумаги никогда не надо подписывать, кто грамотен. А кто неграмотен, и креста не ставь. Как подписал, так тебя и засудят.

— Ну, вот... Она и не хочет подписывать. А он, старый, говорит: «Тогда-де я дело в суде заведу, чтобы твой сынок был помещиком-душевладельцем, а ты бы отставлена была от делов». А сынок-то еще махонький совсем.

— Как же так, бабуся? Такого закону нету.

— Да так вот... Вотчины, стало быть, не ее самое, а мужнины. Ну, сынок-то и наследник. А она, вдова, токмо покуда он махонький, распоряжаться может. Старый-то черт знает всякие законы и ходок. Стрекулист. Где ей, бедной, супротив его идти. Вот, стало быть, либо назначай его главным правителем, либо он в суд махнет. Малолетку чтобы объявили помещиком, а ее самое побоку.

— Да, дела! — ахнул Тит.

— А еще-то есть одна молоденькая барынька, что была в ее товарках-приятельницах, теперь, обозлясь, поносит ее везде и со всеми ее подругами заодно... А еще-то... Еще... Да всего и не перескажешь. Уж так-то мне ее жаль. Так-то жаль, что я на одно грешное дело из-за нее иду...

— Что ты, бабуся? Зачем?! — испугался Тит.

— Не бойсь... Дело такое... что только я свой грех знать буду. И грех для людей невелик, да мне-то самой тяжело.

XXVII

Ввечеру, когда Тит ушел, Параскева сказала внучке:

— Вот что, Аленушка! Завтра барынька к нам придет. И не одна, а с одной своей старой приятельницей. Надо нам

светелку нашу почистить, прибраться как следует, полы вымыть и все эдакое... Она все-таки, сдается мне, барыня важная, хоть и якшается попросту со мной, мужичкой.

Весь день и вечер старуха была задумчива. Старуху мучила мысль, что она сколько годов, и Бог весть, ворожить бросила и никому не гадала. А теперь вот не вытерпела из жалости... И обещала барыньке за грешное дело взяться.

— Авось Бог простит,— утешала себя старуха.— Один разочек. Да и то не за деньги. А из жалости.

Когда внучка улеглась спать, старуха дождалась, чтобы она заснула, и принялась за таинственную работу, которая постороннему показалась бы бессмысленной.

Через час у Параскевы была в руках небольшая посудина, полная какой-то темной гущи. Она накрыла ее полотенцем и спрятала к себе под кровать, только для того, чтобы внучка не увидела ее.

На этой гуще предполагалось узнать всю судьбу «барыньки».

Наутро Параскева, едва проснулась, начала волноваться, сновала без смысла в комнате, выходила и бродила около домика. Ее смущало и то, что придут к ней две барыни, и то, что надо опять себя осквернять ворожбой. Почем знать, думалось ей, может быть, она уже замолила свой грех молодости, а теперь, в сто лет, вдруг опять колдуй и душу губи.

Аленка начала еще с зари хлопотать и, вымыв пол, вытерев начисто стекла двух окон, убирала и поправляла без конца все, что попадало ей под руку... Раз десять переставляла она с места на место всякую всячину из их рухляди.

— Да уж полно тебе...— заметила Параскева.— И так ладно. Мы не дворяне какие. Чем богаты, тем и рады. Кроме огурчиков да брюквы, и угостить-то нечем. Да им и не нужно. А ты вот не забудь, что говорила.

— Нет! Нет, бабуся..

— Ни за что не лезь. Слышь? Покуда она будет у меня здесь сидеть, ты ни в жизнь не смей входить.

— Знаю. Знаю. Раз десяток слышала.

— То-то, Аленушка. Смотри.

Старуха опасалась пуще всего, что правнучка, войдя в комнату, увидит вдруг на столе разложенные карты, которых отродясь, конечно, не видела, и, разумеется, охнет, перепугается, может, даже расспрашивать потом начнет... А что ей скажешь? А если она брату все расскажет, то Титка другим расскажет... Беда тогда! Тит князю своему сболтнет. И пойдет трезвон. Около полудня Параскева, выглядывавшая на лес, увидела двух дам. Они вышли на опушку и остановились.

Казалось, что они озираются по сторонам, нет ли кого постороннего, кто может их увидеть идущими в гости к

старухе. Оглядевшись внимательно, они двинулись. Параскева пошла им навстречу. Обе барыни улыбались как-то особенно, точно будто подсмеивались. Над старухой ли, над собой ли, что к мужичке в гости идут, да еще на ворожбу Гадать про свою судьбу.

Приятельница барыни была почти одного с ней роста, но полнее, и не красива, как она. Только большие глаза были хороши, умные, быстрые... А над ними густые брови дугой придавали лицу немного суровое выражение. Барыня вошла в комнату, а приятельница ее осталась на крылечке. Усевшись с Аленкой рядом, она стала ее расспрашивать.

Параскева усадила дорогую гостью в угол на лавке, за стол, и поставила пред ней лукошко со свежими огурчиками.

— На вот, не взыщи. Полакомись, чем Бог послал. С моего огорода,— сказала она.

Затем, достав из-под своей кровати посудину с гущей, старуха поглядела, удивилась и вымолвила:

— Ничего не вышло. Всю ночь стояла, и ничего!.. Худого нету, но и хорошего ничего не видать. Карты принесла?

Гостья тоже поглядела в посудину с гущей и рассмеялась. Затем она вынула из кармана и передала старухе колоду карт. Параскева вдруг при виде их стала сумрачна, вздрогнула глубоко, но, взяв колоду, начала свое дело. Когда карты были разложены на столе, она разглядела их внимательно и, забыв свой великий грех ворожбы, оживилась и начала качать головой.

Затем она выговорила тихо·

— Мати Божия!

Дама, видимо, интересовалась гаданьем вообще и пристально поглядела на старуху.

— Вот чудно-то. Чудно-то...— забормотала Параскева.

— Что же такое? Рассказывай! — улыбнулась она

— Чудеса в решете!

Дама не поняла и повторила:

— Что же?

— А я не знаю. Тебе лучше знать... Ну вот, слушай... Я не вру. Я что вижу, то и говорю. Не моя вина — худо если... Не мне спасибо — коли хорошо. Кто же ты такая будешь, касатушка?.. Ты, видно, меня, старуху, морочишь. Ты вот, сказывают кресты, важная-преважная барыня, богатая... У-у, богатая! Денег, денег, денег... Ах, Господи! Сохрани и помилуй.

И, помолчав, старуха снова заговорила:

— Да, родимая. Ты меня, стало, морочишь. И радости тут все! И всякое счастие! И во всех делах всякое удовольствие! И врагов, врагов!.. Страсти! Так и кишат, окаянные. Зубы точат! И ничего, ничего, ничегошеньки поделать они не могут. Со зла поколеют все, прости, Господи! Ай, ба-

тюшки! И жених! Да. Только не суженый. Нет, не суженый. Жених так жениховствовать и останется... А вот этот лезет. Ой, злой! Вот злой-то... Чисто пес цепной сорвался! И давай кусать. А зубов-то нету. Ну, гаданье!! Отродясь эдакого не видывала! — охнула Параскева.

Дама, внимательно слушавшая, рассмеялась, но спросила серьезно:

— Будет ли мне благополучное окончание всего?

— Диковина! Все будет. Все! Вот тут и десятка жлудевая. И туз крестовый. А с ним-то, родимые мои, сам червонный развалет... Вот тебе привалило-то. Ну, уж привалило. Что же это ты меня, старуху, морочишь, говорила, все-то у тебя заботы да горе. Какое тебе горе! Что ты! Не гневи Господа. Я эдаких карт не видела никогда. Гляди! Гляди! Жлудевая-то восьмерка, и та легла у тебя в головах... Ну, что ж тут! Тут и гадать нечего. Что хочешь ты, то и будет. Звезды с неба все заберешь и в карман покладешь.

Дама оживилась не столько от слов старухи, сколько от ее голоса и ее вдохновенного лица.

«Пифия»,— подумала она про себя и прибавила:

— Скажи мне, Параскева. Замуж я не выйду?

— Голубонька, касатушка... Прости! Я говорю, что вижу. Никакого супруга тут нет. Жених есть, но при себе самом и остается. Да ты, моя голубонька, меня не одуряй. Ты сама замужества не хочешь. Ты-то говорила это... Да я вот и тут вижу. Не хочешь. Да. Вот пиковая семерка около жениха. Ты, выходит, рассуждаешь: «Проваливай, жених, я и без тебя обойдусь». Мне, касатушка, все видать! Я все наскрозь вижу по картам.

Дама слушала внимательно, воодушевление и вдохновенный голос столетней старухи, будто вдруг помолодевшей взглядом и речью, не могли не подействовать.

«Пифия»,— повторяла она мысленно.

Прошло около часу, когда дама, веселая, улыбающаяся, вышла на крыльцо и, простившись со старухой, двинулась в лес, сопровождаемая приятельницей. На вопросы ее дама ответила только: «Удивительно!» И затем она глубоко задумалась и шла молча, понурившись...

XXVIII

Когда две женщины молча дошли до палат Разумовского, часовые у подъезда отдали честь... На лестнице они разошлись... Дама вошла в зал... При ее появлении сановник, ожидавший здесь, склонился и подал большой пакет с большой печатью.

— От короля Карлуса,— доложил он.— Гонец гишпанский в ночь прибыл.

Это был канцлер граф Воронцов.

Спутница дамы прошла в малые комнаты дома. Придворный лакей, дряхлый старик, явясь почти вслед за ней, доложил, что уже с час ждет ее офицер.

— Имя-то он свое сказал? — спросила она

— Сказывал. Да виноват, Марья Саввишна ..

— Что? По дороге, Гаврилыч, потерял?

— Потерял, матушка. Уж очень мудрено оно.

— Тяжело было нести и уронил?

— Точно так-с!. — усмехнулся старик лакей.

— Обермиллер?

— Точно-с. Похоже! Совсем эдак...

— Да каков из себя-то он?

— Маленький, рыжеватенький.

— Ну, вот! Так бы, Гаврилыч, прямо и говорил! Ну, проси...

И Марья Саввишна Перекусихина, наперсница императрицы, вышла в свою отдельную маленькую гостиную.

Через минуту гвардейский офицер, действительно очень маленького роста, с лицом, покрытым сплошь веснушками, и с мохнатыми рыжими бровями, что придавало ему очень странный вид, скромно и отчасти боязливо расшаркался пред женщиной и, по просьбе ее садиться, уселся на край стула.

— Ну, что скажешь, Карл Карлович?

— Ничего, сударыня, особливого, но все-таки понемножку начал. Теперь уже человек десять извещены. Шум пошел уже.

— А велик ли шум?

— Велик, сударыня! Пуще, чем можно было ожидать.

— Кто же больше всех шумит? Небось, измайловцы?

— Есть один и измайловец. Пуще всех остервенились Гурьевы, два брата, да Хрущевы, три брата, да Измайловы, два брата, да один Толстой.

— Ты как же говорил-то? Расскажи!

— Да как вы сказали, Марья Саввишна. Прежде всех сказал я одному Гурьеву, что вот, мол, так и так, Григорий Григорьевич Орлов возомнил о себе превелико. Ожидая, что будет при короновании графом и получит большое денежное вознаграждение, все-таки не довольствуется. Ведь так вы изволили сказывать.

— Так, так! Молодец!

— И вот-с...— продолжал немец-офицер тихо и подобострастно,— возмня о себе, не полагает уже предела своим вожделениям и ныне возмечтал быть супругом императрицы.

— Ну? Ну? Верно. Дальше что?

— Все, сударыня!

— Как все?! — воскликнула Марья Саввишна.

Офицер немножко смутился.

— Как все?! — повторила женщина.— Главное-то ты, стало быть, и забыл?

— Простите, а по-моему, все, что вы приказали, я в точности исполнил

— Помилуй, голубчик! Главное-то, главное. Как государыня-то на это смотрит? Сама-то она что говорит?

— Виноват-с, вы меня перебили, а то бы я и это вам передал. Это я тоже-с доподлинно и как вы сказывали, чуть не вашими словами говорил Сама-де государыня очень этим обижена, тяготится, опасается господ Орловых и их всяких клевретов, но что, собственно, выходить замуж считает для своей особы царской неблагоприличным.

— Ну вот, умница! А я уж испугалась, что ты главное-то и позабыл.

— Как можно, Марья Саввишна! Да это, собственно, и подействовало на всех Не скажи я этого, так, пожалуй бы, все эти господа и шуметь бы не стали. А именно когда я им пояснил, что ее императорское величество обижается, считает для своей особы оное совсем неподходящим делом, чтобы бракосочетаться с простым дворянином, хотя бы князем Римской империи... Тут-то все и пошло... Гурьев один, старший, заорал, и даже громогласно: «Ах, мол, разбойники! Мало им денег, мало им почета! Они вот что выдумали! Не бывать этому. А если этакое совершится, то мы бунт учиним. Выйдет царица замуж за дворянина простого, то мы Ивана Антоновича на престол посадим!»

— Что ты?! — ахнула Перекусихина.

— Точно так-с!

— Ну, это уж, значит, через край хватили! За это можно и улететь далеко, за такие слова...

— Так точно-с... Я все по правде докладываю.

— Но все-таки, чем же они кончили? На случай усиления сего слуха, что порешили делать?

— А когда слух усилится,— отвечал Обермиллер,— то многие из них хотят челобитье подавать государыне, чтобы она свою царскую особу не унижала браком с простым дворянином.

— Ну, вот умник ты, Карл Карлович! Так и продолжай! Ходи и по величайшему секрету сказывай! И помни главное, что, мол, господин Орлов упрямствует, грозится, а за ним его братья да разные приятели и многие клевреты. А государыня не знает, как ей быть, и рада, коли явится какое со стороны заступление, чтобы этому никогда не бывать. Ну, ступай! Спасибо тебе! Помни, я в долгу не останусь!

Но только помни опять, Карл Карлович, другое, то есть главное: коли пройдет слух, что мы с тобой этакие беседы ведем и что я, Марья Саввишна, тебя пустила с этим слухом к офицерам гвардии, то знай, будет тебе плохо! Не миновать тебе настоящей ссылки в сибирские пределы.

— Помилуйте, сударыня,— встрепенулся Обермиллер,— я все-таки не дурак, понимаю, что дело щекотливое. У меня не раз спрашивали, откуда я таковое знаю, и я ответствовал, что пускай меня в застенке пытают, а я не скажу, где прослышал. Впрочем, должен вам сказать, что помимо меня такой слух о возмечтаниях господина Орлова ходит по Москве. С другой стороны прибежал, а не от меня...

— Ну, это может быть! Может, ты не один узнал об этом! — усмехнулась Перекусихина не то лукаво, не то насмешливо.

Немец-офицер вышел, а Марья Саввишна, оставшись одна, задумалась.

Перекусихина была наперсницей, самым близким доверенным лицом и первой любимицей императрицы. Но этого мало..: Все, что было у вновь воцарившейся государыни тайной для самых близких ей лиц, не было тайной для Марьи Саввишны.

Зато и Перекусихина, когда-то случайно и неведомо откуда и как попавшая во дворец, с своей стороны обожала, боготворила не великую княгиню Екатерину Алексеевну и затем монархиню Екатерину II, а женщину-красавицу...

Официально она носила звание: камер-юнгферы, или камер-фрау, или наконец «девицы» при особе ее величества, титул особый, ставивший выше дворцовой прислуги.

XXIX

С грустью, почти со слезами на глазах офицер по званию, но еще недоросль характером, уступил своему дядьке и обещался забыть и думать о красавице пономарихе. «Обидно, смерть обидно»,— думалось Сашку. И вместе с тем он обещался познакомиться через Павла Максимовича Квощинского с семьей его брата и с девицей, которая нежданно-негаданно из-за него помирает от любви, уксус пьет и собирается в монастырь.

«Удивительно! Бывают же эдакие неожиданности на свете,— думал Сашок.— И спасибо еще, что она не худорожа»,— утешался он, вполне считая себя обязанным смиловаться над «помирающей».

Может быть, однако, он пособирался бы еще долго ехать знакомиться с семьей Квощинского, а Кузьмич тоже перестал бы науськивать, зная, что пономариха уже теперь не опасна, но случилось вдруг нечто, все ускорившее.

Среди дня, когда Сашок вернулся от Трубецкого и сел, как всегда, у окошка глазеть на пустой переулок, Кузьмич отпросился со двора.

— К Квощинским? — сказал молодой человек, ухмыляясь.

— Ну, да... Что же? — отозвался дядька.— Скажу Марфе Фоминишне, что ты будешь вскорости у них. Обрадую всех, а пуще всего бедную барышню... Перестанет помирать.

— Ступай. Ничего. Что ж! Я и впрямь соберусь к ним,— заявил Сашок уныло.— А то, поверишь ли, до чего стала меня тоска разбирать. Не токмо жениться, Кузьмич, а хоть удавиться готов.

— Тьфу! Типун тебе на язык! — воскликнул старик.— Нешто бракосочетаться то же, что удавиться?

— Нет. А я так к слову сказываю. Должно, и в самом деле пора жениться. А то уж очень тошно. Не знаешь, куда себя девать.

Кузьмич ушел со двора, а Сашок остался у окна и, глядя на улицу, где лишь изредка появлялись прохожие мещане, а проезжало за день всего два или три экипажа, начал подремывать.

Сашок не знал, долго ли продремал он, но вдруг, среди этой дремоты, он услышал чей-то голос и, открыв глаза, увидел под самым окном своим какую-то странную фигуру

Это была женщина, просто одетая, повязанная платком, но в ней, в ее лице было что-то, удивившее Сашка. Быстро сообразив, в чем дело, он объяснил себе:

«Уж очень не похожа на всех. Чернавка!»

Женщина, стоявшая под окном, была молода, очень смугла, с великолепными черными глазами и с темной верхней губой.

«Совсем будто усы!» — ахнул мысленно Сашок.

Женщина уже два или три раза повторяла все тот же вопрос, прежде чем Сашок, очнувшийся, а затем удивленный, собрался ответить.

— Здесь ли живет князь Козельский? — спрашивала она.

— Да. Да. Да...— спохватился, наконец, молодой малый.— Я князь Козельский.

— Ну, я так и полагала. Позвольте мне к вам войти. У меня к вам есть важное дело.

Сашок смутился от неожиданности и робко выговорил:

— Пожалуйте.

И, выйдя, он сам отворил дверь.

Незнакомка вошла в дом и сняла платок с головы. Молодой человек смотрел на нее во все глаза и дивился.

Это была красавица в полном смысле слова и, конечно, не русская.

«Должно, цыганка»,— подумал он.

Черные как смоль волосы, вьющиеся, будто взлохмаченные, казались целой шапкой на голове, черные тонкие брови и длинные ресницы оттеняли большие прелестные глаза. Но, несмотря на красоту, незнакомка произвела странное, скорее неприятное впечатление на молодого малого. Она улыбалась, а в ее улыбке, с этой темной губой, было что-то недоброе, невеселое.

«Эдакую не полюбишь. Не прельстишься. Ночью в лесу побоишься остаться!»— смутно возникло в голове его.

Действительно, в лице, взгляде и улыбке смуглой красавицы было что-то отталкивающее, подозрительное, зловещее.

Когда она села и заговорила, первое впечатление немного сгладилось и женщина казалась уже приятной. Вероятно, оттого, что голос ее был приятен, как-то звучен и мягок, как-то певуч и вкрадчив. Бархатный голос...

С первых слов «цыганки» Сашок стал все более удивляться. Незнакомка заявила, что пришла узнать от него, скоро ли приедет в Москву его приятель, князь Багреев, преображенец.

Сашок заявил, что у него такого приятеля никогда не бывало и он даже такой фамилии в Петербурге и в гвардии никогда не слыхал.

«Цыганка» удивилась и продолжала говорить и говорить. Но со странным акцентом и перевирая русские слова. И она уже не поясняла ничего, а выспрашивала у Сашка кое-что касающееся до него лично.

— Как не знаете? Да когда же вы приехали в Москву? Что думаете делать? Не поедете ли опять скоро в Петербург?

Сашок отвечал на ряд вопросов, но вместе с тем удивлялся, сообразив, что незнакомка, пришедшая по своему делу, выспрашивает его совсем о другом. При этом она зорко, пытливо глядела на него, не спуская глаз, будто хотела хорошенько рассмотреть его, узнать.

— Ну, извините, я ошиблась,— сказала она наконец и поднялась.

Сашок был даже доволен, что она собралась уходить. Эта красивая женщина своими глазами смущала его... Но не так, как пономариха или иная какая женщина. Она пронизывала его своими глазами, и если жгла, то неприятно жгла.

— Позвольте спросить? — решился Сашок на вопрос, который его уже давно занимал.— С кем же я имею честь разговаривать?

— Я не русская.

— Да. Это видать...

— Прощайте. Извините.

— А позвольте узнать ваше имя...

— Акулина Ивановна... Прощайте...

Сашок удивился, хотел сказать, что желает знать не имя, а фамилию и узнать, кто, собственно, гостья, но незнакомка, накинув снова платок на голову и снова скрестив его на лице так, что видны были одни глаза и нос, двинулась в переднюю. «Ну что ж! И не надо! Бог с ней»,— подумал он. Но в ту минуту, когда таинственная гостья сошла с подъезда, перед ней очутился, как из земли вырос, Кузьмич.

— Батюшки светы! — заорал старик на всю улицу, как если бы увидал самого черта.

Незнакомка невольно остановилась и удивленно смерила старика с головы до пят.

— Откуда? Зачем? Что такое?.. Чего вам? — закидал вопросами старик, но она, принимая его за прохожего, да еще, вероятно, не совсем в своем уме, двинулась и, молча пройдя мимо него, стала удаляться.

— Стой! Стой! Что такое?! — орал Кузьмич, совсем потерявшись.

Это было уже что-то сверхъестественное. Эта уже не чета пономарихе. Прямо наваждение дьявольское.

— Кузьмич. Кузьмич. Иди...— раздался голос Сашка.— Иди. Я тебе все поясню.

И когда пораженный дядька был уже в комнатах, Сашок передал ему все подробно.

— Не лжешь? — тревожно, пугливо, взволнованно произнес растерявшийся старик.

— Создатель мой! Да ты скоро ума решишься со своим безверием. Говорят тебе, шалая какая-то, или о двух головах девка. Да еще цыганка.

— Не шведка? Не та... Не Самля?

— Вот как! Альма в Самли попала!

Сашок покатился со смеху. И смех молодого малого, веселый, раскатистый и искренний, успокоил старика больше слов и объяснений.

Однако долго еще расспрашивал он питомца и в себя не мог прийти от удивления: кто эта гостья и зачем она была?

Объяснение Сашка показалось старику ребячески-наивным.

— Дите! Дите. Вот дите-то... Всему веру дает! — воскликал Кузьмич.— А я тебе, глупая твоя голова, сказываю, что это неспроста. Неспроста!

— Что же тогда? Кто ж она, по-твоему?

— Либо цыганка и украсть что хотела, да не пришлось. Либо... Либо вот с теми же пакостными мыслями, что и пономариха. К тебе подъехать, чтобы тебя загубить и осрамить.

Несмотря на уверения Сашка, что дядька ошибается, Кузьмич стоял на своем:

— Неспроста!

Наконец и молодой человек согласился с дядькой, что «цыганка» являлась неспроста и что зовут ее, конечно, не простым русским именем Акулина.

Старик между тем, сильно смущенный происшедшим, решил мысленно скорее и бесповоротно снарядить питомца знакомиться с Квощинскими. И скорее в храм Божий! Венчаться! Скорее! Вон какие времена пришли. Коли сам отрок богобоязненный и скромница, то его разные бабы, русские, шведские и цыганские, силком загубят.

И старик заявил вдруг, решаясь на ложь.

— Тебя завтра Павел Максимович ждать будет, чтобы вести в дом, познакомить со всеми.

— Что ты? — испугался Сашок.

— Да. Я ему докладывал. Будет ждать.

Молодой человек подумал, вздохнул и отозвался:

— Ну что же? Хорошо. Знакомиться так знакомиться. Все-таки скажу: Татьяна Петровна эта — пригожая. Она мне по душе. Не то что вот этот чумазый черт, что приходил. Красивая, слов нет, а прямо черт. Я бы на эдакой жениться побоялся.

— Еще бы!.. Эдакая ночью зубами горло перегрызет,— ответил Кузьмич убежденно.

XXX

А пока дядька и питомец объяснялись, недоумевали и удивлялись, что за странная гостья была у них, смуглая красавица, зайдя за угол первой улицы, подошла к поджидавшему ее молодцу, такому же черному, как она сама, и с виду тоже смахивающему на цыгана.

— Ну? — выговорил он, пристально глянув и блеснув красивыми глазами.

— Глупый совсем,— отозвалась она.

— Ну а как будет на глаза старого?

— На глаз моего прихотника, пожалуй, что совсем прелесть. Он эдаких любит Глупый, добрый, ласковый .. Так, щенок толсторылый. Кудрявая болонка . Для забавы, конечно, он ему годится. И поболе другого какого! — угрюмо проговорила красавица

— Как же тогда?

— То-то, как же! — задумчиво отозвалась она — Не знаю. Твое дело

— Да Мое. Ну что же! Не сробею. Да и не промахнусь. Только, говорю тебе, знаю верно Он по вечерам ни ногой никуда. Да и опять всегда верхом Пешком никогда. Ну, знаешь, верхового на коне полоснуть ножом не так-то просто. Высоконько. Пырнуть-то пырнешь, но толку никакого, только шкуру ему попортишь Надо будет это дело на все лады обмыслить. Ты все-таки не тужи. Так ли, сяк ли, а я берусь, коли ты говоришь, что он тебе помехой станет.

— Покуда он жив,— звонко и резко воскликнула красавица,— я ни за что отвечать не могу! Нынче так, а завтра эдак. Нынче благополучие совсем, а завтра и Бог весть что случиться может.

— Ну, стало, и толковать нечего! Начну мои подходы. Говорю тебе... Нельзя эдак, я наймусь к нему в услуги, за конюха... Нельзя будет его одного, то и дядьку прихвачу .. Что же? Кровь-то лить что из одного, что из-за дюжины — все равно один ответ. И пред людьми, и пред Богом. Твоя воля. Ты только скажи: нужно. И будет!

— Вестимо, нужно. Я же видела. Знаю теперь. Думала, худое для себя увижу... Ну, эдакого все ж таки не ждала. Щенок! А для него, прихотника, стало быть, ангельчик! Ну и выходит, рада не рада, а нужно.

— Ну и будет!! — шепнул молодец спокойно, но твердо.

Часть вторая

I

Был ясный сентябрьский день. Первопрестольная *шумела и ликовала... Близился давно ожидаемый* день торжественного въезда императрицы. От городской заставы у Тверских ворот до вотчины графа Разумовского было еще более людно и оживленно, чем на старых улицах Москвы. Кареты и тележки, всадники и пешеходы вереницами наполняли Ямскую слободу и поле между городом и селом Петровским.

У самого дома графа-гетмана стояло множество экипажей. Был большой прием, и апартаменты переполнились людом, сановниками и простыми дворянами-москвичами, явившимися представиться. В комнате, ближайшей к кабинету государыни, находилось около пяти-шести лиц, ожидавших очереди войти, после чего императрица должна была выйти к остальным. По докладу генерал-адъютанта Орлова одним из первых был принят воспитатель цесаревича — Панин. Войдя, он с низким поклоном подал целую тетрадь.

— Ваше величество. Вот прожект, который вы изволили указать написать. Постарался по мере сил и разумения. Могу только добавить на словах, что оное дело не терпит отлагательства, потому что...

— Постараюсь, Никита Иваныч, решить скорее,— любезно, но сухо отозвалась государыня и наклонила голову, отпуская...

Она положила тетрадь на стол, а Панин, нахмурясь, вышел. Вслед за ним вошел фельдмаршал Разумовский. Лицо императрицы сразу прояснилось.

— Рада вас видеть, Алексей Григорьевич. Вы ведь без дела, без просьбы и без злобы!

— Простите, ваше величество... Никакого дела. Только желал иметь счастие...— начал граф.

— Ну вот. И слава Богу. Рада вам, потому что вы явились ко мне для меня, а не для себя. Ну что скажете, дорогой мой?

— Да что же, милостивица. Скажу: Москва ждет не дождется увидеть царицу в богоспасаемом Кремле.

— Ах, Алексей Григорьевич, я и сама жду не дождусь священного коронования. Дни кажутся мне длинны, что года. Право, мнится, что я всю жизнь не забуду эти дни, проведенные здесь, в Петровском. Тяжелые дни. Заколдованные они, что ли?

— Простите, ваше величество. Не уразумею. Чем заколдованы?

— Скажите лучше, батюшка Алексей Григорьевич: кем.

— Кем?!

— Да. Кем, спросите. А я отвечу: всеми. Да, всеми! Да вот это одно чего стоит!

И государыня показала на тетрадь, лежащую на столе.

— Что ж такое, ваше величество?

— Это? Это насмешка. Это продерзость. Это — лежачего бить, как говорит пословица. Это умничанье умного, у которого ум за разум зашел. Вот что, дорогой Алексей Григорьевич. Я это прочту, а завтра вам пришлю. Вы прочтите, и мы побеседуем. Сочинитель сего мудрствования меня так уж горячо просил никому оного не показывать, что я твердо решила дать оное на обсуждение вам, графу-гетману, графу Воронцову, как канцлеру, князю Шаховскому, графу Бестужеву, старшему сенатору Неплюеву, генерал-фельдцейхмейстеру Вильбоа и еще двум близким мне персонам. Завтра будут сняты копии и я вам пришлю тоже. Такие дела не вершатся одним умом, а многими умами.

II

Дядька молодого князя Козельского был смущен...

— Господи, батюшка, царь небесный! Да, что же это за времена настали?! — восклицал, раздумывая, Кузьмич.— Прежде мужчина был вот, скажу например, волком, а баба, девка — овцой. А ныне времена пошли, что молодой дворянин, совсем дите еще, что овца. А на него со всех сторон лезут волки-бабы. И вот на моего Сашунчика, почитай, просто какая-то бабья облава. Помилуй Бог! Скорее надо, скореючи!

Рассуждения и страх дядьки основывались на том, что за последнее время он и видел и воображал, какой опасности подвергается его питомец. Только что он уберег питомца от духовной ракалии-пономарихи, как вдруг явилась какая-то цыганка. И эта уже в дом влезла без зазрения совести.

Затем к кухарке приходила в гости племянница и, увидав князя мельком, начала так им восторгаться, так расхваливать его красоту, что Кузьмич тотчас выгнал ее и запретил пускать в дом. Кухарка и племянница, желавшие главным образом угодить Ивану Кузьмичу своими похвалами, диву давались и только руками разводили, говоря:

— Вот тебе и угодили. Чудён старый! Что же, ругать, что ли, надо князя, чтобы он рад был?

Наконец, сам Сашок проговорился дядьке, что сестра княгини Трубецкой, к которой он послан был за табаком, будучи дома на этот раз одна, странно глядела на него и, чтобы передать ему табак, повела его в свою спальню. И там, смеясь, дала тавлинку для князя... Больше ничего не случилось! Но Кузьмич обмер при мысли, что «вольная вдова» заманила его питомца в свою спальню. И, конечно, прямо ради соблазна, а то зачем же?..

— Бесстыдница! — восклицал старик без конца.

И кончилось тем, что Кузьмич повторял мысленно от зари до зари: «Скорее! Скореючи!»

Дело было в том, чтобы скорее спровадить питомца знакомиться к Квощинским.

Разумеется, сам Сашок несколько смущался этим шагом, который казался ему решительным, и, может быть, стал бы откладывать. Появление цыганки в квартире, а вслед за тем приключение у Маловой, «заманившей» его в спальню, решило дело сразу.

Кузьмич побывал уже два раза у Квощинских, но вместе с тем зашел на поклон и к Павлу Максимовичу во флигель. Заявив в краткой беседе о том, что на дворе очень жарко, а вода в Москве просто кипяток, а барину Павлу Максимовичу на вид можно тридцать годов дать по его молодцеватости, старик очень понравился холостяку.

Вместе с тем дядька заявил официально, что его питомец просит разрешения явиться к Квощинскому не просто в гости, а с тем, чтобы Павел Максимович представил его своему братцу и всей фамилии.

Разумеется, Квощинский ожидал этой просьбы, когда увидал у себя старика дядьку. К тому же и Марфа Фоминишна давно предупредила его о посещении Кузьмича.

Наконец, через три дня после загадочного появления в квартире какой-то цыганки Сашок в парадной форме поя-

вился во флигеле на дворе дома Квощинских, а затем вместе с Павлом Максимовичем отправился и в дом.

Молодого человека приняли в гостиной Петр Максимович, Анна Ивановна и Таня.

Сам Квощинский был как будто удивлен появлением молодого князя. И довольно искусно удивлен. Анна Ивановна сплоховала, так как не привыкла лицедействовать. Она расспрашивала гостя, как его имя и отчество, где он квартирует, живет ли с рождения в Москве... Она удивилась, что он приехал из Петербурга не так давно, удивилась, что он сирота, а затем, разговорившись о чем-то, вдруг бухнула:

— А уж ваш Кузьмич чистое золото.

Петр Максимович, сидевший рядом с женой, толкнул ее ногой. Анна Ивановна спохватилась... Но Сашок положительно ничего не заметил. Он счел все расспросы женщины необходимыми по правилам светскости, а заявление о Кузьмиче совершенно естественным.

Таня сидела, не проронив ни словечка, опустив глаза и горя, как на угольях. Она то белела, то краснела, то опять белела. Раза два-три ей удалось искоса и вскользь взглянуть на Сашка, и после второго раза она уже была до смерти влюблена.

И глаза его, и золото кафтана, и тихий голос, и сабля, и «сиятельство» — все отуманило ее... И прежде, при свидании в церкви, князь показался ей красавцем, затем от расписываний Фоминишны голова начала кружиться, а теперь при знакомстве она, конечно, совсем разум потеряла. Но сам князь, почтительно отвечавший на расспросы Квощинских, не знал, какова Таня вблизи, так как ни разу не решился взглянуть на нее.

Посещение это, несмотря на простую беседу о разных мелочах, имело все-таки особое значение, было отчасти какое-то торжественное.

Когда молодой князь поднялся и стал раскланиваться. Квощинские, за исключением молодой девушки, проводили гостя через небольшую залу до дверей передней и в третий раз попросили «не оставить, бывать попросту».

Проходя по зале, Сашок увидел в дверях, открытых в коридор, три какие-то горчащие фигуры и в одной из них узнал нянюшку молодой Квощинской. Фигуры тянулись вперед, как бы стараясь, чтобы головы были поближе к зале, а туловища подальше.

В передней, где он надевал свой офицерский плащ, помимо трех лакеев, в таких же дверях в коридоре торчало уже несколько человек. Видны были только два туловища, полускрытые косяками, но над ними высовывалось более полудюжины голов...

С крыльца, садясь на лошадь, Сашок увидел, что из-за угла дома выглядывало еще человек пять бородатых холопов, кучера, форейторы, дворники, скороходы, самоварники...

Он понял, что вся дворня Квощинских выползла поглазеть на него как на жениха. По всем лицам, по открытым не в меру глазам и ртам видно было, что гость-князь — происшествие.

Действительно, когда Сашок съехал со двора, в доме пошел вьюн вьюном. Все забегали, весело охая и повествуя о своем впечатлении... Таня в коридоре повисла на шее своей Фоминишны и, обхватив, целовала ее и душила.

— Задавила! Дай вздохнуть... Задав...— отчаянно хрипела няня.

III

Сашок был доволен своим визитом, но недоволен тем, что почти не видал молодой девушки, не смея глядеть на нее. Только прощаясь, он глянул на нее вскользь и не остался доволен.

Теперь, едучи шагом по улице, он соображал вслух:

— В церкви она мне лучше показалась. Она эдакая белобрысенькая... Да и маловата. Да и сухопара... Куда ей до Катерины Ивановны... Вот красавица! Что небо от земли... И как это вот бывает на свете спутано! Что бы вот Катерине Ивановне быть девицей Квощинской. А этой Тане — быть пономарихой!

И Сашок вздохнул. Затем он вспомнил слова покойной тетки: «Ничего нет на свете превосходного, а все с изъяном. А произошло оное от грехопадения человеческого!»

Впрочем, Сашок, знавший это изречение тетушки наизусть, никогда не мог одолеть и усвоить себе ясно, что значит «грехопадение». Тетушка Осоргина объясняла ему не раз, что первые человеки на свете, Адам и Ева, упали во грехе, согрешили. Но как он еще отроком ни добивался, в чем согрешили эти самые «человеки», старая девица не могла объяснить, а только — по мнению Сашка — разводила турусы на колесах.

Однако молодой человек был все-таки доволен своим визитом, хотя бы потому, что его впервые в жизни приняли с почетом.

«Кабы видели товарищи и командир, которые звали меня пуганой канарейкой и княжной Александрой Никитишной!» — думал он с самодовольством.

Выехав на Арбатскую площадь, молодой человек стал соображать, что ему делать. Заехать домой переодеться из парадной в обыкновенную форму или ехать к начальнику, как

он есть. Подумав, он решил, что надо спешить, а то, пожалуй, княгиня окажется в зале и начнет браниться за опоздание.

Через четверть часа он уже сдал лошадь во дворе князя Трубецкого и вошел в дом...

На этот раз Сашок вступил в залу как-то степеннее и важнее, так как был еще под впечатлением почета, с которым его принимали Квощинские.

Но едва молодой человек сел на стул в углу зала, в ожидании, что его позовет к себе князь, как услыхал в парадных комнатах какую-то страшную возню и голоса людей... Но всех и все покрывало командование самой княгини:

— Олухи! Черти окаянные! Ведмеди! Михайлы Иванычи косолапые!.. Авдюшка, не зевай!.. Сафрон, не налегай, как бык!.. Васька, подсобляй, сопляк!.. Миколай, пузо-то убери свое!.. Продавишь, леший!..

Возня и голоса приближались к зале постепенно. Послышались шуршанье ног, робкие голоса вперебивку и зычный голос княгини:

— Какой раз тебе я сказываю, чтобы ты пузо убрал. Продавишь — в степную вотчину, на скотный двор! Говорила вам: зови еще двух хамов.

И в дверях, наконец, появилась кучка дворовых, которые медленно и осторожно тащили огромное фортепьяно. В дверях снова явилась задержка. Тяжелый, массивный, широких размеров инструмент не пролезал вместе с людьми. Пришлось снова взяться лишь за два конца. При этом середина как-то скрипнула.

— Треснет коли... Все в солдаты улетите! — ахнула княгиня.— Вам, лешим, дела нет, что клавикордам тыща рублей цена. Прямые ведмеди, олухи, черти!..

И вдруг, завидя офицера поверх фортепьяно и голов людей, княгиня крикнула:

— Эй, воробей! Иди-ка, подсоби.

Сашок, вставший со стула, шелохнулся от изумления, но не двинулся, полагая, что он ослышался.

— Ну, что же? Не слышишь? Говорят тебе, подсоби. Видишь, тяжело...

Сашок, с кивером в руках, приблизился и, смутясь от неожиданного приказания, совсем неподходящего, не знал, что и ответить.

— Оглох ты!— крикнула княгиня, уже обойдя фортепьяно и наступая на адъютанта.— Клавикордам, слышь, цены нету, а они, мужичье... Берись сзади и правь..

— Княгиня, я — в звании офицера...— начал Сашок.

— Что? Что?!

— Как офицер, я не могу... Да и во всем параде, при всей амуниции...

— Ах ты, мамуниция!.. Да я тебя... Слышишь, берись!

И, видя, что Сашок стоит истуканом, княгиня выхватила у него кивер, а другой рукой ухватила за обшлага мундира и пихнула его к фортепьяно.

Сашок наткнулся на лакея и, потерявшись окончательно от оскорбительного приказания, взялся руками за бок фортепьяно. Он покраснел и тяжело дышал от обиды.

— Не примеривай, а неси! — вскрикнула княгиня, пуще сердясь.

— Я несу-с...— ворчнул Сашок.

— Врешь! Притворяешься... Вижу ведь. Меня не надуешь... Тащи, как следует, не то — вот, ей-Богу... Хоть ты и офицер... А вот, ей-Богу...

И женщина, подойдя близко к нагнувшемуся Сашку, как-то помахивала руками.

«Вдруг, ударит? — мелькнуло в голове молодого малого.— При людях!»

И он, пригибаясь, схватился за фортепьяно изо всех сил. В то же мгновение раздался какой-то странный звук. Люди единодушно встали, опустили фортепьяно на пол и переглядывались. Княгиня тоже слышала странный звук и тревожно оглядывала инструмент.

— Ну вот-с!..— выговорил Сашок, выпрямляясь.— Покорнейше вас благодарю. Как я теперь домой поеду?

У офицера под фалдами от натуги лопнули узкие парадные панталоны.

Княгиня обошла его, оглядела и выговорила сумрачно:

— Толст не в меру Вот на тебе одежа и трескается. Ну, уходи. Не глядеть же мне, даме, на эдакое.

Сашок вышел, озлобленный, из дому. Верхом ехать было нельзя, так как белье виднелось между красных отворотов фалд мундира. Он доехал домой на извозчике и послал Тита за своей лошадью, оставленной у Трубецкого.

И молодой князь, и Кузьмич были одинаково возмущены приключением и целый день говорили только о княгине Серафиме Григорьевне.

Сашок повторял, что он дворянин и офицер, и хотя клавикорды — не шкаф и не сундук, а предмет более важный, но все-таки заставлять его эдакое дело делать — прямо самовластие, и притом самовластие дурашной бабы.

Кузьмич соглашался насчет этой стороны вопроса, но главное для него было в другом. Панталоны были дорогие — из аглицкой сермяги. А они лопнули не по шву, а по правой половинке. Кузьмич то и дело разглядывал большую прореху, трогал пальцами, приставлял края, охал и головой качал.

Ввечеру дядька был поражен заявлением питомца.

— Знаешь ты, что такое дворянин и что такое офицер гвардии? — спросил Сашок Кузьмича почти печальным голосом.

— Ты это насчет чего же? — отозвался старик.

— А вот ответствуй на мои слова.

— Нет, ты, князинька, не мудри и меня не сшибай на сторону. Я и так из-за твоих панталошек мысли растерял. Ведь они по пяти рублей аршин плачены, и опять портняга-подлец три рубля за шитво взял...

— А я тебе скажу... Я — князь Козельский, и старинный дворянин, и офицер измайловский. Стало быть, как же мне с хамами клавикорды таскать? Это есть унизительское для меня приказание бабы, которая сама не знает, что можно офицеру и чего никак нельзя. Что ж после этого ожидать? Ведь она меня не нынче, так завтра заставит полы мыть.

— Кто ж про это говорит. Княгиня, а дура.

— Именно — дура... Дурафья... Что же делать?

— Как что делать? Не мыть.

— Что?

— Не мыть, говорю.

— Что мыть? — не понял Сашок.

— А полы, как ты сказываешь.

— Я не про то, Кузьмич. А я в отставку подам.

— Как в отставку?!

— А так. Скажу князю, что я не могу эдак. Я для ординарных услуг у него, а не затем, чтобы в дворовых состоять.

Кузьмич ничего не ответил, но сильно испугался решения питомца. Если в отставку, то, стало быть, в Питер ступай. А бракосочетание?

И, не сказавшись, старик ранехонько сбегал в Кремль помолиться святым угодникам, чтобы отвратили они надвинувшуюся нежданно беду.

И молитва дядьки была услышана — тотчас же.

IV

Наутро рано к маленькому домику, который занимал офицер, подъехала карета. И Сашок и Кузьмич удивились, кто может быть этот гость. Но затем, когда они увидали господина, вылезающего при помощи двух лакеев из экипажа, то и старик и молодой человек ахнули и обрадовались. Кузьмич бросился на крыльцо, а Сашок вслед за ним.

Приезжий был единственный близкий человек Сашка в Москве, которому он был многим обязан. Это оказался Ро-

манов. Посещение молодого человека стариком было необычно, следовательно, должен был существовать какой-нибудь важный мотив.

Быстро сообразив это, Сашок несколько смутился. Он догадался, что посещение Романова связано с тем казусом, который приключился с ним в доме князя Трубецкого.

«Наверно, княгиня пожаловалась! — подумал Сашок.— Ну что ж, я все-таки считаю себя правым. Невежество приключилось от натуги. Она скорее виновата, а не я».

Сашок встретил Романова на ступенях с крыльца. Гость обнял молодого человека и выговорил:

— Я к тебе с важным делом, должен твоему сиятельству нечто объяснить и очень важное посоветовать. И вперед ожидаю, что ты моему совету человека добротворствующего не откажешься повиноваться.

«Ну, так! — подумал про себя Сашок.— Княгиня нажаловалась! Нешто можно за панталоны ответствовать, как за самого себя?» Когда гость уже был на диване в гостиной, а Сашок уселся против него, отчасти смущенный, Романов начал было говорить, но остановился и произнес:

— А Иван Кузьмич где? И его надо сюда! Твоя покойная тетушка всегда призывала его на семейное совещание, когда дело о тебе шло, стало быть, и теперь Кузьмич должен присутствовать.

И Романов крикнул на всю квартиру:

— Кузьмич, куда провалился? Пожалуй сюда!

— Иду-с! — отозвался Кузьмич, который сидел в прихожей с намерением прислушаться к разговору гостя.

Когда старик появился на пороге, Романов обернулся к Сашку и спросил:

— Ну а как же теперь? Сажать его или стоять будет? Ведь с тобой-то он, поди, сидит?

— Сидит! — отозвался Сашок, улыбаясь.

— Ну а при мне у твоей тетушки он частенько сидел. Ну, стало быть, Кузьмич, возьми стульчик, поставь и садись!

— Нет, зачем? И постою...— отозвался старик.

— Садись, говорят!

— Нет, Роман Романович, увольте! Ин бывает, можно сесть, а ин бывает, не след.

— Ну, как знаешь! Беседа недолгая... А ты выслушай, а затем нам свое мнение доложишь. Вот с чем я к тебе. Александр Никитич: есть у тебя дядюшка?..

Сашок удивился и даже глаза выпятил.

— Ну, что же, ответствуй! Дядюшка-то ведь есть у тебя? И здесь в Москве теперь...

— Сказывали мне, но я...

— И ты, зная, что он в Москве, зачем же к нему не отправишься с поклоном? А ты, Кузьмич — человек пожилой, как же ты своего выходца не снарядил и не отправил? Ведь это неуважительная неблагопристойность.

Наступило молчание. Сашок не знал, что ответить, а Кузьмич был настолько озадачен, что, взятый врасплох, думал: «Как же в самом деле так? .»

— Скажи-ка ты мне, Кузьмич, как, по-твоему, хорошо это? В городе находится единственный близкий родственник молодого барина, и он к нему не отправляется, ему на него наплевать! Разве такое непочтение позволительно? Чего же он ждет? Что князь Александр Алексеевич сам к нему с поклоном приедет?

— Виноват, Роман Романович! Вижу я теперь, что и я в таких дураках состою, каких мало на конюшне розгами наказывать Прямо сказываю, и в уме у меня не было ничего такого! Узнал я, что князь Александр Алексеевич в Москве, и не подумал, что нам следует сейчас делать. Я только докладывал князиньке, спрашивал, как нам быть, а он отвечал — «не знаю»

— Действительно, Роман Романович, я и вам так объясню Мое суждение такое, что мне нельзя к дядюшке ехать.

— Как нельзя?

— Ведь он же всю мою жизнь меня видеть не желал, завсегда относился ко мне особливо недоброжелательно, точно я чем провинился перед ним. И вот, когда мы узнали с Кузьмичом, что дядюшка в Москве, мы и решили, что ехать мне к дядюшке не следует. Он может меня не принять, выслать мне сказать что-либо нехорошее, а я — офицер.

— Верно ли? Так ли это?

— Точно так! — отозвался Кузьмич за своего питомца.— Именно так! Да ничего другого и быть не может.

— Ну, так вот что я тебе приехал сказать: твоему сиятельству одеваться в парадный кафтан, нацеплять всю амуницию парадную и отправляться к дядюшке. И прикажи доложить, что приехал, мол, князь Александр Никитич Козельский с достодолжным почтением к своему дядюшке. А если раньше не был по долгу своему родственному, то якобы из-за болезни и лежания в постели. Так и соври! Делать нечего! Поедешь? Что же?..

— Да я, право, не знаю, Роман Романович ..

— Ну, слушай! Ты знаешь, что я был близким приятелем твоей покойной тетушки, знаешь, что я тебя люблю, все, что мог, для тебя сделал. И если ты моего теперешнего совета не послушаешься, то ноги моей у тебя не будет! А

ты, Кузьмич, если не настоишь на том, чтобы твой барин ехал к дядюшке, то докажешь мне этим, что ты...

— Дурак из дураков! — добавил Кузьмич.

— Верно!

— Я вот, Роман Романович, и ответствую: ни я, ни князинька дураками не будем. По совету вашему он у меня оденется и пойдет.

— Так ли? — спросил Романов, глядя на Сашка.

— Если вы советуете, то, конечно, я готов. Только... как же быть, если дядюшка вышлет мне сказать что-нибудь оскорбительное?

— Ладно! Это мы увидим! Вот что, родной мой...

Романов хлопнул молодого человека по плечу и выговорил тише:

— Если Роман Романович советует что молодцу, которого любит, то, надо полагать, он знает, что делает. Я, может быть, вперед знаю, как тебя твой дядюшка примет... Ну, мне не время, на службу пора!

Расцеловавшись с молодым человеком и провожаемый им до самого экипажа, Романов сел в карету и, уже отъезжая, крикнул:

— Ну! Не откладывай! Да вот что... От дядюшки заезжай ко мне рассказать, как он тебя в три метлы принял! Понял?

— Понял! — отозвался Сашок.

И пока карета удалялась, он стоял в недоумении, несколько разинув рот, и размышлял о последних словах: «Как же так — в три метлы?.. Зачем же тогда ехать?»

— Чего ты? — раздался за ним голос Кузьмича.— Нешто не понял, что Роман Романович шутки шутит? Нешто станет он посылать тебя на обиду? А ты лучше скажи: со штанишками-то парадными как быть? Штопать скорее надо

V

У подъезда большого дома князя Козельского стояла запряженная тележка для самого князя. В качестве важного дворянина Козельский всегда выезжал в большой карете с двумя лакеями на запятках и цугом в шесть коней.

Когда запрягалась и подавалась для выезда одиночка, иногда приличная, а иногда и совсем невозможная, с рваной сбруей на тощей кляче, то все в доме знали, что князь едет «чудить» по Москве. Впрочем, два кучера, выезжавшие с барином на тележке, молчали, как немые, когда их расспрашивала дворня о том, где князь был и что делал. Это был строжайший приказ барина — не болтать. Зато толстый и важ-

ный кучер Гаврила, выезжавший с князем в карете с гербами, получал менее жалованья и был менее близким и доверенным лицом князя, чем кучера Игнат и Семен, выезжавшие с тележкой, иногда в драных кафтанах и шапках. Они были очевидцами «чудес» барина и были поэтому любимцами.

Князь поехал на этот раз далеко от себя, поблизости от палат фельдмаршала Разумовского, на Гороховое поле. Здесь в глухом переулке он вместе с Семеном разыскал дом по данному адресу, а в глубине грязного топкого двора нашел и мужика.

— Где у вас тут живет вдова Леухина?— спросил он, пока молодец и ражий детина Семен остался ждать барина на улице. Во дворе можно было утопить коня.

Мужик указал на лачугу, куда князь поднялся по темной и грязной лестнице и очутился в смрадной комнате. Молодая женщина, худая, болезненная на вид, встретила его, недоумевая. Двое детей-оборвышей, девочка и мальчик, дико таращили глазенки на незнакомого господина.

Оглядевшись, *князь обратился к женщине с вопросом*:

— Ваша как фамилия, сударыня моя?

— Леухина.

— А это ваши дети?

— Да-с.

— Вы, сказывали мне люди, в нужде большой?

— Да-с... Совсем плохо приходится, и если...

— Почти есть нечего?..

— Черным хлебом обходимся, милостивый барин. Когда есть. А то и хлеба нет. Мне бы самой одной...

— Погодите. Не расписывайте. Отвечайте только на вопросы,— перебил князь.

— Слушаю-с.

— Горничная есть у вас?

— Нету-с... Было и трое холопов, да когда...

— Прошу вас, сударыня, вторично не болтать, а отвечать кратко и толково на то, что я буду у вас спрашивать... Стало быть, всякое прислужническое дело и себе и детям вы сами справляете.

— Точно так-с.

— Давно ли вы в эдаком положении?

— Вот уже скоро год... Сначала было...

— Чего бы вы желали?

— Как то есть?

— Я спрашиваю, чего бы вы желали себе теперь?

Женщина глядела удивленно.

— Неужели, сударыня, нельзя ответить на такой простой вопрос? Чего бы вы желали себе?

— Дети совсем впроголодь, и если можно...

— Получив немного денег,— продолжал за нее князь,— вы бы прежде всего озаботились их накормить?

— Да-с.

— Прекрасно. Деньги сейчас будут... Погодите, помолчите... Белье и платье есть у вас?.. Или вот только то одно, что на вас теперь?

— Одна перемена белья и у детей, и у меня..

— Прекрасно. Квартира сырая...

— Теперь ничего, а зимой — беда...

— Ну-с. Желали бы вы иметь должность с жалованьем? Или вы ленивы и предпочитаете бедствовать и жить подачками?

— Я была бы счастливейшим человеком! — воскликнула Леухина.— Если бы я могла работать и иметь пропитание для детей... Но я дворянка... Я не могу идти в ключницы .. Воля ваша... Стыдно.

— Верно, сударыня. Верно. Но должность и занятие подходящие — примете?

— Счастлива буду, сударь... Мы уже третий день голодаем совсем.

Мальчик смело приблизился к князю, дернул его за сюртук и, закинув назад головку, чтобы видеть его лицо, сказал:

— Дяденька. Дай хлебца.

— Сейчас, сейчас будет и хлебец и варенья,— улыбнулся князь.

— Какое варенье,— отозвалась женщина.— И есть нечего. И надеть нечего.

— Все это сейчас будет,— сказал князь — Все это немудрено устроить. Потихонечку, понемножечку все наладится. А покуда собирайтесь-ка со мной! Пожитков и рухляди у вас, как я вижу, немного, почти ничего нет!

— Какие же пожитки? — отозвалась Леухина.— Что и было — продала, а то бы мы совсем с голоду померли.

— Так самое лучшее, сударыня моя, не берите ничего. Все, что я вижу, лучше оставить тут.

Князь высунулся в окошко и крикнул Семену через двор:

— Поезжай и приведи извозчика!

Семен вместо того, чтобы двинуться, обернулся и начал махать рукой. Далеко послышалось громыхание дрожек, и у ворот показался извозчик.

— Ну-с, пожалуйте! Забирайте ребятишек — и поедемте!

— Куда же-с? — отчасти робко спросила женщина.

— Это, моя сударынька, не ваше дело! Ведь не резать же я вас повезу Я приехал помочь. Коли желаете из беды выкарабкаться, то и повинуйтесь!

И через минут пять князь садился на свои дрожки, а Леухина с детьми и с узелком садилась на извозчика.

— В Тверскую гостиницу? — спросил кучер, когда князь сел.

— Вишь, какой умный, сам догадался!

— Мудреное дело. Как же не догадаться,— отозвался Семен,— завсегда ведь этак же!

И тихой рысью, чтобы не дать извозчику отстать, князь двинулся и только через час был на краю Тверской, где начиналась Ямская слобода. Он остановился у крыльца большого двухэтажного постоялого двора, рядом с ямским двором вольных ямщиков, нанимаемых во все ближайшие к Москве города. С этого двора съезжали постоянно на «вольных» в Тверь, в Калугу, во Владимир, в Рязань и во все города, которые были не далее двухсот верст расстояния.

Князь вышел первым и спросил:

— Где Спиридон Иванович?

Но едва он назвал это имя, как пожилой мужик вышел к нему навстречу с поклоном.

— Господину Князеву наше почтение! Комнаты нужны-с?

— Верно-с! — отозвался «господин Князев», то есть князь

— Прикажете те же самые две, что прошлый раз брали?

— Отлично, давайте! Хотя можно и одной обойтись. Видите, всего одна барынька с двумя ребятишками.

И через несколько минут Леухина с детьми была уже в простой, но чистой комнате постоялого двора, который величался гостиницей.

Через четверть часа новым постояльцам подали обедать.

— Ну, вот-с и ваше помещение! Спрашивайте, что вам нужно, кушайте на здоровье и помните одно: все, что нынче или завтра к вам доставят сюда, все то будет ваше собственное. Сегодня вам доставят белье.

Выйдя и садясь в дрожки, князь сказал провожавшему его хозяину:

— Ну, Спиридон Иванович, кормите на убой! Слышите!

— Уж положитесь на меня, господин Князев,— ответил тот — Я — человек с совестью. И не первый раз, да и не последний, конечно. Поверьте, что всех несчастных, коих вы у меня помещаете, я держу на особом положении. Все лучшее им отпускается. Если я сам, по моему малому состоянию, не могу благодетельствовать, то я хоть помогать в благородном деле стараюсь.

Князь приказал кучеру ехать и прибавил:

— В разбойное место...

Через несколько минут дрожки остановились пред большим зданием Верхнего суда, и князь, войдя по большой

лестнице, очутился в прихожей, где, как и всегда, сидела куча просителей. Князь разыскал чиновника и попросил доложить о себе главному начальнику. Через минуту он уже входил в его кабинет.

— Что прикажете, дорогой мой? — сказал Роман Романович, вставая навстречу.

— А вот что, дорогой мой уже давненько, кажется, с месяц, что ли, толковали мы с вами об этом самом здании. Я сказывал, что все-то у вас грабители, душегубы, разбойники, а вы сказывали, что есть у вас и хорошие люди. Так ли?

— Так! Так! — рассмеялся Романов

— Называл я вам главного грабителя, господина Скрябина, а вы даже как будто обиделись, говоря, что это клевета и что господин Скрябин не такой совсем, а якобы ваша правая рука. Так ли?

— Ну нет, князь, правой рукой я его не называл, а говорил, что он человек хороший, знающий свое дело и уж во всяком случае честный. Припоминается мне, что разговор наш шел о лихоимцах. Ну, вот я вам на это и ответил, что другой кто, может быть, у меня тут и прихрамывает на этот счет, а Скрябин человек честный.

— Ну вот, больше мне ничего и не надо. Пожалуйте, выслушайте... Тому сколько-то дней, я добился чести переговорить лично с господином заседателем и дал ему из рук в руки пять тысяч рублей за то, чтобы завершить дело в пользу ябедника и в ущерб правого Скрябин взялся за дело так усердно, что мой правый уже нищ Разумеется, он принял взятку не от князя Козельского, а от господина Телятева, коего я изобразил.

Романов глядел изумленно в лицо князя

— Если не верите, Роман Романович, то выслушайте дальше все по порядку. И не одно, а два дела. Одно Баташева, а другое госпожи Калининой

И князь передал обе тяжбы подробно

— Да зачем же, князь, вы вмешались в пользу неправой стороны и повернули дело сами, деньгами, взяткой, в ущерб правого . Это уж совсем удивительно

— А затем, Роман Романович, чтобы иметь верные доказательства, что деньгами можно заставить вашего Скрябина живого человека в землю зарыть. Дело Баташева тому образчик и доказательство А затем, желание мое сердечное, кровное, избавить Москву от Скрябина.

Романов, озадаченный, переменился даже в лице и, очевидно, сильно взволновался

— Я вам во всем верю на слово, князь,— признаюсь, это для меня некоторого рода удар.

— Так пожалуйте сейчас к нему, и докажем все, приказав поличное подать. Оба дела кляузных, разбойных...

— Нет, князь, это совсем не нужно,— вздохнул Романов.— Я его вызову сюда... А покуда два слова о нашем деле. Я был у Александра Никитича, он боялся обиды от вас, оскорбления. А теперь будет тотчас же. Я заезжал от него к вам, сказать вам, но не застал вас дома.

— Спасибо вам. А сейчас, при мне же, побеседуйте с господином Скрябиным,— ответил князь, усмехаясь. Он боялся, как бы дело это не отложилось.

Романов высунулся в дверь и приказал позвать к себе главного заседателя. Через минуту появился чиновник, но вид у него теперь уже был совсем иной. Важности, которая была в нем, когда он беседовал с просителем Телятевым, не было и в помине. Явившись к главному своему начальнику, он остановился у порога, руки по швам.

— Притворите двери плотнее! — выговорил Романов несколько сурово.— Объясните, господин Скрябин, что, собственно, на днях произошло между вами и князем?

Чиновник вытаращил глаза, поглядел на начальника и выговорил:

— С каким князем, ваше превосходительство?

— А вот с этим самым князем! — показал старик на своего гостя.

Скрябин глядел поочередно на начальника и на господина Телятева, оказавшегося князем, и, наконец, произнес:

— Я не понимаю-с, извините!

— Позвольте мне вкратце объяснить! — сказал князь.— Именуя себя Телятевым, я на прошлых днях передал господину Скрябину пять тысяч рублей в качестве простой взятки. Следовательно, Скрябин — лихоимец! Вот в чем заключается все дело! Соизвольте, ваше превосходительство, спросить у него, получил ли он пять тысяч по делу Баташева и как дело решено теперь.

Романов обратился к чиновнику и выговорил:

— Правда ли все это?

— Ваше превосходительство, это недоразумение... Они очень просили, а я, виноват, из жалости решился... Они просили ходатая, это для ходатая... по делу секунд-майора...

— Довольно! Вы признаете, что деньги получили?

— Но, ваше превосходительство...

— У вас ли деньги? Или истрачены? Переданы?

— У меня-с...

— Ну-с, ступайте домой и пришлите мне их тотчас сюда, а сами подайте рапорт о болезни. Болеть вы будете месяца два, а за это время приискивайте себе должность где хотите.

— Ваше превосходительство!..— вскрикнул Скрябин.— Я могу объяснить...

— Ступайте вон! Я сам делом займусь...

— Ваше превосходительство! — захрипел Скрябин и упал на колени.

— Полноте! Полноте! — резко произнес Романов.— Со мной такими глупостями ничего не сделаете. Вставайте и выходите!

— Ваше превосходительство!

— Ступайте вон! — вскрикнул Романов.

Скрябин поднялся и, как бы ощупью или в темноте, нашел дверь и вывалился вон.

— А что вы думаете, дорогой мой? Ведь мне этого мерзавца жалко стало! — сказал вдруг князь.— Сам же я настряпал, да сам же тут и раскаялся. Впрочем, это так. Минута такая. Когда я подумаю, что вы сотни людей в Москве избавите от этого кровопийцы, то, конечно, стоит радоваться. Спасибо вам, однако, за то, что так много мне верите.

VI

Сашок волновался наутро, сильно робел и был тревожен. Он одевался, собираясь не к князю Трубецкому, а к дяде, князю Козельскому. Этот дядя всегда представлялся ему сказочным Кощеем, злыднем, «отвратительным» человеком, и стал представляться теперь еще страшнее. Вдобавок все случилось вдруг, и он не успел мысленно приготовиться к тому, чтобы предстать пред лицом человека, которого никогда не видал и о котором, кроме худого, ничего никогда не слыхал.

Через сутки после того, как Романов побывал у Сашка, молодой человек уже подъезжал к большому, великолепному дому в глубине двора. Отдав свою лошадь конюху, Сашок вошел и, встреченный швейцаром в епанче и с булавой, объявил свое имя.

Один из лакеев, по виду старший, особенно вежливо поклонившись князю, тотчас быстро побежал по парадной лестнице с докладом. Через полминуты он уже спускался обратно со словами:

— Пожалуйте! Князь приказал просить и сказать, что рад дорогому гостю, коего давно ожидает.

Сашок, ободренный этими словами, стал подниматься по лестнице, но все-таки чувствовал, что сильно робеет. Пройдя огромную залу, затем три парадные гостиные разных цветов, Сашок увидал в глубине лакея, стоящего у запертых дверей и, по-видимому, ожидающего его. При его приближении ла-

кей растворил дверь и посторонился. Сашок вошел. Мысленно он готовил фразу· «По долгу родственному и особливому почтению имею честь явиться к вам, дядюшка...»

Фраза была длинная, хорошо составленная дома, потом прибавленная в дороге, но теперь, когда Сашок переступил порог, все до последнего слова выскочило у него из головы. К нему навстречу шел высокий человек, статный, моложавый, в темном бархатном шлафроке. Он протянул руки, обнял молодого человека и расцеловался с ним трижды.

Но Сашок, глядевший дяде в лицо, был так ошеломлен, что стоял истуканом, вытаращив глаза и разинув рот.

— Удивился, голубчик? — выговорил князь.

Сашок двинул губами, но ничего произнести не мог

— Садись! Сейчас все узнаешь!

Удивление молодого человека объяснялось тем, что вместо дяди — князя Козельского перед ним был, не в поношенном платье, а в богатом шлафроке, Вавилон Ассирьевич Покуда.

Сашок ничего сообразить не мог и только изумлялся поразительному, неслыханному сходству двух людей. Мысль, что это тот же человек, не пришла ему на ум.

— Вот видишь ли, дорогой племянничек, ты ко мне с родственным уважением не ехал, а мне, твоему дяде, первому ехать к тебе не подобало Ну вот я и попросил вместо себя поехать к тебе Вавилона Ассирьевича. Но, правда, он тогда сказал тебе, что он Вавилон Ассирьевич Покуда. И потом может стать князем Александром Алексеевичем Козельским. Понял?

Сашок сообразил все, но, невольно вспомнив свою беседу с Вавилоном Ассирьевичем, снова запутался и ничего понять не мог

— Ты, небось, дивишься, зачем я был у тебя шутом с дурацким прозвищем?— заговорил князь.— Это мое дело! А теперь плюнь на все это и забудь! Теперь я хочу объяснить тебе, что жизнь человеческая не то же, что поле перейти, а затем в жизни человеческой чем дальше в лес, тем больше дров. Инако сказывать буду· ты молод, а я стар, ты только недавно прыгать начал, а я уже напрыгался всласть, умаялся. И если не собираюсь еще ложиться в гроб, то собираюсь сесть и сидеть. Ты одинок как перст, почитаешься сиротой. Я то же самое, тоже сирота. Родня мы с тобой близкая, ближе нельзя, разве что мне твоим отцом быть. Держал я тебя от себя вдалеке, как сказывают, в черном теле, будучи человеком богатым; допустил, чтобы ты жил в Питере в казарме; допустил вот, что ты теперь ко мне приехал не в экипаже цугом, как полагается князю Козельскому, а верхом, как самый простой офицер без достатка.

Ну вот, дорогой мой племянничек, и тезка, и крестник, теперь кто старое помянет, тому глаз вон. Теперь все пойдет на иной лад! И прежде всего ты должен не мешкая собрать все свои пожитки и переезжать сюда ко мне. Пока я в Москве, будешь со мной жить, а если меня нелегкая опять унесет куда-нибудь, хоть бы на край света, то дом сей со всем в нем находящимся и с полусотней холопов — все это будет в твоем распоряжении. При этом я назначу тебе месячное содержание на разные удовольствия, а лошади и экипажи и твои первейшие потребности — все это само по себе будет оплачиваться из моей конторы. Ну, поцелуемся и забудем все старое!

Сашок, совершенно пораженный тем, что он слышал, сидел, не двигаясь.

— Ну, поцелуемся! — повторил князь.

И, расцеловав снова три раза племянника, он рассмеялся.

— Что, небось все думаешь о Вавилоне Ассирьевиче? Не понимаешь сего казуса? А дело просто. Хочешь, я тебе поясню?

Сашок двинул языком и пролепетал что-то себе самому непонятное.

— Отойди, голубчик! Ишь ведь как тебя захватило! Оттереть, что ли, тебя? Был я у тебя затем, чтобы поглядеть на тебя, каков ты молодец, сам не сказываючись. Если бы ты мне пришелся не по душе, то я бы уехал и плюнул на тебя на всю мою жизнь, а ты бы и не знал, кто у тебя был. Ну а ты мне понравился. И вот произошло совершенно иное: ты теперь у меня. А кроме того, вспомни, голубчик, как ты меня обозвал, как изругал! Помнишь ли?

— Виноват, дядюшка,— заговорил наконец Сашок,— я не знал, что это вы.

— То-то и хорошо, что не знал! Кабы знал, тогда бы все прахом пошло, все бы я за комедию принял. То-то и хорошо, что не знал. Вот за то, что ты меня изругал, ты мне и стал люб. А помнишь ли ты, за что ты меня изругал?

Сашок стал соображать, вспоминать, но по лицу его видно было, что он не помнит.

— Вот видишь ли, добрый ты малый. Жалею я сердцем и душой, что так поздно с тобой познакомился! Ты и не помнишь того, что в тебе мне именно и понравилось? Тебе Вавилон Ассирьевич что предлагал?

— Не помню, дядюшка!

— Разве он тебе не говорил, что предлагает свои услуги, как твоего дядюшку Александра Алексеевича на тот свет отправить, чтобы наследовать от него? Вспомнил?

— Так точно!

— Ну вот, видишь ли, голубчик, я так полагаю, что много есть на свете молодых прыгунов-офицеров, которые бы, конечно, не согласились тоже сразу на такое предложение: богача дядюшку опоить или придушить! Но многие из них к этому делу отнеслись бы хладнокровно. В душе, тайно, им бы даже этакое и понравилось! По глазам бы можно было прочесть, что этакое нравится... А ты — истинный князь Козельский, прямой, честный и благородный, какие мы все были. И твой отец, и твой дед. Ты разгорелся, взбудоражился на этакое предложение и стал ругаться. И вспомнился мне, будто в тебе возродился мой родитель — твой дед. И лицом ты на него больше меня похож, да, очевидно, и нравом такой же — прямой и справедливый. Когда ты меня, вскочивши, начал ругать и чуть не в три шеи гнать из квартиры, я чуть-чуть не назвался. Хотелось мне тебя обнять, расцеловать.

VII

Едва только Сашок, радостный, вышел от дяди и уехал, как из верхнего этажа дома быстро двинулась к князю красивая молодая женщина, смуглая, с большими черными огненными глазами... Это была сожительница князя по имени Земфира. Она вошла в кабинет стремительно и как-то порывисто и, остановившись у порога, огляделась. Глаза ее с синими белками будто сверкнули. Убедясь, что князь один, она выговорила тихо и вместе с тем резко:

— Кто у вас был?

Князь поглядел на нее, помолчал и наконец произнес, подсмеиваясь:

— Была вся Москва... Третьего дня был дома именитый граф Бестужев-Рюмин-Сибирный.

— Я спрашиваю, кто у вас сейчас был?

— Сейчас? Ты знаешь сама. А иначе и не ворвалась бы, как ураган. Так ведь ты махнула юбками, что ветром подуло, насморк получить можно.

— Ну. Я знаю, кто был. Мне сказали. Но я не поверила и не верю. А поэтому и спрашиваю, чтобы вы мне сами сказали.

— Был князь Александр Никитич Козельский, мой племянник и крестник, красавец офицер, и по урождению своему, по характеру почище меня...

— Вот как?! — рассмеялась Земфира презрительно.

— Дура ты, дура! — вдруг ворчнул князь.

— Почему же это? Я же и дура... А не другой кто...

— Кто? Я, что ли, дурак, по-твоему?

— Так вас я обзывать не могу... Но, однако...— Земфира запнулась и прибавила: — Кто говорил всегда, что не пустит на порог своего дома мальчишку — вздыхателя по наследству?

— Знаю... Верно...— перебил князь.— Говорил... Не пущу к себе молокососа, который мой единственный прямой наследник и поэтому спит и видит, чтоб я помер без завещания... Говорил, Зефирочка. Говорил. А знаешь, почему я так говорил?..

— Ну-с? — вымолвила женщина, видя, что князь молчит и ждет ответа.

— Говорил... Потому что я был дурак. А теперь я вдруг поумнел... Хочу, чтобы у меня был поблизости, даже в моем доме, родственник, молодой, честный, добронравный... А главное, честный. На всякий случай пригодится такой. Надоело мне все с блюдолизами да с прихлебателями жить. Один подлее другого... Ну вот, душу и буду отводить с прямодушным родным племянником, у коего душа чистая.

— А вам кто это сказал?

— Что? Что его душа чистая? Мой нюх.

Земфира, знавшая хорошо по-русски и говорившая правильно, хотя с сильным акцентом чужеземки, все-таки не знала многих простых слов и теперь не поняла слова «нюх».

Князь объяснился. Красавица ничего не ответила, постояла среди комнаты, а затем молча вышла вон.

Прошлое этой женщины было совершенно темное. Когда-то она рассказала князю подробно все свое мыканье с детства, но впоследствии она столько раз видоизменяла свое повествование, что князь уже плохо верил в правдивость рассказа. Было даже неизвестно наверное, молдаванка она и христианка или же турчанка.

Единственное было верно, что Земфира была безродная. Вспоминая свое раннее детство, она не видела около себя ни отца, ни матери, ни кого-либо близкого. Будучи уже лет двенадцати, она узнала, что находится в числе других шести девочек на воспитании у старухи, злой, сварливой, от которой никто из девочек никогда не видал никакой ласки и от которой равно все получали только пинки и колотушки.

И в доме этом постоянно появлялись новые девочки десяти и двенадцати лет, причем исчезали те, которым было уже около пятнадцати. Чаще всего старуха охала и вздыхала о том, что Земфира и другие девочки слишком молоды. Долго ждать. В каком городе это происходило, Земфира не помнила, но говорили все по-молдавански.

Когда Земфире минуло четырнадцать лет, старуха стала ее брать с собой в большое здание, где бывало много народу и где продавалась всякая всячина. С двух-трех раз Земфира,

умная и хитрая, поняла, что она в этом большом здании тоже товар. Уже несколько раз подходили к старухе какие-то чужие люди, оглядывали внимательно Земфиру и потом толковали о деньгах. Это было главное торжище города.

Наконец однажды Земфира не вернулась со старухой домой, а отправилась в другой дом вслед за каким-то пожилым человеком. Она узнала, что куплена им за полтысячи червонцев.

— Это страшная цена! — говорил он ей.— Еще ни разу таких денег я не платил, а так как у меня правило каждый раз брать вдвое, то, вероятно, тебе долго придется прожить у меня, прежде чем найдется богач-покупатель.

У этого пожилого человека, которого все звали Юсуф, Земфире оказалось жить лучше. Она ходила уже не в лохмотьях, а в чистом платье. Юсуф не только не жалел денег на ее содержание, но настаивал, чтобы она больше ела и больше спала.

— Худощава ты, поправляйся скорей! — говорил Юсуф.— Справишься — тебе можно будет и пятнадцать лет дать на вид, а это важно. Таких тощих, как ты, никто не любит!

У Юсуфа бывали часто гости, но всегда мужчины. И почти все, которым Юсуф показывал Земфиру, оглядывали ее точно так же внимательно, как и тогда, когда старуха выводила ее на торжище.

Через месяц после того, как Земфира была у своего нового хозяина или владельца, у него появились еще две девушки почти ее лет. Одна из них была турчанка, другая сама не знала, кто она, и говорила на таком языке, которого никто не понимал, а сама она тоже не могла ничего объяснить и начала учить молдаванские слова. Земфира подружилась с ней.

Но не прошло еще месяца, как однажды утром Юсуф одел Земфиру, посадил в бричку с провожатым, дал один золотой, приказав его не потерять, и объяснил:

— Ну, прощай! Я на тебе, спасибо, нажил куш хороший! Будешь ты ехать весь день и всю ночь, по дороге где-нибудь отдохнешь, а завтра ты будешь в таком доме, что ахнешь...

И действительно, Земфира, переночевав где-то, очутилась через сутки в каком-то замке и, несмотря на то, что была от природы смелая, все-таки несколько оробела. Ей стало жутко. Прямо из экипажа она попала в красивую комнату, а рядом с ней была старуха, точь-в-точь такая же, как ее первая хозяйка-воспитательница. Только эта была еще старее и еще безобразнее.

Дом был переполнен народом — и господами, и слугами, но казалось, что все это не имело никакого сообщения с теми комнатами, в которых очутилась Земфира.

Через сутки молоденькая девушка, почти еще подросток, стала наложницей семидесятилетнего урода. Испуг и отчаяние ее были так велики, что она твердо решила бежать из этого дома при первом случае.

Так как старуха отнеслась ко вновь прибывшей девушке без малейшего подозрения, то случай представился тотчас же. На третий же день Земфира, выпущенная погулять, убежала... И бежала без оглядки, бежала с полудня до вечера.

Вечером ее приютили в какой-то деревушке добрые люди, крестьяне.

Через месяц она была снова в положении наложницы у богача-валаха. Это продолжалось около года, после чего Земфира, увлекшись молодым польским графом, уехала с ним и очутилась в Киеве. Увлечение это тоже скоро прошло. Слишком много разума и слишком мало сердца было в юной красавице.

Явился случайно проезжий богач, русский князь, и влюбился в нее. Земфира тотчас же последовала за ним. Это был князь Александр Алексеевич. Но в своих привязанностях к женщинам, встречавшимся в жизни, он был самый непостоянный человек. Случалось, что женщина, по которой он сходил с ума, через месяца два-три уже наскучивала ему настолько, что он только удивлялся, где у него были прежде глаза. Земфира этого не знала, но вскоре поняла, догадалась и приняла свои меры. Прирожденное лукавство стало в ней талантом. И теперь дело обстояло иначе. Уже лет семь, как в доме князя жила и «владычествовала», как он выражался полушутя, эта молодая и красивая молдаванка.

Красавица уверяла, что имя ее настоящее было Мария. Но ее еще девочкой звали почему-то всегда Земфирой. Узнав ее под этим именем, князь стал ее звать Зефира, теперь называл, ухмыляясь, «моя Зефирка». По его примеру, и вся Москва, узнавшая о существовании женщины в его доме, звала ее тоже «Зефиркой», но вместе с тем звала «молдашкой».

Умная и хитрая красавица сумела сначала глубоко привязать к себе пятидесятилетнего человека, а затем, когда первый пыл его страсти прошел, она сумела так устроиться, что не было и речи о том, чтобы расстаться. Или женщина была особенно искусна, или сам князь постарел. Впрочем, он считал, что эта молдаванка была единственной серьезной привязанностью в его жизни.

Если бы не его ненависть к браку, то, быть может, в начале связи он решился бы и жениться на ней. Такой другой княгини-хозяйки в доме трудно было бы и выдумать. Казалось, что красавица была рождена для того, чтобы первенствовать в столичном обществе.

Земфира была, конечно, на положении полной хозяйки и как бы законной жены князя. На больших парадных обедах и вечерах, которые он давал, она не присутствовала, но когда бывали у князя одни мужчины, она всегда появлялась и распоряжалась. Зная за последние годы, что князь бывает ей часто неверен, она относилась к этому совершенно равнодушно, но каждый раз обращала внимание исключительно на одно обстоятельство: что за женщина — новая прихоть князя.

Она совершенно не боялась красавиц, а боялась умных женщин. Иначе говоря, она боялась, чтобы какая-либо более хитрая искусница, чем она сама, не вытеснила бы ее окончательно и не заняла ее места.

Сначала Земфира долго и упорно, с большим искусством, старалась добиться, чтобы пожилой вдовец и богач женился на ней. Это было бы не стыдно князю, так как Земфиру можно было выдать происходящею якобы из дворянского молдавского рода. Она уже, будучи у князя, получила известное воспитание, не только была грамотна, но и говорила хорошо по-русски, и немножко по-французски, хорошо играла на мандолине, хорошо пела, а в особенности ловко и грациозно танцевала всякие характерные танцы. Изящество всей ее фигуры при красивом сложении, а равно и изящество всех движений были прирожденным даром. Выказывать свои таланты приходилось ей часто на вечерах, устраиваемых князем. Иногда она появлялась в каком-либо костюме, конечно, великолепном, и танцевала перед гостями. Танцами своими она всегда приводила всех в восторг.

Теперь Земфира отказалась окончательно от мысли выйти замуж за князя, так как, уступчивый во всем, он был на этот счет упрям. При малейшем намеке на женитьбу он выходил из себя и говорил грубо, резко, сердился настолько, что с трудом успокаивался через несколько часов. Он говорил:

— Всякий человек, который способен жениться, дурак, свинья, тварь, дубина, бревно...

Он объяснял свою женитьбу в двадцать пять лет тем, что приобрел огромное состояние за женой, и женился он на женщине много себя старше, чуть не вдвое, стало быть, понятно, что все дело было в деньгах

— Но жениться по любви — да разве я безумный! — кричал он — Да разве я глупая тварь какая?!..

И, не имея давно надежды сделаться княгиней Козельской, бессердечная и лукавая Земфира добивалась теперь иного — получить от князя большие деньги, даже очень большие, и при их помощи выйти замуж за русского дворянина, чтобы быть в другом положении, законном, приличном.

Однако и это дело не удавалось. Уже года с три, как князь обещал любимице подарить ей около пятидесяти тысяч, но дело все оттягивалось, и Земфира начинала опасаться, что и этого она достигнет, когда будет стара. Она рассчитывала, получив собственное состояние, уехать в Киев, выйти удачно замуж и сделаться членом дворянского общества.

С год назад она собралась покинуть князя, разумеется, она лукаво грозилась. Князь в ответ показал ей свое завещание. Умный и недоверчивый, подозрительный, он, как часто бывает, был и наивен. Земфира осталась и была счастлива... Но недолго...

В последнее время она стала особенно угрюма, задумчива и раздражительна. Она как будто выбилась из сил от терпения и ожидания. Она пришла к убеждению, что князь будет водить ее за нос, пока она совсем не состарится. И женщина чувствовала, что если она прежде относилась к пожилому князю равнодушно, хитрила с ним и лукавила, уверяя его, что она глубоко привязана к нему, то теперь в ней растет уже крепкое, сильное и злобное чувство отвращения к старому, себялюбивому и упрямому человеку.

«На что мне состояние в сорок лет!» — злобно говорила она себе. И Земфире приходило на ум нечто такое, чего бы прежде никогда не пришло. Она поставила себе давно цель в жизни — быть законной женой, дворянкой и богачкой. На пути к этой цели стоит этот человек Она же не из тех, что могут примириться и уступить. Надо, следовательно, во что бы то ни стало достигнуть цели! И что бы ни являлось помехой, все надо устранить, так или иначе! Хотя бы даже ценою преступления.«Только бы нашелся человек и помощник! — думалось ей.— Одной мудрено, а вдвоем дело пустяковое...»

Но, разумеется, такого помощника судьба долго не посылала Земфире. Только за последний год, странствуя за князем, она на юге России узнала молодого цыгана, сразу оценила его, поняла, что это за человек, и теперь тайком, конечно, видала его, так как дала ему средства приехать за ней в Москву и давала денег на существование. Существование, конечно, странное, темное...

Но вместе с тем Земфире посчастливилось еще иначе и недавно... Настоящий «помощник» нашелся.

Она познакомилась в Москве с молодым человеком, замечательно красивым, который по матери был ее соотечественником, но родился в Москве, и был вполне русский Только тип его лица говорил о южном происхождении

Молодой молдаванин, вернее, валах, был лекарем и имел небольшую практику, предпочитая, однако, лечить женщин,

и в особенности пожилых, или вдов, или одиноких. Разумеется, эта личность была тоже темная, как и цыган. И в известном смысле он был хуже цыгана. Фамилия его была, однако, самая обыкновенная, русская — Жуков.

Последнее время Земфира тоже тайно от князя ведалась с красавцем лекарем..

VIII

В тот же вечер Сашок снова явился к дяде, как тот приказал. Князь тотчас повел племянника показать апартаменты, которые ему предназначались. Они были в нижнем этаже с отдельным входом из швейцарской и особым задним выходом во двор. Комнат было четыре, больших и светлых, с особой передней, и, разумеется, меблировка была такая же богатая, как и во всем доме. В них, однако, никто еще никогда не жил. Некому было...

Обойдя комнаты, князь соображал, что нужно прибавить к обстановке, дабы его племянник ни в чем не нуждался. Затем, снова поднявшись к себе, князь занялся приготовлением своего ежедневного, давнишнего вечернего питья. Все было уже подано на стол. Горячая вода, ром, лимоны и сахар. Начав свою стряпню, князь, улыбаясь, показал Сашку на стул около себя

— Ну, мой любезный, объясни мне,— сказал он,— необходимое нечто. Знаешь ли ты, что у меня в доме, вверху, в отдельных апартаментах, живет некая особа? Знаешь ты это?

— Нет, дядюшка!

— Не слыхал?

— Нет, дядюшка!

— Не может этого быть! Тебе, верно, и тетушка сказывала, и Роман Романыч, вероятно, говорил, кто у меня пребывает, кто мне везде сопутствует. Особа женского пола.

— Ах да! — вспомнил Сашок

— Ну вот! Ну а звать знаешь как?

— Помню, сказывала тетушка давно — молдашка.

Князь рассмеялся

— Так! Так! Молдашка! А то и турчанка, а то и белая арапка, Бог ее ведает! Она и сама не знает Ну а как звать ее, знаешь?

— Знал, дядюшка, да забыл! А то и не знал .

— Земфира! Я зову Зефиркой, да и в Москве так стали звать Ну, вот ты с ней завтра познакомишься Она ничего, баба умная, красивая, только черна больно Как сказывается, девка-чернавка. Добрая — не скажу Тебе говорили, что добрая?

— Нет! — промычал Сашок, мотнув головой, и в то же время вспомнил слова, давно слышанные: «маленькая, черненькая, царапается и кусается!»

— Так вот, познакомишься. И прошу я тебя любить да жаловать. Она чудна, норовит всякого озлить. Такова уродилась! А еще я тебе скажу по правде, что наше с тобой заключение мира Земфире против шерстки пуще всего. За эти последние годы, если я не послал за тобой или не повидал тебя в полку, в Петербурге, проездом, то спасибо скажи Земфире. Теперь я вспоминаю, что рассказывали мне про какие-то твои два нехорошие действия, и вспоминаю, что узнал потом, что все это было вранье. А сказывала мне это, попросту сказать, сочинила, Земфира. Так вот видишь, теперь дело обстоит мудрено! Она и так добротой не отличается, а тебя ей Бог велел недолюбливать. А между тем я бы не желал в доме ссор. Хотелось бы мне, чтобы вы ужились в ладу Можешь ты постараться, чтобы этот лад был?

— Я, дядюшка, готов всей душой!

— Ну, так слушай... Побожись ты мне, что всякий раз, что бы ни приключилось между тобой и Земфирой, сейчас же иди и мне рассказывай. Чтобы я всегда знал все, как и что.

— Слушаю-с!

— Затем обещайся мне отнестись к ее поступкам с хладным разумом. Ты, как я вижу, обидчив, у тебя все на языке «дворянин да офицер». И это ты, конечно, здраво судишь. Так и следует князю Козельскому. Если ты обиделся на княгиню Трубецкую, то прав; но вот на Земфиру не обижайся. Коли что приключится, по здравому рассудку — наплюй! И каждый раз, как что приключится промеж вас, помни пословицу: «собака лает — ветер носит». Или еще и по-другому: «на всякий чих не наздравствуешься».

Сашок прислушивался внимательно к словам дяди, но при этом слушал молча и был озадачен. Он не раз слыхал о молдашке от своей тетки. Теперь приходилось знакомиться с этой молдашкой и стараться ладить с ней, а между тем сам дядя объяснил, что она злая и что не надо обращать внимания на нее. «Собака лает — ветер носит».

— Хорошо дяде это говорить,— думалось молодому малому — Начнет так лаять, что и не будешь знать, что делать. Он же первый этому лаю поверит, а я окажусь виноват.

Разумеется, молодой человек, как ни был наивен и простодушен, все-таки понимал, что в лице этой женщины, которую дядя рекомендовал сам как «злюку», он неминуемо должен встретить врага, и даже заклятого врага. Чем дядя будет с ним добрее, тем она будет злее. До сих пор она исполняла как бы должность самого близкого лица при кня-

зе-бобыле, теперь вдруг между нею и им становится родной племянник, однофамилец и вдобавок крестник.

И неминуемо начнется борьба!

И чем эта борьба может кончиться?.. В ответ на этот вопрос Сашок задумывался и вздыхал...

IX

Через два дня молодой князь был уже в доме дяди. Собраться и переехать было ему немудрено, так как все пожитки поместились на одной телеге Сам он приехал верхом и прошел в кабинет дяди, заявляя, что пожитки сейчас прибудут

Разумеется, Сашок, постоянно занятый теперь мыслью о трудности своего положения при князе Трубецком, рассказал дяде про последнее приключение с клавикордами. Князь Александр Алексеевич смеялся до упаду и этим удивил племянника. Однако когда Сашок заявил ему свое мнение, что дворянином и офицером так помыкать нельзя, князь согласился с ним.

— Я нахожусь при князе для ординарных услуг. Как теперь стали сказывать — ординарец. А выходит, что я у княгини на побегушках, и этак может приключиться, как я уже сказывал Кузьмичу, что меня княгиня заставит полы мыть.

Князь рассмеялся и сказал·

— Дурашная баба. Бьет холопов напропалую. Руки болят. Ее все в Москве знают... Добрая, но удержу не знает своему пылу. И прихотлива, что захотела — вынь да положь!

— Да-с. Сам генерал, князь, ее опасается.

— Мы с тобой об этом подумаем, обсудим. Может быть, я тебе и другое какое место найду А если после коронования государыни останется какой петербургский полк здесь, то устрою, чтобы тебе в него перейти.

Дядя и племянник разговаривали стоя. Князь ходил по своему кабинету, Сашок следовал за ним. Случайно они очутились около окна, выходящего на большой двор, в то мгновение, когда в ворота въехала тележка, на которой были два сундука, ящик и маленькая кровать. На облучке рядом с мужиком сидел Кузьмич.

— Вот он! — сказал Сашок.

Князь присмотрелся к въезжавшей тележке, и лицо его из веселого вдруг стало несколько сумрачным.

— Это твои пожитки? — сказал он.

— Да-с!

— Все твое имущество?

— Да-с!

Князь закачал головой.

— Как тут пояснить? — заговорил он тихо.— Мудрено! Устанавливается образ мыслей, как бы само собой, и думаешь, что прав, что рассуждаешь здраво. А потом, неведомо отчего, года ли, возраст преклонный, иное ли что, вдруг образ мыслей меняется... Оглянешься назад, на свой пройденный жизненный путь, удивишься, начнешь вот этак-то головой качать... Вот тебе и здраво думал! Нет, братец, дурак ты был, а в ином в чем и хуже. Прямо сказать — скот был Понял ты меня?

Сашок стоял, изумленно глядя, слышал все, что дядя сказал, но не понял ни единого слова, как если бы тот бредил. Ввиду молчания молодого человека, князь снова спросил.

— Понял ты меня?

— Виноват, дядюшка, не понял.

— Ничего не понял? Как есть?

— Как есть, дядюшка, ничего!

— А ты припомни все, мною сказанное, и сообрази.

— Как-с? — спросил Сашок.

— Ну вот. Как-с! Брось ты эту привычку, ей-Богу, начну тебя звать Какс Никитич. Ну, слушай опять! Был у меня, богача, один только родственник — мой племянник и крестник, и тезка, и того же имени — князь Козельский. И вот я этого родственника, который чуть не родной сын, больше двадцати лет держал в черном теле, не только ничего не делал для него, никогда ничего не дал ему, но даже на глаза к себе не пускал. Почитал я это дело совсем понятным, естественным. А теперь, обращаясь зрительно назад, вижу, что я был прямо скот. Вот у меня часто бывает, что денег совсем девать некуда, получишь, положишь в стол, в первый попавшийся ящик да иной раз и забудешь, куда сунул. И украсть могут — не вспомнишь! А ты вот сейчас переехал ко мне на жительство, и все твое имущество на одной тележке приехало. Разве это не стыд для меня?

Князь вздохнул, потом потрепал Сашка по плечу и прибавил:

— Но этому теперь конец. Пойдет все по-новому! Впрочем, у меня есть одно извинение: не любил я никогда мальчишек, а каких знавал, все были озорники. Думал я, что и ты такой же. И вот спасибо Роману Романовичу, узнал я по приезде в Москву, каков ты уродился, но, признаться сказать, не поверил. Романыч — добрейший человек, у него все люди — угодники Божии и ангелы. У него вот в суде душегубы и грабители есть, которых он почитает чистыми агнцами. Я и подумал: коли Романыч хвалит моего крестника, то заключить из этого ничего нельзя. Может, этот самый крестник все-таки отчаянный ветрогон, озорник и

мошенник. Ан вот оказалось, что Романыч-то прав, а я-то, тебя забросивши, свинья свиньей вышел. Ну, пойдем теперь в твои апартаменты. Покажи мне свое имущество, и сейчас мы порешим, что тебе нужно покупать.

— У меня все есть, дядюшка!

— Уж будто все? — рассмеялся князь.

— Ей-Богу, все!

— Ишь какой! Деньги тебе нужны?

— Нет, дядюшка.

— Как нет?

— У меня есть...

— Сколько же у тебя есть?

— Теперь?

— Ну да, теперь!

— Тридцать два рубля и еще семь гривен.

Князь, глядевший в лицо племянника, молчал, а потом вздохнул:

— Тридцать два рубля и семь гривен... Много!

Князь двинулся к письменному столу, открыл ящик, где были деньги, и стал отсчитывать на стол.

— Вот тебе еще тридцать два рубля и семь гривен, а к ним вот еще сто, да к ним же самым вот еще тысяча. Это на твои разные нужды в эти особо великие дни восшествия и коронования государыни.

Сашок стоял, не двигаясь, глядел на стол, где князь выложил деньги, потом поднял глаза на него и выговорил:

— Дядюшка, ведь мне они не нужны, ей-Богу.

— Бери!

— Ей-Богу же, дядюшка, не нужны! Ну, сами вы посудите, что же я с ними буду делать?

— Сказывал ты сам, что Кузьмич все плакался, что панталоны по пяти рублей аршин пропали. Стало быть, бывает же у тебя нужда. Дядька богатого человека, офицера, не станет двое суток ахать, что панталоны надо новые барчуку шить. Бери и с нынешнего дня старайся по Москве побольше болтаться и побольше денежками швырять. Это будет мое единственное утешение, что я тебя больше двадцати годов не знал, забросил. А теперь пойдем в комнаты, тебе отведенные, и посмотрим, как Кузьмич будет располагаться.

Князь взял пригоршню червонцев в карман, приказал Сашку взять данные ему деньги, и оба двинулись.

Кузьмич встретил князя в прихожей.

— Здравствуй, старик! — сказал князь — Поцелуемся, старый хрыч .. со старым хрычом.

Кузьмич смутился от ласки и взволновался.

— Батюшка-князь, за что такая честь? — прошамкал он голосом, в котором сказывалось волнение

— А за то, старик, что у тебя такой барчук, как вот этот! Хоть его и тетушка воспитывала, а не ты, но я так полагаю, что старая девица его только малость портила баловством — калачиками, да коврижками, да всяким потаканием. Поди, наверное, что он, бывало, ни сделает, все хорошо. А ты, поди, журил его, от зари до зари бранился, уму-разуму учил. Стало быть, воспитывал-то ты, а не тетушка. Ну вот и спасибо тебе, что он этакий вышел. И вот тебе, помимо будущего жалованья, в придачу!

Князь полез в карман, вынул горсть червонцев и выговорил:

— Подставляй ладошки!

— Помилуйте, ваше сиятельство,— отстранился старик — Зачем же!

— Вижу, вижу! И ты тоже из тех же! Подставляй ладошки!

И князь пересыпал золото в руки старика.

— Приходи завтра ко мне побеседовать,— сказал князь,— о том, что нужно твоему барчуку. Прежде всего надо обшиться. Небось, и белье-то не ахти какое?

— Никак нет-с, я стараюсь! Раза два в неделю чиним.

— Чините? Славно! А знаешь ли ты, Кузьмич, почему это?

Старик не понял и молча глядел на князя.

— Рвется,— выговорил он наконец

— А почему рвется-то?

Кузьмич снова молча глядел, не понимая.

— А потому это, Кузьмич, что есть на свете князь Александр Алексеевич Козельский, который, будучи человеком не злым, был свиньей.

Кузьмич вытаращил глаза.

— Да, вот потому, что князь был свиньей, потому ты и чинишь два раза в неделю белье своего барчука, который тоже князь Козельский.

Кузьмич понял тотчас же смысл слов и опустил глаза.

— Что же, ваше сиятельство, не допущали вы к себе Сашунчика — и не виноваты. Кабы допустили разом, то увидели бы, каков таков молодец, и не стали бы его от себя удалять. А этак-то вы знать не могли.

— Стало быть, по-твоему, я прав? Говори! Говори, старик, прав я был так поступать?

И князь нетерпеливо ждал ответа старика.

— Простите, Александр Алексеевич ..

— Ну, ну?!

— Простите, кривить душой не могу!

— Так и говори, как следует прямодушному человеку Прав я был?

— Нет, не правы! Зачем было этак-то поступать с единственным-то родственником на свете? Нет, воля ваша, нехорошо это было! Не сердечно и пред Богом — грех.

— Ну вот, спасибо тебе! Я так и думал, что ты человек хороший...— ответил князь.

Едва только успел Кузьмич разложить платье и белье своего питомца и пересчитать полученную горсть червонцев, как уже собрался со двора.

Ласковость князя его тронула почти до слез.

«Спасибо» князя за воспитание Сашка хватило его по сердцу На огромные деньги, каких у старика никогда отроду не бывало, он обратил меньше внимания. Кузьмичу деньги были совершенно не нужны, разве только на просфоры и поминанья, которые он подавал в алтарь каждое воскресенье. Поминая и «вынимая» просфоры за здравие раба Божия Александра и за упокой рабу Божию Марию, своих родственников старик не поминал ни живых, ни умерших. Сашок один давно занял их место в его душе и во всех помышлениях.

Разумеется, Кузьмич побежал к другу, Марфе Фоминишне, объявить о происшествии, о переезде питомца к богачу дяде, который признал крестника после с лишком двадцатилетнего отчуждения Это известие, переданное нянюшкой господам, произвело на Анну Ивановну Квощинскую радостное впечатление, а Петр Максимыч, наоборот, насупился.

— Что же это вы? — спросила жена.

— Хорошего мало! — угрюмо отозвался Квощинский.

— Как? Что вы?

— Был молодец офицер и князь без особого состояния, и ему Танюша была парой. А теперь будет богач жених, да не для нее.

X

Хотя у князя была, по крайней мере, дюжина кучеров и конюхов, Сашок попросил позволения все-таки оставить у себя в услужении Тита. Он любил парня, привык к нему, а главное, чего Сашок не подозревал и не сознавал,— с этим молодцем связывалось у него нечто особенное, а именно воспоминание о пономарихе.

Тит помогал ему всячески в этом приключении, и если ничего не вышло, то вина была, конечно, самого Сашка, а не конюха. Кузьмич тоже желал, чтобы Тит оставался у князиньки в услужении, конечно, потому, что старик не знал, какую роль парень разыграл. Если бы дядька знал, что этот конюх почти науськивал его питомца на Катерину Ивановну, то он прогнал бы его давно.

Когда Сашок собрался переезжать к дяде, Тит отпросился повидать своих денька на два и получил позволение. И в то утро, когда Сашок и Кузьмич поселились в палатах князя Козельского, Тит шибко, бодро, весело зашагал из Москвы в Петровское.

Разумеется, старуха и Аленка обрадовались ему. Параскева тотчас же заговорила о своей барыне, которую видела еще два раза, все около того же огорода. Старуха искренно радовалась, что у барыни в ее делах многое начинает понемногу налаживаться. Барыня смотрит бодрее и со старухой очень ласкова.

Выслушав бабусю, Тит спросил, почему Аленка не так бодра и весела, как старуха.

— Хорошо бабусе радоваться, что чужие дела ладятся! — угрюмо ответила девушка.— А наши-то заботы все те же. Будь бабуся на моем месте, так, небось, не радовалась бы.

Тит, видевший Матюшку в Москве только один раз, так как Кузьмич не любил его отпускать со двора, конечно, стал расспрашивать, что молодец.

— Да что,— отозвалась Аленка,— все то же... Наведался к нам два раза: первый раз сказал, что опять просил дворецкого доложить Ивану Григорьевичу насчет отпускной и спросил, за какие деньги он отпустит, а второй раз был и сказал, что ничего-то не выгорает. Иван Григорьевич ответил дворецкому: «До вас ли теперь? Вишь, что на Москве! И на кой прах самоварнику воля? Все глупости! Коли жениться хочет, пускай женится. Жене его место у нас найдется». И вот тогда бабуся, расспросив его, сказала, что, стало быть, проку уж никакого не жди, ничего не выгорит, и прогнала его совсем.

И Аленка при этом заплакала и замолчала. Тит тоже смолк. Ему жаль было сестру, да и Матюшку он любил, как брата

— Надо подождать, Аленушка! — заговорил он — Правда, теперь на Москве такой Вавилон, что где же барину Орлову думать о разных этаких делах. Матюшке важно на волю выйти, а Орлову что же? Ему это дело все одно, что блоху изловить аль не трогать.

В сумерки старуха, оставшись одна с правнуком, пока Аленка пошла на деревню за молоком, сказала Титу загадочно:

— Ну-ка, паренек, присядь ко мне да слушай! Тебе Аленушка огород нагородила, потому как она ничего не знает. А ты вот слушай, что я скажу! Совсем удивительное! У меня моя дорогая барынька выспрашивала насчет Аленки. Я ей все расписала, а она мне сказала, что этим делом надо заняться, что она узнает через своих приятелей, кто такие господа Орловы и какой-такой у них Матюшка, и если можно, то пошлет кого-нибудь спросить Ивана Григорьевича, нельзя

ли Матюшке дать отпускную не больше как рублей за тридцать. Коли будет удача, то она обещалась мне сказать. Но с тех пор я ее не видала. Вот ты и посуди: дело, стало быть, не совсем плохо. Почем знать, что она может? В палатах графа живет. Ее приятельница состоит при самой царице. А этакие люди могут больше, чем кто другой. Найдет кого, кто съездит к Орловым господам и потолкует о Матюшке. Только ты ничего этого сестре не сказывай, не смущай ее. Выйдет что — хорошо, а не выйдет — зря ее нечего смущать.

— Да как ты сама, бабуся, думаешь, выйдет ли что? — спросил Тит.

— А кто же знает? Моя барыня милая прямо не обещала, а сказала только, узнаю, мол, кто такие Орловы господа, и коли можно, то один у меня есть человечек, который поговорит. Да кроме того, еще достала она бумажку и карандашик и спросила, как Матюшку звать. Я сказала: «Матюшка», а она спросила: «Это что за имя?» Я сказала: «Матвей». А она очень смеялась.

— Почему? — удивился Тит.

— А Бог ее знает! Смешно было... А там спросила еще, нет ли другого Матвея у господ Орловых? Я сказала: «Не знаю». Тогда мы с ней на все лады потолковали, и я ей сказала, что он самоварник, а она опять карандашиком написала и опять спросила, что это такое. И опять смеялась, что он — самоварник.

— Почему? — спросил снова Тит.

— Да что ты, дурак, все почему да почему! Я почем знаю? Смеялась, смешно, стало быть... А почему ей, голубушке моей, смешно, то нам, дуракам, знать нельзя.

— Коли она, бабуся, все смеялась, то, может, все смехом и кончится?

— И дурак ты! Смех смехом, а дело делом.— Старуха хотела еще что-то рассказать правнуку, но завидела в окошко Аленку и махнула рукой.

— Смотри ты, ни единого словечка ей. Не смущай сестренку. Может, и впрямь ничего не будет.

Тит, конечно, мысленно согласился с бабусей, что ничего сестре говорить не надо, а тем паче, что он из рассказа старухи вынес убеждение, что ее барыня, которая с ней болтает о всякой всячине, конечно, и думать забыла о своем обещании. И что она, записывая, как звать Матюшку, все смеялась, от этого пути не жди.

Ввечеру, как только солнце село, старуха и правнуки поужинали и легли спать. С восходом солнца все были уже снова на ногах. Аленка была добра и весела, потому что видела во сне двух черных собак, которые ее «всю истрепа-

ли, всю на ней одежу подрали». Матюшка ее от злых псов отбивал, но они его искусали в кровь и «голову его отъели».

— То-то ты кричала ночью! — заявил Тит, вспомнив.

— Да, кричала! И еще бы не кричать, сам ты посуди. Смотрю я, а Матюшка без головы, и сказывает мне: «Аленушка, голову-то у меня псы отгрызли». Я проснулась и принялась орать.

Старуха, выслушав сон внучки, объяснила, что этакого хорошего сна редко когда дождешься. Стало быть, будут от Матюшки вести не худые.

Тит стал было ухмыляться недоверчиво, но Аленка оживилась и заметила брату:

— Ты вот что, Титушка. Ты этак не ухмыляйся! Бабуся такая отгадчица, что всякий сон так тебе и распишет. Коли она говорит, что мой сон хороший, то, стало быть, так и есть.

— Знаю. Токмо, помню, бывало тоже, что бабуся и зря отгадывала.

Пред полуднем старуха собралась на свой огород. Тит хотел тоже пойти с ней — помочь нарвать побольше огурчиков и дотащить домой. Но едва только собрались они и отошли на несколько шагов от дома, как на опушке леса, окружающего палаты графа Разумовского, показался парень, который не шел, а бежал.

Через мгновение и старуха и Тит узнали его сразу Это был Матюшка. Завидя их, он уже припустился рысью и в нескольких шагах от них, махая руками, начал кричать:

— Вольная! Вольная!

Подбежав, он обнял старуху, расцеловался с ней, чуть не сбив ее с ног, затем расцеловался с Титом и, стараясь передохнуть, выкрикнул:

— Воля! Воля! Отпустили! Вот она! В кармане!

И он вынул лист, на котором было что-то написано, а внизу была кудрявая подпись.

— Это вот, значит.. Мне читали.. Тут значится: «отпускаю Матвея, вот, на волю, на все четыре сторонушки». Вот тут значится «Иван Орлов»!

Старуха была поражена, но улыбалась. И глаза ее старые будто помолодели и сверкали. Тит, тоже изумленный, стоял разинув рот.

— За сколько? — выговорила накочец Параскева.— И когда деньги платить?

— За сколько?!..— вскрикнул Матюшка.— Бабуся, родимая! Ни за сколько! Даром! Даром! Пойми ты! Чудеса в решете... Я помру, ей-Богу, помру! Где Аленка?

— Дома... Пойдем! — выговорил Тит, чувствуя, что у него все еще в голове какой-то туман. Вспомнив о сестре, он остановил приятеля за руку

— Стой, Матюшка! Этак грех! А ну как все вздор? Зачем сестренку смущать? Ведь этак обрадуешь, да потом окажется все враками, она захворает с горя.

— Что ты, глупый! — закричал Матюшка.— Да эту бумагу все во двору читали, все меня поздравляли... Сам Иван Григорьевич вызывал, в руки мне ее дал и сказал сам: «Ну, Матюшка, ступай на все четыре стороны, лети вольной птицей. А отпущаю тебя потому, что мне так указано. А то бы не отпустил».

И Матюшка, завидя вышедшую на крылечко Аленку, бросился к ней бегом, крича то же слово:

— Вольный! Вольный!

— Уму помраченье,— сказал Тит.— Видно, и впрямь сила твоя барыня.

Параскева видела, как Матюшка обнял ее правнучку и целовал без зазрения совести, зная, что они все видят. И старуха начала утирать сухие глаза, которые плакали без слез.

XI

Переезд в дом дяди сильно повлиял на молодого человека. Прежде всего совершенно изменился его образ жизни. У себя на квартире он вставал и, по выражению дядьки, тыкался из угла в угол, то присаживаясь к окошку поглазеть на улицу, то выходя во двор и в конюшню поглядеть на лошадь и поболтать с Титом. Затем он отправлялся на ординарные услуги, вздыхая о том, что он исполняет у Трубецкой должность «побегушки». А затем, возвратясь домой, он опять не знал, что с собой поделать.

Немудрено, что при этакой жизни он чуть не «загубился», по выражению того же Кузьмича, с красивой пономарихой Понятно, что из-за этого скучного препровождения времени он заявил Кузьмичу, что готов равно и жениться и удавиться.

Теперь время шло совершенно на иной лад. В доме дяди бывали с утра гости, и Александр Алексеевич требовал, чтобы племянник был у него, знакомился со всеми, кто приезжает, а за отсутствием дяди принимал бы гостей Много раз уже повторял князь Сашку:

— Почитай ты себя не племянником, а моим родным сыном! Стало быть, если отца в доме нет, то сын — хозяин и должен его замещать во всем.

И если когда-то Сашок жаловался дядьке, что чувствует в себе мало светскости, что, как только много народу, у него уходит душа в пятки, то теперь, в несколько дней, молодой человек развернулся и, уже не смущаясь, принимал гостей дяди и сам отправлялся в гости.

В его распоряжении было три экипажа и до дюжины лошадей, которых так и определяли «выездом молодого князя». В доме вообще постоянно слышались теперь выражения «молодой князь» и «старый князь».

Однажды князь Александр Алексеевич слышал громкое приказание дворецкого:

— Иди к князю! Князь зовет!

И на вопрос: «Какой?» — крикнул:

— Старый князь!

И Александр Алексеевич, обратясь к стоявшему около него племяннику, поклонился ему в пояс, прибавив:

— Вот тебе и здравствуйте! Спасибо вам, Александр Никитич, за производство меня в следующий чин. Был я просто князь, а нынче вот стал старый князь.

В то же время переезд к дяде как бы изменил отчасти и общественное положение Сашка. С первого же дня он заметил, что все относятся к нему иначе, чем прежде: кто с большей ласковостью, а кто с большим почтением. Только один Романов оставался все тем же, но другие знакомые в Москве совершенно изменили свое обращение с ним. Прежде его спрашивали несколько небрежно:

— Ну, князек, как поживаете?

Теперь говорили почтительнее:

— Все ли в добром здоровье, князь?

Сашку показалось, что не только князь Трубецкой, но и княгиня Серафима Григорьевна тоже стали будто относиться к нему иначе, в особенности княгиня. Она перестала кликать его, прибавляя слова «воробей, галчонок, щенок»...

Побывав снова один раз у Квощинских, не вследствие личного желания, а по неустанным просьбам Кузьмича, Сашок заметил, что вся семья приняла его еще с большим почетом, чем в первый раз. В особенности же стал вдруг чрезвычайно любезен и мил в обращении с молодым человеком Павел Максимович.

На другой же день после этого посещения Павел Максимович приехал в гости к Сашку и тут же попросил, чтобы он представил его своему дяде.

Кузьмич тайком от питомца тоже побывал у Квощинских и узнал то, о чем Сашок и не подозревал. Семья была встревожена переменой в жизни молодого человека.

Петр Максимович первый сообразил, к чему может повести эта перемена, и передал свое соображение жене, а она няне.

Разумеется, Марфа Фоминишна передала это соображение другу, Ивану Кузьмичу, и старик, сидя у нее перед самоваром, удивился тому, что услыхал. Ему самому в го-

лову это не пришло, а между тем умный старик сразу почувствовал, что в словах Марфы Фоминишны есть большая доля вероятности. И Кузьмич задумался, а этим смутил и Марфу Фоминишну еще больше.

— Вам этакое на ум не приходило? — сказала она.

— Нет, родная моя. Но все-таки не думаю, чтобы какая перемена могла быть,— ответил Кузьмич.

Но главное, приключившееся с Сашком на первых порах, было нечто совершенно особенное, диковинное... Если когда-то было диковиной, что господин Покуда явился пред глазами молодого человека вельможей в великолепной карете, а затем оказался его родным дядей, то теперь приключилось нечто такое же.

Князь Александр Алексеевич прислал поутру человека, прося племянника пожаловать тотчас наверх. Сашок вошел в кабинет дяди быстрым шагом, но, растворив дверь и переступя порог, остановился и вытаращил глаза. Князь что-то сказал, но Сашок не слыхал, настолько был удивлен и поражен.

Князь сказал:

— Вот, племянник, познакомься с моей любезнейшей подругой, Земфирой Турковной!

Он не слыхал этих слов и шутки дяди, потому что красивая и очень нарядно разодетая дама, стоявшая среди кабинета, была та самая цыганка, которая побывала у него в квартире под именем Акулины Ивановны.

Сашок стоял истуканом и глядел на нее, не мигая.

— Что с тобой? — спросил князь, смеясь и подходя к племяннику.— Красота ее тебя, что ли, поразила?

Сашок молчал, продолжая глядеть на молодую женщину. Земфира смотрела на него, улыбаясь какой-то, как показалось ему, нехорошей улыбкой. Она ждала, что скажет он. Промолчит он, то и она промолчит. А объяснит он все тотчас же по своему добродушию и наивности, тогда и она признается.

Но Сашок рассудил, что нельзя заявлять о посещении Земфиры, потому что, Бог знает, может, ему чудится, что это та же женщина Может быть, просто одно удивительное сходство, и не она, а действительно какая-либо цыганка была у него. А между тем чем более он вглядывался в красивое лицо Земфиры, тем более убеждался, что это она была у него.

— Очень рада,— проговорила с акцентом чужеземки Земфира,— что дядюшка вас к себе перевез! Веселее будет! Прошу меня любить и жаловать.

Голос и акцент те же.. Вполне убедился Сашок, что положительно та цыганка — она, «молдашка дядина»

Он собирался сказать дяде, что уже знает Земфиру, видел, принимал у себя, но язык почему-то не повиновался.

«Нужно ли? Хорошо ли? Не отложить ли это?» — думалось ему.

А в то же мгновение Земфира, пристально глядя ему в лицо, думала: «Однако ты уж не такой простофиля, дурак. Все-таки знаешь, когда и промолчать надо. Тем лучше!»

Между тем князь взял какую-то книгу и сел к окну. Земфира уселась на маленьком диванчике, усадила около себя молодого человека и начала расспрашивать его и о нем самом, и о службе, о Трубецких, и обо всех московских новостях и случаях. Разговор этот продолжался почти целый час, и Сашок был совершенно очарован молодой женщиной.

«Как люди лгут! — думалось ему.— Говорили, что она — злюка, кусается даже. А она добрая. Однако и дядюшка говорил, что в ней доброты мало. А мне вот сдается, что она совсем добрая».

И с этого же первого знакомства Земфира была с Сашком до крайности мила, предупредительна, а подчас даже какая-то, по убеждению его, диковинная. Иногда ему казалось, что Земфира смотрит на него такими же глазами, какими смотрела Катерина Ивановна, а раз или два смотрела Малова.

Однажды, встретившись случайно в зале, Земфира и Сашок стали ходить взад и вперед, беседуя обо всяких пустяках. Земфира смешила молодого человека своими шутками, острыми насмешками, иногда немного злыми, над разными лицами, бывающими у князя. Сашок от души хохотал.

В те же минуты за дверями залы стоял и приглядывался сквозь щель раскрытой двери старик Кузьмич, и когда кто-то из проходивших дворовых людей спугнул его с места, он ушел к себе вниз, сел и задумался, а через мгновение выговорил вслух:

— Ах, ракалия! И эта тоже! И хуже той... Что пономариха?! Пономариха — овечка, а эта — волчица!

Кузьмич, конечно, еще более смутился бы, если бы узнал, что именно Земфира была у них на квартире. Но, видев ее тогда лишь вышедшей из дому, на одну секунду, с головой и лицом, полузакрытыми большим черным платком, Кузьмич, конечно, не мог признать в красивой и щегольски одетой женщине ту цыганку. А Сашок раз двадцать собирался сказать дядьке правду и тоже промолчал.

«Зачем поднимать это все? Начал молчать, так уж и молчи!» — думалось ему.— Она молчит, что была у меня. Зачем была — совсем непонятно!.. Сказать Кузьмичу — он бухнет, пожалуй, дяде, а дядя спросит, зачем я тогда же не сказал, когда увидел ее у него».

XII

В числе других лиц, переменившихся к молодому князю после его переезда к дяде, была одна личность, настолько изменившая свое обхождение, что Сашок был даже удивлен. Это была Настасья Григорьевна Малова.

На третий или четвертый день после того, как он был уже в доме дяди, князь Трубецкой снова послал его к свояченице за табаком. Сашок, как всегда, явился в гостиную и доложил, что князь просит немного табачку. Малова ответила, смеясь:

— Ну, вот теперь я вам табаку и не дам! Присядьте и посидите. А то вы точно в лавку приходите. Возьмете табак и уйдете! Это невежливо! Садитесь-ка!

Сашок сел. Малова захлопала в ладоши. На зов явился лакей, и она приказала:

— Если кто приедет, то говори, что я выехала. И это всем говори!

— Слушаю-с! — отозвался лакей.

— Если приедет Павел Максимович или господин Кострицкий, то сказывай им то же самое: «Дома нет!» А если Павел Максимович все-таки соберется сюда идти меня поджидать, то прикажи Улите быть за дверями в прихожей и бежать сюда меня предупредить. Ну-с, вот,— обратилась Малова к князю,— теперь мы можем с вами сидеть и беседовать! Расскажите мне прежде всего, как это вы с дядюшкой помирились, что он за человек и все такое. Все мне выкладывайте. Я любопытница.

Сашок отвечал на расспросы Маловой довольно неохотно, но вместе с тем несказанно дивился тому, что женщина теперь вела себя с ним уже совсем на особый лад.

«Чересчур вольно!» — мысленно определил Сашок.

И действительно, сидя рядом с молодым человеком, Малова в разговоре несколько раз похлопала его по плечу потоварищески. А затем, говоря, что он хороший человек, вдруг погладила его рукой по лицу, потрепала по обеим щекам, как маленького ребенка. Наконец, стала гладить по голове

Сашок угрюмо глядел исподлобья, добился, чтобы получить поскорее табак, которого ждет князь, и вышел несколько недовольный. Это обращение подействовало на него как-то странно... оскорбительно.

После его ухода Настасья Григорьевна отменила свой приказ — никого не принимать, а сама уселась за вязанье на рогульках и думала: «Обидно, что раньше я не знала. Хотя и знать, вестимо, не могла. Офицер и князь, да без гроша за душой — какая невидаль! А тут вдруг вон что

свалилось! У дяди-то, говорят, страшнейшие деньги, а детей нет. А родной-то только этот один. Стало быть, все его и будет. Да и сейчас, наверное... Да. И сейчас, поди, деньги завелись, каких во сне не снилось ему. Да. Вот кабы я раньше знала. Мало он тут разов был за табаком, а я только один раз всего и приласкала его. Недавно. Да и то сама не знаю зачем. Так потрафилось. А кабы знать-то вперед!..»

В то же время Сашок, возвращаясь к князю Трубецкому с тавлинкой табаку, угрюмо раздумывал о приеме Маловой

«Что она? Спятила? — ворчал он.— Как же это, по лицу гладить? Я не ребеночек. А если иное что у нее на уме, то... уж извини... Будь ты Катерина Ивановна. Тогда... И чудно! Одна сестра ругается, а другая чуть целоваться не лезет».

И он глубоко вздохнул.

Офицер снес князю табак в его рабочую комнату, и старик сказал:

— Спасибо. Ну, нечего тебе зря сидеть в доме. Полагаю, сегодня никто не приедет. Ступай домой.

— Я, князь, отсижу часок. Не важность. Может быть, кто и явится к вам,— ответил ординарец почтительно.

— Нет. Не стоит. Ступай домой.

Молодой человек поблагодарил и вышел.

Но на этот раз ему совсем не посчастливилось. Приближаясь к залу, он уж слышал звонкий, резкий голос княгини. Когда он вошел в зал и поклонился, княгиня не только не ответила на его поклон, но, взглянув, казалось, не заметила его появления. Перед ней стоял ее дворецкий, пожилой и очень тучный человек с кротким лицом.

— Стало быть, переврал? — воскликнула княгиня уже в третий раз.

— Никак нет-с...— ответил дворецкий.— Вы изволили, ваше сиятельство, так сказывать: что ежели князь поедут, то доложи, а ежели не поедут, не докладай.

— И переврал, напутал, олух. Зачем же ты теперь лезешь с докладом, коли князь дома?

— Я, ваше сиятельство, думал, что ежели...

— Думал? А? Ты думал? А-а? Ты опять думал?

— Виноват-с.. Не думал... Полагал с

— Думал?! Что же, я сто лет буду вам всем, чертям, сказывать? Ну, последний, слышишь, последний раз тебе сказываю. Не сметь думать! Как еще от кого об этом услышу, так прямо брить лоб и в солдаты. Слышишь!

— Виноват, Серафима Григорьевна. Я не думал-с. Ей-Богу, не думал-с. Это у меня так с языка стряхнулось. Вы не изволите приказывать думать, так можем ли мы-с И я, ей-Богу-с, никогда не думаю-с . И теперь не думал-с Так язык-с...

— Ну пошел,— мягче произнесла княгиня.— Да опять всем олухам накажи и себе на носу заруби: как только кто будет сметь думать, так тому — брить лоб.

Дворецкий вышел из зала, а княгиня, заметя Сашка, выговорила:

— А? Ветер Вихревич. Что скажешь?

— Ничего-с,— отозвался Сашок.

— Немного.

И княгиня, отвернувшись, двинулась по залу, заложив руки за спину, но не вышла, как надеялся Сашок, а, повернувшись, снова зашагала в его сторону. «Пошла отмеривать половицы!» — досадливо подумал он, не зная, уходить или обождать.

Пройдя два раза, княгиня остановилась против него чуть не вплотную и, глядя сурово прямо в глаза, вымолвила:

— Правда, у твоего дядюшки в полюбовницах туркова девка?

— Она-с не турка, а молдаванка,— ответил Сашок досадливо

— Отвечай, что спрашиваю. Есть такая у него в доме?

— Да-с. У дядюшки она уже...

— Что же он, старый хрыч, в его годы соблазн эдакий и срамоту заводит... Сколько ему уже годов-то?

— Пятьдесят, кажись, восемь.

— Слава тебе, Создателю! . Скоро седьмой десяток, и еще не напрыгался... Ты бы сказал ему, что срам.

— Не мое это дело, Серафима Григорьевна. В чужие дела мешаться — значит, никакого благоприличия не разуметь...

— Что? Что? Что? — протянула княгиня, изумляясь дерзости

— Не мое это дело-с.

— А оно мое?

— Нет-с. И не ваше-с.

— Так как же ты смеешь эдак со мной рассуждать и меня учить? А? Ах ты...

И княгиня прибавила крайне резкое слово.

— Извините-с,— вспыхнул вдруг Сашок.— Когда я был ребеночком, то, может быть, в постельке со мной эдакое приключалось, как оно, к примеру, со всеми малыми детьми бывает. А теперь меня эдак называть нельзя-с.

— А я тебе говорю, что ты...

И княгиня снова произнесла то же слово.

— А я сказываю, что вы ошибаетесь,— заявил Сашок уже резко, а лицо его ярко запылало.

— А коли обидно тебе, скажу инако, повежливее, но выйдет все то же... Ну — замарашка.

— И не замарашка-с. Извините.

— Ну, вонючка, что ли?

— Другой кто-с. А не я...

— Другой? Кто другой?

— Не знаю-с.

— Кто другой? Говори, грубиян.

Наступило молчание. Княгиня громко и тяжело дышала, сдвигая свои густые черные брови. Сашок стоял перед ней, скосив глаза в сторону, и сопел на весь зал

— Кто другой? Говори, грубиян! Говори! Я эдакого не спущу. Первый попавшийся галчонок будет мне, даме, княгине... Говори!

Сашок молчал и сопел.

— Го-во-ри! — протянула княгиня и на новое молчание вымолвила тихо: — Так я — вонючка-то... А-а?.. Я дама и княгиня Трубецкая. Супруга генерал-аншефа... Ну так ради памяти... Неравно это слово свое забудешь... Получи.

И звонкая пощечина огласила зал.

Сашок бросился на женщину, ухватил ее за ворот капота и не знал — что с ней сделать?! Не бить же?! И он начал трясти княгиню. Ситец капота треснул, а здоровый удар кулака в грудь чуть не опрокинул его на пол. Он отскочил и побежал из зала.

XIII

Сашок не помнил, как он вышел, вернее, вылетел турманом из дома Трубецких. Он бросился даже сам во двор, вместо того чтобы послать лакея, и, выхватив свою лошадь из рук конюха, вскочил в седло и пустился вскачь.

Дорогой, на скаку, он почувствовал что-то особенное на лице... Он не заметил и теперь только догадался, что волнение, досада и гнев заставили его заплакать. Глаза были влажны, а щеки мокры.

Прискакав домой, он не пошел к себе, а прямо бросился, чуть не бегом, по лестнице наверх к дяде.

Князь был у себя, читал книгу, но при появлении племянника бросил ее и удивленно выговорил, почти ахнул:

— Что ты? Что приключилось?

Лицо и вся фигура молодого человека заставили его задать этот вопрос.

Сашок кратко и резко, с отчаяньем, звучавшим в голосе, рассказал все...

— Ах, блажная! — воскликнул князь.— Что же это? Вот что значит муж колпак. Волю бабе дает, она и блажит.

Встав и пройдясь по комнате, князь прибавил:

— Ну и сиди дома. Не езди больше. А я займусь и в несколько дней все устрою.

— Что, собственно, дядюшка?

— Устрою все. Найду тебе должность. Другую. А к Трубецким ни ногой больше. А встречу я где эту блажню бабу, то все ей выговорю, хоть бы при всей Москве.

— Трудно, дяденька, найти таковую же должность. Особливо в Москве.

— Пустое. Уж если князь Козельский своего племянника, тоже князя Козельского, не сможет пристроить, так тогда конец свету. Авось у меня найдется «рука».

И в этот же день вечером князь сказал племяннику, стряпая, по обыкновению, свое питье из рома и лимонада на горячей воде.

— Надумал я, Александр Никитич. Надумал диво дивное. Не пойму, как мне это раньше в голову не пришло. Затмение какое-то нашло. У меня «рука» при дворе, но не сановник и даже не лакей. А при дворе. И увидишь, что я тебя живо пристрою к кому-нибудь, кто будет не хуже генерала-аншефа Трубецкого и драчуньи генеральши-аншефихи. Эта твоя аншефиха известна на всю Москву. Сказывают, что она супруга наказывает розгами.

— Что вы, дяденька! — ахнул Сашок.

— Сказывают... А ты знай, что не все то есть, что можно почесть. Почитали люди долго, что солнце ходит, а земля стоит. И что она, наша матушка-кормилица,— вот так, что доска с краями. И говорят по сю пору... Солнце-де всходит или зашло... А надо бы сказывать: земля подошла, земля отходит... Сказывается: на край света. А края сего нет и не было. Не понял? Не веришь. Ну, наплевать. И не надо!

И князь рассмеялся звонко и отпустил Сашка спать.

Князь Александр Алексеевич был прав, сказывая, что у него найдется «рука» — не сановник, не вельможа и даже не придворный лакей. Загадка объяснялась просто: «рука» была не мужчина, а женщина.

Лет пять назад князь познакомился случайно в Петербурге с Марьей Саввишной Перекусихиной. Тогда женщина эта не имела никакого влияния ни в городе, ни при дворе. Императрица и наследник престола ее даже недолюбливали, а любившая ее великая княгиня сама была временно как бы в опале у царицы за открытие неосторожного деяния — переписки с графом Бестужевым.

Князю понравилась умная Перекусихина. Он без всякой задней мысли пожелал сблизиться с ней, несколько раз побывал у нее в гостях, и вместе говорили они о трудном положении великой княгини. Однажды он узнал из слов Перекусихиной, что она ищет в Петербурге небольшую сумму денег для великой княгини, а банкиры отказывают дать что-либо, боясь огласки и гнева императрицы. Поэтому она

находится в большом затруднении. Князь добродушно тотчас же предложил эти деньги — всего пять тысяч.

Перекусихина заявила, что если дело пойдет еще хуже, наступит настоящее гонение на великую княгиню, то ей, пожалуй, придется уезжать к матери. Все может случиться! Сам Петр Федорович может лишиться наследия престола. И тогда деньги князя пропадут.

— Ну и Бог с ними! — сказал Козельский.— А все-таки сделайте мне честь и удовольствие — примите.

Вскоре, выехав из Петербурга, князь не видел более Перекусихиной и забыл, конечно, о маленькой для него сумме, которую дал. Узнав о воцарении императора Петра III, он узнал, как и все россияне, что положение государыни Екатерины Алексеевны стало еще хуже, чем было при покойной царице.

Затем, узнав и ахнув, как и вся Россия, о вступлении на престол новой императрицы, князь Козельский вспомнил о своем знакомстве с Перекусихиной и сообразил, что совершенно случайно, без всякого лукавого повода, оказал маленькое одолжение не жданной никем императрице. Князь понял, что если Перекусихина посудит это дело так, как следует, то у него вдруг явится сильное покровительство во всяком деле.

«А кого предпочесть,— рассуждал князь сам с собой,— тех ли, что с вами хороши и добры, когда вам плохо, или тех, которые могут лебезить и свои чувства излагать, когда хорошо и без них?»

С тех пор как государыня переехала в Петровское, князь Александр Алексеевич стал собираться в гости к Перекусихиной, но все откладывал свой визит, не зная, как поступить. Прямо ли ехать запросто, как прежде к частному лицу, или же отнестись теперь к Перекусихиной как к придворному человеку и явиться официально, испросив на это заранее разрешение?

Явился серьезный мотив не откладывать своего визита, и князь решил дело просто. Он отправил в Петровское племянника, чтобы он доложил о себе горничной Перекусихиной, а ту послал попросить на словах разрешения быть самому князю-дяде.

Если бы приходилось явиться к самой Перекусихиной, Сашок, конечно, струсил бы...

— Ну а горничная — все-таки горничная, хоть и во дворце! — рассудил он.

XIV

Однако вышло иное...

Сашок съездил и вернулся важный, радостный, с хорошей вестью. Перекусихина сама приняла его, незнакомого ей молодого офицера, так ласково, так обрадовалась, что

князь Александр Алексеевич в Москве и желает ее видеть, что Сашок совсем не конфузился. И конечно, по всему вероятно, она примет князя как настоящего приятеля.

На другой же день, около полудня, как было ему назначено, князь явился в Петровское. Он был тотчас же принят Перекусихиной, и умная, тонкая женщина, усадив его, спросила прежде всего:

— Чем мне вас угощать?

— Помилуйте, Марья Саввишна, я не за тем! Я явиться...— начал князь.

— Полно, полно! Не могу я вас так принимать, как других. Нужно какое-либо отличие. Будем мы этак беседовать, выйдет какая-то аудиенция. А мы ведь с вами — старые приятели. Ну, давайте кофе пить!

И она приказала тотчас же горничной кофе сварить самой.

— Не на кухне. А сама...

— Слушаю-с.

— Знаешь, какой? Тот самый, что я для государыни варю — гамбургский! У меня не простой гость сидит,— показала она на князя,— а мой давнишний, хороший благоприятель.

Князь, конечно, понял, что все это было сказано горничной умышленно, чтобы окончательно убедить его, как относится к нему женщина.

— Ну, князь, а денежки свои ты все-таки малость обожди! — сказала Перекусихина тотчас же.

— Что вы! Что вы! — привскочил Козельский.— Да и поминать не могите об этом! Отсохни мои руки, если я эти гроши назад получу!

— Что вы? Как можно!

— Да так! Ни за что не возьму! Что хотите делайте! Хоть в крепость меня пускай посадят, а я эти деньги назад не возьму. Сами вы знаете, Марья Саввишна, что при моем достоянии такие деньги — совсем маленькие.

— Не в том дело, князь, а все-таки они были взяты взаймы...

— И говорить об этом не хочу! Ни за что на свете их не возьму!

— Как знаете. Тогда я должна доложить...

— Вы меня обижаете, думая, что я за этим приехал к вам. Я приехал, просто желая вас видеть, поздравить и порадоваться, что обожаемая вами особа стала российской императрицей. Да еще как! Спасла отечество, веру. Спасла всех нас, россиян, от больших бед! Небось, как теперь счастлива государыня от достижения святой цели!

— Ох, князь, ошибаетесь вы! — печально ответила Перекусихина.— Если бы вы видели мою горемычную государыню! Нет человека на свете более несчастного.

— Что вы? — изумился Козельский.

— Да, князь! Хорошо так вчуже судить, заглазно, а если бы все знали, каково положение государыни? Другому кому я бы так сказывать не стала... Но вам, моему старому благоприятелю, я прямо говорю: положение наше ужаснейшее. Я сказываю «наше», потому что все, что касается государыни, касается и меня. Улыбнется она — и я счастлива. Заплачет она — и я несчастнее самых несчастных. А положение поистине мудреное. Такое мудреное, что ум за разум заходит...

— Да что же такое? — спросил князь, продолжая изумленно глядеть в лицо женщины.

— Да как вам сказать? Коротко скажу. Кругом одни козни, одни враги... Вороги лютые!

— Кто?

— Да все!

— Да как все, Марья Саввишна?

— Да все! Как есть все! Начать пересчитывать, так и конца не будет...

— Да назовите хоть кого-нибудь... А то я и понять не могу.

— Извольте. Злокознят на мою бедную государыню самые близкие: господа Орловы, граф Воронцов, Бестужев, княгиня Дашкова, Теплов, Бецкой... Хотите, еще кого назову? Могу еще много народу назвать! А пуще всех заедает ее злая собака... Ну, тьфу! Обмолвилась я... Да с вами можно! Вы меня не выдадите. Да прямо скажу: именно злая собака!

— Кто же такой?

— Между нами, князь! Под великим секретом... Я привыкла с вами не скрытничать.

— Конечно! Конечно! Помилуйте! Неужто вы ко мне веры не имеете теперь. Вспомните только...— воскликнул весело князь.— Вспомните, какие мы беседы вели когда-то в Петербурге. Такие, за которые мог я тогда в крепость попасть.

— Да и я тоже, еще скорее вас,— улыбнулась Перекусихина, оживляясь на мгновение, и прибавила тише: — Ну-с, вот. Пуще всех одолевает государыню Никита Иванович Панин.

— Каким образом?

— Да просто! Вы его знаете?

— Знаю! И достаточно!

— Знаете, что он человек, коего честолюбию нет предела?

— Это верно!

— Еще при покойной императрице он надеялся стать скорей властным человеком, да Шуваловы удалили его и так ли, сяк ли заставили его просидеть в Швеции. Сделавшись воспитателем государя наследника, он, конечно, снова возомнил о себе. А теперь, когда вступила на престол го-

сударыня, он совсем разум потерял, прожигаемый своим честолюбием. И сказывать, князь, нельзя, что он измыслил! Боюсь я говорить...

— Полноте, Марья Саввишна, мне это недоверие ваше даже обидно. Не то было прежде...— сказал князь с упреком.

— Извольте! Неужели вы не слыхали, что он при отречении Петра Федоровича измыслил со своей партией, с главным своим орудователем — Тепловым немедленно объявить императором юного Павла Петровича, государыню — простой правительницей, а себя тоже правителем. И стало быть, до совершеннолетия великого князя он стал бы править всей Россией самовластно, как регент. Так же, как когда-то правил Бирон, если не с той же злобой, то с той же властью. И вот эти его ухищрения государыня тогда одолела. Помогли много, правду надо сказать, Орловы со своими ближними. Ну вот теперь Никита Иванович новое и затеял. Одно не выгорело, он за другое схватился, и такое же — не меньшее.

— Да что же, собственно? — крайне удивляясь, спросил Козельский.

— Да неужели в Москве ничего не слышно об этом?

— Может быть, и слышно, Марья Саввишна, да до меня не дошло! — схитрил князь.

— Ну, так я вам скажу. Никита Иванович желает, мало сказать, прямо-таки требует, чтобы государыня тотчас после коронации объявила манифестом об учреждении Верховного Совета, состоящего из пяти лиц, и, конечно, в сем Совете главным лицом будет...

Перекусихина запнулась и смолкла, так как горничная вошла с подносом, где дымился кофе... Когда она поставила его пред князем и вышла, Перекусихина заговорила тише:

— Главным заправилой и коноводом будет, конечно, сам граф Панин. И будет этот Совет императорский управлять всей империей.

— Станет он, стало быть,— спросил князь,— выше сената?

— Еще бы! Гораздо выше! Да что лукавить. Понятно, что это за Совет! И вы сами понимаете. Сии императорские советники станут выше самой императрицы! Никита Иванович почти и не скрывает, что советники императорские будут решать дела и докладывать императрице не для решения, а для обсуждения якобы и подписания.

— Ну, не ожидал! — воскликнул князь.— Однако стоит ли государыне тревожиться и озабочиваться этим? Сказать Никите Ивановичу, чтобы он очухался, сидел смирно — и конец! Ну а другие-то что же? — прибавил князь.— Почему тоже вороги лютые?

— Другие-то? Всякий со своим! Братья Орловы недовольны, что одна их затея не ладится. А затея такая, что я и вам сказать не решаюсь. Княгиня Дашкова недовольна, что государыня не призывает ее ежедневно на совет, как какие государственные дела решать, и на всех перекрестках кричит, что она одна предоставила государыне российский престол, что без нее ничего бы не было, все бы рухнуло и государыня была бы в заточении, а не императрицей, а государь был бы женат на ее сестре, Воронцовой. Бестужев из себя выходит, а когда под хмельком, то на стену лезет — желает быть опять и скорее канцлером. Да и все-то, кого ни возьмите, все недовольны, все ропщут, всякий просит своего. Да и грозится. Вот это обидно!

— Грозится?! — повторил князь.— Да я бы за эдакое .. В Пелымь! В Березов!

— Да, князь, грозится всякий чем-нибудь. Иван Иванович Шувалов открыто сказывал, тому с месяц, что по закону, да и по совести настоящий наследник престола Иван Антонович.

— Ах, разбойники! — воскликнул князь.— Прямо разбой. Бунт! В Пелымь! А то пусть вспомнят Артемия Петровича Волынского.

— Да и этого всего мало. Одну из главных забот государыни я позабыла,— продолжала Перекусихина — Все российское духовенство...

— Требует возвращения отобранного имущества? — спросил князь.

— Конечно!

Князь не ответил и потупился.

— Что молчите?

— Да как бы вам сказать, Марья Саввишна. Молчу потому, что, воля ваша, а я сей государственной меры не полагаю справедливой. Нельзя духовенство большой империи пустить по миру и заставить жить впроголодь. Нельзя делать не только из митрополита, а даже из простого приходского священника простого наемника, приравнять его якобы к какому знахарю, что ли: пришел, дело свое справил — и вот тебе в руку гривну-две. Этим и живи! Доходы духовных лиц должны были быть оставлены Эта государская мера была вреднейшая. Недовольство всего российского духовенства я прямо оправдываю. Не гневайтесь на меня!

— Дорогой мой князь,— воскликнула Перекусихина,— что же вы скажете, если я вам открою, что государыня говорит то же, что и вы! Чуть ли не самыми этими словами. Да сделать-то ничего нельзя! Нельзя вернуть имущество, когда оно уже раздарено, раскуплено, принадлежит другим лицам. А главное: знаете ли вы, что будет, если монастыр-

ские бывшие крестьяне снова попадут в крепость, из которой избавили их? Крепость, которая была для них особливо нежелательна и противна, зависит от монахов, а не от дворян! Как вы полагаете, если снова все эти сотни и тысячи приписать опять к монастырям, что будет? Бунт будет! Появится новый Стенька Разин на Руси! Думали ли вы об этом?

— Да, правда. Дело мудреное! Это вот забота пущая, чем разные мечтанья Шуваловых или Паниных.

— *Ну а иностранные дела, князь, в каком они виде?* В заморских землях ничего, думаете, не делают, никаких подкопов не ведут? Даже прусский король, любивший Петра Федоровича, как бы какого любимого сына,— и тот клятву дал прямо стараться лишить государыню престола.

— На это, Марья Саввишна, руки коротки!

— В такие смутные времена, которые мы переживаем в Москве, все, князь, возможно! Всякие короткие руки длинны!

Дав Перекусихиной высказаться, князь, разумеется, заговорил о своем деле. Но он не стал просить Марью Саввишну помочь, а очень искусно объяснил, что у всякого свое горе, свои заботы. И вот у него, князя, новая забота, где деньгами не поможешь. Племянник, офицер-измайловец, князь Козельский, такой же, как и он. И приходится покидать место ординарца, а другого нет.

— Ну это все пустое, князь,— улыбнулась Перекусихина.— Я счастлива буду вам в пустяках услужить. Румянцев покинул командование армией в Пруссии и приезжает поклониться новой царице. На днях будет здесь. И вот я ему словечко скажу... И будет ваш племянник на видном месте, а не у Трубецкого.

— Ну, спасибо вам, дорогая Марья Саввишна,— воскликнул князь.— А я сейчас прямо от вас еду к Никите Ивановичу и буду .. как это по французской пословице... Буду у него из носу червей таскать... Выведаю все, что мне нужно... А нужно мне, чтобы действовать. Вернее, чтобы горланить по Москве. Горланить иногда как бывает хорошо и полезно, если горланишь умно и хитро.

XV

Важной особой благодаря уму, тонкости и хитрости был Никита Иванович Панин в эти смутные дни начинающегося третьего месяца царствования новой императрицы, которую закон коренной и естественный допускал, разумеется, быть лишь правительницей за малолетнего сына, а не монархом. Все натворило смелое, отважное, ловко задуманное и лихо произведенное питерское «действо» гвардии с Орловыми во главе.

— На бунтовщичье лихое действо есть постепенное, скромное, но твердо неукоснительное воздействие законом,— рассуждал Панин, стараясь теперь из монархини сделать регентшу de facto.

Приехав к Панину, князь нашел его в радостном настроении духа. Он, видимо, старался если не скрыть, то хотя бы смягчить свое почти восторженное состояние души В глаза бросалось, что с ним что-то случилось особенное, сделавшее его счастливым.

Князь не мог промолчать и выговорил:

— Полагаю, что есть что-либо новое и вам приятное.

— Да... да... Воистину приятное,— заявил Панин — Радуюсь. Счастлив. Но не за себя, а за отечество. За империю.

— Вон как! — удивился князь.— Полный и конечный мир с пруссаками заключен?

— Нет... Это что... Лучше того.. На короля Фридриха мы можем теперь рассчитывать... Есть нечто важнейшее, благодетельнейшее не для внешних, а для внутренних дел.

— Для внутренних? — удивился князь очень искусно.

— Да. Я не могу вам сказать всего... Это государственная тайна. Скажу только, что я подал государыне прожект нового важнейшего учреждения, главнейшего в империи. Ну вот, государыня мне сегодня передала, что одобряет сей прожект и не замедлит поведать о нем во всенародное сведение. Но что такое именно, я не могу вам сказать.

— Я вам скажу, Никита Иванович.

— Вы? Полноте. Что вы! Это известно лишь государыне, мне, сочинителю прожекта, да разве еще двум персонам, графу Алексею Григорьевичу Разумовскому да будущему графу Григорию Григорьевичу, конечно...

— А от него, Орлова, с братьями и всей Москве.

— Что вы?! — изумился Панин.

— Верно. Я все-таки больше москвич, чем вы, и знаю больше. Поверьте, что всякое и важное и пустое, доходящее до дома будущих графов, тотчас расходится по всей столице.

— Это горестно, князь..

— Конечно.

— Но, право, я думаю — вы ошибаетесь . Ну, скажите, про что я, собственно, говорю. Коли правда, я признаюсь вам.

— Вы сказываете о новом учреждении при царице. Властном, высоком, которому и именование будет «верховный», и еще другое именование: «тайный».

— Да! — тихо вымолвил Панин.— Да.

— Вот видите. Москва знает и уже пересуживает на свой салтык.

— Что же она говорит?

Князь внутренне рассмеялся тому, что собирался ответить или выпалить, так как Панин, очевидно, судя по их разговору, считает его в числе своих сообщников.

— Ну-с, что же она говорит?

— Москва-то, Никита Иваныч?

— Да

— Она говорит — дудки!

— Как?

— Дудки! Вам известно оное выражение российское?

— Известно, князь,— сумрачно ответил Панин.— Но я его не понимаю хорошо в сем случае, о коем речь у нас.

— Москва Московна, старушенция,— заговорил князь другим голосом,— привыкла жить по-Божьи Не может судить старуха всякое обстоятельство, как судит мальчугашка, у коего еще и пушка на губах нет и которому по молодости лет все простительно. Простительно и легкосердечие, и легкомыслие. На то он и мальчугашка.

— Про кого вы говорите, князь?

— Про Петербург, Никита Иваныч, которому только шестьдесят лет. А это для города, да еще для столицы, то же, что для человека младенчество.

Наступило молчание, после которого Панин выговорил:

— Тут дело не в столицах — в Петербурге те же русские люди и те же сыны отечества.

— Однако многое, что творится в Питере и кажется хорошим, даже нарядным, Москве кажется совсем негодным. Вот Москва теперь и сказывает, что коли Россия пережила одного Бирона, то зачем же ей наживать снова временщика с царской властью и без царской ответственности пред Богом. Москва говорит: пускай царь или царица хоть и худо в чем поступит, да это худо будет царское худо, помазанника Божия! И как таковое, пожалуй, оно окажется лучше проходимцева добра. Вот ваше учреждение совета, который будет править и царицей, Москве и не по душе.

— Не царицей, князь, а империей. В облегчение забот и трудов царских...

— Ох, Никита Иваныч! — закачал князь головой.— Облегчение?! Слово придумано удивительное. У нас по дорогам обозы вот грабят.. Зло великое для торговли и неискоренимое. Купец говорит, вздыхая: «Опять обоз у меня в пути облегчили».

Панин насупился и не отвечал ни слова.

«Ну, отвел душу!» — подумал князь и тотчас же стал прощаться.

И затем целый день до вечера и весь следующий день князь разъезжал по Москве, по друзьям и знакомым, и на все лады осуждал «надменномыслие» пестуна цесаревича

Через два дня разговор князя Козельского с Паниным был уже известен Перекусихиной. Сам князь снова съездил к любимице государыни и передал все подробно. Он прибавил, что уже два дня всюду «горланит» таковое же. И всюду его «громогласное насмехание» над прожектом Панина встречает общее сочувствие.

И это была истинная правда. Москва дворянская ахнула при известии о том, что будет пять, а кто говорит, и восемь верховных правителей, якобы советников монархини, которые будут «некоторое происхождение дел» решать и вершить, даже не докладывая о них государыне, чтобы «облегчить» ее труд. Но Москва даже не встревожилась, даже не сердилась. Она, матушка, «золотая голова», только смеялась и ради смеха спрашивала:

— Кто же такие эти будущие верховные, тайные правители? Коли бедные, то будут скоро богаты... только не разумом!

По совету той же Перекусихиной князь собрался к фельдмаршалу Разумовскому.

— Ступайте, князь...— сказала она.— Ступайте и передайте графу Алексею Григорьевичу от меня поклон нижайший и прибавьте: Марья Саввишна приказала-де вам сказать, что если у вас имеется теперь любопытное писание гордого сочинителя, то покажите-де его мне, князю. Вместе посмеемся, да смеясь и рассудим, так как оба здравосуды, а не кривотолки.

Князь понял, в чем дело, и рассмеялся. И он тотчас же отправился к Разумовскому, с которым был почти в дружеских отношениях.

Фельдмаршал граф Разумовский, переехавший в Москву тотчас по смерти Елизаветы Петровны, решил сделаться совсем москвичом.

Всесильному вельможе и любимцу покойной императрицы было почти невозможно оставаться на берегах Невы и быть свидетелем правления нового императора и быстрого возвышения новых людей.

Во время краткого полугодичного царствования Петра III он ясно видел, что оставаться при дворе для него отчасти даже опасно. Он рисковал ежедневно навлечь на себя беспричинный гнев прихотливого и капризного государя и вдруг лишиться всего... Опала вельмож и конфискация новым правительством имуществ, их вотчин и капиталов, жалованных предшествующими монархами, бывали в Петербурге сплошь да рядом и вошли как бы в обычай.

Однако при воцарении Екатерины обоим братьям Разумовским, фельдмаршалу и гетману, сразу стало легче, государыня особенно милостиво отнеслась к обоим, но кто мог ручаться за будущее? Да и само положение новой царицы казалось очень многим опытным людям ненадежным и шат-

ким. А претендентов на престол, однако, не было. О принце Иоанне Антоновиче могли толковать люди, только совершенно незнакомые с его положением, с его умственным состоянием, а законный наследник Петра III был еще ребенком.

И многие испугались, и Разумовские в том числе, учреждения императорского совета, которое умные и сильные люди возомнили и упорно захотели вырвать из рук царицы, еще не чувствующей под собой твердой почвы.

Это учреждение должно было прямо передать власть в руки нескольких человек, что стало бы опасно, даже пагубно для многих из прежних сильных вельмож. Два-три врага в этом императорском Верховном совете могли бы если не сослать, хоть тех же Разумовских, в ссылку, то сделать нищими, конфисковать все пожалованное им Елизаветой, хоть в свою же пользу.

В начале царствования новой императрицы уже повторилось много раз виденное в Петербурге, хотя на этот раз более справедливое. Тотчас после ее воцарения у любимца Петра III, Гудовича, было конфисковано все подаренное ему государем огромное состояние.

Как легко дарились поместья и даже целые города с феодальными правами всяких сборов и налогов, так же легко и отнимались. За все первое полустолетие это было обычным явлением.

Младший Разумовский, гетман Малороссии, Кирилл Григорьевич, был смелее брата и еще мечтал о службе, о почестях и даже дошел до того, что стал просить государыню сделать гетманство наследственным в его роду. Но это должно было только послужить поводом к окончательному уничтожению гетманства.

Фельдмаршал, наоборот, ничего не желал, кроме спокойствия, безопасности и совершенного забвения его личности правительством.

Граф Алексей Григорьевич перебрался из Петербурга со всем имуществом и со всем скарбом на несколько сот тысяч. Москва и прежде была ему более по душе, чем Петербург, а теперь и подавно, когда не было уже на свете женщины, сделавшей его из простого казака графом и фельдмаршалом, и даже супругом, как утверждала молва.

Москва, конечно, обрадовалась новому именитому обывателю, богачу и хлебосолу, доброму, радушному, которого давно знала и очень уважала.

Теперь, в дни коронационных празднеств, Алексей Григорьевич жил не в гостях у Москвы, временно, как другие петербуржцы, а у себя дома, в обстановке, которая москвичам была еще диковиной своей причудливой роскошью и пестротой. Обилие дорогой мебели, ценной бронзы и чудных

картин было еще необычным явлением в больших дворянских домах Москвы. До сих пор славились богачи простором домов и комнат, наполовину пустых. Но зато всякий озабочивался, чтобы «дом был красен не углами, а пирогами».

XVI

Граф-фельдмаршал принял князя, как всегда, радушно, но, узнав о поклоне и словах Перекусихиной, задумался.

— Что же? — сказал он, помолчав.— Прямого указания самой государыни вы мне, князь, не привезли. Но Марья Саввишна знает, что делает. Извольте, я вам прочту писание, которое царица соизволила мне дать на обсуждение.

И граф достал из потайного ящика письменного стола тетрадь.

— Позвольте мне не утруждать себя и вас прочтением всего писания, а прочесть только существенное, касательное этого учреждения... Скажу — верховного вершителя судеб россиян, купно с самим монархом. При избрании царицы Анны было тоже посягательство вольнодумцев. Но было все тогда прямодушно, открыто сказано и сделано, а затем открыто похерено... А это — лисье сочинительство...

Граф перелистал страницы тетради и, найдя мотивировку и объяснение Верховного совета, начал читать вполголоса, хотя двери были заперты.

«Сенат имеет под управлением все коллегии, канцелярии, конторы, яко центр, у которого все стекается, но он под государевой державной властью не может иметь права законодавца, а управляет по предписанным законам и уставам, которые изданы в разные времена, и может быть, по большей части в наивредительнейшие, то есть тогда, когда при настоянии случая, что востребовалось. Следовательно, какие бы предписания сенат ни имел о попечении, чтобы натуральная перемена времен, обстоятельств и вещей всегда была обращена в пользу государственную, ему, в рассуждение его существенного основания, невозможно сего исполнить, ибо его первое правило — наблюдать течение дел».

«Сенатор и всякий другой судья приезжает в заседание так, как гость на обед, который еще не знает не токмо вкуса кушания, но и блюд, коими будет потчеван. Из сего само собою заключается, что главное, истинное и общее о всем государстве попечение замыкается в персоне государевой. Она же никак инако полезное действо произвести не может, как разумным разделением между некоторым малым числом избранных к тому единственно персон».

«Взяв эпоху царствования императрицы Елизаветы Петровны: князь Трубецкой тогда первую часть своего прокурорства производил по дворянскому фавору, как случайный человек, следовательно, не законы и порядок наблюдал, но все мог, все делал и, если осмелиться сказать, все прихотливо развращал, а потом сам стал угодником фаворитов и «припадочных» людей. Сей эпок заслуживает особливое примечание: в нем все было жертвовано настоящему времени, хотениям «припадочных» людей и всяким посторонним малым приключениям в делах».

«Образ восшествия на престол покойной императрицы требовал ее разумной политики, чтоб, хотя сначала, сообразоваться сколько возможно с неоконченными уставами правления великого ее родителя, вследствие чего тотчас был истреблен учрежденный до того во всей государственной форме кабинет, который, особливо когда Бирон упал, принял было такую форму, которая могла произвести государево общее обо всем попечение. Ее Величество вспамятовала, что у ее отца-государя был домовый кабинет, из которого, кроме партикулярных приказаний, ордеров и писем, ничего не выходило, приказала и у себя такой же учредить».

«Тогдашние случайные и «припадочные» люди воспользовались сим «домашним местом» для своих прихотей и собственных видов и поставили средством оного всегда злоключительный общему благу интервал между государя и правительства. Они, временщики и куртизаны, сделали в нем, яко в безгласном и никакого образа государственного не имеющем месте, гнездо всем своим прихотям, чем оно претворилось в самый вредный источник не токмо государству, но и самому государю. Вредное государству, потому что стали из него выходить все сюрпризы и обманы, развращающие государственное правосудие, его уставы, его порядок и его пользу под формою именных указов и повелений во все места».

«В таком положении государство оставалось подлинно без общего государского попечения с течением только обыкновенных дел по одним указам всякого сорта. Государь был отдален от правительства. Прихотливые и «припадочные» люди пользовались кабинетом, развращали форму и порядок и хватали отовсюду в него дела на бесконечную нерешимость пристрастными из него указами и повелениями».

«Между тем большие и случайные господа пределов не имели своим стремлениям и дальним видам, государственные оставались без призрения; все было смешано; все наиважнейшие должности и службы претворены были в ранги и в награждения любимцев и угодников; везде «фовер» и старшинство людей определяло; не было выбору способно-

сти и достоинству. Каждый по произволу и по кредиту дворских интриг хватал и присваивал себе государственные дела, как кто которыми думал удобнее своего завистника истребить или с другим против третьего соединиться»..

XVII

— Ну прямо было царство Шемяки, а не Лизавет Петровны! — воскликнул князь, прерывая чтение.

— Да. Что вы скажете? — вымолвил граф, опуская на колени бумагу.— Ну а словечко «припадочные люди»?

— Это не все? — спросил князь.

— Нет. Дозвольте еще чуточку прочесть. А вы мне теперь скажите, вот это как вам кажется?

— Трудно отвечать, Алексей Григорьевич. По-моему, совсем что-то такое невозможное... Слушаешь — и ушам не веришь!

— Вот и я так-то говорю, Александр Алексеевич. А государыня мне вчера сказывала, что некоторые лица говорили ей, что удивляются этому писанию. А другие лица докладывали ей, что сие писание прямо продерзостное и что от этакого, если бы оно состоялось, будет истинный переполох во всей Российской империи. А одна особа, которую государыня не пожелала мне пока назвать, прочитавши это писание, так выразилась, что это-де, ваше императорское величество, хитроумнейшее, злокозненное сочинительство и писатель оного прожекта тщится все сие оборотом представить.

— Не совсем я понимаю! — отозвался князь.

— А вот слушайте! Эта особа выразилась, что писатель, а вам известно, кто он, под видом облегчения трудов монарха, желает, собственно, учреждения того, что в древности у греческого народа прозывалось олигархией. Слово сие государыня мне повторила два раза, я его записал, а поэтому не ошибаюсь, а значит оное — главенство нескольких человек над самим монархом. И вот сие, воочию видимое, ясное в сем описании, граф Панин отрицает. Он все повторяет одно — облегчение трудов монарха и облегчение текущих государских дел от «припадочных людей». Вы заметили, сколько раз повторяется сие выражение «припадочные люди»?

Князь покачал головой.

— Слово глупое! — сказал он.

— Как же не глупое? — вдруг взволновался Разумовский и встал с кресла.— Позвольте спросить вас, человека прямодушного, кто, к примеру сказать, припадочный человек?

Князь улыбнулся и невольно опустил глаза.

— Да ну, полно, прямая душа, говорите!

— Понятно, вы, граф!

— Ну вот! И что же сказать? За все то царствование блаженной памяти в Бозе почившей государыни...— и Разумовский перекрестился,— за все то время сделал ли я хоть что-либо такое, как сей писатель тут размазывает? А помимо меня, кто же что такого особливого, лихого и худого натворил? Граф Шувалов, правда, нажил косвенным путем, откупами, страшные деньги, но разве от этого империя Российская пошатнулась? Да и не в том дело. А не говори так, не пиши в прожекте, подаваемом самой царице, этакого слова касательно ее покойной тетушки и благодетельницы. Государыня, передав мне это писание, собственноручно изволила пометить и якобы указать: погляди, мол, какое словечко: «припадочные люди».

— Да, слово худое! — улыбнулся князь.— И при этом скажу — счастливое слово...

— Как счастливое?! — ахнул Разумовский.

— Да, Алексей Григорьевич, слово счастливое, потому что оно немало испортило весь прожект, разгневав государыню.

И он рассмеялся.

— Да, это точно! — улыбнулся Разумовский.— В этом смысле слово счастливое, что оно прожекту несчастие приносит. Теперь послушайте далее, дорогой князь, и подивитесь. Вы спрашивали, почему государыня передает сие писание на чтение и обсуждение, прося сохранения тайны? Ну вот сейчас вы узнаете почему. Наш господин сочинитель, Никита Иванович, прямо сказывает... Государыня, которой надо такой прожект монаршей властью превратить в учреждение всероссийское, не должна о нем ни с кем советоваться. Чтобы никому не было известно. А то, изволите видеть, произойдет смятение. Но и этого мало... Сейчас услышите! Тут еще такой один сладкий пирожок на закуску, что удивляться надо продерзости господина Панина. Он кончает свое сочинение прямо-таки угрозой.

— Тоже угрозой?! — вскрикнул князь.

— Да-с! Как ни верти, прямо грозительство: что если государыня не подпишет и не узаконит учреждения Верховного совета, то будет возмущение и заговор нескольких сильных придворных лиц. Да что болтать, послушайте далее.

И граф снова начал читать:

«Нужно было тогда собрать в одно раскиданные части, составляющие государство и его правление. Сделали конференцию, монстр ни на что не похожий. Не было в ней уже ничего учрежденного, следовательно, все безответственное, и, схватя у государя закон, чтоб по рескриптам, за

подписанием конференции, везде исполняли, отлучили государя от всех дел, следовательно, и от сведения всего их производства. Фаворит остался душою, животворящею и умертвляющею государство; он, ветром и непостоянством погружен, не трудясь тут, производил одни свои прихоти; работу же и попечение отдал в другие руки.

Сей под видом управления канцелярского порядка, которого тут не было, исполнял существительную роль первого министра, был правителем самих министров, избирал и сочинял дела по самохотению, заставлял министров оные подписывать, употребляя к тому или имя государево, или под маскою его воли желания фаворитов.

Таково истинное существо формы или, лучше сказать, ее недостатки в нашем правительстве. Наш сапожный мастер не мешает подмастерью с работником и нанимает каждого к своему званию. А мне, напротив того, случилося слышать у престола государева от людей, его окружающих, пословицу льстивую за штатское правило: «была бы милость, всякова на все станет.

Спасительно нашему претерпевшему отечеству материнское намерение В. И. В-ства, чтобы Богом и народом врученное вам право самодержавства употребить с полною властию к основанию и утверждению формы и порядка в правительстве. Во исполнение всевысочайшего В. И. В-ства повеления я всеподданнейше здесь подношу о том прожект в форме акта на подписанье Вашему Величеству.

Осмелюсь себя ласкать надеждой, что в сем прожекте установляемое формою государственною верховное место лежисляции или законодания, из которого, яко от единого государя и из единого места, истекать будет собственное монаршее изволение — оградить самодержавную власть от скрытых иногда похитителей оной. Впрочем, я должен с подобострастием приметить, что есть, как вам известно, между нами такие особы, которым, для известных и им особливых видов и резонов, противно такое новое распоряжение в правительстве. И потому невозможно В. И. В-ству почесть совсем оконченным к пользе народной единое ваше всевысочайшее соизволение на сей ли предложенный прожект или на что другое, но требует еще оно вашего монаршего попечения ее целомудренной твердости, чтоб совет В. И. В-ства взял тотчас свою форму и приведен бы был в течение, ибо почти невозможно сомневаться, чтобы при самом начале те особы не старались изыскивать трудностей к остановке всего или, по последней мере, к обращению в ту форму, каковую они могут желать. В таком случае несравненно полезнее теперь по ней сделать установление, нежели допустить так, как прежде бывало, развращать единожды установленное!..»

Граф Разумовский бросил тетрадь на стол и раздражительно выговорил:

— Будет! Не могу! Десятый раз читаю и озлобляюсь. Еще путает... Поскорее-де... Поскорее... Те особы тормоз наложат! Кто? Какие это особы? Мы, что ли, с братом-гетманом? Воронцов, Михаил Ларивоныч? Шуваловы, что ли? Да всем, кого ни возьми, лучше, чтобы царицей была Екатерина Алексеевна, нежели укрытый личиной верховного советника самодержец Никита.

— Да. Так бы уж открыто и именоваться ему — Никита I! — рассмеялся князь.

XVIII

Молодой князь Козельский, столь же добрый и честный, сколько ограниченный, не сразу, а лишь постепенно понял, какой перелом приключился в его жизни с того дня, что он поселился у дяди.

И когда понял, то стал счастлив; оценил значение происшедшего. До тех пор он ходил как бы во сне или в чаду, в угаре.

Князь не только советовал, чтобы племянник больше бывал в обществе и веселился, но даже требовал... И вместе он чуть не требовал, чтобы Сашок тратил деньги, говоря полушутя, полусерьезно:

— Швыряй червончики и лобанчики, а не рублевики и гривны! Ты мое имя носишь. Князю Козельскому, что большой галере, нужно большое плавание. В море-океане шествовать на всех парусах, а не в пруду с карасями полоскаться.

Но вдруг, через некоторое время, состояние духа и отношение князя к молодому человеку изменились. Князь бывал сумрачен, подчас раздражителен и груб с племянником, потом становился бодрее, веселее и любезнее, а затем без всякой видимой причины снова делался таким, «что подступу нету» Он даже начинал иногда «привязываться» к племяннику

«Повернулся — виноват, и не довернулся — виноват»,— соображал Сашок, недоумевая.

Узнав однажды от Сашка, вызванного им на откровенность, что ему нравится девица Квощинская, но еще более нравится княжна Баскакова, с которой он познакомился накануне, князь стал вдруг снова относиться к племяннику по-прежнему: просто и добродушно.

Однако через несколько дней Сашок был снова озадачен. Придя к дяде, он нашел его сильно не в духе. Разговор зашел о Москве, всеобщем движении и ликовании, о все-

общем волнении в среде дворян и еще больше в среде петербургских сановников, в предвидении будущих наград к коронации. Сашок ни с того ни с сего заметил философски, что он не желал бы быть генералом-аншефом или вообще сановным лицом, равно не желал бы быть и богачом. А лишь бы прожить на свете счастливо.

Сказанное молодым человеком было скромным и по мысли, и по выражению, но князь Александр Алексеевич вдруг заговорил таким голосом, которого Сашок еще не слыхал. Он стал говорить, что не главное быть счастливым в жизни, а главное — быть честным, прямодушным и не себе на уме. Тогда и счастье приложится. А у кого на душе нечисто вследствие бесчестных поступков, тому вряд ли посчастливится на свете.

Сашок слушал и не столько удивлялся словам, так как соглашался вполне с правильностью мнения дяди, сколько удивлялся голосу князя, в котором звучали досада и раздражение. Кроме того, Сашку смутно казалось, что все сказанное дядей было положительно в «его огород».

«Что же это? — думалось ему.— Стало быть, я, выходит, нечестный человек, у меня на душе нечисто, поэтому и мне не посчастливится. Чудно!»

На другой день после этого разговора случилось опять то же. Князь без всякого видимого повода стал придираться к племяннику и вдруг выразился:

— Да что же, скажу. Дело понятное. Всю мою жизнь я говорил, что мальчишки — народ такой, на который полагаться нельзя! Оттого я — не будь глуп — от таковых всегда в стороне держался.

Это было уже прямо насчет Сашка, однако он все-таки промолчал.

Но одновременно Сашка стесняло «вольное» обращение с ним Земфиры. И так как он все передавал Кузьмичу, то Кузьмич задумывался, отзываясь только одним словом:

— Вот ракалия так ракалия! Держись от нее подальше. Коли лезет шалая молдашка, так ты стерегись! Ведь дяденьке может, пожалуй, не понравиться.

— Да что же я могу сделать? — отзывался Сашок.

— Уж там как знаешь! Сторонись.

И молодой человек держал себя с молдашкой крайне осторожно, действительно стараясь, по совету дядьки, удаляться, стараясь прерывать и сокращать беседы, стараясь даже как можно меньше встречаться с ней в доме.

Земфира давно уже звала его к себе в гости в ее комнаты, но он под разными предлогами отказывался. Наконец однажды она встретила его в доме уже вечером, взяла под руку и

повела к себе почти насильно. Посидев с полчаса, Сашок сразу встал и ушел, так как Земфира вдруг поцеловала его.

Наутро рано лакей позвал его к князю.

Сашок явился к дяде и был встречен словами, сказанными с улыбкой, но все-таки сухо:

— Я за тобой послал, племянничек, чтобы переговорить. Хочешь ты, чтобы я тебя прогнал от себя и снова никогда на глаза не пускал?

Сашок удивленно поглядел на дядю.

— Понял? — спросил князь.

— Никак нет-с! — добродушно отозвался Сашок.

— Ты слышал, однако, что я сказал?

— Слышал-с.

— И не понял?

— Понял, собственно... Но не понимаю, за что вы на меня гневаетесь.

— Если я позабуду на столе кошелек с деньгами, а тебе даже не будет в деньгах особой нужды, ты этот кошелек и скрадешь?

— Что вы, дядюшка? — воскликнул Сашок, зарумянившись.

— Что я... Я спрашиваю... Мне потерять кошелек, хотя бы с тыщей червонцев, невелика потеря. Но знать, что у меня в доме вор, да еще родной племянник и крестник, это... Это, знаешь ли, не очень приятно.

— Я, дядюшка, как есть ничего уразуметь из ваших слов не могу! — вспылив, воскликнул Сашок.— Поясните более толково и без обиняков. И я буду отвечать. Обличать — так обличать понятными словами, а не турусами на колесах.

— Что дороже: деньги или привязанность, любовь?.. Как понимаешь ты?

— По-моему, привязанность, конечно...

— Ну, вот у меня есть женщина, к которой я привязался давно сердцем, хотя она, себялюбица, этого и не стоит. Ты знаешь, про кого я говорю... Ну а ты у меня собираешься эту женщину подспудно оттягать и, стало быть, своровать.

— Что вы, дядюшка!..— воскликнул Сашок.

— Ничего я дядюшка!..— уже резко выговорил князь.— Не финти! Ты подмазываешься к моей Земфире.

— Никогда-с! — закричал молодой человек.

— Как никогда? Я ведь не слепой. Да она мне, наконец, сама сказала, что ей от тебя проходу нет... Что ты, в самом деле, казанскую-то сироту представляешь?.. Сама она сказала... Просила от тебя ее защитить! Да.

— Вот так уж прямо она... извините, ракалия! Бесчестная, подлая женщина! Лгунья! — крикнул Сашок вне себя.— И что же ей нужно? Зачем она так лжет? Понятно. Ей желательно, чтобы вы меня прогнали. Так спросите Кузьмича,

как мы с ним всякий день толкуем, как мне от Земфиры избавиться. От её вольного обращения.

Князь глядел на племянника удивленно, затем вдруг, хлопнув себя по лбу, крикнул:

— Ах я, телятина!

Он сразу поверил молодому человеку и не понимал, как мог поверить Земфире.

И, улыбаясь уже, он спросил:

— Ты вчера силком влез к ней в комнаты?

— Да-с. Силком! Именно силком она меня из гостиной к себе увела, держа вот за обшлаг. Что же? Драться было с ней?

Князь встал, быстро подошел к Сашку и, поцеловав его, произнес:

— Прости меня, Александр Никитич. Прости дурака дядю... Впредь увижу тебя целующим ее и глазам своим не поверю.

— И это правильно будет, дядюшка. Бывает, что иная баба насильно целует тебя... Что же? Бить ее?.. Только и можно, что остониться...

Князь начал ходить молча по комнате и, размышляя, изредка качал головой. Он глубоко задумался...

— Ну, хорош я гусь! — вымолвил он наконец.

Между тем успокоившийся Сашок заговорил тихо, толково и как-то рассудительно, что он скучает не в меру и давно, скучает даже и теперь, у дяди в доме, и поэтому хочет, наконец, объясниться, сказать дяде про одно важное дело.

— О чем или о ком? — спросил князь.

— О себе-с.

— О себе?.. Ну, говори.

— Я рассудил бракосочетаться! — выпалил Сашок сразу.

Князь вытаращил глаза. Заявленье его огорошило.

— Ой-ой-ой...— жалостливо протянул он с соболезнованием, как если бы племянник заявил ему о какой приключившейся с ним беде.

Сашок даже удивленно поглядел на дядю.

— Ой-ой-ой... Вишь как!.. Не ожидал... Ну, что делать! Жаль мне тебя, а горю пособить не могу, потому что ты же мешать будешь мне... Скажи, как это с тобой стряслось...

Сашок не знал, что отвечать.

— Говори. Когда и как это приключилось?.. В кого ты, собственно, втюрился?

— Да вот недавно... Прежде на ум не приходило, а теперь в двух, дядюшка. Их две. Мне больше по душе Баскакова, а Кузьмичу больше полюбилась Квощинская.

— Да. Вот что... Ну, так дело, стало быть, еще не горит, терпит,— усмехнулся князь.— Ну и что же? Обе эти девицы — красавицы писаные? Ангелы?

— Точно так-с. Вы, стало быть, знаете?..

— Еще бы. Как же не знать! — воскликнул князь.— Все знаю. Знаю, что ты девицу обожаешь и будешь обожать до конца твоих дней...

— Да-с. Только я еще не знаю... которую...

— И если тебе нельзя будет на которой-либо жениться, то ты будешь самый несчастный человек... Хоть руки на себя наложить .. Так ведь?

— Так-с. Воистину. Кто же вам это сказал? Кузьмич сказал?

— Нет. Не Кузьмич. Глупость людская мне это сказала. Всякий день вижу, всю жизнь мою, таких дураков, как ты... Пора все это мне знать Ну вот что, Александр. Отговаривать тебя жениться я не хочу. Советовать инако поступить мне, как дяде твоему, неблагоприлично. Хорошему на мой толк, но худому на людской толк, мне тебя учить грех. Стало быть, я могу тебя только жалеть.

— Я вас, дядюшка, не понимаю,— сказал Сашок.

— То-то... То-то... И не можешь понять. Когда бы ты мог мои рассужденья понимать, то и был бы ты неспособен на такое дурачество, как женитьба. Ай, батюшки, сколько вас, дураков, эдак пропадает,— насмешливо и жалостливо прибавил князь.— Что ни день — свадьба! Что ни день — пропал молодец. Кроме постов и суббот! Ну, что же делать! Спасибо еще, что не сейчас собрался, не знаешь еще, на которой... Когда порешишь, которая тебе больше «ангел» и без которой жить не можешь, тогда скажи. Я все сделаю, чтобы было богато и хорошо на твоем погребении... Тьфу! На венчании.

Князь рассмеялся, а затем снова глубоко задумался.

XIX

Около полудня князь вышел от себя и направился наверх в комнаты Земфиры. В эту пору дня он бывал крайне редко и разве только по особо важному поводу. Много за это утро передумал он.

— Здравствуйте, моя прелесть! — сказал он, входя и улыбаясь насмешливо.

«Сердит на что-нибудь»,— подумала про себя Земфира, хорошо знавшая своего сожителя и видевшая его насквозь.

— Здравствуйте,— ответила она небрежно.

— Потолковать я пришел с тобой об одной довольно важной материи.

— Ну.

— Что ну?..

— Ну, говорю...

— Напрасно нукаешь. Я не лошадь.

— Опять поехали! Стало быть, начинается канитель.

— Удивительное дело,— проговорил князь как бы сам себе.— Нерусская. Басурманка. По-русски говорит, как ученый скворец. А все невежливые и холопские российские способы речи подхватила. Нукает. Или норовит заладила Маланья! Или: поехали! Удивительно... Ну, вот что, моя прелесть. Ты мне с твоими грубостями и с твоим чертовым нравом начинаешь наскучивать. Ты говоришь: «Поехали». Да. Правда. Мы с тобой вот уже годика с два, как поехали врозь. И далеко уехали. Вернее выразиться: разъехались... Да не в этом дело... А дело вот в чем. С каких пор ты начала врать, лгать и клеветать... Ну-ка?

— Что?

— Ну, говорю я. В свой черед нукаю. Ну?

— Что вы говорите?

— Говорю: ну, говорю: отвечай. С каких пор ты начала клеветничеством заниматься? Уже давным-давно, да я не замечал? Или недавно? Ты вот объяснила, что тебе проходу нет от племянника, который якобы в тебя по уши влюбился и тащит тебя... В свои объятия, что ли? А он мне сейчас объяснил, что такая старая девица, как ты, да еще нахальная, да еще, говорит, чем-то затхлым отдающая, будто псиной, не могла и не может ему полюбиться. Это, говорит, дядюшка, для вас, старика, такая чернавка прелестна, а меня от эдакой нудить бы стало...

— Что-о? — изумилась Земфира, но затем догадалась, что все выдумки князя, рассмеялась.

Однако разговор и объяснения не привели ни к чему. Слишком искусна была женщина, играя комедию. Она объяснила, что сочинила все потому, что, очевидно, ошиблась и ей показалось, что Сашок в нее влюблен.

— Ну так впредь знай,— сказал князь,— что он влюблен сильно, да только не в тебя.

И князь передал Земфире намерение Сашка жениться.

Вместе с тем разговор и объяснения с племянником и с сожительницей человека умного, самолюбивого, справедливого и решительного в поступках привели его к одному из важнейших деяний всей его жизни. Через два дня после уличения Земфиры в клевете явился вдобавок «доклад» Кузьмича о поцелуе... про который не обмолвился Сашок по своей доброте и честности... И князь снова тем утром вызвал к себе племянника по делу.

Когда Сашок вошел в кабинет дяди, князь сидел в кресле и держал в руках большой сложенный лист бумаги; улыбаясь, он хлопал себя листом по коленке.

— Ну, воробей, как тебя зовет княгиня Трубецкая, присядь! — сказал он.— Сюда... Поближе!.. Скажи, ты в грамоте не очень силен?

Сашок улыбнулся, не зная, как ответить.

— Писаное можешь читать?

— Могу-с!

— Ну а мою записку все-таки не понял, где стояло: «любрабезканый пледамянбраник»?

— Да ведь это, дядюшка, было на вашем чудном языке, а не по-российски! — рассмеялся Сашок.

— Ну, стало быть, вот это можешь прочесть! — Князь развернул лист и подставил ему к носу.— Это ведь, кажется, попросту, по-российски. Ну а написано хорошо, чисто?

— Да-с! Я эдакое могу прочесть.

— Ну, так читай!

Сашок взял лист и начал читать вслух.

— Нет, ты себе читай. Я-то наизусть знаю!

Несмотря на то, что бумага была красиво и четко написана, Сашок читал ее медленно, стараясь вникнуть в суть изложения, и только через десять или пятнадцать строк вполне сообразил, что у него в руках, и начал понимать. Бумага была — завещание по форме.

И, дочитав его до конца, он узнал, что половина состояния дяди жертвуется им в пользу двух монастырей на помин души. Другая половина состояния должна быть душеприказчиком обращена продажей вотчин в капитал. Капитал же этот — крупная сумма, которую Сашок сразу и не сообразил, должен быть передан Земфире в награду за ее «сердечное попечение, любовь и преданность».

— Понял? — спросил князь, усмехаясь, когда племянник кончил, и взглянул уже ему в лицо.

— Понял-с!

— Что это такое?

— Духовная ваша.

— Стало быть, половину в монастыри Господу Богу, а половину Земфире Турковне. А тебе, единственному родственнику и крестнику,— вот что!..

И князь подставил палец под самый нос Сашка.

— Тебе не обидно? — спросил он.

— Нет, дядюшка! — добродушно ответил Сашок.

— Почему же?

— Ведь все оное ваше и воля ваша! Да и как же вы мне что оставите, когда вы меня с рождения и не знавали? А в монастырь отдать — дело богоугодное. А особе завещать, которая при вас давно состоит и вас, полагательно, любила и теперь все-таки любит, тоже совсем справедливо,— так как же мне обижаться-то?

— Ах ты, воробей, воробей! — вздохнул князь; он протянул руку, погладил Сашка по голове, затем взял у него лист из рук и выговорил: — Ну а вот это ты поймешь или не поймешь?

И князь, держа лист обеими руками у самого лица племянника, медленно и как бы аккуратно разорвал его на четыре части, потом на мелкие кусочки, а затем бросил на пол

— Вот тебе! Какие Александр Алексеевич Козельский умеет колена отмачивать и фокусы показывать. Коли теперь я вдруг возьму да помру, что будет? Как, по-твоему?

— Не знаю, дядюшка!

— Как не знаешь? Да что же ты, совсем малый ребенок? Ведь ты мой единственный родственник и к тому же родной племянник... Ну?

— Что ну-с?

— Да ведь все же твое будет!

Сашок глядел дяде в лицо и молчал.

— Чего же ты не радуешься?

— Да что же, дядюшка? Ведь это когда еще будет! — спокойно произнес Сашок.

— А-а, вон как! Так ты бы желал, чтобы я сейчас околел? Ай да крестник!

— Что вы? Бог с вами! — воскликнул тот.

— Потерпи, брат! Еще лет десять проживу, а больше-то и трудно. Мы, Козельские, недолговечны. По крайности, теперь знай, что ты — мой единственный наследник. Ну а состояния-то у меня побольше того, что думают и толкуют люди. А если это все так приключилось, то спасибо скажи Земфире... Это все она...

— Как же Земфира? — тихо протянул молодой человек, совершенно пораженный.

— Так. Уж очень она постаралась, чтобы ты моим наследником оказался.

— Вот никогда не думал! — воскликнул Сашок.— Ей-Богу, не думал! А я, дядюшка, грешен, совсем не так думал. И уж если на правду пошло, то я вам доложу, что я совсем, как дурак какой, судил ее. Я еще вчера думал и с Кузьмичом толковал, что она меня хотела хитро так из вашего дома выжить. Не враждой и не таким поведением, как бы вот эта княгиня Трубецкая. А напротив, соблазнить хотела всячески, а затем так ласково да тихо обнести пред вами, свалить все на меня и выкурить отсюда! А она вот что! Это я, выходит, пред ней виноват. Кругом виноват!

Князь, выслушав, стал смеяться звонким, добродушным смехом.

— Да ведь кто со стороны тебя послушает,— произнес он наконец,— то прямо подумает, что ты дурак, отпетый

дурак! А это будет неправда. Ты совсем не то... Ты доверчивый по честности своей. И простомыслие твое — на честности зиждется... Ну а теперь слушай: никому ни слова о том, что читал здесь, и о том, что потом вышло. И Кузьмичу ни слова. Ну, ступай.

Когда Сашок уже выходил, князь крикнул:

— Стой! Забыл сказать. У нас в воскресенье здесь гости. Покажу тебе, что обещал. Картеж и игорных мерзавцев.

XX

— Как ни верти, все одно выходит! — думал и говорил сам себе вслух Кузьмич по десяти раз за час времени. А длилось это целый день.— Как ни верти — или умница, каких мало на свете... или совсем пень, чурбан... Или совсем благополучие, или все вверх пятками... Да, умник или пень?!

И старик все не мог решить этой задачи. А называл он так себя же. Себя он спрашивал: умно ли он решил поступить и будет ли полный успех. Или он, поспешив, глупость сделает, и все пропадет от спешки.

Дело в том, что старик решался на отчаянное средство, на нечто неслыханное и невиданное. Причин для такого удивительного поступка было много. Прежде всего было позднее соображение, что мир питомца с дядей принесет, пожалуй, несчастие. Большое знакомство, разъезды по Москве и при этом «аграматные» деньги, полученные от дяди, почти преобразили питомца его, и он окончательно «отбился от рук»!

Как старик ни просил свое «дите» ездить к Квощинским, где барышня «помирает от любви», Сашок только два раза заехал к ним, и один раз, правда, провел целый вечер. Так как было много гостей, играли в жмурки и горелки, то было очень весело... Но Таню все-таки он находил: «Ничего. Что же? Девица как девица».

А это отношение питомца к избраннице старика бесило его, так как он надеялся, что Сашок скоро будет без ума от «ангела и херувима».

Наконец, Кузьмич вдруг узнал, что «дите» было уже три раза в семействе какого-то князя Баскакова, и, справившись, узнал, что князь этот картежник, разорившийся кутила и запивающий, жена его чистая ведьма, а дочь их, привлекающая Сашка, на прошлых святках одевалась форейтором, ездила по комнатам верхом на стуле и, наконец, подвыпила, веселясь с своими горничными. «Вот тебе и княжна?!» И Кузьмич, перекрестясь, решил спасти «Сашунчика» от барышни-форейтора и от всяких иных бед, которые грозят теперь благодаря примирению с дядей.

Он знал своего питомца с самых первых мгновений его появления на свет Божий, знал лучше и судил вернее, чем, казалось, самого себя. И на этом знании нрава Сашка старик и основал свое «редкостное», как сам он мысленно соглашался, предприятие. «Надо так подстроить, чтобы вышло, как поленом по голове!» — решил он.

Старик зашел опять в Кремль помолиться мощам святых угодников. Затем прямо направился к Квощинским и, посидев с Марфой Фоминишной, объяснил, что желал бы повидать барина Петра Максимовича, чтобы «словечко закинуть», крайне важное.

Разумеется, он был тотчас позван к барину и, конечно, сам не подозревал, какого искусного лицедея изобразил собой.

Кузьмич объяснил Квощинскому, что надо решить простое дело, которое становится все мудренее. Его питомец «помирает от любви», из-за Татьяны Петровны «сна и пищи лишился», и если пойдет дело эдак, то он может и «свихнуться».

Квощинский, конечно, при таком известии просиял, но, однако, стал допрашивать и советоваться.

— Что же тут делать?

— Помогите, Петр Максимович. Разрешите все,— взмолился старик.— Мой молодец захворать смертельно может.

— Как же я-то... Что же я-то...— заявил Квощинский — Обычай такой, Иван Кузьмич, с миром зачался, что молодец первое слово сказывает или его родители и родственники. А девица через своих ответствует. Либо «всей душой»... либо «спасибо за честь, извините». Вам, стало быть, надо заговорить, а нам только ответ держать.

— Вот я вам, батюшка, Петр Максимович, сказываю, что мой князинька прямо помирает, а сказать вам или Анне Ивановне не смеет. И никогда, как есть, не скажет.

— Так как же? Что же тут делать? — беспомощно и озабоченно развел Квощинский руками.

— Одно спасенье, Петр Максимович! — заявил Кузьмич отважно и решительно, как бы свое последнее слово.— Вам надо заговорить. А он, мой князинька, умрет — не заговорит.

— Что же мне сказать, Иван Кузьмич? Не могу же я...

— Прямо сказать... Кузьмич, мол, был, все мне поведал про ваши чувства, и я могу только, мол, обнять вас и вам душевно ответить, что я счастлив. И все такое-эдакое... Вы уж лучше меня знаете, что...

— Так? Прямо?..— спросил Квощинский.— Прямо?.. Как если бы сватовство было от вас?.

— Именно-с!..— решительно воскликнул Кузьмич.— Начистоту! Прямо поцелуйтесь и скажите, что мы-де душой, если ты к нам всей душой. А я вот вам прямо, что сват

какой, сказываю. Мой молодец помирает от любви. Он меня не отрядил к вам, потому что я все ж таки его крепостной холоп, но знает, что я за него пошел говорить, потому что он сам не может. Храбрости этой нет и никогда не будет Ну вот я вам и сказываю.

— Что же, Иван Кузьмич... Пускай приезжает князь. Я ему слова не дам сказать, коли ему зазорно и робостно. Как приедет, обойму и к жене поведу, и дочь позову.

Кузьмич ушел и, вернувшись домой, снова волновался, спрашивая себя, «умница я или пень».

Разумеется, в доме Квощинских от восторга все заходило ходуном. Все были счастливы и нетерпеливо ждали завтрашнего дня.

К обеду вернулся и летающий всегда по Москве младший Квощинский. Ему тоже сообщили важное известие, и он тоже обрадовался, хотя и без того был радостно настроен. После обеда Павел Максимович не вытерпел и позвал брата переговорить в кабинет.

Он таинственно заявил, заперев двери:

— Дело мое ладится. Был я, братец, у Алексея Петровича и откровенно с ним беседовал. По всей видимости, граф будет непременно назначен после коронации опять канцлером, и я уж решил не просто просить заграничную посылку, а должность резидента российского в каком-либо малом государстве немецком. Для начала. А посижу эдак годика три и получу должность важнеющую, посланника к французскому королю или аглицкому.

— Не верится мне, братец,— мотнул головой Петр Максимович.

— Почему же это, братец? Граф Алексей Петрович обещал.

— Не верится. Гляжу я, гляжу и вижу чтой-то чудесное... Все захотели в Москве в государственные мужи выходить. На что наш Макар Иваныч... Голубей разводил, турманов, всю жизнь... А тот раз мне говорит, что хочет в губернаторские товарищи проситься. По мне вот что: если всех желающих царице удовлетворить, то и мест у нее не хватит. А если таковые должности на всех учредить новые, то тогда будут управители, а управляемых не останется ни единого...

Павел Максимович ничего не ответил. Замечание брата, которого он привык считать, как «изрядного рассудителя» всяких важных дел, его озадачило.

Действительно, за последнее время, когда он носился со своим планом сделаться чиновником иностранной коллегии, он замечал, что все его знакомые, положительно каждый, тоже имели свои служебные планы и «прожекты». Только один из приятелей, лейб-кампанец Идошкин, хотел подать царице просьбу простую и краткую: пожаловать ему сто

душ крестьян. А на вопрос друзей, как и за что, отвечал: «Да так... Новая царица. Милостивая. Да потом все собираются просить, а другие уж просят. Всяк о своем! Ну вот и я...»

Помолчав, Павел Максимович вымолвил.

— Это ты, батюшка братец, прав! Весьма даже прав. Но мое дело — иное. Тут все зря просят. А я поведу это дело через будущего канцлера...

— Ну что ж! Дай Господи! — ответил Петр Максимович и подумал: «Коли ты в резиденты, то мне уж в кригс-комиссары, что ли?..»

XXI

Между тем Кузьмич в тот же день вечером заявил питомцу, что был у Квощинских, и сознался Сашку, что якобы проболтался насчет него. Проболтался в том смысле, что объяснил Петру Максимовичу, как сильно захватила Сашка Татьяна Петровна. А Петр Максимович просит его приехать завтра утром в гости. Неведомо зачем. Побеседовать.

— Если он тебе будет что эдакое насчет дочки обиняком сказывать,— кончил Кузьмич,— то уж ты там как знаешь, поблагоприличнее ответствуй.

А про себя Кузьмич думал: «Да. Как поленом по голове!» И выражение Кузьмича оказалось буквально верным.

Сашок, поехав к Квощинским, вошел в дом, спокойный, довольный, намереваясь посидеть часок в гостях, побеседовать о том о сем... с Петром Максимовичем и с Анной Ивановной. Но когда он вошел и переходил залу, к нему навстречу уже вышел Квощинский, и лицо его поразило Сашка оживлением и радостью. Сашок хотел почтительно поклониться, но Квощинский остановил его движением руки.

— Поцелуемся, Александр Никитич. Объясняться вам не нужно. Верьте, что и я, и жена счастливы и польщены, а про Таню я и не говорю. Она от счастья разума лишилась. Пойдемте к жене!

И Квощинский, повернувшись и ведя за собой за руку молодого человека, не мог видеть, что Сашок несколько разинул рот и особенно странно раскрыл глаза.

Он спрашивал себя мысленно: «Про что он такое?..»

Введя молодого человека в особую комнату Анны Ивановны, где он еще ни разу не бывал, старик вымолвил:

— Ну вот, запросто поцелуйтесь!

И Анна Ивановна подошла и обняла Сашка. На лице ее были слезы.

Сашок, еще ничего, собственно, не понимая, уже думал: «Батюшки! Да что же это такое?»

Собственно говоря, в нем уже копошилось подозрение, но то, что он начал подозревать, казалось ему таким невероятным, что он боялся убедиться в своей догадке.

— Будьте уверены, Александр Никитич,— сказала Квощинская,— что мы будем любить вас, как родного сына, да инако и быть не может.

Сашок понял, что ему следует скорее, немедленно сказать что-нибудь или спросить что-нибудь, чтобы дело сейчас же разъяснилось. Но как же сказать и что спросить? Нельзя же сказать: «Коли о браке вы, собственно, говорите, то я не собираюсь и не хочу».

И как луч блеснула мысль в голове. «Это Кузьмич! . Да, это Кузьмич!.. Он просватал!»

И Сашок сразу растерялся совершенно и онемел.

В ту же минуту в комнату вошла молодая девушка, сильно румяная, с сияющим лицом, несмотря даже на то, что глаза ее были опущены.

— Ну-с, Господи благослови. Поцелуйтесь и вы! — сказал Петр Максимович.

Сашок, как потерянный, двинулся, чувствуя себя в чаду, в полном угаре. Но через мгновение он вздрогнул, встрепенулся, как-то ожил...

Поцелуй молодой девушки произвел на него неизъяснимое, никогда в жизни еще не испытанное впечатление... Ударил ли гром и раскатился кругом или сверкнула ослепительная молния и прожгла насквозь?..

Он этого не знал! Но он знал и чувствовал одно: «И слава Богу!.. Так хорошо! Так и нужно!»

И взглянув снова на Таню, уже сидевшую около матери, Сашок почувствовал, что он счастлив. И странно как? Он не один, каким был до сей минуты. С ним трое близких, будто родных, людей. И эти трое родных как будто стали сразу, чудом каким-то, ближе ему, чем даже Кузьмич. И слезы восторга навернулись у него на глазах. Казалось, от всего совершившегося разум покинул его. Он вполне очнулся, как бы ото сна, когда уже был в швейцарской дома дяди.

Через полуоткрытые двери в свои апартаменты он увидел старика дядьку. Кузьмич стоял, крайне смущенный и точно испуганный. Сашок сбросил плащ не на руки швейцара, а на пол и, стремглав кинувшись к старику, обнял его и повис у него на шее. Дядька затрясся всем телом и начал всхлипывать, а затем рыдать...

«Я!.. Я все сделал! Господь помог... а сделал я!» — думалось ему или, вернее, застучало у него на сердце и в голове.

Успокоив Кузьмича и объяснившись с ним, Сашок спросил: говорить ли дяде и что говорить, как сказать? Кузьмич замахал руками. Положение было мудреное. Правду сказать

нельзя. Надо сказать, что Сашок сам сделал формальное предложение Но дядя спросит тогда, как же он эдакое совершил, не спросясь его разрешения, совета, благословения. И дядька с питомцем решили отложить все на день или на два и начать князя «помаленечку готовить и располаживать».

XXII

На другой день вечером дом князя засиял, весь осветился огнями, наполнился гостями. Но если бы кто-нибудь подумал, что у князя Козельского такое же вторичное пирование, какое было недавно, то очень бы ошибся. Не было ничего общего между тогдашним обедом и теперешним вечером. Из тех, кто был тогда, теперь не было ни единого человека, кроме Романова. Некоторые, бывшие тогда, если бы заглянули теперь в дом князя, то смутились бы.

Теперешние гости были люди совершенно другого круга. Главной отличительной чертой вечера было то, что человек на сто гостей не было ни одной дамы.

В двух гостиных было расставлено несколько столов для игры в карты. В главной гостиной, посредине, стоял большой круглый стол, покрытый зеленым сукном. Это был «первый» стол, на котором должна была происходить самая крупная игра, новая, именуемая «банк».

Особенность этого «банка» в доме князя Козельского заключалась в том, что его держал сам хозяин и что он был ответствен. За этим столом всякий желающий мог поставить какой угодно куш. Князь заявил, что желательно бы было не переходить в ставках суммы ста тысяч, так как он в случае проигрыша не мог бы уплатить в тот же вечер и пришлось бы отложить уплату до утра. Разумеется, это была шутка, так как ни один из гостей князя, конечно, не мог бы поставить более десяти тысяч наличными деньгами.

Об этом картежном вечере уже дня за три пошли толки в Москве в некоторых кружках как о событии, потому что у князя можно было проиграть и выиграть огромные деньги.

Картежная игра в обеих столицах и в провинции, начавшаяся в последние годы царствования императрицы Анны, за все царствование Елизаветы Петровны все усиливалась неведомо почему. В последние годы ее царствования правительство обратило внимание на многое, что прежде, казалось, не входило в сферу ведения и влияния его.

Так, правительство обратило внимание на расточительность дворянства, на жизнь сверх средств, чрезмерную роскошь, известного рода соперничество в безумных тратах и приняло меры регламентировать дворянское житье-бытье.

Конечно, с успехом совершить это было мудрено. Меры возбуждали неудовольствие и ропот, а настоящей пользы принести не могли.

Но зато года за три до смерти императрицы приняли строгие меры против страшно развившейся картежной игры разных именований,— игры, конечно, азартной, или, как говорилось, «газартной», от французского слова «hasard». И только в Петербурге временно стихла новая страсть, или болезнь, почти эпидемия. Но в Москве и в больших городах всей России «газарт» продолжался.

В обществе и во всех полках были записные картежники. Народился и новый тип людей — мастеров, играющих во все игры, всегда выигрывающих и живущих игрой. Образовались даже кружки и кучки лиц, игравших вместе на общие средства, в складчину. Принадлежность к кружку бывала тайной, и лица, принадлежавшие к одному и тому же кружку, встречались в иных домах, не кланяясь и не разговаривая, как если бы они были незнакомы. Разумеется, это явилось подкладкой для мошеннических проделок, тем более что у некоторых кружков был свой способ объясняться знаками.

Князь Александр Алексеевич когда-то в Петербурге, увлеченный общим потоком, тоже стал играть в азартные игры, но любви к картам у него, собственно, не было. Играл он сдержанно и благоразумно, проигрывая, не зарывался, а умел, холодно выждав, отыграться. Он делал, сравнительно со средствами своими, небольшие ставки и всегда, имея возможность поставить в двадцать раз более, легко отыгрывался. Но самая игра, именно поэтому, его и не волновала и не интересовала.

Зато было нечто, что он любил по оригинальности характера и от скуки. Он любил картежные вечера как зрелища. Его забавляли счастливые лица выигравших и угрюмые, мрачные лица проигравшихся. И он не столько любил участвовать сам в игре, сколько присутствовать для того, чтобы «спасать и наказывать».

Каждый раз, что случалось ему на картежном вечере увидать человека ему по душе, который играл несчастливо и кончал сильным проигрышем, а затем отчаянием, князю доставляло наслаждение начать играть с ним якобы пополам. Он присаживался и огромными смелыми ставками, в которых была маленькая доля проигравшегося, он тотчас же выигрывал. Проигрыш возвращался несчастливцу, а деньги, выигранные лично князем, снова умышленно им проигрывались, чтобы они вернулись обратно к их владельцу.

Вместе с тем каждый раз, что князь встречал человека, ему почему-либо неприятного, он выжидал, не будет ли он выигрывать. И если это случалось, то он вызывал его по-

тягаться и всячески старался, чтобы тот в конце концов проигрался в пух и прах.

Таким образом, картежная игра не была для князя страстью, а просто забавой или такой же шалостью, как и многие другие. Когда-то, овдовев и покинув Петербург, он бросил многие свои прихоти, в том числе и карты, но затем, в своих скитаниях по России и за границей, снова иногда возвращался к той же забаве — «спасать и наказывать».

Он сделал теперь картежный вечер — с особой целью. Разговорившись с племянником и узнав, что Сашок, благодаря, конечно, Кузьмичу, всячески удалился от всех игроков и от всяких картежных вечеринок в Петербурге, он предложил племяннику показать ему, что такое азартная игра. И разумеется, не для того, чтобы приучить его к этой опасной и худой забаве, а, напротив, раз и навсегда показать и доказать, почему надо от этого удаляться.

Князь дал племяннику сто червонцев для того, чтобы он попробовал счастия на разных столах в разные игры. И если выиграет — тем лучше, а если проиграет, чтобы далее последнего рубля не шел. Но вместе с тем князь взял слово с племянника, что это будет его первая и последняя проба.

Гости князя съехались довольно поздно. Было обычаем, что картежная игра должна происходить в позднее время и ночью, а не средь бела дня. Играть при солнечном свете считалось совершенно неприличным. Почему, собственно, никто этим вопросом не задавался и никто не знал. Вместе с тем многие записные игроки переставали играть, когда благовестили к заутрене, одни — считая это грехом, другие — боясь худой приметы.

XXIII

В этот день картежного сборища, задуманного исключительно для Сашка, князь заметил, что племянник особенно радостно настроен, но на его вопрос о причине такого настроения Сашок ничего не объяснил, хотя успел снова побывать у Квощинских в качестве жениха.

Разумеется, чтобы вечер был вполне забавен и чтобы для племянника зрелище было вполне любопытное и поучительное, князь просил к себе гостей без разбора, кто только желает. И когда у него просили дозволения привести с собой и представить кого-либо из хороших благоприятелей, то князь, глядя в лицо говорящего, думал:

«Хороши, должно быть, твои благоприятели! Вроде тебя самого. Того и гляди, что вы, голубчики, за ужином ложку или вилку в карман спрячете...»

И затем он прибавлял:

— Сделайте такое одолжение. И одного приятеля, и хоть десять. Лишь бы только был играющий!

Когда гости собрались, князь, конечно, отлично знал, что в числе прочих есть и «настоящие» игроки, или, как он их называл, «подтасовочных дел мастера».

Один гость тотчас же привлек к себе внимание хозяина. Человек этот познакомился с князем особенно, а именно через племянника, и был, таким образом, не с улицы.

Это был капитан Кострицкий, с которым Сашок давно встречался в доме Маловой, но который на него не обращал прежде никакого внимания, а с той минуты, как Сашок поселился у богача дяди, Кострицкий сразу переменил с ним обращение. Он стал предупредительнее и любезнее и в несколько дней, ежедневно заезжая к Сашку в гости, якобы случайно и по дороге, постарался сблизиться с молодым человеком, а затем попросил себя представить и князю.

Князь, опытный и проницательный человек, познакомясь с Кострицким, тотчас же объяснил племяннику:

— Ну, милый мой, остерегайся этого! Это гусь!

Сашок, не считая Кострицкого дурным человеком, а просто веселым и болтливым, вместе с тем очень любезным, спросил у дяди объяснения этого слова.

— Я тебе говорю, что это, наверное, гусь.

— Да что же это значит, дядюшка? — спросил Сашок.

— Не знаю, дорогой! Так по-русски сказывается, даже восклицается: вот так гусь! Хотя птица гусь никогда не бывала замечена в предосудительных каких поступках, а, напротив того, прославилась в истории человечества тем, что спасла от неприятельского нашествия знаменитый город Рим. Ты об этом не слыхал, потому что о многом никогда не слыхивал.

В этот вечер Кострицкий в числе приглашенных почему-то особенно не понравился князю. У него была черта, которую князь Козельский не прощал никому. Кострицкий заявил ему, что он — древнейший дворянин Киевской губернии, что его предки еще при Владимире Святом существовали.

Затем тот же капитан хвалился своими родственниками, приятелями и связями в Петербурге, говорил, что все, что есть сановного в Москве,— его хорошие знакомые, и очень жаль, что из них никого нет у князя на вечере.

Затем Кострицкий успел похвастать и своими победами над прекрасным полом, говоря, что нет такой женщины на свете, которой бы он не сумел, если захочет, понравиться. Одним словом, в какие-нибудь полчаса беседы с князем Кострицкий так себя отрекомендовал, что гостеприимный хозяин решил непременно, во что бы то ни стало, проучить поздоровее нахального капитана.

И князь Александр Алексеевич все свое исключительное внимание обратил на Кострицкого.

«Заставлю я тебя, так ли, сяк ли, продуться в пух и прах! Голого отпущу от себя! Мундир, саблю и кивер — и те заставлю поставить и проиграть!»

И около полуночи за отдельным столом сели играть в «фараон» князь, его племянник, Кострицкий и Романов. Последний, явившийся поневоле, вследствие усиленных просьб князя, собирался тотчас же уехать, говоря, что ему, как должностному лицу, не подобает быть на противозаконных вечерах. Князь всячески упрашивал друга остаться хотя бы только до ужина, а после ужина, когда начнется настоящий «газарт», он будет им отпущен.

Князь предупредил Романова, а равно объяснил и племяннику, что они должны понемножку отстать от игры и он уже будет один продолжать с капитаном. Они так и поступили. «Фараон», который затем продолжал князь с капитаном, был уже, собственно, не настоящим, а совершенно измененным. Благодаря некоторым условиям, предложенным князем и принятым Кострицким, «фараон» превратился в «Агафью», то есть в одну из самых отчаянных азартных игр.

Самоуверенный капитан почему-то считал князя Козельского человеком недалеким, наивным и был глубоко уверен, что он в этот вечер, играя с богачом, выиграет у него страшную сумму. Подозревать, что сам хозяин сел за стол именно с той же целью, хотя по другим побуждениям, он, конечно, никак не мог.

Разумеется, жадность и погубила Кострицкого. Он соглашался на всякие ставки, шибко выигрывал и проигрывал. Иногда он выигрывал сразу такую сумму, что мог бы благополучно прожить на нее беспечно года два, но не останавливался, продолжал и проигрывал снова. Если бы князь в иную минуту потребовал расчета немедленно, то, конечно, у Кострицкого не нашлось бы нужных денег не только в кармане, но и дома в столе или сундуке.

Однако часов в одиннадцать вечера веселый и бойкий пред тем капитан сидел за столом уже сильно бледный... Его собственная жадность и «наивность» хозяина дома, позволившего ему делать ставки на веру очень крупные, его подвели... Он зарвался далеко через край и совсем «зарезался». Отыграться уже не было возможности. Он «сидел» в семнадцати тысячах. А съездить и привезти еще можно было не более полутора. Оставалось одно спасение. У него был дом в Москве, на Дмитровке. И этот дом был им заявлен после проигрыша семнадцатой тысячи и предложен князю на словах, вместо наличных якобы денег...

Александр Алексеевич «наивно» согласился считать дом в пятнадцать тысяч, и «Агафья» продолжалась... И через час дом остается за князем плюс наличные семнадцать тысяч, которых, однако, налицо не было.

Когда наступило время садиться ужинать, Кострицкий, уже мертвенно-бледный, собрался домой, но князь его не пустил.

— Что вы! Что вы! Разве можно... После ужина я вам дам отыграться! — сказал он весело.

— Не могу, князь... У меня больше ничего нет... И достать негде...— произнес капитан сдавленным от волнения голосом.

— Пустое. Надумаем... Да стойте... Вот! Надумал...— И князь сказал капитану несколько слов на ухо... Кострицкий изумился и стоял как вкопанный.

— Разве нету? Вы же говорили, что у вас этого добра много...

— Есть... Но... Есть... Но, право, я не знаю...

— Подумайте. Обсудите все. За ужином,— рассмеялся князь — А там, если заблагорассудится, поезжайте и привозите... Согласен считать в сорока тысячах. И если проиграю, то доплачу вам восемь... А если выиграю, то... зависит, как и что... Может быть, удовольствуюсь этим выигрышем, а долг наличными и дом останутся за вами... Прощу.

— Как простите? — вскрикнул капитан, преобразясь.

— Да так... Что же мне вас грабить.

— Вы благородный человек, князь,— вскрикнул снова Кострицкий.— Я решаюсь и еду сейчас. Вы не успеете поужинать, как я буду здесь.

XXIV

Уже около полуночи, когда Настасья Григорьевна спала сладким сном, в ее небольшом доме раздался стук и шум. Кто-то стучал отчаянно в подъезд, потом и в ворота, а затем уже начал стучать и в окошки. Услыхавшая первою и поднявшаяся горничная приотворила окно и от страшной темноты на улице не могла увидать и различить никого, но по голосу узнала капитана Кострицкого.

— Отпирай скорей! — крикнул он.

Горничная разбудила лакея, послала отворять дверь подъезда, а сама побежала в спальню барыни.

Настасья Григорьевна, уже разбуженная шумом, сидела на постели и спросонья имела вид совершенно перепуганный.

— Пожар?! — воскликнула она при виде горничной.

— Никак нет! Митрий Михалыч стучится. Андрей уже отворяет им.

— Да что такое? Что ему нужно?

— Не знаю-с... Только в окно мне закричали: «Отпирай!» И голос такой у них отчаянный... Должно, приключилось что-нибудь.

В ту же минуту раздались по квартире скорые шаги капитана. Он вошел в спальню, крикнул на горничную: «Пошла вон!» — и опустился в кресло около постели женщины, как если бы пробежал десять верст без передышки.

— Что такое?! — ахнула Настасья Григорьевна. Капитану случалось оставаться у нее ночью, но не являться так, вдруг...

Кострицкий закрыл лицо руками, потом провел ими по голове, а потом замахал ими на женщину. Жест говорил такое, что сразу и сказать нельзя. Целое происшествие! Событие внезапное и страшное.

— Господи Иисусе Христе! — перекрестилась Малова.— Да что же это ты? Говори скорей!

— Слушай, Настенька, слушай в оба! Дело важнейшее. Дело смертельное.

— Ох, что ты!

— Смертельное, тебе говорю. Либо мне сейчас помирать, либо нет! И все от тебя зависит.

— О, Господи!

— Да. Слушай! Был я у князя Козельского вечером! И вот по сю пору мы все в карты дулись. Я был в страшнейшем выигрыше. До семи тысяч хватил. А там все спустил, что было с собой и что в столе найдется, и не удовольствовался. Дом свой предложил... И дом проиграл!

— Как дом?! — вскрикнула Малова.

— Да так!

— Да нешто это можно! Ведь на деньги играют, сам ты всегда сказывал. А нешто на дома играют?

— Ничего ты не понимаешь, глупая женщина! — воскликнул капитан.— Толком тебе говорю: все спустил, ничего у меня нет. Часы — и те, почитай, князевы, если платить ему. И теперь мне остается одно — руки на себя наложить, застрелиться. Я вот так и порешил.

— С ума ты спятил?

— Нет, дело решенное! Вот сюда и приехал к тебе. И тут же вот около тебя и застрелюсь!

Кострицкий вынул из большого кармана камзола пистолет и показал его. Малова ахнула и замахала руками:

— Стой! Стой! Выстрелит! Убьешь!

— Не бойся, тебя не убью. А сам вот сейчас тут же застрелюсь, если ты не будешь согласна меня спасти.

— Да как же?! Что я могу? У меня денег всего..

— Многое можешь! Слушай!

И Кострицкий, перебиваемый удивленными вопросами женщины, подробно рассказал ей, что не только можно иг-

рать на вещи и на дома, но можно ставить на карту и собак, и лошадей, и даже крепостных целыми деревнями.

— Все нынче прошло! — прибавил капитан. — Чего-чего нынче у князя не выиграли и не проиграли.

Наконец, постепенно, чтобы сразу не перепугать чересчур Малову, капитан дошел и до главного: солгав, конечно, он объяснил женщине, что у князя на вечере сегодня была поставлена на карту одним офицером его собственная законная жена и он отыгрался. Но так как он, Кострицкий, не женат, то отыграться на этот лад не мог. У него никого нет, даже крепостных холопов нет. И для него одно спасение. Он просил князя позволить отыграть все проигранное, поставя на карту женщину, хотя ему и чужую, но любящую его и готовую его спасти.

И Кострицкий прибавил:

— Спаси меня, Настенька! Дозволь отыграться на тебе.

Женщина слушала и глядела, выпуча глаза, и хотя сон ее от перепута совершенно прошел, тем не менее она чувствовала, что сидит в каком-то сне наяву. Она не сразу поняла и заставила Кострицкого снова повторить то же и снова объяснить все. Наконец она поняла и заплакала.

— Чего же ты?

— Как чего? Страшно, Митенька.

— Да чего же страшно-то?

— Не знаю...

— Ну, как хочешь! Это одно спасение! Коли тебе меня не жаль, то Бог с тобой! Стало быть, больше ничего не остается...

Капитан снова взял пистолет в руки и стал осматривать его.

— Стой! Стой! — закричала Настасья Григорьевна.

И она выскочила из постели и ухватила его со всей силой за руки.

— Говори. Как быть? Что надо делать?

— Одеваться и ехать.

— Как одеваться?!

— Да так! И ехать со мной!

— Куда? — с ужасом вскрикнула женщина.

— К князю!

— Как к князю? Когда?

— Сейчас вот! Одевайся, и поедем!

— Да зачем?

— А затем, чтобы он тебя видел. Он без этого не согласен. Но я знаю, что, повидав тебя, он согласится. Ведь это только, конечно, к примеру, Настенька. Пойми! Проиграть я не могу. Приедешь, князь на тебя посмотрит... Ну, посидишь в гостиной... А я поставлю тебя на карту и отыграю свои тридцать тысяч.

— Как же то есть на карту? На стол лезть?

— Да нет, глупая! Уж ты одевайся, и поедем.

Настасья Григорьевна, не только перепуганная, но совершенно как бы очумелая, начала одеваться. Изредка она останавливалась, всхлипывала и говорила покорно:

— Митенька! Помилуй! Что же это такое?

Но Кострицкий в ответ брал в руки пистолет и поднимал его к виску.

XXV

Через четверть часа капитан и Малова сидели уже в его карете и среди ночи быстро двигались по переулкам. Когда они въехали во двор дома князя и Малова увидела длинный ряд ярко освещенных окон, на нее напал такой страх, что она готова была выскочить из экипажа и броситься бежать. Кострицкий предвидел это и был настороже.

— Ничего, ничего, не бойся! Все это пустое! Ты и не увидишь никого. Только, говорю, посидишь в гостиной.

Капитан и его подруга поднялись по парадной лестнице. Люди в швейцарской не обратили на женщину никакого внимания. Не то видали они, служа у чудодея-князя. И теперь даже они отлично знали, зачем является среди ночи незнакомая им барынька.

Капитан провел женщину в гостиную, усадил, а сам пошел в залу, откуда доносились десятки веселых голосов. Малова настолько оробела, что сидела, как кукла, как бы ничего не сознавая и не понимая. Долго ли она просидела, ей было даже невозможно сообразить, настолько все путалось в голове. Но, наконец, двери отворились, появился ее «Митенька», а за ним высокая фигура пожилого человека.

Малова догадалась, что это сам князь, и невольно поднялась с кресла.

— Здравствуйте! Очень рад с вами познакомиться! — выговорил князь любезно.— Вы решаетесь помочь капитану в беде?

Малова молчала.

— Отвечайте же, сударыня!

— Отвечай, Настенька! Князю нужно это знать. Скажи, добровольно ли ты согласна.

— Добровольно! — через силу и еле слышно произнесла женщина.

— Вам известно, что будет, если капитан проиграет?

— Нет-с...

— Как нет?! — воскликнул Кострицкий.— Я же тебе два часа пояснял! Но ведь это не наверно... Вот и князь скажет! По всей видимости, я выиграю. Говори, что тебе все известно и что ты согласна.

Наступило молчание.

— Говори же, Настенька. А то я сейчас же, вот тут, исполню то, о чем я тебе сказывал. Знаешь, что тут у меня в камзоле... Говори, согласна?

— Согласна! — пролепетала Малова.

— Ну-с, в таком случае позвольте мне получше вас разглядеть! Хоть я вижу, что вы очень привлекательны, но все-таки это дело серьезное и зря поступать нельзя! — усмехаясь, выговорил князь серьезным голосом, но видно было, что он сдерживает смех при виде перепуганной женщины.

Князь взял канделябр о четырех свечах и приблизился к Маловой, которая, хотя и глядела дикими глазами, была все-таки красива.

— Вы прелестны, сударыня! — сказал князь.— По справедливости, вы могли идти за пятьдесят тысяч... Но вот что неладно...

Князь подумал немного и выговорил, сдерживаясь от смеха:

— Вот что, любезный мой Дмитрий Михайлович. Я опасаюсь все-таки, нет ли недоразумения. Хорошо ли вы объяснили госпоже Маловой, в чем дело заключается.

— Совершенно, князь, совершенно.

— Я должен вам заметить, что если бы сия дама была вашей законной супругой, то и речи бы не было о вашем праве играть на нее... Но ведь она вам чужая и ваша только сердечная подруга...

— Да-с. Но она согласна спасти меня,— горячо заявил Кострицкий.— Это наше обоюдное согласие...

В эту минуту в доме раздались крики десятков голосов и хлопанье в ладоши. Малова прислушалась и стояла уже совсем перепуганная.

— Успокойтесь, сударыня. В зале некая красавица восхищает моих гостей своими танцами,— объяснил князь и продолжал, обратясь к капитану: — Знает ли хорошо госпожа Малова, что именно с нею приключится в случае вашего нового проигрыша.

— Конечно-с. Конечно-с!— воскликнул Кострицкий.

Но князь подозрительно поглядел на него и обратился прямо к Настасье Григорьевне:

— Известно ли вам, сударыня, что в случае проигрыша капитана вы станете... Как бы это вам выразить поделикатнее... Его права перейдут ко мне, и ваши добровольные обязательства к нему станут обязанностями ко мне. Поняли?

— Поняла,— бессмысленно произнесла Малова.

— Боюсь, что нет,— отозвался князь.

И он прибавил вразумительно:

— Если я выиграю, то вы останетесь здесь, в моем доме, и будете моей подругой, пока я того пожелаю или пока я вас не проиграю кому другому. Понятно это вам вполне?

Настасья Григорьевна достала платок из кармана, высморкалась и начала утирать слезы на глазах.

Князь развел руками и, обратясь к Кострицкому, проговорил нерешительно:

— Уж я, право, не знаю, капитан...

— Так ты моей смерти хочешь! — вскрикнул этот, обращаясь к женщине.— Хорошо. Поезжай домой и реви там. А завтра приезжай ко мне служить по мне панихиду...

— Что вы! Что вы! Я же согласна. На все согласна! — отчаянно отозвалась Малова, и, обратясь к князю, она уже выговорила громко и твердо: — Я все понимаю, князь, как должно... И я согласна. Авось, Бог даст, я вам не достанусь.

— Чувствительно вас благодарю за любезные ваши слова! — ответил князь, кланяясь и добродушно смеясь.— Ну-с, обождите здесь судьбу свою. Мы пойдем с капитаном тягаться, чья возьмет.

Между тем, пока капитан чудил, а гости ужинали, князь решил угостить всех на особый лад. Показать всем свою молдашку и заставить ее протанцевать.

Теперь Земфира была уже в зале, в фантазийном костюме, и уже протанцевала два танца, приводя в восторг всех присутствующих и красотой своей, и грацией движений. Даже Сашок, глядя на танцующего врага своего, сознавался, что эта злюка красивее его Танечки.

Протанцевав второй танец, Земфира вдруг подошла к Сашку и выговорила ему тихо, почти на ухо:

— Александр Никитич, у меня к вам большая просьба. Сделайте одолжение!

— Что прикажете?

— Дело простое, но я никому из людей не могу его препоручить. И надо тайком. Сюрпризом. С ними даже ничего не выйдет. А вы можете все сделать. А одолжение большое! Удовольствие и князю, и всем гостям. Мне хочется протанцевать еще один гишпанский танец. Для него нужен особый такой шарф. А я третьего дня отдала его Клавдии Оттоновне, моей приятельнице. На углу вот, первый же переулок... Так вот, будьте добры, пойдите к ней сию же минуту, разбудите ее, коли спит, возьмите его и принесите. Но именно бегом, так сказать, добежите. А коли будете приказывать закладывать экипаж, так когда же это будет? Да и не стоит того! Ведь тут рукой подать.

— С большим удовольствием! — отозвался Сашок.— Я сию минуту!

— Ее крыльцо на углу...

— Да я знаю... Знаю. Я же видел вас еще вчера, проезжая, как вы входили туда.

XXVI

Сашок действительно знал, как и все в доме, что недавно по соседству поселилась новая приятельница Земфиры, с которой она постоянно виделась и сносилась.

Он быстро спустился вниз, взял кивер, накинул плащ и уже двинулся на подъезд.

— Разве пешком, ваше сиятельство? — сказал швейцар, удивляясь.

— Пешком! Тут близехонько.

В ту же минуту раздался в швейцарской голос Кузьмича:

— Куда?! Что?! Ума решился никак? Куда летишь?!

— Тут за два шага, Кузьмич! Дельце есть! Оттого и пешком, что рукой подать... Да и спешное!..

— Дельце?.. Спешное?.. Одному?.. В этакую темь?.. Да что ты, с ума, что ли, сошел?

Кузьмич подошел вплотную к Сашку, схватил его за шинель и подозрительно приглядывался к лицу питомца.

— Говори, какое дельце?

— Нельзя сказать, Кузьмич! Просили не говорить! — улыбнулся Сашок.— Но за два шага! Сейчас назад!

— Хоть бы на вершочек от дома, не то что за два шага, не пущу! Этакая темь на дворе, ни зги не видно, а ты пойдешь, как простой какой мужик, пехтурой один-одинешенек. Совсем с ума сошел!

— Полно, Кузьмич, глупить! Пусти! — уже начал обижаться Сашок, так как кругом стояли дворовые люди и были свидетелями обращения дядьки с питомцем, как с дитем.— Пусти, Кузьмич, я тебе говорю! Ну. Я пойду! Хоть что хочешь, пойду! Перестань! Вон гляди, они все смеются!.

И действительно, кое-кто из лакеев улыбался происшествию. Сашок почти вытащил из рук старика полу своего плаща и двинулся на подъезд.

Кузьмич заметался, потом выскочил вслед за ним во двор и решил, хоть был без шапки, идти следом за питомцем, чтобы узнать, какое может быть у него спешное и тайное дельце среди ночи.

Сашок, перейдя двор, был уже в воротах, и в темноте Кузьмич смутно различал его. Но в самых воротах старик налетел на какую-то фигуру

— Что такое? — произнес встреченный.

И по голосу Кузьмич узнал ражего молодца, кучера, любимца князя.

Мысль мелькнула в голове дядьки.

— Семен, голубчик, гляди вон... Видишь вон... Зашагал.. Это мой князинька... В эту темь один пошел куда-то. А у

нас, слышал, недавно душегубы напали на прохожего дьяка... Сделай милость, пойди за ним. Куда пойдет — и ты! Сказывает — недалеко! Опасаюсь я. Ведь ночь!

— Извольте, Иван Кузьмич, с удовольствием! — ответил кучер и, тотчас повернув, зашагал и быстро стал настигать Сашка; однако же, чтобы не быть признанным и чтобы молодой князь не обиделся, Семен держался шагах в десяти от него. Но вдруг, когда молодой князь был уже на углу переулка, Семен услышал крик, и ему почудилось, что это голос князя...

Не отдавая себе отчета, в чем дело, он со всех ног бросился вперед, но на углу не нашел ни души... Но далее слышалась топотня ног, и казалось, что убегают два человека. Семен, ничего не сообразив, снова бросился и пустился во всю прыть.

Через несколько мгновений он уже догонял фигуру, которая шибко бежала. Но перед ней, шагах не более как в пяти, бежал еще другой кто-то. Один гнался за другим... И вдруг раздался голос переднего:

— Помогите!.. Помогите...

Семен ясно различил голос молодого князя, да и мелькавшая впереди фигура походила на него, а бежавший пред ним был выше и крупнее. Кучер, малый умный, сразу все понял. Утроив силы, настиг он ближайшего бегущего и со всего маху на бегу хватил его кулаком по голове.

Удар ли ражего кучера был силен или неожиданность велика, но бегущий полетел наземь и закувыркался... Семен накинулся и ловко с маху сел на него верхом... В ту же минуту он почувствовал сильный удар в грудь около плеча и сообразил, что его хватили ножом. Он пригнулся, схватил одной рукой душегуба за руку с ножом, а другой — за горло и стал душить...

— Бросай!.. Брось!.. Или конец тебе!..— крикнул он вне себя.

Незнакомец забился, но тотчас же выпустил нож из руки и уже хрипел. Семен, продолжая сидеть верхом и держать его за горло так, чтобы только не придушить совсем, начал кричать со всей мочи:

— Караул! Помогите! Режут!

По всей вероятности, пришлось бы все-таки выпустить из рук пойманного, так как на улице, среди поздней ночи, было совершенно темно, пустынно и помощи быть не могло, но Кузьмич, отрядивший охрану питомцу, все-таки не вернулся домой, а оставался в воротах ждать его возвращения. И, конечно, крик Сашка был им услышан и узнан, и он надеялся только, что ему почудилось. Но зычный крик Семена объяснил все. Кузьмич бросился в швейцарскую и мигом всполошил всех людей. Минуты через две уже целая ватага на

рысях, со стариком Кузьмичом чуть не впереди, была уже кругом Семена, сидящего верхом на хрипящем человеке.

Но одновременно около прибежавших людей как из-под земли вырос и сам Сашок.

— Что такое? Что такое? — повторяло несколько голосов.

— А вот что,— вскрикнул Сашок все еще неровным, прерывающимся голосом.— Он меня ударить хотел, да промахнулся, а потом бросился догонять, а потом не знаю что.. Кажись, это Семен. Я дядюшке сейчас пожалуюсь.

— Полно путать! — взвизгнул вне себя Кузьмич.— То да не то! Вот тебе и дельце, ночью за два шага! То-то вот! Дите и есть!

Пойманного схватили за руки, за ворот, а один из людей даже вцепился ему в кудрявые густые волосы... И душегуба с шумом повели в дом. Навстречу уже бежало еще несколько человек дворовых. На большом дворе и на подъезде толпились и громко говорили многие из гостей, вышедших из-за происшествия, о котором доложили князю. Через несколько мгновений пойманный был введен в швейцарскую. Началось дознание всего, кто что знал... Семен оказался ранен около плеча, и рубаха на нем была вся окровавлена. Ночной душегуб оказался совершенно никому, конечно, не знакомым, и только по типу его лица можно было безошибочно утверждать, что он цыган.

Князь тоже спустился в швейцарскую поглядеть на разбойника, который ради грабежа чуть не убил его племянника. Он узнал, что Земфира послала Сашка среди ночи пешком за шарфом, когда именитым дворянам и днем не полагается ходить по городу пешком без ливрейных лакеев позади. И князь рассердился и на сожительницу, и на племянника.

— Дура и дурак! Вот что! — сказал он при всех, а затем приказал связать и запереть душегуба и утром отправить на съезжую или в кордегардию.

Между тем Земфира танцевала, и пока Сашок ходил по поручению и подвергался большой опасности, в доме князя совершилось тоже своего рода диковинное дело, о котором все гости знали, толковали и смеялись. Князь выиграл в карты семнадцать тысяч деньгами, дом на Дмитровке и красавицу даму, родственницу офицера, проигравшегося в пух и прах. И теперь в гостиной сидела красивая блондинка и горько плакала. А рядом, в зале, сидела другая красавица, «чернавка», и отчаянно плакала... Почему? Кто говорил, что от перепуга ввиду приключившегося по ее милости. А кто догадывался, что из ревности... А правду мог знать только один цыган-душегуб!

XXVII

В тот же вечер в кружке воспитателя цесаревича было тоже происшествие, но о нем знали только исключительно близкие ему люди. Все были чрезвычайно взволнованы, узнав от Панина, что государыня, снисходя к учреждению верховного, при своей особе, тайного совета, уже назвала ему имена лиц, которых желает облечь этим почетным и важным званием. Это были граф Бестужев, канцлер граф Воронцов, гетман Разумовский, граф Чернышев, князь Волконский, князь Шаховской и сам Никита Иванович Панин, автор «прожекта»... А между тем он, Панин, и многие его друзья были взволнованы от неудовольствия, так как был заявлен еще восьмой член совета, «оскорбительный» для всех остальных... Они были все сановники, старики или пожилые, а этот был тридцатилетний гвардеец.

Восьмым членом Верховного совета долженствовал быть генерал-адъютант Орлов. Панин поутру тщетно объяснял государыне, что такое назначение молодого Орлова — невозможно. Государыня стояла на своем.

Вообще за последние дни царица выказывала больше твердости и меньше уступчивости во всех делах, и важных и мелких. Работала же она без устали от зари до зари. Кроме того, императрица изумляла положительно всех и своим государственным, или, как говорилось, «статским» разумом, и своей замечательной способностью быстрого усвоения и верного решения всякого дела, всякой специальности. Празднества не мешали ей поднимать и разрешать самые трудные вопросы. Это была не Елизавета, нерешительная и отчасти ленивая, не Анна, робкая и бесхарактерная.

Каждый день приносил окружающим монархиню новый, неожиданный сюрприз.

Но одновременно Екатерина была явно неспокойна, озабочена...

Однажды на одном из небольших вечеров государыня обратилась полушутя к канцлеру Воронцову:

— Пожелаете ли вы, граф,— спросила она,— заняться делом одной бедной вдовы — делом, которое не имеет никакого отношения к заботам, обременяющим канцлера Российской империи? — Императрица очень часто называла себя «бедной вдовой», и Воронцов понял тотчас, что она говорит о себе. Но так как государыня шутила, то и он ответил так же:

— Если хорошие люди мне эту вдову рекомендуют и за нее попросят, то возьмусь с удовольствием за ее дело.

— Ну так будьте у меня завтра утром. Дел никаких не привозите. Мы побеседуем только о вдове.

— Слушаю, ваше величество.

Наутро граф Воронцов, все-таки несколько озадаченный не имея возможности догадаться, в чем дело, был в десять часов в Петровском, в приемной государыни, и ждал, пока она окончит свой утренний туалет и кофе.

Когда наконец его позвали в кабинет, государыня, более веселая, довольная, как всегда любезная, попросила его сесть и внимательно ее выслушать, а затем, конечно, сохранить все сказанное в тайне. Они заговорили, как всегда, по-французски, так как граф до тонкостей знал и любил этот язык.

— Я выбрала *именно* вас, граф, как человека, вполне снискавшего мое доверие еще в прошлое великое царствование, а равно и за время краткого правленья моего покойного мужа. И вы, быть может, единственный человек при дворе и, следовательно, во всей империи, который может мне помочь в этом деле первой важности... В деле,— усмехнулась государыня,— этой бедной вдовы, не имеющей защитников никого! Кроме меня одной...

— Этого с нее более чем довольно, ваше величество. Надеюсь, что защита русской императрицы...

— Нет. Этого, оказывается, не только не довольно, но даже слишком мало. Императрица помочь не может, если такой человек, как граф Воронцов, не вступится за нее и не поможет.

— Вы меня удивляете, ваше величество.

— Вы сейчас еще более удивитесь, граф. Дело вот в чем. Эту вдову норовят насильно выдать замуж за человека, которого она очень уважает и любит, но за которого выходить замуж не хочет по многим важнейшим причинам... Желаете ли вы ей помочь вместе со мной?

— Но как, государыня? — произнес Воронцов, изумляясь и боясь сказать лишнее слово.

— Противодействовать хитро и тонко тем, кто хочет замужества этой вдовы. А roue — roue et demie[1].

— Да вам, однако, ваше величество, стоит только приказать, и полагаю, что...

— Кому?

— Этим людям, которые...

— Которые неволят к браку? Я этого не могу.

— Почему же?

— Потому что не хочу. Я не хочу в частном деле приказывать.

— Попросите.

— И не хочу просить!

---

[1] Против мошенника — мошенник с половиной (*фр*).

— Тогда извините... государыня...

Воронцов замялся и прибавил тише и улыбаясь:

— Извините. Но тогда что же я-то могу... Приказать я не могу. А просить — меня не послушают.

— Подумайте, как быть. Я вам даю сроку день. Ну, три дня. Подумайте.

Воронцов изумлялся, государыня улыбалась. Они посмотрели друг другу в глаза.

— Ваше величество. Мое положение очень трудно,— заговорил канцлер.— Есть персидская пословица, которая говорит: коли идешь темной ночью с фонарем, освещай кругом, а не себя самого, а то упадешь. Вы изволили как бы осветить меня одного и только ослепили... Я прежде кой-что сам видел в темноте; теперь, освещенный, я ничего не вижу, кроме пламени. Осветите мне путь, по которому я должен идти.

— Я этого не могу..— тихо отозвалась Екатерина.

— Ваше величество!..— воскликнул Воронцов, и голос его говорил: «Тогда что ж я-то могу?»

Наступило молчанье.

— Знаете что, граф, поезжайте к Алексею Григорьевичу Разумовскому. Вы это можете?

— Извольте.

— Вы с ним в очень добрых отношениях. А он человек такой же скромный и хороший, как вы. На его слова можно положиться вполне. И он мне душою предан. Поезжайте к нему и посоветуйтесь в этом деле. Я бы поехала сама, послала бы к нему эту вдову, но это будет неловко. Через третье лицо действовать легче.

— Слушаюсь,— вымолвил Воронцов, но продолжал глядеть в лицо государыни озабоченно и вопросительно, будто ожидая дальнейшей беседы.

— Вы с графом Разумовским посоветуйтесь... Он делец! Так, например: представьте себе такой случай, может быть, есть какие-нибудь бумаги... Документы. Надо знать, где они и у кого они. Если их уничтожить и затем отрицать, что они существовали когда-либо на свете, то дело будет нами тотчас выиграно... Без приказаний и без просьбы!..

Государыня произнесла эти слова уже совершенно серьезно, даже холодно.

Воронцов переменился в лице и просиял.

— Спасибо, ваше величество. Вы сразу мне путь осветили. Да, граф Разумовский может, я знаю, дать мне хороший совет.

Государыня подала руку и вымолвила полушутя:

— Вручаю вам судьбу этой вдовы, обладающей хорошей, даже лучшей чертой в человеческом характере, особенно редкой в наше время и редкой в женщинах. Она благодарное существо. Elle a la bosse de la reconnaissance tres

developpee[1]. И уверяю вас, что Лафатер остался бы ее черепом очень доволен в этом отношении. Он ведь находит эту особенность очень развитою только у собак, к стыду всего рода человеческого.

Государыня улыбнулась милостиво и прибавила:

— До свиданья — и bonne chance![2]

— Завтра буду иметь честь привезти ответ,— сказал Воронцов и вышел довольный, но немного озабоченный.

«Все в его руках,— думал он.— А хохлы упрямы. Приказывать нельзя. Пугать — напрасно и недостойно. Просить... Да просить! Ей нельзя. А мне можно!»

— Долго беседовали! Я думал, конца не будет! — произнес над ним довольный и громкий голос.

Генерал-адъютант Орлов заступил Воронцову дорогу. Канцлер поневоле остановился и поздоровался с фаворитом.

— С такой собеседницей, как царица, часы летят быстро! — отозвался он.

— И коварные беседы вели, вероятно, граф?

Воронцов удивленно взглянул на Орлова.

— Дипломатия и коварство одно и то же,— объяснил тот.— А вы, вероятно, беседуя с государыней, обсуждали вопрос, как составить новый союз против кого-нибудь.

— Что ж... Это дело житейское во внешней политике. Война хитрости с умыслом. Дипломатией зато избегается часто настоящая война, губительная для людей,— усмехнулся Воронцов.

— А часто составители политических планов и союзов именно и вызывают неожиданную и губительную войну,— усмехнулся и Орлов.

— И это бывает! Тогда надо постараться выйти победителем. Расхлебать заваренную кашу, как говорит русская пословица.

— При Елизавете Петровне действовали прямо, открыто. И бывало лучше. Хитрость не добродетель! — резче вымолвил Орлов.

— Но и не порок, когда она служит орудием в добром деле и ради благой цели.

— Но ведь ваша благая цель и доброе дело для вашего неприятеля есть обратно дурная цель и злое дело! — отозвался Орлов быстро и смеясь несколько принужденно.

— На том свет стоит! — тоже усмехаясь, ответил Воронцов.— Всяк за себя, а Бог за всех.

И смеясь, по-видимому, добродушно, канцлер империи и генерал-адъютант императрицы разошлись, любезно пожав друг другу руки.

---

[1] У нее очень развита черта признательности (*фр.*).

[2] Удачи! (*фр.*)

«Un fin matois![1]»,— подумал Воронцов.

«Да, рыльце в пуху»,— подумал Орлов.

«Он догадывается? Как будто она окружена шпионами...» — думал канцлер.

«Да. Они были правы, предвидев, что будет выбран именно Воронцов. И выбран тайно»,— думал генерал-адъютант.

XXVIII

Наутро рано после картежного вечера у князя Козельского по Москве уже бежала молва, что на молодого князя было покушение на убийство с целью грабежа. Подобное в Москве ночью было постоянно и никого не удивило. Но второе, разнесенное молвой, хотя и бывало, но нечасто. Князь Козельский выиграл в карты у гостя-офицера красавицу, его подругу. Слух об обоих происшествиях достиг и Павла Максимовича. Приехав среди дня, как всегда, на квартиру Маловой, он не нашел ее дома и, узнав от горничной, что она уехала еще в полночь и с тех пор сгинула, перепугался насмерть. Первой его мыслью было, конечно, что женщина где-нибудь ночью тоже подверглась нападению с целью грабежа, но, однако, сведение, что она выехала со своим знакомым, капитаном Кострицким, противоречило этой догадке.

Разумеется, тотчас и прежде всего Квощинский навел справки, где живет Кострицкий, и поехал к нему. Кострицкий сидел у себя почти счастливый после всего пережитого за ночь, так как князь простил ему его проигрыш. Узнав, что его спрашивает Квощинский, он, разумеется, не сказался дома. Объясняться им обоим было крайне мудрено. Объяснять Квощинскому, по какому праву и на каком основании он мог ставить на карту Настасью Григорьевну, значило выдать женщину головой. А кто знает, как еще повернется дело. Квощинский после полудня еще раз поехал к капитану и снова не застал его дома. Он собирался снова приехать вечером, но случайно встретился у брата с Сашком. Будучи слишком занят происшествием, он невольно передал молодому человеку, что случилось: их общая хорошая знакомая, госпожа Малова, таинственно исчезла из дому и пропадает уже скоро сутки.

Сашок наивно выпучил глаза на Квощинского и еще более наивно выговорил:

— Да ведь ее же дядюшка выиграл!

— Дядюшка? — повторил Квощинский.— Выиграл? Что вы хотите сказать?

[1] Лукавый хитрец! *(фр.)*

— Вчера вечером у дядюшки игра была и Настасью Григорьевну проиграл капитан Кострицкий.

Квощинский как-то присел, как если бы у него подкосились ноги, двинул языком, чтобы сказать что-то, но произнес только, как параличный:

— Ва-ва-ва!..

Затем он опустился на ближайший стул и понемногу, не сразу, отдышался.

— Говорите! Что вы? Как? Что такое? Ради Создателя! Не пойму ничего! — взмолился он.

Сашок сообразил, что, должно быть, сделал неосторожность, но было уже поздно, и он несколько подробнее объяснил Павлу Максимовичу, что госпожа Малова находится теперь в доме дяди и принадлежит ему по праву.

— По праву? По какому праву? — заорал Квощинский.— По закону это безобразие, насилие, издевательство...

Сашок, никогда не видавший Квощинского в таком азарте, смутился и подумал:

«Черт меня дернул не в свое дело вмешиваться!..»

— Слушайте, Александр Никитич, если вы благородный молодой человек, если вы нас любите, если питаете чувство к моей племяннице, вы должны в этом деле мне помочь, урезонить князя. Это злодейское дело! Прежде всего мне нужно видеться с госпожой Маловой, чтобы она сама объяснила мне все происхождение этого небывалого приключения.

Сашок посоветовал Квощинскому ехать лично объясниться с князем, а сам вызвался предупредить его о визите. Павел Максимович обрадовался.

— Спасибо. Поеду. И главное, мне надо узнать, что капитан Кострицкий во всем этом? Он при чем тут? Если уж кто мог проигрывать в карты Настасью Григорьевну, то уж, конечно, не капитан, а скорей...

И Квощинский запнулся. Сказать Сашку то, что он считал скрытым от всей Москвы, было, конечно, бессмысленно.

На другой день Квощинский решился и поехал к князю, собираясь действовать отважно.

Он был любезно принят князем. Сразу заметив, что нечто особенное творится с Павлом Максимовичем, князь тотчас сам же прибавил:

— У вас, очевидно, до меня дело есть?

— Да-с, дело! Очень серьезное! — волнуясь, заговорил Квощинский.— С вами я буду, князь, объясняться совершенно откровенно. Я слышал, что близкая моя приятельница, даже большой друг, госпожа Малова находится у вас в доме.

— Точно так-с...

— И держится вами как бы насильно?

— Никоим образом, государь мой! Это было бы преступлением закона. Свободных людей нельзя держать под арестом. Госпожа Малова живет у меня свободно в своих апартаментах. А почему, собственно, вам, вероятно, известно?

— Слышал, князь, но не верю! Вы якобы выиграли ее в карты.

— Точно так-с!

— Да помилуйте, это дело неслыханное. Еще крепостную семью проиграть или выиграть слыхано, а этакого спокон веку не слыхано. Ведь Малова столбовая дворянка, а не холопка. А второе — кто же мог из нее ставку делать? У нее ни мужа, ни отца, ни брата...

— Капитан Кострицкий.

— Слышал я это и утверждаю, что прав на это он не имел никаких.

— Извините, Павел Максимович,— усмехнулся князь,— коль скоро она дала свое согласие, то капитан право это имел. А я имею право ее держать у себя, как нечто мною выигранное.

— Какие же это права, князь? Это все права придуманные, каких ни в каком уложении не сыщешь. Законов таких нет!

— Вы правы, Павел Максимович. Но есть законы общежития, кои тоже нигде не прописаны. Например, есть закон быть учтивым, уважать старших, относиться с почтением к людям, высоко стоящим. Все это ни в каком уложении не прописано, а исполняется. Есть, наконец, законы добропорядочности среди людей, играющих в карты. Человек, поставив что-нибудь на карту и проиграв, не может говорить, что он пошутил. Тогда его назовут подлецом, выгонят и нигде принимать не станут. И вот-с на основании именно этого права я выиграл госпожу Малову у капитана и держу ее у себя.

— Он не имел никакого права...— воскликнул Павел Максимович.— Я буду совсем откровенным с вами. Я... Я один такие права имею, якобы муж ее...

— Однако капитан ее ночью привез. И по взаимному нашему уговору она шла в сорок тысяч. Цена для вдовы за тридцать лет, согласитесь, большая. Но мне жаль было капитана, и я согласился. Он снова играл несчастливо, и дама вашего и его сердца мне досталась. Какие права капитана на госпожу Малову — это вы разузнайте у него самого, если уж сами не догадываетесь.

И князь усмехнулся насмешливо.

— Полагательно, что у капитана были на госпожу Малову такие же права, как и у вас, только с той разницей, что капитан про ваши права знал, а вы про его права ничего не знали. И теперь для вас вышел некоторый сюрприз и афронт. Я сожалею, но ничего сделать не могу.

— Вы должны мне, как благородный человек, возвратить женщину, к которой я питаю чувство давнишнее и сердечное! — заговорил Квощинский хрипло, так как слезы были готовы выступить у него на глазах.

— Не могу, государь мой! При всем моем уважении к вам, при всем желании быть вам слугою и быть хотя бы приятелем не могу! Госпожа Малова, даже не скажу, чтобы меня прельстила чрезвычайно. Женщина она уже не первой молодости, чересчур, знаете, пораспухла, тяжеловата, да и мыслями, нельзя сказать, чтобы была быстра. Просидел я с ней часок и так начал позевывать, что чуть себе скулу не свернул. Но все же не могу вам ее возвратить. Это будет нарушение закона карточной игры. Это дурной пример показать. После этого, что бы я ни выиграл, домик ли какой, карету, цуг лошадей, серебро столовое, всякий будет приходить требовать назад. Вы не забудьте, что капитан Кострицкий хотел отыграть госпожой Маловой все то, что он уже проиграл. Коль скоро я согласился, чтобы сию даму считали в сорок тысяч, то я рисковал проиграть все то, что было уже мною у капитана выиграно. Да, впрочем, что же вам все разъяснять, вы это лучше меня все понимаете!

И князь замолчал, как бы считая беседу оконченной.

— Как же, князь? — выговорил Квощинский, совершенно потерянный.

— Да так уж, господин Квощинский!

— Помилуйте, посудите, вы не хотите понять, что госпожа Малова для меня... Я не могу без нее существовать. Привычка, князь! Поймите!

— Все это прекрасно, уважаемый Павел Максимович,— нетерпеливо заговорил князь,— но я тут ни при чем. Выиграл — и конец! А отдать ее вам я бы и рад, да не могу... Дурной пример! После этого, повторяю вам, что бы я ни выиграл, у меня будут назад просить. Что же это будет? Комедия и разбой!

— Ну так я вам скажу, что вы поступаете подло и мерзко! Не по-княжески, а по-мошеннически! — закричал вдруг Квощинский.

Князь переменился в лице, встал и тихо произнес:

— Пожалуйте вон отсюда. Не пойдете тотчас, я людей кликну...

XXIX

Настасья Григорьевна, хотя понемногу, не сразу, но все-таки за ночь вполне, по ее выражению, «очухалась».

Стать формальной сожительницей богатого князя она, быть может, и согласилась бы. Он был не хуже, а гораздо виднее

и на вид моложавее Павла Максимовича. Но быть в доме князя в виде простой наложницы рядом с какой-то турчанкой или молдавашкой и быть таковою на время, мимолетной прихотью, Малова положительно не хотела. Поступок капитана она называла теперь «обманным», она была уверена вполне, что все «пример» один, что он выиграет и отыграется... А вышло, что она ему не помогла, а сама в ловушке. Да и срам. «На карту ставленная!» — думалось ей.

Разумеется, приключенье огласилось на всю Москву, и все, зная хорошо чудодея князя Козельского, только смеялись и понимали, что Малова ни на что ему не нужна, а что это новое «колено» ради потехи...

Между тем Сашок и Кузьмич сообразили, что их «сердечное дело» еще хуже запуталось. Князь был гневен... В доме все знали, что барин выгнал гостя Квощинского за дерзостное поведение... Он вышел за гостем на лестницу и кричал швейцару:

— Гони болвана... Гони!

Вот тут и иди теперь объяснять, что хочешь жениться на племяннице этого же нагрубившего человека. Кузьмич и Сашок равно потерялись, не зная, что делать. Равно боялись оба, что и Квощинские будут поражены и оскорблены заявлением Павла Максимовича о поступке князя, обругавшего и выгнавшего его. И как они дело рассудят — неизвестно.

Пред сумерками дело повернулось еще хуже. Во двор въехала большая карета шестерней с ливрейными лакеями, и Сашок, глянув в окно, увидел в карете даму, ахнул и схватился за голову.

— Что ты? — заорал Кузьмич, перепугавшись.

— Беда. Беда будет. Невесть что будет!

И он бросился бежать наверх к дяде.

Между тем приезжая заявила вышедшему швейцару:

— Князь?

Швейцар понял, но переспросил:

— Кого прикажете?..

— Князь?

— Вам угодно князя Александра Алексеевича или князя Александра Никитича?

— Видно, вы тут все — неотесанные пни. Нешто поедет важная барыня к щенку в гости. Спрашиваю тебя: князь?

— Дома ли-с? Дома-с.

— Слава Создателю. Отпечатал уста.

И барыня при помощи своих лакеев полезла из кареты.

— Как прикажете доложить? — спросил швейцар.

— Генерал-аншефиха, княгиня Серафима Григорьевна Трубецкая. Понял, идол? Удержишь в башке? Аль нет?

Лакей побежал докладывать. Княгиня, не дожидаясь, сбросила летний салоп и стала подниматься по лестнице. Но на верхней площадке у дверей залы она встретила уже князя, предупрежденного Сашком.

— Вы князь Козельский? — спросила княгиня сурово.

— Я-с. Чему обязан, что имею честь вас...

— У вас моя дура, сестра Настасья, задержана. Я за ней.

— Как то есть за ней? К ней? Повидаться? — сухо сказал князь.

— За ней! За... за... за... По-русски понимаешь, господин князь?

— Вы желаете, стало быть, ее взять и увезти? — спросил князь гневно и сдержанно.

— Да.

— Я не могу этого дозволить.

— А я и дозволенья не прошу.

— Напрасно, княгиня, беспокоились. Я ее не отпущу.

— Это твое последнее слово?

— Да-с.

— Ладно. Пенять будешь.

Князь улыбнулся.

— Тогда я останусь здесь. Обеих сестер содержи.

И княгиня крикнула вниз своим людям:

— Ступайте домой. Приказать доставить мне сюда Анфису, капот и белье. А князю доложить, что я здесь останусь на жительство. Насколько — не ведомо. Коли захочет он повидаться, то чтобы сюда ко мне в гости приезжал.

Затем княгиня обернулась к князю и прибавила:

— А жить с сестрой я не стану. Поставь мне кровать здесь в зале. Для срама. Чтобы все гости твои видели меня и слышали, что я говорить буду.

— Вы уже решились, княгиня? — воскликнул князь.

— Нет. Ты, старый хрыч, уже решился. В карты живых людей выигрываешь. Да еще дворянок. Да еще дам молодых. Ну вот ты чудеса откалывать умеешь, так погляди теперь чудеса княгини Серафимы Григорьевны. Посмотрим, чьи будут почудеснее!! Вели принести кровать и поставить тут в зале... Ведро воды тоже. Да корыто побольше. Я пред сном полощусь для здоровья.

Княгиня вошла в двери залы, села на ближайший стул и заговорила:

— Старый хрыч. Бесстыдник. Идол истуканный. То с одной туркой жил, срамился... А то уж целый султанский бабий вертеп заводить собрался. Да еще картами их добывать, якобы гончих или борзых. Бесстыжий хрыч!

— Княгиня! Вы у меня в доме, и если вы знаете благоприличия, то должны знать, что хозяина гости не поносят...— отозвался князь, сердясь, но сдерживаясь.

— Старая образина. Шестьдесят лет, а еще, гляди, не напрыгался. Греховодник. Погоди. Я тебя вот научу по-своему.

— Но позвольте, княгиня. Ведь я могу, наконец, позвать людей и вас попросить вон отсюда.

— Зови. Пусть тащат. Срамись. А как вытащат на двор силком — вот тебе Господь Бог — я опять войду. Так и будем прохлаждаться до вечера. А завтра с утра опять то же будет. Ворота закроешь, я с холопами своими прибуду, и выломаем. Так ли, сяк ли, а я тебе, старому хрычу, бесстыжему Кощею, мою дуру Настасью не покину на срамное наложничество.

Князь стоял пред женщиной, не зная, что делать. Через минуту он повернулся и пошел из залы.

Прошел час... Князь был у себя в кабинете и ходил из угла в угол.

Княгиня сидела на том же месте в зале и всем, кто проходил мимо, говорила:

— Срамники. Идолы. Погоди. Я вас проберу.

Через час, по приказанию князя, запрягли карету и подали.

Малова явилась в залу... И обе сестры выехали из дома Козельского.

XXX

Через полчаса Сашок был позван «немедля нимало» к князю и, войдя, нашел его шагающим взволнованно по комнате. Он еще ни разу не видал дядю с таким лицом и взглядом.

— Я за тобой послал по важному делу, Александр,— заявил он сухо.— Очень важное для меня, да надеюсь поэтому, что и для тебя. Я оскорблен. С дамы взятки гладки! А мужчине можно отплатить, чтобы душу отвести и не оставаться в долгу. Ну, отвечай на мои вопросы толково, не переспрашивай и не молчи, разинув рот.

Князь сел и показал племяннику место против себя.

— Говори... Я тебе дядя? Родной дядя?

Сашок приглядывался, соображал и медлил с ответом.

— Ну вот и готово! — воскликнул князь.

— Что-с? — оробел молодой человек.

— Я тебя просил и опять прошу,— громко и мерно произнес князь.— Про-о-шу!.. Сде-е-лай ми-и-лость. Отвечай! Отве-е-ча-ай на вопро-о-сы!

— Слушаюсь. Буду отвечать,— едва слышно и скороговоркой сказал Сашок.

— Я тебе дядя? И родной дядя?

— Точно так-с.

— Любишь ты меня?

— Да-с. Я вас...

— И меня за грош не продашь?

— Что вы, дядюшка. Я готов, если...

— Коли меня начнут бить, заступишься или будешь глядеть?

— Что вы, дядюшка? Я за вас...

— Если меня человек, дурак оголтелый или из ума выживший, оскорбил, будешь ты с этим человеком якшаться и дружество водить? Ну-ка, отвечай.

— Ни за что, дяденька. Я эдакому человеку при случае тоже...

— Ну, ну...

— При случае тоже не спущу.

— Ну вот спасибо. Поцелуемся.

И оба, поднявшись с места, расцеловались и опять сели.

— Ну вот, Александр. Стало быть, ты так и поступи! Как только где встретишь Павла Максимовича Квощинского, так его тотчас хлоп в морду.

— Что вы, дядюшка! — ахнул Сашок.

— Не желаешь?

— Дядюшка!

— Знаю, что дядюшка. Не желаешь?

— Я... Я... Я должен вам доложить...— начал молодой человек отчаянным голосом.

— Что?

— Должен доложить, что я на его племяннице собрался жениться... Как же мне...

— Ты сказывал, у тебя две... Баскакова и Квощинская. Женись на Баскаковой, если уж эта дурь у тебя в голове застряла.

— Нельзя, дядюшка. Кузьмич тоже говорит, что нельзя. Она верхом на стуле ездит... В форейторском платье... Да потом я, дядюшка, уже... Я Квощинской уже... Я женихом уже состою... Я хотел вам доложить, да не смел.

— Же-ни-хом?! — протянул князь.

— Я не смел вам доложить.

— Женихом!! Ай да молодец. Живя у меня в доме, и эдак...

— Дядюшка! Так вдруг потрафилось само. Я не виноват. Ей-Богу.

— Выйди вон!

— Дядюшка. Простите. Позвольте разъяснить.

— Вон! Вон! Видно, так и буду всех вон гнать, и чужих и своих. Не попросить моего разрешения и благословения и действовать самому, подспудно... По-татарски это, что ли?

А второе и главное: я с Квощинским кланяться не могу, не только родниться. Убирайся отсюда. Пока вниз к себе... А завтра... Увидим... Пошел...

Сашок сбежал к себе как сумасшедший.

— Все пропало, Кузьмич! — вскрикнул он.

— Как пропало?

— Дядюшка сказывает — с Квощинским никакого дела иметь не станет. И выгнал меня. И все это из-за Павла Максимовича, который дурашно нагрубил... Поразмысли, что теперь делать. Дядюшка даже приказывал было мне побить Павла Максимовича.

Кузьмич не ответил ни слова. Тотчас собрался и через час был уже в гостях у друга, Марфы Фоминишны.

— Все прахом пошло,— заявил он, не войдя, а вкатившись к нянюшке.

— Что прахом? Как прахом?

— Все! Ваш Павел Максимович из-за своей вдовы треклятой...

И Кузьмич объяснился.

— Посиди, мой родной. Посиди. Я сейчас все узнаю и ответ тебе дам.

И Марфа Фоминишна пошла к барыне.

— Павел Максимович начудил,— заявила она.— Из-за Маловой. Был у князя Александра Алексеевича у самого. Начудил.

— Что же такое? — оробела Анна Ивановна.

Марфа Фоминишна объяснила, что знала.

Анна Ивановна взволновалась и, вскочив с места, выговорила:

— Погоди здесь. Я сейчас пойду все расскажу Петру Максимовичу. Так нельзя.

Квощинская вышла быстрой походкой из комнаты и через минуту была в кабинете мужа.

— Вот что ваш братец проделывает! — воскликнула она, ворвавшись к мужу. И затем женщина объяснила мужу все то же.

— Да, безобразно. Совсем неблаговидно. Из-за поганой бабы расстраивать свадьбу племянницы! — заявил Петр Максимович, тоже взволновавшись.

— Конечно, нехорошо. Грех и срам. А нам, почитай, несчастие. Из-за прихоти старого кота... пострадает наша Танюша.

— Кота? Что вы, Анна Ивановна? — укоризненно произнес Квощинский.— Обождите. Я сейчас пойду и с ним переговорю.

И через минуту Петр Максимович был у брата во флигеле, объясняя ему последствия всего, что произошло. Павел Максимович выслушал все и смутился.

— Я не потерплю, чтобы племянница из-за меня пострадала! — выговорил он решительно.

Однако Квощинские не знали, что делать и что, собственно, предпринять, решили только не говорить дочери.

— Обождем, увидим,— решили они.— А Тане ни слова.

В тот же день, в сумерки, Сашок, не спросясь Кузьмича, поехал тоже переговорить и потолковать о беде. И произвел *переполох в доме.*

И мать, и отец, и нянюшка тщательно скрыли все от молодой девушки. Таня продолжала прыгать от счастья.

Когда Сашок немедленно приехал и без доклада лакея вошел в гостиную, то через мгновенье к нему вышла не Анна Ивановна, а Таня. Девушка как бы выпорхнула из своей комнаты и прилетела на встречу к возлюбленному улыбающаяся, сияющая и, как всегда, румяная от смущения.

— Мама сейчас придет. Я вас в окно увидела и послала ей сказать,— вымолвила она уже строго, как бы заранее объясняя свой нескромный поступок: являться одной к молодому человеку и жениху.

Сашок стоял среди комнаты, совсем по выражению: «как ошпаренный цыпленок», расставив ноги, опустив голову, растопырив руки.

— Что вы? — воскликнула Таня.— Что вы, Александр Никитич?

— Татьяна Петровна! Мы несчастные.

— Мы? Несчастные? Мы?

— Да мы с вами несчастные. Все повернулось кверх ногами. Нам только умирать остается.

— Почему? Что вы?

— Да разве вы не знаете?

— Что такое? Говорите, ради Господа!

— Дядюшка согласия не дает!

— Дядюшка? Не дает? Что же такое?

Сашок не ответил и, стоя в такой же беспомощной позе, вдруг полез в карман камзола. Вынув платок, он поднес его к лицу и стал утирать глаза.

— Александр Никитич,— тихо и пугливо произнесла Таня.

Сашок только фыркнул в ответ и заплакал еще шибче.

Таня начала тоже плакать, пошарила в кармане, не нашла платка и стала утирать слезы рукавом...

— Говорит... Говорит...— начал Сашок, всхлипывая.— Говорит, что ни за что, никогда...

Но вдруг раздался страшный, пронзительный крик на весь дом.

Вскрикнула Таня... И замертво повалилась на пол... Отец и мать бросились в залу...

И весь дом заходил ходуном. Горя уже не было, а был один общий перепуг...

Все, сбежавшись, прежде всего унесли лишившуюся чувств девушку к ней в спальню, а затем послали за доктором.

Петр Максимович вернулся к себе, не позвав Сашка.

Анна Ивановна, конечно, не отходила от дочери и говорила: «Бедная ты моя, бедная».

И Сашок, совершив переполох, поехал домой. «За делом приезжал!»

XXXI

Ввечеру Сашок сидел у себя в спальне, грустный, с красными глазами, с тяжелой головой. Кузьмича не было дома. Он опять куда-то пропал. Среди тишины в комнатах послышался шорох. Конюх Тит появился на пороге спальни и остановился, видимо, смущенный своей дерзостью.

— Что ты? — бесстрастно, как человек, которому от горя не до мелочей обыденной жизни, произнес Сашок.

— Я к вам... По делу к твоему сиятельству. Прости, Александр Никитич,— заговорил Тит.— Я из любви. Ей-Богу. Сейчас умереть, коли лгу. Жалостно мне смотреть. Ну вот я по любви и положил прийти.

— Ну что же тебе! — воскликнул Сашок.— Ты совсем чурбан! Нешто можешь ты меня утешить, что ли?

— Могу.

— Что-о?! — протянул Сашок, удивленный глупостью малого и рассерженный.

— Могу. Прямо обещать не могу. А все-таки испробовать могу. Дозволишь?

— Что? Олух! Что тебе дозволить!

— А вот чтобы выгорело дело, стало быть, желание твоего сиятельства на лад пошло. Может быть, у меня через бабусю и выгорит дело. Только разреши.

— Пошел вон! — вспыхнул Сашок.

— Ты не серчай. Ей-же-ей! Пред Господом Богом божусь, что бабуся барыньке одной скажет все, пояснит. А барынька своей приятельнице, а энта у самой служит у царицы. А потому может князю Александру Алексеевичу все сказать, попросить. Барыня бабусе сказывала: какое, сказывала, у тебя дело, старуха, ни будет, ты мне говори, а я для тебя все сделаю. Ей-Богу, Александр Микитич, не вру.

Сашок помолчал, глядя в лицо своего конюха, и вдруг ему показалось, что молодой малый не дурак и не безумный, а только не умеет объясняться толково. Он встал и, подойдя к Титу, засыпал его вопросами. Тит отвечал толково. Выведал что-то удивительное.

— А приятельница этой самой барыни при царице состоит? — спросил наконец Сашок в третий раз.

— То-то, да!

— И обещала твоей бабушке через эту приятельницу все, что ни спроси, сделать?

— Ну да. Вот я и говорю твоему сиятельству,— начал Тит, но Сашок перебил его:

— И выходит толк из того, что твоя бабушка эту барыню просила?

— Завсегда! — оживился Тит.— Как по щучьему веленью. Раз было про огород... А там Матюшка на волю вышел, хоть господа его, Орловы, не хотели.

— Погоди болтать,— сказал Сашок и стал снова расспрашивать конюха. Наконец, поразмыслив, молодой человек вспомнил пословицу: «утопающий за соломинку хватается», и соломинка, бывает, помогает. И Сашок решил, чтобы наутро Тит шел к своей старой прабабушке, все ей рассказал и просил помочь. «А там будь что будет!»

Наутро парень был уже в Петровском и, расцеловавшись со старухой и с сестрой, тотчас же заявил:

— Ну, бабуся, я к тебе с поклоном! Что хошь делай, а помоги! Коли поможешь, то мое тебе будет вечное спасибо.

— Что такое? — удивилась Параскева.

— А вот, слушай!

И Тит подробно рассказал все, что произошло в доме: как князь баловался, барыньку в карты выиграл, как за этой барынькой приезжал ее благодетель, клянчил, просил князя отпустить ее, а князь уперся: выиграл — и шабаш! А там слово за слово они шибко разругались. Затем Тит описал подробно и даже картинно, со слов дворовых людей князя, как приезжала важная барыня в карете — тоже княгиня да еще и генеральша и как она не только криком кричала в доме, всех ругала и поносила, а чуть не дралась и чуть самого князя не треснула. Собиралась тоже зачем-то ворота ломать.

Параскева таращила свои старые глаза и головой качала.

Затем Тит еще подробнее передал, что приключилось вследствие ссоры князя с княгиней, как ему пришлось уступить и у него чуть не силком выигранную барыньку увезли. Оказалась она сестрицей генеральши.

— А в конце концов,— прибавил Тит,— мой Александр Мититич чуть не разливается, плачет. Благодетель-то, выходит, который князю всяких продерзостей наговорил,— родной дядя его невесты. Князь теперь на дыбы: не хочу, чтобы женился! Квощинские господа все разливаются, а коли не разливаются, то так горюют, что смотреть жалко. А Александр Микитич ничего не может. Дядюшка приказывает — плюнь на них и женись на другой. А эта другая верхом на

стуле катается! Ну, ради Создателя, помоги! Я вот тебе в ножки поклонюсь!

И Тит, привстав, действительно согнулся, тронул пальцем пол. Лицо его было не только серьезно, но неподдельно грустно.

— Помоги, бабуся!

— Да что ты, дурак! Белены там в Москве объелся, что ли? Как же я помогу?

— Можешь, бабуся! Помнишь ты, что мы рассуждали про Матюшкину волю, что все это твоя барыня московская состряпала, потому что недалече от царицы состоит. Ну вот ты опять помоги!

— Да как, глупый?

— Повидаешь ее, скажи ей! Когда ты ее повидаешь?

— Да, должно, скоро опять повидаю.

— Ну вот и скажи! Все, что я тебе расписал, ты и ей распиши. Да и проси. Хоть в ноги кланяйся!

— Да о чем, дурак?

— Да о том, бабуся, чтобы она своей важной-то приятельнице сказала, а чтобы та князя уломала, чтобы он разрешил Александру Микитичу жениться на барышне Квощинской.

— Глупый. Ничего не будет.

— А я вот, ей-Богу, смекаю, что коли опять барыня твоя захочет словечко замолвить, то уж ее-то барыня энта, что при царице, энта уж непременно князя знает и с князем поговорит. И князь послушается. Вот ей-Богу, мне все это так сдается.

Параскева молчала и, наконец, покачала головой.

— Ничего не будет! Глупы вы! То Матюшка — самоварник орловский, мудрено ли было барыне иной, при царице состоящей, Ивану Григорьевичу словечко замолвить, а тот отпустил. А теперь, видишь, ступай она просить богача князя Козельского в его семейном деле. Тот — сам князь, сам важный, скажет: сударыня, не в свое дело не мешайтесь!

— Да ты только попроси, бабуся. Повидаешь ты ее?

— Думаю, завтра же повидаю! Сказала — придет посидеть к огороду.

— Ну, так скажи только,— молил Тит нежно.— А там что Бог даст. Ты сказать-то скажешь?

— Скажу, что же мне? А только ничего не будет.

— Ну и пущай не будет, а ты все-таки скажи!.. Родимая! Бабуся!

— Ладно. Ладно. Скажу... Чего же тебе. Не божиться же зря мне, старой, как вы, зеленя... Что ни слово — всуе Господа призываете. Ох, грех с вами один.

И Тит, вернувшись в Москву, принес радостную весть, что бабуся обещалась...

Старик дядька, узнав все, страшно рассердился и обругал и конюха и питомца — дурнями.

XXXII

Граф Воронцов обдумал и понял огромное значение данного ему поручения. Вечером, около восьми часов, уже при свечах канцлер входил в дом фельдмаршала Разумовского. Именитый хозяин дружески радушно встретил канцлера, с которым был давно коротко знаком и которого всегда во дни своей силы отличал среди многих и многих петербургских вельмож.

Теперь Разумовский имел основание еще более уважать Воронцова за его поведение во время царствования Петра III, когда его родная племянница, графиня Елизавета Романовна Воронцова, была всесильной фавориткой.

Воронцов не мог предвидеть, как кратко будет царствование нового государя, а между тем не переходил на сторону фаворитки. С другой же племянницей, княгиней Дашковой, был в холодных отношениях, считая ее взбалмошной женщиной, пустой, и звал «ученой трещоткой».

Заслышав стук экипажа, граф вышел и встретил канцлера наверху парадной лестницы.

— Чему обязан я, что вы, несмотря на важные заботы, посетили эрмита или схимника? — сказал он.

— По делу, Алексей Григорьевич. Не хочу лукавить. Собирался я давно, да все откладывал за статскими делами. Но явился казус мудреный и собрал меня в один день. Не взыщи за откровенную речь.

— Как всегда искренен, друг. За это и уважаю,— сказал Разумовский.— Все-таки благодарен и рад. Милости прошу.

Они прошли несколько темных комнат. Люди шли впереди с канделябрами и светили им. Освещать пустые горницы без гостей считалось у здравомыслящих вельмож несообразным с разумом.

Когда оба сановника уселись в больших креслах около ярко горящего камина — заморского нововведения, а двери затворились за ушедшими людьми, Воронцов вздохнул, провел рукой по лицу и заговорил:

— Не было у меня никогда и не будет более никогда к вам, друг мой, такого дела, как нынешнее. Не знаю сразу, как и приступить к нему, хотя много его обдумывал. Я от государыни.

— Надеюсь, что не ущерб мне...— произнес Разумовский тихо и тревожно и подумал: «Конфискация».

— О нет! — воскликнул Воронцов.— Бог с вами! Государыня любит и уважает вас. Хотя дело прямо до вас касающееся, но ни заботы, ни чего-либо худого от него вам не будет. Чувства государыни к вам хорошо вам известны.

Воронцов смолк на мгновение, как бы обдумывая, с чего начать, и бессознательно оглядывался кругом себя. Наконец он вымолвил:

— Не смущайтесь вопросу моему, граф. Ведомо вам, чем стоустая, как сказывается, молва ставит вас по отношению к покойной государыне, за кого все привыкли вас почитать.

— Нет, граф. Я не знаю даже, что вы хотите сказать.

— Многие, Алексей Григорьевич, почитают вас за... По утверждению молвы все российское дворянство почитает, что вы были обвенчаны... были в тайном браке.

— И в этом заключается ваше дело, ваше порученье? — спросил Разумовский глухо и тревожно.

— И да и нет.

— Позвольте, Михаил Ларивоныч. Либо да, либо нет. А иначе как же я отвечу. Пожалуй, отвечу, как всегда и прежде случалось отвечать, а однажды даже самому покойному государю Петру Федоровичу, спросившему меня о сем, среди вахтпарада, при сотне посторонних лиц, не только генералов, но субалтерн-офицеров и сержантов. Отвечу, что есть шутки и прибаутки смешные, есть умные, есть глупые, есть опасные, есть смертельные. Человек сих последних боится, какой бы он ни был охотник шутить. А люди или общество, толпа, что ли,— их не боится. Толпа не ответчик, потому что ее и не называют. Говорят: молва гласит. А кто молва, где молва? Как молву к вопросу потянуть да проучить, чтобы не болтала пустяков и опасных шуток не шутила? Итак, Михаил Ларивоныч, поручила ли вам государыня спросить про эту молву и не приказала ли вам привезти ей мой ответ, правдивый и точный?

— Нет, Алексей Григорьевич. Этого поручения я не имею.

— От себя вы, стало быть, спрашиваете?

— Да.

— Но позвольте. В чем же тогда заключается поручение государыни?

— Мое поручение есть просьба ее к вам: помочь советом через меня в одном деле.

— Вот и перейдем, граф, прямо к поручению и к делу государыни. Ее просьба мне закон.

Воронцов молчал и, наконец, выговорил совершенно иным голосом, оттенок которого был неопределим.

Голос этот как будто говорил: «Мое дело — первой важности. Не упускай ни одного слова из моей речи. Старайся понять, что неясно. Яснее я не скажу».

— Помогите нам в устроении судьбы одной вдовы, на которой чуть не силком желают жениться. Так что, выходит, грозит ей, как народ сказывает — самокрутка. Но самокрутка особая. Без ее собственного согласия.

Разумовский с изумлением поглядел в лицо собеседника и хотел уже выговорить: «Как? Что?»

Но Воронцов сам повторил:

— Молодую вдову, одинокую, без друзей и покровителей, хотят окрутить по-своему смелые люди и повенчать. Вот государыня и просит моей и через меня вашей помощи.

— Помощи?! Но какой?

— Все дело в том, есть ли где и есть ли у кого, по вашему мнению, такие документы, которые смелые люди могут огласить, хотя бы даже силком. И на них потом сослаться, чтобы оправдать свое поведение и якобы узаконить его.

— Стало быть, мое дело указать, где эти документы, для того, чтобы их уничтожили. Это ли желание государыни?

— Нет. Ее величество этого не сказала. Ее величество совета просит, как поступить... Но я думаю, что ваше дело указать на документы... И тогда... Я не знаю, что делать... А государыня тоже не знает. Оттого она и просит вашего, граф, содействия.

— Совета, а не содействия.

— Если же вы скажете и докажете,— тонко добавил Воронцов,— что подобных документов нет и никогда не было... Это будет драгоценным советом! Вашего слова будет вполне достаточно... то есть вашей клятвы.

— Я в священном для меня деле, ради памяти обожаемого мною лица — лгать не хочу! — глухо проговорил Разумовский.

Наступило долгое молчание.

— Какой же исход, граф? — выговорил, наконец, Воронцов.

Разумовский вздрогнул при голосе канцлера, настолько глубоко задумался он, настолько далеко унеслись его мысли от окружающего.

Он протяжно вздохнул, медленным движением достал платок и отер слезы на глазах. Затем он молча встал, отворил потайной ящик в столе и вынул небольшую шкатулку. Открыв ее ключиком, который был у него на шее с образками, он вынул сверток бумаг, обвязанный розовой лентой. Затем он снова запер шкатулку и поставил ее на место. Со свертком в руке тихо вернулся он и снова сел у камина.

В свертке, который фельдмаршал развязал, оказались две бумаги. Утирая набегавшие слезы, он начал читать их про себя.

Воронцов молча ждал.

Медленно прочитав все и дочитав вторую бумагу, Разумовский поцеловал ее внизу, где видны были подписи... И легким движением он бросил бумаги на уголья тлеющего камина.

— Алексей Григорьевич! — тихо вскрикнул Воронцов и невольно привстал.

Разумовский не ответил и даже головы не повернул на восклицание.

Бумажные листы тотчас вспыхнули, свертываясь в черную трубочку, и пламя ярко осветило горницу и двух сидящих. Но тотчас же все исчезло вновь, только серые пылинки потянуло жаром вверх и унесло в трубу.

— Гражданский подвиг, Алексей Григорьевич. Слава тебе! Царица не ошиблась в вас. Но что я отвечу?

— Доложите государыне, дорогой Михаил Ларивоныч, что если бы молва народа была истинною, то были бы документы. А я, граф Алексей Разумовский, верный ее раб, свято чтущий память моей покойной благодетельницы и верноподданный государыни Екатерины II, даю мое честное слово, коим никогда кривде не послужил, что никаких документов, могущих подтвердить молву народную, нет на свете.

— Нет, нет, скажу я. Пусть знает она. Оценит.

— Зачем. Нет, друг. Я этого не хочу. Спасибо мне за это мало, а награда будет обидой. Иное не продается, а только жертвуется. Скажи ей: была бы правда, были бы документы. А их нет. И я, мол, сам могу присягой подтвердить, что их нет.

— Зачем лишать себя благодарности, признательности монарха,— воскликнул Воронцов,— если заслужил...

— Поневоле...— ухмыльнулся горько малоросс.

Воронцов поднялся, протянул обе руки Разумовскому и молча крепко поцеловался с ним три раза.

Через несколько минут канцлер уже уехал, а фельдмаршал был снова в той же горнице у потухшего и похолодевшего камина. И положив на руки голову, сидел он неподвижно. Спустя час он поднялся и прошептал:

— По греху — наказание!.. За гордость и тщеславие — Господь наказал. Пред современниками робел похвастать. Желалось пред начальством после смерти безопасно побахвалиться. И вот сгинуло все!

XXXIII

На другой день канцлер Воронцов был в Петровском и входил к императрице с бодрым видом и оживленно-довольным лицом.

Государыня принимая его, пытливо поглядела ему в лицо и улыбнулась:

— Ну-с. Как дело вдовы?

— Ваше величество. Все дело заключалось в глупой молве, как оно зачастую бывает. Доказательств этой молвы нет

никаких. И граф Алексей Григорьевич приказал доложить вашему императорскому величеству, что он дает честное слово, что документов не существует.

Воронцов с ударением и оттягивая речь произнес последние слова.

— Нет ничего?

— Нет, ваше величество. Граф дает честное слово и готов клятву принести.

Государыня задумалась, но потом, встрепенувшись, прибавила:

— И не было никогда? Неужели?

Воронцов молчал и потупился.

— Как вы сами предполагаете, Михаил Ларивоныч? Скажите ваше мнение о сем?

Государыня оттенила умышленно слова: «предполагаете» и «ваше».

— Предполагаю, ваше величество, что были и вдруг сгорели в камине в одну секунду. Но это ведь мое личное соображение.

— Соображение... Вам это подсказал ваш разум, ваша догадка?.. Или... Или ваши глаза?

— И глаза, и догадка, ваше величество. Комедиантства в графе я допустить не могу.

— Стало быть, вдова моя может быть спокойна?..

— Вполне, ваше величество.

— Благодарю вас! Я не забуду, чем я вам обязана! — с чувством произнесла Екатерина.

— Мне? Но я здесь ни при чем. Граф Алексей Григорьевич сам...

— Нет. Вы все сделали. Я одна, без вас, никогда бы не решилась... просить этого. Просить такой огромной жертвы, такого доказательства преданности подданного — нельзя. А приказывать? Избави, Боже. Наши повеленья не должны гнетом падать на чувства, на души и сердца подданных. И вот вы помогли. Это ваше деяние важнее по своим последствиям наших с вами хитросплетений по отношению к европейским кабинетам. Благодарю вас и повторяю — никогда не забуду.

Воронцов вышел, государыня весело улыбнулась. Лицо ее засияло радостью. Она тихонько хлопнула в ладоши и почти шаловливо вымолвила вслух пред собой, мысленно к кому-то обращаясь:

— Да. Oui, mon cher ami[1]. Есть такая французская пословица: «A roue-roue et demie!»

[1] Да, мой дорогой друг (*фр.*).

XXXIV

Прошло пять дней, и с чудодеем князем Козельским было два приключения. Своего рода чудеса, но не им совершенные, а с ним совершившиеся.

В дом явился посланный из Петровского от имени Марьи Саввишны Перекусихиной, потребовавшей к себе молодого князя Козельского. Сашок смутился и оробел.

Князь решил, что дело касается, очевидно, его, а не племянника. Перекусихина только не хочет его тревожить. И он поехал сам. Он смущался тоже... История с Маловой слишком нашумела в Москве. Неужели ему, старику, будет «передано» замечание?!

Через два часа князь вернулся домой, тотчас позвал Сашка к себе и объявил:

— На твой брак с девицей Квощинской даю тебе мое согласие... Почему так вдруг — не твое дело.

Сашок вскрикнул и бросился целовать дядю.

— Только скажу...— продолжал князь.— Чудеса в решете... Должно быть, у Квощинских есть «рука», чтобы высочайшие персоны могли снисходить к их семейным обстоятельствам. Завтра поеду самолично знакомиться с Петром и мириться с Павлом, чтобы оба Максимыча были довольны. И рад бы наплевать на обоих, да не могу. Возбраняется. Чудеса!

На другой день, действительно, князь съездил к Квощинским в качестве дяди жениха и, конечно, оба брата, польщенные посещением, были в восторге. Петр Максимович всплакнул от счастья, что брак дочери сладился. Павел Максимович, ввиду Настасьи Григорьевны освобождения и своего примиренья с ней, на радостях примирился и с князем охотно.

Но затем чудеса в доме продолжались...

В сумерки князю доложили, что смотритель острога покорнейше просит его принять. Князь догадался, что дело идет, вероятно, о цыгане. Действительно, худенький старичок, по наружности типичный подьячий, явившись, передал князю, что заключенный цыган, Бальчук, уже три дня всячески молит, чтобы ему разрешили явиться под стражей к князю и доложить о крайне важном деле, касающемся князя. Но было бы много лучше, если бы князь приехал сам и принял его в квартире смотрителя, чтобы не было огласки.

— Смею доложить вашему сиятельству,— объяснил смотритель,— что на мой толк, извините меня за совет, вам бы следовало Бальчука допустить до себя. Он мне не открылся ни в чем, но у меня большой навык к острожникам

за двадцать пять лет моего смотрительства. Этот цыган совсем человек на особый лад. Как он попался в смертоубийстве, мне непонятно, но предполагаю, что не ради простого разбоя. На нем в тот же раз при обыске найдено десять рублей.

— Что же вы хотите этим сказать? — спросил князь.

— Было бы нелишне вашему сиятельству выслушать его. Он, очевидно, хочет вам доложить что-то очень важное.

— Ну что же, пожалуй! — решил князь.— Ведь не зарежет же он меня у вас на глазах. Какой прок?

И было решено, что сам князь приедет на квартиру смотрителя, чтобы в доме ничего не знали.

На следующий день утром князь, удивляясь и недоумевая, выехал в тележке и очутился в остроге, в комнате смотрителя. Туда же к нему впустили и цыгана. Князь мысленно подшучивал над собой, что согласился на это таинственное нелепое свидание. У вошедшего молодца и красавца цыгана был вид совершенно иной. В ту ночь, когда он был схвачен, князь помнил хорошо, что у него был дикий, озлобленный вид тигра, попавшего в клетку. Теперь у цыгана лицо было спокойное, взгляд пытливый, еще спокойнее.

С первых же слов князь убедился, что перед ним очень умный малый и даже незаурядно умный. Войдя и став у дверей перед сидящим в кресле князем, цыган, по имени Бальчук, не поклонился, а лишь зорко глянул и присмотрелся к князю. И, не дав ему времени сделать какой-либо вопрос, сам заговорил:

— Я хотел повидать вас не ради своего дела, а ради вашего дела! Вам оно важно, а мне наплевать! Но прежде чем я стану говорить, вы должны дать ваше княжье слово, что вы исполните наш уговор.

— Вот как! — воскликнул князь.— Боек ты, я вижу! Бой-молодец! Так у нас уговор должен быть?

— Да-с, уговор! Я вас от смерти избавлю, коя у вас за спиной. А вы меня из этого острога избавите и на все четыре стороны отпустите.

Князь рассмеялся.

— Умный вы человек, князь, все сказывают. А вот ин бывает, разума-то у вас не хватает. Хоть бы вот теперь!

Князь еще пуще рассмеялся.

— Вас должны вскорости, не нынче-завтра покончить, в землю зарыть, а вы вот посмеиваетесь!

— Живого, что ли, в землю-то зароют?

— Нет, не живого, а как следует — мертвого... И ничего не поясняющего... Людям-то! Приказал, мол, долго жить, а

почему помер — никто не знает... Хитер был, а нашлись, что и его перехитрили.

Бальчук говорил так самоуверенно и твердо, что князь поневоле прислушался внимательнее.

— Ну, говори! Сказывай все! Может, и в самом деле не врешь.

— Нет, сказывать я не буду... Прежде вы сказывайте... Согласны ли, коли узнаете, что я вас упасу от смерти, меня из острога освободить? На волю! Вы человек властный, вам только слово сказать! Сказать, что простили и молодой князь простил. Меня и выпустят.

— Изволь!

— Ваше княжье слово?

— Мое княжеское слово! Если то, что ты скажешь, не чепуха и не вранье.

— А вот сами посудите! Начну с самого начала, чтобы оно вам было совсем понятно.

И цыган толково, подробно объяснил князю, почему он решился на верное убийство молодого князя и попался лишь благодаря простой случайности. Не случись здоровенного холопа среди тьмы ночи и полной глуши на улицах, то, конечно, он догнал бы князя и зарезал.

И когда цыган прибавил еще несколько слов, князь, внимательно прислушивавшийся к его словам, вдруг побледнел... Цыган сказал, что он был подкуплен Земфирой. Ему было обещано двести, а то и триста рублей, а то и больше, смотря по тому, какие обстоятельства произойдут после убийства молодого князя.

— Но дело не выгорело! — продолжал Бальчук.— И вот теперь зарезать молодого князя нельзя — некому... Когда еще Земфира найдет другого такого дурака, как я. В России наемных душегубов совсем нет. Это не то что в Молдавии или в Турции. Стало быть, теперь надо начинать дело с другого конца. Надо похерить самого старого князя.

— Что?! — невольно вскрикнул князь.

— Старого, говорю, князя надо теперь похерить. Ну, вот его и похерят.

— Меня, то есть?

— Вестимо, вас!

Наступило молчание, после которого князь спросил:

— Кто же? Ты, что ли? Какой прок, коли ты в остроге... Сейчас, коли вот думаешь, так тотда я тебя предупреждаю...

— Полно, князь! — перебил Бальчук.— Сейчас? Здесь? Чем? Кулаками, что ли? Да и какой же толк, если бы даже я тут где нож нашел? Ведь я же сказал уже, что не мне

нужно — Земфире нужно. Вы лучше слушайте! Земфира опасается, что не нынче-завтра вы ее можете от себя прогнать и уничтожить завещание, которое давно сделали в ее пользу. Захотите, чтобы все пошло молодому князю. Вот, боясь, что не нынче-завтра вы это завещание похерите, она и спешит как можно скорей вас самих похерить. И благодаря завещанию молодой князь останется на бобах.

Князь сидел с сильно изменившимся лицом, потому что вполне верил каждому слову Бальчука, а верил потому, что глаза, лицо, голос этого цыгана дышали силой правды.

— Ну, как же меня-то она задумала?..— произнес он несколько упавшим голосом, как бы не решаясь выговорить слово «похерить», которое все повторял цыган..

— Вот это мудрено пояснить! Боюсь, князь, что не поверите. Обещайте мне послушаться меня, что я вам скажу сделать. И в точности так сделать, как я сказал. Тогда поверите и все узнаете. А не послушаетесь меня, ничего не будет. Прогнать вам Земфиру немудрено, да как же дело такое делать, полагаясь на слова острожного... Это негоже! А вы сами своими глазами поглядите да своими ушами что-либо послушайте. Тогда будете верно знать и можете без охулки поступать.

— Говори. Сделаю все по-твоему! Я тебе верю! — глухо произнес князь, сильно взволнованный.

— Извольте! Скажите, есть у вас такая привычка, что Земфира иногда ввечеру сидит у вас в кабинете?

— Да. И очень часто!

— И есть у вас такая привычка, что вы какое-то питье стряпаете и пьете с лимоном, что ли, или с чем...

— Правда твоя! Почти каждый вечер.

— Вот видите ли. Я вот у вас в доме не живал, а это знаю. И знаю, стало, от Земфиры. Так вот, не нынче-завтра вас этим самым питьем на тот свет и отправят.

— Что?! — воскликнул князь.

— Да-с! Да погодите. Я не все сказал! Просьба моя такая: с нынешнего, с завтрашнего ли дня, когда будет Земфира у вас и будете вы попивать ваше питье, то прежде всего... Ведь ваша спальня рядом, так?

Князь кивнул головой.

— Вот пообещайтесь мне... Сейчас же прикажите кому, человеку верному, просверлить дырочку в стене из спальни в кабинет.

— Зачем? — выпрямился князь.

— Чтобы в эту дырочку хорошо было видно! И вот пущай, когда вы сделаете ваше это питье, то, отпив малость, выйдите за каким делом на минуточку в спальню и прямо

глаз к дырочке! Ничего не увидите особливого, на другой день то же сделайте, а то и на третий. Но полагаю, что и по первому разу кое-что увидите, потому что она спешит. Хотите знать, что увидите вы в щель?

— Ну... Ну... Что?!

— А когда вы выйдете в спальню, то Земфира кое-что достанет из кармана или из-за пазухи и бросит в стакан. Коли вы этот стакан выкушаете, то через час уже будете криком кричать, а к ночи и на том свете будете. Отрава — отравой, опоить — опоили. А кто? Что? Как? Будет неизвестно, потому что пуще всех будет кричать и плакать сама Земфира. Она тотчас же заподозрит в этом деле молодого князя. А там через день и пузырек с какой-то дрянью окажется у князя или у его дядьки в их квартире. Все подлажено, князь, давно, и только я теперь все это разрушил. А вы сдержите княжье слово, не забудьте главного... для меня. Когда вы увидите, что я не врал, вас упас от злодейки, прикажите меня выпустить. Вот и все! Позвольте уйти?

Князь ничего не ответил, задумался, сидел понурясь и был бледен. Наконец он выговорил чуть слышно:

— Вот что значит быть проданной на базаре, купленной и перекупленной.

Цыган снова попросил позволения выйти и как бы разбудил князя.

— Ступай! Я свое слово сдержу!

Но когда цыган двинулся к дверям, князь вдруг вскрикнул:

— Стой! Почему ты знаешь про яд? Откуда яд? Где она могла добыть его?

— От полюбовника!..

— Что?! — хрипло произнес князь совершенно упавшим голосом.

— Да-с! А полюбовник этот либо знахарь, либо настоящий дохтур и возится со всякими снадобьями и лекарствами. Сам их стряпает. И зелье смертельное он давно дал ей, и оно всегда при ней.

— Кто же этот знахарь?! Где он?

— Этого я не знаю! Она не дура, чтобы одного Каина другому Каину выдавать. Он обо мне, поди, никогда не слыхал от нее, а я о нем ничего не знаю.

Вернувшись из острога домой, князь был настолько странен лицом, что не только Сашок, но и люди заметили это. Спустя некоторое время, Александр Алексеевич приказал позвать к себе раненого Семена и, к удивлению всех, приказал привести прямо в кабинет. Прежде всего он спросил, как себя чувствует Семен, слаб ли? Ражий детина объяснил, смеясь:

— Помилуйте, он меня только царапнул! А что крови много вытекло — важность какая! Будто без крови человек жить не может! Это все враки! Я даже себя много лучше чувствую. Вот он меня ковырнул — и спасибо ему. Может, от какой болезни избавил.

— А что же? Может быть, и правда? — через силу улыбнулся князь, вспомнив, что ражий детина всегда был чрезмерно красен лицом, с красной шеей, а теперь стал совсем благообразен, как и все другие.

Князь спросил Семена, сумеет ли он, будучи кучером, заняться столярным делом. Семен замотал головой...

— Погоди! Можешь ты достать сейчас в лавке, а не дома, скрытно ото всех, а не явно, эдакий нужный инструмент, чтобы затем просверлить мне вот эту стену?

— Немудреное дело!

— Ну так сейчас же берись! Съезди на извозчике в город и купи. Коловорот, что ли...

Через два часа Семен снова был в кабинете князя, к величайшему изумлению всей дворни, хотя, по приказанию князя, он объяснил, что дело идет о его поранении, что князь посылал его к знахарю и приказал явиться и доложить, что знахарь сказал.

Семен достал из-за пазухи спрятанный большой инструмент и принялся за работу. Князь вызвал его предпочтительно перед всеми дворовыми и даже не счел нужным предупредить его, чтобы никому ничего не говорил. Когда подобное предупреждение случалось, то Семен обидчиво качал головой, морщил брови и только раз ответил грубо:

— И как не надоест обижать человека? Проболтался ли я когда в чем?

С тех пор князь уже никогда не говорил Семену промолчать о чем-нибудь.

XXXV

По вечерам, когда князь бывал дома один, Земфира всегда приходила в кабинет.

На этот раз, когда она явилась к князю, он, несмотря на все свое желание быть спокойным, казаться даже веселым, никак не мог овладеть собой. Он начал шутить, но чувствовал сам, что и шутки, и смех — все выходит фальшиво и может выдать его.

Кончилось тем, что князь решился прямо сказать, что он взволнован.

— Что с вами такое сегодня? — тотчас заметила Земфира.

— А то, голубушка,— придумал солгать князь,— что у меня некий московский сановник просит сейчас ни больше

ни меньше, как сто тысяч взаймы и безо всякого документа. И эти деньги, конечно, пропадут. А если я не дам, то он мне много худого наделает. Вот меня это и обозлило. Так что даже руки трясутся по сию пору со злости.

И, по пословице «на всякого мудреца довольно простоты» и на всякого хитреца найдется «протохитрец», Земфира поверила. Ей казалось только странным, что князь, сорив-ший всегда деньгами, вдруг жалеет ста тысяч.

— Что же вам? Не Бог весть уж какие деньги для вас.

— Верно! — спохватился князь.— Наплевать бы. Не в том дело! Дело в том, что он попроси, покланяйся. А он с меня горделиво берет их. Точно я у него по оброку хожу холопом.

Объяснению этому Земфира уже совершенно поверила. Она знала, что главное оружие против князя была просьба. Его надо было и можно было взять во всем добром, лаской.

Главное было сделано, и князь уже не боялся, что выдаст себя и лицом, и голосом. Нравственное его состояние было таково, что он чувствовал себя начеку, насторожившись, ввиду каждую минуту ожидаемого, а все-таки как бы неожиданного удара: докажет ли Земфира, что цыган не солгал?

И чем ближе подходила роковая минута — убедиться в том, что эта женщина способна быть отравительницей в награду за многолетнюю привязанность, заботу и ласки,— тем более князь был взволнован. Он начал умышленно болтать, заговорил о вечере, от которого отказался и который теперь, вероятно, в полном разгаре в палатах графа Разумовского, куда ждут и императрицу.

И вместе с этим князь принялся за свое стряпанье, налил горячей воды, рому, накрошил лимона. Но все то, что он делал ежедневно, теперь делалось как-то иначе. Или, быть может, ему лишь казалось, что во всех его движениях есть что-то нервное, порывистое и подозрительное.

Отпив несколько глотков, князь стал прохаживаться по кабинету... И сердце начало сильно биться в нем, даже в висках отстукивало. Приближалось это роковое мгновение... Сейчас он выйдет вдруг за дверь спальни и тотчас станет глядеть в отверстие, проделанное в стене. И князь, шагая, думал:

«Чего же волноваться?.. Может быть, не сегодня?.. И почти наверное не сегодня! А если она свое зелье постоянно носит при себе?..»

И вдруг он вспомнил нечто, что его смутило еще более. Он вспомнил, что за последние пять дней благодаря разъездам по вечерам он не оставался так наедине с Земфирой. Она, может, думает, что с завтрашнего дня опять пойдет так на несколько дней. Поэтому ей надо пользоваться случаем, если она спешит. И князь выговорил мысленно:

«Да, наверное... Непременно!.. Сейчас!..»

И вместе с тем, тихо шагая по комнате, он чувствовал, что не имеет силы выйти за дверь и подставить свою голову под топор. Да. Это была ведь действительно нравственная казнь! Веря словам цыгана, уже как бы веря, что Земфира способна на такое дело, он будто все-таки на что-то надеялся. Ему все-таки не хотелось верить.

«Да, хочется, чтобы не верилось!» — повторял он про себя.

И вдруг, сломив в себе нерешительность, он вышел в спальню и, притворив гулко дверь за собой, тотчас же припал глазом к просверленной стене...

И он увидел два луча, синих, сверкающих, направленных на него... Так показалось ему. Он увидел взгляд двух черных глаз, устремленных на столик, где стояло питье.

Земфира быстро поднялась, отстегивая ворот платья, потом рванула, спеша, что-то оторвала... Что-то мелькнуло в ее пальцах... Она остановилась на мгновение и прислушалась, приглядываясь к двери...

Князь так сильно дышал, почти задыхаясь, что испугался, не услышит ли она это дыхание и остановится. А уж стук сердца, наверно, слышен в той комнате. Сердце стало будто большущее, захватило всю грудь и отбивало молотом...

Но, остановившись и замерев на месте на мгновение, Земфира протянула руку к питью. В пальцах ее была белая бумажка... Еще через мгновение она отошла от столика и села в то же кресло, в той же позе.

И опять показалось князю, что два сверкающих луча направлены на него и освещают комнату сильнее свечей... Взор злодейки действительно горел и вспыхивал. И произошло странное, быть может, даже редкое явление... Князь выпрямился, перестав глядеть в щель, и сразу стал спокоен. Вопрос был решен... Сомнения не было никакого. И поэтому все казалось уже совершенно просто, ясно и будто даже именно так, как и быть следует...

Войдя в кабинет, князь Александр Алексеевич был совершенно спокоен, холодно спокоен, и только... Только горло сдавило и слезы будто просятся на глаза. Ведь он вмиг похоронил единственную в жизни долгую и глубокую привязанность. Князь чувствовал, однако, что его спокойствие ужасное, смертельное...

Впервые случилось нечто, впервые в жизни... А что случилось, он даже незнает как назвать. «Разочарование?»

Да. Все, что было, оказывается, не было. Как же так? Сразу трудно и разобраться. Сколько лет он был глубоко убежден в известном сочетании обстоятельств, делавших его довольным... Многое дорогое, близкое стало постепенно ме-

нее дорогим... Правда. Но она все-таки была дорога и близка сердцу... Все-таки «было»! И вдруг оказывается, что этого и вовсе не было... Он верил в химеру. «Злюка», его любящая, к нему привязанная всем сердцем, оказывается не злюкой, а преступной женщиной, злодейкой, способной не только обманывать его и иметь любовника, но способной и на смертоубийство, на отравление.

Пока князь, вернувшись в комнату, бродил, а не ходил по ней, Земфира, забившись в угол у окна, сидела, как на угольях, ждала и в то же время начала холодеть от ужаса. Ей чудилось, что в спальню уходил один князь Александр Алексеевич, а вернулся другой, какого она никогда еще не видала. Горделивый и бледный, со сверкающим взглядом.

«Неужели он догадался? Или он видел? Но как видел? А если он перехитрил?.. Какой вздор!»

Князь вдруг сел на кресло и произнес глухо:

— Земфира. У меня к тебе просьба.

— Ну. Что же?..

Князь показал на свое питье и молчал.

— Говорите. Что вам? — уже неровным голосом произнесла Земфира.

— Выпей.

И в комнате наступило гробовое молчанье. Длилось оно долго.

Князь не смотрел на женщину, а, понурясь, глядел себе на руки без смысла. Земфира сидела мертвенно-бледная, не шелохнувшись, тяжело переводила дыхание, но тоже не глядела на князя, воображая, что он смотрит на нее, и чувствуя, что она этого взгляда не выдержит... Не от раскаяния или совести... а от злобы, душившей ее... Встретив этот взгляд судии — она крикнет то, что у нее на уме.

«Ты судья?! Нет. Ты бездушный себялюбец... Ты все взял! А что ты дал?»

Придя несколько в себя, князь взглянул искоса на женщину и увидел, что она снежно-бела, несмотря на свою смуглоту.

— Что же? Ничего не скажешь? — тихо проговорил он, наконец, почти прошептал через всю комнату.

— Ничего! — отчаянно выкрикнула Земфира, заложив руки над головой.

— Оправдаться не можешь?

— Не хочу! Поделом! Умей! А дура — то и пропадай. Ничего. Ничего не сумела. И пропадай.

— Говори. Любила ли ты меня?.. Прежде?..

— Никогда! Вот никогда-то...

И женщина как-то затряслась и начала вдруг хохотать диким, судорожным смехом. Смехом сумасшедших и бредящих.

— Оставь меня. Выйди,— глухо, чуть слышно, произнес князь.— Завтра утром получишь свои пятьдесят тысяч, и немедленно уезжай... И... И будь проклята!

— Не буду! — расхохоталась Земфира.

И она поднялась с места и, пошатываясь, пошла к дверям.

— Сатана! — воскликнул князь.

— Да. Осатанела с вами. В мучительстве с отвратительной, мерзкой старой гадиной! — прошипела она и вышла.

XXXVI

На другой день князь будто переломил себя — был другой человек, бодрый, веселый, довольный... с грустным взглядом тусклых глаз.

Весь день прошел деятельно. Он будто старался занять себя, чтобы не думать, не вспоминать.

Земфира получила пятьдесят тысяч. Давно обещанные, как бы поэтому данные поневоле... И ни гроша более... Ввечеру она уже выехала из дому навсегда... Зато цыган был освобожден из острога и взят в дом князя на службу. Он горячо клялся, что за такую доброту и за такую честь отплатит князю, заслужит...

Затем князь осмотрел свою домовую церковь и тотчас распорядился, чтобы она была вся отделана заново...

Выехав из дому, князь занялся «концами», как он называл разные свои дела... Несколько человек, спасенных им из нищеты, и в том числе вдова Леухина с детьми, еще не были вполне пристроены и обеспечены. В суде у Романова было еще три тяжбы у людей, которых он взял под свое покровительство, и надо было добиться их справедливого решения.

Вместе с тем князь заехал к лучшему ювелиру, выбрал на несколько тысяч бриллиантов и самоцветных камней и заказал свадебный подарок будущей племяннице.

И время за день — тяжелый день — было убито...

XXXVII

В селе Петровском было большое оживление... Правнучка старухи Параскевы венчалась с вольноотпущенным дворовым человеком господина Орлова. Старуха позвала многих на свадьбу, от радости и счастия помолодела лет на двадцать и все-таки была старая-престарая...

— Потому она,— шутили петровцы,— что и двадцать ей лет сбавь — и все-таки столетняя будет!

Гостей набралось в доме Параскевы куча — и молодых, и старых. Но угощения хватало на всех. Старуха доказала, что у нее из-за огорода денежки водились.

Трудно было бы когда-либо, где-либо увидеть два лица, более радостных, чем были лица красивой Аленки и тоже красивого Матюшки.

В самый разгар пира всех ожидало неожиданное происшествие...

Из лесу вышел, перешел полянку и вошел в домик лакей в придворной ливрее, высокий, с красивыми голубыми глазами и такой на вид рослый, плечистый, важный, что прямо не лакей, а генерал. Да и кафтан был такой, каких петровцы прежде никогда не видали и к которым только теперь пригляделись и привыкли, так как палаты графа были полны этих питерских слуг.

Важный придворный служитель мягко и вежливо спросил, *хотя и видел сам — которая молодая*. Среди всеобщего молчания и смущения Параскева отозвалась:

— Вот, золотой мой, вот она!

При ее словах многие усмехнулись, а какой-то старик даже сказал:

— Вот уж воистину золотой! Вишь, и по кафтану, и по штанам, все одно золото.

Лакей приблизился к Аленке и передал ей сверток.

— Тут, милая моя, тебе, молодой, сто рублей. Прислала барыня.

— Какая барыня? — произнесла Параскева.

— А вот та самая, которую ты знаешь. А я, по правде, и не знаю. Указано мне отдать и сказать: от барыни, которая у старухи Параскевы на огороде была не раз.

— Ах, она моя сердешная, голубушка! — всхлипнула Параскева и начала утирать свои без слез плачущие глаза.

XXXVIII

Княгиня генерал-аншефиха, водворив сестру на место жительства, тотчас вызвала к себе Павла Максимовича и переговорила с ним «по-своему».

Последствием этого объяснения было важное решение. Через десять дней после этого в доме и семье Квощинских началось особенное волнение... Но все лица были странно оживлены. У всех чудно смеялись глаза, начиная от Петра Максимовича и Анны Ивановны и до Марфы Фоминишны,

до людей, девчонок в доме. Все ухмылялись, будто подшучивали или подсмеивались, и подмигивали друг дружке.

В доме была свадьба, но такая, что при известии о ней знакомые и приятели головами качали, ахали и смеялись. Старый холостяк Павел Максимович долженствовал венчаться с Настасьей Григорьевной Маловой.

Если бы не знали всего предыдущего, случившегося между ними, а главное, не знали бы, как Малову какой-то капитан в карты проиграл, то, может быть, никто бы и не подсмеивался. А теперь, с легкой руки нянюшки Марфы Фоминишны, все повторяли:

— Потому барин хочет бракосочетаться, чтобы ее опять кто не проиграл в карты либо не продал на толкучке!

Венчание происходило в ближайшем храме, у Спаса-на-Песках, но в церкви, несмотря на тучу налезшего народу, почти никто не заглядывал в лица жениха и невесты и не интересовался ими. Зато все глаза были устремлены на молодого офицера, стоявшего недалеко от брачующихся и на молодую девушку, стоявшую около своей матери. Все знали, что это — жених и невеста.

— Вот их бы свадьбу поглядеть! — говорилось в толпе.— Да обида — нельзя! В своей домовой церкви будут венчаться...

Таким образом, Павел Максимович и Настасья Григорьевна обвенчались, не возбуждая ничьего любопытства и внимания. Малова в подвенечном платье была, бесспорно, красива, ею можно было полюбоваться. Павел Максимович тоже приободрился, будто помолодев малость, и выглядывал фертом. Но все-таки, в виду молодого князя-офицера и молоденькой Квощинской, на них нельзя было обратить особого внимания.

— Куда же им до этих? — говорили в толпе.— Он прямо Бова-королевич, а она вот тебе, ни дать ни взять, Миликтриса Кирбитьевна.

XXXIX

Князь Александр Алексеевич, будто стараясь самого себя развлечь, особенно деятельно взялся за приготовление к свадьбе племянника, решив не откладывать, а ускорить бракосочетание.

И однажды большой дом князя Козельского переполнился гостями, а двор и соседние улицы запрудились экипажами. Князь определил на свадьбу племянника такие страшные деньги, о которых прошел слух по Москве, что из всех приглашенных ни один не отказался, всякий приехал. Всем

было любопытно поглядеть, как и на что «ухлопает богач-чудодей эдакие деньжищи»...

И если было когда-то много гостей на торжественном обеде у князя, были первые люди государства, то теперь многие из них тоже приехали ради дружбы к князю, но, помимо них, было и все московское дворянство, которое дружило или было в родственных отношениях с семьей Квощинских, были и приезжие из Калуги, Тулы и Владимира.

Жениха уже называли громко звучащим именем, говорили «адъютант генерал-адъютанта», и уху казалось, что это еще больше, чем просто генерал-адъютант.

«Рука» князя сделала это! Марья Саввишна...

Разумеется, сам Григорий Орлов, которого уже начинали заглазно называть графом, хотя получение титула должно было совершиться лишь через несколько дней, счел долгом приехать на свадьбу своего нового ординарца, рекомендованного ему царицей.

Венчание состоялось в домовой церкви и было настолько блестяще благодаря гостям, мундирам и дамским туалетам, что можно было подумать, что происходит во дворце императорском. После венца тотчас состоялся обед — свадебный пир — и длился до сумерек.

Уже солнце садилось, когда гости разъехались, а молодые остались в своих собственных комнатах, занимая весь главный этаж.

Князь Александр Алексеевич переселился на жительство в комнаты, которые прежде занимал Сашок.

— Мы поменяемся,— сказал он племяннику,— и не одной квартирой, а и всем прочим. Ты будешь на моем месте и в доме, и в вотчинах, а я буду на твоем месте! И Кузьмича к себе приставлю. И буду я делать то, что он тебе всегда наказывал: «Уберегайся женского пола, чтобы не загубиться!»

КОММЕНТАРИИ

ИВАНОВ ВСЕВОЛОД НИКАНОРОВИЧ (1888—1971) — русский писатель. Родился в городе Волковыске Гродненской губернии. Закончил историко-философский факультет Петербургского университета (1912). Начал печататься с 1909 г., первая книга была посвящена военным действиям русской армии в начале первой мировой войны. В 1922—1945 гг. находился в эмиграции в Китае, где написал ряд романов, а также одну из первых в мире биографий Н. К. Рериха (1939). Затем переехал в СССР, где в основном писал на исторические темы: «Черные люди» (1963), «Александр Пушкин и его время» (1970) и т. д.

Текст повести «Императрица Фике» печатается по изданию: Иванов Вс. Н. Императрица Фике. М.: Правда, 1988.

Стр. 15. *...лужайки парка Сан-Суси...* — Сан-Суси — дворец в Потсдаме недалеко от Берлина (от *фр.* Sans-Souci — беззаботный), построенный в XVIII в. при Фридрихе Великом в стиле рококо.

Стр. 15. *...в древних славянских местах...* — В результате агрессии германских феодалов на Восток в IX—XII вв. и позднее были завоеваны славянские земли от Эльбы почти до Вислы. Немецкие названия этих земель и населенных пунктов практически во всех случаях были искажением исконных славянских: Померания (Поморье), Кольберг (Колобжег), Штеттин (Щецин), Бранденбург (Бранибор), Лейпциг (Липицк), Дрезден (Дроздов) и т. д.

Стр. 16. *...флейта короля Фридриха...* — Фридрих II (1712—1786) — прусский король с 1740 г., крупный полководец и государственный реформатор. Увлекался философией и музыкой.

Стр. 16. *...рот растянулся над амбушюром...* — Амбушюр — мундштук духового инструмента.

Стр. 16. *...его отец, король Фридрих-Вильгельм...* — Фридрих-Вильгельм (1688—1740) — прусский король с 1713 г. При нем окон-

чательно сложилась система государственного управления, названная «пруссачеством»: своеобразный гибрид бюрократии и милитаризма. Сам король имел прозвище «фельдфебеля на троне».

Стр. 16. *...дамы в широких робронах...* — Роброн (от *фр.* robe ronde — букв.: круглое платье) — очень широкое женское платье с округленным шлейфом.

Стр. 24. *Корф* Николай Андреевич (1710—1766) — барон, женатый *на двоюродной сестре императрицы Елизаветы Екатерине (Марте)* Карловне Скавронской (не путать с ее теткой Мартой Самуиловной Скавронской — императрицей Екатериной I). Сопровождал в Россию принца Петра-Ульриха — будущего Петра III. Во время Семилетней войны — русский губернатор оккупированной Пруссии, затем петербургский генерал-полицмейстер, сенатор.

Стр. 28. *...граф Чернышев, русский посланник...* — Чернышев Петер Григорьевич (1712—1773) — действительный тайный советник, сенатор, русский посол в Париже, был посланником в Дании, Пруссии и Англии.

Стр. 38. *...ловкий дипломат... Нарышкин...* — Нарышкин Семен Кириллович (1710—1775) — в 1741—1743 гг. русский посланник в Англии, затем гофмаршал Петра Федоровича, обер-егермейстер, генерал-аншеф.

Стр. 40. *Лесток* Иван Иванович (Иоганн-Герман) (1692—1767) — с 1713 г. медик на русской службе, с 1741 г. первый придворный лейб-медик, действительный тайный советник.

Стр. 41. *Воронцов* Михаил Илларионович (1714—1767) — граф (с 1744 г.), государственный канцлер (с 1758 г.). Женат на Анне Карловне.

Стр. 41. *...братья Шуваловы.* — Имеются в виду сыновья Шувалова Ивана Максимовича Старшего: Александр Иванович (1710—1771) — генерал-фельдмаршал, сенатор, граф (с 1746 г.), глава Тайной канцелярии; Петр Иванович (1710—1762) — граф, сенатор, генерал-фельдцейхмейстер, президент Военной коллегии.

Стр. 42. *Сиверс* Карл Ефимович (171?—1762) — граф Римской империи, камер-юнкер Петра Федоровича, затем обер-гофмаршал, генерал-поручик.

Стр. 48. *Симон* (Тодорский) (1700—1754) — архимандрит Ипатьевского московского монастыря, с 1748 г. архиепископ псковский и новгородский, законоучитель Петра и Екатерины.

Стр. 57. *Амвросий* (Юшкевич) (1690—1745) — архимандрит Симонова монастыря, с 1740 г. архиепископ новгородский. Сторонник восстановления патриаршества.

Стр. 57. *...его учителя Исаака Веселовского...* — Веселовский Исаак Павлович (168?—1754) — один из трех братьев — крещеных евреев, выдвинувшихся по дипломатической линии в конце царствования Петра I. Приближенный А. Д. Меншикова, затем член Коллегии иностранных дел. Учитель русского языка у Петра Федоровича.

Стр. 59. *...в стеганом штофном халате...* — Штоф — тяжелая шерстяная или шелковая халатная ткань.

Стр. 60. *Апраксин* Степан Федорович (1702—1758) — сподвижник фельдмаршала Миниха, вице-президент Военной коллегии с 1742 г., генерал-фельдмаршал с 1756 г. Находился под следствием за неудачные действия в Семилетней войне, во время которого умер.

Стр. 60. *Волков* Дмитрий Васильевич (171?—1785) — тайный секретарь Совета при Петре Федоровиче, затем сенатор и после первоначальной опалы в начале царствования Екатерины — петербургский генерал-полицмейстер.

Стр. 62. *Свалялся с Лизкой Воронцовой...* — Воронцова Елизавета Романовна (1739—178?) — фаворитка Петра Федоровича, считавшаяся его «невестой», камер-фрейлина.

Стр. 68. *Миних* Бурхард Христофор (1683—1767) — граф (с 1728 г.), генерал-губернатор С.-Петербурга, генерал-фельдцейхмейстер, затем фельдмаршал, видный полководец и государственный деятель, при Елизавете сослан в Пелым, возвращен при Петре III.

Стр. 68. *Левенвольде* Рейнгольд Густав (1693—1758) — обергофмаршал Анны Иоанновны, с воцарением Елизаветы приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в Соликамск.

Стр. 69. *Лопухин* Василий Абрамович (Авраамович) (169?—1757) — племянник царицы Евдокии Федоровны, генерал-аншеф.

Стр. 69. *Фермор* Вилим Вилимович (1702—1771) — сподвижник Миниха, генерал-квартирмейстер его армии, с 1755 г. генерал-аншеф, командующий русскими войсками в Пруссии, позже смоленский генерал-губернатор.

Стр. 71. *В Сталлупене имели дневку, миновали Гумбиннен.* — Сталлупене (Сталлупенен) — городок в 120 километрах восточнее Кенигсберга; в 25 километрах юго-западнее первого находился Гумбиннен, известный как место первой победы русских в первой мировой войне.

Стр. 72. *...лихой ординарец... Пугачев.* — Емельян Иванович Пугачев в Семилетнюю войну был ординарцем казачьего полковника (затем генерал-майора) И. Ф. Денисова, затем отставлен «за потерю лошади».

Стр. 75. *...горячий генерал Румянцев...* — Румянцев Петр Александрович (1725—1796) — генерал-майор с 1755 г., позже генерал-фельдмаршал, знаменитый полководец.

Стр. 76. *Панин* Петр Иванович (1721—1789) — генерал-майор с 1755 г., позже генерал-аншеф, главнокомандующий при подавлении пугачевского восстания.

Стр. 77. *...князь Ливен, его главный советник...* — Служившая в России ветвь Ливенов имела к тому времени лишь баронское достоинство (шведские Ливены были баронами и графами); здесь имеется в виду Юрий Григорьевич (Георг Рейнгольд) Ливен (1696—1763) — генерал-аншеф.

Стр. 79. *Первым прибежал француз Фусадье...* — Фусадье (Фуссатье) Вилим Вилимович (1709—1773) — лейб-хирург, с 1770 г. первый лейб-хирург двора.

Стр. 79. *Кондиоди* (Кондоиди) Павел Захарович (1709—1760) — окончил Лейденский университет, в России лейб-медикус, директор Медицинской канцелярии, тайный советник.

Стр. 84. *Бутурлин* Александр Борисович (1694—1767) — граф (с 1760 г.), фельдмаршал, конференц-министр.

Стр. 90. *Вчера арестован... Елагин...* — Елагин Иван Перфильевич (1725—1796) — закончил Шляхетский кадетский корпус, арестован по делу Бестужева и Апраксина и сослан в Казань, при Екатерине — сенатор, обер-гофмейстер. Известный писатель, историк, видный масон.

Стр. 100. *Салтыков* (Солтыков) Петр Семенович (1698—1772) — граф (с 1773 г.), генерал-аншеф, с 1759 г. командующий русскими войсками в Пруссии.

Стр. 103. *Чернышев* Захар Григорьевич (1722—1784) — граф, во время Семилетней войны генерал-поручик, при Екатерине — фельдмаршал и главноначальствующий в Москве.

Стр. 104. *...Неплюев, еще сотрудник Петра Первого.* — Неплюев Иван Иванович (1693—1773) — русский резидент в Константинополе в 1720-е гг., затем губернатор Оренбурга, Малороссии. Во время переворота 1762 г. ему была поручена охрана цесаревича Павла.

Стр. 105. *Трубецкой* Никита Юрьевич (1699—1767) — князь, действительный тайный советник, генерал-прокурор Российской империи, фельдмаршал в конце царствования Елизаветы.

Стр. 107. *Орлов* Григорий Григорьевич (1734—1783) — граф, фаворит Екатерины Второй, генерал-аншеф, генерал-фельдцейхмейстер артиллерии.

Стр. 112. *Волконский* Михаил Никитич (1713—1789) — князь, генерал-поручик, позже дипломат, главнокомандующий в Москве.

Стр. 123. *Август... долго сидит польским королем.* — Август III Саксонский — польский король в 1736—1763 гг.

Стр. 129. *Шкурин* Василий Григорьевич (172?—1782) — камердинер Екатерины, позже камергер (получил в 1773 г. потомственное дворянство), тайный советник, член Вольного экономического общества.

Стр. 130. *Орлов* Алексей Григорьевич (1737—1807) — граф, за победу в Чесменском бою получивший приставку «Чесменский», генерал-аншеф, адмирал.

Стр. 130. *Орлов* Федор Григорьевич (1741—1796) — граф, генерал-аншеф, обер-прокурор правительствующего Сената.

Стр. 131. *Панин* Никита Иванович (1718—1783) — граф, дипломат, воспитатель Павла Петровича.

Стр. 131. *Разумовский* Кирилл Григорьевич (1728—1803) — граф, брат фаворита императрицы Елизаветы, с 1746 г. президент Академии наук, в 1746—1764 гг. гетман (последний) Украины, сенатор, генерал-фельдмаршал.

Стр. 139. *Бибиков* Василий Ильич (1740—1787) — камергер, тайный советник, деятель театра, писатель.

Стр. 139. *Пассек* Петр Богданович (1736—1804) — поручик (а не капитан, как у Вс. Н. Иванова) Преображенского полка, арестован

27 июня 1762 г. по доносу капитана Измайлова, по восшествии на престол Екатерины произведен в капитаны, позже генерал-поручик, губернатор Могилева.

Стр. 140. *...бросился к княгине Дашковой...* — Дашкова Екатерина Романовна (1744—1810) — сестра фаворитки Петра Третьего Ел. Р. Воронцовой, приближенная Екатерины, статс-дама, писательница. С 1783 г. президент Академии наук.

Стр. 140. *Я здесь с князем Барятинским...* — Имеется в виду один из братьев Барятинских, выдвинувшихся затем в царствование Екатерины: Иван Сергеевич (1738—1811) — флигель-адъютант Петра Третьего, позже генерал-поручик и посол в Париже, или Федор Сергеевич (1742—1814) — гвардейский офицер в 1762 г., позже камер-юнкер, обер-гофмаршал.

Стр. 141. *...рядовой Гаврила Державин.* — Гавриил Романович Державин служил в Преображенском полку рядовым с марта 1762 г.

Стр. 142. *Брюс* Яков Александрович (1732—1791) — граф, участник Семилетней войны, при Екатерине генерал-аншеф и губернатор одновременно Москвы и Петербурга.

Стр. 143. *Талызин* Иван Лукьянович (1700—1777) — двоюродный брат канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, адмирал с 1757 г.

Стр. 143. *Петр-Август-Фридрих,* принц Голштейн-Бек (?—?) — генерал-фельдмаршал, остзейский генерал-губернатор.

Стр. 143. *Девиер* (Дивиер) Петр Антонович (ок. 1710—1773) — сын сподвижника Петра Первого, любимец Петра Федоровича, генерал-аншеф с 1762 г. Во время екатерининского переворота арестован адмиралом Талызиным в Кронштадте, позже уволен в отставку.

Стр. 147. *Измайлов* Михаил Львович (172?—1797) — в 1762 г. генерал-майор, склонил Петра Третьего к отречению, позже генерал-лейтенант.

Стр. 147. *...молодой капрал Потемкин.* — Потемкин Григорий Александрович (1739—1791) — в описываемое время вахмистр конной гвардии, позже знаменитый фаворит Екатерины, светлейший князь Таврический.

Стр. 151. *...кисти славного Валериани.* — Валериани (Валерьяни) Джузеппе (1708—1761) — итальянский художник, с 1745 г. преподавал в Петербургской Академии наук и работал над украшением дворцов.

Стр. 152. *Дмитрий* (Сеченов Даниил Андреевич) (1709—1767) — архиепископ, с 1762 г. митрополит новгородский. Проповедник, миссионер.

Стр. 152. *Орлов* Иван Григорьевич (1738—1791) — поручик, затем капитан Преображенского полка, позже работал в Комиссии по составлению нового Уложения.

Стр. 152. *Орлов* Владимир Григорьевич (1743—1831) — получил графское достоинство одновременно с четырьмя старшими братьями в 1762 г., позже генерал-поручик, директор Академии наук, затем долгие годы жил в Италии.

КРАСНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (1869—1947) — русский военный деятель, писатель, историк. В первую мировую войну командовал казачьей бригадой, дивизией, а с августа 1917 г. — конным корпусом, во главе которого по приказу Керенского пытался подавить революцию в Петрограде. Бежал на Дон, где в мае 1918 г. был избран атаманом Войска Донского, но в феврале следующего года из-за противоречий с другими лидерами белых подал в отставку и уехал в Германию. После войны по приговору советского Верховного суда за сотрудничество с гитлеровцами был казнен. Начал печататься с 1890-х гг., написал воспоминания о своей миссии в Абиссинии при царе Менелике. Особенно много писал в эмиграции, а роман «От двуглавого орла к красному знамени» некоторые современники даже ставили в один ряд с «Войной и миром». В 1930-е гг. в Париже вышли его романы «Екатерина Великая», «Цареубийцы», ряд воспоминаний.

Текст романа «Екатерина Великая» печатается по изданию: Краснов П. Н. Екатерина Великая. М.: Раритет, 1994.

Стр. 167. *Из ...государыни римскую Мессалину...* — Мессалина — жена римского императора Клавдия, прославившаяся своим распутством.

Стр. 171. *...историю римлян Корнелия Непота...* — Непот Корнелий (ок. 650—720 гг.) — латинский историк, составивший одну из первых «всеобщих летописей», содержавшую биографии известных греков и римлян.

Стр. 191. *...у знаменитого математика Христиана Вольфа...* — Вольф Христиан (1679—1754) — барон, профессор университета в Галле, философ и математик.

Стр. 194. *Арсений* (Могилянский) (1704—1770) — проповедник Московской духовной академии, архимандрит Троице-Сергиевой лавры, с 1757 г. киевский митрополит.

Стр. 197. *Голицын* Александр Михайлович (1723—1807) — князь, вице-канцлер и обер-камергер при Екатерине.

Стр. 199. *Вам было тогда шесть... семь лет...* — Отец Петра Фёдоровича герцог Голштинский Карл-Фридрих умер в 1739 г., будущий Петр III родился в 1728 г.

Стр. 200. *Берхгольц* (Бергтольц) Фридрих Вильгельм (1690—1765) — обер-камергер будущего Петра III, под давлением канцлера А. П. Бестужева арестован и выслан в 1746 г. за границу. Автор ценного в историческом отношении обширного дневника.

Стр. 203. *...черными мерлушковыми шапками...* — шапками, сделанными из мерлушки — выделанной шкурки молодой овцы.

Стр. 203. *Лизогуб* Яков Ефимович (1675—1749) — внук гетмана Дорошенки, генеральный обозный Малороссии с 1728 г.

Стр. 204. *...генеральные старшины и бунчуковые товарищи...* — Бунчук, то есть конский хвост, насаженный на украшенное древко, по турецкой традиции — символ власти; бунчуковый товарищ — почетная должность, введенная Мазепой, обычно — адъютант гетмана.

Стр. 207. *...о молодом дипломате... `Бецком...* — Бецкой Иван Иванович (1703—1795) — побочный сын князя И. Ю. Трубецкого, дипломат, камергер Петра Третьего, затем директор Академии художеств. Автор педагогических сочинений.

Стр. 212. *...рейт-кнехты... в поводу лошадей.* — Рейткнехты — придворные конюхи.

Стр. 214. *Растрелли* Варфоломей Варфоломеевич (ок. 1700—1770) — знаменитый архитектор и скульптор.

Стр. 217. *Балк* Петр Федорович (1712—1762) — камергер Елизаветы Петровны, генерал-поручик.

Стр. 217. *Скавронский* Мартын Карлович (1716—1779) — граф, племянник Екатерины I, генерал-аншеф, обер-гофмейстер двора.

Стр. 217. *Шереметьев* (Шереметев) Петр Борисович (1713—1787) — камергер, сенатор, генерал-аншеф с 1760 г.

Стр. 220. *Платон* (Малиновский) (168?—1754) — член св. Синода, противник Феофана Прокоповича, по доносу последнего в 1738 г. был сослан на Камчатку, при Елизавете возвращен, стал архиепископом сарским и подонским, затем московским.

Стр. 225. *...записки Брантома...* — Бурделье де, сеньор Брантом, Пьер (1540—1614) — французский придворный и полководец, автор обширных мемуаров.

Стр. 249. *...алом шлафроке...* — Шлафрок — старинный вид домашнего халата.

Стр. 252. *...дорогой горностаевый палантин...* — Палантин (палатин) — женская меховая или бархатная полоса-накидка, закрывающая плечи.

Стр. 265. *...вчерашнему фавориту Ивану Ивановичу Шувалову...* — Шувалов Иван Иванович (1727—17970) — обер-камергер, президент Академии художеств. Не поддержал Екатерину в июне 1762 г. и был отослан за границу.

Стр. 327. *Козловский* Алексей Степанович (или Семенович) (171?—1776) — сенатор, в 1758—1763 гг. обер-прокурор св. Синода.

Стр. 333. *Храповицкий* Василий Иванович (1714 — ок. 1780) — участник войн с Турцией и Швецией, Семилетней войны, генерал-аншеф.

Стр. 356. *...своими десендентами...* — то есть своими потомками.

Стр. 397. *Римский-Корсаков* Александр Васильевич (1729—1781) — полковник, командир Смоленского полка, позже генерал-поручик.

Стр. 398. *На мызе... Фитингофа...* — Фитингоф Иван Федорович (Отто Германн) (1720—1792) — губернский советник Лифляндии, позже сенатор и директор Медицинской коллегии.

Стр. 398. *Броун* Юрий Юрьевич (Георг) (1698—1792) — родом из Ирландии, на русской службе с 1730 г., участник войн с Турцией и Швецией, Семилетней войны, генерал-аншеф, граф (с 1774 г.).

Стр. 401. *Веймарн* Иван Иванович (1722—1792) — генерал-квартирмейстер русских войск в Северную войну, позже командовал русскими войсками в Польше.

Стр. 402. *...со своим воспитателем... Порошиным...* — Порошин Семен Андреевич (1741—1769) — флигель-адъютант Екатерины, в 1762—1766 гг. воспитатель цесаревича Павла.

Стр. 404. *...много тут экзажерации!* — то есть преувеличений.

Стр. 407. *...эскадру адмирала Спиридова...* — Спиридов Григорий Андреевич (1736—1790) — участник Северной войны, с 1769 г. адмирал.

Стр. 409. *Грейг* Самуил Карлович (1736—1788) — на русской службе с 1764 г., капитан 1-го ранга, с 1770 г. контр-адмирал, затем адмирал, участник войн с Турцией и Швецией.

Стр. 410. *Эльфингстон* Джон (1720—1775) — англичанин, на русской службе с 1769 г., контр-адмирал, после гибели его корабля «Святослав» на рифе отдан под суд и ушел в отставку.

Стр. 412. *...развозить... «ордр-де-баталии»...* — то есть боевые приказы.

Стр. 419. *Ганнибал* Иван Абрамович (1736—1801) — старший сын «арапа Петра Великого», во время Наваринского сражения цейхмейстер морской артиллерии, позже генерал-поручик.

Стр. 430. *...на море Медитерранском...* — то есть Средиземном (от *фр.* Mediterranee).

Стр. 440. *...порцеллин японский...* — то есть фарфор.

Стр. 445. *...король Людовик умер.* — Людовик XV занимал французский престол в 1715—1774 гг.

Стр. 447. *...голубых шальварах...* — Шальвары — устаревшее название шаровар.

Стр. 459. *Генерал Бибиков писал Фонвизину...* — Бибиков Александр Ильич (1729—1774) — маршал Комиссии по составлению нового Уложения, сенатор, генерал-аншеф, с ноября 1773 г. главнокомандующий усмирением пугачевского восстания. *Фонвизин* Денис Иванович (1745—1792) — знаменитый драматург, в то время секретарь графа Н. И. Панина.

Стр. 462. *Фрейман* Федор Юрьевич (Магнус Фердинанд фон) (1725—1796) — рижский комендант, генерал-поручик, с 1772 г. действовал против Пугачева.

Стр. 462. *Декалонг* (Деколонг) Иван (171? — после 1777) — генерал-поручик, командир Сибирского корпуса, имел порицание от Екатерины за нерешительные действия против Пугачева.

САЛИАС (САЛИАС-де-ТУРНЕМИР) ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ (1842—1908) — сын писательницы Е. В. Салиас-де-Турнемир (Е. Тур), племянник драматурга А. В. Сухово-Кобылина. Служил адвокатом, статистиком, заведующим архивом, был управляющим конторой московских театров. 1860-е годы провел за границей, впечатления о которой изложил в ряде очерков и книг («Письма из Испании» и т. д.). В 1870-е — начале 1880-х гг. написал ряд исторических романов («Пугачевцы», «Найденыш», «Братья Орловы», «Пе-

тербургское действо» и т. д.), исторической тематике оставался верен и позднее. В 1881—1882 гг. издавал журнал «Полярная звезда».

Один из самых плодовитых русских писателей: собрание его сочинений издания Карцева насчитывает 33 тома.

Текст повести «Петровские дни» печатается по изданию: Салиас Е. А. Собр. соч.: В 33 т. М.: А. А. Карцев. Т. 28, 1903.

Стр. 541. *...табаку из тавлинки...* — Тавлинка — плоская табакерка из бересты.

Стр. 565. *...сановником из «истопников» Тепловым...* — Теплов Григорий Николаевич (1717—1779) — сын истопника, учился студентом при Академии наук, стал помощником К. Г. Разумовского — президента Академии. Статс-секретарь, сенатор.

Стр. 566. *...пригласил... Петра Скавронского...* — Таковой неизвестен. Вероятно, имелся в виду упомянутый у П. Н. Краснова Мартын Карлович Скавронский.

Стр. 566. *...генералов Сумарокова...* — Вероятно, имеется в виду Сумароков Петр Спиридонович (170?—1780) — обер-шталмейстер.

Стр. 566. *Суворов Василий Иванович (170?—1776)* — генерал-аншеф, отец знаменитого генералиссимуса.

Стр. 566. *...каретами и берлинами...* — Берлин — старинная карета-колымага.

Стр. 591. *...десятка жлудевая.* — По смыслу подразумевается бубновая или пиковая масть, хотя жлудью в старину обычно называли крестовую (трефовую).

Стр. 659. *...червончики и лобанчики...* — Лобанчик (лобанец) — название золотых монет (первоначально французских) с изображением головы.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1729 год

21 апреля — в семье принца Христиана-Августа Ангальт-Цербстского в Штеттине родилась дочь София-Фредерика-Августа.

1743 год

17 декабря — будущая Екатерина вместе с матерью получают письмо из Петербурга с предложением отправиться в Россию.

1744 год

Январь—март — путешествие в Россию.

28 июля — принятие будущей императрицей православия и имени Екатерина.

1745 год

25 августа — бракосочетание ее с наследником Петром Федоровичем.

1761 год

25 декабря — смерть императрицы Елизаветы и воцарение Петра III.

1762 год

28—30 июня — переворот в пользу Екатерины.

5 июля — смерть свергнутого императора.

1764 год

6 июня — попытка мятежа Мировича и смерть Иоанна Антоновича.

1766 год

14 декабря — Манифест о выборах в Комиссию об Уложении.

1767 год

30 июля — открытие Комиссии по новому Уложению.

1768 год

25 сентября — Турция объявляет войну России.

1769 год

Январь — роспуск общей Комиссии по новому Уложению. Начало мятежа польских конфедератов.

1770 год

21 июля — победа над турками при реке Катул.

16 сентября — взятие Бендер.

1771 год

14 июня — взятие Перекопа.

1772 год

23 апреля — капитуляция Кракова Суворову.

5 августа — Петербургская конвенция России, Австрии и Пруссии о первом разделе Польши.

1773 год

17 сентября — манифест «императора Петра Федоровича» (Емельяна Пугачева). Начало пугачевского восстания.

25 декабря — взятие мятежниками Самары.

1774 год

22 марта — поражение пугачевцев под Татищевом.

9 июня — победа русской армии над турками у Козлуджи.

10 июля — Кучук-Кайнарджиский мир.

24 августа — поражение Пугачева под Черным Яром.

14 сентября — сдача изменниками Пугачева на Бударинский форпост.

1775 год

10 января — казнь Пугачева.

1779 год

Основание Московской типографской компании Н. И. Новикова.

1783 год

Присоединение Крыма. Георгиевский трактат с Грузией.

1785 год

Жалованная грамота дворянству.

1787 год

13 августа — начало новой войны с Турцией.

1 октября — сражение под Кинбурном.

1788 год

21 июня — начало войны со Швецией.

6 июля — Гогландское морское сражение со шведским флотом.

29 сентября — взятие Хотина.

1789 год

21 июля — сражение при Фокшанах.

11 сентября — сражение при Рымнике.

1790 год

22 июня — Выборгское морское сражение со шведами.

8 июля — Керченское морское сражение с турками.

3 августа — Верельский мирный договор со Швецией.

11 декабря — взятие Измаила.

1791 год

31 июля — морской бой у Калиакрии.

29 декабря — Ясский мир с Турцией.

1792 год

13 апреля — арест Новикова.

14 мая — Тарговицкая конфедерация в Польше, начало русско-польской войны.

1793 год

23 января — Петербургская русско-прусская конвенция о втором разделе Польши.

1794 год

12 марта — начало польского восстания

10 октября — поражение повстанцев при Мацеевице.

6 ноября — капитуляция Варшавы.

1795 год

24 октября — окончательный договор трех держав о третьем разделе Польши.

1796 год

6 ноября — смерть Екатерины.

СОДЕРЖАНИЕ

Екатерина II. *Биографическая статья* 5

В. Н. Иванов. ИМПЕРАТРИЦА ФИКЕ. *Историческая повесть* 15

П. Н. Краснов. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ. *Роман* 157

Е. А. Салиас. ПЕТРОВСКИЕ ДНИ. *Историческая повесть* 497

Комментарии 721

Хронологическая таблица 730